

РОССИЙСКИЙ
ЛИБЕРАЛИЗМ:
ИДЕИ
И
ЛЮДИ

РОССИЙСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ: ИДЕИ И ЛЮДИ

Под общей редакцией
доктора философских наук,
профессора
А.А. Кара-Мурзы

ТОМ
II
— XX —
ВЕК

Москва
2018

УДК 329.12(47)
ББК 66.1(2)
Р76



Комитет
гражданских
инициатив

Книга издана при поддержке
«Фонда Кудрина по поддержке
гражданских инициатив»

Российский либерализм: Идеи и люди / 3-е изд., испр. и доп.,
Р76 под общ. ред. А.А. Кара-Мурзы. М.: Новое издательство, 2018. —
Т. 2: XX век. — 948 с.

ISBN 978-5 98379-

Книга представляет собой галерею портретов русских либеральных мыслителей и политиков XVIII–XX столетий, созданную усилиями ведущих исследователей российской политической мысли. Среди героев книги присутствуют люди разных профессий, культурных и политических пристрастий, иногда остро полемизировавшие друг с другом. Однако предмет их спора состоял в том, чтобы наметить наиболее органичные для России пути достижения единой либеральной цели — обретения «русской свободы», понимаемой в первую очередь как позитивная, творческая свобода личности.

УДК 329.12(47)
ББК 66.1(2)

© Фонд «Либеральная миссия», 2018
© Комитет гражданских инициатив, 2018
© Новое издательство, 2018

ISBN 978-5 98379-

СОДЕРЖАНИЕ

- 9
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ
МУРОМЦЕВ
«Великий труд на
благо избравшего
нас народа...»
Андрей Медушевский
- 19
НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
ВОЛКОНСКИЙ
«Правительство
делает большую
ошибку, испыты-
вая так долго
терпение насе-
ления ...»
Алексей Кара-Мурза,
Ирина Тарасова
- 37
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ХОМЯКОВ
«Выполнить тяже-
лую государствен-
ную работу на
почве законода-
тельного строи-
тельства...»
Константин Могилев-
ский, Кирилл Соловьев
- 58
ИВАН ИЛЬИЧ
ПЕТРУНКЕВИЧ
«Подготовить
страну к самому
широкому само-
управлению...»
Константин Могилев-
ский
- 69
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
КАРЕЕВ
«Основать новую
Россию, которая
будет существо-
вать для своих
граждан»
Кирилл Соловьев
- 77
ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
КАРАУЛОВ
«То, что я был
каторжным,
составляет мою
гордость на всю
мою жизнь...»
Алексей Кара-Мурза
- 97
ФЕДОР ИЗМАЙЛОВИЧ
РОДИЧЕВ
«Я жил под зна-
ком свободы...»
Евгения Клушина
- 112
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
ШАХОВСКОЙ
«Мы хотим дать
людям возмож-
ность не служить
тому, что они при-
знают за зло...»
Валентин Шелохаев
- 123
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
ПОСНИКОВ
«С уничтожени-
ем гражданского
бесправия откро-
ется целый ряд
возможностей
быстро поднять
производитель-
ность земли...»
Нина Хайлова
- 140
ПЕТР БЕРНГАРДОВИЧ
СТРУВЕ
«Соединить здо-
ровое патриоти-
ческое чувство
с гражданскими
освободитель-
ными стремле-
ниями...»
Сергей Секиринский
- 149
МАКСИМ
МАКСИМОВИЧ
КОВАЛЕВСКИЙ
«Без терпимости
нет свободы...»
Нина Хайлова
- 160
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
ТРУБЕЦКОЙ
«Нам необхо-
димо внутрен-
нее обновление
и политическое
освобождение
России...»
Ольга Жукова
- 172
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
КУТЛЕР
«Когда бы знать,
что всё так сло-
жится...»
Федор Гайда
- 183
МИХАИЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
СТАХОВИЧ
«Мне приходится
жить, думать и го-
ворить так несво-
евременно...»
Алексей Кара-Мурза
- 200
ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ
«России нужны не
мстители за про-
шрое, а организа-
торы будущего...»
Нина Хайлова
- 235
ГЕОРГИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ЛЬВОВ
«Мы прошли этот
тяжелый путь
государственного
труда под непре-
станным обстре-
- лом враждебной
к нашей работе
власти...»
Илья Соснер
- 244
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
УРУСОВ
«Реформиро-
вать власть, не
прибегая к мерам
революционного
характера...»
Нина Хайлова
- 260
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ
РОСТОВЦЕВ
«Моя программа —
программа народ-
ной свободы...»
Михаил Карпачев
- 265
ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ
ДОЛГОРУКОВ
«Я являюсь сто-
ронником пра-
вового демокра-
тического строя,
осуществляемо-
го при помощи
народного пред-
ставительства...»
Валентин Шелохаев,
Надежда Канищева
- 280
ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ
ДОЛГОРУКОВ
«Последователь-
ный демократизм,
соединенный
с суровой нацио-
нальной дисци-
плиной...»
Надежда Канищева
- 297
ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
МИЛЮКОВ
«Идти соединени-
ем либеральной
тактики с рево-

люционной угро-
зой...»

Алексей Кара-Мурза

314

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
ГУЧКОВ

«Мы вынужде-
ны отстаивать
авторитет власти
против самих
носителей этой
власти...»

Дмитрий Олейников

329

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
ГУЧКОВ

«Необходимо
создание прави-
тельства, силь-
ного доверием
общества...»

Юлия Воробьева

344

МИХАИЛ МАРТЫНОВИЧ
АЛЕКСЕЕНО

«Мы не так бога-
ты, чтобы испол-
нять фантазии
каждого мини-
стра...»

Кирилл Соловьев

351

ВАСИЛИЙ
МИХАЙЛОВИЧ
ПЕТРОВО-
СОЛОВОВО

«Нет специальной
русской полити-
ческой свободы,
как нет специ-
ального русского
элетричества...»

Кирилл Соловьев

357

СЕРГЕЙ
ИЛИОДОРОВИЧ
ШИДЛОВСКИЙ

«Патриархальный
быт прошел, пора
сменить его бы-
том правовым...»

Кирилл Соловьев

364

АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
КОРНИЛОВ

«Вести работу не
разрушительным
натиском, а поло-
жительным стро-
ительством...»

Алексей Кара-Мурза

373

МАКСИМ МОИСЕЕВИЧ
ВИНАВЕР

«Ни свобода,
ни порядок не-
мыслимы, доколе
нет в стране
гражданского
равенства...»

Александр Степанский

381

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЧЕЛНЮКОВ

«Из инстинкта
государственно-
сти мы принуж-
дены были вме-
шаться...»

Виктор Шевырин

400

ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ТРУБЕЦКОЙ

«Государство
должно быть не
опекуном, а миро-
творцем...»

Виктор Шевырин

423

ГАБРИЭЛЬ
ФЕЛИКСОВИЧ
ШЕРШЕНЕВИЧ

«Жизнь стреми-
лась к освобожде-
нию индивидуа
от опеки...»

Андрей Медушевский

430

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
НОВГОРОДЦЕВ

«Критически
отнестись к дей-
ствительности
и оценить ее

с точки зрения
идеала...»

Андрей Медушевский

444

ИОСИФ ВИКЕНТЬЕВИЧ
МИХАЙЛОВСКИЙ

«Идея личности
есть высшая нор-
мативная идея...»

Сергей Чижков

457

БОГДАН
АЛЕКСАНДРОВИЧ
КИСТЯКОВСКИЙ

«У нашей интел-
лигенции право-
сознание стоит
на крайне низком
уровне развития...»

Андрей Медушевский

470

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
ЛВОВ

«Примирить
начало власти
и начало свобо-
ды, чтобы они
не пожрали друг
друга...»

Виктор Шевырин

482

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
ЩЕПКИН

«Мнение о него-
товности народа
к свободе поро-
ждается нежелани-
ем выпускать из
рук привилегии
и власть...»

Сергей Вдовин

491

ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
ЕФРЕМОВ

«Свое пренебре-
жение к закону
правительство
передало граж-
данам...»

Нина Хайлова

514

ФЕДОР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГОЛОВИН

«Я старался ве-
рить и верил, что
народ... по при-
роде мудр и спо-
собен к участию
в государствен-
ном строитель-
стве...»

Федор Гайда

525

ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ
КУДРЯВЫЙ

«Стоять на страже
интересов всего
населения...»

Андрей Егоров

533

АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
КИЗЕВЕТТЕР

«Признать силу
и ценность рус-
ского человека...»

Олег Будницкий

543

ЛЕВ ИОСИФОВИЧ
ПЕТРАЖИЦКИЙ

«Я юрист не
только по зва-
нию, но и по
убеждению...»

Кирилл Соловьев

552

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
НАБЮКОВ

«Исполнительная
власть да поко-
рится власти за-
конодательной!»

Кирилл Соловьев

563

ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
МАКЛАКОВ

«Счастье и благо
личности скажут
нам, куда направ-
ить развитие
общества...»

Виктор Шевырин

- 573
ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ
КОКОШКИН
«Праву должны
быть подчинены
все — от выше-
го представи-
теля власти до
последнего граж-
данина...»
Валентин Шелохаев
- 584
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
ШИНГАРЕВ
«Всякий само-
вольный захват
является неза-
конным расхище-
нием народного
богатства...»
Михаил Карпачев
- 592
НИКОЛАЙ
ФЕДОРОВИЧ
ЕЗЕРСКИЙ
«Носитель власти,
даже микроско-
пический, очень
склонен забывать,
что он член обще-
ства...»
Валерий Карнишин
- 602
КОНСТАНТИН
ФЕДОРОВИЧ
НЕКРАСОВ
«Энергичней надо
готовиться к гря-
дущим светлым
дням...»
Алексей Лопатин,
Александр Соколов
- 610
АРИАДНА
ВЛАДИМИРОВНА
ТЫРКОВА
«Социалисты
сделали из моего
отечества огром-
ное опытное поле
для своих догм
и теорий...»
Валентин Шелохаев
- 620
СОФЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА
ПАНИНА
«Только там,
где есть свобо-
да, может расти
и развиваться
справедливый
и великодушный
человек...»
Виктор Шевырин
- 636
НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ
АСТРОВ
«Свободная лич-
ность в правовом
государстве...»
Виктор Шевырин
- 651
АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ
КОЛЮБАКИН
«Превратить
конституционную
партию в самую
разветвленную
организацию...»
Надежда Канишева
- 660
ВЛАДИМИР
АНДРЕЕВИЧ
ОБОЛЕНСКИЙ
«Если бы рево-
люция опоздала
на несколько лет,
она приняла бы
совсем иные
формы...»
Кирилл Соловьев
- 677
АЛЕКСАНДР
СОЛОМОНОВИЧ
ИЗГОВЕВ
«Самодержа-
вие совершенно
извратило нашу
общественно-
идейную жизнь...»
Кирилл Соловьев
- 688
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
РОСТОВЦЕВ
«Большевистская
теория может
привести только
к вырождению
культуры...»
Павел Алипов, Кирилл
Соловьев
- 702
ИВАН ПАВЛОВИЧ
АЛЕКСИНСКИЙ
«Безумный опыт
насильственного
переворота довел
до агонии госу-
дарственный ор-
ганизм России...»
Алексей Кара-Мурза
- 717
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
ЧЕТВЕРИКОВ
«Самодержавие
на Руси не должно
отождествляться
с правом царевых
слуг не считать-
ся с мнением
народа...»
Юрий Петров
- 727
ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ
РЯБУШИНСКИЙ
«Буржуазно мыс-
лить и буржуазно
действовать...»
Юрий Петров
- 740
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
КОНОВАЛОВ
«Промышленники
должны объеди-
ниться в борьбе
за права русского
гражданина...»
Юрий Петров
- 753
НИКОЛАЙ
ВИССАРИОНОВИЧ
НЕКРАСОВ
«Найти равнодей-
ствующую народ-
ного мнения...»
Валентин Шелохаев
- 763
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ
КОТЛЯРЕВСКИЙ
«Даруемая свобо-
да представляет
нежное растение,
которое может
скоро заглохнуть
на нашей холод-
ной почве...»
Андрей Медушевский
- 775
СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ
ВОСТРОТИН
«Сибирь — про-
дукт вольного
народного завое-
вания...»
Алексей Кара-Мурза
- 782
МИХАИЛ ГЕРАСИМОВИЧ
КОМИССАРОВ
«Наши издания
расходятся по
России в десятках
тысяч экземп-
ляров...»
Алексей Кара-Мурза
- 786
АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
РЫКАЧЕВ
«Слишком мал
запас академиче-
ских традиций ...»
Нина Хайлова
- 816
НИКОЛАЙ
ЕЛПИДЬФОРОВИЧ
ПАРАМОНОВ
«Рано или поздно
правда и добро
восторжествуют...»
Олег Будницкий
- 828
АНТОН
ВЛАДИМИРОВИЧ
КАРТАШЕВ
«Мы... были слиш-
ком Гамлетами
и не могли угнать-
ся за катастро-
фическим ходом
событий...»
Андрей Егоров

843

СЕМЕН ОСИПОВИЧ
ПОРТУГЕЙС

«Русская история
изгрызет до дыр
свое временное
большевистское
вместилище...»

Алексей Кара-Мурза

857

БОРИС
АЛЕКСАНДРОВИЧ
БАХМЕТЕВ

«Составлять как
можно меньше за-
конов и возможно
меньше регулиро-
вать жизнь...»

Олег Будницкий

870

БОРИС
КОНСТАНТИНОВИЧ
ЗАЙЦЕВ

«Да не потонет
личность челове-
ческая в движе-
ниях народных!»

Алексей Кара-Мурза

882

СЕМЕН ЛЮДВИГОВИЧ
ФРАНК

«Существо чело-
века лежит в его
свободе...»

Владимир Кантор

896

ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ
ФЕДОТОВ

«Духовное спа-
сение России
заключается
в возрождении
потребности
в свободе...»

Алексей Кара-Мурза

906

ФЕДОР АВГУСТОВИЧ
СТЕПУН

«Божье утверж-
дение свободного
человека как ре-
лигиозной основы
истории...»

Владимир Кантор

913

ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВИЧ ВЕЙДЛЕ

«Чем дальше
отходила Россия
от Европы, тем
меньше станови-
лась похожей на
себя...»

Алексей Кара-Мурза

924

АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
САХАРОВ

«Свобода нужда-
ется в защите
всех мыслящих
людей...»

Владимир Кара-Мурза

935

ЮРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЛЕВАДА

«Надежда на спа-
сительную руку
государства не
покидает людей,
не умеющих най-
ти силы в самих
себе...»

Лев Гудков

«Великий труд на благо
избравшего нас народа...»

Одно из центральных мест в истории русского либерализма конца XIX — начала XX века, безусловно, принадлежит Сергею Андреевичу Муромцеву, видному теоретику правового государства, признанному главе конституционного движения в России, одному из лидеров кадетской партии, председателю I Государственной думы.

С.А. Муромцев родился 23 сентября 1850 года в Петербурге в семье гвардейского офицера. Его детство проходило в имении, расположенном в Новосильском уезде Тульской губернии. В десять лет он стал свидетелем обсуждения крестьянской реформы и отмены крепостного права в России. Эти события мальчик живо обсуждал с дядей, убежденным сторонником либеральных преобразований. Именно с этого времени можно говорить о формировании политических убеждений Муромцева, которым он оставался верен в течение всей жизни. Эти убеждения впоследствии интерпретировались многими современниками как классический либерализм старой русской интеллигенции — представление о решающей роли индивидуальной политической свободы и возможности ее достижения путем реформирования традиционного социального строя самим государством. Главной целью становилось создание правового государства, а средством его достижения — просвещение общества. Эти общие принципы эпохи Великих реформ отразились в игре, которую придумал десятилетний мальчик, — игре в идеальное государство, где торжествуют либеральные принципы политической свободы. Две беседки в саду стали центром воображаемого парламента: в одной располагалась палата народных представителей, обсуждавшая и составлявшая новые законы, в другой — верхняя палата, необходимая для корректировки этих законов. Происходящие в имении события подробно и точно отражались в газете, издание которой также стало частью этих игр... Речь шла фактически о моделировании политического кризиса при переходе к демократии.

Проявившийся в детстве серьезный интерес к государственному устройству подкреплялся чтением и наблюдением за формированием новых демократических учреждений. Еще в гимназические годы Муромцев посещает заседания окружного суда, Московского земского собрания, убеждает отца в необходимости выдвинуть свою кандидатуру в председатели съезда мировых судей. Однако главную свою задачу он видит

в изучении юриспруденции как единственной науки, способной сформировать новое политическое и гражданское мировоззрение. Еще студентом (в 1869 году) размышляя об избранной жизненной стратегии, он писал, что через шесть лет приготовит свое главное научное сочинение, через семь-восемь — начнет читать лекции в университете в качестве профессора, а затем прогнозировал кризис в своих отношениях с властью — «повеление об отставке за распространение либерализма». Этот юношеский прогноз оказался на редкость точным.

По окончании курса наук в московской Третьей гимназии с золотой медалью Муромцев поступил на юридический факультет Московского университета. Введенный в России Судебными уставами состязательный судебный процесс отразился в самостоятельных практических занятиях студентов. Одним из нововведений были так называемые пробные судебные заседания, о которых сам Муромцев (чаще всего берущий на себя роль «председательствующего») вспоминал: «Дело устраивается таким образом: желающие принимают на себя роли председателя суда, членов его, прокурора, адвоката, защитников и присяжных; выбирается дело из старой практики и решается по новому порядку...» Пересмотр старых (до-реформенных) дел «по новому порядку» способствовал, конечно, распространению либеральных принципов юриспруденции.

По окончании университета Муромцев «за отличные успехи в науках» был утвержден в степени «кандидата права» и оставлен при факультете на два года «для усовершенствования в науках и приготовления к профессорскому званию». Ряд лет он провел за границей, работая преимущественно в Германии, но также и в других странах Европы (в письмах он рассказывает о поездках в Константинополь, Афины, Рим).

В 1875 году состоялась защита Муромцевым диссертации «О консерватизме римской юриспруденции», которая выявила противоречивость настроения профессуры на правовом факультете. «Я, — писал Муромцев, — приступил к исканию магистерской степени при сочувствии молодой партии (довольно многочисленной, но по голосам еще слабой, ибо не все профессора, а лишь доценты) и при сильном недоброжелательстве стариков, которые старались всячески мне противодействовать, оттягивая день экзаменов и тому подобное. Диссертацию хотели, но не могли не пропустить, и вот 5 апреля состоялся диспут, и он, сверх ожидания недоброжелателей, окончился блистательно, и они первые поспешили предложить мне кафедру». Муромцев был утвержден в степени магистра гражданского права и стал доцентом университета по кафедре римской словесности, получив в связи с этим чин надворного советника. Практически это означало чтение лекций (четыре часа в неделю) с окладом в 1200 рублей.

Защита следующей диссертации — «Очерки общей теории гражданского права» — дает Муромцеву степень доктора гражданского права (1877) и звание профессора (1878) с окладом 3000 рублей, что позволяло вести вполне обеспеченную жизнь и иметь достаточно свободного времени

для научной работы. Вскоре Муромцев избирается (1880) председателем Юридического общества при Императорском московском университете, став сначала секретарем юридического факультета, а затем и проректором университета (утвержден в феврале 1881 года сроком на три года). В признание его заслуг Муромцеву был «всемилоостивейше пожалован» орден Св. Станислава 2-й степени (январь 1881 года).

Однако уже в августе 1881 года, т.е. спустя всего несколько месяцев после гибели Александра II, Муромцев увольняется от должности проректора, а вскоре приказом министра народного просвещения от 22 августа увольняется и от должности профессора университета. В его архиве сохранился официальный документ с указанием причин отставки. Это «копия отношения окружного инспектора ректору Московского университета об увольнении проф. Муромцева С.А. ввиду его политической неблагонадежности»... С.А. Муромцев смог вернуться к преподаванию лишь двадцать лет спустя, когда в июне 1906 года вновь был утвержден профессором Московского университета по кафедре гражданского права.

Муромцев был, несомненно, цельной личностью, человеком одной идеи. Это видно по его лекциям, о которых сохранились воспоминания современников. Все они отмечают не только глубину и разносторонность его знаний, но и его попытку донести до слушателей либеральные ценности. Целью лекций Муромцева было формирование нового либерального общественного сознания. Свои либеральные принципы Муромцев активно проводил и в работе Юридического общества при Московском университете. Общество, объединявшее профессоров, адвокатов и студенчество, позволяло преодолеть формальные рамки бюрократической иерархии учебного процесса и в этом смысле само становилось важным институтом гражданского общества. Именно в рамках Юридического общества, где велись дискуссии по принципиальным вопросам теории и практики правовых реформ, Муромцев впервые проявил себя как общественно-политический деятель, стала очевидна способность рассмотреть всякий конкретный вопрос в общей перспективе государственного развития. Неотъемлемой частью этой деятельности стала работа Муромцева по изданию журнала «Юридический вестник», где отражались дискуссии в правовой науке, давалась критическая оценка новых идей и инициатив. «Я хочу придать этому журналу новый, живой характер, как в научном отделе, так и в практическом, — писал Муромцев. — Стараюсь завести организованную правильно судебную хронику и в ней бросить в нашу практику судов и адвокатов семена новых практических идей, взглядов, более благотворных, нежели те, кои руководят практикой теперь». Эта деятельность сделала Муромцева значимой общественной фигурой, определила его особый статус в университетской среде.

Именно Юридическое общество и «Юридический вестник» стали теми центрами, вокруг которых группировалась либеральная интеллигенция и рассматривались планы нового государственного устройства. В условиях, когда проекты конституционной реформы не могли обсуждаться

«Великий труд на благо избравшего нас народа...»

открыто, неформальный характер научных и политических дискуссий в Обществе позволил заявить важнейшие идеи либеральной программы. Объективно неизбежные политические реформы, считал Муромцев, не должны застать общество врасплох. Необходима поэтому большая подготовительная работа по введению новых институтов народного представительства. Эта работа должна заключаться в создании важнейших законопроектов, призванных заложить основы конституционного строя. Муромцев и его коллеги исходили при этом из идеи радикальной реформы, движущей силой которой должно быть само правительство.

Это убеждение нашло выражение в составленной Муромцевым и рядом других общественных деятелей развернутой записке «О внутреннем состоянии России весною 1880 года», опубликованной позднее в «Вестнике Европы» (апрель 1881-го). Данная записка, поданная М.Т. Лорис-Меликову в марте 1880 года и получившая распространение в рукописном виде, содержала критический анализ государственного устройства и усматривала выход из положения во введении представительного правления — призвании избранных представителей народа к участию в управлении и предоставлении свободы выражению общественной мысли. «Вывести нашу страну из того заколдованного круга, в который она попала, не может ничто, кроме призыва в особое самостоятельное собрание представителей земства к участию в государственной жизни и деятельности, с прочным обеспечением прав личности на свободу мысли, слова и убеждения». Русское общество, заявляли авторы записки, не менее Болгарии «созрело для свободных учреждений» и чувствует себя униженным, что его так долго держат в опеке. В созыве представительного учреждения виделся основной способ остановить деятельность враждебных государству («анархистских») партий.

Это был фактически первый набросок либеральной земско-конституционной реформы. Поданная в период активного обсуждения политических преобразований в правительственных сферах данная записка и связанные с ней неформальные переговоры С.А. Муромцева с ведущими представителями правящей либеральной элиты апеллировали к просвещенной бюрократии и видели в ней возможного инициатора реформ. Резкое изменение политического курса после убийства Александра II народолюбцами и отказ правительства от либеральных реформ сделали реализацию данной программы невозможной. Окончательное отстранение Муромцева от должности профессора в 1884 году явилось лишь внешним выражением этих перемен.

Невозможность открыто заниматься наукой и политикой побудила Муромцева искать другие сферы деятельности. В отличие от многих профессоров он не эмигрировал за границу, но попытался реализовать себя в практической юридической работе. Муромцев стал присяжным поверенным и в то же время гласным Московской городской думы, Московского и Тульского губернских земских собраний.

Муромцев видел в земстве прежде всего политический институт. Этим объясняется его критика, во-первых, узкосословных (помещичьих) тен-

дений в деятельности земства, во-вторых, плоский и приземленный характер рассмотрения местных вопросов и, в-третьих, отсутствие гласности в работе учреждений местного самоуправления. Развивая концепцию «всесословной волости», Муромцев видел в ней инструмент разрешения аграрного конфликта, преодоления межсословных противоречий и завершения крестьянской реформы. Традиционалистский характер русского земства, затруднявший его реформирование, не оттолкнул Муромцева от участия в практической работе. Если суммировать его вклад в этой области в 1880-е и особенно 1890-е годы, становится очевидно, что он состоял в отстаивании прав личности (права собственности, налоги, вопрос об отмене телесных наказаний и т.д.), распространении просвещения (экономических, технических и медицинских знаний), а также юридической и финансовой экспертизе принимаемых решений.

Земская деятельность Муромцева была неразрывно связана и с его работой в Московской городской думе. Муромцев не являлся, конечно, экспертом в области городского хозяйства. Областью его специализации становились, однако, не менее важные вопросы правовой квалификации принимаемых решений. Муромцев много сделал для разработки правовых основ деятельности самой городской думы — структуры общего собрания, разрешения коллизий между ним и председателем, определения компетенции различных комиссий, техники ведения дел. В поле его зрения находились вопросы прав думы по отношению к администрации генерал-губернатора, права гласных, регламент дискуссий. Не случайно современники называли заседания городской думы с участием Муромцева «школой парламентаризма». Очевидно, что наблюдения и опыт этой работы нашли впоследствии выражение в составленном Муромцевым проекте Наказа Государственной думы и его деятельности в качестве ее первого председателя.

Важным самостоятельным направлением деятельности для Муромцева стала адвокатура. 13 октября 1884 года он был принят в число присяжных поверенных Московского округа, через три года (1887) стал членом Московского совета присяжных поверенных, а затем и товарищем председателя. С начала 1890-х годов имя Муромцева как адвоката приобретает значительную известность. Судебная реформа и созданный ей состязательный судебный процесс делали адвокатуру важным самостоятельным институтом гражданского общества, где объективно сосредоточивались лучшие силы российской юриспруденции. Будучи ведущим теоретиком права, специалистом по римскому гражданскому праву и вообще юристом-сивилистом, Муромцев рассматривал адвокатскую практику как один из инструментов создания нового либерального правосознания. Этим объясняется также его представление о творческой роли судьи и адвоката в толковании и применении права — тезис, традиционно противостоящий догматической юриспруденции с ее культом вечности и неизменности правовых норм и формального следования букве закона. Рассматривая нравственную сторону всякого правового процесса как

«Великий труд на благо избравшего нас народа...»

первостепенную, Муромцев, в отличие от большинства других адвокатов, не считал возможным, однако, воздействовать на суд с помощью эмоциональных аргументов. Его красноречие носило строгий и точный характер, а аргументация строилась на логике и фактах. Это обстоятельство исследователь адвокатской деятельности Муромцева (И.А. Кистяковский) считает нетипичным и даже уникальным в русской адвокатуре. «При спокойном отношении к суду, при внутреннем желании получить от суда добросовестный ответ по спорному вопросу, — констатировал он, — Муромцев не позволял себе увлекать суд в свою пользу. Он принципиально отрицал лиризм в гражданском процессе, не позволял себе восстанавливать суд против личности противника или, напротив, возбуждать в суде ненужную жалость к своему доверителю. Он стремился помочь суду разобраться в спорном вопросе, он желал прежде всего разъяснить дело. Помимо его воли, выходило так, что на его делах учились слушавшие его, учились его противники, а порою учился суд, воспринимая правду его мыслей». Это был, по выражению современников, «адвокат разума».

В условиях первой русской революции (1905–1907) либеральное движение постаралось выработать варианты будущей российской конституции. Один из проектов принадлежал Союзу освобождения; в его разработке приняли участие крупнейшие петербургские и московские юристы — Н.Ф. Анненский, В.М. Гессен, И.В. Гессен, П.И. Новгородцев, Ф.Ф. Кокошкин, С.А. Котляревский. Критики отмечали, однако, что этот проект имел ряд недостатков: он страдал очевидным смещением демократических лозунгов и четких юридических формул, не содержал решения или регламентации ряда важнейших социальных и национальных проблем. Не разработана была и тактическая сторона — дается ли конституция монархом, или она является результатом народного волеизъявления и имеет соответственно договорную природу. Все это в результате привело к появлению другого проекта, получившего название «конституции Муромцева», который стал теоретической основой последующего конституционного движения в России.

Работа над новым конституционным проектом велась под руководством С.А. Муромцева сначала в Москве, а затем в его доме в Царицыне. Наиболее активным сотрудником Муромцева стал представитель молодого (и более радикального) поколения русских конституционалистов Ф.Ф. Кокошкин, вышедший из либеральной среды юрист, общественный деятель и крупнейший эксперт в области государственного права. Наряду с ним в работе над проектом принимали участие такие видные деятели земского движения, как Н.Н. Щепкин и Н.Н. Львов. В июле 1905 года проект Муромцева был принят земским съездом «в принципе» и стал затем предметом обсуждения и развития в либеральной публицистике.

Содержательный анализ политической концепции С.А. Муромцева показывает, что он исходил главным образом из опыта монархического конституционализма стран Европы, прежде всего Германии, и стремился по мере возможности максимально согласовать его с российской полити-

ческой традицией. Пытаясь обеспечить эволюционный порядок перехода от абсолютизма к конституционной монархии, Муромцев, как и многие другие либералы, считал наиболее целесообразным введение в России конституционного строя путем ряда реформ сверху, последовательно осуществляемых самой монархической властью. Подобная модель политического развития позволяла избежать радикальной революционной ломки государственного строя и осуществить легитимный переход к новой (конституционно-монархической) политической системе в рамках существующего законодательства, его последовательного преобразования и наполнения новым политическим содержанием. В теории государственного права данный тип конституционализма противопоставлялся революционным конституциям и получил характерное название «октроированных конституций». В истории стран Европы он представлен был во Франции Конституционной хартией 1814 года, конституциями отдельных германских государств, принятыми в первой трети XIX века, актами Пруссии 1851 года, Северо-Германского союза, наконец, в конституции Германской империи 1871 года. Среди важнейших источников конституционных воззрений Муромцева следует указать также Бельгийскую конституцию 1831 года, а в ряде областей также болгарский опыт конституционализма, представлявший особый интерес для русских либералов. В качестве исходного пункта работы над конституцией Муромцеву служил уже упомянутый проект «Основного государственного закона Российской империи», составленный в октябре 1904 года Союзом освобождения и напечатанный П.Б. Струве в марте 1905 года в парижском журнале «Освобождение».

Конституционный проект С.А. Муромцева был впервые опубликован 6 июля 1905 года в газете «Русские ведомости» наряду с составленным им же проектом избирательного закона под общим названием «К вопросу об организации будущего представительства». «Конституция Муромцева» декларировала неприкосновенность основных политических прав личности и общества и возможность их ограничений лишь в соответствии с законом и согласно процедуре, установленной законом. Фактически это был полный кодекс норм правового государства, основной принцип которого выражается известными словами Монтескье — свобода для индивида делать то, что позволяют законы, и обязанность воздерживаться от того, что законы запрещают.

«Великий труд на благо избравшего нас народа...»

Предложенная в проекте модель государственного устройства России представляла собой конституционную монархию, призванную совместить сильную исполнительную власть (сконцентрированную в руках монарха) и развитое народное представительство. По мнению умеренных конституционалистов, эта модель оказывалась идеальной формой, позволяющей объединить силы либерального общественного движения и бюрократии для осуществления политических и социальных реформ.

Конституционный проект С.А. Муромцева оказал несомненное влияние на введенные в России в начале 1906 года «Основные законы», хотя, как отмечали современники, более он повлиял на их внешнюю форму

и редакцию, чем на сущность. По справедливому наблюдению Ф.Ф. Кокошкина, это влияние могло бы оказаться гораздо сильнее, если бы конституция была введена еще в 1905 году, одновременно с Манифестом 17 октября или сразу после него. Но акты 20 февраля 1906 года, установившие важнейшие положения действующего государственного права, и акт 23 апреля 1906 года, принятый в развитие этих положений, возникли уже в другой политической обстановке, когда правительство в условиях спада революции получило возможность менее считаться с либеральной оппозицией.

Конституционная программа С.А. Муромцева стала основой организации и деятельности I Государственной думы. Будучи избранным депутатом Думы от Москвы, Муромцев практически единодушно (426 записками из 436) был избран председателем Думы и оставался им 72 дня вплоть до ее роспуска 9 июля.

Присутствовавшая на открытии Думы будущий член ЦК кадетской партии А.В. Тыркова вспоминала: «Красавец Таврический дворец, проснувшийся от векового сна, выглядел щеголем... На председательском месте сидел С.А. Муромцев. Не сидел — восседал, всем своим обликом, каждым движением, каждым словом воплощая величавую значительность высокого учреждения... Красивый, с правильными чертами лица, с седой, острой бородкой и густыми бровями, из-под которых темнели выразительные глаза, Муромцев одним своим появлением на трибуне призывал к благообразию... Голос у него был ровный, глубокий, внушительный. Он не говорил, а изрекал. Каждое его слово, простое его заявление... звучало, точно перед нами был шейх, читающий строфы из Корана...» Схожее впечатление произвел Муромцев-председатель и на еще одного кадетского лидера — знаменитого историка А.А. Кизеветтера: «Я присутствовал на втором заседании Думы. Как прекрасен был вид стильной залы Потемкинского дворца, превращенный в амфитеатр!.. Муромцев во фраке, торжественный и величественный, председательствовал так импозантно, что один крестьянский депутат сказал умиленно: „Словно обедню служит...“»

Кредо Муромцева-председателя было изложено в его исторической программной речи при открытии Думы: «Совершается великое дело, воля народа получает свое выражение в форме правильного, постоянно действующего, на неотъемлемых законах основанного законодательного учреждения. Великое дело налагает на нас и великий подвиг, призывает к великому труду. Пожелаем друг другу и сами себе, чтобы у всех нас достало достаточно сил для того, чтобы вынести его на своих плечах на благо избравшего нас народа, на благо родины. Пусть эта работа совершится на основах подобающего уважения к прерогативам конституционного Монарха и на почве совершенного осуществления прав Государственной Думы, истекающих из самой природы народного представительства».

Проводя эти принципы на практике, Муромцев столкнулся с задачами огромной сложности. Главное условие парламентаризма — наличие отлаженной парламентской процедуры, принятой всеми политическими партиями, — отсутствовало. В расколотом российском обществе не

существовало согласия по самым принципиальным вопросам — о легитимности Думы, отношении к ней и способам работы в ней. Стремление бойкотировать Думу или использовать ее исключительно для целей идеологической пропаганды со стороны крайних партий, отсутствие ясных представлений о характере и значении законодательной работы у многочисленного депутатского собрания, игра амбиций партийных фракций и их лидеров, наконец, открытое неприятие Думы со стороны бюрократии ставили под вопрос саму возможность парламентаризма и содержали угрозу его срыва уже на начальном этапе.

Принципиальная заслуга Муромцева как председателя состояла в решительном переломе этих настроений. Позднее, на процессе по «Выборгскому делу» (за подписание Выборгского воззвания председатель распущенной Думы был приговорен к трехмесячному заключению, которое отбывал в Таганской тюрьме в Москве), Муромцев особо подчеркнет, что «Первая Дума впервые придала неорганизованному, наполовину стихийному, движению народа формы организованные, что в стенах Государственной Думы партии, встретившись между собою, впервые поняли, что пора сойти с почвы митинга и встать на почву организованного собрания». Главным условием этого стало создание российской парламентской традиции, выражение ее в правовых документах или системе неписаных соглашений — прецедентов, имеющих характер обычного парламентского права. Решающий вклад Муромцева в этой области определяется его ролью в составлении Наказа Государственной думы — свода парламентского права и правил законодательной процедуры.

Работа по созданию Наказа велась при активном участии другого крупнейшего российского ученого — депутата Думы М.Я. Острогорского. Острогорский был автором классического труда «Демократия и политические партии», впервые показавшего опасность монополизации воли народа политическими партиями и их парламентскими группами. Как и Муромцев, он усматривал в отсутствии разработанного парламентского права серьезную угрозу демократии в России. Встреча двух ученых и согласование их проектов Наказа в марте 1906 года позволили создать единый документ, представленный позднее I Думе сразу после ее открытия.

По наблюдению В.Д. Набокова, данный проект лег в основу внутреннего распорядка деятельности Думы всех последующих созывов, действительно став основой российского парламентского права. Отстаивание Муромцевым данного распорядка, его явное беспристрастие в ходе острых политических дискуссий, иногда даже подчеркнутый формализм его оценок и разъяснений официальных документов и процедур — все это было результатом глубоко продуманной позиции, состоящей в правовой защите компетенции и статуса Думы как органа законодательной власти.

Значение С.А. Муромцева как лидера русского либерального движения было хорошо понятно уже современникам. Его смерть в Москве 3 октября 1910 года была воспринята в обществе как конец целой эпохи в развитии русского освободительного движения. Огромные демонстрации объеди-

«Великий труд на благо избравшего нас народа...»

нили всех тех, кто связывал с именем Муромцева движение России к демократии и цивилизации. Участник тех событий А.А. Кизеветтер вспоминал: «Москва всколыхнулась... Панихиды на дому были так многолюдны, что нечего было и думать, чтобы впустить в квартиру всех приходящих, и каждая панихида повторялась затем под открытым небом, на обширном дворе дома. Лес венков и громадная толпа окружили дом перед выносом тела, и, когда мы шли в похоронной процессии к университетской церкви, толпа все росла. Дошли до театральной площади и увидели, что она запружена новой громадной толпой. После отпевания процессия двинулась к Донскому монастырю, где совершалось погребение. Уже сгустились вечерние тени, когда у могилы начались речи. При свете факелов говорились эти речи, перед толпой, наполнившей обширную, пустую тогда, поляну вновь разбитого кладбища...»

В речах ораторов, представляющих лучшие силы русской общественности, Муромцев выступал как «национальный герой», выведший страну «из египетского плена» (П.Н. Милюков); «несомненный вождь русского освободительного движения» (М.М. Ковалевский); «великий гражданин земли русской» (Ф.Ф. Кокошкин); «наш учитель и наш вождь» (А.А. Кизеветтер).

Русская традиция обязана С.А. Муромцеву во многих отношениях. Он был ее теоретиком и реформатором, связующим звеном между классической западной либеральной мыслью и русской демократической интеллигенцией, между поколением Великих реформ 1860-х годов, земского либерализма 1880–1890-х годов и, наконец, конституционного движения начала XX века. Он не только создал целостную концепцию гражданского общества и правового государства в России, но и практически реализовал ее во всех основных сферах деятельности — земском движении, организации местного самоуправления, суде, адвокатуре, высшем образовании. Именно поэтому он продолжает оставаться символом русского освободительного движения.

Алексей
Кара-Мурза,
Ирина
Тарасова

НИКОЛАЙ
СЕРГЕЕВИЧ
ВОЛКОНСКИЙ

**«Правительство делает
большую ошибку,
испытывая так долго
терпение населения...»**

Николай Сергеевич Волконский родился 17 февраля 1848 года в родовой усадьбе села Зимарово Раненбургского уезда Рязанской губернии. Его отец, князь Сергей Васильевич Волконский (1819–1884), — отставной подпоручик, видный общественный деятель «эпохи Великих реформ» Александра II.

В конце 1850-х годов Волконский-старший, предводитель дворянства Раненбургского уезда, фактически возглавил, вместе с Ф.С. Офросимовым (будущим председателем Пронской уездной управы), «либеральную партию» в среде рязанских общественных деятелей, работал в губернском комитете по подготовке и проведению крестьянской реформы. После введения земских учреждений стал гласным губернского собрания; а с 1865 по 1877 год был председателем Рязанской губернской земской управы, активно защищая идею местного самоуправления против «партии крепостников» во главе с губернатором Болдыревым и губернским предводителем дворянства Реткиным. Крупнейший исследователь российского земства, будущий секретарь ЦК кадетской партии А.А. Корнилов назвал деятельность рязанских земцев Волконского и Офросимова «высокопоучительным примером»: «с самого открытия земских учреждений в них укоренился здоровый демократический дух, которым прониклись все передовые и наиболее влиятельные земские деятели».

По отзыву А.И. Кошелева, единомышленника и коллеги С.В. Волконского, тот был «тружеником, разумным и благонамеренным земцем», а возглавляемая им губернская управа «вела земские дела отменно хорошо». В 1877 году князь С.В. Волконский отказался баллотироваться на пост председателя губернской управы на очередной срок: как вспоминал Кошелев, «он неутомимо и с великою пользою для земского дела прослужил двенадцать лет, и последние годы особенно его утомила беспрестанная борьба с крепостниками».

Летом 1862 года князь Сергей Васильевич, тогда еще раненбургский уездный предводитель, пригласил в Зимарово в качестве репетитора для сына студента-историка Московского университета Василия Ключевского (только что окончившего тогда первый курс). Именно он привил своему ученику, бывшему на семь лет его младше, вкус к историческим наукам.

В 1872 году Николай Волконский с отличием окончил историко-филологический факультет Московского университета и по настоянию отца поступил на государственную службу — в Хозяйственный департамент Министерства внутренних дел. С 1875 по 1878 год он состоял при новом рязанском губернаторе Николае Саввиче Абазе, сопровождал его, как главноуполномоченного Красного Креста, по тылам Дунайской армии во время Русско-турецкой войны. Работа рядом с известным либеральным деятелем Н.С. Абазой (двоюродным братом еще более знаменитого А.А. Абазы — ближайшего сотрудника Александра II и М.Т. Лорис-Меликова), несомненно, сыграла свою роль в формировании общественно-политических взглядов молодого Волконского. После окончания войны он поехал для продолжения образования в Европу, слушал лекции в Венском и Берлинском университетах.

С годами князь Волконский приобрел и ценный опыт практической земской деятельности. С 1874 года он регулярно избирался гласным Раненбургского уездного и Рязанского губернского земских собраний, вел дела в ответственной должности секретаря губернского собрания, руководил ревизией крестьянских касс Раненбургского уезда. Именно в земских органах самоуправления Николай Сергеевич видел наиболее эффективный механизм решения многообразных общественных проблем, в том числе одной из самых острых — «обеспечения народного продовольствия». В 1878 году на Рязанском губернском собрании отец и сын Волконские представили записку, в которой указывалось, что «дело народного продовольствия должно быть делом земским — всесловным и организация продовольственной помощи должна быть возложена на приходские попечительства, обладающие на сказанную потребность правом самообложения».

Н.С. Волконский выступал за полную самостоятельность земских учреждений в распределении общественных средств. Позднее, уже сам будучи председателем Рязанской губернской управы (1897–1900), он обобщил свои представления о великой роли земского самоуправления следующим образом: «Ежели земские учреждения в течение двадцатипятилетнего своего существования что-нибудь сделали, то единственно благодаря самодеятельности заинтересованного в деле населения. Если земские школы всегда такие, в которых действительно учат, то это происходило единственно вследствие того, что население только на такие школы охотно дает деньги, от которых видит пользу, и его никакими отчетами не проведешь. Население не будет тратить на то, в чем не видит пользы».

Не забывал Николай Сергеевич и о своем профессиональном пристрастии к исторической науке, активно сотрудничая с Рязанской ученой архивной комиссией (РУАК). По просьбе известного рязанского общественного деятеля и историка А.Д. Повалишина (когда-то тот был учеником князя Сергея Васильевича), он начал работу над материалами по истории помещичьих хозяйств Рязанской губернии. Исследование Н.С. Волконского «Условия помещичьего хозяйства при крепостном праве» было опубли-

ликовано в «Трудах РУАК» за 1897 год и неожиданно для автора получило широкую известность. Ряд влиятельных российских журналов («Исторический вестник», «Русское богатство» и др.) опубликовали развернутые положительные рецензии. По словам С.Д. Яхонтова, эта работа «является новым, чуть не единственным трудом этого рода и очень ценится наукой». В «Отчете о русской исторической науке за 50 лет (1876–1926)» крупнейший ученый, академик Н.И. Кареев (кстати, коллега Волконского по I Государственной думе) назвал работу князя в числе самых значительных исследований по экономической истории крепостничества.

Поддерживал Н.С. Волконский и созданный при РУАК историко-этнографический музей, ставший одним из центров культурной жизни Рязани. В 1897 году он выкупил у своих родственников по материнской линии уникальную коллекцию произведений ручной вышивки крепостных крестьянок и подарил ее музею. В следующем году передал семейную реликвию — старинную кольчугу одного из своих пращуров Волконских. (Коллекция Н.С. Волконского и сегодня составляет значительную часть этнографического фонда Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.)

В первые годы XX века князь включается и в общероссийскую политическую жизнь: принимает активное участие в московских заседаниях полулегального кружка «Беседа», устанавливает близкие контакты с лидерами либерального движения Д.Н. Шиповым, братьями князьями Петром и Павлом Долгоруковыми, Н.Н. Львовым, князьями Г.Е. Львовым и Д.И. Шаховским, графом П.А. Гейденом, И.И. Петрункевичем, Н.А. Хомяковым, М.А. Стаховичем.

Одной из главных задач либерального движения на рубеже веков было расширение прав земства и координация деятельности земских учреждений. Не имея возможности официально собирать свои съезды, земцы использовали любую возможность: совещания по вопросам развития кустарной промышленности (март 1902), по борьбе с пожарами в деревне (март — апрель 1902) и т.д. «Кустарный» и «пожарный» съезды стали прологом к созыву в Москве полулегального общеземского съезда, инициатором которого выступил глава Московской губернской управы Д.Н. Шипов.

Официально съезд не был разрешен властями и прошел полулегально 23–25 мая 1902 года на московской квартире Д.Н. Шипова. Съехались более пятидесяти представителей большинства губернских управ и наиболее деятельные гласные; среди активных участников был и князь Н.С. Волконский. Съезд единодушно констатировал: новый правительственный курс, стремящийся подменить выборные земские учреждения назначенными «особыми комитетами», направлен на устранение органов самоуправления от принятия принципиальных решений. Вместе с тем значительная доля участников, и в их числе Волконский, высказались за то, чтобы земские деятели использовали все возможные средства (включая работу в назначенных правительством органах) для повышения своего авторитета.

«Правительство делает большую ошибку, испытывая так долго терпение населения...»

6–9 ноября 1904 года состоялся общеземский съезд в Петербурге. Ввиду официального запрета его заседания опять прошли в режиме «частных совещаний» на квартирах участников — И.А. Корсакова, А.Н. Брянчанинова и В.Д. Набокова. На этот раз собрались более 100 земских деятелей из 33 губерний; рязанское земство представляли князь Н.С. Волконский и новый председатель губернской управы В.Ф. Эман. Особенно оживленно проходило собрание 7 ноября в огромной квартире А.Н. Брянчанинова на седьмом этаже дома № 34 по Кирочной улице. Участник совещания барон Р.Ю. Будберг оставил такое описание: «Зал, в котором происходило заседание, предназначался для домашнего театра, отделан темно-синей материей с какими-то не то звездами, не то декадентскими рисунками; на сцене, за колоннами помещался стол, за которым на стульях с высокими готическими спинками помещались наши председатели; на местах для оркестра — столы для секретарей».

Обсуждались разные вопросы, в первую очередь — о будущем государственном устройстве и характере народного представительства. О ходе этих дискуссий и о позиции Николая Сергеевича впоследствии рассказал в некрологе на внезапную кончину князя председатель I Думы С.А. Муромцев («Русские ведомости» от 25 февраля 1910 года), участвовавший тогда в заседаниях в качестве представителя московского земства. Муромцев (через полгода, в октябре 1910-го, он сам скончался в Москве) писал: «Невольно при мысли о нем воскресает внушительная картина земского съезда, заседание 7 ноября 1904 года в зале А.Н. Брянчанинова. По случайности зала заседания, более чем когда-либо, как бы прообразует собою залу будущей Государственной Думы: на особом возвышении — председатель собрания, окруженный членами комитета; под ними — секретари собрания; лицом к председателю расположились рядовые члены собрания. И вот в части залы, слабее других освещенной, направо от председателя, встает Н.А. Карышев (земский гласный из Екатеринославской губернии. — АВТ.); рядом с ним видна фигура князя Н.С. Волконского. С необыкновенной выразительностью Н.А. Карышев настаивает на безусловной необходимости народного представительства, облеченного законодательной властью. Внимание собрания напряжено до крайних пределов. Н.А. Карышев кончил, и не каждый еще разобрался в своих мыслях; но поднимается князь Н.С. Волконский и от имени целой группы сидящих вместе с ним определенно заявляет, что они все едины, что Н.А. Карышев высказал общее им всем непоколебимое убеждение. Вся группа встает и подтверждает сделанное заявление. И, как это часто бывает, простое, краткое слово, сказанное от сердца, делает более, чем красивые речи. Так случилось тогда и со словом князя Н.С. Волконского. Многим почувствовалось, что свершился решающий момент заседания».

Итак, князь оказался в числе «прогрессистов» при голосовании на ноябрьском (1904) земском съезде по вопросу о компетенции будущей Думы: их более консервативные оппоненты считали целесообразным оставить за Думой лишь совещательные функции. Между тем по вопросу о формах

избрания будущего народного представительства Николай Сергеевич занимал довольно умеренную позицию. На следующем общеземском съезде, состоявшемся в Москве 22–26 апреля 1905 года, он был одним из главных оппонентов победившей в итоге идеи «прямого голосования» и отстаивал необходимость всеобщего, равного, тайного, но двухстепенного голосования. По его мнению, при недостаточном уровне массовой политической культуры в России лишь выборщики, облеченные доверием земских собраний, способны делегировать в будущую Думу опытных законодателей, а не популистов-демагогов. Вместе с тем Волконский активно поддерживал саму идею о том, что «только немедленный созыв народных представителей с правом участия в осуществлении законодательной власти может привести к мирному и правильному разрешению насущных политических, общественных и экономических вопросов современной жизни России».

Одной из главных проблем коренного преобразования государственного устройства земские деятели считали проведение аграрной реформы в интересах основного производительного слоя — крестьянства. И здесь позиция князя Волконского и некоторых других умеренных земцев разошлась с позицией становящегося все более радикальным земского большинства. Противостояние по этому вопросу двух формирующихся лагерей в российском либеральном движении ярко проявилось в ходе Аграрного совещания, которое прошло в Москве 27–29 апреля 1905 года, сразу после общеземского съезда.

На этом совещании в докладах И.И. Петрункевича, А.А. Мануйлова, М.Я. Герценштейна начала кристаллизоваться позиция, легшая затем в основу аграрной программы Конституционно-демократической партии: крестьянские наделы должны быть увеличены за счет государственного выкупа (за адекватное вознаграждение) излишков собственности и передачи их крестьянам в аренду. Тогда же в рядах умеренных земцев возникла оппозиция, активно проявившая себя впоследствии в стенах I Думы. Одним из лидеров этой правой оппозиции и стал Н.С. Волконский.

В своем выступлении на совещании князь отметил, что за, казалось бы, большим разбросом мнений проступают, по существу, две основные позиции: за и против частной собственности на землю. Аграрный проект «земского большинства» по своей сути совсем недалек от идеи национализации, ибо в конечном счете оставляет за государством (и, как следствие, — за чиновничеством) право собственности на землю. Волконский полагал, крестьянство желает не просто «прирезки земли» на правах аренды, а полноценной собственности. Ссылаясь на свое знание положения на родной Рязанщине, он заявил, что местный крестьянин-земледелец «жаждет получить землю в полную частную собственность»: «По крайней мере у нас, на черноземе, получить кусок земли в полную частную собственность, столь же хорошо защищенную законом, как и собственность любого другого владельца, составляет венец желаний всякого крестьянина. И уже некоторые крестьяне стали осуществлять это желание, приобре-

«Правительство делает большую ошибку, испытывая так долго терпение населения...»

тая землю при помощи Крестьянского банка и без такой помощи. Но лица, предлагающие добавочное наделение землею, эти прирезки к наделной земле, считаются ли с таким желанием? Нет. Напротив, если проводить предлагаемое наделение последовательно, пришлось бы отбирать землю и у таких мелких собственников для наделения ею неимущих. Но эти-то уж добровольно не отдадут ее. Идя этим путем, надо готовиться к междоусобной войне. И если такой войне суждено разгореться, то победителем, думается мне, выйдет из нее тот, кто обещает частную собственность на землю».

Итак, вместо экспроприаторской (согласно убеждениям Волконского — «полусоциалистической») программы «отчуждения земельных излишков», чреватой новым перераспределительным диктатом бюрократии и социальной нестабильностью, князь предложил ограничиться чисто рыночными мерами: расширением деятельности преобразованного с участием земств Крестьянского банка, введения нового поземельного налога на крупную собственность и т.д. По его мнению, «налог выбросил бы на рынок наиболее слабые в хозяйственном отношении земли и указал бы, что подлежит отчуждению; внимательное изучение особенностей каждого отдельного случая местными общественными учреждениями даст путь, как достигнуть остального».

Впрочем, по мнению Волконского (известного тем, что он никогда не объявлял свою точку зрения единственно верной), вопрос о степени укорененности и популярности идеи частной собственности в России остается открытым: «Если я ошибаюсь, если желание земледельческого населения не заключается в стремлении к частной собственности, — кто так думает, тому надо последовательно идти к национализации земли, но разрешится этот процесс междоусобной войной». Эти слова оказались пророческими: в конечном итоге Россия оказалась разделенной на два лагеря — защитников и ненавистников частной собственности, и кто победил в этой войне — известно.

Поражение в Русско-японской войне вызвало новую волну общественно-политических выступлений. 24 мая 1905 года в Москве, в особняке Ю.А. Новосильцева на Большой Никитской собрался так называемый коалиционный съезд земских деятелей, в котором приняло участие около трехсот человек. Председатель съезда граф П.А. Гейден, ближайший единомышленник Н.С. Волконского, во вступительном слове выразил общее настроение: «Истребление русского флота поразило всю Россию; люди всевозможных политических фракций пришли к заключению, что продолжение существующего порядка более невыносимо и что правительство, виновное перед народом, долее существовать не может». Участники съезда высказали общее недовольство усилением репрессивного курса в стране (буквально накануне полицейский генерал Д.Ф. Трепов получил от императора фактически диктаторские «особые полномочия») и высказались в пользу безотлагательного созыва народного представительства. Несмотря на многие разногласия «партий», по сути, уже сложившихся

в русском освободительном движении, съезду удалось составить «адрес» на Высочайшее имя. В нем выражалась обеспокоенность ситуацией в стране, содержались критика правительственного курса (особенно его «полицейской» составляющей) и призыв к скорейшему созыву народных представителей как единственному способу успокоения страны. «Адрес» стал, разумеется, компромиссом многих разных настроений (по словам одного из участников — «бледной равнодействующей всех желаний»). Радикалы, несколько не верившие в его действенность, считали эту инициативу «исполнением долга», «успокоением собственной совести» и т.д. Похоже, однако, что такие умеренные земцы, как князь Н.С. Волконский (а также близкие к нему Д.Н. Шипов, М.В. Родзянко и др.), напротив, все еще рассчитывали «достучаться до императора» и потому настояли на внесение в итоговый текст ряда поправок, призванных смягчить общую оппозиционную тональность.

И во второй день съезда, при обсуждении вопроса о выборе депутации для вручения царю утвержденного «адреса» (это заседание прошло в особняке В.А. Морозовой), Н.С. Волконский, Д.Н. Шипов и другие умеренные сделали все, чтобы обеспечить демонстративную лояльность государю. Радикалы настаивали на максимально широком составе; Н.Н. Ковалевский, например, предложил избрать в депутацию по два человека от губернии и по одному от города — иначе: «Кто с ней станет считаться?.. Пусть нас хоть нагайками разгонят — я не боюсь нагаек!» В противовес им Д.Н. Шипов заявил: «Спасти Россию может только единение власти с народом. Депутация должна быть составлена так, чтобы Государь мог ее принять... В депутацию нужно выбрать от 3-х до 5-ти лиц...» С аналогичных позиций выступил и Н.С. Волконский: «Если я принимаю участие в этом совещании, то потому, что желаю подать адрес Государю. Поэтому я здесь могу иметь в виду только мою совесть и Государя. Предлагаю выбрать трех депутатов...»

В итоге избрали депутацию из двенадцати человек; вместе с присоединившимися к ней тремя представителями Петербургской городской думы, а также профессором Московского университета князем С.Н. Трубецким она была принята императором в Петергофе 6 июня 1905 года. По общему мнению, эта встреча, хотя и прошла внешне вполне благожелательно, никаких практических последствий не имела. И двор, и либеральная общественность взяли паузу, изговлеваясь к дальнейшему противостоянию.

А пока в либеральной среде шло дальнейшее размежевание. Радикалы (во главе с И.И. Петрункевичем, П.Н. Милюковым, Ф.И. Родичевым) составили затем костяк Конституционно-демократической партии, умеренные шли за Д.Н. Шиповым, П.А. Гейденом, М.А. Стаховичем, Н.А. Хомяковым. В этом противостоянии Н.С. Волконский становится одним из лидеров «умеренных». Земец-практик и специалист по аграрным и финансовым вопросам, он считал главной российской проблемой дезорганизацию хозяйства, а основную опасность видел в нарастающем революционном движении, способном сорвать обещанную царем конституционную

«Правительство делает большую ошибку, испытывая так долго терпение населения...»

реформу. Но вместе с тем понимал, что к социальной дезорганизации ведет не только смута «снизу», но и полицейско-бюрократический курс правительства, некомпетентного и игнорирующего народные нужды. Выход из этого порочного круга Николай Сергеевич и его единомышленники видели в целенаправленных «реформах сверху», воссоздающих в новых условиях то единение власти и общества, которое было характерно для «эпохи Великих реформ» Александра II. Возможность этого умеренные либералы увидели в дарованном Николаем II Манифесте 17 октября 1905 года.

Сторонник конституционной монархии Волконский в ноябре 1905-го стал одним из основателей либерально-консервативной партии «Союз 17 октября». Он регулярно участвовал в заседаниях Петербургского ЦК (собиравшегося иногда по два-три раза в неделю), затем вошел в Московское отделение Центрального комитета, одновременно возглавил Рязанский губернский отдел партии. В те месяцы октябристы главной задачей считали подавление революционной смуты, причем не только военно-полицейскими, но и — главным образом — общественными силами. Они опасались, что курс премьера С.Ю. Витте, которому они тоже не вполне доверяли, может смениться гораздо более репрессивным режимом министра внутренних дел П.Н. Дурново. Подобную «центристскую» тактику, опирающуюся на идею реализации императорского Манифеста и перспективу скорейшего созыва Думы, Н.С. Волконский попытался реализовать и в своей Рязанской губернии. В декабре 1905 года на губернском земском собрании он представил докладную записку, в которой предлагал на земские средства образовать в каждом уезде вооруженные дружины для охраны и защиты помещичьих имений. Большинство голосов его предложение было отвергнуто, хотя и нашло значительное число сторонников. Здесь ярко проявилась политическая доминанта того времени: общество все более поляризовалось на «охранителей», согласных на любые реакционные действия, — и «революционеров», стремящихся к радикальным изменениям. Центристские силы, представленные в том числе и октябристами с их идеей «борьбы общества против революции», в этом противостоянии явно теряли инициативу.

В таких условиях Н.С. Волконский и его коллеги большое значение придавали скорейшим выборам в I Государственную думу, рассчитывая на союз популярных умеренных земцев-практиков и «здравомыслящего», как им казалось, «крепкого крестьянства». Выступая на соединенном совещании Санкт-Петербургского и Московского отделений ЦК «Союза 17 октября», созванном 8–9 января 1906 года в преддверии общепартийного съезда, Н.С. Волконский объявил о необходимости «возможно скорее приступить к выборам в Думу, особенно от крестьян». «Правительство делает большую ошибку, испытывая так долго терпение населения, — говорил он. — Если в начале апреля Дума не будет созвана, волнения снова могут усилиться. Многочисленные аресты людей, иногда ни в чем не виновных, вызывают недовольство населения».

Чем раньше пройдут выборы в Думу, тем больше шансов имеют умеренные партии, полагал князь — и был глубоко прав: задержка с созывом народного представительства с каждым днем усиливала позиции радикалов. Отмечая, что «деревню мало волнуют газетные известия о политических беседах графа Витте и весь интерес сосредотачивается на вопросе земельном», Волконский призвал лидеров октябристов обратить особое внимание на земельный вопрос, по которому партии «нужно сказать больше, чем было высказано до сих пор». Он подчеркивал: «Необходимо самим себе выяснить всю трудность и сложность вопросов и разъяснить это крестьянам. Желательно, чтобы местными отделами „Союза“ были доставлены съезду точные сведения и фактический материал, освещающие положение вопроса в той или другой местности». Победить в избирательной кампании левую демагогию по крестьянскому вопросу можно, только опираясь на очень точное и конкретное знание предмета.

Выборная кампания октябристов в Рязанской губернии проходила в обстановке острого соперничества с кандидатами от более радикальной Конституционно-демократической партии, взявшими на вооружение идеи принудительного отчуждения помещичьих земель и скорейшего созыва Учредительного собрания. С ними князь Волконский и его единомышленники полемизировали еще на первых земских съездах. Имея явное преимущество над кадетами на съездах крупных землевладельцев, октябристы существенно уступали им в городских избирательных собраниях. Позиция крестьян, за которыми, согласно новому законодательству, закреплялась существенная квота выборщиков, была неустойчивой. Опасаясь возможности забаллотировки выборщиками от крестьян всех иных кандидатов (в том числе и октябристов), Волконский одно время вел переговоры о коалиции в губернском избирательном собрании с рязанскими кадетами. Однако их лидер А.К. Дворжак от этого альянса уклонился: общим кадетским принципом на выборах в I Думу было «блокирование налево», с радикальными крестьянскими элементами в целях победы над «сторонниками режима», к которым кадеты теперь относили и октябристов.

Эта тактика, как известно, в целом по России принесла успех: блок кадетов и более левых «трудовиков» определил лицо I Думы. Большинство октябристских кандидатов (даже таких ярких и заслуженных, как Д.Н. Шипов, А.И. Гучков, М.В. Родзянко) потерпели поражение. Однако были исключения: в Пскове, Орле, Саратове в Думу сумели пройти некоторые лидеры умеренных земцев — соответственно граф П.А. Гейден, М.А. Стахович, Н.Н. Львов. Исключением стала и Рязанщина: на губернском избирательном собрании октябристам, возглавляемым Н.С. Волконским, удалось не только получить голоса правых и умеренных выборщиков, но и привлечь на свою сторону выборщиков-крестьян. В результате в Рязанской губернии октябристы провели в Думу трех кандидатов из восьми возможных: депутатами стали сам князь Волконский и его коллеги по партии А.В. Еропкин и Н.И. Ярцев.

«Правительство делает большую ошибку, испытывая так долго терпение населения...»

И современниками, и позднейшими исследователями многократно отмечен парадоксальный факт: в I Думе, в отличие от последующих, по существу не было откровенных реакционеров; на «правых скамьях» здесь оказались такие заслуженные земцы-конституционалисты, как граф Гейден, орловский губернский предводитель Стахович, князь Волконский. Кадетско-трудовическое думское большинство считало парламентскую активность этих депутатов лишь досадной помехой в победном, как тогда казалось, наступлении народных представителей на ретроградную власть. Но существует и иная оценка. Один из кадетских лидеров, депутат II–IV Дум В.А. Маклаков, правда уже в эмиграции, пришел к нестандартному выводу: по его мнению, именно Гейден, Стахович и Волконский пытались защитить в I Думе подлинно либеральную и конституционалистскую позицию.

Конечно, в этом смысле граф П.А. Гейден и М.А. Стахович были в I Думе наиболее яркие и активны. Однако и нередкие выступления их единомышленника князя Н.С. Волконского (получившего за свою неприязнь к явным и скрытым социалистам прозвище «сердитый князь») также сыграли свою роль и по праву должны войти в историю русского конституционализма.

На одном из первых заседаний, 2 мая 1906 года, обсуждалась необходимость потребовать от властей немедленной и полной амнистии; некоторые левые аргументировали срочность этого вопроса тем, что царь, мол, может опередить думцев. Слово для короткой реплики попросил Н.С. Волконский: «Тут было сделано еще одно заявление: а ну-ка Государь даст амнистию без нас... Да сделайте милость! Надо будет благодарить за это судьбу, и если это будет сделано сейчас, не по нашему собственному почину, а будет сделано правительством, то, мне кажется, кроме благодарности, ничего за это сказать нельзя. Остается только порадоваться...» Однако эта вполне разумная реплика «сердитого князя» нисколько не изменила позицию нетерпеливых радикалов.

Главное выступление Н.С. Волконского в I Думе состоялось 18 мая 1906 года и было посвящено аграрному вопросу. Собственно, это был принципиальный содоклад от немногочисленной группы умеренных, продолжающих активно оппонировать проектам передачи в аренду крестьянам экспроприированной земельной собственности как якобы единственному способу социального умиротворения в стране.

В самом начале своей развернутой речи Волконский согласился с тем, что значительное большинство крестьянства видит в недостатке земли главный источник своих бедствий. «Ставя себя в положение нашего крестьянина, я уверен, что я думал бы то же самое, что и он, и приписывал бы недостатку земли все мои бедствия». Но в том-то и дело, заметил он далее, что народные избранники, собравшиеся в зале Думы, должны смотреть на проблему глубже, осмыслить ее рационально и найти верное решение, а не просто идти за массовым нетерпением. Оратор обратил внимание на одно интересное обстоятельство, которое исследовал очень внимательно — и как землец-практик, и как профессиональный историк: массовые крестьянские выступления, грабежи и поджоги имели место

вовсе не там, где малоземелье особенно чувствительно. Например, одним из очагов крестьянских бунтов стал Балаковский уезд Саратовской губернии (родной уезд друга и единомышленника Волконского — депутата Н.Н. Львова). При этом крестьяне имели там в два раза больше земли, чем в родном для Волконского Раненбургском уезде Рязанской губернии, где, напротив, ситуация в целом осталась спокойной. Вывод должен был неприятно задеть левую часть Думы: «Эти грабежи были вызваны особой агитацией, этой страстью к земле воспользовались люди, для того чтобы поднять одну часть населения против другой. Поэтому движение было особенно сильно не там, где всего сильнее нужда в земле, а там, где были налицо такие люди, которые могли поднять население».

Следовательно, справедливый призыв изыскать возможности увеличить крестьянские наделы не должен превратиться в беспочвенную демагогию: во многих районах существенно «прирезать землю» просто невозможно. Согласно профессиональным расчетам Волконского, даже если взять все пахотные земли Рязанской или Тамбовской губерний, включая помещичьи и церковные, и разделить их ровно между всеми земледельцами («всех крестьян взять и рассадить, как картофель, по всей губернии»), прибавка к крестьянскому хозяйству окажется мизерной — не более одной десятины на каждую душу мужского пола.

Вызовом прозвучал и другой тезис: «У наших земледельцев все-таки больше земли, чем у земледельцев любой другой страны Европы; там от этого недостатка не страдают, не страдают потому, что там земля приносит больше». Поэтому важной национальной задачей должна стать не только проблема малоземелья, но и проблема повышения производительности земли. А учитывая, что помещичьи хозяйства пока раза в два продуктивнее крестьянских, их разорение приведет к деградации национальной экономики: «Нельзя разрушать те хозяйства, которые много приносят, и создавать такие, которые мало приносят».

Какие же меры предложил Думе сам выступавший? В основе его предложений лежали два принципа: учет конкретной местной специфики и передача земли в частную собственность, а не в аренду. «Дайте крестьянину в собственность десятин 10 пустыря, — говорил Волконский, — и через 10 лет он из них сделает 10 десятин огорода, а сдайте ему в аренду эту землю, поставьте еще чиновника, который бы смотрел за тем, кто будет обрабатывать эту землю, сам ли хозяин или, может быть, не батрак ли, то из 10 десятин огорода получите 10 десятин пустыря». Поэтому в тех районах, где есть возможность «прирезать землю» крестьянам, это следует сделать, используя все инструменты государства: «Прирезать придется, конечно, на счет государства, и взять эту землю тут же, возле, если добром можно, то добром, а если не добром, то и принудительно... И, отпуская с приданым, сказать: „Ступайте, работайте на своей земле, отвечайте во всем сами за себя: хорошее будет хозяйство — твое дело, плохое хозяйство — на себя пеняй!“» В тех же местах, где существенно добавить земли невозможно, необходима планомерная работа по переселению крестьян

«Правительство делает большую ошибку, испытывая так долго терпение населения...»

на свободные земли, которые также должны быть им переданы в полную частную собственность.

Еще одним способом расширения крестьянских наделов могла бы стать продажа помещиками их земель. Собственно, этот процесс уже активно шел: по подсчетам Волконского, после реформы 1861 года в Рязанской губернии в руках старых владельцев осталась примерно половина земель, и половину из проданного приобрели именно крестьяне. «Если такая масса земель уже теперь переходит к крестьянам, — заметил Волконский, — то при большей поддержке государства перейдет еще больше». Он рассказал, что у себя в волости уже произвел некоторые подсчеты: «Мне, например, из 1200 десятин придется уступить 500. Придется купить у священника немножко, и он согласен продать, и т.д. — устроиться можно». Согласно предложению депутата, землевладельцев, имеющих менее трехсот десятин, следует вообще оставить в покое, а более крупные собственники вполне могут уступить примерно треть своих земель. При этом земельные излишки можно не только продавать, но и обменивать: «Отчего казне не прибегнуть вместо отчуждения покупкой — к обмену? У государства есть много мест и земель, которые в переселенческом деле для крестьян не годятся, потому что требуют больших затрат капитала, например лесные пространства, горные; между тем человеку с капиталом они очень пригодятся, и если бы помещику предоставлено было право в некоторых случаях меняться, то на земли, может быть, иногда не крестьяне переселялись бы, а помещики. Я бы первый, пожалуй, отдал свои 1200 десятин в Тамбовской губернии и выселился бы. А она бы очень пригодилась».

Важным элементом крестьянской реформы могла бы стать и ликвидация наиболее архаических форм общинного землевладения, тормозящих развитие национального хозяйства. «Если крестьяне какого-нибудь общества пожелают продолжать владение землей сообща, пусть составят договор о том, и пользование этой землей будет уже определяться из этого договора. Без договора, как теперь, по обычаю, общинное землевладение не должно быть более допустимо».

Общий стиль этого выступления напоминал речь мудрого сельского старосты и захватил внимание многих слушателей, почувствовавших в ораторе прекрасное знание предмета. Но, судя по стенограмме, немало нашлось и таких, кто старался перебить и остановить его криками «Довольно, довольно». Концовку своей речи Волконский явно сократил. Но расстроен, судя по всему, не был. Во-первых, главное он успел сказать, заронив многие сомнения в головы думского большинства, и в первую очередь здравомыслящих крестьян. А во-вторых, он знал, что в зале у него есть сильный союзник, который уже записался в очередь на выступление по аграрному вопросу.

Действительно, на следующий день, 19 мая, его активно поддержал саратовский депутат, бывший кадет Н.Н. Львов. После необходимых слов о том, что он, конечно, признает необходимость увеличения площади кре-

стьянского землевладения и для достижения этой цели допускает отчуждение частновладельческой земли, один из самых блестящих ораторов первых российских парламентов перешел в наступление на предложенный от имени думского большинства проект аграрной реформы.

«Я самым решительным образом расхожусь с началами предлагаемой нам схемы аграрной реформы, — заявил Львов. — Я отвергаю ее, так как она направлена, по моему убеждению, не на поднятие благосостояния населения, а на осуществление абстрактной теории, не только не на пользу, а во вред крестьянству и общему благу страны». Так же как когда-то на земском совещании это сделал Н.С. Волконский, он назвал главной идеей кадетского проекта фактическую национализацию земли: «Правда, само слово не названо, но сущность ее проведена с известной последовательностью».

Завершилась эта речь чрезвычайно сильным пассажем: «Для того чтобы такой закон провести в жизнь, нужна страшная власть. В Петербурге вы должны создать огромную земельную канцелярию, которая измеряла бы, распределяла, переселяла из одного конца России в другой, изрезывала бы всю Россию на продовольственные квадраты. В каждом уголке для такой коренной ломки всего хозяйственного быта вы должны держать целый штат чиновников... Для таких задач, для такой ломки жизни вам нужна не Государственная дума, а диктатура, власть деспотическая! Бойтесь деспотизма, вашего собственного деспотизма, бойтесь самого худшего из них — деспотизма голых формул и отвлеченных построений!» «Аплодисментов» по окончании выступления Львова в стенографическом отчете не отмечено — слушатели, судя по всему, были потрясены.

Итак, влияние князя Н.С. Волконского на эволюцию идей Н.Н. Львова несомненно. Столь близкие по духу и аргументации выступления в Думе еще более сплотили их, хорошо знакомых со времен кружка «Беседа» и первых земских съездов. Теперь, в последние недели работы I Думы, Волконский вместе с Львовым (а также гр. П.А. Гейденом и М.А. Стаховичем) активно обсуждали планы создания самостоятельной партии, свободной как от левых предрассудков кадетизма, так и от проправительственных обязательств октябризма.

Свою принципиальную позицию по вопросу об аграрной реформе Николай Сергеевич еще раз подтвердил на думском заседании 5 июня 1906 года, когда подводились итоги общей дискуссии: «По моему мнению, во-первых, крестьяне должны получить землю в собственность, а не аренду... Я не задаюсь теориями. По-моему, этот вопрос гораздо легче решить на местах, чем приступать к общей формуле. (Редкие аплодисменты.)»

А на следующий день, 6 июня, при обсуждении проекта закона о гражданском равенстве, князь Волконский еще раз предельно точно определил свое кредо политика и депутата, сделав акцент на необходимости здравомыслия и практичности в законодательной работе: «Я никогда законодателем не был и дальше скромной деятельности в земских собраниях в этом отношении не шел, но и там, всякий раз, когда предлагались какие-

«Правительство делает большую ошибку, испытывая так долго терпение населения...»

нибудь меры, я находил, что надобно прежде всего сознательно отнестись к ней и не только оценить ее с точки зрения принципа, но и взглянуть на всю совокупность тех факторов, которые вызывают применение этого принципа на деле. Если мы желаем отменить какое-нибудь зло, нам надо, чтобы это зло представилось нам фактом, каким оно существует на деле».

Между тем недолгое существование I Думы подходило к концу. 19 июня левое большинство устроило обструкцию Главному военному прокурору, генерал-лейтенанту В.П. Павлову. Собственно, волнение в зале началось еще во время речи министра юстиции Щегловитова; шум еще более усилился, когда от имени морского министра выступал военно-морской прокурор Н.Г. Матвеев. А когда председатель Думы С.А. Муромцев объявил было, что от имени военного министра выскажется Павлов, и тот направился к трибуне, поднялись такие свист и топот, что оратор вообще не смог говорить. Муромцев хладнокровно (и, как представляется, с полным пониманием настроений депутатов) прервал заседание на один час. После перерыва сравнительно гладко прошло выступление еще одного представителя правительства — заместителя Столыпина по Министерству внутренних дел А.А. Макарова... А потом представители радикальных фракций стали наперегонки записываться для выступлений «по порядку ведения». Обструкцию «кровавому палачу Павлову» постарались ярко обосновать и лидеры «трудовиков» Аникин и Аладьин, и видный социал-демократ Рамишвили, и кадет Винавер. Единственными, кто попытался призвать депутатов к корректности по отношению к представителям правительства, были граф Гейден и князь Волконский.

П.А. Гейден был, как всегда, очень спокоен: «Я думаю, что главная беда нашего прежнего порядка есть превращение личной воли в закон... Я придерживаюсь того правила, что новый порядок надо вводить новыми приемами — глубоким уважением к закону и даже к личности своего врага». Гораздо более возбужденным выглядел Николай Сергеевич: «Господа, если тот минимум требований, который должен удовлетворить всякого говорящего на этой кафедре, будет зависеть от усмотрения лиц, сидящих там (указывает на левую сторону), или каких бы то ни было групп, или даже всей Думы, а не закона, то Дума будет неспособна; нынче вы сгоните одного, а завтра другого, и работа станет невозможной, и вместо порядка, для которого мы созваны, вы зальете страну такой кровью, какой она еще не видала. (Шум.) Я глубоко протестую против этого. (Шум.)»

Последнее выступление князя в I Думе состоялось 4 июля, совсем незадолго до роспуска. Он, по-видимому, предчувствовал, что прямое обращение депутатов к населению по аграрному вопросу (к чему склонялось думское большинство) может дать властям удобный повод для роспуска народного представительства, и просил не разжигать страсти, воздержаться от деклараций и найти иные способы информировать граждан о позиции депутатов. Собственно, все так и случилось, как предупреждал

НИКОЛАЙ
СЕРГЕЕВИЧ
ВОЛКОНСКИЙ

Между тем умеренная позиция депутата Волконского вызвала серьезное недовольство многих его рязанских избирателей, значительно полевевших за эти месяцы. Так, жители села Новики Спасского уезда прислали в Думу свой «крестьянский приговор», в котором писали: «Постановили выразить князю Волконскому наше негодование за то, что он не стоит за народ. Мы еще больше будем презирать его, если увидим, что он не войдет в трудовую группу». В другом «приговоре» — крестьянского схода Кузьминской волости Рязанского уезда — говорилось: «Князь Волконский в Думе интересы крестьян не отстаивает, трудовому крестьянству в его нужде не сочувствует... Поэтому и мы его взглядам и направлению тоже не сочувствуем».

Надо добавить также, что во времена I Думы и сразу после ее роспуска сам князь и другие рязанские думцы-октябристы старались удержаться на либеральном фланге собственной партии, в то время как внедумское большинство ЦК склонялось к сотрудничеству с правительством. Поэтому рязанские либералы во главе с Н.С. Волконским (который наверняка прислушивался к голосу своих полевевших избирателей) поначалу поддерживали идею лидеров думских умеренных — графа П.А. Гейдена и М.А. Стаховича, а также отошедшего от кадетов Н.Н. Львова — создать новую, либерально-центристскую Партию мирного обновления. На заседании ЦК «Союза 17 октября» 29 июня 1906 года князь мотивировал это прагматическими соображениями: «Принадлежащие к Союзу крестьяне — члены Думы понемногу отпадают от него... Крестьяне все более убеждаются, как важно и выгодно идти заодно с сильной партией. Иметь дело с „Союзом 17 октября“ они стесняются, в его помещение ходить боятся, его представителей сторонятся. Партия мирного обновления возникла в большой мере, чтобы дать возможность сгруппироваться вокруг нового имени, которого не будут стесняться».

Вскоре, однако, под воздействием быстро меняющейся политической обстановки, Николай Сергеевич возвратился в лоно классического октябризма. Скорее всего, набирающий в партии силу энергичный А.И. Гучков (во многом близкий князю: тоже выпускник истфака Московского университета, тоже учился в Берлине и Вене), а также такие умеренные октябристы, как Н.А. Хомяков, С.И. Шидловский и В.М. Петрово-Соловово, были ему все-таки ближе. Большое значение имело и то, что новым главой российского правительства стал П.А. Столыпин, в значительной степени разделявший общественные воззрения Волконского.

В конце 1906 года рязанские октябристы активно включились в избирательную кампанию по выборам во II Думу. 30 декабря на собрании Рязанского отдела партии по предложению Н.С. Волконского избрали особое «выборное бюро» из десяти человек, которому поручалось руководство предстоящей кампанией. По сравнению с более левыми партиями октябристы имели заметное преимущество — полную свободу предвыборной агитации. Однако в Рязанской губернии дело для них закончилось полным поражением: ни один из кандидатов в новую Думу не попал. По-

«Правительство делает большую ошибку, испытывая так долго терпение населения...»

бедил объединенный блок кадетов и левых: наиболее уязвимым местом октябристов стала как раз их умеренная позиция по аграрному вопросу в предыдущей Думе.

Что касается III Государственной думы (для избрания в нее Волконский сложил с себя полномочия выборного члена Государственного совета от рязанского земства), то в ее стенографических отчетах фамилия князя встречается многократно. Кстати, учитывая, что в эту Думу попали и другие князья Волконские (в том числе младший брат Николая, Сергей Сергеевич, выпускник юридического факультета Петербургского университета, видный общественный деятель Пензенской губернии), Николай Сергеевич получил «по старшинству» думское имя «Волконский 1-й».

По сравнению с I Думой положение Н.С. Волконского изменилось кардинальным образом. На основании нового избирательного закона, давшего преимущество на выборах «цензовым элементам», соратники князя по партии октябристов получили теперь преобладающие позиции, а председателем был избран его старинный друг — общественный деятель из Смоленской губернии Н.А. Хомяков.

Наиболее серьезной темой, по которой «князь Волконский 1-й» выступал в III Думе, стали проблемы народного образования. В январе 1910 года произошла схватка между ультраправыми депутатами, поддерживавшими охранительный курс Министерства просвещения, и реформаторами, которых в Думе возглавили октябристы — профессор В.К. фон Анреп (председатель профильной думской комиссии) и князь Н.С. Волконский. Дело в том, что правительство, проведя ранее ряд мер по ужесточению правил университетского образования, не торопилось возвращать университетам отобранные права и затягивало внесение в Думу нового университетского Устава. Умеренно-либеральное октябристское большинство (которое в данном случае из тактических соображений поддерживали кадеты и левые) настаивало на разработке и принятии хотя бы «временных правил», обеспечивающих расширение прав университетской молодежи. В ходе острой дискуссии Николай Сергеевич активно выступил за необходимость скорейшего введения «временных правил», защищая тезис, что «этого требуют интересы общества». Однако разумное и весьма взвешенное выступление князя буквально взорвало думских ультраправых.

Первым выскочил на трибуну их лидер курский депутат Н.Е. Марков (Марков 2-й) и с жаром произнес: «Я взошел на эту трибуну, чтобы возразить князю Волконскому 1-му. Он тут заявил, что то законодательное предположение, которое левые объявляют с большой смелостью своим сочинением, должно быть принято только потому, что оно будет якобы отвечать запросам общества. Я заявляю князю Волконскому, что требованию того общества, которому он желает подчиняться и по требованию которого он желает плясать, мы не будем подчиняться. Мы признаем волю народа, а воля народа выше воли вашего жидовского общества. (Рукоплескания справа и голоса: браво!)»

Вослед Маркову выступил другой черносотенец, член Главного совета Союза русского народа Ф.Ф. Тимошкин, и тоже грубо возразил Волконскому относительно «потребностей общества»: «Народная потребность, господа, потребность русского народа заключается в том, что наши высшие учебные заведения переполнены иудеями и инородцами, а русским туда доступа нет. (Рукоплескания справа и голоса: верно! bravo! долой жидов с Милюковым вместе!)» Впрочем, лидеры октябристского большинства, поначалу, по-видимому, несколько растерявшиеся, достаточно быстро овладели положением, и Дума подавляющим числом голосов постановила желательной выработку «временных правил».

В политической биографии Н.С. Волконского, истинного центриста, неоднократно возникали ситуации, когда в один день его яркое думское выступление вызывало аплодисменты «слева» и свист «справа», а назавтра происходило ровно наоборот. Так случилось в январские дни 1910 года. Сначала левые депутаты (трудовики, социал-демократы) активно поддержали «демократизм» князя в отношении университетской реформы. А буквально через несколько дней, при обсуждении вопроса о необходимости имущественного ценза для местных судей, устроили ему обструкцию. Волконский всегда был сторонником имущественного ценза для занятия всех выборных должностей. По его мнению, только наличие собственности способно сформировать надежное гражданское мировоззрение, позволяющее ответственно отправлять общественные функции. Эта позиция, будучи открыто им высказанной на заседании 22 января 1910 года, и вызвала бурное недовольство на скамьях левых депутатов.

Однако в III Думе Н.С. Волконский запомнился и такими эпизодами, когда одна его меткая реплика разряжала межпартийную конфронтацию, как, например, в ходе заседания 3 июня 1908 года. Депутаты утверждали устав Московского народного университета им. Шанявского. Ультраправый Марков 2-й предложил поправку, согласно которой в Совет попечителей университета не могли избираться лица, ранее осужденные. За поправку выступил и другой лидер правых — Г.Г. Замысловский. Все прекрасно понимали, что речь в первую очередь идет об общественных деятелях, ранее осужденных за подписание «Выборгского воззвания», и даже еще более конкретно — о бывшем председателе I Думы С.А. Муромцеве. Ситуация перед голосованием сложилась не вполне определенная: доминирующие в Думе октябристы не хотели подыгрывать правым, но и не находили достаточно аргументов, чтобы отклонить поправку. В конце дискуссии слово взял Волконский 1-й: «Господа, существует русская поговорка: от сумы да от тюрьмы не зарекайся. (Рукоплескания в центре и слева.) Мудрая поговорка, сколько почтенных людей попадало в тюрьму! Закон покарает, кого ему нужно; что же касается оценки сверх закона — предоставим это тем, кто будет выбирать попечителей, или они глупее нас, что ли? А в такой степени злобствовать, чтобы преследовать постановлением Думы, — стыдно! (Шумные рукоплескания слева и в центре.)» В итоге поправка Маркова-Замысловского была отклонена подавляющим большинством голосов...

«Правительство делает большую ошибку, испытывая так долго терпение населения...»

В феврале 1910 года Н.С. Волконский выступал в Думе особенно активно. Его всегда уместные и точные реплики зафиксированы в стенографических отчетах за 3, 12, 18 февраля. 20-го числа он записался с большим выступлением в дискуссии по смете отлично ему знакомого Министерства внутренних дел, но решил отказаться, чтобы не затягивать прения. Вечером участвовал в работе Комиссии по местному самоуправлению, а на следующий день уехал в Москву.

22 февраля 1910 года действительный статский советник князь Н.С. Волконский скоропостижно скончался в своей московской квартире в Гранатном переулке в возрасте 62 лет. На следующее утро председательствующий на пленарном заседании Думы (по иронии судьбы — однофамилец, князь В.М. Волконский) объявил о кончине заслуженного депутата. Коллеги почтили память Николая Сергеевича вставанием, а в четыре часа пополудни в церкви Таврического дворца была отслужена панихида.

Князя Н.С. Волконского похоронили в родовом склепе при храме Боголюбской Божьей Матери в селе Зимарово Раненбургского уезда Рязанской губернии.

Константин
Могилевский,
Кирилл
Соловьев

НИКОЛАЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
ХОМЯКОВ

**«Выполнить тяжелую
государственную работу
на почве законодательного
строительства...»**

«Родился у меня сын Николай. Назвал по Языкову, крестный отец Гоголь (тоже Николай), родился в именины Жуковского. Если малый не будет литератором, не верь уже ни в какие приметы. Судя по физиономии юноши, полагаю, что он больше будет писателем в роде юмористическом...» Так в начале 1850 года известный русский философ, литератор и общественный деятель Алексей Хомяков писал своему собрату по перу А. Вевитинову.

Приметы не сбылись. Н.А. Хомяков не стал писателем, да и вообще найти какой-либо текст, им написанный, — большая проблема. Сам он говорил, что «поэтических талантов от отца не унаследовал, в жизни ни разу рифмы не мог подобрать». А вот врожденное «юмористическое чувство» отец распознал по младенческой физиономии сына совершенно точно. Когда современники, уже после смерти Николая Алексеевича в 1925 году, пытались выделить его характерные черты, то в первую очередь отмечали «природный хомяковский юмор». Высокий, физически сильный, он был очень добродушным человеком, практически никогда ни с кем не ссорился, на него никто не мог долго сердиться. Легкая картавость, которая в семье передавалась из поколения в поколение, придавала его речи особый шарм.

Судьба выдвинула этого типичного русского барина на арену общественной жизни, бурлившую в России начала XX века. Но, хотя Н.А. Хомяков стал одним из самых крупных политиков, никакой молвы о нем никогда не распускали. Человек без всяких личных амбиций, он представлял собой необычный тип деятеля столь крупного масштаба...

Николай Алексеевич Хомяков родился 19 января 1850 года в Москве. Он — последний ребенок А.С. Хомякова и его жены Екатерины Михайловны (урожденной Языковой, сестры поэта). До него у Хомяковых было еще восемь детей: три сына (двое умерли в 1838 году) и пять дочерей. В памятной книжке Алексея Степановича сохранилась запись: «1850-го года января 19-го родился Николинъка, в третьем часу утра».

Семья владела двумя большими имениями. В Смоленской губернии располагалось имение Липицы Сычевского уезда, со старинной усадьбой,

большим двором, винокуренным заводом и живописным парком; в Белецком уезде — село Степаньково, с маленькой усадьбой и знаменитым в округе винокуренным заводом. Имение Каргашино в Каширском уезде Тульской губернии тоже включало в себя несколько различных заводов. Этим владения Хомяковых не ограничивались — были еще небольшие деревни в Ярославской и Калужской губерниях, а также знаменитый московский дом на Собачьей площадке. Летом, как правило, жили в Богучарове Тульской губернии: оно больше нравилось матери Алексея Степановича и к тому же находилось ближе к Москве.

В 1852 году умерла Екатерина Михайловна, а в 1860-м — и Алексей Степанович. После этого Николая воспитывали старшие сестра и брат. Жили они в Москве на Собачьей площадке (примерно на углу современного Нового Арбата и Борисоглебского переулка). В этом доме в 1830–1840-х годах собирался славянофильский кружок: Аксаковы, Киреевские, Самарины. Дом являлся центром общественной мысли, и трудно назвать человека из тогдашней культурной элиты страны, который бы там не бывал. Заходили Герцен и Грановский, имелся в доме свой любимый уголок и Пушкина. (После революции в нем разместился музей дворянского быта; он пользовался такой популярностью, что это чуть не спасло от уничтожения всю Собачью площадку. Но в 1962-м, при строительстве Калининского проспекта, дом все-таки снесли.)

В 1874 году Н.А. Хомяков окончил юридический факультет Московского университета — оттуда вела прямая дорога на государственную службу. Однако такая карьера его не прельщала. Материальных затруднений он не испытывал — на долю младшего брата пришлось имение в Сычевском уезде. Поэтому молодой человек бездельничал, не испытывая в связи с этим никаких неудобств. Через год после окончания университета он женился на Н.А. Драшусевой (Драгиусовой) — дочери профессора астрономии; у них родилось четверо детей — три девочки и мальчик.

В 1877 году началась война с Турцией. Общественный подъем был огромным. Мало нашлось людей, которые не считали своим долгом хоть как-то поучаствовать в деле освобождения славян. Николай Алексеевич вошел в состав санитарного отряда московского дворянства. Там же оказался будущий лидер кадетов П.Н. Милюков. В 1925 году, в связи со смертью Хомякова, он написал статью, в которой рассказал об этой их первой встрече. Летом 1877 год отряд стоял в Закавказье, в городе Сураме. Н.А. Хомяков был в отряде уполномоченным, а выпускник гимназии Милюков вместе с молодым князем Н.Д. Долгоруковым заведовали хозяйством отряда. «Хомяков, к нашему большому удивлению — больше, чем неудовольствию, — значительную часть дня пролеживал на кровати. Зной действительно стоял страшный, и я сохранил воспоминания, как о настоящем мученичестве, о моих поездках в раскаленный Тифлис за деньгами для отряда».

На память о военном времени у Хомякова остались два ордена. Один из них, Святого Владимира 4-й степени, ему вручили за присутствие в соста-

ве санитарного отряда при штурме Карса. Более чем через двадцать лет, когда Николай Алексеевич стал председателем Государственной думы, сербы вспомнили об этом героическом эпизоде его карьеры и наградили орденом Саввы 1-й степени.

Вернувшись с войны, Хомяков поселился в Липицах и в 1880 году стал уездным предводителем дворянства — это и явилось началом общественной деятельности. Через шесть лет он становится уже губернским предводителем, оставаясь в должности целых десять лет. Хомякова избирали четыре раза подряд, пока министр земледелия А.С. Ермолов не пригласил его занять пост директора Департамента земледелия своего министерства. Он принимал участие в заседаниях Сельскохозяйственного совета, и К.Ф. Головин, также участвовавший в работе совета, вспоминал, что Николай Алексеевич «обладал в высокой степени даром красно говорить. Дикция его была превосходна, с огоньком, и речи его произносились на благодарную тему, что у земства руки связаны правительством, которое само ничего плодотворного не принимает». По выражению того же Головина, Хомяков был «администратором нового типа, чуждым всякой услownости и напыщенности».

Новый директор Департамента земледелия внес большие изменения в его деятельность. В 1899 году был учрежден институт правительственных инспекторов. Как много лет спустя вспоминал Н.Н. Львов, Хомяковым «была создана широкая агрономическая организация, где работа правительственных уполномоченных была связана с деятельностью местных органов самоуправления, в результате чего установилось самое плодотворное сотрудничество земства и правительства, давшее такой высокий подъем в области сельскохозяйственной помощи населению».

И все же Н.А. Хомяков не отличался большой административной энергией, бюрократический стиль управления был ему чужд, и в министерстве он себя чувствовал не в своей тарелке. Еще в 1900 году он говорил председателю Московской губернской земской управы Д.Н. Шипову о своем желании сложить должность директора департамента. Наконец в 1902-м ему удается сбросить нелюбимое бремя, и он с радостью возвратился в родную Сычевку: «Да так бы и не уехал оттуда, если бы не эта политика».

Николай Алексеевич так впоследствии комментировал свою отставку: «Канцелярская служба не по мне или я не по ней, как хотите. Мертвое это дело, канцелярия. А тут еще начались гонения на лесной департамент, борьба нашего министерства с министерством финансов. С.Ю. Витте был тогда в полной силе, а наш А.С. Ермолов как-то все ему уступал... Выходило, что мы были в каком-то подчиненном положении у Витте, а это было очень неприятное сознание. Я не выдержал и бросил службу. Но с А.С. Ермоловым я и посейчас в самых хороших отношениях, в самых дружеских...»

Хорошие отношения сохранились у бывшего директора и с другими сослуживцами. 22 сентября 1910 года он получил от них телеграмму: «Дорогой Николай Алексеевич! Уполномоченные по сельскохозяйственной

«Выполнить тяжелую государственную работу на почве законодательного строительства...»

части, собравшись дружной семьей, шлют Вам горячий привет, вспоминая Ваши труды по учреждению института уполномоченных, и искренно уверяют, что основы, положенные Вами, живы и до настоящего времени».

Как и подобает прирожденному общественному деятелю, Хомяков не остался в стороне от земского движения и вновь был избран предводителем уездного дворянства. «Своего предводительства, — говорил он, — не брошу, ни за что не брошу». Смоленская губерния отвечала взаимной любовью; по словам Н.Н. Чебышева, «она носила его на руках». Хомяков присутствовал практически на всех земских съездах, его приглашали на разнообразные совещания. Как и многие другие земцы, с начала Русско-японской войны Николай Алексеевич принял активное участие в помощи раненым, с 1904 года став главноуполномоченным объединенного дворянства по Красному Кресту.

Хомякова почитают умеренным и консервативным: он стоит на правом фланге либеральной оппозиции. И в 1905 году, когда возникли политические партии и не вступить в какую-нибудь из них считалось признаком дурного тона, он, естественно, конституционным демократам предпочел «Союз 17 октября», более того, оказался одним из отцов-основателей октябризма. Н.А. Хомяков возглавил смоленское отделение партии, вошел в ЦК «Союза 17 октября»; в 1906 году был выбран в Государственный совет — верхнюю палату российского парламента. А в 1907-м сложил с себя обязанности члена Государственного совета в связи со своим избранием депутатом Государственной думы второго созыва. Хомяков стал председателем фракции октябристов, а также возглавил Комитет объединенных умеренных и правых партий. Он даже выдвигался на пост председателя II Думы — его кандидатура набрала 91 голос. И все же большинство проголосовало тогда за кадета Ф.А. Головина.

Политическая философия Н.А. Хомякова своеобразна; внутренне неоднородная, при этом она оставалась чуждой догматизму и закостенелости. Развитие местного самоуправления не противоречит принципу самодержавия — такова основная идея политика, по крайней мере до 1905 года. В 1901-м, на совещании земцев, посвященном обсуждению текста записки в адрес императора, Хомяков оказался, по сути дела, единственным, кто поддержал проект видного деятеля Д.Н. Шипова. Сама мысль составить записку пришла тому во время беседы с Хомяковым, так что Николай Алексеевич первым ознакомился с планом председателя Московской земской управы. В тексте, который предложил Шипов, указывалось: «Бюрократический строй, прикрываясь стремлением охранять самодержавие, но в действительности разобщая царя с народом, создает почву для проявления административного произвола и личного усмотрения. Такой порядок лишает общество необходимой уверенности в строгой охране законных прав всех и каждого и подрывает уважение к правительству». Для исправления недостатков существовавшей системы управления важно восстановить доверие общества к власти. Это возможно лишь при свободном и тесном общении самодержца и народа. Для достижения такого

«общения» необходимо гарантировать свободу совести, мысли и слова, а также привлечь избранных представителей общественности к законотворческой деятельности.

Одни участники совещания (как Ф.Д. Самарин) сочли «шиповский проект» слишком радикальным; другие (например, С.Н. Трубецкой), наоборот — слишком умеренным. Третьи (П.Д. Долгоруков, Р.А. Писарев) готовы были принять предложенный текст лишь условно, как некий минимальный набор требований. И только Н.А. Хомяков целиком и полностью поддержал проект. Он только пытался придать ему более определенное и деловое выражение, свести его к практическим предложениям.

Николай Алексеевич поддержал Д.Н. Шипова и в 1905 году. Тот, вопреки многим, критиковал символ веры правоверного демократа — прямые, всеобщие, равные, тайные выборы депутатов высшего законодательного собрания — и отстаивал иной принцип формирования Государственной думы: по его мнению, представительное учреждение России должно формироваться из членов земских собраний. Дмитрий Шипов и Николай Хомяков защищали эту позицию на съезде дворянских предводителей в апреле 1905 года. Они же стали инициаторами созыва съезда земских деятелей — противников прямых и всеобщих выборов в Государственную думу, отстаиваемых представителями радикального крыла русского либерализма.

Н.А. Хомяков отвергал любые крайности: радикализм в любой форме был для него неприемлем. Так, в январе 1905 года, на депутатском заседании московского дворянства, Хомяков, вместе с убежденными конституционалистами С.Н. Трубецким и Ф.Ф. Кокошкиным, выступал против ультраконсервативной партии, возглавляемой братьями Самаринскими. Партийный идеолог Ф.Д. Самарин категорически возражал против введения народного представительства: по его мнению, созыв даже Земского собора, обладающего лишь правом законосовещательного голоса, сыграет на руку революционным партиям. На этот раз Николаю Алексеевичу пришлось выступить в несвойственной для него роли оратора. Он страстно, пылко возражал против аргументов консервативного большинства и, как вспоминал сам Самарин, вызвал немалое сочувствие в зале. Пройдет некоторое время, и в марте 1905 года Хомяков, вместе с Д.Н. Шиповым, М.А. Стаховичем, В.И. Герье, П.Н. Трубецким, примет участие в составлении некой политической «записки», против которой опять выступит Ф.Д. Самарин с соратниками. «Борьба с правительством кончена, нужна помощь царю» — утверждали авторы этого документа. Ради достижения единения общества и верховной власти нужно созвать законосовещательное народное представительство, Государственный земский собор.

По одному вопросу мнение Хомякова в корне расходилось с тем, что хором твердило либеральное земство: Николай Алексеевич не был сторонником введения мелкой земской единицы. Он соглашался, что земское здание «не достроено», что оно нуждается в фундаменте, которым должны стать органы местного самоуправления — волостное земство, в настоящее

«Выполнить
тяжелую
государствен-
ную работу
на почве
законодатель-
ного строи-
тельства...»

время отсутствующее. Однако, в отличие от многих своих коллег, он не одобрял всесословный характер подобного учреждения. Либералы радикального направления исходили из необходимости построения единого здания самоуправляющейся России, увенчанного всероссийским представительным собранием и имеющего своим фундаментом сельское и волостное земство. Такой подход подразумевал логично устроенную иерархическую структуру: всесословное уездное земство естественным образом формируется из представителей всесословного волостного, а всесословное губернское — из всесословного уездного и т.д. Это обозначало построение властной вертикали, альтернативной бюрократической иерархии. Иными словами, речь шла о коренной политической реформе, которая предполагала принципиально иную роль земства в системе управления.

Совсем иначе рассуждал Николай Хомяков. Для него земство — институт не политический, а в первую очередь хозяйственный. Соответственно, основная цель реорганизации земства — более точное представительство хозяйственных интересов в органах местного самоуправления, а вовсе не реализация политических амбиций некоторых деятелей. Поэтому в 1903 году он предложил министру внутренних дел В.К. Плеве образовать не мелкую земскую единицу, а крестьянское хозяйственное попечительство.

Для Хомякова земская деятельность не имела ничего общего с политикой, и, следовательно, политический принцип самоуправления народа не мог лечь в основание организации земства. Его структура должна определяться основной стоящей перед ним задачей, насущными хозяйственными вопросами. Земство призвано стать представительством хозяйственных, имущественных интересов, имевших место в данной губернии или уезде. Разговоры о всесословной волости, рассуждал Николай Алексеевич, лишь уведут в сторону от наиболее важного вопроса: крестьянские интересы в земстве в настоящее время не представлены. Дабы разрешить эту проблему, необходимо в принципе изменить способ формирования уездных земских собраний. Они должны формироваться из представителей городов, крупного землевладения и предполагаемых Хомяковым хозяйственных попечительств, объединяющих крестьянские хозяйства. Таким образом, вместо всесословной мелкой земской единицы необходимо ввести сословные, крестьянские хозяйственные попечительства.

Согласно проекту Н.А. Хомякова, хозяйственное попечительство — волостное объединение крестьян, основанное на принципе взаимопомощи. Первая его обязанность — организация семенного дела. Все остальные культурно-экономические мероприятия в деревне как раз вытекают из семенного дела, и с ним можно связать все отрасли крестьянского хозяйства. При этом попечительства будут ведать исключительно экономическими вопросами, тяготы же административного управления с крестьянского населения могут быть сняты. Так, например, выбор старшин следует предоставить земским собраниям; расходы на волостные суды и волостное управление примет на себя казна. Так что, по мнению Хо-

мякова, введение крестьянских хозяйственных попечительств не только поспособствует более эффективному решению многих проблем сельского хозяйства, но и улучшит финансовое положение крестьянства.

«Думаю, что мною предложенная форма представительства от хозяйственных попечительств в корне изменит отношение населения к земским учреждениям и исправит их деятельность», — писал Николай Алексеевич Плеве. Действительно, в данном случае подразумевалась серьезная земская реформа. Причем, по сути дела, речь шла об утверждении сословного начала как одного из основополагающих принципов организации земских учреждений. «Хороший он малый, — писал Шипов о Хомякове, — но все еще не перебродила в нем барская закваска, и не может он хладнокровно и правильно отнестись к бессословной интеллигенции, и в своем проекте о хозяйственном попечительстве, который он, между прочим, подавал Плеве, он проектирует попечительства исключительно крестьянские, чтобы оградить крестьянство от влияния интеллигенции».

3 июня 1907 года II Дума была распущена, но Хомяков расстается с депутатским креслом всего на несколько месяцев. Уже осенью прошли выборы в следующую Думу; «Союз 17 октября» одержал уверенную победу, однако каким образом будут употреблены ее плоды, обществу оставалось неясным. В некоторой растерянности оказались и сами октябристы. С одной стороны, правые депутаты неоднократно выступали с заявлениями, что не имеют с октябристами принципиальных разногласий, и поэтому, скооперировавшись, им можно взять в Думе абсолютное большинство. Со своей стороны, многие кадеты считали октябристов политиками скорее либерального толка. А поскольку сам «Союз 17 октября» был формированием действительно весьма неоднородным, его руководству приходилось вести максимально гибкую политику, дабы избежать раскола в партийных рядах. Сама жизнь велела октябристам стать партией компромисса.

Первым актом Государственной думы, которая открывалась 1 ноября 1907 года, должно было стать избрание председателя. Не вызывало сомнений, что кандидатуру следует выдвигать октябристам. Казалось бы, прямая дорога в председатели была А.И. Гучкову: он не только являлся самым ярким партийным деятелем, но и обладал необходимыми лидерскими качествами. Однако сами октябристы не пожелали отпустить Гучкова с поста главы фракции. А дальше дал о себе знать дефицит кадров; правые, почувствовав слабость «центра», предложили своего кандидата — графа Бобринского. Слева звучало предложение сохранить преемственность и избрать председателем III Думы председателя предыдущей — кадета Ф.А. Головина. Вот в такой обстановке Гучков и предложил фракции поддержать кандидатуру Н.А. Хомякова.

Это вдруг устроило всех. Не только октябристов, но вообще всех — и левых, и правых. Пресса, еще накануне гадавшая на кофейной гуще, вдруг в одночасье заговорила о председательстве Хомякова как о деле, «не подлежащем уже почти сомнению». Небольшая загвоздка заключалась

«Выполнить тяжелую государственную работу на почве законодательного строительства...»

в том, что сам Николай Алексеевич решительно отказывался от такой чести. Однако после настойчивых уговоров он изменил свое решение. «Напишите читателям „Голоса Москвы“, — сказал он корреспонденту, — что Хомяков своих обещаний не держит. Не забудьте только прибавить, что согласился я идти на эти мучения не сразу — долго меня уговаривали, даже замучили совсем, право».

Мучили действительно долго. В своем интервью Хомяков с присущим ему юмором рассказал, как все происходило. «Вчера приехал ко мне Александр Иванович Гучков и битый час меня уговаривал. Господи, как он упрасивал, какие доводы приводил, то есть прямо соловьем разливался... И комплиментов мне, старику, наговорил, и из прошлой моей деятельности случаи председательствования припоминал, ну, словом, обошел меня совсем. Сегодня на конференции я долго упирался, говорил им, что и стар-то я, и памяти у меня никакой нету, и вспыхнув я как порох, — уж чего только я не наговорил. А главное, парламентских тонкостей не понимаю и никаких наказов в глаза не видал. Так нет же! Говорят, назвался груздем, полезай в кузов! Ну вот и лезу, только не в кузов, а прямо в огонь! Попомните мое слово, что подведу я в Думе октябристов, ох, как подведу! Ведь кадеты так и норовят уличить нас в незнании парламентских обычаев. Все будут сидеть в Думе и меня подлавливать, у них ведь все специалисты по части наказа. Приходится теперь старику сидеть да учить наизусть наказ, а где его выучишь, когда в нем 900 статей, а памяти у меня — ни-ни...»

По поводу этого и подобных интервью высказался сам лидер фракции октябристов А.И. Гучков: «Напрасно только Николай Алексеевич со свойственной ему скромностью заявил интервьюерам, что он едва ли справится с тяжелой обязанностью председателя Государственной Думы. Напротив, у него твердый, решительный характер, авторитет его у всех высок, вне всяких сомнений. Я убежден, что на первых порах он своей корректностью сумеет снискать любовь и симпатию всей Думы».

Так почему Н.А. Хомяков оказался вдруг настолько незаменимым, что его пришлось так уговаривать? Хомяков — видный общественный деятель: этот тезис, казалось бы, не вызывает сомнений, учитывая солидный послужной список политика. Однако этот видный общественный деятель почти не открывал рта ни на земских съездах, ни во время предшествующих думских прений. Иначе говоря, мы имеем дело вовсе не с публичным человеком, который тем не менее пользовался неизменной популярностью и любовью. Например, когда на земском съезде в мае 1905 года встал вопрос о составе делегации для преподнесения адреса императору, участники совещания голосуют в том числе и за молчаливого Николая Алексеевича. Его неизменно выбирали членом ЦК «Союза 17 октября». Правые и умеренные депутаты II Думы, обсуждая возможные кандидатуры на пост председателя, сразу же вспомнили фамилию Хомякова. А III Дума уже практически единогласно решила, что лучшего председателя, чем Николай Алексеевич, не найти. Такое отношение можно, конечно, объ-

яснить веселым, добродушным характером нашего героя. Однако в этом есть только доля истины.

Н.Н. Чебышев отмечал, что Хомяков, будучи смоленским губернским предводителем дворянства, «с неподражаемым мастерством вел земские и дворянские собрания... Он был прирожденный руководитель больших собраний. Для этого он был наделен всеми данными: самообладанием, пониманием толпы, даром быстро схватывать и с ясной сжатостью излагать суть вопроса, педагогической властью». Разгадка этого феномена кроется, видимо, в том числе и в полном отсутствии у Николая Алексеевича личных амбиций. Декоративная, по выражению лидера кадетов П.Н. Милокова, фигура нового председателя никому не дала почувствовать себя обделенным. Он казался «наиболее достойным, зараз и либеральным, и покладистым кандидатом».

Этого человека все знали, он всем нравился, никто не мог сказать о нем ничего дурного. находка А.И. Гучкова оказалась гениальной. Когда он предложил эту кандидатуру, никто и не подумал возразить. Все понимали: Хомяков честно исполнит свои обязанности; умный, образованный и культурный человек без каких-либо карьерных устремлений, он будет справедливым и независимым председателем и постарается обеспечить спокойную конструктивную работу. По словам Чебышева, у Хомякова «было свойство внушать к себе глубокое доверие. Он был авторитетен своим политическим бескорыстием и нелицеприятием, невольно покорявшим даже самых строптивых думских крикунов». Консолидации вокруг себя способствовал и сам Николай Алексеевич, раздававший перед открытием Думы очень точные и взвешенные интервью.

31 октября 1907 года, накануне открытия Думы, кадетская газета «Речь» опубликовала беседу с Хомяковым. Первым делом он подтвердил отсутствие у него любых связанных с предстоящим избранием амбиций. «Я не чувствую себя подготовленным к столь тяжелой и ответственной задаче, как руководство Думой. У меня и памяти такой нет, которая нужна, и опыта нет, и знакомства с процедурой мало, и я совершенно искренне отказывался от предложенной мне роли. Но раз это, по мнению моей партии, необходимо, я подчиняюсь и не устранию себя от обязанностей». И сразу же — о том, как все-таки с этой работой справиться. «Роль председателя с формальной ее стороны довольно точно регламентирована. Что касается существа, то я считаю безусловной и первой обязанностью председателя быть выше партий и абсолютно беспристрастным. Самую широкую свободу слова он должен ограничивать, во-первых, пределами обсуждаемого вопроса, не допуская никоим образом ни малейшего отклонения от него, и, во-вторых, строгой парламентарностью выражения. Всякие некорректности должны быть тщательно устраняемы, т.к. они обостряют отношения между депутатами, затемняют дело и удлинняют прения. Ни крайние левые, ни крайние правые не должны быть допущены к философским рассуждениям и спорам, может быть, и пикантным, и в домашней жизни интересным, но в законодательном учреждении не-

«Выполнить тяжелую государственную работу на почве законодательного строительства...»

уместным по своей бесплодности... Скандалов в 3-й Думе быть не должно. Я думаю, что члены Думы будут добросовестно заниматься делом».

Корреспондент спросил также, верит ли Хомяков в образование думского конституционного большинства. «Я убежден, что в Думе окажется большое конституционное большинство. Сами правые говорят, что среди них антиконституционалистов немного. Я лично не хочу ни отрицать, ни подтверждать этого, но так они говорят... Я думаю, что в конституционный центр войдут и кадеты, и мирнообновленцы, и октябристы, и даже часть правых, которых от октябристов, в сущности, отделяет только вопрос еврейского равноправия. А так как при этом они не отрицают необходимости облегчения еврейского положения, а некоторые стоят даже за отмену черты оседлости, то постепенно с ними сговорятся. И в Думе образуются три естественные группы: левая, центр и правая. Центр будет объединен, на первом плане, строгим признанием законодательных прав Думы и стремлением к мирному и без резких скачков реформированию русской жизни». Отметив, что «единственное средство вывести страну из ее положения — это взяться за карандаш и работать», Хомяков сформулировал первоочередные задачи Думы: «Рассмотрение бюджета во что бы то ни стало, и затем пересмотр всех законов последних лет с их хитросплетенным разнообразием. Тут и аграрные законы по 87 ст., и временные законы о свободах. При такой путанице остаться нельзя, и это нужно сделать возможно скорее».

Разумеется, подобные высказывания формировали в обществе доверительное отношение к Хомякову. Хорошо понимая роль прессы, он относился к ней весьма благожелательно, никогда не отказывал в интервью, стремился улучшить условия работы журналистов в Государственной думе (поначалу их просто не пускали в зал, и статьи писались исключительно на основании слухов). Газетчики отвечали ему взаимностью; только одиозные издания вроде издаваемого князем Мещерским крайне правого «Гражданина» позволяли себе нападки.

Первое заседание палаты прошло без срывов, председателя избрали практически единогласно (371 голос за, 9 — против), после чего ему предстояло выступить с трибуны. «Вам угодно было, господа, — сказал он, — возложить на меня обязанности Председателя Государственной Думы. Я не должен отказываться от этой великой чести несмотря на то, что чувствую свое бессилие и недостаточные знания, недостаточный опыт. Я выхожу на это дело с недоверием в себя, но я должен принять ваш приговор, ибо я взшел сюда на эту кафедру с другой верой, верой в светлую будущность великой, неделимой, нераздельной России, с верой, с непоколебимой верой в ее Думу, с верой в вас, господа. Я верю, нет, я знаю наверное, вы все пришли сюда для того, чтобы исполнить ваш долг перед государством. Вы пришли сюда, чтобы умиротворить Россию, покончив вражду и злобы партийные; вы пришли сюда, чтобы уврачевать язвы истстрадавшей родины, осуществив на деле державную волю царя, зовущего к себе избранных от народа людей, чтобы выполнить тяжелую,

ответственную государственную работу на почве законодательного государственного строительства. Бог вам в помощь, господа».

Хомяков остался верен своим правилам: речь получилась вполне компромиссной и задеть никого не могла. Либеральная пресса, правда, была разочарована. «Русские ведомости» с недоумением отмечали «странный характер речи нового председателя — отсутствие в ней хотя бы слабых указаний на волнующую всех злобу дня». «Речь» высказалась более жестко: «Вся его речь явилась отражением партийной вражды и злобы, и притом узкопартийным... Он говорил о новом государственном строе России в терминах более неопределенных, чем термины г. Голубева (государственный секретарь, открывавший Думу. — АВТ.), и под его речью прекрасно мог бы подписаться... г. Пуришкевич». Видимо, предыдущие выступления Николая Алексеевича в прессе все-таки внушили кадетам некоторые иллюзии. От него, вероятно, ждали повторения слов о том, что монархия не является неограниченной, когда ни один закон не может воспринять силу без одобрения Государственной думы, и т.д.

Эту вступительную речь прокомментировал в интервью «Голосу Москвы» 3 ноября 1907 года и лидер октябристов А.И. Гучков. «Почему Хомяков в речи, произнесенной в день открытия, ни разу не упомянул о конституции? Да потому, что у нас было так заранее обусловлено. Ни раздражать, ни махать красными тряпками мы не будем. Точно так же поступили бы и правые, если бы председатель случайно был избран из их среды... Ведь это была не программная речь, а приветствие депутатам».

Известно, что Гучков в те дни серьезно хотел блокироваться с думскими правыми, иногда не ставя в известность Хомякова. При этом он говорил: «Николай Алексеевич, я в этом убежден, никогда не даст в обиду думского меньшинства, которым являются кадеты и крайние левые, но всегда постарается примирить их с депутатским большинством». А Хомяков был искренне настроен на серьезную конструктивную работу; необходимость октябристам с первых дней вступать в союз с правыми, оставляя кадетов в меньшинстве, казалась ему далеко не очевидной. Однако проблемы стали возникать уже с самого начала. Вслед за председателем необходимо было избрать двух его товарищей (заместителей) и секретаря Думы. Хомяков просил занять пост товарища председателя кадет В.А. Маклакова. Едва ли это диктовалось желанием видеть в президиуме представителей всех ведущих партий (то, что второй товарищ председателя будет правым, сомнений не вызывало). Дело в том, что Маклаков являлся автором Наказа (регламента) Государственной думы и лучше других разбирался во всех тонкостях парламентской процедуры. Сознывая свою неопытность, Николай Алексеевич хотел видеть рядом именно такого человека. Накануне выборов он даже обратился в бюро фракции октябристов с письмом, где «горячо настаивал» на кандидатуре Маклакова. Ходили слухи, что в противном случае он угрожал своей отставкой. Однако октябристы в первый, но далеко не в последний раз за время работы III Думы вступили в сговор с правыми, и кадеты остались без мест в президиуме.

«Выполнить тяжелую государственную работу на почве законодательного строительства...»

Слухи же о возможной отставке только что избранного председателя взялся развеять А.И. Гучков. «Ну разумеется, — сказал он в интервью «Голосу Москвы», — все эти слухи лишены всякого основания. Николай Алексеевич Хомяков слишком желанный человек для всей Думы, чтобы он мог отказаться от почетного председательского кресла... Избрание Хомякова для России очень важно. При условии долговечности Третьей Думы — а это можно считать вполне обеспеченным — председателю придется очень часто ездить во дворец, — очень важно поэтому, чтобы председателем был человек, угодный при дворе и независимый, с определенной физиономией и прекрасным прошлым, а Николай Алексеевич именно такой человек; с ним в придворных кругах считаются, и очень серьезно». Похоже, не протолкну Гучков в председатели Хомякова, фракция октябристов развалилась бы с самого начала. В ней вполне реально существовало левое крыло, выступавшее против любых блоков с правыми. Фигура председателя консолидировала не только Думу, но и октябристскую фракцию.

В III Думе Хомяков с речами практически не выступал, исполняя исключительно председательские функции. На этом поприще он стал одним из главных действующих лиц большого конфуза, случившегося весной 1908 года. 24 апреля в Думе, в присутствии министра финансов В.Н. Коковцова, обсуждался вопрос о причинах убыточности отечественных железных дорог. Возникла идея, сформулированная П.Н. Милюковым так: «Мы считаем необходимым образовать парламентскую комиссию по расследованию причин убыточности нашего казенного железнодорожного хозяйства». Коковцов отреагировал: «У нас, слава Богу, нет еще парламента». Реплика не вызвала сверхбурной реакции, но на следующий день депутаты пожелали ее обсудить. Хомяков воспротивился: «Мы не можем ставить как отдельный вопрос обсуждение неудачно сказанных кем бы то ни было слов. Как председатель я не имел никакой возможности остановить министра финансов, когда он сказал свое неудачное выражение; я не имел возможности и не имел даже права, но я считаю, что я имею возможность, имею и обязанность не допускать обсуждения этих слов в дальнейшем».

Это высказывание тоже никого особенно не затронуло — никого, кроме председателя Совета министров П.А. Столыпина. Как вспоминал В.Н. Коковцов, тот встретился с Хомяковым и заявил ему, что это выступление его, Столыпина, «крайне удивило и ставит перед ним даже вопрос о том, как быть министрам, если председатели Думы начнут награждать министров различными эпитетами за произносимые ими речи вместо того, чтобы предоставить Думе в лице ее членов возражать им по существу, и будут делать это еще в присутствии министров; что перед ним стоит даже вопрос о том, согласится ли министр финансов являться в Думу после такого инцидента, а если не согласится, то он, Столыпин, отнюдь не станет уговаривать его, вполне понимая, что и сам он поступил бы точно так же, и тогда встанет во весь рост вопрос о таком конфликте между Думой и Правительством, который просто не знаешь, как разрешить».

При этом Коковцов на момент разговора Столыпина с Хомяковым об инциденте даже не знал. А узнав, махнул на него рукой, сказав, что раздуть его не намерен и вообще считает слова «слава Богу» в своей реплике ошибочными (Столыпин же, наоборот, сказал, что это очень правильно: парламента действительно нет, и слава Богу, что нет). В свою очередь, Хомяков заявил Столыпину, что ему и в голову не приходило обидеть Коковцова: если бы «Владимир Николаевич подал в отставку из-за этого неосторожного шага, то я и сам тотчас же уйду из председателей». Хомяков сначала не понял, в чем состоял его проступок, и думал, что поступил чрезвычайно умно, не позволив депутатам говорить на скользкую тему и предложив простой выход из возникшего инцидента. Однако после беседы со Столыпиным пообещал, что завтра же в Думе возьмет свои слова назад. «Ведь так, пожалуй, по моим стопам члены Думы начнут подносить в своей критике и почище эпитеты, а кто же запретит министрам отвечать на них и в еще более повышенном тоне, от верхнего до диеза, и тогда действительно придется святых выносить из залы».

«Наш милейший Хомяков заварил кашу, пусть он ее и расхлебывает», — сказал Столыпин. 26 апреля 1908 года, председатель Государственной думы, открывая заседание, заявил: «Я вполне сознаю, что поступил некорректно в смысле формальном по отношению к министру, речь которого я квалифицировал, некорректно по отношению к членам Государственной Думы, не допустив их обсуждать слова министра после речи графа Уварова, когда они могли желать высказать свое мнение... Но, господа, я должен сказать, что, кроме наказа, кроме письменных регламентов, я знаю еще другой регламент — это моя совесть. Я считаю, что если предо мной в Государственной Думе от кого бы то ни было, будь то от правительства или будь то от кого-либо из членов Государственной Думы, падет искра, от которой может вспыхнуть пожар, я считаю своим долгом, вопреки регламенту, эту искру потушить. Если мне удалось это сделать, я не могу об этом забывать и до последних дней моей жизни буду вспоминать об этом с удовольствием, а не с раскаянием».

Инцидент, таким образом, ко всеобщему удовольствию был исчерпан. Однако здесь проявилось то качество Хомякова, о котором впоследствии писал П.Н. Милюков, — умение «обволакивать ватой трагические ситуации». «На него никто не мог сердиться, но линию свою он, тем не менее, вел». Николай Алексеевич извинился за формальную бестактность, но слов своих обратно взять и не подумал. А Коковцова потом еще долго спрашивали, есть ли в России парламент или — слава Богу — нет.

Эта реальная двойственность ситуации проявилась, когда в 1909 году русских депутатов пригласили в Англию. Приглашение было направлено не британским парламентом, а частным лицом, профессором Пэрсом. В делегацию вошли четырнадцать думцев и четыре члена Государственного совета. Возглавил ее Хомяков — как человек, которого, по словам П.Н. Милюкова, «не стыдно было показать Европе». Несмотря на неофициальный характер поездки, состоялись встречи российской делегации и с королем,

«Выполнить тяжелую государственную работу на почве законодательного строительства...»

и с наиболее видными членами парламента. Некоторая проблема возникла, когда группа английских рабочих возмущенно потребовала нигде членов делегации не принимать, поскольку они представляют страну, где рабочих угнетают. Фракция лейбористов в парламенте заявила в связи с этим протест против пребывания делегации в стране. Наши соотечественники, вынужденные как-то реагировать, составили ответ, квинтэссенция которого состояла в том, что царь и народ в России едины. Милюков, который тоже находился в Англии, очень не хотел подписывать такую бумагу. В результате Хомяков взял ответственность на себя и подписал ее один как глава делегации. Это позволило россиянам уехать обратно, сохранив достоинство.

Осенью 1909 года Николай Алексеевич предложил всем, кто ездил в Англию, отправить профессору Пэрсу какой-нибудь подарок. Процесс затянулся; в архиве на этот счет сохранились любопытные документы. Дважды члены делегации собирались у Хомякова, обсуждали, что дарить. 30 октября секретарь председателя Думы Алексеев направляет записку думскому казначею: «Председатель Государственной Думы просит Вас при ближайшей выдаче членам Государственной Думы довольствия удержать с членов Думы, поименованных в приложенном к сему списке, по пятидесяти рублей. Удержанную сумму 700 рублей Председатель Государственной Думы просит доставить ему». Эта записка интересна с двух сторон. Во-первых, поучительно уже то, что депутаты собирались приобрести подарок за свой счет. Сегодня такой подход представляется несколько менее вероятным даже с учетом того, что делегация была неофициальной. Во-вторых, любопытна просьба удержать из довольствия деньги и доставить их председателю. Это характеризует высокий уровень взаимного доверия в хомяковской Думе. Деньги собирались пустить на покупку серебряной братины со стаканчиками и размещение на них автографов членов Государственных думы и совета. Работу поручили фирме Фаберже. Средств, правда, не хватило, потом пришлось собирать еще.

Забавная коллизия возникла и в июле 1910 года, когда Пэрс прислал в ответ восемнадцать альбомов. Поскольку он сделал это при посредстве российского посольства в Лондоне, альбомы пришли в Министерство иностранных дел. Оттуда их переслали в канцелярию Государственной думы с просьбой вернуть 11 руб. 45 коп., израсходованные артельщиком министерства при получении посылки на таможене. Канцелярия не могла решить этот вопрос без председателя, которым был уже Гучков, к тому же отсутствовавший в городе. Вопрос повис. Несчастный мидовский артельщик, для которого эта сумма представлялась значительной, видимо, сильно теребил свое начальство. В сентябре из министерства в Думу приходит второе письмо. Председатель велел собрать требуемую сумму со всех участников поездки, разделив ее поровну (получилось по 68 коп.). Занимались этим почти месяц; получить взнос с каждого так и не смогли, но деньги все-таки отправили.

Все это говорит о том, что думская бюрократия была такой же, как и повсюду в России. Дела продвигались долго и неэффективно. Разуме-

ется, Н.А. Хомяков не мог избежать соприкосновений со столь нелюбимым им «мертвым канцелярским делом». С другой стороны, политическая составляющая деятельности Думы к 1910 году приобретала все более обостренный характер. В этой ситуации председатель не чувствовал ничьей поддержки. Я.В. Глинка писал: «Сохраняя беспристрастность на кафедре, Хомяков не верил в поддержку в нужные моменты председателя своей фракцией во главе с ее лидером Гучковым... Остроумный, он был чужд всяких интриг, прямодушен и совершенно не способен к борьбе. Его возмущала и политика своей партии, и неестественный блок с партией Маркова 2-го и Пуришкевича... То, что октябристы не только не поддерживали, но даже топили Хомякова, это несомненно. Правые, ведя систематическую травлю Хомякова, всегда находили поддержку в известной части центра».

Неважно обстояли дела и в Думе в целом. Николай Алексеевич не раз указывал на отсутствие у самих думцев веры в плодотворность их деятельности. Бесконечные споры о том, есть ли в России самодержавие или нет, ему прекратить так и не удалось. Он неоднократно призывал общество посмотреть на этот вопрос с практической точки зрения: «Споры о неограниченности или ограниченности власти монарха, о конституции или самодержавии, мне, признаться, кажутся игрой слов... С моей точки зрения, этот вопрос тесно связан с вопросом о Думе. Будет Дума авторитетна — у нас самодержавия не будет. Дума не будет авторитетна, народ не увидит в ней пользы для себя — и самодержавие окрепнет». Для поднятия думского авторитета председатель призывал депутатов «работать, работать и работать». Тщетно.

Сложно складывались отношения у Хомякова с товарищами председателя — князем Волконским и заменившим Мейендорфа Шидловским. Я.В. Глинка, который, можно сказать, жил на этой «кухне», вспоминал, что его «неприятно поражало всегда желание Волконского затереть Хомякова. Во все выдающиеся моменты он старался выдвинуть свою фигуру. Он закрывал сессию и объявлял указ о возобновлении ее. Он председательствовал, когда проходили крупные законопроекты, он же вел заседания по общим прениям по бюджету. Но лишь только он чувствовал, что может произойти скандал, он уступал место Хомякову. Это право, присвоенное им себе в распределении председательствования, ему казалось настолько естественным, что однажды... мне пришлось быть свидетелем такой сценки. Волконский с Шидловским распределяли между собой дни председательствования на предстоящую неделю. Оказалось, что для Хомякова не было места. Стоявший тут же Николай Алексеевич сердито сказал: „А когда же я буду председательствовать?“ ...Через час я узнаю, что Хомяков вечером уезжает к себе в имение».

Николая Алексеевича сильно беспокоили препятствия, возникавшие в Государственном совете при прохождении принятых Думой законопроектов. Он пытался докладывать об этом императору, но прекрасно известно, насколько ненадежной опорой был Николай II. Думского пред-

«Выполнить тяжелую государственную работу на почве законодательного строительства...»

седателя выводило из равновесия небрежное отношение к Думе правительства; в 1910 году он уже не мог без раздражения произносить фамилию Столыпин.

Кстати, как самого Столыпина, так и действия возглавляемого им правительства Хомяков изредка позволял себе публично критиковать. Он был единственным среди октябристов противником аграрной реформы по Столыпину, имел свой взгляд на русскую деревню и не собирался его скрывать. В 1909 году Николай Алексеевич резко критиковал политику массовых казней участников крестьянских волнений 1904–1905 годов, политику, которую С.Ю. Витте в своих мемуарах называл «игрой виселицами и убийствами под вывеской полевых судов». В интервью «Речи» 16 сентября 1909 года он говорил: «Совершенно не понимаю, кому нужны все эти казни?... Точно довели! Прошло уже 5 лет, как были совершены многие из тех преступлений, за которые теперь казнят... Я не думаю, чтобы казни дали особое удовольствие и тем, кто вешает. И главное, пользы от них нет никакой. К чему же это нужно?»

В общем, Хомяков оказался в одиночестве, в котором на самом деле и пребывал с момента избрания. До поры до времени он устраивал всех, однако безоговорочной поддержки не имел ни у кого. Его фактически выживали из председателей. Этот процесс достиг кульминации в начале марта 1910 года. На заседании второго числа Милюков произнес большую речь о внешней политике в связи с докладом министра иностранных дел о новых штатах министерства. Содокладчик от бюджетной комиссии член Думы Крупенский сказал, что невозможно оппонировать Милюкову по этому вопросу, так как сам министр тему внешней политики не затрагивал, и вообще существует статья 12 Основных законов: «Государь Император есть верховный руководитель всех внешних сношений».

Хомяков ответил Крупенскому: «Я должен сделать... замечание. Направлять прения, останавливать ораторов и не допускать ораторов говорить то, что по закону им не предоставлено, возложено на Председателя Государственной Думы. (Рукоплескания слева и в центре.) Я глубоко убежден, что Государственная Дума сознательно избирала своих председательствующих. Я думаю, что выбранные вами председательствующие не хуже каждого из членов Думы знают ст. 12 Основных Законов, и всякий председательствующий не допустит в этой зале ни единого движения вопреки этой статье. Ни единое постановление, ни единое пожелание, ни единый переход, указывающий на направление политики, здесь допущены не будут, ибо это есть прерогатива монарха, которой никто здесь оспаривать не смеет. Ни единого слова в этом направлении не было сказано, поэтому председательствующий ни разу не остановил оратора, а остановил докладчика».

Известный своей скандальностью деятель из числа правых В.М. Пуришкевич также произнес речь на тему международной политики, в которой вопрошал, с какой стати советник посольства в Италии Крупенский (однофамилец члена Думы) назначен посланником в Христианию (нынешний Осло). Хомяков Пуришкевича остановил, отметив: «Посланники

назначаются Государем Императором в качестве его представителей, почему я покорнейше прошу Вас этого не касаться... Государь Император знает, кого назначить, и никто ему в этом указаний давать не может, тем более с этой кафедры».

Здесь Николай Алексеевич ошибся. По существовавшему праву представителями императора являлись послы, посланники же были представителями правительства. Это дало повод пятидесяти трем правым депутатам заявить протест. «Господин Председатель Государственной Думы, неоднократно обнаруживавший явно пристрастное отношение при произнесении речей ораторами разных партий, нарушил все общепринятые правила руководства собранием. Он не только превратным толкованием Основного Закона покрыл совершенно незаконное выступление оратора „оппозиции“... Милюкова, но и проявил недопустимую нетерпимость к вполне законным выступлениям оратора правых... Пуришкевича... Лишь несокрушимая энергия г. Председателя, не допускающего никакого обсуждения его изречений, не позволила оратору выяснить как незнакомство г. Председателя с общеизвестными нормами международного права, так и превратное толкование им действующих законов».

На следующий день, 3 марта, Хомякову пришлось вступить в конфликт не только с правыми, но и с левыми. Заседание прошло бурно. В Думу приехал министр народного просвещения Шварц. Поскольку его выступление не закончилось вовремя, кадеты потребовали объявить перерыв и отложить выступление. Так как председатель повел себя несколько нерешительно, многие кадеты вышли к трибуне и стали громко требовать перерыва во имя уважения министерства к Думе. Хомяков объявил перерыв, министр обиделся и уехал.

После перерыва обсуждение проблем образования продолжилось. Пуришкевич допустил очередную гнусную выходку, сказав, что среди совета старост Санкт-Петербургского университета есть женщина, которая «находится в близких физических сношениях со всеми членами совета». На кадетских скамьях поднялся шум, послышались выкрики: «Негодий! Вон!» Хомяков с председательского кресла заявил, что «на совести того, кто говорит, лежит ответственность за сказанное». П.Н. Милюков высказался с места: «Бесполезно зывать к совести Пуришкевича!» После этого Дума превратилась в базар. Справа кричали: «Вон Милюкова, вон Милюкова!» Председатель зывал: «Вы не должны допускать безобразий». «Это Вы не должны допускать безобразий», — парировал Милюков. Хомяков в ответ заметил: «Со скамьи перебраниваться с Председателем Вы права не имеете. Вы запишитесь, а сейчас Вы слова не получите... Я останавливаю того, кого считаю нужным, и указки Вашей не требую». «Вы допускаете безобразия», — настаивал Милюков. В обстановке всеобщего крика объявили перерыв.

После перерыва Николай Алексеевич сделал заявление. «Я просмотрел стенограмму последних минут прошлого заседания и усмотрел, что член Государственной Думы Пуришкевич позволил себе совершенно недопу-

«Выполнить
тяжелую
государствен-
ную работу
на почве
законодатель-
ного строи-
тельства...»

стимые слова в собрании, которое сколько-нибудь уважается говорящим. Он позволил себе оскорбить, хотя и анонимно, женщину в выражениях самой невозможной формы. Это вызвало то естественное негодование, которое проявилось в стенах Государственной Думы. Ввиду этого я считаю невозможным допустить члена Государственной Думы Пуришкевича продолжать свою речь. Но тем не менее, несмотря на то что случилось, я не могу не сказать, что члены Государственной Думы позволили себе совершенно невозможное отношение к инциденту и к Председателю. Во главе этого шума, этих криков, к сожалению, стоял лидер одной из больших фракций. Два раза мною было сделано замечание члену Государственной Думы Милюкову, который, несмотря на мои замечания, продолжал вести себя не так, как надлежит вести себя члену Государственной Думы. Поэтому я ставлю ему на вид самым серьезнейшим образом, что такое действие недопустимо и, скажу, постыдно со стороны человека, который должен бы уважать Государственную Думу».

Это заявление опять вызвало шум в зале. Милюков кричал: «Я против этого протестую, „постыдно“ — нельзя говорить», справа раздавались голоса: «Исключить Милюкова, исключить Милюкова». Заседание все-таки продолжилось, но стало последним для Хомякова как председателя Государственной думы: правые подали протест по поводу объявления перерыва по требованию кадетов. В нем отмечалось, что «неумелое несение г. Председателем его ответственных обязанностей причиняет постоянный вред ходу деловых занятий Государственной Думы и осложняет положение дел, внося пристрастие и произвол».

По окончании заседания Хомяков имел разговор с П.А. Столыпиным, который высказал серьезные претензии в связи с инцидентом, когда министру Шварцу не дали говорить. Это, видимо, стало последней каплей. В конце разговора Хомяков сообщил Столыпину, что он больше не председатель и со всеми дальнейшими вопросами надлежит обращаться к В.М. Волконскому — товарищу председателя Государственной думы. Волконскому Николай Алексеевич тут же направил письмо: «Милостивый государь князь Владимир Михайлович. Не считая для себя возможным далее нести обязанности Председателя, покорно прошу Вас доложить о сем в ближайшем заседании. Сегодня мною будет сделано то же заявление в собрании Старейших».

4 марта, в восемь часов вечера, руководители фракций собрались на обычное заседание. Хомяков, против обыкновения, опаздывал. Войдя, он объявил о своем решении, заверил, что оно непоколебимо, и уведомил собравшихся, что скоро приедет товарищ председателя Шидловский, который и будет вести заседание.

Политическая нейтральность, ненадуманная внепартийность этого деятеля способствовали его избранию — правда, скорее не по положительным мотивам, а больше потому, что никто не был особенно против; но беда в том, что никто также не был особенно за. Мы склонны согласиться с Н.Н. Львовым: человек без предубеждений, Хомяков, «когда нужно

было сблизить правительство с обществом, умело ввел Государственную Думу из безбрежного разлива в русло законодательной работы. ...Государственная Дума превратилась из революционного очага в жизненный орган государства». Действительно, здесь заслуга думского председателя неоспорима.

Однако, практически единогласно избрав Хомякова, и левые, и правые на самом деле рассчитывали, что смогут преодолеть его добродушную нейтральность, сделав более лояльным к себе, нежели к другим. На его полное послушание небезосновательно полагалось и правительство. Когда же Хомяков стал честно и непредвзято делать свою работу, все начали нервничать — в Думе стало слишком жарко. Н.Н. Чебышев писал, что «эта нейтральность отмежевывала от него барьером низы форума». Не выдержав нападков со всех сторон, Николай Алексеевич махнул на все рукой и уехал в Сычевку.

Он ушел, как ни уговаривали его остаться. Председателем избрали А.И. Гучкова, и фракция октябристов начала разваливаться. Правое и левое ее крылья все более обособлялись. Когда и Гучкову через год пришлось уйти с поста председателя, необратимость процесса стала очевидной. Фракция октябристов и прежде была не слишком крепкой, но единство ее сохранялось как благодаря Гучкову на посту главы фракции, так и благодаря тому, что в председательском кресле сидел Хомяков, который старался не допускать конфликтов в Думе в целом. Конечно, не следует забывать и о том, что людей, называвших себя октябристами и придерживавшихся центристских взглядов, в некоторой степени консолидировали фигура и идеи П.А. Столыпина. К 1911 году ничего этого, как видим, не осталось. Хомяков и Гучков покинули свои должности; увлечение общества Столыпиным прошло еще до его убийства в сентябре 1911 года.

Разумеется, культурных и порядочных людей, которых во фракции октябристов было немало, не могли не возмущать противоестественные блокировки с правыми во имя каких-то тактических целей. То, что правые изо всех сил тащат страну назад, было очевидно многим, в том числе и Хомякову. Еще в 1909 году ему стало окончательно ясно, что, «в сущности, им и делать больше нечего, как скандалить и вызывать в Думе скандалы». Поэтому, когда на пост председателя Думы вместо Гучкова фракция после бурных дебатов избрала крайне правого октябриста М.В. Родзянко, пять членов бюро фракции, включая Хомякова, заявили о своем выходе из этого бюро. В 1911 году октябристы фактически распались. 6 мая Николай Алексеевич заявил: «То, что часть членов фракции не посещает ее заседаний, — конечно, плохо. Но еще хуже, когда во время заседаний ряд членов сидит в соседней комнате и играет в карты».

В лице Н.А. Хомякова мы видим пример исключительно честного отношения к делу. Он вовсе не лукавил, когда говорил о своей нелюбви к политике и о том, что так бы и просидел весь свой век в деревне. По словам П.Н. Милюкова, «к политической кухне Хомяков питал совершенно явное отвращение, и только его ленивая пассивность допускала введение его

«Выполнить тяжелую государственную работу на почве законодательного строительства...»

в фальшивые положения». Он не рвался ни в Думу, ни в ее председатели, у него все получалось как бы само собой, а он просто плыл по течению, пока это позволяли его представления о чести. Но, взявшись за дело, Николай Алексеевич делал его честно и до тех пор, пока оставались силы. Именно поэтому, отчетливо понимая всю пагубность союза с правыми, он фактически возглавил левое крыло октябристов; речь шла даже о создании отдельной фракции. На октябристском банкете по поводу завершения работы III Думы Николай Алексеевич предложил своим единомышленникам собраться на другой день отдельно. Сбор состоялся, и там, по свидетельствам его участников, все ругали Гучкова за компромиссы. Большая личная трагедия Хомякова состоит в том, что он, по-видимому, поначалу искренне верил в возможность достигнуть общественного согласия путем компромиссов во имя совместной конструктивной работы на благо страны. Но общество уже настолько раскололось, что ничего поделать было нельзя. И это уже трагедия не только Хомякова, это трагедия России.

Николай Алексеевич был избран и в последнюю, IV Государственную думу. Правда, к этому времени он, очевидно, потерял всякий интерес к политической деятельности, уже прекрасно понимая обреченность старой России со всеми ее политическими институтами. На вопрос газетчика, не является ли некий последний шаг правительства симптомом трансформации его политики, Хомяков ответил: «Вся наша беда в том, что мы живем без всяких симптомов, изо дня в день. Это единственный и самый скверный симптом». Поэтому в Думе депутат бывал редко, основное время проводя в Сычевке. Его личное дело, хранящееся в архиве, сохранило много записок на имя председателя Государственной думы М.В. Родзянко с просьбой об отпуске.

Хомяков не порывал связей с обществом Красного Креста. С началом Первой мировой он, будучи депутатом, возглавил Красный Крест в 8-й армии, а его дочь Мария Николаевна стала во главе санитарного отряда Государственной думы. Гуманистическая миссия, которую Николай Алексеевич исполнял на фронте, прельщала его куда более депутатской деятельности. Он сидел в 8-й армии безвылазно и писал оттуда Родзянко, что если его постоянное отсутствие в Думе недопустимо, то он готов сложить с себя полномочия ее члена.

После революции Н.А. Хомяков оказался в Яссах, где командование Юго-Западного фронта русской армии в конце 1917 года совещалось о дальнейших действиях с представителями стран Антанты. Там же присутствовал и П.Н. Милюков. Он вспоминал, что «Хомяков опять молчал, но, сколько помнится, не шутил больше. Он был какой-то осевший и присмиривший». И все же продолжал службу по линии Красного Креста. Во время Гражданской войны Николай Алексеевич — главноуполномоченный при армиях Южного фронта и член Временного управления Российского общества Красного Креста.

Последние остатки белой армии под командованием Врангеля были организованно вывезены из Крыма в 1920 году в Стамбул. Очень вероятно,

что именно тогда и Хомяков покинул Россию. Из Стамбула беженцев старались распределить по другим странам. Так, 29 ноября 1920 года в город Дубровник, ныне находящийся на территории Хорватии, а тогда входивший в составе последней в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, прибыл пароход «Сегет». На его борту находились 2475 россиян; представляется весьма вероятным, что в их числе прибыл и Хомяков.

Большинство эмигрантов из Дубровника разъехались, Николай Алексеевич обосновался там. Почти сразу же умерла его жена, с отцом остались дочери. Внушительной русской общины в городе не было, русской церкви тоже, православная служба шла в сербском храме. Хомяков, остававшийся верным выбранному делу, занимал должность «председателя Российского общества Красного Креста в Дубровнике». Он, как мог, сторонился эмигрантского общества. В статье, посвященной 75-летию Хомякова и опубликованной 1 февраля 1925 года в белградском «Новом времени», Н.Н. Чебышев писал: «Мы живо ценим, что он с нами, что он в хаосе уцелел, и, приветствуя юбиляра, просим нас простить, что, быть может, нашим приветствием нарушили его сокровенные желания».

Про Хомякова ходили разные слухи. Например, видному в свое время кадету Н.Н. Львову говорили, будто «Николай Алексеевич очень постарел и ожесточился». Однако, встретив его в 1924 году на русской пасхальной службе в городе Земуне, Львов «увидел в нем того же Николая Алексеевича, каким его знал. Такая же светлая голова, никакой ожесточенности. Горечи, да, много горечи было в его словах, но никакой озлобленности».

28 июня 1925 года Н.А. Хомяков скончался в Дубровнике после продолжительной болезни. И тут многие осознали, что это был не просто добродушный и симпатичный весельчак, не просто ленивый помещик. «В нашем общественном движении, — писал Н.Н. Чебышев, — так печально завершившемся, он стоит особняком, одиноким, бессильным, обреченным на созерцание наблюдателем, ясно сознававшим ослепление обеих сторон, правителей и революционной общественности, сотрясавших соединенными усилиями над собственными головами зыбкую кровлю государства в то время, когда перед Россией открывались необозримые экономические и культурные перспективы». «Нам нужно знать, — добавлял Н.Н. Львов, — наших лучших русских людей, нужно учиться у них любить и продолжать любить Россию».

«Выполнить тяжелую государственную работу на почве законодательного строительства...»

Р.С. Н.А. Хомякова, скончавшегося 28 июня 1925 года в хорватском городке Рагузе (Дубровнике), похоронили на местном православном кладбище. Мне, с помощью друзей из дубровницкой православной общины, удалось разыскать его могилу. Известно, что Дубровник оказался в эпицентре недавней гражданской войны в Югославии и сильно пострадал. Православное кладбище подверглось глумлению; скромный обелиск над могилой Н.А. Хомякова и его жены Натальи Александровны был серьезно поврежден... — Примеч. ответственного редактора.

ИВАН
ИЛЬИЧ
ПЕТРУНКЕВИЧ

«Подготовить страну
к самому широкому
самоуправлению...»

Иван Ильич Петрункевич родился 23 декабря 1843 года в селе Плиска Борзенского уезда Черниговской губернии в семье мелкого помещика. Детство его прошло в деревне; как он вспоминал впоследствии, тесное общение с крестьянами вселило в него уверенность в том, что они заслуживают лучшей участи.

Первоначальное образование Петрункевич получил в Киевском кадетском корпусе. Уже тогда его жизнь оказалась связана с либеральными идеями. Один из его учителей, большой поклонник Герцена, получал из Лондона «Полярную звезду» и «Колокол». Пятнадцатилетний Иван тайком зачитывался запрещенными журналами. Уже будучи в эмиграции, Петрункевич писал: «С тех пор прошло уже более шестидесяти лет, но я и до сих пор считаю Герцена своим руководителем. Разумеется, я следую за ним не слепо, а критически. Он сам вручил мне метод: научил меня отличать в его сочинениях незыблемое от навязанного временем и местом... Сейчас, когда преемники первого большевика Нечаева постоянно ссылаются на Герцена, прикидываются его последователями, прикрывают его именем свои идеи политического каннибальства, кажется нелишним напомнить, что все это — не более чем постыдная профанация. Герцен был не только великим политическим мыслителем и деятелем: он был великим русским патриотом и гуманистом. На его руках нет ни одной капли крови; на его совести — ни одного преступления против родины...»

Окончив кадетский корпус, И.И. Петрункевич поступает на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Именно там он встретил людей, которые во многом определили его дальнейшую судьбу и очевидным образом способствовали формированию его мировоззрения. Прежде всего, это были братья Бакунины. Старший из них, Михаил, известный теоретик анархизма, к тому времени уже жил за границей, с младшими, придерживавшимися либеральных взглядов, у Петрункевича сложилось полное взаимопонимание. Сформировался кружок молодых людей (в их числе был и В.И. Вернадский), который собирался в квартире, снимаемой Бакуниными.

После окончания университета Петрункевич оказался перед выбором: продолжить карьеру в столице или вернуться на родину. Впрочем, выби-

рая второй путь, долго он не колебался. В своих воспоминаниях он пишет, чем руководствовался при выборе. Еще тогда, в 1860-х годах, Петрункевич знал, что «должен посвятить свою жизнь интересам народа, его нуждам, как материальным, так и духовным, гражданским, общечеловеческим; знал, что это требует долгой и упорной борьбы с условиями его существования — невежеством, бедностью, беззащитностью и с произволом власти».

Его соратник по Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы) И.В. Гессен, опубликовавший в 1934 году воспоминания Петрункевича в серии «Архив русской революции», писал, что с программой «преобразования государственного устройства России на бессловесных, конституционных началах, отнюдь не путем насильственного переворота», служившей ему путеводной звездой, И.И. Петрункевич прошел «через всю свою долгую жизнь, вперив острые колючие глаза в эту звезду, только ее и видя пред собою и не сбиваясь ни на йоту с указываемой ею дороги. На своем пути, отнюдь не усеянном розами, он не знал никаких компромиссов, его девизом было: выполняй свой долг, и пусть будет, что будет!» Так в жизни Петрункевича начался период работы в земстве.

В 1864 году произошла земская реформа. Ее образную характеристику дал И.П. Белокопский, автор самой основательной дореволюционной работы по истории земского движения. «Русский режим никогда не способствовал мирному и планомерному разрешению назревающих народных нужд. Русское правительство по отношению к освободительному движению во все времена применяло, если можно так выразиться, шлюзную систему. Как только замечало оно проявление „вольного духа“ среди населения, тотчас воздвигало шлюз. Когда он заполнялся недовольством и последнее начинало переливаться через первый шлюз, правительство ставило второй, третий и так далее, совершенно не соображая, что при таком способе самый источник недовольства не только не уничтожался, а страшно возрастал и что в конце концов никакой шлюз не будет в состоянии сдерживать напора недовольства, которое постепенно переходит в негодование, в злобу, в отчаяние».

Таким шлюзом, по мнению Белокопского, были земские учреждения. В 1865 году они были введены и в Черниговской губернии. В это время Петрункевич учился в Санкт-Петербургском университете, но случайно оказался в гостях у служившего в Чернигове отца как раз во время открытия губернского земского собрания. Это событие произвело на него огромное впечатление. По его собственному признанию, «воображение далеко вышло за пределы этой залы и этого момента и рисовало картины будущего, которое казалось таким близким...».

По составу присутствующих, за исключением пятерых малороссийских казаков из девяноста гласных, земское собрание напоминало дворянское. Его первые заседания были абсолютно деполитизированы. Петрункевич считал, что этот принцип устарел, так как на повестку дня стали выходить вопросы, вызывающие столкновение хозяйственных, сословных и поли-

тических интересов. К тому же земские учреждения были фактически единственными, в которых работали избранные народные представители.

В 1867 году, вернувшись в Плиску — свое родовое имение, Петрункевич задумался о том, что старый порядок и здесь должен уступить место новому. Для этого следовало найти единомышленников и выиграть выборы в земство на следующее трехлетие. В 1867 году он осваивался в новой для себя роли владельца имения, которое было передано ему отцом. Петрункевич первым делом отказался от пятой части выкупной ссуды, которая причиталась ему от крестьян. Помимо мировоззренческих причин, здесь могли быть и практические соображения: Петрункевич далеко не бедствовал, а означенная акция практически гарантировала ему место в земском собрании в качестве гласного от крестьян.

Впрочем, дворянство Борзненского уезда Черниговской губернии состояло далеко не из одних только либералов. В то же время оно, и только оно было той реальной силой, которая могла практически работать в земстве. Крестьяне не обладали для этого ни образованием, ни каким-либо подходящим опытом, ни необходимым положением в губернии. Поэтому у Петрункевича возникла необходимость поиска единомышленников в дворянской среде. Ее он подразделял на три группы. Это ретрограды, не желавшие приспосабливаться к новому порядку; карьеристы, стремившиеся исключительно к личному успеху, и, наконец, третья группа, которую Петрункевич считал своей.

Вспоминая идеи, объединявшие эту последнюю группу в конце 1860-х годов, Петрункевич был достаточно самокритичен. «Конечно, можно сказать, что это были мечты, ни на чем не основанные, но не надо забывать, что это было время великих реформ, когда не только молодежь, но и люди почтенного возраста помолодели и строили планы для будущей России». Семерых «мечтателей» объединила идея обновления России на почве осуществленных крестьянской, земской и судебной реформ. Понимая всю их непоследовательность, они считали, что «общество получило благодаря этим реформам точку опоры и почву для общественно-полезной работы, которая сама по себе неизбежно должна была раздвинуть рамки, установленные правительством, и подготовить страну к самому широкому самоуправлению».

Но прежде чем проводить реформу самоуправления, предстояло уничтожить все привилегии, полностью уравнивать всех граждан в гражданских и политических правах и ликвидировать сословные различия. Сферу компетенции земства предполагалось расширить, освободить его от «устаревших вмешательств администрации и подчинить контролю специальной власти». Важной идеей было распространение земского самоуправления на волостной уровень. Считалось, что работа земского собрания в уезде не создает у крестьянина должного чувства сопричастности, он не понимает, за что платит деньги. Надо отдать должное И.И. Петрункевичу и его единомышленникам: в 1860-х годах они это понимали, но сделать, по-видимому, ничего не могли.

Однако школьное дело они уже тогда в родных краях начали налаживать. Как только Петрунkevич приехал в Плиску, он убедился в полном отсутствии в уезде школ. Таковую он решил открыть в своем имении, выделив для этой цели специальный флигель. Правда, не согласовал это ни с каким начальством, справедливо полагая, что «если в уезде нет школ, то не может быть и школьного начальства». Предположение оказалось ошибочным; школу под угрозой суда пришлось закрыть.

Вскоре один из единомышленников Петрунkevича — М.А. Имшенецкий занял пост председателя уездной земской управы, и это дало возможность всей группе постепенно знакомиться с тонкостями земского дела, не дожидаясь выборов. Петрунkevич выстроил-таки на своей земле школу с целью передать ее земству, которое помогло ему собрать на строительство средства.

Таким образом, к 1868 году — году выборов гласных на второе земское трехлетие — Петрунkevич обладал если не четкой программой действий, то во всяком случае некой системой принципиальных установок. Он был полон сил, энергии и желания заниматься тем, чем закон предписывал заниматься земству.

В конце лета 1868 года Петрунkevич был избран на крестьянском избирательном собрании гласным уездного земства, а затем последнее делегировало его в состав губернского земства. Петрунkevич называет четыре направления, в которых преуспело земство во второе трехлетие своего функционирования: введение института мирового суда; начало учреждения народных школ и открытие земской публичной библиотеки; принятие системы бесплатной врачебной помощи населению; перевод натуральных повинностей в денежные и распространение их на все сословия.

Земская деятельность Петрунkevича и его единомышленников на Черниговщине протекала с переменным успехом: периодическое изменение состава уездных гласных оказывало прямое влияние на ход дела в губернском земстве. Бывали периоды, когда удавалось сделать многое; были и такие, когда и уездное, и губернское земские собрания оставались «пассивными исполнителями текущих дел». Вспоминая в 1920-х годах историю этого периода, Петрунkevич писал, что «каждая ее страница отмечена тем или другим насилием или беззаконием безответственной власти и бессилием земства». Он подчеркивал, что работу в те годы в земстве либералов было бы правильнее назвать борьбой — борьбой с правительством и администрацией.

В 1878 году произошло событие, которое привело к временному прекращению земской деятельности Петрунkevича. 4 августа народоволец Степняк-Кравчинский заколол шефа жандармов генерала Мезенцева. В своих воспоминаниях И.И. Петрунkevич писал, что это «было фактом исключительной важности и исключительного успеха террористов». Правительство обратилось к обществу с призывом поддержать самые решительные меры в борьбе с террором. Многие земцы не сомневались, что отвечать должны были именно они, так как земство представляло в об-

«Подготовить страну к самому широкому самоуправлению...»

шестве «единственную часть, достаточно организованную и способную к какому-либо действию». Петрункевич вспоминал: «Перед всеми нами стоял в те годы выбор: либо добровольно зачислить себя в армию полицеймейстеров, либо защищать свободу — как против самодержавия, так и против террора».

Ситуация требовала образования некой коалиции, которая могла бы обратиться с ответным обращением к правительству. С этой целью И.И. Петрункевич вместе со своим коллегой А.А. Линдфорсом поехал в Киев для встречи с группой влиятельных украинофилов. В ходе этих консультаций было принято решение воспользоваться для проведения более широкого совещания предстоящим заседанием по поводу посмертного юбилея украинского писателя Квитко-Основьяненко, которое должно было состояться в Харькове в последних числах ноября.

На праздновании этого юбилея собралось большое количество разномастной публики. И.И. Петрункевич был предупрежден, что после официального заседания планируется банкет, на котором не рекомендуется «брать особенно высоких политических нот, так как на обеде будут разные лица, и некоторые из них могут испугаться». Тем не менее Петрункевич, получив слово, практически сразу же обозначил политическую направленность своего выступления. Было бы хорошо, чтобы все так заботились о народе, как заботился покойный юбиляр, сказал он и сразу же перешел к теме убийства генерала Мезенцева. «Существуют различные взгляды на общественную деятельность. Террористы, например, находятся на линии огня, стремятся к недостижимому; с другой стороны, малорезультативна и деятельность лиц, кто эмигрирует, надеясь на влияние с Запада. Нужно работать в России и добиваться свободы путем организации общественных сил». Образованная часть последних «одинаково против террора, идет ли он снизу или сверху, ибо знает, что таким путем дойти до свободы и конституции так же невозможно, как невозможно этим путем достигнуть спокойствия и порядка в стране. Террор одинаково свидетельствует как о слабости правительства, так и о слабости общества. Убийство генерала Мезенцева есть новое напоминание о том, что невозможно долее поддерживать двусмысленное положение, занятое обществом в борьбе, которую ведут террористы с государственной властью... Наступает момент, когда общество обязано высказаться прямо и откровенно, что, не одобряя террористических убийств революционеров, оно также не одобряет и правительство, которое отказывается понять, что система государственного порядка, которую оно так упорно защищает, не соответствует ни достоинству русского народа, ни интересам великого государства; что правительство обязано приступить к коренной реформе и сделать все, от него зависящее, чтобы прекратить террор мирным путем, а не путем казней. Общество одинаково против убийства из-за угла и против виселицы». «Нужно немедленно организовать особую комиссию, которая выработала бы проект объединения всех оппозиционных сил в стране», — резюмировал Петрункевич. Исходя из этих соображений, Петрункевич

и Линдфорс обратились к лидерам украинофилов с просьбой устроить им встречу с «главарями южнорусских террористов».

Встреча состоялась 3 декабря 1878 года. Петрункевич в своих воспоминаниях следующим образом формулирует предложение, с которым они с Линдфорсом обратились к террористам: «Временно приостановить всякие террористические акты, чтобы дать земцам время и возможность поднять в широких общественных кругах и прежде всего в земских собраниях открытый протест против правительственной внутренней политики и предъявить требование коренных реформ в смысле конституции, гарантирующей народу участие в управлении страной, свободу и неприкосновенность прав личности».

Петрункевич предложил всем оппозиционным деятелям соединиться «для добытия конституции». Средства предлагались следующие: подача петиций, мирные демонстрации, агитация посредством печати, издаваемой за границей и доставляемой контрабандой. У Петрункевича сложилось впечатление, что «предложение имело некоторый психологический успех и что если нам удастся сдвинуть общественное мнение с мертвой точки равнодушия, то террористы поймут необходимость приостановить свою активную деятельность... Если бы правительство проявило хоть сколько-нибудь готовность сговориться со страной, террор потерял бы под собою почву...»

В январе 1879 года состоялась очередная сессия Черниговского губернского земского собрания, на которой Петрункевичу предстояло выступить с заявлением о том, что «русское общество, не обладая в законе никакими гарантиями, лишенное возможности опираться на общественное мнение, которого не существует в нашей стране, и не замечая у правительства желания утвердить свой авторитет на моральной основе, бессильно оказать правительству какое-либо содействие в его борьбе с террористами». Накануне заседания текст заявления получил в городе широкое распространение, даже раскупался публично и стал известен местным властям, которые руками председателя собрания губернского предводителя дворянства Неплюева воспрепятствовали чтению доклада. В апреле И.И. Петрункевич за это несостоявшееся выступление был сослан в город Варнавин Костромской губернии.

В конце 1886 года Петрункевич после вторичной высылки из Черниговской губернии приехал в Тверь, где уже жил в ссылке и где теперь решил обосноваться надолго. Условия борьбы в Твери представлялись Петрункевичу более благоприятными, нежели в Чернигове. За время его пребывания в Твери в 1883–1886 годах в ссылке под гласным надзором полиции он приобрел большое количество единомышленников. Костяк этого кружка составляли его брат Михаил Ильич, а также семья Бакуниных. В Тверь, расположенную между Петербургом и Москвой, стремились многие из тех, кому было запрещено проживать в столицах. В результате местное общество пользовалось устойчивой репутацией одного из самых либеральных в России. Таким образом, Тверь стала для Петрункевича «колоколь-

«Подготовить страну к самому широкому самоуправлению...»

ней, которая, однако, должна служить нам не препятствием, чтобы видеть Россию, а сторожевой вышкой, с которой горизонт будет шире и виднее».

В Новоторжском уезде Петрунkevич приобрел участок земли, который позволил ему участвовать в выборах земских гласных в 1891 году. Это был фиктивный ценз: жил Петрунkevич в основном в Москве. Но в 1897-м он поселился в имении «Машук» и, устроив там «конституционное гнездо» (по выражению Б.В. Штюмера), жил в нем до 1905 года включительно. В этот период деятельность Петрунkevича постепенно начинает переходить на общегосударственный уровень. Земскими вопросами он уже не занимался так же плотно, как в Черниговском земстве.

Поселившись в «Машуке», Петрунkevич полагал, что достигнет «результатов наиболее важных и желательных: разъединенные и даже взаимно враждебные общественные силы прочно будут связаны в местном самоуправлении и через него достигнут коренной русской реформы — замены самодержавия конституцией». Этим обусловлено то, что это был период «напряженной общественной работы» за «освобождение нашей родины от режима исключительных положений, насилий и беззакония».

Это, безусловно, очень интересный этап в жизни и деятельности И.И. Петрунkevича, самый плодотворный, по его собственному признанию. В своих воспоминаниях он отмечает, что за все время его работы в Новоторжском уездном земстве состав последнего практически не изменялся, что позволило стабильно и последовательно вести земскую деятельность. Имело значение и то обстоятельство, что если в Борзне Петрунkevич со своими единомышленниками пришел фактически на пустое место и всю работу земства они были вынуждены налаживать с нуля, то на Тверской земле система уже существовала и нормально функционировала.

Серьезным новшеством, внесенным И.И. Петрунkevичем в работу Тверского земства, была организация кредитного товарищества. Кредит, являясь необходимым условием для нормального ведения хозяйства, конечно, в деревне существовал. Однако кредитованием занимались, как правило, зажиточные крестьяне, которые предлагали крайне невыгодные для основной массы населения условия. Тем самым развитие крестьянских хозяйств существенным образом тормозилось. Заметив это, Петрунkevич пришел к мысли устроить «кредитное товарищество, которое могло бы выполнить три задачи: оказывать своим членам недорогой краткосрочный кредит вообще; оказывать кредит для покупки всяких предметов хозяйства: лошадей, скота, сельскохозяйственных удобрений и так далее; брать на себя посредничество в продаже предметов хозяйства и оказывать кредит под залог продаваемых предметов». Однако в России существовал типовой, так называемый нормальный устав кредитных товариществ, и он не предусматривал функций, предложенных Петрунkevичем. По этому поводу следовало подавать специальное ходатайство в Министерство финансов.

Для учреждения кредитного товарищества нужно было собрать не менее тридцати подписей его будущих участников. Однако крестьяне

крайне неохотно ставили свои подписи под непонятным документом — недостающие автографы Петрункевичу пришлось собирать среди членов семьи. Эта проблема неготовности крестьян к ведению дел, требующих аккуратности и точности, вообще очень волновала Петрункевича. Тем не менее он рассчитывал, что сумеет уделять товариществу достаточно времени в качестве исполняющего контролирующую функцию попечителя.

По прошествии года устав товарищества был утвержден министерством, и оно начало работать, преодолевая недоверие крестьян. По словам Петрункевича, изменила отношение последних к кредитному товариществу покупка им неслыханного шкафа для хранения денег. После этого дело начало налаживаться. Благодаря тому что И.И. Петрункевич настоял на утверждении 9% годовых по займам вместо обычных 12%, удалось предложить условия лучшие, нежели у конкурентов — зажиточных крестьян и мелких лавочников. Убедиться в успехе начинания Петрункевича приехал из Москвы М.Я. Герценштейн, в ту пору директор Московского земельного банка.

Петрункевич и члены его семьи также взяли на свое попечение несколько тверских школ. В своих мемуарах Иван Ильич вспоминал, как они «снабжали школы книгами и учебными пособиями, а также устраивали на рождественских святках ели для учащихся, причем ни разу не встретили ничего, что было бы похоже на вмешательство школьной инспекции или полиции».

В первые годы XX века в России в очередной раз приобрел чрезвычайную остроту земельный вопрос. В 1905 году И.И. Петрункевич опубликовал на эту тему специальную брошюру, в которой подчеркивалось, что «аграрный вопрос застал нас столь же неожиданно, как и японская война» и что, в то время как «Россия справедливо признается страной земледельческой по преимуществу, земледелие менее всего привлекало внимание правительства».

Начиная формулировать собственный проект аграрной реформы, Петрункевич пишет, что государство крестьянам должно. Долг этот юридически не зафиксирован, но он есть, и при разработке новой системы землеустройства необходимо это учитывать. Мотивировал он это так: «Нужды государства (по развитию главным образом обрабатывающей промышленности) непрерывно возрастали и покрывались в основном крестьянским населением». Вывод же из этого патриарх русского либерализма делает такой: «Отчуждение частновладельческих земель должно производиться в пользу и за счет государства на началах отчуждения недвижимого имущества в видах государственной необходимости, подобно тому как производится отчуждение под железные дороги, улицы, устройство крепостей и так далее». Государство же будет «отдавать отчуждаемую землю тем, которые больше всего в ней нуждаются, совершенно независимо от того, существовали ли когда-нибудь между бывшими и будущими ее владельцами обязательственные отношения».

«Подготовить страну к самому широкому самоуправлению...»

Подобная постановка проблемы удивляет, поскольку Петрункевич к тому времени уже заработал себе устойчивую репутацию политика, действующего «во имя права и посредством права». Впрочем, он сам поясняет свою позицию: «Вопрос о праве принудительного отчуждения земельного имущества в принципе не может в настоящее время встречать возражений, так как современное государство отрешилось от идеи священной и неприкосновенной собственности».

Заметим, что аграрный вопрос был главным пунктом разногласий внутри самой конституционно-демократической партии. Партийные лидеры всерьез опасались раскола. На II Всероссийском съезде кадетов (январь 1906 года) развернулась дискуссия о том, насколько идея отчуждения земли соответствует либеральным принципам. И.И. Петрункевич, стремясь не допустить раскола партии в такой важной ситуации, сказал, что в целях сохранения партийного единства он готов отказаться от своих радикальных идей. При этом он отметил: «Никто не покушается на частную собственность, так как собственностью государства станет только та земля, которая отчуждается... Только этим путем мы сможем разрешить величайший кризис».

Трудно не согласиться с высказываниями И.И. Петрункевича о том, что реальная аграрная политика должна была поставить в свою основу вопрос о расширении площади крестьянского хозяйства. Не отрицая необходимости внедрять в крестьянскую среду новейшие достижения сельскохозяйственной науки, Петрункевич предрекал неудачу подобным попыткам до тех пор, пока величина крестьянского надела не будет существенно увеличена.

Конструктивного решения так и не удалось найти. Споры по аграрному вопросу между либералами и правительством продолжались и были перенесены в Государственную думу.

Кадетская партия, признанным лидером которой считался И.И. Петрункевич, одержала победу на выборах в I Государственную думу: более трети депутатского корпуса (153 человека из 448) составили кадеты. Авторитет Петрункевича в партии еще со времен его бессменного председательства в Союзе освобождения был настолько велик, что после подведения итогов выборов вопрос о лидере парламентской фракции даже не стоял. Газета «Русские ведомости» написала, что, когда узнали, что И.И. Петрункевич выиграл выборы по Тверской губернии, стало ясно, что именно он, вероятнее всего, возглавит фракцию. Тем более что в ней тогда еще не было П.Н. Милюкова...

На съезде Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы), состоявшемся в преддверии созыва I Думы (апрель 1906 года), конкретного решения о структуре фракции не было принято. Декларировались только общие принципы, формулируемые в духе постановлений IV съезда предшественника кадетов — Союза освобождения. Союз полагал, что его члены «могут вступать в Думу не ради участия в повседневных законодательных работах, а исключительно с целью борьбы

за введение в России действительных конституционных свобод и учреждений на демократических основах, не стесняясь при этом перспективой возможности открытого разрыва с существующим правительством».

Работу по непосредственной организации деятельности фракции взял на себя Центральный комитет партии. 26 апреля на общefракционном собрании Милюков предложил избрать Временный комитет фракции из 10 человек на 10 дней. 11 мая 1906 года уже в постоянный состав Комитета было избрано 19 человек. 15 мая они определились с кандидатурами своих руководителей: председатель И.И. Петрункевич, его товарищи (заместители) М.М. Винавер и В.Д. Набоков, секретарь фракции А.С. Медведев.

Позиция Петрункевича как председателя Комитета во многом определяла политическую физиономию фракции. За 72 дня функционирования I Государственной думы Петрункевич выступал с трибуны пять раз. Выступления эти получили широкую известность и были изданы в 1907 году специальной брошюрой.

Эта брошюра начинается со знаменитой речи об амнистии — первого выступления, прозвучавшего с трибуны Государственной думы в день ее открытия, 26 апреля 1906 года. В тот день депутаты встретились с императором в Зимнем дворце, а затем направились в Таврический дворец, где должно было пройти первое заседание Думы. Плывшие на корабле по Неве депутаты миновали знаменитую петербургскую тюрьму «Кресты»; впечатление, произведенное тысячами, как казалось депутатам, простертых к ним оттуда рук, было настолько сильным, что согласованную ранее программу первого заседания решили изменить.

Сразу после избрания С.А. Муромцева председателем Государственной думы на трибуну поднялся И.И. Петрункевич и произнес речь об амнистии. «Долг чести, долг нашей совести повелевает, — сказал он, — потребовать амнистии для всех политических заключенных... Свободная Россия требует освобождения всех пострадавших». Очень короткое и сильное, это выступление действительно могло служить образцом ораторского искусства.

Печатный орган Партии народной свободы газета «Речь» писала, что «первые слова свободного собрания представителей народа... раздались спокойно, смело, уверенно». Им в ответ раздался гром аплодисментов; в этот момент «вся Дума испытала ощущение единства».

«Подготовить страну к самому широкому самоуправлению...»

Вопрос об амнистии обсуждался и на последующих заседаниях. Здесь обнаружилось, что позицию, высказанную И.И. Петрункевичем, разделяют не все депутаты. Так, М.М. Ковалевский, выйдя на трибуну, предложил «довести до сведения Государя Императора о единогласном ходатайстве Думы о даровании им амнистии политическим заключенным». Петрункевич ответил: «Мы не желаем быть ходатаями, мы хотим быть законодателями». М.М. Винавер, занимавший в то время пост товарища председателя Комитета фракции, впоследствии писал об этом эпизоде, что «Партия народной свободы гордым окриком из уст Петрункевича отвергла мысль Ковалевского», тогда тоже, кстати говоря, кадета.

Известно, чем завершила свое существование I Дума. Замок, повешенный ночью на двери Таврического дворца, символизировал желание правительства продемонстрировать, кто в стране обладает реальной властью. Это привело к «продолжению заседания» Государственной думы на территории Финляндии, в Выборге, где действовали более либеральные законы. Именно там было подготовлено так называемое Выборгское воззвание, в котором экс-парламентарии обращались к народу с призывом протестовать против роспуска Думы, оказывая пассивное сопротивление правительству.

Стенограммы выступлений, звучавших на этом собрании, в настоящее время находятся в распоряжении исследователей. Изучив их, можно судить о том, насколько участники совещания представляли себе всю тяжесть возможных последствий. Петрункевич, в отличие от некоторых своих коллег, сразу предрек подписавшим воззвание политическую смерть. Однако сделать это он полагал необходимым, более того, принял непосредственное участие в редактировании текста возвания.

В итоге, как известно, состоялся суд, на котором участники собрания в Выборге были лишены политических прав. Отсидев два месяца в тюрьме, Петрункевич, которому уже перевалило за шестьдесят, стал постепенно отходить от партийных дел. Здоровье его к тому времени было уже далеко не идеальным, все больше времени он проводил в Крыму и все меньше принимал активное участие в текущей политической жизни. Его позиция в партии в это время действительно напоминала позицию патриарха: с 1909 по 1915 год он являлся председателем ЦК партии. Не вмешиваясь непосредственно в текущие дела, Петрункевич, избранный в 1915 году Почетным председателем ЦК кадетской партии, оставался для сподвижников неким нравственным ориентиром.

Революция застала И.И. Петрункевича в Ялте. В 1918 году он был вынужден эмигрировать и транзитом через Францию оказался в Америке, у своего сына Александра, известного палеонтолога. Затем он жил в Швейцарии, а под конец жизни обосновался в Праге. Работал над мемуарами, переписывался со старыми соратниками.

К сожалению, оказавшись в эмиграции, многие действующие лица российской политики рубежа веков начали, как это бывает, терять чувство реальности. В переписке с М.М. Винавером 77-летний И.И. Петрункевич, обсуждая вопрос, как добраться до России, писал: «Мы готовы ехать хоть в трюме... Вас, вероятно, мы уже не увидим до возвращения в Россию...»

Вновь увидеть родину Петрункевичу было не суждено. В 1928 году он скончался в Праге, где и был похоронен. Надпись на его могиле гласит: «Свободы сеятель пустынный, я вышел рано, до звезды».

НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ
КАРЕЕВ

«Основать новую
Россию, которая будет
существовать для своих
граждан...»

Николай Иванович Кареев родился 24 ноября 1850 года в Москве в семье военного. Это было «дворянское гнездо», с традиционным домашним образованием, с крепкими устоями. Детство в воспоминаниях Кареева ассоциируется с именем деда О.И. Герасимова в Муравишниках Сычевского уезда Смоленской губернии: большая патриархальная семья, многочисленная прислуга из крепостных, размеренный быт русской деревни. С шести до десяти лет Николай Иванович жил в Гжатске, где отец служил городничим, затем два года — в Сычевке. В 1863 году отец вышел в отставку, и семья переехала в имение Аносово Смоленской губернии. С весны по осень 1864-го Кареев учился в пансионе в имении Лошадкино. А в январе 1865 года поступил в 1-ю Московскую гимназию у Пречистенских ворот. В учебе он был, безусловно, лучшим; при этом уже в гимназические годы активно занимался репетиторством — в семье на тот момент лишних денег не водилось. Имя первого ученика Николая Кареева было записано на Золотой доске 1-й гимназии. Когда в 1868 году директор М.А. Малиновский, за что-то рассердившись на Кареева, приказал стереть его имя, с доски исчезли все записи — остались лишь следы желтой краски. «Кто это сделал?» — допрашивал гимназистов учитель Е.В. Белявский. Поднялся высокий молодой человек: «Это я сделал». — «Зачем же вы это делали?» — «Если Кареева стерли с золотой доски, то мы никто не желаем быть на этой доске». Звали молодого человека Владимир Соловьев. Это был сын историка Сергея Михайловича Соловьева, и сам в скором будущем известный русский философ.

С Владимиром Сергеевичем Соловьевым Кареева связывала тесная дружба. Часто на квартире Соловьева-старшего, в здании университета, устраивались настоящие «рыцарские ристалища»: Н.И. Кареев и будущий экономист А.А. Коротнев сажали на свои плечи В.С. Соловьева и Н.А. Писемского (сына писателя), и те устраивали «побоища», демонстрируя свою доблесть.

С.М. Соловьева Кареев встретит на кафедре Московского университета буквально через год: ведь с 1869-го он — студент историко-филологического факультета. Кроме известного историка, лекции здесь читали

В.И. Герье, Ф.И. Буслаев, Н.С. Тихонравов, М.С. Куторга, П.Д. Юркевич. На четвертом курсе Кареев окончательно определился с предметом своих научных изысканий: французское крестьянство эпохи позднего Средневековья и раннего Нового времени. Об этом его кандидатское сочинение и впоследствии магистерская диссертация. В 1873 году, после окончания университета, В. И. Герье предложил Николаю Ивановичу остаться на кафедре всеобщей истории для приготовления к профессорскому званию. Впереди были шесть лет напряженного учительского труда в 3-й Московской гимназии, который Н.И. Кареев совмещал с интенсивной подготовкой к магистерским экзаменам. И это далеко не все: неизменно посещая кружки и журфикисы, он становился «своим» в академической среде. Бывал в кружке М.М. Ковалевского, куда приходили И.И. Иванюков, А.И. Чупров, И.И. Янжул, С.А. Муромцев, В.А. Гольцев и др. Бывал и на журфиксах, которые устраивали В.И. Герье, Н.А. Попов и др.

В 1876 году Кареев успешно сдал магистерские экзамены, а в сентябре 1877-го выехал в Париж для работы над диссертацией. Огромную помощь в организации поездки оказал учитель — В.И. Герье. В Париже Кареев тесно сошелся со многими знаменитостями русской эмиграции: П.Л. Лавровым, Г.А. Лопатиным, П.А. Кропоткиным, М.П. Драгомановым. Познакомился и с известным французским историком Фюстелем де Куланжем. Через год, в июне 1878 года, историк вернулся в Москву. Архивный материал собран — оставалось лишь переписать набело диссертацию, что и было сделано в имении Аносово. Уже зимой вышла книга «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века». А 21 марта 1879 года состоялась защита. Она прошла необычайно бурно: в ходе диспута о диссертации весьма резко высказывался сам Герье. Публика же была целиком и полностью на стороне диссертанта, сопровождая аплодисментами его смелые и убедительные аргументы. В защиту выступил и молодой доцент М.М. Ковалевский. Впоследствии, однако, именно В.И. Герье предложил уже магистру Карееву место экстраординарного профессора Варшавского университета.

С августа 1879 года Н.И. Кареев — в Польше. Варшавский период жизни оказался сложным: надо было преподавать в русскоязычном университете в польском городе с польскими студентами и множеством польских профессоров. И в такой ситуации Кареев сумел стать одним из любимейших преподавателей местного студенчества. Помимо чтения лекций по всему курсу всеобщей истории и активной публицистической деятельности он приступил к написанию докторской диссертации «Основные вопросы философии истории». В 1882–1883 годах Николай Иванович — вновь в Западной Европе, в Париже и Берлине, где большую часть времени проводит в библиотеках, заканчивая диссертацию. И еще одно важное событие произошло в варшавский период: в ноябре 1881 года Кареев женился на дочери московского преподавателя географии Софье Андреевне Линберг.

24 марта 1884 года состоялась защита диссертации в стенах Московского университета. В ноябре 1884-го была подана просьба на имя декана

историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета В.И. Ламанского о занятии освободившейся должности профессора всеобщей истории. Университет медлил с приглашением, а Кареев спешил покинуть Варшаву. С января 1885 года он уже преподает в Александровском лицее Санкт-Петербурга, а через полгода, с 23 августа 1885-го, Кареев становится приват-доцентом столичного университета. С осени 1886 года он также читает лекции на Высших женских (Бестужевских) курсах. Экстраординарным профессором его назначили в конце 1886-го, а через четыре года, в 1890-м, — ординарным. Как и полагалось либеральному профессору, Н.И. Кареев включился в активную общественную деятельность: он участник Литературного фонда, Исторического общества, Отдела для содействия образованию, он посещает различные журфикисы и кружки. Кроме того, редактирует «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона, работает в комитетах и обществах пособия студентов. А еще монографии, учебники, публицистические статьи... В 1899 году, после студенческих волнений, Н.И. Кареев был уволен из университета. Скорее всего, причиной послужила занятая им позиция: на Совете университета историк настаивал на смягчении полицейских мер по отношению к студентам, открыто выступил с требованием отставки ректора В.И. Сергеевича, не скрывал своего неприятия политики министра народного просвещения Н.П. Боголепова. Вплоть до начала 1906 года он оставался отлученным от университета, преподавая лишь в Александровском лицее, а с 1902-го — и в Политехническом институте.

Репутация оппозиционера вынесла Н.И. Кареева на гребень волны русской революции 1905 года. К предыдущей опале добавился еще и арест в составе делегации, которая ходатайствовала перед руководителями царского правительства о недопущении кровопролития 9 января 1905 года. 12–22 января Н.И. Кареев находился в заключении в Петропавловской крепости. В 1905 году в аристократических салонах поползли слухи, будто он входит в тайное революционное правительство. Правда же состояла в том, что профессор вел активную общественную жизнь, участвуя в организации Академического союза, объединившего оппозиционно настроенных по отношению к действующему режиму преподавателей. Волей-неволей Кареев оказался в эпицентре политической борьбы, так как Академический союз являлся составной частью чрезвычайно влиятельного Союза союзов.

Членство в Конституционно-демократической партии Кареев считал в некотором роде случайностью. Если бы партия народных социалистов (энесов) образовалась ранее кадетов и не призывала к бойкоту выборов, рассуждал в воспоминаниях историк, он непременно вступил бы в нее. Свою роль у кадетов Кареев всячески преуменьшает: «Я участвовал в организационных собраниях партии и выступал в устраивавшихся ею митингах, но не был за все время ее существования членом Центрального комитета, и если очутился председателем городского ее комитета, то в нем больше следил за внешним порядком прений, чем играл сколько-нибудь

«Основать новую Россию, которая будет существовать для своих граждан...»

руководящую роль». (Он руководил Санкт-Петербургским комитетом партии вплоть до октября 1906 года, когда его сменил В.Д. Набоков.) Участие в политической и партийной работе Николай Иванович объяснял исключительно чувством гражданского долга: никакой склонности к подобной деятельности он не ощущал. И поэтому с роспуском I Думы с удовольствием отказался от продолжения «политической карьеры».

Однако на какое-то время историк превратился в политика; в избирательной кампании пригодились его навыки и знания. Так, в марте 1906 года в «Вестнике партии Народной свободы» Н.И. Кареев опубликовал статью об Учредительном собрании в программных положениях партии кадетов. Сравнивая Учредительные собрания во Франции 1789 года и в Пруссии 1848 года, он утверждал необходимость для России прусского варианта, при котором этот институт формируется для разработки и принятия конституции, а не для представления суверенной воли нации в условиях крушения прежнего режима. Практически через месяц правительство убедительно докажет, насколько академична подобная дискуссия: 23 апреля 1906 года Основные законы будут приняты без участия Учредительного собрания. Но это событие не могло смутить кадетов, уверенных в своей исторической правоте. Как писал в той же статье Кареев, «конституционно-демократическая партия верит в то, что установление в России той конституции, главные лозунги которой партия пишет на своем знамени, властно диктуются самой историей и потому должны рано или поздно осуществиться: ни больше, ни меньше, по ее глубокому убеждению, не может успокоить потрясенную страну от новых напрасных и опасных потрясений».

Выборы по Петербургу в Государственную думу были двухступенчатыми. 20 марта 1906 года избирали выборщиков. Весь этот день Николай Иванович провел в актовом зале университета, где голосовали избиратели по Васильевскому острову. «Этот зал, носивший еще на себе некоторые следы только что пронесшегося шквала, имел необычный вид, перегородженный направо и налево от остававшегося посередине свободным прохода барьерами, за которыми стояли большие картонные коробки, на урны совершенно не похожие, и находились члены подкомиссий, проверявших документы избирателей, отмечавших их в списках, бравших из их рук и опускавших в урны их избирательные документы. Я был в числе членов одной комиссии и впоследствии исполнял не раз такую же должность, так что бывшее тогда и бывшее после слились в моей памяти в одну общую картину». Но единственное, что отличало тот мартовский день, вспоминал историк, — это необычайное воодушевление и надежды на лучшее. Однако явка на первые выборы в столице оказалась сравнительно низкой. Всего по городу зарегистрировали 146 тыс. избирателей. И только 46% из них явились к урнам в назначенный день. Победа кадетов в Петербурге была впечатляющей: всюду они получили абсолютное большинство голосов. Больше всего — в Нарвской части (68%), меньше всего — в Адмиралтейской (57%). 14 апреля 1906 года в зале городской думы предстояло

собраться 175 выборщикам, чтобы избрать депутатов от Петербурга. Не явились только шестеро. Кандидаты от Конституционно-демократической партии получили от 145 до 159 голосов. Остались недовольными представители рабочих, чьих кандидатов не поддержало кадетское большинство. Рабочие отказались даже сняться на совместной фотографии выборщиков от Санкт-Петербурга. Этот инцидент слегка омрачил радость победы. И тем не менее вечером того же дня многие участвовавшие в заседании, новые депутаты, представители партии, собрались в ресторане Донона. Отмечали очевидный успех, вспоминали прошедшую кампанию, говорили о будущем, которое рисовалось исключительно в светлых тонах. Как писал Н.И. Кареев, оптимизм и уверенность в скором успехе сохранятся вплоть до 13 мая, когда будет оглашена декларация правительства И.Л. Горемыкина.

Однако впереди 27 апреля 1906 года — день открытия I Государственной думы. Удивительно теплая, солнечная погода. Н.И. Кареев доехал на извозчике до Адмиралтейской набережной, зашел к В.Д. Набокову (как и он, депутату от Санкт-Петербурга), и они вместе пошли пешком к Зимнему дворцу. А потом случилось все то, что хорошо помнил любой первоходец: речь императора; кораблики, перевозившие депутатов из Зимнего в Таврический дворец; белые платки арестантов из «Крестов», умолявших об амнистии. Как только кораблики пристали к берегу, толпа подхватила Кареева и понесла его на руках к Таврическому дворцу. А потом темпераментная речь И.И. Петрункевича об амнистии, гордая осанка первого председателя Думы С.А. Муромцева. Примечательно, что впоследствии, при распределении мест в зале Таврического дворца между фракциями, Н.И. Кареев сидел вместе с представителями левых, социалистических фракций. Однако это объяснялось не политическими пристрастиями: просто Николай Иванович плохо слышал правым ухом и предпочитал сидеть по левую руку от собрания.

Выступил Н.И. Кареев в Государственной думе всего четыре раза. Два его выступления пришлось на 3 мая 1906 года, и оба имели программный характер. «Не человек существует для субботы, а суббота для человека. Человеческая личность существует сама для себя, она не может быть употребляема ни для какой другой цели, а между тем на основании основных принципов, которые имели силу в России до сих пор, были некоторые субботы, в жертву которым приносилась человеческая личность, и таких суббот в России было громадное количество. Все эти субботы соединились в одну громадную субботу, которая называется Россией». Иными словами, уважение к человеческой личности не было базовым началом внутренней политики Российской империи, поэтому «мы теперь должны основать новую Россию, которую точно так же должны будем любить, но Россию, которая будет существовать не сама для себя и не для охраны каких-либо исторических традиций, а будет существовать для своих граждан». Следовательно, в России должен установиться принцип равноправия народов, ее населяющих, и государство должно основываться на их братстве и вза-

«Основать новую Россию, которая будет существовать для своих граждан...»

имовыгодном партнерстве. Цель этого выступления — убедить депутатов исключить выражения «русская земля» и «русский народ» из ответного адреса Думы императору: по мнению Кареева, народное представительство не может забывать, что Россия — многонациональная держава.

В тот же день Н.И. Кареев выступил с защитой принципа парламентаризма, отстаивая необходимость ответственного правительства перед Государственной думой. Он сравнивал Россию с Францией 1789 года. По его мнению, революционный накал 1790-х годов связан с тем, что тогда не удалось выработать модель парламентской монархии, прийти к идее ответственного правительства. «Мы переживаем такой момент, когда только полное единение монарха и нации может вывести страну из того исторического тупика, в который она попала». А 6 июня, выступая по поводу проекта о гражданском равноправии, Кареев будет отстаивать снятие всех юридических ограничений, сковывавших гражданскую и политическую инициативу женщин.

Однако скромная роль, которую играл Н.И. Кареев в Думе, не должна вводить в заблуждение. В «партии профессоров» авторитет видного историка был значительный. Не случайно на предвыборном заседании санкт-петербургской группы кадетов он оказался на втором после В.Д. Набокова месте по числу голосов, отданных за него как за партийного кандидата в депутаты Государственной думы. Не случайно кадеты, как об этом вспоминал М.М. Ковалевский, серьезно рассматривали кандидатуру Н.И. Кареева на должность министра народного просвещения в гипотетическом правительстве, ответственном перед народным представительством.

9 июля 1906 года Кареев проснулся очень поздно: накануне вечером, будучи крайне усталым, он просил не будить его. Пройдет еще время, пока он выйдет на улицу, купит газету и узнает, что Дума распущена. Первым делом Николай Иванович направится в клуб партии кадетов. Там он ждет новостей из Выборга, куда еще ранним утром поехало большинство членов фракции. В своих воспоминаниях Кареев пишет, что вскоре кто-то привез текст воззвания, составленного депутатами, и присутствовавшие в клубе члены Государственной думы недолго думая отправили телеграммы в Выборг с просьбой присоединить их подписи к документу. Скорее всего, он запомнил: текст воззвания составили лишь на следующий день. Участвовал Кареев и в одном из партийных собраний в Териоках, где обсуждалась дальнейшая тактика кадетов.

На этом политическая деятельность Н.И. Кареева закончилась: историк вернулся на университетскую кафедру, преподавая параллельно в Психоневрологическом институте, на Высших женских курсах и курсах П.Ф. Лесгафта. Он был также одним из организаторов Педагогического института. Все это совмещалось с продолжавшейся общественной деятельностью в Отделе самообразования и Литературном фонде. В отличие от многих коллег по I Государственной думе, Кареев не был осужден за подписание Выборгского воззвания: к заключению приговорили лишь

тех, кто непосредственно в Выборге поставил свою подпись под «крамольным» документом.

На фоне всех этих событий шла фундаментальная научная работа. С 1892 по 1917 год вышло семь томов «Истории Западной Европы в новое время». Издаются учебники и учебные пособия Кареева, историографические очерки, разнообразные исследования. Разброс тем едва ли не пугает современного историка, привыкшего к сугубо узкой специализации: тут и «Государство-город античного мира», и «Монархия Древнего Востока и греко-римского мира», и «Западноевропейская абсолютная монархия XVI-XVIII веков», и «Происхождение современного народно-правового государства». Кроме того, в 1913–1914 годах Кареев издавал «Научный исторический журнал».

Политика потихоньку напоминала о себе. В 1914 году историк неожиданно для себя оказался в немецком плену. Начало войны застало его в Карлсбаде; проезжая через Дрезден, он был задержан и пять недель оставался под арестом. События февраля 1917 года, как-то незаметно для Н.И. Кареева, переросли в революцию. Он всячески уклонялся от политической работы: фактически не принял предложения баллотироваться депутатом Петербургской городской думы, не участвовал в работе партийных комитетов. Вся его «революционная» активность заключалась в публицистических статьях о судьбах Учредительных собраний на Западе да в работе в комиссии, принимавшей бюллетени на выборах. И еще: 27 апреля 1917 года Николай Иванович участвовал в совместном заседании депутатов всех четырех созывов Думы, посвященном юбилею открытия представительного учреждения в России. Продолжается его работа в Академическом союзе. И при этом летом 1917 года он спешит уехать из Петрограда в Зайцево, имение своего родственника О.П. Герасимова. В августе заезжает в Москву, где присутствует на заседаниях Государственного совещания, — и снова в Зайцево.

Лишь в октябре вместе с семьей Николай Иванович вернулся в Петроград, «чтобы провести одну из самых тяжелых зим в жизни». (Правда, следующая зима, по его воспоминаниям, оказалась еще тяжелее.) Приход к власти большевиков выбил Кареева из привычного ритма. В 1917–1919 годах он продолжает преподавать в университете, хотя аудитории опустели. Знакомых в Петрограде становится все меньше. И все меньше возможностей для публикации трудов. Тем не менее ученый не прекращает писать. В 1918 году вышла его книга «Великая Французская революция».

Лето 1918 года он опять провел в Зайцеве, а летом 1920-го выехал в Аносово, где прожил более года, читая лекции крестьянам и работая над книгами по истории и социологии. Прочел ряд лекций и в Сычевке — в обмен на бесплатную доставку семьи в Аносово. Тот период можно назвать сравнительно спокойным и благоустроенным. Но по возвращении в Петроград Николай Иванович оказался в бедственном положении: профессорского жалованья стало явно недостаточно, литературная деятельность ограничивалась фактической невозможностью публикаций. 1920 и 1921 годы Ка-

«Основать новую Россию, которая будет существовать для своих граждан...»

реев описывал так: «Вспоминаются холод, тьма, недоедание, безденежье и невозможность многое достать и за деньги». Семья профессора поселилась в двух сырых комнатах, так как свою квартиру он еще прежде уступил художнику М.В. Добужинскому. Это было время постоянного поиска еды и дров, голодных обмороков и дырявой обуви. Кареев подрабатывал случайными лекциями, жена занималась шитьем. Доходы от литературной деятельности возобновились в 1922 году. Однако новая власть всячески напоминала о себе. После 1924 года Кареева фактически отстранили от преподавания, прекратилась и публикация его научных трудов. В 1926-м — новое несчастье: смерть жены. В декабре 1928-го арестован сын Константин. Правда, уже 4 февраля 1929 года его освободили: вероятно, это связано с тем, что примерно тогда же Кареев был избран почетным членом АН СССР. Теперь он получал персональную пенсию, читал лекции в Академии наук. После реквизиции Аносова Николай Иванович любил проводить летние месяцы в санатории Центральной комиссии по улучшению быта ученых в селении Узком, в бывшей усадьбе Трубецких, где в 1900 году скончался друг его юности В.С. Соловьев.

Казалось бы, жизнь почти восьмидесятилетнего старика вошла в привычную колею... Но 18 декабря 1930 года на заседании методологической секции общества историков-марксистов академик Н.М. Лукин обвинил Кареева в «антимарксистских выкриках», фактически связав его деятельность с недавним процессом Промпартии. В сущности, это был донос, отравивший жизнь историка: он писал письма, оправдывался, ждал новых выпадов со стороны «истинных представителей марксистского учения». 18 февраля 1931 года Н.И. Кареев скончался.

**«То, что я был каторжным,
составляет мою гордость
на всю мою жизнь...»**

Василий Андреевич Караулов (1854–1910), человек удивительной судьбы, проделавший путь от радикального народничества к либерализму, родился в Торопецком уезде Псковской губернии в семье потомственного дворянина. Обучался в витебской гимназии, затем — в Санкт-Петербургском и Киевском университетах, но, увлекшись политикой, курса не окончил. Вместе с братом Николаем работал в «Синем Кресте» — обществе помощи политическим ссыльным и заключенным, являлся агентом Исполнительного комитета «Народной воли». После разгрома организации в 1883 году уехал в Париж, где участвовал в совещаниях оставшихся на свободе народовольцев. Вместе с Германом Лопатиным и Львом Тихомировым был участником партийного суда над провокатором С. Дегаевым. По возвращении в Россию, в качестве уполномоченного нового Исполнительного комитета, — арестован в Киеве и привлечен к военно-полевому суду по «процессу 12-ти народовольцев».

Прокурор требовал квалифицировать их преступления по 249-й статье Уложения о наказаниях, карающей за антигосударственные деяния смертной казнью. Однако у подсудимых оказалась сильная защита. Возглавил группу адвокатов такой мэтр, как Л.А. Куперник, о котором на Юге России ходила пословица: «Где Бог отступился — там еще можно к Купернику пойти!» Главным помощником Куперник взял восходящую звезду киевской адвокатуры А.С. Гольденвейзера. Свой отпечаток на ход и итоги процесса наложила также личность председательствующего на суде генерала П.А. Кузьмина. В 1849 году выходец из дворянской старобрядческой семьи, тридцатилетний штабс-капитан Генерального штаба Кузьмин был арестован по доносу провокатора Антонелли и провел пять месяцев в Алексеевском равелине Петропавловской крепости (вместе с М.В. Петрашевским, Ф.М. Достоевским и др.), а затем судим по знаменитому «процессу петрашевцев». Тогда Кузьмин сумел виртуозно самооправдаться и вышел на свободу. Но брезгливость к провокаторам он, дослужившийся до звания генерал-лейтенанта, судя по всему, сохранил на всю жизнь.

Итак, защите, во главе с Куперником и Гольденвейзером, удалось расшатать обвинение и вывести подсудимых из-под 249-й статьи. В итоге: ни

одного смертного приговора, трое оправданы. В.А. Караулова приговорили к четырем годам каторжных работ с последующей высылкой на поселение. Высшие власти остались крайне недовольны: министр внутренних дел граф Д.А. Толстой лично запросил киевского генерал-губернатора А.Р. Дрентельна о причинах столь мягкого приговора. Тот ответил, что «каторжные работы, хотя бы и на четыре года, он не может считать мягким наказанием». Тем не менее генерала П.А. Кузьмина отстранили от должности председателя Киевского военно-полевого суда.

Осужденных по «процессу 12-ти» отправили сначала в Трубецкой бастион Петропавловской крепости, а в конце декабря 1884 года перевели в Шлиссельбургскую тюрьму на Ореховом острове у истока Невы из Ладожского озера (она получила недоброе имя «сухой гильотины»). Летом 1884 года здесь, рядом со «старым корпусом» («Секретным домом», который заложил еще Петр III), была, под личным контролем императора Александра III, открыта «новая тюрьма», построенная «по американскому образцу»: сорок камер-одиночек 3,5 на 2,5 метра.

О шлиссельбургском заточении Караулова рассказал общавшийся с ним в тюрьме Н.А. Морозов, впоследствии выдающийся ученый. После того как несколько человек предприняли попытки самоубийства и режим был несколько смягчен, арестантам разрешили парные прогулки. В пару Морозову давали сошедших с ума заключенных: сначала Н.П. Щедрина, а потом В.П. Конашевича. «Кто не испытал этого сам, тот никогда не будет в состоянии понять, что значит жить в полном одиночестве в мрачной камере, как в могильном склепе, и день и ночь, целые годы, и в то же время думать, что приближается час, когда вы очутитесь вдвоем с сумасшедшим, который все время будет поверять вам свои галлюцинации, и вы ничем не будете в состоянии отвлечь его от них... Я чувствовал, что сам каждую минуту могу сойти с ума», — писал Морозов. Но неожиданно напарника снова сменили — им оказался Василий Караулов. «Мы начали перебирать знакомых, и я убедился, что он плохо говорит и путается в словах только потому, что отвык от разговоров... Караулов был для меня вестником лучших дней в неволе, а прогулки сделались настоящим праздником!.. И кто знает, сохранился бы мой рассудок, если бы он не явился ко мне на помощь как раз в то время, когда я в этом более всего нуждался... В полтора с лишком года наших ежедневных свиданий мы, конечно, истощили все предметы личных разговоров и поневоле начали уходить в область науки и говорить о великих проблемах физики и астрономии, которые тогда волновали не только меня, но и его».

Известная революционерка Вера Фигнер, знавшая Василия Андреевича еще до его ареста, впоследствии также узница Шлиссельбурга, вспоминала: «Это был, как говорится, ражий детина, громадного роста, широкоплечий, жизнерадостный, с лицом — кровь с молоком... Этот брызжащий здоровьем атлет вышел из Шлиссельбурга с лицом покойника». В 1888 году Караулова отправили на поселение в село Усть-Уду на реке Ангаре (Балаганский округ), позднее разрешили перебраться в село Устюг, поближе

к Красноярску. А в 1893-м, по распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири, Караулов был переведен в сам Красноярск.

Существует версия, что молодой народоволец Караулов стал одним из прототипов (наряду с итальянцами Гарибальди и Мадзини, англичанами Байроном и С. Рейли, украинцем Степняком-Кравчинским) карбонария Артура Бертон — героя романа английской писательницы Этель Лилиан Войнич «Овод». Дело в том, что во время своего приезда в Россию в 1887–1889 годах (Василий тогда находился в Шлиссельбурге, а потом в ссылке) Этель Буль (будущая Войнич) довольно долго жила в петербургской квартире Карауловых, а также в их псковском имении, где работала над материалами о русском освободительном движении. Судьба сына-заключенного была постоянным предметом обсуждений в карауловской семье.

В Красноярске ссыльный В.А. Караулов — уже убежденный либерал, глубоко верующий христианин и противник политического террора. Он фантастически много читает, изучает языки, занимается частным преподаванием. Особенно углубленно развивает знания, полученные в юности по юриспруденции. Одна из его красноярских учениц, А. Черемных, написала: «Через его руки проходило почти все, что готовилось в гимназию или, поломанное нашей педагогической бюрократией, выброшенное за борт, готовилось держать экстерном. Большинство культурной молодежи енисейской губернии были учениками В.А., и целые поколения воспитывались под его благотворным влиянием. В.А. целыми днями бегал по урокам, как бедный студент». По словам мемуаристки, Караулов и его жена-врач, приехавшая к мужу в ссылку, играли тогда «первую роль в рядах красноярской идейной интеллигенции»: «В далеком сибирском захолустье, выброшенные за борт общественной жизни, они твердо и уверенно несли маленький светоч культурных общественных интересов среди холодных сибирских снегов, диких буранов и полновластия сильных мира сего».

А. Черемных вспоминала также, что Василий Андреевич обладал «редкой, своеобразной речью, то полной тонкого изящного юмора, то беспощадного сарказма, или мягкой, доходящей до нежности сердечности» и «неотразимо покорял всех, кто имел счастье знать его близко». Эти его особенности затем ярко проявятся в стенах Государственной думы. Ученица Караулова хорошо запомнила один из его любимых рассказов о начале работы в Красноярске: «Наконец приехала ко мне в Сибирь жена, получила она место врача, заведующего амбулаторией. Я же бьюсь, бьюсь как рыба об лед, никакого заработка найти не могу: „поднадзорный — и basta!“ Стыдно, понимаете, на жениных харчах было пробиваться. Росту я чуть не в сажень косую, аппетит адский, а работы никто не дает. А я, кажись, своротил бы гору работы — силой Бог меня не обидел. Стал я просить жену, чтоб устроила меня сторожем при амбулатории. Оказала она мне протекцию, жалованья положили мне 5 рублей и сказали, что в обязанности мои входит мытье склянок под лекарство. Обрадовался, служу при амбулатории. Засучил рукава, мою склянки, но только комнатка-то давалась мне маленькая, как чуть неосторожно повернусь — трах!..

«То, что я был каторжным, составляет мою гордость на всю мою жизнь...»

Летят мои склянки вдребезги! Что за чертовщина! Скляночки малюсенькие, а ручища у меня огромная, — никак не приноровлюсь!.. Стала жена за месяц отчет писать, посуды больше чем на восемь рублей не хватает».

В первые годы нового века Василий Караулов — один из основателей красноярского Союза освобождения, затем — местной организации Конституционно-демократической партии. К этому времени он овдовел: П.Ф. Личкус скончалась от быстротечной чахотки. В ноябре 1905-го Караулов, частично амнистированный по Манифесту 17 октября, стал участником исторического съезда земских и городских деятелей в Москве. При обсуждении вопроса о будущем устройстве России примкнул к умеренным, поддержав конституционно-монархическую позицию их лидера, графа П.А. Гейдена. В стенограмме съезда имеется такая запись: «Г-н Караулов (Енисейская губ.) заявил, что он провел 24 года в тюрьмах и крепостях по политическим преступлениям, но не верит в осуществление демократической республики в России и присоединяется к гр. Гейдену от лица тех, которые послали его сюда». Однако по большинству других принципиальных вопросов он солидаризировался с кадетами, в том числе и по разделившему их с октябристами-«гучковцами» вопросу об автономии Польши. Правда, и здесь Караулов предложил формулировку, которая могла несколько смягчить ситуацию: «польскую автономию» он предложил называть «областным самоуправлением на началах общеимперской конституции»; однако эта компромиссная поправка была отклонена кадетским большинством.

Еще один участник ноябрьского земско-городского съезда, завершившего свою работу в московском («мавританском») особняке А.А. Морозова на Воздвиженке, П.Б. Струве, позднее вспоминал, что именно тогда близко познакомился с Василием Андреевичем: «То было время, когда трудно было идти против охватившего общество радикального возбуждения, перед которым пасовали отчасти по слабости, отчасти по оппортунистическому расчету и целые общественные группы, и отдельные лица... С той памятной встречи, когда в буфете-подвале Морозовского палаццо шлссельбуржец-каторжанин Караулов подошел ко мне и, выражая сочувствие моему „умеренному“ заявлению, только что перед тем вызвавшему свист и шипение с хоров, протянул руку для знакомства, мы никогда не расходились ни по взглядам, ни по настроению».

Вернувшись в декабре 1905 года из Москвы в Сибирь, В.А. Караулов на ряде многолюдных собраний и в либеральной печати решительно выступил в защиту конституционалистской тактики своей партии и против экстремизма революционных организаций. Его умеренная позиция привлекла благожелательное внимание самого премьер-министра графа С.Ю. Витте, искавшего союзников в среде российской общественности. Вопреки скепсису министра внутренних дел П.Н. Дурново, Витте увидел в эволюции взглядов этого политического деятеля (от народовольчества — к конституционному демократизму) положительный пример в борьбе с крайностями революции. В докладной записке на Высочайшее

имя премьер полагал «весьма полезным отменить лежащие на Караулове ограничения, дабы тем дать ему возможность более широкого служения здраво им понимаемому патриотическому долгу». В результате 2 февраля 1906 года ему было даровано полное помилование. Восстановленный во всех правах, он регистрируется частным поверенным при Красноярском окружном суде, активно сотрудничает в красноярской либеральной газете «Сибирь».

На выборах в I Думу кадетам удалось провести в выборщики по Енисейской губернии нескольких своих лидеров: В.А. Караулова — в Красноярске, А.М. Трескова — в Ачинске, А.А. Станкеева — в Енисейске. Однако губернское собрание избрало депутатами Думы значительно более левых кандидатов, примкнувших затем в Петербурге к «трудовой группе», — шушенского крестьянина Симона Ермолаева и минусинского врача Федора Николаевского.

Похожая история повторилась во время избирательной кампании во II Думу, в которую теперь активно включилась и красноярская организация социал-демократов, которая ранее выборы бойкотировала. Именно социал-демократам удалось провести в губернское собрание наибольшее число своих выборщиков, двое из которых — рабочие Иван Юдин и Федор Никитин были избраны депутатами. Правда, власти отменили избрание Никитина, и его место в Думе от Енисейской губернии занял близкий к социалистам-революционерам священник Александр Бриллиантов.

Осенью 1907 года, на выборах в III Думу, конституционного демократа В.А. Караулова в очередной раз избрали выборщиком от Красноярска. 23 сентября он выступил на общегородском предвыборном собрании граждан (на нем присутствовало около 600 человек). Главный смысл его речи передает заключительная фраза: «Правые смотрят в XVII век, а крайние левые — в XXI. Задача момента заключается не в организации пролетариата для борьбы с буржуазией, а в отстаивании конституционных начал общими силами всех прогрессивных групп».

Активным оппонентом частного поверенного, кадета В.А. Караулова был на тех выборах лидер местного отделения Союза русского народа, о. Варсонофий Захаров, также ставший выборщиком от Красноярска. Черносотенцы представили тогда в губернское управление список тех, кого, по их мнению, следовало лишить избирательных прав. Против каждой фамилии стояли пометки: «сидел в тюрьме», «находится под надзором» и т.д. Одним из первых в списке значилась фамилия Караулова.

25 октября 1907 года в Красноярске, в помещении губернского Общественного собрания, состоялись выборы депутата III Государственной думы от Енисейской губернии (в соответствии с «третьеиюньским» избирательным законом квота от губернии была сокращена до одного человека). Участвовали двадцать восемь ранее избранных выборщиков, но в первом туре ни один кандидат не набрал большинства голосов. Лидер черносотенцев, о. Варсонофий, вообще получил всего один голос и отказался от дальнейшей борьбы. На следующий день прошла повторная

«То, что я был каторжным, составляет мою гордость на всю мою жизнь...»

баллотировка, которая принесла победу В.А. Караулову (18 голосов из 27). 29 октября он выехал из Красноярска в Петербург для участия в открытии III Думы: проводы на железнодорожном вокзале и напутственные речи стали заметным событием в жизни города.

В Петербурге товарищи по партии помогли Василию Андреевичу снять небольшую квартиру в знаменитом «кадетском доме» № 7 на Потемкинской улице. Здесь, совсем рядом с Таврическим дворцом, он проживет три года со второй женой, Ольгой Ивановой, вплоть до своей смерти в декабре 1910 года.

В III Думе В.А. Караулов вошел во фракцию конституционных демократов и — одновременно — в «Сибирскую парламентскую группу», которая также находилась под кадетским влиянием. Он активно работает в комиссиях по вопросам вероисповедания (председатель — правый епископ Евлогий, затем октябрист П.В. Каменский), по делам Православной церкви (председатель — октябрист, затем член фракции националистов В.Н. Львов) и местному самоуправлению (председатель — лидер умеренно правых, затем националистов П.Н. Балашов). Однако наибольшую известность, как в стенах Думы, так и в обществе, принесло ему председательство в комиссии по старообрядчеству. В нее вошли также известные политические деятели различных направлений: лидеры октябристов А.И. Гучков и М.Я. Капустин, влиятельный кадет В.А. Маклаков, епископ Евлогий (Георгиевский), ультраправый Г.А. Щечков и др.

Отдавая много времени работе в комиссиях, конституционалист Караулов твердо придерживался линии на конструктивную работу с другими думскими фракциями и правительством, на так называемую организационную работу, часто повторяя: «Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан». И эти усилия принесли успех: он фактически стал основным экспертом и оратором либеральной части Думы по вероисповедным вопросам, оказавшимся в 1907–1910 годах в центре внимания народного представительства.

Уже в ходе первой сессии III Думы, в конце 1907 — начале 1908 года, сибирский депутат показал себя влиятельным парламентарием, органично соединившим в себе глубокую христианскую религиозность с неменьшей верой в либеральные права и свободы человека. Для молодого российского парламента это было необычно: религиозную тематику всегда активно эксплуатировали правые, в то время как левые, рассуждая о правах и свободах, как правило, избегали говорить о религии. Именно В.А. Караулов, поначалу чуть ли не в одиночку, сумел организовать в Думе своего рода «центр» — не формальный, а глубоко содержательный, поставив во главу угла идеи «христианского либерализма». Его усилия оценили не только в родной кадетской партии, где практически не было специалистов по вероисповедным вопросам, но и значительное число доминирующих в Думе октябристов, либеральная часть которых быстро разглядела в нем полезного союзника в борьбе с правыми и националистами. Намечающийся идейный союз октябристов во главе с А.И. Гучковым и не чуждающихся

вопросов религии кадетов (В.А. Караулова, В.А. Маклакова, В.С. Соколова) быстро принес новому «центру» конкретные кадровые и политические дивиденды. Так, личное оппонирование Караулова — товарища (заместителя) председателя вероисповедной комиссии — ее председателю, правому епископу Евлогию, привело к быстрой отставке последнего и его замене октябристом П.В. Каменским. В свою очередь, октябристы поддержали идею создания отдельной думской комиссии по старообрядческому вопросам и избрание В.А. Караулова ее председателем.

Первым концептуальным выступлением Василия Андреевича в III Думе стала его большая речь 22 марта 1908 года с изложением позиции кадетской фракции по утверждаемой Думой смете Святейшего синода. Высказанные тогда идеи и предложения явились характерным воплощением христианско-либерального мировоззрения Караулова. С одной стороны, он поддержал идею разгосударствления церковной жизни, подчеркнув, что «деятельность правительства в XVIII столетии, в первой его половине, передавая в распоряжение государства громадное большинство средств церквей и монастырей, была нарушением как гражданского, так и канонического права». Однако, с другой стороны, он решительно высказался в пользу демократизации самой церкви, перенесения центра православной жизни с церковной иерархической субординации на жизнь самоорганизующихся православных приходов. Отметив, что «основа всякой церковной организации — несомненно приход» и что «фактически в настоящее время приходов у нас не существует», оратор обозначил главные проблемы русского православия: «Зло заключается в фактически 2½-вековом уничтожении внутри присущего нашей православной церкви соборного начала, зло заключается в фактическом упразднении основной церковной общественной ячейки — прихода, потому что мы имеем церковь как здание, имеем священников, но не имеем приходов как общественной организации. Зло заключается в том, что у нас в настоящее время церковь мыслится не как союз верующих, а как иерархия, да вдобавок еще подчиненная государству. Вот устранение этих зол и будет снятием тяжелой государственной руки, и, я сказал бы, нечистой для этого дела, государственной руки со святого дела церкви». От имени кадетской фракции Караулов призвал увеличить правительственное финансирование именно приходов, ибо это «является первым шагом к освобождению церкви из пленения вавилонского государства, оно является первым шагом к восстановлению утраченного церковью соборного начала и первым шагом к учреждению прихода как общественно-церковной организации.

(Рукоплекания в центре и слева.)»

«То, что я был каторжным, составляет мою гордость на всю мою жизнь...»

Понимая, что монополия на определение религиозной политики уходит из рук правых в сторону сложившегося октябристско-кадетского центра, Святейший синод, непосредственно руководивший значительной частью депутатов от духовенства, попытался перейти в контрнаступление. В конце мая 1908 года, незадолго до думских каникул, один из лидеров правых епископ Митрофан (Краснопольский) предложил Думе расширить

состав комиссий по вероисповедным вопросам и по делам Православной церкви за счет крестьянских депутатов. «Менее искусное в диалектических тонкостях, которые приобретаются преимущественно на адвокатском и судебном поприщах, — аргументировал епископ, несомненно причисляя к лицам, поднаторевшим „на адвокатском поприще“, и частного поверенного Караулова, — духовенство, естественно, в словесных турнирах, в которые превратились заседания комиссий вероисповедной и по делам Православной церкви, должно было уступить своим оппонентам, а это значит не отстоять свою церковную точку зрения на предметы веры... Некоторые постановления, предпринимаемые указанными выше думскими комиссиями, производят сильное смущение в умах и сердцах верующего народа».

Коллегу-епископа поддержал и преподобный Евлогий. Он рассказал, что ему пришлось уйти с поста председателя комиссии по вероисповедным вопросам, так как «направление ее работ противоречит интересам Православной церкви», и тоже предложил включить в комиссию депутатов-крестьян, «ввиду не соответствующего интересам православной веры направления в рассмотрении вероисповедной комиссии вопросов». В.А. Караулов вынужден был ответить: «Такую редакцию этого предложения я считаю для нас, православных членов комиссии, оскорбительной и недопустимой. (Бурные рукоплескания.)»

С прямыми нападками на Караулова выступил на этом заседании и его постоянный оппонент, правый курский депутат Г.А. Щечков. Выпускник Московского университета, дипломированный юрист, бывший земец, ставший черносотенцем, он странным образом соединял в себе восторженную англотию со столь же искренним антисемитизмом. «Я стою за участие крестьян в этой Комиссии, — сказал Щечков, — но не так стою, как Караулов и другие сочлены его по фракции, которые кричат о благе крестьян и между тем желают уничтожить крестьянское сословие и заменить его еврейским всесветным рассеянием. (Смех; Милюков с места: Какая гадость! Г-н Председатель, остановите его!)» Члены Думы большинством голосов отклонили идею расширения комиссий.

Больше полутора лет комиссия по старообрядческим вопросам во главе с В.А. Карауловым скрупулезно работала над поправками к проекту закона о старообрядческих общинах, внесенному в Думу министром внутренних дел. Для председателя комиссии это время не только работы над текстом закона, но и постоянных поездок по старообрядческим общинам по всей стране. 12 мая 1909 года он наконец выступил с большим докладом. В нем, от имени комиссии, предлагалось внести в министерский проект ряд принципиальных поправок. Проект предусматривал закрепление за старообрядцами (а их к тому времени в России насчитывалось не менее 12 млн) не только права на их веру, но и на ее проповедование. По мнению докладчика, «исповедание веры, ни логически, ни нравственно, ни юридически, неотделимо от понятия проповедания», ибо «проповедание составляет неотделимую часть самого исповедания, являясь для

исповедающих известное вероучение обязанностью». Согласно проекту «комиссии Караулова» уменьшалось число лиц, имеющих право ходатайствовать о создании общины (с пятидесяти до двенадцати) — «дабы учесть ситуацию в отдаленных краях Империи, малонаселенных, какового является вся Восточная Россия». Разрешительный порядок регистрации старообрядческой общины заменялся явочным, равно как и утверждение духовных лиц и старост — на их простую регистрацию в губернских правлениях. Предлагалось также закрепить за духовными лицами старообрядческой веры официальное наименование «священнослужители по старообрядчеству», приближавшее их к статусу священников Русской православной церкви.

Думские правые и националисты резко выступили против этого проекта закона, называя его «разрушением устоев российской государственности». Лидер правых В.М. Пуришкевич заявил: «Нами, справа сидящими, чувствуется, что этот вопрос, обсуждаемый здесь с трибуны Государственной Думы, составляет эру в духовной жизни России». Цель левых — «создать рознь между нами, представителями православия»: «В этом лежит подкладка тех поправок, которые сами по себе не имели бы большого значения, если бы не преследовали глубоко ненавистной нам политической цели — создать раздор и разлад и всадить клин между нами и ими. (Бурные рукоплескания справа.)» Пуришкевич заметил, что еще исторические предшественники Караулова, «либералы-западники во главе с Герценом», поддерживали старообрядческих раскольников, «так как раскол вел, по их представлениям, к церковному индифферентизму, и они приравнивали его к политическому либерализму»: «Они полагали, что путем поддержки раскола возможно будет достичь социальных реформ и государственного переворота. Вот эта точка зрения: достичь государственного переворота путем культурного отношения к расколу — и была главной причиной того, что они пропагандировали свободу раскола, свободу старообрядчества».

Другой критик проекта, епископ Евлогий, заявил: под видом разрешения «проповедывания» проект Караулова узаконивает за старообрядцами право «религиозной пропаганды», что неприемлемо. «Здесь речь идет не о простой проповеди как принадлежности богослужения, а здесь вводится новое, хотя, может быть, несколько замаскированное начало, именно свобода пропаганды, свобода привлечения последователей из других вероисповеданий, не исключая и православного... Защищая православие, мы заботимся также о русской государственности».

Эта аргументация не осталась без возражений. 13 мая 1905 года В.А. Караулов заявил с думской трибуны, что предложение правых сохранить за Православной церковью монопольное право религиозной пропаганды ведет к деморализации и деградации самой господствующей Церкви: «Я полагаю, что именно те средства, средства затыкания чужого рта, средства пресечения иного мнения, привели Православную церковь к тому состоянию слабости и дезорганизации». Он сравнил нынешнюю ситуацию с печальной памяти временами гонений на последователей протопопа Авва-

«То, что я был каторжным, составляет мою гордость на всю мою жизнь...»

кума: «Пропаганда была строго запрещена. За пропаганду жгли. Аввакума сослали в ледяные сибирские пустыни и затем в Пустозерском остроге сожгли, чтобы пресечь его голос, а этот же Аввакум написал о своих страданиях страшную книгу, которая в течение десятков поколений жгла сердца многих миллионов старообрядческих масс (рукоплексания в центре и слева), которая создавала в ее среде десятки таких же Аввакумов, бестрепетно шедших на страдания и смерть. Эти меры создавали то, что к пропаганде, которую они прекратить никогда не могли, они прибавляли ореол мученика для проповедников... Теперь не будет плетей, костра, а будет каталажка, вонючая полицейская каталажка, арестный дом, высылка; но неужели же вы думаете, что то, чего нельзя было прекратить плетями и кострами, можно прекратить полицейскими каталажками?» Василий Андреевич призвал депутатов не бояться слова «пропаганда»: «Была пропаганда, есть она, и будет она, и фактически вы ей воспрепятствовать не можете, всякими запрещениями вы ее усиливаете, и в этом не одна невыгодная сторона этого вопроса для православия: есть и другая. Те, кто употребляют такие меры, обращают невыгодные последствия не на тех, против кого они их употребляют, а уменьшают силу тех, кто их употребляет; и в этом, гг., есть историческая Немезида... Наша церковная иерархия за приказно-полицейским хребтом привыкла больше рассчитывать на этот приказно-полицейский хребет, чем на истинно церковное и христианское воздействие, чем на силу слова и на силу примера христианского действия».

Оратор привел и более близкий исторический пример — «идейное безволие» официальной Церкви и гонения на реформаторов православия в годы «николаевской реакции». Это был сильный полемический и политический ход: Караулов поставил в центр своих рассуждений имя русского мыслителя Алексея Степановича Хомякова — родного отца ведущего думское заседание председателя III Думы Н.А. Хомякова. «Я опять обращаюсь к той эпохе, когда Церковь не принимала со своей стороны никаких мер и когда нашелся светский человек, мирянин, глубоко преданный делу православия, одаренный блестящим диалектическим талантом, глубокий знаток церковных вопросов, он поплыл против течения, и Церковь приняла ли его услуги? Та самая духовная цензура, которая... существует для того, чтобы удерживать на высоте моралитет православной проповеди, не разрешила сочинений А. Хомякова; они были напечатаны где-то за рубежом, в Праге, и в то время, когда в них более всего нуждалось образованное русское общество, уходившее из церкви, они были достоянием немногих избранных... А теперь, гг., когда мы, образованные и верующие миряне, обращаемся с предложением, имеющим в своей основе желание прекратить этот церковный сон, восстановить Церковь в ее значении и силе, что мы получаем в ответ?.. Теперь нам предлагают... продолжать удерживать за Церковью эту, как говорили здесь даже иерархи Церкви, драгоценнейшую привилегию, привилегию затыкания рта, гашения свободного человеческого духа, в высших своих порывах ищущего своего Бога. (Рукоплексания левой и в центре.). Это не привилегия, это пятно, наложенное

на Церковь, и чем скорее это пятно мы снимем, тем лучше сделаем мы для Церкви, тем скорее возвратим ее к той великой задаче, которую она должна делать. (Рукоплескания левой и в центре; голос справа: жидовствующая ересь.)»

В защиту «проекта Караулова» высказались не только его соратники по кадетской фракции (П.Н. Милюков, В.А. Маклаков, В.С. Соколов), не только лидеры левых (Н.С. Чхеидзе), но и — что принципиально важно — значительная часть октябристов. Решающим стало выступление лидера думской фракции «Союза 17 октября» А.И. Гучкова. (На его позицию, несомненно, оказали влияние факты собственной биографии. Когда-то прадед Гучкова, крупный промышленник и лидер московских старообрядцев, был арестован и сослан фактически за отказ вступить в коммерческую сделку с московским губернатором Закревским. А его деда буквально принудили, для сохранения семейного дела и политической карьеры, перейти из старообрядчества в единославие.)

Выступив на заседании 15 мая, Гучков согласился, что к обсуждаемому в Думе закону о правах старообрядцев действительно «приковано внимание всей России», и отметил «ту блестящую защиту, которую нашел доклад комиссии по старообрядческим вопросам здесь и со стороны докладчика, и со стороны других ораторов». В то же время «та убогая аргументация, которая была выставлена противниками, как вы видели, вынуждена была прикрываться пафосом и громкими словами, чтобы несколько замаскировать свое убожество»: «И напрасно старались с правых скамей инсинуировать, будто бы все это подсказано какой-то политической, некоторые говорили даже, еврейской интригой; старообрядцы будут донельзя удивлены, когда узнают, что их давнишние, заветные, коренные требования оказываются продуктом еврейской или кадетской интриги».

По мнению Гучкова, не должен вызывать удивления тот факт, что «в настоящее время старообрядцы только в твердых нормах закона ищут гарантии своим правам... Та боязливость и подозрительность в отношении к светской власти, которую вы чувствуете в этих требованиях, разве они не находят себе объяснения в том, что в течение двух с половиной веков старообрядчество, вместе с еврейством, составляло самый богатый источник доходов, предмет эксплуатации для низшей, средней, даже высшей администрации. (Голоса в центре и слева: верно.) Поговорите со старообрядцами, и они вам укажут, кого они содержали: не только исправники и становые, не только губернаторы, но и генерал-губернаторы пребывали на содержании у старообрядчества. (Рукоплескания левой и в центре.) И вот старообрядцы хотят раз навсегда смахнуть с себя это вмешательство». Концовка речи вызвала овации думского большинства; на том же заседании 15 мая 1909 года законопроект в редакции «комиссии Караулова» был принят.

Переданный в верхнюю палату, Государственный совет, Закон о старообрядчестве подвергся там еще более резкой критике. Поход на него, при опоре на ортодоксальные круги Русской православной церкви, возглавил лидер правых в Госсовете П.Н. Дурново. Когда-то, двадцать лет назад, в одиночную камеру Шлиссельбургской крепости, где отбывал наказание

«То, что я был каторжным, составляет мою гордость на всю мою жизнь...»

народоволец В.А. Караулов, заходил с инспекцией тогдашний директор Департамента полиции П.Н. Дурново... В созданной согласительной комиссии двух палат российского парламента они снова встретились один на один.

В конце мая 1909 года III Дума приступила к обсуждению следующего законопроекта — об изменении законоположений, касающихся перехода из одного вероисповедания в другое. В основу легли предложения Министерства внутренних дел, но комиссия по вероисповедным вопросам под председательством октябриста П.В. Каменского внесла серьезные поправки в сторону либерализации нового законопроекта. Активную роль в его разработке сыграл В.А. Караулов; он имел большое личное влияние на Каменского и позднее говорил: «Я до гробовой доски буду горд той мыслью, что в этом законе есть хоть малая капля моего меда».

Василий Андреевич выступил с большой речью в поддержку законопроекта на пленарном заседании Думы 23 мая 1909 года. Прежде всего он констатировал: правые ораторы и вместе с ними вся правая пресса полагают, что если в «старообрядческом законе» либералы-правозащитники «подкапывались под основания Православной церкви», то при обсуждении нового закона о возможности смены вероисповедания они «уже идут против самого христианства». В противовес правой демагогии был выдвинут контртезис: «Мы выставляем этот закон и защищаем его как основной принцип именно христианского государства». По мнению выступавшего, русские клерикалы уподобляются древним римлянам. Те, преследуя первых христиан, говорили о «пользе римской государственности»; точно так же ведут себя современные русские клерикалы, оправдывая религиозную нетерпимость «пользой российской государственности». Подлинное же христианское сознание несовместимо с религиозной нетерпимостью: «Свободу совести создало христианство, ее принес на землю Христос, учивший, что всякое деяние постольку в нравственном и религиозном смысле ценно, поскольку оно исходит из свободного произволения человеческой души». Караулов призвал различать христианское сознание русского народа и клерикальную нетерпимость его псевдорадетелей: «Наше церковное здание было заставлено целыми лесами различных полицейских подпорок и перегородок, закрывавшими его величаво-приветливую, уютную красоту... Нам говорят, нельзя вводить свободу совести ввиду православных чувств русского народа. Этот довод, гг., приводился всегда, когда хотели удержать пути на чьей-либо совести... Русский народ оказался терпимее и выше тех поклепов, которые на него систематически возводились. (Голоса слева: браво; рукоплескания в центре и левой.)»

В.А. Караулов выступил против поправки представителей Священного синода (в Думе ее огласил епископ Евлогий), которая запрещала лицам, находящимся на действительной службе, в том числе военной, переходить из православной веры в другие вероисповедания. «Я не понимаю, как для христианина можно сказать, что святая святых человеческой души, союз этой души с Богом, к которому она стремится, союз ее с Творцом и Зижди-

телем вселенной, может быть отодвигаем на задний план техническими соображениями какой бы то ни было службы. (Голоса слева: браво.)» Напротив, люди военного сословия, защитники государства, более, чем кто-либо, заслужили гарантии свободы совести, ибо «они, чтобы предотвратить от государства опасность, должны стать лицом к лицу со смертью», и «нужно, чтобы эти люди были уверены в том, что их последние тяжелые минуты будут сопровождаться религиозным утешением той церкви, в которую они действительно веруют; с этой стороны удерживать их в церкви, от которой фактически душой они уже отпали, будет грехом, даже против боевой способности армии».

И на сей раз на стороне либерального законопроекта оказались не только конституционные демократы (в поддержку тезисов Караулова убедительно выступили П.Н. Милюков, В.А. Маклаков, Ф.И. Родичев), но и такие влиятельные октябристы, как, например, М.Я. Капустин. Один из лидеров правых Н.Е. Марков (Марков 2-й), не без оснований подозревая, что за приверженностью части октябристов законопроекту стоит личное влияние Василия Андреевича, сказал: «Вот если бы г. Караулову удалось уговорить вероисповедную комиссию представить нам предположение об узаконении безбожия, то это было бы еще лучше, было бы еще яснее, что подают яд, что подают отраву, что весь этот законопроект надо выбросить как можно скорее, как можно дальше».

В ходе дискуссии семьдесят девять правых членов Государственной думы подписали специальное заявление, в котором говорилось, что «ораторы слева... систематически позволяли себе надругательство над православием, совершенно неслыханное». Еще до решающего голосования лидер умеренно правых Н.Д. Балашов сделал заявление от имени своей фракции: «Вновь образовавшееся в Думе большинство, расширив пределы законодательного предположения, установило начала равенства перед законом религии христианской с еврейством, магометанством и даже язычеством. Признавая непреложной истиной, что величие и мощь Российской Империи покоятся на тесном и неразрывном союзе с первенствующей Церковью Православной, и находя, что распространительное толкование Высочайших предубаждений, допущенное большинством Государственной думы, пытается извергнуть Россию даже из сонма государств христианских, фракция умеренно правых, исчерпав все меры противодействия, воздерживается от дальнейшего обсуждения названного законопроекта». Тем не менее 1 июня 1909 года законопроект был принят «новым думским большинством», включая подавляющую часть октябристов.

Принятие двух весьма либеральных «вероисповедных законов» привело к расколу октябристской фракции и выделению из нее правого крыла, сблизившегося с правыми в Думе. Это, в свою очередь, означало распад блока октябристов и умеренно правых, который ранее служил главной думской опорой правительства П.А. Столыпина.

Активная позиция Караулова — убежденного антиклерикала и либерала-христианина — снискала ему славу одного из опаснейших противников

«То, что я был каторжным, составляет мою гордость на всю мою жизнь...»

для право-националистической части Думы и черносотенных сил в стране. Дело неоднократно доходило до прямых оскорблений с правых думских скамей, что затем становилось предметом широкого обсуждения в обществе. Так, 5 мая 1909 года Василий Андреевич включился в дискуссию по вопросу о восстановлении политических прав лиц, лишенных священнического сана или оставивших духовный сан: «Существует попытка самый церковный клир обратить в крайнюю политическую партию, и партию, для которой политическая терпимость и разборчивость в средствах не составляет характерной добродетели». В своей яркой речи он привел пример из «Московских ведомостей»: в 1908 году тридцать два епископа Русской Православной церкви стояли во главе отделов Союза русского народа. В этот момент волынский депутат, лидер житомирских черносотенцев П. В. Березовский (Березовский 2-й) с места громко крикнул Караулову: «Острожник!» Тот парировал: «Член Государственной думы Березовский 2-й назвал меня острожником. Я на такого рода замечания здесь не отвечаю. (Бурные рукоплескания центра и левой.) Я ни на одну секунду не могу забыть, что имею высокую честь в данную минуту говорить с трибуны русской Государственной Думы (рукоплескания центра и левой), с высокой трибуны законодательной палаты моего Великого Отечества, а не за захватанным, засаленным столом чайной Союза русского народа. (Продолжительные рукоплескания центра и левой.)» Оратор добавил: игнорируя факты репрессий внутри православной иерархии, «мы лишаем всякой свободы внутренней ту часть духовенства, которая не имеет желания следовать политическому катехизису Союза русского народа». Тут уже екатеринославский депутат, активный черносотенец В.А. Образцов с места крикнул: «Каторжник!», но Караулов спокойно завершил свою речь: «Надо восстановить в правах всех тех лиц, которые покидают духовное звание».

Еще больший резонанс в общественных кругах имел инцидент, случившийся на вечернем заседании Думы 18 мая 1910 года, при обсуждении вопроса о введении земств в западных губерниях. Когда Караулов, получив слово, вышел к трибуне, активный член Союза русского народа и «Союза Михаила Архангела», священник Александр Вераксин, громко крикнул ему: «Каторга!» В этот раз Василий Андреевич дал развернутую отповедь: «Да, почтенный отец, я каторга, и с бритой головой и с кандалами на ногах, я мерил бесконечную Владимировку за то, что смел желать и говорить о том, чтобы вы были собраны в этом собрании... То, что я был каторжным, составляет мою гордость на всю мою жизнь. В той могучей волне, которая вынесла вас в эту залу, есть капля моей крови и моих слез... и это дает мне повод оправдывать мое существование перед Богом и людьми. (Взрыв аплодисментов на левой и в центре.)» Один из товарищей Караулова по кадетской партии, Ф.И. Родичев, впоследствии вспоминал: «Мы живо помним ту минуту, когда лаятель по призванию и служитель Бога любви по ремеслу обозвал его (Караулова. — А.К.) грязным словом. Незабываемое зрелище. Вот они лицом к лицу: представитель России гонимой и представитель русских гонителей. Вот психология тех, кому русская жизнь

роковым образом уготовила каторгу. Вот национальное лицо тех, которые притязают властвовать над душами и телами... Кто победит?»

В той же речи 18 мая В.А. Караулов ответил и на предложение епископа Евлогия существенно расширить квоту православных священников в земствах западных губерний (в обоснование этой позиции люблинский епископ приводил депутатам длинные цитаты из «Истории» В.О. Ключевского). «Я согласен с владыкой, — сказал Василий Андреевич, — русское духовенство сыграло большую и почетную роль в русской истории, и та характеристика, приведенная владыкою из Ключевского, к духовенству первых веков нашего христианства, к духовенству нашего раннего средневековья совершенно приложима, но с тех пор, как церковь была подчинена и поработана государством, эта характеристика к духовенству неприменима... Это духовенство, это белое духовенство, бедное, несамостоятельное, подчиненное, привыкшее слушаться и боящееся не послушаться, потому, что оно знает, чем непослушание грозит, оно в земские собрания явится не со свободными голосами; оно в земских собраниях будет творить волю своего начальства, вольного голосования от него не ждите и не имеете права ждать... Я не враг низшего духовенства, я скажу, что оно невиновно, и ему обвинения этого я не брошу, от людей нельзя требовать героизма, и для них, чтобы быть самостоятельными, надо быть героями, на требования чего мы не имеем никакого права. (Продолжительные рукоплескания левой, центра и на отдельных скамьях справа.)»

Следует добавить, что после завершения этой речи председательствовавший князь В.М. Волконский постарался объяснить, почему он сразу не отреагировал на оскорбительную реплику о. Александра Вераксина: «За то слово, которое было сказано справа члену Государственной Думы Караулову, я не делаю замечания, ибо... на него ответил сам Караулов гораздо лучше, чем мог бы ответить я. (Продолжительные рукоплескания левой, центра и на отдельных скамьях справа.)»

Думская активность В.А. Караулова высоко подняла его авторитет в Конституционно-демократической партии: 15 ноября 1909 года он был кооптирован в ее Центральный комитет. На состоявшемся в те же дни партийном совещании Караулов, на примере работы над Законом о старообрядчестве, показал коллегам преимущества «органической» парламентской работы: «Здесь несколько раз уже нас приглашали бросить органическую работу и сделать думскую трибуну местом для провозглашения чистых принципов. Еще во время существования первой Думы я был противником такой точки зрения; теперь, после трех лет работы в комиссиях, я лишь укрепился в своем мнении». В отношении к поступившему в Думу законопроект о правах старообрядчества перед кадетской фракцией «были два пути»: «Мы могли бы, не принимая участия в мелочной, детальной работе, ограничиться декларацией о безусловной свободе всякого исповедания, изложенной в трех строках: „старообрядцы свободны в своих делах“; но мы пошли другим путем и приняли за основание своих домогательств законопроект, выработанный самими старо-

«То, что я был каторжным, составляет мою гордость на всю мою жизнь...»

обрядцами». Выступавший напомнил, что «старообрядцы, эта наиболее консервативная часть населения, накануне созыва III Думы чуть-чуть целиком не вошли в Союз русского народа». Однако в результате большой работы думских либералов над проектом закона о старообрядчестве, которая стала известна всей стране, «мы добились того результата, что судьба законопроекта переводит 15 миллионов старообрядцев из правого лагеря в левый, перевоспитывает их политически»: «Сейчас уже старообрядцы и не пойдут в Союз русского народа; понемногу они делаются сторонниками конституционного строя, на практическом примере видя, что в государстве деспотическом нельзя добиться свободы, что от сторонников старого строя им нечего ждать. В борьбе за свои права они ищут себе союзников — и так завязываются у них связи с нами». Хотя некоторые участники кадетского совещания с некоторым скепсисом отнеслись к сделанному докладу, лидер партии П.Н. Милюков активно поддержал его автора: «Может быть, не все 15 миллионов старообрядцев перешли в оппозицию, а значительно меньше, но, во всяком случае, крупных результатов мы добились... Отсутствие у нас репутации деловых работников поставило бы крест и на наших агитационных попытках».

20 октября 1910 года, менее чем за два месяца до кончины, Василий Андреевич выступил в думской дискуссии по проекту закона, внесенного министром народного просвещения, о начальных училищах. Комиссия по народному образованию во главе с октябристом фон Анрепом предложила, чтобы все церковно-приходские школы, входящие в сеть всеобщего обучения, были переданы в ведение Министерства народного просвещения и подчинялись уездным и губернским училищным советам. Правые и националисты увидели в этом новое посягательство на Православную церковь. «Ради самого Господа, во имя спокойствия и блага нашей родины, в великом и святом деле народного воспитания не делайте таких опасных экспериментов!» — восклицал епископ Евлогий. «Неужели вы думаете, что, колебля авторитет церковный, можно служить делу порядка? Колебля авторитет церковный, мы служим делу революции», — вторил ему националист В.Н. Львов, призывавший сохранить автономию православия в деле народного образования.

Оппонируя Львову, Караулов заявил: «Это не церковная автономия, а вавилонское пленение церкви... не вселенское православие, а цезаропапизм». Епископу же Евлогию, который заявил, что подчинение церковных школ есть покушение на заповедь Христа, сказавшего ученикам «шедше убо научите вся языки», он заметил: «Да, Христос сказал это ученикам, и ученики, нищие галилейские рыбаки и сирийские ремесленники, пошли, не в карете пугом в предшествование колокольного звона, а босиком, не в пышных одеждах из шелка, а в рубище, имея только Христово слово и непоколебимую веру в его силу. Они пошли и совершили историческое чудо: к стопам Господа и Учителя своего они повергли гордый Рим и принадлежащий ему тогдашний мир; они совершили это чудо не властью государства, которое их гнало, мучило и убивало, и власти от этого

государства они не просили... Они знали, что церковь тогда только будет оказывать благотворное влияние на человеческое общество и разовьет всю свою духовную мощь, когда она будет церковью, а не ведомством».

В.А. Караулов выступил и на втором чтении законопроекта, 26 ноября 1910 года — за три недели до смерти. На этот раз он охарактеризовал клерикалистскую часть церковной иерархии, тесно смыкающуюся с политическим черносотенством: «В этой среде идеал не жизнедеятельность общества, не жизнедеятельность народа, а тленное спокойствие могилы. Они довели до маразма церковь, и теперь они хотят привести в столь же блестящее положение и государство. (Рукоплескания слева.)» Во время этого думского выступления правые демонстративно шумели, а когда председательствующий сделал им несколько замечаний, Пуришкевич нагло ответил: «Оратор нам мешает говорить».

Общественные интересы Караулова не ограничивались думской и партийной деятельностью. Он стал, например, активным членом санкт-петербургского Религиозно-философского общества (РФО), где сблизился с такими крупными интеллектуальными фигурами, как П.Б. Струве и Н.А. Бердяев. Его новые коллеги, в свою очередь, высоко ценили не только религиозно-философские убеждения Василия Андреевича, но и его уникальное умение претворять их в политическую жизнь. В статье, опубликованной в 1909 году в «Русской мысли», Струве призывал не смешивать два разнородных явления — «религиозность» и «клерикализм». «Достаточно некоторого знакомства с историей новейшего времени, — писал он, — чтобы видеть, что положительная религия и даже преданность церкви отнюдь не обязывает к тому, что между всеми политически образованными людьми признается за клерикализм». В качестве «яркого доказательства» этого тезиса автор статьи приводил в пример деятельность такого человека, как Гладстон. «Но и у нас на глазах, кто в Государственной Думе выступал в защиту противоклерикальных и истинно государственных проектов вероисповедной реформы? — задавался вопросом Струве. — Главным застрельщиком в этой борьбе был такой религиозный и преданный православный человек, как В.А. Караулов».

За несколько месяцев до смерти Василия Андреевича его важную общественно-политическую роль оценил и Н.А. Бердяев. В статье, опубликованной во влиятельной либеральной газете «Утро России», которую издавали старообрядцы Рябушинские, выдающийся философ поставил его в один ряд с такими русскими религиозными мыслителями, как Федор Достоевский и Владимир Соловьев. Отмечая, что «вопрос о свободе совести — один из самых острых вопросов русской жизни, из тех вопросов, в которых дана точка пересечения внутренней жизни духа и внешней жизни общества», Бердяев напомнил о роли депутата Караулова в борьбе за свободу совести в России. «Борьба за свободу совести обычно ведется людьми, равнодушными к вере и церкви, и в этом случае борьба эта носит характер формальный. Но следует как можно чаще напоминать, что свобода совести бесконечно дорога людям верующим и чувствующим

«То, что я был каторжным, составляет мою гордость на всю мою жизнь...»

себя в Церкви, что для них свобода совести есть религиозная святыня... Свобода относится к содержанию религиозной веры, т.к. христианство есть религия свободы. Вот почему самая страстная защита религиозной свободы принадлежит по праву верующим христианам — им дело это дорого по существу, а не формально. В Государственной Думе особенно горячо защищал свободу совести Караулов — верующий христианин».

В середине декабря 1910 года В. А. Караулов серьезно заболел пневмонией и 19 декабря скончался «от паралича сердца вследствие крупозного воспаления легких». В день похорон, 21 декабря, рано утром в квартиру покойного пришел полицейский пристав и в категоричной форме потребовал, чтобы ему показали все надписи на венках и лентах. Ввиду тесноты в квартире многочисленные венки были вынесены на лестницу и здесь тщательно осмотрены; после некоторого раздумья пристав признал их допустимыми. Гроб вынесли на руках соратники Караулова по кадетской партии — Шингарев, Колюбакин, Некрасов, Кутлер, Винавер. Учащаяся молодежь образовала вокруг гроба цепь — в начале одиннадцатого процессия стала двигаться к зданию Государственной думы. На Шпалерной, перед Таврическим дворцом, думское духовенство отслужило литию. Потом, по Потемкинской, Кирочной и Знаменской улицам, процессия двинулась в южную часть города, на Волково кладбище. Около одиннадцати часов пересекли Невский проспект. Корреспондент «Утра России» на следующий день написал: «На тротуарах огромное количество публики. Все углы Лиговки, Пушкинской и Знаменской густо усеяны народом». К полудню достигли кладбища. По просьбе старообрядцев им была предоставлена возможность нести гроб. Приехал из Москвы А.И. Гучков, который в числе других на руках выносил гроб из кладбищенской церкви. Организаторов заранее предупредили о запрете говорить над могилой «речи политического характера»: видимо, власти помнили, в какую манифестацию превратились недавние похороны С.А. Муромцева в Москве. Речь над могилой держал только близкий друг покойного — Некрасов: «Дорогой Василий Андреевич! Уста наши заграждены. Мы не можем говорить о том, что мы знаем, что сам ты считал наиболее драгоценным в своей жизни и деятельности. Говорить обиняками невозможно у отверстой могилы того, кто был вдохновенным проповедником вечной правды, и мы предпочитаем молчать... Сохраним же наши мысли о нем до того счастливого момента, когда, хороня своих друзей, мы сможем у их гроба свободно и смело давать оценку их личности и деятельности».

Через несколько дней после похорон в память о В.А. Караулове состоялось специальное заседание Санкт-Петербургского Религиозно-философского общества, активным членом которого он являлся. Известный философ и религиозный мыслитель А.А. Мейер вспоминал: «Для РФО этот человек был особенно дорог тем, что сумел в своей тонкой и чуткой душе совместить горячее и живое общественное чувство, заставившее его испытать все ужасы каторги, — с глубокой христианской религиозностью. Это было то сочетание, которое главные деятели общества, задававшие

в нем тон, хотели видеть вообще в русской интеллигенции. Вечер в память Караулова снова подчеркнул, что РФО живет одной жизнью с русской интеллигенцией, но живет по-своему, не совпадая с нею, в ее все еще довольно упорном отчуждении от религии».

Некролог на смерть Василия Андреевича Караулова опубликовал в «Русской мысли» и другой лидер русского христианского либерализма — П.Б. Струве. «В этой замечательной фигуре образованного человека, верного церкви и церковной религии и страстно любившего политическую свободу и ее правовые формы, воплотилась одна из роковых загадок русской жизни. Не знаю как и почему, но душа его одинаково тянулась и к традиции, и к революции, и к старине, и к новизне. Она страстно искала слияния старины с новизной, не по оппортунистическому расчету, не из тактики, а движимая глубочайшей эстетической потребностью, охватывавшей все существо этого человека... Вся его личность как будто спрашивала, возможен ли и как, какими путями, какой ценой, с какими жертвами воплотится в русской жизни этот желанный синтез традиции и революции». Струве далее отметил, что «защита свободы совести со стороны Караулова, верного сына православной церкви, была для него не случайным и личным делом, а осуществлением личными силами великой исторической задачи — примирения веры и свободы. Вне такого примирения ему не мыслилась возможность прочного духовного и общественного развития русского народа и даже сама крепость русского государства».

П.Б. Струве очень точно обозначил два главных вопроса, которые всю жизнь волновали Караулова. Первый: «Может ли православная церковь так, как она исторически сложилась, со всем ее прошлым, принять свободу совести, освободиться от цезаропапистской прикреплённости к государству, стать свободной и независимой церковной общиной, а не церковью-ведомством?» И второй: «Может ли современное сознание, современная религиозность примириться с той церковно-догматической связанностью, которой отмечены все исторические церкви?» «Я не знаю, — закончил автор свою статью-некролог, — как отвечал самому себе Караулов на этот последний вопрос. Но я думаю, что чем менее догматичен и внутренне нетерпим человек, тем легче его религиозному сознанию, не отрываясь от той или иной исторической церкви, оставаясь, так сказать, в ее ограде, сохранить свою собственную религиозную индивидуальность. Такие люди, быть может, более, чем фанатические приверженцы догматов, составляют истинную „соль“ всякой церкви... И великое значение свободы совести и веротерпимости заключается в том, что только она позволяет церковным организациям, исторически сложившимся, удерживать в своей среде эту незаменимую драгоценную „соль“, которая ищет любовного и достойного примирения между индивидуальной религиозностью и соборным благочестием — примирения, одинаково далекого и от лицемерного расчета, и от догматического изуверства, и от мистической экзальтации. Таков был Караулов».

«То, что я был каторжным, составляет мою гордость на всю мою жизнь...»

9 мая 1912 года на могиле Василия Андреевича на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге установили памятник. На гранитном постаменте под бронзовым бюстом были выбиты слова из известной думской речи Карулова: «Да, я был каторжником, с бритой головой и кандалами на ногах». Но петербургский градоначальник не разрешил открывать памятник с подобной надписью, и ее прикрыли железной доской.

ФЕДОР
ИЗМАЙЛОВИЧ
РОДИЧЕВ

«Я жил под знаком
свободы...»

Федор Измайлович Родичев родился в Санкт-Петербурге 9 февраля 1854 года, а умер в Лозанне (Швейцария) 28 февраля 1933 года. Он был участником и свидетелем многих драматических событий, потрясших Россию, — от освобождения крестьян до советской коллективизации. Будучи бескомпромиссным противником самодержавия, он хотел видеть Россию свободной и процветающей страной. Но, подобно большинству его единомышленников, Родичеву было суждено пережить крушение надежд на превращение России в правовое демократическое государство. Большевистский переворот стал не только концом политической карьеры Родичева, но и его личной драмой.

Ф.И. Родичев, как многие участники русского либерального движения, был по происхождению мелкопоместным дворянином. Его родителям принадлежало поместье в Весъегонском уезде Тверской губернии. По семейному преданию, Родичевы вели свое происхождение от новгородского боярина Рода, потомки которого после покорения Новгорода Иваном III были вынуждены покинуть свои земли и переселиться на территорию будущей Тверской губернии.

Ранние годы жизни Ф.И. Родичева прошли в Весъегонском уезде, который в середине XIX века представлял собой, по словам современников, «настоящий медвежий угол старой России». Расположенный на северо-востоке Тверской губернии, это был поросший лесом болотистый край, прорезанный притоками реки Мологи. На правом ее берегу стоял городок Весъегонск, население которого к концу XIX века составляло всего три тысячи человек. Если родной уезд Родичева был настоящим захолустьем, то Тверская губерния в целом благодаря удобному географическому положению и наличию природных ресурсов уже к первой половине XIX века достигла достаточно высокого по российским меркам уровня развития. Активизация общественной жизни здесь началась с подготовки крестьянской реформы: в 1862 году возглавляемые А.М. Унковским тверские дворяне обратились к царю со знаменитой радикальной резолюцией, в которой указывалось, что освобождение российского крестьянства должно сопровождаться введением выборных институтов и отменой классовых привилегий. Великие реформы, а в особенности создание земства, открыли новые, более широкие возможности для общественной деятельности

дворянства и интеллигенции. На этом фоне и разворачивалась политическая карьера нашего героя.

Федор Родичев был вторым из трех сыновей Измаила Дмитриевича Родичева и его жены Софьи Николаевны (урожденной Ушаковой). О жизни Измаила Дмитриевича известно немного. Он получил образование в Павловском военном училище, после освобождения крестьян служил третейским и мировым судьей, а позже избирался депутатом Тверского губернского земского собрания. Однако заметной роли в общественной жизни губернии он не сыграл.

Мать Ф.И. Родичева, Софья Николаевна, была женщиной незаурядной, получившей хорошее для своего времени образование. Образ жизни семьи Родичевых был старомоден и даже консервативен. В своих воспоминаниях старшая дочь Александра отмечала, что новый год начинался с 1 сентября, строго соблюдались все посты, а за нарушение установленных правил дети наказывались кнутом. Федора Родичева с детства не устраивал этот общепринятый способ воспитания. Всякого рода телесные наказания для него были символом деспотизма и непросвещенности. В 1861 году, когда Родичеву исполнилось семь лет, патриархальные устои семьи были нарушены. Это было в значительной степени связано с появлением в доме гувернантки Марии Евграфовны Павловской. «Мои первые воспоминания начинаются с 1861 года, — писал в своих мемуарах Родичев, — и вся моя жизнь прошла под знаком освобождения». Павловская не только обучала маленького Федю началам наук, но и давала первые уроки общественной жизни. Наиболее сильное впечатление на юного Родичева произвели просветительские взгляды гувернантки, которая, по его словам, «во время долгих прогулок верхом постепенно внушала мне демократические идеи о равенстве людей».

Позже М.Е. Павловская стала женой известного публициста Н.К. Михайловского. Ф.И. Родичев часто бывал у них в Санкт-Петербурге, где знакомился и общался с друзьями семьи — поэтами Н.А. Некрасовым и Г.И. Успенским, известным журналистом А.И. Скабичевским. И хотя много позже Родичев утверждал, что «никогда не был очарован ими», по-видимому, эти люди оказали определенное влияние на формирование личности молодого человека.

В 1863 году Ф.И. Родичев уехал в Санкт-Петербург для получения среднего образования. Вспоминая о годах обучения в 1-й реальной гимназии, он отмечал систематичность и глубину знаний, полученных там, и, что было для юноши особенно важным, полное отсутствие жестокого и грубого отношения к воспитанникам со стороны начальства и наставников. Гимназист всерьез увлекся современной историей западных стран. Его восхищали смелые действия противников авторитарного режима во Франции. «Мои представления о ситуации во Франции подкреплялись речами Симона и Гамбетты в законодательной палате, их непримиримой борьбой с бонапартистским режимом... Романтизм свободы привлекал меня более всего...» — вспоминал Родичев.

В 1870 году он поступил на естественный факультет Санкт-Петербургского университета. Родичев с восхищением слушал блестящие лекции Д.И. Менделеева, И.И. Мечникова, П.Л. Чебышева. Успешно сдав в 1874 году выпускные экзамены, он решил учиться дальше и стал студентом юридического факультета, где вскоре занялся научной работой под руководством профессоров русского права В.И. Сергеевича и А.Д. Градовского. Итоговая работа Родичева об устройстве русской крестьянской волости оказалась настолько удачной, что Градовский предложил ему продолжить научную карьеру.

Воодушевленный верой в торжество либеральных идей Родичев уже к концу 1870-х годов окончательно сформулировал для себя принцип, который отстаивал всю жизнь: всеобщее равенство и свобода людей. При этом ему удалось избежать увлечения социалистическими идеями, столь популярными в то время. Несмотря на молодость и бурный темперамент, он не идеализировал романтически революционное подполье.

В 1872 году, во время путешествия с матерью по Европе, Родичев знакомится с произведениями А.И. Герцена. На протяжении всей жизни Родичев почитал Герцена в первую очередь как «великого поэта абсолютной ценности личности», защитника прав и свобод человека, а не революционера и социалиста. Находясь в Берлине, он перечитал все книги и статьи Герцена, был потрясен его «откровением свободного духа».

Вернувшись в Россию, Родичев начал горячо проповедовать взгляды Герцена среди своих товарищей. Однако он столкнулся со скептическим отношением к этим идеям в университетской среде. Консервативное крыло студенчества не принимало свободолобивых идей; левых отпугивала дворянская рафинированность Герцена — им гораздо ближе были Чернышевский и Писарев. «Их идеалом была революция, а к делу конституции они были равнодушны», — сокрушался Родичев. Сам он всегда считал, что только мирные реформы, а не катастрофы и разрушительные потрясения позволят восторжествовать в России идеалам законности и права.

Политические противники любят обвинять русских либералов в «непатриотичности». Эти претензии невозможно предъявить Родичеву. Двадцатидвухлетний выпускник столичного университета, узнав об объявлении Сербией войны Османской империи, немедленно отправился сражаться добровольцем на Балканы. В своих поздних заметках он писал: «Летом 1876 года я поехал волонтером за Дунай отыскивать свободу. Мне все мерещились Лафайет или Костюшко. Я считал, что дело свободы славянской есть дело свободы русской». В Сербии Родичев познакомился с итальянскими добровольцами, бывшими волонтерами Гарибальди (мечтающими о федерации свободных балканских республик в союзе с Италией), с сербским полковником Влайковичем, который возглавил в 1866 году восстание в Белграде. Пребывание Родичева на Балканах оказалось недолгим: через год он был срочно вызван в Весьегонск, где уездное земское собрание уже избрало его мировым судьей. Местные землевладельцы, хорошо знавшие семью Родичевых, всерьез опасались за жизнь земляка. По словам его

«Я жил под
знаком
свободы...»

дочери, «избрание отца в местные органы власти было средством для извлечения его с войны». С этого времени для Федора Измайловича начался почти двадцатилетний период земской службы.

Работа в деревне, считал Родичев, необходима для изучения нужд и чаяний народа, воспитания русского крестьянства «в духе свободы». В этом контексте становится понятной и причина его отказа от научной карьеры, которую прочили одаренному студенту. Родичев с энтузиазмом отдался земской работе. Список должностей, занимаемых им в течение этих лет, дает представление о степени его общественной активности и высоком авторитете. В 1878 году, уже имея опыт мирового судьи, он был избран уездным предводителем дворянства, гласным Тверского губернского земского собрания, а также председателем Весьегонского уездного земства. Активная деятельность Ф.И. Родичева не прерывалась вплоть до 1895 года, когда император Николай II личным указом отстранил от нее либерально настроенного земца.

Когда Федор Измайлович приступил к работе в земстве, Весьегонский и Новоторжский уезды стали центрами прогрессивного земского движения Тверской губернии. С середины 1870-х годов здесь развернули активную деятельность молодые земцы, продолжавшие следовать либеральным традициям 1850–1860-х годов: И.И. Петрунkevич, П.А. Корсаков, В.Н. Линд, Б.Е. Кетриц, П.Е. Гронский. Этой группе, названной Родичевым в воспоминаниях «молодой Весьегонией», в земской работе противостояла Весьегония старая, представленная реакционно настроенными землевладельцами, лидером которых был П.А. Кисловский. Как отмечал В.Н. Линд, «направляющее значение в земстве оставалось за дворянством, и характер уездных собраний зависел исключительно от того, какая из дворянских партий — либеральная или консервативная брала перевес.... В семидесятые годы власть все более переходила к либеральной группе, и в 1878 году она окончательно победила...».

Важно отметить, что выступления тверских либералов носили строго легальный характер. Это признавал даже начальник Тверского губернского жандармского управления полковник П.П. Есипов, писавший в обзоре губернии за 1879 год, что либеральная оппозиция «жаждет некоторых улучшений в общественной жизни — облегчение податей и уменьшение выкупных платежей крестьян, расширение прав земств в области народного образования».

Взгляды молодого предводителя дворянства вполне соответствовали прогрессивному духу, который царил на земских заседаниях. Работая в деревне, Ф.И. Родичев близко соприкасался с реальной жизнью крестьян, подходил к их нуждам с критической наблюдательностью и трезвой практичностью. Позже он писал: «Попал я в судьи с живой верой в особую крестьянскую правду, с надеждой видеть ее откровение... Никаких глубин народного духа, отдельных от духа других слоев народа, никакой отдельной народной правды я не видел...» Резкий противник сословных перегородок, он отрицательно относился к волостным судам, переданным

правительством под надзор земских начальников. Родичев считал, что крестьяне, равно как и представители других слоев населения, должны судиться у мирового судьи или в суде присяжных.

Работа в земстве изменила сложившееся под влиянием Герцена отношение Родичева к институту крестьянской общины. Если раньше он считал ее прогрессивным явлением, защитой России от тяжелых социальных потрясений и гарантией права каждого человека на собственность, то теперь, столкнувшись с реалиями сельской жизни, Родичев стал рассматривать общину исключительно как орудие податного нажима. «Не пустить парня на заработки, постановив приговор, чтобы ему не давали паспорта, продать старухину корову за то, что содержала в неисправности свой участок забора, через который деревенская скотина вырывалась на потраву, обложить несносным побором бобылку за пастбу на деревенском выгоне — вот дела нашей общины», — с горечью отмечал Родичев.

Размышляя о проблемах крестьянской жизни, он все более понимал необходимость немедленного преодоления крепостнических пережитков. Достичь этого, по глубокому убеждению Родичева, без обновления основ политического строя России было невозможно. В 1878 году правительственное обращение к обществу за содействием в борьбе с революционным движением (известная речь Александра II в Москве 20 ноября 1878 года) вызвало целый поток земских адресов. Часть из них, как, например, адреса Харьковской и Черниговской губерний, содержала намеки на необходимость дарования России конституционных и гражданских свобод, продолжения реформ 1860-х годов. Аналогичный адрес был составлен тверскими гласными Родичевым, Петрункевичем, Корсаковым, братьями Бакуниными. Известный публицист М.П. Драгоманов отмечал, что «тверской адрес представляет как бы продолжение Черниговского, но превосходит его достоинством и положительностью требований».

Полагая необходимым «восстать, согласно призыву монарха, на борьбу с постоянно возрастающим злом», тверские земцы, подобно многим либерально мыслящим людям, отмечали недостаточность одних репрессивных мер для «исцеления общих политических недугов». Однако в отличие от прочих только в Черниговском и Тверском адресах утверждалось, что реакционный курс правительства, урезая права земских учреждений, искажает суть реформ 1860-х годов и приводит к росту революционного движения. Тверские земцы высказали вслух те мысли, которые черниговские вынашивали, но не решались прямо включить в свой адрес. «Записка двадцати двух гласных» заканчивалась обращением к царю с недвусмысленным намеком на необходимость для России, в целях «постепенного, мирного и законного развития», последовать примеру освобожденной от турецкого ига Болгарии, где была введена так называемая Тырновская конституция.

Однако одно дело составить адрес и собрать под ним достаточное количество подписей, а другое — превратить его в официальное обращение Тверского губернского земства к правительству. Ф.И. Родичев и И.И. Пе-

«Я жил под
знаком
свободы...»

трукевич попытались утвердить адрес на собрании экстренной сессии 21 февраля 1879 года, созванном для «рассмотрения губернаторского протеста на постановление собрания очередной сессии и... обсуждения мер по борьбе с эпидемией чумы». По донесению Департамента полиции, в заседаниях губернские гласные, выходя за пределы рассмотрения поставленных вопросов, «вторгались в обсуждение проблем общего государственного строя и подали председателю записку в том смысле, подписанную двадцатью двумя лицами». Родичев, выступая на собрании, указал, что в записке «поднят вопрос об общих условиях земской деятельности, указаны условия общественной автономии и личной свободы, при которых только и возможно искоренение зла, как нравственного, так и физического, при которых в настоящее время только возможно мирное и законное развитие общества». Не обсудив этих вопросов, по его мнению, приступать к решению частных проблем было бы преждевременным.

Попытка обсудить адрес в собрании закончилась неудачей: председатель запретил даже огласить его. В ответ Родичев указал, что «нам придется сложить с себя ответственность и действовать в пределах собственного бессилия». Он считал необходимым созвать съезд земских деятелей в Москве для обсуждения мер не только по борьбе «с чумой физической, но и с нравственным злом, разъедающим общество». Можно предположить, что этим ходатайством тверские земцы попытались легализовать готовящийся в Москве тайный земский съезд, придав ему видимость собрания по борьбе с чумой. История подготовки I земского съезда и его состав (на совещании 1 апреля 1879 года в числе восьми представителей от Тверской губернии присутствовал и Родичев) невольно наводят на мысль, что тверские земцы знали о съезде и предпочли, по выражению Родичева, «стоять на почве законности», т.е. узаконить сам съезд.

Во время работы Родичева над составлением записки за ним было установлено негласное наблюдение, и местные власти охарактеризовали его как «ярого либерала и весьма видного местного руководителя группы лиц, стоящих в оппозиции к правительству». Позже в донесении Департамента полиции читаем еще более резкую характеристику Родичева: «Отъявленный лицемер, либерал, и весьма неблагонадежен. Помимо обнаруженных им симпатии и покровительства поднадзорным, он обращает на себя особое внимание смелостью и резкостью суждений на дворянских и земских собраниях, всегда выступает с разного рода демонстративными предложениями, рисуясь беспощадной критикой административной власти».

В 1880-е годы Федор Измайлович продолжал активно работать в уездном и губернском земствах. К тому времени его взгляды на общинное землевладение и юридический статус крестьян полностью сформировались и нашли выражение в записке «О личных правах крестьян», которую он направил в комиссию по составлению проекта преобразования местного самоуправления под председательством члена Государственного совета М.С. Каханова. В этом документе Родичев утверждал, что личные права

крестьян ограничены «в силу особого податного состояния» и большая часть ограничений сводится к существованию подушной подати, обязательного выкупа и целой системы законов, обеспечивающих стабильную выплату подати и выкупных платежей. Стесненность крестьян в личных правах, по мнению автора документа, выражалась в отсутствии свободы труда, передвижения, промыслов, господстве телесных наказаний, а также в ограниченном доступе к образованию и государственной службе. Резкой критике в записке была подвергнута паспортная система, которую Родичев считал основным способом ограничения юридической свободы крестьян, барьером для смены места жительства. В рамках этого проекта земский гласный обозначил роль общины в крестьянской жизни, утверждая, что только в одном случае ее существование будет служить гарантией свободы личности: если права выхода из общины будут законодательно регламентированы. «Община есть союз личный, а не имущественный», — резюмирует Родичев.

Несмотря на то что в связи с проведением контрреформ деятельность комиссии Каханова к 1886 году была свернута и идеи Родичева, изложенные в записке, не были воплощены в жизнь, на нее обратили внимание представители прогрессивно мыслящей общественности. Так, П.Б. Струве, который опубликовал документ в 1897 году в марксистском журнале «Новое слово», назвал его «замечательной вещью по глубине понимания и верности мысли о состоянии крестьянского сословия», а П.Н. Милюков, давая оценку записке в 1905 году, — «настоящей программой крестьянского права».

Одним из важных направлений земской деятельности Ф.И. Родичева была его работа в области народного образования. Уделяя огромное внимание воспитанию свободной личности, он считал, что «школа в сознании населения должна быть столь же непрерываемым и необходимым учреждением, как и церковь». В организации школьного дела в Весьегонском уезде Родичеву помогал его друг и соратник П.А. Корсаков; позднее Федор Измайлович предложил участие в этой работе будущему видному деятелю российского либерализма Д.И. Шаховскому, который принял предложение Родичева и три с половиной года работал его помощником по училищной части. Родичев одним из первых в губернии высказал идею о возможности организации там всеобщего обучения, в чем убедил Шаховского и члена учительского совета, будущего депутата I Думы, А.С. Медведева. Несмотря на то что многие в то время считали эту идею дерзкой выдумкой, после выступлений Родичева в сентябре 1894 года на заседаниях Тверского земского собрания всеобщее обучение в губернии было единогласно признано «непосредственной целью». В 1906 году в Весьегонском уезде впервые в России идея всеобщего начального обучения была воплощена в жизнь.

При поддержке единомышленников Родичев на заседаниях уездных земских собраний настаивал на расширении ассигнований на нужды народного образования. В результате активной работы земцев ассигнова-

«Я жил под
знаком
свободы...»

ния увеличивались из года в год, что позволяло земству строить новые школы, а часть средств направлять на финансирование образовательных программ и организацию учительских съездов.

Бурные политические события 1880-х годов, связанные с началом правления Александра III и проведением им контрреформ (отставка либерально настроенного М.Т. Лорис-Меликова и других министров, вступление в должность Д.А. Толстого и И.Н. Дурново, свертывание деятельности комиссии Каханова), внесли коррективы в деятельность Родичева. Его протестом против введения института земских начальников и одновременной отмены должности мировых судей стала отставка в 1891 году с поста весьегонского предводителя дворянства. В этой должности Родичев должен был председательствовать на собраниях земских начальников своего уезда, но он не захотел даже в такой форме идентифицировать себя с институтом, который, по его мнению, был призван обеспечивать произвольное вмешательство в крестьянскую жизнь со стороны местных органов власти.

Несмотря на отставку, Родичев вскоре был единогласно избран Тверским земским собранием на пост председателя губернской управы, однако новый министр внутренних дел И.Н. Дурново не утвердил его в этой должности. Газета «Речь» в марте 1906 года, незадолго до открытия I Думы, воспроизвела слова министра, обращенные к Родичеву в 1889 году: «Правительство и так к вам слишком снисходительно, вы там толкуете Бог знает что об образовании и правах. Нам же нужны люди, которые бы говорили и делали то, что нам нужно...» Однако и после этого эпизода Родичев еще в течение пяти лет оставался гласным Тверского земского собрания, продолжая выступать против уничтожения выборного мирового суда и расширения права надзора местной администрации за деятельностью земских учреждений.

Поводом к драматическому концу земской карьеры Ф.И. Родичева послужило представление императору Николаю II известного «Адреса Тверского земства». Его текст, составленный Родичевым и одобренный губернским собранием, лишь подтверждал неоднократно выражаемое ранее пожелание земцев законодательной защиты общественных институтов для того, чтобы «высоты трона могли достигнуть помыслы не только представителей власти, но и всего русского народа». Однако Николай II встретил депутацию речью, в которой назвал содержащиеся в тексте адреса пожелания «бессмысленными мечтаниями». Родичев же, как автор «крамольного» заявления, по Высочайшему повелению был на десять лет лишен права участвовать в сословных и общественных выборах. Он был глубоко оскорблен неожиданной реакцией царя на адрес и позже, вспоминая об этом, писал своему другу В.А. Ледницкому: «Я чувствовал себя осужденным мошенником. За всю мою жизнь никто не нанес мне удар больший, чем Николай II...»

Следующие десять лет жизни Федора Измайловича стали переходным этапом от его работы на провинциальном уровне до деятельности в обще-

российском масштабе как одного из лидеров кадетской партии и думского депутата. Отстраненный от земской работы, Родичев занялся адвокатской практикой, которая не приносила ему удовлетворения.

Материалы об этом периоде очень фрагментарны, однако в письме Родичева Ледницкому читаем о том, что для него эти годы были периодом значительных материальных затруднений и жесткого полицейского контроля. От общественной работы была отстранена и жена Родичева: по распоряжению тверского губернатора Ахлестышева, Екатерина Александровна не была утверждена попечительницей в одной из новых школ уезда, а местным учителям было запрещено посещать ее дом.

В 1901 году за участие в подписании протеста в адрес министров юстиции и внутренних дел против жестокого разгона полицией студенческой демонстрации у Казанского собора Родичев был помещен под домашний арест, а затем по распоряжению министра внутренних дел Сипягина подвергся высылке из столицы. Однако вскоре в жизни Родичева произошли изменения: в 1904 году по ходатайству вновь назначенного либерального министра внутренних дел П.Д. Святополк-Мирского Федору Измайловичу было возвращено право участия в общественной деятельности.

Летом 1903 года Родичев стал одним из двадцати участников I съезда Союза освобождения, который состоялся в Швейцарии, в Шафгаузене, а также постоянным сотрудником журнала «Освобождение». На его страницах он так изложил свое видение перспектив развития политической ситуации в России: «Если бы мы верили в личные силы Государя, мы были бы готовы умолять его обратиться к народу. Созовите Земский собор! Спасите страну от потрясений и кровавых жертв. Но тщетны мольбы, бесполезны они против страшных законов судьбы. Земский собор будет созван, это видит всякий, у кого ум и совесть не на содержании у казны, но он будет созван не по указу государственного ума и человеческого сердца, а под давлением напора событий, ненависти, ежечасно сеемой самодержавием, под давлением нужды и необходимости — поздно...»

Во время стремительно меняющейся политической обстановки 1904–1905 годов, неудач России на Дальнем Востоке и назревающего революционного кризиса Ф.И. Родичев активно участвовал в многочисленных заседаниях Союза освобождения, Союза земцев-конституционалистов, а также в работе всех без исключения земских съездов. На съезде земских деятелей, проходившем в Санкт-Петербурге в ноябре 1904 года, Родичев поддержал «Записку», формулирующую конституционные требования свободы слова, печати, союзов, собраний и «представительного устройства в России», а также полной амнистии всех лиц, подвергшихся политическим преследованиям.

Несколько месяцев спустя в России началась революция, в ходе которой, в мае 1905 года, под руководством П.Н. Милюкова был создан Союз союзов, ядром которого стал Союз земцев-конституционалистов. Родичев надеялся, что участие земцев в Союзе союзов позволит им последовательно проводить там линию «здорового умеренного влияния».

«Я жил под
знаком
свободы...»

Одновременно Родичев принял участие в образовании Союза адвокатов, председательствуя на съезде которого в марте 1905 года убедил присутствующих принять польскую делегацию на ее условиях — одобрения на съезде идеи польской национальной автономии. С тех пор Ф.И. Родичев был неизменным участником русско-польских совещаний, проводимых с участием его личного друга, лидера польского национального движения А.Р. Ледницкого. Родичев писал ему: «В этом вопросе я никогда не отбивался, так как здесь для меня была незыблемая основа: права лиц и национальностей». Такой идейной установке Родичев следовал всю последующую жизнь — во время многолетней работы в Думе и позже, находясь за пределами России.

В октябре 1905 года как член Союза освобождения и Союза земцев-конституционалистов Родичев участвовал в организационном оформлении новой политической партии — Конституционно-демократической (Партии народной свободы) и был избран в ее Центральный комитет. Общероссийскую известность он получил как депутат четырех Дум. Благодаря случайности он избежал злополучных последствий подписания знаменитого Выборгского воззвания — протеста против роспуска правительством первого российского парламента. Во время подписания воззвания он находился в Лондоне, в составе думской делегации на межпарламентской конференции, и потому не был лишен избирательных прав, как другие члены партии. Это обстоятельство дало ему возможность быть избранным в Государственную думу всех последующих созывов.

На думских заседаниях сразу же проявился выдающийся ораторский талант Родичева, которого современники называли «златоустом кадетской партии» и «оратором Божьей милостью». П.Б. Струве считал его одним из трех великих ораторов современной России наряду с В.А. Маклаковым и П.А. Столыпиным.

В Государственной думе первого созыва Родичев работал в Комитете по крестьянскому вопросу, участвуя в разработке законопроекта об уравнении крестьян в правах с другими сословиями. Там он произнес свои первые думские речи: о политической амнистии, отмене смертной казни и об «ответственном министерстве». По последнему вопросу позиция Родичева отличалась своеобразием. Полностью поддержав общее для кадетских депутатов требование «ответственного министерства», он аргументировал его не в антимонархическом ключе, а, напротив, тем, что оно необходимо для защиты личности государя. Родичев утверждал, что «только министерство, ответственное перед Думой, по-настоящему ответственно и перед монархом» и возражал против общей точки зрения, которая возлагает «на голову царя ответственность за всякое незаконное действие властей». На заседании 23 июня 1906 года Родичев, принимая участие в решении вопроса об изыскании необходимых для помощи голодающим губерниям средств, убеждал Думу в невозможности обращения к займам, так как это, по его мнению, может привести к подрыву государственного бюджета. Предложение Родичева, поддержанное боль-

шинством, сводилось к возможности распределения денежных средств на основании пересмотра сметы государственных расходов, что дало бы возможность преодолеть голод.

С воодушевлением Ф.И. Родичев начал работать в Думе второго созыва, где принял участие в работе бюджетной и продовольственной комиссий, комиссии о местном суде, а также был избран в бюро парламентской кадетской фракции. С первых дней работы Думы он настойчиво проводил идею о необходимости создания специальной комиссии для рассмотрения отчета Министерства внутренних дел о проведении продовольственной операции. В марте 1907 года это предложение было поддержано большинством Думы, к которому присоединился и П.А. Столыпин. Работая в бюджетной комиссии, Родичев настаивал на открытом обсуждении бюджета и доведении до сведения депутатов плана финансовых реформ. Участвуя в прениях по аграрному вопросу, он говорил о необходимости регламентации права земельной собственности и возможностях интенсификации крестьянского хозяйства.

Заслуживает внимания и участие Родичева в обсуждении в Думе известного аграрного Указа 9 ноября 1906 года. Считая его проведение в жизнь преждевременным, Федор Измайлович утверждал, что для введения хуторской формы хозяйствования в России необходимо наличие целого ряда условий: качественных путей сообщения, прочного правопорядка, законности, прав и свобод личности. «Не будь их, — говорил он, — толкать крестьян на интенсификацию означает обрекать их на убытки и разорение».

Особого мнения Родичев придерживался и при обсуждении вопроса о русской общине. Крестьянские наделные земли, отмечал он, после погашения выкупа автоматически становятся общественной собственностью, которая законодательно регламентирована «Положением 19 февраля 1881 года». По окончании выкупной операции, считал он, крестьянская собственность должна регулироваться теми же законами, какими регулируется любая другая собственность в России. Согласно этой точке зрения, общинное землевладение уже с 1 января 1907 года перестает существовать на всех наделных землях, и нет необходимости отменять его специальным указом. Мнение Родичева внимательно изучалось в думской комиссии по аграрной реформе и широко обсуждалось в печати.

«Я жил под
знаком
свободы...»

После роспуска II Думы и выхода в свет нового избирательного закона стало ясно, что партия кадетов не сможет играть руководящей роли в III Государственной думе. Однако это обстоятельство не помешало представителям фракции упорно бороться за права народного представительства и участвовать в активной законодательной работе. Родичев, не теряя надежды на возможность влияния с думской трибуны на политическую ситуацию в стране, снова стал активным участником обсуждения аграрного и национального вопросов.

На заседании 17 ноября 1907 года, осуждая реакционность правительственного курса по отношению к правам национальностей и выступая в защиту польской автономии, он произнес речь, которая потрясла Думу.

Призывая власть «сойти с пути преступлений и узаконить равные для всех национальностей права», Родичев закончил свою речь следующими словами: «В то время когда русская власть находилась в борьбе с эксцессами революции, видели только одно средство, которое Пуришкевич называет „муравьевским воротником“ и которое его потомки назовут, быть может, „столыпинским галстуком“!» Правомонархическим думским большинством эти слова были расценены как дерзкий выпад в адрес председателя Совета министров П.А. Столыпина, который после окончания речи демонстративно покинул зал заседаний. Родичев же лишился права в течение последующих пятнадцати заседаний принимать участие в думской работе.

Эта речь известного кадетского оратора имела большой общественный резонанс — на следующий день она была опубликована в газетах всех направлений. Кадетская «Речь» назвала ее «историческими словами в жизни русского парламента»; многие видные политики и общественные деятели выражали восхищение и сочувствие Родичеву. «Если нашлось столько людей, которые обозлились на благородного оратора за его блестящую речь и, быть может, его „лебединую песнь“ в третьей русской Думе, то это только потому, что она затронула даже и их черную зависть и пробудила в них сознание страшной вины перед родиной, их злополучной жертвою. Это был проблеск, зародыш раскаяния палача», — говорил в открытом письме в редакцию газеты «Речь» и «Русские ведомости» А. Энгельмейер. Речь Родичева в своих письмах приветствовали торговые служащие, приказчики, представители польских национальных кругов, делегаты Лондонского съезда РСДРП... С другой стороны, представители умеренных конституционалистов расценили речь Родичева иначе. Так, лидер либерального крыла октябристов В.И. Петрово-Соловово писал в газете «Слово», что выпад Родичева против личности премьера «погубил речь оратора... дал неотразимое орудие в руки наших политических противников. Красное словцо произнес Родичев, а триумф получил Столыпин!»

Вернувшись к работе в Думе, Федор Измайлович участвовал в обсуждении законопроектов о неприкосновенности личности, об устройстве местного суда, о волостном земском управлении. В острых и блестящих речах он критиковал бюрократическую политику самодержавия в области народного образования, выступал против так называемой скорострельной юстиции (казни по решению военного суда), в защиту национального равноправия.

Однако Родичев все меньше верил в законодательные возможности Думы как независимого от мнения правительства института. «Эта дума не народная, а министерская, дума помещичьей злобы», — говорил Родичев в беседе с корреспондентом газеты «Русское слово». Накануне открытия IV Государственной думы Родичев уже не сомневался, что она будет лишь видимостью народного представительства. «Большинство там составят воскресшие дети Аракчеева, народ на выборах подменен 7200 священниками. Это все равно, как завести 7200 граммофонов и потом сказать, что это голос народа», — говорил он на предвыборных собраниях.

В Государственной думе четвертого созыва, где продуктивная работа оппозиции стала невозможной, Ф.И. Родичев участвовал в обсуждении проектов преобразования местных судов, введения таможенных пошлин, а также пытался убедить депутатов в незаконности введения цензуры во время войны. Важно отметить, что с самого начала Первой мировой войны Родичев в думских речах, в ряде докладов и публичных лекций упорно боролся с пораженческими настроениями в обществе. В то же время его мучили предчувствия неминуемого поражения русской армии в борьбе с Германией. Будучи патриотом, он не мог и не хотел высказывать их публично, однако в частных беседах он не раз утверждал, что бездарное правительство Николая II не сумеет защитить честь России и армия вследствие недостаточности снабжения и преступного легкомыслия властей, несмотря на все усилия, не выдержит натиска германских войск.

С Февральской революцией 1917 года Федор Измаилович связывал надежды на «подлинно конституционное развитие страны» и «обновление всего правительственного механизма». В начале марта 1917 года он посетил войска Петроградского гарнизона и попытался убедить их «следовать хладнокровию, дисциплине и порядку». Авторитет Родичева в общественных кругах был столь высок, что он был приглашен в состав Временного правительства на пост министра по делам Финляндии, который занимал до начала июля.

Вступление его в должность совпало с драматическими событиями на Балтийском флоте. В Гельсингфорсе взбунтовавшимися матросами были убиты шестьдесят офицеров и командующий флотом вице-адмирал А.И. Непенин. Родичев в сопровождении представителя Петроградского Совета немедленно отбыл в Финляндию с нелегкой миссией восстановления порядка среди матросов и получения гарантий освобождения оставшихся в живых офицеров. Посещая мятежные корабли и говоря до хрипоты, ему удалось убедить матросов прекратить беспорядки и отпустить своих командиров.

Весной и летом 1917 года Родичев на заседаниях ЦК кадетской партии и в публичных выступлениях призывал соотечественников к объединению усилий в борьбе до победы, несмотря на попытки Советов и германской пропаганды подорвать государственную волю России. На VII съезде кадетской партии 26 марта 1917 года Родичев в связи с вступлением в войну США говорил о возможности создания «нового мирового союза свободы». При этом он не видел противоречия между стремлением России к свободе и перспективой овладения русскими войсками черноморскими проливами, что, по мнению Родичева, стало бы для России символом окончательного освобождения славян от турецкого влияния.

Говоря о консолидации военных усилий, Родичев был озабочен пацифистскими настроениями в армии и считал невозможным участие солдат и офицеров в выборах в Учредительное собрание. После неудачного июньского наступления на фронте он уехал в Новочеркасск для организации блока казачества с кадетами на будущих выборах. «Сил ушло много, цели

«Я жил под
знаком
свободы...»

достигнуто не было» — так оценил Родичев результаты поездки на Дон. В августе пессимизм Родичева усилился. Это было связано с неудавшейся попыткой генерала Л.Г. Корнилова склонить на свою сторону армию и противостоять возрастающему влиянию большевиков.

После Октябрьского переворота 1917 года, который Ф.И. Родичев решительно не принял, единственный шанс спасения России виделся ему в созыве Учредительного собрания, где кадеты, сотрудничая с умеренными социалистами, могли бы противостоять диктатуре леворадикальных сил. Однако этим надеждам не суждено было оправдаться: кадетская партия набрала на выборах менее 5% голосов избирателей, утратив тем самым возможность контролировать развитие политического процесса в стране.

В первый же день работы Учредительного собрания большевики арестовали нескольких кадетских лидеров, и вовремя предупрежденному Родичеву чудом удалось избежать участи заключенного в тюрьму М.М. Винавера и убитых А.И. Шингарева и Ф.Ф. Кокошкина. Почти год он оставался в Петрограде, скрываясь на квартирах друзей. В сентябре 1918 года, потеряв надежду на скорое крушение коммунистического режима, он с семьей покинул столицу и переехал на юг России — сначала в Киев, а затем в Ростов-на-Дону, где с группой кадетов стал искать возможности для организации сопротивления большевистской власти. Здесь Родичев принял активное участие в работе ростовского отделения Всероссийского национального центра, объединяющего представителей либерально-демократических и либерально-консервативных партий. Национальный центр был создан для борьбы с Германией и большевизмом и для поддержки Добровольческой армии как основной силы для восстановления «единой и неделимой России».

5 апреля 1919 года на заседании правления Национального центра Родичев утверждал, что военному поражению большевиков и успешному продвижению Добровольческой армии должно сопутствовать снабжение освобожденных областей хлебом, обязательная вспашка и засев полей. При этом он настаивал на необходимости создания соответствующей «организации», которую нужно снабдить посевным материалом и сельскохозяйственными орудиями.

Рассматривая варианты аграрной реформы в России после ожидаемой победы А.И. Деникина, Родичев выступал против принудительного отчуждения земли, которое, по его мнению, может остановить процесс дифференциации земельной собственности. Мерой, которая могла бы способствовать утверждению принципа частной собственности и принести государству значительный доход, Родичев считал введение прогрессивного земельного налога.

Весной 1919 года для установления тесной связи с заграницей, борьбы с агитационной работой большевиков и осведомления союзников о положении дел в России правление Национального центра поручило Родичеву посетить Грецию, Сербию, Чехию и Польшу. Тогда же ему было поручено организовать постоянное политическое представительство России в Кон-

стантинополе, где обсуждались бы вопросы помощи армии со стороны союзников.

После поражения Добровольческой армии деятельность Национального центра прекратилась, и Родичев продолжил работу уже за пределами России. С начала 1920 года он участвует в восстановлении партийных организаций кадетской партии в Париже, где ее лидеры тогда определяли курс на организацию партийных центров в европейских столицах под лозунгом борьбы с большевизмом. В те месяцы кадеты активно стремились к расширению поля своей политической деятельности на территории, контролируемой генералом П.Н. Врангелем, который, со своей стороны, активно искал поддержки в среде российской эмиграции. В июне 1920 года Врангель предложил Родичеву занять пост дипломатического представителя русской армии в Варшаве. Тот, приняв предложение, отправился в Польшу, где вел переговоры, выступал с докладами о политической обстановке в Советской России. После поездки в Польшу Родичев сделал вывод, что польское правительство может стать не только активным союзником в борьбе с большевизмом, но и способствовать восстановлению в России конституционного порядка и реализации либеральных политических проектов.

На совещании членов Учредительного собрания в Париже в январе 1921 года Родичев поддержал идею сохранения русской армии как единственного оплота в борьбе с большевизмом. Поражение Белого движения, отсутствие единства между единомышленниками, неясность будущего — все это удручающе действовало на Родичева. Его соратница по кадетской партии А.В. Тыркова, находясь под впечатлением последних кадетских собраний, записала в своем дневнике: «Что такое кадетская партия сейчас? Нужна ли она? Ошибок и грехов много на наших душах. А как их искупить или поправить?..»

Ответы на эти и многие другие вопросы Ф.И. Родичеву, как и другим кадетам, пришлось искать на чужбине. С 1922 года и до смерти в феврале 1934-го он с женой жил в Лозанне. Владевший до революции тремя тысячами десятин земли, известный политический деятель, Родичев испытывал большие материальные трудности за границей и жил, по сути, на пособие швейцарского Красного Креста и пожертвования друзей. В начале 1930-х годов он уже потерял надежду на возвращение в Россию и не принимал участия в общественно-политической жизни русской эмиграции. В письме к Н.Н. Астрову в декабре 1930 года он написал: «Надо признать, что карта наша бита и будет ли новый розыгрыш когда-либо? Но есть сознание, что мы были на верном пути...»

«Я жил под
знаком
свободы...»

ДМИТРИЙ
ИВАНОВИЧ
ШАХОВСКОЙ

«Мы хотим дать людям
возможность не служить
тому, что они признают
за зло...»

Один из лидеров русского либерального движения конца XIX — начала XX века — князь Дмитрий Иванович Шаховской родился в 1862 году в Москве. Его дед, Федор Петрович Шаховской, активный участник движения декабристов, был сослан в Туруханский край, где, не выдержав тяжелых испытаний, заболел психическим расстройством. Бабушка, Наталья Дмитриевна, урожденная княжна Щербатова, была родной теткой известного философа П.Я. Чаадаева. Отец, Иван Федорович, дослужился до чина генерала от инфантерии. Мать, Екатерина Святославовна, происходившая из незнатного польского рода Бержанских, умерла рано.

С четырехлетнего возраста Дмитрий и его младший брат Сергей жили в Варшаве, по месту службы отца. На лето родители вывозили детей в родовое имение князей Щербатовых в Серпуховском уезде Московской губернии, где жили бабушка и ее сестра Елизавета Дмитриевна. Из их рассказов Дмитрий узнал о трагической судьбе деда-декабриста, об оппозиционных настроениях, царивших в доме известного историка князя М.М. Щербатова, о философских исканиях П.Я. Чаадаева, творчеству которого он впоследствии посвятит ряд своих исследований.

В 1880 году восемнадцатилетний Дмитрий окончил 6-ю Варшавскую гимназию и поступил на историко-филологический факультет Московского университета, где слушал блестящие лекции В.О. Ключевского, С.А. Муромцева, Н.С. Тихонравова. После царевубийства 1 марта 1881 года ситуация в Московском университете изменилась: участились столкновения с начальством, споры с профессорами, студенческие сходы. На одной из них был арестован и Шаховской, вынужденный провести одну ночь в Бутырской тюрьме.

В 1882 году Дмитрий перевелся в Петербургский университет, где училось много его друзей и знакомых по Варшавской гимназии. Он сразу же вошел в так называемый ольденбургский кружок, ставший позднее ядром студенческого братства. На первых порах кружок, в который входили Ф.Ф. и С.Ф. Ольденбурги, В.И. Вернадский, И.М. Гревс и А.А. Корнилов, сознательно сторонился политической деятельности и ставил перед собой задачу «объединить идеалистическое студенчество около научной

работы», противопоставив ее, с одной стороны, карьеризму, а с другой — «преждевременному политиканству и революционерству».

В мае 1884 года по инициативе Дмитрия Шаховского начал действовать кружок народной литературы. Его участники занимались, во-первых, переработкой литературных произведений (например, «Мучеников» Шатобриана или «Айвенго» Вальтера Скотта), стремясь сделать их доступными малограмотному народу, а во-вторых, закупали популярные книги и брошюры и бесплатно рассылали их по деревням.

Особое влияние на молодого Дмитрия Шаховского оказали нравственные принципы Льва Толстого. Он неоднократно посещал писателя в Ясной Поляне и Хамовниках в Москве. Известно, что и сам Толстой с особым вниманием относился к Шаховскому. Разъясняя причины своего увлечения толстовством, Дмитрий Иванович позднее писал: «Толстой увлекал нас своим радикализмом („так жить нельзя“ — ведь это первый наш тезис) и всенародностью, демократизмом, осмысливанием опрощенства, подведением нравственной основы под требования политического и социального обновления».

В 1885 году в Петербурге на квартире либерала К.Д. Кавелина состоялась встреча Шаховского с видными тверскими земцами Федором Родичевым и братьями Корсаковыми, многое решившая в его судьбе. Вспоминая об этой встрече, Родичев позднее писал: «Молодой, застенчивый, с наивным внимательным взглядом, Шаховской проповедовал учение Льва Толстого, аскетизм, самопожертвование, любовь. К политике он был равнодушен и собирался идти в учителя русского языка. Он горел жаждой подвига... Я соблазнил его: „Вместо учительства в гимназии поезжайте заведовать народными школами, ваше дело будет и административным, и педагогическим. Вы будете помогать учителям в преподавании, будете связью между ними. Это подлинное дело в пользу народа, то непосредственное знакомство с его нуждами, о котором вы мечтаете“».

Шаховской принял предложение Родичева и три с половиной года работал его помощником по училищной части в Весьегонском уезде Тверской губернии. Одновременно он исполнял обязанности заведующего хозяйственной частью земских школ. Шаховской намеревался реализовать на практике идеи студенческого братства — поднять духовный и культурный уровень сельской интеллигенции, чтобы с ее помощью подойти к крестьянским массам. Поэтому его интересовали не только чисто хозяйственные проблемы земских школ (финансы, дрова, керосин), но прежде всего установление тесных личных контактов с земской интеллигенцией. Он часто беседовал с учителями, снабжал их популярными брошюрами демократического характера, комплектовал на свои средства народные библиотечки и передавал их для распространения среди крестьян. Не случайно с 1887 года Департамент полиции установил за Шаховским негласное наблюдение и настойчиво рекомендовал губернским властям побыстрее избавиться от «неблагонадежного элемента».

В 1889 году, после смерти управляющего имениями отца, Дмитрий Иванович вынужден был переехать в Ярославскую губернию, где ему пришлось взять на себя распоряжение двумя большими имениями с «совершенно запутанными делами». Однако вскоре он решил продать их, оставив себе в пределах Михайловского лишь 367 десятин земли, необходимых для получения избирательного земского ценза. Немалую роль в продаже имений сыграло и то, что молодой князь не хотел, чтобы его дети выросли «барчуками» и «впитали» в себя «вредный помещичий дух». В одном из писем своему другу Ф.Ф. Ольденбургу он писал: «Высшая моя мечта — чтоб сын мог сказать рабочим, народу: „Я такой же работник, как и вы“, и чтобы они его поняли и согласились с ним, и признали его своим...»

В 1889–1890 годах Шаховской в письмах друзьям четко и определенно формулировал свои мировоззренческие позиции: «Мы демократы. Мы желаем полной равноправности. Мы стремимся к возможно полному и всестороннему развитию личности. Мы хотим свободы — не только в правительственных учреждениях, а и в сознании людей, мы хотим дать им возможность не служить тому, что они признают за зло. Мы хотим братства всех людей и полного их взаимного понимания. Мы не хотим взнуздывать зверя — народ, но не хотим и того, чтобы он разрушил наши музеи и сжег наши книги. Мы хотим быть смелыми и сильными. А для этого мы должны по возможности сами трудиться и побуждать детей участвовать в том великом человеческом труде, который направлен на добычу предметов первой необходимости».

Шаховской указывал на необходимость разработки конкретной политической программы. По его мнению, следует поддерживать и пропагандировать идею созыва Земского собора, разделения властей и провозглашение «прав всякого гражданина, и прав не только политических, но и социальных». Шаховской пытался синтезировать в единое целое идеи западного либерализма и славянофилов, постоянно выделяя в них социокультурную и нравственно-этическую составляющие. «И у славянофилов, — писал он в автобиографии, — я находил родственные нотки. Я у них искал доводов в защиту начал народности... Земство рисовалось мне практическим путем к осуществлению двух самых дорогих мне начал в общественной жизни: свободы и народности». Не случайно идеи и образ действий Шаховского неизменно получали поддержку в самых широких как либеральных, так и социалистических кругах российской интеллигенции, а сам он стал связующим звеном между либералами и умеренными социалистами.

Приобретенный опыт земской работы в Тверской губернии Шаховской преумножил на посту гласного Ярославского уездного (1889), а затем и губернского земства (1895). Он входил в состав различных земских комиссий, являлся членом уездного училищного совета, Общества для содействия народному образованию, уездной архивной комиссии; был соредактором газеты «Северный край», активно сотрудничал в газете «Вестник Ярославского земства». По данным Департамента полиции,

в 1894 году Шаховской учредил на собственные средства в Ярославском уезде библиотеку для крестьян, снабжал книгами местные сельские школы. В 1895 году он подготовил и издал «Записку гласного Ярославского уездного земского собрания князя Д.И. Шаховского о школьном деле в уезде», в которой проводилась мысль о необходимости введения в России всеобщего образования. Несколько позднее, в 1902 году, под его редакцией в Москве был издан сборник статей «Всеобщее образование в России».

В начале 1890-х годов общественная деятельность Шаховского вышла за рамки Ярославской губернии и приобрела общероссийский масштаб. В 1891–1892 годах он вместе с Ф.Ф. и С.Ф. Ольденбургами и В.И. Вернадским активно участвовал в борьбе с голодом в Самарской губернии, установил связи со многими видными земскими общественными деятелями, в частности с Д.Н. Шиповым, братьями Павлом и Петром Долгоруковыми. Легко сходясь с людьми разного возраста и социального положения, Дмитрий Иванович взял на себя чрезвычайно важную функцию «собирателя» всех демократических оппозиционных сил. «Его главным талантом, — вспоминала А.В. Тыркова, — было привлекать и объединять людей... Он не боялся разнообразия характеров, допускал разные оттенки во взглядах». Шаховской постоянно находился в разъездах по России и за границей, организуя нелегальные и легальные акции. Недаром он получил кличку «летучий голландец».

В 1890-х годах Дмитрий Иванович активно работал в Вольном экономическом обществе; участвовал и в заседаниях полулегального аристократического кружка «Беседа», где вместе с князем Петром Долгоруковым подготовил и издал сборники «Крестьянский строй» и «Мелкая земская единица»; выступал за объединение в оппозиционных акциях земских гласных и служащих. По его инициативе во время неоднократных выездов за границу были установлены связи с Фондом вольной русской прессы. Под псевдонимом С. Мирный Шаховской издал в Женеве в 1896 году свои брошюры «Адреса земств 1894–1895 годов и их политическая программа», «Ходынка», «Царские милости». Он одним из первых выступил за создание нелегального печатного органа либерального направления за границей, став затем наиболее активным организатором, финансистом и транспортировщиком журнала «Освобождение», издававшегося Петром Струве в Германии.

Дмитрий Иванович являлся инициатором создания и одним из руководителей двух либеральных политических организаций — Союза освобождения (избран членом совета и секретарем Союза) и Союза земцев-конституционалистов (член организационного бюро общеземских съездов). На учредительном съезде Союза освобождения (январь 1904 года) он выступил с докладом о тактике будущей Конституционно-демократической партии. Идеи доклада легли потом в основу его программной статьи «Задачи конституционной партии в данный момент», опубликованной в июне 1904 года в журнале «Освобождение». На II съезде Союза освобождения (октябрь 1904-го) Шаховской сделал доклад «О составе и силах союза»,

«Мы хотим
дать людям
возможность
не служить
тому, что они
признают
за зло...»

в котором развивал идеи объединения либеральных земцев с демократической интеллигенцией. Он принимал участие в разработке программных документов ноябрьского общеземского съезда, последовательно высказываясь за немедленное осуществление гражданских и политических прав и свобод, за созыв законодательного народного представительства на основе всеобщего избирательного права.

Начавшуюся первую русскую революцию Д.И. Шаховской встретил с энтузиазмом, считая, что она приведет к уничтожению ненавистного авторитарного режима, установлению в стране демократических порядков и осуществлению радикальных социальных реформ. На июльском земско-городском съезде 1905 года Дмитрий Иванович был избран в состав депутации, передавшей Николаю II земский адрес с требованиями скорейшего созыва законодательного народного представительства.

Будучи секретарем комиссии из сорока человек, в которую вошли по двадцать представителей из Союза освобождения и Союза земцев-конституционалистов, Шаховской сыграл принципиально важную роль в подготовке учредительного съезда Конституционно-демократической партии и разработке ее основополагающих программных, уставных и тактических документов. Съезд, проходивший 12–18 октября 1905 года в Москве, избрал Шаховского в состав Центрального комитета.

На протяжении всей деятельности кадетской партии в России князь Шаховской будет занимать ключевые посты в ЦК: товарища председателя и секретаря ЦК, председателя и члена многих важнейших комиссий. Учитывая огромные организаторские способности Шаховского, его широкие связи в земской и интеллигентской среде, а также многочисленные контакты с представителями профессионально-политических организаций и профессиональных союзов интеллигенции и служащих (адвокатов, врачей, почтово-телеграфных и железнодорожных служащих, приказчиков), ЦК партии поручал Шаховскому выполнение самых сложных и ответственных поручений. Совершая «челночные» поездки по различным губернским и уездным городам России, он участвовал в формировании губернских, городских, уездных и сельских комитетов кадетской партии. Одновременно на него возлагалась обязанность поддерживать и развивать связи между руководством партии и провинциальными комитетами, обеспечивать регулярное информирование последних о принятых на съездах, конференциях и заседаниях ЦК партии решениях, разрешать возникающие конфликтные ситуации. Кроме того, Шаховской занимался налаживанием партийной печати, являлся инициатором создания Бюро печати и постоянным сотрудником книгоиздательства «Народное право». По инициативе Шаховского и при его содействии в 1906–1907 годах издавались партийные газеты «Народная свобода», «Думский листок», «Сельская газета» и др. Он занимался также вопросами финансового обеспечения партии и организацией ее общественной деятельности, поддерживая постоянные связи с широкими внепартийными кругами демократической интеллигенции.

Один из лидеров кадетской партии — князь Д.И. Шаховской был избран депутатом I Государственной думы (от Ярославской губернии). 380 голосами из 406 его избрали секретарем Думы. И на этом ответственном посту он проявил себя талантливым организатором, сумев в короткий срок наладить работу думской канцелярии, создав тем самым для следующих Дум «деловую рамку». Несмотря на свои обширные секретарские обязанности, Шаховской активно участвовал в думских дебатах. 3 мая он, в частности, заявил: «Мы можем написать какие угодно законы, но если министров Думе не подчиним, то мы ничего не сделаем, а страна нам этого не простит. Подчиним министров Думе — только в этом наша задача, в этом главная потребность страны».

После роспуска I Думы Шаховской в составе кадетской фракции отправился в Выборг, где в гостинице «Бельведер» было принято знаменитое воззвание с призывом к акциям гражданского неповиновения. В ожидании суда над депутатами-перводумцами Шаховской продолжал нести на своих плечах значительный груз партийной работы, выполняя обязанности товарища (заместителя) председателя ЦК, председателя Исполнительной комиссии, неоднократно выезжая с организационными целями в различные регионы страны.

12–18 декабря 1907 года подписавшие Выборгское воззвание депутаты I Думы, в их числе и князь Шаховской, были приговорены Петербургской судебной палатой к трехмесячному одиночному тюремному заключению с последующим лишением права быть избранными не только в Государственную думу, но и в органы местного самоуправления. Дмитрий Иванович отбывал наказание в одиночной камере Ярославской губернской тюрьмы.

В дальнейшем он снова сосредоточился на партийной работе, а свободное время проводил в Петербургской публичной библиотеке и Румянцевском музее в Москве, где занимался сбором материала о своих выдающихся предках — историке М.М. Щербатове и философе П.Я. Чаадаеве. В ЦК кадетов Дмитрий Иванович последовательно отстаивал линию на демократизацию партии, расширение и углубление внепарламентской деятельности, сохраняя веру в неизбежность конституционного развития страны, обновления всего правительственного механизма. Он являлся членом бюро по организации работ законодательной комиссии в III Государственной думе, большое внимание уделял разработке пакета законопроектов, направленных на коренное преобразование России. На заседаниях ЦК он неизменно выступал за расширение «социального базиса» кадетской партии, привлечение на ее сторону рабочих, крестьян, ремесленников, торгово-промышленных служащих. С этой целью он считал необходимым подготовить издание партийного справочника по типу словарей, издаваемых крупнейшими западноевропейскими партиями, что, по его мнению, позволило бы дать всестороннее представление о социально-политическом облике и разносторонней деятельности кадетов, создать при ЦК специальное справочное бюро для получения оперативной

«Мы хотим
дать людям
возможность
не служить
тому, что они
признают
за зло...»

информации обо всех сторонах общественно-политической и партийной жизни страны, активизировать деятельность партии в профессиональном движении и т.п.

Большое внимание Шаховской уделял участию кадетской партии в организации кооперативного движения, с которым он связывал свою давнюю мечту о «всеобщем единении», солидарности и социальной справедливости. Вопреки предубеждению, что в пролетарской среде могут иметь успех только социалисты, Дмитрий Иванович полагал, что через кооперативы либералы смогут эффективно взаимодействовать с рабочими.

В годы Первой мировой войны по инициативе Шаховского и на его средства в Москве в 1914 году некоторое время издавалась газета «Защита», которую кадеты предлагали превратить в народное издание. В газете и на заседаниях ЦК Дмитрий Иванович последовательно выступал за доведение войны до победного конца, за мобилизацию сил для обеспечения фронта всем необходимым, за консолидацию либеральных и демократических сил. Особенно ярко патриотическая и гражданская позиция Шаховского проявилась летом 1915 года, когда встал вопрос о необходимости создания в Государственной думе Прогрессивного блока и переходе либералов в оппозицию правительству, обнаружившему к тому времени полную неспособность управлять страной в экстремальной ситуации. Выступая 16 июня 1915 года на заседании ЦК, Шаховской огласил обширную программу деятельности кадетской партии в условиях военного времени. Она включала в себя создание ответственного перед Думой правительства; смену губернаторов; распространение системы органов местного самоуправления на Сибирь и Кавказ; подготовку законов о кооперативах и о труде; преобразование Государственного контроля и создание комиссии для расследования должностных преступлений лиц, повинных в нехватке снарядов. На заседаниях ЦК в июле — августе 1915 года Шаховской выступил за немедленную смену правительства («надо все министерство выкинуть вон»). Получив поддержку в широких кругах демократической общественности, Шаховской уже в феврале 1916 года еще более радикализировал свою позицию, объявив о том, что «кадетам нужна полнота власти».

Февральскую революцию 1917 года Дмитрий Иванович встретил восторженно. В начале марта он был избран членом исполкома Московского комитета общественных организаций. Авторитет Шаховского в широких общественных кругах был столь высок, что он был приглашен в состав Временного правительства на пост министра государственного призрения. Эту нелегкую обязанность Дмитрий Иванович исполнял в течение почти двух месяцев (с 5 мая по 2 июля). Однако, подчиняясь указаниям ЦК кадетской партии, он покинул этот пост, полагая нецелесообразным свое участие в коалиционном правительстве Керенского.

Шаховской участвовал в работе четырех съездов кадетской партии, выступая с программными докладами. Так, на VII съезде кадетов (25–28 марта) Шаховской сделал доклад о тактике, отстаивая необходимость сотруд-

ничества кадетов с умеренными элементами социалистических партий, которые, как он полагал, должны оказать поддержку Временному правительству; одновременно он призывал к решительной и последовательной борьбе против экстремистски настроенных элементов, провоцирующих всякого рода эксцессы, а также к усилению организационной и агитационно-пропагандистской деятельности среди широких масс.

Однако по мере обострения политической ситуации в стране и разочарования в возможности согласования позиций либералов и социалистов Шаховской вынужден был сосредоточить свои взгляды на перспективах развития политического процесса в стране. На майском (VIII) съезде кадетской партии он внес предложение добиваться от Временного правительства создания альтернативного Учредительному собранию авторитетного органа власти, который должен состоять из членов I–IV Государственных дум (предложение не было поддержано съездом). В середине июня Шаховской вместе с министрами А.И. Шингаревым и А.А. Мануйловым выступил за отсрочку проведения выборов в Учредительное собрание. Шаховской считал, что в политической обстановке, сложившейся в стране после неудачного июньского наступления на фронте, торопиться с созывом Учредительного собрания, от решения которого будет зависеть дальнейшая судьба России, не следует. Его прогнозы относительно Учредительного собрания подтвердились в полной мере: кадетская партия набрала на выборах лишь 4,5% голосов избирателей, утратив тем самым реальную возможность контролировать развитие политического процесса в стране. Не оправдались и надежды на сотрудничество с умеренными социалистическими элементами, оказавшимися раздробленными и в конечном счете размолотыми леворадикальными и экстремистски настроенными силами. Ставка на умеренность в решении жизненно важных проблем в условиях политической поляризации 1917 года оказалась неоправданна.

Октябрьский переворот Шаховской не только не принял, но и попытался организовать сопротивление большевикам в Москве. 27 октября он сделал ряд резких заявлений в их адрес на заседании Московской городской думы. По его инициативе 6 ноября лидеры московского кооперативного движения приняли резолюцию, осуждавшую захват власти большевиками. 24 и 28 января 1918 года на заседании Московского отделения ЦК кадетской партии были рассмотрены тезисы доклада Шаховского, предлагавшего немедленно начать «действенную борьбу с большевизмом», создать для этого «достаточно мощную, связанную с партией, физическую силу», «войти в систематические сношения с державами-союзниками».

Реализуя намеченную программу борьбы с большевиками, Шаховской явился одним из инициаторов создания в 1918–1919 годах Союза возрождения России и Всероссийского национального центра. Он регулярно участвовал в заседаниях ЦК кадетов, проводившихся в партийном клубе в Брюсовом переулке, а после арестов и закрытия клуба — на квартире Д.Д. Протопопова в Большом Афанасьевском переулке. В феврале 1920 года Шаховской был арестован ВЧК по делу «Тактического центра». Однако

«Мы хотим
дать людям
возможность
не служить
тому, что они
признают
за зло...»

в распоряжении чекистов не оказалось каких-либо улик, и он был вскоре освобожден под подписку о невыезде.

В начале 1920-х годов князь Шаховской постепенно отошел от активной политической деятельности. Он продолжал работать в кооперации, занимался литературным трудом, активно включился в краеведческую работу. В 1930 году Д.И. Шаховской вышел на пенсию по инвалидности. Однако и это скудное содержание в размере 75 рублей в месяц вскоре решили отобрать. Судя по письмам Дмитрия Ивановича, его случайный литературный заработок, составлявший не более 200 рублей в год, также оказался под угрозой. Ему приходилось буквально на каждом шагу сталкиваться с множеством проволок, затягиванием сроков заключения договоров и выхода его работ.

Начиная с 1932 года в письмах к близким друзьям Дмитрий Иванович все чаще и чаще жаловался на состояние здоровья. Однако он продолжал посещать Румянцевский музей, ездил в Ленинград, где работал над архивными материалами по истории декабризма и биографией П.Я. Чаадаева. Шаховской живо интересовался текущей общественно-политической жизнью, состоянием академической науки. В письме к В.И. Вернадскому от 17 марта 1937 года он подчеркивал, что «без победы культурной завоевания революции не могут быть прочными».

Политическая атмосфера в стране 1930-х годов действовала на Шаховского удручающе. В письме И.М. Гревсу от 24 апреля 1938 года он писал: «Приходится уйти в себя и быть молчаливым свидетелем происходящего вокруг». Но это не помогло. В ночь с 26 на 27 июля 1938 года в квартире Шаховского (Зубовский бульвар, 15, 23) был произведен обыск, а сам он арестован (ордер на арест № 554 подписал Ежов). В ходе обыска был конфискован семейный архив; через несколько дней вывезены остальные вещи, и квартиру заняли другие жильцы. Арестованный Шаховской был конвоирован по внутренней тюрьме НКВД на Лубянке, где находился почти месяц без предъявления официального обвинения. По сохранившимся свидетельствам людей, сидевших вместе с Шаховским в тюрьме, Дмитрия Ивановича многократно допрашивали, сутками заставляли 76-летнего старика стоять без сна. Под давлением следователей 15 августа 1938 года князь Шаховской написал заявление, в котором, не назвав никого из единомышленников, лично себя признал виновным в контрреволюционной деятельности и в том, что на протяжении ряда лет вел борьбу с советской властью. Лубянские следователи, решив, что дело сделано, отправили Шаховского в Бутырскую тюрьму, где было продолжено уже официальное следствие.

В деле Шаховского сохранились протоколы допросов, которые проводились в любое время суток и продолжались вплоть до 3 ноября 1938 года. Однако и они не дали следователям ожидаемого результата. Дело в том, что Шаховской признавал свое участие в нелегальной деятельности ЦК кадетской партии с 1917 по 1922 год, но категорически отказывался давать какие-либо показания о контрреволюционной деятельности в даль-

нейшие годы и о других участниках нелегальных кадетских организаций. 2 ноября 1938 года ему было официально предъявлено обвинение по статье 58 (пункты 3, 6, 8, 11, 17) УК РСФСР. Начались новые допросы, теперь уже в Лефортовской тюрьме.

Попытку облегчить участь своего товарища предпринял академик В.И. Вернадский. 17 декабря 1938 года он обратился с письмом к Вышинскому с просьбой о встрече, намереваясь переговорить о судьбе «дорогого друга Дмитрия Ивановича Шаховского, одного из благороднейших и морально высоких людей, с которыми я встречался в своей долгой жизни». 20 декабря 1938 года эта встреча Вернадского с Вышинским состоялась, но не дала видимых результатов.

20 февраля 1939 года следствие было завершено. В обвинительном заключении говорилось, что Шаховской являлся участником «антисоветской террористической организации, ставившей себе целью свержение Советской власти и восстановление капитализма при помощи интервенции фашистских стран, а также подготовляющей террористические акты против руководителей партии и правительства». В середине апреля 1939 года под председательством Ульриха состоялось заседание Военной коллегии Верховного суда СССР, на котором было принято решение заслушать дело Шаховского в закрытом судебном заседании без участия защиты и без вызова свидетелей. 14 апреля Дмитрий Иванович Шаховской был приговорен к расстрелу, а на следующий день приговор привели в исполнение (по одним данным, на полигоне в Бутове, по другим — в Коммунарке).

О расстреле Шаховского не знали ни родные, ни друзья. Дочери, Anne Дмитриевне, сообщили, что ее отец осужден на «десять лет без права переписки» и отправлен в «дальние лагеря». Сохранялась надежда, что Дмитрий Иванович жив. В июле 1939 года Вернадский направил еще одно письмо Вышинскому, однако на сей раз тот отказал во встрече. В мае 1940 года Вернадский обратился с письмом к Берии: «Я дружен с Дмитрием Ивановичем почти шестьдесят лет — все время мы прожили друг с другом душа в душу, находясь в непрерывном, ни разу не нарушенном, идейном общении... Д.И. Шаховской — один из самых замечательных людей нашей страны — глубокий, широкого образования, искренний и морально честный демократ... Мне семьдесят семь лет — я знаю по своему, как хрупка организация стариков в зависимости от внешних условий жизни. Выдержал ли испытание организм Дмитрия Ивановича?.. Здоров ли Дмитрий Иванович Шаховской?.. Очень прошу Вас ответить мне». К письму для передачи Шаховскому в «дальний лагерь» прилагались две брошюры Вернадского, а также небольшая записка: «Мой дорогой, бесконечно любимый друг Митя, надеюсь, что эта записка и две мои брошюры дойдут до тебя. Ни на минуту не забываю тебя...» В ответ академику Вернадскому 11 июня 1940 года было сообщено, что Шаховской в конце января 1940 года, «находясь в одном из лагерей НКВД, умер...». При этом на письменные запросы дочери по официальным каналам продолжали приходить под-

«Мы хотим
дать людям
возможность
не служить
тому, что они
признают
за зло...»

тверждения, что Дмитрий Иванович жив и находится в лагере. И лишь 19 октября 1940 года семья Шаховских получила официальное извещение, в котором говорилось: «Шаховской Д.И., 1862, умер в лагере 25.1.1940 года. Причина смерти — эндокардит (паралич сердца)».

9 июля 1957 года Верховный суд СССР отменил приговор Военной коллегии Верховного суда СССР от 14 апреля 1939 года в отношении Д.И. Шаховского и прекратил дело за отсутствием состава преступления. Однако подлинная дата и обстоятельства смерти Д.И. Шаховского стали известны лишь в 1991 году, спустя тридцать четыре года после реабилитации.

«С уничтожением
гражданского бесправия
откроется целый
ряд возможностей
быстро поднять
производительность
земли...»

Среди ярких имен, незаслуженно канувших в Лету, — имя Александра Сергеевича Посникова (1846–1922), ученого-экономиста, признанного знатока русской деревни, неутомимого общественного деятеля, одного из идеологов «умеренно прогрессивного» (центристского) течения, утверждавшегося в начале XX века между крайностями октябристской и кадетской разновидностей русского либерализма. Это направление в освободительном движении, более известное как «прогрессизм», свидетельствует о своеобразии русской либеральной традиции. Национальную окраску русскому либерализму придавала, в частности, ориентация его приверженцев на ценностно-рациональный тип поведения, стремление к жертвенному служению народу, миру вообще. Идеология «русского прогрессизма» имела ярко выраженную социальную окраску.

А.С. Посников происходил из семьи дворян-помещиков среднего достатка. Детство его прошло в деревенской тиши, в родовом имении под Вязьмой. В 1862 году, по окончании смоленской гимназии, он поступил на юридический факультет Московского университета и сразу оказался вовлеченным в общественный водоворот. В обстановке всеобщего подъема периода Великих реформ Александр, как и многие в ту пору, всерьез увлекся идеей коренного переустройства России. Движимый стремлением к познанию жизни «изнутри», он оставил на время студенческую скамью и в качестве землемера занялся межеванием наделов в деревне, внося свой посильный вклад в осуществление крестьянской реформы. Преобразования, начатые Александром II, нашли горячий отклик в душе юноши, раз и навсегда определив главную линию его жизни — защиту интересов трудового народа и, прежде всего, прав и интересов русского крестьянина. В этом отношении, по меткому замечанию одного из современников, Посников в полном смысле слова «однодум». Своей идее он служил всеми доступными для него способами на самых разнообразных общественных

поприцах: в качестве землемера и мирового судьи, предводителя дворянства и земского статистика, сельского хозяина и публициста, профессора и депутата Государственной думы.

В 1869 году, по окончании учебы, Посников не сразу покинул стены Московского университета. Он продолжил образование на кафедре политической экономии, куда был приглашен по рекомендации профессора И.К. Бабста, обратившего внимание на серьезный интерес студента-юриста к вопросам народного хозяйства. Тогда же состоялась первая заграничная командировка молодого исследователя. Посникову и впоследствии неоднократно приходилось бывать за рубежом. Обогащая теоретические познания живыми впечатлениями при знакомстве с общественным устройством европейских стран и особенностями их хозяйственного уклада, прежде всего — земледельческого, он постоянно размышлял о необходимости продолжения реформ в своем Отечестве. Раз от разу крепла также его уверенность в том, что из западного опыта подходит для России, а что не подходит вовсе...

Уже в начале 1870-х имя Посникова становится известно научной обществу. В 1871 году он опубликовал и с успехом защитил свой первый труд «Начала поземельного кредита». Тогда же началась и его преподавательская деятельность ученого, продолжавшаяся с перерывами до конца его жизни и высветившая его несомненный талант просветителя и организатора высшего образования. По приглашению директора ярославского Демидовского юридического лицея профессора М.Н. Капустина Александр Сергеевич стал доцентом кафедры политэкономии. Воспользовавшись предоставленной ему возможностью, некоторое время он работал в Германии, Англии, Франции, не прерывая, однако, и за границей плодотворного общения с коллегами. Незадолго до возвращения в Россию Посников и его сверстники-единомышленники Н.И. Зибер, В.М. Соболевский, А.И. Чупров встретились в немецком городе Гейдельберге с целью согласовать основные направления предстоявшей им на родине академической и литературно-общественной деятельности. Фактически тогда ими была выработана программа широких демократических преобразований в народном хозяйстве и общественно-политическом строе России. Характеризуя сущность принятых в Гейдельберге решений, В.А. Розенберг, близкий к кружку «реформаторов», замечал: «Общий склад экономических воззрений этой группы молодых ученых, испытавших на себе влияние К. Маркса и К.И. Родбертус-Ягцеова... сближал их программу реформ с теми, которые диктовались социалистически-народническими настроениями молодежи того времени, но, в отличие от нашего раннего народничества, участники гейдельбергского съезда признавали уже и тогда, что главный рычаг демократического и социального обновления страны — политическая свобода, и были убежденными конституционалистами». По указанию шефа корпуса жандармов графа П.А. Шувалова и министра народного просвещения графа Д.А. Толстого в отношении участников «съезда» начали расследование. Только благодаря заступничеству

М.Н. Капустина и известного ученого Е.И. Якушкина, имевших связи во влиятельных кругах, для молодых ученых все закончилось благополучно.

По возвращении в Россию Александр Сергеевич завершил и опубликовал труд «Общинное землевладение». Примечательно, что каждый значительный шаг его академической карьеры всегда становился своего рода политическим событием. Эта книга стала поворотным пунктом в многолетней дискуссии сторонников и противников общинной формы землепользования. Посников стал первым исследователем, которому удалось освободить сам предмет дискуссии от славянофильского, а также утопически-социалистического «тумана» и впервые поставить вопрос о русской общине на научную почву как экономическую проблему, при этом значительно ослабив доводы противников общинного землеустройства. Первая часть книги послужила основой для его магистерской (1875), а вторая часть — докторской (1878) диссертации. В овациях, которыми, по свидетельству прессы, сопровождалась докторская защита, Н.К. Михайловский увидел «залог сближения между наукой и жизнью».

Еще в 1870-х годах Посников пришел к выводу об основах проведения в России аграрной реформы. Он писал: «С устранением земельной тесноты, задавившей крестьянское хозяйство, и вместе с уничтожением гражданского бесправия крестьян откроется целый ряд возможностей быстро поднять производительность земли, изменить первобытную систему хозяйства и увеличить доходность крестьянского земледелия, составляющего у нас, в России, основу благосостояния всей страны. Перед этой великой задачей должны исчезнуть все второстепенные соображения, основывающиеся или на предрассудках, или на эгоистических вожделениях». Эта мысль всецело определила русло научной и общественной деятельности Посникова на протяжении последующих десятилетий.

В работе над аграрным вопросом ученый опирался на обширные материалы, сопоставляя общинное хозяйство России с фермерским (на примере Англии и других стран). Он считал, что организация различных кооперативов и товариществ на базе общинного землевладения способна придать крестьянскому хозяйству все преимущества крупного производства. Свои взгляды о наиболее перспективных формах хозяйствования в России, начиная с 1869 года, Посников развивал на страницах «Русских ведомостей». В этой газете появлялись и другие статьи за его подписью: о рабочих артелях (ассоциациях), о целесообразности их государственного кредитования.

Натура Посникова-либерала, горячего патриота, стремившегося послужить процветанию России, определила круг его научных интересов, постоянно побуждала к активной деятельности в публицистике и сфере народного образования. С 1873 по 1876 год он читал курс политэкономии в Демидовском лицее, а затем, в качестве доктора и профессора, — в Новороссийском университете в Одессе. Сверх учебной программы Александр Сергеевич организовал практикум по политэкономии и статистике. Это был один из первых опытов проведения семинарских занятий

«С уничтожением гражданского бесправия откроется целый ряд возможностей быстро поднять производительность земли...»

в системе российской высшей школы. Лекции Посникова пользовались в студенческой аудитории огромной популярностью. Его ученики — М.Я. Герценштейн, А.А. Мануйлов, Г.Б. Иоллос — стали впоследствии известными учеными и не менее известными политиками-либералами. Посников был фактическим лидером прогрессивной одесской профессуры и, по свидетельству Департамента полиции, входил в число «политически неблагонадежных». Неудивительно, что крушение его профессорской карьеры произошло одновременно с крушением университетской автономии. В середине 1882 года Александр Сергеевич, до последнего отстаивавший основные принципы университетского устава 1863-го, вынужден был оставить преподавание.

Однако, занимаясь с 1882 по 1886 год хозяйством в своем имении, ученый не утратил общественной активности. Ведь ему тогда еще не исполнилось и сорока лет. Он был полон энергии и стремления всеми возможными способами влиять на течение жизни в том направлении, которое представлялось ему наиболее разумным. Пламенный темперамент, отмечавшаяся современниками незаурядная способность Посникова «стягивать» вокруг себя людей сделали свое дело. В этот период он играл заметную роль в качестве земского гласного, вяземского уездного и смоленского губернского предводителя дворянства, почетного мирового судьи, главы местного статистического бюро. Годы, прожитые в провинции, подарили ему новые впечатления, послужившие дополнительным стимулом к поиску оптимального пути реформирования России. Теоретические представления Посникова-экономиста обогатились непосредственным опытом хозяйствования, живыми наблюдениями за жизнью русской деревни.

Конец 1880-х годов стал новым этапом научной и общественно-политической деятельности Посникова, развивавшейся по нарастающей вплоть до революций 1917-го. В 1886–1896 годах он редактировал «Русские ведомости» — одну из старейших и влиятельнейших в России газет либерального направления. Его позиция по проблемам назревших преобразований в стране и, прежде всего, по аграрно-крестьянскому вопросу широкому кругу читателей становилась также известной из публикаций в «Вестнике Европы», «Стране», «Московском еженедельнике», «Народном пути», «Самоуправлении» и других изданиях либерально-демократической направленности. Свидетельством признания публицистического таланта и научных взглядов Посникова служит приглашение его в члены авторского коллектива «Нового энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона».

Непосредственным откликом на запросы жизни явилось основание в Петербурге в 1899 году Политехнического института. Одним из инициаторов его создания и впоследствии — директором, а также деканом экономического отделения (им же организованного) был А.С. Посников.

С научным и общественным авторитетом этого деятеля представители верховной власти вынуждены были считаться. Известно, что всего за несколько месяцев до Манифеста 17 октября 1905 года премьер-министр

С.Ю. Витте вел с ним переговоры и даже посоветовал заказать мундир на случай вероятного представления Николаю II в качестве товарища министра.

В конце 1904 года Посникова пригласили к обсуждению вопросов государственной политики в Особом совещании о нуждах сельскохозяйственной промышленности, работа которого проходила в Петербурге с декабря 1904-го по март 1905-го. Одно из наиболее ярких выступлений Посникова «по крестьянскому делу» состоялось на заседании 26 января. В основе его отношения к общине лежало твердое убеждение в том, что «если недопустимы насильственные меры, направленные против общины, то... столь же недопустимо принуждать крестьян оставаться, вопреки их желанию, при общинном землевладении. Нужно предоставить каждому свободу выхода из общины». Однако Александр Сергеевич негативно отнесся к предложенной на рассмотрение Особого совещания правительственной программе «Принципиальные вопросы по крестьянскому делу». Этот документ предусматривал выход из общины без согласия мира с выделением надела в личную собственность. «Досрочный выкуп земли с согласия общества нарушает устойчивость и цельность общественного хозяйства; но выкуп отдельным членом, без согласия общества находящейся в его пользовании земли ведет к прямому разрушению общинного строя» — таково было мнение ученого. «Если мы соглашаемся допустить выдел мирской земли в частную собственность отдельных членов, то такой выдел должен совершаться непременно с ведома и под контролем общества», — настаивал он.

Заметим, что предостережений Посникова тогда не услышали. Лишь позже, в разгар проведения столыпинской аграрной реформы, по сути, те же идеи будет развивать «умеренно прогрессивная» либеральная оппозиция, стремясь хоть как-то ослабить негативные последствия правительственной политики насильственного разрушения общины. Достаточно вспомнить законопроект, внесенный кадетами в аграрную комиссию III Государственной думы, где предусматривались меры по урегулированию на равных правах как положения общины, так и отдельного домохозяина.

Что касается Посникова, то он всегда был уверен, что община никакого препятствия к развитию сельского хозяйства не представляет, а «превращение членов общины в собственников отведенных им наделов действительно никакого благотворного влияния не окажет». На примере Европы и России он показывал, что формы поселения, как правило, — явление культурно-историческое, имеющее корни в бытовом укладе и национальном характере. И утверждал: «Если бы крестьяне убедились в действительной выгодности перехода к односелью, к хуторской системе расселения, то общинная форма владения нисколько не помешала бы этому».

Сравнивая условия крестьянского хозяйства в России и на Западе, Посников доказывал, что такие «пороки» русской деревни, как чересполосица, трехполье, выпас по пару и по жнивью, отсталость техники в обработке

«С уничтожением гражданского бесправия откроется целый ряд возможностей быстро поднять производительность земли...»

земли и т.д., не являются присущими исключительно общинному земледелию. Так, несмотря на чересполосность владений поселян-собственников, юг Германии, например, отличался высокой культурой земледелия, достигающей местами, по словам ученого, «высшей степени совершенства». Конкретные примеры свидетельствовали, что и при общинном землевладении возможно успешное распространение самых разнообразных сельскохозяйственных приемов и систем, повышающих производительность крестьянских хозяйств.

Посников также отмечал некорректность сравнения «высоты производительности хозяйства Северо-Американских Соединенных Штатов с производительностью наших крестьян», а также мелкого крестьянского хозяйства в России — с хозяйством крупных землевладельцев. «Нас уверяли, что сравнительно малая доходность наших земель — есть результат общинного землевладения. Но разве невысокая доходность сельского хозяйства у нас наблюдается только в сфере крестьянского землевладения; разве сельскохозяйственная техника, обычная при эксплуатации частновладельческих земель, и доходность последних — могут быть уподобляемы, хотя в далекой степени, обычной технике и доходности американских хозяйств? Разве наше частновладельческое хозяйство по количеству добываемого продукта от земли может сравниться с тем, что дает хозяйство в США? Несомненно, что и земли наших частных собственников так же мало производительны сравнительно с землями в Соединенных Штатах, как и земля, принадлежащая крестьянам-общинникам. Отсюда ясно, что причина этой различной производительности лежит не в форме владения землей, а в чем-либо ином».

Ученый не был склонен рассматривать формы собственности как элемент первостепенной важности в общественном устройстве. Стремясь развенчать миф о якобы магической силе частной собственности, он убеждал в том, что собственность коллективная не в меньшей мере способна «обеспечить человеку плоды его труда». Гораздо большее значение он придавал правильной постановке деятельности управленческих структур, народного образования, судебных органов, налоговой, кредитной системы и т.д. Именно эти сферы жизнедеятельности общества должны быть, по мнению Посникова, прежде всего приведены в соответствие с требованиями экономики правового государства. Он предупреждал: «Если мы превратим наших поселян, хозяйничающих в очень тяжелых условиях, в частных собственников и оставим неизменными наши современные условия общественной жизни — то не только не произойдет никакого магического влияния от установления частной собственности, но, я склонен думать, произойдет заметное ухудшение в положении как самих крестьян, так и их хозяйств».

Наглядным подтверждением общественного и научного авторитета Посникова стало избрание его председателем Всероссийского съезда представителей кооперативных учреждений, проходившего в Москве 16–21 апреля 1908 года. Выступая с этой всероссийской трибуны, Александр

Сергеевич не устал напоминать о необходимости осторожного, вдумчивого отношения к преобразованиям в аграрной сфере, о недопустимости расшатывания «бытовых форм землевладения». И подчеркивал важность всестороннего учета местных условий, обеспечения законодательной базы деятельности кооперации. Кооперативное движение он расценивал как мощный фактор социально-экономической жизни, способный упрочить начала коллективизма в противовес принципам субъективизма и индивидуализации. «Сила и мощь — в единении» — это жизненное и политическое кредо Посникова наиболее точно выражало и настрой делегатов кооперативного съезда, неоднократно, как свидетельствует стенограмма, прерывавших его выступление громом рукоплесканий.

Необходимость аграрной реформы Александр Сергеевич тесно связывал с неизбежностью демократических преобразований в политическом строе — «решительным переходом к истинному конституционному режиму». Как первые проблески надежды на пути выхода страны из кризиса многими в России были восприняты проект «булыгинской» конституции (август 1905) и Манифест 17 октября.

Посников, верный своему всегдашнему настрою использовать все законные способы воздействия на власть, в конце 1905 — начале 1906 года инициировал образование в Петербурге Партии демократических реформ (ПДР) — первого опыта партийной организации отечественных «прогрессистов». Его поддержал К.К. Арсеньев — юрист, историк, литературовед, земский деятель, известный публицист, признанный современниками идеолог отечественного либерального движения. Вместе с ними в Организационный комитет партии вошли их коллеги и единомышленники: профессора Петербургского политехнического института К.П. Боклевский, А.Г. Гусаков, И.И. Иванюков, А.П. Македонский, Н.А. Меншуткин, М.И. Носач; члены редакции старейшего органа российского либерализма журнала «Вестник Европы» М.М. Стасюлевич, В.Д. Кузьмин-Караваев. Среди учредителей партии были также популярный петербургский адвокат Д.В. Стасов и ученый-обществовед с мировым именем М.М. Ковалевский, ставший редактором газеты «Страна» — неофициального органа ПДР (наряду с «Вестником Европы»).

Партия демократических реформ, как «партия здравого смысла» (определение М.М. Ковалевского), вполне подходила, по мнению ее активистов, и под более привычное в политическом лексиконе определение либерально-демократической партии. Подход основателей и идеологов ПДР к проблеме соотношения и взаимовлияния либеральной, демократической и социалистической идей в русском освободительном движении отличался широтой и целостностью мировосприятия, попыткой серьезного анализа сложной картины эволюции общественной мысли. Разъясняя позицию ПДР, Арсеньев в своих публикациях в «Вестнике Европы» периода революции 1905–1907 годов неоднократно подчеркивал, что между либерализмом и социализмом в России никогда не существовало непримиримого противоречия, той «китайской стены», которая разделяла их

«С уничтожением гражданского бесправия откроется целый ряд возможностей быстро поднять производительность земли...»

на Западе. «Идеалы партий, которые можно объединить под именем левого центра, и партий, составляющих левый фланг русской политической армии, различны, но не противоположны», — писал Арсеньев в ноябре 1906-го. Характеризуя особенность русского освободительного движения, он отмечал: «Либеральной партии в тесном смысле слова у нас нет, может быть, потому, что нет и ничего похожего на тот общественный класс, из которого она исходила и видам которого служила на западе Европы. С искреннею преданностью конституционным началам у нас неразрывно связано стремление к коренным реформам в главных сферах народного труда — рабочей и аграрной... Государственному вмешательству в экономические отношения отводится такая роль, с которой решительно несоместима охрана узких классовых интересов».

В качестве платформы для единения общественных сил идеологи ПДР рассматривали не только вопросы обеспечения гражданских и политических прав, но и широкую просветительскую деятельность. Именно «культурная работа», по их мнению, представляла собой медленный, но самый верный путь к преобразованию России. Достойным местом для осуществления такой деятельности стала первая в России общественная научная организация — Вольное экономическое общество (основано в 1765 году). На протяжении всего своего существования (вплоть до 1915-го) ВЭО вносило весомый вклад в разработку и обсуждение проблем развития народного хозяйства, популяризацию экономических знаний. В 1886–1888 годах «Труды императорского Вольного Экономического общества» редактировал известный земский деятель В.Ю. Скалон, в 1906-м возглавивший московское отделение ПДР. В 1900-х годах в работе ВЭО участвовали Кузьмин-Караваев, Арсеньев (в 1900–1906 годах — вице-президент, почетный член, председатель); с весны 1914 года президентом ВЭО являлся Ковалевский.

По инициативе ВЭО и ряда деятелей петербургского Комитета грамотности (К.К. Арсеньев, граф П.А. Гейден, Н.А. Рубакин, Г.А. Фальборк, В.И. Чарнолуцкий и др.) в марте 1906 года в Петербурге была учреждена Лига образования. Председателем ее временного правления, состоявшего из людей различных политических взглядов, избрали А.С. Посникова. Лига ставила перед собой цель «содействовать постановке образования в России на началах, соответствующих вполне развитому демократическому строю общества». Здесь велась теоретическая разработка вопросов образования всех ступеней: высшего, среднего, начального, внешкольного. По мнению организаторов, Лига должна была также стать «органом как для выяснения и формулировки общественного мнения страны по вопросам школьного дела, так и для общественного воздействия в той же области на правительство». С деятельностью Лиги связывались надежды на объединение уже существовавших к тому времени разрозненных просветительских ассоциаций, а также на появление новых общественных организаций, стремившихся содействовать поднятию культурного уровня широких слоев населения России. Лига образования имела разветвлен-

ную сеть своих отделений по всей стране. К 12 марта 1906 года в ее рядах насчитывалось 11 552 члена.

Предложенная в программе Партии демократических реформ модель общественного устройства и организации народного хозяйства ориентировалась на постепенные демократические реформы, с учетом реалий России и опыта политического и экономического развития стран Запада. Ведущая роль в коренном переустройстве российской жизни закреплялась за сильным, но не авторитарным государством. Самым безболезненным для страны выходом из кризисной ситуации, сложившейся к началу XX века, руководители ПДР считали эволюционный путь демократизации государственного порядка через установление «народной монархии». В основе наиболее приемлемых социально-экономических реформ также лежал принцип эволюционного развития («органического роста»).

Проекты экономических преобразований, разработанные в партии, свидетельствовали о серьезном стремлении к коренному переустройству российской жизни и удовлетворению справедливых требований основной массы трудящегося населения. Забота о привилегированном меньшинстве должна уступить место заботе об обездоленных народных массах — так обозначила свою позицию редакция «Страны» в первом номере газеты.

В центре внимания партийных деятелей постоянно находился крестьянский вопрос, поскольку именно в аграрном секторе, остававшемся ведущим в российской экономике, было занято большинство сельских жителей, составлявших $\frac{3}{4}$ населения страны. Идеологи ПДР полагали, что «пора довершить дело, начатое 19 февраля 1861 года и давно остановившееся на полдороге». Обширный аграрный раздел программы представлял собой фактически ряд готовых законопроектов. Его автором выступил А.С. Посников. Со всей убежденностью М.М. Ковалевский заявлял: «Мы можем не признавать тех или других сторон предлагаемой Посниковым реформы, но отказать ей в продуманности и в согласованности частных ее едва ли есть основание».

Программа ПДР исходила из необходимости ликвидации крестьянско-го малоземелья, а также создания условий для повышения производительности сельского хозяйства. Именно здесь впервые была сформулирована мысль об образовании государственного земельного фонда, в том числе путем частичного отчуждения крупной земельной собственности. Доказывая необходимость принудительного отчуждения земли в интересах государства, авторы «Вестника Европы» замечали: «Нигде нет такой тяги к земле, как у нас; нигде не пустила таких глубоких и широко разросшихся корней мысль о праве на землю, тесно связанном с работой над землей. Нигде масса земледельческого населения не доходила до такого обеднения, близко граничащего с обнищанием, — последствия близорукой и неумелой опеки крестьянских хозяйств со стороны государства, нерегулярной и недостаточной помощи с его стороны. Отсюда крайнее расстройство крестьянского хозяйства, требующее не паллиатива, а решительных мероприятий. Ожидать перемены к лучшему исключительно

«С уничтожением гражданского бесправия откроется целый ряд возможностей быстро поднять производительность земли...»

от подъема сельскохозяйственной культуры пришлось бы слишком долго: нужно немедленное облегчение, а оно может быть достигнуто только расширением площади крестьянского землевладения».

На вопрос, сколько земли потребуется для этого, экономисты отвечали по-разному. Так, по расчетам кадета Кауфмана, необходимо было «изыскать» 73 млн десятин. В то же время профессора-кадеты Мануйлов и Чупров, а также члены ПДР профессора Иванюков и Посников сходились предположительно на 32 млн десятин. Лидеры ПДР, обосновывая допустимость и справедливость отчуждения земли у помещиков, полагали, что «принцип экспроприации, производимой государством под условием выкупа», не нарушает начала частной собственности, а, напротив, станет продолжением освободительной либеральной реформы 1861 года.

В программе ПДР предусматривалось установление — с учетом местных особенностей — высшего размера земельной собственности, не подлежащей отчуждению, но не более 100 десятин. Принудительному отчуждению подлежали прежде всего помещичьи земли, «хуже других эксплуатируемые, лишенные хозяйственного инвентаря и более всего обремененные долгами». Согласно разъяснениям А.С. Посникова, следовало подвергнуть отчуждению без всяких ограничений все земли, сдававшиеся до 1 января 1906 года в аренду за деньги, из доли урожая и за отработки, а также земли, обрабатывавшиеся преимущественно крестьянским инвентарем, и земли, «впусте лежащие, но признанные годными для возделывания». Также без ограничения должны отчуждаться и владения, которые удовлетворяют условию ведения «собственного хозяйства своим скотом и орудиями», но превысили максимум, установленный местным законодательством для подобных владений. «Условное отчуждение» распространялось на владения, не превышающие установленного законом высшего размера и обрабатываемые собственным инвентарем владельца. «Такие земли будут отчуждены лишь в тех случаях, — уточнял Посников, — когда местное земледельческое население не в состоянии получить достаточного обеспечения из других земель в данной местности или когда отчуждение является необходимым для устранения существенных неудобств в расположении наделов и в составе их по угодьям». За прежними владельцами могут быть оставлены мелкие участки, занятые ими под дачи, под фабрично-заводские предприятия. В исключительных случаях сохранялись в неприкосновенности крупные «образцово-показательные» («культурные») дворянские хозяйства. Не подлежали отчуждению небольшие участки, не превышающие трудовой нормы, определяемой по местным условиям.

Ведущую роль в осуществлении аграрно-крестьянской реформы лидеры ПДР отводили государству, за чей счет должно происходить вознаграждение собственников, подвергшихся частичному отчуждению земельных владений (из расчета средней доходности земли в данной местности). При этом разъяснялось, что расплата с помещиками за отчуждение земли не грозит государству финансовыми потрясениями, так как в банках

к 1906 году было заложено около 126 тыс. имений площадью 52,5 млн десятин. Земельная задолженность в России составляла 2 млрд рублей (из которых только один Дворянский банк выдал 716 млн руб.). Кроме того, средства для выкупа предполагалось получить от осуществления назревшей налоговой реформы, в результате которой бюджет государства должен был увеличиться.

Особое значение придавалось Крестьянскому банку, который надлежало преобразовать в орган по приобретению земель для государственного земельного фонда. С его деятельностью связывались надежды партии на организацию мелиоративного и мелкого сельскохозяйственного кредита, поддержку товариществ и разного рода союзов взаимопомощи, широкую государственную помощь переселенцам. ПДР, однако, не была склонна рассматривать колонизацию слабо заселенных территорий как достаточно эффективное средство решения проблемы крестьянского малоземелья. Ссылаясь на новейшие статистические данные, «Вестник Европы», например, свидетельствовал, что в азиатской части России лишь менее 25% из обследованных 45 млн десятин оказались пригодными для поселенцев.

Основной этап аграрной реформы — наделение крестьян землей. Согласно программе ПДР, земля из созданного государственного фонда отводилась крестьянам в бессрочное пользование (общинное или подворное, в зависимости от местных условий) за установленную законом умеренную ренту. Допускался переход земли по наследству, но запрещалась продажа полученной земли. Разъясняя рекомендуемый порядок наделения крестьян землей из государственного фонда, А.С. Посников настаивал: «Нельзя давать в собственность, а то через некоторое время получится то же явление, что и сейчас: у одних окажется слишком много, у других — мало. Земли должны быть отданы не в собственность, а в долгосрочное или наследственное пользование. Право же собственности должно остаться за государством».

В первую очередь наделению подлежали безземельные и малоземельные крестьяне, и прежде всего те из них, которые вели хозяйство на арендуемой у помещиков земле. Норма землепользования устанавливалась на местах выборными самоуправляющимися земскими органами. На них возлагался в будущем и контроль над поземельными отношениями. За низший размер землеобеспечения признавался высший надел 1861 года, отводимый на наличную душу мужского пола. Вместе с тем в программе подчеркивалось, что везде, где окажется возможным, при наделении крестьян землей следует ориентироваться на трудовую норму. При реализации земельной реформы запрещалось сосредоточение нескольких наделов, превышающих трудовую норму, в одних руках, запрещалось также одному лицу иметь свыше одного надела из государственного земельного фонда.

ПДР критически относилась как к аграрным программам социалистических партий, так и к правительственным проектам. При этом сама цель реформы Столыпина — создание массового слоя зажиточных крестьян —

«С уничтожением гражданского бесправия откроется целый ряд возможностей быстро поднять производительность земли...»

оценивалась либералами как вполне прогрессивная. «Безумие аграрных планов» правительства Посников и его единомышленники, последовательные сторонники эволюционного развития, усматривали прежде всего в политике форсированного разрушения общины. Эта мысль проходила красной нитью через многочисленные публикации на страницах либеральной прессы. Идеологи ПДР, в частности, предвидели, что разрушение общины даст шанс лишь богатым крестьянам, а бедных оставит бедными. Они негативно относились к хуторской системе хозяйства, полагая, что она не имеет достаточных корней в российской деревне и затруднит развитие кооперации — более прогрессивной формы хозяйствования. Лидеры партии опасались, что недовольство столыпинской реформой выльется в нарастание социальной напряженности и реальную угрозу крестьянских выступлений.

Мнение либералов-центристов по этому вопросу хорошо выразил князь Е.Н. Трубецкой. «Как бы ни была нам антипатичная община, — писал он, — мы все-таки не считаем дозволительным отдавать ее на экспроприацию кулакам, ни растаскивать ее крючьями подобно горящему зданию. Вот почему мы — сторонники земельной частной собственности не можем сочувствовать правительственной земельной программе. Она представляется нам антиправовой и революционной в самом своем основании. Для нас ясно, что единственно правовой путь ликвидации общины заключается в устранении препятствий к ее естественному саморазвитию; упразднение общинной собственности должно быть предоставлено доброй воле самого собственника, т.е. общины, а не отдельных ее членов».

Для аграрной программы ПДР характерно стремление исходить из интересов большинства трудящегося населения страны — крестьянства. Другие же партии, по словам Посникова, озабочены главным образом тем, «чтобы как можно меньше ущерба принести тем лицам и учреждениям, от которых можно взять землю». Эта программа оказала влияние на развитие взглядов кадетов по аграрно-крестьянскому вопросу в период с февраля по апрель 1906 года (такая оценка встречается на страницах «Вестника Европы», «Страны», в выступлениях кадетских деятелей). Именно в программе ПДР в январе 1906-го впервые была сформулирована мысль об образовании неотчуждаемого государственного земельного фонда путем принудительного выкупа государством части помещичьих земель. В апреле это положение вошло и в программу Конституционно-демократической партии.

В ходе дискуссий, в том числе на страницах печати, кадеты и члены ПДР стремились к всестороннему осмыслению поземельных отношений начала XX века и выработке оптимального для России проекта аграрной реформы. Среди видных кадетских деятелей единомышленниками ПДР зачастую выступали А.И. Чупров, А.А. Мануйлов, Н.А. Кабуков. Так, совместными усилиями идеологи обеих партий пытались опровергнуть распространенное мнение о том, что отчуждение части помещичьих

земель и передача их в руки крестьян — менее культурных хозяев — может привести к спаду сельскохозяйственного производства в стране.

Широта взгляда Партии демократических реформ на проблемы российской жизни сочеталась с четкостью основных программных положений. Подход к решению злободневных вопросов — принципиальный, точный и определенный — современники оценивали как несомненное достоинство партийной платформы. «По вопросам активной политики может быть только два ответа — „да“ или „нет“, третий ответ — „ни да, ни нет“ — может принадлежать только партиям неискренним», — заявлял М.М. Ковалевский, выступая в Москве перед членами Клуба независимых в феврале 1906 года. Однако надежды лидеров ПДР на понимание и поддержку их аграрного проекта со стороны землевладельцев не оправдались. Как оказалось, многие из них вовсе не желали оставаться при 100 десятинах...

Представители дворянства испытали состояние, близкое к шоку, слушая А.С. Посникова в Москве в феврале 1906 года. Он говорил, что «за отдельными помещиками следовало бы оставить не более 50 десятин земли, и только желание достигнуть соглашения побудило его сделать такую уступку, как сохранить за владельцами по 100 десятин земли». Характерна в этом отношении и позиция известного ученого и общественного деятеля И.И. Мечникова. По словам М.М. Ковалевского, Мечников — «русский патриот до мозга костей» — ненавидел русскую революцию, «насколько она могла парализовать наше внешнее могущество и создать сумятицу внутри государства резкой постановкой земельного вопроса. ...Когда мы рассуждали в первой Думе о наделении крестьян землей по справедливой оценке, Илья Ильич, владевший в то время не более как 50-тью десятинами в Киевской губернии, предавался самым тяжким сомнениям и близок был к самоубийству».

На наш взгляд, близость аграрной программы ПДР к аналогичным проектам некоторых социалистических партий ни в коей мере не ставит под сомнение «либерализм» ее деятелей. Напротив, развитие их взглядов может служить своего рода показательным примером адаптации либеральных идей к условиям конкретной страны, плодотворного (судя по заметному резонансу, который имели эти идеи в среде отечественных либералов) поиска оптимальной модели модернизации русской деревни в начале XX века.

Взгляды лидеров Партии демократических реформ, в том числе А.С. Посникова, оказали заметное влияние на самоопределение политических партий центристской ориентации. Последнее обстоятельство свидетельствовало о потенциальных возможностях развития в России «умеренно прогрессивного» политического направления. Определяющую роль в организационном оформлении данного течения в русском освободительном движении сыграла ПДР.

Прослеживается преемственность в программах ПДР, Партии мирного обновления (ПМО), а впоследствии — Партии прогрессистов. Общность

«С уничтожением гражданского бесправия откроется целый ряд возможностей быстро поднять производительность земли...»

социальной базы всех трех политических объединений также позволяет рассматривать историю Партии демократических реформ как идейный исток «прогрессизма» и начало организационного оформления данного течения в русском освободительном движении. Процесс «переливания» ПДР в Партию мирного обновления и затем — в Партию прогрессистов происходил постепенно, прежде всего на основе единства тактических взглядов и политической программы. Кроме того, существовало своеобразное «переплетение судеб» трех партий на уровне руководства и рядовых членов. Так, например, А.С. Посников (наряду с Ковалевским и Кузьминым-Караваевым) стал в Партии прогрессистов членом Центрального комитета, а потом товарищем председателя фракции прогрессистов в IV Государственной думе. Характеризуя деятельность Посникова-депутата, В.А. Розенберг отмечал его исключительную заслугу в том, чтобы «выдвинуть и поставить на подобающее место в думской программе по крестьянскому вопросу аграрную проблему». Несмотря на довольно существенные разногласия Посникова с большинством депутатов этой группы по социально-экономическим вопросам, его сближение с прогрессистами произошло прежде всего на почве «искреннего конституционализма и земских симпатий».

Не затерялась фигура Александра Сергеевича и в бурных событиях, последовавших за февралем 1917 года. Он — один из членов Лиги аграрных реформ. В эту общественную организацию, учредительный съезд которой состоялся 16–17 апреля 1917 года, вошли представители двадцати российских губерний, практически все теоретики аграрного вопроса, известные тогда широкой читающей публике: Б.Д. Бруцкус, Н.А. Каблуков, Н.П. Макаров, П.П. Маслов, А.В. Пешехонов, Н.А. Рожков, А.М. Стебут, М.А. Туган-Барановский, А.В. Чаянов, А.Н. Челинцев и др. Лига считала своей задачей организацию широкого обсуждения аграрно-крестьянского вопроса, публикацию книг и брошюр соответствующей тематики, ознакомление общественности с аграрным законодательством зарубежных стран и т.д. Кредо этой организации формулировалось так: «Трудовое крестьянское хозяйство должно лечь в основу аграрного строительства России, и ему должны быть переданы земли нашей Родины... Передача эта должна совершиться на основе государственного плана земельного устройства, разработанного при учете бытовых и экономических особенностей отдельных регионов нашего Отечества...»

Это же настроение определяло и основное направление работы Главного земельного комитета, образованного при Временном правительстве в мае 1917 года. Его председателем был избран А.С. Посников. Целью комитета провозглашалась подготовка проекта земельной реформы — «нового земельного устройства, которое обеспечит справедливые интересы трудового земледельческого населения». Эта задача в ту пору, по словам Александра Сергеевича, понималась «довольно единодушно самыми различными партиями». Будучи в очередной раз призван верховной властью к решению аграрно-крестьянского вопроса, Посников в обстановке, явно

не способствовавшей планомерной законодательной работе, настаивал тем не менее на соблюдении необходимейших условий проведения аграрных преобразований: тщательном учете местных условий при главенстве государственных интересов, недопустимости применения насильственных мер. «Идея общего, целого должна быть доминирующей и решающей» — исходя из этого убеждения Посников по-прежнему проводил мысль о том, что земля по существу не может быть объектом частной собственности, а должна передаваться лишь в пользование того, кто ее обрабатывает, оставаясь коллективной (общинной, кооперативной) или государственной собственностью.

Посников не был утопистом, стремившимся осуществить свой идеал, не считаясь с действительностью. Ничего общего с политиками-популистами у него нет. Его принципиальная позиция и отстаиваемая им система конкретных мероприятий по разрешению аграрно-крестьянского вопроса, как и прежде, базировались на здравом смысле и, прежде всего, необходимости всестороннего учета предшествующего опыта, исторических традиций.

Как известно, Главному земельному комитету, разделившему судьбу Временного правительства, не удалось реализовать свои планы. Линия разрешения «великого и сложного» вопроса о земле с наименьшими издержками для большей части населения, которую отстаивал Посников на протяжении всей жизни, вновь оказалась невостребованной...

После Октябрьской революции Александр Сергеевич уехал в свое имение (село Николаево Вяземского уезда Смоленской губернии). Лишенный жалованья и пенсии, он бедствовал с семьей, голодал. Письма к близким друзьям, В.А. Розенбергу и К.К. Арсеньеву, лучше всего передают настроения 1918 года, связанные с ужасами, «переживаемыми... злосчастными гражданами погибающей страны». «Так изменилась жизнь за эти последние два месяца, что, право, не знаешь, хватит ли сил для сопротивления с нависшей тучей всяческих невзгод и бед», — пишет Посников 3 января. А спустя несколько дней он не сможет сдерживать чувства возмущения и горя в связи с убийством в Петрограде членов Учредительного собрания, видных деятелей кадетской партии А.И. Шингарева и Ф.Ф. Кокошкина — «несчастных жертв подлости, злобы и полнейшего одичания так называемых людей». «Но вокруг меня — в деревне и даже в родном городке — все как-то бесчувственно, как-то тупо безжизненно, и почти ни в чем не проявляется общее негодование, — вынужден был констатировать Александр Сергеевич. — Я говорю „почти“, пожалуй, для собственного утешения. Не есть ли это свидетельство того, что для окружающих меня ужас совершающегося недостаточен еще и для возбуждения их протеста требуется гораздо более сильное, гораздо более жестокое действие?..»

Что касается обустройства собственного быта, то больше всего сетует он на бесчинства в своем доме «господ положения» — солдат: «Не стоит описывать всего; достаточно сказать, что они дали мне не ту комнату, которую желал бы я, а ту, которую сами нашли удобным дать мне; дали мне

«С уничтожением гражданского беспорядка откроется целый ряд возможностей быстро поднять производительность земли...»

четыре стула и один стол; долго не соглашались отдать мне мою кровать, не могли отдать мне моего кувшина с тазом и лампы, потому что разбили; забрали всю посуду, поковеркали мебель и — самое обидное — продолжают (хотя украдкой) рубить в парке вековые, ценнейшие деревья...»

В конце января 1918 года, после того как «военные обитатели» внезапно покинули его дом, Посников подводит итоги «нашествия гуннов»: «...загадили мой бедный дом до последней степени... переломав все, что можно было переломать и украсть, начиная от подушек и кончая сброей. Вырубив для отопления (бесплатного) древние деревья в парке, представители „христолюбивого воинства“ удалились куда-то на Урал для продолжения своей победной деятельности в другом несчастном доме...» И далее: «В нашей местности нынче большой недород ржи... Муки в продаже, конечно, нет, а продовольственные комитеты выдают в деревне какую-то смехотворную дозу, чуть не гомеопатическую. Здесь почти полный недостаток керосина. Так что местами опять пошла в ход лучина, и бабы сняли с чердака давно забытые светцы. Отчасти недостаток, нужда, но главным образом, увы, общая распущенность и неурядица повели здесь, как и в других местах, к возникновению грабительских банд из деревенского (да и пришлого) сброда, предводительствуемого обычно беглыми с фронта. Вооруженные, и, как говорят, хорошо, грабители нападают на усадьбы и на дворы более зажиточных обывателей и поселян. Посещения их отличаются жестокостью и всегда оставляют кровавый след... Злодеяния такого рода могут развиваться безнаказанно ввиду отсутствия следственной и судебной власти, да и всякой власти вообще. Иногда, правда, деятельность злодеев вызывает жестокий самосуд, но для этого необходимо серьезно пострадать несколькими крестьянским и обывательским дворам...»

В начале февраля Александр Сергеевич получил приглашение занять должность профессора в Петроградском политехническом институте. Это известие пришлось тогда очень кстати, поскольку, по словам самого ученого, к тому времени положение его было весьма отчаянным — на грани необходимости «жить подаванием». Добравшись до Петрограда в товарном вагоне и устроившись в общежитии института в пригородной Сосновке, Посников описывает теперь уже свой столичный быт: «Как и все жители института (даже, может быть, всего Петрограда), страдаю от полного недостатка продуктов питания (подумайте, сейчас выдают на день всего только $\frac{1}{8}$ фунта хлеба!), — сообщает он Розенбергу в мае 1918 года. — Но куда уехать? Никто этого решить не может. И потому все остаются здесь, хотя вид некоторых из товарищей самый отчаянный, прямо вид изголодавшихся людей...»

«Жизнь становится все труднее» — таков главный мотив всех последующих писем. Характерный пример — послание Арсеньеву от 5 сентября 1918-го: «Все мы здесь живем буквально впроголодь и уже более двух недель не получаем даже восьмушки хлеба, которой должны были довольствоваться ранее. Мука доходит до сказочно высокой цены (прибли-

жаясь к 600 руб. пуд), и добыть ее становится все труднее; говядины на рынке вовсе нет; конина, продававшаяся последние дни, была с лишком по 6 руб. фунт (и, подумайте, охотников стояла огромная очередь), начала что-то тоже отсутствовать на рынке; масло берут нарасхват за цену выше 20 р. фунт (и оно появляется в продаже лишь случайно); крупы — всякой — не достать ни за какие деньги; сахар — 28 р. фунт; кофе 16 р. фунт; чай приобретается с большим трудом, и говорят, должен совсем выйти из продажи. Вся жизнь держится сейчас на картофеле, цена которому от 2 р. 50 к. до 3 руб. фунт, смотря по тому, где купите, на рынке или за городом, на огородах по деревням. Во всех tram-way-ях Вы только и видите людей с мешками картофеля; на улицах Петербурга — то же. К сожалению, этот источник существования ненадежен: несмотря на хороший урожай, картофель больной и совсем не может лежать сколько-нибудь долго. Это великое несчастье... Вы простите мне, что я остановился на этом вопросе (но верьте, как-то невольно) так долго; но ведь Вы знаете пословицу: „что у кого болит, тот о том и говорит“».

Понятно, что в Советской России, охваченной стихией Гражданской войны, ни о какой полноценной научной и общественно-политической деятельности А.С. Посникова уже не могло быть речи... Он скончался в Петрограде 12 августа 1922 года.

ПЕТР
БЕРНГАРДОВИЧ
СТРУВЕ

«Соединить здоровое
патриотическое чувство
с гражданскими
освободительными
стремлениями...»

Со второй половины 1902 года мирные российские обыватели стали все чаще получать неожиданные письма из-за границы. Вскрывая легкие почтовые конверты, они обнаруживали в них листы очень тонкой, «индийской», как тогда говорили, рисовой бумаги, заполненные различными текстами, напечатанными по-русски под общей шапкой «Освобождение». Даже при беглом знакомстве с этими текстами становилось ясно, что речь в них идет о борьбе за политическое освобождение России, правда, мирными средствами, путем реформ. Но первые тревожные ощущения этих в большинстве своем вполне «благонадежных» людей быстро сменялись некоторым успокоением. На первом же листе в левом углу было напечатано: «Мы нашли Ваш адрес в адресном календаре и позволяем себе послать Вам наше издание». В случае перлюстрации письма это обязательное предупреждение все-таки облегчало случайному адресату возможные «объяснения» с полицией.

Первый номер «Освобождения» вышел 18 июня 1902 года в немецком городе Штутгарте. Но еще в самом конце предыдущего года один русский политический ссыльный, избравший местом своего вынужденного поселения Тверь, обратился к российским властям с ходатайством о разрешении срочно выехать из России «в связи с болезнью жены», находившейся уже за границей. Получив официальное разрешение и заграничный паспорт, он легально покинул страну.

20 февраля 1902 года этот вчерашний ссыльный положил на счет в Базельском коммерческом банке первый взнос в 21 500 рублей. К середине года общая сумма его наличных вкладов в Базельский и Вюртембергский банки достигла примерно 75 000 рублей золотом. Обладая такими средствами, Петр Струве — а русским вкладчиком западноевропейских банков был именно он — смело мог приступить к изданию и редактированию «Освобождения». Когда же издание состоялось, пошел приток новых частных пожертвований из России. Часть расходов компенсировались и за счет продажи доли тиража в Западной Европе: ведь за границей тогда ежегодно бывало около 200 000 российских подданных. Многие из

них охотно покупали и даже привозили с собой на родину нелегальную литературу. Для продажи за границей «Освобождение» печаталось уже на плотной бумаге. Для регулярной переправки через границу крупных партий «Освобождения» и сопутствовавших ему изданий использовались услуги контрабандистов, а также (на основе взаимности) — революционных партий и деятелей финского национального движения. Общий тираж первого номера составил 3000 экземпляров, в начале второго года издания тираж стабилизировался на цифре 7000–7500, а пик был достигнут в 1905 году — около 11 000 экземпляров. Высокий по тем временам читательский спрос, а также сочетание острой политической публицистики с отсутствием дефицита в средствах во многом и предопределили успех этого нового бесцензурного издания, выходившего, как правило, раз в две недели, вплоть до обнародования знаменитого царского Манифеста 17 октября 1905 года, провозгласившего основные политические свободы.

Секрет успеха «Освобождения» был во многом связан с личностью его редактора, в которой как в фокусе сошлись и обрели новую силу разнородные тенденции российской культуры и общественной жизни. Личность Петра Бернгардовича Струве (1870–1944), конечно, гораздо шире эпизода, связанного с изданием «Освобождения» (1902–1905). Но именно этот эпизод принес Струве славу политического лидера всероссийского масштаба, и от него удобнее всего распутывать клубок духовных и политических нитей, связующих Струве и с радикалами, и с либералами, и с консерваторами; с прошлым и будущим России.

Именно в 1902 году благодаря созданию за границей бесцензурного печатного органа голос либеральной оппозиции самодержавному режиму зазвучал гораздо свободнее, а ее рост начал приобретать более определенные политические и организационные формы. У либералов были особые основания не мешкать с организацией своих сил в общенациональном масштабе. Их уже обгоняли социалисты: вслед за российскими приверженцами учения К. Маркса — социал-демократами, объявившими о создании партии еще в 1898 году, — наследники народнической традиции, социалисты-революционеры, сделали это в январе 1902 года на страницах своей заграничной газеты «Революционная Россия».

«Освобождение» задумывалось как общенациональный орган, объединяющий и формирующий на почве либеральной программы широкое общественное мнение. И на роль его редактора трудно было отыскать лучшую кандидатуру, чем Струве. Как позднее писал он сам, либеральное движение в пореформенной России «имело два фланга, из которых один соприкасался с русским консерватизмом, другой — с революционным движением». Своеобразие же раннего Струве как раз и состояло в том, что он одновременно выступал на обоих флангах, соединяя, казалось бы, несоединимое.

Основы возобладавших в нем со временем либерально-консервативных взглядов имели глубокие семейные корни. Струве принадлежал к немецкому роду, обрусевшая ветвь которого дала России ряд ученых и госу-

дарственных деятелей. Будущий редактор «Освобождения» вырос в семье отставного пермского губернатора, где особо почитались оппозиционные взгляды славянофильского толка. Став учеником 3-й Петербургской гимназии, юный Струве испытал на себе, с одной стороны, влияние славянофила Ивана Аксакова, настоящий культ которого сложился в семье, а с другой — его постоянного оппонента, либерала-западника, ведущего публициста «Вестника Европы» Константина Арсеньева. Сложившийся вокруг Арсеньева молодежный кружок посещал и гимназист Петр Струве. С конца 1880-х годов он, подобно многим сверстникам, увлекся чтением трудов Маркса и новообращенного русского марксиста Георгия Плеханова. Уже в качестве студента Петербургского университета, участвуя в организации марксистских кружков, Струве одновременно завязал отношения и с тверскими лидерами либерального земского движения: Федором Родичевым, Иваном Петрункевичем и другими видными оппозиционерами из среды крупного поместного дворянства. Позднее именно с этими людьми Струве будет создавать Конституционно-демократическую партию — самую сплоченную и влиятельную организацию либеральной России. И наконец, хотя 1890-е годы в целом считаются «марксистской полосой» в жизни Струве, под первый арест он попал за связи с группой народолюбцев!

Все эти широкие и разнообразные политические связи дополнялись еще и уникальной способностью Струве облекать новые интеллектуальные и общественно-политические течения в четкие программные формулы. В 1895 году он от имени либеральных земцев составил «Открытое письмо Николаю II», а спустя три года написал «Манифест Российской социал-демократической партии», принятый I съездом РСДРП.

Для редактора общенациональной газеты, какой стремился сделать «Освобождение» Струве, это был очень полезный опыт. Старые связи помогли ему и в практическом плане: первые два с лишним года либеральное «Освобождение» набиралось в главной типографии Социал-демократической партии Германии, услугами которой пользовались и русские социал-демократические издания — газета «Искра» и журнал «Заря».

В то время как взгляды Струве еще только формировались, многие русские либералы (в том числе и один из его ранних духовных наставников — Константин Арсеньев) находились в той или иной степени под обаянием народнических представлений. Речь идет о таких воззрениях народников, как то, что у капитализма в России якобы нет перспектив, что экономика страны будет долго сохранять преимущественно аграрный характер и, следовательно, Россия останется в основном крестьянской страной. Антибуржуазность вообще была одной из черт русской мысли, независимо от ее внутренних градаций на либералов, консерваторов или социалистов разных оттенков. Большую роль в «европеизации» взглядов нового поколения либеральной интеллигенции сыграл, как это ни парадоксально, марксизм, благодаря которому капитализм стал расцениваться как неперемненное условие прогрессивного развития страны.

Струве был среди тех, кто поначалу увлекся идеями Маркса со всей силой своего темперамента. Вместе с тем в отличие от других русских марксистов 1890-х годов он увидел в капитализме нечто большее, чем только необходимую промежуточную фазу для перехода к социалистическому строю. Именно с капитализмом Струве связывал как политическое освобождение, так и культурный прогресс страны — в конечном счете капитализм для него был универсальным средством преодоления отсталости. Сам этот процесс, как и последующий переход к социализму, мыслился им путем эволюционным, в духе германской правой социал-демократии.

Отвечая на вопросы, поставленные в Германии социал-демократами, либерализм нового типа, складывавшийся в России на рубеже столетий, уделял много внимания социальной проблематике. Но на первый план в России выходила все-таки борьба за политическую свободу. И это давало возможность русским либералам, каким уже в 1901 году стал Струве, заключить союз с либеральными земцами, тоже имевшими немало причин быть недовольными самодержавной властью. Эти-то богатые, родовитые и зачастую титулованные дворяне-землевладельцы и помогли опальному публицисту и вчерашнему социал-демократу прервать ссылку в Твери, получить разрешение на выезд из России и, главное, дали ему большие деньги на издание бесцензурного печатного органа. Струве принял на себя обязанности редактора, оговорив свою полную независимость в ведении нового политического журнала.

Благодаря стечению ряда обстоятельств «Освобождению» удалось во многом повторить и даже превзойти небывалый успех герценовского «Колокола» — заграничного печатного органа эпохи освобождения крестьян, распространявшегося в России от «медвежьих углов» до министерских кабинетов и царских покоев. Как и у «Колокола», у «Освобождения» появлялись свои постоянные читатели среди высших сановников (например, министр народного просвещения Ванновский), а из правительственных сфер на стол к редактору, а затем и на страницы «Освобождения» попадали даже секретные сведения. Соратник Струве — князь Петр Долгоруков надеялся приохотить к чтению журнала самого Николая II. Да и сам Струве, видимо, не исключал полностью такой возможности, делая акцент на критике «всевластия бюрократии», а не института монархии и, тем более, личности царя. Но прямых и открытых посланий к императору, подобных тем, что помещал Герцен в «Колоколе», обращаясь к Александру II, Струве уже не писал. Сказывались дух нового времени и партийная дисциплина, от которой был вполне свободен его знаменитый предшественник. Да и сам Николай II не был похож на своего деда!

После революции 1905–1907 годов Струве эволюционировал от ранее охотно признаваемого им сходства с Герценом к осознанию своего духовного родства с одним из главных оппонентов издателя «Колокола», либерал-государственником Борисом Чичериным. В нем наш герой в конце концов найдет самое законченное, самое яркое выражение того, что стало предметом и его собственного духовного поиска: «гармониче-

«Соединить здоровое патриотическое чувство с гражданскими освободительными стремлениями...»

ское сочетание в одном лице идейных мотивов либерализма и консерватизма».

Если с появлением в 1902 году первых выпусков либерального «Освобождения» Петр Струве, безусловно, стал «человеком года» от оппозиции, то таким же «человеком года» от власти суждено было стать министру внутренних дел Вячеславу фон Плеве (1846–1904). Именно они наиболее ярко олицетворяли тогда две входившие в состояние глубокой конфронтации силы: общественность и власть. В отличие от Струве, родившегося в дворянской семье, Плеве, тоже дворянин по происхождению, фактически был типичным разночинцем: его отец работал учителем в провинциальной гимназии. В итоге выходец из низов, сделавший в рамках сложившейся системы головокружительную карьеру, стал одним из ее последовательных (и последних!) защитников, а сын высокопоставленного чиновника с обширными связями оказался в числе лидеров общенациональной оппозиции режиму.

Плеве был старше Струве почти на четверть века. И в его биографии была своя «либеральная полоса», связанная с тем, что ему довелось учиться и начинать карьеру в судебном ведомстве в эпоху реформ Александра II. Струве же начал учебу в университете и одновременно общественную карьеру на пике консервативной политики Александра III. Эти обстоятельства не помешали Плеве стать жестким охранителем, выдвинувшимся в условиях либеральных преобразований и обновления старого бюрократического аппарата, а Струве — радикалом и либералом, востребованным обществом, пробудившимся к политической жизни.

Со временем нараставшее ощущение того, что вместе с ненавистным политическим режимом опасно колеблются и общие основы существования государства и всего культурного общества, заставит Струве дополнить заветную идею «права и прав» цепочкой понятий, перечень которых (государственность — культура — религия) свидетельствует о его сдвиге в сторону консервативной традиции русской мысли. Но эта традиция не имела ничего общего с той охранительной политикой, которую изобрел и последовательно проводил Плеве: с его именем было связано введение еще в первой половине 1880-х годов режима чрезвычайщины, сохранявшего свою силу до конца старого порядка, и в особенности создание такой изощренной формы полицейской провокации, как «двойные агенты».

Полицейское государство и организации революционеров не только копировали, но и разлагали друг друга. Не случайно сами организаторы системы провокации становились в конце концов ее жертвами. Увы, в борьбе и переплетении политической полиции с терроризмом была еще и третья, «радующаяся», сторона — оппозиционная общественность. О полицейской подоплеке иных терактов она не ведала, но под ее аплодисменты боевики убивали столпы режима. И Струве в этом плане исключением не был. Известие об убийстве Плеве вызвало в его доме «такое радостное ликование, точно это было известие о победе над врагом» — ведь Россия уже воевала с Японией. И хотя сами «освобожденцы» террор не поощ-

ряли, но и морального осуждения этому способу политической борьбы они тоже не выносили. Влияние на либералов начала XX века левого радикализма сказывалось во многом. На преодоление этого влияния будут впоследствии направлены основные усилия Петра Струве.

К нелегальным формам объединения либеральных сил Струве и его единомышленники вынуждены были обратиться только после того, как все попытки добиться от власти разрешения на открытую деятельность не удались, а революционеры уже объявили о создании своих партий. В то же время характерно, что ни в одну из нелегальных организаций либералов, созданных накануне первой революции 1905–1907 годов, — ни в Союз земцев-конституционалистов, ни в Союз освобождения, полиции не удалось внедрить своих тайных агентов. В отличие от блюстителей подпольной иерархии и изобретателей бюрократической конспирации Струве вместе со своими соратниками по либеральному движению закладывали в России основы открытой политики с помощью бесцензурного печатного органа или (за недостатком внутри страны других форм политической жизни) открытого общественного застолья с острыми оппозиционными тостами, как это было, например, в период известной «банкетной кампании» 1904 года.

Характерными чертами руководящего ядра созданной при участии Струве Конституционно-демократической партии были терпимость, взаимопочтение, готовность к компромиссу и самоограничению во имя сохранения политического единства. Но партия не безразмерный чулок, и, когда взгляды, развиваемые Струве, войдут в противоречие со сложившимся мнением большинства ЦК, он покинет его состав. Это произойдет летом 1915 года.

Обращает на себя внимание и тот факт, что Плеве и Струве, оба из обрусевших немцев, олицетворяли различные формы русского национализма. Оба, кстати, много натерпелись от популярных среди критиков всех мастей обвинений в «нерусскости» и неискренности их патриотических чувств. Правда, на это у Струве всегда был наготове убедительный ответ. В своих публичных выступлениях он не раз говорил и писал о том, что из различного «смешения кровей», как «из благородного плода», выросло немало славных деятелей русской культуры, как, например, семейство Аксаковых или Борис Чичерин. Этот перечень может быть продолжен очень многими именами. Соединение же немецкой крови с ярко выраженными русскими национально-патриотическими воззрениями разных оттенков вообще было распространено.

Подобно семье Струве, Плеве в начале своего пребывания в Петербурге симпатизировал неославянофильским взглядам, хотя и не позволил себе примкнуть ни к одному из салонов, где была бы ощутима хоть какая-то фронда и независимость мысли. В конечном счете это отталкивало от Плеве даже его сторонников среди консервативной общественности, все-таки склонной в соответствии со славянофильской традицией к разграничению сфер «народного мнения» и «власти» и мечтавшей о «гармонии» самодержавия со свободой слова и свободой совести.

«Соединить здоровое патриотическое чувство с гражданскими освободительными стремлениями...»

В мировоззрении Петра Струве национализм уживался не с чиновничьим охранительством, а с либерализмом, выступившим после поражения России в Крымской войне 1853–1856 годов в качестве не только общественного «трибуна», но и средства реабилитации всего Российского государства, восстановления его подорванного престижа как внутри страны, так и на международной арене.

«В чем же истинный национализм?» — этот вопрос стал в 1901 году заголовком одной из самых ярких статей Струве о либерализме. Четкий вопрос получал такой же четкий ответ: истинный национализм только в либерализме, ибо он и воплощает «единственный вид истинного национализма, подлинного уважения и самоуважения национального духа, то есть признания прав его живых носителей и творцов на свободное творчество...».

Противостояние либерального национализма Струве и охранительного национализма Плеве касалось не только взаимоотношений личности и власти, общественности и бюрократии. На Дальнем Востоке все отчетливей становились признаки новой войны, разразившейся в конце концов в 1904–1905 годах. Вячеславу фон Плеве, уже в силу компетенции возглавляемого им ведомства — Министерства внутренних дел, был присущ односторонний взгляд на проблемы внешней политики. Во имя укрепления существующего внутреннего порядка он и говорил о целесообразности «маленькой победоносной войны» с Японией, силы которой явно недооценивал. Зеркальным отражением этой охранительной позиции были намерения левых радикалов, а отчасти и либералов использовать войну России с Японией как фактор дестабилизации того режима, который Плеве защищал и олицетворял. В обоих случаях «внешняя политика» рассматривалась как средство решения внутривнутриполитических задач, сводимых, как позднее выразился Струве, к «вопросу о так или иначе понимаемом внутреннем благополучии государства». Сам же редактор «Освобождения» уже во время войны попытался «соединить здоровое патриотическое чувство с гражданскими освободительными стремлениями», провозгласив лозунг политического освобождения России в качестве великой национальной задачи.

ПЕТР
БЕРНГАРДОВИЧ
СТРУВЕ

После Русско-японской войны и первой революции в русской печати начали публиковаться размышления Петра Струве о «Великой России», «русском могуществе», «внешней мощи». Все это было ново для его друзей-либералов из кадетского ЦК. Сами термины, которыми оперировал Струве, казались заимствованными из чужого политического словаря. Как раз в те месяцы 1908 года, когда публика читала «размышления» Струве, на заседаниях ЦК кадетской партии зашел разговор о том, есть ли вообще у кадетов своя внешнеполитическая программа, каково содержание таких понятий, как «великодержавие», «великодержавные стремления» и пр.

Поводом к широкой дискуссии стал вопрос о позиции думской фракции партии по отношению к финансированию из бюджета строительства новой железнодорожной магистрали из Забайкалья на Дальний Восток вдоль русского берега Амура. Одни члены кадетского ЦК видели в этом

только продолжение прежней российской политики на Дальнем Востоке: «великодержавную авантюру, разложение государства изнутри». Другие призывали «преодолеть старые страхи», связанные с результатами Русско-японской войны. Коли Россия — великая держава, то ей и не стоит стыдиться великодержавных стремлений, направленных на защиту и укрепление малообжитых окраин. Этим доводам были противопоставлены иные соображения: «Задачи наши ближе, задачи внутреннего благоустройства; это тоже „великодержавность“»; что же касается защиты территорий, то «и до сего времени мы ведь все только „оберегали границы“, а, оберегая границы, завоевали шаг за шагом всю Азию...». В связи с этим «надо еще разобраться, а что там, собственно, предстоит защищать»?.. «Должны быть произведены известные расчеты, при которых может оказаться, что, быть может, следует отказаться от части нашей территории, увеличенной за счет и путем авантур...»

Таким образом, среди кадетских лидеров были и те, кто искренно считал, что России «надо ужаться», и те, кому формирование «тела империи» представлялось незавершенным, пока над Босфором и Дарданеллами с прибрежными территориями не взовется российский флаг. Петр Струве в этом споре однозначно примыкал ко второму лагерю.

Но подлинное своеобразие взглядов Струве следует искать в иной плоскости. Разъясняя свою внешнеполитическую позицию, бывший редактор «Освобождения» апеллировал к памяти тогда уже покойного Плеве, находя его «банальный консерватизм» в каком-то смысле солидарным с «банальным радикализмом», причем зачастую объединяя под этим последним именем и революционеров, и радикал-либералов, сходявшихся на почве старого интеллигентского «отрицания внешней политики» во имя задач внутреннего переустройства. Если и охранитель Плеве, и те из радикалов, кто ему формально противостоял, так или иначе подчиняли внешнюю политику решению внутренних задач, то Струве, напротив, переворачивал предлагаемую ими формулу: мерилом внутренней политики, с его точки зрения, должен служить ответ на вопрос, в какой мере эта политика содействует внешнему могуществу государства.

Струве перехватил у столыпинского правительства лозунг «Великой России», который то противопоставляло «пути радикализма и освобождения от исторического прошлого страны». «Величие России» Струве понимал не как призыв к охранительству, а как лозунг «новой русской государственности», опирающейся на живые традиции и в то же время на «творческую революционную силу».

В 1912 году, в условиях нового кризиса на Балканах, становившихся «пороховым погребом Европы», Струве, последовательный сторонник «возвращения» русской политики с Дальнего Востока в бассейн Черного моря, увидел в тогдашних провалах царской дипломатии исходную точку для перестройки и всей внутренней политики России. Речь шла о том же, к чему он призывал и раньше, — о примирении общества с властью на основе обоюдного преодоления зауженного представления о государстве,

«Соединить здоровое патриотическое чувство с гражданскими освободительными стремлениями...»

сводимого только к «носителям власти». Либерально-консервативная идея «Великой России», сформулированная Струве, была обращена в будущее, но плохо согласовывалась с реальным состоянием того конкретного государства, в котором он жил. Струве все-таки явно переоценивал его жизнеспособность и потому слишком уж бесстрашно в канун мировой войны призывал кадетскую партию «перестать дипломатничать», но, «поставив балканский вопрос по существу», заявить о солидарности со славянскими народами этого региона и вообще «заговорить таким языком, чтобы все попрятались в нору». Последствия вовлеченности и российской власти, и российского общества в балканский узел оказались куда более разрушительными для России, чем та «маленькая война», что была предпринята с одобрения Плеве на Дальнем Востоке.

Мировая война еще более усилила внимание Струве к проблемам русской государственности и культуры. Этим во многом объясняются и его выступления против лозунга культурно-национальной автономии, принятого кадетами, и утверждения о несамостоятельности украинского языка и культуры, и разрыв с Конституционно-демократической партией. Новый всплеск политической активности Струве был связан уже с его участием в организации Белого движения, а затем и русской политической эмиграции.

Потомственный российский немец и русский националист; поклонник германской социал-демократии и один из лидеров старой либеральной России; автор Манифеста Российской социал-демократической партии и один из главных инициаторов знаменитых «Вех» (сборника статей о русской интеллигенции, где традициям левого радикализма был дан решительный бой). Таков Петр Бернгардович Струве — «человек, в котором не было и тени умственной лени» (как сказала о нем Ариадна Тыркова), умевший вырываться из заколдованного круга даже тех формул, в создании которых сам когда-то участвовал...

И еще один, последний штрих к изменчивой судьбе этого человека и мыслителя, отмеченный легкой насмешкой истории.

Струве, этот очень кратковременный соратник Ленина по социал-демократии, а с конца 1890-х годов и до конца жизни один из его самых резких политических противников, был в 1941 году арестован в Белграде фашистским гестапо и заключен в тюрьму в качестве... «друга Ленина». Иная недолгая «дружба», бывает, портит репутации, складывавшиеся десятки лет, но и политическая вражда не проходит бесследно, если оставляет за собой грубую печатную брань. Рассказывают, что Струве был выпущен на свободу сразу после того, как он случайно обнаружил в тюремной библиотеке и предъявил тамошнему начальству немецкое издание то ли сочинений самого Ленина, то ли «Истории ВКП(б)»...

ПЕТР
БЕРНГАРДОВИЧ
СТРУВЕ

МАКСИМ
МАКСИМОВИЧ
КОВАЛЕВСКИЙ

«Без терпимости нет
свободы...»

Максим Максимович Ковалевский родился 27 августа 1851 года в Харькове в богатой семье. Род Ковалевских — старинный, казацкий. Среди фамильных реликвий хранились духовные завещания, датированные XVII веком. Дворянский титул был пожалован его предкам Екатериной II. Бабушка Ковалевского по отцовской линии была близкой родственницей адмирала П.С. Нахимова. Дед Ковалевского со стороны матери происходил из польского рода Познанских, а бабушка была немкой из рода Мюнстеров. «После этого предоставляю решить, к какой я собственно принадлежу национальности, — с иронией писал Ковалевский. — Прибавьте окружающих меня с детства немецких гувернанток и французских гувернеров, изучение многих предметов, в том числе истории и мифологии, на французском языке, более раннее знакомство с Шиллером и Мармонтелем, чем с Пушкиным и Гоголем, — и вам легко будет прийти к тому заключению, что в украинской обстановке потомок малороссийских казаков, с примесью польской и немецкой крови, приобщался с самого детства к европейской культуре».

Его отец (тоже Максим Максимович), полковник, участник Отечественной войны 1812 года, в течение двадцати пяти лет был предводителем дворян Харьковского уезда и фактически исполнял обязанности предводителя Харьковского губернского дворянства. Он отличался независимым нравом, считал службу при царском дворе ниже своего достоинства. Вполне в его духе был отказ от предложения представить его в камергеры. Максим Максимович был умен, красив, пользовался успехом у дам и женился уже пожилым человеком на молоденькой девушке на двадцать пять лет себя младше. Воспитание сына всецело взяла на себя мать, Екатерина Игнатьевна, так как отец был слишком занят делами по общественной службе и управлению хозяйством в имении. Судьба Ковалевского сложилась так, что ему не удалось создать собственную семью. На всю жизнь он сохранил горячую любовь к своей матери, женщине умной, необыкновенно сердечной, с развитым вкусом. Она была поклонницей оперного искусства, театра, ценительницей живописи, знатоком французской литературы. Именно матери, как считал сам Ковалевский, он был обязан удачным выбором первых книг для чтения, рано развившимся в нем интересом к истории и этнографии. До четырнадцати лет

Ковалевский получал домашнее образование, затем поступил в пятый класс 3-й Харьковской гимназии. По окончании ее с золотой медалью в 1868 году он стал студентом юридического факультета Харьковского университета.

1860–1870-е годы в России были временем острых политических диспутов между сторонниками различных взглядов на обновление жизни. В студенческую пору Ковалевский — член кружка во главе с Е.Н. Солнцевой, занимавшегося культурно-просветительской работой, пропагандой идей мирного постепенного прогресса. В значительной мере на мировоззрении Ковалевского сказалось его увлечение работами Г. Спенсера, О. Конта, Дж. Милля, изучение истории социальных идей, особенно теории «критического социализма» Прудона, согласно которой изменения в общественном строе должны происходить не путем насильственного переворота, а в результате постепенного изменения нравственных понятий людей, развития человеческой солидарности («взаимности», по Прудону). «Свобода», «равенство», «взаимость» — эти принципы, сформулированные Ковалевским в юности, определяли его взгляды и деятельность на протяжении всей дальнейшей жизни. На склоне лет Ковалевский с улыбкой вспоминал свой юношеский порыв, когда, желая дать внешнее выражение своим мыслям, заказал себе печать с выгравированными на ней тремя дорогими ему словами.

Многое в судьбе Ковалевского определила встреча с профессором Харьковского университета Д.И. Каченовским: «Это человек, зародивший во мне первые семена политического свободомыслия, давший мне первые сведения о конституционных порядках западноевропейских стран, вызвавший во мне желание посвятить себя проповеди тех начал гражданской свободы, местного самоуправления, народного представительства и судебной ответственности всех органов власти от высших до низших, исторический рост которых он так умело излагал в своих лекциях об английской конституции».

В 1872 году, по окончании университета, Ковалевский был оставлен для подготовки к магистерскому экзамену по государственному и международному праву. Вплоть до 1876 года он продолжал образование в Берлине, Париже, Лондоне, Вене. Сфера его интересов в этот период включала в себя конституционное право, историю французских и английских государственных учреждений, историю политических учений, первобытную культуру, этнографию.

Разнообразие исследовательской тематики объяснялось масштабно-стью замысла молодого ученого. Он поставил перед собой цель выяснить происхождение и проследить эволюцию основных общественных учреждений и институтов, различных форм общественного сознания и отношений (община, семья, собственность, государство, право, религия, мораль и т.д.), а также определить закономерности и специфику перехода различных народов к гражданскому обществу и правовому государству.

Реализуя данный проект на протяжении последующих лет, Ковалевский

по сути создал собственную социологическую систему — «генетическую социологию». В ее основании — идея многофакторности общественных процессов, широкое применение историко-сравнительного метода при изучении законов социальной эволюции, особый интерес к такому явлению, как «коллективная психология».

Юношеское увлечение идеей развития человеческой солидарности переросло в стойкое убеждение, основанное на результатах научного анализа: общественное развитие ведет к постепенному углублению солидарности во взаимодействии между народами и социальными группами. Наглядным примером этой закономерности, по Ковалевскому, служит экономическая эволюция: переход от «хозяйства орды и племени» к «национальному хозяйству», а в будущем установление «всемирного хозяйства».

Вернувшись на родину, Ковалевский в 1877 году защитил в Москве магистерскую диссертацию «История полицейской администрации в английских графствах с древнейших времен до смерти Эдуарда I», а в 1880 году — докторскую диссертацию «Общественный строй Англии в конце средних веков». В 1877 году он доцент, с 1880 по 1887 год — профессор юридического факультета Московского университета по кафедре государственного права европейских держав.

В Московском университете Ковалевскому принадлежало, по общему признанию, одно из первых мест. Он был чрезвычайно популярен среди учащейся молодежи, разночинной интеллигенции, в литературных кругах. Дом Ковалевского являлся своеобразным культурным, духовным центром. Обычно по четвергам в его квартире собирался большой круг знакомых. Среди постоянных посетителей были профессора университета и других высших учебных заведений Москвы, члены редакций газеты «Русские ведомости» и журнала «Русская мысль». К Ковалевскому приезжали из провинции, среди его гостей часто оказывались иностранные ученые, общественные деятели, путешественники. Бывали у Ковалевского и писатели — Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, Н.К. Михайловский, Г.И. Успенский. Секрет удивительной притягательной силы Ковалевского объяснялся во многом его выдающимися чисто человеческими качествами. Определяющей чертой его характера была терпимость, а жизненным кредо — слова немецкого поэта, лауреата Нобелевской премии Г. Гауптмана: «Терпимость — это религия будущего. Терпимость основана на уважении к ближнему, как к равному себе. Без терпимости нет свободы».

«Без терпимости нет свободы...»

Преподавательская деятельность Ковалевского совпала с периодом контрреформ Александра III. Важнейшей задачей правительство считало насаждение в высшей школе «верноподданнических настроений». Автономия университетов после введения в 1884 году нового университетского устава была фактически уничтожена. Однако внешние обстоятельства не могли заставить Ковалевского отказаться ни от своих убеждений, ни от стремления активно распространять близкие ему взгляды. В своих лекциях Ковалевский ставил перед собой цель «подготовить россиян к консти-

туции». Вместо требуемого программой «живого очерка самодержавия» Ковалевский с университетской кафедры фактически проповедовал основные принципы реформ, необходимых для России. Классовую борьбу он рассматривал как признак незрелости или, напротив, вырождения того или иного общественного строя. На примерах европейской истории он стремился показать опасность обострения социальных противоречий, неизбежно приводящего к революции. Отсюда вытекала и его политическая доктрина конституционной, или «народной», монархии («конституционализм, дополненный реформаторством»). В доносах на Ковалевского неоднократно подчеркивалось его «тлетворное» влияние на умы молодежи. Кампания против Ковалевского, начатая по инициативе министра народного просвещения И.Д. Делянова, завершилась увольнением его из университета 6 июня 1887 года.

После вынужденной отставки Ковалевский вскоре уехал из России. Период пребывания за границей (1887–1905) — еще одна блестящая страница его биографии. «Русский ученый, устраненный от кафедры в своем Отечестве, стал культурным „гражданином мира“, аккредитованным представителем передовой мыслящей России в умственных центрах Европы», — вспоминал известный литературовед Д.Н. Овсянико-Куликовский.

Круг зарубежных знакомств Ковалевского постоянно расширялся. В него входили литераторы, ученые, государственные и общественные деятели. Однако «центром интереса» Ковалевского, по его собственному признанию, стала его «знаменитая однофамилица» С.В. Ковалевская, в то время профессор математики Стокгольмского университета. Именно ей Ковалевский был во многом обязан своим приглашением в 1887 году в Стокгольм для организации там преподавания общественных наук. Вместе они провели много времени в Швеции, позже в Англии, Франции, Италии, Швейцарии. Ковалевский подчеркивал, однако, что ему «в ее (Ковалевской. — Н.Х.) жизни приписана преувеличенная роль». «...Мы сошлись приятельски потому, что оба были одиноки на чужбине», — писал он.

Спустя год после прочтения курса лекций в Стокгольме Ковалевский был приглашен в Оксфорд и, таким образом, стал «первым русским, призванным говорить о России на английском языке, так как до этого времени приглашали немцев и датчан». Тематика его лекций в Европе и Америке включала в себя самые разнообразные темы, в том числе становление общества, права, морали, семьи, собственности, политических учреждений; историю экономического и социального развития Европы и т.д. Особый интерес западные слушатели проявляли к России — истории становления ее хозяйственного уклада, формирования государственно-правовых институтов.

В Европе Ковалевский жил на вилле, купленной им в конце 1880-х годов в окрестностях Ниццы, в Болье. Он искал необходимые материалы в библиотеках и архивах, читал лекции в Париже, Стокгольме, Оксфорде, Брюсселе, Сан-Франциско, Чикаго и т.д.

В годы пребывания за рубежом Ковалевский стал признанным авторитетом в мировой науке. Его многочисленные научные работы широко публиковались на Западе. В 1907 году он был избран членом-корреспондентом Французской академии. Он избирался также почетным членом Академии законодательств в Тулузе, почетным членом исторического общества в Венеции, членом Британской ассоциации наук; с 1895 года — вице-председателем, а с 1907 года — председателем Международного института социологии в Париже.

Очевидно, что научные интересы Ковалевского, хотя и формировались в большинстве своем на зарубежном материале, тем не менее служили и своеобразным ответом на запросы трансформирующегося русского общества. Откликом такого рода стало и увлечение Ковалевского идеей новой постановки высшего образования.

Он всегда предупреждал об опасности чрезмерной специализации обучения в ущерб общему образованию, проводил мысль о единстве науки, недопустимости какого-либо одностороннего подхода к изучению общества. Наиболее широко реализовать принципы свободы преподавания и самоуправления ему удалось в 1901–1906 годах в русской высшей школе общественных наук, созданной им в Париже совместно с юристом, знатоком гражданского права Ю.С. Гамбаровым, социологом Е.В. де Роберти и др. Школа должна быть вне политики — в этом Ковалевский был убежден, видя главную цель преподавания в подготовке широко и свободно мыслящих людей. Неизбежным следствием этого должно было стать не менее важное для Ковалевского и его единомышленников «смягчение резких противоположностей между крайними мнениями, сближение политических групп, способных действовать на общей почве».

М.М. Ковалевский возвратился в Россию в августе 1905 года, когда революция стремительно набирала силу. Не прошло и месяца после его приезда, вспоминал В.Д. Кузьмин-Караваев, «как имя его стало буквально каждый день встречаться на столбцах газет, — то в виде подписи под статьями, то как инициатора или устроителя того или другого общественного дела... М.М. исключительно быстро сделался центром, к которому стремились люди, бесконечно разнообразные по положению, по убеждению, по профессии».

«Без терпимости нет свободы...»

Характерная черта общественной жизни в России в начале XX века — вера в близость «новой эры» социальной справедливости, утверждения гуманистических начал. Предельно политизированное общество стремилось получить практические рецепты переустройства жизни. Ковалевский не мог не откликнуться на призыв жаждущей просвещения публики. Он считал своим профессиональным и гражданским долгом способствовать мирному, в демократическом русле, обновлению жизни, используя опыт Западной Европы. Тем более что, по его наблюдению, эволюция политического и экономического строя России поражала многочисленными аналогиями с прошлым народов европейского Запада.

Предвидеть проблемы, ожидающие Россию в недалеком будущем, по возможности сгладить их остроту рядом предупредительных государственных мероприятий — достижение этих целей, по убеждению Ковалевского, было невозможно без знания устоев русской национальной экономики, прежде всего аграрного строя, основанного на общинном землевладении. Ковалевский, опираясь на свой опыт изучения земских учреждений на Западе, пришел к выводу о том, что основой мелкой земской единицы (волости) в России должна стать именно преобразованная на демократических началах община.

«Я всей душой стремился очистить этот вопрос (об общине. — Н.Х.) от доктринерства и метафизики, проанализировать различные точки зрения и, кроме того, изучить судьбу подобных же учреждений в других странах» — так характеризовал Ковалевский свой научный метод. Выводы, к которым пришел ученый, были неоднозначны. Не случайно одни современники видели в нем критика общинных порядков, другие обвиняли в избытке «лиризма» по отношению к общине. «Я не страшусь признать справедливость этих двух мнений, которые ничуть друг другу не противоречат», — замечал Ковалевский.

Среди мер, которые Ковалевский еще до начала Столыпинской реформы предлагал предпринять в аграрной сфере, были: уменьшение налогового бремени на крестьянство, отмена круговой поруки, организация переселенческой политики, расширение сельскохозяйственного кредита, проведение своеобразной «национализации» дворянских земель, заложенных в банках, и предоставление этих земель (наряду с казенными) крестьянам в долгосрочную аренду, поддержка демократизации общинного землевладения на законодательном уровне и многое другое.

Выступления Ковалевского в печати касались и вопросов реформы государственного управления. Наиболее перспективной формой устройства государства, определившей политическое развитие в XIX веке, Ковалевский считал представительную демократию, основанную на самоуправлении народа (парламентаризме) и равенстве всех граждан перед законом. Движение России в сторону утверждения представительной демократии Ковалевский, как либерал-эволюционист, предполагал через целый ряд последовательных изменений, рассматривая в качестве необходимого начального этапа конституционную монархию. М.М. Ковалевский органично сочетал в себе качества ученого-энциклопедиста и политика-прагматика. С высоты своего научного знания он, может быть, как никто другой из российских политиков, понимал, сколь трудным и длительным будет путь России от самодержавия к демократии. Ковалевский, по нашему мнению, представлял собой выкристаллизовавшийся в событиях русской Смуты начала XX века новый тип политика, не понятый большинством современников (что, заметим, вовсе не умаляет ценности его опыта). Это тип умеренного либерала-демократа, политика-центриста, высшей ценностью для которого является «общественная солидарность», а руководством к действию — здравый смысл и забота об «общем благе».

По отзывам современников, Ковалевский по возвращении на родину «стал знаменем, символом русской культуры и всех русских культурных начинаний». Ему была свойственна безграничная вера в силу просвещения и культуры, их спасительную миссию. В разговоре с друзьями он сказал как-то: «Я не сомневаюсь в том, что гораздо действеннее писать статьи, чем бросать бомбы...» Ковалевский всегда старался следовать наставлению Иоанна Златоуста: «Убеждай с кротостью». «Можно ненавидеть ложное учение, но не человека, его исповедующего. Любовь — высшая учительница; она одна может содействовать освобождению людей от заблуждения».

В сентябре 1905 года Ковалевский, как человек, «никогда не изменявший либеральному знамени», был приглашен участвовать в съезде земских и городских деятелей, состоявшемся в Москве. Разделяя позицию съезда о необходимости расширения полномочий Государственной думы и упрочения гражданских и политических свобод, Ковалевский выступил с особым мнением по аграрной программе. На первый план при разрешении вопроса об утолении земельного голода крестьян он ставил правильно организованную переселенческую кампанию, а также «широкое наделение казенными землями, принудительный выкуп одних латифундий, ничем не стесняемую свободу самим крестьянам переходить от общинного к подворному или семейному пользованию».

В ноябре 1905 года Ковалевский принял участие в очередном земском съезде. Его откровенное заявление о том, что республика кажется ему в России так же мало мыслимой, как монархия во Франции, снова встретило осуждение многих радикальных делегатов съезда.

Восприняв близко к сердцу свой «полууспех» на родине, Ковалевский уехал из России в Париж. В письме к своему давнему другу А.И. Чупрову от 14 декабря 1905 года он так описывал ситуацию в России, пережитую им недавно: «Я вынес впечатление дома умалишенных, в котором одни стачечники знают, что делают, а революционеры к ним примазываются, уверяя, что они пахали... Либеральные земцы все протягивают руку налево... Вся эта либерально-демократическая комедия... производит впечатление сплошной мерзости. Господа эти всего боятся — даже того, чтобы называть вещи по имени: бунт матросов — бунтом, а грабеж усадеб — грабежом. Я тщетно предлагал им в бюро подобного рода резолюции. У них не хватает смелости принять их».

«Без терпимости нет свободы...»

Отголоском всего этого, по выражению Ковалевского, «бедлама» стало поведение русской колонии в Париже. «По моем приезде студенты школы попросили меня прочесть им лекцию о русских событиях, а затем потребовали от меня отчета, как я смею не быть республиканцем в России. Лекция закончилась аплодисментами и свистками... Я прекратил чтения, и школа закрыта не то временно, не то навсегда. И к лучшему. Теперь уже никто не хочет учиться, и все заняты только тем, чтобы внедрять в других честные убеждения клеветой и физическим насилием. Красные хулиганы стоят черных...»

Пребывание Ковалевского в Париже в 1905–1907 годах оказалось недолгим. Сложные перипетии общественной жизни втянули его в круговорот событий на родине. Вернувшись вскоре в Петербург, Ковалевский, по его словам, «сразу очутился в центре всего движения». Первым делом он основал в Петербурге газету «Страна», издававшуюся с февраля 1906 по январь 1907 года. В редакции активно работали приглашенные Ковалевским профессор политэкономии И.И. Иванюков, видный экономист А.С. Посников, правовед Ю.С. Гамбаров, известный в России либеральный публицист К.К. Арсеньев, литературоведы Н.А. Котляревский и Д.Н. Овсяннико-Куликовский. К тому времени большинство членов редакции уже состояло в недавно созданной Партии демократических реформ (ПДР). Ковалевский примкнул к этой партии и принял активное участие в выработке ее политической программы. Газета «Страна» стала фактически органом партии.

Достойным поприщем для Ковалевского как политика и общественно-го деятеля могла стать Государственная дума. Работа в комиссиях первого русского парламента предоставляла возможность оказывать непосредственное влияние на формирование государственной политики. Посоветовавшись с В.О. Ключевским, политические воззрения которого были ему близки, Ковалевский принял решение выставить свою кандидатуру в Думу от Харьковской губернии. Ситуация для избрания складывалась благоприятно. Ковалевский вспоминал: «Так как никто особенно не стремился сделаться депутатом, опасаясь, как бы не навлечь тем самым на себя беды, то отношение было более или менее следующее: хочешь лезть в петлю, ступай — мы тебе препятствовать не будем».

Выступления Ковалевского в I Думе начались с обсуждения адреса в ответ на тронную речь царя в день открытия народного представительства 27 апреля 1906 года. Исходя из опыта западных демократий, Ковалевский предлагал включить в ответный адрес выражение признательности монарху со стороны народных представителей за дарованную им возможность участия в законодательной деятельности. Одновременно он настаивал на необходимости включения в адрес выражения готовности Думы к рассмотрению возможно большего числа государственных вопросов, в частности внешней политики России.

С каждым днем работы I Думы крупная фигура Ковалевского все чаще появлялась за думской кафедрой. «С верхних скамей, на которых я расположился с прочими членами от Харьковской губернии, меня пригласили пересест на нижние, чтобы не тратить времени и быть поближе к трибуне», — вспоминал Ковалевский. «Учитель-депутат» — так отзывались о нем соратники. Неоднократно в заседаниях Ковалевский выступал со справками по истории парламентаризма и практике народных представительств в западных странах. Эти речи часто вызывали неоднозначную реакцию среди депутатов как «справа», так и «слева».

Независимость Ковалевского от какой-либо партийной программы (по выражению Милюкова, его «недисциплинированность») часто про-

являлась в ходе думских заседаний. Так, пытаясь приостановить применение смертной казни на то время, пока соответствующий законопроект прорабатывается в Думе, Ковалевский предложил депутатам обратиться с соответствующей петицией к царю. «Кадеты и трудовики почему-то сочли унизительной форму петиции, но я нашел поддержку в более консервативной части Думы», — вспоминал Ковалевский. Собрав несколько тысяч подписей, он отвез петицию в Петергоф — летнюю резиденцию Николая II. «Никакого ответа на нее не последовало», — констатировал Ковалевский.

Речи Ковалевского в Думе часто служили ему материалом для газетных статей в «Стране». Желая оказать воздействие на ход прений, он бесплатно рассылал свою газету многим депутатам без различия партий. «Кадеты относились ко мне с оглядкой, не всегда уверенные в том, что я буду голосовать с ними в унисон», — писал Ковалевский. Тем не менее леволиберальная Дума выбрала Ковалевского руководителем и членом многих парламентских комиссий. Он, например, возглавил комиссию по составлению закона о личной свободе. Ею было принято предложение Ковалевского придерживаться в своей деятельности английской системы Habeas corpus. Он был также членом комиссий по составлению законопроектов о гражданском равноправии, свободе собраний и т.д. Ковалевский являлся горячим сторонником политической амнистии, неоднократно высказывался в Думе в защиту прав печати.

Известие о роспуске I Думы настигло Ковалевского в Лондоне, куда он прибыл во главе думской делегации на конференцию Межпарламентской ассоциации мира. Политическая деятельность Ковалевского в России получила высокую оценку и признание международной общественности. «Когда бюрократическое самодержавие превратится в конституционную монархию, когда революция уляжется и начнется эволюция, Максим Ковалевский будет фигурировать в первом ряду обновителей русского отечества», — отмечалось в парижском издании «Век» в мае 1906 года.

По возвращении в Россию Ковалевский отказался поддержать радикально антиправительственное Выборгское воззвание, инициированное кадетами. По словам Ковалевского, иное решение лишило бы его перед собственной совестью права считать себя доктором по государственному делу. «Никто из специалистов этой науки не может допустить призыва подданных к неплатежу налогов и к отказу нести воинскую повинность», — заявлял Ковалевский.

Вместе с тем он осудил роспуск I Думы и считал неприемлемым для общественных деятелей вхождение в состав правительства, возглавляемого Столыпиным. Ковалевский ответил письменным отказом на приглашение Столыпина участвовать в политическом рауте у него на дому, мотивировав свое решение тем, что этот вечер, предшествующий началу судебного процесса против «выборжцев», он намерен провести со своими товарищами по I Думе. Столыпин счел себя крайне задетым этим письмом, текст которого вскоре стал общеизвестным и обошел столичную

«Без терпимости нет свободы...»

и провинциальную печать. Позднее, 18 декабря 1907 года, в день окончания суда над «выборщиками», Ковалевский устроил у себя собрание представителей различных партий «с целью выразить сочувствие осужденным».

На выборах во II Думу Ковалевский потерпел неудачу. Он считал ниже своего достоинства «корректировать» убеждения в зависимости от ситуации, и его принципиальная, демократическая позиция по аграрному вопросу показала землевладельцам Харьковского уезда настолько революционной, что они открыто стали агитировать против, используя также недоброжелательное отношение к Ковалевскому правительственных кругов. В итоге Ковалевскому не хватило трех голосов, чтобы пройти в выборщики от Харьковской губернии.

Возвратившись в Петербург, Ковалевский принял предложение П.Б. Струве выставить свою кандидатуру от Петербурга по кадетскому списку. Ситуация на этот раз складывалась поначалу благоприятно для Ковалевского. Однако выбор его от Петербурга вскоре был кассирован властями под тем предлогом, что ему недостает нескольких дней для того, чтобы считаться проживающим в Петербурге полный год.

Не имея возможности попасть в Думу, Ковалевский связывал надежды на продолжение своей общественной деятельности с участием в работе Государственного совета. Несмотря на сопротивление властей, 8 февраля 1907 года он был избран членом верхней палаты парламента от академической курии. В Государственном совете Ковалевский стал лидером «прогрессивной группы», куда входили либерально настроенные представители науки, юриспруденции, торговли.

Роспуск II Государственной думы Ковалевский воспринял как личную трагедию. «Нигде, кажется, не найду убежища от тягостного чувства, что дело свободы в России проиграно, — писал он А.И. Чупрову, — что желание одних всякими средствами добиться сразу создания социальной республики и неискренность других привели к восстановлению порядков Плеве. Долго ли еще предстоит мне лаяться в Петербурге, не знаю. Столыпинская банда меня терпеть не может, черносотенцы, разумеется, идут так же далеко в своей ненависти. А так как ближайшее будущее принадлежит тем или другим, то мои дни в России сочтены».

Современники особо отмечали речи Ковалевского в Государственном совете по вопросам судебной реформы, где он выступал сторонником суда присяжных, отстаивал принцип подсудности должностных лиц на общих основаниях. Позиции здравого смысла определяли его подход к решению проблем национально-государственного устройства, в основе которого — принцип равенства всех граждан перед законом и необходимость обеспечения интересов России как единого целого.

Ковалевский продолжал активно заниматься и научно-преподавательской деятельностью. В марте 1914 года он был избран действительным членом Российской академии наук по отделению политических наук. Мас-су времени и сил отнимало у Ковалевского его участие в деятельности огромного количества общественных организаций.

Начало Первой мировой войны застало Ковалевского в Карлсбаде, где он лечился. Такой поворот событий в международных отношениях явился для него, всю жизнь верящего в то, что «разум управляет миром», тяжелым ударом. Австрийские власти интернировали Ковалевского; немецкая печать отзывалась о нем как об «опасном русском панслависте». Благодаря усилиям международной общественности Ковалевский был освобожден и в феврале 1915 года вернулся в Россию.

С осени 1915 года у него стала стремительно развиваться болезнь сердца. Преодолевая недуг, 10 февраля 1916 года Ковалевский в последний раз выступил с речью в Государственном совете в защиту законопроекта о подоходном налоге, отстаивая интересы малоимущих слоев населения. Тревога за его здоровье проникла в прессу и общество. В газетах появились официальные бюллетени о ходе болезни. Отовсюду в его дом шли телеграммы и письма с пожеланиями здоровья.

Скончался Ковалевский 13 марта 1916 года. Похороны, в которых приняли участие десятки тысяч людей, носили грандиозный характер. На улицах Петрограда, по которым двигалась траурная процессия, направлявшаяся к Александро-Невской лавре, пришлось приостановить движение транспорта. На гранитном памятнике, установленном на могиле Ковалевского, высечена надпись: «Историку и учителю права, борцу за свободу, равенство и прогресс».

СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ТРУБЕЦКОЙ

«Нам необходимо
внутреннее обновление
и политическое
освобождение России...»

Сергей Николаевич Трубецкой в созвездии русских мыслителей начала XX века занимает особое место. Выдающийся философ, близкий друг и последователь В.С. Соловьева, талантливый университетский преподаватель, аристократ, человек европейской культуры и глубокой веры, князь Сергей Трубецкой стал нравственным и интеллектуальным лидером русского образованного общества, выразителем его либеральных уmonoстроений и ожиданий на волне событий первой русской революции 1905 года. Он принял непосредственное участие в политических процессах, подготовивших изменения социального порядка Российской империи. В философском наследии С.Н. Трубецкого воплотился сложный опыт развития и взаимодействия русской метафизики и общественной мысли. Его жизненный путь во многом определили обстоятельства времени: именно в эти годы философская мысль в России выходит в публичное пространство политических и профессиональных дискуссий. В основе разработанной Трубецким философской системы «конкретного идеализма» находится логоцентричная онтология свободы. Либеральная концепция политической свободы Сергея Трубецкого вырастает из христианской интуиции личностного бессмертия.

Князь Сергей Николаевич Трубецкой родился 23 июля (4 августа) 1862 года в Ахтырке, подмосковном имении Трубецких. Детство он провел в Ахтырке, которая всегда была наполнена музыкой. Отец Сергея Николаевича, один из попечителей Императорского музыкального общества в Москве, был дружен со многими выдающимися музыкантами своего времени, особенно с Н.Г. Рубинштейном, основателем Московской консерватории. Уют и душевную атмосферу в доме создавала Софья Алексеевна Трубецкая (урожденная Лопухина), женщина умная, образованная, чуткая, обладавшая глубокой сердечной верой. Этими качествами она наделила старшего сына, горячо любившего свою мать. У Сергея Николаевича было восемь братьев и сестер. Младший его на год Евгений Николаевич станет верным другом и духовным единомышленником, Ольга Николаевна — биографом. В 1874 году Сергей и Евгений поступили в московскую частную гимназию Ф.И. Креймана. В 1877 году, в связи с назначением отца

вице-губернатором в Калуге, братья продолжили учебу в Калужской мужской казенной гимназии. После ее окончания в 1881 году Сергей и Евгений поступили на юридический факультет Московского университета, но Сергей почти сразу же перешел на историко-филологический факультет. Первоначально он занимался на историческом, а затем — на классическом его отделении.

Очень рано, уже в пятом классе гимназии, Сергей проявил интерес к философии, под воздействием работ Белинского начал знакомиться с философскими текстами. В юношеский период он увлекся чтением английских и французских позитивистов, в седьмом классе проштудировал четыре тома «Истории новой философии» К. Фишера. Изменить позитивистский настрой молодого князя помогли произведения идеолога славянофильства А.С. Хомякова. Поворот к религиозной философии Трубецкого завершило чтение трудов В.С. Соловьева, знакомство с ним самим в студенческий период и последовавшая близкая дружба.

По окончании Московского университета в 1885 году Трубецкой был оставлен на кафедре философии для подготовки к профессорскому званию. В 1886-м он сдал магистерские экзамены, с 1888-го стал читать лекции в качестве приват-доцента. Трубецкой сделал успешную академическую карьеру: в 1890 году защитил диссертацию «Метафизика в Древней Греции» на степень магистра, а в 1900-м — докторскую диссертацию «Учение о Логосе в его истории». Это позволило ему занять должность экстраординарного, а с 1904 года — ординарного профессора. Вместе с Л.М. Лопатиным в течение пяти лет (1900–1905) он был редактором центрального русского философского журнала «Вопросы философии и психологии».

В 1887 году Сергей Николаевич Трубецкой женился на княжне Прасковье Владимировне Оболенской (1860–1914). У них было трое детей: дочь Мария, сыновья Николай и Владимир. Летом 1895 года Трубецкой поселился вместе с семьей в имении Узкое, которое принадлежало его брату Петру Николаевичу, сыну Николая Петровича от первого брака. Здесь, в Узком, на руках у Сергея Трубецкого 31 июля 1900 года умер Владимир Соловьев.

Разделяя христианско-либеральные убеждения и идеалы старшего друга и учителя, С.Н. Трубецкой в своем творчестве обращается к теме свободы. Понимает он ее христологично, именно в духе религиозной метафизики В.С. Соловьева и Ф.М. Достоевского — другого русского гения, который своим пониманием идеального христианства глубоко повлиял на мировоззрение Трубецкого. Христианство Достоевского предстает как «религия любви и потому свободы». Этим христианским идеалом Трубецкой будет движим всю жизнь. В научном творчестве, опираясь на достижения новейшей философии и метафизику всеединства Соловьева, он последовательно станет выстраивать оригинальную систему философского идеализма, синтезирующую опыт разума и веры. «Учение С. Трубецкого уходит своими корнями в систему В. Соловьева, которую он, тем не менее, подверг пересмотру в свете критики теории познания Кан-

та и послекантовского метафизического идеализма, в особенности Гегеля», — дает определение философскому поиску Трубецкого Н.О. Лосский.

На Соловьева и Достоевского как на источники философского мировоззрения и политических взглядов Трубецкого указывают все исследователи его творчества. Из биографии мыслителя известно, что гениальный роман Достоевского «Братья Карамазовы», наряду с «Критикой отвлеченных начал» Соловьева, завершил формирование христианского миропонимания Трубецкого, самым глубоким образом способствуя его коренному повороту от юношеского нигилизма и безверия к религиозной метафизике. Трубецкой — восприимчив к идее христианства как подлинной религии любви и свободы. «Чтобы оценить значительность этого движения, — пишет Лосский, — достаточно указать на следующие имена: Вл. Соловьев, кн. С.Н. Трубецкой, кн. Е.Н. Трубецкой, о. П. Флоренский, о. С. Булгаков, Н. Бердяев, Мережковский, Франк, Карсавин, Вышеславцев, Арсеньев, о. В. Зеньковский, Кобылинский-Эллис».

Об этой специфической линии русской религиозной метафизики любви и свободы, которая стала основанием философии «конкретного идеализма» Трубецкого и его либеральной программы, убедительно говорит в своей итоговой книге «Вечное в русской философии» Б.П. Вышеславцев. Возводя происхождение оригинальной русской мысли к Григорию Сковороде, Вышеславцев видит в нем «все заветные устремления и симпатии русской философии, которые затем воплотились в личности Вл. Соловьева и всей нашей плеяды русских философов эпохи русского возрождения, как то: братья Трубецкие, Лопатин, Новгородцев, Франк, Лосский, Аскольдов и мы немногие, которые еще можем напомнить новому поколению, в чем состоит дух и трагедия русской философии, и которые старались ее продолжать в своих трудах за рубежом». Показательно, что список наследников Сковороды и Соловьева возглавляют именно братья Трубецкие.

По словам Вышеславцева, Трубецкой и другие упомянутые им мыслители продемонстрировали «русский подход к мировым философским проблемам, русский способ их переживания и обсуждения». Русский подход, о котором говорит философ, в первую очередь связан с доминантой религиозной традиции в развитии русской культуры, где религия в сочетании с искусством и литературой выступают важнейшими формами ее самопознания, беря на себя функцию философской рефлексии над основаниями социального и исторического бытия. Христологичность русской культуры, ее центрированность на духовных идеалах и ценностях православия задает интеллектуально-творческий горизонт русской мысли, в значительной степени влияя как на политическое самосознание российского общества, так и на философию русского либерализма с его вниманием к религиозным аспектам жизни государства и народа. Не случайно Е.Н. Трубецкой вслед за старшим братом, продолжая идеи В.С. Соловьева, мыслителя христианско-либерального типа, в своей последней книге «Смысл жизни» однозначно заключает: «Учение о Христе — это ключ к разрешению вопроса о человеческой свободе».

В русской религиозной и общественной мысли сложились определенные представления о специфике взаимодействия политической и религиозной традиции в социальной истории России. Речь прежде всего идет о философах, представителях русского европеизма — либерального или либерально-консервативного направления, — проделавших огромную интеллектуальную работу по осмыслению русской истории и особенностей развития русской политической культуры. Они отмечали явную недостаточность и слабость процедур исторической рефлексии как одну из причин, которая не позволяла русскому обществу преодолевать архаические формы политической и экономической жизни, закостеневая в старом социальном порядке. Сходную критическую позицию в отношении культурно-политической традиции России занимал и Сергей Трубецкой.

Проблема свободы, ставшая знаменем русского либерализма и вынесенная в плоскость публичной политики в начале XX века, всегда была важнейшей для русской философии и литературы, онтологические и культурные корни которой — в христианском учении свободы и этике любви. Непосредственная взаимосвязь религиозного и политического вопроса о свободе была метафизически прочувствована Достоевским, творчеством которого так глубоко проникся С.Н. Трубецкой. Свобода, согласно автору «Братьев Карамазовых», безгранична, беспричинна, демонична, христологична, эсхатологична. По Достоевскому, русский человек пережил свободу в глубине своего опыта. Для героев «Братьев Карамазовых» — романа, который во многом определил духовный и интеллектуальный строй личности Трубецкого, — свобода как своеволие может противостоять правилам общественного порядка, больше напоминая бунт. При этом она может возвыситься до подвига самоотречения, быть позитивной и творческой, преобразовывая своей активностью общество и космос.

Проблематика свободы в творчестве С.Н. Трубецкого занимает одно из центральных мест, присутствуя во многих его философских и публицистических текстах. Его понимание свободы близко определению Вышеславцева, который говорил о теме свободы в качестве не только начала русского философствования, но и главного индикатора социального мироощущения: «Русская философия, литература и поэзия всегда была и будет на стороне свободного мира: она была революционной в глубочайшем, духовном смысле этого слова и останется такой и перед лицом всякой тирании, всякого угнетения и насилия».

«Нам необходимо внутреннее обновление и политическое освобождение России...»

В связи с темой «русской свободы» в философии, публицистике и общественной деятельности С.Н. Трубецкого уместно вспомнить определение свободы, данное его учителем В.С. Соловьевым в одной из статей «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона». По Соловьеву, свобода представляет собой вопрос «об истинном отношении между индивидуальным существом и универсальным или о степени и способе зависимости частичного бытия от всецелого». Своеобразную формулу свободы, подводя итог развитию русской мысли, предложит Вышеславцев: «Существует две свободы, или две ступени свободы: свобода произвола и свобода творчества.

Переход от первой ко второй есть сублимация свободы». С несублимированной свободой произвола связаны «явления духовного противоборства, восстания против иерархии ценностей»; сублимированная свобода, свобода творчества поворачивает свой руль «в направлении к ценностям», добровольно беря на себя «реализацию идеального долженствования». Князь Сергей Трубецкой всегда был защитником позитивной свободы — свободы творчества и созидания, — но действовать ему приходилось в условиях политической несвободы, породившей революционный хаос негативной свободы, проникший и в университет, которому он отдавал все свои силы.

Революционный кризис, ставший симптомом болезни политико-экономической системы Российской империи, повлиял на процесс развития отечественной философской школы в университетской системе образования. На рубеже XIX–XX веков университетская среда была источником свободомыслия и политической активности, и Трубецкой оказался одним из идейных лидеров, настаивавших на обновлении системы взаимоотношений профессиональных образовательных корпораций и власти. Исходя из своего видения задач образования и воспитания русского студенчества, Трубецкой пытался расширить тематическое поле философии, побудить учащихся к самостоятельному мышлению. В 1894–1899 годах под его руководством действовал студенческий кружок в форме семинаров по философии истории, и даже такое академическое направление работы воспринималось «необычайной вольностью и рассматривалось как великодушное попустительство начальства». По признанию С.Н. Трубецкого, кружок «разрешили под следующим соусом: 1) я объявляю совещательные часы или практические упражнения в дни и часы по соглашению со слушателями... 2) на эти часы или упражнения, кроме студентов, допускаются магистранты, оставленные при университете, а также кандидаты... 3) организация занятий лежит исключительно на мне, а равно и ответственность за них... 4) члены или участники принимаются мною и пускаются по моему списку... 5) предварительная цензура рефератов принадлежит мне: рефераты политического свойства исключаются безусловно».

Семинары Трубецкого, как и созданное по его инициативе в марте 1902 года Студенческое историко-филологическое общество при Московском университете, были призваны способствовать углубленному изучению истории античной, новоевропейской, христианской философской мысли. Первое заседание Общества состоялось 16 марта 1902 года. Занятия Трубецкого воспитывали в студентах потребность в самостоятельном научном поиске. Рассматриваемые философские сюжеты отвечали самым актуальным темам и проблемам современности. Это подтверждается фактом возникновения в рамках Общества в 1904 году специализированной секции «История религии». В работе религиозно-философской секции ярко проявили себя талантливые ученики и слушатели С.Н. Трубецкого — В.Ф. Эрн, В.П. Свенцицкий, П.А. Флоренский, А.В. Ельчанинов, — которые затем приняли непосредственное активное участие в процессах обновления общественной и церковной жизни 1905–1906 годов.

На волне революционно-политических изменений 27 августа 1905 года Николай II издал указ «Временные правила об управлении высшими учебными заведениями Министерством народного просвещения». Указ давал определенную автономию университетам, что позволило провести первые в российской истории выборы ректора. 2 сентября Совет университета избрал ректором князя С.Н. Трубецкого. Непрекращавшиеся студенческие волнения срывали учебный процесс, и 22 сентября Трубецкой принял решение закрыть университет. Волнения только усилились. Ректор был вызван в Санкт-Петербург, к министру народного просвещения, — для объяснений. 29 сентября в приемной Министерства народного просвещения у Трубецкого случился апоплексический удар; несколькими часами позже он скончался в больнице.

Университет был для Трубецкого, без преувеличения, храмом науки и цитаделью просвещения. По его замыслу, в эпоху революционных перемен университет выступал своеобразным образцом духовного и социального порядка, который должен был воплотиться в творческой свободе и гражданской ответственности человека и общества. Веря в «эволюцию личности и общества», в «их разумный прогресс», которые «взаимно обусловливают друг друга», Трубецкой считал, что развитие человечества определяется разумной целью. Эта цель состоит в том, что «Великое Существо будущего, истинное земное божество или божественное общество, должно объять все человечество и осуществить царство разума, мира и свободы». К этой цели, он был убежден, идут «народы в общекультурной работе своих государств, в своих войнах, союзах, революциях и реформациях, в своей промышленности, технике, искусствах и науке». Теургическое видение прогресса в духе и разуме философ прилагал к пониманию современной России, отдавая интеллектуальную мощь и всю страсть своей души воплощению этой грандиозной задачи. На этапе формирования политической нации Трубецкой пытался показать альтернативный имперскому бюрократическому традиционализму путь свободного общественного самоуправления, основанного на авторитете знания и профессионализма, на доверии к личности, наделенной правами и свободами, уважающей законность и правопорядок.

В статье с многозначным названием «На рубеже», посвященной памяти ушедшего из жизни выдающегося русского историка и философа права Бориса Николаевича Чичерина, Трубецкой высказал основополагающие для него социально-политические идеи. Написанный в Дрездене в самом начале Русско-японской войны, в феврале 1904 года, текст князя Трубецкого носит программный характер: здесь философ дает свое определение исторических задач России, обретающей подлинное величие только в свободе. Перед лицом громадной опасности — восточного вызова, вновь до всемирно-исторического значения поднимающего вопрос противостояния Азии и Европы, — Трубецкой находит единственный путь выживания России. Чтобы спасти европейскую и христианскую культуру, носительницей которой, по мысли Трубецкого, является Россия,

«Нам необходимо внутреннее обновление и политическое освоение России...»

«она должна будет собрать и развить все свои духовные и материальные силы, весь свой разум и творчество». Первое условие этой работы — «внутреннее обновление и политическое освобождение России, упразднение бюрократическо-полицейского абсолютизма, медленно растлевающего Россию и ведущего ее к конечной гибели». «Коренная политическая реформа необходима для спасения России и для спасения самого Престола, — убежден Трубецкой. — Ибо все то, чего благомыслящие, просвещенные люди требовали до сих пор в интересах свободы и преуспеяния, приходится требовать теперь в интересах порядка и охранения».

В большой статье, проникнутой духом высокого патриотизма и гражданственности, Трубецкой проводит анализ российского абсолютизма, противопоставляя сложившуюся традицию русского самодержавия русской идее единодержавия. По его мнению, «абсолютизм не только не составляет силу царской власти, а окончательно связывает и подрывает ее, наносит ей величайший нравственный и политический ущерб и противопоставляет ее России, как чуждую и враждебную». В статье Трубецкой последовательно раскрывает тезис, что в системе бюрократического абсолютизма, «являющейся необходимым результатом развития „самодержавного правления“, мнимая „неограниченность“ царской власти неизбежно обращается в худшее из всех ограничений, и таким образом под конец самое единодержавие, реальная власть монарха, приносится здесь в жертву призраку самодержавия».

В тяжелейшей исторической ситуации здравая политика, призывает Трубецкой, должна освободиться от ложной патриотической риторики, прикрывающейся самодержавием, православием и народностью. Власть, церковь и общество должны найти оправдание в «могучем государственном инстинкте». Показывая разложение русского царизма и духовную нищету церкви, огражденной полицейским уставом, Трубецкой категорически отрывается от недругов России, от тех, кто не чтит ее истории и не любит религии и культуры. «Мы не порываем связей с историческим прошлым России. Мы не отрекаемся от основ ее государственного величия, а хотим их укрепить и сделать незыблемыми. Мы не поднимаем руки против церкви, когда хотим освобождения ее от кустодии фарисеев, запечатавших в гробу живое слово. И мы не посягаем против Престола, когда хотим, чтобы он держался не общим бесправьем и самовластьем опричников, а правовым порядком и любовью подданных», — решительно заявляет Трубецкой. Он прямо обращается к высшей власти, надеясь на разумное проявление государственного инстинкта и христианской совести. Как считает философ, «теперь сама царская власть должна довершить строительство земли, дав ей свободу и право, без которых нет ни силы, ни порядка, ни просвещения, ни мира внутреннего и внешнего. И этим она не ослабит, а бесконечно усилит себя, восстановив себя в своем истинном значении царской, а не полицейской власти и сделавшись залогом свободы, права и мирного преуспеяния».

Трубецкой верит, что «ни одно русское сердце не может и не должно мириться с мыслью, что и после нее (войны. — 0.Ж.) Россия останется

в прежнем беспросветном рабстве и коснении, которые не сулят ей ничего, кроме позора, смуты и гибельных неисчислимых бедствий». Упоная на то, что «неиссякаемый мощный дух самоотверженного патриотизма» «воскреснет, обновит Россию и освободит ее», он адресовал свое послание не только русской власти и обществу, но и самому себе. Самоотверженное служение идее свободы и христианской любви было стержнем его личности. Интенсивность духовной работы, сила моральных переживаний надломила находящегося в самом расцвете лет ученого и борца.

Смерть молодого ректора Московского университета потрясла друзей, коллег и всю прогрессивную общественность своим трагическим символизмом: в сердцах русских людей возникло предчувствие будущих исторических бед России, неосуществимости надежд на мирное, поступательное развитие страны. «На моей памяти я не знаю случая, чтобы смерть какого-нибудь общественного деятеля так потрясла Москву, так потрясла всю Россию», — подавленный горем, пишет в траурной памятной статье коллега и соредактор Трубецкого по журналу «Вопросы психологии и философии» Л.М. Лопатин. Сокрушаясь о том, как много потеряла бедная родина в лице «твердого и честного гражданина», Лопатин прямо говорит, что С.Н. Трубецкой — это не просто общественный деятель, но «общественное знамя». «Он знамя мирного и легального развития страны по пути свободного прогресса, — формулирует Лопатин. — И вот это знамя вырвано у нас. Несмотря на приобретенные блага политической свободы, ниоткуда не слышно уверенного и спокойного призыва к мирному и закономерному решению ставших перед нами трудных задач. Подымается скорбный вопрос: куда же идем мы? Что ждет нас? Неужели только мрак и стон кровавых междоусобий и всеобщего разгрома?»

Как писал П.И. Новгородцев, мало кто мог предположить, что любимый многими университетский профессор Сергей Трубецкой умрет национальным героем. Выдающийся русский философ права считал Трубецкого «превосходным профессором, первоклассным ученым, глубоким мыслителем». Но не академические заслуги принесли ему всенародное признание. «Для того чтобы стать излюбленным вождем народным, — настаивает Новгородцев, — нужны были особые свойства личности: глубокая вера в будущее, прозрачная ясность и чарующая искренность светлой души, высокое нравственное воодушевление; и нужно было, чтобы эти свойства проявились в ярком подвиге веры и любви в тяжкий час испытания России».

«Нам необходимо внутреннее обновление и политическое освобождение России...»

Интеллектуальный и моральный подвиг С.Н. Трубецкого был оценен многими современниками, как и необыкновенно привлекательные черты его личности. Нравственный образ жизни, интеллигентность, душевность и простота в общении, высокий профессионализм и обширность знаний Трубецкого обращали студентов в его горячих поклонников и обожателей, а коллег, пусть и не всегда согласных с его мнением, в уважающих его собеседников и соратников. «Его необыкновенная искренность и душевная красота манили к нему и заставляли любить его; другого слова

я не подберу для определения того чувства, которое Сергей Николаевич вызывал в окружающих», — сделает признание в мемориальной статье А.А. Мануйлов, выдвинутый коллективом университета в помощники Трубецкому и сменивший его на посту ректора.

Через год во вступительной лекции в Московском университете Евгений Николаевич Трубецкой обратился к слушателям с вдохновенной речью в память о своем горячо любимом и высокочтимом брате Сергее Николаевиче. Мемориальное слово о философе и общественном деятеле Сергее Трубецком, по сути, было программным выступлением, содержащим оценку интеллектуального наследия рано ушедшего профессора философии, свидетельством о единстве идейно-политических позиций и общности исповедуемых духовных идеалов, исходных мировоззренческих и философских установок двух мыслителей. Вспоминая брата, «идя за его гробом», Евгений Трубецкой обещал продолжить его дело — дело свободы и бессмертия. Активная борьба С.Н. Трубецкого за автономию университетского управления, блестящие публицистические выступления о свободе слова и печати, участие в важнейших политических событиях 1904–1905 годов принесли молодому ученому, занимавшемуся академической деятельностью, общероссийскую известность.

Знаменитое обращение к царю о необходимости политических свобод и изменений в обществе, о желании всего русского общества в лице народных представителей вместе с монархом установить «обновленный государственный строй», сделанное князем С.Н. Трубецким 6 июня 1905 года на встрече земских представителей с Николаем II, первые в России выборы ректора — все эти события в глазах общественности показали философа прежде всего фигурой политической и несколько затмили его образ как выдающегося ученого и оригинального мыслителя. Надписи на венках — «Борцу за свободу» — говорили, по словам Евгения Трубецкого, что современники «ценили общественного деятеля», в то время как «философ, учитель жизни остался для большинства из них неразгаданным и непонятым».

Перед лицом смерти смысл жизни становится более ясным и отчетливым. Смысл жизни С.Н. Трубецкого его младший брат и философский единомышленник увидел в духовном преодолении смерти — в этом высшем проявлении свободы, дарованной Богом человеку. Весь пафос борьбы за свободу, по словам Е.Н. Трубецкого, у Сергея Николаевича исходил из жажды бессмертия, продиктованной глубокой христианской верой. Именно философский поиск истины был душой общественной борьбы за свободу, поднимал и «окрылял его слово»: «Смысл свободы для него был в том же, в чем он видел смысл жизни. И как ни парадоксальным вам может это показаться, он был борцом за свободу, потому что был учителем бессмертия», — говорил в той памятной лекции Е.Н. Трубецкой. Указав на духовную связь между свободой и бессмертием как главную философскую интуицию Сергея Трубецкого, Евгений Николаевич подчеркнул, что «в самой борьбе за свободу есть что-то такое, что приподнимает над смертью и свидетельствует

о связи человека с вечностью». В борьбе преодолевается страх смерти, она становится началом пути к бессмертию. Жертвуя собой ради свободы, в служении общественному благу Сергей Трубецкой, как оценивал его брат, встал на путь бессмертия, ища его философским умом, верующим сердцем, свободной волей христианина и моральным сознанием гражданина. Именно царственный венец свободы, возложенный Богом на человека как на разумное существо, способное устроить свою жизнь, становится залогом духовных, интеллектуальных и политических свобод.

Этот манифест свободы, основанием которой выступает божественный дар свободы, проявляемый в разумном творчестве человека, Евгений Трубецкой произносит от лица обоих братьев, наследников метафизики всеединства Владимира Соловьева, восходящей к софийной интерпретации Бога, мира и человека. Религиозные корни онтологии свободы, ее христианские эсхатологические перспективы просматриваются в построениях Е.Н. Трубецкого достаточно отчетливо. «В бессмертии — смысл свободы и ее ценность... Свобода подобает человеку, как сосуду Безусловного. Признание свободы — эта та дань уважения, которую мы платим бессмертию», — заключает речь Трубецкой. Возвращаясь к образу Сергея Трубецкого, он напоминает о том пути свободы, которым шел его брат, приглашая слушателей последовать этой цели «созидания неумирающей формы жизни». Призывая осознать высший смысл свободы, в котором соединяется обретение личного бессмертия и общественное служение христианским идеалам свободы, Евгений Трубецкой, говоря о Сергее как о предвестнике новой жизни, совершившем духовный и гражданский подвиг, поднимает русское общество на трудную работу воплощения свободы «для очеловечивания России».

«Добрый гений, светлый дух мира», по слову П.И. Новгородцева, князь Трубецкой силой своей веры «заставлял других верить в торжество нравственных начал над всеми противоборствующими стихиями, — над косной силой истории, над безумной близорукостью господствующих и над грозным ожесточением обездоленных и подвластных». Увы, этим ожиданиям разумного устроения русской жизни не суждено было сбыться. Но, как заключает Новгородцев, великое значение Сергея Трубецкого в истории состоит в том, что во время русской революции с ним «связана была вера русского народа в преобладающую силу правды и в возможность общего примирения».

Тяжело обновлялась и «очеловечивалась» Россия, обретая право на свободу, на творческую самостоятельность личной и общественной жизни, словно подтверждая слова Сергея Трубецкого, что в мировом процессе человеческая личность зарождалась трудно и медленно, «туго развивалось ее самосознание». Трубецкой отмечал, что «самое понятие личности, личных прав, личной собственности и свободы — все эти понятия возникают и развиваются у нас на глазах. И вместе с их развитием, с развитием личного самосознания пробуждается сознание внутреннего противоречия жизни, противоречия личности и рода, свободы и природы». По мнению

«Нам необходимо внутреннее обновление и политическое освобождение России...»

Трубецкого, философия осознаёт эти противоречия, природа которых — в самой действительности. Недостигнутый идеал — это задание, сопряженное с познанием и культурной работой человечества по согласованию и примирению; в терминах философа — конечного и бесконечного, свободы и природы, личности и вселенной. Горячая вера в разумный прогресс не заслоняла перед Трубецким реальность. Напротив, в своих представлениях и практических действиях он был духовно мотивированным реалистом или, пользуясь его собственной системой определений, конкретным идеалистом.

Идеалистически возвышенный, наполненный религиозным пониманием свободы и в то же время трезвый и критический взгляд Трубецкого на существо жизни во всех ее субъективных, духовно-личностных, и объективных, социально-политических проявлениях позволил Г.П. Федотову причислить Сергея Трубецкого и его брата Евгения к традиции русских метафизиков, к либеральным славянофилам. Говоря о слабости русского либерализма, Федотов констатирует, что «вырождение старого славянофильства в черносотенство конца XIX века обескровило это направление». «Однако в Москве (и провинции), — заметит Федотов, — никогда не угасала эта благородная традиция — Самариных, Шиповых, Трубецких».

Эту благородную традицию мирных преобразователей, патриотов и сторонников органических изменений социального порядка без сломов существующей политической конструкции власти продолжил С.Н. Трубецкой. Показательно, что эстафету созидательного обновления России от старших реформаторов-патриотов молодой аристократ принимает в памятном «голодном» 1892 году. Не проявлявший до того особого интереса к политике, Трубецкой изменил свое отношение к вопросам социального устройства государства и связанной с ними общественной работы, став, по просьбе рязанского губернатора Г.И. Кристи, его уполномоченным, чтобы наладить помощь голодающим. Побывав в Рязани, Трубецкой ужаснулся масштабам народного бедствия. Постепенно он приходит к мысли о необходимости участия в решении конкретных проблем русской жизни, не оставляя и работу в университете. С этого момента научно-педагогическая и общественная деятельность в жизни Трубецкого неразрывно связаны.

Можно с глубокой уверенностью говорить, что его выбор был мотивирован христианскими убеждениями и моральными выводами, сделанными на их основе. Духовный переворот, произошедший с юным Трубецким, утвердил будущего автора «Основания идеализма» в истинности христианства и значимости его идей для всеобщего духовного и культурного прогресса человечества. Пережив нигилистический кризис, по завершении гимназии Трубецкой навсегда вернулся к христианству и, по словам Л.М. Лопатина, «на всю жизнь сделался убежденным проповедником идеального, очищенного, философски оправданного религиозного мировоззрения».

На страницах главного научного труда «Учение о Логосе в его истории» С.Н. Трубецкой сформулировал свое кредо — христианина, мыслителя

и политического деятеля: «Человек не может мыслить свою судьбу независимо от судьбы человечества, того высшего собирательного целого, в котором он живет и в котором раскрывается полный смысл жизни». Идеалом же на пути исторической работы народов служат «разум и добро», господствующие не только в человеке, но и «во вселенной».

Не вызывает сомнений, что если бы Сергею Николаевичу Трубецкому было отпущено иное время жизни, то он бы принял самое живое участие в публичном политическом процессе эпохи партийного строительства и первого русского парламентаризма как последовательный и убежденный деятель либерального направления. Либеральная программа, закрепляющая личностные и политические свободы, была продолжением его христианской веры в свободный творческий разум человека и выношенной им философской идеи абсолютного как конкретного субъекта, сущего «в себе самом для другого» и заключающего «в себе основания своего другого». Либеральная философия Трубецкого соответствовала его христианской метафизике абсолютного — «нравственной идее Бога, как бесконечной любви» — центральному тезису, сформулированному в «Основах идеализма». Изложенная Трубецким концепция «конкретного идеализма» с ее необходимым постулатом «опыта и умозрения, точно так же как и религиозной веры» стала философским обоснованием социально-политической программы, продолжающей и развивающей традицию христианского либерализма в политической культуре России.

НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ
КУТЛЕР

«Когда бы знать, что всё
так сложится...»

В истории русского либерализма не было недостатка в людях принципиальных, но редко кого политическая судьба забрасывала в столь разные обстоятельства, как Николая Николаевича Кутлера. Свой путь этот известный государственный и общественный деятель, признанный экономист, прошел с редким достоинством, не кланяясь никакому начальству — будь то Витте или Ленин, — и убежденно служа России и ее интересам так, как он их понимал.

Николай Николаевич Кутлер родился 11 июля 1859 года в Туле. Его аристократический род происходил из города Монбельяра в провинции Франш-Конте; прадед Николая Николаевича вынужден был бежать из революционной Франции и с 1803 года нашел прибежище в России. До 1793-го Монбельяр был наследным владением герцогства Вюртемберг, и российская императрица Мария Федоровна, урожденная принцесса Вюртембергская, оказала семье Кутлеров свое покровительство. Дед Николая Николаевича, Федор Львович Кутлер, участвовал в Отечественной войне 1812 года, принял русское подданство и православие. Отец Николай Федорович также состоял на военной службе, а после отставки поселился в своем орловском поместье, которое превратил в преуспевающее хозяйство. В 1879 году на II Московской выставке молока и молочных произведений его топленое масло было удостоено малой серебряной медали. В начале 1870-х годов Н.Ф. Кутлер также занимал должность председателя орловской губернской земской управы.

В семье Н.Ф. Кутлера было четверо детей. Вторым ребенком стал сын Николай. Он учился в 1-й Орловской мужской гимназии (окончил ее в 1878-м, за год до перевода туда своего будущего противника Петра Столыпина), затем в 1882 году завершил обучение на юридическом факультете Московского университета. В 1885 году Николай Николаевич женился на Александре Николаевне Страховой, в их семье родилось восемь детей. Супруга Кутлера была дочерью известного литератора и журналиста Н.Н. Страхова, сокурсника и друга профессора и миллионера И.А. Вышнеградского, министра финансов в 1887–1892 годах. Такое родство сильно повлияло на последующий жизненный путь Николая Николаевича.

По окончании университета Кутлер стал помощником присяжного поверенного по уголовным делам, однако уже через три года, женившись,

перешел в финансовое ведомство, где сделал очень быструю карьеру, пройдя должности податного инспектора, податного ревизора в Петербурге, управляющего Симбирской казенной палатой. В 1892 году он стал уже вице-директором, а с 1899-го — директором Департамента окладных сборов Министерства финансов. В 1901-м, в сорок два года, его произвели в чин действительного статского советника (равного генерал-майору в армии).

В 1890-е годы судьба Кутлера уже была тесно связана с деятельностью министра финансов С.Ю. Витте, сменившего на этом посту И.А. Вышнеградского. Кутлер сразу стал одним из ближайших сотрудников Витте. В 1894 году по поручению Комиссии для пересмотра Устава о земских повинностях при Министерстве финансов Кутлер подготовил ряд материалов: «Краткий исторический очерк и обзор современного состояния законодательства о земских повинностях», «Проект главных оснований преобразования земских повинностей», а также прилагавшуюся к нему «Объяснительную записку». Он принимал активное участие в подготовке лоббируемого Витте законопроекта об отмене круговой поруки, впрочем, так тогда и не вступившего в силу.

При этом уже в предреволюционные годы взгляды Н.Н. Кутлера оказались далеки от продворянских. В 1902 году, в период работы Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности по вопросу об «упорядочении грунтовых дорог», которые предлагалось содержать за счет крестьянской натуральной дорожной повинности, Кутлер высказал предложение ввести денежное обложение помещиков, что вызвало резкое несогласие остальных членов совещания. Его коллега В.И. Гурко вспоминал: «Речь Кутлера была всегда логичная и как будто убежденная. По крайней мере, всегда говорил он тоном, хотя неизменно спокойным, но твердым и проявлял наименьшую уступчивость». Вместе с тем Гурко вполне резонно полагал, что Кутлер, «по-видимому, являлся наиболее точным выразителем взглядов самого Витте».

В ноябре 1904 года с подачи Витте Кутлер был назначен товарищем министра внутренних дел. Должность воспринималась им и его покровителем как явно временная перед новым карьерным прыжком. Как вспоминал Гурко, на этом посту «Кутлер даже не приложил никаких стараний приобрести влияние на направление деятельности будто бы подведомственных ему частей Министерства внутренних дел и вполне удовлетворялся безоговорочным подписыванием всех посылаемых ему к подписи бумаг». Уже в январе 1905 года Н.Н. Кутлер стал товарищем министра финансов, а в апреле — одновременно и управляющим Дворянским и Крестьянским земельными банками. В это же время он вошел в Особое совещание о мерах к укреплению крестьянского землевладения. С назначением графа Витте премьер-министром для Кутлера открывались поистине звездные перспективы. 28 октября 1905 года он был назначен главноуправляющим землеустройством и земледелием и тем самым вошел в состав Совета министров.

Осенью 1905 года граф Витте поручил своему протеже разработку законопроект по коренной проблеме того времени — аграрному вопросу. Комиссия Кутлера подготовила проект, который предусматривал принудительное отчуждение частновладельческих земель в пользу крестьян. По сути, это была инициатива самого Витте. При обсуждении проекта в заседании Совета министров в ответ на общее мнение присутствующих о том, что принудительное отчуждение нарушает принцип частной собственности, Витте, по воспоминаниям министра народного просвещения гр. И.И. Толстого, отреагировал: «Какие-то римляне когда-то сказали, что право собственности неприкосновенно, а мы целых две тысячи лет повторяем, как попугаи; все, по-моему, прикосновенно, когда это нужно для пользы общей». Но уже в феврале 1906 года, когда император в этом вопросе начал склоняться к правым, Витте поменял свою точку зрения. Опасаясь собственной отставки, он решил пожертвовать Кутлером. Занимавший позднее пост главного управляющего земледелием и землеустройством князь Б.А. Васильчиков вполне справедливо считал, что Кутлер стал у Витте «козлом отпущения». В результате Н.Н. Кутлер оказался не у дел, хотя и с пенсией в 7 тыс. рублей в год.

Поспешная отставка не означала невостребованности. Кутлер стал членом правления Учетно-ссудного банка, акционерного общества соединенных заводов «Донецкий» и «Союз», членом Совета Азовско-Донского банка, а затем и председателем Общества взаимного кредита деятелей печатного дела. Он занимался публицистикой, состоял членом Литературного фонда, был одним из авторов «Нового энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона». Будучи заядлым шахматистом, в апреле 1914 года Кутлер председательствовал на учредительном заседании Всероссийского шахматного союза. Но основным его поприщем все же стала политика. Вероятно, Николай Николаевич, не привыкший проигрывать, сделал ставку на тех, с кем связывал будущее России.

В своих воспоминаниях С.Ю. Витте, уходя от вопроса о собственной роли в отставке Кутлера, характеризовал его как «честного, умного и дельного человека, которого травлею загнали в лагерь партийных левых кадетов». Однако вряд ли стоит слишком преувеличивать «обреченность» Кутлера на последующие поступки: он был не из тех, кого подобные жизненные обстоятельства могли легко сломать. Спокойный деловой характер позволял ему сохранить душевное равновесие.

Вскоре после отставки Николай Николаевич действительно стал членом Конституционно-демократической партии, а в марте 1907 года был даже кооптирован в состав партийного ЦК, где возглавил аграрную комиссию и вошел в состав бюджетной. Кутлер регулярно присутствовал на заседаниях Центрального комитета, но выступал редко. Среди кадетов, по воспоминаниям И.В. Гессена, он имел следующую репутацию: «Закоренелый чиновник, в высшей степени одаренный и толковый... Нам он оказался исключительно полезным, как своей основательной осведомленностью в области государственных финансов, так и вообще отличным знанием всех деталей бюрократической машины».

Для кадетской партии Кутлер оказался незаменимым экспертом. Совместно с А.А. Кауфманом и А.А. Мануйловым он стал автором аграрной программы кадетов. В губерниях центральной России по отношению к крупным и средним частным владениям предполагалось применить принцип принудительного отчуждения. Государственные, удельные, кабинетские, монастырские и церковные земли также учитывались при проведении реформы; лесные угодья подлежали отчуждению только в «многолесных местностях». Не подлежали отчуждению земли земского и городского самоуправления, благотворительных и просветительских обществ, не сдававшиеся в аренду земли под усадьбами, садами, огородами, виноградниками, питомниками, а также те, «которые землеустроительные учреждения признают подлежащими сохранению». Размеры отчуждаемой земли определялись на уездном уровне исходя из действительных средних размеров землепользования, без учета наемного труда. В случае распространенного отходничества крестьянские наделы должны были получить дополнительную прибавку. Общины должны были получить землю в общинное владение. Частный владелец также мог рассчитывать на определение надела по общей норме; местоположение его владелец определял сам.

Оценивать отчуждаемую собственность предполагалось по «справедливой» цене (исходя из «нормальной чистой доходности») и наполовину за счет государства. Как предполагалось, крестьянские выплаты государству после отчуждения должны были быть меньше обычной платы за аренду земли. Вознаграждение планировалось выплачивать наличными с правом отсрочки в случае превышения определенной его нормы (в таком случае выплаты осуществлялись позднее с процентами). Долги с отчуждаемой земли выплачивались государством (если кредитором выступали «установления земельного кредита») или бывшим владельцем из суммы вознаграждения (во всех остальных случаях).

Интересно отметить, что сам по себе Н.Н. Кутлер, по его собственным заявлениям в кадетском ЦК, выступал за отчуждение лишь такой земли, которая арендовалась местным крестьянским населением и обрабатывалась его собственными орудиями. Кроме того, он считал, что принцип выплаты государством половины цены за отчуждаемую собственность внесен в проект «произвольно, от руки». Кутлер признавал: «Этот проект я могу защищать целиком только в том случае, если в нем будут сделаны поправки вправо; поправки влево будут равносильны призыву для меня выйти из партии... Дело идет о ликвидации всего частного землевладения... Лично я стою правее». Однако по поводу выхода из партии он тут же сам и констатировал: «Это отступление уже теперь сделать нельзя».

Как позднее Кутлер отмечал в Думе, принцип принудительного отчуждения земель непосредственно вытекал из крестьянской реформы 1861 года, которую он связывал с лучшими и светлыми страницами русской истории. Отказ правительства от отчуждения, по словам бывшего главноуправляющего, был равносильен отречению от принципов Великих

«Когда бы
знать, что
всё так сло-
жится...»

реформ. Но все-таки стоило обратить внимание на разницу исторических обстоятельств. Основной проблемой кадетского проекта были способы его реализации. В отличие от «Положений 19 февраля 1861 года», он определял лишь общие принципы своего воплощения в жизнь. На местах предстояло принимать конкретные решения о том, кто, что и как будет отчуждать, кого наделять и как возмещать. В условиях революционного противостояния подобные вопросы могли не ослабить, а лишь усилить политический кризис, а также сделать его повсеместным. Власть, как известно, через несколько месяцев избрала иной путь, нанеся удар по крестьянской общине.

В 1907 году Николай Николаевич был избран во II Государственную думу. Там, правда, по воспоминаниям В.А. Маклакова, он попал в «фальшивое положение, когда в Думе его противники оглашали бумаги прежнего времени, им когда-то подписанные». Тем не менее Кутлер стал основным докладчиком от кадетской партии по земельному и бюджетному вопросам. 19 марта 1907 года он выступил главным участником полемики между трудовиками и кадетами по аграрному вопросу. Кутлер категорически отрицал народнический проект национализации земли, предлагал предоставить землю в крестьянскую собственность — общинную или частную. Отрицались как нереалистичные идеи трудовиков об уравнительном принципе землепользования, который невозможно было провести даже на уровне губернии, так и о наделении землей всех желающих, поскольку это усилило бы проблему малоземелья. Кутлер предлагал лишь установить государственный контроль над крестьянским залогом земли в целях пресечения земельной спекуляции.

В кадетской фракции, как свидетельствовал Маклаков, Кутлер оказался «главным оппонентом против левых». Одновременно в Думе он резко критиковал речь П.А. Столыпина с высокой оценкой помещичьего землевладения и упрекал премьера в реакционности. В собственном выступлении 26 мая 1907 года Кутлер также заявил, что правительственный законопроект о выходе из общины предполагает ее насильственный слом, что оратор полагал недопустимым. Позднее на заседаниях ЦК партии он высказал опасение, что претворение в жизнь указа от 9 ноября 1906 года лишь усилит конфликтность в крестьянской среде. Однако уже на V кадетском съезде в октябре 1907 года Кутлеру пришлось признать, что Дума не смогла отменить указ 9 ноября именно в силу настроений крестьянских депутатов.

По мнению Маклакова, в Думе Н.Н. Кутлер был «единственным квалифицированным оппонентом» министру финансов В.Н. Коковцову. 20 марта 1907 года Кутлер выступил с речью по порядку формирования государственного бюджета. Он предлагал полномасштабную, но постепенную бюджетную реформу, сутью которой был переход от «пьяного бюджета» к прямому налогообложению, прежде всего путем введения подоходного налога. Кутлер протестовал против повышения расходов на военные нужды (например, постройки военно-стратегических железных дорог)

и отстаивал их перераспределение на нужды населения. Во II Думе он также выступал по вопросу о государственной помощи безработным. Выступления Николая Николаевича зачастую сопровождались эмоциональными последствиями. Так, он публично обвинил Министерство внутренних дел в повышении окладов начальника Главного управления по делам печати и его помощников. В ответ Столыпин доказал необоснованность этого выпада и закончил речь словами: «Здесь был нанесен вверенному мне ведомству удар сильный и смелый, но пришлось он, поистине, не по коню, а по оглоблям». Скандал приобрел широкий резонанс и дошел до монарха. По этому поводу Николай II написал матери: «Кутлер-подлец совсем провалился».

В III Думу Николай Николаевич уже не баллотировался. На заседаниях кадетского ЦК он предлагал «не беречь Думу», не пытаться влиять на ее политику и ограничиться пассивным сопротивлением большинству. Однако в 1909 году по партийному поручению ему все же пришлось баллотироваться от Петербурга на освободившееся место депутата-кадета А.М. Колюбакина. Конкуренты-октябристы впоследствии рассказывали, что во время предвыборной кампании избирателям рассылались фотографии с двумя разными изображениями Кутлера: для интеллигенции — в виде скромного обывателя, а в магазины и торгово-промышленные заведения — где он был снят в сюртуке со звездой на груди.

Кутлер был избран и продолжил критику правительства за столыпинские методы землеустройства, которые учитывали лишь интересы дворян и богатых крестьян. Продолжил он и борьбу с Коковцовым. «Финансовое ведомство есть ведомство наилучшего состава и наилучше управляемое в России», — отмечал Кутлер, но и оно «не может освободиться от тлетворного влияния всей существующей политической системы». Кутлер резко критиковал винную монополию, правительственный проект создания петербургской канализации, активно участвовал в доработке законопроекта об отдыхе торговых служащих. С началом экономического роста он также предлагал «воспользоваться исключительно благоприятным положением государственного казначейства» и принять программу всеобщего начального образования. Кроме правительства, от Кутлера доставалось и второй законодательной палате. Проблемы затягивания законодательного процесса он объяснял тем, что Государственный совет, кроме «вермишели», никакого участия в подготовке законов не принимает.

Однако постепенно Николай Николаевич разочаровался и в деятельности оппозиции. Главной тенденцией наступившего после 1907 года периода Кутлер считал «полную дезорганизацию общественных сил». На заседаниях кадетского ЦК он не только давал вполне традиционные оценки в отношении октябристов, не считая их годными к настоящей оппозиционности, но и подвергал сомнению способность самой кадетской партии объединить вокруг себя общественные силы. Государственную думу в такой ситуации, по мнению Кутлера, можно было распустить «в любой момент». В 1912 году он выступил против предвыборного соглашения

«Когда бы
знать, что
всё так сло-
жится...»

с прогрессистами, поскольку оно не принесло бы никакого позитивного результата, а могло лишь испортить отношения кадетов с социалистами. После выборов в IV Думу Николай Николаевич отошел от активного участия в деятельности партии.

В годы Первой мировой войны Кутлер принял участие в деятельности созданных в целях «мобилизации тыла» общественных организаций. В марте 1916-го он вошел в состав Центрального военно-промышленного комитета, а 29 января 1917 года участвовал в собрании ЦВПК, выразившем поддержку его Рабочей группе, арестованной властями.

Накануне Февральской революции Кутлера избрали председателем Совета съездов горнопромышленников Урала, а сразу после победы революции он стал одним из основных выразителей мнения российских торгово-промышленников. 7 марта 1917 года он был избран председателем Совета съездов представителей промышленности и торговли и оставался на этом посту вплоть до ликвидации этой организации в сентябре 1918-го. 8 марта на первой встрече руководителей торгово-промышленных организаций с министрами Временного правительства Кутлер заявил, что «промышленность счастлива предоставить все свои силы, средства и опыт в полное распоряжение нового правительства».

16 марта на совещании, инициированном министром торговли и промышленности А.И. Коноваловым, от имени предпринимателей Кутлер выдвинул программу первоочередных мероприятий Временного правительства в области промышленности. Эта программа предусматривала урегулирование взаимоотношений между трудом и капиталом; демобилизацию промышленности; организацию торгово-промышленного класса на началах самоуправления; разработку акционерного законодательства; пересмотр горного законодательства и торгового устава. 19 марта Кутлер был избран в состав президиума I съезда Всероссийского торгово-промышленного союза, а в апреле стал одним из руководителей Общества экономического возрождения России. Весной 1917 года он также вошел в состав бюро кадетской партии по пересмотру ее программы.

По мере нарастания политического и экономического кризиса позиция Н.Н. Кутлера по отношению к правительству становилась все более жесткой. 10 мая на встрече с коалиционным Временным правительством возглавляемая им делегация промышленников потребовала от министров отклонять радикальные экономические требования рабочих. 12 мая на VIII съезде кадетской партии Кутлер сообщил о положении в промышленности и возложил ответственность за наступившую разруху на рабочих, обвинив их в «непомерных требованиях». 1 июня под председательством Кутлера открылся I Всероссийский съезд представителей промышленности и торговли. Противодействие установлению рабочего контроля на предприятиях было провозглашено одной из главных задач торгово-промышленников. 22 июня Кутлер и председатель Московского биржевого комитета С.Н. Третьяков на встрече с министром финансов А.И. Шингаревым и министром почт и телеграфов И.Г. Церетели опротестовали пра-

вительственное требование в адрес торгово-промышленников уплатить единовременный налог на прибыль за 1916 год. 15 июля Кутлер и Третьяков встретились с военным министром А.Ф. Керенским и вручили ему декларацию с требованием предпринимателей восстановить боевую мощь армии и утвердить дисциплину на фронте и в тылу.

8–10 августа 1917 года Н.Н. Кутлер участвовал в Московском совещании общественных деятелей и был избран в его постоянное бюро. На Государственном совещании 15 августа он выступил от имени группы торгово-промышленных организаций с речью, в которой резко критиковал правительственные мероприятия в экономической сфере. Ограничение торговли и до, и после революции, по мнению Кутлера, не принесло позитивного результата. Государственное распределение сырья могло быть успешным только при сильной власти, а не при анархии, когда власть присваивали самочинные организации — Советы. «Несмотря на лучшие, может быть, намерения многих из них, они не оказались способными выполнить принятую на себя задачу, не будучи должным образом связаны ни с общим государственным механизмом, ни между собою, и руководимые зачастую лицами, не обладающими никаким административным опытом и знанием», — говорил Кутлер. Причем и узаконенные организации (например продовольственные комитеты), как считал оратор, действовали не лучше. Установление рабочими контроля над предприятиями Кутлер охарактеризовал как «анархические акты» и заявил, что упадок производительности труда в промышленности вызван прежде всего «превышающим разумные пределы» повышением зарплаты рабочим, сокращением рабочего времени и переходом от сдельной зарплаты на почасовую и поденную. Кутлер выступил против планов установления Временным правительством трудовой повинности и государственного контроля над промышленностью как «совершенно ненужного», а также против введенного 12 июня повышения налогов (подходного и с прироста прибыли) — не из классовых соображений, а «во имя охраны самой промышленности». Однако в речи Кутлера практически не было позитивной программы. В качестве частных мер он лишь предлагал повысить твердые цены, восстановить порядок на железных дорогах, использовать структуры частной промышленности и торговли в системе распределения.

«Когда бы
знать, что
всё так сло-
жится...»

В октябре 1917 года Кутлер был избран председателем торгово-промышленной группы во Временном совете Российской Республики (Предпарламенте), но из-за болезни не участвовал в его деятельности. На выборах в Учредительное собрание он был внесен в петроградский городской список кадетской партии как представитель Петроградского совета торговли и промышленности (третьим после П.Н. Милюкова и М.М. Винавера) в обмен на полную поддержку Советом кадетского списка. В ноябре Кутлер был избран в Учредительное собрание в числе 15 представителей кадетской партии.

Большевистский переворот Николай Николаевич воспринял с кадетской прямоотой. В ночь на 29 ноября 1917 года его арестовали, при этом

он был случайно легко ранен в ногу, поэтому арест отбывал в Николаевском военном госпитале. 26 января 1918 года он был освобожден, 21 июня повторно арестован, но через неделю опять выпущен. В августе Кутлер получил предложение украинского правительства гетмана П. Скоропадского поступить к нему на службу и решил его принять. Однако уехать не удалось: 6 сентября 1918 года его арестовали в третий раз, по обвинению в участии в саботаже мероприятий советской власти. Он, в частности, обвинялся в том, что еще в декабре 1917 года передал 1 млн рублей от торгово-промышленников в фонд помощи бастующим чиновникам девяти банков. На допросах Кутлер это категорически отрицал. По воспоминаниям В.Ф. Клементьева, «он был всегда наружно спокоен и невозмутим. Но иногда внутреннее кипение прорывалось у него не совсем разборчивым шипением, в котором все же можно было расслышать: „Когда бы знать, что всё так сложится“, „когда бы знать“, „когда бы знать...“ Шипение это чаще всего прорывалось во время вечерних разговоров с доктором Дмитрием Дмитриевичем Донским, лидером сидящих в тюрьме правых эсеров. Ни с кем другим Н.Н. Кутлер не говорил...» В феврале 1919 года он был вновь освобожден.

Возможно, условием освобождения стало согласие сотрудничать с советской властью. Уже в июне 1919 года Кутлер стал заведующим сметным отделом Народного банка РСФСР. Затем он также состоял членом совета Института экономических исследований Наркомата финансов, консультантом Главтопа, сотрудником технического совета Главметалла и Концессионного комитета. Вместе с тем Кутлер и его семья продолжали подвергаться репрессиям. В сентябре 1919 года за принадлежность к кадетской партии был арестован старший сын Николай (впоследствии освобожден), а в 1921 году как «заложника» дважды арестовывали и самого Кутлера. Он был выпущен через 9 месяцев с подорванным душевным состоянием и здоровьем. Младший сын Константин эмигрировал еще в 1917 году, но в 1923-м по ходатайству отца получил разрешение вернуться.

Николай Николаевич Кутлер выступил активным разработчиком советской финансовой реформы 1922 года: сказался опыт преобразований Витте. На заседании Комиссии по вопросам денежного обращения при Институте экономических исследований Академии наук в июле 1920 года Кутлер сделал доклад «О налогах в связи с реформой денежного обращения». В нем он отметил, что «современное налоговое дело в России находится в таком расстройстве» и, «пока против этого не будут приняты меры, ни о каком упорядочении денежного обращения не может быть и речи». Главным источником прямого обложения Кутлер предложил сделать землю, с которой предлагалось установить оброчную подать. В мае 1921 года в докладе «О восстановлении налогов» Кутлер наметил целую программу мероприятий по реформированию финансовой системы. Она была в целом одобрена советским правительством; не было поддержано лишь его предложение о выпуске в обращение твердой валюты в золоте. Тем не менее в 1922 году курс на золотое обеспечение все же был принят.

Вводились червонцы, приравненные по стоимости к 10-рублевой золотой монете дореволюционной чеканки. Первоначально они обеспечивались золотом лишь на 25% (в остальном — товарами и векселями). Парижская газета Миллюкова «Последние новости» справедливо отметила вклад Кутлера в создание советской денежной системы: «Вряд ли большим преувеличением будет сказать, что от конечной финансовой разорухи Россию спас именно он».

Наряду с С.Н. Прокоповичем, Е.Д. Кусковой, Ф.А. Головиным, Н.М. Кишкиным, М.В. Сабашниковым, Б.К. Зайцевым, К.С. Станиславским, Н.Я. Марром, С.Ф. Ольденбургом и др. Н.Н. Кутлер принял активное участие в деятельности Всероссийского комитета помощи голодающим. Он признавал: «Дело это — страшно опасное. Ведь с кем договариваться?.. Люди без чести и без отечества. Что им голод? Может дело повернуться так, что они утопят в нем остатки интеллигенции... Нам только и остается делать то, что подскажет совесть... Нужно хотя бы ценой собственных жизней привлечь внимание заграницы». 27 августа 1921 года Кутлер, как уже говорилось, был арестован наряду с другими членами Помгола. После ареста он сказал Прокоповичу: «Этой тюрьмы я больше вынести не смогу. Довольно с меня и того года... Стар я, знаете, для этих интересных походов... Ноги больные, сердце не действует». Но в камере он держался стойко: «Ел ядовитый суп из погибшей рыбы без тарелки и без ложки — из перепиленной надвое бутылки, закусывал сорным прелым хлебом, вытирал бумажкой седые усы. Не жаловался и не волновался. И очень приветствовал мысль сделать из хлеба шахматы...»

В те же дни член коллегии Наркомфина РСФСР, знаменитый О.Ю. Шмидт выступил с ходатайством об освобождении Кутлера. В письме наркому финансов Н.Н. Крестинскому Шмидт писал: «Если Кутлера сейчас вернуть к работе, мы закрепим за Советской Россией одного из самых умных и знающих специалистов с вполне государственным кругозором». 14 сентября вопрос об аресте Николая Николаевича рассматривался на заседании Политбюро ЦК РКП(б). Было принято решение о его освобождении, «если не будет возражений со стороны ВЧК». 17 сентября Кутлер был освобожден, а в октябре, по предложению Крестинского, вместе с другим бывшим кадетом П.А. Садыриным введен в состав правления Государственного банка РСФСР и сыграл ключевую роль в налаживании его работы. Кутлер занял пост заведующего эмиссионным отделом банка, и его подпись появилась на введенных в обращение червонцах. Кроме того, он стал председателем Совета по делам промышленности при НКФ СССР, занимался вопросами кредитования промышленности и торговли. Политбюро дважды, по инициативе народного комиссара финансов РСФСР Г.Я. Сокольников, обсуждало кандидатуру Кутлера в качестве предполагаемого члена коллегии Наркомфина, но под давлением Дзержинского все же ее отвергло.

Тюремное заключение, как и предчувствовал Николай Николаевич, не прошло для него даром. Кутлер умер в Москве 10 мая 1924 года от раз-

«Когда бы
знать, что
всё так сло-
жится...»

рыва сердца. Советские газеты преисполнились скорбью: «Необычайная прямота и искренность, большой ум, редкая правдивость, бескорыстность и вдумчивость, способность прямо, без излишних кривых рассуждений решать крупные вопросы — характеризовали этого большого, умного и прекрасного человека». Эмигрантская пресса писала, что смерть наступила в результате волнений, вызванных решением жилтоварищества отнять у Кутлера одну из двух занимаемых им комнат — в ней находилась библиотека. Хоронили Николая Николаевича торжественно, с оркестром и войсками; в шествии участвовали десятки тысяч людей, производилась киносъемка. Но церковное отпевание было разрешено лишь на дому. Кутлера похоронили на московском Миусском кладбище. Сотрудники Наркомфина возложили на могилу венок с надписью: «Пролетариат тебя не забудет».

МИХАИЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
СТАХОВИЧ

«Мне приходится жить,
думать и говорить так
несвоевременно...»

«Он был очень талантлив... Из него мог бы выйти крупный политик, но он за этим не гнался. Беспечный, жизнерадостный, он не искал популярности... Этот даровитейший человек так и прошел через жизнь, не выявив себя. Это часто бывало с такими, как он, талантливыми, но не целеустремленными русскими людьми». Так написала о Михаиле Стаховиче в своих мемуарах известная русская публицистка А.В. Тыркова. Ей вторит в своих воспоминаниях и депутат II–IV Дум В.А. Маклаков: «Перед ним (Стаховичем. — А.К.) была блестящая будущность, но карьера его не прельщала... Его разносторонность, жажда жизни во всех проявлениях (жизнь есть радость — говаривал он), избалованность (баловала его и судьба, и природа), вечные страстные увлечения и людьми, и вопросами в глазах поверхностных наблюдателей накладывали на него печать легкомыслия».

Суждения Тырковой и Маклакова, при всей их человеческой точности, сегодня представляются уже не вполне исторически справедливыми. О «нереализованности» Стаховича можно, конечно, говорить в чисто житейском смысле: он умер сравнительно нестарым, в 62 года (например, Маклаков и Тыркова дожили соответственно до 88 и 93 лет!). Если же говорить о политике, то тогда к «неудачникам» следует отнести все поколение первых российских парламентариев... Со временем, мне думается, верх возьмет принципиально иная интерпретация жизни и деятельности этого человека — как одного из самых цельных политиков и мыслителей своей эпохи. Другое дело, что «время Стаховича», время открытой и нравственной политики в России еще не наступило. Когда оно все же наступит, парламентский опыт столетней давности депутата Михаила Стаховича станет, надо надеяться, предметом самого внимательного исследования.

В жизни Михаила Александровича (1861–1923) случилось немало ярких событий, но некоторые из них, как он сам рассказал в своих эмигрантских мемуарах, на всю жизнь сформировали его взгляды и принципы... В тот год, когда умер Достоевский и был убит Александр II, двадцатилетний Михаил Стахович учился в II-м классе Училища правоведения в Петербурге. О смерти писателя на утренних занятиях рассказал известный юрист А.Ф. Кони, а затем прочел импровизированную лекцию о романе «Преступление и наказание». Впоследствии Стахович много общал-

ся с Кони и даже заседал вместе с ним в Государственном совете, но ту растянувшуюся не на один час лекцию запомнил навсегда. Метафизика преступления и наказания в России — вот что захватило в рассуждениях мэтра юриспруденции двадцатилетнего студента, который позднее, по свидетельству многих современников, сам поднял профессиональное ремесло правоведа до высот политического пророчества... Через два дня, на похоронах Достоевского юный Стахович нес венок от Училища.

...А 1 марта 1881 года ему чудесным образом удалось пробраться в Зимний дворец, где он, поплутав немного (позднее Стахович, камергер двора, станет легко ориентироваться в царских резиденциях), оказался в «фонаре» — спальне государя императора, который, смертельно раненный бомбой террористов, в тот момент, исповедовавшись, отходил. Тогда в память молодого человека прочно впечаталось беспомощное выражение лица наследника... В конце жизни выброшенный революцией из России Стахович напишет: «Теперь, стариком и удалившись от деятельности, но обдумывая все то, что я так близко знал, я прихожу к заключению, что фактическим виновником теперешнего ужаса, исходной его причиной является честнейший, чистейший и до самозабвения любивший Россию, может быть, самый русский из царей после Петра Великого — Александр III... Это был добрый и чистый человек... на службе и в обиходе всегда прямой, он, словом, мог бы громко и всенародно исповедоваться на Красной площади... Это был лучший и честнейший, нет, даже чистейший человек из 160 миллионов своих подданных. Но это был вреднейший царь, погубивший династию Романовых».

Эти слова ясно демонстрируют всю ограниченность досужих рассуждений о «либеральных славянофилах» (к которым, несомненно, принадлежал Стахович) как о политиках, приверженных идее лишь личного нравственного совершенствования в противовес совершенствованию политических институтов. Для Стаховича принципиальна не просто человеческая, но еще и политическая нравственность как способ адекватной реакции политика на общественные обстоятельства. В этом смысле политическая безнравственность Александра III не могла быть компенсирована никакими личными достоинствами. И наоборот, при всей своей неряшливости в личной жизни, его отец Александр II в звездные часы своего реформаторства представлял собой образец высокой политической нравственности.

Через несколько дней после убийства Александра II студент Стахович попал на публичную лекцию философа Владимира Сергеевича Соловьева в огромном зале санкт-петербургского Кредитного общества. «Теперь, через сорок лет, я уже не припомню ее содержания, — написал в эмиграции Михаил Александрович. — Он говорил о переживаниях общественного духа за этот кошмарный месяц; об общем негодовании и возмущении перед отвратительным цареубийством; о подробностях, выясненных на суде; наконец, об ужасе этого ожидания пятиголовой казни. Не только красноречива и благородна была его речь, но она звучала какой-то строгостью и восторгом пророка, когда он доказывал, что казнь не искупит престу-

пления, потому что греха нельзя загладить наказанием, а превзойти его можно только милосердием и жалостью; чтобы действительно стать выше преступников, надо... помиловать». Запомнились не столько конкретные слова, сколько выражение лица оратора, общий вид переполненного зала и собственные переживания: «Мы были объединены все в это время и негодованием к царевубийцам, и горем о погибшем, всеми любимом Царе. Но Соловьев заразил нас, проник до самой глубины души нашей, заставил почувствовать, что есть правда сильнее всякого зла, выше всякого горя. Что и отдельный человек, и совокупность толпы, и целый народ могут к ней приобщиться и по ней решить».

С Владимиром Соловьевым Стахович позднее сошелся довольно близко, неоднократно лично выражал восхищение его сочинениями (особенно «Тремя разговорами»), но тот вечер в зале Кредитного общества остался для него особым воспоминанием: «Много я потом переживал сенсационных событий и сильных впечатлений, но никогда меня так не потрясала публичная речь, как эта». Пройдет четверть века, и депутат Государственной думы М.А. Стахович будет тщетно призывать политически разделенную и тонущую в крови Россию к взаимному всепрощению...

В 1882 году талантливый, но довольно легко живущий юноша, смутно грезивший об общественном призвании, окончил Училище правоведения. «В наказание за сделанные в Правоведении две или три тысячи долгу, — вспоминал он, — отец приказал мне поступить на казенную службу, а не разрешил поселиться в Пальне (родовом имении Стаховичей под Ельцом. — А.К.). Я поехал в Ковно, где еще были дореформенные суды, и за 11 месяцев перебивал секретарем прокурора суда, и.о. судебного следователя, потом и.о. товарища прокурора... Но в ноябре 1883 года отец меня простил и разрешил осуществление моей мечты — не служить, а быть общественным деятелем... Жить на людях и для людей». Он поставил сыну единственное условие: работать только «по выборам», т.е. быть деятелем избранным, а не назначенным.

Отцовская педагогика, профессиональный опыт, а главное, постоянное самообразование приносили свои плоды. В 1883–1892 годах Михаил Стахович — елецкий уездный и орловский губернский земский гласный; в 1892-м — елецкий уездный предводитель дворянства, а в 1895-м, всего в 34 года, — орловский губернский предводитель.

На рубеже веков окончательно сформировались и общественно-политические взгляды М.А. Стаховича. Идеальным политическим порядком было для него время реформ Александра II. И главное здесь — не личные качества Царя-освободителя, а особый характер взаимоотношений власти и общества. «Правительство критиковали, но ему верили и, вечно споря, старались сговориться и помогать. Понимали инстинктивно, что бороться можно с правительством, а не с государством, которое должно охранять и которое не может обойтись без первого». Но этот «общественный инстинкт» существовал не сам по себе, а подпитывался, в свою очередь, демонстрацией доверия власти к обществу. К несчастью для России, это

«Мне приходится жить, думать и говорить так несвоевременно...»

состояние взаимной поддержки оказалось утрачено в ходе двух последних царствований: «Ненависть к правительству распространилась на самое понятие государственной власти. Оппозиция была уже не тактическим приемом, а казалась самодовлеющей политической целью... обессилить их, свалить — хуже не бывает, мол... Умные предчувствовали, что может быть еще гораздо хуже; но сдерживать раздражение перед постоянным в течение 35 лет, систематичным и всесторонним преследованием всякого прогресса, перед постоянно демонстрируемым пренебрежением к общественному мнению, нуждам и желанию масс стало невозможным. Борьба перешла уже в войну и приобрела стихийный характер». При этом главная вина за углубляющийся общественный раскол лежала на правительстве: «Невозможность в будущем бороться со стихийным движением, все нараставшим в народе, создавало правительство». Подобная логика политического анализа — «фирменный» стиль либерала-государственника Стаховича: будучи сам представителем национальной элиты, он основную ответственность за русские неурядицы всегда возлагал на верхи общества, на «своих», а не на народ.

Основная тема политических размышлений Стаховича — вопрос о принципах и методах «правильного правления». Политическая нравственность власти состоит в умении содействовать развитию системы общественного самоуправления. Ибо без самоуправления возможны только два состояния — полицейщина и анархия. Два последних российских императора, в силу своей «политической безнравственности», явно тяготели к полицейщине и, утешаясь иллюзией временного упорядочивания, ввергли в итоге страну в пучину анархии. «Управлять массами можно, только организовав их и доведя организацию постепенно до центра... Систематически в течение 35 лет правительство не разрешало и прямо разрушало все попытки общественных организаций, все равно, в какой бы ни было области: не только в политической, но хозяйственной, экономической, социальной, художественной, даже научной, даже религиозной... А путь от народа, общества и к всемогущей власти не был постепенным, организованным, а иногда совсем пустым, но чаще полным с одной стороны подозрительностью, с другой — предубеждением, делающим сотрудничество страны и власти невозможным. Неорганизованная масса в 180 миллионов, как и всякая масса, впрочем, может подчиняться только двум выражениям власти: или полиции, или анархии. Все промежуточное уже нуждается в организованности. 3/16 марта 1917 года с отречением Николая II рухнула полиция тогдашней России. *Tertium non datum* [третьего не дано, лат.]».

Однако заключительный акт исторической драмы России начался задолго до отречения последнего царя — с убийства Александра II и отказа Александра III подписать подготовленный отцом Манифест о введении выборного Государственного совета в качестве совещательного органа. «Это была умная и осторожная попытка повести Россию эволюционным путем к неизбежному в наше время представительному правлению, — говорил Стахович о нереализовавшихся планах Александра II. — Конечно,

этот новый порядок привел бы постепенно до ограничения самодержавия, к конституции. Но именно в постепенности и заключался бы спасительный для народов путь неизбежной эволюции, а не отвратительный, при ее отсутствии, путь революции».

Пришедшая к власти после гибели Царя-освободителя группировка во главе с К.П. Победоносцевым, графом Д.А. Толстым, князем В.П. Мещерским и др. сформулировала и сумела привить новому царю «совершенно вымышленное обвинение всей России в грехе цареубийства»: «Ее объявили и виноватой, и больной, стали лечить строгим режимом реакции и стали пичкать все время такими сильнодействующими лекарствами, в которых она совсем не нуждалась, но от которых ее лихорадило все сильнее и сильнее... Этот эффект ненужного лечения выдавали за безошибочный диагноз опытных и любящих врачей и все усиливали дозы». Безнравственность враждебного России курса правящей верхушки вынудила государственника М.А. Стаховича перейти в ряды либеральной оппозиции.

Всероссийскую известность губернский дворянский предводитель Стахович получил в 1901 году в связи с прочитанным им на Миссионерском съезде в Орле докладом о свободе совести. В нем он открыто выразил свое неприятие распространенной практики религиозного принуждения и дискриминации иноверцев. Оратор в полемической форме постарался защитить свою идею: никакое насилие не способно вызвать любовь к Богу, и лишь полная свобода вероисповедания может благотворно содействовать популяризации и распространению православия. «Меня спросят, — говорил он, — чего же вы хотите? Разрешения не только безнаказанного отпадения от православия, но и права безнаказанного исповедания своей веры, то есть соращения других? Это подразумевается под свободой совести? Особенно уверенно среди вас, миссионеров, я отвечу: да, только это и называется свободой совести... Запретной пусть будет не вера, а дела; не чувства, а поступки, ущербы, изуверство — все то, что уголовный закон карает».

Эта речь, опубликованная в «Орловском вестнике», была перепечатана в столичных «Санкт-Петербургских ведомостях», «Московском обозрении», «Миссионерском обозрении» и т.д. Живший тогда во Флоренции известный театральный деятель князь С.М. Волконский заметил сначала ссылки на речь Стаховича в иностранной прессе, а затем уже начал собирать все связанные с ней материалы. В своих мемуарах он вспоминал: «Его речь прокатилась из конца в конец земли русской; она произвела впечатление бомбы... Буря, поднявшаяся вокруг этой речи, длилась более двух месяцев и, к сожалению, утихла, прекращенная цензурными распоряжениями».

В развернувшейся в России дискуссии приняли участие такие выдающиеся деятели, как Л.Н. Толстой, Д.С. Мережковский, Н.Ф. Федоров, Н.А. Бердяев. Активно против выступил протоиерей Иоанн Кронштадтский: «В наше лукавое время появились хулители святой церкви, как

«Мне приходится жить, думать и говорить так несвоевременно...»

граф Толстой, а в недавнее время некто Стахович, которые дерзнули явно поносить учение нашей святой веры и нашей церкви, требуя свободного перехода из нашей веры и церкви в какие угодно веры... Нет, невозможно предоставить человека собственной свободе совести, потому что он существо падшее и растреленное».

Речь Стаховича использовал против него и небезызвестный С.А. Нилус (впоследствии издатель «Протоколов Сионских мудрецов») — тоже орловский помещик, выпускник юридического факультета, ярый черносотенец. Он давно выбрал своего соседа по имени мишенью для нападок, еще в 1899 году публично обвинив его в «безверии»; неоднократно выступал он и против всех либеральных земцев, «бессознательно играющих в руку единственно искреннему космополиту — еврею и родному его брату, армянину». Критикуя речь Стаховича на Миссионерском съезде, Нилус на страницах «Московских ведомостей» назвал его «русским Дантоном или Робеспьером».

Свое сложное отношение высказал и философ В.В. Розанов: «Речь г. Стаховича, может быть, независимо от прямого намерения оратора, забрасывает семена нравственной подозрительности на деятелей миссии. „Вы притеснители, а не христиане“, — говорит смысл его слов. Речь его была только по виду предложением, а на самом деле она была судом и осуждением». Впрочем, В.В. Розанов не мог не признать, что в словах Стаховича «есть своя правда», и выразил уверенность, что «лучшие пожелания г. Стаховича исполнятся: но исполнятся в созидательных целях, в целях религиозного строительства».

В начале века Михаил Александрович становится активным деятелем общероссийского либерального движения, непременным участником земских совещаний и съездов. В 1902 году он, носящий высокий чин камергера императорского двора (с 1899-го), получил за свою оппозиционную активность на этом поприще «высочайший выговор». Вместе с тем в намечающемся размежевании русского либерализма на радикальное и умеренное крылья Стахович стал одним из лидеров умеренных — вместе с Д.Н. Шиповым, графом П.А. Гейденом, князем Н.С. Волконским. Он отрицательно относился к радикализму эмигрантского журнала «Освобождение» во главе с П.Б. Струве, к излишней, по его мнению, политизации либерального кружка «Беседа», единственно возможную программу которого определял как «борьбу с бюрократизмом во имя поднятия принципа самодержавия».

В 1904 году в журнале «Право» была напечатана сильная статья М.А. Стаховича (ранее запрещенная цензурой в «Орловском вестнике») по поводу нанесения полицией Орла смертельного увечья ни в чем не повинному мусульманину-сарту, направлявшемуся в Мекку. За эту статью номер «Прав» конфисковали, а статья вышла в заграничном «Освобождении». Ответом на нее стала публикация в официозном «Гражданине» статьи князя В.П. Мещерского — одного из самых влиятельных идеологов России. Еще при жизни Александра II князь публично объявил своей целью

«поставить точку реформам», после чего наследник-цесаревич Александр Александрович был вынужден разорвать с ним отношения. Однако после воцарения Александра III эти отношения не только восстановились, но и укрепились. Мещерский сохранил позиции и при Николае II: именно его влиянию приписывалось назначение министром внутренних дел реакционера В.К. Плеве после убийства в мае 1902 года Д.С. Сипягина.

В «Гражданине» Мещерский обвинил Стаховича в намерении «бросить обвинительную тень на административную власть» и в «сотрудничестве с революцией». Он нашел в его статье «оскорбление патриотизма, почти равное писанию сочувственных телеграмм японскому правительству»: в условиях войны с Японией это обвинение выглядело особенно сильным. Вопрос стоял принципиально, и группа молодых правоведов-либералов решила нанести контрудар по князю Мещерскому, подав на него в суд за клевету. В заседании Петербургского окружного суда 22 ноября 1904 года интересы Михаила Александровича (который находился в то время на маньчжурском участке военных действий во главе санитарного отряда от орловского дворянства) защищали мэтр русской адвокатуры Ф.Н. Плевако и ее восходящая звезда В.А. Маклаков, товарищ Стаховича по либеральным кружкам и совместным «паломничествам» в Ясную Поляну к Толстому.

Плевако не стал делать акцент на юридической стороне дела: он произнес яркую политическую речь, обвиняя Мещерского не столько в клевете, сколько в «извращенном понимании патриотизма». Напомнив суду, что Мещерский упрекнул Стаховича в «сочувствии японцам», адвокат заявил: «За это отрицание в Стаховиче права быть русским и любить более всего на свете свое князю Мещерскому отомстила судьба, и как отомстила! Многие русские люди пошли на японскую войну добровольцами. И что же: имени патриота князя Владимира Петровича Мещерского мы не находим там... Но среди святых граждан и гражданок страны внесено имя Михаила Стаховича». Завершалась эта блестящая речь так: «Нет, сколько бы ни исписал бумаги князь, не краснеющий и бесстрастный, он не докажет честно мыслящим русским людям, что нежелательны Стаховичи и нужны только Мещерские. Довольно с нас и одного Мещерского, дай Бог побольше таких людей, как Стахович! Тогда мы встретим их и на ратном поле, умирающими за родину, и в лазарете, утешающими раны и боли мучеников, и в мужах совета, говорящими смелую правду». В результате нашумевшего процесса «Стахович против Мещерского» либеральная общественность получила полное удовлетворение: влиятельный реакционер и личный конфидент императора был осужден за клевету к двухнедельному аресту на гауптвахте. Правда, через некоторое время, после того как высшая власть несколько опомнилась, более высокая инстанция оправдала князя.

Всероссийская популярность общественного деятеля М.А. Стаховича была в первые годы нового века настолько велика, что в революционном 1905-м в верхах обсуждался вопрос о привлечении его на крупную пра-

«Мне приходится жить, думать и говорить так несвоевременно...»

вительственную должность в «кабинете общественного доверия». С ним, наряду с другими умеренными либералами (Д.Н. Шиповым, А.И. Гучковым, князем Е.Н. Трубецким, князем С.Д. Урусовым), вел переговоры премьер-министр граф С.Ю. Витте, который потом вспоминал: «Стаховича я ранее порядочно знал. Это очень образованный человек, в полном смысле *gentilhomme* [благородный дворянин, фр.], весьма талантливый, прекрасного сердца и души, но человек увлекающийся и легкомысленный русской легкомысленностью, порядочный жуир. Во всяком случае, это во всех отношениях чистый человек». Судя по всему, Витте приглашал его в качестве надежного посредника для контактов с другими, более интересовавшими его фигурами, нежели на какой-либо солидный пост. Михаил Александрович, скорее всего, и сам понимал это: будучи уверенным в своей победе на уже объявленных выборах в I Думу, он отклонил предложение войти в правительство.

Активную роль сыграл М.А. Стахович на I Всероссийском съезде партии «Союз 17 октября», состоявшемся в театральном зале московского «Охотничьего клуба» 8–12 февраля 1906 года. В первый день съезда лидер октябристов А.И. Гучков произнес характерные слова: «В наших рядах мы имеем таких видных общественных деятелей, как Д.Н. Шипов, М.А. Стахович (бурные аплодисменты). Д.Н. Шипов одним из первых начал борьбу с правительством за право участия народа в законодательной деятельности; М.А. Стахович первым возвысил голос за свободу совести. А это было еще в то время, когда и говорить о таких предметах, и аплодировать — так, как вы сейчас аплодируете, — было не так удобно и безопасно. Вы помните, какими репрессиями встречало правительство самые робкие попытки протеста против своего неограниченного самовластия».

9 февраля Михаил Александрович выступил на съезде от имени ЦК партии по вопросу об отношении «Союза 17 октября» к внутренней политике правительства. Доклад произвел на слушателей сильнейшее впечатление. На следующее утро в газетном отчете было сказано: «М.А. Стахович вместо обычного сухого доклада всех российских съездов и заседаний произносит горячую проникновенную речь, электризирующую все собрание». А один из делегатов сказал: «Мы слышали из уст М.А. Стаховича не речь оратора, но апостольскую проповедь».

Выступление строилось на доказательстве внешне парадоксальной, но глубоко выношенной идеи: существующий в России внеправовой «приказный строй» разрушает подлинную государственность. «Унижения и позор на Дальнем Востоке, революционные движения и аграрные беспорядки внутри России, разоряющие ее благосостояние забастовки — все это результаты преступной деятельности отжившего приказного строя. Во всем этом нельзя не видеть ослабления государственной власти». Вопреки как реакционерам-охранителям, так и революционерам-разрушителям докладчик защищал тезис о необходимости правового укрепления государственной власти: «Я говорю не о той власти, которая без суда и следствия высылает, арестует и гноит в тюрьме тысячи и десятки тысяч людей и воз-

мушает и душит всю страну своими насилиями и произволом, вызывая общее раздражение и негодование... Нет! Я говорю о той государственной власти, которая составляет оплот государству — этому огромному корпусу, соединяющему в себе столько противоречивых требований и стремлений. Я говорю о той твердой власти, которая не только не дает опрокинуться государственному судну, но и предотвращает его излишнюю качку. И отсутствию этой власти мы во многом обязаны проявлениями всевозможных бесчинств, насилий и беззаконий, имеющих место за последнее время. Весь пережитый нами период революции есть прямое последствие ослабления в России авторитета государственной власти».

Ослабляет государство, по мнению Стаховича, и затягивание созыва народного представительства: «Правительство обязано было подчиниться воле Государя о скорейшем созыве Думы. Плохая, несовершеннолетняя Дума, но должна была быть созвана немедленно». Он отмел отговорки членов кабинета министров, будто дарованные царем свободы не могут быть осуществлены до тех пор, пока не прекратится революционное движение, — напротив, неправовые репрессии сами провоцируют смуту: «Мы понимаем, что вооруженное восстание нельзя подавить увещаниями и лекциями, что его можно подавить только вооруженной силой... Но, водворив порядок, правительство обязано тотчас же, немедля прекратить всякое насилие, к которому вынуждено было прибегнуть, нарушив тем самым священные основы гражданской и политической жизни страны. После подавления вооруженного восстания насилие со стороны правительства не находит себе никаких оправданий. А между тем мы видим, что необузданный произвол и насилия со стороны правительства продолжают повсеместно, где не было даже никакого вооруженного восстания. Мы видим, что к революционерам причисляются миллионы русских граждан, что правительство хочет осилить всю Россию, недовольную его незаконной деятельностью и протестующую против произвола и насилий с его стороны. И, видя все это, мы должны сказать правительству: после Манифеста 17 октября вы не смеете делать этого! Вы не смеете посягать на наши свободы и стараться снова водворить тот порядок, который был главной причиной всех наших зол и несчастий!»

«Мне приходится жить, думать и говорить так несвоевременно...»

Особенно поразила присутствующих концовка речи: «Правительство само расшатывает и как бы хочет опрокинуть весь государственный строй. Оно само готовит себе гибель. Но за этой гибелью может последовать гибель династии и гибель всей России!» В газетном отчете сказано: «Гром аплодисментов прерывает оратора, и М.А. Стахович долго стоит с опущенной головой, ожидая восстановления тишины в зале». Затем он зачитал проект предлагаемой октябристским ЦК резолюции; в отчете зафиксировано: «После долго не смолкавших аплодисментов записалось около 30 делегатов, желающих говорить по существу доклада».

Весной 1906 года Михаил Александрович был избран депутатом I Государственной думы от землевладельцев Орловской губернии. Эта Дума, прозванная современниками «Думой народного гнева», отличалась прак-

тическим отсутствием представителей проправительственного лагеря. Оппозиционер и либерал Стахович парадоксальным образом оказался в ней на самом правом фланге в составе немногочисленной группы умеренных. Впоследствии В.А. Маклаков, один из самых проникательных аналитиков истории I Думы, написал: «На правых скамьях, на которых мы видели позднее Пуришкевича, Маркова, Замысловского, сидели такие заслуженные деятели „Освободительного движения“, как гр. Гейден или Стахович. Они сами не изменились ни в чем, но очутились во главе оппозиции справа. Эта правая оппозиция в I Думе выражала подлинное либеральное направление; именно она могла бы безболезненно укрепить в России конституционный порядок».

В.А. Маклаков, как представляется, довольно точно описал тогдашнее самоощущение Михаила Стаховича: «„Стиль I-й Думы“, ее нетерпеливость, нетерпимость, несправедливость к противникам, грубость, вытекавшая из сознания безнаказанности, — словом, все то, что многих пленяло как „революционная атмосфера“, оскорбляло не только его политическое понимание, но и эстетическое чувство. Атмосфере этой он не поддался и потому стал с нею бороться. У него не было кропотливой настойчивости, как у Гейдена; он был человеком порывов, больших парламентских дней, а не повседневной работы. Но в защите либеральных идей против их искажения слева он мог подниматься до вдохновения. Напоминавший бородой и лицом Микель-Анжеевского Моисея, когда он говорил, он не думал о красноречии; речь его не была свободна, он подыскивал подходящие слова, но увлекал трепетом страсти».

С одной стороны, Стахович не мог не понимать заведомую тщетность усилий их малочисленной группы противостоять общему течению. Но, с другой стороны, свою борьбу с думскими радикалами он воспринимал как нравственный долг. Эта борьба виделась ему продолжением дискуссий на земских съездах: ведь он и там в последние годы все чаще оказывался в меньшинстве. Здесь, в I Думе, в состав самой влиятельной кадетской фракции входило много старых соратников Михаила Александровича — их, как он считал, еще можно было в чем-то переубедить. Что ему явно претило, так это то, что старые товарищи-земцы, элита страны, пошли, как он считал, на поводу у радикалов.

В самом деле, положение в I Думе добившейся большого успеха на выборах Конституционно-демократической партии оказалось очень сложным. В условиях, по сути, продолжающейся революции кадетам необходимо было, с одной стороны, удержать свой принципиальный конституционализм, сохраняя перспективу диалога со ставшим теперь конституционным монархом, а с другой стороны — не отдать политическую инициативу своим более радикальным левым «попутчикам» из так называемой трудовой группы. Думскую линию кадетов во многом определял тезис их партийного лидера П.Н. Милюкова (разделяемый лидерами фракции И.И. Петрункевичем и М.М. Винавером): «Идти соединением либеральной тактики с революционной угрозой». Похоже, однако, что со

временем этот симбиоз конституционалистов и радикалов зашел значительно глубже, нежели того поначалу хотелось кадетам. Об этом и написал в эмиграции В. А. Маклаков; он пришел к выводу, что в тактическом альянсе, на первых порах казавшемся кадетам выгодным, тон постепенно стали задавать уже радикалы.

3 мая 1906 года М.А. Стахович включился в обсуждение проекта «ответного адреса» Думы императору. Его, профессионального правоведа, беспокоила нервическая атмосфера, в которой проходила дискуссия: «Часто случается, бывают даже целые периоды государственной жизни, когда не сущность вопроса царит и решает дело в палатах, а возбуждение политических страстей. Самое присутствие такого возбуждения является даже опасностью. Оно опасно, как оружие в руках рассерженного». Отталкиваясь от метафоры кадетского депутата Е.Н. Щепкина, сравнившего поток свободных речей в Думе с «вешними водами», Стахович иронически заметил: «Пользуясь его собственным сравнением, добавляю, что вся эта вода не рабочая; ее не надо пускать на колеса мельницы. Умный мельник открыл бы затворы и терпеливо бы ждал: пусть себе сольет». Вопреки радикальным призывам о необходимости немедленного подчинения министров народному представительству Михаил Александрович назвал такую претензию «преждевременной»: «Мы только свяжем руки Государю, если, как лояльный конституционный Монарх, он будет следовать нашим голосованиям и менять министерства после каждого провала... Необходимо, сохранив ответственность министров перед Государем Императором, развить и ускорить условия осуществления права запроса и контроля со стороны Думы не только над закономерностью, но и целесообразностью действий министров. (Слышно шиканье на многих скамьях.)»

4 мая дискуссия продолжилась — в этот день обсуждались в основном те положения «ответного адреса», где речь шла о проблемах амнистии и смертной казни, о политических убийствах. В середине жаркого обсуждения слово опять попросил М.А. Стахович: «Я оговорюсь, что живу в такой глухой и благоразумной местности, в которой теперь, несмотря на все здесь говоримое, люди, наверное, не бросили своей обычной жизни и занятий, не перестали метать пары, сеять гречиху и просо и не ждут, затаив дыхание, будут ли женщины в Государственной Думе, останется ли Государственный Совет или нет». Перейдя непосредственно к вопросу о политической амнистии, оратор еще раз подтвердил, что он и его коллеги по группе умеренных по-прежнему горячо поддерживают призыв к освобождению всех политических заключенных. Однако для полного успеха этого судьбоносного акта Дума должна одновременно выступить и с резким осуждением революционного террора: «Кроме почина существует ответственность за последствия, и эта вся ответственность останется на Государе... Не мы уже, а он ответит Богу за всякого замученного в застенке, но и за всякого застреленного в переулке. Поэтому я понимаю, что он задумается и не так стремительно, как мы, движимые одним великодушием, принимает свои решения. И еще понимаю, что надо

«Мне приходится жить, думать и говорить так несвоевременно...»

помочь ему принять этот ответ. Надо сказать ему, что прошлая вражда была ужасна таким бесправием и долгой жестокостью, что доводила людей до забвения закона, доводила совесть до забвения жалости... Цель амнистии... — это будущий мир в России. Надо непременно досказать, что в этом Государственная Дума будет своему Государю порукой и опорой. С прошлым бесправием должно сгнать преступление как средство борьбы и спора. Больше никто не смеет тягаться кровью. Пусть отныне все живут, управляют и добиваются своего или общественного права не силой, а по закону. По обновленному русскому закону, в котором мы и участники, и ревнители, и по старому закону Божию, который прогремел 4000 лет тому назад и сказал всем людям и навсегда — Не убий!»

В.А. Маклаков позднее вспоминал: «В Первой Думе было сказано много превосходных речей. Но я не знаю другой, которая могла бы по глубине и подъему с нею сравняться... Колебания Государя, о которых говорил Стахович, не были только предположением. Он мне рассказывал после, что, когда начался в Думе разговор об амнистии, Государь получал множество телеграмм с протестами и упреками: неужели он допустит амнистию и помиует тех, кто убивал его верных слуг и помощников? Пусть эти телеграммы фабриковались в „Союзе истинно русских людей“, Государь принимал их всерьез. Чтoб вопреки этим протестам Государь все-таки пошел на амнистию, нужно было сказать действительно новое слово, открывавшее возможность забвения, нужно было самому подняться над прежнею злобою. Этим словом и могло быть моральное осуждение террора. Но на это Дума не оказалась способна. Она продолжала войну».

Итак, на том историческом заседании 4 мая 1906 года Михаил Стахович, наряду с призывом к амнистии, предложил Думе добавить в «ответный адрес» государю следующие слова: «Государственная Дума выражает твердую надежду, что ныне, с установлением конституционного строя, прекратятся политические убийства и другие насильственные действия, которым Дума высказывает самое решительное осуждение, считая их оскорблением нравственного чувства народа и самой идеи народного представительства. Дума заявляет, что она твердо и зорко будет стоять на страже прав народных и защитит неприкосновенность всех граждан от всякого произвола и насилия, откуда бы они ни исходили».

Предложение Стаховича было не только разумным, но и весьма умеренным — оно исходило из старой его идеи о необходимости восстановления взаимного доверия царя-реформатора и народного представительства. Однако в «Думе народного гнева» это предложение вызвало большое возбуждение. Влиятельнейшая фракция конституционных демократов оказалась перед сложным выбором. Маклаков назвал его позднее «выбором между двумя возможными думскими большинствами» — конституционным и революционным. Дело решил Ф.И. Родичев, ставший еще с первых думских заседаний штатным спикером кадетов по вопросу об амнистии и терроре. Заявив, что вполне понимает тот «душевный порыв, который внушил Стаховичу благородные слова любви», он быстро перешел к возражениям:

«Но с политическим заключением этого порыва я согласиться не могу. Если бы здесь была кафедра проповедника, если бы это была церковная кафедра, то тогда, конечно, мог бы и должен был раздаваться призыв такого рода, как мы слышали здесь, но мы — законодатели, господа... Много есть дурных вещей, которые следует осуждать, но не здесь этому осуждению место. Мы осуждаем те порядки, когда людей казнят без суда... Мы должны сказать всем: если вы хотите бороться с преступлением, оно должно быть осуждено!»

Позднее В.А. Маклаков так прокомментировал этот «крах думского конституционализма»: «Всего грустнее читать речь Родичева... Из государственного установления Дума превращала себя в орудие революционной стихии. Голосование по поправке Стаховича вырыло ров между двумя большинствами. Если бы кадеты пошли со Стаховичем и Родичев повторил свою речь 29 апреля — это образовало бы „конституционное большинство“. В этот день кадеты от конституционного пути отказались». Маклаков интерпретировал «эпизод с амнистией» как стремление левого большинства Думы настоять на том, что после дарования гражданских свобод «преступники находились не в среде осужденных, а только в среде властей»: «При таком взгляде Думы на недавнее прошлое нельзя было говорить о примирении и успокоении, о забвении прошлого, которое одно могло бы амнистию мотивировать. Судьи и осужденные должны были просто поменяться местами; под флагом амнистии Государю предлагали встать на сторону Революции».

Между тем сам М.А. Стахович в тот день не собирался сдаваться и повторил попытку обосновать свою поправку: «Мне давно приходится жить, думать и говорить так несвоевременно, что приходится отстаивать против большинства не только то, что я считаю правильным, но даже и то, что я считаю разумным, и я давно знаю, как эта задача неблагодарна, я давно знаю, что она часто бесполезна. Я только думаю, что это долг всякого совестливого человека, на какую бы сторону ни собралось большинство, часто глухое из-за самодовольно сознаваемой своей силы». Он попытался снова обратиться к разуму депутатов, призвав думать не только о прошлом, но и о будущем России: «Мало хоронить, всё сосредотачиваясь и копаясь в прошлом; надобно подумать и высказаться о будущем теперь, чтоб оно не повторяло прошлого ни с какой стороны. Я думаю, что, если никто из так хорошо говоривших не заикался о будущем, а все твердил только о прошлом, уже осужденном нами очень единомысленно, значит, против моего требования ничего сказать нельзя, а нужно только решиться его выговорить». Впрочем, судьбу своего предложения он предчувствовал вполне: «Как бы ни было ничтожно число членов Думы, которые здесь со мной согласятся, я уверен, что огромное число русского народа скажет, что пора осудить политические покушения».

В итоге предложенная поправка была отклонена думским большинством. «Дума отвергла спасательную веревку, которую Стахович ей протянул, — писал Маклаков. — Если бы Дума оказалась способной подняться

«Мне приходится жить, думать и говорить так несвоевременно...»

на его тогдашнюю высоту, она бы не только получила амнистию, она оказалась бы достойной той роли, которую сыграть не сумела».

Михаил Александрович также прекрасно понимал, что на левые фракции I Думы большое влияние оказывается «извне» Таврического дворца — например, со стороны внедумских лидеров радикальных социалистических партий, мечтающих о крахе первого российского парламента. Судя по всему, Стахович питал личную неприязнь и к П.Н. Милюкову (и пользовался здесь, надо сказать, полной взаимностью). Он полагал, что, не будучи депутатом, Милюков из-за кулис манипулирует не только своей фракцией, но и всей Думой, считая ее лишь эпизодом на пути к созыву по-настоящему полномочного и демократического Учредительного собрания.

Известно, что П.Н. Милюков любил цитировать фразу из Вергилия: «Если не смогу убедить высших, то двину Ахеронт». Под «Ахеронтом» (так в древнегреческой мифологии называлась одна из подземных рек ада) имелась в виду, разумеется, «стихия революции», которой кадетские лидеры рассчитывали «управлять». Рассудительный и умеренный Стахович не мог разделить этих иллюзий: одна из ярчайших его речей в I Думе была направлена против идеи «управляемого хаоса», а возможно, и лично против Милюкова, обычно сидевшего во время думских заседаний в журналистской ложе.

«Очевидцы и обсерватории способны описывать ливни, грозы, но никто не может описать извержение вулкана, — говорил Стахович 29 июня 1906 года, в речи, посвященной так называемому белостокскому погрому. — Как после извержения вулкана, кроме все сжегшей лавы, есть еще стихийная масса пепла, которая все засыпает глубоко и тяжело, и только много лет позднее тщательными, равнодушными и беспристрастными усилиями науки можно восстановить условия этих событий, можно представлять, предсказывать ту жизнь Геркуланума и Помпеи, которая так внезапно оборвалась, — так и все движения народной стихии должны быть открыты и могут подвергнуться исследованию лучших историков не непосредственно вслед за своим событием, а только много позже и после долгого и добросовестного труда».

Вполне вероятно, что, говоря о возможностях «лучших историков» изучить последствия революции только «спустя много лет», Стахович намекал именно на Милюкова — весьма заслуженного, как известно, историка. Это предположение представляется тем более убедительным, что уже в следующем пассаже оратор откровенно критиковал тактику «заигрывания со стихией» — как со стороны властей, так и со стороны оппозиции: «Когда говорят, что не хотят революции, то обыкновенно забывают, что она не зависит от воли отдельных лиц; она даже не зависит от общей воли, она имеет свойство самовозгорания не только против желания, но иногда против ожидания участников или свидетелей. Оттого-то надо об этом всегда думать и стараться о предупреждении этого губительного свойства, которое я назвал самовозгоранием». Если многие в России, под-

водил итог Стахович, до сих пор не избавились от «наркоза возбуждения», от влияния того «вихря, который с атмосферической силой проносится над страной», то существуют две категории людей, обязанных сохранить в этих обстоятельствах полное трезвомыслие: «Это государственные деятели в настоящем и историк — в будущем, когда он станет толковать человечеству значение его великих или ужасных бурь».

Далее Михаил Александрович сказал о сугубой ответственности народных представителей за соблюдение корректности в политической полемике, ибо думская борьба потом с огромной силой резонирует в народной толще. По его мнению, гражданская смута начинается в головах обменивающихся оскорблениями представителей «элиты»: «В самых категорических противоречиях одни говорят, указывая на других, что они безбожники и убийцы, другие утверждают, что те кровопийцы и паразиты. И потому предлагают народу выбрать тех или других себе в руководители, последовать за теми или иными специалистами».

Достаточно важным в перводумской деятельности М.А. Стаховича стало и его участие в дискуссии по аграрным вопросам. Как известно, проблема крестьянского малоземелья была одним из главных источников революционной смуты в стране. Включившись в обсуждение этого вопроса, депутат прежде всего заявил: «Я категорически и не колеблясь стою за увеличение площади крестьянского землевладения. Я считаю это делом нужным, считаю его совершенно возможным и считаю его безотложным... Государственная нужда состоит в том, что нельзя существовать дальше, не подняв народ из нищеты. Русское государство нуждается в том, без чего ни одно государство не живет: народ должен стать плательщиком и потребителем...» Однако, по мысли Стаховича, весь вопрос состоит в том, как именно провести увеличение крестьянских наделов, не вызвав при этом нового хаоса: «Я не скрываю, что принадлежу к тем староверам, может быть, смешным, которые продолжают считать, что поджог, грабеж, насилие — грех и безобразие, и что о них нельзя говорить сочувственно, чуть не ласково... И страшную ответственность кладут на Думу все те, кто с кафедры призывает к самоуправству народному, говорят, как сегодня еще, что надо перейти к силе и пусть-де падет эта кровь на виноватых. Эта пролитая нами и братьями нашими русская кровь прольется не за родину, а в ущерб ей и в горе! Пусть же ляжет она на совесть тех, кто прославляет насилие, подбивает омраченных, нетерпеливых и раздраженных.

(Аплодисменты справа, ропот слева.)»

«Мне приходится жить, думать и говорить так несвоевременно...»

Между тем М.А. Стахович выступил не только против откровенно социалистических идей земельного передела, но и против кадетского проекта аграрной реформы, предполагавшего решить проблему крестьянского малоземелья за счет отчуждения помещичьих земель «за достойное вознаграждение» и передачи их крестьянам в срочную аренду. В противовес кадетам, он выступил за передачу земли крестьянам в полную частную собственность: «Я стою не только за то, чтобы земельная площадь крестьянского землевладения была увеличена, но, помня о необходимости

подъема культуры, чтобы эту землю крестьяне получили бы в свою собственность... Непременно в собственность, а не во временное пользование, потому что в мире мы не знаем иного, более сильного двигателя культуры, чем собственность».

Еще в ходе работы I Думы стало ясно: политические позиции умеренно либеральных депутатов, таких как М.А. Стахович, граф П.А. Гейден и князь Н.С. Волконский, расходятся не только с более радикальными группировками (от кадетов и далее влево), но и с продолжавшим существовать вне Думы «классическим октябризмом», который во многом поддерживал правительственный курс. Уже в начале лета 1906 года встал вопрос о создании самостоятельной политической организации; ее название — Партия мирного обновления — придумал М.А. Стахович. Однако скорый роспуск Думы, последовавший 9 июля, внес в эти планы серьезные коррективы.

11 июля, в противовес радикальному Выборгскому воззванию, которое было подписано в основном кадетами и левыми и призывало граждан к сопротивлению, хотя и «пассивному», «Партия мирного обновления» выпустила другое «Воззвание» за подписью трех бывших депутатов: П.А. Гейдена, М.А. Стаховича и Н.Н. Львова. В нем, в частности, говорилось: «В силу ст. 105 Основных законов Государю несомненно принадлежит право роспуска Думы. Мы считаем себя обязанными подчиниться не только по долгу подданных, но и по глубокому сознанию, что было бы преступно среди переживаемых Россией опасностей и смут колебать государеву власть... Поэтому первое слово наше, на ком лежало народное доверие, наше первое слово ко всем избирателям — призыв к спокойствию и противодействию каким бы то ни было насилиям. Только старательной подготовкой к новым выборам и сознательным осуществлением их может народ доказать, что дорожит своим представительством в деле правления и участием в создании законов. К будущим выборам должны быть направлены усилия русского народа, а нужды его будут выражены теми, кого он сознательно выберет. Всякие насилия, беспорядки и нарушения законов представляются нам не только преступными, но среди переживаемой смуты прямо безумными».

МИХАИЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
СТАХОВИЧ

М.А. Стахович был избран в II Государственную думу, которая оказалась еще более левой, чем ее предшественница. По разным причинам в ней не оказалось главных его соратников по Партии мирного обновления — ни графа Гейдена, ни князя Волконского, ни Николая Львова. И хотя формально во II Думу были выбраны еще два мирнообновленца (М.А. Искрицкий и Г.С. Константинов), Михаил Александрович отказался от создания фракции — в отличие от Гейдена он не имел вкуса к партийному руководству.

Основными оппонентами левых в новой Думе оказались уже не умеренные либералы вроде Гейдена или Волконского, а ультраправые националисты типа Пуришкевича и Крушевана — с такими «союзниками»

выступал не только в пользу умеренных либеральных реформ, но и против продолжающегося «революционного террора». Концовка его речи от 17 мая 1907 года оказалась пророческой: «Если Государственная Дума не осудит политических убийств, она совершит его над собою!» Действительно, в изданном 3 июня Высочайшем указе о роспуске II Думы прямо говорилось: «Уклонившись от осуждения убийств и насилий, Дума не оказала в деле водворения порядка нравственного содействия правительству».

В.А. Маклаков вспоминал о настроениях Михаила Александровича в тот период: «Стахович мне не раз повторял, что этот вопрос (о терроре. — А.К.) и теперь, наверное, будет поставлен и сделается испытанием Думы. Если 2-ая Дума, как Первая, от осуждения террора уклонится, она себя уничтожит. Ее не смогут после этого считать „государственным учреждением“; ее судьба этим решится. Когда и на чем ее распустят — не важно. Это будет вопросом лишь времени. Но приговор над нею будет произнесен, не откладывая. Я тогда плохо верил Стаховичу; думал, что он преувеличивает важность вопроса, который им самим был в Думе поставлен».

С роспуском II Думы думский опыт М.А. Стаховича закончился. С конца 1907-го и по 1917 год он заседал в верхней палате парламента — Государственном совете, куда регулярно избирался от орловского дворянства. После Февральской революции был назначен Временным правительством генерал-губернатором Финляндии, а в сентябре 1917-го — послом в Испанию. Вскоре после большевистского переворота в России он переехал на юг Франции, в городок Экс-ан-Прованс, где в 1923 году скончался.

После смерти Стаховича А.В. Тыркова вспоминала: «Временное правительство попыталось сделать из него дипломата, послало его в Мадрид. Он недолго оставался на этом живописном посту, купил на юге Франции ферму, как Лев Толстой, с которым он был очень близок, сам шел за плугом, опаживая свои виноградники. Он писал друзьям в Англию, что это счастливейшее время его жизни. Там, среди виноградников, он и умер».

Похоронен Михаил Александрович Стахович на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем.

ВЛАДИМИР
ДМИТРИЕВИЧ
КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ

«России нужны
не мстители за прошлое,
а организаторы
будущего...»

Владимир Дмитриевич Кузьмин-Караваев (1859–1927) по роду своей профессиональной деятельности (военный юрист) и признанию заслуг на этом поприще (генерал-майор) представляет собой нетипичную фигуру среди русских либералов. Тем не менее уже современники отдавали ему должное именно в этом качестве. В.Д. Кузьмин-Караваев родился в Тверской губернии, в деревне Борисково Бежецкого уезда, и принадлежал к старинному дворянскому роду, ведущему свое начало от новгородских посадников. С конца XV века Кузьмины-Караваевы — воеводы, стольники, стряпчие — нередко упоминаются в исторических документах. Впоследствии представители этой фамилии были успешны на воинской службе — в армии и флоте, участвовали во многих известных битвах XVIII–XIX веков и достигли высоких чинов. Среди них — Дмитрий Николаевич Кузьмин-Караваев (1818–1883), генерал от инфантерии, а также его братья — контр-адмиралы Николай (1820–1883) и Твердислав (1829–1885).

Владимир был одним из сыновей Д.Н. Кузьмина-Караваева, которые, продолжив семейную традицию, оставили свой след в анналах российской военной истории. Это Николай (1853–1892), генерал-майор, в 1880–1885 годах — воспитатель младших сыновей великого князя Михаила Николаевича; Дмитрий (1856–1950) — генерал от артиллерии, начальник Главного артиллерийского управления в 1905–1915 годах; Аглай (1864–1918) — генерал-лейтенант, начальник 1-й Донской и 1-й Кубанской казачьих дивизий.

Что же касается Владимира, то он приобрел известность прежде всего как публицист, общественный деятель и политик. Вместе с тем и его жизнь почти тридцать лет была связана с армией, а в период Русско-японской войны ему довелось провести несколько месяцев (с марта по сентябрь 1904 года) в Маньчжурии, исполняя обязанности председателя Военно-судной комиссии.

По окончании в 1878 году Пажеского корпуса В.Д. Кузьмин-Караваев служил в 7-й полевой конной батарее, затем — в гвардейской конно-артиллерийской бригаде. В 1880-м он поступил в Александровскую Военно-юридическую академию в Санкт-Петербурге, диплом которой в 1884 году

открыл ему дорогу для службы в столичном военном округе в качестве военного следователя. После защиты докторской диссертации (Характеристика общей части уложения и воинского устава о наказаниях. СПб., 1890) Кузьмин-Караваев расширил поле деятельности, вернувшись в Военно-юридическую академию уже в качестве профессора кафедры военно-уголовного права. Он читал также лекции в Николаевской академии Генерального штаба, на юридическом факультете Петербургского университета (1908–1917), Высших женских курсах Н.П. Раева в Петербурге (1909–1913). Член Международного союза криминалистов (с 1898 года), Кузьмин-Караваев пользовался авторитетом и среди зарубежных коллег.

Яркой страницей его биографии стала адвокатская деятельность. С конца 1905 года он — присяжный поверенный Петербургской судебной палаты, в 1908–1911 годах — член Совета присяжных поверенных. Всероссийскую популярность принесли ему выступления в качестве защитника на многочисленных политических процессах.

Служебные обязанности, насыщенную преподавательскую и адвокатскую работу Кузьмин-Караваев успешно совмещал с общественной деятельностью как в столице, так и у себя на родине, в Тверской губернии. С 1890 года он состоял в Юридическом обществе при Петербургском университете (в 1906-м избирался председателем Общества, а в 1906–1916 годах был заместителем председателя его административного отдела).

Конец 1890-х отмечен в судьбе Кузьмина-Караваева вступлением в ряды деятелей местного самоуправления. В 1897–1906 годах он — гласный бежецкого уездного и тверского губернского земских собраний, призывавший к господствовавшему в них либеральному крылу, стоявшему «за возможно большее развитие земской деятельности, направляемой ко благу массы населения». С 1903 года Кузьмин-Караваев — гласный Санкт-Петербургской городской думы (в 1915–1916 годах — товарищ председателя петроградского городского головы). В январе 1904-го, по требованию министра внутренних дел В.К. Плеве, он был вынужден сложить звание гласного тверского земства и Санкт-Петербургской городской думы.

Политические мотивы обусловили и его выход в отставку 30 сентября 1905 года. В мемуарах военного министра А.Ф. Редигера упоминаются обстоятельства этого события: «Он был большой либерал и в тверском земстве выступал с речами, не вязавшимися с военным мундиром, на что мне указал Государь. Я вызвал Кузьмина-Караваева и предложил ему подать в отставку. Он тотчас согласился и лишь просил отсрочки на один-два месяца, чтобы он мог получать полную пенсию, на что я дал согласие. Разговор шел в дружелюбном тоне; я ему выразил надежду, что не увижу его в рядах крайних партий, и он мне это обещал».

Наиболее ярким выражением общественно-политических взглядов Кузьмина-Караваева стала его публицистическая деятельность, стремительно развивавшаяся с конца 1890-х годов. В разное время он сотрудничал в «Вестнике права», «Северном курьере», «Военном голосе», «XX веке», «Молве», «Русских ведомостях», «Московском еженедельнике»,

«Руси», «Стране», «Запросах жизни» и др. В 1902–1905 годах Кузьмин-Караваев был одним из редакторов газеты «Право», с ноября 1905 года становится ведущим раздела общественно-политической хроники в журнале «Вестник Европы». Стремление Кузьмина-Караваева к просветительству нашло выражение в его сотрудничестве с такими изданиями, как «Новый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» (в 1911–1916 годах — редактор отдела уголовного права и один из авторов), «Политическая энциклопедия» (1906; редактор — Л.З. Слонимский).

Некоторые существенные черты характера и взгляды Кузьмина-Караваева отразились в его воспоминаниях о философе Владимире Сергеевиче Соловьеве. Они встретились в Петербурге в середине 1889 года. «Сошлись мы — люди, резко различные по воспитанию, привычкам и всему укладу жизни, — как-то очень скоро, — отмечал Кузьмин-Караваев. — На следующее лето, опять приехав в Петербург, Соловьев уже поселился в моей квартире. Так началась и продолжалась много лет наша совместная жизнь в течение летних месяцев».

Знаменателен еще один эпизод, который Кузьмин-Караваев приводит в мемуарном очерке: «К Владимиру Сергеевичу Соловьеву однажды обратился мало с ним знакомый собиратель автографов и попросил написать что-нибудь в альбом. Соловьев открыл первую страницу предисловия к своей „Истории и будущности теократии“ и выписал оттуда вступительную фразу: „Оправдать веру наших отцов, возведя ее на новую ступень разумного сознания; показать, как эта древняя вера, освобожденная от оков местного обособления и народного самолюбия, совпадает с вечною и вселенскою истиною — вот общая задача моего труда“. В этом состояла общая задача того труда покойного, которому он придавал наибольшее значение из всех своих работ... Это же составляло основную цель всей его жизни», — заключал друг философа.

Отмечая своеобразие В.С. Соловьева как человека и мыслителя, Кузьмин-Караваев в определенной мере представил и своего рода «самохарактеристику»: «Борец по натуре, учитель по складу ума, Владимир Сергеевич и в личных отношениях неуклонно и последовательно оправдывал веру отцов. Он не был проповедником... Он учил примером своей жизни... Основной чертой отношений Соловьева к людям была деятельная любовь к ним, независимо от их происхождения, веры, общественного и имущественного положения»; «противник узкого национализма, он соединил в себе веру разрозненных церквей». По словам Кузьмина-Караваева, «ценивший выше всего свободу и независимость своего духа», философ «никогда никому не навязывал своих взглядов... терпимый к чужим мнениям, поступкам и склонностям, к себе был чрезвычайно строг».

«Партийная обособленность также была ему неизвестна, — продолжает Кузьмин-Караваев свои воспоминания о В.С. Соловьеве. — Как в литературе, так и в жизни, Соловьев стоял вне наших делений на группы. В основе всех их лежит различие политических воззрений, а для него разница этих воззрений отступала на второй план. Первое место в его глазах

занимали вопросы религиозные. Религиозное „раскрепощение“ — его собственное выражение — Соловьев считал ближайшей практической задачей русской жизни. Как до отмены крепостного права, часто говорил он, все остальное, сравнительно с потребностью упразднения личного рабства, было ничтожно, так и в настоящий момент все интересы должны отступать перед требованием свободы вероисповеданий. Вот почему он примыкал к тем группам, на знамени которых стоит слово „свобода“, — ибо свобода политическая ведет к свободе религиозной». При всей очевидной близости жизненных позиций Кузьмина-Караваева и В.С. Соловьева, «различие их было в том, что один создавал теоретическую основу нравственной философии в концепциях „всеединства“, „богочеловечества“, учения о Софии, а другой, глубоко убежденный в гуманности этих идей, пытался следовать им в своей политической деятельности» (С.И. Сенин).

Откликаясь практически на все актуальные вопросы российской жизни, Кузьмин-Караваев уделял особое внимание проблемам народного образования и просвещения. Так, в 1900 году широкий резонанс получило его критическое выступление по поводу очередного — 33-го (!) — издания «Кратких очерков русской истории» Д.И. Иловайского — учебника для старших классов, в ту пору обязательного почти во всех средних учебных заведениях. Неожиданностью для Кузьмина-Караваева стали необычные, по его мнению, приметы стиля историка, покровительствуемого властью, — «сухость, искусственность системы и тенденциозность, всегда необоснованная, а местами — до смешного наивная».

Кузьмин-Караваев характеризовал как «опасное направление в школьной политике» расстановку акцентов в оценке Иловайским писателей и публицистов второй половины XIX века. Так, на примере «драматурга Островского» и «сатирика Салтыкова» Иловайский критиковал «реальное или собственно „пошлое“ направление» в литературе, якобы поощрявшее «грубые вкусы и нравы». Лев Толстой «был уличен» им в «неудачном философствовании и пропаганде противонационального направления». Как «заслуживающие внимания» среди публицистов в учебнике Иловайского были отмечены лишь М.Н. Катков, К.Н. Леонтьев, Ю.Ф. Самарин и Н.Я. Данилевский. В то же время «Вестнику Европы», «Русским ведомостям» и «Русской мысли» были предъявлены обвинения в «грубости и неуважении к личности», а идейная позиция этих изданий определялась как «легкомысленная», «несогласная с отечественным строем и русскими интересами». Про Белинского учебник Иловайского сообщал, что он, «к сожалению, не получил основательного образования»; про Герцена — что он «посвятил свое богатство и дарование на служение бессмысленному социализму»... Писатели-радикалы у Иловайского вообще «развивали те же черты нравственной распущенности, которые были порождены долгим господством крепостного права и весьма поверхностным образованием...».

По наблюдению Кузьмина-Караваева, у Иловайского «слова „лжелибералы“, „лжеучение“ пестрят чуть не на каждой странице... В области

«России нужны не мстители за прошлое, а организаторы будущего...»

внешних сношений Россия окружена сплошной завистью, коварством и трусостью. Никаких реальных интересов ни у одного государства, кроме России, нет...» Завершая обзор очередного издания Иловайского, Кузьмин-Караваев заключал: «Все приведенные мысли сами по себе, конечно, только курьезны. Г-н Иловайский может сколько ему угодно думать, что всякая не разделяемая им теория есть „лжеучение“, что призыв к добру и свободе и искание истины суть черты „нравственной распущенности“, что присяжные заседатели поощряют убийц, воров и мошенников, что поляков и евреев должно ненавидеть и т.д. Мало того, он может все это и печатать, как публицист или даже как „ученый“-историк. Кто хочет — пусть читает. Беды большой не будет: слишком уж несуразны его утверждения, чтобы взрослый человек принял их на веру. Но аудитория его — не взрослые люди, а дети и юноши. И не читают они его книгу, а учатся по ней. Не к смеху поэтому располагает ознакомление с его очерками русской истории, а невольно наталкивает на грустные мысли и тяжелые чувства».

По мнению В.Д. Кузьмина-Караваева, основные условия воспитания — это «полная гармония внутри школы и дружное взаимодействие со школой семьи». Он полагал, что «система г-на Иловайского» заведомо обречена на неуспех, поскольку «никакими мерами невозможно оградить ребенка или юношу от сторонних впечатлений» и навязать ему «единственно верные» убеждения. Для него было очевидно, что мнения Иловайского в большинстве случаев не могут разделять ни учителя, ни родители учащихся. В этом он видел угрозу «разлада в школе, разъединения ее с жизнью». Кузьмин-Караваев обращал внимание и на то, что Иловайским была нарушена одна из заповедей педагогики — необходимость крайней тщательности и осторожности в выборе средств для достижения того или иного результата в области психического воздействия на ребенка. А в результате, — приходил к выводу Кузьмин-Караваев, — «учащуюся молодежь упрекают, и не без основания, — что она, вместо ученья, занимается политикой. Кто же повинен в этом? Кто наталкивает ее на политику? Зачем г-н Иловайский вводит гимназистов в круг спорных текущих общественных и политических вопросов? Зачем он переносит в класс газетную полемику? Велика ответственность его за это „легкомыслие“ перед русским обществом».

Публикация Кузьмина-Караваева встретила сочувственный отклик на страницах ряда петербургских изданий. В свою очередь, против «травли в отношении профессора Иловайского со стороны воинствующего нигилизма» выступили «Московские ведомости». Газета В.А. Грингмута противопоставила утверждениям «„либеральных“ проповедников школьного нигилизма» собственное понимание принципа «единения школы и жизни», не имеющее ничего общего с «единением школы с житейским безобразием». «Если Россия, в вечной борьбе элементов жизни и смерти, остается жива, то благодаря торжеству положительных начал, то есть благодаря торжеству идей религии, любви к Отечеству, преданности Царю, уважения к знанию и т.д. Вот все это и должна развивать школа, чтобы

быть в единении с жизнью, а не в единении с разложением и смертью», — заключала редакция «Московских ведомостей». Газета обращалась с призывом «очистить школу от педагогов-отрицателей — и чем скорее, тем лучше»: «У государства есть своя, вечная, точка зрения на воспитание, свои более высокие интересы, и жертвовать ими в пользу модных взглядов горсти подданных не приходится; эти сыны века пошумят, намутят и уйдут с лица земли, а государство останется с судьбой своих подданных. И если из-за уступок временным требованиям общая государственная пряжа, начатая еще во времена седой старины и впоследствии имеющая быть продолженною, обнаружит внутри себя гнилые нити, которые будут не в силах скрепить предыдущие петли с последующими, кто будет тогда отвечать перед лицом народа и истории? Кто будет отвечать, как не государство, которому был вверен вековечный руль российско-православной культуры?»

В поддержку Кузьмина-Караваева в «его противостоянии со сторонниками мрака и застоя» выступила редакция «Вестника Европы» в лице основателя и главного редактора журнала М.М. Стасюлевича, чей голос в начавшейся дискуссии звучал наиболее авторитетно. Считавший своим призванием именно педагогику, Стасюлевич был автором учебных пособий, новаторских для своего времени и не утративших значимости до сих пор. Более тридцати лет занимаясь в Петербургской городской думе вопросами народного образования (из них десять лет, с 1890 по 1900 год, — на посту председателя Городской училищной комиссии), к началу XX века Стасюлевич вывел столицу на одну из передовых позиций в России по развитию начального образования. Он обращал внимание на характерные особенности позиции «Московских ведомостей»: «Прежде всего, газета перемещает предмет спора. Г-н Кузьмин-Караваев восстает против внесения политики в школу, а его обвиняют в желании заменить политику г-на Иловайского другою, проникнутою духом „воинствующего нигилизма“. Он доказывает, что учебник, поверхностно и односторонне освещающий лица, события, направления, не может не внести смуту в умы юношей, на каждом шагу встречающихся, вне школы, с совершенно иными взглядами; а ему приписывается мысль о необходимости перестроить преподавание в духе той или другой антиправительственной системы... Понятно, к чему клонится вся эта борьба с созданиями собственной фантазии. Опровержение противника — вопрос второстепенной важности; главное — дискредитировать его в глазах власти. Этой цели соответствуют и способы действия... Путем таких передержек и натяжек слагается мало-помалу обвинительный акт против г-на Кузьмина-Караваева. Ему недостает только прямо выраженного заключения, подводящего вину под действие карательного закона, — но между строками нетрудно прочесть и такое заключение».

Полемизируя с «Московскими ведомостями», редакция «Вестника Европы» представила свой взгляд на проблему освещения в учебнике событий новейшей истории. По мнению Стасюлевича, «важнейшие фак-

«России нужны не мстители за прошлое, а организаторы будущего...»

ты, сделавшиеся достоянием истории и не выходящие за пределы того момента, до которого доводится преподавание, должны, конечно, быть упомянуты в учебнике; но отсюда еще не следует, чтобы к ним должен был быть присоединен обзор явлений „современной жизни“. Так далеко не заходит даже историческая наука, область которой соприкасается, но не сливается с областью публицистики; тем обязательнее определенная граница для истории как предмета преподавания в средней школе. Скажем более: за немногими исключениями, не дело учебника — характеристика людей и событий, принадлежащих прошлому, но близко еще связанных с настоящим. Она не может быть ни достаточно беспристрастной, ни достаточно доказательной и полной; выставляемая в виде аксиомы, которую следует принять на веру и усвоить себе машинально, она этим самым вызывает в учениках сомнение или противоречие, легко находящее себе пищу во внешкольных впечатлениях». «Школа, особенно средняя, должна оставаться недоступной для политики», а «преподавание не должно превращаться в орудие партийной злобы», — такова была неизменная позиция Кузьмина-Караваева и членов редакторского круга журнала «Вестник Европы».

Во многом совпадали их взгляды и на правовые вопросы деятельности земств, взаимоотношений земства и администрации, многообразные нужды русского крестьянства. Журнал приветствовал выход в свет остро актуальной книги Кузьмина-Караваева «Земство и деревня» (СПб., 1904), составленной из статей, докладов и речей, написанных и произнесенных им в период с 1897 по 1904 год. «Идея земского самоуправления окрепла в последние годы, — отмечал Кузьмин-Караваев в предисловии к публикации. — За ней стоит громадный, колоссальный факт — сорокалетним опытом доказанное умение вести дело, готовность приносить личные силы и материальные средства на служение нуждам и пользам местного населения». Однако, по словам автора, данный факт так и не удостоился официального признания; напротив, государственная политика «выстраивалась» чаще всего вразрез с указанным процессом. В связи с этим Кузьмин-Караваев отмечал опасную тенденцию: усиление, начиная с 1890 года, вмешательства администрации в земскую жизнь, которое далеко выходило за пределы необходимого контроля. Он указывал на то, что с изданием закона 12 июня 1900 года о предельности земского обложения центральная роль в заведовании делами «о местных нуждах и пользах», по существу, перешла из рук земства в руки администрации, местной и центральной. Тем самым был нанесен ощутимый удар практической деятельности земства, «поскольку всякое начинание зависит от материальных средств».

Положение деревни бурно обсуждалось в ту пору не только в прессе, общественных организациях, но и в местных сельскохозяйственных комитетах, Особом совещании о нуждах сельскохозяйственной промышленности, а также в губернских совещаниях, призванных властью высказаться относительно пересмотра законодательства о крестьянах. Судьба земства

во многом зависела как от этого пересмотра, так и от административной реформы, подготовкой которой занималось Министерство внутренних дел. Какова должна быть общая идея, положенная в основу назревших реформ? Позиция Кузьмина-Караваева оставалась неизменной: для широкого развития русской жизни на началах самоуправления и свободы необходимо прежде всего поднятие правового уровня крестьянства и обеспечение самостоятельности земских учреждений. «Крестьянин — предмет. Столетия крепостного права приучили нас так смотреть на него и его так смотреть на себя. Он столетия был объектом мероприятий помещичьей власти, без прав, без имущества, без права думать о наилучшем устройстве своей жизни, но и без обязанности самому о себе заботиться, без обязанности жить не одной данной минутой, а заглядывая далеко вперед. Манифест 19 февраля объявил его человеком и тем открыл ему возможность человеком сделаться. Но чтобы он стал человеком, нужно было еще многое другое. Нужно было, чтобы прежний рабовладелец признал его лицом и чтобы он сам сознал себя личностью. Отсутствие этого сознания в крестьянстве и есть основная современная нужда сельской промышленности». Эта мысль пронизывала все выступления Кузьмина-Караваева, прямо или косвенно связанные с судьбой крестьянства.

Выдвигая на первый план «правовые нужды деревни» (название одной из статей упомянутого сборника), автор приходил к заключению, что «пока принимаемые государством экономические меры имеют перед собой не личность, сильную, активную, самостоятельную, а пассивный объект мероприятий, до тех пор решающего значения они иметь не могут». В условиях бесправия немыслимо также истинное просвещение народа, не сводимое к простой грамотности, настаивал Кузьмин-Караваев. Бесправие — почва для развития произвола на всех «уровнях»: в семье, общине, органах власти. Средство для смягчения и обуздания произвола фактически почти всемогущей местной судебной-административной власти он видел в организации так называемой земской адвокатуры. По мысли Кузьмина-Караваева, эта служба должна была оказывать деревне доступную юридическую помощь путем «привлечения к деятельности в уездах дипломированных присяжных или частных поверенных».

Современники отмечали особую ценность помещенных в книге Кузьмина-Караваева речей, произнесенных им в тверском губернском земском собрании. Так, К.К. Арсеньев, один из основателей и идеологов «Вестника Европы», указывал на то, что это был первый опыт публикации целого комплекса выступлений представителя земско-городской среды — исключительно важного источника для характеристики русского «делового» красноречия. Он обращал внимание на широкий диапазон тем, по которым Кузьмин-Караваев, как практикующий землец, высказывал свое мнение: от области земского хозяйства (дорожное, страховое, школьное дело, народное продовольствие и др.) до общих вопросов, выносимых правительством на обсуждение земских собраний (избирательный ценз, срок полномочий земских управ, вознаграждение гласных), а также возбужда-

«России нужны не мстители за прошлое, а организаторы будущего...»

емых самим земством (мелкая земская единица, отношение губернского земства к уездным и др.). По словам Арсеньева, отличительные черты этих речей — «сжатое, но по возможности всестороннее, исчерпывающее обсуждение данного вопроса, спокойный тон, постоянная забота о достоинстве и самостоятельности земства. Полемика, всегда оживленная, иногда горячая, остается свободной от личного элемента, от неуважения к противникам. Для оратора нет ничего неважного в земском деле: он вдается, когда нужно, в мелкие подробности».

Характерным примером позиции Кузьмина-Караваева по общим вопросам служит его речь о роли земства в продовольственном деле — своего рода отповедь тем, кто обвинял земство в нежелании оказывать содействие администрации. Поводом к выступлению послужило предложение тверского губернатора губернской управе принять участие в покупке и продаже хлеба и посевных семян для населения губернии в неурожайном 1902 году. Редакционная комиссия земского собрания высказалась за отклонение этого предложения на том основании, что в операциях, производимых земством, оно должно пользоваться полной самостоятельностью, что в данной ситуации невозможно. Во время прений один из гласных, опровергая мнение комиссии, воспользовался пущенным до него в оборот сравнением неурожая с пожаром и воскликнул: «Да, пожар есть, и для тушения его у нас существует две пожарные команды, но вместо того чтобы тушить пожар, они занимаются пререканиями». «Нельзя сказать, — возразил Кузьмин-Караваев, — что у нас есть две команды, призванные тушить пожар. Вернее было бы сказать, что одна команда призвана заботиться о тушении пожара, а другая команда — предупредительная: на обязанности ее лежит страховое дело — предупреждение пожарных убытков. Первое учреждение — губернский продовольственный комитет, второе — земство. Заведование продовольственным делом передано в руки комитета, за земством же оставлена забота об экономическом благосостоянии населения, т.е. о принятии мер, которые должны возместить пожарные убытки — поддержать хозяйство населения для будущего... Земская деятельность только тогда может давать плодотворные результаты, когда мы не являемся второй пожарной командой, так как нельзя допустить, чтобы в одном деле было два хозяина: один — орган, действующий на началах бюрократических, другой — орган, действующий на началах самоуправления». Как отмечалось на страницах «Вестника Европы», «более удачного ответа на опасный упрек нельзя себе и представить. Оставшись в силе, сравнение с двумя пожарными командами могло обратиться в обвинительный акт против земства, способного из-за пререканий с администрацией забыть о вопиющей нужде населения».

О том, как трактовал Кузьмин-Караваев важный для него принцип самостоятельности земства, дает представление его речь в тверском губернском земском собрании, посвященная фиксации земского обложения. «Самостоятельность земских учреждений трактуется обыкновенно как их право, как их привилегия, и с этой только стороны вопрос оценивается.

Глубокое заблуждение! — восклицал он. — Права общественного учреждения суть в то же время и его обязанности. Начало самостоятельности, положенное в основу закона 1 января 1864 года, возлагало на земство тяжёлую обязанность и громадную ответственность. Если я должен решить данный вопрос и если я знаю, что мое решение — окончательное, в таком случае я напрягаю все свои силы для наилучшего решения. Но если я знаю, что надо мной стоит другая инстанция, которая вопрос будет пересматривать и перерешать, то я отнесусь к решению более легко». Указывая на огромную важность создания в земском собрании настроения, которое «покойлось бы на сознании гласными своей самостоятельности, самостоятельности, на сознании ответственности, не проблематической судебной, а самой реальной: перед населением», Кузьмин-Караваев полагал, что начиная с принятия Положения 1890 года власть, напротив, создавала возможности для земцев «свалить с себя дело, отдать его в другие руки», что вызывало его горячий протест как юриста и общественного деятеля.

Редакция «Вестника Европы», в целом разделяя взгляды Кузьмина-Караваева, расходилась с ним по некоторым вопросам. В частности, соратники по-разному представляли себе будущность идеи мелкой земской единицы в России. Журнал Стасюлевича, подобно многим либеральным изданиям той поры, считал необходимым создание целостной системы местного самоуправления, сближение на этой основе интеллигенции и крестьянства. Поводом для дискуссии послужила речь Кузьмина-Караваева в тверском губернском земском собрании 19 ноября 1901 года, в которой он высказался против возбуждения перед правительством ходатайства об образовании новой, меньшей, чем уезд, земской единицы. В развернувшейся полемике его сторону приняли такие видные земцы, как Д.Н. Шипов, Н.Н. Хмелев и др., которые также считали рискованным передавать земское дело в руки крестьян, мотивировали свою позицию недостаточным уровнем развития крестьянства, невежественностью крестьянской массы.

Признавая, что «известное приближение управления местностью к ней самой и к ее населению необходимо», Кузьмин-Караваев в то же время предупреждал о возможных ошибках при решении проблемы. «Беда большая, когда орган управления далек от населения; но беда не меньшая, когда орган управления слишком близок, — указывал он. — Беда не меньшая потому, что в этом последнем случае приобретают исключительное значение мелкие интересы, интересы сегодняшнего дня, интересы такого-то участка, интересы своей колокольни, как говорится. Когда же орган управления находится дальше от населения, то лица управляющие получают возможность смотреть издали. Не будучи непосредственно, лично заинтересованными, эти лица имеют возможность более отвлеченно смотреть на каждый вопрос, и потребности непосредственные, сегодняшнего дня, не будут в их глазах заслонять потребностей будущего, более или менее отдаленного». Оратор приходил к выводу о том, что организация «нижней земской единицы» возможна только при достаточно высо-

«России нужны не мстители за прошлое, а организаторы будущего...»

ком уровне культуры населения. В этом смысле показательным он считал западный опыт (в США, некоторых местностях Германии, Финляндии). В противном случае, предупреждал Кузьмин-Караваев, «создание низшей земской единицы будет учреждением, в настоящее время вредным... будет или диктатура одного над массой — массой некультурной, не сознающей своих прав, — или эта масса в конце концов задавит всякое культурное начинание земства, не даст возможности осуществления своих идеалов тем лицам, которые стоят выше ее».

Кузьмин-Караваев не видел «практической почвы» для постановки данного вопроса в России еще и потому, что откровенно «антиземский» курс государственной политики, наметившийся в начале 1880-х годов, и спустя двадцать лет оставался прежним. Оратор называл его проводником публицистов, которые, выступая за дальнейшее ограничение местного самоуправления, использовали идею мелкой земской единицы лишь как своего рода «прикрытие» в борьбе против якобы «оторванности губернского земства от населения». При этом, свидетельствовал Кузьмин-Караваев, «они сознают превосходно, что эта мелкая земская единица даст в результате регресс земской деятельности».

Убедительные доводы были представлены докладчиком и в ответ на возражения искренних земцев, выступивших на собрании за провозглашение «права каждого плательщика на свободное, широкое участие в удовлетворении своих потребностей» (И.И. Петрункевич), а также пытавшихся «уличить» Кузьмина-Караваева в непонимании значения политического воспитания масс (А.М. Колубакин). Разделяя мнение о том, что «воспитывать может только практическая деятельность», он в очередной раз призывал их считаться с реальными условиями, выражая сомнение в возможности достижения «нормальных результатов» путем «включения в общее малоправное положение крестьян права на самоопределение в одной тесной области».

Спустя год, выступая в земском собрании по тому же вопросу, Кузьмин-Караваев несколько смягчил свою позицию. На этот раз его возражения против мелкой земской единицы сводились главным образом к опасению, что заботы о ее устройстве могут оттеснить на задний план другие важные проблемы, привести к тому, что «общественная мысль успокоится и невольно остановится на том, что отныне земская деятельность может развиваться беспрепятственно и крестьянская жизнь будет идти лучше». Однако, по словам К.К. Арсеньева, «не в таких розовых мечтах следует искать руководящую мысль защитников мелкой земской единицы». Выражая мнение членов редакции «Вестника Европы», он, в свою очередь, заявлял, что «они вовсе не придают этой идее значения панацеи, вовсе не ожидают от нее одной обновления сельской жизни; они видят в ней только составную часть крупного дела, но часть настолько важную, что некоторые хорошие результаты она может принести даже сама по себе, отдельно от всего остального». При этом Арсеньев особо подчеркивал, что «имеется в виду не всякая мелкая организация, а только такая, которая

соединяла бы в себе все существенные черты истинно земской единицы (всесословность, самообложение, самоуправление)».

Несмотря на особую позицию по ряду вопросов, Кузьмин-Караваев стал одним из лидеров земско-либерального движения начала XX века. В январе 1902 года вместе с другими «староземцами» он выступил на страницах журнала «Освобождение» с заявлением о приверженности тактике исключительно легальной деятельности: «Как раньше, так и теперь мы остались противниками всякого насилия, откуда бы оно ни исходило, сверху или снизу. Поэтому мы намерены в земстве и через земство действовать путем распространения и уяснения наших идей и организации сплоченной партии, стремящейся к осуществлению этих идей, будучи убеждены, что ясное сознание и твердо выраженное требование общественного мнения есть такая сила, с которой принуждено будет считаться и правительство». В условиях последующего нарастания революции Кузьмин-Караваев, продолжая обличать административный произвол, вместе с тем осуждал забастовки и вооруженные восстания. По его убеждению, эти средства борьбы в условиях подавляющего военного превосходства правительства ведут лишь к бессмысленным жертвам среди населения, развязывают руки сторонникам правительственного террора.

Член Союза земцев-конституционалистов, Кузьмин-Караваев в 1904–1905 годах занял влиятельное положение на частных совещаниях и земских съездах, солидаризируясь с их конституционным крылом. Сторонник введения в России «ограниченной монархии», он приветствовал издание Высочайшего рескрипта 18 февраля 1905 года, предписывавшего министру внутренних дел А.Г. Булыгину приступить к разработке закона о созыве выборного представительного учреждения, наделенного законосовещательными правами. Ведя активную полемику с защитниками идеи Учредительного собрания и установления в России республиканской формы правления, Кузьмин-Караваев подготовил собственный проект создания Государственной думы.

Противник немедленного введения принципа всеобщей, равной и прямой подачи голосов, он считал, что этому должен предшествовать определенный подготовительный этап, предполагающий «политическую агитацию, образование партий и долгую предвыборную борьбу» в условиях, свободных от вмешательства властей. Кузьмин-Караваев предлагал для проведения первых выборов в Государственную думу разработать временные правила, использовать уже существующие учреждения, не заменяя их пока другими, т.е. предоставить производство выборов уездным земским собраниям и некоторым городским думам (в крупных культурных и промышленных центрах), а также рабочим (в больших городах и фабрично-заводских центрах вне городов). Он убеждал, что ограничения пассивного избирательного права должны быть только территориальные, а не сословные или групповые (крестьянами, например, мог быть избран и не крестьянин, рабочими — не рабочий), считал необоснованным особое представительство в Думе от обществ и корпораций, Русской православ-

«России нужны не мстители за прошлое, а организаторы будущего...»

ной церкви и «иноверных» религиозных общин. Сторонник повсеместного введения самоуправления, Кузьмин-Караваев считал необходимым, не дожидаясь осуществления этой меры, привлечь в состав народного представительства выборных не только от земских, но и от всех неземских губерний. Не допуская ограничений избирательного права по религиозному или национальному признаку, он стоял за национальную группировку в Думе представителей окраин Российской империи, поскольку положение этих территорий, по его словам, «настолько исключительно, что строго объективного отношения к общегосударственным вопросам со стороны присланных ими представителей ожидать невозможно. Каждый вопрос они будут оценивать под углом зрения национальных, или религиозных, или местных интересов, для каждой народности, каждого вероисповедания и каждой местности отличных... Для поляка, еврея, армянина доминирующее значение имеет не государственный строй, а вопросы языка, национальных правоограничений и религиозных стеснений».

Позиция Кузьмина-Караваева по вопросу о том, каким быть органу народного представительства в России, послужила поводом к очередной общественной дискуссии. «В общем и главном» его предложения были поддержаны на страницах журнала «Вестник Европы», который также стремился проводить среднюю «линию» между крайними мнениями: с одной стороны — приверженцев «абсолютного застоя или решительного регресса», с другой — защитников принципа всеобщей, равной, прямой и тайной подачи голосов, предлагавших рассматривать этот принцип «не как идеал, к которому следует стремиться, а как требование настоящей минуты». «Все искренние друзья прогрессивного движения согласны в том, что для успеха выборов, возвещенных Высочайшим рескриптом 18 февраля, необходима свобода печати и собраний, необходима неприкосновенность личности и жилища, необходима политическая амнистия; но ведь нужно же считаться с действительностью, нужно помнить, что сбывается не все желаемое... нужно, следовательно, задать себе вопрос: при каком способе голосования меньше принесут вреда стеснения разного рода? Ответ на этот вопрос едва ли может послужить аргументом в пользу всеобщей и прямой подачи голосов», — считала редакция журнала.

Закономерной была радость Кузьмина-Караваева по поводу подписания царем Манифеста 17 октября 1905 года. «Пало бесправие общественное. Перед русским народом раскрылось новое поприще свободного общественного служения — труда в обществе и во имя общества. Царь разделил с народом бремя власти. На народ перешло бремя ответственности», — откликнулся он на это событие в газете «Русь». Наблюдая стремительное «разбегание» политических сил по партийным «квартирам», публицист предвидел опасные последствия раздробления освободительного движения, усиления радикализма. Негативно оценивая дрейф руководства «Союза 17 октября» «вправо», Кузьмин-Караваев и его сподвижники из редакторского круга «Вестника Европы» в то же время не видели для себя возможности «слияния» с наиболее близкой им Конституционно-демо-

кратической партией. В программе кадетов отсутствовала определенность и в решении аграрно-крестьянского вопроса, и в решении проблем национально-государственного устройства. Кроме того, камнем преткновения в отношениях с соратниками П.Н. Милюкова стало нежелание последних открыто осудить тактику революционного террора. В результате по инициативе А.С. Посникова и К.К. Арсеньева на базе журнала была образована Партия демократических реформ (ПДР). Заняв (хотя и условно) «срединную» позицию между кадетами и октябристами, она обозначила центристское течение в русском либерализме начала XX века. Наиболее заметными его представителями стали впоследствии Партия мирного обновления и Партия прогрессистов.

Весной 1906 года, в период избирательной кампании в I Государственную думу, лидеры «декреформаторов» пропагандировали свои идеи. Выступая на одном из предвыборных собраний в Петербурге, Кузьмин-Караваев, член центрального бюро ПДР, разъяснял, в частности, особое значение аграрного вопроса для России («ввиду преобладания в стране массы крестьянского населения»), а также его сложность («при существующих у нас условиях малоземелья, отсталости сельского хозяйства в техническом отношении, отсутствия народной самодеятельности, периодически повторяющихся голодовок и др.»). Аграрный вопрос, по его словам, представлял собой «частицу колоссального крестьянского вопроса, разрешение которого гораздо сложнее и важнее рабочего», поскольку «крестьян в России 80 млн, а рабочих — 4 млн». «При этом, — подчеркивал оратор, — крестьяне страдают не только от отсутствия денежного капитала, но и морально, и нравственно. Они не только голодны, но и бесправны, невежественны, забиты и совершенно обезличены». Отсюда, по его убеждению, по-прежнему насущной оставалась задача «вытравить из общественного сознания веками рабства и бесправия внедрившиеся в нем понятия о „мужике и барине“ и заменить их новым, широким понятием о едином гражданине великой земли русской».

Развивая мысль о необходимости создания таких условий, «при которых крестьянин мог бы использовать свой труд — если не полностью, то хотя бы в размерах, обеспечивающих населению достаточное пропитание», Кузьмин-Караваев поддерживал идею ПДР о неизбежности и закономерности «в видах государственной и общественной пользы» отчуждения части частновладельческих и монастырских земель «за справедливое вознаграждение». Он особо подчеркивал, что реализация данного принципа не означает, однако, полного уничтожения частной земельной собственности: «...напротив, по программе партии, должна остаться нетронутой вся мелкая частная земельная собственность (до 100 десятин) и, кроме того, все культурные хозяйства, польза сохранения которых будет признана особым законом; независимо от этого и из других частных земельных владений, не превышающих особо устанавливаемых для каждой местности высших предельных размеров, за счет которых предполагается образование государственного земельного фонда, долж-

«России нужны не мстители за прошлое, а организаторы будущего...»

ны сохраниться в частной собственности все земли, которые не окажутся безусловно необходимыми для немедленного наделения безземельных и малоземельных групп местного населения». «Частная собственность необходима для развития культуры, но государство должно иметь право отчуждать земельную собственность (крупную) в пользу крестьян», — подчеркивал Кузьмин-Караваев. Критикуя аграрные проекты социалистов, он, в частности, указывал на «неосновательность» эсеровской программы, поскольку «недостаточно увеличить землевладение у крестьян, необходимо развить сознание среди крестьянства».

Поборник «внутреннего единства и внешнего могущества России», Кузьмин-Караваев не раз давал объяснения и относительно того, что понимала ПДР под автономным устройством Царства Польского и особой формой государственного единения Российской империи с Великим княжеством Финляндским. Ограничиваясь общим определением понятия автономии как «местного самоуправления, права издания местных законов, касающихся исключительно местных нужд края», «декреформаторы» полагали, что более точное ограничение сферы местного законодательства должно быть предоставлено Государственной думе, а затем — закреплено в конституции. Что же касается Финляндии, то ПДР относилась к этому княжеству как к самостоятельному государству, имеющему особое политическое устройство, независимое от общеимперского правительства, и лишь связанному с империей личной унией в лице Государя, являющегося также Верховным правителем княжества. Кузьмин-Караваев считал неубедительными доводы как в пользу политического объединения империи с княжеством, так и призывы («в видах последовательности») в случае сохранения особого положения Финляндии «даровать самостоятельное государственное бытие также и всем другим окраинам». По его мнению, подобные инициативы противоречили логике исторического развития страны и никак не были связаны с реальной ситуацией. «Несправедливо была уничтожена Новгородская республика, но восстанавливать ее теперь, когда даже память о ней исчезла среди населения, значило бы заниматься археологией», — для пущей наглядности иллюстрировал Кузьмин-Караваев свою мысль ссылкой на известный исторический факт. Тут же перекидывая «мостик» из глубин прошлого в современность, он констатировал: «Не то в Царстве Польском и еще более в Финляндии. Если не дать Польше автономии, то язык края и все другие культурные особенности его национального строя и быта могут исчезнуть бесследно, местное же население будет страдать под гнетом управления чужеземцев. Но дарование автономного областного устройства вполне удовлетворит всем этим культурным стремлениям, и федеративного устройства политической связи Польши с Империей не нужно».

«Оттеняя» ситуацию с Финляндией, Кузьмин-Караваев обращал внимание на то, что она, сравнительно поздно (в 1809 году) войдя в состав Империи, продолжала и в начале XX века сохранять особую государственную организацию («не говоря уже о той национальной культуре, которой

добилась у себя эта маленькая страна»). «Насильственно присоединять поэтому княжество к России, в надежде, что и Россия быстро пойдет по новому пути к достижению культуры, было бы поэтому и несправедливо, и нецелесообразно», — резюмировал Кузьмин-Караваев мнение «депре-форматоров».

В марте 1906 года он был избран депутатом I Государственной думы от Тверской губернии. Благодаря репутации крупного общественного деятеля и ораторскому дарованию его выступления на заседаниях нижней палаты (96 раз) становились заметным явлением. Подчеркивая значительность фигуры Кузьмина-Караваева-парламентария, видный кадетский деятель В.А. Оболенский вспоминал: «Чрезвычайно живописен был на трибуне этот красивый, сравнительно молодой генерал с густыми серебряными эполетами, когда он выступал с речами, осуждавшими политику правительства. Либеральные генералы бывали еще в царствование Александра II, но затем постепенно вымерли, и Кузьмин-Караваев был своего рода уникалом». Личный авторитет, глубокий профессионализм и жизненный опыт обеспечивали также влияние на депутатский корпус и его «однопартийцев» — прежде всего М.М. Ковалевского, знатока истории и практики западного парламентаризма, а также кн. С.Д. Урусова, в недавнем прошлом — губернатора и товарища министра внутренних дел.

«Русская Дума не имела тогда абсолютно никакого опыта, — вспоминал Кузьмин-Караваев. — Ей был дан закон, по нормам которого она должна была действовать. Но в чем была сильная и в чем была слабая сторона этих норм — она не знала. Она была охвачена болезненно-нетерпливой жадой законодательного творчества. Но как творить право и в чем состоит законодательная техника — подавляющее большинство членов Думы совершенно себе не представляло». В этой ситуации Кузьмин-Караваев и Ковалевский выступали с кафедры юного русского парламента зачастую в роли депутатов-учителей, расставляя необходимые, на их взгляд, акценты в стратегии и тактике Думы. Сторонники исключительно «мирного обновления», они солидаризировались в этом с гр. П.А. Гейденем, вокруг которого вскоре сложилась одноименная партия. Вместе они критиковали кадетов за непоследовательность в вопросах тактики, склонность к партийной диктатуре, неуважение к чужому мнению (в связи с чем предлагали обеспечить в законодательном порядке права политических меньшинств). При этом Кузьмин-Караваев подчеркивал: «Мы отмечали неправильность приемов Конституционно-демократической партии в Думе отнюдь не в целях дискредитации принципов, на которых объединились вошедшие в ее состав лица. Эти принципы... дороги нам не меньше. Но именно потому мы и желали бы, чтобы средства их проведения были безупречны, ибо в безупречности средств парламентской борьбы — один из вернейших законов ее успеха».

В I Думе Кузьмин-Караваев был основным докладчиком по законопроекту об отмене смертной казни (первый опыт законодательной деятельности нижней палаты). Призывая власть руководствоваться «только до-

«России нужны не мстители за прошлое, а организаторы будущего...»

водами спокойного, холодного рассудка», он не раз высказывал с трибуны Таврического дворца свое однозначное мнение: смертная казнь должна быть немедленно отменена. «Нельзя, убивая человека по суду, ставить вопрос: за что? — убеждал депутат-юрист, отвергая упреки в „сентиментализме“, — а надо ставить вопрос: зачем? И когда вы поставите так вопрос, то вам станет ясна вся ненужность кары смертью... В смертной казни всего отвратительнее кровавая мстительность. В ней всего ужаснее бесповоротность». «Разве современное государство так слабо, что оно должно прибегнуть к этому средству? — обращался он к народным избранникам, по сути, с риторическим вопросом. — Разве в его распоряжении нет тюрем, нет органов исполнительной власти, нет всего того механизма, который может обезвредить человека и не лишая жизни».

Кузьмин-Караваев считал «глубоким заблуждением» точку зрения, согласно которой «смертная казнь может прекратить политические убийства». В этой связи он обращал внимание на коренное отличие политических убийств периода революции 1905–1907 годов от подобного явления прошлых десятилетий. По его словам, если в 1860-е — начале 1880-х политические убийства представляли собой «отдельные спорадические случаи», то «убийства, которые сейчас совершаются, представляют собой явления иного порядка»: «Когда убивают городских, когда убивают солдата, стоящего на посту, когда стреляют и бросают бомбы дети, гимназисты, тогда нельзя не признать, что мы стоим пред явлением эпидемическим, пред формой массового психоза. Как бывают эпидемии самоубийства, так бывают эпидемии убийств. И если нецелесообразно бороться смертной казнью против холодных, рассчитанных, обдуманных убийств, то бороться смертной казнью против той крови, которая проливается в силу эпидемии, охватившей страну, — вдвойне нецелесообразно. Между тем вот на эту-то кровь ответом и служат сплошные смертные казни».

Вопреиме, рассуждая о причинах революции 1905–1907 годов, Кузьмин-Караваев считал «близоруким взглядом» объяснение социальных взрывов действиями революционеров, результатом их агитации: «Везде в мире существуют теоретические и практические анархисты... однако революция там не совершается в настоящее время. С другой стороны, история нам показывает, что никогда революция не была вызвана искусственно... Революцию совершают прежде идеи, а лишь потом — действия». В этом депутат-юрист видел еще одно доказательство абсолютной нецелесообразности лишения жизни как приема «устрашения». Задаваясь вопросом «Можно ли с идеей бороться смертью, можно ли, убивая людей, искоренять идеи?», он заявлял: «Неужели не ясно, что получаются всегда неизбежно обратные результаты, что от этого негодного средства искоренения идей они получают все бóльшую и бóльшую силу, все более и более крепнут, все более и более увеличивается число их адептов? <...> Того, кто идет на политическое убийство, угроза сурового наказания не способна остановить, поскольку в его сознании создается представление о мученичестве, он делается героем в своих глазах».

Вводя обсуждаемую проблему в контекст всеобщей истории, Кузьмин-Караваев сообщал депутатам, что уже с конца XVIII века «смертная казнь является в кодексах и в науке институтом вымирающим», а в начале XX века она уже представляла собой единичное явление. Что касается России, то, по словам оратора, здесь в конце XVIII века также «был проблеск в пользу отмены смертной казни; смертная казнь за общие преступления была даже формально отменена. Но эта отмена имела бумажный характер и в жизнь не вошла». «А в результате, — авторитетно заявлял он с думской трибуны, — ни в одном цивилизованном государстве нет такой широкой постановки смертной казни в данную минуту, как именно в России». Несмотря на сложившуюся ситуацию, Кузьмин-Караваев обращал внимание на ряд моментов, благоприятных для отмены смертной казни в России. Это прежде всего «укорененность» в общественном сознании идеи неприятия этой кары. Оратор отмечал и немалый вклад отечественных специалистов по уголовному праву, философов (в том числе В.С. Соловьева) в углубление данной культурной традиции.

Указывая на безотлагательность обсуждаемой меры («С декабря 1905 года в России — не убито при вооруженном сопротивлении, нет, — но расстреляно, повешено и лишено жизни самым ужасным способом, без суда или по судебным приговорам, более 600 человек»), он выступил с критикой «старого бюрократического принципа» — «сперва успокоение, а потом реформы» — как абсолютно нелогичного: «Ведь когда движение ведется во имя реформ, то как же можно сказать, что вот вы успокойтесь, не ждите реформ, не желайте их, — и тогда вам их дадут! Ведь это же совершенный абсурд! То же самое и по отношению к смертной казни, — настаивал Кузьмин-Караваев. — Не политические убийства являются причиной, а казнь — следствием, а как раз наоборот, политические убийства вызываются безудержным применением смертной казни». Отсюда закономерен его призыв к верховной власти взять на себя инициативу в решении данного вопроса: «Сохраняя за собою право на кровожадное мщение, государство поддерживает те же кровожадные инстинкты, развитые в обществе... Государство должно знать и помнить каждую минуту, что его определения имеют воспитательное значение для всего общества... Государство не может и не имеет права идти за цивилизацией, оно должно идти впереди граждан, ведя их к праву, правде и свободе», — обозначал он единственно верный, на его взгляд, путь «государственного корабля». Заключительные слова думской речи Кузьмина-Караваева, произнесенной 19 июня 1906 года и содержавшей призыв к отмене смертной казни, были встречены, согласно стенограмме, «громом аплодисментов».

Настаивая на упорной, последовательной работе депутатов, направленной к «торжеству правды» («не для того, чтобы получать деньги, собрались мы сюда»), Кузьмин-Караваев не раз пытался убедить народных избранников в том, что «быстрота работы отнюдь не должна идти в ущерб ее правильности и основательности». Он обращал внимание на объективные трудности законодательной деятельности, требующей профес-

«России нужны не мстители за прошлое, а организаторы будущего...»

сионализма и тщательности: «Всякий конституционный механизм есть механизм чрезвычайно сложный, и приводить его в быстрое движение не представляется возможным». Кроме того, депутат-юрист подчеркивал исключительную сложность российских проблем. В частности, он призывал запастись терпением при «продвижении» законопроекта о неприкосновенности личности, поскольку работа над ним требует не только отменить отдельные «наслоения» в законах, но подвергнуть коренной реконструкции «целые кодексы». Показательна и реакция Кузьмина-Караваева на «нестыковки» в выступлении кадетского оратора Е.Н. Щепкина: «Его заботы — улучшить бытовое положение нижних воинских чинов в сухопутной армии и флоте. А он предлагает установить такой закон, чтобы воинская повинность отправлялась на началах или условиях справедливости и права. Отправление воинской повинности — одно, бытовые условия военной службы — другое, дисциплинарные отношения, на которых покоится все войско, — третье», — обозначал многогранность проблемы оппонент Щепкина. Вывод Кузьмина-Караваева сводился к тому, что необходимо подходить с «наибольшей осторожностью и точностью» к «чрезвычайно важному» вопросу о том, стоит или нет затрагивать в ответном адресе Думы проблемы армии. «Не случайно — подчеркивал он, — специальная комиссия, занимавшаяся подготовкой упомянутого документа, ответила на данный вопрос отрицательно».

В ходе работы I Думы Кузьмин-Караваев еще более убедился в многотрудности решения проблем русской деревни. По его свидетельству, прения по аграрному вопросу показали, что Дума единодушно отнеслась только к одному: принципу принудительного отчуждения частновладельческих земель в пользу крестьян и вообще лиц, обрабатывающих землю личным трудом. Преобладающее большинство депутатов признало также необходимость выработки общих начал аграрно-крестьянской реформы для всего государства. Что же касается конкретного содержания назревших преобразований в сфере земельных отношений, то здесь обнаружился широкий разброс мнений. По замечанию Кузьмина-Караваева, «оказалось, что идея образования государственного земельного запаса далеко не так популярна, как можно было ранее думать». Признавая необходимость дальнейшего углубленного изучения проблемы, Кузьмин-Караваев в заседании 15 мая 1906 года выступил против ускоренного «продвижения» в Думе кадетского аграрного законопроекта за подписью 42-х депутатов. Он предложил продолжить прения и более ответственно подойти к избранию членов аграрной комиссии.

В думских дебатах Кузьмин-Караваев еще не раз выступал в роли своего рода «модератора», своим экспертным мнением нередко оказывая влияние на ход дискуссий. Еще в первой министерской декларации (13 мая 1906 года), обращенной к органу народного представительства, он увидел опасную тенденцию со стороны власти — дискредитировать Государственную думу, поколебать ее авторитет: «Высшее законодательное учреждение, образованное из представителей народа, единственное,

которое пользуется авторитетом, выслушало, что разрешение земельного вопроса так, как оно находит нужным, „безусловно недопустимо“. Народные представители выслушали совет: „Помогайте органам исполнительной власти в их ответственном деле — внести в страну успокоение“. Как следующий шаг в том же направлении он охарактеризовал правительственное сообщение по аграрному вопросу от 20 июня 1906 года: в нем указывалось, что принудительное отчуждение земли вредно для самих крестьян, а также сообщалось о внесении в Думу правительственных законопроектов о реформе крестьянского землевладения (впоследствии реализованных в ходе аграрной реформы Столыпина). По словам Кузьмина-Караваева, выраженная в документе «тенденция» подчинить законодательную власть исполнительной привела его, человека уравновешенного, «в состояние бешенства»: «В конституционном государстве министерство противопоставляет Монарха народному представительству, волю Монарха и его заботы противопоставляет воле и заботам народа в лице его представителей! Ведь это такое дикое непонимание, которое может быть свойственно только людям абсолютно невежественным!» Однако Кузьмин-Караваев был убежден, что дело здесь не только в «непонимании» ситуации «верхами». По его словам, авторы правительственного сообщения наносили целенаправленные «удары» по Думе, применяя «абсолютно недопустимый прием» — полемику с органом народного представительства от имени Монарха, рассчитанную на крестьянские массы: «Они пишут: пусть Государственная дума говорит что ей угодно, а решение земельной нужды придет к вам, но только не от Государственной думы». В такой постановке вопроса Кузьмин-Караваев видел «прямой вызов к восстанию», поскольку «после прочтения сообщения невольно возникает среди крестьян вопрос: зачем же существует Государственная дума?», логическим следствием которого может явиться требование ее ниспровержения. В этой связи закономерной была его характеристика правительственного сообщения 20 июня как «провокации» со стороны верховной власти.

Судя по всему, в ситуации резко обострившегося противостояния между I Думой и Советом министров разрешение конфликта путем формирования правительства с участием лидеров либеральной оппозиции (о чем велись переговоры представителей высшей бюрократии с общественными деятелями) было тогда уже маловероятным. Что касается Кузьмина-Караваева, то его имя (как одного из возможных претендентов на пост министра юстиции) еще во второй половине июня 1906 года упоминалось в списке «министерства доверия», составленном Д.Ф. Треповым.

Однако сам Кузьмин-Караваев уже не рассматривал всерьез данную перспективу. Он не испытывал иллюзий по поводу успеха «либерально-умеренного министерства». По его мнению, вхождение отдельных либеральных политиков в обновленное правительство, как это предусматривалось Столыпиным, не могло повлиять на ход государственного управления. «Я не возлагаю больших надежд на министров из кадет. Хуже, конечно, не будет, но чтобы наступило существенное успокоение — весь-

«России нужны не мстители за прошлое, а организаторы будущего...»

ма сомнительно», — делился он мыслями со Стасюлевичем в письме от 30 июня 1906 года. Пессимистично оценивал Кузьмин-Караваев и способности властей к адекватной реакции, хотя и продолжал предостерегать «верхи» от разгона Думы, предрекая в противном случае усиление лево-радикальных элементов. Примечателен тот факт, что царю понравилось содержание «Общественной хроники» в майской и июньской книжках «Вестника Европы» за 1906 год, где содержалось указанное предупреждение. «Хроникой „Вестника Европы“ заинтересовались высочайшие люди, — писал Кузьмин-Караваев, автор упомянутой публикации, Стасюлевичу. — Что же? Пусть читают и хоть когда-нибудь прозреют. Боюсь, впрочем, что уже поздно прозревать. Все показывает, что дела обстоят до дивности скверно».

Единственным актом противодействия «бесконечно вредным последствиям» от «распубликования» министерской декларации 20 июня 1906 года Кузьмин-Караваев считал выработку своего рода «контрсообщения» от лица Государственной думы. Отвечая депутату-кадету Л.И. Петражицкому, назвавшему данную инициативу «крайне рискованной», Кузьмин-Караваев предложил народным избранникам учитывать уникальность переживаемого момента, когда «необходимость заставляет отступать от теории». По его словам, главным побуждением Думы к тому, чтобы напрямую обратиться к народу, должен был служить ее нравственный авторитет у населения, в массе своей «идейно-анархизированного, в котором нет авторитета власти и в котором теплится вера только в Государственную думу». Убеждая коллег-парламентариев в «практической надобности» подобного рода обращения к населению, Кузьмин-Караваев выражал надежду на то, что только «авторитетное слово» Думы сможет внести «успокоение» в русскую деревню, «сбив накал» аграрных волнений, в противоположность правительственному сообщению 20 июня, способному, по его мнению, оказать на крестьянство лишь «возбуждающее действие».

В документе, выработанном Думой, объявлялось, что правительственное сообщение «подрывает в населении веру в правильное разрешение земельного вопроса законодательным путем». Депутаты напоминали о законодательных правах нижней палаты, заявляли о твердом намерении разработать закон о принудительном отчуждении частновладельческих земель в пользу крестьян, при этом обещая не отчуждать надельные земли и «мелкие владения». Ответом на «революционное выступление» I Думы стал ее роспуск. В свою очередь, Кузьмин-Караваев, оценивая шаг, предпринятый верховной властью, как «акт боевой», заявлял: «Дума не распущена, а именно разогнана». Он указывал на то, что эта мера на руку лишь крайним политическим силам, реакционерам и революционерам, и несет в себе «величайшую опасность» ослабления в народе веры в идею «монархического представительного образа правления». Кузьмин-Караваев не поставил свою подпись под Выборгским воззванием — призывом к «пассивному сопротивлению» правительству (отказ от воинской службы,

уплаты налогов и т.п.). Однако его имя упоминалось в прессе среди тех, кто сочувственно отнесся к данному документу.

Ужесточение правительственного курса после роспуска I Думы публицист характеризовал как фактическое возрождение режима В.К. Плеве. Страну «лихорадило». Пресса была заполнена сообщениями о попрании политических свобод и гражданских прав, забастовках, революционном терроре, разнузданных действиях уголовных элементов, полицейских и судебных репрессиях, участившихся случаях смертной казни за политические преступления. Восстания матросов и солдат в Свеаборге и Кронштадте, бунт на крейсере «Память Азова» стали для лидеров ПДР очередным поводом для выражения негативного отношения к «революционизированию» войск. «Где смысл? Где человеческий разум? Где чувство, отвращающее человека от крови?» — восклицал Кузьмин-Караваев, обращая внимание как на бессилие карательной политики верховной власти, так и на бесплодность революционного террора. «Мы ищем мира, но на тех путях, которых упорно придерживается власть. Мы добиваемся коренных реформ, но не теми способами, которые приняты террористами... Нам дорога русская кровь. Мы не хотим, чтобы лилась она в междоусобной бойне... Единственный здравый метод политики: реформы как источник успокоения, а не наоборот», — в очередной раз заявляли «демократические реформаторы».

Кузьмин-Караваев и его соратники, выступая за скорейший созыв II Думы, как и прежде, связывали ее успех с единством действий левоцентристских сил («всех тех, кто хочет мирного, но безостановочного движения вперед — к народному благу и народной свободе»). В ходе избирательной кампании (январь 1907 года) они провозгласили «важнейшими задачами настоящей минуты» — наряду с политическими реформами, а также демократическими преобразованиями в сфере аграрного и рабочего вопросов, — отмену смертной казни, запрещение телесных наказаний, ограничение сферы действия военного суда над гражданским населением во время войны с иностранным государством театром военных действий. В конечном итоге Кузьмин-Караваев оказался единственным из лидеров ПДР, избранным во II Думу (снова от Тверской губернии).

«Авторитетнейший представитель II Думы» (по выражению «Русских ведомостей»), он на первом же заседании был предложен на пост председателя нижней палаты, но от баллотировки отказался. В письме к кн. С.Д. Урусову Кузьмин-Караваев разъяснял причины своего решения: «Существовать без заработка я абсолютно не могу. Председатель же Думы должен все свое время отдавать ей... и никакого вознаграждения со стороны не получать. С другой стороны, — подчеркивал он, — вопрос о Председателе не такой, чтобы из-за него стоило идти на конфликт с Государем, а потому, я думаю, что лучше всего было бы избрать лицо, по крайней мере, политически неизвестное». Помимо указанных соображений, Кузьмин-Караваев не считал для себя возможным занять пред-

«России нужны не мстители за прошлое, а организаторы будущего...»

седательское место и по следующей причине: «Положение председателя второй Думы будет труднее, и я очень сомневаюсь, чтобы мне удалось с этим справиться».

Отказавшись занять главное руководящее кресло, Кузьмин-Караваев активно работал в качестве председателя ряда думских комиссий (по рассмотрению законопроектов, внесенных в Думу Министерством юстиции; по вопросам о неприкосновенности личности), а также подкомиссии по военно-морскому делу, образованной в составе бюджетной. Он также был членом нескольких комиссий — редакционной, по выработке законопроектов об отмене военно-полевых судов и местном суде и др., — и подкомиссий, занимавшихся сметой и кредитами Министерства народного просвещения, сметой Переселенческого управления и т.д.

Кузьмин-Караваев и во II Думе последовательно выступал сторонником замены произвола законом, отстаивал необходимость «уважения чужого мнения и свободы слова», предостерегал от «однобоких» оценок и внесения партийной «страстности» в решение вопросов государственной важности. С началом проведения аграрной реформы Столыпина он осуждал методы государственного насилия в отношении крестьянской общины.

22 мая 1907 года Кузьмин-Караваев выступил в Думе с критикой законопроекта Министерства юстиции «Об оставлении в силе временного закона 18 августа 1906 года об усилении ответственности за распространение среди войск противоправительственных учений и суждений и о передаче в ведомство военных и военно-морских судов дел по означенным преступным деяниям». От лица думской комиссии он высказался за отклонение законопроекта по соображениям как общепринципиального, так и практического характера. В центре его внимания оказалось стремление власти к усилению ответственности за пропаганду в войсках, ускорению судебных решений путем дальнейшего распространения на граждан военной подсудности, изъятия соответствующих дел из ведения общих судов. Кузьмин-Караваев обращал внимание на то, что принятие данного законопроекта вернуло бы военную юстицию к законодательству времен Николая I, согласно которому она играла роль «специальной расправы по отношению к гражданам, причинявшим вред войску» и действовала параллельно и независимо от направления общего суда. Кузьмин-Караваев был убежден: невозможно возвращаться к данной системе «при том положении, в котором сейчас в общественном сознании находится армия». «Армия должна стоять вне политики... она должна пользоваться уважением населения; население должно смотреть на военную службу, как на службу почетную, — заявлял оратор. — Зачем же ставить орган этой армии — военный суд — в не свойственное ему положение? Неужели возможно допустить положение войска, как какого-то самостоятельного государства в государстве, с тем, что раз лицо нарушает интересы войска, раз деятельность лица направлена к разрушению армии, — то общая судебная власть в государстве умывает руки и говорит войску: „Бери его

и расправляясь с ним“». Кузьмин-Караваев был глубоко убежден в том, что подобная постановка вопроса совершенно недопустима с политической точки зрения.

Отвечая на возражения оппонентов — главного военного прокурора и товарища министра юстиции, — Кузьмин-Караваев не находил их доводы убедительными. «Я не менее, чем представитель военного министерства, горячо желаю, чтобы военные мятежи отошли в прошлое, — заявлял он. — Я уже несколько раз высказывал свой взгляд на этот вопрос: военный мятеж может привести к гибели всего государства. Да, но эта связь между военным мятежом и той повышенной карательной санкцией, — плюс передача дела в военный суд, которая предлагается законопроектом, — мне кажется совершенно искусственной». Уверенный в том, что военный мятеж и пропаганда в войсках представляют собой «чрезвычайно глубокие явления», оратор заявлял о нецелесообразности борьбы с ними исключительно силовыми мерами: «Явление может найти свою естественную смерть тогда, когда многое и многое изменится в общих наших условиях; вырывать же из общего политического хаоса, в котором мы живем, одно явление и пытаться реагировать на это явление путем жестоких карательных мер, я думаю, что это способ, который еще более ведет и к развитию пропаганды в войсках, и ко всему тому, чему свидетелями мы были».

«России в переживаемую эпоху нужны не мстители за прошлое, а организаторы будущего», — эта мысль звучала рефреном в думских речах Кузьмина-Караваева. Профессионализм и многолетний опыт публичных выступлений обеспечили ему популярность как оратору и на очередном этапе думской деятельности. Его авторитет признавали политические оппоненты. Так, один из членов фракции социал-демократов в частном письме делился откровенным признанием: «Истинное удовольствие испытал, слушая речи Маклакова, Тесленко и Кузьмина-Караваева. Они лучше нас, и мы годимся им в ученики... Нельзя скрывать, что крайняя левая Думы представляет из себя „изнанку“: ни одного человека науки, ни одного талантливого оратора».

Хотя II Дума как зеркало отражала основные черты настроения российского общества в тот период («хаос в мыслях, рознь, всеобщее недоверие, классовое и партийное обособление, стремление к неосуществимому и к конкретно неопределенным идеалам»), Кузьмин-Караваев отмечал (прежде всего в деятельности думских комиссий) признаки, внушавшие надежду на то, что Дума, по его выражению, «образуется». «Не допустить кошмар „междудумья“», — такую задачу он поставил перед депутатами в своей речи с трибуны Таврического дворца еще 27 марта 1907 года, подчеркивая, что идея представительства еще жива в народе. «Только бы, — писал он спустя два месяца, накануне 3 июня 1907 года, — угроза роспуска исчезла — вот что всего более препятствует тому, чтобы Дума окончательно обратилась в парламент западного образца».

Вплоть до этой роковой даты мысль Кузьмина-Караваева и его сподвижников работала над поиском вариантов ликвидации противостоя-

«России нужны не мстители за прошлое, а организаторы будущего...»

ния между Думой и правительством. Понимая несбыточность надежд на успешное формирование Думского министерства, они развивали идею создания конституционного правительства, куда вошли бы лица, не участвовавшие в деятельности хотя бы последних трех составов кабинета министров. Впрочем, и возможность реализации этого замысла представлялась им проблематичной.

Острота разногласий между Думой и правительством, прежде всего в подходах к решению аграрно-крестьянского вопроса, явилась основной причиной роспуска и II Думы. «Год назад был „разгон“. Теперь — будничный, ординарный роспуск, к которому систематически и задолго готовились», — комментировал Кузьмин-Караваев царский Манифест 3 июня 1907 года. Драматизм этого события заключался, по его мнению, в нанесении жестокого удара по конституционной идее: вера в нее поколебалась ввиду отсутствия реальных, ощутимых для общества результатов недолгой деятельности Думы. «Подавленность и бессилие», — так характеризовал Кузьмин-Караваев настроение бывших депутатов — своих единомышленников — в июньские дни 1907 года. Попавшие под административные преследования, многие из них оказались в тяжелом материальном положении, сталкивались с препятствиями при попытках найти работу. Кузьмин-Караваев стал одним из инициаторов (наряду с В.А. Кугушевым и В.А. Харламовым) создания «Бюро по приисканию занятий и мест бывшим депутатам I и II Государственной думы». В своей благотворительной деятельности, продолжавшейся в 1907–1909 годах, Бюро рассчитывало не только на взаимопомощь депутатов, но и на поддержку «широких слоев русского общества». Упомянутый нами Оболенский отмечал большой личный вклад Кузьмина-Караваева в это начинание: «В этом деле он проявлял большую сердечность, и многие из перводумцев, находившихся в тюрьмах или просто лишившихся должностей и заработков, главным образом ему обязаны получавшейся ими материальной и моральной поддержкой».

Осенью 1907 года, на выборах в III Государственную думу, Кузьмин-Караваев потерпел поражение. Спустя ровно два года, на дополнительных выборах в 1909-м, он вновь выставил свою кандидатуру, а в ходе предвыборной кампании, как и прежде, выступал против партийного «ослепления», призывал к созданию единой оппозиционной партии (типа либеральной партии в Великобритании), но успеха и на этот раз не добился. Его «невписываемость» в рамки традиционных «направлений» вызывала негативные эмоции в разных политических лагерях. Для представителей правоконсервативных кругов он был одним из «разрушителей устоев». Среди части либеральных деятелей, осуждавших его за «чрезмерный» демократизм, он был известен как «красный генерал». Из-за своей партийной «недисциплинированности» Кузьмин-Караваев осенью 1909 года получил прозвище «ненужного депутата», которое использовали в своей агитации как П.Н. Милюков, так и В.И. Ленин (в представлении которого Кузьмин-Караваев — «правый кадет», вышедший «из вчерашних бюрокра- тов», «умеренный буржуазный консерватор»).

Кузьмин-Караваев стал одним из инициаторов образования Партии прогрессистов, учредительный съезд которой состоялся в ноябре 1912 года в Петербурге. Там же он был избран в состав ЦК новой партии (как член ее столичного комитета), выступил с докладом, в котором в очередной раз заявил о необходимости (в целях «хоть некоторого торжества права над бесправием») отмены действия в России «Положения об усиленной и чрезвычайной охране». «Но в принципе отвергать неизбежность исключительных законов невозможно, — подчеркивал оратор. — Во-первых — война. На театре военных действий сохранять в силе всю сложную систему правовых гарантий нельзя фактически... Во-вторых — внутренние волнения. Опыт всех стран свидетельствует, что и во внутригосударственной жизни могут быть обстоятельства, когда без временной приостановки правовых гарантий невозможно восстановление активно нарушенного порядка». Предложенный Кузьминым-Караваевым вариант решения проблемы сводился к следующему: «...приостановка правовых гарантий должна быть каждый раз актом законодательной власти. Законодательная власть должна каждый раз определять наличность неустранимой потребности приостановки, срок и район действия исключительных законов». В результате съезд признал требование отмены исключительных положений своего рода «мандатом», адресованным депутатам IV Думы, поскольку «какие бы ни были изданы хорошие законы, они все равно останутся без осуществления, пока не уничтожены всякие „охраны“».

Тогда же, в 1912 году, вышла книга Кузьмина-Караваева «Сокольство и идея славянского единения» (СПб., 1912), в которой он высказался по проблеме национализма. Стимулом к этому послужили как первый Всеславянский слет соколов в Чехословакии, так и активная политика по «заимствованию» опыта данного зарубежного движения. «Как ни модны сейчас в России сокольские гимнастики и упражнения, но ни идеи, ни сути чешского сокольства мы, русские, не знаем», — констатировал автор. «Сокольство мы трактуем исключительно с его внешней стороны, — акцентировал он, — а оно рождено борьбой за возрождение. В этом его внутренняя суть. Борьба имела совершенно определенный, реальный объект — австрийскую правительственную власть и германизм — и являлась делом, равно близким всем классам народа... В этом был залог успеха чешского сокольства. Борьба в политическом отношении не закончена. В этом лежит причина его жизненности и для сегодняшнего дня».

«России нужны не мстители за прошлое, а организаторы будущего...»

Автор развивал мысль о том, что национализм как «политическое течение народной мысли по самой природе своей всегда есть и будет течением боевым... Народы замыкаются и смыкаются, поднимая знамя „Все за одного — один за всех“ только во имя борьбы. А борьба предполагает объект врага. Где же враг, который угрожает русской национальности? Его в данную историческую минуту нет. Нет, следовательно, того, без чего народная мысль не может быть захвачена национальной идеей», — констатировал Кузьмин-Караваев очевидный, по его мнению, факт. В то же время, отмечал он, «боевой момент» настолько глубоко заложен в национализме,

что «если у народности нет врага реального, то националисты непременно создадут мифического». В результате возникает явление совершенно иного порядка: не борьба слабого с сильным, угнетенного с угнетателем, а преследование и притеснение сильным слабого. При этом формула «Свобода, равенство, братство» остается «за скобками» этой борьбы. «Победный клич силы» националистов, преследующих инородцев под флагом славянской идеи, не может найти отклика в душе русского народа, был убежден Кузьмин-Караваев.

Он выделял два основных момента, определивших стремление русской государственной власти «пересадить на нашу почву чешское сокольево»: проигранная Русско-японская война и революция 1905–1907 годов. «Отнести проигранную войну не на счет внутреннего государственного нестроения, не на счет пропасти, веками образовывавшейся между властью и населением, а на счет технических недостатков армии и, в частности, недисциплинированность контингента, поступающего в войска, — было так заманчиво и просто», — разъяснял автор книги. Отсюда, по его словам, и явилась «мысль милитаризовать население — готовить будущих солдат с детского возраста». Однако, подчеркивал Кузьмин-Караваев, еще более значимым оказался для правящих «верхов» другой момент: «Как только погас революционный взрыв, власть поставила себе стародавнюю задачу: „Вырвать крамолу с корнем“. Революция получила объяснение в недостатке патриотических чувств населения, в либерализме науки, в увлечении молодежи несбыточными идеалами, в кознях инородцев и особенно евреев», а в результате был найден «заманчивый своей простотой и своим удобством» способ решения проблемы — «Привить патриотизм, хотя бы казенный». «Надо парализовать работу мысли работой мускулов... Надо отделить господствующую народность и показать ей, что иноплеменное население — ее непримиримый враг. Почему не покрыть всего этого славянской национальной идеей? Почему не использовать сокольево?» Такова была, по мнению автора книги, логика властей, опиравшихся в реализации данной идеи на черносотенные элементы — «союзников и националистов». «Признаки сосредоточения на гимнастике всего внимания лиц и учреждений, направляющих русскую педагогику, уже есть налицо. Гимнастика культивируется с лихорадочной поспешностью... Школа раскрыла двери для унтер-офицера в роли учителя гимнастики и „насадителя“ патриотизма и милитаризма... Служебной аттестацией педагогически-административного персонала, обеспечивающей получение высших назначений, сделалась постановка не учебного дела, а гимнастики», — характеризовал Кузьмин-Караваев «новый» курс Министерства народного просвещения. В стране, где уровень образования и так низок, подъем его и вовсе остановится, — предвидел он последствия «заботы о физическом развитии за счет заботы о развитии умственном».

В книге рассматривалась и противоположная тенденция использования национальной идеи в России: стремление прогрессивной общественности найти почву, на которой идея русского национализма и славянского

единения могла бы получить «здоровое развитие». Цель организаторов Общества славянской взаимности (в Петербурге) и Общества славянской культуры (в Москве) Кузьмин-Караваев видел в установлении «тесного общения между славянами в вопросах науки и литературы и в делах промышленности и торговли». Однако он обращал внимание на безуспешность попыток «пробить брешь» в пассивности, с которой русская общественность воспринимала идею славянского единения: «Никто против идеи не спорит. Все признают ее значение, а равно возможность и пользу приложения в области культурно-хозяйственного общения, но в то же время все общественные силы от нее сторонятся». Объясняя эту на первый взгляд парадоксальную ситуацию, автор выделял два момента: «Национальная идея в России дискредитирована. Она слишком захватана нечистыми руками... А самое главное — она не покрывает наших русских больных вопросов, она стоит от них в стороне... Во всем своем, еще не вполне постигнутом, величии встали социальные проблемы. Возможно ли отдаваться на служение идее, которая не только ни одного из мучительно-больных вопросов не разрешает, но которую прилагают для обострения боли?»

«Для пересадки чего бы то ни было и куда бы то ни было необходимо единство условий почвы, полива, ухода и питания. То, что выросло в Чехии на почве протеста против чужеземного владычества и что питается незавершенным возрождением, того нельзя использовать в России ни справа, ни слева. Для чехов славянская идея — реальнейшая из реальных. Для нас она — в отвлеченной выси...» — резюмировал публицист.

Патриотическая позиция Кузьмина-Караваева, ярко проявившаяся в период Первой мировой войны, не изменила его взглядов на проблему национализма. Он участвовал в деятельности организаций, занимавшихся сбором и распределением пожертвований на нужды военного времени. В июле 1914 года на Московском съезде уполномоченных губернских земств, созванном для организации Всероссийского земского союза, он был избран председателем ревизионной комиссии этого объединения. С августа 1914 года Кузьмин-Караваев (вместе с М.М. Федоровым) представлял Петроградскую думу во Всероссийском городском союзе помощи больным и раненым воинам. Кроме того, он входил в состав Центрального Военно-промышленного комитета. Откликаясь в «Вестнике Европы» на десятилетие Манифеста 17 октября 1905 года, публицист объяснял «неюбилейное» настроение общественности несбывшимися надеждами, признавал закономерность образования Прогрессивного блока в IV Думе. По его словам, в течение десяти лет даже частично не были реализованы «слова Манифеста о незыблемых основах гражданской свободы „на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов“».

Кузьмин-Караваев приветствовал свержение самодержавия в феврале 1917-го, в мае того же года был назначен Временным правительством сенатором первого департамента Сената. Свидетель разрастания анархии

«России нужны не мстители за прошлое, а организаторы будущего...»

в стране с февраля до октября 1917 года, авторитетный общественный деятель пытался противодействовать этому процессу. Еще в конце мая он обратился в газете «Утро России» с «открытым письмом к министрам-социалистам и членам исполнительного комитета С.Р. и С. депутатов», выступив в защиту кронштадтских офицеров, арестованных в первые дни революции, в период стихийных самосудов и расправ «низших чинов» над неугодными командирами. По сведениям Кузьмина-Караваева, спустя три месяца под арестом продолжали находиться 80 человек. «О них то пишут, то говорят, то молчат. Больше — молчат, — описывал Кузьмин-Караваев нетерпимую, по его убеждению, ситуацию. — Но молчат только из трусливой жалости к себе... А они страдают в кишках паразитами и крысами карцерах, спят на досках, голодают... И это длится уже скоро три месяца. Их мучают, их унижают, над ними издеваются. К ним врываются и днем, и ночью для обысков вооруженные солдаты. Обходя помещения, солдаты, их вчерашние подчиненные, им, офицерам, командуют: „Смирно, покажи свою рожу“... Арестованные офицеры сознают, что находятся в положении полного бесправия. У них свежи воспоминания, как из камер брали их товарищей и уводили для расстрела. Каждое внезапное появление солдат вызывает в них содрогание и ожидание смерти. „Многие психически заболели“... „Были случаи самоубийств“... В печати появилась жалоба, поданная офицерами, находящимися в кронштадтской следственной тюрьме. „Пища, — пишут несчастные, — столь дурного качества, что часто есть ее совершенно невозможно. Между тем передача съестных припасов строго воспрещена. Помещение отвратительное, ужасно сырое, всегда переполненное сверх нормы“... Свиданий с родными сначала не разрешали вовсе. Теперь свидания допускаются раз в неделю. После первого дня свиданий толпа матросов „грозила перебить тюремный персонал и арестованных“. Толпа только тогда успокоилась, когда ее делегаты произвели в тюрьме обыск в переданных съестных припасах и ничего не нашли. Арестованные производят все черные работы по уборке помещений, иногда также канцелярии и помещения команды. При этом „караул нередко издевается над работающими офицерами“. Политические содержатся вместе с уголовными. Больных в арестантский лазарет отправляют неохотно. И всем этим физическим и нравственным мучениям подвергаются люди, из которых 95 процентов не знают, за что и на каком основании они сидят в тюрьме: им никакого обвинения не предъявлено. Отбывающих судебный приговор среди заключенных нет ни одного... Местная следственная комиссия офицерских дел совершенно не разбирает. На все заявления и прошения комиссия отвечает презрительным молчанием».

В столь трудной, почти безысходной ситуации Кузьмин-Караваев обращался за помощью к «министрам-социалистам» и членам исполнительного комитета Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. По словам автора письма, со многими из них его связывали «долгие годы тяжелых забот о тех, кого преследовала и бросала в тюрьмы старая власть». «Сколько раз мы вместе участвовали в политических защитах, —

срывали с живых людей готовую захлестнуть их шею петлю, — напоминал Кузьмин-Караваев недавнее прошлое своим бывшим соратникам по защите „преступников без преступлений“. — Сколько раз мы вместе прыгали все силы ума, знаний и данного нам Богом таланта, чтобы перед томившимися в следственных тюрьмах заключенными раскрылись не двери каторги, а двери свободы... Не всегда нам удавалось. Но разве мы складывали руки? Разве мы успокаивались на сознании нашего бессилия помочь страдальцам?.. Я вдвойне имею право все это вам говорить и напоминать, — настаивал Кузьмин-Караваев. — Я не принадлежал и не принадлежу ни к одной социалистической партии. Те люди, в отношении которых я разделял с вами тяжесть забот, не были моими близкими товарищами и политическими единомышленниками. Но разве я хоть раз отказывался от защиты их в суде и... в министерских кабинетах и приемных!?. В моих глазах были живые люди, безвинно и противозаконно страдающие, — и только. Кто такие офицеры, которых мучают сейчас в Кронштадте, по их прошлому и по их политическим убеждениям, — я не знаю. Я взываю к вам об их судьбе только потому, что они — живые люди и что в отношении их творится вопиющее беззаконие».

Обращаясь к членам Временного правительства и руководству Петровета, разделяющим властные полномочия и пользующимся авторитетом, он напоминал им еще и об ответственности перед собственной совестью... Его призыв имел и конкретных адресатов: «Прочтите мои слова, Н.С. Чхеидзе, Н.Д. Соколов, Л.М. Брамсон, А.К. Виноградов... Прочтите и вы, автор „Смертников“, Войтинский. Вспомните застенки четвертой части в Екатеринославе, где вы сидели, и который вы так талантливо описали». Особые надежды Кузьмин-Караваев возлагал на содействие И.Г. Церетели, министра почт и телеграфов, который в недавнем прошлом, при царском режиме, был обязан во многом лично ему смягчением собственной участи арестанта. «Молодой, больной и хрупкий, вы отбыли предварительный арест, замененную для вас по болезни тюрьмою каторгу и ссылку. Вы только что вернулись. Вы только что стали свободным человеком, — радуясь за своего бывшего подзащитного, Кузьмин-Караваев считал себя вправе указать на его нравственный долг перед очередными безвинно гонимыми. — Когда вас держали тюремные стены в Николаеве, мы здесь, в Петрограде, были полны беспокойства о вашем здоровье, о режиме, которому подвергал вас Курлов. Вспомните ваши письма ко мне. Вспомните холодный пол в камере. Вспомните ваши долгие, тщетные хлопоты, чтобы вам позволили иметь на полу дорожку из серого сукна... Вас каждый день мучила лихорадка. Холодный пол давал простуду... Арестантский котел увеличивал упадок сил... По вашим письмам я ходил к Курлову, я часами его ждал в приемной, — он знал, кто я, и намеренно заставлял меня ждать. Я просил его. Мне это было более чем тяжело: мне это было противно. Мне было противно кланяться ему, подавать руку, выслушивать его рассуждения о недопустимости потачек государственным преступникам... Но я ходил, — ходил не раз, не два, не три. Ждал в прием-

«России нужны не мстители за прошлое, а организаторы будущего...»

ной, кланялся, подавал руку, выслушивал... От вас я прошу не унижения. К вам я обращаюсь с просьбой о властном требовании, об авторитетном слове, но слове настойчивом и твердом», — заключал Кузьмин-Караваев.

24 мая 1917 года, на следующий день после обнародования данного письма, Временное правительство фактически предъявило руководству так называемой Кронштадтской республики ультиматум, поставив ребром вопрос о том, остается ли Кронштадт в лоне русской демократии. Во время визита туда И.Г. Церетели и министра труда М.И. Скобелева обсуждалась и судьба арестованных офицеров. Можно предположить, что обращение Кузьмина-Караваева в этом случае сыграло определенную роль. По воспоминаниям Ф.Ф. Раскольников, Церетели уговаривал членов исполкома Кронштадтского совета «сделать красивый жест» — перевести арестантов в Петроград и тем самым «вырвать почву из-под ног буржуазных клеветников, распространяющих ужасы о кронштадтских тюрьмах». «Для нас такое было неприемлемо, — заключал Раскольников. — Хорошо зная настроение кронштадтских масс, мы понимали, что перевод арестованных в Питер кронштадтские матросы сразу расценят как замаскированное их освобождение. Церетели и Скобелев опять были вынуждены уступить. Сошлись на том, что в Кронштадт приедет специальная следственная комиссия, которая совместно с нашей комиссией на месте разберет все дела, виновных предаст суду, а невиновных отпустит».

Кузьмин-Караваев никогда не оставлял попыток внести «здравый смысл» в происходящее в России. Он был одним из организаторов Частного («Малого») совещания общественных деятелей в Москве (8–10 августа 1917 года). В нем приняли участие члены различных политических партий и общественных групп, поставившие себе целью выработать единую платформу к Государственному московскому совещанию (12–15 августа 1917 года). Накануне его созыва Кузьмин-Караваев представил резолюцию, которая включала целую систему «очень решительных мер оздоровления армии и флота». «Чувствуется, что она составлена под впечатлением требований, составленных генералом Корниловым, — сообщалось в прессе. — Это же подтверждает и сам докладчик резолюции во время разгоревшихся по ее поводу дебатов». По мнению Кузьмина-Караваева, неотложными мероприятиями следовало признать «...полную отмену полковых комитетов, уничтожение института комиссаров на фронте, восстановление в его прежнем виде значения корпуса офицеров, пересмотр декларации прав солдата, возвращение начальникам дисциплинарной власти». Данные предложения были критически оценены военными, которые отмечали «чрезмерность рекомендуемых мер», высказывали опасение, что в солдатских массах резолюция может быть понята как «желание вернуть солдат к старому, дореволюционному положению». «Нет ли опасности, что вместе с водой выплеснут из ванны и ребенка, выбросят вон и здоровые зерна того, что было произведено в армии?» — спрашивали офицеры, участвовавшие в совещании, и признавали полезным «сохранить разные комитеты в качестве организаций хозяйственного контроля».

Разгоравшимся по данному поводу прениям положил конец председатель «Малого» совещания М.В. Родзянко, который предложил «вернуть резолюцию для переработки». Несмотря на то что впоследствии, на Государственном московском совещании, никаких документов не было принято, там возобладала позиция, озвученная накануне Кузьминым-Караваевым. Сам он был избран в Совет общественных деятелей, который в октябре 1917 года делегировал его в Предпарламент.

После Октябрьского переворота 1917 года Кузьмин-Караваев примкнул к антибольшевистскому движению. В марте 1919 года в его жизни начался период эмиграции. Сначала он жил в Стокгольме, Нарве, затем — в Гельсингфорсе, где сотрудничал в газете «Новая русская жизнь». В мае — августе 1919 года Кузьмин-Караваев — один из наиболее активных членов Политического совещания при командующем Северо-Западной армией генерале Н.Н. Юдениче: фактически исполнял обязанности министра юстиции, был заведующим продовольственным обеспечением армии. После создания правительства С.Г. Лианозова он отказался войти в него из-за несогласия с коалиционным составом кабинета и его курсом на признание независимости отделившихся от России окраинных государств.

С июня 1920 года Кузьмин-Караваев жил в Париже, занимался преподавательской работой, публиковался в периодических изданиях («Последние новости», «Общее дело» и др.). До конца своих дней он находился в центре многообразной общественно-политической, научной и благотворительной деятельности русской эмиграции: сотрудничал с Российским торгово-промышленным и финансовым союзом, входил в состав Русского парламентского комитета, Земско-городского комитета помощи русским беженцам за границей (Земгор), возглавлял Союз земских и городских гласных.

При поддержке Всероссийского общества Красного Креста за рубежом (РОКК) Кузьмин-Караваев участвовал в оказании помощи русским беженцам в Турции. Он стал одним из создателей и руководителей Петроградского землячества в Париже, которое помогало голодающему населению Петрограда, отправляя денежные переводы, вещевые и продовольственные посылки. Для этого использовались контакты с международными организациями — Американской администрацией помощи (АРА), Управлением верховного комиссара Лиги Наций по делам русских беженцев Ф. Нансена.

Член Русской адвокатской группы, Кузьмин-Караваев входил в состав Русского юридического общества, а в декабре 1926 года стал одним из основателей и руководителей (заместитель председателя) Объединения русских адвокатов во Франции. С 1923 года — член клуба при Союзе русских писателей и журналистов в Париже, выполнял обязанности председателя ревизионной комиссии Комитета помощи русским писателям и ученым, а в 1926-м участвовал в организации «Очага друзей русской культуры». В 1921–1927 годах Кузьмин-Караваев избирался членом правления (бюро) Русской академической группы в Париже — объединения русских

«России нужны не мстители за прошлое, а организаторы будущего...»

профессоров во Франции, которое стремилось поддерживать традиции русской науки, сотрудничало с международным научным сообществом, занималось издательской деятельностью. Оказавшись в вынужденном изгнании, он продолжал уделять внимание молодому поколению соотечественников: был членом Центрального комитета по обеспечению высшего образования русского юношества за границей, читал лекции в Русском народном университете, созданном в 1921 году при Русской академической группе, преподавал уголовное право на так называемых Русских курсах Сорбонны, с 1926 года — во Франко-русском институте (Высшая школа социальных, политических и юридических наук). В 1926–1927 годах он был выбран деканом русского отделения юридического факультета Парижского университета, вел семинар по русскому праву. Кузьмин-Караваев стал членом Русского комитета объединенных организаций, образованного в Париже в июле 1924-го в целях защиты интересов всего Русского зарубежья; осенью того же года он был избран в бюро этой организации — Русский эмигрантский комитет (председатель — В.А. Маклаков).

Обширная общественно-политическая деятельность Кузьмина-Караваева в эмиграции в определенной мере базировалась на его масонских связях. Еще в России он входил в состав лож «Заря Петербурга» (1909), «Полярная звезда» (1908–1909). Круг его масонских знакомств значительно расширился в 1920-е годы. В частности, в мае 1923-го он вступил в ложу «Астрея». Вспоминая о чрезвычайно пестром (по социальному положению, отношению к религии, партийности и т.д.) составе русского масонства в эмиграции в те годы, В.Д. Аитов отмечал: «Их объединяла одинаковая любовь к Родине и желание ей служить. Наша духовная и идеологическая спайка была так велика, что русское масонство является единственной русской организацией, которая сохранила в эмиграции свое единство». Он же отмечал, что Кузьмин-Караваев («человек науки, логики и холодного разума») был одним из немногих лиц, которые «создали» душу русского масонства, воплощением его «разума»: «Спокойно, с беспощадной логикой он освещал самый сложный вопрос. В нем говорил как будто исключительно разум. Но в нем горело пламя веры, что человек может совершенствоваться помимо всяких умственных качеств, и в этом — залог будущего».

Еще в мае 1921 года Кузьмин-Караваев возглавил комитет по созыву Русского национального съезда в целях «объединения рассеянных за границей национальных сил», за исключением «реставраторских сил» и большевиков. Съезд проходил в Париже в июне 1921 года (председатель его бюро — А.В. Карташев, товарищи председателя — В.Д. Кузьмин-Караваев, В.Д. Набоков, Н.В. Тесленко, М.М. Федоров, В.Л. Бурцев и др., члены бюро — А.В. Тыркова, П.Б. Струве, барон Б.Э. Нольде и др.). На съезде был избран «надпартийный» орган — Русский национальный комитет, который до начала Второй мировой войны претендовал на политическое руководство русской эмиграцией. В члены президиума этого Комитета (председатель — А.В. Карташев), наряду с Кузьминым-Караваевым, вошли

В.Л. Бурцев, кн. П.Д. Долгоруков, В.Д. Набоков, Г.Б. Слиозберг, Н.В. Тесленко, П.Н. Финисов, М.М. Федоров. В резолюциях, принятых на съезде, подчеркивалась верность его участников принципу вооруженной борьбы против большевистского правительства («а не против населения, ему подчиненного поневоле»). Главной задачей «новой власти» объявлялась «борьба с анархией во всех ее видах, с беззаконием во всех его выражениях, с произволом во всех его формах, с проявлениями ненависти и мести, откуда бы они ни шли и чем бы они ни прикрывались». В области политической провозглашалась необходимость установления в России «государственного порядка, построенного на началах права, общих всем цивилизованным народам». В области социальной выдвигались задачи восстановления хозяйственной жизни городов и снабжения населения продовольствием, привлечения выборных представителей крестьянства к «правовому закреплению совершившегося перехода земли в руки земледельческого населения».

Съезд признал, что «коммунистический хозяйственный и социальный опыт, осуществленный в России, произвел в ней невиданную в истории экономическую реакцию; что господствующая над территорией России политическая организация, называемая Российской Коммунистической партией и являющаяся отделом III Интернационала, использует население и хозяйство России как средства для достижения своей политической цели — мировой революции». Исходя из этого, в резолюции было заявлено, что поэтапное воссоздание хозяйственной жизни России «на началах частной собственности и свободы хозяйственного оборота» может начаться только после устранения большевистской власти как чуждой национальным интересам».

В резолюции съезда по вопросу о договорах, заключенных советской властью, был заявлен протест «против уступки русских земель и распродажи национального достояния, которая производится коммунистической партией для поддержания своей власти над Россией и ее народами и для достижения своей основной цели — мировой революции», выражался категорический отказ признать договоры, заключенные советской властью с иностранными государствами, а также говорилось о безусловной необходимости «добросовестного выполнения принятых на себя Россией обязательств по государственному долгу», прежде всего в интересах самой страны, «которая в трудный период восстановления хозяйственной жизни будет нуждаться в международном кредите»; особо был выделен пункт о том, что «на те государственные образования, которые входили полностью или частью в русские границы 1914 года и не войдут в них по восстановлении российского государства, должна быть возложена доля российского государственного долга, определяемая в порядке особых международных соглашений».

В декабре 1925 года В.Д. Кузьмин-Караваев участвовал в совещании представителей русской общественности по вопросу о подготовке Российского зарубежного съезда. Созванное по инициативе председателя

«России нужны не мстители за прошлое, а организаторы будущего...»

Российского торгово-промышленного союза Н.Х. Денисова (председатель совещания — С.Н. Третьяков, среди участников — кн. П.Д. Долгоруков, А.В. Карташев, М.М. Федоров, Ю.И. Поплавский и др.) совещание высказалось за «надпартийный» характер съезда, организацию его на началах широкой коалиции всех политических течений русской эмиграции, обеспечивающих «прогрессивные начала возрождения России».

Съезд под председательством П.Б. Струве открылся в апреле 1926 года. В Париж съехались представители русских диаспор из 26 государств. В эмигрантских кругах этот форум рассматривали как «один из первых краеугольных камней строения России — не Зарубежной России только, а именно России» («Возрождение». 1926. 12 апреля). Кузьмин-Караваев присутствовал на съезде в качестве делегата от Академической группы. Он разделял основную идею съезда («непримиримая борьба с большевиками в единении с внутренними русскими силами во имя восстановления национальной России») и убежденность его участников в том, что «коммунизм умрет, а Россия не умрет».

В некрологах на смерть Кузьмина-Караваева, последовавшую 17 февраля 1927 года, его характеризовали как «прекрасную, рыцарскую личность». П.Б. Струве отзывался о нем как о «фигуре довольно своеобразной и интересной», причем не столько «по каким-нибудь личным свойствам, сколько по ходу своей „карьеры“, по характеру своего участия в общественной жизни»: «Военный юрист, он по существу своих интересов, своих личных склонностей и устремлений не был вовсе военным. Юрист-профессор, он не был ученым в смысле пролагающего новые пути, хотя бы в самых частных вопросах, „исследователя“. Всего больше он был публицистом и общественно-политическим деятелем... Трудно далась покойному изгнанническая жизнь, преждевременно его состарившая. Но ее тяготы он нес с полным достоинством и трогательным смирением». В связи со смертью Кузьмина-Караваева Струве отмечал «страшный и угрожающий факт» — «отсутствие здорового и естественного преемства между разными поколениями... по обе стороны „рубежа“». Похоронен Кузьмин-Караваев был в Париже, на кладбище Банье.

В эмиграции, в Риме, нашел свое последнее пристанище и один из его сыновей — Дмитрий (1886–1959). Сторонник объединения православных и католиков в единую Церковь Христову, в 1920 году он принял католичество, а в 1922-м был выслан из большевистской России. Двое других сыновей — Борис (1892–1941), врач, и Михаил (1894 — после 1953 года), востоковед, — закончили свои дни в Советском Союзе, пережив сталинские репрессии.

ВЛАДИМИР
ДМИТРИЕВИЧ
КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ

**«Мы прошли этот тяжелый
путь государственного
труда под непрерывным
обстрелом враждебной
к нашей работе власти...»**

Род Львовых — один из старейших русских княжеских родов, ведущий свое начало с IX столетия от легендарного Рюрика. Многие представители этой фамилии сыграли заметную роль в истории, но к началу XIX века и так небогатые князья Львовы, несмотря на принадлежность к высшей аристократии, совсем обеднели.

Отец Георгия, Евгений Владимирович Львов, получил образование в Институте Корпуса инженеров путей сообщения. Однако служба по специальности его не привлекала, и он служил сначала в Департаменте государственных имуществ, а позднее в 1-м Московском кадетском корпусе, инспектором классов. В конце 1840-х годов князь женился на мелкопоместной дворянке Варваре Алексеевне Мосоловой, получившей в наследство от своей богатой родственницы имение Поповка в Алексинском уезде Тульской губернии. В 1858-м Евгений Львов выходит в отставку и вскоре выезжает вместе с женой и детьми в Германию (где в это время проживал его брат Дмитрий), чтобы дать старшим детям европейское образование. Именно здесь, в столице Саксонии Дрездене, 30 ноября 1861 года и родился Георгий Евгеньевич Львов.

После отмены крепостного права Львовы вынуждены были вернуться в Россию, ибо иных источников существования, помимо доходов от имения, у семьи не имелось. В 1869 году семья переезжает на постоянное жительство в Поповку. Шесть лет, проведенные юным Георгием в родительском имении, «на вольной луговине деревенской жизни», наложили отпечаток на его характер, и такие черты, как простота, скромность, мягкость, созвучные природе среднерусской полосы, он сохранил на протяжении всей жизни.

Родители Львова, трогательные в своих идеалах, много сделали для образования окрестного населения: они писали учебники для начальной школы и книги для детей. Более того, открыли в своем доме школу для крестьянских детей, стали попечителями основанных ими школы и библиотеки в уездном Алексине. Гостеприимный дом Львовых в Туле превратился в один из центров светской жизни города. Здесь часто быва-

ли губернатор и вице-губернатор, архиерей и руководители судебного ведомства, прогрессивные помещики и деятели культуры, в том числе М.Е. Салтыков-Щедрин, служивший тогда управляющим Тульской казенной палаты, а также давний знакомый семьи граф Л.Н. Толстой.

Для младших сыновей Сергея и Георгия родители выбрали частную классическую гимназию Л.И. Поливанова, имевшего репутацию талантливого педагога. Близко знавший гимназиста Георгия Львова граф Д.А. Олсуфьев вспоминал: «Он был чистых, скромных нравов: ни в попойках, ни в распутстве, ни в сальных разговорах с товарищами он не участвовал. Но трудовую школу жизни он начал проходить рано, и это, конечно, и способствовало и развитию в нем сильного характера, и исключительного трудолюбия... В моем представлении Георгий Львов остался человеком, далеко не разгаданным мною. Он был скромный, неблестящий, но с большою внутреннею духовною и умственною жизнью, с сильным, почти аскетическим характером».

Для продолжения образования Георгий избрал юридический факультет Московского императорского университета, который ранее окончил его старший брат Алексей. В 1885 году он получил диплом об окончании курса, но карьера в области юриспруденции не казалась ему привлекательной. В дальнейшем большая часть его жизни была связана с работой в земствах, возникших после принятия Александром II «Положений о губернских и уездных земских учреждениях».

Пятнадцать лет, начиная с 1892 года и вплоть до избрания депутатом I Государственной думы, князь Г.Е. Львов поработал гласным Тульского губернского земского собрания: входил в состав комиссий по народному образованию, медико-санитарной, сельскохозяйственной, дорожной. По поручению губернской управы он многократно выступал на земских собраниях со специальными докладами, предварительно глубоко изучив тот или иной вопрос. Особой заботой Георгия Евгеньевича стала борьба с крестьянским голодом. Он всегда подчеркивал государственную значимость продовольственной проблемы и был убежден в том, что правительство должно иметь четкую программу помощи людям в неурожайные годы. Такая работа, по его мнению, могла вестись только при взаимодействии государства с земскими учреждениями и местной интеллигенцией. А для достижения этой цели необходимо создание объединенных медико-санитарных советов при земских управах, которые могли бы организовать медицинское просвещение населения, борьбу с эпидемиями, помощь земским больницам и аптекам.

В 1903 году Георгия Евгеньевича избрали председателем Тульской губернской земской управы, однако сразу приступить к новой работе он не смог: тяжело заболела жена, Юлия Алексеевна (урожденная гр. Бобринская). Ее лечили лучшие московские специалисты, сделали срочную операцию, но 12 мая 1903 года княгиня скончалась. Потрясенный муж укрылся тогда в Оптиной пустыни; до конца своих дней он остался вдовцом и не имел детей. В столь тяжелый, трагический для себя период

жизни князь Львов встал во главе Тульского земства. Он сосредоточился на развитии учреждений народного здравоохранения и общественного призрения. Были отремонтированы и переоборудованы отделения губернской земской больницы, улучшено санитарное состояние и обслуживание земского приюта для подкидышей и сирот; выстроен комплекс сооружений для психически больных людей. В июне 1905 года большинством земского собрания его снова избрали председателем Тульской губернской земской управы.

С 1904 года Г.Е. Львов становится заметной фигурой в общероссийском земском движении. Когда четырнадцать российских губернских земств (из двадцати одного) высказались за участие в помощи раненым на фронтах Русско-японской войны воинам, он был избран главноуполномоченным общеземской организации, которая действовала в Маньчжурии и сумела наладить деятельность земских лазаретов, перевязочных пунктов, походных кухонь и т.д. Находясь во главе трудного и ответственного дела, князь проявил большой организаторский талант, практическую хватку и огромную трудоспособность наряду с политическим тактом, спартанской простотой и нетребовательностью. По возвращении в Москву в начале октября 1904 года он — один из героев русского общества: со времени японской кампании его имя стало популярным не только в земских кругах.

Под влиянием военных неудач правительство пошло на уступки общественным организациям. В начале ноября 1904 года в Петербурге состоялся знаменитый земский съезд, на котором впервые открыто прозвучали конституционные требования русской интеллигенции. Еще вчера новичок в общероссийской политике, князь Львов был избран товарищем (заместителем) председателя съезда, на котором выступил с отчетом о почти годичной деятельности общеземской организации в Маньчжурии. Позднее его избрали в состав Земского бюро — исполнительного органа между съездами. 6 июня 1905-го организовали земскую депутацию к императору Николаю II — в нее вошел и Г.Е. Львов. А после издания Манифеста 17 октября 1905 года о даровании основных гражданских свобод председатель Совета министров гр. С.Ю. Витте предлагал Львову занять пост министра земледелия, однако этот план не осуществился.

Весной 1906-го Георгий Евгеньевича, при поддержке блока кадетов и октябристов, избрали депутатом I Государственной думы от Тульской губернии. Он не рвался выступать с трибуны Таврического дворца, сосредоточившись на работе в комиссиях. А после роспуска Думы не стал подписывать Выборгское воззвание, считая его призывы неконституционными, и в скором времени покинул ряды кадетской партии.

В те месяцы князь Львов снова занялся работой в земском движении. В центре его внимания — по-прежнему конкретные проблемы помощи народу в чрезвычайных ситуациях голода, эпидемий, массового переселения в восточные районы страны. В 1906–1907 годах он организовал и возглавил общеземскую помощь подвергшимся голоду регионам России.

«Мы прошли этот тяжелый путь государственного труда под непрерывным обстрелом враждебной к нашей работе власти...»

Когда летом 1906 года почти целиком сторел деревянный город Сызрань, общеземская организация снарядила туда врачебно-питательный отряд: были открыты амбулатории и столовые, хлебопекарни, лавки необходимых товаров и продовольствия. По инициативе князя эта же организация в 1907–1909 годах оказала большую продовольственную и врачебную помощь десяткам тысяч переселенцев в Сибирь и на Дальний Восток. На основе своих личных наблюдений и обработки статистических исследований в Дальневосточном крае и Сибири Георгий Евгеньевич издал книгу «Приамурье», которая получила благоприятные отзывы в общественных кругах. Тогда же он выезжал в Канаду, чтобы ознакомиться с практикой русских переселенцев, и пересек весь североамериканский континент от океана до океана.

На учредительный съезд Всероссийского земского союза (ВЗС), который проходил 30 июля 1914 года, съехались представители тридцати пяти губернских земств. Князь Г.Е. Львов в то время — широко известная в российском обществе фигура (в 1913-м он победил на выборах московского городского головы, но не был утвержден в должности Министерством внутренних дел), и 37 голосами против 13 его избрали Главным уполномоченным ВЗС. Организация, созданная для помощи армии в условиях надвигающейся войны, объединила все губернские земства России, кроме Курского (его консервативное руководство в пик либерализма решило действовать самостоятельно). А несколько дней спустя городские головы страны, следуя земскому примеру, объединились во Всероссийский союз городов (ВСГ) с аналогичными функциями.

Тем временем Георгий Евгеньевич приступил к налаживанию текущей работы Земсоюза. Не будучи кабинетным руководителем, он постоянно находился в гуще дела и среди людей. Начались бесконечные поездки в Петроград, посещения министерств и ведомства в целях координации будущих действий, ходатайства о выделении необходимых денежных субсидий, встречи со служащими вновь созданных мастерских и складов, участие в различных ведомственных комиссиях — Львова не так-то просто было застать в московском здании на Маросейке, 7, где располагался Главный комитет ВЗС.

Люди, знакомые с коллективом Земсоюза, отмечали, что князь был «живым и вдохновляющим центром» работы, «душой» земского объединения. Чиновник Министерства земледелия А.А. Татищев писал, что в своих сотрудниках Львов «вызывал какое-то обожание и преклонение». Уже в первые месяцы войны в составе Земсоюза приступили к работе отделы, количество которых на протяжении войны неуклонно возрастало: центральный склад, отдел санитарных поездов, отдел по приему пожертвований, медико-санитарный, эвакуационный отделы и т.д. Правительственная санитарная помощь в Действующей армии в первые месяцы войны оказалась неудовлетворительной: свидетельством тому — многочисленные воспоминания и рассказы современников. Так что правительство было просто вынуждено обратиться за поддержкой к столь не-

любимой им общественности. В июне 1915 года, во время отступления русской армии на Юго-Западном фронте, ВЗС и ВСГ на паритетных началах образовали Главный комитет по снабжению армии (Земгор), который возглавили соответственно Г.Е. Львов и лидер ВСГ, московский городской голова М.В. Челноков.

В годы войны руководители гуманитарных организаций, которые открывались на средства членов царской семьи, коммерческих обществ и частных лиц, желали видеть Георгия Евгеньевича на торжественных открытиях своих детищ и предлагали ему войти в состав руководства. Как правило, он отвечал вежливым отказом, целиком посвятив себя выбранной однажды земской работе. Нередко его попытки достичь взаимопонимания с чиновниками по поводу земских инициатив оказывались напрасными, так произошло и с участием Земсоюза в борьбе с эпидемической угрозой, и с организацией инженерно-строительных дружин, и с помощью беженцам.

Всероссийский земский союз с самого начала своего существования оказался в двусмысленном положении, которое усугублялось вплоть до Февральской революции. С одной стороны, правительство выделяло ВЗС субсидии, ставя перед земцами все новые и новые задачи, изначально не входившие в круг их обязанностей. Речь идет о заготовке медицинского оборудования и препаратов; об изготовлении противогазов для армии; оборудовании санитарных поездов; закупке и пошиве солдатских сапог; эвакуации промышленных объектов из оставляемых нашими войсками территорий и даже о боевом снабжении армии. К 1916 году бюджет Земсоюза составлял уже 600 млн рублей и продолжал расти.

С другой стороны, ВЗС считался «революционным гнездом, крепнущим на правительственные деньги»; правительство опасалось, что либеральное большинство земского объединения выйдет из-под контроля, и потому всеми силами старалось ограничить его влияние. Монархические круги инициировали обвинения Земсоюза в «нерациональном расходовании средств»; дело дошло до того, что сановники, посещавшие политический салон премьер-министра Б.В. Штюрмера, призывали к немедленному аресту Львова.

Борьба с эпидемической угрозой в армии и прифронтовых зонах, которую Земсоюз пытался наладить еще в начале 1915 года, потерпела фиаско, так как правительство не могло позволить земцам доминировать в этой сфере. Совет министров постоянно откладывал рассмотрение вопроса, отсылая князя Львова из одной инстанции в другую. Между тем Главный комитет ВЗС постоянно получал информацию об участвовавших вспышках холеры и тифа на приграничных территориях Западной Украины и Белоруссии. Губернские комитеты, ожидая конкретных указаний и денег, настойчиво обращались к руководству организации, и в марте 1915 года князю Львову пришлось, минуя общепринятый порядок, напрямую обратиться к Верховному главнокомандующему. Не менее печальную картину представляла государственная организация помощи беженцам. После

«Мы прошли этот тяжелый путь государственного труда под непрерывным обстрелом враждебной к нашей работе власти...»

бесплодных попыток согласовать свою работу с правительственными инструкциями, так и не дождавшись финансирования и наблюдая не прикрытое противодействие высшего чиновничества, Главный комитет ВЗС официально сложил с себя «возложенные собранием уполномоченных обязательства по объединению деятельности земств в помощи беженцам». При этом уже начатая работа в данной области не прекращалась, просто ее масштабы впоследствии значительно сократились.

С этого момента можно говорить о новом возвращении князя Львова с сугубо общественного поприща в «большую политику». В свое время он не подписал Выборгское воззвание, не желая участвовать в политической конфронтации. Безусловным катализатором резкой смены политических ориентиров Георгия Евгеньевича (чего он сам не хотел и о чем в глубине души сожалел) стали сложные, а порой и унижительные взаимоотношения с властью, которые по долгу службы ему приходилось поддерживать. Постепенно отдаляясь от активного хозяйственного руководства Земсоюзом, он все активнее участвует в заседаниях на квартирах лидеров либеральных партий, посвященных обсуждению ситуации в стране. В октябре 1916 года Г.Е. Львов посещает Ставку и беседует с генералом М.В. Алексеевым об утверждении нового состава «правительства общественного доверия», а также о необходимости ослабить чрезмерное влияние императрицы Александры Федоровны на политические решения царя.

Для съезда уполномоченных земств 9 декабря 1916 года, который был разогнан полицией, Георгий Евгеньевич написал речь, которая так и не была произнесена: «Мы прошли этот тяжелый путь государственного труда под непрерывным обстрелом враждебной к нашей работе власти... Власти нет, ибо в действительности правительство не имеет ее и не руководит страной». А когда полицмейстер составил протокол о закрытии съезда, князь, вскочив на стул, воскликнул: «И все-таки мы победим, мы победим, господа!»

Созданный путем объединения ВЗС и ВСГ в июне 1915 года Земгор стал центром патриотической мобилизации даже той части интеллигенции, которая во время Русско-японской войны была настроена пораженчески. Непосредственное соприкосновение с нуждами армии оздоровило общественное мнение, в этой гуманитарной работе люди обретали стойкость и деловитость. Земский и Городской союзы спасли миллионы соотечественников, будь то раненые солдаты или бегущее от наступления вражеских армий мирное население. Уход за ранеными в «летучках» и санитарных поездах Земгора носил, как отмечали многие, «более человечный» характер по сравнению с аналогичной деятельностью правительственных ведомств; во время военных перебросок солдаты ценили возможность выпить кружку горячего чая, а присылаемые к праздникам подарки наполняли их сердца теплом. Огромная по масштабам деятельность ВЗС и ВСГ сделала эти организации мощным фактором российской общественной жизни.

Бурные события февраля 1917 года в Петрограде привели к отречению царя и созданию первого в России демократического правительства — его

возглавил министр-председатель, князь Георгий Евгеньевич Львов. Однако параллельно усиливалась также роль Советов (и прежде всего Петросовета), поэтому ключевой проблемой при сложившемся «двоевластии» стало формирование нового государственного аппарата. «Административная реформа» и была главной заботой князя Львова, являвшегося одновременно министром внутренних дел первого Временного правительства (его заместители: князь С.Д. Урусов, Д.М. Щепкин, С.М. Леонтьев).

Между тем неудачное июньское наступление русской армии усилило революционное брожение в Петрограде. Временное правительство неоднократно предпринимало попытки отправить на фронт радикально настроенные части Петроградского гарнизона и солдат запасных частей, расквартированных в столице. Но лидеры Советов, рискуя потерять свою главную военную опору, организовали бешеную пропагандистскую кампанию, обличающую империалистическую войну и буржуазное правительство «министров-капиталистов». Ситуацию подогревали острые разногласия в самом Временном правительстве, крайне неоднородном по составу. В итоге Г.Е. Львова на посту министра-председателя сменил эсер А.Ф. Керенский.

Некоторые исследователи отмечали, что князь Львов пытался «любовно пестовать Россию, как свой алексинский сад», безуспешно стараясь удержать страну над бездной, куда историей ей суждено было пасть. Не имея за собой сильной политической группировки, он хотел остаться в стороне от групповой борьбы на чьей бы то ни было стороне и тем самым породил много «разочарованных», нажил немало врагов и не приобрел новых союзников. «Далеким он был и от всякой символики власти, ибо хотел как можно глубже раскрыть пропасть между старой и новой Россией», — написал позднее о князе Львове его преемник А.Ф. Керенский, тоже недолго продержавшийся на посту главы государства. В условиях нараставшего революционного хаоса на первый план выходили иные силы и иные люди...

Напряженнейшая работа и изнурительная борьба истощили силы Георгия Евгеньевича. Осенью 1917 года, еще до большевистского переворота, он выехал для лечения в Сибирь, которую всегда считал краем безграничных хозяйственных возможностей. Он мечтал заняться тем, что умел лучше всего, — конкретным делом, а не утомительной и бесплодной борьбой с политическими противниками. После Октября, когда все рухнуло окончательно, реально встала угроза насильственной смерти: конвоировавшие арестованного князя Львова матросы демонстративно выводили его из поезда на каждой станции — «расстреливать».

Позднее ему удалось освободиться из тюрьмы в Екатеринбурге. В августе 1918 года Георгий Евгеньевич участвовал в Челябинском совещании представителей «Комуча», Сибирского и Уральского временных правительств. А вскоре покинул страну с полномочиями от уфимской Директории — Временного Всероссийского правительства, которое направило его в США для переговоров о военной и технической помощи антибольше-

«Мы прошли этот тяжелый путь государственного труда под непрерывным обстрелом враждебной к нашей работе власти...»

вистским силам. В сентябре — октябре 1918 года из Владивостока, через Токио и Сан-Франциско, князь прибыл в Вашингтон для встречи с президентом Вудро Вильсоном. Однако переговоры в Америке, а затем и в странах Западной Европы, куда бывший премьер демократической России также обращался за помощью, не принесли желаемых результатов.

Обосновавшийся в Париже Г.Е. Львов собирал средства для санитарного обеспечения армии адмирала Колчака — в Сибири еще шли бои. Позднее, когда Гражданская война в России закончилась, он искал деньги для помощи русским беженцам. Некоторое время, пока эта тема оставалась модной, обращения к состоятельным филантропам давали результаты. Однако постепенно их милости стали оскудевать — на первый план выходили новые мировые проблемы.

В эмиграции оказались многие члены Земского и Городского союзов, работавшие ранее в составе белых армий. А у назначенных еще Временным правительством русских дипломатов оставались казенные средства, которые они согласны были передать новой, внепартийной благотворительной организации — наследнице Земгора. Инициативу ее создания взял на себя князь Львов. В конце 1920 года за его подписью всем организациям Земского и Городского союзов были разосланы приглашения с просьбой прислать делегатов в Париж. В январе 1921 года учредительный съезд обсудил и принял Устав Российского земско-городского комитета помощи российским гражданам за границей. В качестве руководящего принципа было установлено, что Комитет является учреждением аполитическим, преследующим исключительно гуманитарную задачу: оказание разного рода помощи всем без различия нуждающимся русским гражданам за границей.

Объединение произошло вокруг Г.Е. Львова, и он неизменно, до самой своей кончины, избирался председателем обеих организаций — местной, французской (Объединение земских и городских деятелей во Франции), и центральной — для всех тех стран, где оказались русские беженцы. Самая трудная часть работы — приискание средств — всецело легла на плечи князя. В конце 1921 — начале 1922 года ему довелось прожить пять месяцев в Америке. За это время он провел сложные переговоры со многими общественными и государственными деятелями, сумев убедить их, что гуманитарная помощь необходима не только нуждающимся эмигрантам, но и народу Советской России — ввиду наступившего там повального голода.

Эмигрантский Земско-городской комитет заботился об эмигрантских детях, занимался созданием русских школ за рубежом; со временем эта деятельность вышла на первое место. В 1921 году на указанную статью расходовалось чуть более 20% общего бюджета Комитета, в 1922-м — уже более 50%, а в 1925-м — более 90%.

О жизни Г.Е. Львова в эмиграции со временем возникло много легенд. О реальных обстоятельствах последних лет князя автору этого очерка написал Н.В. Вырубов: «Он жил скромно, как это было в его природе, но не

бедно. Под Парижем, в Boulogne, где мы жили, на удобной квартире жизнь была нормальная и без нужды (выделено Вырубовым. — И.С.). Г.Е. жил на средства Земгора, у него был служащий и маленький дом в деревне недалеко от Парижа, который он купил. В деревне он помогал крестьянам потому, что он любил это делать. Никаких заработков ремеслом или трудом не было — это все выдуманно».

Львов скоропостижно скончался 6 марта 1925 года, на шестьдесят четвертом году жизни. Он был погребен на русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем, прах его покоится под скромной мраморной семейной плитой среди множества других русских могил.

В ноябре 2001 года в селе Поповка Тульской области (бывшем имении князя) открылся мемориальный знак в честь 140-летия со дня рождения Георгия Евгеньевича. А в мае 2003-го в центре города Алексина Г.Е. Львову был установлен памятник (автор — скульптор И.Ю. Соснер).

СЕРГЕЙ
ДМИТРИЕВИЧ
УРУСОВ

«Реформировать власть,
не прибегая к мерам
революционного
характера...»

Сергей Дмитриевич Урусов (1862–1937), выходец из старинного княжеского рода, родился в селе Спасском Ярославской губернии. Его отец, Дмитрий Семенович Урусов — отставной гвардии полковник, владелец около 400 десятин земли. После крестьянской реформы 1861 года он занимал в Ярославском уезде должность мирового посредника первого призыва, был членом Ярославского присутствия по крестьянским делам. А после организации земских учреждений в 1864 году избирался председателем Ярославской уездной земской управы, членом Ярославского губернского земского собрания, а затем — председателем губернской земской управы. Мать Урусова, Варвара Силовна Баташева, происходила из известной семьи крупных землевладельцев, рудопромышленников и заводчиков. На закате жизни Сергей Дмитриевич писал о своих родителях: «В моих глазах они стоят на такой нравственной высоте, что их характеристика... обратилась бы в непрерывный ряд похвал... Они сделали все от них зависящее, чтобы дать нам образование и твердые правила поведения, как в нашей личной, так и в общественной жизни, служа нам в этом отношении живым примером». С восторгом он вспоминал о богатейшей библиотеке, собранной его предками в Спасском, называя среди своих литературных кумиров Пушкина, а позднее — Тургенева, Диккенса, Толстого, Достоевского.

В 1871 году Урусовы переселились в Ярославль, где Сергей учился в местной гимназии. В те годы они особенно сблизились с семейством Е.И. Якушкина, сына известного декабриста И.Д. Якушкина. «Свобода, простота, честность» — эти главные принципы, на которых был основан строй жизни в обоих домах, были усвоены Сергеем Дмитриевичем с детства и на всю жизнь. Будучи гимназистом, он видел в доме у Якушкиных весь цвет тогдашнего ярославского образованного общества: директора Демидовского юридического лицея М.Н. Капустина, профессоров А.С. Посникова, Н.С. Сергиевского, И.Т. Тарасова, И.И. Дитяткина и др. Огромное влияние на Урусова оказал глава семейства — Евгений Иванович, по воспитанию, традициям и убеждениям близкий к тому московскому кружку, который в лице Т.Н. Грановского и его сподвижников воплощал прогрессивный дух 1840–1850-х годов.

Когда пришла пора решать, куда поступать после гимназии, был выбран именно Московский университет — с его традициями, хранимыми в якушкинской семье и имевшими в глазах Сергея особое обаяние. Обучаясь на историко-философском факультете, поклонник В.И. Герье и В.О. Ключевского избрал своей специальностью всеобщую историю. В ту пору он особенно любил бывать в московском доме бывшего ярославского губернатора И.С. Унковского, где и познакомился со своей будущей женой — Софьей Владимировной Лавровой (дочерью председателя Московского окружного суда и по отцовской линии — родственницей философа, социолога, одного из идеологов народничества П.Л. Лаврова). Знаменательным для Сергея Дмитриевича стал 1885 год, когда он не только получил диплом о высшем образовании, но и обвенчался со своей избранницей.

Супруги поселились в имении тещи Урусова — Веры Николаевны Лавровой (урожденной Жуковой). Там, в селе Расва Перемышльского уезда Калужской губернии, молодой помещик впервые увлекся сельским хозяйством; занятий этих он не оставлял до 1917 года, возвращаясь к ним каждый раз после недолгих перерывов, связанных с общественной и государственной деятельностью. В течение нескольких лет имение Расва превратилось в образцовое многоотраслевое хозяйство. Особой гордостью была пашня, стабильно приносившая высокие урожаи зерна, а также молочная ферма и обширные сады. Постоянные агрономические опыты, как правило, проходили успешно. «Какой запах духов князь Урусов любит больше всего? — Запах навоза...» — подтрунивали друзья над его экспериментами с удобрениями.

«Бывало и так, что полевые работы наводили меня на философские размышления, — вспоминал сам Сергей Дмитриевич на склоне лет. — Когда я целыми часами водил запряженных в плуг лошадей, не отводя глаз от качающегося на границе поля белого флажка, мне приходилось для сохранения безусловной прямизны борозд намечать второй, более отдаленный опорный знак. Где-нибудь на горизонте еле виднелся телеграфный столб или одиночное дерево, и я выбирал его в качестве регулятора, не уклоняясь в сторону от прямой линии, определяемой тремя точками: моим глазом, флажком и далеким, почти призрачным пунктом, который, тем не менее, управлял моим движением. Мне казалось в то время, что я получаю руководящее указание для моей деятельности, как бы жизненный урок. Поставить себе цель в жизни, которой никогда не достигнешь, но к которой надо постоянно стремиться, идя прямым путем, — не в этом ли заключается житейская мудрость и смысл нашего существования?»

Подолгу живя в провинции, Урусов самостоятельно (и основательно) изучил сельскохозяйственные науки, бухгалтерию, юриспруденцию. По мере необходимости, во время поездок в Берлин и Москву, он получал консультации специалистов и даже помещал собственные статьи в русских специализированных журналах. Необходимость в расширении образования и приобретении разнообразных практических навыков была

связана не только с управлением собственным хозяйством, но и с общественными обязанностями, круг которых все время расширялся.

Уже в июле 1885 года Урусов был назначен приказом по Министерству финансов податным инспектором Калужского и Перемышльского уездов. В июне 1886-го — избран предводителем дворянства Перемышльского уезда. По достижении им требуемого законом двадцатипятилетнего возраста земское собрание избрало Урусова почетным мировым судьей, а вскоре — председателем съезда мировых судей. В январе 1890 года, едва вступив в губернское земское собрание, Сергей Дмитриевич был избран на должность председателя Калужской губернской земской управы. Много времени и сил было им положено на упорядочение финансов земства, борьбу с голодом (1891), холерой и т.д. Он всегда характеризовал себя как «человека, любящего земство, верящего в его силу, в его достоинство и в его будущее» и был твердо убежден: «Дружная работа общественных сил поможет нашей стране выйти из всех затруднений и стать на твердый путь государственного усовершенствования». Урусов всегда любил общественную работу, занимался ею, как он сам говорил, из «чести», а не за плату и, похоже, не мыслил своей жизни без этого. В характере этого человека в полной мере проявились и другие качества, свойственные, по его собственному мнению, лучшим представителям русской аристократии: «спокойная простота манер, независимость взглядов и мнений; полное отсутствие, с одной стороны, чванства и гордости, а с другой — раболепства перед высшей властью; ровное благожелательное отношение к людям различных сословий и состояний, оценка людей по их внутренним достоинствам, а не по занимаемому ими положению». Эти особенности личности Сергея Дмитриевича во многом объясняют его замечательный дар находить контакт с самыми разными людьми, объединять их в одном общем деле — дар, впервые ярко проявившийся в годы работы в Калужском земстве.

Бурная и весьма успешная деятельность Урусова на посту председателя губернской земской управы была отмечена стремлением ее членов переизбрать его на новое трехлетие. Однако он настоял, чтобы его кандидатура на выборах 1894 года не выставлялась. Такое решение объяснялось некоторыми семейными обстоятельствами, накопившейся усталостью, а главное — несогласием с реакционным курсом правительства Александра III, который выразился, начиная с 1889 года, в урезании самостоятельности земств, усилении дворянского «элемента» и, соответственно, сужении представительства крестьян в земских собраниях. «Я смутно чувствовал, что дух времени отодвинул меня от общего к частному, от растущих живых интересов — к отмирающим». Взяв перерыв, помещик с удовольствием погрузился в хозяйственную деятельность в своем имении. Размеренное течение деревенской жизни прервалось лишь осенью 1898 года, в связи с переездом семьи в Москву, где сын Урусовых поступил в 7-ю гимназию.

В Москве Сергей Дмитриевич избирался сначала участковым, затем почетным мировым судьей столичного съезда мировых судей. Летом

1902 года, приехав в Петербург на свадьбу к сестре, он на вокзале случайно встретился с министром внутренних дел В.К. Плеве. Это была их вторая встреча; первая состоялась двенадцать лет назад, когда Урусов по делам земской службы приезжал в Москву на прием к Плеве, исполнявшему тогда обязанности товарища министра внутренних дел. С первого взгляда узнав Урусова, вечером того же дня Плеве предложил ему пост вице-губернатора Тамбовской губернии. Скоропалительность решения министра во многом объяснялась тем, что незадолго до этого кандидатуру Урусова для занятия какой-либо губернаторской должности рекомендовал Плеве московский губернатор А.Г. Булыгин (он хорошо знал Сергея Дмитриевича по Калуге, в бытность свою калужским губернатором).

Назначение состоялось в конце октября 1902 года. Занимая пост тамбовского вице-губернатора чуть более полугода, Урусов был вынужден подстраиваться под непосредственное начальство в лице В.Ф. фон дер Лауница. При первой же встрече со своим заместителем губернатор предъявил ему два требования: «Первое — всегда и везде появляться одетым по форме, и второе — во время заседаний в присутственных местах всегда соглашаться с моим мнением». Пообещав выполнить первое требование, относительно второго Урусов высказался вполне откровенно: «Я напомнил ему указанный в законе порядок обсуждения дел в коллегиальных учреждениях, указал на обязанность каждого члена подавать голос по совести, „не увлекаясь дружбою, родством, ниже ожиданием выгод“, и просил его принять во внимание, что по закону члены присутствия подают свои мнения, начиная с младших, вследствие чего мнение самого председателя остается им до конца неизвестным. Лауниц задумался и сказал: „Я постоянно убеждаюсь в том, что законы больше связывают исполнителей, нежели им помогают. Коли так, мы с Вами условимся, что я буду в сомнительных случаях совещаться с Вами предварительно, и если мы не сойдемся во мнениях, то Вы не будете участвовать в заседании“. Затем он с грустью добавил: „То ли дело военная служба: там к таким церемониям не приходится прибегать“».

Следует заметить, что назначение Урусова на «вторую роль» при Лаунице позволило заметно разрядить напряженность в отношениях между администрацией и деятелями местного самоуправления, нараставшую в связи с усилением оппозиционного духа в тамбовских общественных кругах. «Наименование „консерватор“ и „либерал“, „левый“ и „правый“ уже применялось в обывательских беседах почти к каждому, даже скромному общественному деятелю, — вспоминал Сергей Дмитриевич. — Разделение это еще не отзывалось на личных отношениях, не проникло в частную жизнь и не разделило губернского общества на два враждующих стана, с каковым явлением мне пришлось встретиться через два года в Твери, но все же раскол был замечен».

В 1902 году выборные должности в Тамбовском земстве оказались заняты преимущественно представителями либерального течения. Около половины из числа двенадцати уездных предводителей дворянства так-

«Реформировать власть, не прибегая к мерам революционного характера...»

же были либералами. Представителями того же направления являлись губернский предводитель дворянства князь Челокаев и председатель губернской земской управы М.П. Колобов. Урусов отмечал заметное влияние на образ мыслей тамбовских земцев местного землевладельца, известного государственоведа и философа Б.Н. Чичерина. К 1902 году он уже закончил свою научную карьеру и, несмотря на преклонный возраст и болезни, стремился проводить в жизнь свои идеи широкого местного самоуправления, участвуя в качестве гласного в земских собраниях.

Сблизившись с местными либералами (В.М. Петрово-Соловово, В.И. Вернадским, Ю.А. Новосильцевым), а также наблюдая безуспешные потуги своего «шефа» Лауница искоренить «крамолу», Урусов все больше убеждался в неэффективности силовых методов в борьбе с общественным мнением.

Неожиданно в мае 1903 года он получил назначение (вновь по рекомендации Плеве) на пост бессарабского губернатора. А в июне, перед отъездом на место службы, был впервые удостоен аудиенции у царя. Напутствуя Урусова, Николай II пожелал ему успеха в выполнении трудной задачи: в Бессарабии предстояло «все успокоить и вернуть к нормальной жизни» после напугавшего правительство еврейского погрома в Кишиневе. «Твердо держитесь законности сами и того же требуйте от Ваших подчиненных» — таков был совет царя. Правительство предоставило новому губернатору полную свободу действия. Однако позже он напишет: «Я прекрасно знал, что каждое мое действие, каждый мой шаг учитываются, комментируются и критикуются в департаменте Общих дел, директор которого Б.В. Штюмер был очень недоброжелательно настроен по отношению ко мне и ждал случая получить возможность меня дискредитировать». Занимая пост бессарабского губернатора, Урусов сумел подтвердить мнение о себе как о человеке, умеющем примирить общественные интересы путем разумных компромиссов. За полтора года ситуация в губернии оказалась под контролем администрации и новый погром был предотвращен, за что губернатор получил личную благодарность от царя. А 24 ноября 1904 года король Румынии Карл I наградил его орденом Румынской короны 1-й степени. Опыт, приобретенный Урусовым в Бессарабии, правительство стремилось использовать: в январе 1904 года его пригласили в Петербург для участия в работе Комиссии по пересмотру законоположений, ограничивающих права евреев.

Преемником Плеве (после его убийства эсером Сазоновым в июле 1904 года) на посту министра внутренних дел стал князь П.Д. Святополк-Мирский. «Им были вновь провозглашены забытые во время царствования последних двух императоров лозунги доверия и благожелательности по адресу общественных сил, самоуправления и таких государственных учреждений, как независимый от администрации суд. Вспомнилось время „диктатуры сердца“ и попытка Лорис-Меликова связать правительство и общество общей работой и взаимным доверием». И при новом министре, с которым, кстати, Сергей Дмитриевич прежде не был знаком лично,

он оказался «первым, самым желательным кандидатом на трудные и видные губернаторские посты». С учетом собственного пожелания Урусова его перевели губернатором в Тверь (ноябрь 1904 — июнь 1905).

Дело в том, что либеральные настроения тверских дворян составляли предмет особого внимания «высших сфер» еще до отмены крепостного права. Известны их «крайние» мнения, высказанные в пору подготовки крестьянской реформы 1861 года. Событием в общественной жизни тогдашней России стала депутация тверских дворян во главе с губернским предводителем А.М. Унковским, которая предложила Александру II собственный проект реформы, составленный в либеральном духе. Как вспоминал Урусов, «тверские земские собрания унаследовали тот же дух, и в хозяйственной деятельности местных земцев постоянно сквозила политическая подкладка — стремление расширить права местных выборных учреждений в виде планомерной подготовки к более широким реформам, с окончательной целью „увенчать здание“ русской государственности учреждением постоянного органа всенародного представительства». Неудивительно, что правительство внимательно следило за деятельностью тверских общественных учреждений и с особой тщательностью подбирало кандидатуры на губернаторский пост, правда, не всегда удачно... Пример эффекта, обратного тому, на который рассчитывали правящие верхи, — деятельность князя А.А. Ширинского-Шихматова (предшественника Урусова на посту тверского губернатора). Плацдарм для его «решительных действий» был подготовлен в 1903 году по итогам ревизии губернских земских учреждений, проведенной по инициативе Плеве и на основе Высочайшего повеления директором Департамента общих дел Б.В. Штюмером (тоже тверским помещиком). Целью проверки, по словам Урусова, было «обнаружить корень зла, те живительные источники, которыми питался либеральный дух земства».

«Штюмер собрал факты, слухи, намеки и подозрения. Гурлянд составил мастерски изложенный обширный доклад, в котором рядом в искусном расположении материалов был дан исторический обзор роста земского либерализма, отразившегося преимущественно в деятельности гласных земских собраний Новоторжского уездного и Тверского губернского. В результате описанного обозрения по докладу министра внутренних дел Плеве состоялось 8 января 1904 года Высочайшее повеление, согласно которому полномочия выборных земских управ — Тверской губернской и Новоторжской уездной — были прекращены, а ставшие свободными должности были замещены лицами по назначению министерства. Одновременно с этим ряду земских гласных было воспрещено участие в земских собраниях, а некоторые из видных общественных деятелей и наиболее опасные земские служащие были высланы за пределы губернии. Таким образом, земское поле было очищено от сорных трав, и новому губернатору, по-видимому, предстояло работать в условиях мирного и плодотворного сотрудничества с обыкновенным составом земских учреждений губернии».

«Реформировать власть, не прибегая к мерам революционного характера...»

На деле все оказалось по-другому... Ширинскому-Шахматову с первых дней пребывания на своем посту пришлось возобновить «поход» против местной оппозиции в связи с ростом антиправительственного настроения в земских кругах. «Наряду с этим, к полному отчаянию губернатора оказывалось, что и среди земских гласных, считавшихся „надежными“, обнаруживалось мало сочувствия к произведенной реформе земского управления, ограничившей земскую деятельность и поставившей во главе местного хозяйства губернии и одного из уездов людей, не имевших связи с местными интересами... Кончилось тем, что после ряда мелких придинок, протестов и попыток наладить работу земства в желательном направлении Ширинский-Шахматов к осени 1904 года представил министру внутренних дел такой список лиц, предназначенных к увольнению и высылке, который по численности во много раз превосходил прежний. Очевидно, сорняки заглушили посев, произведенный Штюрмером. Единственным наглядным результатом принятых администрацией мер явилось понижение хозяйственной деятельности Тверского земства, увеличение числа недовольных правительством, и, наряду с этим, не усилилась, а, наоборот, ослабла та земская партия, на которую правительство рассчитывало опираться. Святополк-Мирский отказался дать ход проекту губернатора, и Ширинский-Шахматов принужден был покинуть свой пост».

Пожалуй, именно в Твери у Урусова впервые появилась реальная возможность в полной мере претворить в жизнь «совершенный тип» губернатора — «независимого, в духе Екатерининского положения, не оглядывающегося при каждом своем действии на петербургские канцелярии, но действующего, руководясь законами по собственному разумению, в интересах вверенной его надзору губернии». Заметим, что достижение этой цели существенно облегчалось тем, что, будучи состоятельным человеком, Урусов никогда не нуждался в службе как источнике средств для жизни.

Новый губернатор никаких «криминальных признаков» в работе тверских земцев не обнаружил. «Только лицу, ознакомившемуся с содержанием секретного доклада Штюрмера, могла открыться причина, заставившая правительство прибегнуть к столь исключительной мере, как Высочайшее повеление 8 января 1904 года. Дело в том, что исследователи не смогли открыть в работе Тверских земских учреждений таких нарушений и фактов, которые давали бы возможность привлечь земских работников к ответственности в порядке, установленном законом. Обнаружен был лишь дух, который не поддается изолированию, изъятию из земской атмосферы и закупорению в склянку с притертой пробкой. Поэтому основной вывод, который можно было сделать на основании обозрения Штюрмера, заключался в подтверждении бессилия репрессивных мер в борьбе с мнениями».

Разобравшись на месте в ситуации, Урусов, спустя всего несколько дней после своего назначения, приехал в Петербург. И, заручившись поддержкой Святополк-Мирского, 3 декабря 1904 года встретился с Николаем П. Несмотря на явное несочувствие самодержца земскому движению,

Сергей Дмитриевич все-таки смог убедить его в необходимости отмены указа 8 января 1904 года. В критический момент разговора, когда осуществление замысла висело на волоске, он припомнил те слова, которыми царь напутствовал его в связи с вступлением в должность бессарабского губернатора. И подчеркнул, что с молодости, поступая на службу, он принял за правило, не заботясь о себе, думать только о порученном деле и «действовать всегда по закону».

Характеризуя тверских деятелей, Урусов считал необходимым обратить внимание на то, что «в составе земских собраний и управ преобладают люди, принадлежащие к состоятельному и образованному классу, заинтересованные в соблюдении порядка и спокойном развитии государственной жизни страны. ...Если многие из них, продолжал я, настроены либерально, стремятся к расширению прав общественных учреждений и являются до некоторой степени оппозицией правительству, то все же надо принять во внимание, что они не революционеры; способ их борьбы — открытое заявление своего мнения, сделанное в корректной форме. Притом Тверское земство не единственное в России настроенное либерально. Почему же только к нему применена исключительная мера? Многие из тверских земцев, на которых возведено обвинение в крамоле, вошли бы в кабинет Вашего Величества с тем же сознанием верноподданнейших обязанностей своих, с каким вошел сюда я. ...Я убежден, что каждый губернатор, знающий Положение о земских учреждениях и вооруженный предусмотренными законом средствами, сможет остановить и прекратить злоупотребления выборных земских служащих. Для этого нет надобности ломать органы земства — достаточно привлекать виновных лиц к законной ответственности».

Результатом встречи губернатора с Николаем II стала отмена ограничений в деятельности Тверского земства. Это позволило в некоторой степени восстановить доверие местных общественных сил к власти, поставить их сотрудничество на нормальную деловую почву. Также довольно быстро, говорит Урусов, удалось «ослабить то напряжение, с которым высшие губернские чины всматривались в мое поведение и мои поступки, стараясь угадать, в какую сторону клонятся мои мысли и симпатии, а также отучить их рассматривать дела с точки зрения возможности придать им ту или иную окраску и предусмотреть, кому то или иное решение придется по вкусу и кого оно приведет в негодование. Освобождение моих сотрудников от предвзятых мнений и от опасения „попасть не в тон“ явилось главным предметом моих стараний, причем я не только избегал навязывания им собственных моих взглядов, но исходил из предположения, что каждый занимающийся отдельной отраслью управления является в ней специалистом более опытным, нежели я». Всякий раз, обнаруживая в проектах и докладах тенденцию подчинить закон и логику господствующим в данную минуту настроениям, он целым рядом «недоуменных вопросов» старался «привести дело в ясность» и принудить своих подчиненных «прийти к заключению, с которым можно бы согласиться». Один

«Реформировать власть, не прибегая к мерам революционного характера...»

из сотрудников, поначалу считавший губернатора человеком наивным и малоопытным, спустя некоторое время изменил свое мнение, а его любимый метод работы назвал «сократовским методом».

При Урусове все выборные должности в Тверском земстве были замещены либеральными деятелями. Это послужило поводом для переписки в январе 1905 года между Урусовым и его старым знакомым А.Г. Булыгиным, который в ту пору уже сменил Святополк-Мирского на посту министра внутренних дел. Характерный эпизод связан с просьбой Булыгина представить ему сведения об избранном на должность председателя Тверской земской управы В.Д. фон Дервице — на предмет «благонадежности» последнего. Урусов ответил отказом, объяснив свою позицию так: «Избрание его (фон Дервица. — Н.Х.) земским собранием заставляет меня предполагать, что Дервиц обладает необходимыми для председателя управы способностями и качествами».

Многие из тверских земцев оказались близки Урусову по взглядам (С.Д. Квашнин-Самарин, И.А. Корсаков, И.И. Петрункевич, Ф.И. Родичев и др.). Он разделял их «мнение о своевременности включения в наш государственный строй народного представительства». И ту же мысль о необходимости «оказать народу доверие» выразил в своих воспоминаниях словами Достоевского: «Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду».

Губернатор руководствовался в своей деятельности «духом законности и благожелательства». Не раз он лично выезжал на места — улаживать конфликты между рабочими и администрацией на заводах, а также земельные споры в деревне, особенно распространившиеся по стране после 9 января 1905 года. «Я всегда крепко держался того мнения, — писал Урусов, — что вызов войск гражданской властью является такой мерой, к которой следует прибегать лишь в крайних случаях, когда все прочие способы восстановления нарушенного порядка исчерпаны и массовые насильственные действия толпы уже начались или неминуемы. Обращение к содействию войска в виде меры предупредительной я считал ошибочным приемом, ослабляющим эффективность подобного вмешательства, раздражающим самих солдат, приучая их к безрезультатным демонстрациям. Я твердо уверен в том, что при вооруженном столкновении с бесчинствующей толпой представители власти должны иметь на своей стороне не только физическую силу, но и моральную в виде сознания солдат о том, что их вмешательство разумно и необходимо, что требование гражданской власти подавить беспорядок силой не только формально законно, но является всеобщей гражданской обязанностью, хотя и неприятной, но вызванной соображениями государственного, т.е. общенародного интереса. Следовательно, желательно всегда ставить солдат лицом к лицу с явно выраженными преступными действиями толпы, а не в виде очередного пугала. Особенно претила моему самолюбию возможность истолковать вызов мною войск как намерение охранить безопасность моей собственной особы».

Гласные Тверской городской думы отмечали, что всего за девять месяцев управления князем Урусовым губернией «он внушил к себе уважение всех классов общества и общественных учреждений. Гуманный человек, доступный всегда для каждого обращавшегося к нему, сторонник городского и земского самоуправления и всякого рода общественной инициативы, он являлся образцовым губернатором, сумевшим после кн. А.А. Ширинского-Шахматова умиротворить все недовольные элементы и восстановить в губернии действительное спокойствие».

Сам С.Д. Урусов характеризовал принципы своей управленческой деятельности так: «При оценке взглядов и убеждений своих собеседников (сотрудников, служащих, общественных деятелей, местных обывателей. — Н.Х.) я всегда исходил из предположения, что они добросовестны и что мнение их вызывается соображениями общей пользы и потому должно быть рассматриваемо с точки зрения его правильности или ошибочности без обязательного приложения к нему мерки „благонадежности“. Мне представлялось, что даже политические деятели при существовании определенных партийных группировок должны разбиваться на два борющиеся стана лишь в тех случаях и на то время, когда они заняты обсуждением и решением политических вопросов. По окончании обсуждения они могут образовывать совершенно иные группировки, по иным признакам, сходясь на основании личных вкусов, привычек и прочих самых разнообразных интересов. Как в Калуге, Тамбове, Бессарабии, так и в Твери я всячески ограждал себя от той нетерпимости, которая, будучи иногда допустимой в принципиальных вопросах, относящихся к религии и нравственности, казалась мне неуместной и вредной в вопросах практического характера. К числу последних я относил и вопросы государственного устройства, своевременности и пригодности той или иной формы правления и т.п.»

1905 год — в полном смысле переломный в судьбе князя Урусова. Под впечатлением стремительно развивавшихся событий революции, он перешел на позиции резко критического отношения к самодержавию. Последней каплей, заставившей его со всей определенностью заявить о своей оппозиции к царскому самодержавию, стала гибель 2-й Тихоокеанской эскадры под командованием вице-адмирала Рожественского у Цусимы. «Известие это возбудило во мне ряд мыслей, обращенных к оценке моей служебной деятельности, суждению о ее полезности и целесообразности... В голове моей стали бродить мысли о том, стоит ли действительно усердствовать и трудиться для поддержания престижа правительства, руководимого неспособным к управлению самодержцем, и не пора ли поработать над тем, что давно уже составляло предмет желаний многих выдающихся русских людей, а именно над установлением за правительственной деятельностью общественного контроля в виде постоянного органа народного представительства».

Недоволен был Урусов и реакцией царя на Цусимское поражение. За ним последовало не обращение к народу со словом ободрения, не воззва-

«Реформировать власть, не прибегая к мерам революционного характера...»

ние к его патриотизму, сплоченности и дружной работе над восстановлением государственной мощи России, а «Высочайший указ, согласно которому бывшему московскому обер-полицмейстеру, товарищу министра внутренних дел Д.Ф. Трепову предоставлялись права министра по охране государственного порядка в борьбе с крамольным общественным движением, а также руководство в этом отношении деятельностью губернаторов». Тверской губернатор не раздумывая принял решение об отставке. Однако его отход от большой политики оказался непродолжительным...

Первым, кого посетил Сергей Дмитриевич, покинув Тверь, стал А.А. Лопухин, муж его сестры, в 1905 году занимавший пост эстляндского губернатора. Лопухин и Урусов, люди очень близкие по взглядам и характерам, провели первые дни после встречи в оживленных беседах, обсуждая ситуацию в стране, которая, по их мнению, стояла перед новыми важными событиями и переменами: «Стремление к объединению, желание высказать правительству решительное слово от имени всего народа, охватившее почти все земство, к которому только что присоединились города, резолюции земских съездов и общегородского съезда, на котором участвовали представители 86 городов под председательством московского городского головы кн. В.М. Голицына, напряженное внимание, с которым общество и печать следили за каждым проявлением охватившего страну освободительного движения, — все эти признаки указывали на предстоящее неминуемое столкновение двух сил: правительственной — обладавшей властью, и общественной — овладевшей умами».

Урусов вспоминал: «После того как мы с А.А. обменялись мыслями, предположениями и надеждами, подвергнув происходившее общественное движение и царский ответ на обращение съезда (имеется в виду съезд представителей земств и городских дум, состоявшийся в Москве в июле 1905 года; реакцией на него Николая II стало «Положение» об учреждении Государственной думы, так называемой булыгинской. — Н.Х.) всесторонней оценке, бывшая служба моя представилась мне как бы в новом освещении. Старания мои реализовать в жизни и на деле создавшийся в моем воображении образ губернатора самостоятельного, независимого представителя законности, заботящегося об интересах местного населения, благожелательного посредника между ним и центральным правительством, подчиненного непосредственно монарху, показались мне ничтожными, безрезультатными, незаметными и никому не нужными. Широко распространившееся, твердо заявленное общественное мнение требовало коренной реформы государственного строя, а не более или менее удачного подбора правительственных агентов. Я вспомнил лучшее время моей жизни и деятельности, выборную общественную службу, и мысли мои перенеслись в Калугу, в Перемышль, в деревню, в ту среду, в которой я когда-то пользовался влиянием и успехом. Я принял твердое решение стать одним из тех „выборных от народа“, которые, по обещанию царя, будут „привлечены к работе государственной“ и которым предстояло, по его словам, „вывести обновленную Россию из постигших ее испытаний“».

Проведя лето с семьей в своем калужском имении, Сергей Дмитриевич в середине сентября поехал погостить в Ялту к брату, «чтобы воспользоваться теплыми солнечными днями южной осени». Заблаговременно был взят обратный билет до Москвы на поезд, отправлявшийся из Севастополя вечером 10 октября. Однако планы расстроила Всероссийская октябрьская политическая стачка. Оказавшись в вынужденном заточении, Урусов стал невольным свидетелем половодья революционной стихии. (Воспоминания об этом под названием «Дни свободы в Севастополе» были опубликованы в 1908 году в журнале «Вестник Европы».) 19 октября ему в гостиницу доставили телеграмму от С.Ю. Витте, председателя только что образованного Совета министров: «Мне совершенно необходимо Вас видеть. Сделайте все возможное, чтобы скорее приехать». Добравшись до Петербурга только утром 26 октября, Урусов сразу же получил от Витте приглашение занять в новом правительстве должность товарища министра внутренних дел (при министре П.Н. Дурново). 30 октября его кандидатура была окончательно утверждена.

По случаю своего нового назначения, 6 ноября 1905 года, С.Д. Урусов был на приеме у Николая II: «Царь благодарил меня за то, что я согласился занять второстепенную должность в только что образовавшейся с трудом министерской комбинации, и, посмотрев на меня ясным, доверчивым, многим известным и многих чаровавшим взором, произнес слова, которые стоило запомнить: „Да, при теперешних обстоятельствах надо всем соединиться и думать о России; вот, например, монархия: Вам она не нужна, мне она не нужна, но пока она нужна России, мы обязаны ее поддерживать“».

Дав согласие работать в правительстве, Урусов надеялся «принять живое участие в подготовке законопроектов, подлежавших внесению в Государственную Думу и в Государственный Совет». По его мнению, рабочим аппаратом для выработки законопроектов должны были оставаться соответствующие министерства, имеющие готовый штат специалистов-чиновников, обширные материалы, служебный и редакторский аппарат. Важно было, чтобы «Дума немедленно по открытии занятий имела материал для работы и чтобы страна увидела, что правительство Его Величества работало и намерено продолжать работу в духе и смысле принципов, возведенных царским Манифестом». Думская инициатива в законодательстве предполагалась Урусовым как исключение. Однако, к его немалому удивлению, «один только Н.Н. Кутлер в своем министерстве земледелия готовил втихомолку какой-то проект аграрной реформы. Что же касается нашего министерства, в котором по роду дел должна была совершиться наибольшая ломка, то там все было тихо, все шло по-прежнему. Не было и намека не только на неизбежность, но и на возможность каких-либо изменений».

Сергей Дмитриевич решил все же «для очистки совести» представить П.Н. Дурново свои соображения по этому поводу. Собственный взгляд на реформу местного управления он изложил в конце ноября в личной

«Реформировать власть, не прибегая к мерам революционного характера...»

беседе с министром. Смысл рассуждений сводился к следующему. По его убеждению, «самому близорукому государствоведу должна была броситься в глаза несообразность дальнейшего существования обособленного крестьянского управления и суда, сословного земства, нескольких конкурирующих видов полиции, а также административного порядка, применявшегося в ряде дел, изъятых из компетенции гласного суда и т.п.» Реакция была удручающей: «Казалось, что он считал все мною высказанное теоретически правильным, но не имеющим существенного значения». Тем не менее Дурново согласился на образование специальной комиссии для подготовки законопроекта о реформе местного управления и поручил Урусову исполнять обязанности ее председателя. Комиссия, руководствуясь Манифестом 17 октября 1905 года, предложила расширить круг деятельности местного самоуправления, ограничить произвол административной власти, создать гарантии правового порядка, ликвидировать сословные преимущества и т.д. «Я слышал впоследствии, — вспоминал Сергей Дмитриевич, — что министр нашел наш проект слишком демократическим и похожим более на резолюцию земского съезда, нежели на работу, вышедшую из недр министерства». Вскоре, по решению Дурново, деятельность комиссии была прекращена.

Испытав разочарование в министерской деятельности, Урусов в марте 1906 года подал на имя Витте прошение о досрочной отставке — это был первый в России случай добровольного ухода товарища министра со своего поста. Он отказался от назначения ему пенсии и уехал в Москву, а затем в Перемышльский уезд, «чтобы вскоре принять участие в избирательном съезде и в собрании выборщиков для избрания членов Государственной думы».

Выборы депутатов в I Государственную думу, состоявшиеся в Калужской губернии в марте 1906 года, — наглядное свидетельство политических симпатий в стране к тому «умеренно прогрессивному» направлению в политике, выразителем которого был С.Д. Урусов. Здесь в предвыборной кампании активно действовали кадеты. Но уже в первом списке кандидатов в выборщики от Перемышльского уезда значилось имя Урусова. Он одержал убедительную победу и на заключительном этапе кампании, в избирательном собрании в Калуге, где получил наибольшее количество голосов из пяти избранных лиц — главным образом потому, что «выборщики из крестьян единодушно голосовали за меня», объяснял Урусов. Следующая яркая страница его биографии связана с первым российским парламентом. Сергей Дмитриевич, единственный из высших администраторов, удостоился избрания в I Государственную думу. Он исполнял обязанности председателя думской комиссии по разработке законов о гражданском равенстве. С его мнением считались депутаты, занимавшиеся разработкой проекта реформы местного управления (Г.Ф. Шершеневич, Ф.Ф. Кокошкин, В.Е. Якушкин и др.), и нередко проводили свои собрания у него на квартире.

Урусов был искренним и внимательным человеком; его отличали терпимость к различным мнениям наряду с принципиальной позицией

в вопросах нравственности, стремление решать проблемы путем поиска компромиссов; приверженность к постоянным изменениям в государственной жизни при сохранении исторической преемственности, неприятие коренной ломки экономических и социальных основ существующего строя и при этом — желание придать ему новый облик «на началах права, политической свободы, гражданского равенства и широкой демократизации». Все это сделало закономерным сближение Урусова в I Думе с членами Партии демократических реформ («партии здравого смысла», по определению одного из ее лидеров, известного ученого М.М. Ковалевского).

Их деятельность предусматривала легальную парламентскую деятельность — проведение собственной программы в конституционных формах. «Мы не стремились к достижению компромиссов в тактических целях, чтобы путем взаимных уступок составить внушительное большинство, — разъяснял Сергей Дмитриевич настроение свое и своих товарищей. — Некоторым из нас казались слишком быстрыми взятые Думой темпы, а тон ее не всегда верным. Введение в наш государственный строй народного представительства мы рассматривали как силу, которой предстояло постепенно вырасти и укрепиться. При ясно выраженном оппозиционном настроении большинства Думы, имевшем корни в стране, представлялось возможным реформировать как правительственную деятельность, так и самый состав правительства, не прибегая к мерам революционного характера».

Урусов всего один раз выступил с думской трибуны, выполняя поручение членов Партии демократических реформ. В своей речи он дал резкую оценку провокаторской деятельности некоторых полицейских чинов, печатавших непосредственно в здании Департамента полиции прокламации погромного содержания. Толчком к выступлению послужил ответ министра внутренних дел П.А. Столыпина на запрос Думы по этому поводу. Столыпин стремился переложить всю ответственность за случившееся на прежнее руководство МВД и убедить депутатов в том, что теперь повторение подобных методов невозможно. Урусов посчитал своим долгом отвести огульное обвинение от Министерства внутренних дел той поры, когда сам он находился на службе в этом ведомстве. По его убеждению, «команда Столыпина», точно так же как и прежний состав МВД, не застрахована от повторения подобных «сюрпризов», пока «на судьбу страны будут оказывать влияние люди, по воспитанию вахмистры и городовые, а по убеждению погромщики», которые находятся «за недостигаемой оградой» и имеют возможность «грубыми руками хвататься за отдельные части государственного механизма и изощрять свое политическое невежество опытами над живыми людьми, производя какие-то политические вивисекции».

Это выступление, неоднократно прерывавшееся криками «браво» и громом аплодисментов, произвело в России «эффект разорвавшейся бомбы» и имело широкий международный резонанс. Последствия своей разоблачительной речи Урусов ощущал до конца жизни то в виде «не-

«Реформировать власть, не прибегая к мерам революционного характера...»

заслуженных лавров», то в виде «несправедливых укоров» — смотря по обстоятельствам. Сам он, однако, отмечал, что, по сути, его речь не содержала никаких «разоблачений» — ведь «всем все было известно», и факты, содержащиеся в запросе Думы, Столыпин публично признал. Просто под воздействием нахлынувших на него в зале думских заседаний эмоций он «сказал несколько лишних слов, от которых с удовольствием бы отказался»...

Как известно, I Думе не удалось достичь взаимопонимания с правительством — 9 июля 1906 года она была распущена. Реакцией кадетских депутатов на действия верховной власти (кстати, вполне законные) стало подписание так называемого Выборгского воззвания с призывом к гражданскому неповиновению. Урусов оценивал этот документ как «наскоро сложенный компромисс между конституционными и революционными партиями», явный отход депутатов от принципов легальной деятельности. «Я, вероятно, воздержался бы от подписи под воззванием, если бы присутствовал при его составлении», — вспоминал Сергей Дмитриевич. Сам он, даже не подозревая о событиях в Выборге, совершал в тот момент морскую прогулку в окрестностях Гельсингфорса в обществе депутата-калужанина В.П. Обнинского. Однако собственное положение после опубликования документа представлялось ему двусмысленным: «Отсутствие моей подписи можно было бы впоследствии понимать двояко: как пропуск, вызванный причиной, от меня не зависевшей, а именно моим случайным отсутствием; или же как доказательство моего несочувствия воззванию. Я мог бы пользоваться то одним, то другим аргументом, глядя по обстоятельствам». После непродолжительных раздумий он попросил В.Е. Якушкина присоединить и его фамилию к прочим подписям, объяснив, что поступает в данном случае «по старинному правилу», усвоенному им еще в гимназии и «запрещающему обособляться и уклоняться от ответственности за поступки, совершенные товарищеской массой». Следствием этого стало трехмесячное пребывание Урусова в московской Таганской тюрьме (с 13 мая по 11 августа 1908 года) и отстранение его по решению суда от государственной и общественной службы. Запрет действовал вплоть до Февральской революции.

СЕРГЕЙ
ДМИТРИЕВИЧ
УРУСОВ

В марте 1917 года телеграммой Временного правительства Урусова вызвали из Калуги в Петроград и назначили товарищем министра внутренних дел без содержания. На этом посту, согласно записи в «Автобиографии», он «имел поручение составить проект „Положения о милиции“». Работу исполнил, Положение было утверждено и напечатано, после чего в конце июня 1917 года вышел в отставку и возвратился в Калужскую губернию».

После октября 1917 года Урусова лишили гражданских прав, выселили из собственного имения. Неоднократно — зачастую без объяснения причин — подвергали арестам, тюремному заключению, преследованиям. А 27 декабря 1919 года он был призван на действительную военную службу в должности военного моряка (реально исполнял обязанности

бухгалтера при Штабе морских сил в Москве); в мае 1921-го уволен со службы по возрасту.

С началом нэпа богатый опыт и неизменное желание Сергея Дмитриевича быть полезным своей стране оказались востребованы новыми властями в полной мере. В 1921–1923 годах он занимал должность управляющего делами Особой комиссии при президиуме ВСНХ по исследованию Курских магнитных аномалий. И за «выдающиеся заслуги» на этом посту был включен в группу сотрудников, награжденных орденом Трудового Красного Знамени. В конце 1920-х — начале 1930-х годов Урусов работал в Комиссии по изучению естественных производительных сил СССР при Московском отделении АН СССР, во Всесоюзном тресте племенного и молочного скотоводства (экономист финансового сектора), в Госбанке (сотрудник инспекции) и т.д., нередко выступая, по отзывам коллег, с ценными предложениями. По словам его сослуживцев этого периода, он был «человек исключительной добросовестности, отдающий делу все свои знания и силы», который «может служить образцом советского работника». В 1929 году решением ВЦИК С.Д. Урусова восстановили в гражданских правах. Однако в назначении пенсии отказали — ввиду того что «до революции был князем»... В 1932 году в поддержку этого уважаемого человека выступило Общество политкаторжан, отметив его «большие заслуги в разоблачении погромной политики царизма». В конце концов, благодаря ходатайству со стороны руководства Госбанка, Урусову все же была назначена хорошая по тем временам пенсия в размере 200 рублей, покупательная способность которых, правда, год от года заметно снижалась.

Напряженный труд в течение всей жизни, тяжелые личные утраты (смерть старшей дочери Веры и жены в 1922 году, арест и высылка в Казахстан сына Дмитрия в марте 1935 года, последовавшие затем репрессии в отношении многих родственников и друзей) подорвали и без того некрепкое здоровье Сергея Дмитриевича, уже давно страдавшего астмой. Весной 1937 года он тяжело заболел. «У него была выраженная слабость сердечной мышцы, и появились значительные отеки и одышка, — вспоминала о последнем периоде жизни Урусова его дочь Софья. — 5 сентября 1937 года папа очень тихо во сне умер».

Сергея Дмитриевича Урусова похоронили в Москве на Даниловском кладбище, его могила не сохранилась.

ПЕТР
ЯКОВЛЕВИЧ
РОСТОВЦЕВ

«Моя программа —
программа народной
свободы...»

Петр Яковлевич Ростовцев родился в Воронеже 7 июня 1863 года. Его отец, купец 2-й гильдии Землянского уезда Яков Семенович Ростовцев, в пореформенное время стал еще и землевладельцем: в своем уезде он купил относительно небольшое имение. В 1883 году Петр окончил Воронежскую мужскую классическую гимназию; так получилось, что тогда же эту гимназию окончили сразу несколько видных впоследствии общественных деятелей: А.А. Перелешин, гласный губернского земства, С.А. Петровский, депутат Государственной думы третьего и четвертого созывов, М.С. Александров, занимавший видное место в партии большевиков под псевдонимом Ольминский. Началась учеба на юридическом факультете Петербургского университета, завершившаяся только в 1889 году. Двухгодичная задержка была вызвана браком Ростовцева с дочерью полковника Александрой Александровной Смирновой в 1887 году. Студентам в ту пору венчаться не разрешалось, и обучение пришлось приостановить ради устройства семейных дел.

Выйдя из университета со степенью кандидата прав, П.Я. Ростовцев вернулся в родную губернию, где вскоре вошел в круг общественно активной интеллигенции. Жил он в своем имении в Землянском уезде, где у них с братом было четыреста десятин полученной в наследство земли. Как и многие образованные люди того поколения, он с большой охотой включился в работу учреждений местного самоуправления. Деятели с независимым мировоззрением работа в земствах или городских думах казалась более предпочтительной, чем казенная служба в коронных ведомствах. Надо учесть также, что в уездном обществе той поры выпускников университета было очень мало, и они сразу оказывались на виду. Вот почему не вызывал большого удивления тот факт, что практически сразу после возвращения в родные края Ростовцева избрали на должность городского головы Землянска. Этот беспокойный пост он занимал пять лет, до 1894 года. Ко всему прочему в 1892-м уездное земское собрание избрало его почетным мировым судьей; в этой должности Ростовцев состоял семь лет. Почетная должность была отнюдь не праздной: ей принадлежала полная практическая компетенция участкового мирового суда. Поэтому молодому человеку пришлось на собственном опыте узнать реальные интересы и проблемы народной, главным образом крестьянской, жизни.

В 1894 году Петр Яковлевич избирается гласным уездного земского собрания, а еще спустя четыре года — председателем уездной земской управы. Эту должность он занимал до 1901 года, уступив ее своему другу и единомышленнику А.Г. Хрущову. В качестве земского деятеля Ростовцеву приходилось заниматься самыми разными делами общественного самоуправления. По должности он состоял членом уездной оценочной комиссии, определявшей масштабы и источники поступлений местных сборов. Входил также в состав Землянского училищного совета. А с конца 1890-х на каждое очередное трехлетие избирался в гласные Воронежского губернского земского собрания. В губернском земстве он — тоже заметная фигура: активно работает в сметной и ревизионной комиссиях, участвует в различных совещаниях по делам общественного самоуправления. В 1905 году входит в состав губернского по земским и городским делам присутствия, а также становится членом губернского лесоохранительного комитета.

В ноябре 1905 года П.Я. Ростовцева избирают городским головой Воронежа. К этому времени его политические убеждения вполне сложились. По оценкам близко знавших его людей, он отличался свободолобием и свободомыслием. Ближайшие единомышленники Петра Яковлевича — известные в губернии деятели либерального направления: его земляк А.Г. Хрущов, статистик Ф.А. Щербина, врач С.В. Мартынов, педагог Н.Ф. Бунаков, санитарный врач А.И. Шингарев. Вместе с ними новоиспеченный городской голова активно участвует в создании губернской организации Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы). Разумеется, активность воронежских либералов была прямо связана с разыгравшейся в России революцией, а организационное оформление Воронежского комитета партии кадетов стало возможным после знаменитого Манифеста 17 октября, объявившего о гарантиях политических свобод. Очень скоро воронежская организация заслужила репутацию одной из самых авторитетных в составе партии кадетов.

Осенью 1905 года воронежские либералы фактически определяли общественно-политическую атмосферу в городе. Факт говорит сам за себя: один из видных оппозиционеров самодержавному режиму стал главой городского самоуправления. Однако на этой ответственной должности Ростовцев трудился недолго: весной 1906-го его избирают от города депутатом Государственной думы первого созыва. По просьбе городской думы формально он не сложил своих полномочий — лишь отказался от жалованья и подал прошение о предоставлении ему двухмесячного отпуска для участия в работе Государственной думы. Собираясь в столицу, Ростовцев заявлял своим избирателям: «Моя программа — программа народной свободы, я не отклонюсь ни вправо, ни влево от этой программы». По иронии судьбы, предоставленного отпуска оказалось достаточно для завершения депутатской карьеры. Как оказалось, о народной свободе гораздо проще говорить в кругу друзей-интеллигентов, чем пытаться реализовать ее в качестве государственной политики.

I Государственная дума оказалась, как известно, недолговечной. П.Я. Ростовцев участвовал в ее работе с первого до последнего дня (27 апреля — 8 июля 1906). Судя по стенографическим отчетам, на трибуне он не выступал, но в качестве члена фракции кадетов был замечен: около десяти раз подписывал коллективные запросы либеральных депутатов в адрес правительства. Поводами для этого служили необоснованные аресты или иные репрессии, проводившиеся властями в административном порядке. Как и других депутатов, Ростовцева интересовало, на каком основании проводилась мобилизация казачьих полков второй и третьей очередей для несения службы внутри империи. Он входил в круг представителей Партии народной свободы, настойчиво требовавших от царского правительства всеобщей и полной амнистии для лиц, нарушивших правопорядок по политическим мотивам. Кроме того, он был избран в аграрную и финансовую думские комиссии, но поработать там, разумеется, не успел.

Роспуск Думы либералы той поры встретили с негодованием. Петр Яковлевич вошел в число подписавших Выборгское воззвание — обращение к народу, призывавшее к гражданскому неповиновению, и за это был привлечен к судебной ответственности. Как и большинству других подписантов, ему пришлось отбыть трехмесячное тюремное заключение. Вплоть до падения монархии он оставался в списках политически неблагонадежных лиц и не имел права занимать какие-либо ответственные должности, включая выборные посты в системе городского самоуправления. О возвращении на прежнее место не могло быть и речи. Особенность ситуации состояла в том, что губернская администрация не имела юридической возможности отрешить от должности избранного городской думой лидера, но могла воспрепятствовать его возвращению на этот пост. Поэтому Ростовцев был вынужден в ноябре 1907 года подать в адрес Думы заявление следующего содержания: «Считая вредным для интересов городского самоуправления отсутствие в составе управы городского головы и не видя близкого конца моему устранению от должности... нахожу нужным сложить столь лестное для меня звание городского головы». Думе осталось только выразить сожаление по поводу того, что Ростовцев так и не смог в полной мере послужить интересам Воронежа.

Большую часть времени ему пришлось проводить в своем имении в селе Березовке Землянского уезда. По сводкам губернского жандармского управления, негласное наблюдение над ним систематически возобновлялось. Одно из последних сообщений на этот счет датировано 2 апреля 1912 года. Но воронежцы сохраняли уважение к отставному деятелю. В 1916 году городская дума учредила стипендию имени П.Я. Ростовцева для учащихся высших начальных училищ. Сам бывший депутат пожертвовал на эти цели капитал в размере 1000 рублей. Продолжалась и его коммерческая деятельность. Петр Яковлевич входил в состав правления крупнейшего в Воронеже «Товарищества механического завода В.Г. Столля и К^о», а накануне Первой мировой войны являлся председателем этого правления.

Во время войны вновь оживилась общественная жизнь. Поражения на фронтах вызвали рост активности в среде либералов, в том числе земцев. В 1915 году весьма заметной стала деятельность Всероссийского земского союза, а затем так называемого Земгора (Союза земств и городов). Петр Яковлевич стал уполномоченным Воронежского губернского комитета этой крупнейшей оппозиционной организации, упорно добивавшейся создания в России правительства народного доверия.

В 1917 году политическая карьера Ростовцева имела шанс на быстрое развитие. Сразу после падения монархии власть на местах круто изменилась: были ликвидированы должности губернаторов, распущены губернские правления, закрыты полицейские и судебные органы имперского времени. Вместо упраздненных административных структур к задачам управления были привлечены выборные учреждения, прежде всего земства и городские думы. Комиссаром Временного правительства стал председатель губернской земской управы В.Н. Томановский. Появился в Воронеже и губернский исполнительный комитет, официально подведомственный Временному правительству. Его-то и возглавил в марте 1917-го П.Я. Ростовцев, о чем свидетельствуют подписанные им в ту пору документы. Он же на короткое время стал губернским уполномоченным Министерства земледелия, главой которого являлся его давний единомышленник и друг А.И. Шингарев. Кроме того, возглавив список кадетской партии, Ростовцев был избран в последний состав Воронежской городской думы, избранной при Временном правительстве.

Вполне понятно, что приход к власти большевиков обернулся для Петра Яковлевича личными невзгодами. В качестве кадета он рассматривался новыми властями как фигура сугубо враждебная, да и сословное его происхождение считалось неподходящим. Типичная судьба русского либерала: подвергавшийся репрессиям со стороны царской власти, он оказался еще более чуждым власти советской. С позиций революционной законности он был виновен, так сказать, *a priori*. Во время Гражданской войны Ростовцева, как и многих других представителей имущих классов, карательные органы заключали в концлагерь в качестве заложника.

Относительная свобода вернулась только в октябре 1919 года, когда Воронеж заняли войска К.К. Мамонтова и А.Г. Шкуро. Белое командование фактически назначило Ростовцева председателем восстановленной губернской земской управы. Правда, буквально через месяц несостоявшемуся председателю пришлось покинуть город вместе с отступавшими войсками. Однако в эмиграцию Петр Яковлевич не уехал; по всей видимости, некоторое время он провел на Юге России. Во всяком случае, никаких эмигрантских свидетельств о пребывании Ростовцева за границей не имеется. Долгое время бытовало мнение, что он мог погибнуть в лихолетье Гражданской войны. Но недавно в печати появился очерк Н.М. Хрущова, посвященный деду, А.Г. Хрущову. В нем отмечено, что в 1922 году сам А.Г. Хрущов пригодился советской власти в качестве специалиста: он вошел в правление Центробанка и принял деятельное участие в подготов-

«Моя программа — программа народной свободы...»

ке финансовой реформы, направленной на стабилизацию и укрепление денежной системы перешедшей к нэпу страны. Сотрудничал в правлении Центробанка (во всяком случае, до 1922 года) и давний друг Хрущева — П.Я. Ростовцев.

Вероятно, деятельность его в крупном советском учреждении стала результатом благоприятного стечения обстоятельств. Есть основания полагать, что некоторые видные большевики были знакомы с прежним воронежским головой. С ним мог дружить, например, его однокашник М.С. Ольминский; по всей видимости, знал его и заместитель наркома иностранных дел РСФСР Л.М. Карахан. Во всяком случае, именно Карахан поручился в трагическом 1919 году за арестованного чекистами сына Ростовцева. Всеволоду Петровичу грозил расстрел за сотрудничество с контрразведкой белых, и от этой участи его спас его один из руководителей советской дипломатии. О том, как сложилась судьба П.Я. Ростовцева при советском режиме, выяснить пока не удалось. Известно тем не менее, что он был дедом Татьяны Николаевны Никулиной, вдовы знаменитого русского актера Ю.В. Никулина.

Валентин
Шелохаев,
Надежда
Канищева

ПЕТР
ДМИТРИЕВИЧ
ДОЛГОРУКОВ

«Я являюсь
сторонником правового
демократического
строя, осуществляемого
при помощи народного
представительства...»

Петр Дмитриевич Долгоруков родился 1 мая 1866 года в аристократической семье, происходившей из древнейшего княжеского рода Рюриковичей. Среди прямых предков братьев-близнецов Петра и Павла Долгоруковых — ближайший боярин Владимир Дмитриевич Долгоруков (1654–1701), псковский и казанский воевода, черниговский наместник, управлявший в 1681–1682 годах Разбойным приказом; князь, генерал-аншеф Василий Михайлович Долгоруков (1722–1782), получивший в 1775 году почетный титул «Крымский» за покорение полуострова. Дедом Петра по отцовской линии был Николай Васильевич Долгоруков (1789–1872) — действительный статский советник, президент Придворной канторы. Хорошо был известен в России и род матери Петра и Павла Долгоруковых, урожденной Орловой-Давыдовой, прежде всего благодаря пяти братьям Орловым, приближенным императрицы Екатерины II. Дед по материнской линии — граф Владимир Петрович — один из крупнейших русских землевладельцев, англоман, получивший образование в Оксфорде, в свое время подавал императору Николаю I записку о желательности освобождения крестьян от крепостной зависимости на правах безземельных арендаторов, за что был отправлен на несколько лет за границу.

Вскоре после рождения близнецов их родители — Дмитрий Николаевич Долгоруков и Наталья Владимировна Орлова-Давыдова — перевезли братьев из Царского Села в Москву в огромный особняк в Малом Знаменском переулке, неподалеку от храма Христа Спасителя. Окруженные многочисленными нянями, гувернантками и гувернерами, домашними учителями, братья зиму проводили в Москве, а на лето их вывозили в подмосковное имение Волынщина, где возвышался памятник их знаменитому предку Долгорукову-Крымскому. Ближе к осени семья перебиралась в другое подмосковное имение деда В.П. Орлова-Давыдова — Отрада Серпуховского уезда, там, в семейном склепе, покоились останки братьев Орловых. Достаточно часто родители брали сыновей за границу: на европейские курорты Мариенбад и Карлсбад, где лечилась их мать; путешествовали по Италии, Франции, Германии, Швейцарии.

В 1879 году Петр поступил в 1-ю Московскую классическую гимназию, а после ее окончания в 1884 году — на историко-филологический факультет Московского университета. После окончания университета в 1889 году он поступил вольноопределяющимся в Нижегородский драгунский полк, а после завершения службы начал понемногу вникать в семейные хозяйственные дела. Переломным моментом в выборе общественно-политической ориентации стал для него 1891 год, когда он принял активное участие в кампании по борьбе с голодом в Самарской губернии. Петр познакомился тогда с Л.Н. Толстым, который оказал большое влияние на формирование его общественной и нравственной позиции. Не случайно в дальнейшем Петр станет последовательным пацифистом, войдет в руководство «Общества мира» в Москве. Здесь же, в Самарской губернии, Петр познакомился и с группой петербуржцев: князем Д.И. Шаховским, В.И. Вернадским, С.Ф. и Ф.Ф. Ольденбургами, А.А. Корниловым, которые участвовали, как и он, в борьбе с «самарским голодом», а несколько позднее в организации либерального движения и Конституционно-демократической партии.

Поселившись в своем имении в селе Гuevo Суджанского уезда Курской губернии, Петр показал себя знающим и рачительным хозяином. Владея обширными земельными угодьями (1972 десятины земли), он сумел организовать интенсивное сельскохозяйственное производство, разводил породистый молочный и рабочий скот. С 1892 года и в течение последующих десяти лет Петр занимал должность председателя Суджанской земской управы, избирался губернским земским гласным. На посту председателя уездной земской управы он много внимания уделял постановке агрономической помощи крестьянам, организации народного образования в уезде и губернии.

Практическая земская деятельность позволила Петру Дмитриевичу основательно познакомиться с земскими проблемами, нуждами сельскохозяйственного производства, с жизнью крестьянства. С образованием в 1902 году по инициативе правительства «сельскохозяйственных комитетов» он принял в их деятельности самое активное участие. Критически оценивая правительственную политику в области крестьянского вопроса, Долгоруков настаивал на расширении компетенции комитетов, введении программы обследования крестьянского хозяйства, на коренном изменении аграрной политики, учете требований как органов земского самоуправления, так и самого крестьянства. Позиция Долгорукова была встречена в штыки министром внутренних дел В.К. Плеве, который потребовал отстранения «князя-бунтаря» от занимаемой им должности. По представлению Плеве Николай II выразил «высочайшее неудовольствие» Долгорукову, отстранил его от должности председателя земской управы и запретил в течение пяти лет участвовать в выборах в органы местного самоуправления. 22 октября 1902 года Петр Дмитриевич был уволен со своего поста. Это известие было встречено либеральной общественностью страны с возмущением, а Суджанская городская дума в знак протеста тор-

жественно преподнесла ему диплом о возведении его в звание почетного гражданина города Суджа. Согласно информации Департамента полиции, земские гласные устроили Долгорукову прощальный обед, на котором были зачитаны многочисленные телеграммы, поступившие от представителей земств многих губерний и уездов России.

Активное участие в земской деятельности явилось для Долгорукова важнейшей предпосылкой и условием его включения в оппозиционную борьбу с авторитарным режимом, противодействовавшим любым проявлениям общественной самодеятельности. А если учесть, что правительство в начале 1890-х годов усилило свой административный натиск на органы земского и городского самоуправления, делая ставку на полицейско-бюрократические методы управления страной, то станет понятной позиция даже лояльных к верховной власти земцев, пытавшихся противостоять бюрократическому произволу. Поэтому закономерно, что в последние годы XIX века по инициативе Московского губернского земства, возглавляемого Д.Н. Шиповым, активизировался процесс консолидации земских сил, прежде всего на уровне губернских и уездных председателей земских управ, которые начиная с 1896 года стали устраивать периодические совещания для обсуждения широкого круга общеземских проблем.

Еще в 1899 году по инициативе братьев Петра и Павла Долгоруковых в Москве был создан полулегальный кружок «Беседа», который включал в себя представителей ряда аристократических фамилий, видных земских и общественных деятелей. Кружок этот недаром называли «палатой лордов». Его основной задачей являлась поддержка оппозиционного духа в земстве, разработка единой программы земской деятельности, а также обсуждение документов и материалов (записки, обращения, петиции) политического характера. В «Беседе» Петр Долгоруков оказался сразу же на либерально-демократическом, левом фланге. Не отрицая важности обсуждения адресов и петиций на имя верховной власти, содержащих умеренные требования гражданских реформ, Петр высказывался за конституционное ограничение самодержавия, за введение народного представительства. Имея в своем распоряжении значительные финансовые средства, он оказывал поддержку издательской деятельности «Беседы», выступал за создание специального печатного земского органа. По инициативе и под редакцией Петра Долгорукова были изданы получившие известность сборники «Аграрный вопрос» и «Мелкая земская единица».

Умеренная в целом позиция кружка «Беседа» не могла удовлетворить Петра Дмитриевича. Он не только принимал активное участие в разного рода земских совещаниях и входил в состав Организационного бюро земских съездов, но настаивал на расширении сферы деятельности земцев, привлечении к либерально-оппозиционному земскому движению демократической интеллигенции. Повышая тон своих оппозиционных выступлений в «Беседе», Петр явился одним из инициаторов создания нелегального журнала «Освобождение», который начал издаваться с лета 1902 года под редакцией П.Б. Струве в Германии. Петр Дмитриевич стал

«Я являюсь сторонником правового демократического строя, осуществляемого при помощи народного представительства...»

казначеем журнала, ответственным за всю его финансово-организационную работу. Он добывал значительные средства, убеждая богатых земцев в необходимости поддержки либерального оппозиционного органа, сам выделял немалую часть из своих личных средств. Под псевдонимом «Земец» он опубликовал на страницах «Освобождения» несколько статей общеполитического и организационного характера.

По инициативе и при непосредственном участии Петра Дмитриевича были созданы две параллельно действующие либеральные организации — Союз освобождения (лето 1903 года) и Союз земцев-конституционалистов (осень 1903 года), ставшие два года спустя базой для формирования Конституционно-демократической партии. В январе 1904 года Петр Дмитриевич был избран председателем учредительного съезда Союза освобождения, а затем и членом его Совета. Одновременно он являлся членом московского бюро Союза земцев-конституционалистов. Активное личное участие во всех формах оппозиционной деятельности (легальной, полуполигальной, нелегальной) способствовало расширению контактов князя Петра Долгорукова не только в земской, но и в интеллигентской среде. Поддерживая тесные связи с представителями демократических и революционных партий, он пользовался среди них неизменным авторитетом и уважением. Он стал участником конференции представителей либеральных и социалистических партий, которая состоялась в сентябре 1904 года в Париже. На конференции ему было поручено исполнять секретарские обязанности, готовить основные резолюции. В ноябре 1904-го Петр Долгоруков принял участие в работе общеземского съезда, на котором была принята политическая программа земского либерализма. Причем при голосовании по одному из основных дискуссионных пунктов программы — о форме народного представительства — он высказался за предоставление избранныкам народа законодательных функций.

Петру Дмитриевичу Долгорукову принадлежит важная заслуга и в разработке социальных разделов программы русского либерализма. Его практический опыт был, в частности, использован в ходе разработки аграрного раздела программы. Последовательно высказываясь за принудительное отчуждение помещичьих земель, за «справедливый выкуп», за создание местных земельных комитетов на демократической основе, Долгоруков выражал личную готовность передать крестьянам часть своих земель, что, по его мнению, могло послужить примером для тех помещиков из оппозиционной среды, которые занимали колеблющуюся позицию.

У Долгорукова были связи с представителями оппозиционных национальных элит, поэтому он был привлечен либералами и к разработке национального вопроса. Так, летом 1903 года он вместе с В.Э. Дэнном и И.В. Гессеном вошел в состав специально избранного «Финского комитета», контактировал с деятелями финской оппозиции А. Тернгреном и Ю. Рейтером, обсуждая с ними проблему будущего статуса Финляндии. В 1904 году Долгоруков встречался и с представителями польской либеральной оппозиции, с которыми обсуждал вопрос предоставлении Польше автономии.

Масштабы политической и организационной деятельности Долгорукова значительно расширились в годы первой русской революции. До октября 1905 года он продолжал участвовать в заседаниях кружка «Беседа», съездах Союза освобождения и Союза земцев-конституционалистов, занимался финансовым обеспечением журнала «Освобождение». Как непреременный участник общеземских съездов и член Организационного бюро, Долгоруков участвовал во многих оппозиционных земских акциях. На июньском съезде 1905 года он был избран в состав депутации, которая должна была представить адрес царю. Однако, считая, что подобного рода шаги являются уже запоздалыми и бесперспективными, он отказался от участия в депутации.

На учредительном съезде Конституционно-демократической партии, состоявшемся 12–18 октября 1905 года в Москве, Петр Дмитриевич был избран членом ее Центрального комитета. Позже он возглавил аграрную комиссию, учрежденную II съездом кадетской партии, состоявшимся в январе 1906 года. В мае — июне Петр Долгоруков возглавил комиссии ЦК: сначала финансовую, а затем и по местному самоуправлению. Выполняя поручение ЦК, содействовал образованию в Курске местной группы кадетов, в дальнейшем возглавив Курский губернский комитет кадетской партии.

В марте 1906 года Петр Дмитриевич был избран депутатом I Думы от Курской области, где стал товарищем председателя Думы (С.А. Муромцева), получив при голосовании 382 голоса из 420. Важно подчеркнуть, что примерно треть заседаний I Думы была проведена под председательством Долгорукова, в числе их — все заседания, посвященные аграрному вопросу, с которым он был досконально знаком. Ранее, в мае 1905 года, Долгоруков являлся организатором Крестьянского съезда, был среди главных инициаторов создания Курского, а затем Московского крестьянского союзов.

На заседаниях Думы, где обсуждался аграрный вопрос, Долгоруков последовательно отстаивал умеренно либеральную кадетскую программу, умеряя пыл леворадикальных депутатов-трудовиков, пытавшихся проташить эсеровский проект. В своих выступлениях Долгоруков поддерживал законодательные предложения об ассигновании средств на постановку агропродовольственного дела в стране.

В стенографических отчетах о заседаниях I Думы зафиксировано более шестидесяти выступлений Петра Долгорукова по самым различным проблемам политического и организационного характера. Он, в частности, активно участвовал в обсуждении ответного адреса Думы императору, высказавшись за необходимость введения однопалатного народного представительства и ликвидацию Государственного совета в том качестве, которое предусматривалось Положением о второй палате. «Если Государственный совет, — полагал Долгоруков, — будет функционировать в том составе, в каком он теперь состоит, то созидательной работе будут поставлены большие препоны».

«Я являюсь сторонником правового демократического строя, осуществляемого при помощи народного представительства...»

Несмотря на то что думская деятельность отнимала много сил и времени, Петр Дмитриевич регулярно посещал заседания думской фракции, а также заседания ЦК партии. После роспуска I Думы 8 июля 1906 года Петр Дмитриевич в составе кадетской фракции отправился в Выборг, где принимал участие в выработке и принятии знаменитого Выборгского воззвания, призывавшего население к «пассивному сопротивлению»: неуплате налогов, отказу от дачи рекрутов, изъятию вкладов из ссудо-сберегательных касс. Подписывая этот «крамольный» документ, Долгоруков прекрасно понимал, что подвергает себя большому риску вновь лишиться гражданских прав, в которых он был восстановлен только в 1904 году тогдашним министром внутренних дел П.Д. Святополк-Мирским. Так и случилось. В декабре 1907 года Петербургская судебная палата приговорила подписавших Выборгское воззвание, в том числе Петра Долгорукова, к трехмесячному одиночному заключению с последующим лишением прав быть избранным не только в Государственную думу, но и в органы местного самоуправления. Курское дворянское собрание исключило Долгорукова из своего состава. В мае — августе 1908 года Петр Дмитриевич вместе с депутатами-перводумцами из Москвы отбывал наказание в одиночной камере Таганской губернской тюрьмы.

Вскоре после освобождения из тюрьмы Долгоруков возвратился в свое суджанское имение и жил там с семьей почти безвыездно до начала Первой мировой войны. Отход Петра Долгорукова от прежней, столь активной политической деятельности (в предвоенные годы он фактически перестал участвовать в работе ЦК кадетской партии) был вызван прежде всего личными обстоятельствами. После женитьбы и рождения детей (в 1907 году сына Михаила, а в 1910-м — дочери Натальи) Петр Дмитриевич решил посвятить себя семье и занятиям сельским хозяйством. Когда серьезно заболел его маленький сын, Долгоруков, отбывавший тогда свой срок в тюрьме, добился временного освобождения из заключения, чтобы позднее, после выздоровления сына, снова возвратиться в тюремную камеру. Не исключено, что «тюремный опыт» повлиял на принятое им решение отойти от активной политической деятельности. Как бы то ни было, но этот «отход» не остался незамеченным властями — в 1909 году Долгоруков был восстановлен в правах и вновь избран председателем Суджанской уездной земской управы.

20 июля 1914 года Петр Дмитриевич был призван на военную службу и назначен в 86-ю конскую ополченческую команду в городе Кролоце Черниговской губернии, где за ним было установлено негласное наблюдение полиции. 8 августа его команду перебросили в город Проскуров Каменец-Подольской губернии, а в октябре направили на Галицийский фронт, включив в состав 8-й армии. За участие в боях Долгоруков получил два отличия и был произведен в чин корнета кавалерии. Но в связи с обострившейся болезнью сердца во второй половине 1916 года Долгорукова перевели в резервные части; свою службу он продолжил в Полтаве. Поддержав Февральскую революцию 1917 года, П.Д. Долгоруков неоднократно

но приезжал из Полтавы в Москву, участвовал в соединенном заседании бывших членов четырех Государственных дум, а также в августовском Государственном совещании.

После Октябрьской революции и издания декрета СНК от 28 ноября 1917 года (объявившего кадетов партией врагов народа, а ее лидеров — подлежащими немедленному аресту) Петр Дмитриевич, скрываясь от преследования, вынужден был уехать с семьей на Северный Кавказ. Сначала они жили в Ессентуках и Кисловодске, где Долгоруков проходил курс лечения. Затем перебрались в Сочи — здесь князь около четырех месяцев работал чернорабочим по окопке фруктовых деревьев, нажив при этом грыжу. Весной 1919 года семья Долгоруковых переехала в Крым, в Алушту, где Петр Дмитриевич стал заведующим складом беженских столовых. В 1920 году он некоторое время работал в Союзе городов в Севастополе. За неделю до врангелевской эвакуации из Крыма в ноябре 1920 года ему с большим трудом удалось вывести свою семью из Алушты в Севастополь, где в то время находился брат Павел Дмитриевич. Позднее Павел вспоминал, что, не найдя помещения, Петр поселился в сырой подвальной кладовой под флигелем Биологической станции.

В ноябре 1920 года Долгоруков с семьей выехал на пароходе «Сиам» в Константинополь. Уже при погрузке в Севастополе часть их багажа, причем наиболее ценная, утонула в море. Весь путь они вынуждены были провести в сутолоке и грязи на палубе, затем еще три дня стояли в Босфоре — Константинополь не справлялся с невиданной волной беженцев, хлынувшей из России. Семья Долгорукова сначала поселилась в лагере Лан, размещенном в казармах кожевенного завода в Сан-Стефано, за городской стеной, питаясь за счет частной американской благотворительности. В письме к А.В. Тырковой Павел Долгоруков писал о жизни брата в этом лагере: «Глиняная грязь непролазная, неотопливаемые, промокающие бараки, вповалку с офицерами и солдатами, вши. Три недели не меняли белья и не раздевались. Все промокло и прокисло. Тем не менее не выписываются из лагеря, так как брат (Петр Долгоруков) содержать семью не может и боится лишиться хоть плохого пайка (иногда в восемь часов вечера первая пища, так называемая теплая) и права быть посланным куда-нибудь (в Сербию, на острова) на казенное содержание. Полтора-два дня иногда не умываются за неимением воды. Условия уборной (общей мужской и женской) невообразимые». В этих нечеловеческих условиях особенно страдали дети князя — слабенькая дочь девяти лет и переболевший тифом сын тринадцати лет, а также жена, у которой обострился аппендицит и болезнь сердца. Да и сам князь, уже немолодой, не мог похвалиться здоровьем.

Однако постепенно жизнь налаживалась. Кадеты организовали в доме на берегу залива партийное общежитие «Villa kade» — «Кадетский дом». Во многом это стало возможным благодаря товарищеской помощи кадетов из других городов русского рассеяния, прежде всего из Парижа. В это общежитие переехал и Петр Дмитриевич. Все бывавшие в кадетском доме с теплотой вспоминали о царящей там исключительно дружеской атмо-

«Я являюсь сторонником правового демократического строя, осуществляемого при помощи народного представительства...»

сфере, несмотря на различие взглядов, бесконечных разговорах о России, ее будущем, возможных путях возвращения на родину.

Долгоруков сразу же включился в общественную работу, вошел в местную кадетскую группу. В конце 1920 года он был кооптирован в Константинопольское отделение ЦК кадетской партии, затем избран в бюро и президиум бюро кадетской организации. Его избрали также в постоянное бюро Объединения городских гласных в Константинополе. Одновременно он являлся членом Временного Главного комитета Союза российских городов, работал в культурно-просветительском отделе, распространявшем свою деятельность и на военные лагеря.

Но, пожалуй, главным своим делом он считал организацию расселения русских беженцев из Константинополя. Работать приходилось в удручающих условиях почти полного безденежья — порой не хватало денег даже на посылку телеграмм. Первые разведочные мероприятия в целях выяснения возможности расселения беженцев в Абиссинии, Греции в некоторых славянских странах предпринимались, как подчеркивал Долгоруков, «не имея ни копейки на это дело». Особые надежды князь возлагал на возможность заинтересовать иностранцев русскими сельскохозяйственными колониями. В окрестностях Константинополя удалось организовать целый ряд подобных колоний, и при некоторой материальной поддержке большая их часть оказалась жизнеспособной. Одновременно Петр Дмитриевич имел в виду организацию лесорубочных, дорожных и других бригад. Однако финансовая помощь из международных благотворительных фондов скудела, а заручиться поддержкой европейских правительственных кругов не удавалось.

Петр Долгоруков активно поддержал планы создания Русского совета при главнокомандующем генерале Врангеле, надеясь сформировать в лице Совета орган «национального русского средоточия». Для достижения этой цели он настаивал на предоставлении общественности больших властных полномочий. Более того, Петр Дмитриевич предлагал с самого начала взять под контроль общественных организаций дело создания Совета, чтобы он «не превратился в простую подпорку самочинных авантур». С одной стороны, он предлагал выяснить подлинный вес и авторитет Совета в глазах армии и казачества — «не верхов его, а казачьей толщи». «Если армия и казаки, — говорил он, — придают Совету реальное значение, то отказ от вхождения в него — это разрыв с армией». С другой стороны, он считал возможным попытаться «исправить» Совет.

Будучи главноуполномоченным комиссии по расселению беженцев на Балканах, Петр Долгоруков неоднократно посещал Врангеля в целях решения вопроса о передаче дела расселения армии Совету по расселению гражданских беженцев. Однако бесконечные условия, выдвигавшиеся Врангелем, его явное нежелание идти на уступки в вопросе властных полномочий убеждали Петра Дмитриевича в том, что «возможность соглашения сомнительна». Позднее Долгоруков отошел от контактов с Русским советом.

Выдвинутая П.Н. Милюковым в конце 1920 года «новая тактика», предусматривавшая пересмотр не только тактических, но и программных представлений, а также выбор нового — левого — союзника, поставила все эмигрантские кадетские группы перед необходимостью определить собственную позицию во внутрипартийной дискуссии. Петр Долгоруков, как и его брат Павел, не поддержал милюковский курс. Вместе с тем он болезненно воспринимал все более обострявшуюся в партийной среде полемику, ставящую под угрозу единство партии. Он считал недопустимым вынесение внутрипартийных распрей «на суд всего мира» и в то же время полагал разумным достижение «полной искренности и ясности» в партийных делах, а для этого призывал не «замазывать противоречия», а честно размежеваться по тактическим вопросам. «Лучше дружелюбно разойтись по тактике и быть по ней откровенно противниками» — только так, писал он, можно ослабить удар по партии.

Понимая, что кадетская партия, ослабленная дискуссиями и назревавшими «отколами», не в состоянии выполнять функций интегрирующего центра в эмигрантской среде, Петр Дмитриевич искал иные организационные формы в деле собирания и организации антибольшевистских сил в зарубежье. Он принял участие в проведении съезда Русского национального объединения, проходившего в июне 1921 года в Париже. В качестве представителя от Константинополя Долгоруков был избран в созданный на съезде Русский национальный комитет.

В апреле 1922 года Долгоруков с семьей переехал из Константинополя в Прагу. Это решение, с одной стороны, было вполне естественным, поскольку Константинополь уже объективно утрачивал роль одного из основных центров русского зарубежья, а Прага, напротив, притягивала к себе наиболее жизнеспособные общественные силы эмиграции. С другой стороны, переезд в Прагу свидетельствовал об утрате Петром Дмитриевичем надежд на возможность, находясь в Константинополе, действительно помогать расселению беженцев. По-видимому, князь рассчитывал, что в Праге ему удастся сделать больше для того, чтобы помочь «русским земледельцам» выехать из Константинополя. Правда, его соратники по партии и общественным организациям, в частности Н.И. Астров, настаивали на его возвращении в Константинополь, но Долгоруков уже устал «тянуть лямку почти без денег» и не верил в то, что можно получить достаточные средства из заграницы и «серьезно поставить дело».

В Праге благодаря финансируемой чехословацким правительством широкой программе помощи русским беженцам сформировался крупный центр общественно-политической и учебно-научной жизни российского зарубежья. Петр Дмитриевич активно участвовал в работе многочисленных эмигрантских организаций: возглавил местный Русский национальный комитет, занял пост товарища председателя Объединения русских эмигрантских организаций в Чехословакии, продолжил работу в Главном комитете Всероссийского союза городов за границей.

«Я являюсь сторонником правового демократического строя, осуществляемого при помощи народного представительства...»

В Праге действовал тогда созданный в октябре 1922 года небольшой филиал Парижской демократической группы Милюкова. Что касается «старотактиков», в число которых входил и Долгоруков, то они не имели своей организации, и к концу 1922 года это течение переживало период кризиса и резкого упадка активности. Становились все более расплывчатыми, неясными перспективы возвращения на родину, терялись четкие представления о целях и формах партийной работы в эмиграции. 13 апреля 1923 года Петр Дмитриевич принял участие в кадетском совещании в Праге (кроме него присутствовали П.И. Новгородцев, А.А. Кизеветтер, Д.Д. Grimm, М.М. Новиков, П.П. Юренев, А.В. Маклецов, А.А. Вилков и другие). Совещание показало, что течение «старотактиков» исчерпало свои ресурсы, что в его рамках нарастает серьезный раскол между правыми кадетами, тяготеющими к реставрационно-монархическим позициям, и сторонниками умеренных, центристских взглядов (к числу последних относил себя и Петр Долгоруков). Как вспоминал позднее Н.И. Астров, совещание окончательно продемонстрировало невозможность выработки единой линии поведения: «Говорить больше было не о чем; все, что связывало еще недавно, истлело и порвалось. Люди почувствовали, что их больше ничего не соединяет, что им нужно расходиться...»

Непосредственным поводом к окончательному расколу кадетских «старотактиков» явился скандал, вспыхнувший в связи с открытыми выступлениями представителей его правого крыла в поддержку лидерства в эмигрантском антибольшевистском движении великого князя Николая Николаевича, а также участия правых кадетов в промонархическом Совещании, созданном при великом князе в целях обсуждения совместных акций. Следствием явился раскол: группа кадетов-центристов (в числе них и Петр Долгоруков) отошла от правых и конституировалась как самостоятельная «Центральная группа».

Решение о присоединении к «центристам» далось Петру Дмитриевичу нелегко: впервые за почти двадцатилетний период общественно-политической деятельности он оказался разделен со своим братом Павлом Дмитриевичем Долгоруковым рамками разных организаций, проповедующих подчас прямо противоположные взгляды. Так, «центристы», в отличие от «правых старотактиков», настаивали на том, что Русская армия должна прекратить свое существование за границей как военная организация, что надежды на интервенцию также должны быть оставлены и что в связи с этим следует ликвидировать Русский совет, который в качестве рупора правых, по их мнению, не мог выдвигать «нужных идей». Взамен «центристы» предлагали заняться организацией борьбы внутри самой России, чем явно склонялись на сторону милюковцев. Вместе с тем у «центристов» не было более или менее четкого представления о том, что же конкретно следует предпринять, чтобы наладить дело антибольшевистского сопротивления в стране. В конце концов они вынуждены были признать, что, находясь в эмиграции, смогут только «давать толчки», т.е. вырабатывать идеи, планы, мысли и «перебрасывать» их в Россию,

а также сосредоточиться на разработке проектов будущего переустройства России.

Петр Дмитриевич принял активное участие в составлении программной платформы центристской группы. Вместе с тем он не терял надежды на возможность совместных действий с правее стоящими силами в общих антибольшевистских акциях. Так, Петр Дмитриевич полагал вполне допустимым для реального политика «коалиционное перемирие с вчерашними политическими противниками и, вероятно, завтрашними, то есть в данном случае с правыми, пока дело идет о борьбе против общего врага». Поэтому он крайне отрицательно воспринял резкую критику своими товарищами по группе праволиберальной газеты «Возрождение», созданной в 1925 году П.Б. Струве, а также решение «центристов» о неучастии в Зарубежном съезде (1926). Сам Петр Дмитриевич был избран делегатом на Зарубежный съезд от Национального комитета в Праге. В конце концов в знак несогласия с непримиримой позицией своих товарищей он вышел из состава центристской группы.

Впрочем, заявляя в письме о прекращении членства, князь пытался сгладить остроту конфликта, подчеркнув, что рассматривает свои расхождения с группой скорее как тактические, нежели программные, что по-прежнему считает себя «правоверным кадетом», а следовательно, видит необходимость в продолжении борьбы за демократию и правовой строй против любых форм деспотии и автократии.

Впрочем, Долгорукову оставалось еще широкое поле общественной деятельности: находясь в Праге, он исполнял обязанности казначея Педагогического бюро по делам русской средней и низшей школы за границей, входил в правление Архива русских эмигрантов, а в 1927 году возглавил Объединение представителей русских организаций в Чехословакии.

После оккупации Чехословакии немецкими войсками положение русских эмигрантов резко ухудшилось: их стали преследовать, многие лишились пособий и работы. Немецкие оккупационные власти распустили большую часть русских эмигрантских организаций, а оставшиеся подчинили контролю гестапо. В этих условиях президиум Объединения русских эмигрантских организаций в Чехословакии поручил своему председателю П.Д. Долгорукову установить контакт с главным руководителем русской эмиграции в Берлине генералом В.В. Бискупским и проинформировать его о крайне тяжелом материальном положении, в котором оказалась русская колония в Чехословакии. Долгоруков вынужден был обратиться к Бискупскому с письмом. Позднее, в ноябре 1939 года, он был вызван генералом Бискупским в Берлин. Однако добиться каких-либо позитивных перемен в положении русских эмигрантов в Чехословакии Долгорукову так и не удалось. Более того, вскоре после его возвращения из Берлина он был снят, по распоряжению гестапо, с должности председателя Объединения русских эмигрантских организаций и вынужден был теперь зарабатывать на жизнь, давая частные уроки русского языка и литературы. Однако встреча с генералом Бискупским сыграла роковую роль в судьбе Долгорукова.

«Я являюсь сторонником правового демократического строя, осуществляемого при помощи народного представительства...»

9 июня 1945 года Петр Дмитриевич был задержан Смершем 1-го Украинского фронта и помещен под арест в КПЗ одной из воинских частей. Уже на первом допросе 9 июня Долгорукову было предъявлено обвинение в том, что он участвовал «в ряде антисоветских политических организаций», а в период немецкой оккупации сотрудничал с фашистами. В ответ на это обвинение Долгоруков самым решительным образом заявил о том, что не признает себя виновным. Объясняя мотивы своего отъезда за границу в 1920 году, он сказал: «Я эмигрировал не потому, что состоял на службе в белой армии, а эмигрировал по причине того, что не был согласен с программой коммунизма и тактикой большевизма, поэтому не желал остаться на территории советской власти...»

Отрицая свое участие в антисоветских политических партиях и организациях, Долгоруков подчеркнул: «Организации, в которых я состоял, являлись не политическими, а культурно-общественными». Отклонил он и обвинения в том, что якобы намеревался вести борьбу против СССР в целях свержения советской власти и «восстановления буржуазного строя по типу Англии и Америки». «Я, — заявил Долгоруков, — не разделял и не разделяю принципов большевизма и не согласен с политикой советской власти, но намерений вести борьбу против СССР я не высказывал и не ставил целью борьбу и свержение советской власти. Я являюсь сторонником правового демократического строя, осуществляемого при помощи народного представительства». Материалы следствия по делу Долгорукова свидетельствуют о твердости позиции и мужестве 79-летнего человека, оказавшегося в экстремальной ситуации.

27 июня состоялся следующий допрос, который продолжался на этот раз четыре с половиной часа. Никаких новых фактов, подтверждающих контрреволюционную деятельность Долгорукова, смершевцам за прошедшие две с половиной недели обнаружить не удалось. Тем не менее 30 июня капитан Волков подготовил постановление на повторный обыск и продление срока следствия. Это постановление было поддержано прокурором Центральной группы войск генерал-майором юстиции Шавером и утверждено генерал-лейтенантом Осетровым. 12 июля появилось постановление о принятии дела № 1587 к производству. 19 июля произведен дополнительный допрос, и Долгорукову было предъявлено обвинение по статье 58-4 и 58-3 УК РСФСР.

21, 25 июля и 9 августа состоялись новые многочасовые допросы, во время которых следователи пытались расширить «фактуру» обвинения. Так, например, в ходе допроса 9 августа следователь заявил, что Долгоруков присутствовал в Никольской церкви в Праге на молебне, посвященном дарованию многих лет жизни Гитлеру и победы германскому оружию в войне против Советского Союза. Не отрицая данного факта, Долгоруков пояснил: «Не будучи предупрежден о предстоящем молебне после всенощной, я действительно присутствовал на молебне с провозглашением многолетия Гитлеру, которое было, кажется, в 1941 году в Николаевской церкви в Праге. Таким же образом я присутствовал в той же

церкви в 1945 году на молебне о провозглашении многолетия Иосифу Сталину».

Понимая, что каких-либо конкретных, веских улик против Долгорукова собрать не удастся, армейские следственные органы 23 августа передали его дело в следственный отдел контрразведки Смерш Центральной группы войск, где оно 30 августа и было принято к производству. Начался новый виток допросов, в ходе которых следователь обратился уже к анализу политической деятельности Долгорукова в период 1917 года и Гражданской войны. Несмотря на усиливающееся с каждым новым допросом давление, Долгоруков откровенно заявлял следователю: «По своим убеждениям я являлся и являюсь противником Октябрьской революции 1917 года и советской власти. Но это только убеждение, какой-либо деятельности против революции 1917 года и советской власти я не проявлял». Вновь отвечая на вопрос о причинах эмиграции, Долгоруков сказал: «Я был не согласен с программой и тактикой советской власти. Являлся и являюсь идеологическим противником социалистической революции 1917 года».

Ничего не добившись от арестованного, Смерш 16 октября передал следственное дело в Главное управление контрразведки. 7 декабря Долгоруков был доставлен во внутреннюю тюрьму НКВД — таким печальным образом состоялось столь долго ожидаемое возвращение Петра Дмитриевича на родину. В его деле сохранился один примечательный документ-талон — квитанция на вещи арестанта. Князю Рюриковичу выдали 22 предмета, среди них: брюки х/б, ботинки старые, полотенце рваное, рубашки рваные, носовой платок рваный...

Через четыре дня после прибытия на Лубянку Петр Дмитриевич серьезно заболел. 13 декабря подполковник медицинской службы Яншин подписал следующее медицинское заключение: «У заключенного артериосклероз, дистрофия и поливитаминоз, вследствие чего нуждается в немедленном направлении в больницу Бутырской тюрьмы НКВД СССР». 26 декабря было принято постановление о приостановлении следствия, которое возобновилось 29 апреля 1946 года.

После более чем четырехмесячной болезни, 3 мая 1946 года, вновь начались допросы, которые продолжались с 10 часов утра до 16 часов. Во время этих допросов на Петра Дмитриевича оказывалось психологическое воздействие: его обвиняли в неискренности показаний, пытались уличить в заведомой лжи. Его участие в эмигрантских организациях, предосудительное с точки зрения следствия, само по себе стало отягощаться обвинениями в том, что эти организации поддерживали связь с «органами иностранных государств» и руководствовались в своей деятельности директивами последних. В частности, речь шла о якобы существовавших связях Пражского национального комитета с «японскими дипломатическими организациями». Долгоруков категорически отверг это явно надуманное обвинение. Затем его пытались обвинить в контактах с руководителем РОВСа генералом Миллером. В ответ на это Долгоруков заявил: «Я к РОВСу не примыкал». Начиная с 64-й и по 67-ю страницу следствен-

«Я являюсь сторонником правового демократического строя, осуществляемого при помощи народного представительства...»

ного дела, зафиксировавшего этот допрос, на листах имеются обильные темные пятна — складывается впечатление, что, читая текст протокола допроса, Петр Дмитриевич плакал.

Постоянные обвинения в сотрудничестве с гестапо особенно угнетающе действовали на подсудимого. Он неоднократно подчеркивал: «Ранее я уже показал и сейчас повторю, что Объединение эмигрантских организаций в Праге, председателем которого я был, не объединяло политически эмигрантских организаций и, таким образом, при переговорах со мной в Берлине ни Бискупский, ни Остен-Сакс, ни другие представители германских органов не ставили вопроса об активизации антисоветской деятельности объединявшихся мной эмигрантских организаций, как и не говорили вообще о политической работе».

6 мая было принято постановление о переквалификации состава преступления: «Привлечь Долгорукова Петра Дмитриевича в качестве обвиняемого по ст. 58-4 и 58-11 УК РСФСР, прекратив обвинение по ст. 58-3 УК РСФСР». В тот же день был подписан протокол об окончании следствия, сроки которого продлевались уже шесть раз. Накануне, 5 мая, Петр Дмитриевич был освидетельствован медсанчастью Бутырской тюрьмы и был признан негодным к физическому труду. К этому времени Петру Дмитриевичу исполнилось ровно 80 лет.

14 мая 1946 года военный прокурор Главной военной прокуратуры СССР майор юстиции Лозинский подписал обвинительное заключение, в котором отмечалось, что Долгоруков виновным себя не признал, и его дело направлялось на рассмотрение Особого совещания при министре внутренних дел СССР. Мера наказания Долгорукову предлагалась десять лет исправительно-трудовых лагерей. 10 июля 1946 года Особое совещание, рассмотрев дело Долгорукова, постановило: «За принадлежность к контрреволюционной организации заключить в тюрьму сроком на пять лет, считая с 9 июня 1945 года».

Этот срок Петр Дмитриевич отбывал во Владимирской тюремной больнице, где его и встретил В.В. Шульгин, арестованный в Югославии в 1945 году. «У него, — вспоминал Шульгин о Долгорукове, — была „рожа“, вся правая рука была багрово-красная, температура тридцать девять градусов. Он очень стойчески переносил свою болезнь, бодрился...»

Поведение Долгорукова поразило много повидавшего Шульгина, запечатлевшего образ князя в своих воспоминаниях. «Он, — писал Шульгин, — вообще разговаривал охотно и много, очень бодро и с тем оттенком, принятым у старой русской аристократии, который состоял в следующем: важность личного преуменьшалась, наличествовал оттенок легкой насмешки к самому себе и даже ко всей своей аристократической касте». Что было приятно в Петре Дмитриевиче, продолжал Шульгин, «это такое его свойство, как абсолютное отсутствие какого-либо угодничества и подхалимства. Он обращался со всеми этими людьми, начиная от начальника тюрьмы и кончая уборщицей, совершенно одинаково. И при том как с равными».

ПЕТР
ДМИТРИЕВИЧ
ДОЛГОРУКОВ

Еще задолго до отбытия Долгоруковым срока заключения тюремное начальство направляло депеши «наверх», информируя о том, что Долгоруков «по своему состоянию здоровья не может быть направлен в ссылку на поселение». Предлагалось направить его в дом инвалидов, «расположенный в нережимной местности», и передать под надзор органов МГБ «как не имеющего родственников, которые могли бы взять его под опеку». По решению медицинской комиссии от 10 июля 1948 года Петр Дмитриевич был признан инвалидом I группы. 3 марта и 24 мая 1951 года его еще раз освидетельствовали, зафиксировав при этом старческую дряхлость, общий атеросклероз, порок сердца, двустороннюю паховую грыжу. С мая 1951 года Долгоруков уже не мог без посторонней помощи подниматься с постели. С 8 октября у него начались зрительные и слуховые галлюцинации. 10 ноября 1951 года в 19 часов 30 минут Петра Дмитриевича не стало.

Через 41 год, 23 июня 1992 года, Петр Дмитриевич Долгоруков был реабилитирован на основании статей 3 и 5 Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий».

ПАВЕЛ
ДМИТРИЕВИЧ
ДОЛГОРУКОВ

«Последовательный
демократизм, соединенный
с суровой национальной
дисциплиной...»

Князь Павел Дмитриевич Долгоруков (1866–1927) — один из выдающихся лидеров Конституционно-демократической партии — происходил из древнейшего рода Рюриковичей. Вскоре после рождения Павла и его брата-близнеца Петра семья переехала из Царского Села в Москву в просторный особняк в Малом Знаменском переулке. Павел Долгоруков получил прекрасное образование: окончил частное реальное училище Фидлера, а затем естественное отделение физико-математического факультета Московского университета.

Бюрократическая карьера не представляла для Павла какого-либо интереса. Поступив по настоянию отца чиновником в государственную канцелярию при Государственном совете, он служил недолго, вскоре вышел в отставку и поселился под Москвой в родовом имении Волинщина Рузского уезда. Однако в силу своего деятельного характера Павел не мог замыкаться в частной жизни, тем более что семью ему создать так и не удалось. Вскоре он стал участником кампании по борьбе с голодом в 1891–1892 годах в Самарской губернии в качестве общественного уполномоченного: участвовал в организации работ по возведению и укреплению огромной дамбы при впадении реки Самары в Волгу. На следующий год Павел был избран предводителем дворянства Рузского уезда и оставался на этом посту в течение пяти трехлетий; во время своего предводительства получил придворное звание камергера. К его заслугам следует отнести расширение дела начального школьного обучения в уезде. Вместе с тем он сознавал необходимость координации процесса просвещения в более широких рамках: возглавив Московское учительское общество, Павел Долгоруков активно содействовал проведению Всероссийского съезда учительских обществ в Москве на рождественские каникулы 1902–1903 годов. Съезд, проходивший под его председательством, стал, по оценкам современников, крупным событием в общественной жизни второй столицы.

Павел Долгоруков вел большую работу в Московском губернском земстве: входил в состав ряда его комиссий, состоял председателем губернского земского экономического совещания. Во время Русско-япон-

ской войны он выехал на Дальний Восток во главе пяти передовых санитарных отрядов Московского земства. Сам Павел из-за дефекта зрения был признан негодным к воинской службе. Однако судьба его начиная с Русско-японской войны постоянно пересекалась с жизнью армии.

Повседневная работа Павла, будь то в уезде или в губернском земстве, укрепляла его желание обеспечить для общественности большие возможности участия в решении государственных дел. В политической обстановке того времени подобные взгляды неминуемо приводили в лагерь оппозиции самодержавному режиму. С другой стороны, Павел был противником радикализма; выступая за проведение социальных реформ, он отвергал социалистическую доктрину. Принципиальные слагаемые его политического идеала — конституционность, демократизм, государственность или, по словам его брата Петра, «консервативный либерализм».

Поиски путей реформирования страны определили активную роль Павла в становлении земско-либерального движения: он был среди организаторов известного кружка «Беседа», Союза земцев-конституционалистов, входил в руководство Союза освобождения, принимал активное участие в созыве и проведении земских съездов 1904–1905 годов. Павел был избран в состав делегации земских съездов, принятой Николаем II 6 июня 1905 года. Целью делегации было побудить царя созвать бессловесное народное представительство на основе равных для всех граждан прав.

Логическим развитием общественных взглядов Павла стало его участие в создании Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы), история которой от начала и до финала стала историей и его жизни. На I съезде (октябрь 1905 года) Павел был избран в ЦК, а по решению II съезда (январь 1906 года) возглавил партию. III съезд (апрель) подтвердил избрание его председателем. Позднее, в марте 1907 года, Павел Долгоруков, ставший депутатом II Государственной думы, сложил с себя звание председателя ЦК, считая, что депутатские обязанности не дадут ему в полной мере выполнять партийные функции. Впрочем, после роспуска II Думы он вновь (в октябре 1907 года) стал главой партии. Организационное разделение ЦК на два отделения (Петербургское и Московское) и сосредоточение ключевых функций у столичных партийцев побудило москвича Павла Долгорукова отказаться в интересах дела от председательства (в ноябре 1909 года). Однако он остался в кадетском руководстве, будучи избранным товарищем председателя партии.

Многие современники задавались вопросом, почему в течение ряда лет именно князь Павел Долгоруков становился председателем Конституционно-демократической партии. Кадеты, собравшие под свои знамена цвет русской интеллигенции — известных юристов, профессоров университетов и публицистов, — могли выдвинуть немало партийцев, обладавших блестящими ораторскими способностями, пользовавшихся большей популярностью в широких общественных кругах. Однако выбор пал на Павла Долгорукова, не блиставшего красноречием, получившего даже прозвище «Leader ohne Worte» («лидер без слов» или «бессловесный лидер»).

В его пользу говорили выдающиеся организаторские способности, воля и упорство. Имело значение и то, что, принадлежа по рождению к верхушке аристократии и обладая к тому же независимым и твердым характером, он мог достойно отстаивать интересы оппозиционной партии в непростых взаимоотношениях с властями. Но, видимо, определяющую роль сыграли такие качества Павла Долгорукова, как верность центристской позиции, умение в пылу политических споров помнить не только о партийных, но и о государственных интересах, о необходимости ответственной созидательной государственной работы.

Павел не был склонен поддаваться в своих оценках политической конъюнктуры и митинговым эмоциям. Ему были глубоко антипатичны в людях суета и шараханье из одной крайности в другую. По воспоминаниям брата Петра, Павел не был ни «снобом радикализма», ни «кающимся дворянином». Даже его спокойные, уверенные манеры, солидная внешность, отражавшая основательность натуры, подтверждали его репутацию надежного руководителя, способного обеспечить партии стабильность, задать ее работе деловой настрой. Недаром большая часть заседаний практически всех, за некоторым исключением, партийных съездов и конференций проходила под его председательством. Мало кто мог сравниться с Павлом Долгоруковым в настойчивости, с которой он содействовал проведению в жизнь принятых решений. К тому же он обладал редким даром, ценимым в любой коллективной работе: способностью не переводить политические разногласия в личную неприязнь и готовностью подчинить свои частные интересы деловым соображениям, общему благу. Примечательно, что, когда при выборах в I Государственную думу он был единогласно выдвинут кандидатом от Московского городского комитета партии кадетов, он, не колеблясь, снял свою кандидатуру в пользу однопартийца М.Я. Герценштейна, заявив, что тот, как признанный авторитет по аграрному вопросу, сможет своим участием в Думе принести большую пользу.

Павел Долгоруков не занимался в партии разработкой программных положений: его главные усилия были сосредоточены на решении организационных вопросов. Последовательно и настойчиво он работал над становлением партийных структур в провинции, справедливо считая, что политическая партия лишь тогда станет по-настоящему действенной и авторитетной, когда сможет укорениться на низовом (уездном) уровне, подкрепить свою думскую деятельность широкой поддержкой населения. С этой целью он неоднократно предпринимал поездки по провинциальной России, вновь и вновь призывал к упорной работе членов партии на местах, к созданию дееспособных местных организаций, к неустанной работе над приобщением народа «к нашему политическому верованию». Пытаясь внести элементы организации в пропагандистскую деятельность по стране и тем повысить ее отдачу, Павел предложил разбить все пространство Европейской России на ряд округов. И хотя эти планы не были полностью реализованы, сама идея оказалась весьма плодотворной. Это,

например, подтверждало развитие дел в двух основных округах — Подмосковном и Северо-Восточном (объединившем все северные губернии, Уральский край, Среднее и Нижнее Поволжье), которые благодаря своим «заведующим» (Н.М. Кишкину и А.М. Колюбакину) продемонстрировали значительное усиление организационной и агитационной деятельности.

При всей увлеченности общественной деятельностью Павел Долгоруков имел весьма разносторонние интересы. В своем рузском имении он завел охоту с гончими, конюшню из нескольких десятков рысаков. В пору своего предводительства устраивал в Рузе бега, где его тройки неизменно брали призы. Павел был многолетним членом московского Английского клуба и элитарного яхт-клуба в Петербурге. Ежегодно, вплоть до Первой мировой войны, в конце зимы он выезжал за границу, преимущественно в Италию, оттуда в Париж, заезжал в Монако, где наряду с рулеткой посещал и океанографическую станцию. Интерес к проблемам ихтиологии был связан с его специализацией в университете и занимал Павла на протяжении долгих лет. Вблизи своего подмосковного имения на Анофриевском озере он основал под руководством профессора Зографа ихтиологическую станцию, которая действовала вплоть до Октябрьской революции.

Павел принимал активное участие в культурной жизни Москвы: был близок к театральным кругам, состоял пайщиком акционерного предприятия Московского художественного театра, поддерживал дружеские связи с его ведущими артистами. Павел был лично знаком с Л.Н. Толстым, бывал в его доме в Хамовниках. Однажды совершил поездку в Ясную Поляну для открытия там по поручению Московского общества грамотности народной библиотеки.

Павел Долгоруков зарекомендовал себя практичным и инициативным помещиком. В лесном имении в Чухломском и Галичском уездах он построил большой завод по выделке паркета, в Волоколамском уезде приобрел лесное имение вблизи Московско-Виндавской железной дороги, построил там лесопильный завод и организовал доставку дров в Москву. При этом Павел не забывал о благотворительности. Так, на Охте у Петербурга он содержал дачу-богадельню, где на полном обеспечении жили его старые служащие.

Политическая известность принесла Павлу Долгорукову немалые испытания. Власть не раз пыталась дискредитировать его прежде всего как общественного деятеля. В 1906 году его ложно обвинили в том, что он якобы пытался противодействовать получению Россией крупного займа во Франции. В связи с этим против него развернулась кампания порицания; намекали даже на измену. Для Павла Долгорукова — истинного патриота — это был болезненный удар. Однако он смог с достоинством выдержать все нападки. Спустя годы, уже оказавшись в эмиграции, многие из очевидцев и участников той истории подтвердили необоснованность обвинений. Хотя и с опозданием, но справедливость была восстановлена. Впрочем, и в 1906 году серьезных аргументов у обвинителей Павла не оказалось, и власти не смогли добиться его отстранения от политической деятельности.

«Последовательный демократизм, соединенный с суровой национальной дисциплиной...»

Это удалось сделать несколько позже, когда против Долгорукова было инспирировано дело о превышении власти в качестве предводителя дворянства. Обвинение было построено на чисто формальных придириках: речь шла о раздаче зерна крестьянам по разрешению князя. В таких действиях не было ничего криминального; точно так же из года в год поступали многие предводители дворянства. Однако пострадал лишь Долгоруков, и это говорило о том, что «избирательные» придирки выполняли репрессивную функцию. Следствие и разбирательство тянулись очень долго и закончились в декабре 1910 года: отчисленный с поста предводителя по приговору суда, Павел Долгоруков потерял право занимать какие-либо выборные должности. Последовало лишение его придворного чина камергера. Но и эти удары он выдержал спокойно и, не потеряв лица, продолжил общественную деятельность: на нем лежали обязанности бессменного главы пацифистского «Общества мира», созданного в Москве в 1909 году по его инициативе.

«Общество мира» представляло собой отделение Международного центра пацифистского движения. В июне 1910 года Павел участвовал в работе XVIII Стокгольмского конгресса мира, сделал доклад в его секции. На одном из заседаний конгресса произошел эпизод, который как нельзя лучше характеризовал патриотизм Павла. В ходе дискуссий был поднят вопрос о нарушении царизмом прав различных национальностей России. Павел посчитал для себя недостойным участвовать в порицании политики Российского государства «на собраниях международного характера» и, присоединившись к протесту другого российского делегата — И.Н. Ефремова, — покинул зал заседаний.

Одной из важнейших задач деятельности «Общества мира» Павел полагал изучение национальных проблем. Причем и здесь, в силу независимости характера и цельности политического мировоззрения, он не боялся идти наперекор возобладавшим общественным настроениям. Вскоре после начала Первой мировой войны он организовал многолюдное собрание «Общества» в зале Политехнического музея. В обстановке небывалого всплеска шовинизма он твердо и открыто выступал против истерии германофобии. «Будем патриотами, — призывал он, — но не будем шовинистами».

Необходимость более обстоятельного обсуждения национальных вопросов подчеркивалась Долгоруковым и на заседаниях кадетского ЦК. Характерна его позиция относительно польского вопроса, изложенная им в специальном докладе на одном из майских заседаний ЦК в 1916 году. Он полагал возможным и даже необходимым предоставить объединенной Польше независимость в случае победоносного для России и ее союзников окончания войны. Если же война «окончится вничью», России, по мнению Долгорукова, следовало ограничиться предоставлением российской части Польши «широкой автономии», так как «самостоятельность лишь части Польши создаст в Европе равновесие неустойчивое, постоянно угрожающее международному миру, который может быть нарушен и в момент для России наименее благоприятный».

Пацифизм Долгорукова не был тождественен антимилитаризму. «Сейчас, — подчеркивал он после нападения Германии на Россию, — ничего не остается делать, как помнить главную цель — победу». С началом войны он в качестве начальника передового санитарного отряда Всероссийского союза городов находился с декабря 1914 до середины апреля 1915 года при армии в Галиции, был на передовой. Во фронтовой обстановке в полной мере проявились свойственные Павлу смелость и хладнокровие: при самом сильном обстреле он не терял самообладания, не кланялся пулям. В этом не было позы, его вообще отличала естественность поведения.

Февральская революция не изменила отношения Павла к войне и армии. Он, как и прежде, придавал первостепенное значение фронту и победоносному окончанию войны. В приветственной речи, произнесенной Павлом от имени ЦК на первой послефевральской кадетской конференции, он акцентировал внимание делегатов на важности поддержки лозунга продолжения войны «до полной и окончательной победы над врагом». Помимо задачи «изгнания противника из пределов России», победа стран согласия могла бы, как полагал Павел, способствовать тому, что «волна демократизма, поднятая великой русской революцией, докатится и до центральных европейских держав и сметет с них последние признаки абсолютизма и феодализма».

В апреле 1917 года Павел выехал с мандатом думской комиссии в армейские подразделения, объехал 28 полков, принял участие в 35 митингах. Хотя он вынужден был констатировать наличие элементов разложения, он все же вынес из поездки в целом оптимистическое впечатление о боеспособности армии. На майской конференции кадетов Павел доказывал, что «с этой армией можно воевать, надо только много над ней работать»: систематически посещать фронт и снабжать его необходимой литературой.

Типичная для либеральных кругов эйфория послефевральских дней практически не затронула Павла Долгорукова — он, например, был в числе немногих, не нацепивших красного революционного банта. На фоне бурной административной деятельности кадетов, занимавших посты в различных звеньях государственного аппарата, поведение Долгорукова, сторонившегося должностей, производило впечатление некоего диссонанса, а по сути свидетельствовало о зреющем разочаровании. Его тревожили явные признаки разрушения русской государственности. С самого начала он не мог признать оправданным формирование Временного правительства без твердой опоры на Государственную думу, считая, что при таком подходе кабинет просто «повиснет в воздухе». Позднее он ратовал за устранение двоевластия правительства и Советов, за укрепление авторитета центральной власти. Судя по всему, еще до Октябрьского переворота Долгоруков склонялся к поддержке диктатуры как единственной силы, способной вывести страну из кризиса.

Важную роль в оздоровлении ситуации, по мнению Долгорукова, могло сыграть и Учредительное собрание. Прервав свой затянувшийся «отпуск», Павел включился с сентября 1917 года в напряженную избирательную кам-

«Последовательный демократизм, соединенный с суровой национальной дисциплиной...»

панию, баллотируясь в состав Учредительного собрания от Московской губернии. Как один из лидеров кадетов, он заявлял, что партия на выборах должна стать носителем начал государственности. Обезд Павлом уездных городов был прерван Октябрьским вооруженным восстанием. Однако на выборах 14 ноября он прошел в депутаты единственным из списка кадетов по своему округу.

По горькой иронии судьбы, день открытия Учредительного собрания (первоначально намеченный на 28 ноября), с таким нетерпением и надеждами ожидавшийся Павлом Долгоруковым, окончился для него тюремной камерой в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Приехав 28 ноября в Петроград, он направился на оговоренное место встречи кадетских депутатов — к графине С.В. Паниной. К несчастью, его вовремя не предупредили об аресте графини и о засаде, устроенной на ее квартире, где он и был задержан. Формальным поводом к аресту Павла Долгорукова (а вместе с ним и других лидеров кадетской партии, А.И. Шингарева и Ф.Ф. Кокошкина) явилось обвинение в отказе передать большевикам денежные средства бывшего Министерства народного просвещения. Эти средства находились у Паниной в силу исполнения ею обязанностей товарища министра народного просвещения в последнем Временном правительстве. Было, однако, очевидно, что Долгоруков, Кокошкин и Шингарев, находясь в Москве, не могли иметь какого-либо отношения к столичным министерским деньгам. Однако к вечеру подоспело «юридическое обоснование» ареста — подписанный Лениным декрет Совнаркома, в котором кадеты объявлялись «партией врагов народа» и указывалось, что члены кадетских руководящих учреждений «подлежат аресту и преданию суду революционных трибуналов».

Во время трехмесячного заключения Павел Долгоруков, как всегда, сохранял присутствие духа, надеясь, по-видимому, на правовое разрешение дела кадетских лидеров. В газете «Речь» он опубликовал открытое письмо народным комиссарам, в котором обосновывал незаконность ареста и рассчитывал, что созванное 5 января 1918 года Учредительное собрание обеспокоится судьбой содержащихся в крепости депутатов. Разгон собрания и жестокое убийство в Мариинской тюремной больнице Кокошкина и Шингарева не оставили места иллюзиям. Павел тяжело переживал известие о мученической смерти своих товарищей. Тогда же он принял решение выступить на процессе их убийц и публично заявить, что ответственность за содеянное должны нести в первую очередь те, кто подписал декрет 28 ноября и тем самым спровоцировал расправу, указав жертву «слепым, обманутым людям». Суд, впрочем, не состоялся, но было закрыто и дело самого Долгорукова. В конце февраля 1918 года он был освобожден.

Вернувшись в Москву, Долгоруков вновь включился в партийную жизнь: руководил организационной работой бюро ЦК партии кадетов, созывал его регулярные заседания. В тот период в партии развернулась острая дискуссия по вопросу выбора дальнейшего направления работы.

Долгоруков подвергал резкой критике планы П.Н. Милюкова водворить порядок в стране с помощью немецкой армии. Он видел в германофильском курсе серьезную угрозу для политического авторитета партии, для ее внутренней целостности, настаивал на сохранении верности союзникам.

После майской партийной конференции 1918 года кадеты подверглись жестким репрессиям: в Москве был закрыт партийный клуб в Брюсовом переулке, около 60 партийцев были арестованы. Дворец Долгоруковых в Малом Знаменском переулке (за Музеем изобразительных искусств) трижды подвергался обыску. Отныне князь должен был вести полулегальное существование, ночуя у знакомых и часто меняя квартиры. Однако внушительная, дородная фигура князя, его величавая осанка, характерная окладистая борода чрезвычайно затрудняли маскировку внешности, да и сам князь не испытывал особого страха. Он не побоялся даже проникнуть в здание ВЧК на Лубянке, пытаясь разузнать что-либо о судьбе арестованных кадетов. Молодой красноармеец, стоявший на посту, был введен в заблуждение «начальственным видом» и поведением Павла. Он пропустил его безо всякого документа и также свободно позволил уйти.

Привыкнув к известному комфорту, упорядоченному образу жизни, Павел Долгоруков тем не менее спокойно переносил тяготы скитальчества. Собственно, с этого времени у него уже никогда не было своего дома. Многие его товарищи летом 1918 года потянулись на Юг, в распоряжение Добровольческой армии. Но Долгоруков решил остаться в Москве, хотя тучи над его головой сгущались; ясно было, что его пребывание на свободе — лишь вопрос времени. И все же Долгоруков считал, что его место в городе, пока московская партийная организация выполняет координирующие функции, спланирует ряды кадетов, разъясняя путем переписки и личных контактов противоречия, возникшие в партии в связи с проблемой самоопределения. Позднее он утверждал, что «московское сидение» летом 1918 года спасло партию. Лишь в октябре, «когда Германия дрогнула» и «вопрос о немецкой ориентации потерял свою остроту и опасность», Долгоруков выехал из Москвы в Киев. Там он взял на себя ведение заседаний Центрального комитета, поскольку Милюков формально сложил с себя пост председателя ЦК.

Во имя достижения главной цели — победы над большевизмом и воссоздания «единой великой России» — Долгоруков считал абсолютно необходимым образование широкого межпартийного объединения, «должностующего подпереть противобольшевистскую военную силу, дать точку приложения союзнической помощи и способствовать образованию русской государственности». Поэтому он много сил и энергии отдавал работе во Всероссийском национальном центре, созданном в мае 1918 года как объединение либеральных антибольшевистских сил во главе с кадетами.

С переездом Главного комитета Национального центра на Юг Долгоруков занял пост товарища его председателя, содействовал созданию новых отделений Центра. Он входил в комиссию пропаганды при Национальном центре и в этом качестве организовывал многочисленные собрания, вы-

«Последовательный демократизм, соединенный с суровой национальной дисциплиной...»

ступал на них с докладами, основными лозунгами которых были призывы к всемерной поддержке Добровольческой армии и созданию объединенного антибольшевистского фронта государственно мыслящих общественных сил. Ради этого он предлагал в корне пересмотреть традиционные для политической жизни России правила межпартийного общения. Борьба политическая нужна, заявлял он, но «не острым концом копья, а тупым», «острие должно быть направлено против общего врага». Долгоруков клеймил принципы кружковщины, взаимной политической непримиримости, сведения «в столь грозное время» старых партийных счетов.

При этом Долгоруков прекрасно понимал, что создание широкого антибольшевистского фронта чревато «естественной правизной», и призывал «не смущаться» этим, полагая допустимым для кадетов идти на ряд политических уступок. Он неоднократно подчеркивал в своих публичных выступлениях, что лишь та партия может считаться государственной, которая способна «в момент национальных потрясений» подняться на «надпартийную высоту общенациональных заданий», выставить «надпартийные лозунги, необходимые для спасения государства, хотя бы они и противоречили программным требованиям мирного времени».

Вместе с тем претерпевали несомненную эволюцию и взгляды самого Павла Долгорукова. Теперь он склонялся к пересмотру решений послефевральских партийных съездов об Учредительном собрании в пользу лозунга единоличной власти. Поначалу он делал оговорки, что выступает сторонником диктатуры, лишь «если она подпишется под нашими условиями», но к 1919 году встал на позиции безусловной поддержки военной диктатуры, видя в ней единственную власть, способную спасти Россию. «В разгар пожара, — писал Долгоруков, — не разбираются, хорош ли брандмейстер. Его вызывают, его ожидают, раз ему подчинена пожарная команда, и охотно веряют его единоличной власти пылающее здание». И Деникина, и Колчака он оценивал как «желанных вождей», поскольку они, по его мнению, обладали «государственным инстинктом».

Равным образом Павел Долгоруков не считал возможным в сложившихся обстоятельствах отстаивать лозунг федерации; осуществление в России федеративного строя он относил на будущее, когда в стране восстановится государственность и порядок. В решении аграрного вопроса он признавал необходимым считаться с фактически состоявшимся «черным переделом», хотя и возражал против принципа «узаконения захватов».

В развернувшейся в либеральной среде дискуссии относительно «завоеваний и заслуг революции» Павел Долгоруков подвергал сомнению попытки отделить «эксцессы большевизма», с которым связывались явления анархии, бунтарства, демагогии, от собственно революции. С его точки зрения, на всех стадиях революции можно было проследить действие разрушительных тенденций. Завоевания революции, по его словам, «тонут в массе вреда и бедствий, причиненных народу и государству»; «экономическая, культурная и моральная разруха» на долгое время не даст возможности воспользоваться никакими завоеваниями. Единствен-

ным безусловным «завоеванием революции» он называл «исцеление от народническо-социалистической маниловщины».

Новым взглядам Павла Долгорукова вполне соответствовали решения Екатеринодарского (июнь 1919 года) и Харьковского (ноябрь 1919 года) совещаний партии. Принятые на них резолюции поддерживали военную диктатуру, которой предоставлялись особые полномочия по осуществлению «исторической задачи объединения России, восстановлению разрушенного аппарата власти» и «водворению социального мира». Правда, многие кадетские лидеры (И.И. Петрункевич, М.М. Винавер, П.Н. Милуков и др.) критиковали эти решения как «отступнические», «порывающие с прошлым партии».

Действительно, кадетские совещания ревизовали программные положения партии по национальному и аграрному вопросам; они провозгласили декларации Колчака и Деникина «руководящими началами общенациональной платформы». По мнению Долгорукова, эти явные подвиги были лишь временными отступлениями, вытекавшими из чрезвычайных условий Гражданской войны. В подтверждение правоты резолюций юго-восточных конференций Долгоруков ссылаясь на аналогичные решения сибирских, закавказских кадетов, а также областных комитетов в Одессе и Киеве, что должно было свидетельствовать о единстве и согласованности кадетской платформы на всей «несовдеповской территории». Ему казалось, что, находясь в России, в самой гуще событий, он яснее видит существо происходящего и способен вместе с единомышленниками наметить для партии адекватную линию поведения, в то время как его критики в Париже слишком оторвались от российской действительности и проповедуют взгляды, не соответствующие конкретной ситуации и условиям «междоусобной борьбы». Он старался не замечать, что предлагаемая им политическая линия превращала кадетскую партию в «политическое прикрытие» военной диктатуры, делала партию ответственной за политические ошибки, допускавшиеся военным режимом.

Уязвимость новой позиции своей партии периода Гражданской войны Павел Долгоруков так и не признал — ни тогда, ни позднее в эмиграции. Он не мог согласиться с утверждением Милюкова, что одной из причин провала Белого дела явились грубейшие ошибки политического курса, в том числе и забвение демократических принципов в деле государственного управления, решения аграрного и национального вопросов. Долгоруков полагал, что истоки поражения коренились в военных неудачах, неспособности администрации отладить исполнение своих ключевых функций (снабжение армии, наведение порядка в тылу и т.д.), а также в отсутствии мощной «общественной подпорки» военному режиму, над созданием которой он безуспешно бился все три года Гражданской войны. Он с горечью констатировал проявления индивидуализма, а зачастую и просто шкурничества в поведении ранее, казалось бы, политически сознательных общественных деятелей, которые вместо борьбы за «воссоздание родины» занялись личным обустройством.

«Последовательный демократизм, соединенный с суровой национальной дисциплиной...»

Для самого Павла материальные блага потеряли всякую ценность. Князь ходил в пиджаке, сшитом из дерюжного мешка, в сапогах, зашнурованных белыми тесемками, которые подкрашивались черными чернилами. Заполнявшая его дни партийная и общественная работа была вся без остатка подчинена нуждам Белого движения. Однако если допустить, что аскетизм и подвижничество Долгорукова в чем-то сродни дон-кихотству, то ставшие его ветряными мельницами «обывательская апатия» и «гражданское дезертирство» так и остались непообежденными врагами. На созываемые им публичные собрания, посвященные «подвигам фронта» и «задачам тыла», приходила немногочисленная публика. Сидя в шубах в нетопленных залах, она «плохо согревалась пламенными призывами подпереть фронт». А рядом светились вывески кабаре, владельцы которых не могли пожаловаться на недостаток посетителей и отсутствие тепла.

С поражением Деникина партия кадетов, представители которой занимали многие посты в администрации генерала, оказалась фактически не у дел; многие из них в ходе эвакуации из Новороссийска покинули Россию. Окружение нового главнокомандующего, генерала Врангеля, составляли иные люди. Но Павел Долгоруков решил остаться на родине. На французском дредноуте он добрался до Феодосии, оттуда переехал в Севастополь. В письмах к однопартийцу Н.И. Астрову он называл себя «бранным остатком общественности в бранных остатках России». Задачи, которые он ставил перед собой, оставались прежними: всемерно укреплять борющуюся с большевизмом власть, оставаясь на выработанной в Екатеринодаре и Харькове позиции поддержки национальной диктатуры; оказывать максимальную помощь армии.

Павла Дмитриевича несколько не уязвляло то, что кадеты не были допущены до министерских постов в правительстве Врангеля. Главным для партии, по его убеждению, должно было быть не честолобивое желание играть непременно «видную политическую роль», а работать «хотя бы на скромном деле для воссоздания Родины». Не «навязываться» власти, а выполнять свой долг — служить опорой государственному порядку, вести «созидательную общественную работу», пусть даже на должностях «хотя бы третьестепенных». Поэтому он адресовал свои «горькие упреки» либеральной русской общественности, и прежде всего однопартийцам, покинувшим Россию. «О России забыли», — с болью писал он. Уехавшие однопартийцы предпочитают «политиканство в заграничных центрах» и «более удобную, комфортную и спокойную жизнь за границей» — «дыму и чаду отечества». Он настойчиво звал их в Россию, жаловался на «страшное безлюдье».

Впрочем, призывы Павла Дмитриевича особого действия не оказывали. Партийцы слали письма, в которых выражали восхищение его стойкостью, славословили по поводу его «подвига», «рыцарства», но не приезжали. Долгорукову же собственная роль представлялась много будничнее; он не видел в своих поступках никакого геройства. Он писал: «Мне просто

гораздо приятнее быть здесь. Легче, радостней, если бы не было парадоксально — веселей...» Он знал, что нужен в Крыму, и, кроме того, пока под его ногами была родная земля, оставалась надежда на поворот к лучшему.

Хотя должность Долгоруков занимал небольшую (он сотрудничал в агитационном отделе политической части врангелевского штаба), он был одной из ключевых и наиболее авторитетных фигур крымской общественности. Павлу Дмитриевичу пришлось везти тяжкий воз каждодневных организационных, пропагандистских и иных забот. Он наладил в Севастополе работу местного кадетского комитета, возглавил внепартийное Объединение общественных и государственных деятелей, которое развивало идеи Национального центра, был председателем Общества добровольных отрядов. Жизнь Долгорукова в Севастополе была нелегкой: бытовая неустроенность, безденежье, подчас полуголодное существование. Он сильно похудел, обносился, но тяготы и лишения не могли поколебать его решимости оставаться при армии на последнем клочке русской земли. В числе последних он эвакуировался из Крыма на том же французском дредноуте «Вальдек Руссо».

Пережить трагедию эвакуации, крайнюю нужду первых месяцев эмигрантского житья в Константинополе (как говорил Павел Дмитриевич, «корявость личного положения») он смог, черпая силы в привычной общественной деятельности. Долгоруков сразу же активно включился в работу местного кадетского комитета и отделения ЦК. Был избран также членом Политического объединенного комитета, выполнявшего функции представителя общественности во взаимоотношениях с генералом Врангелем и его администрацией. Помимо глубокого сострадания к бывшим защитникам Крыма, его тяга к армии объяснялась и принципиальными соображениями: он видел в армии последний оплот русской государственности.

В конце 1920 — начале 1921 года вопрос о Русской армии, находящейся в изгнании, стал объектом острых дискуссий в кадетских кругах. Выдвинутая П.Н. Милюковым «новая тактика» в числе прочего строилась на том, что историческая роль Русской армии уже сыграна, поскольку вооруженные действия, по крайней мере в прежних формах, перестают быть методом борьбы с большевизмом. Долгоруков категорически возражал против подобной позиции. Он настаивал на сохранении армии как боевой единицы, полагая, что ей предстоит стать главной силой как в будущем освобождении России, так и в подавлении «внутренней анархии», неизбежной в переходный период. Вместе с тем его коробило то, как отстраненно парижские кадеты решали судьбу армии — Долгоруков не мог смириться с жестокостью подобных политических решений. Слишком велико было его сочувствие к русским солдатам и офицерам, невыносимые тяготы и лишения которых он знал не понаслышке. Сам практически нищий, князь прилагал немалые усилия, чтобы облегчить условия жизни в военных лагерях. Для ознакомления общественности с положением армии в эмиграции он наладил выпуск гектографированных еженедель-

«Последовательный демократизм, соединенный с суровой национальной дисциплиной...»

ных информационных бюллетеней. По воспоминаниям кадета В. Даватца, поступившего добровольцем в деникинскую армию и не покинувшего ее ряды в изгнании, Долгоруков был единственным «из видных партийных лидеров», кто «имел мужество открыто встать на ее (армии. — Н.К.) сторону и в полном смысле слова связать себя с ее судьбою».

Павел Дмитриевич горячо воспринял планы создания Русского совета при Врангеле. В кругах единомышленников Долгорукова этот орган рассматривался как единый центр антибольшевистской борьбы, надпартийный по своей сути, связывающий «народное движение с вооруженной борьбой армии» и охраняющий «интересы этой освободительной борьбы перед всем миром». Долгоруков пытался убедить Врангеля в том, что образование Русского совета должно помочь главнокомандующему осуществить назревшую реформу органов политического и гражданского управления путем привлечения представителей казачества, главных политических и национальных партий и общественных организаций. Правда, вскоре стало очевидно, что Врангель, стремясь заручиться посредством Совета общественной поддержкой, не торопился разделить с общественностью власть.

Окончательный устав Русского совета принципиально отличался от первоначального проекта: на фоне растущего недовольства звучали предложения бойкотировать Совет. Однако Павел Дмитриевич вошел в его состав. Объяснением этого шага может служить его речь, произнесенная на торжественном открытии Русского совета 5 апреля 1921 года, в которой он заявил, что необходимо «более, чем когда-либо... подпереть армию и помочь главнокомандующему, разделив с ним власть гражданскую и политическую». Он считал, что «покамест в Париже не создается надлежащего общественно-национального центра», Русский совет при всем своем несовершенстве может играть роль объединяющего центра и оставить «единственную крепкую ось русского дела».

На Совещании членов ЦК кадетов, проходившем 26 мая — 2 июня 1921 года в Париже, многие однопартийцы потребовали от Долгорукова выхода из Совета. Однако Долгоруков, по-прежнему считая, что возможности вооруженной борьбы с большевизмом далеко не исчерпаны и потому Русскому совету еще предстоит стать объединяющим центром, поступил вопреки возобладавшему в партии мнению и даже в знак протеста против оказываемого на него давления написал заявление о выходе из ЦК (в конечном счете это заявление не получило хода). В конце февраля 1922 года Павел Дмитриевич выехал в Софию для подготовки выборов в Русский совет по заданию генерала Врангеля. Когда же летом 1922 года Совет был преобразован в финансово-контрольный комитет, он стал его активным членом. По поручению комитета он участвовал, в целях финансовой поддержки армии, в продаже части серебра Петроградской ссудной казны, вывезенной армией через Новороссийск.

В партии Павел Долгоруков оставался убежденным оппонентом «новой тактики» Милюкова. Он осуждал милюковский курс на коалицию с со-

циалистами, характеризуя его как тактический прием с целью «въехать в Россию на левых ослах». С точки зрения князя, Милюков своим «соглашательством с эсерами» переступил грань допустимого компромисса, демонстрируя стремление прийти к власти в России любой ценой. Вопреки планам Милюкова «откреститься» от политики «белых правительств» и перенести центр борьбы с большевизмом на внутренний фронт, Долгоруков по-прежнему настаивал, что «вооруженная борьба должна быть главной, основной» и должна быть сохранена «преемственность», гарантом которой являются Русская армия и ее командование.

В преддверии Совещания членов ЦК кадетов в 1921 году Долгоруков провел циркулярный опрос в заграничных кадетских группах. Полученные сведения, как казалось, давали основание утверждать, что единомышленники Милюкова составляли в партии незначительное меньшинство. Поэтому произошедшее выделение «милюковцев» («новотактиков») из состава парижской организации кадетов он оценивал не как раскол, а как «откол» части партии от большинства ее членов. Однако количественные подсчеты соотношения сил оказались на деле ненадежным критерием: вскоре сторонники Милюкова начали активно конституироваться в других центрах российского рассеяния.

Конституционно-демократическая партия фактически раскололась. Причем ее милюковская часть оказалась более активной и жизнеспособной, в то время как деятельность их оппонентов постепенно свертывалась. Вместе с тем Павел Дмитриевич сохранил приятельские отношения со многими милюковцами и был поражен, услышав о покушении на Милюкова в 1922 году: «Жаль, что убит Набоков, а не Милюков». Пытаясь отрезвить партийных фанатиков, он заявил: «Я оплакиваю Набокова, ужасаюсь убийству его и искренне радуюсь, что Милюков уцелел».

Первостепенное значение в эмиграции Долгоруков продолжал уделять внепартийному объединению всех тех, кто мог «подняться на национальную высоту, чтобы делать общенациональное государственное дело». Ради создания широкого антибольшевистского политического фронта Павел Дмитриевич считал целесообразным временно отказаться от решения коренных вопросов будущего устройства России, чтобы тем самым избежать дискуссий, вносящих раздор в эмигрантскую среду. Будучи сторонником республики, он решил не вступать в спор с приверженцами монархического принципа и предпочитал занимать позицию «непредрешенца», указывая одновременно на относительную ценность всех форм правления. Долгоруков предпринял попытку создать в Константинополе внепартийную организацию «Народное братство освобождения России». Эта организация объединила таких несхожих по своим политическим взглядам деятелей, как П.Б. Струве, И.П. Алексинский, А.С. Хрипунов, Н.Н. Львов и др. Основными положениями платформы «Братства» были: созыв Всероссийского национального собрания для определения государственного устройства России, закрепление за крестьянством земли на началах полной собственности, предоставление национальным окраинам

«Последовательный демократизм, соединенный с суровой национальной дисциплиной...»

широкого государственного самоуправления, «широкие социальные реформы, законодательная защита рабочего класса и последовательный демократизм», соединенные «с суровой национальной дисциплиной...». Особое место в борьбе с большевизмом «Братство» отводило сохранению Русской армии — ее предлагалось расселить в форме трудовых колоний с сохранением внутренней организации. Однако вскоре Павел Дмитриевич должен был признать, что подлинного дееспособного объединения государственно мыслящей демократической эмиграции так и не состоялось.

С годами острота крымской катастрофы постепенно изживалась. Стихали и политические страсти. Многие смирялись с происшедшим, втягивались в эмигрантскую жизнь, повседневные хлопоты. Павел Дмитриевич Долгоруков, живший по-прежнему исключительно планами освобождения России от большевизма, с тоской наблюдал за неумолимым превращением бывших политиков в мирных обывателей. Те же, кто не ушел из общественно-политической жизни, занимались, по его наблюдениям, большей частью ненужной суетой: объединялись, расходились... Спротивляясь трясине эмигрантского бытия, Долгоруков всеми силами пытался переломить тенденцию «умирания» кадетской партии, активизировать ее работу, надеясь, что она еще сможет сыграть активную роль в грядущем возрождении России.

Анализ положения дел в эмигрантском политическом сообществе, а также изучение происходящего в Советской России постепенно убеждали Долгорукова в том, что силами одной армии справиться с большевизмом невозможно, необходима активизация внутренних сил сопротивления. Он предлагает наладить регулярную нелегальную отправку в Россию небольших отрядов (ячеек) во главе с «лицами командного состава» с тем, чтобы эти отряды выполнили функцию некоего «бродильного фермента», стимулируя процесс формирования внутреннего антикоммунистического фронта.

В связи с разработкой этих планов Долгоруков принял решение нелегально проникнуть в Россию. Этот отчаянный поступок он объяснял рядом практических соображений. С его точки зрения, антибольшевистские силы за рубежом и в России оказались оторванными друг от друга, между ними накапливалось взаимное непонимание, а подчас недоверие и недружелюбие. Требовалось наладить обмен информацией, ознакомление с планами и настроениями друг друга. Наиболее авторитетные представители зарубежья, могущие «своей прошлой и настоящей деятельностью внушить к себе доверие», должны были, по его замыслу, проникнуть на родину и убедить Россию, что эмиграция не преследует целей реставрации, не стремится принести тот или иной политический порядок «на острие штыка», что она собирается послать в Россию «не мстителей, а примирителей». Установление путем личных контактов «смычки» эмиграции с Россией должно было оживить политическую работу российского зарубежья, дать ему новые стимулы, нацелить на реальные дела взамен бесконечных и бесплодных словесных баталий.

Немалую роль в принятии решения о нелегальном переходе границы сыграли и моральные мотивы. Павел Дмитриевич полагал, что посылать в Россию добровольцев для организации противобольшевистской борьбы имеет право лишь тот, кто сам в нужный момент готов подвергнуться риску. Долгоруков прекрасно отдавал себе отчет в смертельной опасности своего предприятия, но жертвенностью поступка он протестовал против пассивности, обывательщины, «забвения общественного долга». Он хотел всколыхнуть рутинную жизнь эмиграции, дать пример молодому поколению.

Первая попытка перехода через границу была сделана Долгоруковым в начале июля 1924 года. Он тщательно готовился к походу, изменил внешность. С длинной («козлиной») бородой, из которой были выстрижены все неседые волосы, в очках, в одежде простолюдина, с котомкой за плечами он должен был изображать восьмидесятилетнего старика-странника. Поход окончился неудачей. Долгоруков был задержан пограничниками и неделю содержался в отделении ОГПУ. Здесь он проявил недюжинные актерские способности, ни разу не сбившись с роли ни на многочисленных допросах, ни в общении с другими арестантами. Благодаря своей выдержке ему удалось избежать разоблачения, но цель путешествия не была достигнута. Его отконвоировали обратно к границе с Польшей.

Провал похода, тяжело давшего почти шестидесятилетнему князю, тревожнения, пережитые им в арестантской, не поколебали его решимости довести до конца задуманное. Весной 1926 года он предпринял вторую попытку, проникнув в Советскую Россию из Бессарабии. На этот раз под именем Сидорова Ивана Васильевича он благополучно добрался до Харькова, прожил там месяц, но никаких подходов к антибольшевистскому подполью, как, впрочем, и самого подполья, не обнаружил. Затем Долгоруков направился в Москву, намеревался остановиться недалеко от подмосковной станции Лопасня в женском монастыре, игуменьей которого была его родная тетка, в миру графиня Орлова-Давыдова. Однако 13 июля 1926 года на станции Серпухов Московско-Курской железной дороги он был опознан и арестован.

Одиннадцать месяцев Павел Дмитриевич провел в Харьковской тюрьме. Он обвинялся «в нелегальном переходе госграницы с целью создания контрреволюционной организации и проживании по чужому паспорту». В Государственном архиве сохранилось несколько писем, посланных Павлом Дмитриевичем из тюрьмы своему брату. Их тон утешительный: «Здоровье по возрасту хорошо»; «Ни в чем не нуждаюсь»; «Я совершенно спокоен и бодр, ведь я шел на это, сознавая, что мало шансов не быть узанным, особенно в Москве...».

Арестованного князя опекала через Политический Красный Крест Е.П. Пешкова, с которой он был знаком еще по Московскому художественному театру. Долгое время сохранялась надежда, что приговор по делу Долгорукова, учитывая его возраст, не будет слишком суровым. Действительно, сначала, 29 января 1927 года, ГПУ УССР постановило, «в свя-

«Последовательный демократизм, соединенный с суровой национальной дисциплиной...»

зи с отсутствием достаточных материалов», направить его уголовное дело в прокуратуру для прекращения. Однако на следующий день то же ГПУ УССР возбудило ходатайство перед особым совещанием при коллегии ГПУ УССР «о признании Долгорукова П.Д. социально опасным элементом и высылке его в административном порядке в Нарымский Край сроком на пять лет». Особое совещание в своем постановлении от 15 февраля 1927 года возбудило ходатайство перед коллегией ОГПУ о высылке Долгорукова в Нарым на три года.

Однако неожиданные события круто изменили обстановку. 7 июня 1927 года в Варшаве был убит советский посол П.Л. Войков. В ответ на это в СССР в ночь с 9 на 10 июня были расстреляны двадцать представителей видных дворянских и буржуазных семей. Первым в списке значился князь Павел Дмитриевич Долгоруков. По воспоминаниям очевидцев, он, убежденный противник смертной казни, достойно встретил смертный приговор. Место захоронения князя до сих пор не установлено.

ПАВЕЛ
НИКОЛАЕВИЧ
МИЛЮКОВ

«Идти соединением
либеральной тактики
с революционной
угрозой...»

Павел Николаевич Милюков родился 15 января 1859 года в Москве на Пре-чистенке в дворянской семье. По обычаю при крещении он получил имя святого, в день которого появился на свет, — пустынножителя IV века Павла Фивейского. Но в отличие от своего святого, нашедшего смысл бытия в аскетическом уединении, Павел Милюков всю жизнь был ярко выраженным экстравертом и стремился оказаться в самом центре общественно-политической жизни. И надо признать: ему это удавалось...

В 1877 году будущий знаменитый историк и политик окончил лучшим среди одноклассников и с серебряной медалью 1-ю Московскую гимназию (на углу Волхонки и Бульварного кольца), где до него учились двое других выдающихся русских историков — Михаил Погодин и Сергей Соловьев. После окончания гимназии, когда разразилась Русско-турецкая война, гимназический друг Милюкова князь Николай Долгоруков предложил ему перед поступлением в университет поработать вместе волонтерами в санитарном отряде при Кавказской армии. Работа продолжалась три месяца, и к моменту возвращения друзей в Москву занятия в университете уже начались.

В конце сентября 1877 года Павел Милюков был зачислен на первый курс историко-филологического факультета Московского университета, где учился у П.Г. Виноградова, В.И. Герье, В.Ф. Миллера, а потом В.О. Ключевского и Н.С. Тихонравова. Большую роль в его становлении сыграл также М.М. Ковалевский, приобшивший Милюкова-студента к философско-историческому позитивизму Огюста Конта. По позднейшему признанию самого Милюкова, именно контовский позитивизм сформировал его поступательно-прогрессистскую концепцию истории: «Конт был читан, перечитан, конспектирован и возымел самое решительное влияние на все научное мировоззрение...»

Противоречия правительственного курса последних лет царствования Александра II прямым образом отзывались на положении в университете. Уже со второго-третьего курса Милюков становится заметной фигурой в студенческих кружках, популярным оратором на сходках и митингах. Известие об убийстве императора террористами 1 марта 1881 года вызвало

небывалое студенческое брожение: в начале апреля Милюков был в первый раз арестован и исключен из университета с правом восстановления на следующий год.

Неожиданно образовавшееся свободное время было использовано с большой пользой для самообразования. Получив разрешение на выезд за границу, двадцатидвухлетний Милюков отправился в Италию для знакомства с культурно-историческим наследием Античности и Возрождения. Любопытны впечатления юного западника от первой встречи с «живым Западом». Европа поразила Милюкова уже в Варшаве: «Варшава, при проезде с вокзала на вокзал, показалась мне, по сравнению с Москвой, настоящим европейским городом — первым, который я видел...» Еще больше его восхитила Вена. «Я потом много раз бывал в этой красивой столице, — вспоминал Милюков. — Но тогда восторг мой достиг высшей точки. Мне казалось, что лучше этого я уже больше ничего не увижу. Мы остановились в отеле „Метрополь“. Этот сравнительно скромный отель мне представился верхом комфорта и роскоши. А венский кофе с нетоющим куском сахара на сливочной пенке и с непременно стаканом ледяной воды!»

Италия дала богатую пищу для ищущего ума: мемуары Милюкова говорят о его редкой увлеченности и работоспособности. Заложенное тогда культурное знание прочно вошло в интеллектуальный арсенал будущего политика. Много позже коллеги Милюкова по редакции кадетской газеты «Речь» запомнили, например, такой эпизод. Летом 1911 года из парижского Лувра была похищена знаменитая «Джоконда» Леонардо да Винчи. Редактор художественного отдела литератор и искусствовед А.Н. Бенуа был тогда за границей, и кто-то предложил обратиться к главному редактору — Милюкову. Вечером статья была готова; вернувшийся вскоре Бенуа долго не хотел верить, что текст принадлежит Милюкову, а не крупному специалисту по истории искусства Возрождения.

Вернувшись после первого заграничного путешествия на четвертый курс университета, Милюков углубился в изучение русской истории. По окончании учебы он был оставлен при кафедре В.О. Ключевского для подготовки к профессорскому званию. В 1886 году он становится приват-доцентом, а в 1892 году успешно защищает магистерскую диссертацию о государственном хозяйстве России в эпоху Петра Великого. Окончательное профессиональное признание принесли Милюкову трехтомные «Очерки по истории русской культуры» (1896–1903).

В своих работах Милюков-историк пытался найти и сформулировать баланс между безусловной верой в европейский универсализм и пониманием очевидной русской особенности перед лицом классической Европы. Очень скоро его исторические штудии пронзила идея о том, что Россия должна и способна войти в Европу, но траектория русской европеизации будет не вполне классической. Если внимательно вчитаться в милюковские «Очерки русской культуры», написанные еще на рубеже столетий, становится очевидным, что уже тогда главными для Милюкова стали во-

просы о том, как возможно в России формирование европейской политической культуры и кто способен стать эффективным субъектом европеизации страны. Отсюда его пристальное внимание к фигуре главного «русского западника» — Петра Великого. Милюков, профессионально изучавший историю Петровских реформ, оказался в числе немногих ярких критиков Петра с позиций... самого европеизма.

Петровский «европеизм», с точки зрения Милюкова, слишком импульсивен и эмоционально окрашен, а потому формален и неглубок. Придворные интриги, тревожная обстановка детства выработали в молодом царе, с одной стороны, «замечательное умение притворяться, которому не раз удивлялись иностранцы», а с другой — «непобедимое недоверие к искренности его окружающих»: «Эта благоприобретенная черта не позволяла Петру до конца жизни ни на кого ни в чем положиться и приводила к тому же, к чему и врожденная живость характера: к желанию, превратившемуся в потребность, самому все делать, входя в самые мелкие детали каждого дела...» По мнению Милюкова, Петр оказался в заколдованном круге: цена в людях прежде всего абсолютную личную преданность, он имел очень ограниченный кадровый выбор и «ни на один сколько-нибудь ответственный пост не мог посадить лицо, действительно подходящее, а назначал фигурантов, ничтожества, не имевшие никакого понятия о деле...». Обратной стороной такого положения вещей было полное равнодушие ближайших сотрудников Петра к глубинному содержанию того дела, которым они были вынуждены заниматься: «Чем их положение становилось прочнее и обеспеченнее, тем сильнее обнаруживалось, что они преследуют только личные, своекорыстные интересы». По существу, эти «сподвижники» оказались такими же врагами реформ (первые же послепетровские годы это окончательно подтвердили), как и те, которых царь надеялся победить назначением доверенных лиц. Вокруг максималиста Петра образовалась пустота, и сам он становился «все более анахронизмом среди сотканной им же паутины нового житейского церемониала»: «Окружающие утомлялись от этой необходимости быть вечно настороже... В конце концов против царя составилась какой-то молчаливый, пассивный заговор...» Вывод Милюкова таков: «При полном отсутствии той междуклеточной ткани социальных отношений, которая вырабатывается культурным процессом и одна может обеспечить непрерывность социального действия... Петру поневоле приходилось верить в одного только себя и полагаться лишь на собственные силы».

Убежденный европеист, Милюков был, однако, очень далек от тотальной критики петровской «полувестернизации». Да, Петр во многом ограничился лишь внешним подражателем Западу, но эта «внешность» (одежда, жилище, церемониал), согласно Милюкову, — «важнейшие части немого языка культуры». Бытовой, формальный европеизм — низший, но обязательный этап взращивания европеизма содержательного, необходимый пролог к постановке главного вопроса: как сформировать в России эту искомую русско-европейскую «междуклеточную ткань социальных отношений».

«Идти соединением либеральной тактики с революционной угрозой...»

Уже в ранних «Очерках» у Милюкова-историка зарождается мысль о приоритетности создания в России европейской политической среды. «России не хватает политики», полагает Милюков, и в первую очередь ее важнейшего элемента — идейного плюрализма и развитого парламентаризма, опирающихся на либеральное законодательство. Но кто способен в самодержавной стране эффективно бороться за конституцию, демократию и парламентаризм?

Развенчивая преобразовательный пафос героя-одиночки, Милюков вообще считал крайне ограниченными возможности в России «модернизации сверху». Ведь государство и бюрократия в России явились не естественным продуктом общественного договора сословий, а искусственным, автономным от общества всеподавляющим образованием. А в условиях, когда обратная связь с общественными интересами сведена до минимума, правящая бюрократия оказывается совершенно нечувствительной к социальным потребностям.

Скептически оценивает Милюков и модернизаторский потенциал российского дворянства как сословия. В отличие от западной аристократии, прошедшей долгую школу борьбы за личные права и свободы, русское дворянство было привилегированным лишь в той мере, в какой было служилым сословием. Отмена обязательности государственной службы при Екатерине дала толчок не столько к развитию сословной самостоятельности и корпоративного духа дворянства, сколько к еще большей политической апатии.

Нет в России и традиционного для Запада «третьего сословия», сословия горожан. В отличие от Запада, где рост городов был следствием внутреннего развития экономической и промышленной жизни, в России город был не автономной, эмансипированной от верховной власти, а, напротив, максимально зависимой от самодержавия единицей: «Раньше, чем город понадобился населению, он понадобился правительству». Русский город, согласно Милюкову, имел принципиально иную природу, чем на Западе: «И сама Москва, единственный сколько-нибудь значительный город древней России, не составляет исключения... Несмотря на обширное пространство... Москва была огромной царской усадьбой, значительная часть населения которой так или иначе стояла в связи с дворцом в качестве свиты, гвардии или дворни...» Петербургский период лишь развил и усугубил эту тенденцию.

Итак, проблема гражданской отсталости России на фоне динамичной, прогрессирующей Европы — не в силе русской государственности, а, как это ни парадоксально, в слабости последней, в преобладании сверху донизу анархистских, негосударственных элементов, в отсутствии «социального сцепления». Даже Петр — апофеоз русской власти — был не в силах создать органичные механизмы государственности. Необходимо увеличивать силы сцепления между властью и обществом, создать, как на либеральном Западе, «политическую нацию».

Таким образом, излюбленная идея Милюкова, которую он варьировал на протяжении всей своей интеллектуальной карьеры, — это острая не-

достаточность в России политической культуры. Перебрав и оценив все возможности и шансы, Милюков едва ли не «методом исключения» приходит к выводу, что единственным перспективным элементом европеизма в России, силой, способной целенаправленно формировать европейскую «междуклеточную ткань социальных отношений», является национальная интеллигенция — внеклассовое образование, способное формулировать общенациональные, гражданские, а не узкокорпоративные интересы. Отсюда и позднейшее убеждение Милюкова как конституционного демократа: кредо истинного кадета не в защите интересов социальных низов (этим занимаются левые) и не в защите корпоративных привилегий верхов (здесь поле деятельности правых), а в отстаивании интересов формирующейся нации как целого. Интересы эти состоят в первую очередь в расширении пространства политической свободы, которая должна быть обеспечена демократизацией права и особой социальной политикой (например, справедливым перераспределением частной собственности через отчуждение ее неэффективных и антисоциальных излишков за адекватное вознаграждение).

Интеллигенция для Милюкова — временный заместитель в России «третьего сословия», сословия «bourgeois», не в банальном материально-собственническом, а в широком культурном смысле. Европеист Милюков полагает именно развитие культуры наипрочнейшим залогом развития русского европеизма. Европеизм, либерализм и культура для него в российском контексте — понятия почти синонимичные. Политическая культура для Милюкова — высшая и универсальная форма культурного существования вообще. Через парламентско-партийную систему политика увенчивает здание культуры, создает ту универсальную связь, которая в конечном счете и «сцепляет» политическую нацию.

Отношение к национальной интеллигенции — суть внутрилиберальных расхождений Милюкова и группы интеллектуалов, составивших знаменитый сборник «Вехи». Как известно, одну из главных причин русского неустройства веховцы видели в деструктивной, антигосударственной, «отщепенческой», по выражению Петра Струве, роли интеллигенции, в ее идейно-политическом максимализме, разнуздывающем разрушительные инстинкты социальных низов. У веховцев речь шла о необходимости «деполитизации» интеллигенции и ставке на социальную эволюцию и личностное совершенствование. Милюков же, напротив, был уверен, что политическая реформа должна предшествовать социальной и только политические права и свободы могут стать надежной гарантией от эксцессов как власти, так и революции.

В антивеховском сборнике «Интеллигенция в России» Милюков выступил с программной статьей «Интеллигенция и историческая традиция». В отличие от бывших марксистов, пришедших к идеализму (Бердяев, Булгаков, Франк и др.), он видел причину русских бед не в «панполитизме» интеллигенции, а, напротив, в недостатке осмысленной политизации. По его мнению, чурящиеся политики авторы «Вех» сами дают наглядный

«Идти соединением либеральной тактики с революционной угрозой...»

пример левого иррационализма, фанатического стремления монополизировать истину, напроочь забывая о культурном плюрализме и толерантности. Взяв на вооружение идеи рационализма, Милюков так писал об основной идее «Вех»: «Это бунт против культуры, протест „мальчика без штанов“, „свободного“ и „всечеловеческого“, естественного в своей примитивной беспорядочности, против „мальчика в штанах“, который подчиняется авторитетам... Как-то так выходит, что авторы „Вех“, начавши с очевидного намерения одеть русского мальчика в штаны, кончают рассуждениями... „мальчика без штанов“...»

Обвинение таких рафинированных интеллектуалов, как Бердяев, Булгаков, Франк, в «примитивной беспорядочности» и «бесспортошной всечеловечности» было, конечно, весьма эффектно. Милюкову, считавшему себя рациональным аналитиком, прошедшим школу позитивизма, вряд ли тогда представлялось, что в его собственной партии найдется человек, который спустя несколько лет аккуратно, но едко уязвит Милюкова в том же, в чем сам Милюков упрекал и Петра-реформатора, и веховских интеллектуалов, — в интеллигентской импульсивности и преобладании эмоций над рассудочностью. Этим человеком станет коллега Милюкова по кадетской партии — Василий Алексеевич Маклаков.

Со временем Милюков находит решение поставленной им проблемы в создании политической организации конституционалистов-единомышленников, соединявшей либерально-демократические усилия просвещенной интеллигенции и практиков из числа земских либералов. Партия для Милюкова — это механизм рационального согласования позиций и выработки стратегии позитивного действия. Позитивистская, «контовская» выучка в полной мере сказалась и здесь.

Уже первые политические опыты Милюкова 1890-х годов говорят о постепенном формировании его особого политического стиля, который позволил ему со временем прочно стать во главе либерального движения в России и долгие годы удерживаться на этой позиции. Близко знавшие его друзья характеризовали политические позиции Милюкова того времени как «левый либерализм», балансирование «на грани легальности», стремление найти среднюю линию между радикализмом и эволюционным обновленчеством. Строгость исторической аргументации и при этом радикализм политических выводов становятся «фирменным знаком» Милюкова. Позднее известный кадет В.А. Оболенский найдет разгадку этого двуединства в том, что политические приоритеты Милюкова сложились не под влиянием эмоциональной «любви к народу» (как у радикальных народников), а прежде всего как «вывод из научной работы мысли». Милюков-политик — прямое отражение Милюкова-историка (добавим: историка-позитивиста). Подобное научно-рациональное происхождение политических идей Милюкова, полученных им из научных занятий, и явилось, по мысли Оболенского, залогом их прочности: «Идеи, воспринятые эмоционально, легко стираются новыми эмоциями. Идеи, почерпнутые из практической жизни, не выдерживают часто жизненных

перемен. Работа мысли всегда прочнее». Сам Милюков весьма характерно описал в «Воспоминаниях» принципы своего политического возмужания: «В моем случае наблюдения над жизнью передовых демократий соединялись с предпосылками, вынесенными из изучения русской истории. Одни указывали цель, другие устанавливали границы возможных достижений».

Тогда же, на рубеже веков, Милюков заводит множество знакомств в интеллектуальной, культурной и политической среде, активно сотрудничает в научно-просветительских журналах и первых политических газетах. Научная и лекционная деятельность перемежается судебными разбирательствами и тюремными отсидками. Власти несколько раз арестовывают Милюкова и... отпускают его для чтения лекций за границу. Правительство, более озабоченное крайними радикалами-социалистами, никак не может определиться в отношении либеральной профессуры.

Начало нового века П.Н. Милюков встретил, имея безусловный авторитет интеллектуала-эрудита, умелого лектора, талантливого публициста и одновременно энергичного борца с режимом. Человек с такой репутацией не мог не быть востребован нарождающейся политической оппозицией. Весной 1902 года, еще до своего многомесячного вынужденного отъезда за границу, Милюков получил приглашение от группы тверских земцев во главе с И.И. Петрункевичем приехать в его имение «Машук» для составления программного заявления в первый номер заграничного либерального журнала «Освобождение» (там, кроме хозяина, присутствовали еще двое будущих отцов-основателей кадетской партии — князь Д.И. Шаховской и А.А. Корнилов). Проект был обсужден, позднее дорабатывался и с небольшими изменениями под названием «От русских конституционалистов» был опубликован в первом номере «Освобождения», которое П.Б. Струве начал издавать в Штутгарте.

По собственному признанию Милюкова, он окончательно сделался либералом в 1903 году. При этом он считал себя продолжателем скорее интеллектуальной (близкой к декабристам и Герцену), а не экономико-буржуазной либеральной традиции. А поскольку именно политическая эмансипация общества казалась ему приоритетом, он полагал возможным и даже необходимым сотрудничество с умеренными социалистами в деле демократизации страны.

Милюков вернулся в Россию в апреле 1905 года, когда процесс политической самоорганизации уже охватил российские столицы. Одно время его пытались перехватить интеллектуальные лидеры социалистов-революционеров. Друзья из народнической редакции «Русского богатства» (В.А. Мякотин и др.) предлагали ему даже войти в состав ЦК эсеровской партии и были немало удивлены отказом Милюкова, заявившего, что он вовсе не является социалистом. Столь же радушно Милюков был принят и в демократическом, либерально-народническом Союзе писателей, организованном Литературным фондом (К.К. Арсеньев, Н.Ф. Анненский), и в Вольном экономическом обществе (где находились все политические оттенки — от либерал-консерватизма графа П.А. Гейдена до со-

«Идти соединением либеральной тактики с революционной угрозой...»

циального демократизма Е.Д. Кусковой). Некоторое время Милюков не спешил с выбором: «Такое мое положение было самым благоприятным не только как обсервационный пункт, но и как способ политического самоопределения».

Именно это балансирование между земцами-практиками (Петрункевич, Родичев, Шаховской, братья Долгоруковы) и «левыми интеллигентами» (Анненский, Богучарский, Пешехонов, Прокопович) еще более улучшило позицию Милюкова для быстрого политического взлета. Он стал активным участником так называемой банкетной кампании, когда под видом безобидной фронды закладывались основы будущего политического самоопределения. Бывало, что Милюков выступал по несколько раз в день и в аристократических салонах, и в студенческих мансардах. Всегда действовавший на грани легальности, Милюков понял скрытый до поры потенциал безобидных, казалось, «банкетов». Он, как историк, прекрасно знал, что аналогичные банкеты в эпоху Луи-Филиппа стали эффективной формой быстрого перехода от ритуальной фронды к открытой политической борьбе, приведшей в конце концов к падению Июльской монархии во Франции.

Среди людей, различных по политическим убеждениям, но временно объединенных схожими антиправительственными настроениями, Милюков оказался одним из самых рациональных. Процесс политической самоорганизации, неизбежно предполагающий рационализацию эмоций, потребовал поставить во главе общелиберального движения человека суховато-рассудочного, тяготеющего к либеральному центризму. Интеллигентской политизированной среде нужен был лидер, способный примирять фланги, «растворяться» в либеральной среде и в то же время эффективно представлять от ее имени. Этот лидер должен был быть фундаментально образован, убедительно говорить, хорошо писать, иметь репутацию принципиального противника режима, в том числе и за границей. В каждой из перечисленных «номинаций» по отдельности были люди, наверное, не менее блестящие, чем Милюков, но он оказался уникален по совокупности искомых качеств. Как «многоборцу» Милюкову не оказалось равных, и окружающие очень быстро поняли это.

В зародившейся Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы) были практически с самого начала разведены председательские функции и функции «лидера партии». Председательство в ЦК в разное время осуществляли бесспорные моральные авторитеты — князь Пав.Д. Долгоруков и И.И. Петрункевич. В I и II Государственных думах, не будучи депутатом, Милюков не мог быть соответственно и руководителем фракции. Но уже с первых лет кадетской деятельности за ним прочно закрепляется роль «лидера партии». Именно в его функции входила выработка стратегической линии, формулировка тактических задач, принципов и форм коалиционной политики.

Позднее многие критики (часто из числа до поры лояльных коллег-партийцев) сетовали, что в такой ответственный для России момент

либеральную партию возглавлял столь «бесчувственный» человек, как Миллюков. Его позицией были недовольны многие, обвинявшие его и в «избыточной рассудочности», и в склонности «выстраивать жизнь геометрически», видеть в коллегах «не человеческую душу, а политическую функцию». Оппоненты Миллюкова полагали, что прочность его убеждений часто перерастала в политическую косность, уподобляли Миллюкова сильному, с хорошей выучкой, шахматисту, блестяще разыгрывающему «стандартные положения», но негибкому и неспособному к творческой импровизации... Справедливости ради надо сказать, что без Миллюкова прочное организационное оформление российского либерального демократизма могло вообще не состояться и уж во всяком случае не продержалось бы так долго. Именно в сохранении внутрипартийного единства Миллюков видел свою приоритетную политическую задачу, возможно — историческую миссию. Он сознательно отождествил себя с партией, и большинство в партии приняло это самоотождествление как естественное и должное.

Отмеченная многими современниками миллюковская толерантность к внутрилиберальным оттенкам и различиям во многом проистекала из той же общеисторической концепции. Европейская «ткань», европейская политико-интеллектуальная среда по определению не могут быть однородны. Европеизм предполагает неперемное наличие оттенков, зачастую — противоречий. Лидер, требующий унификации (пусть даже во имя западничества, как Петр), не является вполне европеистом. Но и удержать эту неоднородную «ткань» от расползания чрезвычайно сложно. Функция Миллюкова как лидера-вожжа и внутрилиберального посредника-медиума заключалась как раз в таком удерживании.

«Справа» в партии ему постоянно досаждали В.А. Маклаков и П.Б. Струве; «слева» — не менее яркие фигуры типа А.В. Колубакина или Н.В. Некрасова. Но Миллюкову никогда и в голову не приходило (по крайней мере, он ни разу не дал себя в этом заподозрить) выдавливать этих людей из кадетских рядов, пользуясь лояльностью большинства. Свою роль он видел в формулировке общепартийной «средней линии» и к разбросу точек зрения в партии относился вполне терпимо. Иногда даже казалось, он верил, что чем шире диапазон мнений, тем устойчивее партийный политический центр и его личное положение в партии.

Миллюков, человек спокойный и уравновешенный, хорошо знавший себе цену, никогда не страдал комплексом неполноценности и не бравировал своим лидерством в партии. Он всегда признавал авторитет в партии патриарха земского радикал-либерализма Петрункевича и выдающиеся личные качества князей Долгоруковых и Шаховского, не считая зазорным лишний раз поехать посоветоваться с ними не только по принципиальным, но и по менее важным вопросам. Те, в свою очередь, зная предсказуемость и взвешенность Миллюкова, безусловно, доверяли ему в текущих вопросах политической тактики.

Миллюков, похоже, не ревновал к успеху и славе своих талантливых товарищей по партии — по крайней мере, все вокруг были в этом уве-

«Идти соединением либеральной тактики с революционной угрозой...»

рены. Уже будучи депутатом и признанным лидером фракции, он часто с видимой легкостью уступал право выигрышных выступлений по принципиальным вопросам другим кадетским депутатам, например В.А. Маклакову или Ф.И. Родичеву, полностью полагаясь на их компетентность и ораторский дар. Очевидно, роль Милюкова в партии определялась еще и тем, что ему удалось создать доверительную «рабочую связку» с такими выдающимися кадетами, как Ф.Ф. Кокошкин и А.И. Шингарев. Поэтому, когда периодически перерешался вопрос, кому быть лидером партии, Милюков вновь и вновь получал преимущество — ведь он возглавлял срабатывающую и авторитетную команду.

Разумеется, не все звезды либерализма довольствовались своим положением на втором плане. Среди тех, кто интеллектуально был близок к кадетизму, но отказался войти в партию, был, например, М.М. Ковалевский. Его, знавшего Милюкова еще юным студентом, можно, наверное, понять. А.В. Тыркова вспоминала, как однажды на ее вопрос, почему, в целом разделяя кадетские взгляды, Ковалевский не вступает в партию, тот, «заливаясь своеобразным хохотом, от которого не только он сам, но и воздух кругом колыхался», ответил: «Не могу же я под Милюковым сидеть. Душа не принимает...»

Да и внутри партии были влиятельные кадеты, кого Милюков откровенно раздражал и кто был способен при других обстоятельствах претендовать на общепартийное лидерство. Лидер московских кадетов М.В. Челноков (будущий московский городской голова) иронично и неприязненно называл Милюкова «Милюк-пашой» и даже в пору своего думского депутатства стремился дистанцироваться от кадетов-петербуржцев, среди которых влияние Милюкова было особенно сильно.

Возможно также, что такие фигуры, как П.Б. Струве или В.А. Маклаков, были интеллектуально более яркими, чем Милюков, но менее организованными, менее предсказуемыми. Они имели многие интересы, помимо партийных, и потому добровольно отошли на второй план. Некоторое время претендовал на лидерство и блестящий юрист М.М. Винавер, но и он, присяжный поверенный из провинциальных евреев, скоро вынужден был признать первенство великоросса Милюкова, ограничившись достаточным влиянием на лидера.

Милюковский стиль выработки внутрипартийного компромисса А.В. Тыркова описывала следующим образом: «Милюков умел внимательно слушать, умел от каждого собеседника подбирать сведения, черточки, суждения, из которых складывается общественное настроение или мнение... Это был технический прием, помогавший ему нащупывать то, что он называл своей тактической линией равнодействия... На следующее заседание Милюков уже являлся с синтезом разных мнений. Но, раз придя к какому-нибудь заключению, он крепко за него держался, и тогда сдвинуть его было трудно...» К этому надо добавить, что Милюков умел не только обобщать и адаптировать частные мнения (похоже, это во многом было сознательной демонстрацией демократизма), но и активнейшим

образом формировал эту «тактическую линию равнодействия». Здесь мощным инструментом служили многолетние и практически ежедневные политические передовицы в партийной газете «Речь», закреплявшие лидерский статус Милюкова и во внутрипартийном, и в более широком общественном мнении.

Для российских интеллектуалов начала XX века, желающих активно участвовать в политике, было очень непросто удержаться в центре между примиренчеством и революционностью. В этом смысле политическое поведение Милюкова было в целом достаточно последовательно и принципиально. Историческое знание европейского опыта говорило ему, что «третий путь» между реакцией и революцией не только необходим (что постулировала либеральная теория), но и возможен. А следовательно, этот срединный путь должен быть практически найден и в России, и последовательное выдерживание его (другими словами, всемерное поддержание собственно либеральной идентичности) есть главный приоритет партийной политики.

Позднее внутрилиберальные оппоненты Милюкова (тот же В.А. Маклаков, например) говорили о трагическом недоучете кадетским лидером возможностей сотрудничества с тогдашней властью. Да, Милюков не верил в возможность чисто либерального воздействия на власть. В первую очередь из-за тотальной неразумности последней — от внутреннего устройства этой архаичной власти до ее ультраконсервативного менталитета. И если по отношению к становящемуся гражданскому обществу Милюков полагал приоритетной рациональную, разъясняющую, просветительскую стратегию, то по отношению к косной и иррациональной власти он считал нелишним жесткий эмоциональный прессинг, использование страха власти перед революционной бездной. Поэтому по аналогии с периодом, предшествовавшим эпохе Великих реформ Александра II, Милюков считал, что левая революционная угроза может стать серьезным инструментом эволюции режима. Отсюда его знаменитая формула: «слева у нас врагов нет», за которую его бесчисленное число раз били оппоненты «справа». Вспомним, однако, бесспорный исторический факт: со временем даже лидеры правых октябристов А.И. Гучков и М.В. Родзянко, стремившиеся реформировать режим по преимуществу «изнутри», исключая все радикальные методы внешнего воздействия на власть, пришли к тому же выводу о полной неумяемости наличной верховной власти и абсолютной невозможности рациональной апелляции к ней.

И все же в маклаковской критике было, несомненно, и рациональное зерно. В своих эмигрантских работах 1920-х годов Маклаков задним числом не без успеха попытался переиграть Милюкова на его же поле рассудочной тактики, фактически обвинив оппонента в «программном фетишизме». Маклаков укорил Милюкова в том, в чем тот когда-то сам обвинял авторов «Вех»: в подмене рациональной политики эмоциями и инстинктами. Здесь критик, по-видимому, прав: многие действия левых либералов во главе с Милюковым действительно были избыточно

«Идти соединением либеральной тактики с революционной угрозой...»

импульсивны и эмоциональны (например, подписание радикального, но, как выяснилось, тактически абсолютно проигрышного Выборгского воззвания после роспуска I Думы).

Менее убедителен Маклаков, пытавшийся уязвить Милюкова в избыточной амбициозности и неуступчивости в деле достижения компромиссных политических конфигураций с правящим режимом в годы первой русской революции. По мнению Маклакова, максимализм лидера кадетов, настаивавшего на «однородном кадетском министерстве», фактически сорвал возможности компромисса, способного повести Россию по пути политической эволюции.

В самом деле, существует немало свидетельств того, что в 1906–1907 годах в самом близком окружении Николая II обсуждался вопрос о привлечении Милюкова на министерские посты в правительстве, вплоть до председательского. Ясно, однако, и то, что это были комбинации отдельных членов николаевского окружения (Трепова, Столыпина, Извольского), стремящихся отсечь либералов от революционного лагеря и соблюсти при этом собственные интересы.

В своих мемуарах Милюков проявил достаточно ревнивое отношение ко всему комплексу вопросов о своем возможном призвании в кабинет министров. Эта тема совершенно очевидно, вплоть до последних дней, бередила его сознание, заставляя вновь и вновь перепроверять свою давнишнюю позицию. И, надо признать, аргументация Милюкова выглядит и логичной, и убедительной. Разумеется, у него были и соблазны (понятные для любого политика), и ревность по отношению к возможным конкурентам на посту «либерального премьера» (Д.Н. Шипову и С.А. Муромцеву), но очевидно, что не эти соображения были для него определяющими. Главным было убеждение в приоритетности четкой правительственной программы над конкретными фигурами. «Нельзя выбирать лиц; надо выбирать направление» — эту формулу Милюков проводил неукоснительно. В срыве переговоров о вхождении в кабинет министров сыграла свою роль и его безусловная лояльность партии: известно, что патриарх кадетов И.И. Петрункевич был шокирован даже самой возможностью включения членов партии в треповско-столыпинские комбинации. Все перечисленное в основном противоречит критике оппонентов, обвинявших Милюкова в неудовлетворенной амбициозности и действиях по принципу «если не я, то никто...». Стоит также напомнить, что даже куда более умеренные представители либерального лагеря (Д.Н. Шипов, П.А. Гейден, Н.Н. Львов, М.А. Стахович) в конечном счете не посчитали для себя возможным войти тогда в правительство: отсутствие гарантий серьезного политического влияния создавало запредельные риски для репутации.

Однако наилучшим индикатором политической умеренности и рассудительности Милюкова является его поведение в дни Февральской антимонархической революции. 2 марта 1917 года Николай II отрекся от престола в пользу брата Михаила, а не сына Алексея, как рассчитывали принудившие его к отставке представители Думы. Это меняло дело прин-

ципальным образом; шансы «республиканцев» в оппозиционном лагере серьезно возросли. Парадоксально, но среди лидеров оппозиции (в самом широком диапазоне — от левых Керенского и Некрасова до правых типа Родзянко) Милюков оказался практически единственным, кто встал на защиту конституционной монархии. По его мнению, сохранение монархического строя (по крайней мере, на переходный период) необходимо, иначе Временное правительство рискует стать «утлой ладьей», которая может потонуть в океане народных волнений и не довести страну до Учредительного собрания. Сильная власть, необходимая для укрепления нового порядка, утверждал Милюков, нуждается в опоре на привычный для масс символ власти. В противном случае крайне вероятно утрата всякого «государственного чувства» и полная анархия.

Как известно, эта аргументация не была в полной мере услышана. По мнению Милюкова, «так совершилась первая капитуляция русской демократии»: не будущее Учредительное собрание, а верхушка последней Думы решила судьбу государства. Теперь новая власть опиралась не на законодательство, а на революцию, и то, что одно время могло казаться силой, со временем все более обнаруживало свою слабость и неустойчивость.

Как известно, в первый революционный кабинет князя Г.Е. Львова Милюков вошел в качестве центральной фигуры — министра иностранных дел (похоже, что именно Милюков специально выдвинул на первую роль Львова, дабы она не досталась Родзянко). Драматическая судьба этого правительства, как и последующих временных кабинетов министров, хорошо известна. Известно и то, что именно Милюков явился в те драматические месяцы 1917 года объектом наиболее острых нападок как «слева», так и «справа».

Более всего Милюкова обвиняли в неуместной апологии союзнических обязательств, затягивании непопулярной войны, что, в свою очередь, явилось якобы прямым следствием «недостатка национального чутья» и «душевной тугоухости» (в последней инвективе иронично оттенялись хороший музыкальный слух Милюкова и его любовь к игре на скрипке). Думается, что критика эта, хотя и не лишена оснований, в основе своей тенденциозна. У Милюкова-министра была своя и достаточно последовательная логика.

Как глава внешнеполитического ведомства, Милюков лучше других понимал невозможность бесконфликтного одностороннего выхода России из войны; разрыв с союзниками мог лишь еще более осложнить положение. Возвращенные с фронта миллионы солдат могли стать источником окончательной дестабилизации. С другой стороны, только отмобилизованные и еще сохранявшие дисциплину фронтовые части были способны противостоять разлагающему влиянию политизированных столиц.

Иначе говоря, пребывание в состоянии войны (при всех очевидных издержках и рисках) представлялось Милюкову «меньшим злом» и более надежной тактикой для сдерживания главной опасности — народной стихии. В письме коллеге по партии, управляющему делами Временного

«Идти соединением либеральной тактики с революционной угрозой...»

правительства В.Д. Набокову (в 1922 году тот ценой своей жизни спасет жизнь Милюкову в эмигрантском Берлине), Милюков писал: «Может быть, еще благодаря войне все у нас еще как-то держится, а без войны скорее бы все рассыпалось...» Своим соратникам министр разъяснял: «Революция должна быть стиснута, пока ее нельзя прекратить, стиснута именно военной обстановкой».

Милюков очень долго полагал возможным рационально переиграть революцию, не желая идти на компромиссы со стихийностью и «коллективным бессознательным». Ему претили попытки эсеров-меньшевистских лидеров (а также таких своих коллег по партии, как, например, Некрасов) «оседлать» волну иррационализма, слившись с ней, «возглавить взбесившийся табун», чтобы отвести его в сторону от пропасти. Налицо очевидный и драматический парадокс: рассудочная холодность Милюкова, которая когда-то помогла ему стать бесспорным лидером периода либерально-демократического подъема, помешала ему стать эффективным политиком в эпоху массового иррационализма.

Особого разговора заслуживает вопрос о взаимоотношениях Милюкова и европейских союзников России, в первую очередь Англии. Как уже отмечалось, для Милюкова понятия «европеизм», «патриотизм» и даже «прагматизм» были во многом синонимами. В молодости он и сформировался как европеист (англоман по преимуществу) главным образом потому, что считал западную политическую культуру и классический парламентаризм благом для России. Прагматизм оставался главным приоритетом для него и позднее, в годы мировой войны. Он, кстати, очень быстро охладел к союзникам, когда в апреле 1917 года те фактически «сдали» его, никак не препятствуя выдавливанию из правительства и слишком легко согласившись на его замену другим «западником» — Терещенко. Очевидно, что Англия в период апогея политической влиятельности Милюкова держалась к нему настороже: он был для нее чересчур самостоятелен и амбициозен. В свою очередь, Милюков, признанный политический идеолог славянства (получивший за свои панславистские убеждения прозвище «Дарданелльский»), не мог не понимать, что Англия совсем не по вкусу доминирование России на Балканах и ее контроль над черноморскими проливами. Милюков еще раз готов был поступиться своим англоманством, когда (правда, на очень короткий момент — летом 1918 года) увидел шанс антибольшевистской борьбы в пронемецкой ориентации. И он быстро покаялся в своем «мимолетном затмении» (и перед кадетской партией, и перед союзниками), когда увидел полную иллюзорность ставки на немцев и неизбежность для себя и партии возвращения в лоно «союзнчества». И, кстати, был достаточно легко прощен в Англии (официально — «в знак признания былых заслуг»): прагматическую сторону милюковского «западничества» там понимали вполне отчетливо, как понимали и то, что как самостоятельный игрок экс-министр России теперь не внушает больших опасений.

Биография П.Н. Милюкова после большевистского переворота, его участие в Белом движении, а затем в многочисленных эмигрантских по-

литических комбинациях достаточно хорошо изучены. Недавняя публикация «Дневников Милюкова», хранящихся в Бахметьевском архивном фонде в США, является в этом смысле важной вехой. Наиболее проблемной и интересной темой этого периода жизни Милюкова представляется постепенная выработка им в эмиграции так называемого нового курса.

Переосмысление Милюковым роли либералов в новейшей истории России началось с критического анализа взаимоотношений кадетской партии и «белых правительств». Как известно, еще до Октября, несмотря на попытки избежать прямого отождествления с идеей «правой военной диктатуры», кадеты так или иначе оказались связаны с Корниловским мятежом. И впоследствии кадетизм был неотъемлемым элементом белых режимов: сам Милюков был советником генерала Алексеева, писал Декларацию Добровольческой армии; Струве был идеологом Деникина, Карташев — Юденича, Пепеляев — Колчака...

Милюков-эмигрант одним из первых либеральных лидеров понял, что главная угроза для сохранения либеральной, конституционно-демократической идентичности теперь исходит от перспективы растворения кадетов в правом, «реставрационном» лагере. Перед глазами Милюкова были к тому же наглядные примеры несомненного тактического успеха в эмиграции умеренных социалистов, которые, выдвинув в свое время лозунг «ни Ленина, ни Деникина», в большей мере сохранили свою антибольшевистскую и в то же время демократическую идентичность. Левые издания — «Дни» Керенского, «Современные записки» (Авксентьева — Бунакова — Вишняка) — получили в эмигрантской среде немалый политико-интеллектуальный авторитет. А для кадетского лидера Милюкова не было, как отмечалось, угрозы больше, чем утрата четкой идентичности возглавляемой им партии.

В этом смысле «новая тактика» Милюкова, включавшая последовательное размежевание с «белым реставрационизмом», несомненно, помогла воссозданию кадетской партийной идентичности. Закономерно, что «новый курс», заново отстроивший конституционный либерализм отдельно от правого монархизма, очень быстро приобрел массу последователей из числа разбросанных кадетских групп. «Новая тактика» Милюкова не сыграла большой политической роли (как, впрочем, и любая другая антибольшевистская эмигрантская тактика в те годы), но помогла регенерации кадетского, либерально-демократического *modus vivendi*.

Как это ни парадоксально, «новая тактика» Милюкова в значительной мере явилась воспроизведением в новых условиях традиционной, старой кадетской тактики. Милюков, как мы знаем, был особенно силен в разыгрывании «стандартных положений». Его «новая тактика» и была попыткой подстраивания под стандартное положение: в борьбе с режимом (на этот раз не царским, а большевистским) либералы используют угрозу «народной революции» в целях смягчения режима, а потому идут на союз с эсерами, некоторое время рассчитывавшими на успех своей массовой пропаганды в России. Классическая, вполне «старая» милю-

«Идти соединением либеральной тактики с революционной угрозой...»

ковская формула «сочетание либеральной тактики с левой угрозой» снова стала девизом либерально-демократической оппозиции.

В 1929 году триумфально прошло чествование семидесятилетнего юбилея П.Н. Милюкова. Праздничные мероприятия в Париже, Нью-Йорке, Берлине, Праге превратились в торжества всей либерально-демократической части эмиграции. Милюковская газета «Последние новости» (издававшаяся в Париже с 1924 по 1940 год) на долгое время стала бесспорным авторитетом, рупором сформировавшегося политического направления.

Однако с таким же основанием можно говорить о политическом и интеллектуальном одиночестве Милюкова в последние годы его жизни. Он надолго пережил своих молодых, самых верных сподвижников — Ф.Ф. Кокوشкина и А.И. Шингарева, зверски убитых большевиками в январе 1918 года. И.И. Петрункевич скончался в Праге в июне 1926 года, М.М. Винавер — в Мантон-сен-Бернаре несколькими месяцами позднее. Политические разногласия разделили Милюкова с братьями Долгоруковыми и Ф.И. Родичевым. Отошедший от политики Д.И. Шаховской остался в России и был расстрелян в 1939 году.

В 1930-е годы главной задачей либералов Милюков считал терпеливое выжидание и глубокий анализ идущих в России процессов. Это, разумеется, не могло устроить его молодых и энергичных соратников. Близко знавший Милюкова в те годы кадет Н.П. Вакар в своем «Дневнике» написал в 1939 году жесткие слова о том, что Милюков «построил большое кладбище, на котором единственный живой человек он сам, сторож... Подниматься из могил не позволяет... Так и живут мертвецы. Есть среди них несколько заживо погребенных. Они бы и сбежали, да бежать некуда. Притворяются мертвыми...»

Престарелый гроссмейстер тактического маневрирования опять и опять переигрывал всех в тактике, но смысл этого маневрирования по ходу дела все более терялся: ведь никаких серьезных ставок в этой игре уже не было. В одной из последних работ «Эмиграция на перепутье» Милюков был вынужден признать, что тактика постепенно утрачивает свое значение: «Нам сегодня нужна скорее стратегия...»

Между тем и в конце жизни П.Н. Милюков — европеист по культуре и позитивист по мировоззрению — принципиально остается при своем кредо непримиримого борца с политическим иррационализмом. Для него равно неприемлемы ни «русское евразийство» (из этого кентавра, по его мнению, наверняка выйдет не Евразия, а Азиопла), ни итальянский фашизм (знаток итальянской культуры, он был оскорблен претензиями чернорубашечников на античное наследие), ни германский нацизм (презревший традицию классической немецкой рассудочности). Противостоять иррационализму и опасному мифотворчеству могут только высокая многообразная культура и политический плюрализм: здесь Милюков — последовательный сторонник западных демократий.

После оккупации немцами Парижа издание «Последних новостей» было прервано. Милюков уехал в «свободную зону» на юг Франции: жил

в Виши, потом в Монпелье, весной 1941 года обосновался в Экс-ле-Бене. Один из очевидцев последних месяцев его жизни вспоминал, что самыми важными часами для Милюкова были те, «когда он, прильнув ухом к настольному радио, ловил шепот швейцарских и лондонских передач. Душевный мир был нарушен, но воля оставалась крепкой. Высадка союзников в Африке, отступление немцев с Волги были, вероятно, его последней радостью. Вера давала силы...»

П.Н. Милюков скончался в Экс-ле-Бене 31 марта 1943 года и был похоронен на местном кладбище. Позднее его прах был перезахоронен в семейном склепе на кладбище Батиньоль в Париже.

**«Мы вынуждены
отстаивать авторитет
власти против самих
носителей этой власти...»**

...Был Федька Гучков мальчиком на побегушках, крепостным калужской помещицы, учеником в суконной лавке. А стал — Федором Алексеевичем, купцом 2-й гильдии, свой дом в Сокольниках, фабрика на пятьдесят станков. И себя, и родственников из крепостных выкупил. Первым начал выпускать шали «на манер французских и турецких». Первым в 1812 году предложил москвичам жечь свое имущество, чтобы не досталось Наполеону. Был Федор старообрядцем, тянет от его призыва дымом старообрядческих «гарей». Собственную фабрику сжег, а через год отстроил новую, еще больше прежней: 900 рабочих, паровая машина, годовое производство — на полмиллиона рублей серебром!

Сын Федора, Ефим, знал иностранные языки и одевался уже не на крестьянский — на европейский манер. В Европу ездил — за опытом. На Первой всемирной Лондонской выставке 1851 года был избран экспертом от русских фабрикантов. Стал в 1857-м московским городским головой. И с жизнью старообрядческой порвал — перешел в официальное православие.

Сын Ефима, Иван, увез от мужа француженку Корали Вакье; стала она Корали (Каролиной) Петровной Гучковой, родила Ивану пятерых сыновей. В московском купечестве заговорили: «У Ивана Гучкова сыновей темперамент горячий — не для нашего климата».

Особенно «горячим» был третий сын, родившийся в 1862 году Александр. Дальше всех унесло его от «купеческого климата». Хотя и он входил в правления банков, акционерных и страховых обществ, московские купцы не считали его совсем своим, называли «политиком». Видимо, сочетание крестьянско-купеческой натуры (делать — и доделывать!) с духом французских мушкетеров породило жизненный принцип, постоянно проявлявшийся в судьбе А.И. Гучкова: «Быть не свидетелем, а участником самых громких событий!»

В шестнадцать лет гимназист Саша Гучков собирался бежать в Англию, чтобы убить британского премьер-министра Дизраэли — за его антирусскую политику, за «позорный», как тогда казалось, исход Берлинского конгресса 1878 года. Купил револьвер, учился стрелять, копил деньги, но

доверился брату, тот сообщил родителям — и все сорвалось. Мечтал пережить казнь за Россию, а получил золотую медаль за отличное окончание гимназии. В 1886 году окончил Московский университет — тоже с отличием. В университете, на семинаре известнейшего историка-либерала П.Г. Виноградова познакомился с будущим противником-союзником Павлом Милюковым.

Милюков избрал путь ученого-историка, университетского профессора, а Гучкову в университете оказалось тесно. Он пошел на военную службу, вольноопределяющимся, в лейб-гренадеры. В 1887 году вышел в запас — прапорщиком. Затем уехал на стажировку в Западную Европу, но, заслышав о страшном голоде и холере в России, поспешил на родину, помогать крестьянам. В Лукояновском уезде Нижегородской губернии вчерашний слушатель Берлинского и Венского университетов заведовал продовольственным делом и благотворительностью. Заведовал на совесть: в Москву вернулся с орденом. Здесь его заметили, избрали в городскую управу, позже в городскую думу.

Однако недолго сиделось на месте Александру: в Москве надо заниматься сметами, мытищинским водопроводом, прокладкой канализации. А хочется ярких впечатлений, диких стран, опасных приключений. Гучков сам признавался друзьям, что он человек «шалый»; потомки добавят — «флибустьер».

Опасно ехать в армянские области Османской империи: турки недавно устроили там резню немусульманского населения — Гучков поехал. Не из любопытства — за делом: собирать материалы для книги о положении армян в Турции. Опасно на строительстве Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) — поступил офицером в казачью сотню, охранявшую работу инженеров и строителей. Отсюда начинается слава Гучкова-дуэлянта: он вызвал на поединок инженера, а на отказ ответил пощечиной. Дело дошло до всесильного министра С.Ю. Витте, но, пока из Петербурга шел приказ об увольнении Гучкова, тот сам оставил службу. Вместе с братом Федором пустился в дальний путь: не понять, то ли возвращение в Россию, то ли новое путешествие. 12 тыс. верст верхом: через Китай, пустыни Монголии — в Тибет, к далай-ламе, оттуда через Восточный Туркестан и по казахским степям — до Оренбурга. Не успели братья вернуться, как бросились в новые приключения: на юг Африки, участвовать в Англо-бурской войне.

В России причитали шарманки: «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне...» Обыватели смахивали сентиментальные слезы. Александр Гучков сражался с англичанами. Его выдержка удивляла даже храбрых буров. Однажды бросился под обстрелом вызволять из ямы запряженную мулами повозку (в повозке были снаряды!) — и вызволил, хотя убило трех мулов из четырех. Впрочем, пули не всегда боятся смелых: позже Гучкова, тяжело раненного в бедро, вынесет из боя русский капитан Шульженко.

«На всякий случай» Гучков носил с собой короткое письмо, одновременно трогательное и жестокое и, к счастью, так никогда и не отправа-

ленное: «Дорогие папа и мама! Пишу эти строки на тот случай, если я не вернусь к вам. Бога ради, простите мне то тяжелое горе, которое я приношу своей смертью в вашу жизнь. Вы всегда были добры и снисходительны к моим слабостям и проступкам. Простите же меня в последний раз и верьте, что до последней минуты я буду вас глубоко любить... Напомните иногда детям обо мне и скажите им, как я любил их... Маленькая просьба к папе: я должен Коле 2000 р.; отдай их, а Колю прошу принять».

Александр Гучков вернулся домой. Ранение на Англо-бурской войне стало причиной хромоты, но не отбило у него охоту к поискам острых ощущений. Двух лет (1901–1903) хватило на лечение и мирный труд в составе городской думы (опять водопровод, газовое освещение, училищная комиссия, страхование). В 1903-м сорокалетний Александр Гучков отправился в Македонию, участвовать в восстании против турецкого владычества. Уехал, уже уговорившись о свадьбе. Женился (на дворянке Марии Зилоти, двоюродной сестре Рахманинова), только когда вернулся с прозвищем «второго Александра Македонского».

Но и женитьба не изменила непоседливого характера Александра Гучкова. С весны 1904 года он на Русско-японской войне, занимает должность главноуправляющего Красного Креста. Многие из приехавших на войну за романтикой, под воздействием патриотического порыва, «наигравшись», быстро уезжали. Гучков работал. Работал, хотя и ругал бездарность командования, неустроенный армейский быт и воровство снабженцев. «Изнанка войны» постоянно находилась перед его глазами, но порождала не столько недовольное брюзжание, сколько желание хоть что-нибудь делать для улучшения существующего порядка вещей.

Пережив горечь Мукденского поражения, Гучков остался с ранеными в городе, сданном японцам. «Голубка моя, безутешная Маша! — писал Александр жене. — Мы покидаем Мукден. Несколько тысяч раненых остаются по госпиталям. Много подойдет еще ночью с позиций. Я решил остаться, затем дожидаться прихода японцев, чтобы передать им наших раненых. Боже, какая картина ужаса кругом! Не бойся за меня».

Потом был плен. Затем, весной 1905 года, возвращение в Россию, где бурлила политическая жизнь. Сорокадвухлетний Александр Гучков уже стал человеком-легендой: его хорошо знали по поездке к бурам и по японской войне; за его приключениями следили по газетам, его первое прибытие на заседание городской думы гласные встретили стоя, разразившись продолжительными аплодисментами. Вскоре сам Николай II пригласил Гучкова — отличившегося на войне общественного деятеля, «бывалого человека» — на двухчасовую беседу в Петергоф.

Уже на этой встрече Александр Иванович не мог не поделиться с императором своими представлениями о ходе дел. Войну с японцами надо продолжать, убеждал он: японцы истощены, им тяжело. Надо только успокоить общество, ободрить армию, а для этого собрать Земский собор и пообещать провести реформы — но только после победы. Николай кивал, говорил: «Вы правы»... Позже Гучков узнал, что это проявление монаршей

вежливости, а вовсе не знак согласия. Чуть ли не в тот же день Николай принимал московского городского голову К.В. Рукавишника, и тот убеждал царя в противоположном: войну прекратить, Земского собора не собирать... Рукавишников сам рассказывал Гучкову, как царь кивал: «Вы совершенно правы». А Николаю Гучкову император при встрече заметил: «Ваш брат был у нас, и хотя (!) он нам говорил про Конституцию, но (!) он нам очень понравился».

Наступала эпоха, когда в России более всего приключений и опасностей (при этом соединенных с общественной пользой) сулила именно политика. В нее и бросился директор Московского учетного банка, обладатель почти полумиллионного состояния, потомственный почетный гражданин Александр Гучков. Его яркая политическая карьера началась с участия в съезде земских и городских деятелей, проходившем в Москве в мае 1905 года. Собравшиеся представители местного самоуправления (Гучкова делегировала Московская дума) пытались создать единую коалицию деятелей входящего в силу российского либерализма.

Страшное, позорное слово Цусима было тогда у всех на устах. Навести порядок в Российской империи и привлечь к этому народных представителей путем всеобщих выборов — вот о чем говорили на съезде. Гучков говорил: «Наше отечество переживает такое недомогание, что врачевание его нельзя откладывать!» Вместе с тем он считал, что монархию нужно сохранить, а преобразования проводить неспешно и обстоятельно, не увлекаясь безудержной ломкой старого. Он определял свою позицию как либерально-консервативную: консервативную вследствие опоры на «исторические основы», либеральную — потому что, «исходя из этих основ», стремился к «широким реформам, которые должны обновить русскую жизнь».

В вопросе об «опоре на основы», о сотрудничестве с правительством земские и городские деятели не нашли общего языка. Российские либералы окончательно раскололись на «либеральных большевиков» и «либеральных меньшевиков». «Разномыслие заключалось не в определенном пункте программы и тактики, — объяснял суть этого раскола В.А. Маклаков, — оно было в самой идеологии... Меньшинство осталось при земских традициях и не мыслило нового строя в России без соглашения с исторической властью... Но большинство от самодержавия уже ничего не ждало. С ним оно было в открытой войне и против него было радо всяким союзникам... Революция их не пугала... Меньшинство, ища соглашения с властью, принуждено было ей уступать; большинство, поддерживая общий фронт с революцией, должно было уступать революции. Между двумя этими направлениями обнаружилась пропасть». Александр Гучков находился среди представителей меньшинства: его привлекал тогда, как он говорил, «путь центральный, путь равновесия».

Эта умеренность стала одной из причин, по которой Александр Иванович вошел в число либеральных общественных деятелей, впервые в истории России приглашенных в состав правительства. Вскоре после выхода

«Мы вынуждены отстаивать авторитет власти против самих носителей этой власти...»

Манифеста 17 октября 1905 года ему, выходцу из торгово-промышленной среды, С.Ю. Витте предложил портфель министра торговли и промышленности. Гучков, как и некоторые другие деятели, ответил было принципиальным согласием, однако вскоре взял свои слова назад. Дело в том, что министром внутренних дел планировалось назначить П.Н. Дурново, фигуру одиозную и ненавидимую в общественных кругах. Так стало понятно, где проходит «правая граница» гучковского либерализма.

Александр Иванович стал одним из организаторов «Союза 17 октября», занявшего правый фланг русского либерализма. Октябристы поддерживали тот новый государственный строй, который после 1905 года международные справочники с долей иронии определяли как «конституционную империю под самодержавным царем». Ключевое положение, определяющее место партии в политическом спектре России, выражено в программе «Союза»: «Новый порядок, призывая всех русских людей без различия сословий, национальностей и вероисповеданий к свободной политической жизни, открывает перед ними широкую возможность законным путем влиять на судьбу своего отечества и предоставляет им на почве права отстаивать свои интересы, мирной и открытой борьбой добиваться торжества своих идей, своих убеждений. Новый порядок, вместе с тем, налагает на всех, кто искренно желает мирного обновления страны и торжества в ней порядка и законности, кто отвергает одинаково и застой, и революционные потрясения, священную обязанность в настоящий момент, переживаемый нашим отечеством, момент торжественный, но полный великой опасности, дружно сплотиться вокруг тех начал, которые провозглашены в манифесте 17-го октября, настоять на возможно скором, полном и широком осуществлении этих начал правительственной властью, с прочными гарантиями их незыблемости, и оказать содействие правительству, идущему по пути спасительных реформ, направленных к полному и всестороннему обновлению государственного и общественного строя России. Какие бы разногласия ни разъединяли людей в области политических, социальных и экономических вопросов, великая опасность, созданная вековым застоєм в развитии наших политических форм и грозящая уже не только процветанию, но и самому существованию нашего отечества, призывает всех к единению, к деятельной работе для создания сильной и авторитетной власти, которая найдет опору в доверии и содействии народа и которая одна только в состоянии путем мирных реформ вывести страну из настоящего общественного хаоса и обеспечить ей внутренний мир и внешнюю безопасность».

А.И. Гучков определял «октябризм» как «молчаливый, но торжественный договор между исторической властью и русским обществом... о взаимной лояльности». В то время он искренне верил в то, что государственная власть располагает силами и энергией для деятельности по «оздоровлению» России. Олицетворением государственной «искренности и доброй воли» к усовершенствованию прежнего устройства стал для него П.А. Столыпин, его ровесник. «Я глубоко верю в Столыпина, — при-

знавался Александр Иванович. — Таких способных и талантливых людей еще не было у власти». Именно благодаря ему, уверял лидер октябристов, впервые за всю русскую историю власть и общество «сблизились и пошли одной дорогой». Столыпин выразил ответные симпатии: он называл октябристов «сливками русской прогрессивности».

Гучков поддержал Столыпина, когда тот ввел военно-полевые суды, объясняя это тем, что «во время гражданской войны власть должна прибегать к скорым и суровым репрессиям, производящим впечатление. Иначе она ослабит самое себя». Одобрил он и роспуск I Думы, слишком революционной и потому не готовой к сотрудничеству с правительством: «Я не только не ставлю роспуск Первой Думы в упрек правительству, я ставлю правительству это в заслугу... Государственная Дума второго призыва, если она пойдет по пути первой Думы, не оппозиционному пути, а революционному... тоже заслужит роспуска».

Сотрудничество с исполнительной властью привело А.И. Гучкова в более умеренную III Думу, причем во главе лидирующей фракции октябристов. Он вошел в важнейшую комиссию по государственной обороне. У него установились хорошие отношения с министром обороны А.Ф. Редигером (они регулярно встречались за чашкой чая), завязались многочисленные контакты с военными, уважавшими Гучкова как участника нескольких войн и нашедшими в его лице человека, которому можно пожаловаться, у которого можно просить помощи.

В 1910 году Александра Ивановича избрали председателем Думы (на место ушедшего в отставку Н.А. Хомякова), хотя он и успел прославиться к тому времени рядом резких выступлений. С одинаковой смелостью критиковал он как своих «соседей справа» (сторонников неограниченной монархии) за тщеславие и препятствие «врачеванию» страны реформами, так и «соседей слева» — за антипатриотизм и симпатии к террористам. Гучков не мог забыть, что в ноябре 1905 года кадетское большинство отклонило его предложение ввести в резолюцию земско-городского съезда осуждение насилия и убийств как средства политической борьбы. Обвинял он партию кадетов в том, что она «ловко подсела на запятки русской революции... дрянной скрипучей телеги, которая завязла... в кровавой грязи». И даже вызвал на поединок П.Н. Милюкова — тот позволил с трибуны заявить, что «Гучков утверждал неправду». Дуэль удалось замять, но она оказалась не единственной за время парламентской карьеры лидера октябристов. В 1910 году Александр Иванович стрелялся с товарищем по фракции октябристов А.А. Уваровым, обвинив его в «доносительстве», передаче правительству внутрипартийной информации. Дуэлянтов судили; Уварова при этом оправдали, а вот Гучкова приговорили к четырем месяцам тюрьмы (правда, исполнение наказания перенесли на думские каникулы — дабы не срывать работу народных представителей). Летом он сам пришел в Петропавловскую крепость «на отсидку» и провел ее довольно комфортно: с утренним чтением свежих газет, прогулками с видом на Неву, рассылкой друзьям открыток с изображением бастиона

«Мы вынуждены отстаивать авторитет власти против самих носителей этой власти...»

Петропавловки и надписью «Моя камера». Через неделю царь помиловал осужденного.

Два года спустя Гучков стрелялся с подполковником Мясоедовым, обвинив его в шпионаже в пользу Австро-Венгрии. Близорукий подполковник промахнулся, Александр Иванович выстрелил в воздух, позже дав комментарий: «Я не собирался застрелить человека, который должен быть повешен как шпион». Позже Мясоедов и был повешен как шпион: его окончательно уличили и осудили во время Первой мировой войны (правда, современные историки не находят четких доказательств его виновности).

Гораздо более серьезные последствия для А.И. Гучкова имели его выступления против царской семьи. В 1908 году он выступил с призывом к великим князьям (а значит, близким родственникам Николая II) самим уйти из сферы управления военными и морскими делами: их неподконтрольность и непрофессионализм губительно сказывались на обороноспособности страны. Военный министр Редигер считал, что Гучков прав, — и поэтому хранил молчание. А вот царь несказанно возмутился! Его симпатии к Гучкову сменились неприязнью, которая в 1912 году переросла в открытую враждебность.

Связано это было с именем Распутина, чье влияние на царскую семью стало привлекать всеобщее внимание. А.И. Гучков не просто выступал со словами о «мрачных признаках средневековья» и предупреждал о накапливающемся в стране негодовании. Он первым открыто, с думской трибуны, заявил, что за спиной Распутина «стоит целая банда, пестрая и неожиданная кампания, взявшая на откуп и его личность, и его чары», наглое «коммерческое предприятие, тонко ведущее свою игру». «Первый раз с думской трибуны, — вспоминал позднее А.И. Деникин, — раздалось предостерегающее слово Гучкова о Распутине: „В стране нашей неблагополучно...“ — Думский зал, до тех пор шумный, затих, и каждое слово, тихо сказанное, отчетливо было слышно в отдаленных углах. Нависало что-то темное, катастрофическое над мерным ходом русской истории...»

Гучков размножил копию письма императрицы к Распутину, где были слова: «Мне кажется, что моя голова склоняется, слушая тебя, и я чувствую прикосновение твоей руки». Этим вмешательством в личную жизнь царской семьи он стал ненавистен и императору, и императрице. В письмах и высказываниях «хозяйки земли русской» стало постоянно встречаться: «скотина», «паук», «умная скотина», мечтательное «ах, если б можно было повесить Гучкова!», а вскоре: «Гучкова мало повесить!» Все эти слова Гучкову охотно передавали... На прощальной аудиенции депутатов закончившей свой срок III Думы Николай сделал вид, что не знает Гучкова, и не подал ему руки.

Неприязнь царской семьи подорвала веру Александра Ивановича в позитивные силы «конституционного самодержавия». Еще более жестокий удар по его вере в «искренность и добрую волю» государственной власти нанесло убийство П.А. Столыпина. «Мы похоронили не только человека,

но и великий государственный ум», — искренне говорил Гучков на экстренном заседании ЦК октябристов. И вскоре добавил: «Не те, кто с утра и до вечера говорит о конституции, кто это слово поставил в название своей партии, — создатели конституционного строя в России, а П.А. Столыпин и те, кто его поддерживал». Позднее он скажет о перемене своих воззрений на будущее России после гибели Столыпина: «Для меня становилось все яснее, что Россия будет вытолкнута на... путь насильственного переворота, разрыва с прошлым и, как бы сказать, скитания без руля, без компаса, по безбрежному морю политических и социальных исканий».

Так к 1912 году А.И. Гучков потерял и расположение императорской семьи, и поддержку исполнительной власти. Поэтому не стоит удивляться, что в IV Думу его не выбрали. «Это — суд Москвы!» — ликовали газеты прогрессистов и кадетов (Гучков баллотировался в Москве). Однако было хорошо известно, что главную роль в процессе сложных политических игр по «деланию» выборов в новую Думу сыграли правительство и преданные ему губернские власти. Власть отказалась от создания «октябристского большинства» и сделала ставку на усиление националистов и правых. Ходили даже слухи о намерении правительства провести в Думу 150 «батюшек». Этого не произошло, но фракция октябристов в IV Думе уменьшилась на треть и, потеряв свой связующий центр — Александра Гучкова, искала устойчивости в союзе с «левыми соседями» — прогрессистами и кадетами...

А сам Александр Гучков уехал после своего поражения на очередную войну — балканскую. Когда же он вернулся, за ним вовсю велось тайное наблюдение: контакты с военными, «закрытые совещания» с участием членов Думы вызвали подозрения Департамента полиции. Полицейское описание поднадзорного (кличка Первый) донесло до нас словесный портрет Гучкова в расцвете его политической карьеры: «50 лет, выше среднего роста, телосложения полного, шатен, лицо полное, продолговатое, нос прямой, умеренный, французская бородка слегка с проседью, носит пенсне в белой оправе, одет в зимнее драповое пальто с барашковым воротником, носит черную же барашковую шапку и черные брюки, вероисповедания православного».

Уместно добавить здесь и психологический портрет Александра Ивановича, оставленный близко его знавшим октябристом Н.В. Савичем: «При большом уме, талантливости, ярко выраженных способностях парламентского борца Гучков был очень самолюбив, даже тщеславен, притом он отличался упрямым характером, не терпевшим противодействия его планам. В последнем случае он реагировал резко и решительно, становился сразу в позу врага... Он верил в свою звезду, в свое умение ладить с людьми, подчинять их своему влиянию... Гучков был интересным, осведомленным собеседником, он умел и любил рассказывать, говорить, но не слушать... Он был хороший оратор, но его речи всегда обращались к уму, а не к чувству слушателей, на толпу они мало действовали, это были речи для избранных».

«Мы вынуждены отстаивать авторитет власти против самих носителей этой власти...»

Полицейское наблюдение не предоставило тогда никаких особо компрометирующих материалов. Тем не менее сам тон выступлений Гучкова, его встречи с влиятельными военными, членами Думы — все говорило о том, что он взял курс на противостояние с властью. «Гучков толкает партию влево», — докладывал директор Департамента полиции министру внутренних дел.

В своих публичных речах осени 1913 года, когда еще повсюду гремело славословие 300-летию дома Романовых, Александр Иванович рисовал трагическую картину положения России и пугал грядущими «потрясениями и гибельными последствиями». На ноябрьской конференции октябристов он так определил парадоксальность положения партии: «Историческая драма, которую мы переживаем, заключается в том, что мы вынуждены отстаивать монархию против монарха, церковь против церковной иерархии, армию против ее вождей, авторитет правительственной власти против самих носителей этой власти!» Еще более откровенно он высказывался в разговорах с друзьями: «Власть в состоянии неизлечимого безумия... Власть идет по роковому пути. Она не сознает, что приведет к революционному выступлению изнутри... и тогда прощай, Великая Россия! Или соседи в расчете на нашу внутреннюю рознь спровоцируют войну, и тогда вспыхнет народная революция, которая все снесет». И далее: «Переживем ли мы опять смутное время?..» «Александр Иванович Буревестник», — отзывалась на выступления Гучкова левая печать. Страна встретила новый, 1914 год...

В первый же день мировой войны Гучков написал жене: «Начинается расплата». И тем не менее — отправился на фронт в качестве особоуполномоченного Красного Креста. Он «обслуживал» 2-ю армию Самсонова, едва избежал немецкого плена, затем был избран товарищем главноуполномоченного Всероссийского союза городов на фронте. Патриотический подъем, необходимость защитить «государственную честь России» отодвинули на время внутриаполитические проблемы.

С середины 1915 года А.И. Гучков — глава Центрального военно-промышленного комитета, координирующего распределение государственных военных заказов частным предприятиям под лозунгом «Все для фронта, все для победы!». На этом посту он увидел всю неспособность правительства вести «войну до победного конца», убедился в неспособности высшей власти выполнять важнейшие свои обязанности перед народом. Кто-то заметил тогда: «Ворчащий тыл — что ворчащий вулкан». Выходом казалось назначение министрами компетентных и ответственных людей, заслуживших народное доверие. «Не для революции мы призываем власть пойти на соглашение с требованиями общества, — заявлял в то время Гучков, — а именно для укрепления власти, и в целях защиты родины от революции и анархии нам необходимо сделать последнюю попытку через наших представителей открыть верховной власти глаза на то, что происходит в России, и на возможные ужасные последствия».

Гучкову, в силу его связей в промышленных и военных кругах, снова прочили министерский пост. А пока, в сентябре 1915-го, он был выбран

в Государственный совет от торгово-промышленной курии («как противно» — реакция императрицы). И 25 октября уже выступал на заседании Прогрессивного блока с призывом пойти на прямой конфликт с властью. К тому же периоду относится записка Гучкова генералу В.Ф. Джунковскому, отражающая окончательное разочарование в возможности наладить сотрудничество с существующим правительством: «Вы видите: „они“ — обреченные, их никто спасти не может. Пытался спасти их Петр Аркадьевич. Вы знаете, кто и как с ним расправился. Пытался и я спасти. Но затем махнул рукой... Но кто нуждается в спасении — так это Россия...»

К 1916 году А.И. Гучков окончательно стал лицом, олицетворяющим деятельный противовес бессильному правительству и «придворной камарилье». Лицом, опасным для власти. Кажется правдоподобным, что его тяжелая болезнь в начале 1916-го стала следствием попытки отравления неугодного октябриста людьми из окружения Распутина. Министр внутренних дел Хвостов лично звонил на квартиру Гучкова и спрашивал: «Скончался ли Александр Иванович?» Но у трубки оказался сам больной...

«Наверху» знали, что Гучков плетет нити заговоров — недаром объездил столько стран: изучал опыт восстаний и государственных переворотов! Припоминали, что его вместе с его военными сторонниками еще до войны дразнили «младотурками» — по аналогии с военными, совершившими переворот в Турции. Он готов, говорили при дворе, как только представится возможность, взять батальон солдат и лично повести его на Царское Село.

Грандиозность «заговоров» сильно преувеличена, но тем не менее в 1916 году заговор был. Гучков утверждал, что его цель — «не самим захватить власть, а расчислить другим путь к власти». К концу 1916-го вокруг него сложился кружок высокопоставленных общественных деятелей и промышленников, убежденных в том, что Николая II нужно заменить малолетним наследником при регентстве великого князя Михаила Александровича.

Гучков искал и находил союзников в самых высших военных кругах: вся история российских дворцовых переворотов учила, что вопрос о контроле над армией — один из важнейших. Пост главы Центрального военно-промышленного комитета обеспечивал нужные контакты под благовидными предлогами. Характерно письмо Александра Ивановича генералу М.В. Алексееву, написанное в августе 1916 года: «В тылу идет полный развал, ведь власть гниет на корню. Ведь как ни хорошо теперь на фронте, но гниющий тыл грозит еще раз, как было год тому назад, затянуть и Ваш доблестный фронт, и Вашу талантливую стратегию, да и всю страну, в то невылазное болото, из которого мы когда-то выкарабкались со смертельной опасностью. Ведь нельзя же ожидать исправных путей сообщения в заведывании г. Трепова, — хорошей работы нашей промышленности на попечении кн. Шаховского, — процветания нашего

«Мы вынуждены отстаивать авторитет власти против самих носителей этой власти...»

сельского хозяйства и правильной постановки продовольственного дела в руках гр. Бобринского. А если Вы подумаете, что вся власть возглавляется г. Штюмером, у которого (и в армии и в народе) прочная репутация если не готового предателя, то готового предать, что в руках этого человека... вся наша будущность, то Вы поймете, Михаил Васильевич, какая смертельная тревога за судьбу нашей Родины охватила и общественную мысль, и народные настроения... Наши способы борьбы обоюдоострые и, при повышенном настроении народных масс, особенно рабочих масс, могут послужить первой искрой пожара, размеры которого никто не может ни предвидеть, ни локализовать». Чудо множительной техники того времени — штабная пишущая машинка — позволило разнести тысячи копий этого письма по всей стране.

Достоверно известно, что из крупных военачальников Гучкову удалось вовлечь в заговор командира дивизии генерала Крымова, однако и многие другие высказывались сочувственно. Генерал Брусилов, например, говорил: «Если придется выбирать между царем и Россией — я пойду с Россией». В конце концов был составлен план, по которому хватило бы и не-большой военной поддержки. Предполагалось захватить царский поезд на пути между Ставкой и Петроградом где-то в Новгородской губернии, где была расквартирована «верная часть», и вынудить отречение в пользу наследника. «Надо идти решительно и круто, идти в сторону смены носителя Верховной власти, — рассуждал Александр Иванович. — На Государе и Государыне и тех, кто неразрывно с ними связан... накопилось так много вины перед Россией. Свойства их характера не давали никакой надежды ввести их в здоровую политическую комбинацию: из всего этого... ясно, что Государь должен... покинуть престол».

И все-таки, как признавался позже сам Гучков, «сделано было много для того, чтобы быть повешенным, но мало для реального осуществления». Осуществление переворота намечали на середину марта. Но «революция, к сожалению, пришла на две недели раньше».

Еще утром 28 февраля 1917 года А.И. Гучков пытался остановить то, что он поначалу воспринимал как «уличный бунт». Он звонил в Генеральный штаб генералу М.И. Зенкевичу: «Генерал! Срочно нужны войска для защиты престола!» Ответ был коротким: «Их нет!» Вечером Гучков уже в Таврическом дворце. Он примкнул к Временному комитету Государственной думы, войдя, по старой «думской специальности», в состав военной комиссии. «Мы теперь политические друзья», — говорил в те дни о своем бывшем думском противнике лидер кадетов П.Н. Милюков.

1 марта Гучков провел заседание Центрального военно-промышленного комитета, на котором был принят призыв к Временному комитету Думы «немедленно организовать власть». Затем он готовил войска столичного гарнизона к отражению возможной карательной экспедиции с фронта, причем солдаты одной из частей обстреляли гучковский автомобиль и убили его спутника. Вечером Александр Иванович предлагал Временному комитету лично, на свой страх и риск, поехать

к Николаю на переговоры об отречении. «Переменить царя, и этим сохранить царизм» — вот лозунг, которым он руководствовался. Особенно «сильным ходом» казалась ему передача престола двенадцатилетнему Алексею: «Личность маленького наследника должна была бы обезоружить всех».

2 марта в поезде из Ставки в Петроград (почти как задумано!) Александр Иванович получил от императора — из рук в руки — бумагу об отречении. Казалось, это пик политической карьеры, триумф, спасение монархии и России. Увы... Через день Гучков с ужасом услышал от самого нового «императора» Михаила Александровича, что тот не будет принимать верховную власть до созыва Учредительного собрания. Это означало, что монархия пала, чего Гучков никак не ожидал. Теперь он почувствовал: Россия идет к гибели. И сначала даже отказался от предложенного поста во Временном правительстве, но вскоре понял, что лишает себя возможности сделать максимум для спасения России, оказавшейся в критическом положении. Что это, как он сам говорил, «дезертирство». Так убежденный монархист и отставной прапорщик возглавил военное ведомство.

Поглядел бы тогда прадед, густобородый старообрядец! По всей России портреты правнука с подписью: «Военный и временно морской министр»! Желая показать, что на этот пост его привело не тщеславие, Гучков отказался от положенного министру жалованья и издал приказ: «все управления военного министерства продолжают функционировать без изменений».

С первых же дней своего министерства Александр Иванович агитировал «за войну до победного конца!». Но еще до этого по фронтам разошелся подрывавший дисциплину пресловутый «Приказ № Первый» Петроградского Совета. И никакой «разъясняющий» «Приказ № 2», посланный вдогонку по настоянию Гучкова, уже не мог его отменить. Армия стала на глазах терять боеспособность. Главное управление Генерального штаба «демократически» ввело шестичасовой рабочий день — в военное время! «Братания» стали обыденным явлением. Число дезертиров составило в марте 35 тысяч человек и продолжало расти. Гучков лично видел многочисленные солдатские митинги, стал свидетелем дискредитации и краха важнейшего для армии принципа единоначалия. Местные солдатские комитеты представляли независимую от командного состава власть. Советы и Временное правительство вступили в конфликт, больно отзывавшийся на положении страны. Сам Александр Иванович понимал: «Временное правительство висит в воздухе, наверху пустота, внизу бездна». Он объяснял генералам, требовавших мер против Советов: «Мы не власть, а видимость власти, физическая сила у Совета рабочих и солдатских депутатов». По подсчетам Гучкова и командующего Петроградским военным округом генерала Л.Г. Корнилова, в случае военного столкновения защищать Временное правительство могли выйти только 3,5 тысячи из 100-тысячного гарнизона.

«Мы вынуждены отстаивать авторитет власти против самих носителей этой власти...»

«Ни у кого не звучала с такой силой, как у него, нота глубочайшего разочарования и скептицизма, — вспоминал управляющий делами Временного правительства В.Д. Набоков. — Когда он начинал говорить своим негромким и мягким голосом, смотря куда-то в пространство слегка косыми глазами, меня охватывала жуть, сознание какой-то безнадежности. Все казалось обреченным».

Свалив Романовых, царствовавших более трехсот лет, Гучков пробыл министром только шестьдесят дней. Ругая бессилие и неспособность царского правительства, он не подозревал, что и сам подаст в отставку в апреле 1917-го именно оттого, что не в его силах будет навести порядок во вверенном ему деле. «Мы хотели, — объяснял позднее Гучков смысл проводимой им «умеренной демократизации армии», — проснувшегося духу самостоятельности, самодеятельности и свободы, который охватил всех, дать организованные формы и известные каналы, по которым он должен идти. Но есть какая-то линия, за которой начинается разрушение того живого, могучего организма, каким является армия». Изю всех сил отбивался министр от навязываемого ему Советом принятия «Декларации прав солдата», которая по разлагающей силе даже превосходила легендарный «Приказ № Первый». Однако смог только задержать это принятие — пока находился на своем посту.

В ночь на 30 апреля 1917 года Александр Иванович написал главе Временного правительства князю Г.Е. Львову письмо, в котором подчеркивал, что «по совести не может более разделять ответственность за тот тяжкий грех, который творится в отношении Родины». Отставка была принята, освободившееся место занял А.Ф. Керенский. Узнав об этом, французский посол Морис Палеолог сказал: «Отставка Гучкова знаменует ни больше ни меньше как банкротство Временного правительства и русского либерализма. В скором времени Керенский будет неограниченным властителем России... в ожидании Ленина».

После отставки Александр Иванович направил все силы на организацию борьбы с набирающими силу Советами. Он хочет теперь опереться на фронт, организует сбор средств для поддержки генерала Корнилова, с чьим именем связаны надежды на ликвидацию Петроградского Совета. «Политические игры» становятся столь опасными, что летом 1917 года Гучков на всякий случай составляет завещание. Указанная в нем собственность тянет на несколько сотен тысяч рублей — по тем временам очень большие деньги. Октябрьский переворот застал его на Северном Кавказе, в Кисловодске, где он поправлял подорванное здоровье.

Там, на Юге России, бывший председатель Думы, бывший член Государственного совета, бывший военный министр присоединился к Белому движению. Одним из первых промышленников он передал значительные деньги М.В. Алексею — на формирование Добровольческой армии. Весной 1918 года, при власти большевиков, Гучкову пришлось жить в подполье, а затем выбираться в Ставрополь, переодевшись в одежду протестантского пастора. Летом и осенью 1918-го он снова работает

в Военно-промышленном комитете — уже по снабжению Добровольческой армии.

В 1919–1920 годах, по поручению А.И. Деникина, А.И. Гучков отправился в Западную Европу, чтобы силой своего авторитета убедить бывших союзников России помочь Белому движению. В Лондоне он познакомился с молодым военным министром У. Черчиллем и попросил его поспособствовать единому фронту армии генерала Юденича с независимыми государствами Прибалтики для занятия Петрограда. Но вся английская помощь досталась эстонским властям. Рассерженный Александр Иванович направил Черчиллю письмо с протестом: «Из Эстонии производятся массовые выселения русских подданных без объяснения причин и даже без предупреждения... Русские люди в этих провинциях бесправные, беззащитные и беспомощные. Народы и правительства молодых балтийских государств совершенно опьянены вином национальной независимости и политической свободы... Страх перед вновь восстановленной сильной Россией определяет собой политику балтийских государств в отношении России и Русской Северо-Западной армии. Разумеется, эта политика неумная и близорукая». Он тогда предсказывал: «Хроническое продолжение того хаоса, который господствует на ее (России. — Д.О.) территории, неизбежно поведет за собой гибель и хаос для ее слабых соседей».

В 1920 году Гучков в Севастополе, у генерала Врангеля, с которым у него сложились дружеские отношения. Уход врангелевских войск из Крыма означал окончательную необходимость эмиграции. До конца дней Александр Иванович прожил в Париже, благо сохранный капитал (около 3 млн франков) позволял не бедствовать самому и помогать другим.

...Все остальное — лишь затянувшийся эпилог. Работа в Красном Кресте. Участие в съездах и переговорах, связанных с попытками сплочения антибольшевистского движения. Травля со стороны монархических кругов за участие в отречении Романовых (однажды бывшего лихого дуэлянта даже избили). Неприятие со стороны кадетов: «слишком правый». Александр Иванович признавался тогда: «Знаю, что мой либеральный торизм оказался не ко времени в наших отечественных условиях, при нашей склонности к максимализму, которым грешило наше общество. Для одних я был слишком тори, для других — слишком либерален. История нас рассудит, или, вернее, история нас уже рассудила».

«Мы вынуждены отстаивать авторитет власти против самих носителей этой власти...»

Тем не менее в Советской России 1920-х Феликс Дзержинский все еще считал А.И. Гучкова одним из опаснейших врагов в среде эмиграции. Он поставил задачу проникнуть в его ближайшее окружение. Проникают ближе некуда: агентом ОГПУ/НКВД становится дочь Гучкова, Вера. Если учесть то, что в его дом были вхожи генерал Н. Скоблин и его жена Надежда Плевицкая (также работавшие на советские спецслужбы), и то, что его конфиденциальная переписка с германскими знакомыми шла через советского тайного агента, становится понятно, почему известный эмигрантский историк и литератор Роман Гуль написал: в последние годы Гучков находился «под двойным стеклянным колпаком НКВД».

А надежд на возвращение в Россию становилось все меньше... В одном из личных писем Гучков пишет: «Тускло, неуютно, холодно, голодно». В 1935 году врачи устанавливают неизлечимую болезнь — рак. 14 февраля 1936-го Александр Иванович умирает. В его завещании было высказано пожелание: «когда падут большевики», перевезти его прах из Парижа в родную Москву, «для вечного успокоения». Увы, во время немецкой оккупации место захоронения А.И. Гучкова (в колумбарии на кладбище Пер-Лашез) таинственно исчезло.

«Необходимо создание
правительства, сильного
доверием общества...»

Николай Иванович Гучков (1860–1935) происходил из старинного купеческого рода, ведущего свое начало от Федора Алексеевича Гучкова (1777–1856), крестьянина Калужской губернии Малоярославского уезда, дворового человека надворной советницы Белавиной. Его отец, И.Е. Гучков (1833–1904), — совладелец (совместно с братьями) торгового дома «Ефим Гучков и сыновья», московский 1-й гильдии купец, потомственный почетный гражданин, мануфактур-советник, председатель Совета Московского учетного банка. Мать, Каролина Петровна Вакье, — француженка. Благодаря ей в доме, где воспитывались пять сыновей (Николай, Федор, Александр, Константин и Виктор), царил атмосфера взаимного уважения и любви.

Николай Гучков учился в известной 2-й Московской гимназии. Он рос любознательным, и круг его интересов не ограничивался гимназическими предметами. Внимательно читал материалы Московской городской думы, присылаемые отцу как думскому гласному. Под влиянием родителя, считавшего, что для успешного управления фабрикой необходимы хорошие знания в области права, в 1881 году Николай поступил на юридический факультет Московского университета, который окончил в 1886-м со степенью кандидата прав.

Учеба в университете сыграла большую роль в формировании политических взглядов Н.И. Гучкова. В это время на юридическом факультете преподавали такие деятели либеральной интеллигенции, как С.А. Муромцев, Н.И. Янжул, А.И. Чупров, М.М. Ковалевский, М.Я. Герценштейн и др.; они пропагандировали необходимость проведения реформ, развития местного самоуправления и установления конституционной монархии. Юноша посещал также и собрания существовавшего при Московском университете с 1863 года Юридического общества, которое сыграло значительную роль в деле популяризации конституционных идей в широких слоях населения.

Уже учась в университете, Николай почувствовал необходимость перемен в существующем строе. Ему были близки такие понятия, как гражданское общество, правовое государство, права и свободы личности, свобода частного предпринимательства и торговли. Тесные контакты с либеральным лагерем привели его в одно из первых объединений земских деятелей

лей — кружок «Беседа» (1899–1905), куда Гучкова единогласно приняли 9 января 1905 года. Однако проявить себя там ему не удалось, так как в связи с образованием различных политических партий деятельность кружка прекратилась.

Основное внимание в этот период жизни молодой человек уделял предпринимательской деятельности. Иван Ефимович Гучков надеялся передать семейное предприятие в руки старшего сына. Поэтому уже во время учебы того в университете привлекал его к сбыту товаров собственной фабрики. Полученный опыт позволил Николаю по окончании университета управлять делами в отсутствие отца.

Женитьба Н.И. Гучкова в 1887 году на Вере Петровне Боткиной расширила его предпринимательскую деятельность. Он стал совладельцем и управляющим директором «Торгового дома» и семейных предприятий Боткиных (Товарищества чайной торговли «Петр Боткин и сыновья», Товарищества Ново-Таволжанского свеклосахарного завода), открыл магазины в Выборге и Петербурге, реорганизовал делопроизводство в московском магазине, что способствовало значительному повышению продажи чая. В предпринимательской деятельности все полнее проявлялись его организаторские способности, умение в сложных обстоятельствах принимать правильные решения.

Одновременно Николай активно участвует в общественной жизни. В 1886 году он избран Московской городской думой попечителем Петровско-Басманного городского начального училища; в 1892-м — Романовского земского училища; в 1887-м — почетным мировым судьей; в 1889-м — членом присутствия по воинской повинности, работа в котором под руководством городского головы Н.А. Алексеева помогла ему лучше изучить муниципальное дело. В 1893 году Николая Гучкова избрали в гласные Московской городской думы. В этом качестве он состоял членом и председателем многих думских комиссий, в том числе такой важной, как финансовая.

Общественные обязанности требовали все большей отдачи, и на предпринимательскую деятельность времени оставалось мало. Убедившись в этом, И.Е. Гучков и два его сына, Федор и Николай, в 1896 году закрыли фабрику, сохранив только торговый дом «Гучков и сыновья».

Работа в Московской думе не приносила Гучкову полного удовлетворения. Это связано с его негативным отношением ко многим решениям городского головы В.М. Голицына. В конце 1890-х группа гласных, куда входили братья Николай и Александр Гучковы, Н.Н. Щепкин, С.И. Мамонтов, составила городскому голове оппозицию (она получила в думе полужутливое название «Торговый дом братьев Гучковых, Щепкин, Мамонтов и К^о»). В 1901 году при перевыборах городского головы Гучковы попытались сместить В.М. Голицына с должности, но безуспешно. Николай Иванович получил всего 25 голосов.

Русско-японская война 1904–1905 годов способствовала активизации общественно-политической жизни. По стране прокатилась волна съездов

земских и городских деятелей, выдвигавших требование демократических свобод. В их работе активное участие принимал Николай Гучков. Он был в числе гласных, подписавших знаменитое заявление от 30 ноября 1904 года, содержащее требования демократических свобод, отмены исключительных законов и установления контроля общественных сил над законностью действий администрации. Николай Иванович относился к тем общественным деятелям, которые надеялись мирным путем (посредством переговоров и изменения законодательства) остановить революционное движение. В январе 1905 года совместно с другими гласными он подписал ходатайство Московской городской думы в правительство о пересмотре существующего закона о стачках и о предоставлении рабочим права на мирные стачки, не сопровождающиеся насилием и истреблением имущества, а также права собраний и союзов.

Сложная политическая обстановка в городе заставила В.М. Голицына 25 октября 1905 года сложить с себя полномочия городского головы. Николай Гучков дал согласие баллотироваться на эту должность и на совещании гласных городской думы 17 ноября изложил свою программу. Он заявил, что, какие бы ни происходили события, дума должна непрерывно исполнять задачи, возложенные на нее законом. 19 ноября его избрали городским головой (103 голоса против 21), а 29 ноября Н.И. Гучков Высочайшим указом императора был утвержден в должности московского городского головы.

Это было сложное время. Манифест 17 октября не принес Москве успокоения: в декабре началось восстание. Перед Н.И. Гучковым стояла сложнейшая задача вернуть город к нормальной мирной жизни. Для этого он прежде всего наладил деловые контакты с городской администрацией, губернатором В.Ф. Джунковским и генерал-губернатором Ф.В. Дубасовым. Эти усилия постепенно стали приносить плоды, и на заседании думы 16 декабря 1905-го Гучков сообщил, что ряд учреждений прекратили забастовку. Он сумел добиться от Дубасова постановления, в котором полковнику Семеновского полка Г.А. Мину предлагалось установить способ эвакуации жен и детей рабочих из подвергшейся обстрелу правительственными войсками Пресни. С разрешения Ф.В. Дубасова эвакуированные разместились в здании городской думы на Воскресенской площади.

Разделяя политические взгляды своего брата Александра, Николай Гучков вступил в партию «Союз 17 октября». Он был избран в состав ЦК, редакционного комитета центральной партийной газеты «Голос Москвы», а также стал пайщиком Московского товарищества для издания книг и газет, учрежденного для финансирования публикаторской деятельности «Союза».

Николай Иванович понял, что, занимая пост городского головы, он должен находиться вне партийной борьбы и действовать на благо родного города. Он считал, что активная политическая деятельность мешает решению конкретных вопросов. А потому выходит из «Союза 17 октября» и провозглашает курс на беспартийную хозяйственную деятельность. Призывы

«Необходимо создание правительства, сильного доверием общества...»

Н.И. Гучкова не вносить политическую борьбу в деятельность Московской думы не был услышан гласными. Кадеты использовали любой повод для дискредитации городского головы. Стремясь провести свои решения, они затягивали прения, выступая несколько раз по одному и тому же вопросу. Николай Иванович пытался ограничить подобную практику, но безуспешно; кадеты организовали в прессе клеветническую кампанию, обвиняя его в политиканстве. Однако сорвать перевыборы Н.И. Гучкова на пост городского головы на новый срок они так и не смогли. 19 января 1909 года последовало Высочайшее соизволение на его назначение. В новом составе думы политическая борьба не прекращалась. Несмотря на то что конституционные демократы стремились превратить заседания в дискуссионные клубы, городской голова ценил профессиональный уровень некоторых из них, предоставляя возможность занимать должности председателей важнейших думских комиссий.

В 1912 году, накануне окончания работы Н.И. Гучкова в должности городского головы, кадеты опять развернули против него кампанию в прессе. Его обвиняли в том, что 20 млн свободных городских денег он поместил в частные банки, которые могут в любой момент обанкротиться, в результате чего казна лишится средств. Надуманность подобных обвинений прекрасно понимал председатель финансовой комиссии кадет Л.Л. Катуар: эти операции осуществлялись с его ведома. С 1892 года городские денежные средства размещались в частных банках потому, что в государственных на них не начислялись проценты. Гучков всего лишь продолжал сложившуюся традицию, о чем было известно всем гласным думы. Тем не менее в избирательной кампании было использовано обвинение городского головы в самовольном распоряжении городскими финансами. Николай Иванович, объявивший о своей внепартийности, от борьбы устранился, что привело его к поражению на выборах. Он получил 77 голосов, а кадет князь Г.Е. Львов — 82; по результатам прошли оба кандидата, и решение оставалось за администрацией. Зная, как высоко ценили Н.И. Гучкова в Министерстве внутренних дел, гласные были убеждены, что именно он станет городским головой. Но Николай Иванович не мог допустить подобных действий администрации, видя в этом посягательство на выборное начало городского самоуправления, которое он при вступлении в должность обещал оберегать. Проявив гражданское мужество, он снимает свою кандидатуру.

На посту городского головы Н.И. Гучкову приходилось выполнять широкий спектр общественных обязанностей, в первую очередь заниматься подготовкой и проведением выборов в Московскую городскую думу и во все четыре Государственные. При этом самая сложная работа оказалась связана с I Думой, что объяснялось нечеткой формулировкой отдельных пунктов закона о выборах, неразработанностью самой процедуры. Большие трудности представляла работа по составлению списков избирателей. Городской голова формировал участковые избирательные комиссии, назначал их председателей, проводил совещания с ними, подыскивал

помещения для проведения выборов. Так как Министерство внутренних дел запаздывало с разработкой инструкции для избирательных комиссий, городская управа под руководством Н.И. Гучкова составила свой вариант. Получив инструкции из Санкт-Петербурга, Н.И. Гучков собрал председателей участковых избирательных комиссий; они сравнили два этих документа и пришли к выводу, что московская инструкция лучше. Н.И. Гучков ходатайствовал перед Министерством внутренних дел о разрешении проведения выборов на ее основе и 2 марта 1906 года получил положительный ответ.

Николай Иванович считал, что все партии должны иметь равные возможности. Узнав о запрещении избирательных собраний кадетов, он попросил московского генерал-губернатора Ф.В. Дубасова снять эти ограничения. Дубасов объяснил все простым недоразумением, и кадеты получили возможность спокойно проводить избирательную кампанию, что обеспечило их успех на выборах в I Государственную думу.

Блестящие организаторские способности позволили Н.И. Гучкову успешно справиться с организацией выборов в I Государственную думу; II, III и IV Думы стоили ему меньших усилий. Выборы в Московскую думу, которыми городской голова занимался в 1908 и 1912 годах, тоже прошли без осложнений, так как процедура была уже отработана.

В ноябре 1907 года по высочайшему повелению Н.И. Гучкова назначили членом Особого присутствия Сената. На одном из его заседаний рассматривалось дело В.И. Гурко. Будучи товарищем министра внутренних дел, Гурко заключил со шведским подданным Л. Лидвалем договор о поставке 10 млн пудов хлеба в пострадавшие от голода местности и выдал ему аванс на 810 тыс. рублей. Контракт не был выполнен, а В.И. Гурко привлекли к суду за превышение власти и нерадение в отправлении должности. В ходе судебного следствия Гучков пришел к выводу о полной невиновности обвиняемого; по его мнению, тот допустил не злоупотребление, а большой риск, суливший в случае успеха огромную экономию казенных средств и понижение цен на хлеб. Свое мнение он отстаивал при вынесении приговора, но сенаторы с ним не согласились. Однако Николай Иванович на этом не успокоился и на следующий день после вынесения приговора поехал к председателю Совета министров П.А. Столыпину, чтобы изложить свое особое мнение. Столыпин также не прислушался к его доводам.

«Необходимо создание правительства, сильного доверием общества...»

Много времени и сил отнимал у Н.И. Гучкова такой вид общественной деятельности, как представительство. В качестве городского головы он представлял московское городское управление за рубежом. Во время визита во Францию в 1911 году Николай Иванович был награжден орденом Почетного легиона. В Москве он организовывал приемы представителей французского муниципалитета, английской делегации в составе членов палаты общин, представителей армии и флота, англиканской церкви, общественных, научных и промышленных организаций, а также всех прибывавших в Москву из Петербурга высокопоставленных чиновников.

Гучков — городской голова направил все свои усилия на то, чтобы Москва по своему облику и благоустройству не уступала западноевропейским городам.

Он возглавил городское самоуправление, когда городские финансы из-за Русско-японской войны и революционных событий пришли в расстроенное состояние. Городская касса опустела, отсутствовал даже запасной капитал. Тяжелое финансовое положение привело к тому, что среди гласных возникла мысль передать городские предприятия в частные руки. Н.И. Гучков давал отпор этим настроениям.

Николай Иванович прилагал невероятные усилия для того, чтобы сделать городской бюджет бездефицитным. С этой целью он предлагает создать специальную комиссию для решения вопроса о поднятии доходности земли, увеличении налогов с увеселительных заведений и платы за проживание в ночлежках. Была разработана инструкция по обложению недвижимых имуществ в Москве, реализована серия муниципальных займов на европейском денежном рынке, благодаря которым удалось продвинуть дела городского благоустройства. Так, заем 1910 года позволил приступить к созданию новых полей орошения, столь необходимых для проведения второй очереди канализации, которая должна была охватить всю территорию города. В 1910–1911 годах Гучков поставил перед правительством вопрос о принудительном присоединении к канализации частных домов, первым потребовал ее устройства на окраинах Москвы. Благодаря его умению не только добиваться средств для той или иной цели, но и правильно организовать их расход к концу 1914 года треть всех владений Москвы была присоединена к канализационной сети.

Любимое детище Н.И. Гучкова — строительство трамвая. Он понимал, что это не только решит транспортную проблему в столь большом городе, как Москва, но и даст значительный доход, который в дальнейшем позволит сводить бюджет без дефицита. Для осуществления проекта требовалось выкупить конно-железные дороги, принадлежавшие Второму Бельгийскому акционерному обществу. Н.И. Гучков сумел так организовать дело, что 15 июня 1911 года был подписан договор об их выкупе Московской городской думой на более выгодных для городского самоуправления условиях. Это позволило организовать лучший в России трамвай, который, как и ожидал Николай Иванович, стал главным источником дохода городской казны.

При этом было ясно, что в связи с ростом населения и дальнейшим развитием техники трамвай не сможет решить транспортную проблему. Поэтому в 1912 году под влиянием Н.И. Гучкова городская дума разрабатывает условия конкурса на проект Московского метрополитена.

Одновременно в городе проводились мероприятия по расширению и модернизации водопровода, усовершенствованию мостовых, устройству розария вдоль Китайгородской стены, разбивке скверов на больших площадях. Было открыто движение по окружной железной дороге, Бородин-

скому Каменному, Новоспасскому и Малому Краснохолмскому мостам; построено два ночлежных дома, два дома дешевых квартир, двенадцать школьных зданий.

Особое внимание Н.И. Гучков уделял вопросам народного просвещения, справедливо полагая, что единственным способом борьбы с бедностью является увеличение производительности труда, которое без образования невозможно. Он стал одним из инициаторов проведения в жизнь в 1909 году принципа общедоступности начального образования. Став городским головой, Николай Иванович добился решения думы об отмене с осени 1910 года платы за обучение в начальной школе. Он считал, что наряду с сетью начальных школ необходимы учебные заведения с повышенной подготовкой специалистов. Поэтому идея либерального деятеля А.Л. Шанявского о создании народного университета была встречена им с восторгом.

Шанявский хотел создать высшее учебное заведение вне системы правительственной школы, при Московской городской думе, в котором могли бы свободно, без требования аттестатов об образовании, учиться мужчины и женщины, русские и представители других национальностей — одним словом, все, кто учиться хотел. Согласно завещанию Шанявского (он умер 7 ноября 1905 года), все его движимое и недвижимое имущество передавалось вдове, а после ее смерти — народному университету. Если же не откроется в течение трех лет (до 3 октября 1908), имущество отойдет женскому медицинскому университету.

Все дела, связанные с организацией университета, перешли к вдове, друзьям и душеприказчикам братьям М.В. и С.В. Сабашниковым, В.К. Роту и Московской городской думе в лице городского головы Н.И. Гучкова. Последний создал в Думе специальную комиссию, которая разработала устав университета; на его утверждение ушло три года, так как московская администрация и в первую очередь градоначальник А.А. Рейнбот выступали против проекта, опасаясь, что университет превратится в центр революционного движения молодежи. Подобная позиция вынудила Н.И. Гучкова провести утверждение устава народного университета через Государственную думу и Государственный совет.

Чтобы ускорить дело, Николай Иванович 21 марта 1907 года обратился к председателю Совета министров и министру внутренних дел П.А. Столыпину с просьбой оказать содействие в утверждении устава. Не удовлетворившись этим, он едет в Петербург для личной встречи с ним; на приеме у Столыпина подает записку по вопросу об утверждении устава народного университета и заручается его поддержкой. Одновременно Н.И. Гучков поручил постоянному представителю Московской городской думы в Петербурге контролировать ход дела в высших инстанциях. Он обратился к министрам народного просвещения П.М. фон Кауфману (5 мая 1907), а затем А.Н. Шварцу с просьбой ускорить передачу проекта устава в Государственную думу. 4 апреля Николай Иванович сумел организовать прения в Московской городской думе таким образом, что та утвердила доклад

«Необходимо создание правительства, сильного доверием общества...»

комиссии, предлагавшей учесть все изменения и дополнения, сделанные Министерством народного просвещения. Успешное прохождение проекта устава университета через Государственную думу и Государственный совет в значительной мере было обеспечено Н.И. Гучковым, который сумел убедить московских депутатов принять участие в обсуждении этого документа. Император утвердил устав 26 июня 1908 года, а 1 октября в Большом зале Московской городской думы состоялось торжественное открытие Московского городского народного университета им. А.Л. Шанявского.

Большую заботу Н.И. Гучков проявлял о сохранении выдающегося памятника русской художественной культуры, сокровищницы русского изобразительного искусства — Третьяковской галереи, в 1892 году переданной П.М. Третьяковым в собственность города.

Женившись на В.П. Боткиной, Николай Иванович попал в семью, члены которой так или иначе занимались коллекционированием. Особенно сильное влияние на его художественный вкус оказал шурин И.С. Остроухов, художник и известный собиратель, член попечительного совета Третьяковской галереи. Благодаря близким дружеским отношениям с ним Гучков оставался в курсе проходившей в совете борьбы по вопросу о пополнении галереи. Остроухов полагал, что надо приобретать картины, отражавшие все направления в русской живописи; подобного взгляда придерживался и Николай Иванович. Однако открыто поддержать родственника он не мог, чтобы его не обвинили в необъективности. На заседании городской думы 18 мая 1910 года разгорелась острая дискуссия по вопросу покупки картин. Н.И. Гучков предложил создать специальную комиссию в количестве десяти человек, которая, подробно изучив состояние дел, даст свои рекомендации. Дабы дать И.С. Остроухову возможность спокойно работать, Гучков не торопил комиссию с выработкой рекомендаций и не возмущался тем, что ее работа затянулась почти на два года. Он всячески подчеркивал, что спешить в столь сложном деле нельзя, ибо в противном случае это может нанести ущерб Третьяковской галерее.

Только 10 мая 1912 года комиссия представила городской управе доклад о проделанной работе, а 8 июня его обсудили в Московской думе. Как отмечалось на заседании, тщательное изучение деятельности галереи показало отсутствие в работе Попечительного совета серьезных упущений. Таким образом, Н.И. Гучкову удалось предоставить самостоятельность членам совета, и в первую очередь И.С. Остроухову, в вопросе новых приобретений. Благодаря его стараниям за 1900–1912 годы в Третьяковку поступило 350 произведений, три четверти из них составляли картины художников нового направления.

13 ноября 1912 года вновь вернулись к обсуждению доклада комиссии о деятельности Третьяковки. Рассматривался вопрос обеспечения сохранности картин. После бурных дебатов решили ввести в штат галереи должность художника-реставратора. Был поставлен также вопрос о необходимости постройки нового здания. Эту идею поддержал и Н.И. Гучков; он указал, что на ее реализацию могут быть использованы не только

ассигнования городской думы, но и проценты с капиталов, завещанных П.М. Третьяковым и П.П. Боткиным. Провести в жизнь эти мероприятия Николай Иванович не смог в связи с окончанием его полномочий как городского головы. Тем не менее он продолжал уделять большое внимание деятельности Третьяковской галереи как гласный Московской городской думы. Так, на ее заседании 10 сентября 1913 года Гучков выступил против решения нового состава Попечительного совета осуществить перевеску картин, ссылаясь на духовное завещание П.М. Третьякова. Эти доводы не встретили поддержки, и вновь избранный попечитель И.Э. Грабарь приступил к делу. Н.И. Гучков остался при своем мнении, но позднее посетил галерею, чтобы ознакомиться с новым расположением картин.

Несмотря на события, вызванные Первой мировой войной, 1 апреля 1915 года Московская дума вновь вернулась к обсуждению вопроса о состоянии Третьяковки, так как возникла угроза затопления ее подвалов при разливе Москвы-реки. На этом заседании Николай Иванович выступил с резкой критикой действий Попечительного совета, который в связи с надвигающейся опасностью закрыл галерею для посетителей. Реально оценивая сложившуюся обстановку, он указал на невозможность строительства нового здания в военное время и требовал вернуть картины на прежние места.

Вопрос о Третьяковской галерее рассматривался в думе еще раз 26 января 1916 года. И вновь с критикой действий совета выступил Н.И. Гучков, который доказывал, что нарушается воля П.М. Третьякова, и требовал приостановить проводимые реформы. Этот страстный призыв был услышан гласными думы, которые постановили создать организационную комиссию для решения этого вопроса. Николай Иванович участвовал в ее заседаниях 22 и 26 февраля, 17 и 21 марта 1916 года. В результате появилось решение о необходимости общего перемещения картин с изменениями ныне принятой системы их размещения и о недопустимости включения в общее собрание произведений художников, которые начали работать после смерти П.М. Третьякова. Таким образом, Гучков сумел убедить комиссию в правильности своих требований, но последовавшие революционные события помешали их осуществлению.

Работа на посту городского головы не оставляла времени заниматься семейным делом. Поэтому после смерти дяди Федора Ефимовича братья Гучковы в октябре 1911 года закрыли свое торговое предприятие. Но и после отставки Николай Иванович по-прежнему отдает много времени общественной деятельности, которая постепенно приобретает всероссийский характер. Он избран членом правления Северного страхового общества, членом Советов Московского частного коммерческого и Нижегородско-Самарского земельного банков. В это же время включается в распространившееся в стране неославянское движение. Братья Гучковы — Александр и Николай — активно поддерживали Союз славянских государств в их борьбе с Турцией. Вместе с сербским архимандритом Михаилом они создают Московский славянский комитет, под председа-

«Необходимо создание правительства, сильного доверием общества...»

тельством Николая Гучкова. В организацию принимались все желающие, сделавшие взнос в размере трех рублей. В начале октября 1912 года устав комитета был утвержден Московским присутствием по делам об обществах, а 5 октября состоялось его организационное собрание.

Основная цель этой общественной организации — проведение принципов неославянизма. Для этого предполагалось устраивать лекции, готовить рефераты, проводить собеседования по вопросам, касающимся жизни стран Балканского полуострова, изучать способы оказания помощи нуждающемуся населению, а также проводить сбор средств путем организации лекций, концертов и пожертвований. Чтобы помощь была целенаправленной, планировались поездки членов комитета на Балканы. Однако Балканские и Первая мировая войны не позволили осуществить эту программу. Деятельность свелась к благотворительности и оказанию постоянной материальной помощи. Комитет отправлял санитарные поезда, лекарства и перевязочные материалы, собирал и передавал деньги на организацию госпиталей в Сербии, Греции и Черногории, снабжал деньгами их подданных при отправке на войну.

Между тем с началом Первой мировой иллюзии Н.И. Гучкова по поводу реализации неославянских принципов разрушились. Комитет полностью сосредоточился на сборе средств для Сербии и Черногории, а также на организации различных торжественных мероприятий в честь видных политических деятелей этих стран. Дальнейшую работу председателя Московского славянского комитета остановил Октябрьский переворот. К этому времени Николай Иванович стал признанным общественным деятелем не только в России, но и за ее пределами. К нему со словами благодарности обращались митрополит Сербский Дмитрий, король сербский Петр, премьер Сербии Н.П. Пашич, посланник Сербии в России М.И. Спалайкович. В том, что Сербия и Черногория смогли выстоять в борьбе с немецкими и австро-венгерскими войсками, есть и заслуга Н.И. Гучкова, сумевшего, несмотря на трудности военного времени и загруженность, организовать им своевременную и постоянную материальную помощь.

Значительного внимания требовала общественная деятельность в качестве гласного Московской городской думы. Николай Иванович по-прежнему придерживался мнения, что в ее работе не должно быть политики, а потому на заседании в феврале 1913 года заявил, что не войдет ни в одну из групп и будет голосовать в зависимости от собственных взглядов на тот или иной вопрос. Гласный Гучков заботился прежде всего о дальнейшем развитии городского хозяйства. Он много времени уделял работе городской управы, замечая все промахи в ее работе. Самый большой упрек был высказан им в связи с начавшейся в сентябре 1913 года забастовкой трамвайных рабочих. Он доказывал, что виновница здесь — сама управа, проявившая недопустимую беспечность вместо энергичных действий по предотвращению забастовки. Его критические выступления не остались гласом вопиющего в пустыне. Кадеты, составляющие в думе большинство, прислушивались к его замечаниям и старались их учитывать.

НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ
ГУЧКОВ

Начавшаяся Первая мировая война во многом изменила деятельность Гучкова в Московской городской думе. На чрезвычайном собрании 18 июня 1914 года он выступил с яркой речью, предлагая выработать мероприятия, необходимые для создания всероссийской городской организации по оказанию помощи больным и раненым воинам. Николай Иванович вошел в состав комиссии, которой поручалась организация Всероссийского союза городов. Успешная деятельность Союза во многом объясняется удачно разработанной схемой, а в ее создании участвовал и Н.И. Гучков. Он вошел также в состав совещания гласных, созданного при думе для более оперативного решения вопросов, вызванных войной, и в комиссию по оказанию помощи больным и раненым воинам, где полностью проявились его организаторские способности. Он работал над созданием плана эвакуации раненых и оказания непосредственной помощи действующей армии; обсуждал возможности приспособления зданий городских училищ под лазареты.

Организация помощи больным и раненым воинам тесно смыкалась с работой Николая Ивановича как товарища председателя Комитета под покровительством великой княгини Елизаветы Федоровны. В нем он занимался созданием госпиталей и распределением в них раненых. С увеличением потока беженцев в город становилось ясно, что управа не справляется с этой проблемой. Поэтому Гучков предложил создать особый отдел по оказанию помощи беженцам со специально приглашенным заведующим во главе, а также объединить организации, работающие в этой сфере, чтобы привести их в стройную систему с точки зрения разделения их функций и выяснения взаимоотношений.

Несмотря на войну, московское городское самоуправление продолжало выполнять свои обычные обязанности, возложенные на него Городовым положением. Активное участие в работе принимал гласный Н.И. Гучков, продолжая уделять особое внимание состоянию финансов и стремясь к тому, чтобы городские средства расходовались рационально. Он критиковал работу управы по вопросам обеспечения города сахаром и топливом, требовал, чтобы та перестала жаловаться и ужасаться и приступила к практическим мерам, предлагал создать при управе специальный транспортный отдел. Более всего раздражала его нерасторопность в решении продовольственного вопроса. Ведь дороговизна продуктов в первую очередь ударяла по беднейшим слоям городского населения и усиливала вызванные войной тяготы. Николай Иванович был возмущен тем, что управа не создала совещание, призванное решать вопросы поставки продовольствия, в то время как Союз городов это совещание уже создал.

Популярность Н.И. Гучкова, умение находить решение самых сложных вопросов привели к тому, что его как представителя московского городского самоуправления стали избирать во всевозможные комитеты и комиссии. В июле 1914 года он вошел в специальную подкомиссию, которая разрабатывала вопрос объединения союзов городов и земств; в августе стал членом Временного комитета Всероссийского союза городов

«Необходимо создание правительства, сильного доверием общества...»

и представителем Москвы в Объединенном военно-техническом совете; в июне 1915-го и в августе 1916-го — представителем в Главном комитете Союза городов. На заседании городской думы 9 декабря 1914 года было решено присвоить Гучкову звание Почетного гражданина и повесить в зале заседания его портрет, заказанный художнику Малютину.

Высокие деловые качества позволили Николаю Ивановичу стать представителем думы в Московском и Центральном военно-промышленных комитетах. Эти общественные организации имели целью координацию усилий промышленности в обеспечении потребностей действующей армии. Сторонник конституционной монархии, Н.И. Гучков свои отношения с властью строил на основе компромисса. В годы Первой мировой он понял экономическую и политическую слабость самодержавия. Его раздражало неумение власти быстро и правильно перестроиться для успешного ведения войны, а также распространившиеся слухи о стремлении царского правительства заключить сепаратный мир.

Гучков отказывается от своей тактики компромисса и переходит в открытую оппозицию правительству. Для изложения своих политических взглядов он использовал трибуну Московской городской думы. 18 августа 1915 года на чрезвычайном заседании состоялось его горячее выступление, в котором он доказывал важность единения всей страны для победы над неприятелем: «Необходимо создание правительства, сильного доверием общества». Только такое правительство, работающее в тесном союзе с Государственной думой, способно осуществить реформирование государственного строя и обеспечить военный успех.

Несмотря на свою оппозиционность, в мае 1915 года Н.И. Гучков был назначен членом Совета министров торговли и промышленности: в стране не хватало деловых, энергичных людей, умеющих решать самые сложные задачи. Война привела к резкому повышению цен на хлопок, что могло повлечь полную остановку хлопчатобумажного производства. В целях борьбы с дороговизной хлопка был создан Комитет для снабжения сырьем хлопчатобумажных фабрик (Комитет хлопкоснабжения). Во главе его поставили Гучкова — члена Совета министра торговли и промышленности, хорошо знающего текстильное производство. С необычайной энергией он начал организацию его деятельности. Было разработано и 7 июля 1915 года утверждено положение, согласно которому комитет устанавливал предельные цены на русский хлопок и неукоснительно следил за их исполнением при покупке, распределял запасы хлопка между предприятиями, обсуждал вопросы его реквизиции, наблюдал за перевозкой сырья на железных дорогах. Не дожидаясь утверждения окончательного состава комитета, глава комитета проводит 15 августа 1915 года его первое заседание; тогда была выработана предельная цена на хлопок в зависимости от места его производства. 21 августа Министерство торговли и промышленности утвердило разработанные комитетом предельные цены.

Николай Иванович считал, что главной задачей комитета являлась борьба с ненормальным повышением цен на хлопок. Тем не менее нару-

шение предельных цен приняло небывалые размеры; на заседании комитета 17 октября 1915 года отмечалось, что все дело по урегулированию снабжения фабрик хлопком может быть уничтожено. И 26 октября были утверждены «Правила удовлетворения ходатайств фабрик о содействии им при приобретении русского хлопка». Н.И. Гучков посылал своих сотрудников на фабрики для уточнения сведений о количестве перерабатываемого хлопка, веретен, времени работы в сутки. Это позволило 29 декабря 1915 года уточнить принцип распределения хлопка; в зависимости от сорта выработанной пряжи потребность на каждое веретено колебалась от 1,5 до 5,5 пуда хлопка в год.

Несмотря на то что железнодорожный транспорт работал только на обеспечение потребностей фронта, Н.И. Гучков сумел добиться от Министерства путей сообщения предоставления необходимого количества вагонов, которые затем распределялись между фабриками. Во избежание сбоя плана перевозок хлопка он предложил для контроля посылать агентов комитета на узловые железнодорожные станции. Благодаря всем предпринятым Комитетом хлопкоснабжения мерам, хлопчатобумажные фабрики были полностью обеспечены сырьем и могли бесперебойно работать в течение всего 1916 года.

Регулирование цен на хлопок никак не ограничивало спекуляцию готовой продукцией. Это заставило министра торговли и промышленности поручить комитету установить предельные цены также на пряжу и хлопчатобумажные ткани. В стране все сильнее ощущался мануфактурный голод. 29 июля 1916 года Н.И. Гучков направил председателю Совета министров А.Д. Протопопову аналитическую записку. Вопрос снабжения тыла тканями правительство считало очень серьезным, а потому поручило комитету и в первую очередь его руководителю разработку правил их продажи. Согласно разработанным комитетом правилам, все хлопчатобумажные изделия, выпускаемые для продажи населению, поступали в его исключительное распоряжение.

В связи с изменением функции комитета Н.И. Гучков разработал проект его нового положения, которое 11 января 1917 года было представлено в правительство и 26 января утверждено. Теперь комитет обязан был обеспечить полное регламентирование текстильного производства, начиная от цены на хлопок и заканчивая стоимостью готовой продукции, ее оптовой и розничной продажной ценой. Весь частнокапиталистический аппарат производства и распределения с помощью комитета ставился под известный государственный контроль. Глава комитета понимал, что для наведения порядка в деле торговли пряжей и хлопчатобумажными тканями необходимы постоянные ревизии фирм, торгующих этими изделиями. Однако для осуществления подобных мероприятий у него не было специалистов.

Николай Иванович, будучи с университетских времен сторонником конституционной монархии, с радостью встретил Февральскую революцию. Однако вскоре понял, что Временное правительство не в состоянии

«Необходимо создание правительства, сильного доверием общества...»

вывести страну из экономической разрухи. В этих условиях Комитет хлопкоснабжения, осуществлявший функции государственного регулирования всего текстильного производства, не мог успешно выполнять свои задачи. Не имея привычки работать кое-как, Н.И. Гучков в конце марта 1917 года сложил с себя полномочия его председателя. Оценивая деятельность комитета, необходимо отметить, что, благодаря организаторским и административным способностям Гучкова, было создано совершенно новое учреждение, осуществлявшее государственное регулирование всего хлопчатобумажного производства. Причем самые сложные вопросы Николай Иванович стремился решать на заседаниях коллегиально. На посту председателя Комитета хлопкоснабжения Николай Иванович показал себя деятелем общероссийского масштаба. И в мае 1917 года Временное правительство назначило его председателем Русско-американской торговой палаты. Однако этой работе помешал Октябрьский переворот 1917 года.

Все вышеизложенное позволяет проследить процесс превращения Н.И. Гучкова в человека, полностью посвятившего себя общественной деятельности. На предпринимательство времени не оставалось. Как уже было сказано, после смерти дяди Федора Ефимовича, возглавлявшего торговый дом «Ефим Гучков и сыновья», братья Гучковы продали его. Николай Иванович, будучи директором-распорядителем Товарищества чайной торговли «Петр Боткин и сыновья», не имел возможности им заниматься, в результате чего оно пришло в упадок и в 1916–1917 годах было ликвидировано. Паи Ново-Таволжанского свеклосахарного завода приобрел И.И. Терещенко.

Н.И. Гучков не признавал власть большевиков, установившуюся в стране в результате Октябрьского переворота, и жил надеждой, что этой власти скоро придет конец. Поэтому, узнав о выступлении белогвардейцев под руководством А.И. Деникина, он покинул Москву и отправился на Юг. А после поражения белой армии совсем покинул Россию и отправился на родину своей матери, во Францию. Его деятельность в эмиграции носила чисто гуманитарный характер. Он отошел от политики и не принимал участия в каких-либо антисоветских акциях: его дочери, Надежда и Любовь, оставались в Москве, и он понимал, что любой неверный шаг немедленно отразится на их судьбе.

В отличие от многих русских общественных деятелей и предпринимателей Николай Иванович не хранил деньги в зарубежных банках. Поэтому в эмиграции он вдруг оказался бедным человеком. Жил на пенсию, которую получал как кавалер ордена Почетного легиона. Как сын француженки он мог беспрепятственно получить французское подданство, но, надеясь вернуться в любимую Москву, этого не сделал. Хотя укрепление международного положения Советского Союза, особенно после его вхождения в Лигу Наций (1934), убеждало в бесперспективности этой надежды.

Человек глубоко верующий, Николай Иванович, как и его прадед Федор, все больше внимания уделял духовной деятельности, участвовал

в управлении приходом Сергиевского подворья и храма Александра Невского в Париже. Сознание невозможности возвращения на родину резко подорвало его здоровье. В конце декабря 1934 года он заболел воспалением легких и 6 января 1935 года умер. Похоронили его на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

Жизнь Н.И. Гучкова является примером бескорыстного служения родине и любимой Москве. Она была высоко оценена современниками, о чем свидетельствуют его многочисленные награды: ордена Св. Владимира 1-й, 2-й и 3-й степени; Св. Станислава 1-й, 2-й и 3-й степени; Св. Анны 3-й степени; бухарский орден Золотой Звезды; сербский орден Саввы 2-й степени; французский орден Почетного легиона; итальянский орден Короны и многочисленные памятные медали.

МИХАИЛ
МАРТЫНОВИЧ
АЛЕКСЕЕНКО

«Мы не так богаты, чтобы
исполнять фантазии
каждого министра...»

Михаил Мартынович Алексеенко родился в купеческой семье в Екатеринославе 5 октября 1848 года. В 1864 году он с золотой медалью окончил гимназию, а в 1868-м — юридический факультет Харьковского университета, где был оставлен на кафедре финансового права для подготовки к профессорскому званию. Впоследствии М.М. Алексеенко писал: «Особенно трудно положение начинающего ученого в сфере общественных наук. Его захватывает широкая область общественных явлений, связанных между собой, переплетающихся, затрагивающих горячие и волнующие вопросы и личной и общественной жизни. Работать приходится при неустановленных методах, над жизненным, ускользающим, трудно регистрируемым материалом. Томимый жгучей жаждой знания, начинающий ученый стремится к разрешению общих вопросов, проглатывает книгу за книгой, разбрасывается, переживает сладкие минуты, когда кругозор его расширяется и он как будто близко подходит к стоящим перед ним вопросам, то впадает в уныние, когда его угнетает сомнение в своих силах, в возможности прийти к положительным результатам. На первых работах нередко явственно отражается нервность молодых авторов, переживших муки творчества».

В 1869 году он опубликовал работу «Организация государственного хозяйничанья», в центре которой находились проблемы формирования государственного бюджета — меньше чем через сорок лет бюджет Российского государства будет утверждаться при непосредственном участии М.М. Алексеенко. В той работе высказаны мысли, которые впоследствии автор лишь развивает. Во-первых, государство есть особое организующее начало в экономике, что и определяет социальное значение этого института. Во-вторых, «буквальное исполнение бюджета не вяжется с его только предположительным характером». Поэтому цель бюджета — не высчитать досконально все цифры, а задать вектор движения страны.

С 1870 года приват-доцент М.М. Алексеенко начал читать лекции в Харьковском университете. Одним из его первых студентов стал будущий известный социолог и политик М.М. Ковалевский, который много лет спустя вспоминал: «Он (Алексеенко. — К.С.) был еще очень молод, преувеличивал нашу способность к усвоению цифровых данных и отводил,

к сожалению, чересчур много места в своем курсе истории русской налоговой системы со времен Московского царства».

В 1872 году М.М. Алексеенко защитил магистерскую диссертацию на тему «Государственный кредит. Очерк нарастания государственного долга в Англии и во Франции». С 1874 года молодой ученый стажировался за рубежом в университетах Австрии, Германии, Франции; в центре его научных интересов — проблемы налогов и кредитов. С 1876 года он занимал должность секретаря юридического факультета Харьковского университета. А в 1879 году издал книгу «Действующее законодательство о прямых налогах». Это и стало его докторской диссертацией, которую М.М. Алексеенко в том же году успешно защитил. Сразу же после защиты его избрали экстраординарным профессором по кафедре финансового права. Со следующего года он — уже ординарный профессор, в 1886–1891 годах — декан юридического факультета, а в 1890–1899-м — ректор Императорского Харьковского университета. Административному взлету сопутствовали и соответствующие звания. С 1895 года М.М. Алексеенко — почетный профессор, с 1899-го — тайный советник. В 1900 году в Харьковском университете была даже учреждена премия имени М.М. Алексеенко. Правда, сам он в это время находился уже не в Харькове, а в Казани, где в 1899–1901 годах занимал должность попечителя учебного округа.

За время руководства Харьковским университетом Михаил Мартынович организовал там библиотеку, обсерваторию, поликлинику, возобновил издание университетских «Записок». При этом вел и активную общественную жизнь: с 1880-х годов он был гласным Екатеринославского губернского и уездного земств; с 1880 года — почетным мировым судьей по Екатеринославскому уезду; в 1887–1892 годах — гласным Харьковской городской думы. В 1901–1906 годах Алексеенко вновь у стен родного университета, в качестве попечителя Харьковского учебного округа.

В 1906 году М.М. Алексеенко подал в отставку, с этого-то момента и начался новый взлет в его биографии. В III Государственной думе, куда его избрали в 1907 году от Екатеринославской губернии, он стал председателем бюджетной комиссии, сохраняя за собой этот пост вплоть до самой смерти в феврале 1917 года. И эту должность — председателя думской бюджетной комиссии — М.М. Алексеенко вознес на невероятную высоту.

Комиссионная деятельность в Государственной думе имела своеобразные формы. Депутаты опаздывали, уходили раньше положенного, а то и вообще пропускали заседания, так что нередко они просто отменялись за отсутствием кворума: министры, товарищи министров, директора департаментов расходились по домам, лишь потеряв время в Таврическом дворце. Сами заседания протекали хаотично; редко какой-нибудь депутат, кроме докладчиков, был знаком с текстом обсуждаемого законопроекта; суждения выносили исходя из общих соображений. Имевшийся поначалу кворум мог отсутствовать в момент голосования. Тогда начинался лихорадочный поиск депутатов, которые прогуливались по Таврическому

саду или же обедали в столовой. В то же время именно решение комиссии часто предопределяло позицию Думы в целом. Министр торговли и промышленности С.И. Тимашев вспоминал: «К весенней сессии пленум загромождался горами законопроектов, и тогда начиналось не столько обсуждение, а скорее штемпелевание заключений комиссий, за исключением некоторых вопросов, на которых члены Думы останавливали внимание своих собратьев по соображениям политическим, ввиду острых спорных интересов или какой-нибудь личной подкладки».

Бюджетная комиссия занимала особое положение. Ее в III Думе называли «генеральной», а членов комиссии — уважительно — «бюджетниками». Состав был в высшей степени представительный: в комиссию вошли почти все лидеры фракций. И неслучайно среди депутатов и министров ходило выражение: «Государственная дума — это Алексеенко». Как писал впоследствии известный экономист и зять М.М. Алексеенко П.П. Мигулин, «действительно, права нижней палаты были до такой степени урезаны, что единственно серьезным, чем могла Дума воздействовать на правительство, определять политическую жизнь страны, влиять на ход ее экономической жизни, являлся государственный бюджет».

Депутат III Думы, октябрист А.В. Еропкин вспоминал, что «бюджетная комиссия, в сущности, держала в своих руках все нити думской работы, ибо почти все законопроекты из других комиссий представлялись на заключение бюджетной по вопросу об ассигновании средств из казны. А какие законы и какие меры могли обойтись без ассигнования?» Причем речь шла и о «закончиках», о так называемой законодательной «вермишели». Хотя, конечно, в центре внимания комиссии оставалась государственная роспись, иными словами, бюджет. Таким образом, сфера ответственности была чрезвычайно широка: за год здесь просматривалось значительно больше законопроектов, чем в какой-либо другой комиссии Государственной думы. Например, в период деятельности Думы третьего созыва «бюджетникам» передали 567 законопроектов на рассмотрение и 1245 — на заключение. За это время они разработали 514 докладов; только 11 законопроектов остались нерассмотренными, и лишь относительно 23 не было дано заключения. Для сравнения: в финансовую комиссию внесено 372 законопроекта, в итоге сделано 307 докладов (при этом 47 законопроектов не рассмотрены вовсе). Правда, бюджетная комиссия была и самой многочисленной: в нее входило шестьдесят шесть депутатов. Однако обычно лишь треть принимала активное участие в работе.

Перед Михаилом Мартыновичем стояла нелегкая задача: наладить в этих условиях четкое функционирование комиссии. По словам А.В. Еропкина, «профессор Алексеенко был идеальным председателем и вынес всю эту работу (бюджетной комиссии. — КС.) на своих плечах. Я должен откровенно признать, что без профессора Алексеенко Государственная дума ни в каком случае не справилась бы с бюджетом, как, например, она не справилась с отчетами Государственного контроля, которые Дума ни разу не рассматривала».

В отличие от прочих думских комиссий, бюджетная заседала практически круглый год. Причем председатель отсутствовал в чрезвычайно редких случаях. Особенно интенсивной была работа с февраля по июнь каждого года. В июне заседания «бюджетников» начинались в 11 утра и продолжались, чаще всего без обеденного перерыва, до 2–3 часов ночи. Иногда члены комиссии расходились и в 5 часов утра. М.М. Алексеенко внимательно следил за ходом дискуссии, порой направляя ее, отмечал ошибки ораторов. Он стремился не допускать увеличения государственных расходов, так как это, по его мнению, могло привести к расстройству финансов России. Бюджет, в значительной мере под влиянием Алексеенко, качественно изменился: председатель комиссии требовал обоснования каждой цифры. При этом он упорно боролся и с излишней «скарденностью» Министерства финансов. С его точки зрения, в бюджете должны быть четко определены приоритеты, которые предполагали особое, целевое финансирование образования, путей сообщений, объектов промышленности.

По мнению депутата Думы князя С.П. Мансырева, восьмикратное увеличение бюджета Министерства народного просвещения за последнее десятилетие существования Российской империи — прямая заслуга М.М. Алексеенко. Помимо этого, он настаивал, чтобы финансовая политика государства имела свою программу долгосрочного развития; чтобы она стала органичной частью общего правительственного курса. «Все наше финансовое благополучие, основанное на хозяйственном благополучии, вызвано одной центральной крупной причиной — урожаем в связи с очень благоприятными конъюнктурами, т.е. с высокой ценой и очень удачными условиями времени, когда этот урожай и вымолачивался, и реализовывался, — говорил М.М. Алексеенко на заседании Думы 12 февраля 1910 года. — Вот это обстоятельство и надо учитывать. Надо иметь в виду: причина, которая действует временно, производит и временный эффект, и твердо настаивать, что этот подъем есть подъем, который надо использовать, но ни в каком случае не полагать, что этот подъем станет для нас, уже без всякой заботы с нашей стороны, нашим постоянным благополучием».

С.И. Тимашев отмечал, что министры, посещая заседания бюджетной комиссии, «являлись как бы на экзамен или, скорее, на суд; в последовательном порядке все ведомства, одно за другим». Причем обсуждение бюджета того или иного ведомства не ограничивалось пересчетом цифр, а всякий раз перетекало в дискуссию о программе деятельности министра, о перспективах развития вверенной ему отрасли. Как вспоминали депутаты Думы, М.М. Алексеенко был в высшей степени любезен с министрами, но стоило кому-нибудь из них проявить поверхностное отношение к делу, как председатель «моментально его осаживал». Например, такого рода «экзамен» предстоял министру торговли и промышленности И.П. Шипову, и тот его явно провалил. М.М. Алексеенко не скрывал своего резкого неприятия бездумного расходования государственных средств. Так, в октябре 1913 года он дал интервью корреспонденту газет «Русское

«Мы не так богаты, чтобы исполнять фантазии каждого министра...»

солово» и «Речь» Неманову, в ходе которого прямо заявил, что «кредиты на большую судостроительную программу в Государственной думе ни при каких условиях не пройдут. И добавил: «„Кораблики“ нужны только морскому министру, а мы не так богаты, чтобы исполнять фантазии каждого министра». У М.М. Алексеенко установились прочные отношения с министром финансов (впоследствии — премьером) В.Н. Коковцовым. По словам Н.В. Савича, «в психике обоих было нечто общее: большая осторожность, расчетливость, любовь к законности». При этом, продолжал Савич, они не любили друг друга, «но очень ценили корректность установившихся между ними отношений».

М.М. Алексеенко, несомненно, принадлежал к числу выдающихся думских ораторов. «Каждое выступление в Думе профессора Алексеенко было настоящим триумфом», — вспоминал А.В. Еропкин. Причем выступал он крайне редко, обычно один раз в год, при представлении государственной сметы расходов и доходов. Его чрезвычайно длинные речи продолжались по несколько часов. И тем не менее зал пленарных заседаний был переполнен, в Таврическом дворце стояла тишина — все слушали Алексеенко. Это исключительный случай, так как «лучшие ораторы могли занимать внимание Думы не более получаса, и в зале начинался глухой гул — прямой признак, что надо кончать речь». Выступления М.М. Алексеенко провозжали бурными аплодисментами как справа, так и слева. Его доклады имели значение еще и потому, что бюджетная комиссия не ограничивалась формальным финансовым анализом представленного бюджета. «Она старалась вникать в самую сущность деятельности соответствующего министерства, указывала на дефекты, которые, по ее мнению, там существуют, на изменения, кои ей желательны». Для каждого ведомства формулировались пожелания, призванные определять порядок его работы.

Положение М.М. Алексеенко в Думе было незыблемым. Когда он, уставший от постоянных трений в комиссии, решил уйти с поста председателя, фракция октябристов упросила его остаться, так как все понимали: без него депутаты с бюджетом не справятся. В марте 1911 года, после отставки А.И. Гучкова с поста председателя Государственной думы, многие октябристы считали, что нашли в лице М.М. Алексеенко достойную замену. «Инициаторы этой кандидатуры полагают, — доносил в правительство заведующий Министерским павильоном Таврического дворца Л.К. Куманин, — что вокруг профессора Алексеенко могли бы объединиться все фракции Думы, ибо всем им известно, что М.М. Алексеенко никогда в своей председательской деятельности не сходил с пути строго делового обсуждения и никогда не отступал с формальных велений закона». Однако сам Алексеенко от новой должности упорно отказывался. Его упрашивали занять пост председателя Думы хотя бы до Пасхи. «Что я вам, красное яичко, что ли?» — шутил Михаил Мартынович. И октябристам ничего не осталось, как сойтись на кандидатуре М.В. Родзянко.

Вообще М.М. Алексеенко присоединился к октябристам лишь в самой Государственной думе. Да и то, объяснял П.П. Мигулин, «в сущно-

сти, М.М. Алексеенко был человеком беспартийным, чем и объясняется исключительное отношение к нему со стороны всех наших парламентских партий». Он почти не выступал по вопросам общеполитического характера, ограничиваясь проблемами бюджета. В IV Государственной думе М.М. Алексеенко категорически отказался возглавить фракцию октябристов, что, по мнению многих, могло бы уберечь самую многочисленную депутатскую группу от неизбежного распада. При этом, когда раскол стал реальностью, он занял особую позицию. М.М. Алексеенко первый, 29 ноября 1913 года, вышел из состава фракции: тогда большинство признало для депутатов-октябристов обязательными постановления партийной конференции, согласно которым депутаты должны были стать «марионетками» в руках ЦК партии. И на следующий день, справившись с эмоциями, ко всеобщему удивлению, выступил перед левыми октябристами с предложением повременить с решительными действиями. «Как реальный политик, тщательно взвесив в течение минувшей ночи все за и против, он с математической точностью выяснил, что открытый раскол в настоящий момент является для фракции несвоевременным. Совершенно неизвестно, сколько в данный момент левых и сколько правых октябристов. Не приведет ли слишком поспешное выделение в самостоятельную группу лишь к тому, что в группе этой окажется слишком мало членов, а правые октябристы, теперь все-таки признающие открыто моральный авторитет левого крыла своей фракции, тогда ясно восчувствуют свою силу и решат, что и они умеют „бюджеты провалить“. Открытый раскол силою вещей кинет центр и правое крыло октябристов в объятия националистов, создаст сильный правый центр и в конечном счете лишь послужит на пользу реакции». М.М. Алексеенко предложил не драматизировать ситуацию и не переоценивать декларацию, не подкрепленную реальными действиями. Лишь будущие голосования октябристского большинства в январе — феврале 1914 года должны были стать сигналом для действий левого крыла фракции. Речь, очевидно, произвела сильное впечатление. Настроение слушающих качнулось в обратную сторону, и среди левых октябристов явно поубавилось количество сторонников разрыва с правым крылом. Однако последующий мучительный поиск компромиссов не принес плодов. Распад фракции был неизбежен.

Мало вовлеченный в партийную жизнь, М.М. Алексеенко всегда придерживался «собственной программы». Например, он был принципиальным сторонником децентрализации политико-административной системы России, настаивая при этом на расширении сферы компетенции органов местного самоуправления: «Ведь расцвет местной жизни есть основа силы государства, местное самоуправление есть школа для государственного управления». М.М. Алексеенко считал необходимым признание за государством широкой социальной ответственности. Косвенное налогообложение тяжким бременем падает на мелкого плательщика, рассуждал он, следовательно, и государственные расходы должны прежде всего идти на удовлетворение его нужд. Во имя возможности проведе-

«Мы не так богаты, чтобы исполнять фантазии каждого министра...»

ния широких социальных программ председатель бюджетной комиссии считал нужным сохранить государственные монополии и казенные железные дороги. «Вам даны хорошие финансы — дайте хорошую политику», — требовал Алексеенко от правительства, перефразируя слова одного французского министра.

Слабое сердце М.М. Алексеенко требовало отдыха и спокойствия. Врачи настаивали, чтобы он прекратил интенсивно работать хотя бы временно. Однако все оказалось напрасно: 18 февраля 1917 года Михаила Мартыновича не стало. На следующий день, по случаю траура, заседания Государственной думы приостановили. «На панихиде пристава Думы стоят на дежурстве, — записал в своем дневнике начальник отдела Общего собрания Я.В. Глинка. — Родзянко меня спрашивает: „А как вы будете хоронить, если умрет председатель?“ Я отвечаю, что большего парада трудно сделать».

20 февраля 1917 года председатель Думы М.В. Родзянко предложил повесить портрет М.М. Алексеенко в зале заседаний бюджетной комиссии в знак признания огромных заслуг ее бывшего председателя. Эта мысль вызвала всеобщее одобрение. До бури, потрясшей основы Империи, оставались считанные дни...

ВАСИЛИЙ
МИХАЙЛОВИЧ
ПЕТРОВО-СОЛОВОВО
«Нет специальной русской
политической свободы,
как нет специального
русского электричества...»

Василий Михайлович Петрово-Соловово родился 27 декабря 1850 года в Петербурге, в богатой дворянской семье. В одной только Тамбовской губернии семейные владения превышали 40 000 десятин земли, а еще имелись дома в Москве и Петербурге. Василий Михайлович был настоящим баринoм; он регулярно наезжал в свое имение Андриановка, где щедро одаривал слуг, устраивал катания на лошадях, кормил местных блинами с медовухой. Однажды на Масленицу, когда еще лежал снег, он приказал дорожки для лошадей насыпать сахаром... Здесь стоит добавить всего лишь одну деталь, чтобы посмотреть на этого русского помещика совсем с другой стороны. В.М. Петрово-Соловово был убежденным либералом, активным участником освободительного движения и принципиальным противником самодержавной власти.

Среднее образование он получил в Карлсруэ, в Германии. В 1874 году завершил курс обучения на историко-филологическом факультете Московского университета. А затем началось общественное служение в родной Тамбовской губернии. С 1880 года он почетный мировой судья Тамбовского уезда; в 1887–1908 годах — тамбовский уездный предводитель дворянства. С 1895 года участвует во всероссийских земских сельскохозяйственных съездах. Но все эти биографические подробности не составят полного образа В.М. Петрово-Соловово, если не учесть некоторые факты из его семейной жизни.

Василий Михайлович был женат на дочери московского городского головы князя А.А. Щербатова Софье. Мужем ее сестры, Марии Щербатовой, стал предводитель дворянства Темниковского уезда Тамбовской губернии Ю.А. Новосильцев — известный либерал, организатор земских съездов. А Вера Щербатова, младшая сестра Софьи и Марии, вышла замуж за философа и либерального общественного деятеля князя Е.Н. Трубецкого. Так породнились те, кому в скором времени суждено будет задавать тон в политической жизни не только Тамбовской губернии, но и всей России. Через новых родственников В.М. Петрово-Соловово сблизился с кругом блестящего русского мыслителя (тоже родом с Тамбовщины) — Б.Н. Чичерина.

В 1890-е годы В.М. Петрово-Соловово был одним из лидеров либерального крыла Тамбовского земского собрания. В этом качестве он сблизился с профессором В.И. Вернадским, земским гласным Тамбовской губернии. Благодаря их переписке вырисовывается своеобразный интеллектуальный портрет Петрово-Соловово. «Задача благомыслящих и интеллигентных людей для меня ясна, — писал он 5 апреля 1895 года. — Она состоит в том, чтобы всеми дозволенными средствами по мере сил направить живую силу в законное русло созидательного прогрессивного течения. Увлечение и слишком быстрые скачки, по моему убеждению, так же вредны, как застой или реакция. Не следует забывать, что мы имеем дело с первыми робкими шагами нарождающегося народного сознания». Иными словами, необходимо способствовать подвижкам в народном правосознании, что, в свою очередь, делало бы изменения в государственной жизни России неизбежными. Этот процесс должен быть целенаправленным и поступательным, а не хаотичным и торопливым.

В письме от 2 января 1896 года читаем: «Носятся слухи, что отмена телесных наказаний будет объявлена на коронации (Николая II. — К.С.), но, по моему убеждению, это не должно остановить ходатайства (земских собраний. — К.С.). Скорее наоборот: весьма важно, чтобы отмена розог явилась не как милость по случаю коронации, но как необходимое исполнение требования общества». Василий Михайлович выступает в данном случае за организацию общественного мнения, которое должно стать инструментом давления на власть. И в последующих письмах развивает свою мысль о технологии формирования консолидированной общественной позиции по тому или иному конкретному вопросу. 17 мая 1896 года он пишет: «Важно, чтобы ходатайство шло от многих губерний и вытекало из одних общих принципиальных оснований. На этой основной теме губерния может делать свои вариации, но важно, чтобы тема была одна, этим выразится общественное мнение». Иначе говоря, чрезвычайно важно координировать деятельность земств и дворянских собраний, чтобы не потерять эффективный механизм формирования общественного мнения. В сущности, эта идея и легла в основание знаменитого кружка «Беседа».

В.М. Петрово-Соловово стал членом «Беседы» с самого ее основания — с 17 ноября 1899 года, когда они вместе с братьями Долгоруковыми, Д.И. Шаховским, Д.А. Олсуфьевым, П.С. Шереметевым и Ю.А. Новосильцевым собрались в московском особняке Долгоруковых в Малом Знаменском переулке. Как вспоминал И.В. Гессен, «заседания происходили в великолепном старинном особняке... в одной из комнат нижнего, довольно мрачного этажа, в которой когда-то Карамзин писал „Историю Государства Российского“». Кружок объединял друзей и знакомых, являвшихся в то же время лидерами земского движения — председателями земских управ и предводителями дворянства. Изначально они отстаивали идею самоуправления в общественной жизни России. В ходе заседаний «Беседы» с неизбежностью возникали также вопросы общеполитического характера, и люди совершенно разных взглядов и мировоззрений находили

программные и идеологические компромиссы. Так завязывались контакты между общественными деятелями из разных уголков России, так готовилось соглашение для политических программ будущих партий — так из органики жизни, из ее бытовых и естественных форм вырастали всероссийские партии. Будучи одним из лидеров «Беседы», В.М. Петрово-Соловово принял активное участие в этом процессе. Причем часто выступал как представитель радикального крыла этого кружка.

8 января 1902 года в ходе дискуссии «собеседников» Василий Михайлович утверждал, что объединить их должна «общая идея»: «Такой идеей может быть только представительство и, следовательно, ограничение самодержавия. Теперь ясно, что при самодержавии никакая самостоятельность земств немыслима, почему „Беседе“ и предстоит высказаться, солидарна ли она с конституционалистами или нет». 22 августа 1902 года, во время обсуждения доклада Н.Н. Львова, В.М. Петрово-Соловово предложил в качестве компромисса «вовсе не касаться вопроса о самодержавии»: «Надо стоять за свободу совести, за свободу личности, за свободу печати, за развитие самоуправления. Для достижения этого необходимо представительство общества в законодательных учреждениях. Все это необходимо, а какие последствия от того произойдут в государственном строе — вопрос второстепенный, которого лучше теперь и не касаться». Вместе с тем он обозначил, что путь к широким реформам лежит через общественное мнение: «Общество менее подготовлено к восприятию реформ, чем думает Н.Н. Львов. В обществе есть только смутное недовольство существующим порядком, только немногие доросли до ясного сознания необходимости активного протеста, хотя бы и в легальной лишь форме. Главный недостаток нашего общества — это его апатичность. Необходимо вывести общество из апатичного состояния, для этого необходимо пропаганда известных взглядов».

На заседании 25 августа 1903 года В.М. Петрово-Соловово, вопреки мнениям многих «собеседников», настаивал: «Нам нельзя закрывать глаза на то, что мы есть, мы — партия, и партия политическая. Первое условие жизненности всякой организации — солидарность убеждений ее членов, солидарность, идущая дальше согласия в будничных, школьных, медицинских, ветеринарных вопросах, касающаяся самой конечной цели. Поэтому расширение состава „Беседы“... должно быть поставлено под углом — согласия с нами в нашей конечной цели — борьба с самодержавием». Эта точка зрения вызвала неприятие многих присутствующих (в частности, Н.Н. Львова и князя Пав.Д. Долгорукова): они опасались за хрупкое единство кружка, объединявшего очень непохожих друг на друга земских деятелей. Но Василий Михайлович продолжал отстаивать свою позицию: «Нельзя вести борьбу и не знать, с кем ее ведешь, не отдавать себе отчета, боремся ли мы с безобразием урядника или исправника, земского начальника или губернатора, с безобразием этих представителей администрации или с безобразием самого строя. Ведь административный произвол — принадлежность не царствования Николая II, не царствования того или

«Нет специальной русской политической свободы, как нет специального русского электричества...»

другого монарха: личность монарха не играет тут существенной роли. Административный произвол — необходимая при настоящих, значительно более сложных, чем раньше, условиях жизни, особенно в таком обширном государстве, как Россия, необходимая принадлежность самодержавного строя. Или вы хотите самодержавия — тогда, значит, вы хотите цензуры, предельного обложения (земства. — К.С.), земских начальников — одним словом, произвола, или... вы не хотите ни того, ни другого. Держится самодержавие, главным образом, тем обаянием, которое оно умело себе создать, которым оно пользуется в массах и даже в культурной среде». Следовательно, необходимо воздействовать на общественное мнение, чтобы поколебать авторитет самодержавной власти. И это должно стать первым шагом к строительству конституционного государства. Причем В.М. Петрово-Соловово был убежден в поступательном движении России к новым принципам политической организации, явным признаком которого считал укрепление либерального течения общественной мысли. «Конституционное движение у нас начинает все более складываться в определенные формы, — писал он редактору журнала „Освобождение“ П.Б. Струве. — Устраиваются съезды, на которых вырабатываются программы... Это признак времени, либерального влияния, захватившего... такие сферы, которые, казалось бы, едва ли ему поддадутся».

На заседании «Беседы» 31 августа 1904 года В.М. Петрово-Соловово вновь разошелся с большинством присутствующих. Он высказался против разворачивания антиправительственной кампании в условиях Русско-японской войны: «Победа наша вполне возможна и, безусловно, необходима: надо завоевать Маньчжурию, чтобы не допустить японцев занять первенствующее положение на Дальнем Востоке, и, во всяком случае, нельзя кончать войну поражением русского оружия, и невозможно также во время военных действий делать общественные манифестации». Здесь проявилось свойственное будущим октябристам признание безусловной ценности общегосударственных интересов. При этом Петрово-Соловово был убежден, что политический кризис в России, имеющий глубокие корни, с неизбежностью привел бы самодержавие к краху уже после окончания войны. Активно вовлеченный в общественную жизнь В.М. Петрово-Соловово принял участие в съезде Союза земцев-конституционалистов 9–10 июля 1905 года. Его точка зрения явно диссонировала с тем, что говорило на съезде большинство. Будучи безусловным сторонником коренного обновления государственного строя России, он тем не менее не считал, что даже такая цель оправдывает любую тактику. В частности, эта позиция сказалась на его отношении к возможности присоединения Союза земцев-конституционалистов к более радикальному Союзу союзов: «Я согласен, что формально каждый союз имеет, конечно, право не подчиняться решениям Союза Союзов, но ведь важно не формальное, а принципиальное согласие с той революционной тактикой, которую, по-видимому, проводит Союз Союзов. Прочитанная прокламация гласит, что мы считаем возможным в борьбе с правительством, именуемым разбойничьей шай-

кой, все средства. Даже более того, там рекомендуется испытывать все средства борьбы, следовательно, и яд, и кинжал, и бомбу. Раз мы после подобного вполне определенного заявления Союза Союзов вступим в его состав, то тем самым мы выразим наше принципиальное согласие с его взглядами, а иначе нас могут потом упрекать, и это может лишь увеличить раскол и рознь. Если же мы не согласны следовать указаниям Союза Союзов, то зачем нам вступать в него. Я... полагаю для себя пределом акты нравственного воздействия и на физическое насилие не согласен, а потому считаю, что нам не следует присоединяться к такой революционной организации, которой, по-видимому, является Союз Союзов».

В 1905 году В.М. Петрово-Соловово возглавил тамбовское отделение «Союза 17 октября», а с 1906-го был уже членом Московского ЦК партии октябристов. «Нам предстоит задача точно проверить курс нашего государственного корабля. Заботливо оберегая его от когтей революционной Сциллы, не ведет ли его наш кормчий слишком близко к пасти реакционной Харибды?» Таким вопросом задавался Василий Михайлович в полемической брошюре «„Союз 17 октября“ и его критики» (1906). Его сочинения, посвященные программе октябристов, распространялись большими тиражами по всей России. Автор доказывал в них, что Россия должна развиваться на основе исторических традиций, но при этом в соответствии с европейскими тенденциями; что самодержавие сыграло колоссальную роль в становлении российской государственности, но к началу XX века исчерпало свой творческий потенциал. «Как бы ни изошрялись защитники неограниченной царской власти, но им никогда не удастся отыскать ту формулу, посредством которой можно было бы примирить непримиримое. Истинное единение между монархом и народом может произойти только на почве политической свободы, из которой органически вытекают все остальные свободы: слова, печати, собраний, союзов, а также гражданская и уголовная ответственность высших и низших чиновников перед общим и для всех равным судом».

В 1907 году Василий Михайлович был избран депутатом III Государственной думы от Тамбовской губернии. Ему доверили пост товарища председателя земельной комиссии, но по причине болезни значительное время он вынужден был проводить в Ялте. Тем не менее авторитет В.М. Петрово-Соловово в Думе был очень велик: его именовали «одним из благороднейших членов фракции „Союза 17 октября“». Современники вспоминали: «Выступая с речами по отдельным вопросам, он всегда проявлял себя человеком широкой терпимости, с уважением относящимся к чужим убеждениям, истинным поборником расширения прав народного представительства».

Выступая с позиций убежденного конституционалиста, В.М. Петрово-Соловово не считал возможным идти на какие-либо компромиссы по принципиальным вопросам с правомонархическими силами. На заседании Государственной думы 20 ноября 1907 года он сказал: «Мы знаем, господа, что законодательная власть всецело принадлежит нам, т.е. русскому парламен-

«Нет специальной русской политической свободы, как нет специального русского электричества...»

ту, понимая под этим нижнюю, верхнюю палаты и государя императора». И тогда же он смело вступил в полемику с председателем Совета министров П.А. Столыпиным, намекавшим на невозможность реализации западноевропейских конституционных норм в России. «Есть же, господа, идеи, которые заложены в душе как отдельного человека, так и целого народа. К этим идеям принадлежит идея политической свободы. Само собой разумеется, что этнографические, экономические, географические и другие условия нашей страны придают несколько отличный от других народностей характер нашему конституционному строю. Но самая сущность этого строя — политическая свобода, обязательная в равной мере и для монарха, и для народного представительства, — одна и та же. Нет специальной русской политической свободы, как нет специального русского электричества. Поэтому я позволю себе назвать несколько славянофильской нотку, которая прозвучала во второй речи председателя Совета министров и которая вызвала одобрение на правой стороне этого зала, но она не вызывает во мне сочувствия». И в конце выступления вновь прозвучало «кредо» конституционалиста Петрово-Соловова: «Я страшно желал бы, чтобы слово „русская конституция“ сделалось таким обыденным словом, чтобы оно перестало вызывать как негодование справа, так и одобрение слева». Иными словами, конституция должна стать бытом и нормой общественно-политической жизни России. «Чувствовалось, что человек говорил о том, о чем думал давно, что составляло мечту его сознательной жизни».

Несмотря на мучившие его болезни, Василий Михайлович оставался действующим политиком. Он жестко оппонировал политике блокирования с умеренно правыми, которую проводил лидер октябристов А.И. Гучков. «Если не нужно дразнить умеренно правых, то не нужно идти у них на поводу. Всякая партия должна иметь свою физиономию», — говорил он Гучкову в мае 1908 года. В самом конце жизни В.М. Петрово-Соловова убеждал октябристов провести закон об отмене смертной казни. По его мнению, этот законопроект должен был стать «знаменем» молодой партии.

В июне 1908 года по столице распространилась эпидемия оспы. В.М. Петрово-Соловова решил на всякий случай привиться. В середине июня врач осмотрел его и констатировал, что прививка прошла успешно. Правда, пациент жаловался еще и на боли в животе. Ему выписали лекарства, однако с каждым днем боли усиливались. Требовалась операция, но больной от нее категорически отказывался, пока не будет оповещена его жена, которая жила в Тамбовской губернии. Вечером 22 июня в Марининской больнице Санкт-Петербурга Василий Михайлович скончался. На следующий день состоялась панихида с участием всего президиума Думы, присутствовали более двухсот депутатов — представителей большинства фракций. Во время траурной церемонии были возложены венки от фракции октябристов, польского коло. Оппоненты-кадеты приготовили особый венок, надпись на котором гласила: «Истинному конституционалисту». 25 июня 1908 года В.М. Петрово-Соловова похоронили в Москве, на кладбище Донского монастыря.

СЕРГЕЙ
ИЛИОДОРОВИЧ
ШИДЛОВСКИЙ

«Патриархальный быт
прошел, пора сменить его
бытом правовым...»

Сергей Илиодорович Шидловский родился 16 марта 1861 года. Сын воронежского губернского предводителя И.И. Шидловского, он был владельцем (вместе с братом и сестрами) 20 000 десятин земли в Воронежской и Екатеринославской губерниях. Образование получил в Александровском лицее, который окончил в 1880 году. Женился на дочери сенатора и статс-секретаря А.А. Сабурова. И как бы ни сопротивлялся сам Сергей Илиодорович, его служебная карьера развивалась своим чередом. С 1880-го он — на службе в Министерстве внутренних дел; много путешествовал по Европе, Турции, Египту. И наконец осел в собственном имении в Воронежской губернии.

Чиновником особых поручений при министерстве Шидловский стал в 1891 году. В 1897-м, во время первой Всеобщей переписи населения, руководил деятельностью переписных учреждений Харьковской и Полтавской губерний. В 1900-м, по приглашению директора банка А.А. Ливена, занял пост члена Совета Крестьянского поземельного банка; руководил банковскими операциями по покупкам земли, совершая разъезды по всей России. По его инициативе банк начал использовать тактику самостоятельного поиска потенциальных покупателей и индивидуальной работы с ними.

Уже в те годы Сергей Илиодорович пришел к мысли о необходимости коренных изменений в сфере земельного законодательства. Он отмечал, что государство намеренно консервирует архаичную сословную систему, ставящую крестьянина за рамки общепринятых норм права. При этом изменение юридического статуса крестьянина было тесным образом связано с трансформацией института собственности в России: «Мне когда-то говорил один сведущий цивилист, что нашим законом предусмотрено одиннадцать случаев присвоения чужой собственности, которые еще не являются кражей, как то: потрава, порубка, срывание плодов и т.п. Можно ли ожидать надлежащего уважения к чужой собственности или, во всяком случае, отношения, подобного западноевропейскому, когда самим законом установлено снисходительное отношение к его нарушению». Шидловский принимал активное участие в работе банка до смерти А.А. Ливена в 1902 году. Преемник Ливена В.В. Мусин-Пушкин инициативу

своим сотрудникам не предоставлял, и выполнять его поручения стало Сергею Илиодоровичу в тягость. Зато он подключился к работе Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности: участвовал в составлении общего свода трудов, писал всеподданнейший доклад С.Ю. Витте с изложением результатов деятельности Особого совещания.

В октябре 1905 года С.И. Шидловский, по приглашению главноуправляющего землеустройством и земледелием П.Х. Шванебаха, занял пост директора Департамента земледелия. «Время тогда было самое скверное. Заниматься текущим делом было совершенно невозможно, царил революционный возбуждение, нам, директорам департаментов, было приказано являться на службу в 8 часов утра, не для того, чтобы начинать работу, а для того, чтобы быть на месте, если в Министерство ворвется уличная толпа, чего ожидали ежедневно». Сотрудники требовали от начальства разрешения носить огнестрельное оружие. Такую петицию подали и Шидловскому: «Они очень сконфузились, когда я самым искренним образом по этому поводу расхохотался, представив себе некоторых из своих чиновников, ходящих с револьвером в кармане, и сказал им, что если разрешить их ходатайство, то ни одной секунды нельзя будет ручаться за безопасность их жизни в Департаменте, наверное, кто-нибудь кого-нибудь застрелит».

В эти месяцы полной дезорганизации власти руководителю департамента часто приходилось брать ответственность и принимать решения на свой страх и риск. Так, он распорядился выдать из казенных средств 5000 рублей истопникам Ботанического сада, чтобы предотвратить возможность забастовки. Это считалось серьезным правонарушением, так как без санкции министра, а иногда и самого императора он не мог и гвоздя купить. Вместе с тем проекты циркулярных писем губернаторам буквально тюками громоздились на столе Шидловского — и на всех должна была стоять его подпись. Экономя свое время, он начал подписывать лишь один экземпляр таких циркуляров, рискуя создать прецедент, который впоследствии определил порядок работы в Главном управлении земледелия. Но все-таки неблагоприятная бюрократическая работа тяготила директора. К тому же он стремился быть поближе к своему имению: вокруг полыхали усадьбы соседей, и только нанятая вооруженная охрана спасла его земли от разграбления.

Весной 1906 года предстояли выборы в I Государственную думу, и С.И. Шидловский подал в отставку. Ему удалось попасть в выборщики от Воронежской губернии, но депутатом он не стал. Избирательная кампания во II Думу принесла еще большее разочарование: голосующие не доверили ему места даже в губернском избирательном собрании. Наконец, с третьего раза, осенью 1907-го Шидловский стал депутатом Государственной думы. По его воспоминаниям, партийные группировки в Воронежской губернии обладали чрезвычайно малым весом. Ключевую роль в организации сыграли земцы. Поначалу они всячески искали соглашения с выборщиками-крестьянами, но тех раздирали внутренние противоре-

чия. В итоге состоялся альянс умеренных земцев-октябристов и духовенства, что и позволило Сергею Илиодоровичу избраться в III и IV Думы.

В III Думе он входил сразу в шесть комиссий, но все же большую часть времени отдавал комиссии по земельным вопросам. С 1908 года стал товарищем (заместителем) председателя, а с 1911-го — председателем земельной комиссии. Все лето 1908 года Шидловский работал над подготовкой доклада об инициированной правительством П.А. Столыпина земельной реформе. «Работа эта доказывает, — писал он Н.И. Гучкову 25 августа, — что закон есть возвращение к принципам положения 1861 года и отказ от реакционной и, прямо скажу, крепостнической политики Толстого, Дурново, Плеве и К^о». В основу доклада легла мысль о необходимости утверждения принципа частной собственности в правовой жизни Российской империи. При этом понятие «собственность» должно было интерпретироваться не в согласии с канонами римского права, а в контексте современных европейских представлений, когда собственность служит не только ее владельцу, но и всему обществу. «Государство... бесспорно, вправе налагать целый ряд ограничений на использование собственником своих прав собственности, при которых говорить уже о священности и неприкосновенности права собственности, как в былые времена, не приходится. Можно ли, например, теперь представить себе, чтобы частные лица или компании таковых, обладая колоссальнейшим капиталом, начали скупать городские кварталы, сносить дома и устраивать вместо них пастбища для скота. Пример этот, разумеется, совершенно фантастический, но теоретически возможный, и, конечно, ничего подобного никогда государство не допустит совершенно основательно, несмотря на полное признание им права собственности».

На встрече с избирателями Петербурга 15 марта 1909 года С.И. Шидловский предложил вписать законопроект в значительно более широкий контекст формирования правового пространства Российской империи: «Жить возвратом к прошлому... это значит искать невозможного. Патриархальный быт прошел, пора сменить его бытом правовым. Наше несчастье в том, что мы еще вынуждены жить остатками исчезающего патриархального быта, а правовой все еще не вошел в нашу жизнь. И отсюда брожение. Все в жизни идет вперед, все прогрессирует, а звать теперь, в XX веке, к быту XVII века — в этом громадная ошибка правых». По мнению политика, правовое разрешение аграрного вопроса исключает возможность какой-либо национализации. Поэтому принудительное отчуждение, отстаиваемое кадетами, с его точки зрения, абсолютно не сочетается с общей логикой лидеров Конституционно-демократической партии, которые в данном случае заигрывали со стихийным социализмом русской деревни. Аналогичную политику начиная с 1880-х годов проводило и правительство, чью линию поведения по отношению к крестьянам можно охарактеризовать девизом: «Я дам, я все вам дам». Шидловский настаивал, что это заметно подрывало основы правопорядка в России. При этом формирование полноценного института собственности, по его

«Патриархальный быт прошел, пора сменить его бытом правовым...»

мнению, следовало увязать с правовой эмансипацией крестьян. Бесправие крестьянина по отношению к государству порождало социальный инфантилизм, который был сродни отношению крепостного к своему помещику. «Являлся некогда крепостной человек к своему барину и говорил: „Ты мой собственник, и ты должен давать мне все, чего мне недостает“. Но разве теперь отношение крестьян к правительственной власти иное? Я позволю себе формулировать отношение народа к государству так: „Я подати плачу, рекрутов даю, за это государство давай мне, чего у меня нет“. Это, несомненно, отрывка крепостного права, и правительство не пыталось разрушить такой пережиток старого времени, несовместимый с началами гражданственности. С момента раскрепощения, с 61 года, началась политика благотворительно-опекающая».

Письменный текст доклада земельной комиссии, предварительно распространявшийся среди депутатов, заметно отличался от устного: основные аргументы С.И. Шидловский припас для выступления с кафедры, дабы не давать оппонентам лишних козырей и времени для подготовки. Эта тактика себя оправдала, и выступление окончилось полным триумфом. С думской трибуны Шидловский неизменно отстаивал принцип индивидуальной свободы, предполагавший, в том числе, и ставку на сильных и лучших. В ходе прений по закону о землеустройстве он убеждал Думу: «Прогресс идет от меньшинства к большинству, а не наоборот. Во всяких экономических приемах, во всяких технических приемах большинство всегда косо, и всегда весь прогресс идет от тех отдельных лиц, которые в этом прокладывают новые пути, и за ними следует потом большинство, слепо следует и очень быстро».

С октября 1909 по октябрь 1910 года С.И. Шидловский был товарищем председателя III Думы. На этом посту ему везло: он очень редко оказывался в эпицентре серьезных конфликтов, которые вспыхивали во время пленарных заседаний. Позднее вспомнился лишь эпизод с выступлением кадета Ф.И. Родичева, всколыхнувшим всю Думу. «Отдельные лица бросались с угрожающими жестами к председательской кафедре, а галдеж достиг невероятных размеров. Я воспользовался несколькими секундами сравнительного затишья и заявил, что собрание криком не может заставить меня изменить мое мнение». Председательствующий прервал заседание, и после перерыва Родичев спокойно закончил свою речь.

В IV Думе Шидловский оставался председателем земельной комиссии, одновременно состоя членом комиссий для составления проекта всеподданнейшего адреса, о печати, бюджетной и др. В этой Думе он заявил о себе как о безусловном лидере либерального крыла октябристской фракции. На конференции «Союза 17 октября» 9 ноября 1913 года он утверждал, что «октябристы сложились из разных элементов, борясь с революцией»: «Теперь идти с правительством нельзя, потому что оно вызывает революцию. В области управления — сплошной произвол. Нужно поэтому использовать все способы легальной борьбы, отвергая

сметные ассигнования, нужные правительственной власти». Не находя поддержки у центра и правого крыла фракции, Шидловский вышел из ее состава и стал одним из лидеров особой «Группы Союза 17 октября». По донесениям заведующего Министерским павильоном Таврического дворца Л.К. Куманина, на заседании левых октябристов 30 ноября 1913 года «большинство во главе с Шидловским, Хомяковым, Годневым и Опочининым находило, что нет больше сил терпеть иго правого октябризма, пора перестать идти в поводу политики господ Шубинских и Скоропадских, пора снять чехлы и распустить октябристские знамена. Пора образовать самостоятельную политическую группу, не запятнанную политикой уступок и компромиссов, пора выступать с открытым забралом, чтобы не потерпеть нового постыдного поражения на будущих выборах».

Начало Первой мировой войны застало С.И. Шидловского в Германии. Пришлось срочно возвращаться домой. На вокзалах царило столпотворение. «Поезд, конечно, был переполнен, стояли и сидели на вещах, в коридорах и на площадках, но когда утром проводник спросил меня, желаю ли я получить кофе в купе, а я усомнился, как мне его получить из имевшегося при поезде кофейного буфета, то проводник весьма твердо ответил мне, что мне он обязан принести и принесет. Действительно, он принес». Однако комфорт и привычки мирного времени постепенно уходили в прошлое. Сын Сергея Илиодоровича отправился на войну и вскоре за проявленный героизм был награжден Георгиевским крестом.

Тяжелые бои поджидали и в Петрограде. В августе 1915 года Шидловский вместе со многими октябристами вошел в Прогрессивный блок. «Прогрессивный блок, — вспоминал он впоследствии, — показал воочию, до какой степени легко по многим вопросам сговориться, когда есть к тому малейшее желание и когда этим делом занимается надлежаще организованный, соответственный орган». Летом 1916 года С.И. Шидловский оказался одним из немногих приглашенных в Елагинский дворец для встречи с председателем Совета министров И.Л. Горемыкиным: тот убеждал депутатов на период войны прекратить всякую политическую борьбу и сплотиться вокруг личности императора. В ответ на это С.И. Шидловский, который должен был выступать первым после главы правительства, в корректных выражениях высказал мысль о необходимости отставки кабинета. Схожие вещи говорили и прочие депутаты. «Последний из опрошенных, Шульгин, со свойственными ему медовым красноречием и мягким тоном, добил старика: „Да Вы, Ваше Высокопревосходительство, не поняли того, что Вам сказал Сергей Илиодорович, а за ним и остальные. Вам нужно уйти, Ваше Высокопревосходительство“». Растерявшийся Горемыкин начал доказывать, что он не держится за власть и лишь долг перед государем заставляет его оставаться на высоком посту... Аналогичное собрание с участием Шидловского провел и Государственный контролер П.А. Харитонов.

Став председателем бюро Прогрессивного блока, Шидловский активно участвовал в разработке ответственных решений. «Надо стать на точку

«Патриархальный быт прошел, пора сменить его бытом правовым...»

зрения критики системы, а не Штюмерера (председателя Совета министров. — К.С.): последующий (премьер. — К.С.) может быть еще хуже, — убеждал он коллег 22 октября 1916 года, когда обсуждался проект совместной декларации. — Нужно стать на общую точку зрения — указать на общую систему. Мы должны выиграть войну вопреки этой системе». Как впоследствии, на заседании блока 16 ноября, утверждал его председатель, политическую борьбу надо вести такими приемами, которые не расшатывают правопорядок в государстве и не подрывают военную мощь России. «Думал ли кто-нибудь, что все это (действия Прогрессивного блока. — К.С.) произведет полное крушение системы? Нет. Мы стали на путь борьбы длящейся. ...Правительство думает, что мы делаем революцию, а мы ее предупреждаем... Раз за истекший год мы не сошли с позиций, а усилили, мы будем стоять за них до полного удовлетворения, которое требует длительной борьбы, ибо штурмом ничего не достигнем. Иначе мы не будем решающей силой, а одним из факторов: другим будет улица. Мы не идем на вызов масс».

Россия подходила к февральскому рубежу. 27 февраля Сергей Илиодорович стал свидетелем того, как солдатская толпа, прорвавшись через ограду, устремилась к Таврическому дворцу. Навстречу была послана делегация, где октябрист С.И. Шидловский составил компанию социал-демократам М.И. Скобелеву и Н.С. Чхеидзе, а также трудовику А.Ф. Керенскому. «Вот такое нам надо правительство!» — кричали солдаты. На некоторое время их удалось успокоить.

Но время нельзя повернуть вспять. Вскоре «масса» уже полновластно господствовала в Таврическом дворце, вытесняя одно думское учреждение за другим. «Первые же дни революции воочию показали мне и убедили меня в том, что культурный ход революции в России невозможен и удержать ее развитие в известных рамках немислимо, почему и Государственной думе ни захватить руководства ею, ни стать во главе ее не удастся», — отмечал в своих воспоминаниях Шидловский.

После Февральской революции он возглавил Совет по делам искусства, стал комиссаром в Академии художеств. В апреле 1917-го работал в комиссии по выработке закона о выборах в Учредительное собрание. С августа 1917-го стал представителем Государственной думы в Поместном соборе Русской православной церкви. Тогда же, в августе, участвовал в Государственном совещании, а затем вошел во Временный совет Российской республики (Предпарламент).

Октябрь 1917 года Сергей Илиодорович встретил в Петрограде. После кратковременного ареста дочери, которую допрашивал сам Ф.Э. Дзержинский, семья приняла решение об эмиграции. Для этого переехали сначала в Псковскую губернию, а уже оттуда, под покровом ночи, переправились через эстонскую границу. Благодаря рекомендательным письмам к членам эстонского правительства, которые глава семейства догадался захватить в Петрограде, он с семьей не был выдан советским властям. С 1920 года С.И. Шидловский жил в Эстонии, работая в Министерстве

юстиции молодого государства и занимаясь в том числе и земельным законодательством.

Кроме того, в послереволюционные годы Шидловский был активно вовлечен в дела эмиграции. Сотрудничал в русскоязычной эстонской газете «Последние известия», был председателем II съезда русских эмигрантов в Эстонии. В июле 1921-го принял участие в работе съезда Русского национального объединения в Париже, собравшего сторонников продолжения вооруженной борьбы с большевиками и сохранения Русской армии генерала П.Н. Врангеля. 7 июля 1922 года Сергей Илиодорович Шидловский скончался в Ревеле (Таллин).

АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
КОРНИЛОВ

«Вести работу
не разрушительным
натиском,
а положительным
строительством...»

В российской политике и культуре есть фигуры, которые не попадают в список «заглавных персонажей» при беглом перечислении. Привычное разделение исторических личностей на «героев» и «злодеев», казалось, навеки лишило их законного места в истории: они были ей настолько органичны, настолько легки и неамбициозны в жизни, что верным соратникам как-то и в голову не приходило их канонизировать, а врагам — по-настоящему бояться и проклинать. Лишь вдумчивый анализ контекста, в котором в России вообще возможны и политика, и подлинная культура, позволяет выявить действительную роль этих людей. К числу таких не оцененных по достоинству фигур дореволюционной России, несомненно, относится Александр Александрович Корнилов (1862–1925). Подлинный масштаб его личности — крупнейшего историка, политика, просто глубокого и советливого русского человека — становится понятен только спустя годы и годы...

Когда в конце 1925-го разбросанные по миру друзья Корнилова с опозданием узнали о его смерти в Ленинграде, они сначала не могли в это поверить. Бывший тогда в Париже академик В.И. Вернадский писал оставшемуся в России князю Д.И. Шаховскому: «Признаюсь, у меня даже явилось сомнение, верно ли это известие, так как оно не получило никакого отголоска в печати... Но, может быть, печать ее и не отметила?»

Александр Александрович Корнилов родился в Санкт-Петербурге 18 ноября 1862 года в дворянской семье. Дед его, военный моряк, приходился двоюродным братом знаменитому адмиралу Владимиру Алексеевичу Корнилову, герою Наваринского и Синопского сражений, руководителю обороны Севастополя, смертельно раненному ядром на Малаховом кургане. Отец Корнилова, тоже Александр Александрович (1834–1891), в Крымскую войну ушел на Черноморский флот добровольцем; в 1857-м принял участие в кругосветном путешествии в качестве флаг-офицера. В конце 1850-х годов он был замечен и приближен А.В. Головниным — другом и личным секретарем великого князя Константина Николаевича, младшего брата императора Александра II, главы Морского министерства и лидера дворцовой

реформаторской «партии». Головин, неформальный лидер «константиновцев» (при Александре II он стал министром народного просвещения), возглавлял тогда редакцию знаменитого «Морского сборника» — поначалу официального органа Морского министерства, сыгравшего затем большую роль в подготовке и проведении Великих реформ 1860-х. Повседневную работу взял на себя А.А. Корнилов: морской офицер, честный и трудолюбивый человек, он принял должность помощника редактора. О влиятельности и значении этого издания на рубеже 1850–1860-х годов говорит хотя бы тот факт, что в число активных сотрудников «Сборника» входили М.Х. Рейтерн (будущий министр финансов кабинета Великих реформ), писатель В.А. Цеэ (будущий председатель Санкт-Петербургского цензурного комитета), литератор и искусствовед Д.В. Григорович, врач и педагог Н.И. Пирогов и др. Н.Г. Чернышевский называл «Морской сборник» «одним из замечательнейших явлений нашей литературы», а будущий министр внутренних дел П.А. Валуев как-то написал, что иные газеты только и живут перепечатыванием статей из «Морского сборника».

В 1861 году Александр Корнилов-старший женился на Елизавете Николаевне Супоневой, от брака с которой родились трое сыновей и пять дочерей. Небогатый дворянин, обремененный большой семьей, решил уйти из теряющего свое влияние «Морского сборника» на государственную службу. В 1866-м он поступил в ведомство Государственного контроля, под начало одного из старых «константиновцев» В.А. Татаринова, и далее последовательно занимал важные должности управляющего контрольной палатой в Киеве, Кишиневе, Люблине, а в 1870-м осел в Варшаве. С 1881 года он — управляющий канцелярией одесского генерал-губернатора И.В. Гурко, с которым затем (с 1883) в той же должности работал и в Варшаве. В конце своей карьеры Корнилов-старший достиг генеральского чина тайного советника, был кавалером нескольких орденов.

Что касается Александра Корнилова-младшего, то он в 1880 году окончил в Варшаве первую («русскую») гимназию и поступил на математический факультет Санкт-Петербургского университета, откуда, увлекшись гуманитарными науками, перевелся на другой факультет — юридический. В столичном университете сформировался тогда уникальный кружок единомышленников — так называемых варшавян, начинавших образование в столице Польши, а затем переехавших для продолжения учебы в Петербург. В него входили крупные впоследствии русские политики и ученые: Федор и Сергей Ольденбурги, князь Дмитрий Шаховской, Сергей Крыжановский и др. Еще один член этого кружка, ставший крупным историком Иван Гревс, писал: «Александр Александрович Корнилов (в компании „Адя“) был человеком замечательной доброты и дружелюбия, принципиально и серьезно относившийся к жизни с юности, умный и дельный работник. Он вырос в ладной многодетной семье с несколькими младшими сестрами, о развитии души которых радел братски, почти отечески. Он искренне проникнут был патриархальными традициями теплых, крепких

домашних привязанностей. Александр Александрович и на друзей переносил свою способность к глубоким интимным отношениям, становившимся почти кровными в его сердце. Он, сам всегда бесхитростный и скромный к себе, высоко ставил членов своего дружеского союза и навсегда остался для тех, кто сами сохранили основы своего духа, верным другом в жизни, незаменимым сотрудником в делах».

Если говорить о целях участников студенческого «братства», то И. Гревс определил их так: «Они хотели, чтобы в студенческой России вырос надпартийный, просвещенный, реально-идеальный, искренний, демократический либерализм... Они горячо любили народ, но высоко ставили миссию интеллигенции, не противопоставляя второй первому, но и не принося ее перед ним. Они призывали вести свою работу не разрушительным натиском, а положительным строительством. Но они предвидели в борьбе с правительством неизбежность жертвы и готовы были идти на нее. На первый же и первостепенный план выдвигали... задачи серьезного прохождения через науку: они видели, как просвещение угнетается властью».

В 1886 году А.А. Корнилов защитил магистерскую диссертацию «О значении общинного землевладения в аграрном быту народов» и спустя некоторое время получил назначение комиссаром по крестьянским делам в Конский уезд Радомской губернии Царства Польского. Здесь молодой чиновник впервые вплотную столкнулся с крестьянскими проблемами. Он потом вспоминал: «Мне шел в то время двадцать пятый год. По наружности, впрочем, я выглядел гораздо моложе. Помню даже один случай, повергший меня в то время в немалое смущение, когда пришедшие ко мне по делу крестьяне приняли меня за комиссарского сына и долго не хотели верить, что имеют дело с самим комиссаром».

Между тем Александру Корнилову хотелось более точного приложения главной для членов «братства» идеи «народного служения». В феврале 1892 года он в первый раз уходит в отставку с государственной службы и в течение полутора лет отдает себя борьбе с последствиями страшного голода в Тамбовской, Воронежской и Тульской губерниях.

В 1894 году Корнилов напечатал в «Русской мысли» ряд статей под общим заглавием «Судьба крестьянской реформы в Царстве Польском». Затем они вышли отдельным изданием, привлечшим внимание к автору — не только как к перспективному общественному деятелю, но и как к талантливому историку-исследователю. Тогда же Александр Александрович становится завсегдатаем регулярных журфиксов, которые проводились на квартире редактора «Русской мысли» В.А. Гольцева. Здесь, помимо старых друзей (Ольденбургов, Вернадских, Шаховского), собирались и многие другие люди, сыгравшие исключительную роль в отечественной истории: С.А. Муромцев (юрист, будущий председатель I Думы), П.Н. Милоков (историк, будущий кадетский лидер), философ и правовед П.И. Новгородцев, земские лидеры и будущие депутаты И.И. Петрункевич, Ф.И. Родичев и др.

В 1894 году судьба (а точнее, любовь) привела А.А. Корнилова в Восточную Сибирь. Дело в том, что его невеста, Наталья Антиповна Федорова (Таля), — уроженка Иркутска. Обучаясь на столичных Высших (Бестужевских) курсах на стипендию от городской думы, она была обязана затем некоторое время отработать учительницей в своем городе. Скрывая от начальства глубинные причины своей заинтересованности (невеста еще не окончила занятия в столице), Корнилов добивается назначения в далекий Иркутск делопроизводителем по крестьянским делам в канцелярию генерал-губернатора А.Д. Горемыкина.

Приняв решение уехать, Корнилов писал Вернадским, не одобрявшим его намерение, что поступление на государственную службу и для него — «несомненный компромисс»: «Сперва я думал, что лучше ехать туда независимым пролетарием и заняться там частным путем изучением Сибири вообще и аграрным вопросом в частности, а также принять участие в местной журналистике. Но потом, по всем собранным о Сибири сведениям, я ясно увидел, с одной стороны, что в качестве частного лица, да еще с ничтожными средствами, трудно будет что-нибудь сделать по части изучения аграрного вопроса и вообще исследования страны; тогда как служба при известных условиях может мне дать возможность сделать то и другое... С другой стороны, после всех разговоров с сибиряками я стал опять думать, что все-таки можно служить в Сибири, если не иметь при этом в виду делать карьеру и ничем себя не связывать, т.е. служить, так сказать, с готовым всегда прошением об отставке в кармане».

Пассажирские поезда доходили в те годы только до Челябинска; далее, до Кургана едущих по служебным делам возили в товарных вагонах (300 верст состав преодолевал за сутки). Потом приходилось добираться в почтовых экипажах (значительную часть года — в зимних санях). Вот так, через Ишим, Канск (с заездом в Барнаул — для знакомства с братом невесты), Томск и Красноярск — Корнилов с одним большим чемоданом, меняя прогонных лошадей, проехал, почти не задерживаясь, 3600 верст в почтовых санях. Путь из Москвы занял семнадцать дней, что поразило встретивших его иркутских коллег — они не ожидали нового чиновника так скоро.

Александр Александрович приехал 1 апреля 1894 года и на первых порах остановился в гостинице «Деко» (считавшаяся тогда лучшей в Иркутске, она показалась ему на редкость грязной). Представившись родным невесты, он преподнес им подарок из столицы — ящик с сотней апельсинов: для Сибири тогда большая редкость. Невеста приехала летом. Таля была незаурядным человеком: прекрасно музицировала, свободно переводила с французского, в начале 1890-х тоже работала в отряде по борьбе с голодом — в Самарской губернии.

Свадьба состоялась 17 октября 1894-го. Молодая чета Корниловых быстро освоилась в культурной жизни Иркутска и спустя немного времени стала играть в ней заметную роль. Именно по их инициативе в городе была организована бесплатная библиотека-читальня, существующая

«Вести работу не разрушительным натиском, а положительным строительством...»

и по сей день. Мысль о ее открытии возникла еще в 1893 году, после неожиданной смерти в одной из экспедиций Александры Викторовны Потаниной — известной исследовательницы Монголии, Китая и Тибета. От средств, собранных на венок (Потанину похоронили в Кяхте), осталось некоторое количество денег, и друзья решили положить их в основание капитала для читальни. Дело быстро двинулось вперед благодаря энтузиазму Корниловых. Поначалу городская дума выделила под библиотеку две комнаты в здании городской управы; вскоре открылось второе отделение, уже в наемном помещении, в более демократической части города — «на Горе». Позднее там построили и собственное здание библиотеки, которой было присвоено имя А.В. Потаниной.

В 1894–1900 годах А.А. Корнилов служил в Иркутске чиновником для особых поручений при генерал-губернаторе Горемыкине, занимался крестьянским вопросом, земским и переселенческим делом в Восточной Сибири. Здесь он стал членом Восточно-Сибирского отделения Императорского географического общества, организатором Общества попечения о распространении народного образования в Иркутской губернии, существенно расширил деятельность Общества пособия учащимся Восточной Сибири и Комиссии для устройства народных чтений. Участвовал он также в местных либеральных кружках; редактировал иркутскую газету «Восточное обозрение», основанную известным деятелем Н.М. Ядринцевым в Петербурге; принял активное участие в строительстве нового каменного театра (взамен ранее сгоревшего деревянного) и был избран городской думой в число пяти его директоров. 26 мая 1898 года он выступил в театре с публичной лекцией о В.Г. Белинском (на пятидесятилетие смерти литератора). Корнилова избрали гласным Иркутской думы, а когда городским головой стал купец В.В. Жарников, ему было поручено председательствование в тех случаях, когда, согласно Городовому положению, голова не имел права лично вести заседания (например, при утверждении городского бюджета).

В 1900 году на губернаторском посту А.Д. Горемыкина сменил А.И. Пантелеев, который прежде был товарищем (заместителем) министра внутренних дел и руководил жандармами. Это принципиально изменило дело, и Александр Александрович практически сразу подал в отставку. Друзья собрали по подписке 325 рублей на устройство прощального обеда в его честь. Но Корнилов от банкета отказался, попросив передать деньги библиотеке, что и было затем закреплено решением городской думы. В своих «Воспоминаниях» он пишет: «Когда я приехал в Сибирь, я думал в ней остаться года три, не больше, а прожил целых семь лет. Семь лет в возрасте от 31 до 38 лет — большое дело! Но об этом я не жалел. Это были годы быстрого роста Сибири; прошедший через Сибирь железнодорожный путь сильно перевернул все занятия ее жителей. Мощное переселенческое движение в короткое время почти удвоило население Сибири, а проведенные в ней реформы — земельная и судебная — дали Сибири порядочных русских людей в большом числе. В прежнее время сибиряк,

кончавший курс в университете, не возвращался в Сибирь, а теперь многие из чиновников были из сибиряков с высшим образованием. Русские люди, приезжавшие на службу в Сибирь, приезжали прежде главным образом нажить и назывались „навозными“. Это было очень характерно. Теперь русские чиновники в Сибири, служащие по судебному или земельному ведомству, отнюдь к этому не подойдут. Прожив в Сибири семь лет, я чувствовал, что пустил корни и что расстаться с Сибирью мне не так легко... Я чувствовал, что принес пользу Сибири, насколько вообще мы можем принести ее».

После возвращения в Санкт-Петербург на имя Корнилова стали приходить из Иркутска письма: предлагали выступить на выборах в городские головы, стать редактором «Восточного обозрения». В свою очередь, начальник переселенческого управления Министерства внутренних дел А.В. Кривошеин предложил ему должность чиновника по особым поручениям при министре. Открывающиеся перспективы работы с земствами (надо было держать связь с собраниями тех губерний, из которых шли переселенцы) заинтересовали Корнилова, и он было согласился...

Но 4 марта 1901 года полицейские нагайками разогнали мирную манифестацию молодежи у Казанского собора. Участвовавший в ней Корнилов стал одним из инициаторов написания протестного письма, которое опубликовали несколько иностранных газет. Последовал арест: Александр Александрович отсидел двадцать дней в одиночной тюремной камере, затем был выпущен с подпиской о невыезде. Решением министра внутренних дел ему воспрещалось жить в столичных губерниях и университетских городах. Тогда он принял предложение из Саратова, где известный либеральный земский деятель Н.Н. Львов приобрел газету «Саратовский дневник» и подыскивал сильного редактора. Фактически под руководством Львова, блестящего знатока аграрного вопроса, в городе сложился своеобразный научно-издательский центр по проблемам реформаторства в этой сфере (именно в Саратове, например, впервые издали знаменитую «Вымирающую деревню» молодого тогда А.И. Шингарева — будущего кадетского лидера, а потом и министра Временного правительства).

«Саратовский дневник» просуществовал недолго. В середине 1902 года губернские власти приостановили издание и предписали Львову кардинально переменить состав редакции. Лишившись журналистского заработка, Корнилов, не без влияния того же Львова, возвращается к научной работе. Он пишет ряд работ по истории крестьянской реформы, общественному движению в эпоху Александра II, истории декабристского движения. В 1904-м, получив наконец свободу передвижения, Корнилов посещает столицы, а затем уезжает в Париж к П.Б. Струве — помогать в редактировании оппозиционного неподцензурного журнала «Освобождение».

В это время у Тали обострился туберкулез, и ее поместили в швейцарскую клинику. Несколько месяцев спустя она скончалась. Наталью Антиповну похоронили по православному обряду (был приглашен русский

«Вести работу не разрушительным натиском, а положительным строительством...»

священник из Берна) на кладбище в Террите, с которого открывается прекрасный вид на Женевское озеро...

Между тем Александр Александрович, постепенно расширяя круг знакомств в российской политической и литературной среде, оказывается в самом центре либеральной общественной жизни, участвует в работе первых либеральных кружков («Беседы», например) и политических организаций (в первую очередь Союза освобождения). После дарования императором Высочайшего манифеста 17 октября 1905 года, фактически легализовавшего политическую деятельность в России, он принял активное участие в создании Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы), в которой вскоре был избран секретарем ЦК, отвечающим за все делопроизводство и формирование региональных организаций. Неоспоримо значение Корнилова-организатора в успешных избирательных кампаниях кадетов по выборам в I и II Государственные думы. Его ключевая роль в партии еще более усилилась после создания в первых Думах крупных кадетских фракций. На плечи Корнилова, принципиально отказывающегося от депутатства, легла многообразная повседневная работа, ранее распределявшаяся между такими признанными организаторами (ставшими депутатами), как Д. Шаховской, И. Петрункевич, братья Петр и Павел Долгоруковы, М. Челноков и др.

Впечатляет даже краткий перечень постов и функций Александра Корнилова. На I съезде (октябрь 1905) он избирается в бюро съезда, а затем — в ЦК партии. На II съезде (январь 1906) он, уже в качестве секретаря ЦК, делает основной доклад по организационным вопросам; на III съезде (апрель 1906) — доклад «О внепарламентской деятельности партии»; на IV (сентябрь 1906) — доклад по организационным вопросам; на V (октябрь 1907) — отчетный доклад Центрального комитета за 1905–1907 годы... И помимо этого, возглавляет редакцию «Думского листка» — политического органа кадетов.

В 1908 году Александр Александрович вторично женился — на младшей сестре своей первой жены Екатерине. Когда, после рождения дочери, он сложил с себя обязанности секретаря ЦК и временно отошел от большой политики, председатель кадетской партии князь Павел Долгоруков написал ему: «Признаю логичность Вашей мотивировки к отставке. С другой стороны, нахожу Ваш уход из секретарей ужасным ударом по партии, так как, разумеется, никого подобного Вам не найдем».

В 1908–1910 годах Корнилов полностью посвящает себя преподавательской и научной работе: читает курс российской истории XIX века в Петербургском политехническом институте, в Педагогической академии и на Высших коммерческих курсах М.В. Побединского. (Впоследствии «Курс» неоднократно переиздавался в России, Англии и США и принес автору широкую известность в научных и педагогических кругах.) В те же годы Корнилов-историк плодотворно занимается новыми темами: Отечественной войной 1812 года, эпохой Александра I, творчеством Михаила Бакунина и Александра Герцена.

В декабре 1915 года, на VI съезде, Корнилов снова делает развернутый доклад (он длился два с половиной часа!) об организационной деятельности кадетской партии и снова единогласно избирается секретарем ЦК. А после гибели на Первой мировой войне лидера петроградских кадетов А.В. Колубакина становится еще и руководителем столичной партийной организации. Вспоминая те месяцы, он писал, что его тогдашнюю работу «всего удобнее можно сравнить с беганием белки в колесе».

Действительно, в то время Александр Александрович успевал все: участвовал во всех заседаниях кадетской думской фракции, руководил продовольственной комиссией ЦК партии и работал в нескольких других комиссиях, был членом совета Петроградского попечительства о бедных (в первую очередь об инвалидах войны и семьях фронтовиков), членом Петроградского областного комитета по снаряжению армии. «Вследствие усиленной деятельности и, в особенности, вследствие непосильной мозговой работы, часто продолжавшейся до трех, до четырех часов ночи, я и во сне продолжал обдумывать все те вопросы, которые обсуждал среди дня: засыпая, я продолжал думать все о них же, причем, переплетаясь в причудливые комбинации, мысли мои во сне, гораздо ярче, чем наяву, вырабатывали иной раз удивительные выводы, которые, однако, я потом никак не мог уловить... Увы, тогда я не чувствовал, что это были, может быть, предвестники постигших меня через несколько месяцев апоплексических ударов».

После Февральской революции Корнилов, продолжавший активную работу в партии, был, как признанный знаток крестьянского вопроса, назначен сенатором Второго («крестьянского») департамента Сената. Тяжелейшая, не оставлявшая времени на отдых деятельность, при уже солидном возрасте, надломила его здоровье. В ночь со 2 на 3 июля 1917 года, прямо на заседании ЦК, рассматривавшего вопрос о выходе кадетских министров из состава Временного правительства, с ним случился первый удар; через шесть дней — второй.

В сентябре Александр Александрович, сопровождаемый своим учеником, сыном В.И. Вернадского Георгием Владимировичем (будущим выдающимся историком-эмигрантом), отправился с семьей в Кисловодск. Там Корниловы, несмотря на периодическую помощь друзей, бедствовали. Дочь Тала писала в своем детском дневнике: «Живем в одной комнате, правда, порядочной и теплой, но сырой. Все углы заплесневели».

Очевидно, что и после окончательного поражения белых Корнилов не помышлял всерьез об эмиграции: мешало нездоровье, да к тому же самые близкие и старинные его друзья (Дмитрий Шаховской, Сергей Ольденбург, Иван Гревс) остались в России — чтобы сохранить элементы высокой культуры на обольшевиченной родине. В Кисловодске он пытался зарабатывать лекциями в Народном университете; согревал душу и тот факт, что в 1918 году его знаменитый «Курс истории России XIX века» был снова переиздан в России.

Летом 1921 года Александр Александрович возвращается в Петроград, где продолжает читать лекции по отечественной истории в Политехниче-

«Вести работу не разрушительным натиском, а положительным строительством...»

ском институте. В 1922 году, уже совсем больной, он окончательно оставляет службу и живет на мизерную пенсию. Скончался А.А. Корнилов в Ленинграде 26 апреля 1925 года.

Его старинный друг князь Дмитрий Иванович Шаховской последние годы своей жизни (он был расстрелян большевиками в 1939 году) много хлопотал о бережном сохранении литературно-исторического наследия Корнилова — «для русской исторической науки и назидания подрастающего поколения». «Ведь это самое лучшее, что у нас есть в этой области, — писал Шаховской, — и надо непременно облегчить всячески использование этого для поколения, которое без сознательного понимания пройденного Россией за последние сто лет пути будет жалким болтуном и тягостным и для себя и для других грузом».

«Ни свобода, ни порядок
немыслимы, доколе нет
в стране гражданского
равенства...»

«До неприличия умный человек» — так называли в кругах кадетской партии Максима Моисеевича Винавера, неперменного члена ее Центрального комитета. В современных энциклопедиях он фигурирует как «один из ближайших соратников Милюкова». Впрочем, в черносотенной литературе последний изображается не иначе как «игрушка в руках Винавера»...

Сам П.Н. Милюков свидетельствовал, что «коллективная работа нашего повседневного политического творчества чаще и больше всего велась Винавером (помимо пишущего эти строки), с участием двух других политических деятелей партии (И.И. Петрункевича и Ф.Ф. Кокошкина. — А.С.). Поскольку же эти двое жили главным образом вне столицы, «в реальной политике, сосредоточившейся в Петербурге, мы с Винавером часто бывали принуждены принимать на свой страх немедленные ответственные решения. При таком распределении работы было особенным счастьем, что, подходя с различных точек зрения к очередным вопросам дня, мы почти всегда сходились в выводах и даже угадывали их заранее...»

Другой член кадетского руководства — А.В. Тыркова также отмечала в своих воспоминаниях особую роль М.М. Винавера в партии: «Хороший оратор, умный, ловкий, искренний защитник правого строя... Винавер мечтал стать руководителем кадетской партии. Ему это не удалось. Не могло удаться... Но к Винаверу прислушивались. У него была очень ясная голова. Он бывал очень полезен при обсуждении запутанных вопросов, особенно юридических...»

Характеризуя мировоззрение Винавера, П.Н. Милюков писал, что его имя «слишком тесно связано с идеей, которая в борьбе страстей и в столкновении крайностей может временно затмиться, но умереть не может... Я говорю об идее демократии — идее, в которой, при правильном ее понимании, радикальные социальные перемены связаны с политическими, и связь эта равно гарантирует применение идеи как от социального, так и от политического обмана...».

Говоря о взглядах Винавера, нужно иметь в виду, что они проявлялись не в научных трактатах и публикациях, а преимущественно в партийных документах, в разработке которых его роль была чрезвычайно велика.

Максим (Мордехай) Моисеевич Винавер родился, по одним данным, в 1862 году, а по другим — в 1863 году, в предместье Варшавы, в богатой и образованной еврейской семье (его отец владел бакалейным магазином). В пятилетнем возрасте мальчика отдали в еврейскую школу-хедер, а еще через пять лет он поступил в 3-ю Варшавскую гимназию, считавшуюся одним из центров русификаторской политики и при этом отличавшуюся высоким уровнем преподавания.

Успешно закончив гимназию, Винавер поступил на юридический факультет Варшавского университета. Здесь он проявил не только блестящие способности, но и склонность к общественной деятельности — пока в рамках студенческих кружков, где его неизменно избирали на председательскую должность. (Впоследствии председательский талант стал одним из важнейших элементов его репутации.)

Закончив университет в 1886 году, М.М. Винавер был удостоен золотой медали на конкурсе студенческих работ за свой труд «Исследование памятника польского обычного права XIII века, написанного на немецком языке» (опубликован в 1888 году). Эта работа и сейчас читается с интересом и отнюдь не выглядит старомодной.

Столь блестящий дебют, однако, не обеспечил Винаверу научной карьеры: для этого нужно было креститься в православную веру, чего он не захотел. Практически единственной доступной профессией для еврея с юридическим образованием в то время была адвокатура, и Винавер вступил в ее ряды. Он уезжает в Петербург, где получает статус помощника присяжного поверенного (звание присяжного поверенного он получил в 1904 году).

На адвокатском поприще М.М. Винавер очень быстро прославился. Вот что рассказывал о его первых выступлениях в Сенате старший коллега Винавера известный адвокат А.Ф. Дерюжинский: «Ну, батенька, это штука. Ничего подобного я не слыхивал. Сенаторы глядят ему в рот, что хочет, то с ними и делает. Никому, кроме него, теперь дел поручать в Сенате я не стану...»

Юридическая практика сочеталась у М.М. Винавера с наукой. Он регулярно публиковал статьи в «Журнале Министерства юстиции», «Вестнике права» и других изданиях. Из этих статей были затем составлены сборники «Очерки об адвокатуре» (1902) и «Из области цивилистики» (1908). В 1897 и 1900 годах он участвовал в международных конгрессах по сравнительному правоведению и истории (Брюссель, Париж). Активно работал и в авторитетном Юридическом обществе при Санкт-Петербургском университете, ставшем важным центром движения либеральной интеллигенции (в 1905 году его избрали здесь председателем гражданского отделения). Профессиональный авторитет Винавера проявился и в его председательствовании на первых двух съездах российских адвокатов.

Общественная деятельность М.М. Винавера протекала в двух сферах — общероссийской либеральной и национально-еврейской (в основном также либеральной). Будучи активным членом легального «Общества для

распространения просвещения между евреями», он в начале 1890-х годов возглавил созданную при этом обществе Историко-этнографическую комиссию, сделавшую очень много в своей области. В 1901–1905 годах он был одним из руководителей журнала «Восход» — ведущего еврейского издания на русском языке. Широкий резонанс вызвали выступления Винавера на судебных процессах, связанных с Кишиневским и Гомельским погромами, и его активная роль в Бюро защиты еврейских прав. В 1905 году он руководил совещанием еврейских общественных деятелей, учредившим «Союз для достижения полноправия еврейского народа в России», и активно участвовал в его работе.

С началом первой российской революции (1905–1907) М.М. Винавер стал широко известен и как политический деятель. На I (учредительном) съезде Конституционно-демократической партии, прошедшем в Москве 12–18 октября 1905 года, Винавер входил в бюро съезда, а затем был избран в состав ЦК партии.

В ходе работы II партийного съезда Винавер председательствовал на заседании 8 января 1906 года (где обсуждался аграрный вопрос), а на заседании 11 января выступил с докладом о тактике партии. Здесь подчеркивалось, что «в переживаемый нами момент принадлежность к партии в большей мере определяется тактическими, чем программными соображениями», и ставился «общий вопрос о том, какова наша тактика, какую позицию мы занимаем по отношению к тактическим приемам, выдвинутым другими политическими группами, стоящими вне нашей партии». По существу, речь шла об отношениях с другими оппозиционными партиями — особенно в ходе избирательной кампании и работы в будущей Думе. Идея вооруженного восстания отвергалась изначально.

Вскоре к партийной деятельности М.М. Винавера прибавилась парламентская: он был избран депутатом I Государственной думы от Петербурга. На заседании ЦК 8 апреля 1906 года именно он выступил с докладом о плане действий партии в Думе. Как сказано в официальном отчете ЦК, «этот доклад, после внимательного обсуждения его в Комитете, лег в основу всей тактики Конституционно-демократической партии в первой Думе. Здесь впервые в виде стройной законченной схемы была установлена и необходимость ответного адреса на тронную речь, и его содержание программного характера (причем предусматривалось, что если тронной речи не будет, то необходимо будет начать свои действия в Думе особой декларацией такого же программного содержания). Далее выяснен был список законопроектов, которые партия должна будет немедленно внести и проводить в Думе».

На том же заседании кадетского ЦК Винавер был включен в состав особой комиссии (позже получившей наименование «законодательной») для выработки четырех важных законопроектов: об отмене смертной казни; об отмене положений об усиленной и чрезвычайной охране; о неотложных изменениях в уголовном законодательстве (в частности, о восстановлении в полной силе суда присяжных); о гражданском равноправии.

«Ни свобода, ни порядок немислимы, доколе нет в стране гражданского равенства...»

Период работы в I Думе можно считать пиком политической карьеры М.М. Винавера. Будучи избранным товарищем руководителя кадетской фракции (И.И. Петрункевича), занимавшей по существу ведущее место в Думе, он сыграл весьма заметную роль в жизни первого российского парламента. В основу ответного думского адреса на тронную речь легли положения, сформулированные Винавером в упоминавшемся докладе на заседании ЦК 8 апреля.

13 мая 1906 года М.М. Винавер выступил с думской трибуны с ответом на только что оглашенную министерскую декларацию. Речь его начиналась такими словами: «В тронной речи, к нам обращенной, сказано было, что для преуспеяния страны недостаточно одной свободы, нужен и порядок. В ответ на это мы сказали Верховной власти, что ни свобода, ни порядок немислимы, доколе нет в стране гражданского равенства. Нельзя говорить о конституции, об ограждении личности от произвола, когда произвол сам собой, как злое зелье, вырастает на ниве бесправия. Нельзя говорить о контроле над должностными лицами, когда сам закон дает им возможность подавлять естественное право человека — считать себя равным со всеми людьми. В ответ на эти указания в декларации, представляющей из себя объемистый ответ, употреблена фигура умолчания. Здесь уже указывали, что наши министры не всегда знают, о чем говорят, но я думаю, они всегда хорошо знают, о чем им следует молчать».

И в других своих думских выступлениях М.М. Винавер вновь и вновь возвращался к проблемам гражданского равенства (в том числе в связи с еврейским вопросом) и произвола администрации (включая ее очевидную роль в этих погромах).

Но, пожалуй, главную роль в думской работе Винавера занимали внутридумские проблемы, взаимоотношения кадетов с левыми фракциями — трудовиками и социал-демократами. В 1907 году Максим Моисеевич выпустил книжку «Конфликты в Первой думе», где эти проблемы подробно анализировались. По словам Винавера, «Первая дума собиралась среди бурного порыва юного, чуждого холодным расчетам восторга; улица, общество, печать бравировали термином „конфликт“. К конфликту никто сознательно не стремился, но о нем говорилось почти игриво. Опьяненное успехом общество было уверено, что, когда грянет буря, кто-то за думу постоит, и народное представительство выйдет из борьбы еще крепче. Конечно, общество соглашалось, что лучше подыскать для конфликта случай более удобный, более понятный населению, но раздраженное чувство то и дело толкало думу на конфликт по всякому поводу». Далее Винавер отмечал, что этому «раздражению» чаще всего поддавалась левая, некадетская часть думской оппозиции: «Не имея никакого определенного тактического плана, не связанное ни вчерашним, ни завтрашним днем своим, оно потому столь склонно было рефлекторно откликаться на все возбуждения, непосредственно на него действующие, исходящие от внедумских кружков и беспартийной печати... Что за этим раздражением

должно было следовать, какие имелись в виду ресурсы для реализации его на случай решительного конфликта, для нас оставалось неизвестным...»

В своей получившей большую известность брошюре Винавер доказывает, что именно кадетская фракция в I Думе была по сути единственной, кто фактически проводил политику «бережения Думы»: «Думу, в конце концов, не удалось спасти; конфликт произошел на почве, для населения наиболее понятной, на аграрном вопросе; все оппозиционные фракции думы (не одни кадеты, но и трудовики, и социал-демократы) обратились к стране за поддержкою — и тем не менее поддержки не последовало».

Здесь имеются в виду события, последовавшие после роспуска I Думы, в том числе история знаменитого Выборгского воззвания, с которым депутаты распушенной Думы обратились к населению. (События эти были затем описаны Винавером в воспоминаниях «История Выборгского воззвания».) За подписание этого документа Винавер, как и другие депутаты, был осужден и в 1908 году провел три месяца в тюрьме. В результате он лишился избирательных прав и в последующих Думах работать не мог. Основной ареной его политической деятельности остался ЦК кадетской партии.

Меньше занимаясь теперь политикой, М.М. Винавер продолжал активно работать в других сферах — профессиональной и общественной. Так, он сыграл активную роль в создании Еврейского историко-этнографического общества и журнала «Еврейская старина». Участвовал он и в организации защиты Бейлиса. В 1913 году он основал (и редактировал) журнал «Вестник гражданского права».

Не чужд был Максим Моисеевич и благотворительных дел. Именно на его средства в 1910 году отправился учиться в Париж никому еще не известный юноша по имени Марк Шагал. Винавер ежемесячно посылал ему 125 франков.

Политическая активность Винавера заметно возросла в ходе выборов в IV Думу и затем в процессе выработки думской тактики. Но особенно заметной стала его роль в ЦК после начала войны (теперь он был уже заместителем председателя ЦК). Выступления его были посвящены преимущественно обострившимся в военное время национальным вопросам — польскому и еврейскому. Так, на заседании 23 ноября 1914 года он заявил: «Трагедия Польши заключается в том, что она, как и Венгрия, стремится поглотить все национальности, находящиеся на ее территории, и этим только кладет палки в свои колеса». 18 апреля 1915 года им была предложена резолюция, осуждающая обвинение целого народа (т.е. еврейского) в «предательстве».

После Февральской революции М.М. Винавер отказался войти во Временное правительство, но стал сенатором, т.е. членом высшего судебного органа, где он много лет появлялся в качестве адвоката. Затем его ввели в президиум комиссии по выработке закона о выборах в Учредительное собрание. Одновременно он продолжал активно работать в ЦК партии, где часто председательствовал на заседаниях. 27 марта Винавер выступил

«Ни свобода, ни порядок
немыслимы, доколе
нет в стране
гражданского
равенства...»

на VII съезде партии с докладом «Тактика Партии народной свободы». Здесь подчеркивалось, что «основным моментом для данной конъюнктуры является защита нового строя... Однако трудности начинаются с того момента, когда спрашиваешь себя: от кого защищать и чем защищать?» По словам докладчика, «мы можем пойти в блок с другими левыми партиями... но мы должны знать, что рост нашей партийной организации в стране и рост влияний на те элементы, которые могут отшатнуться от революции, — является задачей первоочередной». Далее отмечалось «то несколько ненормальное положение, которое вызывает во многих тревогу, положение, при котором власть находится в зависимости от существующих военно-пролетарских организаций». В докладе подробно рассматривался вопрос об отношениях с Советами. По свидетельству Милюкова, Винавер однажды сильно смутил лидера меньшевиков Чхеидзе, предложив ему: «Так возьмите всю власть себе!»

На VIII съезде партии в мае 1917 года именно по инициативе Винавера в кадетскую программу был включен лозунг республики. В те же месяцы вышла известная книга Винавера «Недавнее» — сборник воспоминаний о крупнейших русских юристах.

После Октябрьского переворота М.М. Винавер был арестован, но через несколько дней освобожден. Вскоре он был избран в Учредительное собрание от Петрограда, но как раз в день выборов ему пришлось покинуть свой город и до конца мая 1918 года скрываться в Москве. На нелегальной кадетской конференции в мае Винавер выступил с докладом о внешнеполитической ситуации, сложившейся после Брестского мира. Здесь он критиковал Милюкова, взявшего курс на сотрудничество с немцами, и настаивал на привлечении союзников по Антанте для борьбы с большевиками. Вскоре после этого Винавер покинул советскую территорию, перебравшись в оккупированный немцами Крым (где у него была дача под Алуштой).

15 октября он председательствовал на совещании кадетских лидеров в Гаспре, итоги которого сформулировал так: «Союзникам нужно предъявить требование очистки Советской России и помощи в создании единой России». Эта линия была продолжена на кадетской конференции, проходившей в Екатеринодаре 28–31 октября. Винавер выступил здесь с докладом о внешней политике — в связи с готовившейся на Западе Мирной конференцией. В докладе рассматривались две основные проблемы: какие требования предъявить на конференции (речь шла о помощи в борьбе с большевиками) и кто будет предъявлять эти требования от имени России (этот вопрос так и остался нерешенным).

А 15 ноября Винавер вступил в должность министра внешних сношений во вновь созданном «Крымском правительстве». На этом посту он налаживал дружеские отношения с представителями прибывших в Крым английского и французского флотов, неоднократно выступал с яркими речами в поддержку Добровольческой армии. В 1928 году в Париже будут посмертно изданы его воспоминания «Наше правительство». Однако со-

юзники и «добровольцы» не смогли спасти «Крымское правительство» от натиска красных. 15 апреля 1919 года Винавер навсегда покинул Россию.

Очень интересно проследить, как менялось отношение Винавера к Белому движению в целом и, в частности, к Добровольческой армии. По его словам, вначале «задачи и облик Добровольческой армии рисовались воображению как нечто святое, к чему нельзя относиться иначе как с молитвенным благословением. Поездка в армию ощущалась как паломничество...» Поэтому в тот период «кадетская партия... всемерно стараясь выдвигать перед общественным мнением значение Добровольческой армии, закрывала глаза на ее уклонения от правильного пути, отдавая своих людей в состав ее правительства и принимая в некоторой мере ответственность за ее ошибки. Она не могла и не хотела выступать как партия и желала проводить свои принципы в сфере политики через Добровольческую армию, содействуя ее силе и влиянию, но встречая организованный внутренний отпор».

На заседании кадетского ЦК в Ростове 29 сентября 1919 года были зачитаны письма М.М. Винавера и И.И. Петрункевича, где они упрекали своих коллег в том, что те «изменяют программе и духу партии» и не берегут «завоеваний революции» (имелась в виду Февральская). Письма эти были отправлены с дачи Винавера близ Ниццы, где он проживал с мая 1919 года с семьей и друзьями.

Вместе с тем, оказавшись во Франции, М.М. Винавер начал усиленно пропагандировать там Белое движение. Одним из главных его адресатов стало западноевропейское и особенно американское еврейство. Обращаясь к нему, он заявлял, что распад России не в интересах российского еврейства. Допуская наличие антисемитизма в деникинской армии, он отрицал это в колчаковской. Кстати, Винавер и Колчак были лично знакомы еще с довоенных времен, а в начале 1920-х годов вдова Колчака обращалась к Винаверу с просьбой оказать материальную помощь ее сыну.

Вместе с тем Винавер опровергал мнение о «процветании» евреев при советской власти. По просьбе колчаковского Министерства иностранных дел он подготовил заявление для прессы «Большевизм и русское еврейство», начинавшееся словами: «Совершено неверно, будто русское еврейство относится благосклонно или хотя бы терпимо к большевизму». С осени 1919 года Винавер стал издавать газету «Еврейская трибуна» на русском и французском языках.

«Ни свобода, ни порядок немислимы, доколе нет в стране гражданского равенства...»

После окончательного краха Белого движения кадетская партия оказалась, по существу, эмигрантским движением. Перед его лидерами возникли принципиально иные организационные, программные и тактические проблемы. И здесь опять самую активную роль стал играть М.М. Винавер, возродивший при этом тесный союз с П.Н. Милюковым. (В частности, он активно сотрудничал в милюковской газете «Последние новости».)

По свидетельству Милюкова, анализируя причины поражения белых, Винавер относил к их числу «пренебрежение к местным особенностям и к автономистским стремлениям национальностей — во имя слишком

прямолинейного понимания лозунга „единой и нераздельной России“, эксплуатацию населения, произвол военного управления, безрассудные преследования разведок: в результате — разрыв с народными массами». Из критики этих ошибок выросла новая программа, главными пунктами которой становились республика, федерация, крестьянская земля (т.е. признание захвата помещичьих земель), местное самоуправление.

Оказавшись на левом фланге кадетской эмиграции, Винавер сыграл видную роль в организации «Демократической группы Партии народной свободы» и в переговорах о создании блока с правыми социалистами (прежде всего эсерами). Он являлся одним из организаторов совещания членов Учредительного собрания в 1921 году.

В эмиграции Винавер не забывал и о культурной деятельности. Вместе с М.И. Ростовцевым и Б.Э. Нольде он инициировал создание Русского университета в Сорбонне и читал там историю русского гражданского права. С 1923 года он редактировал еженедельный литературный журнал «Звено».

К несчастью, все это происходило на фоне ухудшавшегося состояния здоровья. 10 октября 1926 года Максим Моисеевич Винавер скончался в местечке Ментон-Сен-Бернар.

МИХАИЛ
ВАСИЛЬЕВИЧ
ЧЕЛНОКОВ

«Из инстинкта
государственности
мы принуждены
были вмешаться...»

«Природный выразитель лучших и сильных сторон русской буржуазии» — так характеризовал Михаила Васильевича Челнокова (1863–1935) П.Б. Струве, который считал себя его личным другом и видел в нем «во многом замечательного», незаурядного и интересного человека, самобытного и оригинального. Это был, писал Струве, выдающийся политический деятель, умный, независимый и честный. Но как человек и социальный тип он еще значительнее и интереснее. Он принадлежал к русской «буржуазии» в точном социальном смысле — к даровитой породе людей. Не получив настоящего образования и будучи «в полном смысле слова „автодидантом“, Челноков являл собой, по словам Струве, одного из самых интересных людей, которых он когда-либо встречал. Беседа с ним была поучительной и увлекательной. Не так уж часто живые культурные интересы и широкая образованность встречаются в соединении с большим здравым смыслом и подлинной деловитостью.

В М.В. Челнокове много идеализма, но никакой «мечтательности». А что идеализма — много, это он доказал, полагал Струве, не только всей своей жизнью, но и главной политической привязанностью. «Западник по своему мирозерцанию, кадет по своей партийной принадлежности и позиции, Челноков всю жизнь духовно и душевно тяготел к славянофилу, октябристу, а потом мирнообновленцу Дмитрию Николаевичу Шипову. Но в Шипове не было буржуазного, купецкого крепкого реализма, которым до мозга костей был проникнут и которым именно был так силен Челноков, у которого при необычайной умственной трезвости, подчас доходившей до жесткости, был и несравненный юмор. Политическая проницательность Челнокова получала от его неистребимого юмора какое-то мягкое и ровное освещение». Трезвый и бытовой реалист, он «непосредственно ощущал левую опасность и тяготел направо по деловой природе своего буржуазного духа».

Вождь кадетской партии П.М. Милюков также оставил в своих воспоминаниях яркую зарисовку: «Это был коренной русак, самородок, органически сросшийся с почвой, на которой вырос. Со своим тягучим как бы м-а-с-ковским говорком, он не был создан для ораторских выступлений...

зато он был очень на месте, как „свой“, в московской купеческой среде; и всюду он вносил свои качества пронизательного ума, житейской ловкости и слегка скептического отношения к вещам и людям». Собственно, эта среда и работа Челнокова в земском и городском самоуправлении, природный ум, энергия, способности и выдвинули его в первый ряд общественно-политических деятелей России начала XX столетия.

Родился М.В. Челноков 5 января 1863 года в купеческой семье. Окончил четыре класса Лазаревского института. Постоянно занимался самообразованием. Круг его интересов весьма широк: литература, архитектура, живопись и т.д. Он действительно сделал себя сам. В 1879 году, в связи со смертью отца, Василия Федоровича, ему, шестнадцатилетнему юноше, пришлось заняться торгово-промышленной деятельностью (в основном производством кирпича и стройматериалов и торговлей ими). В том же году произошла крутая перемена в его личной жизни: он женился на Елизавете Карповне Шапошниковой, дочери купца. Этот брак оказался счастливым. Они имели четверых детей. Но даже спустя несколько десятилетий после свадьбы письма к жене Михаил Васильевич нередко начинал так: «Милая душенька Лиза». Переписка супругов, носившая очень доверительный характер, — прекрасный источник, позволяющий судить и об их общественной жизни и высоких духовных устремлениях. «Теперь, — сообщала Елизавета Карповна Михаилу Васильевичу, — я на страшно интересном месте в исповеди Августина. Его мысли о зле и ограниченном могуществе Бога... это твои мысли. Теперь наступает минута, когда он уверует. Кроме Августина (очень мелкая печать), читаю твою книгу „По Греции“ — раскопки Олимпии, Микен, Делоса и др. ...очень интересно...» А он, например, сообщал ей: «Сегодня был Грабарь и сказал, что наш голландец первоклассная вещь XV века. Очень хвалил Анютины цветы» (дочь Челноковых училась у Грабаря). Обмен такими сообщениями — дело обычное в их переписке.

В 1889 году Челноков впервые вступил на путь общественного служения: стал гласным уездного и губернского земских собраний. А уже через два года он — председатель Московской уездной управы (до 1894 года). Одновременно Михаил Васильевич работал в городском самоуправлении (гласный Московской городской думы, а в 1904–1906 годах — член ее управы). В земстве и на городском поприще он был неизменно активен, деятельно участвовал в работе нескольких комиссий. В земской управе отвечал за оценку столичных фабрик и заводов, от которой зависел размер сборов с них, руководил врачебно-санитарным делом, быстро при нем развивавшимся, и т.д.

Объективные потребности развития местного самоуправления сдерживались царской администрацией, что вызывало недовольство многих. Элита земских и городских деятелей в 1899 году создала в Москве полуконспиративный кружок «Беседа», где конкретные животрепещущие вопросы обсуждались в связи с общим положением в стране. В этот кружок, насчитывавший примерно пятьдесят известных деятелей местного самоуправления, вошел и Челноков (по рекомендации Д.Н. Шипова).

Московское земство и городское самоуправление имели в своем составе ярких прогрессивных гласных, благодаря которым Москва шла в авангарде оппозиционного движения в России. Челноков наряду с Н.И. Астровым, Н.М. Кишкиным, Н.Н. Щепкиным и др. руководил их работой. Он был, кроме того, одним из тех либеральных деятелей, которые стояли у истоков земской оппозиции, проявившейся в земско-городских съездах 1902–1905 годов. В феврале 1901-го Челноков — в числе двадцати шести земцев, собравшихся на аграрный съезд и высказавшихся за создание представительного органа. Вошел он и в бюро земских съездов — координационный орган земского движения. На майском (1902) съезде Челноков отсутствовал — лечился за границей. Поэтому его миновало «высочайшее неудовольствие», выраженное самодержцем участникам съезда. Более того, в январе 1903 года его пригласили на одно из совещаний в МВД (по ветеринарному делу); В.К. Плеве встретился с ним до совещания и заверил, что «умаления прав земств» не будет.

Но конфликты между земско-городским самоуправлением и властью продолжались. 7 мая 1904 года князь Г.Е. Львов, уезжая на фронт как глава Общеземской организации, которая осуществляла помощь больным и раненым воинам, писал Челнокову: «Шлю привет московской управе. Помогите Вам Бог выйти с победой из духовной борьбы и жесткой осады не только во имя местных интересов, но ради нравственного подкрепления упадающего духом земства». В это время Михаил Васильевич — одна из ключевых фигур в Общеземской организации. Земские санитарные отряды были, в сущности, его детищем.

Неудивительно, что уже в самом начале XX столетия Челноков представлял в глазах современников, как писал ему князь Е.Н. Трубецкой, «знающим и способным земским деятелем». И как таковой он хорошо видел, что происходит в стране; особую тревогу у него вызывал проникающий в деревню «анархизм». Но и как городского деятеля бурные события начала века тревожили его не меньше. Японская война, всеобщая забастовка, «ужасы вооруженного восстания» прервали на время поступательный ход городского хозяйства. «В мирную жизнь городских учреждений, — писал Челноков, — ворвалась политика и принесла расколы, раздоры, разделы. Закипели страсти». Во время всеобщей забастовки 1905 года городская управа вроде бы совсем отстранилась от дела. Создалось подобие исполнительного органа, ее заменяющего, в составе А.И. Гучкова, М.Я. Герценштейна, В.Ф. Малинина, М.В. Челнокова, Н.Н. Щепкина. Этой комиссии удалось кое-что сделать для восстановления порядка, в частности наладить работу водопровода, что весьма подорвало энергию забастовщиков.

Челноков — активный деятель начавшегося партийного строительства и политической борьбы в городской думе и на земско-городских съездах. В составе соединенной комиссии участвует в выработке партийной платформы и подготовке съезда конституционных демократов. Тогда он вместе с рядом своих единомышленников находил, что главным в партийной работе должна стать подготовка к выборам в «булыгинскую» — законосо-

«Из инстинкта государственности мы при-
нуждены были
вмешаться...»

вещательную — думу. Так, уже в период организационного оформления кадетской партии он оказался на правом ее фланге.

Внучка автора знаменитой триады «самодержавие, православие, народность» графиня Е. Уварова, с которой Челнокова связывали узы дружбы, в письме от 1 октября 1905 года укоряла его, что он становится «ужасно партийным человеком», не жалея сил занимающимся множеством дел — от «высшей политики» до борьбы с голодом. Действительно, Михаил Васильевич работал не покладая рук (совещание общественных деятелей по выработке избирательного закона в октябре 1905 года, Общеземская организация, органы местного самоуправления). После опубликования Манифеста 17 октября Е. Уварова задает ему вопрос: «Лично Вы удовлетворены ли конституцией или Вы увлечены общим порывом и Вам начинает улыбаться демократическая республика или что-нибудь еще левее?» Челноков «конституцией» был удовлетворен и в «республиканцы» не рвался. Он верил в лучшее будущее России и считал, что в освободительном движении благородны стремления, порывы и само дело. Подтверждением этой веры в будущее страны служат его хлопоты по покупке имения в самый разгар революции 1905 года, когда уже начались знаменитые «иллюминации» помещичьих имений и их хозяева в панике покидали свои дворянские гнезда.

День открытия I Государственной думы он считал историческим. Ему, как и многим тогда в России, верилось, что созыв Думы — это начало новой эры в истории России. На выборах он баллотировался от кадетской партии. Однако не прошел: как кадет он был неприемлем для октябристского большинства избирателей московской губернии — предпринимателей и землевладельцев, напуганных эксцессами революции.

Открывшееся народное представительство обратилось в «Думу народного гнева». В этих условиях срывалось и сотрудничество власти и общества, и без того настороженно и даже враждебно относившихся друг к другу. Е. Уварова писала Челнокову: «Я боялась, что Общеземская организация не найдет возможным работать с министерством и бросит голод (помощь голодающим. — В.Ш.) для протеста. Но, кажется, сейчас вы не собираетесь этого делать, не попробовавши работать». Руководители этой организации и на самом деле, как следует из письма Г.Е. Львова Челнокову, решили не «уходить от работы»: «голодающие без нас будут страдать больше».

Однако роспуска Думы многие очень опасались из-за того, что не знали, «как отнесется к этому народ». Челнокову казалось ясным, что дело идет именно к роспуску. Е. Уварова в письме к нему от 20 июня 1906 года высказала предположение, что после роспуска Думы он уйдет в общую политику, будет работать в кадетской партии. Так оно и получилось. Михаил Васильевич даже пострадал из-за своего «кадетства»: за его отъезд в Гельсингфорс на съезд партии без разрешения губернатора (как член губернской управы он мог уехать, только получив такое разрешение), губернское по земским и городским делам присутствие объявило ему замечание, на что последовало согласие министра внутренних дел.

На съезде в Гельсингфорсе партия фактически признала свою «ошибку» — Выборгское воззвание, нелепый «Выборгский крендель», как выразился Г.Е. Львов в одном из писем к Челнокову, который вполне разделял эту характеристику. Среди московских кадетов Челноков был влиятельной фигурой. Они избрали его в губернский комитет партии, затем товарищем председателя этого комитета. Он представлял московскую организацию на III и IV съездах и вскоре был избран членом Центрального комитета партии.

Н.П. Вишняков, старейший представитель купеческой династии, много лет заседавший в Московской городской думе и весьма не жаловавший либералов, оставил в своих неопубликованных воспоминаниях «штрихи» к портрету Николая Михайловича: «Высокая фигура с черными волосами, черной короткой бородой и усами, в очках. Одна нога кривая, а потому ходит переваливаясь, при помощи костыля (у него был костный туберкулез. — В.Ш.). Из видных земских деятелей. Человек, несомненно, умный и способный, с большой энергией... Говорит легко и свободно, хотя не особенно красиво» (это о челноковских атаках на доклады в заседаниях Думы). Вишняков изливал в дневнике свою желчь: «Челноков умный, но злой и ехидный человек». И все потому, что он — «кадет».

Между тем Московская губерния выбрала М.В. Челнокова во II Государственную думу именно как кадета и благодаря соглашению кадетов с левыми. В Думе он сразу же оказался на виду. Кадеты получили главные посты: председателя, им был избран Ф.А. Головин, и секретаря — им стал Николай Михайлович. В.А. Маклаков, избранный в Думу от Москвы, вспоминал, что личность Челнокова, долголетнего члена губернской управы, гласного городской думы в Москве, «человека исключительно „делового“, делала этот выбор очень удачным». А.В. Тыркова писала о Челнокове той поры: «Его живописная фигура сразу заняла в Таврическом дворце подобающее место. Энергичный, несмотря на сильную хромоту, непоседливый, подвижной, он бродил по огромному зданию, присматриваясь к новой обстановке. На умном выразительном лице скользила улыбка старого дядьки, которому приходится мириться с тем, что дети все шалят. Он был в кадетской партии с самого ее основания, но свою независимость ревниво охранял. Челноков окончил только городское училище, был самоучкой, но перед своими учеными партийными товарищами не робел. Это был самородок, с умом живым и острым, с редким здравым смыслом, с богатым запасом метких словечек... С кадетами-земцами он был давно дружен. Кадетских профессоров недолюбливал, довольно зло острил над ними на своем выразительном, чистом, без тени книжной порчи русском языке с протяжным московским аканьем. Его раздражало лидерство Милюкова. Он называл его Милюк-паша и держался в стороне от петербургской кадетской группы, где влияние Милюкова чувствовалось особенно сильно. Эта своеобразная отдаленность не помешала партии провести Челнокова на важную должность секретаря Государственной думы. Он был достойным преемником Шаховского, дельный, практичный, способный».

«Из инстинкта государственности мы при-
нуждены были
вмешаться...»

Я.В. Глинка, одиннадцать лет фактически возглавлявший думскую канцелярию, со знанием дела судил о реальном положении дел в руководстве II Думы: «Всем ворочал Челноков. Головин был марионеткой в его руках. Усы кверху а-ля Вильгельм, всегда улыбающийся самодовольный вид. „Подскажите ему, — обращался ко мне Челноков, — чтоб он не сел в лужу“... „Издайте закон“, — говорил он мне, если ему надо было сделать распоряжение по канцелярии. Челноков действительно развил бурную деятельность в качестве секретаря Думы. Причем его желание быть независимым от государственных чиновников в деле управления канцелярией заставляло его ускорить составление ее штатов, которые и были внесены им в Думу всего через месяц после ее открытия». Челноков старался и сам подбирать служащих канцелярии. Например, вызвал в Петербург Н.И. Астрова, имевшего богатый опыт секретарства в Московской городской думе.

Михаил Васильевич оставил след в истории II Думы и участвуя в переговорах кадетов (П.Б. Струве, В.А. Маклаков, Н.С. Булгаков, М.В. Челноков) со Столыпиным. Эти члены кадетской фракции пытались воздействовать на премьер-министра, чтобы предотвратить роспуск Думы и наладить ее сотрудничество с правительством. Как вспоминал Ф.А. Головин, Столыпин тоже «искал разговоров» с кадетами. По мнению В.А. Маклакова, хотя сохранить Думу при ее левом партийном составе было трудной задачей и она считалась обреченной с момента избрания, «все-таки Столыпин ее защищал даже тогда, когда этим компрометировал себя в глазах Государя», защищал «долго и упорно». А потому и обратился к представителям ее наиболее многочисленной фракции и, прежде всего, к председателю Думы Ф.А. Головину. Тот отослал его к Челнокову, который старался содействовать сближению Столыпина и с другими кадетскими депутатами, в частности с Н.В. Тесленко и И.В. Гессеном.

М.В. Челноков, в отличие от большинства политиков того времени, был склонен верить в работоспособность II Думы. Г.Е. Львов, хорошо знавший «думские» настроения Челнокова, писал ему в марте 1907 года: «Что же Думу не разгонят, будет и поработаете? Что-то не чается. Дай Вам Бог и поможет вам Бог». В апреле жена Челнокова желала ему и Думе «найти верный и надежный путь». В.А. Маклаков вспоминал, что в конце апреля или в начале мая, когда Челноков в очередной раз повидал Столыпина, он пришел к своим единомышленникам озабоченный и передал им, что тот «помешался на аграрном вопросе». Столыпин сказал тогда Челнокову: «Прежде я только думал, что спасение России в ликвидации общины; теперь я это знаю наверно. Без этого никакая конституция в России пользы не сделает». Челноков прибавил от себя: «Когда Столыпин наделает своих „черносотенных мужичков“, он будет готов им дать какие угодно права и свободы». В таком толковании, по мнению Маклакова, была доля правды. Но Челноков сообщил и другое: «Столыпин встревожен таинственными работами аграрной комиссии, куда представители министерства не приглашались; он боится, что комиссия ему готовит сюрприз. Вдруг она

его аграрные законы по 87-й ст. отвергнет? Этого он не допустит. Дума тогда будет распущена». Об этом он заранее и предупреждал Челнокова.

И Челноков, и Маклаков полагали в то время, что у кадетов здесь действительно слабое место. Аграрные законопроекты Столыпина противоречили аграрным программам не только социалистических партий, но и кадетов. Вотум Думы мог отнять силу у этих законов. Столыпин этого ждать не хотел. Распуска же Думы на аграрном вопросе правительство не могло допустить, ибо опасалось крестьянства. Челноков, Маклаков, Струве и Булгаков устроили совещание, чтобы обсудить, на какой почве может быть найден компромисс. Они ясно понимали: надо склонить Думу не отвергать законов с порога, а перейти к их постатейному чтению. Маклаков вспоминал: «С этим Челноков и поехал к Столыпину. Он вернулся совсем успокоенный. Большого, чем переход к постатейному чтению для своих законов, Столыпин пока не ждет. Потом сговоримся. И Столыпин тут же решил — и об этом сказал Челнокову — выступить в Думе с принципиальной речью об аграрном вопросе». Он это и сделал.

Маклакову представлялось, что Столыпин изложил в ней «свое кредо либерала и западника». Когда же он сказал: «Обязательное отчуждение действительно может явиться необходимым, но, господа, в виде исключения, а не общего правила, и обставленного ясными точными гарантиями закона», Челноков и Маклаков переглянулись. Его слова казались им ответом на то, что им требовалось. Признание принципа принудительного отчуждения хотя бы и в небольшом масштабе, упоминание о нем в законопроектах, которые Столыпин не замедлит представить, давали, по их мнению, возможность Думе перейти к постатейному чтению. Хотя это и был вызов аграрным планам левого большинства, речь все же давала просвет. Они полагали, что в нужный момент им на помощь пришло бы общее нежелание роспуска Думы, готовность пойти на компромисс при соблюдении партийной программы. Столыпин, отмечал Маклаков, «облегчил нам эту задачу».

То, что М.В. Челноков считал тогда компромисс Думы с правительством Столыпина вполне достижимым, явствует и из его переписки с женой. В мае 1907 года она сообщала: «Сейчас пришло письмо от 21-го. Первую твою беседу со Столыпиным я уже отправила Дм.Ник. <Шипову>. 2-ю (от 21-го) посылаю ему почтой. У меня такое впечатление, что пойдут на уступки. Была бы Дума во всеоружии разума и единения... Я понимаю, — продолжала она, — что Столыпин пойдет на отчуждение, но с условием, что оно не будет провозглашено как принцип для повсеместного проведения. Здесь, конечно, ходят самые мрачные слухи. Якушкин (видный член кадетской партии. — В.Ш.) предсказывает роспуск на днях. Но, может быть, Бог милостив и возьмет верх разумный ход вещей. Роспуск „по недоразумению“, о котором ты пишешь, был бы отчаянной ошибкой, особенно со стороны центра». Роспуск Думы представлялся супруге Челнокова тем более нежелательным в связи с резким поправлением общества. Даже среди родственников Челноковых высказывалось мнение, что только безумцы,

«Из инстинкта государственности мы при-
нуждены были
вмешаться...»

к которым принадлежит и Михаил Васильевич, могут стоять за рабочие профсоюзы, что «все рабочие мерзавцы, и разумное к ним отношение — как к негодяям». Эти убеждения, свидетельствовала Е.К. Челнокова, «общие теперь стоящим у управления города и земства. К чему поведет такое настроение имущих, если будет уничтожен последний оплот законности — Дума?». И она желала мужу и его коллегам «победоносного выхода из дебрей на спокойную дорогу, с которой уже нельзя будет вас сдвинуть».

Челноков очень хотел того же. Но настроение «его друга» (как называл Столыпин в письме к Челнокову князь Г.Е. Львов) в отношении судьбы Думы переменялось, и, по словам Маклакова, «неожиданно подкралась развязка». Столыпин потребовал у Думы согласия на арест шестнадцати социал-демократов и устранения из нее других пятидесяти пяти членов социал-демократической фракции. Но пока в комиссии Думы шли debates об этом деле, закулисные переговоры со Столыпиным с целью повлиять на него и спасти Думу не прекращались. Маклаков, Струве и Булгаков поручили Челнокову устроить их встречу со Столыпиным, который и принял всех в Елагинском дворце поздним вечером 2 июня 1907 года. В ходе беседы с премьером выяснилось, что камень преткновения в отношениях Думы и правительства — аграрный вопрос. На нем, по мнению Столыпина, «конфликт неизбежен». Председатель Совета министров вновь заявил и о необходимости устранить из Думы социал-демократов. Но, как считали его собеседники, требование выдачи социал-демократов предьявлялось в такой острой и преувеличенной форме, что принять его Дума не сможет. «Ну, тогда делать нечего, — сказал Столыпин и добавил: — Только запомните, что я вам скажу: это вы сейчас распустили Думу». Столыпин, конечно, лукавил: он уже получил категорическое требование царя распустить Думу. Маклаков так комментировал эту фразу Столыпина: «Дальше говорить было не о чем». Только Челноков осведомился, будет ли он завтра допущен в помещение Думы — там у него вещи. Столыпин улыбнулся: «Ведь вы же не собираетесь в Выборг. С вами будет все по-хорошему. — И закончил неожиданной любезностью: — Желаю с вами всеми встретиться в 3-й Думе. Мое единственное приятное впечатление от II-й Думы — это знакомство с вами».

На кадетском Олимпе просочившиеся в печать сообщения о ночной поездке «четверки» вызвали такое негодование против визитеров, что Маклаков заявил П.Н. Милюкову о своем выходе из партии. Тот сумел уговорить Маклакова остаться, но возмущенное отношение многих кадетских лидеров к этой поездке сохранялось долго.

Если II Дума просуществовала всего сто три дня, то III — весь пятилетний срок. Челноков был избран в нее от Москвы. Кадетская фракция и прогрессисты выставили его кандидатуру на избрание в товарищи секретаря Думы. Челноков отказался: не хотел в резко поправившей Думе (в связи с изменением избирательного закона 3 июня 1907 года) оказаться под началом правого секретаря. Многие думские либералы сожалели об

этом: в качестве помощника секретаря Челноков мог участвовать в совещании Думы, что облегчило бы борьбу ее председателя Н.А. Хомякова с правыми течениями.

В III Думе и вне ее Челноков был близок к прогрессистам. Они постоянно приглашали его на свои собрания. Многих лидеров только складывающейся партии он давно знал лично и, в свою очередь, имел у них авторитет. Известный московский промышленник С.И. Четвериков писал ему еще в январе 1907 года: «Меня тронула Ваша вера в чистоту и устойчивость моих конституционных убеждений». Наряду с Четвериковым, А.И. Коноваловым, братьями Рябушинскими и др. прогрессивными предпринимателями Челноков участвует в начавшихся в 1908 году «экономических беседах» с учеными. Здесь обсуждался широкий круг экономических социальных и политических вопросов.

При всей востребованности его на всероссийском уровне, Челноков продолжал активно работать и в органах местного самоуправления. В условиях поправления московского земства, выразившегося и в том, что председателем губернской управы стал Н.Ф. Рихтер (при его избрании Челноков демонстративно покинул собрание), обсуждение самых обычных, рутинных вопросов перерастало в настоящие баталии. Губернатору даже казалось, что Челноков «всегда старался внести во всякое собрание агитационный характер и лягнуть администрацию», не щадя и персону губернатора.

Столкновения происходили и в городской думе. 2 января 1908 года состоялись выборы московского городского головы. Баллотировались октябрист Николай Иванович Гучков и Челноков. Как десятилетия спустя вспоминал Михаил Васильевич о своем оппоненте, «это был единственный кандидат, имевший возможность собрать большинство и вполне подготовленный к предстоящей работе». Правда, подавляющего преимущества при баллотировке у Н.И. Гучкова все же не оказалось: он победил 73 голосами против 65. По деловым качествам Челноков, конечно же, не уступал; его высокопрофессиональная деятельность в различных сферах городского и земского самоуправления (финансы, школьное дело, вопросы здравоохранения и пр.) — яркое тому свидетельство. Но доминировавшее тогда в избирательной среде «октябристское» настроение принесло победу Н.И. Гучкову — брату А.И. Гучкова, вождя «Союза 17 октября».

В III Государственной думе М.В. Челноков был членом многих комиссий, от которых затем выступал докладчиком: по городским делам (зам. председателя), финансовой, бюджетной, по местному самоуправлению, по торговле и промышленности, по мерам к охранению древности и т.д. Вошел он и в Торгово-промышленную группу, состоявшую из членов Думы и Государственного совета; кадетов в ней представлял только он.

На выборах в IV Думу в Москве сенсацией стал провал А.И. Гучкова. Настроение изменилось: «цензовый элемент» полевел и предпочел лидеру октябристов правого кадета М.В. Челнокова, который и был избран

«Из инстинкта государственности мы при-
нуждены были
вмешаться...»

от первой курии 18 октября 1912 года. В Думе Челноков снова вошел в кадетскую фракцию и представлял ее в ряде комиссий (по торговле и промышленности, по военным и морским делам), а от бюджетной выступал докладчиком.

Тогда в кадетской фракции разгорелась полемика об участии ее членов в работе думской комиссии по военно-морским делам. При выборах в нее правооктябристское большинство провалило всех представителей оппозиционных фракций, в том числе и кадетской вместе с ее вождем Милюковым. Единственным кандидатом, который допускался в комиссию, стал Челноков. Милюков сделал заявление: в комиссию войдут все представители демократических элементов страны — или не войдет никто. Челноков считал это ошибкой, хотя и подчинился партийной дисциплине. Однако он принял предложение прогрессистов баллотироваться в комиссию от их фракции. Милюков возражал и против этого варианта. Челноков апеллировал к Московскому отделу ЦК. Тот рекомендовал Милюкову «тем или иным способом» провести Челнокова в комиссию. Милюков стоял на своем, но фракция кадетов дала добро. Милюков, обнаружив «бунт на корабле», пошел ва-банк: отказался от председательства во фракции. Челноков не выдержал этой «психической атаки» и отступил: все-таки «погоды» во фракции он не делал, и близким ему по правокадетскому духу был лишь В.А. Маклаков.

В разгар этой борьбы жена Челнокова писала ему (12 февраля 1913 года): «Казалось, что, может быть, Милюков и К^о вызывают осуждение и назревает новое настроение. Очевидно, ничего подобного нет, ты нигде не встречаешь поддержки, везде уходить, и дальше партийности никто не смотрит. Я думаю, дела твои с к.д. очень плохи и непоправимы... Вчера я ходила к Маклакову узнать, как он смотрит на все твоё дело, — ведь он умен и видит под землей... Он находит, что ты не должен был уходить из обороны... Теперь он полагает, что ты потерял позиции, что идти от прогрессистов представляет известный риск. Ты опять можешь быть не выбран. Но если бы удалось, то, по его мнению, это был бы хороший урок кадетам. Красивее, цельнее для тебя не сдаваться, не капитулировать. Если бы он мог, он сам бы ушел от к.д. ...но его положение избранника второй курии не позволяет. Мне кажется, у тебя нет друзей в Думе... Ты не выступил прямо и напролом из соображений корректности и уважения к партии, с которой ты столько времени был связан... Маклаков ненавидит кадет и сердится, что ты сплеховал, — надо бы их разом да побольнее ударить — ты мог это сделать и не сделал. Ему досадно на тебя». На следующий день она писала: «Ты и кадеты... не можете быть вместе. Даже если бы они и согласились на твои требования, старые связки разорваны». Подливало масла в огонь и то, что левые кадеты в ЦК стремились вывести из партии Челнокова, Маклакова и Струве, предлагая им даже в сентябре 1913 года создать свою «национально-либеральную партию». Правда, по мнению лидера партии П.Н. Милюкова, Челноков «все же в целом шел в русле партийной политики».

В 1913 году должны были состояться новые выборы московского городского головы. Октябрист Н.И. Гучков городу уже изрядно «надоел», тем более что общественности все очевиднее становилась бесперспективность безоглядной лояльности октябристов к власти. Обострились также в Московской думе отношения между ее умеренной частью и прогрессивной группой: в нее входил М.В. Челноков, и его кандидатура на грядущих выборах рассматривалась как противовес Н.И. Гучкову.

Уже в начале января 1913 года Г.Е. Львов, сообщая Челнокову об этих настроениях в прогрессивной группе, подчеркивал: «Если в прогрессивной группе превозобладает над мирным воинственным течением, то оно притечет к Вам. Думаю, что таковым может быть естественный ход событий, и не оттого, что вы уж такой охотник до войны, а оттого, что при действительной войне, если ее объявят, в Вашем лице есть на что понадеяться, я убежден, что не воинственность, а ваша решительность могла бы прямо выручить Москву. Ведь если правые объявят войну и наличного центра не образуется, то ведь придется воевать, и тогда потребуются не задор, а стратегия и решительность, и непременно обратятся за этим к Вам. И это не мое мнение только, а так думают многие. Замыслы Гучкова и правых неизвестны, но они осложняют дело наверное и если достигнут положения постоянной битвы — стенка на стенку, то и нам придется строиться по-военному, и я тогда буду с теми, кто обратится к Вам, ибо убежден, что Вы именно и выручите из такой беды».

Князь Г.Е. Львов не сбрасывал со счетов и собственную кандидатуру. Это видно из письма Н.И. Астрова к Челнокову от 6 января 1913 года: «Наша группа на своем знамени не пишет лозунга „борьба“, а ставит своею целью изыскание путей для совместной работы. Это мирное настроение дало основание и для кн. Львова прийти к решению, благоприятному для группы». Астров сообщал: руководители прогрессивной группы, насчитывавшей семьдесят восемь голосов, обсуждали вместе с Львовым вопрос, «какая кандидатура, его или Ваша, имеет больше шансов на успех». Оказалось, что все-таки — Львова, и, судя по всему, Челноков согласился с этим выбором. По крайней мере Львов благодарно писал ему в двадцатых числах января: «Очень тронут вашим участием и тем громадным трудом, который вы выполнили за эти дни ради Москвы и меня».

Н.И. Гучков, понимая, что шансов вновь быть избранным городским головой у него немного, 22 января заявил о своем отказе баллотироваться. А 25 января Львов писал Челнокову: «Теперь, благодаря усилиям правых и самого правительства, ставшего на их сторону, из меня сделали знамя — я понимаю, что нет возможности ожидать моего назначения».

Москва выбрала князя Львова городским головой, но власти не утвердили его на этом посту, как затем и двух других избранных москвичами кандидатов — С.А. Чаплыгина и Л.Л. Катуара. С января 1913 года обязанности городского головы временно исполнял В.Д. Брянский. Только в начале Первой мировой войны власти разрешили провести новые выборы. И теперь москвичи выбрали М.В. Челнокова.

«Из инстинкта государственности мы принуждены были вмешаться...»

Он сделал своего рода «дубль»: стал главноуполномоченным Всероссийского союза городов (14 сентября 1914 года) и городским головой (29 сентября 1914 года). Уже при выдвижении его кандидатуры в городские головы Михаил Васильевич открыто заявил, что откажется от партийной деятельности в случае своего утверждения. И когда его утвердили, действительно объявил о выходе из думской фракции. Это вызвало взрыв негодования у кадетов. С его стороны последовало разъяснение: отказываясь от партийной деятельности, он не отрекается от своих политических убеждений.

Деятельность Челнокова как городского головы неразрывно связана с его работой во Всероссийском союзе городов (ВСГ), возникшем в начале войны по инициативе гласных Московской городской думы. Уже на съезде городских голов 8–9 августа 1914 года (по сути, учредительном съезде ВСГ) он был избран во временный комитет ВСГ. 16 августа последовало «высочайшее разрешение» Союза; этим же актом его деятельность была ограничена помощью больным и раненым воинам «в течение настоящей войны». Союз рос очень быстро: если на августовском съезде делегаты представляли шестнадцать губернских и девять уездных городов России, то на съезде в сентябре 1914 года — уже сто девяносто пять. Челнокова избрали главноуполномоченным Союза. Под влиянием потребностей войны, запросов с мест, требований военного ведомства, Красного Креста и пр. деятельность ВСГ быстро расширялась.

Организация и работа складов, санитарных поездов, врачебно-питательных отрядов, лазаретов, лабораторий, больниц, питательных пунктов, бань, прачечных, дезинфекционных камер, мастерских, помощь беженцам и многое другое — в этой стихии Челноков чувствовал себя как рыба в воде. Во многом благодаря его деловой хватке, энергии и уму ВСГ сыграл огромную роль в деле помощи больным и раненым воинам, в мобилизации военных усилий страны, а Москва с честью выдержала все испытания военного времени. И это при том, что власти постоянно чинили препоны работе Союза. Уже в эмиграции Челноков с юмором вспоминал некоторые эпизоды. Его старый знакомый В.Н. Челищев записал эти «реминисценции»: «Живо и картинно рассказывал Михаил Васильевич о своих посещениях председателя Совета министров И.Л. Горемыкина, чтобы осведомить его о положении, в котором находится армия, страдающая от недостатка снаряжения. И.Л. Горемыкин с закрытыми глазами сосал свою сигару, а когда рассказ Михаила Васильевича дошел до конца, старик открыл свои белые глаза и спросил, как рассказчику нравится обстановка в новом доме председателя Совета министров, и начал, со своей стороны, рассказывать о том, с каким трудом ему удалось эту обстановку собрать. Выслушав рассказ Горемыкина, Михаил Васильевич вновь начинает свое повествование, и старик опять дремлет. Кончил М.В., старик, оживившись, спрашивает, знаком ли он с его женой, и, не дождавшись ответа, вызывает дежурного чиновника и приказывает ему проводить М.В. на прием к жене. А после приема у супруги председателя Совета министров оказывается, что сей последний уехал на какое-то заседание. Едет М.В. к военному министру

Сухомлинову, рассказывает ему то же. Сухомлинов все рассказанное отрицает: всего вдоволь, недостатка ни в чем нет. Мало того, выдвигается тема такого содержания: „Все хулят и корят правительство. Бывают действительно промахи. Но... промахи зачастую спасительны“. Военный министр достает из письменного стола карту и план Осовецкой крепости с отмеченными на укреплениях точками поражения от неприятельских снарядов и торжественно заявляет: „Если бы укрепления были построены из доброкачественного цемента, то они давно были бы разрушены снарядами, ибо крепкий бетон разлетается на части. А так как вместо цемента клали песочек, то снаряды в него зарываются и не рвутся!“ Мораль была ясна: от злоупотреблений одна польза и т.д.»

И хотя бюрократия, власть часто и вовсе отказывали в ассигнованиях ВСГ, Челноков весь ушел в практическую работу. Бывший московский городской голова князь В.М. Голицын в январе 1915 года отметил в своем дневнике: «Был у Челнокова в Думе — он водворился в моем кабинете... Челноков мне очень понравился: он вошел в роль и приемы очень хороши». И ранее князь писал в дневнике, что «общественные организации действуют превосходно, а московское городское управление блестяще».

В первый военный год Челноков считал, что ВСГ должен стоять вне политики. Но чем дальше, тем многообразнее и масштабнее становилась работа Союза в тылу и на фронте. И уже на второй год войны, как следствие череды поражений, растущей разрухи и дороговизны, политика буквально ворвалась в работу Союза. Особенно памятен Челнокову стал съезд Союза по экономическим вопросам, связанным с дороговизной и снабжением армии. Этот съезд, состоявшийся 11–13 июля 1915 года, по определению генерала В.Ф. Джунковского, «далеко уклонился в сторону от прямых своих задач и посвятил большую часть времени на политические темы, до изменения государственного строя включительно». Джунковский писал, что, хотя председатель съезда Челноков отнюдь не являлся сторонником резких выступлений, «противостоять общему, в этом именно направлении, течению не мог». Как свидетельствует участник И.И. Серебрянников, съезд действительно представлял собой «бурный политический митинг», в котором яростно порицалось правительство за его неумение справиться с выпавшими на его долю задачами по укреплению нашего фронта и внутреннего единства. Со своей стороны, власти окончательно сочли ВСГ «опаснейшим явлением политической жизни страны», бастионом антиправительственной оппозиции. Правые еще больше сгущали краски: «Челноковы и К° являются во главе движения, и они власть...»

«Из инстинкта государственности мы при-
нуждены были
вмешаться...»

Тем не менее М.В. Челноков и на сентябрьском съезде ВСГ (1915) старался провести умеренную линию. Он не допустил участия представителей рабочих организаций, отклонил просьбу допустить на съезд лидеров левых фракций Государственной думы — Керенского и Чхеидзе. В своей речи он призвал общество «сохранять самообладание» и провозгласил необходимость неотложных мер для стабилизации страны: возобновление занятий Государственной думы и обновление правительства.

Сентябрьский съезд Всероссийского союза городов избрал депутацию к царю, которая должна была открыто высказать ему «всю правду, все надежды, все свои печали и упования». Среди трех избранных (М.В. Челноков, П.П. Рябушинский, Н.И. Астров) наибольшее число голосов получил Михаил Васильевич. Однако царь депутацию не принял. Ходом событий российское общество, организовавшее работу двух союзов — Всероссийского союза городов и Всероссийского земского союза (ВЗС), — вовлекалось в политическую жизнь и должно было искать выход из трагически сложившихся обстоятельств.

Искал их и М.В. Челноков. Наряду с обыденной работой в ВСГ, ВЗС и Земгоре (Михаил Васильевич становится одним из его руководителей) он входит в Прогрессивный блок, составленный из ответственных депутатов Государственной думы и Государственного совета. Под председательством Челнокова Московская дума 18 августа 1915 года единогласно постановила просить об образовании такого правительства, которое пользовалось бы доверием народа. В.М. Голицын записал в своем дневнике: «Вот это день! Честь и слава моим согражданам!.. Я тотчас послал приветствие Челнокову». А через два дня он записывает, что вслед за Москвой все города и общественные организации «поднялись и высказались в еще более сильных формах».

М.В. Челноков от имени Московской городской думы шлет телеграмму в поддержку вел. кн. Николая Николаевича, когда Николай II решил сам возглавить армию. С его участием проходят и неформальные встречи с представителями делового мира Москвы. Он имеет постоянные контакты с председателем Государственной думы М.В. Родзянко, с лидерами Прогрессивного блока, с министрами и сановниками. Редкий день газеты не упоминают о нем или не пересказывают его речи. В годы войны Челноков стал знаковой фигурой российского либерализма. И правящие верхи, и деятели Прогрессивного блока в своих планах формирования кабинета министров допускали также участие в нем Челнокова.

Михаил Васильевич остро чувствует меняющееся настроение страны, рост недовольства населения, предгрозовую атмосферу в России. И не может на это не реагировать: на политику, врывающуюся в деятельность ВСГ извне, он и отвечает «политикой». Вынужденная, против собственной воли, резкая критика власти, выдвижение радикальных требований характерны в этот период даже для многих умеренных либералов, в том числе для руководителей крупнейших общественных организаций — ВСГ и ВЗС, аккумулирующих общественную энергию и отражающих настроение страны. Об этом вынужденном переходе к политике Челноков заявил публично. 12 марта 1916 года, открывая IV съезд ВСГ, на котором присутствовали 210 человек, он подробно рассказал об огромной работе Союза на фронте и в тылу и о тех препятствиях, которые она встречает со стороны власти. «Мы не стремились развивать свою деятельность до тех рамок, в какие она вылилась в настоящее время, вначале мы собирались помогать раненым, и только. Но когда мы увидели, что правительство

ведет страну к гибели и готовит армии разгром, мы, из инстинкта самосохранения, из инстинкта государственности, того инстинкта, который чужд правительству, принуждены были вмешаться, взять дела в свои руки. Мы не хотели заниматься политикой, но нас заставили сделать и это. Когда мы увидели, что правительство не помогает, а только мешает нам, мы должны были поставить вопрос об удалении этого правительства и замене его таким правительством, которое пользовалось бы доверием народа. Мы вначале верили, что Санкт-Петербург действительно стал Петроградом, но теперь для нас совершенно ясно, что эти господа ровно ничего не забыли и ровно ничему не научились. И с этими господами, следовательно, нам больше говорить не о чем. Ни от одного требования, заявленного нами на нашем сентябрьском съезде, мы теперь не отказываемся, напротив, мы заявляем эти требования более решительно... В настоящее время поддерживаемые всей страной, мы еще раз и в еще более категорической форме должны заявить наши требования об ответственном правительстве, о прощении политических преступлений, об уравнивании в правах всех граждан без различия национальностей и вероисповеданий». В Департаменте полиции отмечалось, что речь Челнокова была встречена бурными аплодисментами.

Поездки на фронт в августе 1916 года придают М.В. Челнокову бодрости. «Я очень рад, что был на фронте, — пишет он жене. — Наш союз на этом фронте (северном. — В.Ш.) работает великолепно, он слился с армией и действительно помогает... Дело кипит в строгом порядке и дисциплине. Войска буквально несравненные. Солдаты сыты, отлично одеты, в прекрасном настроении. Рожи толстые, красивые. Все очень добры, услужливы, предупредительны. Офицеры производят тоже очень хорошее впечатление. Чувствуется большая уверенность и спокойствие. Все есть. Видел генерала Рузского. Он мне очень понравился. Спокоен, умен, пронзителен, многосторонен. Здоровье его хорошо... Видел еще многих — все хороши... О политике не слышал. Очень приятное впечатление от всего... В тылу другое дело. Здесь мы киснем, кляузничаем и пр. и пр.» В августе же Челноков встречался в Севастополе с адмиралом Колчаком — «на старом броненосце, где устроен его штаб. Был я принят любезно и скоро».

«Тыл», однако, все больше подводил. Именно состояние тыла объясняет метаморфозу в поведении Челнокова: то он не допускал политику в ВСГ, а то «вдруг» сам к ней приобщился и стал выступать с оппозиционными заявлениями. Патриотические настроения, которые в начале войны захлестнули и либералов, которые вызвали единение власти и общества, наложились на умеренно либеральные взгляды Челнокова и на его сугубо деловой подход к этому единению. И определяющим здесь был деловой подход: всемерное содействие военным усилиям страны. Он обусловил резко отрицательное отношение Челнокова к «политике» как мешающей практическому делу помощи армии, достижения победы. Даже на втором году войны он говорил: «Или заниматься политикой, или заниматься кроватями». И забастовки рабочих претили ему в большой мере тем, что они

«Из инстинкта государственности мы принуждены были вмешаться...»

разлаживали механизм городского хозяйства. Он считал, что отношение к войне должно служить главным критерием в стратегии и тактике либералов. Работа Союза городов, особенно важная и ценная для армии, по его разумению, должна оставаться вне политики еще и потому, что ВСГ существовал на птичьих правах: он не был юридически оформленной организацией и не имел самостоятельной финансовой базы — средства на его работу шли из казны. При такой уязвимости политические амбиции в случае репрессий могли оказаться губительными для ВСГ. И вообще, либералам на политических подмостках, как полагал Челноков, следует выступать очень осторожно, учитывая реальную обстановку в стране; лучше «вооружиться терпением и ждать», отложить счеты с властью на послевоенное время. В сентябре 1915 года Челноков, в противовес П.П. Рябушинскому и Н.В. Некрасову, находил, что «опасно обращение к народу»: «Рабочие не организованы, принимают наиболее экспансивные предложения». Поэтому он пессимистически оценивал попытки А.И. Коновалова «навести мосты» с представителями рабочих: «Все затеи Коновалова окончатся ничем». В память ему на всю жизнь врезался 1905 год: об «огромных массах рабочих, захваченных пропагандой левых партий, и жизни города, которая была вся под впечатлением всеобщей забастовки и ужасов вооруженного восстания» Михаил Васильевич вспоминал и в эмиграции.

Однако власти сами вынуждали общественные организации радикализироваться. Челноков считал, что мешавшая конструктивной работе и приближавшая революцию «анархия в стране начиналась сверху». Против нее и была направлена его политическая деятельность. История Союза городов, по определению соратников Челнокова, представляет собой картину постоянной борьбы за право на работу, отстаивание этого права и стремление к его расширению, ибо власть систематически противодействовала этой работе.

В июне 1916 года решение властей ужесточить процедуру разрешения съездов общественных организаций вызвало крайнее недовольство Челнокова. Он «был настроен очень воинственно» и готов к политическому, но легальному противодействию этому ужесточению. Общее, «канунное» состояние страны поддерживало его в весьма оппозиционной форме. Он вел настоящую осаду центральных и местных властей, требуя разрешения съезда ВСГ; поддерживал оппозиционные выступления Думы; а его письмо к М.В. Родзянко, в котором говорилось о необходимости создания наконец такого правительства, которое в единении с народом приведет страну к победе, стало широко известно в стране. Челноков остро чувствовал назревание революции и потому делал все от него зависящее, чтобы ее предотвратить.

В декабре 1916 года, вечером того дня, когда были разогнаны не разрешенные властями съезды общественных организаций, на квартире Г.Е. Львова собрались Челноков, М.М. Федоров (один из деятелей ВСГ и бывший министр торговли и промышленности), Н.М. Кишкин, Н.И. Астров. Присутствовал и представитель городов Кавказа А.М. Хатисов,

который так отразил ход собрания в своих неопубликованных воспоминаниях: «Обсуждали положение дел. Совещание длилось почти всю ночь. Князь Львов сообщил, что на фронте — ужас. Армия понимает, что она накануне краха, голода и без снарядов. Многие части требуют удаления царя. Присылают гонцов. Были названы части. При дворе недовольство. 16 вел. князей требуют удаления Распутина. Они подали царю записку. В Думе требуют удаления министров. Все чувствуют необходимость смены формы правления — корня всех дел. „Ответственное правительство“, — вот спасение... К утру и за день все члены съезда дали свое согласие на назначение кн. Львова председателем Совета министров, если будет создано ответственное министерство. Хотели организовать дворцовый переворот. Мне было поручено узнать лично отношение Великого князя Николая Николаевича к этому перевороту и согласен ли он принять корону царя, если совершится переворот? Еще не настало время для полного рассказа об этих разговорах (воспоминания написаны в 1925 году. — В.Ш.), но скажу лишь, что вел. князь воздержался действовать активно».

Челноков и Львов пытались воздействовать на высшую власть, изменить ее гибельный курс также через лорда А. Милнера: обрисовав положение в России, они прямо сказали ему, что вот-вот грянет революция. Челноков с большой симпатией относился к Англии и англичанам еще со времени своего визита в эту страну в 1909 году в составе думской делегации. В 1915-м он стал одним из отцов-основателей Общества сближения с Англией, нередко встречался с послом Великобритании в России Дж. Бьюкененом. За развитие русско-английских отношений английский король пожаловал Михаилу Васильевичу титул баронета и знаки ордена Подвязки.

Власть, однако, осталась глуха ко всем предостережениям общественных деятелей. В начале февраля 1917 года девятнадцать членов Особого совещания по обороне, и в их числе Челноков, потребовали провести заседание Особого совещания под председательством царя, чтобы обсудить общее положение в стране. Заседание должно было состояться 27 февраля. Революция пришла раньше.

27 февраля 1917 года М.В. Челнокову пришлось созвать в Московской городской думе совещание представителей общественности в связи с развившимися в стране событиями. 2 марта председатель Временного комитета Государственной думы М.В. Родзянко назначил Челнокова комиссаром Москвы. Но он оставался на этом посту лишь до 6 марта. В жизнь бурным потоком ворвалась революция с ее демократизацией. Челноков — реалист: как «цензовик» и «капиталист», он отказался в это революционное половодье баллотироваться на новый срок в городские головы. А в апреле сдал также полномочия главноуправляющего ВСГ (оставшись членом его Главного комитета).

Революция резко изменила общественно-политическое положение М.В. Челнокова. Он стал комиссаром Русского музея — этим назначением он был обязан Ф.А. Головину, теперь комиссару бывшего Министерства

«Из инстинкта государственности мы при-
нуждены были
вмешаться...»

императорского двора. На общероссийской арене Михаил Васильевич сверкнул еще раз как депутат Предпарламента, заседавшего 7–25 октября в Мариинском дворце, где раньше размещался Государственный совет.

Когда произошел Октябрьский переворот, Михаил Васильевич находился в Петрограде. Власти большевиков он не признал. Вернувшись в Москву, вошел в «Правый центр» — антибольшевистскую организацию, в которой состоял вплоть до 1918 года, до отъезда в Одессу вместе с семьей.

Годы Гражданской войны М.В. Челноков провел сначала на Юге России, затем, с 1919 года, — в Югославии. В Белграде стал одним из создателей Общества славянской взаимности и боролся за «восстановление России». Из Белграда 7 июля 1919 года он писал в Екатеринодар Н.И. Астрову: «Сущность моего пребывания здесь сводится к попытке использовать в интересах восстановления России всеобщее здесь сознание, что без великой России невозможен мир в Европе. Срединное положение Югославии, возможный ее союз с Чехией, влияние этой силы на Польшу — такие величины, которые заслуживают самого нашего пристального внимания тем более, что большевики и украинцы работают вовсю. Удивительно, как здесь мало знают о том, что такое большевики. Очень многие расположенные к России люди рисовали большевиков как апостолов равенства и справедливости, только немного обостривших процесс превращения России в царство небесное, что и вызывает отрицательное отношение к буржуазии. Мы работаем прежде всего для прочистки голов в отношении большевиков». И Челноков сообщает своему корреспонденту об огромной работе, которую ведут он и его соратники: каждый день во всех белградских газетах появляются заметки и перепечатки о России, устраиваются собрания, совершаются поездки в соседние города, а также в Боснию, Герцеговину, Черногорию, к хорватам и словенцам. К выпуску подготовлены несколько брошюр, впереди — поездки в Прагу и Варшаву. Челноков считал: «Мы в высшей степени на своем месте». Были у него и просьбы к Н.И. Астрову, в то время близкому к А.И. Деникину: «Вы не должны забывать, что украинцы и большевики работают вовсю и с огромными деньгами. Необходимо им оказывать противодействие, а для того нужны деньги. В распоряжении посольства должны быть значительные суммы для организации разъездов, печатания, пропаганды. Здесь почва благоприятна, и дело того стоит. Надо обеспечить не только настоящее, но и будущее. Скажите нашему министру пропаганды, чтобы сюда прислали несколько талантливых людей, истинных демократов, но без сантиментального флюса на левую сторону... Мое убеждение, что с Парижем лучше говорить из Белграда... и этим обстоятельством надо пользоваться».

После поражения Белого движения М.В. Челноков отошел от всякой политической деятельности и в своих письмах к Н.И. Астрову откровенно высказал свое мнение не только о будущем своих единомышленников и эмиграции, но и о будущем России. Уже 20 мая 1920 года он писал: «Во всяком случае, в них (в событиях, происходивших в России. — В.Ш.) не разберутся люди нашего типа, которые все оказались бессильны. Нужны

какие-то новые люди, а нам, грешным, следует законом запретить заниматься политикой, ибо в этом отношении все люди конченные. По отношению к себе я установил этот взгляд твердо и буду, пока еще могу работать, искать применения своих сил на других поприщах». А спустя девять лет он высказался конкретнее: «Все сообщенное тобой о Париже подтверждает заключение, к которому я давно пришел: эмиграция активной роли ни в перевороте, ни после него не сыграет. Перемены в России осуществляться лишь тогда, когда подрастет молодое поколение, не познавшее ужасов войны мировой и гражданской и способное к действию».

Сам Михаил Васильевич без остатка отдавал себя практической деятельности (работе в архивах, в Союзе городов и т.д.). И в 1931 году сообщал Астрову, с которым и в эмиграции сохранял дружеские отношения и вел постоянную переписку: «Курилка — Союз городов жив, хотя и на чужой почве. Не могу сказать с уверенностью, что это дело наше с Брянским, но капля меда нашего есть. Когда мы сюда приехали, и Союз городов стал здесь работать, сербы не понимали — что это за Союз городов, и приходилось давать пояснения... Союз городов в Югославии осуществлен, и программа нашего Союза городов, как мы ее понимали для после войны, здесь проводится почти целиком... Приятно читать (в газетах. — В.Ш.), как все умно и хорошо выходит. Это косвенный ответ на ваше печалование о том, что от наших учреждений ничего не останется».

Последние годы жизни М.В. Челнокова оказались тяжелыми. Не столько потому, что дореволюционные «зубры» досаждали своими нападка-ми и здесь, в эмиграции, сколько из-за тоски по дочерям, которые жили в Париже и с которыми он не виделся несколько лет, а также из-за тяжелой болезни. С 1926 года Михаил Васильевич страдал туберкулезом позвоночника и был прикован к постели. В русской больнице в Панчеве, лежа, он писал своим прекрасным бисерным почерком. И всего за три месяца до смерти, по просьбе А.И. Гучкова, подготовил очерк для предполагавшегося публичного собрания в память Н.И. Гучкова, который скончался 6 января 1935 года.

Сам М.В. Челноков умер в Панчеве 16 августа 1935 года. Собрание в его память и в память Н.И. Гучкова состоялось 28 ноября в Париже. Очерк прочитал бывший член Московской городской думы и единомышленник Михаила Васильевича В.Ф. Малинин. По словам Малинина, он стал «лебединой песнью» автора. Можно сказать, что это и его политическое завещание. «У русских нет гения компромисса, которым так сильны „просвещенные мореплаватели“. Русские забывают, что при столкновении двух сил возможна или средняя линия, спасающая обе силы, или крушение слабой, что и для сильнейшей даром не проходит». М.В. Челноков подчеркнул: история «ясно показывает, как необходимо единение, терпимость к противникам, как гибельны политические разногласия, когда они переходят в раскол и вносят в деловые общественные отношения ненужные обострения, страстность и взаимное непонимание». Он призывал общественных и политических деятелей помнить об этом.

«Из инстинкта государственности мы при-
нуждены были
вмешаться...»

ЕВГЕНИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ТРУБЕЦКОЙ

«Государство должно
быть не опекуном,
а миротворцем...»

Россию начала XX столетия, ее общественно-политическую и духовную жизнь невозможно представить без князя Евгения Николаевича Трубецкого (1863–1920). Без него она лишилась бы, может быть, самых ярких своих красок. Философ, правовед, публицист, политический, общественный и религиозный деятель — он везде, на каждом из этих поприщ, являлся фигурой первой величины.

Даже внешность Евгения Николаевича казалась особенной. Многих современников он поражал своей «породистостью, мужественной, степенной красотой, неподражаемой вибрацией речи, а главное, какой-то простой, изнутри исходящей, естественной силой своих убеждений и верований». Это был «живой, блестящий на слово человек». Не только его доводы, но просто он сам, его личность не могли не произвести впечатление. Как вспоминала А.В. Тыркова, в нем «было много природного шарма. Широкоплечий, стройный, с легкой юношеской походкой, он быстро проходил через толпу, высоко над ней нес свою красивую породистую голову. Умные темные глаза смотрели пристально и решительно. В этом философе, изучавшем Платона под сенью прадедовских лип и дубов, не было кабинетной тяжеловесности. Его так же легко было представить на коне в ратном строю, как и на профессорской кафедре».

Собственно, он всегда и оставался «в строю» — на передовой общественно-политической борьбы, в самом ее пекле, порой — в прямом смысле этого слова. В грозные 1905–1907 годы князь, по его собственным воспоминаниям, «почти круглый год провел в вагоне, ездил во время забастовок (на митинги, лекции. — В.Ш.), во время мятежей ходил и под пулями с опасностью для жизни (в Киеве в нас стреляли революционеры), запустил науку, потому что политика съела все». Но он «считал своим долгом ею заниматься и бросался в нее с самоотвержением», являясь «полной противоположностью, — как свидетельствует его сын, — тех отвлеченных философов, которые, как Гегель, спокойно писали философские трактаты под гром Иенских пушек, разрушавших их отечество».

Евгений Николаевич Трубецкой родился 23 сентября 1863 года в Москве, в семье, которая принадлежала старому княжескому роду, ведущему свое начало от Гедимины и давшему миру, как считают генеалоги, короля

Богемского, четырех великих князей, трех фельдмаршалов, двух адмиралов, многих генералов и сановников. Славу роду Трубецких принесли и Евгений Николаевич, и его брат Сергей, родившийся годом раньше: оба они стали выдающимися философами. В одно время с ними творил также их сородич, великий скульптор Паоло Трубецкой. В 1920–1930-е годы высоко взойшла звезда сына Сергея Николаевича — знаменитого лингвиста Н.С. Трубецкого.

Детские годы Е.Н. Трубецкой провел в памятном ему подмосковном имении Ахтырка. О своем ахтырском детстве он напишет в горячие февральско-мартовские дни 1917 года; эти воспоминания — «духовное завещание России будущей», если, по его словам, «эта Россия будущего еще будет способна не втоптать в грязь, а понять духовную красоту России ушедшей». Азы образования и прекрасную языковую подготовку Трубецкой получил дома. В одиннадцать лет, в 1874-м, он поступил в третий класс частной гимназии Ф.И. Креймана, затем — в пятый класс гимназии в Калуге. В 1881–1885 годах Евгений — студент юридического факультета Московского университета (кафедра философии и энциклопедии права).

Юность князя проходила в либеральной атмосфере его семьи. Особую роль в воспитании Евгения и восьмерых его братьев и сестер сыграла его мать, исключительно даровитый, тонкий и одухотворенный человек. Он тепло пишет о ней в своей книге «Из прошлого». Отец, Николай Петрович Трубецкой, был председателем Российского музыкального общества, всемерно помогавшим в создании Московской консерватории. В Ахтырку часто наведывались многие деятели культуры и особенно музыканты и композиторы: Н.Г. Рубинштейн, П.И. Чайковский и др. Н.П. Трубецкой «был человеком семейным, дворянской чести». Небольшой штрих: когда в 1879 году его брата Ивана посадили в долговую яму за неуплату карточного долга, Николай Петрович, чтобы выручить его, продал имение.

Евгений Николаевич и его брат Сергей уже в юные годы серьезно изучали философию, претерпев эволюцию от увлечения материалистическими идеями до начал «конкретного идеализма» (Сергей) и религиозной философии (Евгений). Философские эмпирии нисколько не отвлекали Трубецкого от реальной жизни. В 1885 году он поступил вольноопределяющимся в гренадерский полк, расквартированный в Калуге. Выбор места службы обусловлен тем, что в Калужской губернии находилось его имение — любимое Бегичево (917 десятин). В том же году князь Трубецкой сдал экзамены на офицерское звание. Сердце его, однако, принадлежало философии.

С апреля 1886-го он — приват-доцент Демидовского лицея (Ярославль). Следующий год, 1887, стал рубежным для Евгения Николаевича: он знакомится с Владимиром Сергеевичем Соловьевым, который стал его другом и оказал огромное воздействие на его философские взгляды и на мировоззрение в целом. Впоследствии Е.Н. Трубецкой опубликовал двухтомную монографию «Мирозерцание Вл.С. Соловьева» (1913) — труд, донныне считающийся одним из самых обстоятельных исследований творчества этого выдающегося философа.

Однако, принимая соловьевские идеи о «Всеединстве» и «Богочеловечестве», Евгений Николаевич вкладывал в них иное содержание. Так, он не разделял представление о единосущности Бога и мира, полагая, что Бог обладает полной свободой воли и отождествлять его с его творением невозможно. Не разделял он и мысли Соловьева о теократическом государстве, полагая, что следует разграничивать религиозно-нравственную и социально-экономическую сферы. Трубецкой понимал государство лишь как правовое и видел в нем ступень, в ходе исторического процесса ведущую к царству Божию, а не составную часть этого царства. Такая «ступень», по Трубецкому, ценна для общества и личности именно своим эволюционным совершенствованием: «Всякая положительная величина, хотя и малая, должна быть предпочтена полному ничтожеству». Среди многих других отличий в философских представлениях Соловьева и Трубецкого важны также отличия в понимании такой философской категории, как свобода. Свобода у Трубецкого — основа деятельности личности. У Соловьева отношения между Богом и человеком основаны на любви, а у Трубецкого — на свободе выбора, которая есть источник не только добра, но и зла. Человек сам выбирает свой путь и несет ответственность за зло в мире. Поэтому София у Трубецкого — не посредница между Богом и миром, а идеальный замысел о мире, который человек может признать или отвергнуть. Эти религиозно-философские представления легли в основу мировоззрения Трубецкого, которое определяло и его политические позиции.

Обе его диссертации посвящены теократическому идеалу западноевропейского христианства. Магистерская называлась «Религиозно-общественный идеал западного христианства в V веке. Миросозерцание блаж. Августина» (1882), докторская — «Религиозно-общественный идеал западного христианства в XI веке. Идея царства Божия у Григория VII и публицистов его времени» (1897). Трубецкой считал, что, несмотря на односторонность и законничество вероучений средневековых отцов церкви, западная церковь нередко вносила мир и единство в хаос средневековых политических сил, давая европейским народам возможность сохранить плоды общечеловеческой культуры среди окружающего варварства. Отсюда его представления о том, что эту высокую миссию христианская церковь должна осуществлять и в современном мире. Она может это сделать, если сбросит с себя зависимость от светской власти. Трубецкой постоянно развивал эту мысль и лично участвовал в попытках ее реализации (в 1906 и 1917–1918 годах). Его перу принадлежат не только исследования философско-религиозного характера, не только работы о древнерусской религиозной живописи («Умозрение в красках», «Два мира в древнерусской иконописи», «Россия в иконе»), но и такие философские труды, как «Философия Ницше», «История философии и права», «Социальная утопия Платона», «Метафизические предположения познания. Опыт преодоления Канта и кантианства», «Смысл жизни» и др.

Вместе с защитой диссертаций менялось и служебное положение Трубецкого. В 1894 году он стал приват-доцентом, в 1897-м — ординар-

ным профессором Киевского университета, в 1906-м — профессором Московского университета. Но еще до защиты магистерской диссертации произошло изменение в его личной жизни. В 1889 году Евгений Николаевич женился на княжне Вере Александровне Щербатовой, с которой у него было трое детей — Сергей, Александр и София. О тесте Трубецкого, А.А. Щербатове, первом выборном всеобщем городском голове Москвы, проникновенные строки написал патриарх либерализма в России Б.Н. Чичерин — человек, чуждый всякой комплиментарности. По его словам, Москва нашла в Щербатове «человека, который способен соединять вокруг себя все сословия, русского барина в самом лучшем смысле, без аристократических предрассудков, с либеральным взглядом, с высокими понятиями о чести, неуклонного прямодушия, способного понять и направлять практическое дело, обходительного и ласкового со всеми, но тонко понимающего людей и умеющего с ними обращаться». Чичерин, когда ему приходилось решать какой-нибудь практический вопрос, особенно требующий нравственной оценки, «ни к кому не обращался за советом с таким доверием, как к Щербатову». Е.Н. Трубецкой вполне соглашался с оценкой, данной Чичериным, которого очень высоко ценил как философа, либерального деятеля и человека; в 1904 году он написал о нем небольшую книгу. Вместе с женой и детьми Трубецкой подолгу гостили у тестя в Наре, имении в Вере́йском уезде Московской губернии.

На рубеже веков в России оживилось освободительное движение, и Е.Н. Трубецкой, как земец, принимает в нем деятельное участие, входит в кружок «Беседа». В начале XX века он — один из самых ярких идеологов российского либерализма. В 1901 году Трубецкой выступил автором критической статьи о марксизме («К характеристике учения Маркса и Энгельса о значении идеи в истории») в сборнике «Проблемы идеализма», в котором произошло «обращение» лидеров легального марксизма во главе с П.Б. Струве в «либеральную веру». Огромный резонанс получила его статья «Война и бюрократия» (Право. 1904. № 39). В ней, впервые в легальной прессе, названа причина всех неудач страны — многолетняя косность российского общества, живущего «по произволу всевластной бюрократии, словно в дортуаре участка». Широко известны статьи Е.Н. Трубецкого «Крахи», «Церковь и освободительное движение» и др. В работе о церкви сказано, что русское духовенство может «колокольным звоном возвестить всеобщий праздник обновления» и радоваться успехам оппозиции. Для этого оно должно отрешиться от казенной власти и бесстрашно обличать правительственную неправду.

Уже в эти годы Евгений Николаевич стал одним из провозвестников и организаторов соби́рания либеральных сил. У него и его брата Сергея осенью 1904 года возникла мысль основать еженедельную политическую газету в целях консолидации общественности. Этой газетой стала «Московская неделя» во главе с князем С.Н. Трубецким и его помощником А.А. Корниловым. Евгений Николаевич принял самое активное участие в работе редакции. Предполагалось, что читателями «Московской недели»

«Государство должно быть не опекуном, а миротворцем....»

станут деятели местного самоуправления, либеральная часть профессуры и студенчества; ее тираж должен был составить 6000 экземпляров. В марте — апреле 1905 года прошли заседания редакции, определившие общую политическую платформу издания: конституционная монархия с двухпалатным народным представительством, дополнительное наделение земель малоземельных крестьян и т.д. Однако по многим вопросам в рамках этой программы редакция разделилась на «антирадикальное» руководство (братья Трубецкие, С.А. Котляревский) и «радикалов-конституционалистов» (Д.И. Шаховской, Петр Д. Долгоруков, И.И. Петрунkevич). Яблоком раздора послужили вопросы о прямой и двухстепенной подаче голосов, о принципе принудительного отчуждения земли, об отношении к левым партиям и др. Евгений Николаевич, в частности, возражал против прямых выборов и против «искательства» слева, заигрывания с революционерами. Несмотря на эти коллизии, надежда прийти к согласию не пропала. В марте 1905 года власти разрешили газету, и в мае было набрано три номера. В них проводилась мысль о необходимости созыва законодательного представительства как залого внутреннего мира. Но печатать газету цензура не разрешила, а против редактора С.Н. Трубецкого было начато судебное преследование за критику государственного строя. Газету пришлось закрыть до лучших времен. Энергия братьев Трубецких пошла в основном по руслу земских съездов. На июльском съезде Сергея Николаевича избрали в депутацию к царю. Его речь на монаршем приеме по форме была скорее умеренной (хотя и прогремела на всю страну), но по содержанию — либерально-оппозиционной. Об истинном отношении С.Н. Трубецкого к самодержцу свидетельствуют его слова, произнесенные в кругу единомышленников: «Поросенок, давай нам конституцию». Однако до конституции сам князь С.Н. Трубецкой не дожил: первый выбранный ректор Московского университета скончался 29 сентября 1905 года в приемной министра просвещения.

Евгений Николаевич глубоко переживал эту утрату. Политической же его энергии вместе с головокружительным ходом революционных событий только прибывало. В резко обострившейся в 1905–1907 годах политической борьбе он выступал за идею конституционной монархии в России — прежде всего с либерально-христианских позиций. Ведь самодержавие не считается с личностью, и только в правовом государстве обеспечиваются как индивидуальные права и свободы, так и общественное благо, что соответствует категорическому императиву. Е.Н. Трубецкой проповедовал мирное, эволюционное развитие страны и чрезвычайно важной для этого развития считал внутреннюю работу личности, ее самовоспитание и обретение нравственной, гражданской и общественной позиции. Наиболее близка ему была программа Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы) по политическому, социальному и экономическому преобразованию России. Он стал не только одним из ее создателей, но и одним из руководителей в первые месяцы ее существования.

Бурный процесс возникновения либеральных политических партий, повышенная активность либералов в октябре 1905 года во многом связаны с «дарованием» Манифеста 17 октября, который общественность приветствовала как шаг на пути превращения России в конституционную монархию. Тогда, впервые в истории страны, представители общественности получили возможность войти в правительство. В переговорах об участии либералов во власти, начатых С.Ю. Витте, наряду с Д.Н. Шиповым, А.И. Гучковым, С.Д. Урусовым и другими участвовал и князь Е.Н. Трубецкой. Витте предложил ему пост министра просвещения, так как Трубецкой, по его определению, «пользовался в университетской среде прекрасной репутацией». По словам П.Н. Милокова, Трубецкой хотел стать министром, но решил обсудить это предложение со своими партийными коллегами. Сам Милоков считал: во-первых, Трубецкой не подходит для этой роли, а во-вторых, «его согласие было бы нарушением принятой нами общей политической линии». Тем не менее Трубецкой встречался с Витте. Премьер-министр вспоминал потом: когда он начал объясняться с Трубецким, то «сразу раскусил эту натуру»: «Она так открыта, так наивна и вместе с тем так кафедро-теоретична, что ее нетрудно сразу распознать с головы до ног. Это чистый человек, полный философских воззрений, с большими познаниями, как говорят, прекрасный профессор, настоящий русский человек, в неизгаженном (Союз русского народа) смысле этого слова, но наивный администратор и политик. Совершенный Гамлет русской революции. Он мне, между прочим, сказал, что едва ли он вообще может быть министром, и в конце концов я не мог удержаться восклицания: „Кажется, вы правы“».

Е.Н. Трубецкой все-таки продолжал участвовать в общих переговорах до конца. Только 27 октября Гучков, Шипов и он решили сообщить Витте о своем окончательном решении отказаться от переговоров, намереваясь написать об этом специальные «открытые письма». Письмо Трубецкого опубликовано 28 октября в либеральной газете «Наша жизнь». Он и другие либералы хотели бы войти в правительство для реальной работы, в то время как власть видела цель переговоров в том, чтобы общественные деятели, по словам Витте, помогли «своей репутацией успокоить общественное волнение». Но даже и этот «эффект» от вступления либералов в кабинет становился невозможным потому, что пост министра внутренних дел предназначался П.Н. Дурново, реакционеру в глазах общественности, а сами они (приемлемые лишь без своей программы и без всяких гарантий) остались бы в правительстве в одиночестве. Трубецкой воспринимал приглашение серьезно, как желание власти пойти на уступки обществу, и, соответственно, излагал премьеру свои взгляды на участие в кабинете. Вот почему он и казался Витте «наивным администратором и политиком». Князь действительно был «Гамлетом». В его случае в наиболее контрастной форме проявилось очевидное противоречие: между искренним желанием либерала пойти на компромисс с властью, верой в разумность самой власти — и проявившимся неразумием этой власти,

«Государство должно быть не опекуном, а миротворцем...»

ее самоубийственным отказом от сотрудничества, гибельным для государства. Можно сказать, что «Гамлетом» был в последнее десятилетие романовской империи весь российский либерализм в целом. Все попытки его представителей добиться соглашения с властью каждый раз терпели неудачу из-за ее решительного, но близорукого отказа считаться с общественным мнением, идти на уступки обществу.

Неудача переговоров не оборвала контактов Витте с либералами: подготавливая новый избирательный закон, правительство привлекло к этому и общественных деятелей: Д.Н. Шипова, А.И. Гучкова, М.А. Стаховича, С.А. Муромцева и Е.Н. Трубецкого. Либералы предложили свой проект, основанный на принципах всеобщего избирательного права, и пытались защитить его на заседании Совета министров 19–20 ноября 1905 года. Однако значительно поправевший премьер С.Ю. Витте, а за ним царские сановники А.Д. Оболенский и П.Н. Дурново категорически выступили против.

После начавшегося вскоре декабрьского вооруженного восстания в Москве поправили и многие либералы, в том числе и Е.Н. Трубецкой, причем настолько, что в январе 1906 года он даже вышел из кадетской партии — из-за ее нежелания проводить «точную границу налево». Проблема точного определения союзников и противников остро чувствовалась в обществе в начале 1906 года, в связи с предстоящими выборами в I Государственную думу. Трубецкой опасался, что Дума «соберется слишком поздно, чтобы предупредить готовящиеся к весне беспорядки».

Именно тогда, в начале 1906 года, Е.Н. Трубецкой проявляет особую энергию, пытаясь консолидировать либеральные силы. Для этого он реанимирует идею, теперь уже с другим своим братом, Г.Н. Трубецким, об издании умеренно либерального печатного органа в качестве центра такой консолидации. В январе по предложению Е.Н. Трубецкого был учрежден Клуб независимых; при нем решили издавать журнал, который бы послужил ядром для возникновения либеральной партии центра. 3 февраля на собрании Клуба независимых Е.Н. Трубецкой предложил программу будущего издания; «Московский еженедельник» и стал рупором умеренных либералов в России. Он давал ту политическую программу, на которой, как верилось его инициатору, произойдет объединение сил истинных конституционалистов. Деньги на еженедельник, помимо его редактора-издателя Е.Н. Трубецкого, давали А.С. Вишняков, М.К. Морозова, Ю.А. Новосильцев, В.П. Рябушинский, С.И. Четвериков, А.И. Коновалов — известные либералы и предприниматели. В редколлегия вошли князья Трубецкие, П.Б. Струве, В.А. Маклаков, Н.Н. Львов и др. Первый номер «Московского еженедельника» вышел в Москве 7 марта 1906 года — как раз в разгар избирательной кампании в I Государственную думу. В начальных номерах журнала проводилась мысль, что «для правительства согласие с Думой — единственный способ предупредить кровавую революцию».

Е.Н. Трубецкой принял активное участие в избирательной кампании в Думу и был выдвинут в выборщики от Конституционно-демократической партии. В марте 1906 года он с удовлетворением констатировал, что

граница кадетов налево обозначилась яснее и рельефнее. В печати и на собраниях Трубецкой призывал избирателей отдавать партии свой голос. Стремясь обеспечить опору кадетам в демократических массах, «Московский еженедельник» с похвалой отзывался об антибойкотистских статьях Г.В. Плеханова и звал избирателей, отставив теоретические споры, поддержать кадетские списки с участием рабочих. По мнению журнала, присутствие рабочих депутатов в Думе «является серьезным залогом мирного законного развития рабочего движения, на что вряд ли можно было бы надеяться, если бы не сделано было попыток ввести это движение в общее русло народного представительства».

Вместе с тем Е.Н. Трубецкой опасался административного произвола на выборах и их фальсификации, чреватых потерей доверия населения к Думе, которую многие в России рассматривали как главное спасение от революции. После открытия Думы Е.Н. Трубецкой уделял ее работе первостепенное внимание. Ему очень не нравилось, что она превращается в «Думу народного гнева», хотя кадеты представляли в ней самую многочисленную фракцию. Трубецкой пытался бороться против того, что находил у них нежизненным, надуманным, вредным. Он уговаривал составить «ответный адрес» императору в более примирительном тоне, «искать точек сближения, а не расхождения с правительством, попытаться с ним сотрудничать».

Но не из-за «адреса» Е.Н. Трубецкой отошел от кадетов, среди которых у него было много старых друзей. Его оттолкнуло отношение партии к революционному террору. Трубецкой считал, что Дума обязана вынести моральное осуждение террористам, убивавшим мелких и крупных агентов власти. Он настаивал, что этого осуждения «требуется народная совесть». Дума не может работать, пока не наступит в стране успокоение, и в этом она обязана помочь правительству. Но на все моральные и правовые доводы он неизменно получал один ответ: «Пусть правительство сначала прекратит свой террор, а там посмотрим».

Князь отвернулся от кадетов и обратил взор на мирнообновленцев во главе с графом П.А. Гейденом. Они пытались создать в Думе конституционный центр и внушить парламенту необходимость осуждения террора как «слева», так и «справа» — и со стороны революции, и со стороны реакции, — с тем чтобы страна пошла наконец по мирному, эволюционному пути. Со времени «перводумья» политические симпатии Е.Н. Трубецкого оставались с этой группой, а «Московский еженедельник» стал выразителем ее взглядов.

Роспуск I Думы вызвал у Трубецкого чувство «оскорбления и возмущения». Этот шаг правительства он рассматривал как «высший из всех актов безумия» — им оказалась «загублена последняя надежда на мирное обновление Родины», нанесен «страшный удар монархической идее». И Трубецкому уже виделись вооруженные восстания и кровавая пугачевщина. В народных массах, полагал он, наряду со многими положительными качествами, дремлют и «животные инстинкты»: кровожадность,

«Государство должно быть не опекуном, а миротворцем...»

алчность, злоба, человеконенавистничество. «Друзья народа» разжигают эти инстинкты и затем отдают на растерзание чужую собственность, а часто — и личность. В крайней «ажитации», Е.Н. Трубецкой посылает письма Николаю II и Столыпину, сменившему Горемыкина. «Престол в опасности, — заявляет он царю. — Русская социалистическая марсельеза начинает вытеснять народную песнь». «Как монархист и землевладелец», он откровенно говорил царю и премьеру: в деле защиты имущественных интересов «сила в Ваших руках оказывается никуда не годным оружием». Прекратить смуту, по его мнению, мог только незамедлительный созыв новой Думы, призыв общественных деятелей в министерство и осуществление аграрной реформы с учетом принципа принудительного отчуждения земли.

Наверное, в тот момент Трубецкой еще преувеличивал опасность революции для судеб монархии. Причиной послужил и собственный опыт, когда ему пришлось побывать и под пулями революционеров, и «в осаде» в родном имении, когда ему и его сыну Сергею приходилось спать, положив рядом оружие. Но в целом перспективу он угадал правильно, предвосхитив будущее и престола, и России.

Со словами умиротворения Е.Н. Трубецкой обращался и к «пострадавшей стороне», бывшим думцам, съехавшимся в Выборг. Трубецкой явился туда вместе с мирнообновленцами М.А. Стаховичем и Н.Н. Львовым и изво всех сил отговаривал народных избранников от рокового шага — принятия Выборгского воззвания. У него теплились еще надежды на создание «общественного министерства», переговоры о котором начались еще во время I Думы. Тогда Трубецкой выступал за призыв в кабинет кадетских лидеров (Милюкова, Петрункевича). После роспуска Думы власть (прежде всего Столыпин) вела переговоры с умеренными либералами — Гейденом, Шиповым, Г.Е. Львовым. Среди возможных кандидатов на министерские посты назывался и Е.Н. Трубецкой — в качестве обер-прокурора Святейшего синода. Он был тогда уже признанным, авторитетным специалистом в церковных вопросах, в 1906 году участвовал в работе Предсоборного присутствия, призванного подготовить церковную реформу. Однако и на этот раз очередная попытка переговоров закончилась безрезультатно: как только в правящих сферах прошел страх перед возможностью революционного взрыва после роспуска Думы, так миновала и потребность в ширме «общественного министерства».

В ходе новой предвыборной кампании Е.Н. Трубецкой выступал уже под знаменем «мирного обновления»: ему казалось, что будущая партия может сплотить всех истинных конституционалистов и предотвратить разгром конституционалистов на выборах. Князь стремился консолидировать либеральные партии в единый предвыборный блок под мирнообновленческим флагом. Он выступал и против левоблокистской тактики революционеров, и против вмешательства администрации в выборы, и против репрессивной политики правительства, толкнувшей демократических избирателей влево. В таком их уклоне Трубецкой винил и кадетов: под-

писание Выборгского воззвания привело к исключению из избирательного процесса многих выдающихся членов партии, а это ослабило ее противодействие левым. Евгений Николаевич надеялся, что правительство прозреет и отменит «бесполезные стеснения мирной оппозиции», и она сможет широко развернуть свою работу.

Однако правительство оставалось верным себе, а сюрпризы преподносили либералы. В их среде, вместо чаемого мирнообновленцами сближения, набирали силу центробежные тенденции. Октябристы резко взяли вправо, почувствовав «токи» от своей «социальной базы», напуганной революцией. В августе их лидер А.И. Гучков открыто одобрил введение военно-полевых судов. В «Русских ведомостях» от 2 сентября 1906 года Трубецкой вступил с ним в полемику, направив «открытое письмо» (к этому жанру политической публицистики он прибегал не раз, адресуясь к М.М. Ковалевскому, П.Н. Милюкову, М.М. Федорову и др.). Вождя октябристов Трубецкой обвинил в забвении принципов либерализма, в отказе от реформ, в потворстве военно-правительственному методу подавления революции. Единственное, что подсластило ему горечь сползания октябристов вправо, — это переход части левых октябристов в сформировавшуюся наконец Партию мирного обновления (ПМО).

В Центральный комитет новой партии вошел и князь Е.Н. Трубецкой, который сделался ее глашатаем и с «катоновским» упорством выступал за создание конституционного центра в стране и в Думе. Он стремился подвинуть российский либерализм к преодолению политической слабости, к обретению способности «стоять на собственных ногах», а «не искать союзников и хромать то на ту, то на другую ногу» — то надевать «маску поддельного радикализма» (камешек в кадетский огород), то угодническую маску «чего изволите» (упрек октябристам). Трубецкой считал, что либерализм должен перестать светить отраженным светом; он должен стать наконец самим собой, сильным и независимым, преодолевшим свой левый и правый уклоны, объединившим истинных конституционалистов — всех тех, кто борется на «два фронта»: против революции и реакции, против любого насилия, откуда бы оно ни исходило.

23 декабря 1906 года Е.Н. Трубецкой выступил с лекцией об идейных основах ПМО на «политическом турнире», организованном мирнообновленцами. По решению ЦК партии пригласительные билеты разослали всем значительным политическим организациям. Прежде всего Трубецкой подчеркнул: его партия осуждает и правительственный террор (смертные казни), и революционный (политические убийства). ПМО впервые развернула знамя ценности человеческой личности во всей его широте, не терпящей ограничения. И в этом она — последовательная выразительница ярких заветов освободительного движения, которое совершалось и совершается во имя ценности человеческой личности. Во имя этого начала освободительное движение восставало против самодержавного строя с его узким национализмом, с его сословной исключительностью. Всеми своими выступлениями оно свидетельствует, что для него «дорог

«Государство должно быть не опекуном, а миротворцем...»

человек как таковой», независимо от его национальности и общественного положения, что оно не терпит умаления человеческого достоинства.

Оратор говорил, что мир племенной и мир классовый приобретают прочную основу только в том государстве, для которого ценна всякая душа, «без различия иудея и эллина». Для нас, утверждал Трубецкой, ценен только тот мир, который «возносит государство на сверхплеменную и сверхклассовую точку зрения», — тот мир, где каждый обретает свое право человека и гражданина. Для разрешения национального вопроса необходимо равноправие, чтобы каждое «племя» имело возможность жить согласно со своими воззрениями, верованиями, вековыми преданиями. Эта свобода культурного самоопределения каждого племени невозможна без широкого местного самоуправления.

В России предстоит осуществить и мир классовый, социальный. По мысли Трубецкого, есть два способа бороться против анархии. «Путь железа и крови», которым идет правительство, уже испытан: он ведет к Цусиме, а после нее — к революции. Второй путь прекращения междоусобия — широкие и смелые демократические реформы. Как для мира племенного надо отрешиться от узкого национализма, так и для мира всеобщего, междуклассового нужно отрешиться от классового эгоизма. Для мира всенародного мало уравнивания в правах всех граждан. Нужно энергичное вмешательство государства: оно должно прийти на помощь обездоленным классам — рабочим и сельскому населению. Трубецкой ратовал за отвод земли безземельным земледельцам и за расширение площади землевладения малоземельного населения, высказал безусловно отрицательное отношение к национализации земли не только полной, но и частичной. Основной задачей он считал развитие мощного мелкого землевладения. Мелкая собственность, по его словам, «неоценима по своему влиянию на народную психологию»: она воспитывает в массах сознание личной независимости. «Если вы хотите сделать крестьянина свободным гражданином, дайте ему собственность». Государство должно быть «не опекуном, а миротворцем»: оно должно стать между помещиками и крестьянами, между предпринимателями и рабочими и властной рукой прекратить братоубийство. Обеспеченным классам придется пожертвовать теми выгодами, которые противоречат справедливости. Но пусть они помнят, предостерегал он, что только такое вмешательство государства может оградить их справедливые интересы.

Говоря о мире международном, Трубецкой указывал, что внешние опасности коренятся для России в ее внутренней неурядице. Правительство, которое идет против всех и восстанавливает всех против себя, не в состоянии обеспечить стране и почетного мира во внешней политике. Государство, где междоусобная война грозит ежеминутно вспыхнуть, где в тылу действующей армии могут возникнуть волнения, мятежи, железнодорожные забастовки, незащищено против иноземного вторжения. Это и создает опасность войны. Шансы на мир ослабели оттого, что страна стала легкой добычей: «Наша слабость — не в отсутствии физической

силы, а в нашем внутреннем раздоре и разладе. Сильным и могущественным может быть не рассыпанная храмина, не государство, готовое распасться на части, а Россия, внутренне объединенная, собранная в единое живое целое».

Для осуществления всех видов мира требуется, считал Трубецкой, одно необходимое условие — полное обновление государственного строя на конституционных началах. Но столыпинский способ управления, по его представлению, означает нескончаемый, хронический «племенной раздор», раздор между классами. Правительство пытается внести раздвоение в самую крестьянскую среду: «Что такое знаменитый указ об общине, как не попытка поставить богатые классы против бедных, отдать общинные земли в виде взятки на растерзание кулаку!» Только правительство, облеченное доверием народного представительства, займет иное положение, сможет собрать и умиротворить Россию, восстановить связь между безответственным монархом и народным представительством. Тогда и монархическая власть вознесется на ту внепартийную высоту, которая служит оплотом величия престола и всеобщего к нему уважения. И Трубецкой так закончил свое выступление: «Мир племенной, мир классовый, мир международный — вот цель наших стремлений».

Начались прения, сосредоточившиеся на вопросах об отношении к смертной казни, к политическим убийствам, к правительству. В речи кадетского лидера Милюкова элемент партийного самоопределения преобладал над лозунгом предвыборного единения. Народный социалист В.А. Мякотин резко полемизировал с Трубецким и призывал собравшихся отдавать голоса не ПМО, а более левым партиям. Октябрист Ю.Н. Милютин пытался залучить Трубецкого в «Союз 17 октября», но Трубецкой заявил о невозможности единения с партией, утерявшей свою «либеральную хартию».

Похоже, ожидаемого эффекта от публичного заявления своего кредо у мирнообновленцев не получилось. Ни октябристы, ни кадеты не разделяли взгляды ПМО. Н.М. Кишкин, например, заявил на одном из заседаний кадетского ЦК: «Мы не должны делать того... о чем трубят кн. Трубецкой, — мы не станем октябристами». И в целом ход избирательной кампании оказался печальным для ПМО. В первом номере «Московского еженедельника» за 1907 год Трубецкой уже указывал на «грозную опасность... провала центра».

Действительно, во II Думе даже кадетов значительно поубавилось, а мирнообновленцы и вовсе представляли в ней эфемерную величину. Впрочем, для самого Трубецкого начало 1907 года принесло избрание — правда, не в Думу, а в Государственный совет (от Академии и университетов), где он заседал с февраля 1907 до августа 1908 года. О членах этой второй палаты российского парламента Трубецкой неизменно отзывался как о консерваторах, губящих всякое живое дело. Неудивительно, что он пристально следил за работой II Думы, надеясь, что в ней, несмотря на ее левый состав и слухи о неизбежном роспуске, все-таки сложится

«Государство должно быть не опекуном, а миротворцем...»

конституционный центр и народное представительство станет работоспособным. В мае он констатировал: «Кадеты движаются направо, октябристы — налево, постепенно приближаясь друг к другу». Некоторым образом обнадежило его выступление в Думе Столыпина 10 мая 1907 года. Декларация премьера, на его взгляд, «превзошла все ожидания» — она давала возможность соглашения либералов с правительством: «Всякий, кто не хочет новых потрясений, должен искать способы соглашения с правительством». Даже после роспуска II Думы князь продолжал считать, что в ней складывалось работоспособное ядро, и если бы правительство пошло навстречу и обнаружило склонность делать хоть какие-нибудь уступки, центр без всякого усилия должен был численно увеличиться и окрепнуть. Вот если бы этого не случилось — тогда правительство имело бы полное основание распустить Думу.

Свою идею фикс — создание сильного центра в парламенте — Е.Н. Трубецкой развивал и накануне созыва III Думы, считая, что надо воспользоваться всеми теми шансами, которые дает новый избирательный закон. Кадеты и октябристы, полагал он, призваны не враждовать между собой, а дополнять друг друга. Шагом к этому Трубецкому показалось создание при Клубе октябристов «лекционного комитета», в который он вошел. Однако никакие «лекции» не помогли мирнообновленцам — они не имели влияния в стране. В конце концов и Трубецкой скрепя сердце вынужден был признать это, заявив: «В данный исторический момент „мирное обновление“ может быть сильно и влиятельно лишь в качестве направления, а не в качестве политической партии». Предвидя проправительственный, «господский» характер будущей Думы, он призывал ее с удвоенной шепетильностью относиться к «интересам бедных классов и инородцев» и идти по пути реформирования страны, что достижимо лишь при совместной работе кадетов и октябристов и при понимании правительством необходимости проведения реформаторского курса.

Но уже в начале работы III Думы князь Трубецкой оказался вынужденным резко критиковать правительство: «И как раз теперь, когда революционная волна упала, реформы отходят на второй план: вместо этого подчеркивается необходимость репрессий». В новой Думе мирнообновленцы слились с прогрессистами, и Трубецкой внимательно следил за процессом роста и развития «прогрессивной группы».

В эти годы он много времени уделял «Московскому еженедельнику», где пышным цветом расцвела идеология, которую он и сам определил как «веховскую». 26 августа 1910 года в письме к своей возлюбленной Маргарите Кирилловне Морозовой (вдове фабриканта Морозова), субсидировавшей журнал, Трубецкой обронил многозначительную фразу: «„Вехи“ имели огромный успех, хотя питались крохами с нашего стола». А годом раньше и Маргарита Кирилловна писала ему: «Я вижу, как понемногу начинает пробиваться в сознании то, что Вы говорили первый. „Вехи“ это особенно подтверждают... Всеу этому Вы положили начало (в «Московском еженедельнике». — В.Ш.), и Вами все это держится и направляется».

Действительно, знаменитые авторы «Вех» активно сотрудничали и с «Московским еженедельником» (С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, П.Б. Струве). Е.Н. Трубецкой и сам много писал в журнал о российском либерализме, о внутренней политике правительства, об актуальных проблемах общественно-политической жизни, о тактике и идеологии левых партий, о философии, религии, политике и многом другом.

Особенно близка ему была религиозно-философская тематика. Многие его письма к Морозовой — о мировоззренческих исканиях. Ученый-философ, политик и в высшей степени религиозный человек органично сливались в нем в единое целое. Явления жизни он оценивал с точки зрения религии; даже марксизм представлялся ему как одна из «многих аберраций религиозного сознания». Идеи Е.Н. Трубецкого считал «первоначальным фактором исторического развития». Он верил в «Богочеловечество как начало, середину и конец мирового процесса». Естественным для него был религиозно-этический подход к политике: «Религия должна охватить человека целиком, воплощаться во всех делах его, следовательно, и в политической деятельности». Но религиозность в политике, по его мнению, выражается не в слиянии ее с верою, а в ее подчинении последней. Это не есть отказ от руководящего влияния на мирскую политику, напротив, «чем выше поднимается церковь над мирскими отношениями, тем глубже и радикальнее будет проникать в мир ее влияние». Он считал, что это особенно верно для страны, погруженной в хаос революции: «В нашем огромном общественном теле только универсальные начала христианской культуры могут объединить разрозненные классы и национальности». И здесь Трубецкой вновь и вновь возвращается к критике Соловьева, который, по его мнению, «считает государство частью тела Христова и требует, чтобы оно походило на церковь!». «Если довести эту мысль до конца, — писал Евгений Николаевич М.К. Морозовой, — то получится нечто ужасное: такое государство должно исключить из себя всех иноверцев... В результате без деспотической власти и без инквизиции в самом средневековом смысле для осуществления такого государства не обойтись. Соловьев этого не понимал». И в другом письме к Морозовой в июне 1909 года он сообщает: «Мне удастся доказать, что теократическая мечта Соловьева не что иное, как последний остаток славянофильства». Трубецкой считал, что идея народа-богоносца осуществится в чем угодно, только не в «соловьевской теократической империи». Он отвергал непосредственное вмешательство церкви и духовенства в политику, считая «единственно религиозным то отношение к церкви, которое строго ограничивает ее от всяких партий; и не только партий, но от самой мирской политики». С этих позиций он выступал всегда, участвуя и в работе «Предсоборного присутствия», и, спустя более десяти лет, в Поместном соборе Русской православной церкви. В приватном письме к Морозовой в 1909 году Трубецкой поведал о том главном, что было в его жизни, о самом ее смысле: «Я все-таки вижу здесь на земле огромную задачу — готовить эту самую землю к преобразению. Только все-таки это не будет Боговластие, потому что внешним

«Государство должно быть не опекуном, а миротворцем...»

образом до конца мира Бог еще не будет царствовать. Внешним образом будет скорее торжествовать зло». Прозревая грядущее, он пишет: «Возможно, что в будущем нам придется пройти через серию внешних неудач и бед — чтоб возгорелся в нас небесный огонь. Удачи чаще всего заставляют народ забыть о религии. Я боюсь, что русский народ только тогда сможет исполнить религиозное назначение, когда ему на земле станет уж очень плохо».

Многолетняя и в высшей степени интенсивная политическая и публицистическая деятельность, особенно изнурительная из-за отсутствия видимых положительных результатов, угнетала, истощала и обессиливала Евгения Николаевича. Становилось все более ясно, что его детище, «Московский еженедельник», выразитель умеренно либеральных идей, — не популярен, не имеет отклика в России. Просуществовав еще около года словно по инерции, журнал закрылся. По словам Трубецкого, «последние годы доказали, что Христа земля не принимает и, во всяком случае, в себе не удерживает. Земля не готова еще». Все развивается стихийно, по каким-то путям, логика которых ускользает от нашего ума: «Смотришь и наблюдаешь и ничего не можешь понять и предвидеть». 7 августа 1910 года Трубецкой сообщает Морозовой: «Получил письмо от Струве. Он пишет между прочим: „Обидно, что такой флаг, как „Московский Еженедельник“, оказался спущенным“. И комментирует: „Мне не столько обидно, сколько жалко: уж очень много хорошего связано для меня с этим флагом... От всей души надеюсь, что это будет не уничтожение, а превращение». Спустя неделю он продолжает: «Писать о чем-либо текущем я сейчас не могу без насилия над собой, которое не окупается результатом!» Евгений Николаевич отдает себе отчет в том, что журнал не вполне соответствовал потребностям времени: «Прекращение „Московского еженедельника“ — не простая случайность. Если бы он оказывал глубокое влияние и был необходим, мы, вероятно, нашли бы способы его продолжить. А что он не влиял — это обуславливается не одной общественной психологией, но и причинами более глубокими. Чтобы оказывать глубокое духовное влияние, мысль должна углубиться. Должны зародиться новые духовные силы», публицистика должна осветиться философией и углубленным религиозным пониманием. Он был убежден, что «философия — первая задача, а публицистика — вторая или даже третья!». Трубецкой «пережил» неудачу «Московского еженедельника» и весь ушел в работу: «Со страхом и радостью перед великой ответственностью пишу главу о Богочеловечестве и чувствую, что необходимо в это уйти с головой. Работаю много и с величайшим наслаждением. Это главное... В общем стало легче».

В 1910 году князь Трубецкой стал инициатором и участником книгоиздательства «Путь», в которое много средств вкладывала М.К. Морозова, писавшая: «Ты очень сочувствуешь „Пути“, но это для тебя не близко, а для меня это кровное дело». Он продолжал участвовать в работе Московского психологического общества при Московском университете и в Религиозно-философском обществе памяти В. Соловьева.

Однако Е.Н. Трубецкой не был бы собой, если бы совершенно ушел от политики. Действительность властно вторгалась в его философские занятия. В 1911 году он признавался в одном из писем: «Я живу подавленный ужасами при виде надвигающейся на Россию грозы. Столыпин один идет против всех, против инородцев, против Думы, против университета, против всей России... Боюсь, что близится ужасный конец, и не радуюсь, потому что жду не добра, а настоящей сатанинской оргии от будущей революции... Надвигается буря настолько стихийная, что никакими усилиями ее предотвратить нельзя». Он считал, что, «когда правые будут сметены левыми, эти покажут нам ужасы неизмеримо большие. И мы, т.е. культурная середина, будем опять и всегда гонимы». Удар правительства по Московскому университету (увольнение профессоров. — В.Ш.) он рассматривал «как симптом, как предвестник катастрофы», как крушение всякой надежды прийти к чему-нибудь хорошему мирным путем: «Это прямая угроза окончательного одичания. Поэтому я все это переживаю болезненно. Для внешней деятельности исчезает почва под ногами; все рушится. Душа и мысль загоняются внутрь. И с этой точки зрения все события providенциальны». Рассматривая университетское дело как «частное проявление зла более общего и большего — разрушения культуры дикарями слева и справа», Трубецкой ставил тревожившие его вопросы: «Неужели они не дадут ничему порядочному у нас образоваться. И неужели придется от всякой деятельности уйти в чистое созерцание? А что делать тем, кто не может созерцать или созерцанием наполнять свою жизнь? Сколько Шиповых, Г. Львовых и иных полезных сил выбрасывается за борт, когда мы так бедны силами. Просто отчаяние берет!» Он находил «борьбу с глупостью правительства и радикалов» бесплодной, да и ненужной, «потому что они и сами без нас сумеют вырыть себе могилу». Однако нет сомнения, что Трубецкой чужд идее «непротивлению злу»: он утверждал, что «в гонениях и муках рождается все великое, прекрасное и ценное. А это дает надежду».

Имея эту надежду, он не остался над схваткой. Он считал, что нельзя быть «никаким», чувствовал ответственность перед «беспредельным пространством» — Россией. Евгений Николаевич вплотную занялся работой в родном Калужском земстве. Дела и там не слишком радовали, и там он получил грустное впечатление. Во всем — «ежеминутные напоминания о том, что у нас все идет к черту — легкомысленное равнодушие находящегося на краю гибели к собственной участи!» Это проявилось и в новых выборах от земства в Государственный совет: «выбрали полное ничтожество Булычева, который будет без речей проваливать все начинания Думы». У земского собрания — «никакого направления и заботы о России». И это при том, что «вдруг хлынуло» колоссальное множество жизненных вопросов, «все учетверяется» — аграрное, медицинское, ветеринарное, школьное дело и т.д., а старая организация земства к этому совершенно не приспособлена. «Просто не успеваем, — писал он Морозовой, — рук, времени не хватает, а нужно в десять раз больше... Просто

«Государство должно быть не опекуном, а миротворцем...»

голова кругом идет, потому что чувствуем, что дело — творческое, созидание России, но никто не знает, как за него взяться, потому что стало совершенно новым; идет бестолочь и анархия...»

Вместе с тем Трубецкой совершенно убежден, что его присутствие на земских заседаниях крайне необходимо и потому — «общественно немислимо уехать!». Он доверительно писал Морозовой: «Я занят восемь часов в сутки земством и чувствую, что уехать — значит обречь на провал ряд жизненных и самых благих начинаний... симпатичнейших и нужнейших дел». Порой он спасал губернское земство, не позволяя ему увязнуть в словопрениях и давая импульс, «чтобы что-нибудь было сделано». Участвуя в работе земства, в канун нового, 1914, года он был уверен: «Время крайне интересное. Масса творческих задач и неприспособленность к ним старых форм жизни. Задачи удесятились, а мы все приступаем к ним благодушно, неспешно, по-дедовски... А между тем изо всех щелей на нас ползут вопросы: все, чем жили „деды“ и мы до сих пор, никуда не годно, надо заново создавать земледелие, скотоводство, медицину, ветеринарию, агрономию. Из всех щелей ползет нам на смену негодующий и презирующий нас третий элемент — доктора, агрономы, ветеринары, инженеры, которые, очевидно, смотрят на нас как на „извергов-помещиков“: они делают дело, а мы „обедаем и делаем визиты“». «Конечно, — оговаривался Трубецкой, — преувеличиваю, но это на три четверти — правда! Обломова надо разбудить: иначе ему, т.е. нам — даст пинка этот третий элемент, воцарится и... создаст социалистическую культуру, которая может оказаться похуже нашей, „дворянской“. В десять раз лучше — какая-нибудь смесь из нас и из них. А то совсем погибнет Россия („А хорошая была страна“). Надо делать для земства в десять раз больше, и можно это в небольшое время, если расстаться с патриархальным бытом».

Но в целом Трубецкой вынес довольно грустное впечатление от земских собраний: хотя снизу и росла сила в лице кооперации, зато «у нас наверху надвигается оскудение, а за ним разложение. Имена продаются, дворяне уходят, и в земстве людей нет: на место ушедших новых сил не является, и заменить их нечем. Мы от этого выбрали всю старую управу, что равняется катастрофе: из пяти человек только два работника. И положение временно безвыходное: дворянское земство оскудело, но та новая сила, которая его заменит, покуда еще не подросла. Если пустить сейчас в большом числе мужика, он забаллотировует всех дворян, стало быть, уничтожит все, что остается культурного, и упразднит культурные начинания». Но все это он считал «временным и начальным»: потом жизнь возьмет свое, и из недр кооперации опять народится культура.

Тем с большим удовлетворением Трубецкой отмечал быстрый рост партии прогрессистов. Уже в ноябре 1907 года он обращал внимание на то, что в Думе нарождается и «не по дням, а по часам» растет новая группа, которая «уже теперь играет роль конституционного центра». «Она еще не вполне определилась и пока называет себя „группой беспартийных прогрессистов“, но она имеет несомненные шансы развиваться в будущем

в сильную политическую партию». Евгений Николаевич и лично принимал участие в создании этой партии. В начавшихся в 1908 году «экономических беседах» прогрессивных предпринимателей с либеральными профессорами он — неизменный собеседник. Его коллега по этим встречам, единомышленник, сотрудник «Московского еженедельника» С.А. Котляревский пропел настоящий панегирик прогрессивным предпринимателям складки С.И. Четверикова, А.И. Коновалова, братьев Рябушинских, во многом объясняющий взаимную тягу элиты интеллигенции и представителей бизнеса: «Какая действительно громадная политическая миссия лежит на торгово-промышленном классе. Он обладает капиталом, т.е. творческой силой, которая должна преобразовать земледельческую Россию, обладает огромным могуществом, которое станет явным, когда представители класса поймут свою миссию... Эти люди могут, как никто другие, содействовать сейчас возрождению России... В союзе со здоровыми элементами интеллигенции эти руководители торгово-промышленной России могут стать... зодчими новой России... В них сквозит могущество творческих сил». Многие из этих прогрессивных предпринимателей давно были знакомы Трубецкому: они вместе работали в ЦК Партии мирного обновления и теперь создавали вместе новую партию прогрессистов, вошли в ноябре 1912 года в ее Московский комитет.

...Разразилась Первая мировая война. Мыслью и душой Трубецкой — целиком на войне. И с радостью отмечает всюду «большой и светлый подъем». Морозовой он пишет: «Исключительно одним я живу сейчас: Россия, сын Саша, колебания между верой в нашу победу и страхом из-за неудач французов, ужас от потоков крови, которые льются, как никогда от начала мира, — все это как-то слилось в состояние острой тревоги». Казалось, надо деятельно окунуться в этот подъем. Самое большое и важное он усматривал в том, что такой подъем «не может не победить: святая Русь просыпается и с Божьей помощью идет безо всякой выгоды для себя — освобождать народы!.. должна победить правда Божья!». Главный смысл войны Трубецкой видел в возрождении религиозного сознания — в этом духе выдержаны его известные статьи «Борьба двух миров», «Патриотизм против национализма» и др. В тот «патриотический» период он даже тяжелое поражение русской армии под Сольдау воспринял как предостережение («чтобы мы не зазнавались») и все еще считал, что «очищается и просыпается Россия». Трубецкой чувствовал необходимость обстоятельно развить свой взгляд на войну. В ноябре — декабре 1914 года он, как представитель Всероссийского союза городов, читал патриотические лекции во многих городах России: Москве, Петрограде, Воронеже, Саратове, Курске. Делясь впечатлениями от поездок, писал, например, что настроение в Саратове — гораздо более цельное, чем в Москве, ибо «несъеденное скептицизмом, привозимым из Петрограда и плохими политическими вестями. Тут никто о внутренней политике не думает. Царит беспримерный национальный подъем, и это мне больше нравится, чем в Москве. До внутренней политики очередь дойдет, и всему свое время».

«Государство должно быть не опекуном, а миротворцем...»

В Воронеже, как он сообщал Маргарите Кирилловне 20 ноября 1914 года, у него был большой успех. Там, как и в Саратове, впечатление мощного подъема: «Все верят в победу; никто не верит правительству, и тем не менее все счета с ним безусловно отменены. Все внутренние вопросы совершенно оставлены в стороне, чего многие даже сами пугаются. Но это, по-моему, напрасно. Это — признак здоровья! Всему своя очередь. Вернется армия из окопов, и тогда мы доберемся до внутренних немцев (т.е. до правительства). А пока заниматься им нам — некогда».

Весной 1915 года та эйфория, которая охватила Трубецкого в начале войны, начала спадать. В марте он был неприятно поражен «расхолаживающей, если не сказать больше» атмосферой Петрограда. Особенно удивило его настроение князя А.Д. Оболенского, видного члена кадетской партии, который находил, что «война — сплошь бессмысленная резня», и у которого «веры в победу куда меньше, чем у нас». М.М. Ковалевский и Л.А. Петражицкий, отмечал он в письме Морозовой, тоже очень сильно проникнуты скептицизмом: «Скептицизм этот, боязнь, что война кончится „вничью“, силен и у нас, но у нас есть сильный противовес в виде энтузиазма, который здесь замарьянивается. Я уверен, что те же самые люди, будь они в Москве или в провинции, чувствовали бы живее и сильнее. — Но не без раздумья заключает: — Трудно их винить, т.к. много они видят и знают неизвестных нам гадостей: вся оборотная сторона медали, от нас скрытая, здесь видна».

Летом 1915 года Е.Н. Трубецкой — в гуще земско-городских съездов, он встречается с лидерами оппозиции, и у него самого проявляются оппозиционные настроения. 8 июня в его квартире «собрался весьма интересный вечер». Пришли П.Б. Струве, В.А. Маклаков, С.А. Котляревский, Г.Е. Львов. Говорили «об остром внутреннем положении; все ломали голову — кого бы подослать к государю, чтобы убедить его уволить министра Маклакова (Н.А. — брата В.А. Маклакова. — В.Ш.), и приходили в отчаяние, т.к. известия из Петрограда гласили, что положение его очень крепко. Каково же было мое радостное изумление, когда на другое утро мы прочли об увольнении Маклакова». Трубецкой оценивал это как «событие огромной важности»: при Маклакове созвать Думу было нельзя, а теперь — можно. Ему казалось это большой уступкой общественному мнению, благодаря которой «отменено важнейшее препятствие к объединению общественных сил вокруг правительства». Его радовали тот бодрый тон и видимый подъем, которые он чувствовал и в печати, и в речах после ухода Маклакова. «Как немного нужно теперь русскому обществу!» — восклицал Трубецкой.

Но — одновременно — становилось все более ясным, что «конца войне не видно». И оппозиционность его проявлялась все чаще. Летом и еще более в начале осени 1915 года Трубецкого особенно тревожило, что «настроение начинает быть нервным в самой толще народной», в то время как «в политике ложь и полуложь», которые «угрожают гибелью России». Выступая в Государственном совете (куда его вновь избрали от Калужского земства), Е.Н. Трубецкой заявлял, что сельскохозяйственный кри-

зис может быть побежден лишь при условии внутреннего объединения правительства и «содействия сил общественных». Его раздражало и глубокое непонимание в правящих сферах позиции Прогрессивного блока. Временами казалось, что стена взаимного отчуждения между Думой и правительством, общественностью и властями делает невозможной их совместную работу. На этом мрачном фоне успехи, особенно на фронте, вызывали у Евгения Николаевича приливы радости и оптимизма. Он пришел в восторг от прорыва Брусилова: «Видно, в России все возможно, в обе стороны. Невероятная страна».

И все-таки события в тылу поворачивались, по его наблюдениям, в худшую сторону. В хвостах у продовольственных лавок слышались уже гневные речи: «Там упрекают и скоро „дадут в морду“». Трубецкой писал, что в думских выступлениях ярко вскрылась «невозможность победы при Штюмере» (премьер-министре. — В.Ш.). Он полагал, что не самая лучшая, но, пожалуй, самая убийственная для Штюмера речь — это речь П.Н. Милюкова. В ней «власть смешана с грязью». Дума решила все поставить на карту: «Если его не уберут, она полезет напролом: хотя бы ценою отпуска, потому что в этом случае катастрофа для России неизбежна». А направленная против Распутина речь В.М. Пуришкевича Трубецкому так понравилась, что он подошел «пожать ему руку». Как метаморфозу отметил он и «бунт Государственного совета — взрыв ненависти против Распутина». Члены этой палаты парламента тепло восприняли и его личное выступление «против поругания церкви», с призывом «спасать монархию, пока не поздно». В новых условиях Евгений Николаевич считал обеспеченным прохождение в Государственном совете резолюции, которая включала бы требование министерства, пользующегося общественным доверием, и устранение «темных влияний». В декабре 1916 года продовольственный вопрос вызывал «сплошной ужас» у Трубецкого: «Уже войска близки к голоду, а жители громят лавки». При этом «все власти вразброд, а единого правительства не дают, не хотят о нем и слышать. Вообще говоря, картина катастрофическая. Так страшно, кажется, за всю войну не было!» Недовольный прогрессистами, ставшими более радикальными, чем кадеты, он, спустя одиннадцать лет, вернулся в Конституционно-демократическую партию.

Но страна стремительно левела. Пришла революция. В это Трубецкому и 1 марта 1917 года «всё еще не хочется верить»: «Неужели в самом деле невозможно соглашение Думы с государем?.. А, кажется, мало на это шансов. Тоска берет меня». Хорошо хоть, что предотвратили большую опасность, считает он: раз военная сила в руках Родзянко, «власть не перейдет в руки рабочего Временного правительства». 5 марта 1917 года появилась его статья о революции в кадетской газете «Речь». «В день первого выхода газеты нужно было начинать в праздничном тоне только хорошее, — откровенничал он с Морозовой. — О тревогах и опасностях пока молчу, но скажу тебе по совести, что они — глубоко мучительны. Есть и хорошее, но есть и ад, который ад лучше, республика чертей или самодержавие

«Государство должно быть не опекуном, а миротворцем...»

сатаны, — решать трудно. Отвратительно и то, и другое. Дай Бог, чтобы „республикой чертей“ российская демократия не была. Дай Бог, чтобы у нас утвердилось что-нибудь сносное, чтобы мы не захлебнулись в междоусобию... Но в республиканский рай могут верить только малолетние, а мне 53 года».

В конце марта 1917 года ему показалось, однако, что дела налаживаются. Впечатление от Петрограда — «неописуемо». Он радостно сообщает в Москву, что усиливающийся мощный подъем захватывает всех: «Пессимизм — удел людей, не захваченных волной или не стоящих у дел; исключение — Гучков, который как-то умудряется совместить огромную деловую энергию и пессимизм. Этот — „каркает“». Оптимизма Трубецкому прибавил и его визит к старому соратнику — князю Г.Е. Львову, теперь премьер-министру Временного правительства, который имел отдохнувший вид и говорил ободряющие слова. Порой Трубецкой впадал прямо-таки в восторг: «Всюду шевеление гигантское!» На очередном кадетском съезде, где его снова избрали в руководство партии, он чувствует себя «подхваченным могучей волной»: «Речь Родичева и речи министров вызвали прямо неописуемое волнение, потому что чувствовалось... национальное единство, чувствовалась мощь России. А перед этим — что хаос, что разруха, что беспорядки. Есть живая сила, которая все это побеждает. Вот пример: прежнее правительство морило армию голодом, подавая от 45 до 55% нормы хлеба на фронт, а революционное правительство дало с 1 марта по 17 марта 70%. Каково!..»

Но события шли с калейдоскопической быстротой, и летом 1917-го от этих победных настроений Е.Н. Трубецкого не осталось и следа. Быстро менялось, «демократизируясь», и его родное Калужское земство, обновляясь за счет нецензовых элементов. Евгений Николаевич предчувствует: «Надо ожидать, что собрание (земское. — В.Ш.) будет не из приятных». И уже мечтает, чтобы его миновало избрание в Учредительное собрание. В письме к Маргарите Кирилловне снова прорвалось признание: «Боже мой, сколько у меня в душе отвращения к политике, и какая неохота ею заниматься. А заниматься придется». И с горечью Трубецкой замечает, что «армии нет, потому что нет дисциплины... в центральную власть никто не верит». В июльские дни он с тревогой ждал в Бегичеве известий из «злополучного Петрограда» и «хоть немного порадовался известию о подавлении подлого петроградского мятежа». Но революция настигала и в деревне: «настроение крестьян становится нервнее», «уже много земель захвачено».

«Углубление революции» шло полным ходом. Трубецкой вернулся в Москву и жил политическими надеждами, но главное, как свидетельствует его сын Сергей Евгеньевич, — погрузился в церковную общественную жизнь. Избрание московского митрополита, Поместный собор, в котором Е.Н. Трубецкой избран председателем от мирян, восстановление патриаршества (что он горячо приветствовал), работа в Патриаршем совете — все это захватывало. Два раза, отправляясь на заседания Поместного собора, он, во время вооруженного восстания, буквально попадал

под пули. Но верил: «Не даром льется теперь кровь мучеников, не даром мы теперь пьем чашу до дна». Участвуя в многотысячном крестном ходе по случаю избрания патриарха, князь Трубецкой видел настроение верующих и полагал, что происходившее на Красной площади «есть начало воскресенья России, а воскресенье не бывает без смерти».

После прихода к власти большевиков Н.Е. Трубецкой и его семья хотели уехать туда, где «зрели силы для отпора большевизму», — на юг. Из-за работы Трубецкого в Высшем церковном управлении отъезд пришлось отложить, хотя его положение при новой власти было «далеко не безопасное». И усугублялось тем, что он и в своей университетской деятельности не кланялся представителям этой власти. Когда 8–14 июля 1918 года состоялось совещание по реформе высшей школы (собралось около четырехсот человек) и на нем выступили руководители советского образования Луначарский, Штернберг, Рейснер, Трубецкой решительно возражал главному докладчику, М.А. Рейснеру, у которого когда-то был научным руководителем в Киевском университете.

В те месяцы Трубецкой знал о работе антибольшевистской информационной организации, так называемой Азбуки В.В. Шульгина, держал связь с французским генеральным консулом в Москве Гренаром. Он был неискушен в конспиративных делах, и, вероятно, только случайностью можно объяснить, что он не подвергся аресту. Однако тучи над его головой сгущались. Бывшего варшавского генерал-губернатора, а позднее командующего Северо-Западным фронтом генерала Жилинского выпустили из тюрьмы на поруки Трубецкому. Однажды генерал пришел к нему и сказал, что его вновь хотят арестовать, поэтому он собирается бежать из Москвы и, чтобы не подвести Трубецкого, сообщает об этом. Нависшая угроза стала вполне осязаемой, и пришлось срочно принимать меры. Сын Сергей достал ему фальшивый пропуск и украинский паспорт на имя Торленко. Дома ему слегка изменили внешность, подстригли бороду, и сын отвез его на старом извозчике на Брянский вокзал. С приключениями (он описал их в воспоминаниях, напечатанных потом в «Архиве русской революции») Трубецкому удалось добраться до Киева, потом до Одессы. Через некоторое время из советских газет, под заголовками типа «Не стая воронов слеталась», его семья в Москве узнала, что несколько бывших членов Государственного совета и среди них князь Трубецкой съехались на политическое совещание на Юге России. Сын Сергей вспоминал, что разными путями и из разных мест родные получили потом от Евгения Николаевича несколько посланий. Первые еще полны надеждами на скорое свидание с близкими и на помощь союзников России. Потом письма стали дышать все большей тоской, тревогой, безнадежностью.

Е.Н. Трубецкой активно работал в антибольшевистском Совете государственного объединения. Несколько раз, по его поручению, ездил к А.И. Деникину, хорошо знал обстановку на Юге России и настроение Белой армии. После провала ее наступления на Москву в 1919 году он очень изменился. Зимой 1919-го в Ростове, незадолго до отступления белых, за-

«Государство должно быть не опекуном, а миротворцем...»

ходил иногда в редакцию газеты «Великая Россия». Один из сотрудников газеты вспоминал: «Сядет у железной топящейся печки и сидит так, не снимая шубы, греется, у него тогда болели и зябли ноги. Сидит часа два, не скажет ни слова. Кто знал его ранее, тот поймет, как это на него непохоже. Какой он был живой, блестящий на слово человек».

С белой армией он прошел до Новороссийска. Там порой бывал у В.М. Пуришкевича — они играли в шахматы. Пуришкевич умер от сыпного тифа — ему успели устроить пышные похороны. Евгений Николаевич умер вскоре, и тоже от сыпного тифа. Новороссийск находился уже в лихорадке эвакуации, и его смерть, последовавшая 23 января 1920 года, осталась почти незамеченной. В начале 2000-х определили примерное место его захоронения и установили там памятный камень.

«Жизнь стремилась
к освобождению индивида
от опеки...»

Габриэль Феликсович Шершеневич (1863–1912) родился в родовом имении в Херсонской губернии, в семье потомственного дворянина-католика, генерал-майора российской службы. В 1881 году он окончил 2-ю Казанскую мужскую гимназию, а в 1885-м — юридический факультет Казанского университета, где был оставлен на кафедре торгового права для подготовки к профессорскому званию. С 1887 год он — преподаватель кафедры торгового права и судопроизводства, а с 1888-го — приват-доцент Казанского университета.

Дальнейшие вехи в карьере таковы: 1888 — защита магистерской диссертации «Система торговых действий: критика основных понятий торгового права»; 1891 — защита докторской диссертации «Авторское право на литературные произведения». С 1892 года — экстраординарный, а затем ординарный профессор Казанского университета по кафедре торгового права и в то же время по кафедре гражданского права и судопроизводства (1896–1905). 1899–1902 — председатель Казанского юридического общества. С 1906-го — профессор кафедры торгового права на юридическом факультете Московского университета (в 1911 году Шершеневич покинул университет — в знак протеста против политики министра народного просвещения Л.А. Кассо). Читал лекции также в Московском народном университете им. А.Л. Шанявского и Московском коммерческом институте, директором которого был П.И. Новгородцев.

Политическая биография Г.Ф. Шершеневича связана с его деятельностью в Конституционно-демократической партии. Он стал ее членом, будучи гласным Казанской городской думы; в 1906 году, на II съезде, был избран в состав ЦК партии; входил в ее казанское отделение, участвовал в составлении программы. При обсуждении организационно-тактических вопросов избирательной кампании на II съезде партии кадетов (5–11 января 1906) Габриэль Феликсович подчеркивал: «Нужна дисциплина. Нужна централизация. Партия только в целом может входить в соглашение с другими партиями. Центральный комитет — это генеральный штаб, а без руководства генерального штаба невозможна война».

В 1906 году Г.Ф. Шершеневич стал депутатом I Государственной думы — по спискам Конституционно-демократической партии от Казани. В Думе

был избран на пост товарища (заместителя) секретаря, входил в комиссии: редакционную и о собраниях. Законопроект о свободе собраний, внесенный 16 июня 1906 года по докладу Шершеневича, вызвал продолжительную полемику со стороны левых партий. Социал-демократы и трудовики, отрицавшие с популистских позиций всякую возможность правового регулирования проведения собраний, увидели в юридических ограничениях основания для административного произвола. В защиту проекта выступил М.М. Ковалевский: он указал, что спонтанное развитие соответствующей практики в России (в отличие от Англии) не может гарантировать общество от злоупотреблений, а потому известная законодательная регламентация этой практики представляет позитивное явление. После роспуска Думы Шершеневич стал одним из подписантов Выборгского воззвания, за что был приговорен к трем месяцам тюрьмы и лишению избирательных прав.

В условиях революции и последующих избирательных кампаний для кадетской партии получил актуальность вопрос о совершенствовании социального законодательства (включая законопроекты о профсоюзах и стачках, ограничении рабочего времени, договорах найма, охране здоровья и санитарном контроле, страховании рабочих и служащих, организации общественного призрения). Многие эти законопроекты разрабатывались непосредственно Г.Ф. Шершеневичем или при его активном участии. В 1906–1907 годах под его председательством в Москве работала особая комиссия по вопросам о договоре найма и о нормировании рабочего времени служащих в торговых заведениях. Комиссия разработала два законопроекта — о найме и о нормальном отдыхе торговых служащих. Последний проект, который был внесен в партийную фракцию с некоторыми изменениями, сделанными П.Б. Струве, вызвал внутреннюю дискуссию.

Габриэль Феликсович, по воспоминаниям современников, был прекрасным лектором и оратором, способным объяснить широкой публике содержание трудных юридических вопросов. Например, законопроект о найме торговых служащих, как отмечал их представитель на совещании парламентской фракции Партии народной свободы с представителями местных групп партии (14–15 ноября 1909), вызвал острую предвыборную полемику с левыми партиями. Но в результате был одобрен: «стоило появиться профессору Шершеневичу с его возражениями, как левые должны были отступить и прямо бежать с поля битвы».

Направления его научной работы в принципе соответствуют его общественной деятельности. Сюда входят общие вопросы теории права и государства; русское гражданское право в сравнительном освещении и соотношении с практикой применения; такие направления его разработки, как земельное, торговое, конкурсное и авторское право, кодификация гражданского права, в том числе актуальный вопрос о создании Гражданского уложения Российской империи. Кроме того, политическая деятельность и необходимость разъяснять программу Конституционно-демократической партии привели к появлению трудов по общей теории

и социологии права, проблемам публичного права, в частности об аграрном вопросе, форме правления, ответственности министров. Эти исследования, а также сопутствующие им публичные выступления и публицистика делали Шершеневича видным специалистом русского либерализма на стадии перехода к конституционной монархии. Его вклад — в основном теоретический, поскольку ученый перевешивал в нем политика.

Общие взгляды Г.Ф. Шершеневича сложились под влиянием тех споров, которые велись в цивилистике пореформенного периода, когда, собственно, и происходило ее становление. Он был близок к П.И. Новгородцеву, так как рассматривал проблемы права в неокантианской философской перспективе и в рамках истории права. В то же время, как и С.А. Муромцев, он разделял взгляды юристов позитивистского направления, выступал последователем Р. Иеринга. Вопрос о догме права, ставший предметом дискуссии, приобретал значение именно в связи с попытками отказаться от традиционного понимания юриспруденции, заменив его новыми социологическими подходами. Эта тенденция проявилась уже у К.Д. Кавелина, но еще более она заметна у Муромцева и Гамбарова — российских учеников Иеринга, стремившихся к радикальному преобразованию всей правовой системы путем ее трансформации во имя высшей цели — правового государства.

Принадлежа к российской социологической школе права (основателем которой должен быть признан С.А. Муромцев), Шершеневич стремился отойти от догматической юриспруденции (представителями которой являлись С.В. Пахман и А.Х. Гольмстен), показать связь юридических норм и отношений с социальной действительностью. Позднее он определит эволюцию воззрений С.А. Муромцева как последовательное движение от исторической школы права к Иерингу и от него — к сближению науки права с социологией. Определяя Иеринга как «главу социологической школы в гражданском правоведении», он солидаризируется с этим «социологическим направлением в гражданском правоведении».

Одним из первых в отечественной литературе Г.Ф. Шершеневич попытался охарактеризовать историю становления и развития российской цивилистики с XVIII до начала XX века. В основу периодизации положены крупнейшие реформы российского права: попытки кодификации права на рубеже XVIII–XIX веков, разработка Свода законов, Судебные уставы 1864 года. Ученый констатирует «догоняющее Запад» развитие русского гражданского права и связывает основные его этапы с объективными задачами гражданско-правовой модернизации: разработкой истории и источников русского права; догматической разработкой права; спорами о кодификации; сравнительными исследованиями; наконец, с появлением социологии права. В книге «Наука гражданского права в России» (1893) Шершеневич показывает преемственность российской цивилистики: от Неволина, Куницына и Редкина к Кавелину, Пахману и Мейеру, и далее — к трудам Муромцева, где «богатство идей невольно будило мысль читателей».

«Очерки по истории кодификации гражданского права», появившиеся

«Жизнь
стремилась
к освобожде-
нию индивида
от опеки...»

в ряде выпусков в 1897–1899 годах, содержат выражение общественно-политических взглядов автора. Как и С.В. Пахман, он обратился к истории кодификации параллельно с разработкой собственного курса гражданского права; как и представители социологической школы в праве (Иеринг, Муромцев) — обращался к проблемам сравнительного изучения правовых институтов; как Новгородцев — уделял преимущественное внимание столкновению концепций философского и позитивного права. Отправная точка при разработке общей теории права для Шершеневича (как и других ученых его времени) — противопоставление естественного и позитивного права, «несомненный и непостижимый дуализм права».

Кодификация права для него — важнейший инструмент разрешения этого конфликта: систематизации и в то же время развития общественных отношений в эпоху социальных потрясений. В систематическом исследовании — «Очерки по истории кодификации гражданского права» (1897) — смысл подготовки кодексов гражданского, уголовного и процессуального права в революционные эпохи усматривается в создании юридических норм — «простых, ясных и согласованных с конституцией». Принципы рационального правового устройства более значимы для общества, нежели утопические политические цели революции: «Цель революции состояла в установлении нового гражданско-правового порядка, а политические формы были только средством их достижения. Французский народ потому так легко отказался от политической свободы, что новый режим обеспечил ему изменения гражданского строя».

Значение Кодекса Наполеона автор видит в четком провозглашении именно тех принципов, которые стали определяющими для современного гражданского общества и реализация которых необходима в России: осуществление идеи равенства всех перед законом, отрицание «всего феодализма», отделение гражданского общества от канонического, принцип неприкосновенности частной собственности, начало индивидуализма. Это целостная программа действий для русских цивилистов начиная с пореформенной эпохи; ее положения стали особенно актуальны к началу XX века.

В связи с этим основную проблему представляли социальные и юридические причины, которые делали невозможной реализацию рациональных принципов гражданского права в Центральной и Восточной Европе, а особенно в России. Это заставило Шершеневича (как и других русских цивилистов того времени) обратиться к проблеме рецепции римского права в традиционных («феодальных») обществах и правовых системах. Он показывает, что отторжение римского права и его системы, положенной в основу французского кодекса, связано в этих регионах не со случайными ошибками кодификаторов, а прежде всего с социальной невозможностью их реализации (в силу полного смешения публичного и частного права, например, в прусском Ландрехте). Ошибка традиционалистских абсолютистских систем видится ученому в следующем: «законодатель недостаточно определил тенденции времени и дал кодекс, проникнутый

началами просвещенного покровительства, в то время как жизнь стремилась к освобождению индивида от опеки и предоставлению ему возможно большей свободы действия».

Принципиальное значение имело обращение к проблеме радикального реформирования национального права с помощью заимствований извне. Впервые она получила ясное теоретическое выражение в известном споре сторонников теории естественного права (Тибо) и исторической школы права (Савиньи) по вопросу создания общегерманского Гражданского уложения и возможности заимствования при этом Кодекса Наполеона. Спор, раскалывавший европейскую юридическую мысль на протяжении всего XIX века, оказался актуален в предреволюционной России. Шершеневич однозначно принимает сторону Тибо, подчеркивая, что реализация его идеи (немедленное введение гражданского кодекса) вела к обеспечению правового единства, модернизации права, а вместе с ним — и социальных отношений. Напротив, позиция его оппонентов (исторической школы) рассматривается как консервативная и неубедительная. Причинами, по которым она восторжествовала, объявляются не логическая состоятельность, но господство реакции (видевшей в требовании кодификации призыв к революции), отсутствие единой законодательной власти и сила сепаратистских тенденций. Устранение названных причин позволило принять Гражданское уложение Германской империи 1896 года. Этот анализ раскрывает позицию Шершеневича в отношении готовившегося в то время проекта Российского гражданского уложения.

Важный практический вывод состоял в необходимости использовать кодификацию гражданского права как инструмент модернизации социальных отношений — их унификации (ликвидации сословного деления), рационализации (установления правового равенства всех членов общества и преодоления правового дуализма), преобразований (путем разделения власти и собственности) и либерализации (разделения сферы частного и публичного права, создания институтов независимого судебного контроля над властными структурами).

Курсы гражданского права Шершеневича (в том числе известный «Учебник русского гражданского права», выдержавший несколько изданий) высоко оценили современники — как наиболее крупный вклад в этой области. Автор определял гражданское право как «совокупность юридических норм, определяющих частные отношения отдельных лиц в обществе»; содержание юридической нормы усматривал в правилах (выработанных жизнью или установленных законом), регулирующих путем принуждения взаимные отношения между гражданами. Совокупность норм или положений, объединенных единством содержания или внутренней связью по предмету регулирования, определялась как юридический институт. Задача гражданского правоведения и формулировалась как исследование юридических институтов: их классификация (система права), анализ их совокупности (позитивное право данного народа), их разновидностей (например, институты опеки, залога, брака). А основными

«Жизнь стремилась к освобождению индивида от опеки...»

методами такого анализа были названы не только традиционные (исторический, догматический), но и новые (социологический и «критический»). Данный подход открывал перспективу перехода от эмпирического анализа отдельных правовых явлений к сравнительным и социологическим обобщениям.

Г.Ф. Шершеневич, прекрасно владевший как теоретической социологией (Маркс, Спенсер, Тард, Зиммель), так и социологией права (Иеринг, Штаммлер, Ковалевский, Муромцев), и сам создал специальный курс. Его «Социология» (1910) проникнута свойственными позитивизму идеями объективного знания, эволюции и прогресса. Это «наука об обществе, изучающая строго научно общественные явления и устанавливающая законы отношений между этими явлениями». Принципиальное отличие этой науки состоит в том, что она рассматривает общество как целое, во взаимодействии основных частей, в то время как другие науки — его отдельные составляющие (хозяйственную, нравственную, экономическую, юридическую, психологическую, биологическую).

В центре внимания социолога — природа общества (которая определяется как «сожитительство»; «общность интересов»; сотрудничество»; «организация») в его развитии (заслуга открытия которого принадлежит таким мыслителям, как Дарвин, Спенсер и Маркс) и механизмах функционирования. Цель социологии — отыскание закономерностей (правильности и повторяемости явлений); причем констатируется, что «признание закономерности в общественной жизни стало общим в науке настоящего времени». Поскольку социология стремится к установлению объективного знания, она является ценностно нейтральной наукой («объективна и беспартийна»).

Отношения общества и государства Г.Ф. Шершеневич раскрывает в перспективе солидаристической концепции. Он подчеркивает, что общественные связи и «инстинкты» человека не являются врожденными, но приобретаются с развитием общества. Их поддержание основано на общности интересов и существовании особого механизма их регулирования, которым является государство. Рассматривая различные направления социальной дифференциации, он подчеркивает их пересечение и возможность консенсуса, например, между различными классами, которые определяет как «совокупность лиц, имеющих общий интерес» (класс землевладельцев, класс рабочих, класс фабрикантов и т.д.). Эти идеи представлены в большом концептуальном труде «Общее учение о праве и государстве» (1911). Предложенная интерпретация государственной власти имеет вполне социологический характер: «Власть есть возможность навязывать свою волю другим, принуждать других к подчинению их воле властвующего, заставлять других сообразовать свое поведение с требованиями властвующего. Государство должно обладать такой властью, иначе оно не государство».

Взгляды Шершеневича определили его подход к современным политическим проблемам. Будучи убежденным либералом и в то же время

государственником, он считал оптимальной формой правления для России конституционную монархию. Следует подчеркнуть, что, в отличие от многих (как консервативных, так и либеральных) современников, ученый вовсе не отождествлял правовое или конституционное государство со слабой (или ограниченной) властью. Принцип незыблемости государственного суверенитета и невозможности, в силу этого, «юридического ограничения верховной власти» (независимо от формы правления) оставался для него аксиомой на протяжении всей жизни.

Вопреки классической либеральной программе ограничения власти Шершеневич отрицал саму эту возможность и считал ошибочным принцип разделения властей в его буквальной трактовке. «Основные, так называемые конституционные законы, — писал он в работе «Определение понятия о праве» (1896), — представляют собой в большинстве случаев нормы нравственности, но не права, и неконституционный образ действий носителей верховной власти не может быть назван незаконным. Конституционная система — это совокупность принципов, которых придерживается верховная власть как руководящих начал при осуществлении своей деятельности».

После революции 1905 года эта позиция (отождествляющая конституцию со всяким Основным законом) претерпела определенную трансформацию. Конституционное устройство, надеялся Шершеневич, позволит преодолеть «бюрократическую стену между народом и монархом, подчинить власть общественному контролю, реализовать принципы гражданской свободы, независимого суда и ответственного министерства». Для достижения идеала правового государства, обоснованного в работе «Конституционная монархия» (1906), он считал принципиально важной позицию интеллигенции, которая в России «никогда не была ни дворянской, ни буржуазной, а оставалась внеклассовой».

Уже будучи неизлечимо больным, Габриэль Феликсович завещал все свое состояние Московскому и Казанскому университетам. Авторские права на его сочинения были им переданы Московскому университету для помощи бедным студентам; 10 тыс. рублей предназначались на студенческие стипендии.

Г.Ф. Шершеневич скончался в Москве 31 августа 1912 года и был похоронен на Донском кладбище, близ могилы своего друга — председателя I Государственной думы С.А. Муромцева.

ПАВЕЛ
ИВАНОВИЧ
НОВГОРОДЦЕВ

«Критически отнестись
к действительности
и оценить ее с точки
зрения идеала...»

Павел Иванович Новгородцев родился 28 февраля 1866 года в имении Бахмут Екатеринославской губернии в дворянской семье. В 1884 году он окончил с золотой медалью Екатеринославскую гимназию, а в 1888-м — юридический факультет Московского университета, где был оставлен для приготовления к профессорскому званию по кафедре философии и права. Продолжил образование в университетах Берлина и Парижа.

Философско-правовые идеи П.И. Новгородцева определялись магистральным направлением дебатов в западноевропейской (прежде всего германской) теории права: между адептами господствующего тогда юридического позитивизма и их оппонентами — сторонниками естественного права. Стремление найти синтез двух этих доктрин стало отправной точкой исследований Новгородцева. Цель его магистерской диссертации «Историческая школа юристов, ее происхождение и судьба. Опыт характеристики основ школы Савиньи в их последовательном развитии» (1893) — анализ вклада историзма как метода позитивного изучения права. Докторская диссертация «Кант и Гегель в их учении о праве и государстве. Два типических построения в области философии права» (1901) обращена уже к метафизическим (этическим) основам права. С 1903 года Новгородцев — экстраординарный, а с 1904 по 1911 — ординарный профессор Московского университета (который он покинул, как и ряд других либеральных профессоров, в знак протеста против деятельности министра народного просвещения Л.А. Кассо и куда вернулся лишь после Февральской революции 1917-го). Параллельно он — преподаватель Народного университета им. А.Л. Шанявского и Высших женских курсов. С 1906 года Новгородцев служил директором и профессором Московских высших коммерческих курсов (с 1907-го — Московского коммерческого института). И одновременно руководил лекторием, созданным для пропаганды конституционализма. Политическая деятельность профессора-правоведа в период русских революций, Гражданской войны и эмиграции определялась его философскими убеждениями, выражавшимися в поиске этических основ права и борьбе за общественные идеалы добра, нравственного совершенствования и свободы личности.

Новгородцев — один из создателей оригинальной философской доктрины и так называемого возрождения естественного права. К этому направлению принадлежали (или разделяли его идеи) другие крупные русские юристы начала XX века: В.М. Гессен, Л.И. Петражицкий, С.Н. Трубецкой, отчасти Г.Ф. Шершеневич. Опираясь на философию неокантианства, данное направление общественной мысли стремилось переосмыслить существующее (позитивное) право с позиций высокого нравственного идеала, противопоставить сущему — должное, действующей правовой системе русского самодержавия — концепцию либеральных правовых реформ. Задачу философии права Павел Иванович усматривал в том, чтобы «оценивать факты существующего с этической точки зрения»: это позволяет «критически отнестись к действительности и оценить ее с точки зрения идеала», выдвинуть «этический критицизм, в котором и состоит самая сущность естественного права». Программной работой в этом отношении можно считать его статью «Нравственный идеализм в философии права», опубликованную в сборнике «Проблемы идеализма» (1902).

Все представители теории возрождения естественного права, несмотря на различия в трактовке этого понятия, видели в нем альтернативу существующим правовым порядкам, рассматривали конфликт естественного и позитивного права как источник изменений в праве. Данный подход явился, безусловно, новым шагом. Господствующая традиционная юридическая наука (в основе своей позитивистская) исходила из того, что предметная область права как науки есть нормы, закрепленные в законах. Теория естественного права видела этот предмет в соотношении права и правосознания — идеальных конструкций, которые (особенно в эпохи социальных потрясений и революций) вступают в противоречие с действующим правом и определяют отношение к нему в обществе. Традиционная наука оперировала статичными категориями — новая теория видела смысл своего существования в интерпретации динамики правовых порядков. Наконец, если традиционный подход опирался на методы и представления догмы права (формальных правил юридического мышления), то новая концепция искала социальный смысл правовых норм, стремилась раскрыть стоящие за ними социальные интересы и на этой основе определить их социальную эффективность, указать направления желательных изменений — цель в праве. Выход из противоречия усматривался в возрождении ценностных категорий естественного права. Это означало необходимость выстраивания общественного идеала, как нравственного, противостоящего экономическим интересам и амбициям, разделяющим общество по эгоистическим интересам. Новгородцева всегда интересовала проблема сохранения нравственного субстрата в условиях быстрых изменений формальных норм позитивного права. Он принял тезис Канта о вневременном и надопытном характере законов нравственного сознания, выраженных понятием «категорического императива».

Данная (неокантианская) интерпретация основных понятий философии права включала в себя переосмысление вклада двух важнейших

направлений правовой мысли, которые ранее рассматривались как противостоящие друг другу, — традиционной школы естественного права и исторической школы права. Если первая (особенно в эпоху Просвещения и Французской революции) понимала право исключительно как систему абстрактных рациональных норм, вытекающих из законов Разума, то вторая, представляя собой историческую реакцию на этот подход в Германии, напротив, видела в праве исключительно продукт длительного исторического развития народного духа. Первая отстаивала принципы рациональной (можно сказать, «геометрически» правильной кодификации), вторая вообще отрицала саму возможность этого. В конечном счете два этих направления вступили в конфликт по вопросу о роли права в реформировании социальных отношений, возможности политики права как особой сферы деятельности.

Обращение П.И. Новгородцева к анализу взглядов исторической школы (в позитивистской литературе они традиционно рассматривались как антитеза школе естественного права) показало существование в данном направлении мысли мощного метафизического компонента — категории народного сознания (или «народного духа»), выступавшего самостоятельным источником этических и правовых ценностей. А это, в свою очередь, давало возможность интерпретации данного направления в антипозитивистском духе и открывало перспективы его синтеза со школой естественного права (в новой неокантианской интерпретации ее положений). Этот синтез, полагал Новгородцев, становится возможен за счет обращения к гегелевской философии права и ее интерпретации, например, Иерингом. Гегельянская школа, с ее методом возведения фактов к высшим идеям, «удачно совмещала в себе приемы естественно-правовой философии с задачами исторической школы, отыскание общих начал с конкретным фактическим исследованием». С позиций неокантианства и этической интерпретации права Новгородцев стремился, далее, раскрыть «логический объем доктрины как системы абстрактных определений», найти синтез различных направлений философии права (в частности, теории естественного права и исторической школы).

Главным вопросом, который интересовал ученого на протяжении всей жизни, был вопрос о кризисе современного правосознания. Причину кризиса он усматривал в растущем разрыве позитивного права и нравственных оснований общественной жизни. В лице Новгородцева современники видели основоположника и общепризнанного главу идеалистической школы в русской философии права, вся деятельность которого была посвящена борьбе против юридического позитивизма и проповеди возрождения естественного права. Этот подход нашел теоретическое обоснование в его работе «Кризис современного правосознания» (1909).

Данная позиция сближала Новгородцева с идеями германского юриста неокантианца Р. Штаммлера и служила обоснованием этической (деонтологической) концепции права. На ее основании выстраивалась его критика других течений, в том числе искавших синтеза естественного

права и позитивного права по линии психологической теории права. Тезис о кризисе позитивистского правосознания сближал его подход с представлениями таких русских мыслителей, как Б.Н. Чичерин и В.С. Соловьев, которым он посвятил специальные работы. С Чичериным его сближала общая постановка вопроса о соотношении права и государства: оба они отвергали позитивистский подход к праву, состоящий в рассмотрении позитивного права как простого веления государственной власти, и отстаивали тезис о праве как самостоятельном и объективном явлении, определяющем функционирование государства. Со вторым мыслителем, В. Соловьевым, их сближало представление об этической природе правовых отношений — понимание позитивного права как «гарантированного минимума нравственности».

Констатируя одним из первых новое деструктивное состояние общественного сознания революционного периода, Новгородцев видел его выражение в резком диссонансе реального (позитивного) права и «общественного идеала». Он пришел к выводу, что противоречие между старым положительным порядком и новыми прогрессивными стремлениями есть постоянная и неотъемлемая логика права. История права есть поэтому история постоянных изменений в праве, изменений, которые могут носить революционный характер. «Право, — говорил он в лекциях по истории философии права в 1904 году, — может обновляться, только отказываясь от своего прошлого. Это — Сатурн, пожирающий своих собственных детей. Путь, которым проходит история, означает, поэтому, обломками старых установлений, а нередко и потоками крови». Из подобных конфликтов и зарождается обыкновенно «естественное право» как «требование реформ и изменений в существующем строе». Правовые теории при такой интерпретации есть «идеальные планы общественного переустройства — планы будущего, более или менее близкого».

Следовательно, важнейшим индикатором для познания логики развития права является смена общественных и правовых идеалов, выражающая радикальные перемены в правосознании. Данный подход, сближающий Новгородцева с современными трактовками интеллектуальной истории (как смены основополагающих теоретических парадигм), был положен им в основу особой дисциплины — истории философии права. «История философии права, толкуемая им как история правовых и политических идеалов, — отмечал младший современник ученого, а впоследствии известный французский социолог права Г.Д. Гурвич, — была любимым и постоянным предметом его многолетнего университетского преподавания. По глубине и широте познаний в этой области ему не было равных ни в русской, ни в европейской науке».

В силу обстоятельств русской революции Новгородцеву не суждено было завершить этот труд, тогда как он мог стать «монументальным классическим исследованием по истории правовых идеалов, в котором глубина проникновения в философские предпосылки сочеталась бы с живым чувством исторической действительности». Однако мы можем рекон-

«Критически
отнестись
к действи-
тельности
и оценить ее
с точки зре-
ния идеала...»

струировать направления этой исследовательской работы по опубликованным частям лекционного курса, имеющим, впрочем, незаконченный, предварительный характер. Среди тем этих публикаций: политические идеалы Платона и Сократа; политические идеалы Древнего и Нового мира; лекции по истории философии права Нового и Новейшего времени; методологические проблемы общей теории права, в частности подходы к философскому изучению идей. Основной завершающий труд Новгородцева — «Об общественном идеале» (1917) — подводит итог этим размышлениям.

Идеал правового государства, который также должен рассматриваться как одна из идеальных моделей, выработанных человечеством, на практике может принимать различные исторические формы и включает, согласно ученому, следующий ряд параметров: равенство перед законом; гарантии личных прав; регулирующая роль государства; стремление к разрешению социальных конфликтов путем целенаправленной политики достижения консенсуса. Новгородцев выводит эту концепцию из представлений Макиавелли, Гоббса и Руссо, видевших в государстве замену церкви и источник нравственной жизни людей, а также Гегеля, провозгласившего государство воплощением нравственной идеи на земле.

Собственно теорию правового государства представляли в Англии — Бентам, во Франции — Констан и Токвиль, в Германии — Гегель и Штейн. На основе построений этих мыслителей конструировался своеобразный идеальный тип правового государства, который затем использовался при анализе его конкретных исторических и национальных проявлений. Новгородцев говорил о построении «идеального государства» — «иероглифа разума», конструируемого «с устранением всех случайностей исторической обстановки», но подчеркивал необходимость различать этот идеал и реальность.

Фактически он развивал идеи, близкие М. Веберу, создавшему теорию идеальных типов как метод познания социальных и правовых явлений. Эта теория способствовала преодолению утопических и догматических построений в социальных науках. «Горячий противник всяческих утопий, политических и социальных, П.Н. Новгородцев, — отмечал крупный юрист, один из лидеров кадетской партии Н.В. Тесленко в речи 1924 года, посвященной его памяти, — боролся против них еще и потому, что эти утопии, приводимые в жизнь, всегда только угнетали человечество. Выше всего должна стоять человеческая личность; она должна быть величиной самодовлеющей, а не служить средством достижения каких-либо целей». Нельзя надеяться на создание социального строя, способного окончательно разрешить существующие проблемы, например вполне реализовать идеал свободной личности. К этому можно только стремиться. Теории, декларирующие такую возможность, как, например, коммунизм, методологически порочны, так как допускают прекращение движения — конец истории. Поэтому «оставленное им научно-философское наследство будет крупнейшим вкладом в ту литературу, которая борется с социализмом».

Вклад Новгородцева в гуманитарную мысль состоит в чрезвычайно ясной постановке вопроса о соотношении идеологии и утопии, общественного идеала и способов его достижения. Эта постановка вопросов, которые разрабатывались в XX веке К. Маннгеймом, Х. Арендт, Р. Ароном, К. Поппером и другими либеральными мыслителями, фактически восходит к Новгородцеву, ясно видевшему опасность беспочвенных радикальных доктрин, которые, овладевая массовым сознанием, обретают самостоятельное функционирование в обществе, причем могут играть чрезвычайно деструктивную роль. Утопический характер и недостижимость коммунистического идеала делают его сторонников фанатиками, бессильными перед логикой истории.

Не все современники могли признать этот вывод. Новгородцев, по мнению левых критиков, увидел в кризисе большевизма кризис социализма и коммунизма как стремления найти рай на земле. Но плох, полагали они, не идеал, а его искажение большевиками. Сейчас, когда появилась возможность сравнивать опыт различных диктатур XX века, мы знаем, что прав именно Новгородцев, а не его критики. Отметим справедливость самого подхода: позиция правоведа выражалась в отрицании всякого финализма — веры в возможность окончательного и безусловного торжества какой-либо одной идеологии или проектируемых ею институтов. Веры, которая объединяет самые различные тоталитарные доктрины — от большевизма и национал-социализма до красных кхмеров и сторонников исламского фундаментализма. Он критиковал поэтому различные формы утопизма: консервативного, социалистического и даже либерального (например, в виде представления о возможности окончательной реализации одной формы правового государства, которая далее не будет подвержена никаким изменениям).

Участие П.И. Новгородцева в политической деятельности определялось его философскими убеждениями умеренного либерализма. Современники определяли его идеологические убеждения как неолиберализм, поскольку, в отличие от классических либералов, он считал необходимым выступать в защиту не только политических, но и социальных прав личности. «По существу, Новгородцев, — отмечал один из них, — был одним из самых крупных мыслителей неолиберализма, под который он подводил углубленный философский фундамент». В книге «Кризис современного правосознания» и очерке «О праве на достойное человеческое существование» (1906) он с позиций неолиберализма отстаивал возможность вмешательства государства в социальные отношения для защиты социальных прав личности. В этом направлении интерпретировались им и идеалы Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы).

В начале XX столетия П.И. Новгородцев входил в Союз освобождения (был членом его Совета) и участвовал в разработке «освобожденческого» конституционного «Проекта Основного закона Российской империи». Он являлся одним из основателей Конституционно-демократической партии, был кооптирован в состав ее ЦК (1906), избран депутатом I Государствен-

«Критически
отнестись
к действи-
тельности
и оценить ее
с точки зре-
ния идеала...»

ной думы от Екатеринославской губернии. В качестве члена кадетской фракции Думы активно работал в комиссиях: о неприкосновенности личности, редакционной, по вопросам гражданского равенства. Участвовал он и в подготовке и подписании законопроектов: о гражданском равенстве, собраниях, неприкосновенности личности. Подписав Выборгское воззвание, Павел Иванович, как и ряд других либеральных деятелей, был приговорен к трем месяцам тюрьмы и лишен избирательных прав.

Законодательная комиссия кадетской партии, разработавшая во время I Думы законопроекты о свободах, гражданском равноправии, неприкосновенности личности, в последующий период разделилась на два отдела — Московский и Петербургский. В первый входили П.И. Новгородцев, Ф.Ф. Кокошкин, С.А. Муромцев, С.А. Котляревский, Г.Ф. Шершеневич, В.Н. Тесленко и В.А. Маклаков; во второй — М.М. Винавер, А.И. Каминка, В.Д. Набоков, И.В. и В.М. Гессены и др. Перед созывом II Думы оба отдела занялись пересмотром законопроектов, не принятых ранее, причем Московский отдел сосредоточил усилия на всеобщем избирательном праве. Разработанные при активном участии Новгородцева законопроекты о свободах и неприкосновенности личности были пересмотрены в обоих отделах, а законопроект о гражданском равноправии дополнен положениями об уничтожении различий сословных, национальных и вероисповедных. Наконец, для согласования работы обеих групп образовали новую комиссию в составе П.И. Новгородцева, а также М.М. Винавера, С.А. Котляревского, А.И. Каминки, Н.В. Тесленко и П.Б. Струве.

П.И. Новгородцев, как видно из всего сказанного, активно участвовал в конституционных дебатах и разработке законопроектов. Еще на I съезде Конституционно-демократической партии он выступил за конкретизацию программы, внесение в нее статьи о том, что «русский закон признает право на достойное человеческое существование, право на труд и нормальное приложение труда». Необходимость данной статьи виделась ему в отсутствии ясного введения к программе, «проясняющего демократизм партии». Большинство участников обсуждения этого вопроса, однако, сочли предлагаемый пункт излишним. Позднее дискуссия возобновилась в Юридическом совещании при Временном правительстве в 1917 году, когда готовилась декларация прав будущей конституции для Учредительного собрания.

Отойдя на время от политической деятельности, Новгородцев вновь вернулся к ней в канун Первой мировой войны: был товарищем председателя экономического совета Всероссийского союза городов, а также московским уполномоченным Особого совещания для организации мероприятий по обеспечению топливом (1916). По воспоминаниям современников, он проявил прекрасные организационные способности и добился взаимодействия административных учреждений и бизнеса по этой ключевой проблеме. В то же время он выступал по вопросам отношений с другими политическими партиями, допуская, как и С.А. Котляревский, возможность сотрудничества, например, с «прогрессистами», но при ус-

ловии сохранения кадетами их «политического лица». При обсуждении возможных избирательных коалиций Павел Иванович всегда выступал за союз либералов с правыми, полагая, что левые партии потенциально более деструктивны для российской государственности. Он считал этот вывод правильным в отношении опыта Государственной думы дореволюционного периода; применял его при анализе расстановки сил периода Гражданской войны на Украине и на Кавказе; и, наконец, в эмиграции, отказавшись принять участие в Совещании членов Учредительного собрания (8–21 января 1921), на котором предполагалось, по инициативе П.Н. Милюкова, заключить союз с умеренными социалистами.

Важный вклад сделан П.И. Новгородцевым в разработку программных положений конституционных демократов по церковному вопросу. Он отстаивал идею реформирования Православной церкви на началах соборности и независимости от государственной опеки, выступал за отделение церкви от государства, но полагал, что между ними должны сохраняться отношения партнерства. Реализуя принцип «свободного самоустроения», Православная церковь, говорил он, является институтом публично-правового характера, которому государство должно оказывать покровительство и материальную поддержку (что не исключает, однако, поддержки государством и других вероисповеданий соответственно их значению и распространению). Позднее, в годы эмиграции, Новгородцев, правда, считал эту конструкцию отношений государства и церкви недостаточной и выступал за большую интеграцию этих институтов во имя социального консенсуса.

В период Временного правительства Новгородцев активно участвовал в разработке партийной тактики. Он выступал на IX съезде партии (23–28 июля 1917) с изложением причин выхода из состава Временного правительства 2 июля 1917 года министров-кадетов, а также по вопросу о переговорах партийных представителей с А.Ф. Керенским 14–21 июля 1917-го. На X съезде (14–16 октября 1917) он говорил о создании сильного центра для противодействия экстремизму: «При нынешнем партийном и классовом распылении партия народной свободы воплощает в себе идею общенационального единства, и, не отступая от своей линии, традиции и программы, она может явиться объединяющим центром и для групп правее и левее ее — не ассимилируя их, но вводя в орбиту поведения к.-д., при неперменном условии сохранения полной партийной определенности». Данная позиция означала поиск конструктивной основы для объединения всех политических сил, способных противостоять революционному перевороту. Эту линию Новгородцев проводил и как участник Государственного совещания, разработчик кадетской тактики в отношении Временного Совета республики. Он был избран депутатом Учредительного собрания от Московского столичного избирательного округа по списку кадетской партии.

В ходе углубления революционного кризиса П.И. Новгородцев выступил сторонником установления диктатуры как альтернативы большевизму. Он предпринял ряд практических шагов по организации воз-

«Критически
отнестись
к действи-
тельности
и оценить ее
с точки зре-
ния идеала...»

мощного переворота: раз война с внешним противником началась, нельзя сохранять противника внутреннего. Таковым он признал на заседании ЦК 11–12 августа 1917 года Совет рабочих депутатов, который считал необходимым уничтожить. Общий вывод из его размышлений: «Надо покончить с большевистской революцией».

После октябрьского переворота Павел Иванович выступил последовательным противником большевистского режима. Он входил в основные контрреволюционные организации, стремившиеся отстоять либеральные ценности в условиях формирующейся однопартийной диктатуры. Был членом Совета общественных деятелей, Правого центра и Всероссийского национального центра, где выступал в поддержку восстановления в России сильной государственной власти в форме конституционной монархии или единоличной диктатуры. «Большевизм, — сказано им в 1918 году, — свергнут не будет, но нам предстоит пережить термидоровскую реакцию, т.е. поворот большевиков к буржуазным путям политики. Мировой разум заставляет большевиков творить свою волю, большевизм рассосется, и процесс уже начался. Путь термидоровской реакции — это тот путь, по которому нам придется идти». В известной работе «О путях и задачах русской интеллигенции» (1918) Новгородцев подчеркивал утопизм идеологии большевизма и видел смысл деятельности мыслящих людей в противостоянии ему, в подготовке юридических актов переходного периода. В то же время он считал нецелесообразным в условиях кризиса (в мае 1918 года) решать общие вопросы, например заниматься разработкой конституции, поскольку не решены окончательно фундаментальные вопросы, такие как положение окраин, в частности Украины. Павел Иванович был убежден: «Когда Россия начнет воссоздавать свой организм, он возродится на началах равноправия национальностей и областных автономий, возврата к старому быть не может».

О мужестве и духовной силе этого человека в период большевистского террора рассказывал И.А. Ильин. Новгородцев выступал его оппонентом на защите диссертации 19 мая 1918 года — сразу после проведенного у него чекистами ночного обыска, когда он чудом избежал ареста и расстрела. «Тревожно простился я с ним, уходящим; я знал уже, что такое подвал на Лубянке, — вспоминал И.А. Ильин. — Поберегите себя, Павел Иванович! Они будут искать Вас! — Помните ли Вы, — сказал он, — слова Сократа, что с человеком, исполняющим свой долг, не может случиться зла ни в жизни, ни по смерти?»

С 1918 года П.И. Новгородцев становится участником сопротивления большевизму на Юге России, поддерживая в целом программу А.И. Деникина. Одним из первых в либеральном движении он оценил большевизм как диктатуру качественно нового типа и указал на ее угрозу миру. В условиях Гражданской войны на Юге России и революции в Германии он отмечал ограниченность выбора альтернативной большевизму формы политического устройства. Данный выбор в условиях революционного кризиса возможен не между демократией и авторитаризмом (как это было

ранее в период борьбы с самодержавием), но между диктатурами двух типов: социалистической, разрушительный характер которой соответствует утопичности ее идеологии, и военной диктатурой, основная цель которой — восстановление стабильности и возвращение к правовой норме. Та дилемма, которая возникла в России в период конфликта Керенского и Корнилова, справедливо предвидел Павел Иванович, будет неоднократно повторяться в истории, а ее разрешение возможно путем установления либо режима большевистского типа, либо — диктатуры бонапартистского типа. В январе 1919 года он делает вывод: важно разъяснить союзникам мировую опасность большевизма (поскольку они недооценивают «внешней привлекательности большевистской отравы»); необходимо преодолеть внутренние разногласия антибольшевистского движения (связанные с различием внешнеполитических ориентаций) и организовать эффективную и быструю иностранную помощь антибольшевистскому движению в России, «пока она не опоздала».

Это идея народного фронта, привлечения всех сил справа и слева, безусловное принятие любой формы власти при одном условии — борьбы с большевизмом. Именно Новгородцев добился известной кадетской («екатериновдарской») резолюции о существовании «национальной диктатуры» главнокомандующего Вооруженными силами Юга России и полной ее поддержки со стороны Партии народной свободы, принятой партийным совещанием при ЦК 29–30 июня 1919 года. В основе этой концепции лежит представление о том, что революцию можно преодолеть только одним способом — взяв у нее достижимые цели и сломив ее утопизм, демагогию и анархию непреклонной силой власти. «Новая система управления, имея в виду привести Россию к широкому демократическим реформам и к новой жизни, — констатировалось в резолюции, — должна заключаться вместе с тем в открытой и прямой борьбе с большевизмом». Данная система имеет центристский характер: ее цель не в том, чтобы возглавить революцию или реставрацию, но в обуздании обеих этих крайностей. Поэтому первоочередной задачей выступало преодоление революции и установление твердого порядка — «единоличной диктаторской власти». Ее существо определялось следующим образом: «Диктатор, которого как временную власть до созыва Учредительного собрания приветствует партия Народной Свободы, должен быть не только диктатором освободителем, но и диктатором устроителем: его задача заключается не только в том, чтобы освободить от большевизма, а также и в том, чтобы утвердить порядок, пресекающий возврат большевизма слева и проявление большевизма справа, установив в тесном сотрудничестве с общественными силами и при их дружественной поддержке те основные предпосылки всякого государственного порядка, вне которых не может быть осуществлено правильное и сознательное волеизъявление народа».

В качестве активного деятеля Всероссийского национального центра на Юге России Новгородцев был главным автором Основных положений Программы Национального центра (1919). В ней нашли отражение идеи

«Критически
отнестись
к действи-
тельности
и оценить ее
с точки зре-
ния идеала...»

внеклассового характера государственной власти, правового решения земельного и рабочего вопросов, организации центрального и местного управления, временной государственной власти (диктатуры) и ее законодательного оформления, а также последующего формирования учредительной власти (обсуждались различные ее формы в виде Учредительного собрания, Народного собрания и другие, различавшиеся масштабом прерогатив этого института и характером его отношения к временной исполнительной власти). Выступал он также автором ряда других документов: проекта декларации Добровольческой армии по земельному и рабочему вопросам; внешнеполитических заявлений (обращения Центра к Сибирскому правительству адмирала Колчака, письма Национального центра в Париж В.А. Маклакову о положении в связи с вопросом об отношении к союзным державам и т.д.). Кроме того, занимался анализом текущих событий Гражданской войны в России, вопросами стратегического взаимодействия армий Восточного и Южного фронтов, перемещением центров власти на Украине (в частности, ряда переворотов, ставших результатом меняющегося соотношения сил союзных войск и группировок антибольшевистского движения).

С поиском основы национального единства связаны позиции Новгородцева по другим принципиальным вопросам, в том числе и по земельному. Он настороженно относился к принудительному отчуждению земли, видя в нем скорее популистский лозунг для привлечения крестьянства, уступку требованиям анархии и аграрного бандитизма, нежели рациональную концепцию. С другой стороны, ему было ясно, что предрассудки крестьянства не позволят одномоментно решить аграрную проблему путем восстановления частновладельческих прав (в реализации этого он усматривал основную ошибку гетманского режима на Украине). Аграрная революция, наподобие случившейся в России в 1905 году и представленной затем махновским движением, не может быть преодолена радикальными аграрными законами, поскольку ее движущими силами являются люмпенизированные слои и уголовные элементы. Развивая эти идеи Новгородцева, П.Б. Струве определял махновщину как «разложение большевизма на бандитизм» или «разложение коммунизма на разбойничьи молекулы», основным способом уничтожения которых является организация твердой власти на местах.

Павел Иванович отчетливо понимал, что стабильная политическая власть возможна в России только при опоре на устойчивый класс средних и мелких собственников. Поэтому при обсуждении во Всероссийском национальном центре вопроса о границах допустимого вмешательства государства в земельный вопрос он сделал поправку: принудительное отчуждение земель может проводиться государственной властью исключительно «в целях создания крепких средних и мелких хозяйств». Таким образом устранялась эсеровская трактовка отчуждения, которая давала право на всеобщее наделение земель. При обсуждении проекта аграрной декларации Добровольческой армии Новгородцев разъяснял, что имеется

в виду прагматическая концепция возвращения к правовой ситуации: «Вообще под временным устройством, которое выдвигает проект декларации, следует разумеать совокупность мер двоякого рода: размежевание между захватчиками и прежними владельцами, по возможности полюбовное, а в случае надобности и принудительное, и обеспечение возможности приобретать землю». Среди необходимых мер отмечались и формы облегчения покупки земли, известные дореволюционной практике: содействие Крестьянского банка, выделение на отруба и т.д.

Другая сторона проблемы переходной формы правления — вопрос о легитимности власти. Легитимность была необходима для консолидации власти, хотя не исключала (и даже предполагала) ее авторитарность. Моделью служил национальный консенсус, достигнутый в период Смутного времени. В этот период вопрос легитимности власти выступил в качестве центрального. «Наша история, — отмечал Новгородцев, — наглядно показывает, как шаток оказался трон Василия Шуйского, „выкрикнутого“ боярами и московскими людьми без участия всего народа; между тем династия Романовых, поставленная всенародным Земским Собором, прочно укоренилась». Из этого следовал вывод о необходимости зафиксировать в программных установках идею Учредительного собрания, как «наиболее желательной и ясной формы народного волеизъявления».

В идеале, считал Новгородцев, следует объявить, что «идет твердая государственная власть, не боящаяся смелых преобразований, но проводящая их на почве права и порядка и не позволяющая ни грабить, ни мстить за грабеж». Это означало выдвижение такой концепции диктатуры, которая наиболее близка ее римскому пониманию: предоставление неограниченных полномочий избранному народом правителю, который реализует их по воле народа (римского сената или Учредительного собрания) и исключительно в переходный период, необходимый для восстановления государственности. Как говорил позднее Д.С. Пасманик, Новгородцев выдвинул формулу: «Цезарь, благословляемый патриархом и церковью на восстановление государственности и национальной державности» — и добавлял: «Что ж, если это кадетские идеи, то останемся кадетами».

Описанная позиция — продолжение той, которую находим у Новгородцева в период Гражданской войны на Украине. В Белом движении существовало три подхода к государственному устройству. По авторитетному свидетельству И.И. Петрункевича (1919), одни считали необходимым сохранить гражданский правопорядок в неизменном виде там, где это оказалось возможным; другие отстаивали Директорию; третьи — диктатуру. В качестве идеолога последнего направления он называет «екатеринодарцев» — П.Д. Долгорукова и П.И. Новгородцева, наиболее проникнутых «атмосферой действующей армии», которые «горячо отстаивали военную диктатуру, видя в ней залог успеха и подчиняя ей все другие вопросы». Новгородцев становится неформальным участником Особого совещания при главнокомандующем, выступая по теоретическим вопросам организации движения, а также участвуя в разработке ряда законопроектов. В ян-

«Критически
отнестись
к действи-
тельности
и оценить ее
с точки зре-
ния идеала...»

варе 1919 года в Одессе на заседании Совета государственного объединения России он выступил с докладом о создании Южно-Русской власти, призывая ввести военную диктатуру. В Крыму он занимался преимущественно педагогической деятельностью (в Симферопольском университете).

Концепция диктатуры как инструмента постреволюционной стабилизации основывалась у Новгородцева, как и у других русских деятелей этого времени, на исторических прецедентах Английской и Французской революций, политики Бисмарка в Германии и Столыпина — в России. Содержание переходного режима во всех этих случаях усматривалось в восстановлении национальной государственности путем объединения страны сверху. Павел Иванович являлся сторонником бонапартистской модели власти, считая ее наиболее рациональной для переходного периода. В период революции и Гражданской войны бонапартизм выступает либеральной альтернативой большевизму. Либеральная концепция бонапартизма, восходящая к Токвилю, видела в нем естественное порождение неконтролируемых тенденций процесса перехода к демократии и рассматривала его в силу этого как меньшее зло в сравнении с народной революцией, как необходимый корректив экстремизму. П.Н. Милуков, П.И. Новгородцев, Ф.Ф. Кокошкин выступали за необходимость военной диктатуры против большевистской. Стратегия установления военной диктатуры (например, Корнилова или Колчака) выступала в качестве меньшего зла в сравнении с установлением однопартийной большевистской диктатуры.

Выдвигая идею национального и духовного возрождения России, П.И. Новгородцев видел его возможность в социальной консолидации, позволяющей «забыть свои особые интересы во имя общего национального интереса». «Если всякая революция, — пояснял он, — в стихийном своем течении превращается в диссолюцию, в разложение государства и народа, то обратный процесс восстановления и возрождения начинается с собирания народной силы воедино». Павел Иванович выдвигает на первый план «национальное чувство», «сознание общей связи» и патриотизм против революционной идеологии и партийного догматизма. Примерами создания политического режима, опирающегося на широкий социальный консенсус, служили выход из Смутного времени в России начала XVII века и постреволюционная стабилизация в Европе, «когда Франция под водительством гениального Бонапарта выходила из своей революции XVIII века». Сходная интерпретация функций бонапартистской модели власти давалась непосредственными участниками корниловского движения, а также его наблюдателями и оппонентами. Наиболее полно данная альтернатива большевизму представлена генералом А.И. Деникиным в «Очерках русской смуты», второй том которых получил выразительное название «Борьба генерала Корнилова». Предпринятая им попытка государственного переворота и установления военной диктатуры предстает как «мучительное искание наилучшего и наиболее безболезненного разрешения кризиса власти», «единственный выход из положения, созданного духовной и политической прострацией власти».

Новгородцев, развивая эту позицию, приходил к однозначному выводу, напоминающему идеи К. Шмитта в Веймарской республике: «Нет кадетизма и демократизма, а есть национальная задача объединения... Очередной задачей является создание власти. А пока власть создается, нельзя добиваться свободы и гарантий таковой. Если у нас сейчас ничего не осталось от нашего демократизма, то это прекрасно, ибо теперь нужна диктатура как созидаящая власть». Демократия для защиты от своих врагов должна, следовательно, позаимствовать их методы, став на время авторитарной. Но не приведет ли это к ее крушению?

...После поражения Белого движения Новгородцев бежал из Крыма в Берлин, а позднее в Прагу, где, при поддержке правительства Чехословакии, организовал в 1922 году Русский юридический факультет при Пражском университете, сыграв видную роль в организации научной работы и преподавания в русской эмиграции. Он являлся членом правления Союза русских академических организаций за границей и Русской академической группы в Чехословакии.

В эмиграции П.И. Новгородцев пережил, по воспоминаниям современников, «глубокий духовный перелом». Если прежде он принадлежал скорее к западническому руслу русской общественной мысли, то на почве религиозных исканий последних лет своей жизни он стал сближаться со славянофильством и даже прочитал в Русском институте в Праге цикл лекций на тему «Кризис западничества». Эти размышления, однако, не означали окончательного отказа от прежней неокантианской философии и идеологии неолиберализма. Их можно рассматривать скорее как поиск нового синтеза западничества и славянофильства, который должен был дать ответ на трудный вопрос о причинах невосприимчивости «русской души» к идеалам правового государства.

Выдающийся мыслитель и общественный деятель Павел Иванович Новгородцев скончался в Праге 23 апреля 1924 года.

ИОСИФ
ВИКЕНТЬЕВИЧ
МИХАЙЛОВСКИЙ

«Идея личности есть
высшая нормативная
идея...»

Иосиф (Иосиф-Стефан) Викентьевич Михайловский (1867–1921) был родом из Черниговской губернии, из небогатой мещанской польско-католической семьи. Для истории российского либерализма его жизнь и идеи представляют особый интерес: возможно, Иосиф Михайловский являл собой один из наиболее ярких примеров «не провинциального» по своей глубине либерализма российской провинции. Всю жизнь он провел в небольших и средних, по российским меркам, городах, никогда не принимал активного участия в политической жизни и, даже будучи некоторое время конституционным демократом, все-таки не вполне вписывался в «генеральную линию кадетизма», не поддерживая ее резко выраженную оппозиционность власти. По своим политическим взглядам И.В. Михайловский ближе всего стоял к земцам, но и в самом земском движении, как движении политическом, участия тоже не принимал. Сторонник конституционной монархии, он даже после Февральской революции публично отстаивал эти свои взгляды и с большим скепсисом смотрел на перспективы России в качестве республики.

Два обстоятельства могут многое объяснить. Прежде всего, Михайловский вышел из судейской среды, глубоко проникся ее духом и никогда с ней не порывал. Многие годы он провел на должностях судей судов первой инстанции, к концу жизни совмещал преподавание в университете с должностью судьи Высшего Сибирского суда. А кроме того (наверное, это и есть главное), Михайловский — ближайший, если не единственный ученик Бориса Николаевича Чичерина. Два этих обстоятельства позиционируют Михайловского в либеральном движении России довольно специфическим образом. Непосредственная и даже профессиональная включенность в земскую жизнь сочеталась в нем с весьма скептическим взглядом на политическую борьбу, в том числе и ту, что вели земцы. Критический взгляд на российские порядки, реальное состояние государственного управления и засилье бюрократии — с отстаиванием принципа политической стабильности. Требование правового государства, широкого спектра гражданских и политических свобод — с сохранением монархического принципа.

По окончании гимназии Иосиф Михайловский поступил в Киевский университет Св. Владимира, учился на юридическом факультете, но про-

слушал также полный курс философии на историко-филологическом. В 1890 году он окончил университет с отличием. Еще будучи студентом, женился. Его жена, Елена Васильевна (урожденная Рудская-Хмелевская), родом из Варшавы, православного вероисповедания. В семье росло трое детей: первенец Михаил появился на свет в 1890 году, дочь Наталия родилась в 1895-м, сын Лев — в 1901-м; дети, как и мать, были православными.

Судя по всему, карьеру судьи Иосиф Викентьевич выбрал еще в студенческие годы, так как сразу после окончания университета он поступает «кандидатом на должность по судебному ведомству» при прокуратуре Черниговского окружного суда. Михайловского берут на службу 5 марта 1890 года, но уже 20 марта переводят в город Нежин той же Черниговской губернии, где он и проходит все ступени службы, необходимые, чтобы занять судебскую должность.

Что это за город, Нежин, куда после почти «столичного» Киева попал Михайловский с семьей и где он провел более трех лет? Типичный уездный городок юга России: население 15 тыс. жителей, тринадцать православных церквей, два монастыря, католическая церковь, синагога, пять еврейских молитвенных школ, окружной суд, десять присяжных поверенных, три нотариуса. В городе также находились: лицей князя Безбородко, гимназия, уездное училище, греческое училище, два женских пансиона, еврейское казенное училище, приходское училище, больница на сорок кроватей, инвалидный дом, богадельня. На весь уезд — девять врачей. Главный предмет местной торговли — табак и соленые огурцы. (Экспорт соленых овощей в другие области и столицы осуществлялся в огромных масштабах — до 10 тыс. бочек в год; нежинские огурцы и спустя сто с лишним лет считаются лучшими для засолки.) Какие-то 150 верст отделяют Нежин от Киева, но это уже другая жизнь. Недавний выпускник университета вряд ли мог так просто к ней привыкнуть, отказаться от больших задач, которые люди ставят перед собой в молодости. Первое серьезное столкновение планов и ожиданий с реальностью происходит у Михайловского именно в этом «огуречном раю».

Стать судьей — это было мечтой многих студентов-юристов пореформенной России. Эта карьера рассматривалась как высшая форма карьеры юриста вообще. К концу XIX века имидж судьи был очень высок, особенно у мировых судей. За двадцать пять лет этот институт завоевал сердца россиян всех сословий: именно мировые судьи водворяли в обществе и народе идею законности и уважения к личности.

Однако к началу 1890 года во всей внутренней России институт мировых судей был отменен, а их функции передали городским судьям. Михайловский, позднее анализируя ход судебной реформы, скажет, что основным мотивом властей в этой реформе стало стремление искоренить из судебной системы всякий «общественный элемент», всякое участие самого общества при рассмотрении своих дел. Из судебной практики оказались почти полностью изъяты все примирительные процедуры, судья становился неким внешним администратором, основным интерес кото-

рого состоял только в том, чтобы вышестоящая инстанция не отменила его решение. Вместо «охранителя мира», «водворителя мира», использующего кроме писаного права также обычное право, традиции и обычаи делового оборота, общество получило чиновника. И ничего бы страшного, если бы судей обязали судить только и исключительно по нормам действующего («писаного») права, если бы постепенно перешли на привлечение только профессионалов-юристов, но при этом сохранили их выборность, их ответственность непосредственно перед обществом. Власти, однако, предпочли поступить иначе.

Поступив на работу в суд, Михайловский обнаруживает все «прелести» судебной контрреформы: при невысокой юридической квалификации, которая никуда не делась, судьи получили независимость от того общества, проблемы которого были призваны решать. При этом административно они стали очень уязвимы, превратившись в чиновников, причем чиновников низшего звена.

Реальность несколько отрезвила молодого человека: незначительность споров и «обид», которые приходилось разбирать, полная административная зависимость судьи от чиновников, а также низкая квалификация коллег. Что касается последнего, то такое мнение о коллегах — не плод завышенной самооценки или юношеской фанаберии. О некоторых грубых ошибках коллегиальных решений Нежинского уездного суда Михайловский выскажется публично в печати и обоснует свою позицию.

Трудно себе представить, чтобы блестящий выпускник одного из лучших российских университетов, свободно говорящий на пяти европейских языках, юрист и философ, удовлетворялся положением соискателя должности судьи в заштатном городке. В установленные сроки он сначала становится исполняющим обязанности судьи, после чего указом Правительствующего сената осенью 1892 года производится в титулярные советники, а в январе 1893-го становится судьей 1-го участка города Нежина. С этого момента он прилагает усилия, чтобы его перевели в другой город, и 25 июля 1893 года приказом по Министерству юстиции его назначают городским судьей Екатеринбурга. Это многое меняет в его жизни: именно в Екатеринбурге Иосиф Викентьевич приступает к научной работе и публикует первые статьи по судебной-правовой тематике. Но Екатеринбург — это еще и крупный культурный центр, там можно утолить еще одну страсть — любовь к музыке. Михайловский не просто был прекрасным музыкантом и играл на нескольких инструментах, он глубоко исследовал историю и теорию музыки. 17 декабря 1895 года он выступает с докладом на Бетховенском собрании Екатеринбурга по случаю 125-летней годовщины со дня рождения композитора. Расширенная печатная версия этого доклада «Личность Бетховена и значение его в истории культуры» в 1896 году выходит отдельным изданием.

Летом 1896-го И.В. Михайловский возвращается в Черниговскую губернию, в качестве городского судьи города Козельца. Там он начинает готовиться к сдаче магистерского экзамена в alma mater и получению

звания приват-доцента — чтобы приступить к преподавательской и научной деятельности.

Перед магистерским экзаменом, в 1899 году Михайловский публикует свой первый научный труд «К вопросу об уголовном судье. По поводу предстоящей судебной реформы» и издает его в Нежине. Это уже достаточно зрелая и принципиальная работа, далеко выходящая за рамки заявленной в названии темы и посвященная ключевым проблемам российского правосудия, главная из которых — независимость судьи и судебной власти. Наступление на независимость судей и судебной власти — вечный и излюбленный сюжет всех российских контрреформ, притом что декларируемая ими цель всегда самая высокая: совершенствование правосудия. Через шесть лет в своей магистерской диссертации Михайловский проанализирует результаты этих очередных «улучшений» и даст им резко отрицательную оценку. В работе 1899 года интересно еще и то, что вся ее «идеология» взята из трудов Б.Н. Чичерина «Собственность и государство» и «Курс государственной науки», а также из только что опубликованных в «Вопросах философии и психологии» глав чичеринской «Философии права».

В том же, 1899 году И.В. Михайловский лично обращается к Чичерину с просьбой ознакомиться с его работой. Автор отнесся к этой просьбе чрезвычайно серьезно (он вообще очень внимательно относился к молодым ученым и всегда их поддерживал, если видел у них неподдельный интерес к «серьезной философии»). Михайловский оценивает эту встречу как главное событие в своей научной жизни; под руководством Чичерина он вновь садится за философию, но это уже систематические занятия с уклоном в философию политики и права.

Влияние Чичерина на Михайловского оказалось весьма значительным. Михайловский полностью принимает все основные философско-правовые принципы и многие политические установки своего учителя. Причем не только принимает, но и отстаивает их, и развивает. Это не эпигонство, а продуманная позиция с собственной аргументацией. Есть и пункты расхождения: как многие русские либералы (например, П.И. Новгородцев и Е.Н. Трубецкой, на которых Чичерин также весьма сильно повлиял), Михайловский является более «социальным» мыслителем. Социальная ориентация не связана с отрицанием предельного персонализма чичеринской мысли — в этом вопросе Михайловский выступает скорее его стойким последователем. Не связана она и с какими-то социалистическими или народническими идеями: Михайловский никогда и ни в чем им не симпатизировал, а под конец жизни даже активно противостоял. Большая социальная направленность связана, как это ни парадоксально прозвучит, с углублением и переосмыслением позиции самого Чичерина по ряду вопросов, в первую очередь по вопросу о «принципе общей пользы».

Еще при жизни Чичерина Михайловский готовит статью о нем для «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона». Это, несомненно, лучшее в литературе того времени изложение учения философа сопровождается несколькими довольно сильными критическими пассажами. «Если

«Идея личности есть высшая нормативная идея...»

Чичерин совершенно ясно и точно установил один принцип ограничения свободы личности, а именно чужую свободу, то другой выставленный им принцип — „требования общей пользы“ — отличается неопределенностью, и из него могут быть сделаны выводы прямо противоположные учению Чичерина о свободе и самоцельности личности».

Еще один пункт явного несогласия — так называемый рабочий вопрос. Михайловский пишет: «Теория Ч. о невмешательстве в дело поднятия благосостояния рабочих масс приводит к слишком суровым, резким выводам; с его точки зрения, все новейшее прогрессивное законодательство на этом пути должно быть признано злом».

В вопросе о роли суда, при всей схожести общих позиций Чичерина и Михайловского, есть, однако, и крайне важное расхождение. Для первого государство неподсудно по определению. Да, оно может и должно компенсировать вред, причиненный своими действиями, но в широком философском смысле остается неподсудным. Для того чтобы оно было таковым, необходимо одно существенное условие: наличие надгосударственного образования с легитимной правовой системой, но именно этого история так и не создала. Михайловский же считает, что эти и ряд других негативных моментов учения Чичерина устраняются более глубоким пониманием миссии государства в культуре. История, полагает он, показывает, что в действительности над государством возвышается фундаментальная нормативная идея, и сожалеет, что Чичерин сам не довел ее до логического конца.

Идея личности, ее достоинства, самоценности и самоцельности, создает высшую нормативную идею, которая не только формирует основу единства права и нравственности, но также определяет и культурную миссию государства. Именно эта идея ограничивает суверенитет государства и суверенитет народа и с необходимостью для своего обеспечения вызовет к жизни наднациональные формы контроля над обеспечением прав личности. Эти весьма нетривиальные для своего времени идеи Михайловский будет развивать во многих своих работах.

Над государством Михайловский ставит культуру, но не культуру в виде знаний, произведений и достижений научной и технической мысли, а культуру как систему духовных ценностей, разделяемых людьми. Через эту систему в первую очередь и формируются и реальная нравственность повседневной жизни, и основания, по которым те или иные правовые суждения представляются правомерными или неправомерными. В понимаемой таким образом «культуре» системообразующим элементом выступают доминирующие в данную эпоху представления о личности и ее ценности. Государство постоянно ощущает давление некой глубинной нормативности, и задача культурного правового государства как раз и состоит в том, чтобы соответствовать этому давлению: принимать законы и действовать, надежно обеспечивая личность, ее достоинство и право на самореализацию. Понятно, что при таком подходе к праву Михайловский приветствует возрождение идеализма и крайне негативно относит-

ся к правовому позитивизму; горячо поддерживает «возрожденное естественное право» и его сторонников. В дальнейшем он станет активным защитником позиции «Вех».

Те несколько лет, что Михайловский общался с Чичериным, не только предопределили выбор его теоретической и политической позиции, но и оставили неизгладимый след в его духовной жизни. Об этом он всегда помнил: и его диссертация, и его главный труд «Очерки философии права» вышли с посвящениями учителю. Судя по всему, именно их знакомство окончательно определило выбор Иосифа Викентьевича в пользу преподавательской и научной деятельности. С этого момента карьера судьи отодвигается на второй план, превращаясь лишь в средство для перехода на преподавательскую должность. Значительно раздвигаются и рамки научных интересов Михайловского: постепенно уголовное право уступает место философии права, а сами уголовно-правовые исследования становятся все менее прикладными, все более теоретическими и мировоззренческими.

Осенью 1900 года Михайловский успешно держит магистерский экзамен по уголовному праву в Университете св. Владимира и читает пробные лекции, признанные удовлетворительными. На этом основании 9 ноября 1900 года он получает звание приват-доцента и право преподавания в университете.

Получение научного звания в те времена приветствовалось и способствовало профессиональной карьере судьи. Михайловского повышают в должности, теперь он — уездный член суда по Козелецкому уезду и надворный советник. Однако, несмотря на повышение в должности, Иосиф Викентьевич просит перевести его на должность мирового судьи в университетский город Юрьев. Здесь он проработал чуть больше года, но «зацепиться» в университете не сумел. Следует еще одна его просьба — о переводе в Томск; 24 июня 1903 года Михайловский назначен мировым судьей в Томске.

Тогда это был один из динамично развивающихся городов России с полиэтничным и многоконфессиональным населением. Императорский Томский университет имел довольно молодой юридический факультет с кафедрами по всем отраслям права. В городе действовал также еще более молодой Технологический институт им. Николая II, где читались курсы по различным отраслям права, имеющим отношение к профилю института. Томск был привлекателен также тем, что в нем существовало отделение Императорского русского музыкального общества.

Почти сразу по прибытии Иосиф Викентьевич обращается к декану юридического факультета с ходатайством о допущении его к чтению лекций по уголовному праву. К ходатайству он прилагает подробный план курса лекций и рекомендацию Б.Н. Чичерина. Данная рекомендация, вероятно, имела особый вес, так как на протяжении ряда лет о ней вспоминали всякий раз, когда рассматривались вопросы назначений и перемещений Михайловского на юридическом факультете.

«Идея личности есть высшая нормативная идея...»

Факультет определенно хотел видеть Михайловского в числе своих преподавателей: несмотря на полную укомплектованность кафедр и сверстанность учебных планов, декан осенью 1903 года ходатайствует перед ректором о допущении мирового судьи 5-го участка приват-доцента Михайловского к чтению необязательного курса лекций по уголовному праву и процессу. Интересно, что лекции, одобренные факультетом, предлагается читать на четвертом курсе, т.е. студентам, которые уголовное право изучают уже в течение трех лет. Совершенно очевидно, что предложенный материал отличался углубленным теоретическим осмыслением предмета.

Ректор университета, в свою очередь, обратился с ходатайством к попечителю Западно-Сибирского округа, однако бумага застряла в его ведомстве весьма характерным для России образом: на нее не ответили ни в установленные сроки, ни вообще, как будто обращения не было вовсе. Учитывая это обстоятельство, 3 марта 1904 года на заседании юридического факультета большинством голосов принимается решение о допущении приват-доцента Михайловского к чтению лекций по... тюрьмоведению. Это, конечно, далеко не то, что он хотел, но все-таки обязательный курс, открывавший перспективу дальнейшего продвижения. К тому же председатель окружного суда подтвердил своим письмом, что ничего против не имеет. Разрешение от попечителя учебного округа получили, и с 6 мая 1904 года Михайловский был допущен к чтению лекций по университетской кафедре уголовного права и судопроизводства. А с 1 сентября 1904 года — и к чтению лекций в Томском технологическом институте, где новому преподавателю предстояло читать курс по законоведению, а также курсы по фабричному, горному и строительному законодательству.

В 1905 году в Томске вышла диссертационная книга (336 страниц) И.В. Михайловского «Основные принципы организации уголовного суда. Уголовно-политическое исследование». Опубликованная по решению Юридического факультета Томского университета, она распространялась во многих крупных городах России, поступила во все крупные университетские библиотеки.

Защита магистерской диссертации «Основные принципы организации уголовного суда» стала значительным событием как в жизни ее автора, так и в жизни университета. В переполненном актовом зале университета 25 февраля 1906 года собрались не только преподаватели факультета и руководство университета, но также чиновники Министерства народного просвещения и коллеги Михайловского — судьи. Благожелательный отчет опубликовало влиятельное столичное издание «Право», редактируемое петербургскими либералами В.М. Гессеном, И.В. Гессеном, В.Д. Набоковым и Л.И. Петражицким.

Столь широкий интерес понятен. Это было время расправы над неудавшейся революцией, расправы, осуществляемой уже не оружием, а силами уголовной юстиции. Это было время, когда газеты и журналы постоянно сообщали о вынесенных смертных приговорах; когда апелляционные и кассационные судебные инстанции штамповали отказные решения по

жалобам приговоренных; когда политические заключенные содержались в тюрьмах месяцами без предъявления им обвинения, а смертные приговоры выносились за преступления, по которым в мирное время давали минимальные сроки. Так, в дни защиты диссертации Михайловским в Варшаве казнили двух человек за погром в сельском суде и «оскорбление портретов Их Императорских Величеств».

Кроме того, весьма критическая позиция автора по вопросу о состоянии уголовного правосудия в России, высказанная им еще в книге, была известна. Весьма вероятно, что большинство собравшихся не интересовала собственно научная сторона дела; людям казалось важным, что критический взгляд будет не только высказан, но также признан и «утвержден» научным сообществом. Поэтому, когда декан объявил, что факультет «единогласно и с особым удовольствием постановил дать г. Михайловскому искомую степень», зал взорвался аплодисментами.

Если оставить в стороне социальный контекст, дежурные речи оппонентов, суету момента и обратиться к содержанию самой диссертации, то мы увидим весьма ценные идеи о надлежащем судеустройстве в России, как оно видится либералу, а также внятный анализ смысла судебных реформ последних лет и их последствий. Некоторые главы книги излагают в переработанном виде содержание статей, опубликованных ранее. Заключительные главы отвечают на те вопросы, которые были поставлены автором еще в работе 1899 года.

Михайловский считает, что Судебные уставы 1864 года необходимо восстановить в их первоначальном виде, так как все вышедшие после этого новеллы только ухудшали первоначальный текст. Руководящей идеей всех изменений было «стремление к бюрократизации судебного ведомства и к превращению судей в зависимых от правительства чиновников». Суд неизбежно превратился в орудие власти. Все это привело к падению нравов в судейской среде: судья при вынесении решения больше ориентируется на «направление внутренней политики», а не на законность и правомерность.

Особо следует отметить мысль ученого об участии в судебной деятельности непрофессиональных представителей общества, так называемого общественного элемента. Необходимо любой ценой сохранить суды присяжных, считает Михайловский, а при коллегиальном рассмотрении дел вводить в состав суда представителей общественности. Это станет сильным противовесом бюрократическому давлению на судей.

Сразу после защиты диссертации в начале марта 1906 года юридический факультет тайным голосованием (единогласно), а затем и Совет университета тайным голосованием (большинством голосов: 24 — за, 3 — против) принимают решение о предоставлении Михайловскому вакантной кафедры полицейского права. В течение марта — апреля 1906 года он окончательно оставляет службу в качестве мирового судьи и переходит из Министерства юстиции на службу в ведомство Министерства народного просвещения.

«Идея личности есть высшая нормативная идея...»

В августе 1906 года Иосиф Викентьевич просит перевести его на кафедру энциклопедии и истории философии права. На заседании юридического факультета, состоявшемся 4 сентября, его просьбу удовлетворили, при этом само обсуждение прошло крайне дружелюбно. Вспомнили все: и полный курс философии в университете, и занятия с Чичериным по философии права, и знаменитые статьи о нем, и глубокий философский анализ природы права в диссертации. Вспомнили и то, что сам Чичерин рекомендовал своего ученика именно на кафедру энциклопедии права. В конце ноября 1906 года Михайловский был переведен на кафедру энциклопедии и истории философии права. Однако Высочайший приказ по гражданскому ведомству был издан лишь 30 июня 1907-го.

В качестве профессора юридического факультета И.В. Михайловский проработал вплоть до своего увольнения весной 1920 года, когда его арестовала ЧК. (За это время он семь раз будет занимать должность декана факультета — и всегда будет тяготиться этой работой.) Он читал курсы лекций не только по философии права, но также и по государственному праву, по уголовному и гражданскому праву и процессу. И практически каждый год во время летнего отпуска выезжал за границу, чаще всего в германские университеты, для занятий в библиотеках.

Ежегодно Михайловский читал вступительные лекции — по большей части общего, мировоззренческого характера. Тексты 1907, 1908 и 1909 годов вышли отдельными изданиями. Его первая лекция «Университет и наука» посвящена ценности научного познания и роли профессора. Как подчеркнул Михайловский, само это слово происходит от латинского *profiteri*, что значит — свободно исповедовать свои убеждения. Особая ответственность лежит на профессоре в современной России, раздираемой не только и не столько темными и необразованными людьми, сколько полуобразованными адептами самых вздорных и поверхностных идей.

Лекция «Культурная миссия юристов» была прочитана в 1908 году. Ее пафос состоит в том, чтобы доказать: хотя юрист и служит государству, он также реализует идею права, которая стоит над государством. В служении этой идее заключается и подлинная цель государства, не всегда самим государством отчетливо осознаваемая. Главная задача студента университета — «понять право в его этической основе», научиться отличать право от произвола, кто бы его ни чинил: один, многие, большинство или все. «Над государствами стоит высший этический порядок, частью которого является право, государство связано этим порядком и вовсе не является всемогущим Левиафаном». Развитие общества и всех его сил возможно только на почве права и самого надежного охранителя права — государства. Поэтому не в отрицании государства, а во всемерном его совершенствовании, приведении в соответствие с его подлинной сущностью состоит миссия юристов.

«Правовые прелюдии к грядущей культуре» (1909) — это в полном смысле программная лекция. Отчасти она перекликается с проблематикой второй лекции, но все же главный ее предмет — границы суверените-

та и общей воли, а также анализ вызовов, с которыми сталкивается идея прав личности. Михайловский здесь вновь возвращается к теме «право и государство», но на этот раз он начинает с более критической ноты. Идея правового государства переживает кризис. Против нее выступают социалистические, анархистские и теократические течения мысли и политики. Это сопряжено с кризисом всех основных политико-правовых идей XIX века, считает Михайловский, солидаризуясь с основными идеями работы П.И. Новгородцева «Кризис современного правосознания».

Идеи государственного и народного суверенитета, идеи общей воли народа и представительного правления — все это оказалось сомнительным и противоречивым. Оказалось, что даже демократические ценности и институты таят в себе различные угрозы. Лишь идея личности сохранила свою привлекательность, но ей-то как раз и угрожают главные вызовы эпохи. Независимость, возможность самобытного и оригинального развития каждой отдельной личности представляет высшую ценность. «Политическая свобода есть только средство для охраны индивидуальной свободы, личной независимости», и ее надо использовать не для того, чтобы разрушать государство, а чтобы развивать правовое государство и его институты, в том числе и «социальное законодательство». Это должно быть именно законодательство и правовое содействие, а не государственные вмешательства и опека.

Принципы умеренного либерализма И.В. Михайловский отстаивал практически во всех своих работах — крупных, небольших и даже в рецензиях. Он полагал, что правовой позитивизм, которого придерживались многие его коллеги, несет в себе серьезную опасность. Правовой позитивизм, на первый взгляд, тяготеет к апологетике существующего порядка вещей. Однако это не всегда так. Если источником права являются распорядительные функции государства, то вопрос о праве и вопрос о власти — нераздельны. И в условиях политической нестабильности правовой позитивизм превращается в разрушительную силу. Действительно, у кого власть, у того и право и тот вправе творить право. Борьба за власть неизбежно выступает на первый план. Публичное право получает приоритет над частным. К этому надо добавить еще и теорию интереса, которую, как правило, разделяют все правовые позитивисты, и представление, что власть в принципе может издать любой закон. Закон и право — это всего лишь средства реализации интересов.

Для естественно-правовых теорий вопрос о власти вторичен, как вторична вообще сфера политического, ибо вытекающие из доктрины запреты и пределы для власти сделают любую власть «приемлемой», если она соблюдает приоритет гражданских прав. Защита гражданских прав в этой системе взглядов лучше осуществляется более стабильными политическими режимами и вообще требует стабильности и преемственности власти. Политические права важны, но не как самоцель, а как средство, с помощью которого в государстве можно защитить свои гражданские и индивидуальные права. Противодействие правовому позитивизму явля-

«Идея личности есть высшая нормативная идея...»

ется лейтмотивом многих работ Михайловского, в том числе и главной — «Очерков философии права». Они вышли в свет в 1914 году и стали одним из самых заметных трудов в этой области.

Сулившая спокойную и размеренную академическую жизнь карьера университетского профессора оказалась довольно бурной. Этому способствовала не только бурная жизнь России того времени, но и некоторые черты характера самого Михайловского. Как преподаватель он был очень требователен, в финансовых вопросах — очень щепетилен. Иосиф Викентьевич неизменно отказывался от того, чтобы студенты спонсировали издание его лекций (весьма распространенная тогда практика), и требовал, чтобы университет, если он заинтересован (а он должен быть в этом заинтересован), напечатал их за свой счет или хотя бы возместил часть расходов.

Один из таких конфликтов закончился большим скандалом. В марте 1910 года студенты первого курса обратились к своему профессору с просьбой разрешить им издать его лекции за их счет. Иосиф Викентьевич в резкой форме отказал: мол, у тех, кто ходит на его лекции, и без того все есть. Но таковых как раз и не нашлось; группа на общем собрании объявила о бойкоте лекций Михайловского, выдвинув ряд требований, в том числе и требование уважительного к ним отношения со стороны преподавателя. В ответ преподаватель высказался в том смысле, что уважение надо сначала заслужить...

Конфликт невероятно разросся, бойкот продолжался, о нем стали писать в газетах, в том числе и петербургских. Министерство народного просвещения потребовало от ректора университета отчета и приказало скандал немедленно прекратить вплоть до отчисления студентов-зачинщиков. Действительно, студенты нарушили ряд положений университетского устава, а также несколько раз обманули ректора, заведомо сообщив ему неправду. К счастью, дело удалось решить без каких-либо административных мер.

Однако первый по времени конфликт возник не в стенах университета, а в Томском отделении Русского Императорского общества, которое избрало Михайловского своим председателем. Дело в том, что Общество являлось еще и музыкальным учебным заведением; контроль над средствами был поставлен в нем слабо и осуществлялся собственными выборными органами. Обнаружив, что в отделении процветают приписки и откровенное воровство, председатель уволил ряд преподавателей, остальные ушли сами. Учебная деятельность остановилась, и Иосифу Викентьевичу пришлось покинуть свой пост.

К Февральской революции 1917 года И.В. Михайловский отнесся с большим скепсисом, расценив ее как весьма нежелательное развитие событий. В условиях всеобщей эйфории, когда все считали нужным надеть красный бант или хотя бы красный или бордовый галстук, Михайловский демонстративно стал носить только синий. Опасения его были связаны не только с тем, что республиканский строй в России угрожает стабиль-

ности; он опасался, что политические свободы, полученные в одночасье не подготовленными к ним гражданами, могут сыграть злую шутку со страной. Надо сказать, что и коллеги, и студенты продолжали относиться к Иосифу Викентьевичу с большим уважением, а его лекции активно посещались.

Октябрьский переворот правовед не признал в принципе. Власть большевиков в Сибири, однако, продержалась тогда недолго: практически бескровное восстание Чехословацкого корпуса легко упразднило советскую власть. Восстановление органов государственной власти Временным Сибирским Правительством началось с воссоздания правовой системы и судебной власти. 7 сентября 1918 года был учрежден Сибирский высший суд, а 8 сентября Указом Временного Сибирского Правительства «профессор Томского университета И. В. Михайловский назначается Членом Высшего Сибирского Суда по Уголовному Департаменту с 15 октября 1918 года с оставлением в должности профессора». Восстанавливались не только судебные органы, но и судебные уставы 1864 года, при этом Сибирский Высший суд становился высшей судебной инстанцией и осуществлял свою деятельность по закону о Правительствующем сенате.

Кроме дорогой Михайловскому идеи восстановления уставов 1864 года, судебная власть восприняла еще одну его идею — о привлечении общественного элемента к деятельности судебных органов. Впервые в Сибири были введены суды присяжных, а земские и городские органы самоуправления получили возможность включать своих представителей в рабочие органы судов для принятия коллегиальных решений. Если учесть факт развития в те месяцы и других демократических и либеральных институтов, станет понятно: в Сибири Россия восстанавливалась именно как правовое государство.

Осенью 1918 года И.В. Михайловский опубликовал две важные статьи — «Отголоски Совдепии» и «Религия и народное образование». Так называемые светлые идеалы социализма не имеют никакого отношения к светлым идеалам и идеалам вообще, уверен автор; «социализм — вещь очень простая и прозаическая». Но религия, которая действительно имеет непосредственное отношение к «светлым идеалам», — вот она-то изгоняется отовсюду, в том числе и из школы. Изгоняется то, что составляло духовную основу многовековой культуры, то, что объединяло людей вне зависимости от их происхождения, то, что учило состраданию и взаимопомощи. В триаде «свобода, равенство и братство» третий элемент может быть достигнут только при помощи религии.

Иосиф Викентьевич не отличался хорошим здоровьем, часто недомога и в более благоприятные времена: его «Формулярный список о службе» (нечто среднее между личным делом и трудовой книжкой) сохранил немало тому свидетельств. И все революционные годы он тяжело болел; лекции приходилось переносить или читать их дома.

Осенью 1919-го к власти вернулись большевики. Совместным постановлением № 7 Сибнаробраза и Коллегии по управлению вузами от

«Идея личности есть высшая нормативная идея...»

15 апреля 1920 года И.В. Михайловский, а с ним еще семь профессоров юридического факультета, был уволен. Но еще раньше, 28 февраля, Томская ГубЧК выдала ордер за № 610 на арест Михайловского. 1 марта его арестовали и отправили в тюрьму на Иркутском тракте Томска. Известно, что в камере находился и младший сын Иосифа Викентьевича — Лев (вероятно, он все-таки не был арестован, а находился с больным отцом, чтобы за ним ухаживать).

Оставшиеся на свободе и на своих должностях коллеги Михайловского начали активно ходатайствовать о его освобождении; по их просьбе ректор университета неоднократно обращался в ЧК. Аргументы в глазах чекистов были, конечно, наивные: просили проявить милосердие к больному человеку, в котором нуждаются студенты и учебный процесс, ручались, что профессор никуда не сбежит и регулярно будет приходить на допросы... Все ходатайства остались, разумеется, без ответа.

И.В. Михайловского приговорили к пяти годам лагерей за антисоветскую деятельность. Однако исполнить приговор оказалось невозможно, так как Иосиф Викентьевич, страдавший болезнью сердца, находился в очень тяжелом состоянии. 1 мая 1920 года его перевели в Госпитальные клиники Томского университета, где он и скончался от кардиосклероза 5 марта 1921 года.

БОГДАН
АЛЕКСАНДРОВИЧ
КИСТЯКОВСКИЙ

**«У нашей интеллигенции
правосознание стоит
на крайне низком уровне
развития...»**

Богдан Александрович Кистяковский (1868–1920) родился в Киеве в семье известного профессора А.Ф. Кистяковского. Обучался на историко-филологическом факультете Киевского университета, но в 1888 году был исключен — после ареста австрийскими властями во Львове за участие в студенческом движении. Продолжил обучение на юридическом факультете Юрьевского университета в Дерпте, однако в 1892-м снова был исключен. Позднее учился в Берлине, окончил философский факультет Страсбургского университета (1898). В 1899 году защитил в Берлине диссертацию «Общество и индивид» (на немецком языке). Следующую диссертацию, «Социальные науки и право», защитил незадолго до революции в Харькове, предварительно издав по этой теме книгу (1916).

Богдан Александрович преподавал в Московском университете (1899), читал лекции по государственному праву в Коммерческом институте в Москве (1906–1908) и в Ярославском демидовском лицее (1912–1917). С 1917 года он — профессор юридического факультета Киевского университета, академик Украинской академии наук (1919). Вместе с президентом Академии В.И. Вернадским Кистяковский сыграл существенную роль в ее организации и отстаивании права на существование (известна их совместная поездка в Ростов-на-Дону в 1919 году). Позднее ученый переехал в центр Белого движения — Екатеринодар, где был выбран профессором Политехнического института. В этом городе он и скончался от паралича сердца в 1920 году.

В молодости Богдан Кистяковский испытал сильное увлечение марксистскими социологическими и экономическими идеями, изучал труды К. Маркса и марксистскую литературу, участвовал в ее пропаганде в студенческой среде Киева. Однако затем, обучаясь в Германии, полностью воспринял неокантианское философское учение, непосредственно общаясь с его представителями: Г. Зиммелем в Берлине и В. Виндельбан-дом — в Страсбурге, что нашло выражение в его книге «Общество и индивид». Книга получила большой отклик в научной среде Германии, где ее рассматривали как существенный вклад в дискуссионные проблемы и методологию социальных наук.

Стремление сочетать элементы различных идеологий сохранилось у Кистяковского и в дальнейшем. Определенные трудности при интерпретации теории государства и права ученого связаны как раз с его поисками синтеза марксизма и либерализма, социализма и правового государства, а также с использованием идеологически окрашенной терминологии в оригинальной трактовке. Кистяковский, например, выдвигал такой спорный тезис: социалистическое государство есть продолжение государства правового или конституционного. «Несомненно, — писал он в 1909 году, — что полное единение государственной власти с народом, т.е. полное единение государства как цельной организации осуществимо только в государстве будущего, только в народном или социалистическом государстве. Последнее, однако, не будет в этом случае создавать новые принципы. Оно будет только применять тот принцип и ту идею, которую создали идеологи конституционного правового государства и которую они выдвинули и провозгласили хотя бы в знаменитой французской декларации прав человека и гражданина как цель и основную задачу государства вообще». При этом он не объяснял, в чем состоит различие этих двух типов государственности — социалистической и правовой. Скорее всего, под «социалистическим государством» понимается просто эквивалент современного понятия «социальное государство» или даже шире — «справедливого государства». Ясно, что данная трактовка социалистического государства коренным образом отличается от марксистской, в которой данный тип государства противопоставляется предшествующим историческим формам «классовых» государств. Впрочем, и сам Кистяковский отмечал, что «правовая или юридическая природа социалистического государства еще очень мало исследована», и предлагал оставить рассмотрение этого вопроса на будущее.

Общение с Г. Еллинеком, М. Вебером, а также с русскими исследователями, обучавшимися в Германии (П.И. Новгородцевым, А.А. Чупровым), формировало мировоззрение Кистяковского как философа, социолога и общественного деятеля — последовательного сторонника неокантианства и конституционалиста, боровшегося за установление в России основ гражданского общества и правового конституционного общественного строя. Вместе с П.Б. Струве он издавал первый неподцензурный либеральный журнал «Освобождение». Переход на позиции конституционализма и либерального парламентаризма отражен в ряде работ Кистяковского. В сборнике «Проблемы идеализма» (1902) он выступает со статьей «Русская социологическая школа и категория возможности при решении социально-этических проблем».

Новые стороны философской концепции и общественной деятельности Кистяковского позволяет раскрыть его переписка с П.Б. Струве, относящаяся к периоду Первой русской революции. В ней отражена проблематика широких международных связей русских либералов и западных конституционалистов. Документированные в переписке переговоры Кистяковского с Вебером и Еллинеком по вопросу о Проекте российской

конституции, напечатанном П.Б. Струве в «Освобождении», содержат много конкретных данных об отношении западных мыслителей к событиям в России и перспективам либерального движения, о сомнениях, высказанных германскими учеными и общественными деятелями (в частности, по поводу целесообразности введения в России всеобщего избирательного права).

Богдан Александрович служил главным связующим звеном между редакцией журнала «Освобождение» во главе со Струве и западными академическими кругами. Уже в 1893 году, отвечая на критику со стороны Струве по поводу его диссертации, Кистяковский ссылается на письменные отзывы о ней таких ученых, как Виндельбанд, Риккерт, Хензель, Франц фон Лист и Г. Еллинек. Согласно их мнению, Кистяковскому особенно удалось: противопоставление социальной психологии и нормативных наук, весьма поучительное для социологов (Виндельбанд); методологическое разрешение проблемы общего и частного в процессе образования понятий (Риккерт); реконструкция концепции «общей воли» Руссо и ее интерпретации в контексте нормативных понятий современной науки (Хензель); кроме того, констатировалась убедительность его полемики против Р. Штаммлера (Франц фон Лист). Особенно интересно мнение Еллинека в связи с последующими разногласиями по конституционному вопросу. «Она (ваша работа. — А.М.), — писал он, — принадлежит к лучшим, которые были написаны до настоящего времени о методе социальной науки, и благодаря этому труду вы завоевали прочное место в науке. В настоящее время я занят обширной работой о всеобщем учении о государстве, которая даст мне повод привлечь внимание более широких кругов к вашей книге: ее должны прочитать все, кто теоретически хочет работать в любой области общественной науки».

Существенное место в переписке Кистяковского занимают вопросы социологической теории: обмен мнениями по поводу издания сочинений Монтескье, Дюркгейма, из русских ученых — Бердяева, Петражицкого, а также Драгоманова (сочинения которого готовились к изданию в редакции «Освобождения» на деньги украинцев). Богдан Александрович передает Струве информацию об отношении к его идеям в социал-демократических кругах. «Вас, — пишет он, — называли Бернштейном. Я говорил, что для Бернштейна это чересчур большая честь». В ходе этого обмена мнениями прослеживается постепенный переход обоих мыслителей от классического марксизма к его неокантианской интерпретации, связанный с принятием либеральной парадигмы общественного развития. «Ваш оппонент, — сообщает Кистяковский Струве в 1901 году, — принимает увеличение ненависти к остаткам старого режима после проведения некоторых реформ за обострение противоположностей... Между тем усиление ненависти к старому режиму вместе с постепенным уничтожением его есть совершенно самостоятельное социально-психологическое явление, несколько не подтверждающее теорию обострения противоположностей».

«У нашей интеллигенции правосознание стоит на крайне низком уровне развития...»

Выход из кризиса Кистяковский видел в создании правового государства, ориентируясь в основном на его интерпретацию в германской юриспруденции. Одним из его учителей в Германии стал известный теоретик права Г. Еллинек, принимавший активное участие в обсуждении конституционного вопроса в Европе и России. Тот обратил внимание на научную работу Кистяковского, оценив его вклад как «лучший из всех, какие ему приходилось слышать в последнее время» и рекомендовал ему написать книгу. Колебания между чистой наукой и политикой побудили Кистяковского, однако, задать Еллинеку ряд конкретных вопросов относительно российской политической системы. Струве хотел предложить Еллинеку написать статью с критикой русского правительства для «Освобождения»; это представляется Кистяковскому нереальным. «Я сомневаюсь, — отвечает он, — чтобы Еллинек взялся писать статью, которая бы заключала морально-политическую оценку какого-нибудь современного явления». Речь шла о политике России в отношении Финляндии, которую Еллинек осуждал, подчеркивая при этом, что «со своей юридической точки зрения не может встать на их сторону». Для учения о государстве как юридическом лице, которое развивал Еллинек, характерны представление о нем как едином и неделимом носителе суверенитета, апология сильной монархической власти. Отстаивая эти принципы в Германии, Еллинек не мог выступать против них применительно к России, а потому и отказался дать юридический комментарий по вопросу о Финляндии.

В последующих письмах Кистяковский объясняет эту позицию Еллинека более подробно. С точки зрения юридической теории, пишет он Струве, Еллинек «не может рассматривать февральский манифест 1899 года как *Verfassungsbruch* в Финляндии. Если Финляндия не отдельное государство, что и Вы, кажется, признаете, то финляндская конституция не может ограничивать русского императора. Гарантией для финляндской конституции может явиться лишь русская конституция». Вопрос о том, каков статус Финляндии в Российской империи, вызвавший столь бурные споры, решается Еллинеком с формально-юридических позиций. Его ответ поэтому никак не мог вызвать сочувствия сторонников автономии и скорее соответствовал желанию консерваторов сохранить существующее положение. «При современных условиях, — заявил он Кистяковскому, — финляндская конституция является лишь привилегией, данной Финляндии русским императором, который может всегда взять ее назад. Эта точка зрения станет понятна, если Вы примете во внимание, что положение Финляндии вполне аналогично положению английских колоний». В ходе этого обсуждения наметилось различие позиций германского ученого и русских либералов: первый исходил из того, что есть на самом деле, вторые — из того, что желательно, справедливо, а потому должно быть в принципе. Этим объясняется умеренность политической позиции Еллинека и радикализм его русского окружения.

Наиболее отчетливо данное противоречие проявилось в дискуссии по проекту конституции, напечатанному в «Освобождении». Подобный раз-

бор основных изменений представлен в письме Кистяковского к Струве от 26 октября 1905 года. В нем сообщается о предпринятых Кистяковским (совместно с С.И. Живаго) усилиях по популяризации в Германии конституционного проекта, который стал доступен немецким ученым в результате появления его перевода на французский язык. Для этого он провел переговоры с Г. Еллинеком и М. Вебером о возможности опубликовать рецензии на проект в солидных периодических изданиях (окончательный выбор пал на «Deutsche Juristenzeitung», рекомендованный Еллинеком по причине его распространенности и малой периодичности). Общий итог этих переговоров оказался весьма успешен: «Мне кажется, — отметил корреспондент Струве, — Вам нечего опасаться, что немцы обойдут молчанием этот проект».

В то же время самый первый обмен впечатлениями показал глубокое различие позиций германских и русских ученых, состоящее прежде всего в диаметрально противоположных воззрениях на всеобщее избирательное право. Германская юриспруденция опиралась уже на солидный западно-европейский опыт, а также опыт германских государств, показавший, что всеобщее избирательное право способно оказаться инструментом антидемократической и антиправовой политики (что вполне подтвердила последующая история XX века). Напротив, русские конституционалисты в эпоху начала революционных событий видели в институте всеобщих выборов единственную гарантию от монархического деспотизма, наивно полагая, что народное волеизъявление может быть осуществлено только в пользу правового государства. С этой точки зрения спор Еллинека и авторов проекта (это была линия «Освобождения») позволяет понять позиции обеих сторон и одновременно объясняет последующее стремление сделать конституционный проект более умеренным. Из переписки видно, как положительная реакция сменилась его острой критикой проекта. По сообщению Кистяковского, Еллинек «был поражен безграничным радикализмом его». Главными объектами критики стали: всеобщее избирательное право, общий стиль проекта, его заимствованный характер, отсутствие серьезной юридической проработки принципиального вопроса о порядке работы парламента. Усматривая большую ошибку во введении всеобщего избирательного права в России, Еллинек осудил этот институт в принципе. «Всеобщее избирательное право, — заявил он, — это господство глупости и реакции. У нас в Бадене оно привело к победе центра и клерикалов. Теперь университеты погибнут». В ходе последующих споров ученый высказался еще более резко, осудив проект за «Schablonen, Laftigkeit und Geistlosigkeit» (шаблоны, безвкусица и бездарность). Он, по мнению Еллинека, целиком проникнут «обезьянничаньем» и не содержит «ничего оригинального». В качестве примеров бездумного подражания был упомянут регламент работы парламента (Geschäftsordnung), заимствованный составителями русского проекта из западноевропейских конституций. Данный порядок (при котором регламент своей деятельности определяет сам парламента) может привести к блокированию законодательной рабо-

«У нашей интеллигенции правосознание стоит на крайне низком уровне развития...»

ты. «Между тем, — полагал Еллинек, — история показала, что при таком порядке нет возможности бороться с обструкцией, а обструкция даже небольшой группы может сделать парламент *Geschäftsunfähig* (недееспособным)». Отметим, что в критике института всеобщего избирательного права и парламентских обструкций проявились монархические взгляды и сдержанное отношение к парламентаризму германского ученого. Но в то же время это позиция реалистически мыслящего юриста, озабоченного соответствием правовых норм реальному положению вещей. С этой позиции он подробно остановился на механизме выборов в различных странах — вопросе, представлявшемся составителям русского конституционного проекта далеко не первостепенным и скорее даже техническим. Еллинек, выступивший против осуществления выборов по «системе записочек», предпочитал порядок, установленный в Сербии (где используются шары) или в Бельгии (где кандидаты расположены в известном порядке, и избиратели ставят крестик напротив их имен). Поэтому простое заимствование западных образцов нежелательно, хотя «можно было бы придумать что-нибудь подобное и в России» — с учетом ее специфики. Эти идеи оказались вполне правомерными, и в дальнейшем порядок выборов очень подробно обсуждался в русской юридической литературе.

Отрицательное отношение Еллинека к конституционному проекту группы «Освобождение» не нашло понимания у его авторов, связанных решением чисто политической задачи. Пытаясь преодолеть растущие разногласия, Кистяковский (считавший позицию ученого из Германии излишне умеренной и даже реакционной) предложил компромиссную форму его участия в обсуждении: «Я посоветовал ему не писать против всеобщего избирательного права, т.к. в России его совсем не захотят слушать. Но зато мы были бы ему очень благодарны, если бы он обсудил чисто государственно-правовые вопросы об отношении к Финляндии и Польше и т.д.» По этим вопросам, как мы видели, различие позиций также довольно ощутимо. В результате Еллинек отказался писать о российской конституции, «так как его только будут ругать, а пользы никакой».

Сходную по многим параметрам оценку конституционного проекта «освободителей» дал и М. Вебер. В его трудах идеи русских конституционалистов также рассматриваются скорее как некий политический идеал, который вряд ли может реализоваться в политической практике мнимого конституционализма. Информирова Струве о переговорах с Вебером, Кистяковский отмечает его умеренную позицию: «Он настолько интересуется русским освободительным движением, что начал изучать русский язык и прочитал со словарем несколько статей из „Освобождения“. Когда я летом заехал к нему, он, между прочим, тоже возмущался безграничным радикализмом программы „Союза Освобождения“». Тем не менее Вебер сочувствовал целям русского освободительного движения и принимал даже косвенное участие в распространении журнала «Освобождение» в Германии, сообщив Кистяковскому адреса магазинов, которые могли бы заинтересоваться русскими изданиями.

Особый вопрос об отношении русской эмиграции к проекту конституции тоже отражен в переписке. Кистяковский предлагает направить экземпляр проекта в Юридический семинар Гейдельбергского университета. Его в этой связи интересует также доставка в Германию специального издания материалов по выработке русской конституции, где публикуется и проект группы членов Союза освобождения. Кистяковский активно вел переговоры с рядом немецких издательств (в том числе с Дитцем) о перспективах издания. Существенную роль играл Богдан Александрович и как посредник в передаче материалов «Освобождения» в Россию и, в частности, на Украину. В ряде писем он просит, например, прислать ему номера журнала на тонкой бумаге «для удобства транспортировки в Россию». Сообщая в другом случае о намерении редакции «Киевских откликов» осветить проблему конституционализма, он просит дополнительных материалов: «Редакция затеяла издавать тексты европейских конституций дешевыми брошюрками, теперь она решила присоединить издание брошюр по конституционным вопросам». Однако, оценивая свой вклад в разработку конституционного вопроса, он отмечает: в Германии «я буду даже полезнее для русского движения, чем живя в России». Особые надежды возлагались при этом на Гейдельберг, «ввиду читальни и русского общества». Рассмотренные документы показывают, таким образом, широкое распространение и обсуждение освобожденческого проекта конституции и в то же время достаточно осторожную, если не критическую реакцию на него со стороны западной науки. Будучи вдохновлен лучшими европейскими конституционными образцами, русский проект оказывался, по мнению критиков, слишком декларативным в отношении специфических проблем Российской империи.

Интересны идеи Кистяковского-ученого о том, что между абсолютным монархическим и правовым государством нет непреодолимой грани, но есть момент перехода, вхождения в новое состояние. Конституционное государство после своего формального учреждения далеко не сразу становится таковым. С другой стороны, абсолютная монархия в определенный момент уже содержит новые институты. Переходное состояние может составить целую эпоху. В этих взглядах есть много общего с воззрениями Вебера и Еллинека. Они, вместе с Кистяковским, активно участвовали в анализе событий, происходивших в России (в частности, в обсуждении нового проекта российской конституции, составленного русскими либералами в канун революции и посланного Веберу и Еллинеку на рецензию через Кистяковского). В годы первой русской революции Богдан Александрович поддерживал постоянные научные контакты с М. Вебером и Г. Еллинеком, в 1906 году переехал в Москву и выступал в ряде изданий («Критическое обозрение», «Право», «Юридические записки»).

Манифест 17 октября 1905 года Кистяковский воспринял как важный шаг к конституционному государству и активно способствовал борьбе за правовое сознание интеллигенции, за повышение правовой и политической культуры, против разрушительных тенденций социалистической

«У нашей интеллигенции правосознание стоит на крайне низком уровне развития...»

идеологии. Отметим, однако, что для теории конституционного права рассматриваемого периода многие вопросы выглядели не столь отчетливо, как в современном учебнике права. Например, отсутствовало единство мнений о том, является ли конституционная монархия самостоятельной формой правления или представляет собой только переходную форму при движении от абсолютизма к республике; тождественны ли понятия конституционной и парламентской монархии или они представляют собой различные типы политико-правового режима; необходима ли реализация принципа разделения властей в демократической конституции (в своей буквальной формулировке он подвергался серьезной критике как в западной, так и в русской правовой литературе за несоответствие другому основополагающему принципу — народного суверенитета).

Кистяковский последовательно примыкал к тому течению, которое выдвигало на первый план договорную теорию государства и отрицало теорию разделения властей. В своем обобщающем труде по сравнительному конституционному праву (это лекции по общему и русскому государственному праву, читавшиеся в Московском коммерческом институте в 1908/09 академическом году) он обосновывал идею, что «парламентская система представляет прямую противоположность системе разделения властей»; «разделение властей практически неосуществимо», а попытки его реализации ведут к революциям и частым государственным переворотам.

Необходимо, следовательно, не разъединение властей, а напротив — их «объединение путем парламентской системы правительства». Потому Кистяковский предпочитал использовать другое понятие — «разделение функций власти». Причина столь жесткого неприятия формулы Монтескье заключается в предпочтении русскими либералами монистического парламентаризма перед разделенным правлением. Полновластие парламента (реализованное в Великобритании и во Франции периода Третьей республики) являлось для них высшим выражением демократизма, а возможные ограничения парламентаризма (например, в президентской системе США) — выступали как своеобразное отклонение от магистральной исторической тенденции. Кистяковский придерживался этой позиции. Он считал, что «ни одна идея не принесла Франции столько несчастий, как идея или теория разделения властей»; что модель жесткого разделения властей, представленная в США, фактически не работает на практике (поскольку законодательная и исполнительная власть действуют совместно в комиссиях конгресса); наконец, что в странах Латинской Америки все попытки реализовать разделение властей оканчивались революциями и государственными переворотами.

Отстаивание монистического парламентаризма — вполне в духе времени. При этом не учитывались те негативные следствия данной системы, которые стали очевидны позднее, в период кризиса парламентаризма в Европе межвоенного периода. Тем не менее эта концепция повлияла на позицию Кистяковского в отношении российских реформ: их продол-

жение связывалось исключительно с концепцией ответственного (перед Думой) министерства. Еще больше вопросов возникало при оценке отдельных национальных моделей конституционно-монархической государственности, поскольку чрезвычайно трудно было отделить правовой анализ от политического в условиях переходного периода. Эти дискуссии, в которых Богдан Александрович активно участвовал, стали актуальными для России с переходом к новым формам политического устройства.

Говоря о «переходе России к конституционному строю», Кистяковский подчеркивал противоречивость этого процесса. С одной стороны, он указывал на юридический отказ от абсолютизма как формы неограниченного правления монарха. С другой, отмечал дарованный характер новой российской конституции — Манифеста 17 октября и связанные с этим ограничения конституционной демократии: отсутствие реального разделения властей, сохранение указного права монарха, а также значительных конституционных и экстраконституционных прерогатив административной власти, особенно в условиях «исключительного положения». Эти наблюдения делали многие юристы того времени, но они приводили их к противоположным выводам. Для одних эти изменения политической и правовой системы выступали как вынужденная уступка власти обществу, которая не означает качественного изменения ситуации (так считали Ф.Ф. Кокошкин, П.Н. Милюков и др.); для других, напротив, обнародование нового законодательства стало доказательством ограничения самодержавия и начала перехода к правовому государству (так думал, например, В.М. Гессен). Кистяковский был ближе ко второй позиции, хотя формулировал ее более осторожно. В отличие от В.М. Гессена, утверждавшего, что Манифест непосредственно вводит конституционное начало в новое государственное право России, он полагал, что «по точному смыслу манифеста он не является конституцией и вообще не есть закон, а только обещание издать закон». В последующее время эта задача оказалась выполнена с принятием ряда основных государственных законов, что позволило Кистяковскому в конечном счете сделать вывод: «Конституционный государственный строй у нас установлен, и у нас существует конституция... Законодательством 1905–1906 г. у нас создана прочная основа для нашего дальнейшего конституционного развития. Установленные им гарантии и их неприкосновенность должны обеспечить нам возможность непрерывного развития без новых потрясений». С этих позиций он активно выступал как ученый, публицист и преподаватель государственного права.

Постреволюционный период поставил перед либеральным движением ряд новых проблем. Следует ли считать достигнутые конституционные изменения достаточными или их нужно отвергнуть во имя высших идеалов? Должно ли оппозиционное движение использовать правовые инструменты воздействия на самодержавие или ему следует обратиться к неправовым методам мобилизации общественного сознания? Какова должна быть позиция интеллигенции по отношению к народу и власти? В известном сборнике «Вехи» (1909), который пытался дать ответы на эти

«У нашей интеллигенции правосознание стоит на крайне низком уровне развития...»

вопросы, Кистяковский выступил со статьей «В защиту права. Интеллигенция и правосознание», не утратившей значения до настоящего времени. В сборнике, при определенных различиях взглядов и даже идейных противоречиях, общим было обращение от идей легального марксизма к пониманию необходимости либеральной демократии, разочарование в теории и практике социалистических движений в России. Ответственность интеллигенции за выбор пути российского общества Кистяковский остро ощущал и резко формулировал. В своей статье он писал, что российская интеллигенция состоит из людей, которые ни индивидуально, ни социально не дисциплинированы; Россия начала переход к правовому государству, и задача интеллигенции, всех мыслящих людей — не мешать, но помогать в этом.

Главная проблема, считал Кистяковский, в том, что русская интеллигенция никогда не уважала права, никогда не видела в нем ценности. При таких условиях «у нашей интеллигенции не могло создаться и прочного правосознания, напротив, последнее стоит на крайне низком уровне развития». При этом нигилистическое отношение к двум аспектам — правам личности и «объективному правопорядку» (например, суду) — играет роковую роль. Считая правовой нигилизм, «притупленность правосознания» главной проблемой, «застарелым злом» российской реальности, автор статьи выступал за необходимость радикального переосмысления этого положения, особенно актуального как урок, который, как он думал, интеллигенция должна была вынести после первой русской революции.

Эти идеи, однако, не были услышаны. Напротив, они встретили жесткую критику со стороны левой части интеллигенции, издавшей альтернативный сборник статей под названием «„Вехи“ как знамение времени» (1910). В одной из статей (Я. Вечева) «пресному идеализму» Кистяковского противопоставлен «строгий теоретический реализм» в вопросах права. Он состоит, фактически, в том отождествлении права и силы, которое стало затем господствовать в России XX века под видом марксистской теории государства и права и означало торжество правового нигилизма и волюнтаризма. «Революция, — согласно данному подходу, — может прекратить действие всякого избирательного и парламентского механизма: какие уж тут избирательные урны, когда ставятся урны погребальные! Революция может прекратить действие всяких судов — какие тут суды, когда революция есть верховный суд истории над отжившим строем и в то же время народный самосуд над ним! Революция может прекратить всякие гарантии неприкосновенности личности: какая уж тут неприкосновенность, когда вопрос решается на баррикадах, на улице, с оружием в руках в ряде восстаний и контрвосстаний. Здесь все подчинено высшему закону войны».

Эти представления делали необходимым теоретическое осмысление проблемы права и революции — разработку теории конфликта позитивного права и революционного правосознания, включали переосмысление самого понятия права как неизменной общественной ценности. Революция представала как перерыв в действии права, явление, способ-

ное обрвать действие одного правопорядка и создать на его месте новый. Вывод заключался в том, что законы революции не есть законы правотворчества и между ними необходим осознанный выбор. Кистяковский делал выбор в пользу создания новых правовых норм.

Понятие «конституционной революции» стало активно использоваться первоначально для характеристики перехода от монархического абсолютизма к правовому или конституционному государству. Абсолютно-монархическая форма государства в качестве идеального типа характеризовалась неограниченной властью монарха, распоряжения которого имеют непререкаемый характер (т.е. подлежат безусловному исполнению). Разновидность абсолютизма — так называемое полицейское государство, основной чертой которого выступала правовая регламентация всех сторон жизни общества и, соответственно, ограничение прав индивида.

Идеальному типу абсолютистского государства либеральная юриспруденция противопоставляла тип правового государства, где важнейшим элементом становилось народное представительство, соучаствующее во власти. Формой реализации данной конструкции выступала первоначально конституционная монархия, рассматривавшаяся как идеал смешанной формы правления. В рамках данной модели происходит, как показал Кистяковский, преодоление отчуждения между властью и обществом, так как последнее получает возможность активно воздействовать на направление законодательного процесса. Данный тип власти может возникнуть эволюционным путем или в ходе конституционной революции, ограничивающей монархический суверенитет. Примером конституционной революции для Кистяковского служил 1905 год в России, а также переход к конституционной форме правления в странах Азии: Японии, Турции, Персии, Китае.

Выдвижение идеала правового государства, полагал Богдан Александрович, еще не означает, что оно возникает исключительно на основании права или правовым путем. История показывает, что вообще государства редко возникают правовым путем. Это происходит благодаря войнам за независимость (возникновение США, балканских государств — Сербии, Греции, Черногории, Румынии), революциям (Французская республика) или под угрозой их возникновения (переход к формам конституционной монархии в Центральной и Восточной Европе), благодаря объединению или распаду государств (Италия и Германия) либо просто войнам. С этой точки зрения, вся история есть история кризисов в праве (как считал Еллинек) или, напротив, борьбы за право (Иеринг), поскольку результатом всегда становилось создание новых правовых систем и самоопределения государств, выражавшегося в новых конституциях. Примерами силового решения конфликтов служили Кистяковскому завоевание Англией свободных республик — Трансвааля и Оранжевой реки; оккупация Эльзаса и Лотарингии Германией; присоединение Боснии и Герцеговины к Австро-Венгрии без соблюдения правовых процедур и выяснения согласия населения.

Это наблюдение может убедить пессимистов в правильности скептического отношения к праву (его тождества с силой), а оптимистов в обрат-

«У нашей интеллигенции правосознание стоит на крайне низком уровне развития...»

ном — в неизменном торжестве правовой идеи, которая в ходе кризисов только возрождается и укрепляется. Оптимисты могут заключить, что неправовые отношения (в виде переворотов и нарушений конституции) способствуют будущему торжеству глобального правового порядка над неправовым, преобладанию правовых методов разрешения социальных конфликтов. Во всяком случае, ясно, что революции происходили как в неконституционных, так и в конституционных государствах, где они разрушали правовой строй, что можно предвидеть и в дальнейшем. Следовательно, расширение правового регулирования общества, создавая, с одной стороны, рамки правового и рационализирующего начала, в то же время усиливает сферу противостояния ему и число конфликтов в праве. Как в абсолютистских монархиях, писал Б.А. Кистяковский в 1909 году, «так же точно и в конституционных государствах происходили революции, нарушавшие правовой строй, и не исключена возможность и в будущем возникновения революционных переворотов. Особенно часто в конституционных монархиях делались попытки восстановления неограниченной монархии, конечно, неправовым путем. С другой стороны, в современных конституционных монархиях иногда возникают антидинастические и антимонархические движения, которые неправовыми средствами стремятся ниспровергнуть монархию, гарантированную конституцией. Еще и в наше время при возникновении политических конфликтов руководители политических партий и общественных движений очень легко переходят при первой возможности к решению этих конфликтов насильственными мерами, вместо того чтобы пользоваться правовыми путями и методами, предоставленными конституцией страны».

Конфликт реальности и идеала, породивший конституционные кризисы XX века, представлял собой следствие стремительно набравших силу процессов модернизации. Их выражением служило растущее противоречие массового общества и правовых идеалов либерализма, политической культуры и позитивного права, легитимности и законности. Разрешение конфликта усматривалось в различных стратегиях революционных или реформационных изменений. Тематами научных трудов Кистяковского в этой связи были актуальные проблемы становления конституционных идей: «Конституции дарованные и завоеванные», «Кабинет министров и ответственное правительство», «Государственная Дума», «Как осуществить народное представительство», «Областная автономия и ее пределы» и пр. Как и другие конституционные демократы, Богдан Александрович считал одним из важных способов повышения правовой культуры чтение курсов сравнительного государственного права, выступления в журналах и газетах, переводы западной конституционной классики, к изданиям которой он писал вступительные статьи (например, к книге Г. Еллинека «Конституции, их изменения и преобразования»). В предвоенные годы Кистяковский, по заданию ЦК Конституционно-демократической партии, занимался разработкой части партийной программы, посвященной национальному вопросу.

Главная итоговая работа Кистяковского — книга «Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук и общей теории права» (1916) — обобщает его концепцию в области философии и социологии права. Этот труд объединяет серию концептуальных статей, выходявших на протяжении ряда лет и посвященных в принципе одной теме — выбору пути развития России к правовому государству и гражданскому обществу. Автор видел его в отрицании социалистического варианта и постепенном преодолении правового нигилизма обществом и, прежде всего, интеллигенцией, осознающей свою ответственность. В центре внимания стоят проблемы права: право, регулируемое этическими вопросами, должно занимать в книге ведущее место потому, что оно занимает ведущее место в реальности, «в жизни культурных обществ».

Кистяковский не ставит целью создать теоретическую систему; его книга более ориентирована на методологический анализ практики решения социально-научных и теоретико-правовых вопросов. Ключевые проблемы (названия разделов книги): общество; право; государство; культура. Выступая как философ-методолог, социолог и политик, Богдан Александрович видит главную идею исторического развития своего времени в движении к правовому государству. Он, как и другие либералы (П.И. Новгородцев, В.М. Гессен), подчеркивает неправомерность противопоставления правового государства как «буржуазного» некоему справедливому социалистическому строю. В своем сущностном содержании справедливое государство и есть правовое, иного не дано. Если социалистическая идеология действительно стремится к созданию социально справедливых отношений, то пусть делает это правовым путем, для чего необходимо правовое государство. В лекциях, читанных в Московском коммерческом институте, Кистяковский так и говорит: «Только один тип государства, именно современное конституционное правовое государство, есть высшая форма государства, которую до сих пор выработало человечество как реальный факт».

К переосмыслению политического радикализма имеет прямое отношение и работа «Страницы прошлого. К истории конституционного движения в России» (1912), посвященная анализу партии «Народная воля» и написанная как критический разбор книги В.Я. Богучарского по истории политической борьбы 1870–1880-х годов. История партии «Народная воля», как считает Кистяковский, показала: «естественное развитие всякой подпольно-революционной, а тем более террористической организации приводит к тому, что она необходимо попадает в руки провокатора». Высказанные здесь идеи отчасти близки тем, которые другой социолог, М.Я. Острогорский, рассматривал на примере тенденций развития закрытых политических объединений, создающих свой центр (кокус) для манипулирования массами, отличающимися в переходный период слабой политической культурой.

Крупнейший философ, социолог и правовед Б.А. Кистяковский скончался в Екатеринодаре 16 апреля 1920 года.

«У нашей интеллигенции правосознание стоит на крайне низком уровне развития...»

НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ЛЬВОВ

«Примирить начало
власти и начало свободы,
чтобы они не пожрали
друг друга...»

Более семидесяти лет назад в эмиграции умер Николай Николаевич Львов (1867–1944) — крупный общественный и государственный деятель царской России. Его смерть тогда, в пору всечеловеческой трагедии — Второй мировой войны, осталась незамеченной. К сожалению, и до сего дня о нем не написано ни одного специального исследования, хотя Николай Львов — один из столпов российского либерализма и его поистине знаковая фигура.

Н.Н. Львов принадлежал к старому дворянскому роду, был сыном богатого помещика и унаследовал его обширные земельные владения. В юности либеральные веяния его не коснулись — ни в Швейцарии, где он поначалу учился, ни потом в России: студент юридического факультета Московского университета Львов, по его собственному признанию, был «белоподкладочником», т.е. стопроцентно верноподданным государства и противником всякой оппозиции. После окончания университета в 1891 году он уезжает к себе в Саратовскую губернию и уже в 1892-м становится предводителем дворянства в Балашовском уезде (и остается на этом посту до 1899 года). С 1893-го Львов — земский губернский гласный и почетный мировой судья в Балашове. Поворот к либерализму четко обозначился только в 1896 году, в связи с Ходынской трагедией при коронации Николая II. Началось, как полусутоливо заметил сам Николай Николаевич, «вторжение либеральных идей в дворянскую голову». Но это «вторжение» облегчали и практика земской работы (власти постоянно чинили ей всевозможные препоны), и рост общественного возбуждения, отчетливо проявившегося со времени голода 1891–1892 годов.

Во всяком случае, к концу 1890-х Н.Н. Львов становится признанным главой прогрессивных земцев в Саратовском губернском собрании, а в 1899-м — председателем губернской земской управы. Тогда же он вошел в полуконспиративный московский кружок «Беседа», куда входила земская элита России, став в этой организации одной из самых заметных фигур. Он стоял у истоков и Союза освобождения, и Союза земцев-конституционалистов, деятельно участвовал в их работе; он финансировал издание «Освобождения» (сначала журнал редактировался в Штутгарте,

а потом в Париже П.Б. Струве, у которого, как был убежден Львов, «дело пойдет»).

У себя в Саратове для проведения либеральной земской политики Львов купил газету «Саратовский дневник». Его цель сводилась к тому, чтобы «подтягивать начальство и проводить интересы свободного земства». Направление газеты в общих чертах должно было соответствовать направлению главного либерального органа страны — «Русских ведомостей». Ненавидя жесткий курс, проводимый министрами внутренних дел С.Д. Сипягиным и сменившим его В.К. Плеве, Н.Н. Львов боролся с ним и имел «неприятные отношения» с местными властями. Имя Львова объединяло в Саратовской губернии значительную часть дворянства и земства, включая «третий элемент» — земских служащих. На земском поприще проявилось и его блестящее ораторское дарование. А.А. Корнилов, фактический редактор «Саратовского дневника» (его, по рекомендации Н.А. Рубакина, Львов пригласил на эту должность с хорошим окладом в 3 тыс. руб.) и будущий известный историк и секретарь ЦК кадетской партии, вспоминал: «Много раз, наблюдая Львова в собрании, я думал, что он мог бы быть превосходным министром в стране с парламентским управлением».

Совместная работа сблизила А.А. Корнилова и Н.Н. Львова. Они нередко наезжали в гости друг к другу со своими семьями. Корнилов позднее писал в мемуарах, что Николай Николаевич был тогда «молодым человеком, лет 32–35, отцом многочисленного семейства»: он и его жена Анна Сергеевна имели «кучу детей, мал мала меньше». Касаясь дел по газете, Корнилов отмечал, что дело с таким издателем «иметь было очень приятно, и он не только ничему не мешал, но вообще много значило, что газета издается Львовым» — его авторитет в общественной среде стоял очень высоко. Однако от газеты пришлось отказаться. 1 мая 1902 года в Саратове состоялась рабочая манифестация, в которой приняли участие и некоторые сотрудники «Саратовского дневника». Власти приостановили издание на два месяца, потребовали изменить состав редакции, провели обыск у Корнилова и, продержав его под арестом неделю, выпустили под надзор полиции. А.А. Корнилов ушел из газеты вслед за ее главой.

В том же году, не дослужив трехлетия, Н.Н. Львов отказался от места председателя земской управы. «Он был прекрасным руководителем земства в губернии», — писал Корнилов, отмечая, что подобранные Львовым сотрудники могли «составить честь любому правительственному или общественному учреждению». Оставшись губернским гласным, Львов в своей общественно-политической деятельности все более переключался на общероссийский уровень.

Летом 1903 года в Швейцарии состоялся съезд русских конституционалистов, который положил основание Союзу освобождения. Самое активное участие в нем принял и Николай Львов. Вернувшись из-за границы, он уговаривал А. Корнилова переехать в Париж, обязуясь два года платить ему по три тысячи рублей, с тем чтобы Корнилов вместе со Струве вел

журнал «Освобождение». Николай Николаевич говорил: Струве «изнемогает один, ведя этот в высшей степени полезный орган, а Вы приехали бы с обновленным опытом и оказали бы ему сильную поддержку». Это предложение поддерживали товарищи Львова — влиятельные земские гласные С.А. Котляревский и К.Б. Веселовский. Но получить разрешение полиции даже на поездку в Петербург стоило Корнилову больших трудов. Задуманное не реализовалось.

Для Н.Н. Львова было очевидно, что Россия стоит на пороге великих перемен. Он умел читать знамения времени, предвидел возможность «кровавого кошмара» революции и насильственного крушения существующего строя. Все свои усилия он направил на то, чтобы предотвратить погружение страны в хаос анархии и смуты: компромисс общества и власти — единственное, что могло бы вывести страну на эволюционный путь развития. Уже в 1902 году на заседании «Беседы» Львов выступил с запиской «О причинах современного „смутного положения“ России и о мерах к улучшению его». Сделав экскурс в прошлое, автор подчеркнул, что единство общества и монарха дало замечательные плоды в период Великих реформ. Но с тех пор многое изменилось. Везде и все «отдается в жертву власти, создается какое-то государство-чудовище, где культура, жажда просвещения, благосостояние народа — все приносится в жертву власти... Все должны молчать и преклоняться перед торжествующей бюрократией». Но этот старый строй изжил себя. Власть непрочна — ей противостоит все нарастающее революционное движение...

Революцию Н.Н. Львов считал злом, ибо она чревата катастрофическими последствиями. А потому выдвигал меры по улучшению положения в стране, говорил о необходимости «примирить два начала, начало власти и начало свободы», соединив их «в такое гармоническое целое, где бы оба начала не пожрали бы друг друга». Торжество каждого из них в отдельности «неизбежно ведет к гибели государства». Россия выйдет из кризиса, если власть пойдет на уступки обществу, сможет уравнять властное начало с началом свободы, для чего необходимы реформы. «Нужны свобода личности, свобода совести, свобода выражения общественного мнения, свободное развитие земских и городских учреждений, наконец, выборное представительство общества в законодательных учреждениях страны». Чтобы провести эту программу в жизнь, требуется, по мнению Львова, «нравственное воздействие на совесть самодержца»: «Если бы сам государь встал во главе общественного движения, какой энтузиазм вспыхнул бы в обществе, какая блестящая страница была бы занесена в историю!» Иначе говоря, он считал вполне реальным путь мирного развития страны при условии решения ее назревших проблем сверху, путем реформ, как это происходило в 1860-х, — важно не упустить время. Позиция Н.Н. Львова в 1903–1904 годах сложилась во многом благодаря тому, что он чувствовал «нагревание» политической атмосферы в стране, видел стремительный ход событий, который усугубляла Русско-японская война. Во время войны он стоял на «патриотической платформе» и был

членом Общеземской организации, оказывавшей помощь больным и раненым воинам.

Но еще до начала этой войны Львов откровенно говорил в «Беседе»: «Для нашего класса наступает роковое время — в силах ли мы заявить себя, в силах ли встать во главе народа и вести его по пути мирных социальных и политических реформ?» И провидчески заявлял: «Этот мирный путь через десять лет может отойти в область предания». Вот почему Николай Николаевич считал, что общественный деятель должен идти впереди среднего обывателя, увлекать его, а не приспосабливать свою мысль к его точке зрения. Он должен угадывать, чем объединить возможно больше людей. Но, признавая, что «центр тяжести — в народных массах», он считал своим долгом указывать «освобожденцам» на недопустимость прямолинейного применения демократических принципов: «Всё для народа, но не всё через народ». Не случайно он возражал против быстрой демократизации органов самоуправления и создания волостного земства. В ходе уже начавшейся революции 1905 года Львов выступал против прямого голосования, находя в этом «тенденцию к демократическому абсолютизму» и отдавая предпочтение двухпалатной системе народного представительства.

Свои взгляды Львов многократно высказывал на земских собраниях, на заседаниях «Беседы», в совещаниях земцев-конституционалистов и «освобожденных», на земских съездах, в печати. Он много сделал для выхода в свет двухтомника статей «Нужды деревни по работам комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности» (СПб., 1904). Тем огорчительнее оказались крестьянские волнения в его родном балашовском имении. После их умирения с помощью войск (саратовским губернатором был тогда П.А. Столыпин) Львов выступил перед крестьянами. Он сказал, что они всегда жили мирно и споров у них не возникало, так как землю его предки получили за службу еще от матушки Екатерины. Но крестьяне резонно отвечали ему, что до матушки Екатерины они были свободными (государственными) и вся земля принадлежала им.

Однако ничто не могло поколебать либеральных убеждений Н.Н. Львова. Он участвовал в выработке проекта будущей конституции (вместе с С.А. Муромцевым, Ф.Ф. Кокошкиным, Н.М. Кишкиным), был очень заметной фигурой на всероссийской общественно-политической арене — прежде всего как деятельный участник земских съездов; 6 июня 1905 года вошел в состав делегации земцев к царю. Публиковался в центральной печати; в частности, написал о прогремевших на всю Россию «балашовских событиях», когда черносотенцы пытались устроить избиение земских медиков (к слову сказать, спасло их от толпы мужество самого Львова и губернатора Столыпина, которые получили в ходе этого эксцесса ушибы и ссадины). В октябрьские дни 1905 года Николай Николаевич выступил против всеобщей политической забастовки. Его называли как одного из возможных кандидатов на министерский пост в «общественном министерстве». Активно включился Львов и в процесс создания ка-

«Примирить начало власти и начало свободы, чтобы они не пожрали друг друга...»

детской партии, вошел в ее ЦК и был избран от Саратовской губернии в I Государственную думу.

Правда, в Думе он занял в целом более умеренную позицию, чем кадетская фракция: не согласился с ее радикальным ответным адресом на тронную речь императора; в вопросе о политической амнистии требовал, чтобы Дума осудила также и революционный террор. Но самое серьезное разногласие произошло по аграрному вопросу. А.В. Тыркова, член ЦК Конституционно-демократической партии, лично хорошо знавшая Львова, оставила о нем яркие воспоминания: это был очень своеобразный тип русского либерала; во всем его облике, физическом и духовном, присутствовало «что-то донкихотское». «Настоящий рыцарь, без страха и упрека, образованный, даровитый, отзывчивый на все благородное, рыцарь бродячий, без определенных обязанностей, богатый помещик, он был до того неделовит, что никогда не открывал писем. Ему было скучно не только на них отвечать, даже их читать. В кулуарах (Государственной думы. — В.Ш.), если его что-нибудь задевало за живое, Львов мог, никого, ничего не слушая, разразиться блестящей речью, которая взлетала, как ракета. Но трудно себе представить Николая Николаевича терпеливо, трудолюбиво приготовляющего ответственную парламентскую речь. Между тем его красивая голова была полна идеями, часто очень здравыми, и он умел находить для них красочные, острые формулировки... Для него кадетская партия была логическим завершением длинного ряда не только мыслей, но и поступков. Он состоял в числе ее учредителей. И вдруг он совершенно неожиданно произнес во фракции речь, где резко раскритиковал аграрную программу кадетской партии. Львов заявил, что уменьшение частного, в особенности старого дворянского землевладения понизит общую культуру деревни, не увеличит, а уменьшит производительность земли, а мужику не так уж много даст. Для государства, для всей России гораздо выгоднее повысить производительность крестьянского хозяйства, введя в него улучшения, чем разорять налаженное помещичье хозяйство. Надо расширить и упорядочить переселение, а не сгонять с земли хороших хозяев, хотя бы они и были дворяне». Тыркова пишет, что по существу Николай Львов был совершенно прав, но фракция слушала его с недоумением, а некоторые депутаты — и с негодованием. Для многих кадетов их земельная программа служила своего рода политическим аттестатом, закрепляющим за партией право называться демократической. И вдруг Николай Николаевич, которого «все считали верным демократом», вздумал защищать дворянское землевладение, да еще так ярко, с таким блеском, что малодушные могут заколебаться. Николай Николаевич, «когда его так подхватывало», не обращал внимания, какое впечатление производят его слова, даже не смотрел на слушателей. «Кончил и только тогда обвел глазами длинный стол, вокруг которого стояли и сидели народные представители, внимательно его слушавшие. По их лицам он увидел, что его речь взорвалась, как бомба. Он усмехнулся. Улыбка придавала что-то мефистофельское его узкому, тонкому лицу. Хотя на самом деле он не был

ни скептиком, ни отрицателем. Но юмор у него был. Его уже остывший голос зазвучал иронически, когда он прибавил: „Я знаю, господа, ваше романтическое отношение к аграрной реформе. Я и сам не сразу понял ее ошибочность. А теперь вдумался и считаю это безумием. Но боюсь, что мне вас не переубедить. Вы превратили вопрос экономический в догматический. Для вас это часть неписаной оппозиционной присяги, для меня — только одна из хозяйственных задач России. Расхождение между нами глубокое. Поэтому, как мне ни жаль, я ухожу из кадетской партии“.

А.В. Тыркова вспоминает, что этого пламенного, правдивого человека, отрекавшегося от «одной из самых священных заповедей кадетизма», пытались уговорить, убедить, даже пристыдить. Но Львов верил в свою правоту: он был помещик, больше жил в деревне, чем в городе, знал и крестьянское, и крупное хозяйство не только из книг. При всей своей экспансивности и отвлеченности он был человек наблюдательный, начитанный, думающий. Этот, по словам мемуаристки, «убежденный либерал взбунтовался против аграрной программы кадетов и, несмотря на давнее единомыслие и дружеские связи со многими кадетами, ушел из партии».

Н.Н. Львов ушел в создающуюся «группу мирного обновления» — умеренную, либеральную партию, осуждавшую тактические отклонения кадетов «влево», а октябристов — «вправо» и выступавшую против насилия, откуда бы оно ни исходило — от революции или реакции. Львов не только не подписал Выборгское воззвание, но и вместе с лидерами «мирнообновленцев» (графом П.А. Гейденом и М.С. Стаховичем) обратился к избирателям, призывая их к спокойствию и мирным выборам. Вскоре после этого он участвовал в переговорах П.А. Столыпина с общественными деятелями об их вхождении в кабинет министров. Царь объявил Столыпину, что в состав Совета министров можно ввести только А.И. Гучкова и Н.Н. Львова (ему предназначался портфель главноуправляющего землеустройством и земледелием). 20 июля 1906 года Николай II принял их обоих и с каждым говорил по часу. В записке, адресованной Столыпину, он подчеркнул: «Вынес глубокое убеждение, что они не годятся в министры сейчас. Они не люди дела, т.е. государственного управления, в особенности Львов». А своей матери, Марии Федоровне, написал с куда большей откровенностью: «У них собственное мнение выше патриотизма вместе с ненужной скромностью и боязнью скомпрометироваться. Придется без них обойтись». «Собственное мнение» общественных деятелей, их либеральные принципы венценосцу явно претили. К тому же напряженная ситуация после роспуска I Думы несколько разрядилась: восстания, вспыхнувшие в Свеаборге и Кронштадте, быстро подавили, и царю уже не было нужды в политических маневрах, в привлечении общественных деятелей в министерство.

25 июля 1906 года «Новое время» опубликовало официальное сообщение Петербургского телеграфного агентства (ПТА) о неудаче переговоров с либеральными общественными деятелями. Вину за срыв переговоров ПТА возложило на самих либералов. В ответных письмах («Новое время»,

«Примирить начало власти и начало свободы, чтобы они не пожрали друг друга...»

28 июля) мирнообновленцев П.А. Гейдена, Н.Н. Львова и Д.Н. Шипова, принимавших участие в переговорах, сказано, что либеральное кредо общественных деятелей, их программа оказались неприемлемыми для правительства. Львов и Шипов прямо заявляли, что не было смысла делать из них министров-чиновников, а самый роспуск Думы расценивали как большую ошибку, которую необходимо исправить как можно скорее.

Но Партия мирного обновления, вопреки ожиданиям ее лидеров, потерпела поражение на выборах в новую, II Государственную думу: в смутный, революционный период «на коне» оказались левые. После издания нового избирательного закона 3 июня 1907 года, как бы знаменовавшего собой конец революции, мирнообновленцы трансформировались в III Думе в прогрессистов. Избранный на этот раз депутатом Н.Н. Львов стал одним из их руководителей (товарищем председателя фракции И.Н. Ефремова), членом нескольких думских комиссий. В IV Думе он — по-прежнему один из руководителей прогрессистов. Таланты парламентария определили и его место в думской иерархии: в декабре 1912 — июне 1913 года он — старший товарищ секретаря, а с июня по 15 ноября 1913-го — товарищ председателя Думы, член Совета старейшин и ряда комиссий первостепенного значения. Николай Николаевич явился и одним из отцов-основателей общероссийской Партии прогрессистов (он возглавлял Московский комитет, игравший роль организационно-учредительного съезда партии), вошел в ее руководящие органы. От этой фракции он часто выступал в III и IV Думах по различным вопросам внутренней и внешней политики.

В 1909 году при обсуждении государственного бюджета Н.Н. Львов говорил, что правительственная власть враждебна сельскому населению, — это видно и по ее отношению к земствам. Вся сорокалетняя деятельность земских учреждений на благо населения была неустанной борьбой за осуществление своих просветительных и культурных начинаний, борьбой против бюрократической власти. Он считал, что власть теперь является не творческим живительным началом, а началом дезорганизующим и разрушающим. Правительственная власть, по словам Львова, должна создавать внешнюю силу, внешнее могущество государства. «Но не дошли ли мы до того предела, — спрашивал он, — когда постройка такого громадного военного государства на таком низком уровне хозяйственного быта представляет уже из себя опасность... Перед русской деревней, бедной, часто голодающей, была поставлена огромная мировая задача — овладеть берегами Тихого океана. И здесь мы потерпели удар, который не должен пройти для нас даром... Второе предостережение возникло в нашей внутренней смуте. Нельзя оставлять население в таком пренебрежении к его культурным нуждам. Современное государство опирается всегда на народные массы, и только тогда, когда в этих народных массах развита предприимчивая, энергичная, самостоятельная человеческая личность, только тогда государство и может быть сильно, если этого нет, напротив, наступает упадок; если вы не создаете тех условий права, в которых воспитывается и дисциплинируется масса, то у вас эта масса обращается

в буйную толпу, грозную и опасную для государства. Над этим приходится задуматься, чтобы не прошли, наконец, даром те уроки, которые мы получили, которые были жестокими уроками для России... Теперь именно есть возможность, и должно свернуть с того опасного пути, который привел нас уже к катастрофам... Нельзя создать великую Россию на безлошадности, на трехполье, на безграмотности; нельзя создать великую Россию на игнорировании культурных потребностей населения, на отрицании той солидарности, которая требует от нас жертв для тех, которые нуждаются в помощи государства».

В 1910 году Н.Н. Львов изложил в Думе точку зрения прогрессистов по поводу сметы Министерства внутренних дел: в правительственной политике проявляется беспощадность к имущественным интересам, правовым устоям. Не было задачи большей и важнейшей, говорил он, как «поднять из духовного упадка народ наш, который пренебрежением к его нуждам и к его духовным потребностям, добрый народ, умный народ, мягкий народ, по природе своей, был ввержен в самое ужасное одичание духовное, одичание нравственное, одичание правовое. Не было и другой задачи большей, как подъем национального самосознания русского народа, ибо для того, чтобы выйти из того тяжелого положения, в котором мы находимся, нужно удесятерять все силы, направленные на деятельность на всех поприщах — науки и религии, и промышленности, и сельского хозяйства; нужно поднять личность человека, которая была придавлена. Ибо силы государства покоятся не только во внешней его могущественности, но в этой развитой, сознательной и свободной человеческой личности. Но для того чтобы это сделать, нужно суметь подойти к человеку, нужно осуществить Манифест 17 октября, ибо только в свободе человеческая личность может подняться, воспрянуть, и народ может также подняться только тогда, когда он действует в свободе. Что же мы видим? Мы видим, что вместо этого национального чувства поднимаются националистические ненависти, губительные для здорового национального подъема».

Н.Н. Львов подчеркивал: проводимая правительством политика не дает возможности строить земский мир — единственно спасительный для России, способный вывести ее из бедственного положения. Правительство не понимает самого духа представительного собрания. Внутренние моральные связи, которые соединяют Государственную думу с народом, прерываются, авторитет Государственной думы падает, и правительство осталось одно. Возникает губительный разрыв между обществом и правительством; «начинается скрытая, затаенная гражданская война, — предостерегал Львов, — которая делает непримиримые отношения к правительству и не только не создает ему поддержки, но всякое приближение к правительству клеймит в общественном мнении. Тогда рождается вновь та неумолимая ненависть, которая составляет весь ужас нашего положения, и я боюсь, что, идя таким путем, мы вновь придем туда, откуда только что ушли, мы вновь вернемся к тому кровавому кошмару, который погубит будущее России».

«Примирить начало власти и начало свободы, чтобы они не пожрали друг друга...»

После «силового» введения в западных губерниях земства, которое трактовалось прогрессистами как «нарушение конституции всей Российской империи», Львов, выступая в Думе, говорил: «То, что произошло, действительно показывает, что у нас конституции нет, что у нас парламентаризма нет, но у нас и основных законов нет, у нас вообще никакого организованного строя нет, у нас есть произвол, и есть еще другое — демагогия есть». Он и ранее (хотя и признавал бесспорным, что в западных губерниях происходит полонизация русского населения и «действительно необходимо его поддержать») считал предлагаемые правительством меры — «топором разрубать» вопросы огромной трудности — негодными. По его мнению, к такому делу «нужно подходить с величайшей осторожностью».

П.Б. Струве, которому эти идеи были близки, еще в 1908-м посвятил статью о «Великой России» своему единомышленнику Николаю Львову, который до революций 1917 года находился на стремнине общественно-политической жизни страны. Эмоционально и умно, с глубоким проникновением в суть дела отзывался «на злобы дня»: на «дело Азефа», на протест шестидесяти шести московских промышленников по поводу разгрома высшей школы, учиненного министром просвещения Л.А. Касо, — вплоть до того, что стал секундантом графа Уварова на его дуэли с А.И. Гучковым.

В 1915 году Львов разошелся с прогрессистами: он выступал сторонником образования министерства общественного доверия, а становящиеся все более радикальными прогрессисты ратовали за ответственное министерство. Расхождение с фракцией оказалось настолько глубоким, что Львов вышел из нее и вступил во фракцию левых октябристов. Прогрессисты глубоко сожалели об уходе весьма любимого и искренне ценимого товарища, но не могли поступиться своими убеждениями для удержания его в своей среде.

В годы Первой мировой войны Львов, как и в 1904–1905 годах, стоял на патриотической позиции и нередко выезжал на фронт. У А.В. Тыркова в дневнике за 16 сентября 1914 года написано: «Видела вчера Н.Н. Львова. Только что вернулся из командировки Красного Креста. Был верст за 100 за Люблиным. Ему пришлось ездить по местам австрийского отступления... Львов с отвращением говорил о правительстве, о том, что оно неизбежно надурит в Галиции». И внутри России, по его словам, правительство ведет себя не лучше: в начале войны «весь народ шел к правительству, что оно сделало из этого порыва?». Тыркова пишет: «Я спросила его, что, по его мнению, нужно теперь делать? — „Идти в армию. В солдаты, в офицеры, но в армию“». И сам Львов, когда дело касалось интересов страны, готов был жертвовать всем, даже самым дорогим в жизни и самой жизнью. Такими же он вырастил и своих сыновей. Двое из них погибли на войне.

В 1915–1916 годах ему, члену Прогрессивного блока и Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства, было особенно очевидно, что назревает революционный взрыв. Он еще надеялся (хотя эти надежды становились все более призрачными),

что царь пойдет на уступки обществу, и тогда удастся избежать катастрофы. Потому он и спросил вел. кн. Николая Михайловича, пытавшегося «образумить» царя (заставить его считаться с реальностью, учитывать интересы страны и настроения в обществе), удалось ли ему это. Николай Михайлович не мог сказать ничего утешительного. Он и сам не знал, что делать; собственно, поэтому и решил, разделяя взгляды оппозиционного думского большинства, встретиться с Н.Н. Львовым и В.В. Шульгиным, познакомить их с содержанием своего послания к «Ники», которое сам и зачитал ему на специально испрошенной у царя аудиенции.

Но и общественные деятели пребывали в растерянности и смятении, особенно после того как Николая Михайловича, за участие в так называемой великокняжеской фронде, по приказанию царя 31 декабря 1917 года выслали из Петрограда в его имение Грушевское. Потрясающее свидетельство настроений, которые охватили всю либеральную общественность накануне Февраля, представляют письма Львова к опальному князю. Хранящиеся ныне в архиве, эти документы эпохи достойны того, чтобы привести их здесь полностью.

«Ваше Императорское Высочество. Благодарю Вас за Ваше письмо как новый знак внимания и доверия ко мне с Вашей стороны. Мне тем более дорого это в данное время, когда в Вашем лице жестоко оскорблены все наши лучшие патриотические чувства. Любовь к России руководила Вами. Я глубоко убежден, что если бы Ваш совет был принят в свое время, то последовал бы такой огромный подъем восторженных монархических чувств, который и Государю дал бы новые силы вести Россию на путь победы и нам всем, всему народу уверенность в конечном торжестве. Трагизм нашего положения заключается в том, что никогда, быть может, не было сознания более ясного в необходимости ради торжества над врагом единения с властью в лице верховного вождя (это сознание проникает даже в революционные партии) и никогда вместе с тем нечто роковое не ставило между русским народом и царем такую грань отчуждения, недоверия и вражды, как в нынешнее время». (Написано предположительно в январе 1917 года. — В.Ш.) «Ваше Императорское Высочество. Пишу Вам из заседания Государственной думы. Открытию Государственной думы предшествовали разные толки и слухи. Говорили о рабочем движении, подготовленном стараниями крайне левых групп совместно с провокациями охраны; среди рабочих шла усиленная и подозрительная пропаганда. Арест рабочих из Центрального военно-промышленного комитета внес большое раздражение в рабочую среду. Все это совпало с крайним обострением продовольственной нужды и ужасающими условиями, делающими существование городского населения нестерпимым. Однако, к счастью, никаких особенно резких проявлений со стороны уличной толпы не произошло. Первое заседание Государственной думы прошло тускло и вяло. Была хороша речь Родзянки и заявление Шидловского, чувствовалось, что все уже сказано и потеряна всякая надежда, что можно чего-нибудь достигнуть убеждением и мольбой. Внутренний кризис наш

«Примирить начало власти и начало свободы, чтобы они не пожрали друг друга...»

все более и более обостряется; это есть кризис власти, которую все ищут и которая не умеет быть тем, чем она должна быть. В этот великий исторический момент, который должен положить конец петербургскому периоду русской истории и начать новый национальный расцвет России, власть не умеет отказаться от пустяков, ничтожных причуд и прихотей прошлого. Эти суетные мелочи губительны для будущности России, для самой власти, и, тем не менее, выхода нет. В этом весь ужас нашего положения; с одной стороны, огромная задача ведения мировой войны и еще более трудная задача заключения мира, а с другой — беспомощный капрал, расстроенное и больное воображение. Для людей, у которых потрясены их самые глубокие верования, а к таким принадлежит несмотря ни на что большинство русских, наступает ужасное время. Когда подумаешь, что в таких роковых недоразумениях между властью и Россией мог сыграть такую роль какой-то пьяный бродяга и полупомешанный интриган, как Протопопов, становится обидно и стыдно. Пуришкевич верно сказал, что мы вновь переживаем время, когда предают казни Кочубея и торжествует Мазепа. Среди всего этого Вы, Ваше Высочество, можете иметь одно утешение, что Вы выполнили свой долг и устранены насильственно. Мы же, которые вынуждены оставаться и вести борьбу, с ужасом чувствуем, что нас против нас самих толкают на такой путь, который противен нашим глубочайшим убеждениям. Искренне и глубоко преданный Вам Н. Львов. 15 февраля 1917 г.»

Разразился Февраль. 2 марта 1917 года Н.Н. Львов назначается комиссаром Временного комитета Государственной думы над Дирекцией императорских театров. И почти сразу же, через два дня (такова была феерия революции), — комиссаром по делам искусств. Головокружительный калейдоскоп различных съездов, совещаний, заседаний, комиссий — изматывающая, на пределе нервов будничная работа. Но как помещика и человека, хорошо знавшего аграрные проблемы, Львова тянуло и к «земле». Да и по своему характеру, темпераменту он никак не мог оставаться индифферентным к тому громадному перевороту, который происходил в российской деревне. Закономерно поэтому его избрание в июле 1917 года председателем Главного совета Всероссийского союза земельных собственников и земельных хозяев, в который, кстати, входило и немало крестьян. Руководителям Союза вначале казалось, что этот переворот можно ограничить и вдвинуть в рамки мирного решения аграрного вопроса, не прибегая к экстраординарным мерам, — путем циркуляров Временного правительства, агитацией и разъяснениями. Но иллюзии быстро рассеялись. Уже в июне 1917-го Н.Н. Львов говорил, что остановить крестьян «можно только властью, только тем, что вы скажете, что можно и чего нельзя разнузданным страстям, разожженным в настоящее время». Рисуя в мрачных тонах положение помещиков и разрастающиеся масштабы крестьянского движения, Львов особо подчеркивал: «Но я не могу не видеть той пассивной роли правительства, которую оно играет в последнее время».

Николай Львов мог позволить себе говорить так хотя бы потому, что сам он в «роковом 1917-м» — поистине поразительный сгусток энергии. Его хватало на все: на «комиссарство», на Временный комитет Государственной думы, на Совет общественных деятелей, на Предпарламент, на Государственное совещание и на многое-многое другое. И где бы ни выступал, что бы ни делал, он изо всех сил пытался предотвратить сползание страны в трясину междоусобия. В корниловские дни был причастен к переговорам, которые вел его брат В.Н. Львов. На выборах в Учредительное собрание его забаллотировали — свобода в России действительно «взметнулась неистово».

Октябрьскую революцию Н.Н. Львов встретил в штыки — в годы Гражданской войны был в стане белых. Занимался более всего тем, что хорошо знал и умел: защищал «белую идею» словом, прежде всего в газете «Великая Россия». После Гражданской войны оказался в эмиграции (Турция, Сербия, Франция). Первое время он еще в ее «окопах»: пытается своими пламенными речами поддержать Белое движение. Одно время сотрудничал в издаваемой П.Б. Струве право-эмигрантской газете «Возрождение», но затем, по выражению В.А. Оболенского, «затих и незаметно окончил свое земное существование». Он умер на руках жены, когда-то почти неграмотной крестьянки, редкой красавицы. Прах его покоится на русском кладбище Кокад в Ницце.

НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ЩЕПКИН

«Мнение о неготовности
народа к свободе
порождается нежеланием
выпускать из рук
привилегии и власть...»

Николай Николаевич Щепкин родился в Москве в 1854 году. Он был из потомственных дворян, чье родовое имение находилось рядом с селом Тихвинское на реке Клязьме под Москвой. Его дед, М.М. Щепкин, был великим актером, а отец, Н.М. Щепкин, — многолетним гласным Московской городской думы и членом Московской губернской земской управы.

Н.Н. Щепкин окончил физический факультет Московского императорского университета. В 1877 году ушел вольноопределяющимся на Русско-турецкую войну, сражался в авангарде у Скобелева и вернулся награжденный солдатским Георгиевским крестом «за храбрость», будучи произведен в офицеры. После войны был секретарем Казенной палаты, помощником секретаря Московской городской думы, а с 1883 по 1894 год — мировым судьей.

Н.Н. Щепкин принадлежал к тому течению в русском прогрессивном обществе конца XIX столетия, которое, опираясь на поколение реформаторов 1860-х годов, пронесло через эпоху реакции освободительные идеи. Идеалами Н.Н. Щепкина были общественное благо, право и свобода. Все знали его талант, ценили живость и изумительную трудоспособность. Его шуток, иронии и острых сарказмов боялись, а на его гневные филиппики не многие могли ответить.

Большие семейные традиции участия в городском общественном управлении, по-видимому, повлияли и на выбор Н.Н. Щепкина баллотироваться в гласные Московской городской думы. Хотя правом избирать гласных в Москве в то время обладали только домовладельцы и представители крупных торгово-промышленных предприятий и большинство в думе составляли гласные из купечества, многие представители московской интеллигенции рассматривали работу в городской думе как общественное служение. Гласные думы работали на общественных началах, не получая материального вознаграждения.

Н.Н. Щепкин впервые был избран гласным Московской городской думы в 1889 году и оставался им вплоть до роспуска думы большевиками (с перерывом в 1909–1912 годах). В 1894 году его избирают товарищем (за-

местителем) городского головы. Эта должность была ключевой в хозяйственной жизни города, так как сам городской голова выполнял главным образом представительские функции. В должности товарища городского головы Н.Н. Щепкин проработал до 1897 года, когда после избрания городским головой князя В.М. Голицына ушел с должности. Во всеоружии знания городского дела он вошел в оппозиционную группу, которую называли «Торговый дом Братья Гучковы, Щепкин, Мамонтов и К°». Как вспоминал Н.И. Астров, оппозиция торопила и улучшала работу городской управы. В основе этой оппозиции было неприятие влиятельнейшего лидера московского купечества, председателя Московского биржевого комитета, консервативно настроенного Н.А. Найденова, который и обеспечил избрание В.М. Голицына.

Несколько раз в этот период кандидатура Щепкина серьезно рассматривалась гласными думы в качестве кандидата в городские головы, но каждый раз против нее активно выступал Найденов, заявлявший, что «прежде дома в Москве станут кверху ногами, вниз своими трубами, чем Щепкину быть московским городским головой».

Среди заслуг Н.Н. Щепкина в области развития муниципального хозяйства современники отмечали проведение широкой программы муниципализации городского транспорта. В конце XIX века трамвайное сообщение (поначалу на конной тяге) развивалось в Москве на концессионной основе. Тогда в думе господствовало убеждение в неэффективности коммерческой деятельности муниципалитетов. Но как писал Щепкин: «Вагоны конки представляли собою старые, выслужившие все благоразумные сроки, рыдваны, двигавшиеся со скоростью от шести до семи верст в час, с бесконечными остановками, зависящими от полного расстройств старых рельсовых путей». С конца XIX века в думе стали звучать требования перевести конку на электрическую тягу. Но концессионеры не спешили вкладывать средства в развитие и строительство электрического трамвая, так как не хотели рисковать, а конка и так давала высокую прибыль.

В то время вокруг Н.Н. Щепкина сформировалась группа гласных, которая стала настаивать на выкупе городской думой сети конно-железных дорог, и 7 марта 1900 года дума приняла решение: «Городские железные дороги в Москве должны составлять особое городское предприятие, и их устройство и эксплуатация должны производиться с самого начала за счет и мерами городского управления». Причем главным источником финансов для развития электрического трамвая стали займы, размещаемые за границей. К 1914 году линии железных дорог в Москве достигли примерно 250 верст; ежедневно по городу ходило около 900 трамваев.

В муниципальных вопросах Щепкин был убежденным сторонником развития городского хозяйства на основе муниципальных предприятий и заключения займов на их создание и развитие. Либеральные принципы Щепкина по вопросам ведения городского хозяйства легли в основу программы кадетской партии на городских выборах 1908 года.

В начале XX века большинство в городских думах составляло купечество, в своей предпринимательской деятельности часто зависевшее от правительства и еще не готовое широко ставить общественные вопросы. Настроения «купеческих» городских дум сильно отличались от «дворянских» земских собраний. Но Москва в те годы входила в Московскую губернию на правах уезда, и Н.Н. Щепкин был избран губернским гласным от Москвы. А Московское губернское земство оказалось в центре земского движения как в силу своего столичного статуса, так и деятельной поддержки со стороны председателя Московской губернской управы Д.Н. Шипова, избранного председателем Бюро совещания председателей губернских земских управ.

По свидетельству князя Петра Долгорукова, Щепкин был одним из главных инициаторов письма к земским деятелям (за подписью «старо-земцы»), получившего широкий общественный резонанс. В этом письме говорилось, что «земские собрания превращаются в сословно-бюрократические совещания... земские управы становятся придатком губернских канцелярий», и предлагалось начать открыто обсуждать в земских собраниях вопросы общегосударственного значения, пересмотреть Положение о земских учреждениях в направлении предоставления одинаковых избирательных прав всем группам населения и снижения имущественного избирательного ценза. В письме также говорилось о необходимости уравнивать права крестьян с правами прочих сословий, о предоставлении большей свободы печати.

Поражения русских войск в войне с Японией усиливали оппозиционные настроения в обществе, которые постепенно захватывали и гласных Московской городской думы. Н.Н. Щепкин и С.А. Муромцев (будущий председатель I Государственной думы) становятся лидерами либерально настроенной части думы. По их инициативе дума возбуждает ходатайство о проведении съезда городских голов, к которому присоединяются городские думы многих городов России.

30 ноября 1904 года на заседании Московской городской думы, посвященном принятию сметы, Щепкин оглашает заявление 66 гласных. В нем говорилось, что «существенным препятствием для дальнейшего развития городского хозяйства являются те правовые условия, в которые поставлена городская община и население города», и в связи с этим городская дума «представляет высшему Правительству о неотложной необходимости: установить огорождение личности от внесудебных усмотрений, отменить действие исключительных законов, обеспечить свободу совести и вероисповедания, свободу слова, печати, свободу собраний и союзов». Эти начала должны быть проведены в жизнь «на обеспечивающих их неизменность незыблемых основах, выработанных при участии свободно избранных представителей населения». Заканчивалось заявление указанием на необходимость «установить правильное взаимодействие правительственной деятельности с постоянным, на законе основанным, контролем общественных сил над законностью действий администрации».

Н.И. Астров так описал это заседание городской думы, на котором Щепкин огласил свое заявление: «У многих гласных возбужденные лица, оживленные глаза. Некоторые потупились. Другие низко опустили головы. Безразличных не было видно. Чувствовалось, что московская Дума переживает действительно торжественно-тревожный момент. Устами Щепкина она произносила слова ответственные, обязывающие; глубокая тишина и сосредоточенное внимание свидетельствовали о том, что она понимает значение переживаемого Россией времени».

Заявление Московской городской думы получило всероссийскую известность. Московским газетам запретили его печатать. А.А. Кизеветтер в своих воспоминаниях писал о «сильном впечатлении», которое «произвело то обстоятельство, что московская городская дума — оплот крупнейшего купечества — приняла резолюцию о скорейшем созыве народного представительства».

В 1905 году Московская дума продолжала принимать политические заявления в либеральном духе. В заявлении думы о событиях 9 января 1905 года в Петербурге говорилось: «Пролитая кровь... вселяет невольный ужас. Разрешение недоразумений, особенно во внутренней жизни народов посредством оружия, — есть явление, наименее свойственное и желательное нашему веку». О значении этого и других выступлений Московской думы известный историк С.В. Бахрушин писал: «Каждое выступление Московской Думы, как раскат грома проносился по стране, встречая отзвук в самых захолустных углах ее... Ее словами говорили, ее мыслями думали все прочие города России, жадно прислушиваясь к ее голосу, глядя на ее указательный перст. Слово Московской Думы поэтому вызывало внимательное отношение и высших петербургских сфер». Н.Н. Щепкин в этот период был лидером либеральной группы гласных Московской думы, автором многих политических заявлений.

Щепкин становится также одним из лидеров городской России, а позже и земско-городских съездов. В Московской думе создается комиссия под его председательством, которая готовит доклад об основах конституционного строя. Этот доклад Щепкин готовил при активном участии С.А. Муромцева и Ф.Ф. Кокошкина. В марте 1905 года в Москве проходит совещание представителей городских дум, на котором Щепкин делает доклад о конституционных вопросах. На нем принимается решение о созыве городского съезда, который проходит в начале июля в Москве и принимает решение об объединении с земским. Таким образом, земское движение получает очень серьезную политическую поддержку от городской России. На земско-городском съезде 6–8 июля Щепкин избирается товарищем председателя и вместе с Ф.Ф. Кокошкиным делает доклад о народном представительстве.

Н.Н. Щепкин становится одним из главных теоретиков земцев в вопросах избирательного законодательства. В популярной брошюре «Земская и городская Россия о народном представительстве» (1905) он пишет о необходимости всеобщего, прямого, равного избирательного права при тайном голосовании для выборов народных представителей. Полемизируя

«Мнение о неготовности народа к свободе порождается нежеланием выпустить из рук привилегии и власть...»

с противниками всеобщего избирательного права, говорившими о неготовности народа, Щепкин пишет: «Возражения о неподготовленности делаются всегда и при всех преобразованиях. Делались они и при освобождении крестьян, и при введении земских учреждений, и при введении суда присяжных... Так как объективных признаков подготовленности или неподготовленности установить никогда нельзя, то, в действительности, в такую форму возражений обычно облекалось нежелание выпускать из своих рук привилегии и власть».

Щепкин был сторонником двухпалатного парламента, причем вторая палата, по его мнению, должна состоять из представителей общественных самоуправлений, реорганизованных на демократических началах и распространенных по всей России: «Не согласованные с местными условиями и потребностями законы, выработанные при участии единого собрания, представляют собой не меньшее зло, чем такие же законы, выработанные без участия народных представителей».

После создания осенью 1905 года Конституционно-демократической партии Н.Н. Щепкин вошел в ее ЦК, а также был избран товарищем председателя Московского городского комитета. А после избрания князя Пав.Д. Долгорукова депутатом II Государственной думы и его ухода с поста председателя Московского городского комитета Щепкин становится лидером московских кадетов. Московская организация в 1906 году насчитывала 26 тысяч членов партии, имела организации во всех городских районах и была авторитетнейшей в кадетской партии. Оценивая роль московской организации, П.Н. Милюков писал: «Москва была родиной кадетизма... поприщем для практического применения кадетских стремлений в Москве была городская Дума, и около нее сосредоточивалась борьба, в которой „политика“ неизбежно связывалась с „делом“».

Н.Н. Щепкин, как и большинство лидеров московских кадетов (Н.М. Кишкин, А.И. Астров, Н.В. Тесленко, А.А. Кизеветтер), был сторонником левого крыла партии: он поддержал Выборгское воззвание, выступал за сближение с умеренными социалистами и был противником соглашения с октябристами. После избрания в Государственную думу он имел возможность гораздо чаще присутствовать на заседаниях ЦК и стал играть еще большую роль в партии. Он, в частности, был автором муниципальной программы партии кадетов.

Учреждение Конституционно-демократической партии совпало с октябрьскими событиями в Москве. В городе началась забастовка, в которой приняли участие и городские рабочие, прекратившие работу водопровода. Царская администрация была в растерянности и не могла адекватно реагировать на происходившие события. Московская дума также была в тяжелом положении: городской голова князь В.М. Голицын, явно не справлявшийся с возникавшими задачами, подал в отставку. Революционные партии требовали от думы самороспуска и передачи им средств из городской казны. Забастовавшие городские служащие с помощью физического насилия снимали с работы тех, кто не поддерживал забастовку.

В эти дни дума заседала практически ежедневно, и братья А.И. и Н.И. Гучковы, Н.Н. Щепкин, М.Я. Герценштейн и С.А. Муромцев почти не покидали ее. В своем выступлении на заседании городской думы 11 октября 1905 года Н.Н. Щепкин заявил, что «мы должны сказать правительству, что не ручаемся за спокойствие наших учреждений», пока не будет исполнена кадетская программа и, в частности, реализовано право на восьмичасовой рабочий день. При активном участии Щепкина дума приняла решение о повышении зарплат рабочим, признала существование корпорации городских рабочих, обязалась оплачивать больничный сбор и поддержала многие политические требования забастовщиков.

В ходе этих дискуссий окончательно определяются серьезнейшие политические разногласия между Н.Н. Щепкиным и другими лидерами московских кадетов с одной стороны и октябристами братьями Гучковыми — с другой. Главным пунктом разногласий был вопрос об осуждении забастовки. Если Щепкин рассматривал забастовку как средство, с помощью которого можно заставить самодержавие идти по пути реформ, то А.И. Гучков считал необходимым осудить забастовку и оказывать содействие администрации в наведении порядка в городе.

Большинство Московской думы постепенно склонилось в сторону братьев Гучковых. В ноябре 1905 года при выдвижении кандидатов в городские головы Н.И. Гучков получает 80 голосов, а Н.Н. Щепкин — лишь 19. Н.И. Гучков утверждается московским городским головой, а Н.Н. Щепкин становится лидером либерального меньшинства Московской думы. На одном из частных собраний гласных Н.Н. Щепкин бросает братьям Гучковым упрек, что они стали «прислужниками власти». Дружеские отношения, ранее связывавшие Щепкина с Гучковыми, окончательно рвутся.

В течение всего периода 1905–1916 годов в Москве шла настоящая политическая война на уничтожение между московскими кадетами, ведомыми Н.Н. Щепкиным и Н.М. Кишкиным, и московским «Союзом 17 октября», лидерами которого были А.И. и Н.И. Гучковы.

Выборы в I и II Государственную думу по Москве кадеты уверенно выигрывают; октябристы с треском проваливаются. Однако А.И. Гучкову удается совершить переворот в Московском губернском земском собрании и свалить председателя губернской земской управы, несмотря на энергичное сопротивление кадетов. А на выборах в III Государственную думу по первой курии (в которой состояли в основном домовладельцы) в феврале 1907 года Н.Н. Щепкин и князь Пав.Д. Долгоруков во втором туре голосования проигрывают А.И. Гучкову и Ф.Н. Плевако с небольшим разрывом.

Московская городская дума была еще одним театром боевых действий. Особенно ярко это проявилось в думской дискуссии о забастовке 1907 года. Н.И. Гучков уволил всех отказавшихся выйти на работу участников забастовки. При обсуждении этого вопроса Щепкин заявил, что «не следует вводить в обычай массовые увольнения рабочих; нужно разобраться, кого увольнять, кого нет», и предложил управе пересмотреть свое решение об

«Мнение о неготовности народа к свободе порождается нежеланием выпустить из рук привилегии и власть...»

увольнении рабочих. На заседании думы 6 марта Н.Н. Щепкин заявил: «Рабочие уволены, принимаются новые, и эта операция для возобновления движения потребует два с половиной месяца. Управа говорит, что она идет своим путем, а нам надо, чтобы движение было скорее восстановлено». Один из лидеров кадетов в Московской думе — П.А. Столповский предложил проголосовать такую формулировку: «Выразить сожаление, что Управа не использовала имеющихся средств к тому, чтобы предупредить забастовку; что ею были приняты такие меры, которые дали забастовке распространиться...» Это предложение вывело из себя Н.И. Гучкова, и он предложил думе выразить «вотум доверия» управе, которое и получил.

В 1908 году должны были состояться выборы новых гласных Московской городской думы. И октябристы, и кадеты готовились к решительной схватке. Н.И. Гучков хотел расправиться с оппозицией в думе, а Щепкин и его сторонники планировали свалить Гучкова. Октябристы сделали ставку на политическую кампанию и стали забрасывать противников самыми фантастическими обвинениями, ставя им в вину и декабрьское восстание, и октябрьскую забастовку. Основной удар пришелся по Щепкину. Орган октябристов «Голос Москвы» критиковал его за поддержку забастовщиков (которым он, по слухам, «давал советы»), за тяжелое положение домовладельцев-арендаторов, называл его «думским забиякой» и т.д.

В свою очередь, кадеты основной своей избирательной кампанией сделали критику хозяйственной деятельности октябристской управы. Н.Н. Щепкин в «Русских ведомостях» опубликовал большую статью «Наше городское хозяйство». По его мнению, в городском хозяйстве «нет ни одной отрасли, где бы существенные нужды населения были удовлетворены, доходность городских предприятий стоит значительно ниже того, что можно было бы ожидать; все источники доходов исчерпаны, а годовые дефициты стали обычаем...». В статье говорилось о необходимости децентрализации городского хозяйства.

Ожесточенные споры шли на предвыборных собраниях, которые, как писал «Голос Москвы», напоминали «новгородское вече, где улица шла на улицу». Активность избирателей на выборах дошла до невиданных в истории городских выборов 40%. И хотя в думу было избрано примерно одинаковое количество гласных от октябристов и кадетов, на 3-м участке (Арбат, Пречистенка и Хамовники), который считался «кадетской цитаделью» и по которому баллотировался Щепкин, выборы закончились полной победой октябристов. И Щепкин после двадцатилетнего служения городу, как и многие лидеры московских кадетов, был забаллотирован.

В конце 1909 года скончался депутат Государственной думы от Москвы Ф.Н. Плевако. Кадеты выставляют своим кандидатом Щепкина, а октябристы — представителя деловых кругов Н.В. Щенкова. Начинается острая избирательная кампания. Эти выборы носили принципиальный для октябристов характер, так как это была, во-первых, первая курия, считавшаяся «октябристской», а во-вторых, сам А.И. Гучков, будучи депутатом от этой

курии, считал выражением недоверия себе избрание своего политического и личного врага. А.И. Гучков заявил, что результат этих выборов будет выражением отношения к деятельности премьера П.А. Столыпина. Но и Щепкин точно так же призывал избирателей продемонстрировать их недовольство свертыванием реформ, провозглашенных Манифестом 17 октября.

На многочисленных собраниях имела место острейшая полемика. И в результате Щепкин одерживает убедительную победу в первом туре, получив около 60% голосов избирателей. Лидер кадетов П.Н. Милюков высоко оценил этот успех: «Самые авторитетные и компетентные в глазах правительства слои населения осудили правительственную политику, не взирая на запугивания А.И. Гучкова». В день отъезда Щепкина в Санкт-Петербург большая толпа народа пришла на Николаевский вокзал провожать нового депутата.

На выборах в Государственную думу 1912 года Н.Н. Щепкин вновь избирается депутатом Государственной думы, но на этот раз по второй курии. Совместно с В.А. Маклаковым он уверенно побеждает кандидатов от социал-демократов и октябристов.

В Государственной думе Щепкин работал в финансовой комиссии и комиссии по рабочему вопросу. В апреле 1914 года за резкие выступления при обсуждении бюджета против председателя Совета министров И.Л. Горемыкина Щепкин был удален на пять заседаний Думы. Вообще, как писал Н.И. Астров, работа в Государственной думе не давала Щепкину удовлетворения: на каждую сессию Думы он уезжал «с тяжелым чувством отрыва от живого дела на дело томительное, нудное, не дающее результата».

В 1912 году проходят новые выборы в Московскую городскую думу. Кадеты жаждали реванша за поражение 1908 года, и на этот раз Н.Н. Щепкин вновь избирается гласным. В дальнейшем во многом благодаря его усилиям на место Н.И. Гучкова городским головой был избран кадетский кандидат — князь Г.Е. Львов. Но Министерство внутренних дел не было готово утвердить во главе московского городского самоуправления оппозиционного кандидата. Ходили слухи о назначении городского головы правительством, чего никогда не было в истории городского самоуправления. Период «безголовья» продлился до сентября 1914 года и стал предметом серьезнейших нападок оппозиции на правительство. В конечном итоге городским головой был утвержден кадет М.В. Челноков.

После начала Первой мировой войны Н.Н. Щепкин был одним из инициаторов создания военной комиссии Московской городской думы. При его участии создается Всероссийский союз городов и разворачивается большая работа по помощи раненым воинам, русским военнопленным, семьям призванных в армию, а также по снабжению и снаряжению армии. Н.Н. Щепкин занимал высокие посты товарища председателя Главного комитета Союза городов, особоуполномоченного Союза городов на Западном фронте.

Февральская революция застала Щепкина в Москве. В резолюции, принятой Московской думой по его инициативе, говорилось: «Жизнь страны

«Мнение о неготовности народа к свободе порождается нежеланием выпускать из рук привилегии и власть...»

потрясена до основания преступным упорством защитников губительного для страны режима. Московская городская дума выражает твердую уверенность, что народное представительство, в единении с доблестной армией и народом, устранил от власти тех, кто, защищая старый порядок, творит постыдное дело измены».

Временное правительство назначило Н.Н. Щепкина комиссаром по Туркестану. Заочно его вновь избрали гласным Московской думы на выборах в июне 1917 года.

Щепкин вернулся в Москву уже после Октябрьского переворота. В отличие от большинства других лидеров московских кадетов он решает остаться в городе, пытаясь объединить антибольшевистские силы в рамках Союза возрождения, Национального центра, а позднее «Тактического центра». Целью этих организаций было устранение власти большевиков, восстановление единой и неделимой России, учреждение твердой власти (диктатуры или директории) с чрезвычайными полномочиями до момента созыва Учредительного собрания.

Щепкин осуществлял политическое руководство организациями, замкнул на себя их информационные потоки, снабжал получаемыми из ставки Колчака деньгами московскую военную организацию, готовившую вооруженное выступление и известную как «Штаб Добровольческой армии Московского района». Он также поддерживал связь с резидентом английской разведки и штабами Деникина и Юденича, снабжал их информацией о политическом, экономическом и военном положении в Москве.

Н.Н. Щепкин был арестован в конце июля 1919 года во время беседы с посланниками от Врангеля. У ВЧК не было сомнений в том, что он находился в деятельной, непримиримой борьбе с советской властью. Для самого Щепкина было абсолютно ясно, что арест закончится расстрелом. Во время допросов он не колебался, многое взял на себя, но то, что должно было остаться тайной, ушло вместе с ним. Товарищи по заключению изумлялись его спокойной бодрости и ясности духа. Большевики же рассматривали Щепкина как опасного противника. Известный «красный профессор» М.Н. Покровский говорил, что «после устранения Щепкина больше не встречается таких крупных фигур»; «Щепкин — чрезвычайно характерный буржуазный республиканец, готовый материал для Кавеньяка или Тьера».

Н.Н. Щепкина вместе с другими участниками «Тактического центра» расстреляли в середине сентября 1919 года. Его тело было похоронено в общей могиле у Калитниковского кладбища.

«Свое пренебрежение
к закону правительство
передало гражданам...»

Одна из главных достопримечательностей станицы Старочеркасской (Аксайский район Ростовской области), бывшей столицы донского казачества, — Атаманово подворье. Это комплекс каменных строений, составлявших центр родового поместья донских атаманов Ефремовых, свыше тридцати лет стоявших во главе управления Донским войском (1738–1772). Именно к этой знаменитой казачьей династии, известной ратными подвигами и делами общественного служения на мирном поприще, принадлежал Иван Николаевич Ефремов (1866–1945) — общественный и политический деятель либерального направления, знаковая фигура в событиях не только «русской смуты» начала XX века, но и — впоследствии — Русского зарубежья.

Основателем рода Ефремовых считается Ефрем Петров — выходец из московских торговых людей, переселившийся на Дон около 1670 года и занявший вскоре заметное место среди казачьих старшин. Преданный слуга престола, участник военных походов Петра I, усмиритель Астраханского восстания (1705), Ефрем Петров был казнен по приказу Кондратия Булавина во время осады бунтовщиками Черкаска (1708). Его сын Данила стал первым обладателем официально закрепленной фамилии (по имени отца), продолжив семейную традицию ревностного служения русским царям. Уже семнадцатилетним юношей Д.Е. Ефремов участвовал в Северной войне со шведами, во время одного из боевых эпизодов едва не пленив шведского короля Карла XII. Приходилось ему выполнять и дипломатические поручения правительства. Так, в 1734–1737 годах Данила Ефремович Ефремов провел успешные переговоры с калмыцким ханом Дондук-Омбо, склонив последнего к союзу с Россией. В марте 1738 года указом императрицы Анны Иоанновны Ефремов был назначен донским войсковым атаманом «за долговременные и ревностные его ей и предкам ее службы». Заботясь о спокойствии донских просторов, Ефремов не раз умело организовывал отражение набегов крымских и кубанских татар. Пик карьеры атамана пришелся на период правления Елизаветы Петровны. В 1749 году ему был пожалован в качестве награды портрет императрицы, украшенный бриллиантами и предназначенный для ношения на груди. 8 августа 1755 года он первым из донских казаков удостоился чина генерал-майора и стал

командующим донскими полками, а вместе с тем — самым влиятельным человеком на Дону. Спустя четыре года, 8 мая 1759-го, в период Семилетней войны с Пруссией, за участие в Померанской кампании Данила Ефремов получил гражданский чин тайного советника (также первым из донских казаков). Упрочению его авторитета служила и успешная административная деятельность: тогда в Черкасске была учреждена пограничная таможня, разграничены владения донских и запорожских казаков и т.д.

Свидетельством высокого статуса и материального процветания Ефремова стал заложенный при нем архитектурный комплекс фамильной усадьбы, ядром которого до сих пор остается Атаманский дворец (двухэтажный, в классическом стиле, наподобие усадебных дворцов московской и петербургской аристократии), а также домовая церковь Ефремовых во имя Донской иконы Божией матери. Собрание живописных портретов, принадлежавшее Даниле Ефремову, фактически стало первой на Дону картинной галереей.

Сын Д.Е. Ефремова Степан был назначен войсковым атаманом в 1753 году по ходатайству родителя, но до смерти отца (1760) оставался у него в подчинении — таково было повеление императрицы Елизаветы Петровны. «Звездный час» Степана Даниловича Ефремова пробил лишь в 1762 году, когда он с отрядом донцов принял деятельное участие в дворцовом перевороте, возведшем на российский престол Екатерину II. В благодарность за оказанную помощь С.Д. Ефремов, помимо сабли с серебряной оправой, получил от новой правительницы фактически неограниченную власть на Дону, открывшую ему еще большие возможности для расхищения войсковых земель и стремительного обогащения.

По словам современного исследователя М.П. Астапенко, «при поездках в Петербург или Москву с Дона атамана сопровождала многочисленная свита из своих дворовых людей (калмыков, татар, армян, турок и даже „арапов“): «Для различных поездок внутри войска Донского атаман имел „зеленую покоевую карету“. Свою карету имела и жена атамана... Это было тем более удивительно, что у казаков не принято было запрягать лошадь в хомут: считалось, что хомут оскорбляет достоинство лошади. Но атаман игнорировал эту традицию и завел собственный выезд. На своей даче в Красном Степан, развлекая гостей, в специально вырытом водоеме устраивал скачки на осетрах». Упомянутая жена Ефремова тоже вошла в историю. Это простая казачка Маланья Карповна, пошедшая под венец с хозяином Дона около 1755 года. «Наготовлено, как на Маланьину свадьбу», — говорим мы о богатом сверх меры изобилии праздничного стола, не задумываясь над тем, что всякий раз вспоминаем при этом свадьбу донского атамана С.Д. Ефремова.

Его деятельность была направлена на усиление собственной власти и, соответственно, подрыв прав выборных старшин. Именно это определило суть проекта о коренном преобразовании внутреннего управления войска Донского, представленного Степаном Ефремовым в 1765 году в Военную коллегию. Он «желал ведать как гражданскими и военными

делами, так и всеми войсковыми доходами, которые с развитием земледелия на Дону, садоводства, скотоводства и коневодства, а также богатству края, могли быть в то время очень значительны...»

Всемогуществу и процветанию Степана Даниловича был положен конец доносами на него представителей казачьих «верхов». Игнорирование им вызовов в Петербург для объяснения сложившейся ситуации повлекло за собой решение верховной власти о проверке деятельности атамана. В результате в конце 1772 года Ефремов был арестован и доставлен в Петербург закованным в кандалы. На него пало подозрение в «сепаратизме», булавинщине, стремлении к автономии Войска Донского. В 1773 году следственная комиссия вынесла Ефремову смертный приговор (казнь через повешение). Екатерина II сочла наказание чрезмерным и заменила его ссылкой «на вечное жительство» в город Пернов (ныне — эстонский Пярну). Однако в 1774 году императрица повелела «все следствия по делу Ефремова оставить и уничтожить, казаков, содержащихся по сим делам под стражею, выпустить и простить». Степана Ефремова возвратили в столицу, где он и оставался до конца своих дней, не воспользовавшись предоставленной возможностью вернуться в родные края, а после смерти был похоронен в Александро-Невской лавре.

История взлета и падения донского атамана С.Д. Ефремова, пользовавшегося, несмотря на все «зигзаги» своего поведения, симпатиями и поддержкой в массах донского казачества, свидетельствовала о неизменной тяге донцов к сохранению — наперекор указаниям столичного чиновничества — своего особого быта, самоуправления. А потому духу казачества вполне соответствовала земская реформа в Области Войска Донского (1875). Характерно, что все семь лет существования земств на Дону председателем областного земского собрания (в 1876–1881 годах — одновременно и предводителем дворянства Области Войска Донского) был внук атамана Степана Даниловича Николай Николаевич Ефремов. В свою очередь, сын последнего, Иван Николаевич, отстаивал права и свободы россиян, в том числе интересы земляков, в начале XX века, в пору начавшейся трансформации самодержавия в конституционную монархию.

По окончании в 1885 году с золотой медалью Новочеркасской классической гимназии Иван Ефремов поступил на физико-математический факультет Московского университета. Его способности и трудолюбие были отмечены такими крупными учеными, как Ф.А. Бредихин и П.К. Штернберг (под руководством последнего Ефремов работал в Астрономической обсерватории). Тем не менее успешный студент отказался от сдачи выпускных экзаменов и получения диплома, поскольку не собирався поступать на государственную службу. Вернувшись на Дон в 1891 году, он не ограничился хозяйственной деятельностью во владениях отца — практические проявления его общественного темперамента были разнообразны.

Ефремов, например, стал инициатором учреждения ряда сельскохозяйственных обществ, причем некоторые из них избрали его своим председателем. Характерно, что это были объединения, членами кото-

«Свое пренебрежение к закону правительство передало гражданам...»

рых являлись как крупные землевладельцы, так и разделявшие с ними совместные заботы средние и мелкие хозяева — крестьяне, казаки. Одной из главных целей обществ было внедрение и распространение на Дону передовой сельскохозяйственной культуры. Так, например, по предложению Ефремова в феврале 1893 года в повестку дня деятельности Донского общества сельского хозяйства был поставлен вопрос об устройстве при этой организации на частные пожертвования опытного поля. Реализацией этой идеи Ефремов занялся совместно с известным агрономом И.Д. Колесниковым: первые же успехи предприятия были отмечены наградами на всероссийских сельскохозяйственных выставках (бронзовой медалью на выставке 1895 года в Москве, дипломом 2-й степени на выставке 1896 года в Нижнем Новгороде). Петербургские чиновники и «правительственный агроном» П.М. Дубровский, посетившие Донское опытное поле в 1896 году, высказали удивление, что Донскому обществу «со столь малыми средствами удалось учредить такое солидное для края предприятие...».

С 1896 года, в целях развития «опытного поля», Донское общество сельского хозяйства получало ежегодные субсидии от Министерства земледелия и государственных имуществ, с 1897-го — из войсковых средств. В июне 1900 года опытное поле посетил военный министр А.Н. Куропаткин (с 1899-го — почетный член Общества), который также «остался очень доволен достигнутыми там результатами» и пожелал казакам «вести дело так, как ведется оно на опытном поле», поскольку «достаточно было бы казаку получить треть урожая против того, что получается на опытном поле (урожай ржи до 180 пудов с десятины), чтобы всюду на Дону было довольство». И.Н. Ефремов стал также инициатором создания на Дону Союза мирного разрешения аграрного вопроса.

Деятельную заботу проявлял он и о развитии просвещения в родном крае: с января 1892 года — в качестве попечителя Новочеркасской гимназии (пять раз избирался на трехлетний срок) и нескольких народных школ; по его инициативе и при личном участии были открыты реальные училища в Каменской и Усть-Медведицкой станицах. В 1892–1904 годах Ефремов — член крестьянского присутствия Донецкого округа. Признанный авторитет в своем крае, в 1892–1917 годах он исполнял обязанности почетного мирового судьи, в 1895–1898 годах — председателя Съезда мировых судей Донецкого и Черкасского округов Области Войска Донского.

Осенью 1905 года И.Н. Ефремов возглавил в Новочеркасске кружок беспартийных деятелей либерального направления, заявил себя сторонником конституционной монархии и мирного эволюционного прогресса. Члены кружка обсуждали, наряду с вопросами общегосударственного устройства, проект местной казачьей реформы, предполагавший воссоздание земских учреждений на Дону.

В апреле 1906 года И.Н. Ефремов был избран членом I Государственной Думы от Области Войска Донского. Высшей ценностью для Ефремова-политика была общественная солидарность, а руководством к действию — здравый смысл и забота об «общем благе». В первом русском парламенте

Ефремов стал одним из лидеров зарождавшегося в ту пору центристского течения в русском либерализме (условно говоря, между кадетами и октябристами). Он примкнул к группе беспартийных депутатов-прогрессистов во главе с графом П.А. Гейденом, был его ближайшим помощником в организации Партии мирного обновления (1906) и ее думской фракции, избран товарищем (заместителем) председателя ЦК партии.

Свои взгляды Ефремов пропагандировал и как публицист, сотрудничая в разное время в таких изданиях, как «Московский еженедельник», «Русские ведомости», «Слово», «Русская молва» и др. В I Думе он входил в аграрную комиссию, был одним из авторов «Объяснительной записки к проекту аграрной реформы». Первым шагом «как для разрешения крестьянского вопроса, так и для умиротворения России» Ефремов и его соратники считали расширение крестьянского землевладения, в том числе за счет «принудительного выкупа, при участии государства, частновладельческих земель в необходимом размере», «на началах справедливой оценки, основанной на доходности данного имения». Одно из главных положений аграрной программы прогрессистов — «передача отчуждаемой земли не во временное ограниченное пользование земледельческого населения, а в полную его собственность», поскольку именно такой подход, по их убеждению, отвечал «истинным желаниям большинства крестьянства». Неотложной мерой признавалось широкое содействие государства поднятию производительности сельского хозяйства, в том числе путем «правильной организации переселенческого дела», «содействия расселению на отрубные участки (хуторское хозяйство) с открытием кредита для этой цели», «устранения препятствий к переходу от общинного землевладения к личному», «широкого развития сельскохозяйственного образования», «урегулирования земельного обложения», арендных отношений и т.д.

Прогрессисты считали необходимым «широкое привлечение местных общественных сил» к разработке и осуществлению земельной реформы. Признавая, что «Дума была далека от совершенства, от того волшебного всемогущества, которое могло бы вдруг переродить Россию», Ефремов считал важным результатом ее деятельности начало формирования оппозиционного центра, был убежден, что «не по внутреннему бессилию, а под влиянием внешних причин безвременно погибла наша первая Дума».

В октябре — ноябре 1906 года, перед созывом II Думы, Ефремов обращал внимание на нарастание произвола и насилия как в деятельности правительства во главе с П.А. Столыпиным, так и в практике крайних революционных партий, возлагая ответственность за это прежде всего на верховную власть: «Давно уже правительство направляло свою деятельность не в строгом согласии с законом, а по начальническому усмотрению; этим оно развратило все общество и свое пренебрежение к закону передало гражданам, которые и проявляют его теперь в отношениях как между собою, так и к государственной власти... Люди как будто потеряли сознание того, что хорошо и что дурно, что позволительно и что пре-

«Свое пренебрежение к закону правительство передало гражданам...»

ступно... Этот недостаток действительной культурности, это презрение к законности и праву, это пренебрежение к человеческой личности, которые так часто проявляются в деятельности как крайних правых и левых партий, так и настоящего министерства, представляют величайшую опасность всему делу освободительного движения и прогрессу России».

Ефремов видел реальную угрозу в том, что «теперь, с одной стороны, возможны попытка восстановить старый строй полицейского абсолютизма, а с другой — стремление немедленно осуществить мечты радикальнейшей политической и социальной революции; и там, и тут не хотят считаться ни с уроками истории, ни с действительными воззрениями большинства, ни с правом и законностью, а средством борьбы признают насилие». Он призывал всех, «кому претит всякий гнет и произвол», «идти на защиту России — от всякого деспотизма под общим флагом полного обновления ее на началах свободы и законности», объединиться с этой целью вокруг союза партий демократических реформ и мирного обновления, которые, по его убеждению, наиболее последовательно «выступали за укрепление законности, права и свободы» и являлись «носительницами этих принципов во всей их чистоте».

Он был избран выборщиком во II Думу, но, по его словам, «в этот период общего полевения оказался недостаточно левым» и не прошел в Думу. Продолжая жить в Петербурге, Ефремов участвовал в собраниях столичного Клуба общественных деятелей, был близок по взглядам братьям С.Н. и Е.Н. Трубецким и московским предпринимателям-промышленникам, которые примыкали к мирнообновленцам (П.П. Рябушинский, С.Н. Третьяков, Н.Д. Морозов, А.И. Коновалов, П.А. Бурышкин и др.). В феврале 1907 года, накануне открытия II Думы, он признавал, что «относительная слабость прогрессивного центра и сила обеих крайних групп представляют соотношение сил, невыгодное для мирной созидательной работы». Ефремов полагал, что «передвижение влево оппозиционных элементов» и, соответственно, ослабление оппозиционного центра являлись «в значительной мере следствием насильственного прекращения работы первой Думы и последующей деятельности правительства, закрывавшего умеренной оппозиции законные пути и толкавшего ее в подполье, где, конечно, должны были иметь перевес крайние партии». «Резкая оппозиционность большинства новой Думы... с очевидностью показывает, что правительственным террором нельзя более успокоить страну, что законодательством, идущим вопреки обещаниям верховной власти, духу правового государственного строя и даже букве основных законов, нельзя удовлетворить население». Признавая, что Думе предстоит «упорная борьба за утверждение принципов права и свободы», Ефремов продолжал настаивать на том, что «борьба эта должна быть закономерной, выдержанной, борьбой конституционными средствами», направленной на формирование «глубоко сознательного общественного мнения, объединяющего весь народ и требующего изменения не одной формы, а всего духа общественного и государственного строя на началах права и социальной справедливости...».

Ефремов считал, что «при оценке конкретных действий правительства или политических партий следует исходить из соответствия этих действий основным идеям нового строя», т.е. «началам законности и самоуправления», «осуждать всякое насилие, всякое попрание прав человека, всякое незакономерное действие, хотя бы оно и казалось целесообразным для данного момента с утилитарной точки зрения». По мнению Ефремова, «вся деятельность министерства Столыпина, начиная с условий, в которых оно произвело роспуск Думы, продолжая суровыми репрессиями и казнями без суда и по решениям упрощенных военно-полевых судов, спешным законодательством без участия народных представителей и кончая вопиющими небрежностью, бесконтрольностью и самовластием в продовольственном деле... — вся эта деятельность исполнена преступными пережитками старого произвола и служит вредным тормозом для развития в народном правосознании начал законности и свободы».

По мнению Ефремова, «террористическая тактика» революционеров, так же как и «реакционная правительственная деятельность», равно задерживают «воспитание в народе чувства законности и свободы, без чего народ, меняя форму государственного устройства, может только менять деспотов, но не может пользоваться действительной свободой и самоуправлением». Он предупреждал, что торжество насилия «может привести лишь к поклонению грубой силе... и создать почву для новых насилий», в то время как «характер желательных преобразований» должны были определять «этические начала права, справедливости и равенства взамен старого бесправия, произвола и классовых привилегий».

В своем напутствии депутатам II Думы Ефремов призывал: «Если замена безгласности и бесправия народа его действительным участием в законодательстве и твердым установлением основных прав свободного гражданина есть революция; если замена безответственности администрации с министерством во главе той реальной ответственностью министров, той децентрализацией в широком местном самоуправлении, при которой все чиновники служат народу, есть революция; если переложение бремени налогов на более сильные плечи имущих классов, если признание государственной необходимости и готовность пойти на все жертвы, не исключая и принудительного отчуждения земель, чтобы спасти миллионы крестьян от вырождения и голодной смерти, есть революция; если твердая решимость осветить все уголки России, этого царства безграмотности и невежества, светом знания и культуры есть революция, то к такой революции должны стремиться все истинные друзья обновления России и поборники благополучия ее граждан. Но самый верный путь к действительному осуществлению и закреплению необходимых преобразований — не путь крови и насилия, а путь упорной конституционной борьбы».

Ефремов выражал надежду, что II Дума «не даст увлечь себя никакими противодействиями министерства, но немедленно вступит на этот путь закономерной борьбы... поведет борьбу посредством строго объективной критики министерских законопроектов, тщательнейшего и бережливого

«Свое пре-
небрежение
к закону
правитель-
ство передало
гражданам...»

отношения к народным средствам, правдивого, но корректного освещения незакономерных действий администрации и вдумчивой, согласованной с действительными нуждами и идеалами народа, а также с историческими и бытовыми условиями его жизни, разработкой собственных законопроектов».

Новый избирательный закон 3 июня 1907 года И.Н. Ефремов оценивал как «контрреволюционный», «нарушивший Манифест 17 октября и Основные законы». Он полагал, что этот документ, «переноса центр тяжести в землевладельческую курию... взваливает на плечи землевладельцев очень тяжкое бремя, не соответствующее к тому же ни современному общественному настроению, ни историческому ходу событий в России».

14 октября 1907 года Ефремов вновь стал депутатом (от Донских войсковых округов) всероссийского органа народного представительства. «Наше время — не время героических выступлений, но время тихой, упорной созидательной работы, требующей объединения и напряжения всех народных сил», — замечал он в ноябре этого года, солидаризируясь с идеей конституционного центра, получившей развитие на страницах газеты «Слово». Поскольку Партия мирного обновления к этому времени уже фактически не существовала, Ефремов провозгласил лозунг объединения беспартийных прогрессивных членов III Думы на основе «законности и уважения чужого мнения», стал инициатором образования фракции прогрессистов и был избран ее председателем. Главной задачей прогрессистов он считал «охрану и развитие начал конституционно-монархического строя», при этом заявлял, что эта группа «никогда не пойдет ни на реакционные компромиссы, ни на конституционные уступки правительству». Последовательный сторонник «мирного обновления», Ефремов неизменно выступал за отмену смертной казни. Отстаивая идею широкого самоуправления регионов, как член Казачьей группы он защищал в Думе интересы Области Войска Донского, разработал законопроект о введении земства на Дону. Заявляя, что в III Думе «мы, конечно, далеко не имеем того, о чем мечтали в первой Думе», Ефремов тем не менее характеризовал ее работу как «медленное движение вперед», что, по его мнению, «более верный путь к прочным реформам».

В октябре 1912 года он был избран (от Донских войсковых округов) в IV Думу, где также возглавил фракцию прогрессистов. Стремление, сохраняя лучшие исторические традиции, сочетать их с необходимыми новациями, неприятие насильственных методов решения проблем, понимание образования и культуры, общественной солидарности и общественного самоуправления как главных двигателей прогресса, — эти идеи продолжали определять «генеральную линию» его многосторонней деятельности. Подобный настрой Ефремова сблизил его с масонскими кругами. Он входил в Думскую ложу, основанную в 1912 году Верховным советом (руководящим органом масонского союза «Великий Восток народов России») и объединявшую группу оппозиционных депутатов IV Государственной думы. В этой ложе были существенно сокращены внешние масонские формы,

обрядность сведена к ритуалу приема, отсутствовала связь с французским масонством. Главную цель своей деятельности члены Думской ложи видели в смягчении трений между думскими фракциями, чьи представители входили в ложу, а сама она рассматривалась прежде всего как важный элемент в механизме межпартийного общения, сглаживающий «изъяны» политических партий (амбициозность вождей, строгая партийная дисциплина и др.).

Приоритетными задачами прогрессистов в IV Думе Ефремов считал заботу о внутреннем единстве и внешнем могуществе России, борьбу за осуществление начал Манифеста 17 октября 1905 года: «охранение прав и достоинства законодательных учреждений»; устранение административного произвола; осуществление свободы совести; отстаивание культурного самоопределения национальных окраин страны; расширение земского и городского самоуправления; борьбу за всеобщее обучение, реформу средней и низшей школы; подъем производительных сил страны. Стремясь усилить влияние прогрессистов во всероссийском масштабе, он стал одним из создателей Партии прогрессистов (в 1912–1914 годах он был членом ее ЦК).

Откликом на рубежное событие в жизни страны — вступление России в Первую мировую войну — явилась чрезвычайная сессия Думы (26 июля 1914 года). Прогрессисты разделили тогда общую уверенность «в несокрушимой силе и славном будущем России», выразив «полную готовность содействовать делу обороны страны».

Впервые Ефремов-депутат заявил с парламентской трибуны о своем отношении «к навязанной России борьбе с могучим противником, десятилетиями напрягавшим все свои усилия и энергию на подготовку к этой борьбе и относившимся к нам как к диким представителям низшей расы» на следующем заседании Думы (27 января 1915 года). Главный итог первых военных месяцев для России он видел в том, что «народ доказал свою подготовленность к политической свободе, высоту и сознательность своего патриотизма». По убеждению Ефремова, именно «животворящее начало нашего представительного строя» способствовало росту народного самосознания и самостоятельности, что, в свою очередь, должно было закономерно привести к укреплению этого строя. Как считал оратор, война открывала и другие «просветы» в будущее, в том числе возможность для России и всего славянства начала «новой эры свободного национального развития, чуждого националистической вражды».

В одном из частных писем в середине 1915 года Ефремов не сомневался в том, что «и братья-славяне, и русский народ увидят скоро освобождение от векового гнета германизма с его культом силы. Сокрушив преобладание сплоченных и самодовольных немцев как по ту, так и по сю сторону границы, наш народ расчистит свой путь к правовому строю и прогрессу».

Выражая от имени всего народного представительства «твердую уверенность в непоколебимой доблести героической армии нашей и столь же непоколебимой решимости всего народа напрячь все силы для того, чтобы

«Свое пренебрежение к закону правительство передало гражданам...»

поддержать армию, обеспечивая ее нужды», Ефремов тогда еще склонен был отодвигать критику действий правительства на «задний план» («хотя они иногда и тормозят проявления деятельного патриотизма народа, а также энергию всенародной борьбы с внешним врагом»). В то же время, реагируя на «злонамеренно распространяемые нашими врагами слухи» о подготовке сепаратного мирного договора с Германией, он заявлял с думской трибуны о том, что преждевременное (до полной и окончательной победы над врагом) заключение мира было бы «преступлением перед родиной, нашими союзниками и человечеством, справедливо ожидающим от разгрома Пруссии освобождения от невыносимого гнета милитаризма».

Однако очень скоро последовали существенные перемены в настроении прогрессистов и их лидера. Уже в марте — апреле 1915 года, по мере поступления сведений об ухудшении снабжения армии снарядами и ружьями, Ефремов и его соратники, находившиеся тогда в Петрограде (А.С. Посников, Н.И. Павлинов, В.А. Ржевский, И.В. Титов), признав безотлагательной мерой установление контроля Государственной думы над деятельностью правительства, приняли решение начать среди членов Думы кампанию за скорейшее возобновление работы народного представительства, не собиравшегося после 29 января 1915 года. Тогда же этой инициативной группой были определены в качестве важнейших вопросов очередной думской сессии принятие законопроекта о подоходном налоге и разработка проекта об обеспечении семей убитых и увечных воинов. При всей очевидной необходимости мер, предложенных Ефремовым и его соратниками, их мнение разделяли далеко не все представители либеральной оппозиции. Так, например, по словам прогрессистов, В.А. Маклаков и П.Н. Милоков «очень сдержанно» высказались тогда по вопросу о скорейшем возобновлении работы Думы, «склоняясь скорее к тому, что длительная сессия Думы во время войны является несвоевременной и открытие ее в то время (март — апрель) — нежелательным». Милоков к тому же критически отнесся к мнению прогрессистов о необходимости смены министерства во время войны, сравнив эту меру с «перепряжкой лошадей во время переезда через реку». Вместе с тем, проникнув в печать, предложения прогрессистов, по их словам, были энергично поддержаны в обществе, «но последовало запрещение, и печать невольно умолкла».

В адекватности и обоснованности намеченных прогрессистами мер Ефремов убедился во время поездки на Юго-Западный фронт в составе думского отряда Российского общества Красного Креста в конце апреля 1915 года, в начале отступления русских войск из Галиции. Встречаясь во Львове с представителями военных, лидер прогрессистов услышал «голос армии»: «Только от Думы мы ждем обеспечения нас необходимым снаряжением. Требуйте созыва Думы». По возвращении в Петроград Ефремов в заседаниях Комитета Государственной думы и других собраниях продолжал настойчиво вести свою линию. Его призывы к скорейшему возобновлению думской сессии и пропаганда лозунга установления поли-

тической ответственности министерства постепенно находили все более широкий отклик и поддержку (особенно по первому вопросу). В частности, П.Н. Милюков уже не возражал против приближения сроков начала работы Думы; относительно же второго вопроса лидер кадетов «развивал теорию, что ответственность министерства хороша только при всеобщем избирательном праве, а не перед Думой 3-го июня». Сопратники Ефремова, напротив, доказывали первоочередность установления начала ответственности, что, по их мнению, закономерно должно было повлечь за собой дальнейшие преобразования и сделать неизбежным изменение избирательного закона.

В совещаниях у прогрессистов принимали участие члены всех думских фракций. «Парламентская история не знала таких единений и таких переплетающихся взглядов. ...Здесь выкристаллизовывались общие мнения, проходя горнило критики с разных сторон; здесь находили общий язык», — отмечалось в докладе фракции прогрессистов (сентябрь 1915 года). Фактически эти собрания обозначили «русло» процесса, завершившегося в августе 1915 года образованием Прогрессивного блока (Ефремов был избран членом его бюро).

После возобновления заседаний нижней палаты народного представительства (19 июля 1915 года) прогрессисты заявляли о необходимости непрерывной работы сессии, «дабы Государственная дума могла постоянно нести свою контрольную обязанность». Если сначала среди октябристов, и особенно среди правых, отмечалось явное стремление поскорее разъехаться, а потому рассматривать исключительно те вопросы, которые имели непосредственное отношение к войне, то постепенно Ефремову и его соратникам удалось убедить членов Думы, «что уезжать нельзя, что сессия должна быть длительной, что война и в особенности ликвидация войны требуют проведения ряда законопроектов, создающих организацию народных сил в стране и косвенно обеспечивающих, таким образом, конечную победу над врагом, что круг „военных“ вопросов может и должен быть значительно расширен».

По мере ухудшения ситуации на фронте летом 1915 года, анализируя причины этого явления в контексте исторического опыта России, Ефремов указывал на общий «корень» всех ее «неуспехов и поражений» на полях сражений, а именно «недостатки нашего государственного строя: разобщенность правительства и народа, опека первого над вторым, отсутствие контроля народа над деятельностью правительства, распространность должностных преступлений». Согласно стенограмме думского заседания, «рукоплескания слева, в центре и справа» вызвала его речь в нижней палате парламента 19 июля 1915 года, в которой он свидетельствовал, что только под влиянием крупных военных неудач правительство осознало свою несостоятельность и предприняло ряд давно назревших преобразований («обратилось к содействию русской промышленности, с призывом к дружной работе всего населения для снаряжения армии, оно пошло даже навстречу общественному мнению и устранило из своей

«Свое пренебрежение к закону правительство передало гражданам...»

среды наиболее ненавистных в армии и стране, наиболее противообщественных министров»). Приветствуя от имени прогрессистов эти перемены, Ефремов в то же время заявлял о недостаточности принятых мер для обеспечения победы, поскольку «произошла лишь частичная смена лиц, но не смена системы, произошло лишь изменение внешней формы, но не существа взаимоотношений народа и правительственной власти... самого духа государственного управления».

«Отечество в опасности!» — поддерживая этот лозунг, Ефремов провозглашал необходимыми предпосылками «успешного завершения мировой борьбы» создание «внутреннего мира, обеспечение уважения к личности и свободе русских граждан, предоставление простора их организации и самодеятельности». Развивая свою мысль, оратор настаивал на необходимости установления в России «сильной власти, а таковой может быть только власть, пользующаяся доверием народа». В сложившейся ситуации Ефремов и его соратники по фракции считали одинаково преступным «цепляться за власть или своекорыстно ее домогаться». От лица прогрессистов он заявлял, что долг Государственной думы «в это тяжелое время» состоит в «поддержании власти *всем* своим авторитетом, разделении с ней *всей* ее ответственности». Вместе с тем он указывал на необходимое условие для этого, а именно создание «министерства национальной обороны, составленного из лучших представителей страны, независимо от их партийной принадлежности, готового ответить перед народным представительством».

С настойчивостью известного древнеримского государственного деятеля («Карфаген должен быть разрушен!») Ефремов неизменно проводил мысль о необходимости реформы правительства в указанном направлении. Впрочем, следует заметить, что, несмотря на популярность «формулы ответственного министерства», даже в среде самих прогрессистов были сомневающиеся в своевременности данного лозунга (А.С. Посников, Н.Н. Львов), которые опасались «революции во время войны» как возможного последствия настойчивого проведения Думой в жизнь призыва к «смене всей системы и методов управления». Позже, находясь в эмиграции, Ефремов признал «глубокую правоту» соратников-оппонентов... Что же касается его призыва к мобилизации общественных сил как для победы над внешним врагом, так и в целях внутреннего переустройства России, то эта идея в ту пору была одной из главных, определявших общественные настроения. Стремясь к расширению социальной базы оппозиции, прогрессисты предпринимали попытки организовать на своей платформе всероссийские торгово-промышленный, кооперативный, крестьянский и рабочий союзы.

Постепенно накал патриотических эмоций и очевидность крупных просчетов власти в снабжении армии, в организации страны для победы создали единство настроения в депутатской среде, способствовали образованию сплоченного большинства в Думе. В качестве своего рода «скрепы» этого большинства (т.е. основы для объединения «всех прогрес-

сивных думских партий») одно время рассматривалась новая (так и не состоявшаяся) политическая партия — национал-либеральная. С инициативой ее создания в IV Думе в июле 1915 года выступили И.Н. Ефремов и М.А. Караулов (внепартийный депутат).

Идея организации национал-либеральной партии тогда просто носилась в воздухе. Благоприятной средой для «прорастания» этой идеи стала, в частности, дискуссия о национальном начале в либерализме, активным участником которой был П.Б. Струве. Он провозглашал «безоговорочное признание национального начала» единственно правильной позицией не только для власти, но и для русского образованного общества, в целом проникнутого либеральными идеями. Отечественные либералы совершат огромную ошибку и обрекут себя на бессилие, — выступал с предупреждением Струве, — если будут «упорствовать в отрицании за Россией характера национального государства, или, вернее, национальной империи». Известный политик выражал уверенность в том, что «только такой общественный национализм сможет сделать невозможным реакционное использование национального принципа и вообще нездоровые проявления национализма». О популярности идей национал-либерализма в России в годы Первой мировой войны свидетельствовала, в частности, и прошедшая в прессе информация о возможном переименовании «Союза 17 октября» в национал-либеральную партию.

В отличие от незадавшейся судьбы разного рода «национал-либеральных» предложений в области партийного строительства, более известен другой политический проект, в основе своей преследовавший ту же цель и реализованный в августе 1915 года. Речь идет о Прогрессивном блоке, одним из инициаторов создания которого (и членом бюро) также являлся Ефремов. Прогрессисты и их соратники по блоку считали образование этого объединения «фактом большой важности, впервые наблюдаемым в России», «первым шагом на пути к правильному функционированию парламента, на пути к парламентаризму».

Вехой в процессе сближения власти и общества призвано было стать Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства (Особое совещание по обороне государства), созданное в августе 1915 года как высший военно-регулирующий орган для мобилизации и милитаризации экономики. «Положение» о нем стало компромиссным (с учетом мнения общественности) вариантом реорганизации действовавшего до того времени Совещания при военном министре. Одним из первых «общественных» проектов подобного рода, еще до открытия в июле 4-й сессии Думы, стало предложение, исходившее от фракции прогрессистов и предусматривавшее создание «Комитета государственной обороны из министров, ведавших вопросами снабжения фронта и тыла, и представителей обеих законодательных палат, земского и городского союзов, военно-промышленных комитетов», наделение этих представителей правами, «равными с министрами». По мысли Ефремова и других прогрессистов, реформированное Совещание «дало бы

«Свое пренебрежение к закону правительство передало гражданам...»

возможность представителям общественных организаций упорядочить не только снабжение армии снаряжением, обмундированием и продовольствием, но и движение по железным дорогам, открыть простор для деятельности мобилизованной русской промышленности и обеспечить мирное население продовольствием и топливом». Рассмотрение данного законопроекта прогрессисты считали одним из первостепенных дел предстоявшей думской сессии.

С августа по декабрь 1915 года Ефремов в качестве представителя Государственной думы входил в состав участников Особого совещания по обороне государства (26 августа избран членом подготовительной комиссии по вопросам общего характера). Нечасто выступая в заседаниях, он тем не менее занимал принципиальную позицию по ряду вопросов. В частности, по итогам слушаний в Совещании 28 октября 1915 года вопроса о «финансовом неблагополучии» Путиловских заводов, являвшихся одним из крупнейших контрагентов военного ведомства по поставке предметов артиллерийского снабжения, Ефремов выступил против мнения большинства участников заседания, усмотревших в сложившейся ситуации угрозу интересам государственной обороны и высказавшихся за «безотлагательное производство секвестра Путиловских заводов с передачей их в казенное управление». Впоследствии он (вместе с другими членами Совещания, в том числе С.И. Тимашевым, В.И. Тимирязевым, А.С. Стишинским, М.А. Стаховичем, М.А. Беляевым, А.С. Лукомским, Д.С. Шувалевым, К.В. Некрасовым, А.И. Коноваловым) также настаивал на отмене постановления о секвестре. Будучи причастным к вопросам «большой» политики, Ефремов всегда был в курсе событий и на своей малой Родине, продолжая по мере необходимости отстаивать интересы земляков. Так, на заседании 16 сентября 1915 года он (вместе с А.И. Шингаревым) присоединил свой голос к протесту депутата М.С. Аджемова против действий наказного атамана Области Войска Донского генерала В.И. Покотило, добавив к «списку» противоправных действий последнего гонения на местную печать, «расклейку по городу объявлений с обвинением чинов Новочеркасского общественного управления в поступках, не доказанных по суду, и в учинении препятствий деятельности общественных организаций по оказанию помощи больным и раненым воинам».

В целом Ефремов и его соратники по фракции прогрессистов были разочарованы деятельностью Особых совещаний при правительстве, которые на деле оказались «не высшими установлениями, лишь дающими советы и контролирующими действия правительства, а органами исполнительной власти, принимающими решения по ряду технических вопросов и участвующими в их исполнении». По словам прогрессистов, представительство Государственной думы и Государственного совета в Совещаниях являлось лишь «ширмой» для безответственного правительства. Ефремов и его единомышленники вынуждены были признать, что «противоречащее самому существу законодательной власти участие ее представителей в деле управления и на практике оказалось вредным»,

поскольку «парализует контрольные функции законодательных палат, приводит к подрыву авторитета народного представительства, к возложению на него ответственности, которую оно не может нести, и подвергает его нареканиям, от которых оно должно быть свободно». 28 ноября 1915 года фракция прогрессистов приняла решение об отзыве своих представителей из Особых совещаний (Ефремов, В.А. Ржевский, А.И. Новиков, А.А. Барышников и И.В. Титов).

На фоне углублявшихся противоречий между властью и обществом с конца 1915 года Ефремов и его соратники по фракции призывали оппозицию к более решительной тактике. Поводами для этого служили отказ царя принять депутацию из представителей московских съездов Земского и Городского союзов (в начале сентября 1915 года); назначение черносотенца А.Н. Хвостова министром внутренних дел (26 сентября 1915 года); запрет на проведение в ноябре 1915 года съездов военно-промышленных комитетов, Общегородского и Общеземского союзов; отсрочка на неопределенный срок созыва Думы. В среде прогрессистов раздавались призывы к тому, чтобы «обуздать наглую власть», в связи с этим высказывалось мнение, что «пора поднимать народную массу» (А.И. Коновалов).

31 октября 1916 года прогрессисты вышли из Прогрессивного блока (возражало меньшинство: А.С. Посников, граф А.А. Орлов-Давыдов и др.) в знак протеста против отсутствия в его декларации требований «ответственного министерства» и создания комиссии для расследования действий правительства, которые привели к обострению внутреннего кризиса (прежде всего продовольственной проблемы). Известно их настойчивое стремление добиваться вынесения вотума недоверия Совету министров. Ефремов и его сподвижники провозглашали победу над «внутренним врагом» (самодержавием) обязательным условием победоносного окончания войны.

Констатируя ухудшение ситуации в стране на протяжении 1916-го, Ефремов в декабре того же года заявил с трибуны Государственной думы о том, что «во всю свою величину встал конфликт не Думы уже с правительством, а конфликт страны с правительством». Однако он все еще не терял надежды убедить власть в том, что единственный путь выхода из кризиса — это удовлетворение солидарного требования всей страны, а именно создание правительства, ответственного перед Думой. На рубеже 1916–1917 годов прогрессисты предлагали потребовать от верховной власти немедленно даровать «ответственное правительство» и прекратить работу Думы до выполнения этого ультиматума (не были поддержаны кадетами и октябристами).

В середине февраля 1917 года, выступая в Думе, Ефремов предупреждал о стремительном скатывании России к катастрофе. При этом, по его словам, вся страна «сверху донизу, до мелких частей армии, до глухой деревни, до объединенного дворянства и правых монархистов включительно... глубоко прочувствовала и уяснила себе, как гибельна пропасть, образовавшаяся между народом и властью». В который раз обращая внимание

«Свое пренебрежение к закону правительство передало гражданам...»

на глубинные причины «бессилия правительства», лидер прогрессистов указывал на то, что «великая опасность, переживаемая Россией, заключается в отжившем, неприспособленном к требованиям времени, старом государственном строе». По словам Ефремова, перемены в правительстве, происходившие с конца 1916 года, подтвердили правоту прогрессистов, всегда настаивавших на том, что «необходима не смена лиц на министерских постах, а изменение всей системы государственного управления, что личный режим, что пережитки самодержавия парализуют живые силы народа и что спасение — в действительной ответственности правительства перед народным представительством, создающей безответственность короны». «Стерта часть негодных грибов на гнилом дереве старого строя, но самое дерево осталось гнилым, оно не может давать хороших плодов, на нем по-прежнему будут расти только ядовитые грибы», — комментировал Ефремов убийство Г. Распутина и отстранение от должностей «нескольких политических авантюристов и чудодеев».

Вывод лидера прогрессистов был однозначен: «бессильное правительство, подавляемое безответственными влияниями, привело Россию к катастрофе», а потому «такой деятельности правительства должен быть положен конец». Настаивая на том, что сама жизнь выдвинула на первый план «всепоглощающий вопрос о нашем государственном строе» («от его разрешения зависит возможность победного окончания войны и спасение страны от экономической катастрофы»), Ефремов был убежден, что лозунг замены режима личной власти парламентарным строем и создания ответственного перед Думой правительства, провозглашенный прогрессистами полтора года назад, стал фактически общим лозунгом всей страны.

«Для спасения родины нам нужна честная, разумная, авторитетная власть, опирающаяся на доверие и одобрение народа, — не уставал он повторять. — Без изменения правового положения правительства никакие законы, никакие мероприятия, никакие общественные организации, никакой состав правительства не смогут оказать в сколько-нибудь решительной мере своего благотворного воздействия. Все они будут парализованы старым личным режимом». Пророческими оказались слова Ефремова, произнесенные под сводами Таврического дворца накануне Февральской революции: «Страна все еще смотрит на Думу и ждет ее слова, но с ужасом и тревогой начинает терять веру в ее могущество. И растет число изверившихся, которые начинают уже искать путей, идущих мимо Думы. Страна накалена недовольством, а близорукая, упорная власть, как будто нарочно наталкивает ее на страшный вывод о невозможности парламентскими средствами борьбы достигнуть создания ответственного перед Государственной думой правительства, от которого страна ждет спасения». 27 февраля 1917 года Ефремов как член думского Совета старейшин выступил за неподчинение IV Государственной думы императорскому указу о перерыве в ее работе до апреля 1917 года.

По поручению Временного комитета Государственной думы (ВКГД) он приветствовал воинские части, входившие в Петроград. Ефремов возлагал

тогда надежды на ускорение демократизации страны, он был назначен комиссаром ВКГД в Министерстве внутренних дел, а 6 марта 1917 года — комиссаром ВКГД и Временного правительства на Северном фронте.

Как и прежде, он высказывался за продолжение войны до победного конца, полагая, что после свержения самодержавия война стала «действительно народной». 3 марта Ефремов участвовал в совещании на квартире М.С. Путятина, где обсуждался вопрос о передаче власти великому князю Михаилу Александровичу; с 20 марта по 22 июля — входил в состав Особого комитета Фонда освобождения России. Он также был членом комиссии, созданной Временным правительством для восстановления основных положений Судебных уставов и согласования их с происшедшей переменой в государственном устройстве, членом подкомиссии по судоустройству (конец марта 1917 года); проявлял себя как сторонник невмешательства политиков в деятельность судебных учреждений.

27 апреля 1917 года И.Н. Ефремов выступил на торжественном заседании членов Государственной думы четырех созывов, посвященном 11-й годовщине русского парламента. Вспоминая «благородную фигуру П.А. Гейдена, который умел подчинять все только одной цели — благу отечества», оратор призывал следовать примеру безвременно ушедшего из жизни в 1907 году «перводумца». Ефремов особо подчеркивал, что дело Гейдена не пропало, «народное представительство не умерло», критика действий правительства, продолжавшая звучать с думской трибуны (в том числе в речах прогрессистов), «постепенно подтачивала основы, на которых стоял старый строй... а упорство абсолютизма привело к дискредитированию самой идеи монархии». Отмечая роль «великой войны, напрягшей все народные силы» и ясно показавшей, «что дальше оставлять этот старый, разлагающийся строй совершенно невозможно», Ефремов заявлял, что «только этим всеобщим сознанием, в значительной мере воспитанным работой четырех Государственных дум, может объясняться та легкость, с которой совершен величайший государственный переворот», в результате которого Россия стала «самым свободным государством в мире».

С 25 мая 1917 года Ефремов участвовал в работе Особого совещания Временного правительства по подготовке Положения о выборах в Учредительное собрание. Во время июльского кризиса он выступил за необходимость продолжения сотрудничества кадетов и социалистов в составе правительства. Занимая в течение 14 дней (с 10 по 24 июля) пост министра юстиции, Ефремов распорядился подготовить закон, направленный против депутатов Советов в случае «захвата власти». С 24 июля по 26 августа он возглавлял Министерство государственного призрения. Являясь вторым товарищем председателя Временного правительства и председателем его Малого совета (Совета товарищей министров), Ефремов фактически выступал в роли заместителя А.Ф. Керенского.

В середине 1917 года Ефремов вполне мог стать очередным атаманом Донского казачьего войска. Отклонив сделанное ему предложение баллотироваться на эту должность и поддержав кандидатуру генерала А.М. Ка-

«Свое пренебрежение к закону правительство передало гражданам...»

ледина («В это трудное время во главе Войска Донского надо поставить боевого генерала, а не совершенно штатского человека»), Ефремов продолжал оставаться крупной фигурой в казачьем движении: член Оргбюро, председатель Общеказачьего съезда (Петроград, 23–29 марта 1917 года).

В период с февраля по октябрь 1917 года Ефремов и политические деятели его круга не оставляли попыток консолидации своих сторонников, в том числе на новой партийной основе. В марте — апреле, вместе с прогрессистами, вышедшими из Прогрессивного блока, Ефремов организовал Российскую радикально-демократическую партию (с мая по сентябрь 1917 года вместе с проф. Д.П. Рузским возглавлял ее ЦК). Партия объявила своей целью установление федеративной республики с президентской формой правления, проводила свои взгляды на страницах газет «Отечество» (в Петрограде) и «Свободное слово» (в Москве). После объединения партии в сентябре 1917 года с Либерально-республиканской партией Ефремов вошел в состав их совместного ЦК.

25 сентября 1917 года И.Н. Ефремов получил назначение чрезвычайным посланником и полномочным представителем Временного правительства в Швейцарии. По его воспоминаниям, «не предвидя ужасов последующей жизни в России», он ограничил хлопоты, связанные с отъездом за границу, приведением в порядок своих частных дел и устройством приемной дочери (М.К. Иловойской), которую боялся подвергать риску путешествия в военное время. Примечательно, что Ефремов «не считал патриотичным переводить во время войны и революционной смуты свой капитал за границу и, кроме казенной ассигновки на дорогу, взял всего тысяч десять франков своих денег, оставив в Государственном банке около 300 тысяч рублей, вырученных в 1908–1910 гг. от продажи двух имений».

Известие о большевистском перевороте настигло его в пути, но не изменило планы, поскольку Ефремов разделял широко распространенное тогда мнение, что «советская власть долго не продержится». Однако, встретившись в Париже с В.А. Маклаковым, он отложил переезд в Швейцарию, прислушавшись к совету коллеги («лучше сейчас не ехать в Швейцарию, т.к., кажется, швейцарское правительство собирается признать советскую власть»). До конца жизни оставаясь за границей, Ефремов проявил себя организатором и активным участником многих общественно-политических объединений русской эмиграции: Русское политическое совещание в Париже, Союз возрождения России в единении с союзниками, Русский национальный и демократический блок политических организаций за границей, Комитет помощи русским писателям и ученым во Франции, Парижская группа Партии народной свободы, Земско-городской комитет русских беженцев за границей (Земгор) и др.

Швейцарское правительство, выдворив из страны в ноябре 1918 года советских дипломатов (по обвинению в проведении ими планомерной революционной агитации), одобрительно отнеслось к дипломатической миссии Ефремова. Он прибыл в Берн в январе 1920 года в качестве посла Верховного правителя России А.В. Колчака. Власти Швейцарии факти-

чески признали законным исполнение Ефремовым консульских обязанностей (хотя он не вручал верительных грамот и не был внесен в официальный список аккредитованных в Берне дипломатов). Впоследствии Ефремов стал членом Совещания послов — координационного центра, созданного по инициативе В.А. Маклакова (Франция) и объединившего российских послов, которые решили продолжать свою деятельность независимо от советского правительства: М.Н. Гирса (в Италии), К.Д. Набокова (в Англии), М.А. Стаховича (в Испании), Б.А. Бахметева (в США) и др.

Оставаясь в Швейцарии до 1925 года, И.Н. Ефремов развернул многостороннюю деятельность. Кстати, его сближению со швейцарским обществом (местными «патрициями»), неохотно принимавшим в свою среду иностранных дипломатов, в немалой степени способствовала жена, Вера Антоновна. Она организовала и возглавила благотворительные кружки швейцарских дам для помощи русским детям в Берне и Женеве. Подчеркивая насущную необходимость и эффективность этой деятельности, Ефремов отмечал: «Русские дети учились в швейцарских школах, шли в них в числе лучших учеников, но забывали русский язык, не знали русской литературы, русской истории и географии. Вера Антоновна организовала русские курсы в Женеве и Лозанне... Русские дети чрезвычайно охотно посещали эти курсы и делали очень быстрые успехи, здесь же священник Женевской русской церкви, о. Сергей Орлов, преподавал им Закон Божий. Когда мы уезжали из Швейцарии через пять лет, дети были неузнаваемы: это были не ошвейцаренные дети, а настоящие русские, сознательно любящие далекую родину».

Что касается самого Ефремова, то его главной заботой в тот период была организация всевозможной помощи нуждающимся русским, оказавшимся в разное время и по разным причинам за границей. «Миссия Ефремова» (как называло швейцарское правительство российское представительство) полностью взяла на себя, прежде всего, обеспечение нужд членов русской колонии в Швейцарии, насчитывавшей несколько тысяч человек, из которых многие — это «больные, старые, не имеющие заработка». Как замечал тогда Ефремов, «различные слои русской колонии стремятся к Миссии, видя в ней центр объединения, символ единства России». Российский посол был избран председателем Совещания, организованного в Лозанне в апреле 1920 года по инициативе уполномоченного Российского общества Красного Креста и посвященного вопросам оказания трудовой помощи соотечественникам, проживавшим в Швейцарии. Показательна взаимная заинтересованность в сотрудничестве Ефремова и Российской торговой палаты в Швейцарии (учреждена 5 мая 1917 года), избравшей посланника своим почетным председателем и членом Совета. Несмотря на востребованность деятельности Ефремова и его немногочисленных помощников, Миссия была закрыта: зарубежный источник ее финансирования (структуры, связанные с Совещанием послов во главе с М.Н. Гирсом) иссяк к середине 1920-х годов.

«Свое пренебрежение к закону правительство передало гражданам...»

С апреля 1925 года И.Н. Ефремов жил в Париже, совершая поездки по Европе. С 1926 года он выступал в качестве эксперта (по российским делам) правительства Швейцарии, оказывал содействие гуманитарной деятельности на территории этой страны Земско-городского комитета русских беженцев за границей.

Важнейшим средоточием сил Ефремова в вынужденном изгнании стала международная миротворческая деятельность. Она началась еще в бытность его депутатом III Думы и стала одним из проявлений стремления политика к мирному решению проблем путем установления доверия и гармонии между людьми. При этом он полагал, что «пацифизм не является противоречием патриотизму». Становление Ефремова как борца за мир (теоретика и практика) развивалось по нарастающей начиная с 1908 года, когда он в составе зарубежной делегации российского парламента участвовал в работе Межпарламентской конференции в Берлине. В 1909 году, во многом благодаря его инициативе и трудам, была создана Русская группа Межпарламентского союза. Ефремов был избран ее председателем, войдя (наряду с М.М. Ковалевским) в руководящий орган этой международной организации, активно выступавшей с конца 1880-х годов в поддержку арбитража и разоружения. Широкие личные связи и авторитет Ефремова в среде европейских политиков и общественных деятелей обеспечили ему одну из первых ролей среди участников российской парламентской делегации, посетившей летом 1909 года Англию и Францию. Он принял на себя основные заботы по организации ответного визита французских народных представителей в Россию в начале 1910 года. Ефремов вспоминал, что это событие встретило тогда «прямо враждебное отношение» в среде членов Государственного совета и в «правом крыле Думы» («не следует принимать этих „жидомасонов“, этих „гостей Ефремова и Милюкова“») и, напротив, поддержку Столыпина и Николая II. Входил он и в состав думской Комиссии по приему британских парламентариев в Петербурге в феврале 1912 года.

Непосредственное живое общение и сотрудничество с западными коллегами и единомышленниками в ходе этих визитов, а также на международных конференциях, заседаниях Межпарламентского совета Ефремов сочетал с изучением вопроса о способах мирного урегулирования межгосударственных конфликтов. Он одним из первых в России выступил с идеей объединения наций. В 1913 году юридическая комиссия Межпарламентского союза одобрила подготовленный им проект создания Института международного посредничества (главная роль в нем отводилась не официальным представителям государств, а выборной коллегии частных лиц, пользующихся высоким моральным авторитетом). Сочувствием Ефремова пользовались миротворческие инициативы американского миллионера и филантропа Э. Карнеги, основавшего в 1910 году Фонд за международный мир. По приглашению д'Эстурнеля де Констана, руководителя европейского центра Фонда, Ефремов с 1912 года представлял Россию в Совете этой организации.

Занимаясь проблемами глобальной политики, Ефремов в теории и на практике отмечал важную роль «обществ мира» — низовых структур пацифистского движения. По его мнению, именно эти организации (в отличие от Гаагской конференции правительственных представителей и Межпарламентского союза) «почти совершенно свободны в своей деятельности, и ничто, кроме разума и науки, не ограничивает широту постановки, какую они могут давать трактуемым ими вопросам».

«Утопия ли пацифизм?» — задаваясь этим вопросом, он убежденно заявлял: «Пацифизм не утопия, если видеть в нем стремление проводить в международные отношения те же начала права, без уважения к которым нет ни свободы граждан, ни культурности народа. Путь к миру международному, как и к миру внутри государства, один — путь права, справедливости и свободы... Подъем образованности, культурности, уважения к праву, повсеместное распространение представительного строя и демократизация государственного строя — вот условия, необходимые для успеха пацифистской пропаганды. При них мир может быть правилом, а война все более и более редким исключением».

Первая мировая война не поколебала убеждений Ефремова-миротворца, а его международно-общественная деятельность достигла пика своего развития в швейцарско-французский период жизни. Учреждение в январе 1920 года Лиги Наций в Женеве и перевод туда же руководящих структур Межпарламентского союза придали новый импульс трудам Ефремова. Он стал одним из учредителей Русской (эмигрантской) ассоциации Лиги Наций и заместителем председателя ее бюро, был активным участником дискуссий по актуальным проблемам межгосударственных отношений. В частности, в конце 1920 года он заявлял, что «нельзя решать без России» вопрос о включении в число членов Лиги Наций бывших российских территорий (Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы). Кстати, впоследствии он не исключал того, что именно его мнение повлияло на некоторую отсрочку окончательной резолюции. Спустя почти год, в сентябре 1921-го, в ходе поиска решения польско-литовского конфликта (по поводу государственной принадлежности Виленской области) Ефремов был в числе тех, кто обратил внимание бельгийского дипломата П. Химанса, докладчика Лиги Наций по данному вопросу, на «русскую точку зрения на польско-литовские отношения в их историческом развитии», предвидев неприемлемость для Литвы отторжения указанной области.

Как член Комитета интеллектуальной кооперации (прообраза ЮНЕСКО), образованного в 1922 году при Совете Лиги Наций (штаб-квартира в Лозанне), Ефремов способствовал оказанию помощи русским ученым-беженцам. Именно к нему обратился по данному вопросу профессор А.С. Ломшаков, а несколько позже — профессор А.Н. Анцыферов. В результате посредничества знакомого Ефремова, профессора Бернского университета графа де Рейнольда, представителя Швейцарии в Комитете интеллектуальной кооперации, им удалось тогда достать довольно крупную сумму денег для поддержки эмигрантской научной общественности.

«Свое пре-
небрежение
к закону
правитель-
ство передало
гражданам...»

Общение с широким кругом единомышленников, среди которых по-прежнему было немало известных ученых и влиятельных политиков, неизменно убеждало его в своевременности углубленной теоретической разработки и «вживления» в международную политику миротворческих практик. Стимулом для возобновления работы над проектом международного посредничества стали его встречи в Женеве со «старым приятелем», норвежцем К.Л. Ланге, генеральным секретарем Межпарламентского союза (с 1909 года). Ланге сообщил о «сочувственном» отзыве немецкого профессора международного права В. Шюкинга по поводу идеи Ефремова об организации международного посредничества (медиации) через частных лиц. «Эта оценка моей работы выдающимся ученым и политиком дала мне смелость заняться развитием и углублением основных положений, изложенных мною в проекте, представленном Межпарламентскому союзу в 1912 году», — вспоминал Ефремов.

На основе текстов договоров примирительного производства, заключенных США, Швейцарией и другими государствами начиная с 1913 года, он преобразовал свой прежний замысел в «проект учреждения Мирового Института Примирительного производства, члены которого должны избираться Лигой Наций при участии государств, не состоящих ее членами». При поддержке Фонда Карнеги информация о новой миротворческой инициативе Ефремова получила широкое распространение, в том числе благодаря циклу его лекций, организованных в 1926–1928 годах в Сорбонне, Академии международного права (Гаага), Франко-русском институте (Париж). Статьи Ефремова публиковались в крупнейших французских, швейцарских, бельгийских журналах, посвященных вопросам международного права. Итоговый характер имел трехтомный труд ученого и политика о договорах примирительного производства (Париж, 1932), получивший блестящие отзывы.

Признанием научных заслуг Ефремова стало не только его вступление в 1926 году в Русский академический союз во Франции, но и членство во французском Обществе сравнительного законодательства, американском Обществе международного права, избрание членом-корреспондентом Института сравнительного законодательства в Мексике. В 1927 году он был приглашен в число учредителей Международной дипломатической академии в Париже — объединения действующих и бывших дипломатов, призванного изучать вопросы международного права и дипломатических отношений. В начале 1930-х годов Ефремов с радостью узнал о том, что его идеи были положены в основу проекта создания панамериканского органа примирительного производства, разработанного перуанским дипломатом В. Мауртуа.

Как всегда, не довольствуясь теоретической разработкой волновавших его вопросов и стремясь к апробации своих миротворческих инициатив, И.Н. Ефремов в 1932 году вел кампанию «в пользу фактического обращения государств к комиссиям примирительного производства». «Международные отношения достаточно напряжены», — констатировал

он, предупреждая, что «есть немало международных споров, грозящих серьезнейшими осложнениями, а правительства оставляют без работы комиссии, ими учрежденные, которые могли бы уладить самые сложные разногласия и даже столкновения». При этом Ефремов прежде всего обратился к лично ему знакомым главам государств — Дж. Мотта (Швейцария), Т. Масарику (Чехословакия), Э. Эррио (Франция), — а также ко всем национальным группам Межпарламентского союза, национальным ассоциациям Лиги Наций и национальным комиссиям интеллектуальной кооперации, одной из главных задач которых было изучение вопроса о так называемом моральном разоружении, т.е. примирении и сближении народов. «Я предлагаю всем этим организациям привлечь внимание своих правительств к пользе, которую можно извлечь из обращения к комиссиям примирительного производства, и просить правительства испытать на деле работу этих комиссий», — разъяснял Ефремов свои цели. Радуюсь сочувственным откликам, он вместе с тем подчеркивал неоднозначное отношение к своим идеям («различного рода сомнения» и даже непонимание сути предложенного им способа решения международных споров). Все это еще больше убеждало его в необходимости продолжения теоретической работы в указанном направлении и пропаганды идей пацифизма.

К сожалению, научно-публицистическое наследие Ефремова периода эмиграции, включающее в том числе статьи 1920–1930-х годов, посвященные анализу ситуации в СССР (советская внешняя политика, мероприятия большевиков в экономической и церковно-религиозной сфере, реформа образования в Советском Союзе и др.), до сих пор остается, как правило, за пределами внимания отечественных исследователей его биографии. Весьма ограничена информация об обстоятельствах жизни Ефремова начиная со второй половины 1920-х годов. Из его «Автобиографии» известно лишь, что после переезда из Швейцарии в Париж его дальнейшее «трудоустройство» было обусловлено личными связями по линии Лиги Наций и европейского центра Фонда Карнеги.

Благодаря протекции своих знакомых он был принят в штат Института интеллектуальной кооперации, созданного при Лиге Наций в целях материальной поддержки ученых в разных странах и являвшегося исполнительным органом одноименного Комитета. Однако в 1930 году в Институте произошли сокращения «из соображений экономии», и Ефремов попал в число уволенных младших служащих. Практически сразу ему была предложена должность библиотекаря в читальне при европейском центре Фонда Карнеги (с сохранением места постоянного корреспондента Фонда при главном управлении этой организации в Вашингтоне). «Белым пятном» остаются обстоятельства жизни Ефремова в конце 1930-х — первой половине 1940-х годов. Неизвестно и место его захоронения в Париже в январе 1945 года.

«Свое пренебрежение к закону правительство передало гражданам...»

ФЕДОР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГОЛОВИН

«Я старался верить
и верил, что народ...
по природе мудр
и способен к участию
в государственном
строительстве...»

Московскому земцу Федору Александровичу Головину (1867–1937), чьи высокие человеческие качества ни у кого не вызывали сомнения, выпала доля стать председателем второго русского парламента, наиболее радикального за всю историю дореволюционной Думы. Это нелегкое испытание Головин принял и выдержал с честью.

Федор Головин родился 21 декабря 1867 года в Москве, в известной и старинной дворянской семье. Его отец, Александр Павлович (1808–1874), вел свой род от византийского аристократического рода Гаврасов, известного с X века. Один из младших представителей рода в 1393 году переехал в Москву и положил основание купеческому роду Ховриных — потомственных казначеев великокняжеской семьи, основателей Симонова монастыря. От Ховриных произошли Третьяковы и Головины, которые уже в XVI веке получали чины бояр и окольничих.

Семья имела значительные земельные владения: Головин унаследовал 1126 десятин земли в Московской, Рязанской, Владимирской и Тульской губерниях. Престарелый отец умер, когда Федору еще не исполнилось и семи лет. О своих ранних годах, проведенных в родовом поместье Деденево (ныне — поселок городского типа в Дмитровском районе Московской области), он вспоминал так: «Детство, отрочество и раннюю юность я проводил в нашей семье, которая жила очень уединенно. У нас было мало знакомых, почти никого родных. Я боялся людей, был застенчив до крайности, краснел до слез часто без причины, боялся говорить в обществе и даже в своей семье, за что и получил прозвище „лицо без речей“». Тем не менее Головин окончил курс университетского отделения Московского лицея цесаревича Николая, а в 1891 году после экзамена получил диплом юридического факультета Московского университета. Федор Александрович был женат и имел в браке сына и двух дочерей.

В 1893 году Головин был избран мировым судьей и гласным дмитровского уездного земства. О своей земской деятельности он писал: «Я сразу попал в председатели всевозможных уездных учреждений, совершен-

но не знакомый с местными деятелями и даже с порядком и техникой ведения заседаний... Я купил себе книгу „Памятная книга для уездного предводителя дворянства“, сочинение князя Трубецкого, и по ней стал готовиться к каждому заседанию, на котором должен был председательствовать, а также постарался узнать, что мог, от старого нашего предводителя П.В. Бахметьева, как следует себя держать на заседаниях и как их вести. Эти несколько месяцев, что мне пришлось стоять во главе уезда, были для меня мучительны. Я должен был употребить большие усилия воли, чтобы побороть свою конфузливость и не теряться на заседаниях. Эта нравственная операция была мучительна, но зато исцелила меня от конфузливости. После этого искуса я говорил близким мне людям, что я теперь решился бы председательствовать на каком угодно собрании, „хотя бы в Государственном совете“».

Уже в 1896 году Головин стал гласным московского губернского земства и секретарем губернского земского собрания. В 1898 году его избрали членом московской губернской земской управы и заведующим ее страховым отделом. В московском губернском земстве Головин вошел в круг сторонников радикально-либеральных преобразований, что впоследствии и определило его судьбу. Федор Александрович принял участие в деятельности кружка «Беседа», подружился с С.А. Муромцевым, И.И. Петрункевичем, кн. С.Н. Трубецким, а затем стал членом Союза освобождения. Головин участвовал в общеземском съезде, состоявшемся 23–25 мая 1902 года, а также в совещании земских деятелей 24–25 апреля 1903 года.

В начавшейся политической борьбе Федор Александрович сразу показал себя надежным товарищем и исполнительным соратником. В 1902 году его избрали председателем бюро земских и городских съездов, в 1904-м — председателем московской губернской земской управы. Эти обязанности Головин исполнял до 1907 года. Но, как отмечал В.А. Маклаков, для всех он был лишь «дублером» прежнего председателя Д.Н. Шипова. При всей обходительности и понятливости Федору Александровичу явно недоставало организаторских талантов. Московский губернатор В.Ф. Джунковский вспоминал о Головине: «Не могу сказать, что мне было с ним очень трудно; нет, Ф.А. Головин был всегда очень корректен и благороден, и с ним всегда можно было сговориться. Но служащих губернского земства он невольно распустил, так как не считал себя вправе вмешиваться в их политические взгляды, проявляемые ими не только на словах, но и на деле, он этим самым поощрял их в политиканстве в ущерб делам».

На Общеземском съезде 6–9 ноября 1904 года Головин был одним из секретарей, вошел в состав радикального большинства, скрепил своей подписью общеполитическую резолюцию съезда. В июне 1905 года Федору Александровичу довелось участвовать в депутации земцев к императору Николаю II. Реакцию монарха на требования делегации он оценил так: «Обычная политика Николая II — политика уклончивости и нерешительности». Сразу после этого Головин стал одним из основных организаторов Общероссийского съезда земско-городских деятелей 6–8 июля 1905 года,

созванного в Москве для обсуждения проекта «булыгинской Думы», и отказался выполнить предписание московского генерал-губернатора о недопустимости созыва съезда. В частном разговоре с московским губернатором Г.И. Кристи Головин отменил его опасения «насчет намерения съезда объявить себя учредительным собранием, избрать временное правительство и т.п.», но отметил: «Борьба правительства с таким съездом, как наш, бесплодна». Федор Александрович открыл заседания съезда и был избран товарищем его председателя. 3 августа члены московской губернской земской управы во главе с Головиным демонстративно не явились на представление новому московскому генерал-губернатору П.П. Дурново.

Головин избирался председателем бюро Общероссийских съездов земских и городских деятелей 12–15 сентября и 6–13 ноября 1905 года в Москве, а также товарищем председателей этих съездов. На открытии ноябрьского съезда Федор Александрович резонно отметил, что ноябрьский съезд 1904 года положил начало всем революционным событиям в России. По поводу Манифеста 17 октября Головин заявил: «Правительство сделало старую ошибку: дало стране не все, что страна требует. Естественно, что вместо успокоения наступила анархия». Вместе с тем Головин отвергал позицию одного из лидеров умеренного меньшинства съезда А.И. Гучкова: «Гучков нас запугивает, что мы идем к анархии, диктатуре. Напротив, Гучков и его единомышленники ведут нас к анархии и диктатуре». В результате Головин вместе с большинством съезда проголосовал за резолюцию о необходимости скорейшего созыва Учредительного собрания.

Федор Александрович стал одним из организаторов Конституционно-демократической партии. Он активно участвовал в переговорах кадетского руководства с правительством в октябре 1905 года о создании конституционного кабинета министров. На III съезде партии 21–25 апреля 1906 года был избран в ЦК, а также возглавлял Московский губернский комитет кадетов. Однако среди более ярких соратников Головин обычно терялся. Хотя он регулярно присутствовал на заседаниях ЦК, но активного участия в прениях, как правило, не принимал. Лишь 6 мая 1906 года Головин вынес на рассмотрение ЦК собственную инициативу возбудить в бюро Общероссийских съездов земских и городских деятелей подготовку реформы земского и городского самоуправления.

Шанс отличиться представился в 1907 году. После подписания Выборгского воззвания весь цвет кадетской партии (за исключением П.Н. Милюкова, который составил воззвание, но не подписал, не будучи депутатом Думы) был по суду лишен избирательных прав и не мог баллотироваться на выборах. В результате партия выдвинула все имевшиеся резервы: Головин был избран депутатом II Думы от Московской губернии. Сразу после открытия заседаний 20 февраля 1907 года Федор Александрович 356 голосами против 102 был избран председателем Думы. Головин без промедления продемонстрировал свое стремление действовать последовательно, но осторожно. В речи при вступлении в должность он указал:

«Несмотря на различные мнения, нас разделяющие, нас объединяет ве-

ликая цель — осуществление на почве конституционной работы блага страны. Стремясь к беспристрастному ведению прений и к охране свободы слова, я почту своим долгом неуклонно заботиться и о поддержании достоинства Думы. Мы все хорошо знаем, с каким нетерпением ожидает наша страна от Государственной думы облегчения своих тяжелых страданий. Прямой путь к осуществлению этой трудной задачи намечен Первой Государственной думой. Он останется таким же и в настоящее время. Проведение в жизнь конституционных начал, возведенных Манифестом 17 октября, и осуществление социального законодательства — таковы две великие задачи, поставленные на очередь Первой Государственной думой. Сделаем все, чтобы они были осуществлены Второй Государственной думой. Могуче народное представительство! Раз вызванное к жизни, оно не умрет. В единении с Монархом, оно неудержимо проявит и проведет в жизнь волю и мысль народа».

Левые депутаты были недовольны такими словами. Сам Головин вспоминал: «Первая встреча моя с Думою 20 февраля, когда я говорил свою речь после избрания меня председателем Думы, хотя и прошла внешне очень благоприятно для меня, хотя и большая часть прессы также сочувственно откликнулась на мое первое выступление, все же... я почувствовал таящуюся в думе страстность, а также и глубокую ненависть к Партии народной свободы, а, следовательно, и ко мне, как одному из ее членов, со стороны крайних левых и крайних правых».

Состав II Думы был весьма пестрым и конструктивной работы не обещал. Лишь 38% депутатов имели высшее образование, а 41% — низшее, домашнее или были вовсе неграмотными. Только 6% ранее входили в состав I Думы. Большинство депутатов нового созыва принадлежали к левому и правому крыльям, а кадетский центр составлял менее пятой части членов. О составе Думы Головин вспоминал так: «Хотя мне, как председателю Думы, очень хотелось бы установить, что впечатление от личного состава Думы получалось хорошее, но, желая быть правдивым и искренним, я принужден отметить как раз обратное. Так, левое крыло Думы невольно поражало зрителя множеством слишком молодых для ответственного дела народного представительства лиц и при этом неинтеллигентных. На фоне этой некультурной левой молодежи редкими пятнами выделялись серьезные умные лица некоторых образованных народных социалистов, социалистов-революционеров, двух-трех трудовиков и стольких же социал-демократов. Но, повторяю, общая масса левых отличалась тупым самомнением опьяневшей от недавнего неожиданного успеха, необразованной и озлобленной молодежи. Все же вера в непогрешимость проповедуемых ими идей и несомненная бескорыстность и готовность к самопожертвованию ради торжества их принципов возбуждали симпатию к ним объективного и беспристрастного наблюдателя. Не такое чувство возникало при взгляде на правое крыло Думы. Здесь прежде всего бросались в глаза лукавые физиономии епископов и священников, злобные лица крайних реакционеров из крупных землевладельцев-дворян, бывших

«Я старался верить и верил, что народ... по природе мудр и способен к участию в государственном строительстве...»

земских начальников и иных чиновников, мечтавших о губернаторстве или вице-губернаторстве, ненавидевших Думу, грозившую их материальному благосостоянию и их привилегированному положению в обществе, и с первых же дней старавшихся уронить ее достоинство, добиться ее роспуска, мешавших ее работе и не скрывавших даже своей радости при ее неудачах. На это крыло, шумевшее, гоготавшее, кривлявшееся, было противно смотреть, как на уродливое явление: народные представители, не признающие и глумящиеся над народным представительством! Сжатый этими двумя буйными и сильными крыльями, имеющий большинство в Думе лишь от присоединения к центру то левого, то правого крыла, сам по себе бессильный центр, стремящийся к законодательной работе на строго конституционных основах с товарищами налево, желающими использовать думскую трибуну лишь для пропаганды своих крайних учений, с господами направо, провоцирующими Думу на путь пустых деклараций и скандалов, этот центр вызывал в зрителе и сожаление, и уважение перед его стойкостью, выдержанностью и политической воспитанностью».

Депутаты в долгу перед своим председателем не остались. Епископ Евлогий (Георгиевский), входивший в правую фракцию с «лукавыми физиономиями», говорил хозяйке консервативного салона Александре Богданович: «Господь, когда хочет наказать, отнимает разум, и вот Дума сама у себя отняла разум, избрав такого председателя, как Головин». А на Высочайшем приеме члены Государственного совета и сенаторы, по свидетельству Богданович, громко кричали вслед председателю Думы «каналья» и «мерзавец».

О родной кадетской фракции Федор Александрович писал: «Во Вторую думу в большинстве попали *Dii minores* [Младшие боги (лат.)] этой партии. Сливки ее красовались в Первой думе, но, привлеченные к суду за так называемое Выборгское воззвание, были лишены избирательных прав и остались за стенами Таврического дворца. Конечно, это не помешало их главарям принимать самое деятельное участие во фракционной работе и таким путем благотворно влиять на ход думских дел. Но двое-трое из хорошо знакомых русскому образованному обществу главарей к.-д. сидели на скамьях членов Думы; другие же, бывшие члены Первой думы, занимали места для публики и с болью в сердце наблюдали за всеми трагическими перипетиями агонии народного представительства, явно обреченного на преждевременную гибель».

Как известно, II Дума ни в силу самого своего состава, ни по краткости срока так и не смогла развернуть законодательной деятельности. По поводу оглашенного в Думе социалистического проекта аграрной реформы Головин замечал: «Что-то стихийно грубое, безнадежное, невежественное чувствовалось в речах подобных ораторов и, вызывая аплодисменты значительного числа членов Думы, заставляло с глубокой печалью и тревогой задуматься над вопросом: может ли законодательствовать эта Дума? Будет ли иметь достаточно силы центр Думы, чтобы справиться со стихийным хаосом на левом и со злорадным издевательством на правом

крыле Думы? Да, горькую чашу судьба предложила выпить конституционному центру Второй думы и ее несчастному председателю. Но не только мысль о грустной судьбе Думы второго созыва волновала меня при выслушивании некоторых грубых и невежественных ораторов из крестьян. Невольно в душу закрадывалось гнетущее сомнение о подготовленности многомиллионной крестьянской массы к участию в государственной работе и к освобождению от опеки чиновничества. Что даст всеобщее избирательное право, если оно будет применено при выборах в земские учреждения и в парламент? Не повлечет ли эта реформа гибель государственности, не вызовет ли она к жизни стихийно-анархические течения стенько-разинского характера в народе? Неужели чаяния идеалистов-народников — ошибочные мечты?! Нет, мне не хотелось так думать. Я гнал от себя эти опасения, я старался верить и верил, что народ, хотя и невежественный в своей массе, но по природе мудр и способен к участию в государственном строительстве».

В качестве думского председателя Головин постоянно вызывал недовольство левого и правого крыльев парламента и не всегда мог быстро разрешить часто возникавшие в палате конфликты. О своем председательствовании Головин свидетельствовал: «Хотя мне не раз приходилось председательствовать в самых разнообразных заседаниях, но все же все эти председательствования не могут идти в сравнение с председательствованием в Думе... Нервы напряжены до крайности, каждую минуту ждешь сюрприза от левых или правых, следишь за каждым своим словом и жестом, за всеми членами Думы, слушаешь оратора, угадываешь настроение Думы, с тревогой следишь за тем, как она реагирует на отдельные мысли и выражения оратора, как реагирует на них министерство, вспоминаешь наказ, вернее, обрывки наказа, которые успела выработать Первая дума, которыми руководишься в Думе, хотя наказ этот и не принят Думой во всех его частях».

О роли Головина как думского председателя его партийные соратники отзывались в целом благосклонно. Присутствовавшая на думском балконе и наблюдавшая заседания Екатерина Кизеветтер (жена депутата-кадета А.А. Кизеветтера) в своем дневнике оставила такую запись: «На меня лично Головин производит очень хорошее впечатление. Я не могу разбираться в юридических тонкостях, в деталях... но непосредственное впечатление от председательствования благоприятное. Всегда ровный, бесстрастный, равно беспристрастный и к правым, и к левым, стойкий в своих требованиях Головин, мне кажется, импонирует Думе. На всей его фигуре, сухой и корректной, лежит отпечаток благородства и выдержанности».

Кадеты в своих воспоминаниях были более критичны. Василий Маклаков писал: «Ничего дурного про него никто сказать бы не мог. Он был „джентльмен“, глубоко порядочный, с определенными взглядами. Но по сравнению с С.А. Муромцевым он был бесцветен». По мнению Маклакова, Головин в целом не справился со своими обязанностями. Другой член кадетского ЦК, Ариадна Тыркова-Вильямс, вспоминала: «Он честно

«Я старался верить и верил, что народ... по природе мудр и способен к участию в государственном строительстве...»

старался продолжать традицию Муромцева, подражал ему по мере сил. Но это ему плохо удавалось... Головина природа не одарила ни внешними данными, ни острым умом Муромцева... У Головина наружность была коварная, подстрекающая карикатуристов. Голова у него была яйцевидная, совершенно голая. Подбородок резко выдавался вперед. Усы, как пруттики, торчали кверху. Юмористы любили изображать председательские усы в виде стрел, направленных то вправо, против логи министров, то влево, против чрезмерно разбушевавшихся ораторов».

16 апреля 1907 года социал-демократ А.Г. Зурабов в своей речи высказал уверенность, что российская армия способна воевать лишь с «внутренним врагом» и обречена на поражения в столкновениях с внешним, за что председательствовавший Головин лишил его слова, но не поставил вопроса об удалении депутата. Это вызвало сильное раздражение против председателя на правом фланге Думы, а также в правительственных кругах; Головин вынужден был извиняться перед военным министром и на следующем думском заседании выразил протест против оскорблений в адрес армии, однако это, в свою очередь, вызвало резкое неприятие левых.

Еще в конце марта Головин как председатель Думы отверг запрос премьера П.А. Столыпина о присутствии на заседаниях думских комиссий «сведущих лиц», не являвшихся членами Думы. Основание было чисто формальным: правительство не имело права запроса Думе. Столыпин Головин считал «типичным временщиком», его отношение к II Думе оценивал как политику мелочных придирок. «Губернатор, но не премьер и не министр внутренних дел», — так оценил Столыпин Головин после первой с ним встречи.

Будучи председателем Думы, Головин несколько раз имел аудиенцию у Николая II и в 1912 году описал эти встречи в своих «Записках» (опубликованных в советское время в «Красном архиве»). По мнению Федора Александровича, император не был марионеткой в чьих-либо руках: «Умом не блещет, не обладает и сильною волею, мало, по-видимому, подготовлен к выполнению трудной задачи, выпавшей на его долю, но все же считать его за ничтожество, которое действует не по собственной воле и не по своему разумению, было бы неправильно». Хитрый и двуличный, монарх склонен был, по мнению Головина, перекладывать собственную вину и ответственность на других; наивность его была притворна, и он «подчас злобно издевается над обществом», но «живет в вечном страхе» и предается мистическим переживаниям. Головин приходил к такому выводу: «Николай II — плохая копия дурных свойств Александра I». Следует сказать, что ответные чувства были более резкими. «Одно впечатление мое, что он — *une nullite complete!* [полное ничтожество (фр.)]» — характеристика, данная царем в письме матери после представления ему Головина.

3 июня 1907 года, после 102 дней бесплодных усилий, Дума была распущена, а избирательный закон изменен в одностороннем порядке. Первая русская революция завершилась. Той же осенью Головин был вновь из-

бран депутатом Государственной думы от Москвы. На выборах председателя он получил лишь один голос. Однако особой роли в работе III Думы он не сыграл и часто отсутствовал на заседаниях. Определенную активность Головин проявил лишь в крестьянском вопросе: будучи членом думской крестьянской комиссии, он выступал противником столыпинской аграрной реформы. 7 мая 1910 года Головин также произнес речь против перехода к постатейному обсуждению правительственного законопроекта о земстве в западных губерниях, отметив, что принципы новоучреждаемого земства противоречат принципам Манифеста 17 октября и приведут к межнациональной русско-польской вражде. Дума, как известно, поддержала и столыпинскую аграрную реформу, и западное земство. Между тем репутация Головина в правых кругах III Думы была такова, что они, по зафиксированным А. Богданович слухам, даже хотели голосовать за его избрание председателем палаты, чтобы спровоцировать ее роспуск: «Ведь с таким председателем, как Головин, царь говорить не будет».

7 октября 1910 года Головин произнес оппозиционную речь на похоронах С.А. Муромцева. Однако к тому времени Федор Александрович уже принял решение покинуть политическую стезю. В том же месяце, в связи с получением железнодорожной концессии, он добровольно сложил депутатские полномочия. Центральному комитету партии Головин сообщил, что этот шаг был вызван «исключительно личными делами». Уйдя с политической сцены, Федор Александрович не отказывался от своих взглядов и не прекращал общественной деятельности. В октябре 1909 года он был забаллотирован на выборах гласных губернского земства по родному Дмитровскому уезду, но прошел по Бронницкому.

В 1912 году Головина избрали городским головой Баку, однако он не был утвержден в должности кавказским наместником из-за принадлежности к кадетской партии. 20 января 1913 года на заседании кадетского ЦК, в связи с ожидавшимся посещением императором Москвы, Федор Александрович предложил инициировать обращение о политической амнистии.

Головин также принял участие и в масонской деятельности. В 1908 году он был избран в Верховный совет русского масонства, затем стал членом Верховного совета «Великого Востока народов России». В 1912, 1913 и 1916 годах Головин принимал участие в масонских конвентах. Первый из них частично проходил на квартире Головина на Страстном бульваре в Москве.

В период Первой мировой войны Федор Александрович был активным деятелем Всероссийского союза городов. Наряду с этим он выступил одним из организаторов и участников общества «Кооперация», в январе 1916 года стал членом его Совета. Головин также был председателем Общества помощи жертвам войны и председателем правления Московского народного банка. Супруга Головина Елена Васильевна устроила в родовом поместье госпиталь для раненых, находившийся у железнодорожной станции Влахернская (ныне — ст. Турист Савеловского направления).

«Я старался верить и верил, что народ... по природе мудр и способен к участию в государственном строительстве...»

19 и 20 февраля 1916 года Федор Александрович был избран председателем на заседании VI съезда кадетской партии. 21 февраля он баллотировался на выборах товарища председателя ЦК, но не прошел (избраны были Н.М. Кишкин, кн. Д.И. Шаховской, кн. П.Д. Долгоруков, М.М. Винавер). Головин поддерживал курс, проводимый П.Н. Милюковым, был сторонником сохранения Прогрессивного блока. 13 декабря 1916 года на заседании кадетского ЦК Головин выступил против неподчинения Думы возможному указу о перерыве в ее деятельности.

После победы Февральской революции, 2 марта 1917 года Головин был назначен комиссаром Временного правительства над бывшим Министерством императорского двора и уделов. В ведении Федора Александровича оказались все императорские театры, музеи и целый ряд иных учреждений. Однако в их деятельность он почти не вмешивался. В марте по инициативе Головина было учреждено Особое совещание по делам искусств с участием общественных и политических деятелей (в том числе членов Петросовета). Деятельность совещания выразилась в организации мер по охране памятников культуры. Головин непосредственно участвовал в определении личного имущества, которое сохранялось за царской семьей после ее ареста. Подобный вопрос также встал и в отношении иных представителей династии. 20 октября 1917 года Временное правительство создало Комиссию по разграничению государственного и лично принадлежащего бывшей императорской семье имущества, председателем которой стал Головин. Однако комиссия не успела начать работу: через пять дней к власти пришло иное правительство, которое уже приступило к всероссийскому разграничению имущества, в том числе и принадлежавшего самому Головину.

Взгляды Головина в 1917 году эволюционировали так, как это в целом было свойственно представителям кадетской партии. Будучи бывшим председателем II Думы, Головин стал участником Государственного совещания 12–15 августа 1917 года. 14 августа Федор Александрович выступил на совещании с речью. Цитируя произнесенную при открытии совещания речь министра-председателя А.Ф. Керенского о «смертельной опасности», создавшейся для государства, Головин заявлял: «Картина, нарисованная нашими министрами, поистине страшна... Думаю, что требованием, которое может быть предъявлено правительству со стороны решительно всех слоев русского общества, без различия партий и убеждений, является требование, чтобы правительство обладало полнотой власти, чтобы оно было сильно, чтобы его воля проявлялась и осуществлялась в жизнь без каких-либо задержек». Подобные соображения резко контрастировали с позицией Головина в период первой русской революции. Это особенно заметно в связи с изменением оценки деятельности П.А. Столыпина. Головин сравнивал эмоциональную речь Керенского с полной спокойствия речью Столыпина, произнесенной во II Государственной думе и обращенной к левым, которую тот закончил фразой «Не запугаете», и признавал превосходство Столыпина, которого ранее резко критиковал: «Тогда Столыпин был действительно сила физическая».

Вместе с тем Головин не предлагал никаких конкретных мер по усилению государственной власти. Наоборот, он даже выражал «некоторые сомнения» в реанимации в июле 1917 года таких способов восстановления порядка, как ужесточение дисциплины в армии и административная высылка без суда. Временное правительство — «правительство государства свободного, правового» — могло, по мнению Головина, действовать и по-иному. «Только при полном доверии Временному правительству со стороны народа оно будет сильным, оно будет в состоянии осуществлять те великие задачи, которые возложила на него история... Правительственная власть получила свои полномочия и свои силы от коалиции двух революционных сил: народного представительства и широких масс демократии. В этой коалиции есть одновременно и сила и слабость правительственной власти настоящего состава. Коалиционность является силой, как нечто объединяющее живые силы страны в момент государственной опасности. Но эта коалиция будет силой только тогда, когда она явится коалицией не только по форме, но и по существу», — заключил Головин.

Федор Александрович был избран делегатом IX съезда кадетской партии (23–28 июля 1917 года), а также, наряду с кн. П.Д. Долгоруковым, председателем на X (последнем) съезде партии (14–16 октября 1917 года), состоял членом комиссии кадетского ЦК по подготовке выборов в Учредительное собрание. Головин поддержал забастовку театров в знак протеста против Октябрьского переворота, а затем отказался передать дела представителям советской власти и сотрудничать с ними. Федор Александрович был выдвинут кандидатом в члены Всероссийского учредительного собрания от Москвы, Уфимской и Пензенской губерний, но избран не был. Кадеты получили лишь 15 мест, а принять участие в работе Собрания им вообще было не суждено.

В 1918 году Головин стал управляющим финансово-счетной частью сельскохозяйственного отдела Центрального союза потребительских обществ (Центросоюза). Он был вызван в ЧК для дачи показаний и освобожден под подписку о невыезде. В июле — августе 1921 года Головин вошел в состав Всероссийского комитета помощи голодающим (Помгола). 27 августа он был арестован наряду с другими членами Помгола. Предчувствуя арест, Федор Александрович явился на последнее заседание в своем лучшем костюме и после ареста был совершенно невозмутим. Писатель Б.К. Зайцев, также арестованный и доставленный на Лубянку, вспоминал: «Через полчаса по прибытии, когда другие еще горячились, расходовали подожженную нервную энергию, Федор Александрович уже сел играть с черно-мрачным и также равнодушным Кутлером. Откуда они добыли шахматы, я не помню: кажется, тут же и смастерили из картона. Впрочем, игра продолжалась недолго: нас повели в еще новое помещение. Ф.А. равнодушно забрал фигурки, записал положение и в своем элегантном костюме, белых брюках, с шахматами под мышкой зашагал по застеночным коридорам». После отбоя, по свидетельству Зайцева, Головин сразу уснул:

«Я старался верить и верил, что народ... по природе мудр и способен к участию в государственном строительстве...»

«Он лежал на спине. На его правильном, лысом черепе блестел, как на слоновой кости, луч электричества. Руки аккуратно сложены накрест, белые брюки в складке, желтые ботинки, воротнички даже не расстегнуты. Он и позже спал всегда в полном параде. Объяснял так, что если ночью позовут на допрос или расстрел, то нельзя выходить на такое дело не в порядке...»

17 сентября 1921 года Головин был освобожден и впоследствии работал в советских учреждениях. В 1937 году он был арестован как «активный сектант, ведущий контрреволюционную агитацию фашистского характера», который «неоднократно возводил клевету на Советскую власть о якобы преследовании с ее стороны религиозных убеждений».

21 ноября, по решению «тройки» УНКВД Московской области «по обвинению в принадлежности к антисоветской организации», он был приговорен к расстрелу и 10 декабря 1937 года расстрелян на печально известном Бутовском полигоне под Москвой. В 1989 году Федор Александрович Головин был посмертно реабилитирован.

«Стоять на страже
интересов всего
населения...»

Видный либеральный деятель Вологодской губернии Виктор Андреевич Кудрявый родился 23 ноября 1860 года в Вологде в семье потомственных дворян, крещен в церкви при Вологодской духовной семинарии. Его отец Андрей Николаевич дослужился до чина полковника; мать Мария Федоровна была помещицей, владела имением в 300 десятин земли в селе Коротыгино Грязовецкого уезда Вологодской губернии. В семье, кроме Виктора, было еще три сына — Николай, Владимир и Лев.

В 1879 году Виктор Кудрявый поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, а в 1885-м окончил его. В студенческие годы он женился на дочери купца Ольге Захаровне. У супругов было трое детей: сыновья Сергей (1885), Андрей (1889) и дочь Мария (1886).

После окончания университета В.А. Кудрявый около трех лет занимался адвокатской практикой в Петербурге в качестве помощника присяжного поверенного. Он увлекся политической деятельностью — на его квартире в 1886 году собирались члены кружка народовольца Н.Н. Шелгунова, выступавшего за сближение с социал-демократами. После ареста руководителей кружка Виктора Кудрявого привлекли к дознанию, и по повелению императора Александра III от 27 сентября 1887 года он отбыл двухмесячное заключение в вологодской тюрьме. Затем его выслали в административном порядке в Грязовецкий уезд, где он стал заниматься сельским хозяйством в собственном имении (730 десятин).

25 октября 1888 года на сессии грязовецкого уездного земского собрания В.А. Кудрявый был избран мировым судьей 2-го участка, но Правительствующий сенат не утвердил его в этой должности как политически неблагонадежного. Лишь в 1891 году Кудрявый смог стать мировым судьей. В октябре 1891 года земским собранием он был избран (и вскоре утвержден вологодским губернатором) председателем грязовецкой уездной земской управы, которую возглавлял три срока. В 1894 году указом Сената Кудрявый получил чин губернского секретаря; в 1895-м за выслугу лет произведен в коллежские секретари, а в 1897-м стал титулярным советником. Имел он и награды: в 1896 году был награжден серебряной медалью в память в бозе почившего Александра III, в 1897-м — бронзовой

медалью за труды по всеобщей переписи населения, в 1899-м — орденом Св. Анны 3-й степени.

В феврале 1900 года вологодским губернским земским собранием Виктор Андреевич Кудрявый большинством голосов был избран председателем губернской земской управы, в том же году получил чин коллежского асессора, а в 1904-м — надворного советника. В период, когда губернской управой руководил Кудрявый, вологодское губернское земство предприняло проведение масштабных работ — подворное обследование крестьянских хозяйств губернии.

Эти работы были начаты еще в то время, когда он возглавлял грязовецкую земскую управу. Грязовецкий уезд был первым при проведении подворных обследований; на нем отрабатывались программа и методика сбора сведений. В опубликованных результатах этой работы содержатся полные статистические описания всех деревень Грязовецкого, Кадниковского, Вологодского, Тотемского, Вельского и Великоустюгского уездов. По остальным уездам губернии сведения, к сожалению, не были обработаны. Руководя земством, Виктор Андреевич стремился вникать во все дела местного самоуправления, много сделал для развития образования, медицины, культуры. Эти усилия были замечены: в 1914 году он был награжден Золотым нагрудным знаком «В память 50-летия положения о земских учреждениях».

В.А. Кудрявый полагал, что задача земства заключается в защите интересов всего населения, и поэтому негативно относился к политике правительства, направленной на ограничение земских инициатив. Подобная позиция вполне естественно привела его к активному участию в земско-либеральном движении. Он участвовал в I Общеземском нелегальном съезде в Москве 23–25 мая 1902 года и в нелегальном Совещании земских деятелей 24–25 апреля 1903 года в Санкт-Петербурге, занимая на них отчетливо левوليберальные позиции. Так, на апрельском Совещании в столице он выразил сомнение в стремлении правительства искать опору в обществе. На этом Совещании было признано желательным, чтобы все губернские земские собрания выступили с ходатайством перед правительством о передаче министерских законопроектов о «многообразных нуждах земской жизни» на рассмотрение земских собраний. В ответ на это министр внутренних дел В.К. Плеве запретил через губернаторов обсуждать в земских собраниях «общественные вопросы». Несмотря на это, в конце 1903 года по инициативе Кудрявого вологодское губернское земство на своем очередном собрании приняло постановление в поддержку предложений апрельского Совещания. Вологодский губернатор выразил неудовольствие земским гласным и потребовал от них прекратить заниматься политикой.

Однако вологодское земство продолжало проводить свою линию на привлечение общественности к государственным делам и в феврале 1904 года переизбрало Кудрявого на новый срок. Новое избрание В.К. Плеве не утвердил, считая Виктора Андреевича оппозиционно настроенным к су-

ществующей власти. Для этого у министра были все основания. С момента привлечения к дознанию в 1887 году Кудрявый постоянно фигурировал в картотеках для неблагонадежных в Департаменте полиции. Вологодское губернское жандармское управление докладывало о его общении с политическими ссыльными левого толка — В.А. Ждановым, П.П. Румянцевым, Б.В. Савинковым, П.Е. Щеголевым и др.

Отдаленное положение Вологодской губернии и суровые климатические условия делали этот регион удобным местом политической ссылки. По численности и значимости ссылка в северные губернии стояла на втором месте после восточносибирской (ее называли «Подстоличная Сибирь»). В первое десятилетие XX века она охватывала все уезды Вологодской губернии. Находясь под надзором полиции, ссыльные не могли открыто заниматься политической пропагандой и агитацией, но внесли свой вклад в духовное развитие региона, оставив после себя не только культурные ценности, но и идеи демократизма и свободолюбия.

По разным оценкам, за 1896–1917 годы через вологодскую ссылку прошло 12–15 тысяч человек. В мемуарах современников отмечается «постоянное общение» В.А. Кудрявого со многими ссыльными, включая будущего советского наркома просвещения А.В. Луначарского; видного революционера, экономиста, философа А.А. Богданова (Малиновского); физико-химика, академика АН СССР В.А. Кистяковского; писателя, фельетониста А.В. Амфитеатрова и др. Понятно, что такие связи исключали утверждение Кудрявого в должности председателя губернской земской управы.

Потеряв службу, Виктор Андреевич решил на некоторое время уехать в Санкт-Петербург. В Вологде он уже был заметным общественным деятелем, поэтому вологодские земцы, не имея возможности иным путем протестовать против решения Плеве, демонстративно устроили ему в помещении губернской земской управы «товарищеский обед» (так в условиях отсутствия политических свобод назывались общественные мероприятия), на котором присутствовало более 70 человек. Выступавшие на обеде земский начальник Грязовецкого уезда Лавров, земский техник Ильин, земский врач Грабовский, ссыльный социал-демократ Саммер выразили «шумный протест» против действий правительства.

«Стоять на страже интересов всего населения...»

В столице Кудрявому не удалось, как он рассчитывал, устроиться на службу в общество «Надежда», но он установил контакты с видными земцами-либералами. В качестве известного земского гласного и члена Союза земцев-конституционалистов Виктор Андреевич принял участие в Обще-земском съезде 6–9 ноября 1904 года в Петербурге. Съезд принял резолюцию, в которой потребовал от власти обеспечения «свободы совести и вероисповедания, свободы слова и печати, а также свободы собраний и союзов». Большинство членов съезда высказались за создание выборного законодательного органа из народных представителей. Под этой резолюцией стояла и подпись Кудрявого.

Возвратившись в Вологду, 25 января 1905 года он получил свидетельство частного присяжного поверенного при Вологодском окружном

суде, а вскоре был избран гласным Вологодской городской думы на 1905–1909 годы. В мае 1905-го вологодское губернское земство по инициативе Кудрявого и его соратника, члена Союза земцев-конституционалистов Н.Я. Масленникова, высказалось в поддержку требований либеральной оппозиции, за конституционный строй и народное представительство, избираемое на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. Резолюция получила единодушное одобрение, хотя в составе вологодского земства далеко не все придерживались радикально-либеральных взглядов.

С весны 1905 года общественный подъем привел к усилению позиций либералов в Вологде, и в мае 1906-го В.А. Кудрявого вновь избирают председателем губернской земской управы. В этой ситуации министру внутренних дел пришлось подчиниться требованию вологодской общественности и утвердить Виктора Андреевича в должности. Активность вологодского земства в тот момент держалась в основном на его авторитете, энергии и смелости. Тесный союз управы, а особенно председателя, с «третьим элементом» (учителями, агрономами, ветеринарами) создавал активный центр, способный вести за собой большинство собрания. Однако и консервативные силы не собирались уступать. Правое крыло земства стало натравливать малообразованных, не способных разбираться в сути событий гласных от крестьян на агрономов и ветеринаров, внушая им мысль о якобы громадных средствах, затрачиваемых на содержание служб, приносящих вред хозяйству. Постепенно перевес сил в вологодском земстве стал складываться в пользу гласных октябристского толка и правых, требовавших удаления Кудрявого. В ноябре 1906 года вологодский губернатор А.Н. Хвостов потребовал от него дать подписку о «непринадлежности к противоправительственным партиям». Кудрявый категорически отказался, и тогда в январе 1907 года его отстранили от службы.

Еще в 1904 году В.А. Кудрявый вступил в Союз освобождения, в работе учредительного съезда которого от Вологды принимал участие его соратник Н.Я. Масленников. К марту 1905 года в Вологде уже насчитывалось 12 «освобожденцев». Согласно документам Департамента полиции, 27 августа 1905-го состоялось организационное оформление вологодского отделения Союза освобождения во главе с В.А. Кудрявым, которое активно занималось распространением либеральной литературы и воззваний, отпечатанных на гектографе. Виктор Андреевич стал инициатором образования местного отделения Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы). На учредительном собрании 21 ноября 1905 года он был избран председателем ее вологодского комитета.

30 августа 1906 года на первом общегубернском партийном съезде кадетов В.А. Кудрявый избирается председателем губернского комитета ПНС. В 1906 году в Вологде насчитывалось до ста кадетов, которые вместе со своим лидером следовали за левым крылом партии. Так, вологодские кадеты одобрили и поддержали Выборгское воззвание, считая проведение его в жизнь «делом партии».

ВИКТОР
АНДРЕЕВИЧ
КУДРЯВЫЙ

В.А. Кудрявый, как наиболее уважаемый и прогрессивный земский деятель, 25 марта 1906 года был избран вологодским чрезвычайным губернским земским собранием в члены Государственного совета, в котором примкнул к леволиберальной (академической) группе. Однако сыграть сколько-нибудь заметную роль в работе верхней палаты российского парламента ему не удалось. Он принял участие лишь в первой сессии, после чего министр юстиции поднял вопрос о временном устранении его от участия в заседаниях как привлеченного к суду. Сущность предъявленного обвинения заключалась в том, что осенью 1905 года в качестве городского гласного Кудрявый совместно с другими лицами допустил превышение власти в расходовании городских средств. Речь шла о бурных событиях, развернувшихся в Вологде после Манифеста 17 октября 1905 года. В первые дни после его издания в городе, как и по всей стране, проходили массовые митинги радикально настроенной общественности под лозунгами политических реформ и всеобщей амнистии политзаключенным. На участников митингов стали нападать черносотенцы. Ответом на это стало создание в городе 20 октября 1905 года добровольной народной милиции под названием Союз охраны: 250 человек, разбитые на три отряда, круглосуточно патрулировали улицы, охраняли собрания и митинги. Городская дума узаконила Союз охраны и ассигновала на его вооружение 2 тыс. рублей, но губернатор 6 декабря 1905 года Союз запретил. Кудрявый имел непосредственное отношение к созданию и вооружению народной милиции, за что и был предан суду.

Обвинения против него носили ярко выраженную политическую окраску, на что обратили внимание некоторые члены Государственного совета, выступая в поддержку Кудрявого. Тем не менее 21 марта 1907 года Госсовет большинством голосов (125 против 23) отстранил Виктора Андреевича от участия в своей работе. Однако Московская судебная палата не нашла в его действиях состава преступления, и он был оправдан. Поэтому 27 апреля 1909 года Госсовет признал свое решение потерявшим силу, но это уже не имело практического значения, поскольку срок полномочий Кудрявого вскоре истекал.

Для понимания положения В.А. Кудрявого в эти годы необходимо учитывать, что с июля 1906-го по август 1910 года вологодским губернатором был активный участник монархического движения, будущий министр внутренних дел А.Н. Хвостов. Формально губернаторы и командующие округами не могли входить в политические партии. Однако ни для кого не было секретом, что ряд высших должностных лиц энергично поддерживает «черную сотню». Поэтому ничто не мешало Хвостову являться почетным членом Союза русского народа, членом его Главного совета, членом Совета Русского собрания. Будучи губернатором, он активно боролся административными средствами с представителями либеральных партий и поощрял вологодских чиновников к вступлению в Союз русского народа. Его методы не могли не сказаться на настроениях жителей Вологодской губернии. Выразительную картину положения дел на местах обрисовал

«Стоять на страже интересов всего населения...»

вологодский кадет А.В. Васильев на конференции Партии народной свободы в октябре 1908 года: «Теперь в провинции стало жить невозможно; даже в прежние времена дышать было легче. Все деятели изъяты, преданы суду. Земства задавлены. Газеты убивают штрафами за всякую мелочь. Обязательные постановления ввергают обывателей в тюрьму. Вологодский отдел партии, прежде довольно значительный, теперь насчитывает в своих рядах 5–6 человек; остальные частью изъяты, частью ушли сами. Такое положение вещей, естественно, вызывает полнейшее озлобление».

В Вологде В.А. Кудрявый пользовался репутацией убежденного либерала, и, возможно, в отместку за его активную оппозиционную деятельность в сентябре 1910 года его дом ночью был подожжен неизвестными. В сентябре 1911-го он снова привлекался к суду, но содержание обвинения доказать не удалось. В 1912 году случилось еще одно несчастье — умер его старший сын Сергей, известный социал-демократ (вступил в РСДРП в 1904-м; в 1906-м арестован и приговорен к двум годам заключения в крепости). В итоге Виктор Андреевич был лишен всех своих должностей и удалился в фактическую ссылку в Грязовец. Несколько лет он нигде не служил, был лишен возможности заниматься общественной деятельностью. Лишь в 1913 году он стал членом попечительского совета Грязовецкой женской гимназии и членом Вологодского общества изучения Северного края. В марте 1914 года его избрали председателем правления Вологодской городской публичной библиотеки, но губернатор не утвердил и это его избрание.

Первая мировая война привела к активизации общественной деятельности земств и либеральной оппозиции. В августе 1914 года создается Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам во главе с видным либеральным деятелем князем Г.Е. Львовым. В.А. Кудрявый становится членом вологодского губернского комитета Земского союза и в первой половине 1915 года находится на фронте по его делам.

В августе 1915 года на заседании чрезвычайного губернского земского собрания он был снова избран членом губернской земской управы. В этом качестве Виктор Андреевич присутствовал в октябре того же года на заседании областного комитета Всероссийского союза городов, а в январе 1916-го — на районном совещании уполномоченных по продовольственному делу в Москве.

С первых дней Февральской революции В.А. Кудрявый принимает активное участие в политической борьбе. 1 марта 1917 года, после телеграммы председателя Государственной думы М.В. Родзянко, в Вологде состоялось собрание гласных городской думы и представителей местных общественных организаций, кооперативов, рабочих, крестьян и «просто обывателей» (всего свыше тысячи человек), на котором было решено отстранить от власти местную администрацию и вице-губернатора, образовать временный губернский комитет и передать ему всю власть. В состав комитета решили включить гласных городской думы и представителей от земства, рабочих, крестьян и политических партий. Виктор Андреевич

был избран в его состав. Он также развернул активную партийную деятельность по восстановлению кадетских организаций. 4 марта 1917 года на заседании временного комитета он был избран его председателем, а 6 марта утвержден Временным правительством в качестве губернского комиссара.

Временный губернский комитет, взявший на себя функции новой власти, состоял из представителей различных политических партий. Первоначально кадеты играли в нем ведущую роль. Из девятнадцати членов комитета пятеро были кадетами. Помощником В.А. Кудрявого стал кадет Н.Я. Масленников. Однако в ходе революции позиции кадетов в вологодском губернском комитете стали ослабевать — с лета 1917 года их осталось в нем только четверо. В то же время усиливалось влияние Советов. Порой конфликты кадетов с Советами перерастали в прямую конфронтацию: Совет стал отменять те решения губернского комитета, которые считал не соответствующими идеалам революции.

В начале марта 1917 года В.А. Кудрявый вошел в состав губернского комитета Партии народной свободы (ПНС), был делегатом обоих общегубернских съездов ПНС. В июле 1917 года его избирают гласным Вологодской городской думы по списку партии кадетов, он принимает активное участие в муниципальных делах. Авторитет Кудрявого продолжает оставаться высоким. В сентябре 1917 года ЦК ПНС выдвинул его в число кандидатов в Учредительное собрание по Вологодской губернии. На выборах в самой Вологде победу одержали кадеты, но большинство крестьян проголосовало за эсеров, и ни один кадет от губернии не прошел в Учредительное собрание.

Занимая должность губернского комиссара Временного правительства, В.А. Кудрявый старался по мере сил находить разумный компромисс между различными социальными группами, следуя в этом за кадетским положением о «надклассовой политике». На нем лежала ответственность за координацию работы всех административных и иных учреждений. В конце октября 1917 года в Вологде эсерово-меньшевистский Совет попытался взять власть в свои руки. Однако многие служащие административных и общественных учреждений отказались подчиняться Совету и заявили о своей верности губернскому комиссариату Кудрявого. Эсерово-меньшевистское большинство Советов пошло на компромисс, комиссариат был сохранен и продолжал работать.

В конце 1917 года почти все в Советах перешли к большевикам. 20 января 1918 года Объединенный исполком Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов принял решение об устранении губернского комиссариата, который формально являлся высшим органом власти в губернии, и о принятии на себя всей полноты власти. Виктор Андреевич посчитал своим нравственным долгом обратиться к населению губернии с заявлением протеста по этому поводу: «До последнего времени губернский комиссариат продолжал существовать, по мере сил стараясь обеспечить правильную деятельность административных и других учреждений. Те-

«Стоять на страже интересов всего населения...»

перь, с упразднением его, исчезает последний орган административной власти в губернии, стоящий на страже интересов всего населения, и заменяется учреждением, стремящимся установить господство отдельных классов над всем остальным населением...» Заявление-протест, кроме В.А. Кудрявого, подписал его заместитель кадет Н.Я. Масленников. Это был последний политический шаг Виктора Андреевича. 28 марта (8 апреля) 1918 года он был отстранен от должности члена вологодской губернской земской управы.

В мае 1919 года Виктор Андреевич заболел оспой и 28 мая умер. 29 мая его похоронили на Введенском кладбище в Вологде. Точное место могилы в настоящее время неизвестно. Вологодская газета «Красный Север» (орган губисполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов) откликнулась на его смерть очень уважительным некрологом. Корреспондент газеты отмечал, что хотя Виктор Андреевич и стоял по своим политическим воззрениям «довольно далеко от коммунистического течения», но оказывал большую помощь политическим ссыльным, находился с ними «в весьма хороших личных отношениях». Новые власти отдавали ему дань как видному общественному деятелю не только местного, но и общероссийского уровня, чья работа в земстве способствовала развитию образования и здравоохранения, стала вехой в культурных достижениях губернии. Такая не совсем обычная реакция большевиков на смерть своего политического противника объяснялась тем, что ряд видных вологодских деятелей советской власти в прошлом были ссыльными и хорошо знали Виктора Андреевича.

Помнят его и в наши дни. 5 июня 2006 года в городе Грязовец усилиями Фонда «Русское либеральное наследие» в честь В.А. Кудрявого была открыта памятная мемориальная доска. В тот же день в Грязовце была проведена научно-практическая конференция «История либерализма в Вологодском крае».

«Признать силу и ценность
русского человека...»

«Чсть имеем рекомендовать историко-филологическому факультету приват-доцента А.А. Кизеветтера для замещения экстраординатуры по кафедре русской истории», — писал 8 февраля 1910 года Василий Осипович Ключевский. Охарактеризовав далее научную и преподавательскую деятельность Кизеветтера, самый популярный лектор в истории русской высшей школы писал: «Факультет, хорошо зная господина Кизеветтера как прекрасно образованного, опытного и талантливового преподавателя, в минувшем академическом году поручил ему обязательный курс по новейшей русской истории. Два капитальных исследования по русской истории и двадцать один год преподавательской деятельности, из коих одиннадцать лет посвящены Московскому университету, смеем думать, достаточно ручаются за то, что в господине Кизеветтере факультет приобретет испытанного и вполне надежного сотрудника».

Однако Кизеветтеру не довелось занять кафедру своего учителя. Он не был утвержден в должности профессора Министерством народного просвещения по политическим мотивам: кандидатура кадета Кизеветтера не устроила министерство. А в следующем году Кизеветтер и вовсе покинул университет вместе с большой группой профессоров, таким образом выразившей протест против политики Министерства просвещения, возглавлявшегося Л.А. Кассо, политики, направленной на фактическую ликвидацию университетской автономии.

А.А. Кизеветтер в полной мере унаследовал литературное и лекторское мастерство своего учителя Ключевского, созданная им «портретная галерея» деятелей русской истории не уступает аналогичной «галерее» Ключевского по литературному блеску, а по количеству «портретов», несомненно, превосходит. Достаточно сказать, что библиография (по-видимому, не исчерпывающая) работ Кизеветтера насчитывает более тысячи названий. Однако Кизеветтер был не только историком. Жизнь заставила его стать политиком.

Александр Александрович Кизеветтер родился 10 мая 1866 года в Петербурге, однако семья будущего историка вплоть до 1884 года, когда он поступил в Московский университет, жила в Оренбурге. По отцовской линии Кизеветтер происходил из обрусевших немцев. Его отец, Александр Иванович, служил в Оренбурге представителем Военного министерства

при генерал-губернаторе. Мать историка, Александра Николаевна Турчанинова, была внучкой известного церковного композитора, протоиерея Петра Ивановича Турчанинова, и дочь преподавателя истории, автора книги о церковных соборах в России.

Еще в гимназии Кизеветтер прочел вышедшую в 1881 году «Боярскую Думу древней Руси» Ключевского. Книга произвела на него сильное впечатление и во многом повлияла на выбор профессии. В 1884 году Кизеветтер поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Среди его учителей, кроме Ключевского, были П.Г. Виноградов, В.И. Герье, молодой приват-доцент П.Н. Милюков, историк литературы Н.С. Тихонравов, искусствовед И.В. Цветаев и др. Кроме «положенных» занятий, Кизеветтер имел возможность слушать лекции преподавателей других факультетов, в том числе юриста С.А. Муромцева, будущего председателя I Государственной думы.

В 1888 году Кизеветтер окончил университет и был оставлен Ключевским при кафедре русской истории для подготовки к магистерскому званию. В последующие годы он начал активную преподавательскую деятельность — преподавал историю в гимназических классах Лазаревского института восточных языков, в гимназии Л.Ф. Ржевской, на Высших женских курсах В.И. Герье. Преподавал Кизеветтер также в разное время в школе Малого театра, Народном университете А.Л. Шанявского, Коммерческом институте. С 1897 года он начал читать спецкурсы в Московском университете, а в следующем году стал приват-доцентом. Профессором Московского университета ему удалось стать только двадцать лет спустя, в марте 1917 года.

В 1894 году Кизеветтер женился на вдове своего близкого друга А.А. Кудрявцева, Екатерине Яковлевне Кудрявцевой, урожденной Фраузенфельдер, и стал воспитывать ее двоих детей — Всеволода и Наталью; год спустя у них родилась дочь Екатерина.

«В жизни ученого и писателя главные биографические факты — книги, важнейшие события — мысли», — писал В.О. Ключевский в статье памяти С. М. Соловьева. Главными фактами научной биографии Кизеветтера, если следовать отточенной формуле Ключевского, были две его диссертации: магистерская — «Посадская община в России XVIII столетия» (1903) и докторская — «Городовое положение Екатерины II 1785 года» (1909). Многие исследователи творчества Кизеветтера отмечали, что, кроме сугубо исторических, его работы имели и некую политическую «сверхзадачу». Убежденный конституционалист, он искал элементы самоуправления, представительства в истории русского общества. «Кизеветтер поставил своей целью, — справедливо отмечает М. Раев, — выявить те автономные элементы в русском обществе, которые представляли собой как бы альтернативу централизации и бюрократизации самодержавия».

Кизеветтер опубликовал также сотни менее объемистых научных, популярных и публицистических работ. В 1895 году на страницах едва ли не самого популярного среди интеллигентной публики толстого журнала —

«Русской мысли» — появляется его статья «Иван Грозный и его оппоненты». Исследование было вполне научным, но написано живым языком и предназначалось не только для профессионалов. Время и личность Ивана Грозного, отношение к которым стало «знаковым» для русского общества, и далее привлекали внимание Кизеветтера. Со второй половины 1890-х годов «толстые» литературные и научно-популярные журналы регулярно публикуют статьи и рецензии Кизеветтера. Он стал постоянным автором «Русского богатства», «Образования», «Журнала для всех»; с 1903 года Кизеветтер — помощник В.А. Гольцева по изданию «Русской мысли», в 1907–1911 годах он редактировал этот журнал совместно с П.Б. Струве. С 1906 года Кизеветтер — постоянный сотрудник «Русских ведомостей».

Значительную часть кизеветтеровских публикаций составляли биографические очерки; уже в 1898 году этюд об Артемии Петровиче Волынском, опубликованный в «Журнале для всех», сопровождался подзаголовком «Исторические силуэты». Впоследствии Кизеветтер назовет так одну из лучших своих книг. Наиболее серьезные журнальные публикации Кизеветтер собирал в книги. В 1912 году вышел солидный том его «Исторических очерков», в 1915-м — «Исторические отклики». «Девятнадцатый век в истории России», «Протопоп Аввакум», «Петр Великий за границей», «День царя Алексея Михайловича» и другие тексты Кизеветтера, написанные «для публики», пользовались успехом и быстро расходились; некоторые выдержали не одно издание.

Неизменным увлечением Кизеветтера был театр. Он был лично знаком со многими выдающимися театральными актерами, в том числе с такими звездами, как М.Н. Ермолова, Г.Н. Федотова, А.И. Сумбатов-Южин. На страницах газет и журналов регулярно появлялись его театральные рецензии, исследования по истории русского театра. Впоследствии некоторые из них составили книгу «Театр. Очерки, размышления, заметки» (1922). Кизеветтер написал также биографию великого актера М.С. Щепкина, которая после публикации в «Русской мысли» выдержала еще и два книжных издания.

Общественный темперамент и либеральные убеждения Кизеветтера обусловили его активное участие в освободительном движении. От просветительской, лекторской деятельности он постепенно переходит к политической. В 1904 году Кизеветтер вступает в Союз освобождения; принимает участие в «банкетной кампании» в конце того же года, когда земцы и либеральная интеллигенция открыто выступают с требованием введения народного представительства и ограничения самодержавия. Вполне логичным было участие Кизеветтера в создании «профессорской партии» — партии кадетов, конституировавшейся в октябре 1905 года. С января 1906 по 1918 год он был членом ее ЦК.

Кизеветтер, блестящий оратор, принял самое активное участие в избирательных кампаниях в I и II Государственные думы. Он был «ударной силой партии» и в созвездии кадетских златоустов по праву претендовал на одно из первых мест (первенство в этом негласном соревновании

«Признать силу и ценность русского человека...»

принадлежало, по мнению большинства современников, московскому адвокату В.А. Маклакову). Совместно с Маклаковым Кизеветтер написал своеобразное руководство для кадетских ораторов — «Нападки на партию народной свободы (официальное название партии. — 0.5.) и ответы на них». Это пособие было более известно под названием «кизеветтеровского катехизиса».

С горечью встретил Кизеветтер известие о роспуске I Думы. Много лет спустя, уже в эмиграции, он писал, что, «если когда-нибудь будет написана беспристрастная история первой Государственной думы, тогда с полной ясностью будет установлено, что страна послала в первый русский парламент в наибольшем числе людей, одушевленных высоким представлением о предстоявшей им задаче политического возрождения родины. Их работа была насильственно оборвана в самом начале, и это обстоятельство имело неисчислимые роковые последствия».

А.А. Кизеветтер был избран (от Москвы) во II Государственную думу, однако ее тоже постигла участь первой. Власть и общество так и не сумели найти общего языка друг с другом... После бурного «романа с политикой» Кизеветтер вернулся к письменному столу, хотя и оставался деятельным членом московской организации партии кадетов. Однако такого накала, как в 1905–1906 годах, его партийная работа уже не достигала.

Кизеветтер восторженно встретил Февральскую революцию. Много писал в «Русских ведомостях» по различным политическим вопросам; читал лекции на курсах агитаторов при Московском отделении партии кадетов. В статье «Большевизм», опубликованной в «Русских ведомостях» еще 28 марта 1917 года, Кизеветтер выступил против классовой диктатуры. Поэтому его реакция на Октябрьскую революцию была вполне предсказуемой.

В статье «Враги народа», опубликованной 8 ноября 1917 года, Кизеветтер писал о большевистском перевороте: «Все это губительное и дикое изуверство обрушено на Москву и Россию кучкой русских граждан, не остановившихся перед этими неслыханными злодеяниями против своего народа, лишь бы захватить во что бы то ни стало власть в свои руки, надругавшись с таким беспредельным бесстыдством над теми самыми принципами свободы и братства, которыми они кощунственно прикрываются». 28 января 1918 года в статье «Буржуазная природа большевистского движения» он оценил большевистское движение как «опыт сотворить из пролетариата новую буржуазию со всеми минусами и без всяких плюсов буржуазного жизненного уклада. Что же касается социализма, то он остается этикеткой, механически прикрепленной к этому глубоко антисоциалистическому движению».

В конце мая 1918 года Кизеветтер выступил с докладом на кадетской конференции в Москве. По его докладу была принята резолюция о верности союзникам и усилении борьбы против советской власти. В то же время весьма любопытна позиция Кизеветтера и некоторых участников конференции относительно работы в организациях, контролируемых больше-

виками. Кадеты, эти «враги народа», как их квалифицировала советская власть, с ужасом наблюдали развал страны, надвигающуюся гибель экономики и культуры. Поэтому многие из них считали, что необходимо во многих случаях перейти от бойкота советских учреждений к работе в них, если это пойдет на пользу России; поезда все-таки должны ходить, кто бы ни находился у власти, — приблизительно в таком духе высказался один из участников, вскоре арестованный ВЧК. Однако, идя на службу в большевистские учреждения, необходимо было четко обозначить свою политическую позицию, ни в коем случае не допускать идейных компромиссов. Цитируя Священное Писание, Кизеветтер подчеркнул, что члены партии должны быть чисты, как голуби, и мудры, как змеи.

Однако никакая мудрость не могла уберечь члена ЦК партии кадетов, легально проживающего в Москве и не собирающегося менять своих убеждений, от внимания ВЧК. 29 сентября 1918 года Кизеветтер был арестован и доставлен на Лубянку; затем его перевели в Бутырскую тюрьму, где он провел около трех месяцев, так и не дождавшись предъявления обвинения. Помогли студенты. 4 января 1919 года Совет старост Московского университета направил В.И. Ленину телеграмму следующего содержания: «Председателю Совнаркома Ленину. Совет старост 2-го Московского государственного университета ходатайствует перед Вами об освобождении арестованного и уже 3 месяца находящегося без предъявления обвинений в Бутырской тюрьме профессора Кизеветтера, так как его дальнейшее пребывание в тюрьме, ввиду его болезни склероза и диабета, грозит самыми роковыми последствиями его здоровью и жизни; между тем он давно отошел от политической деятельности и всецело посвятил себя научной и преподавательской работе, к которой мы просим Вас возвратить его...»

Вождь мирового пролетариата наложил резолюцию: «Лацису и Петерсу на заключение и сообщение мне». Известный чекист М.Я. Лацис, незадолго до описываемых событий рекомендовавший своим коллегам определять виновность подозреваемых исходя из их происхождения, на этот раз, к счастью, не стал следовать собственным принципам, и 13 января по его распоряжению Кизеветтер был освобожден. Скорее всего, с освобождением Кизеветтера было не все так просто, поскольку накануне, в телефонном разговоре с женой Александра Александровича, глава «историков-марксистов» М.Н. Покровский, тоже учившийся в свое время у Ключевского и некогда поздравлявший Кизеветтера с успешной защитой магистерской диссертации, советовал ей «успокоиться на мысли, что все хлопоты напрасны» и что ее мужа не выпустят. Впрочем, не исключено, что Покровского чекисты просто не сочли нужным своевременно проинформировать.

Чтобы как-то существовать и содержать семью, А.А. Кизеветтер был вынужден подрабатывать, где только мог. Он пошел служить в архив бывшего Министерства иностранных дел, преподавал в университете и на Драматических курсах Малого театра, ездил с лекциями по стране от культурно-просветительского отдела Союза кооперативных объедине-

«Признать
силу и цен-
ность русского
человека...»

ний. Как правило, лекторам платили на местах «натурой» — в одном из своих мемуарных очерков Кизеветтер с юмором описывал, каких трудов стоило доставить заработанные продукты в Москву. Власть, борясь со «спекуляцией», запрещала провозить продовольствие в голодный город!

Кизеветтер сотрудничал в кооперативном издательстве «Задруга» и даже торговал вместе с некоторыми другими известными литераторами и учеными в книжной лавке издательства. Возможности литературных заработков он практически лишился — за отсутствием органов печати, закрытых советской властью. К тому же в 1920 году Кизеветтеру (а также М.М. Богословскому и Р. Ю. Випперу) было запрещено чтение лекций в высших учебных заведениях как «проводникам старой буржуазной культуры».

Не оставляла Кизеветтера, как и других «буржуазных» интеллигентов, своим вниманием ВЧК. В сентябре 1919 года он вновь был арестован: шли массовые аресты по делу так называемого Национального центра; среди арестованных были историки М.М. Богословский, С.Б. Веселовский, Д.М. Петрушевский и др. Кизеветтера выпустили через две с лишним недели. Его имя хотя и упоминалось в показаниях некоторых из арестованных, но лишь как члена партии кадетов, что и так было всем известно; многим из его знакомых и однопартийцев повезло гораздо меньше. 67 человек были расстреляны, в том числе член ЦК партии кадетов Н.Н. Щепкин, внук великого артиста.

Третий раз Кизеветтера арестовали в 1921 году в Иваново-Вознесенске, где он читал лекции в эвакуированном туда Рижском политехникуме. Историка доставили в Москву и через месяц, так и не предъявив обвинения, выпустили.

В августе 1922 года А.А. Кизеветтер был подвергнут краткому домашнему аресту. «Придержать» его дома властям нужно было для того, чтобы он находился под рукой для предъявления постановления о высылке из пределов Советской России. Кизеветтера включили в большую группу известных интеллектуалов, которых большевистское руководство не хотело по внешнеполитическим соображениям подвергать более суровым репрессиям, но и терпеть их свободомыслие не собиралось. 28 сентября 1922 года Кизеветтер с семьей отплыл из Петрограда на немецком пароходе в Германию. В Россию ему уже не было суждено вернуться.

Впрочем, в такую Россию Кизеветтер и не хотел возвращаться. Несколько месяцев спустя после высылки он писал своему старому товарищу по партии В.А. Маклакову, занимавшему в то время пост российского посла в Париже (Франция еще не признала СССР, и особняк на улице Гренелль, где помещалось посольство, занимал представитель уже не существующего государства): «Шлю Вам из Праги сердечный привет. Нежданно-негаданно выпорхнул из большевистской клетки, за что и благословляю судьбу» (13 июля 1923 года). В другом письме к Маклакову Кизеветтер высказывал предположение, что тот недооценивает «преимуществ нахождения за пределами Совдепии», поскольку ему не пришлось видеть «большевистского

властвований» воочию. «Могу сказать одно, — писал Кизеветтер, — я испытывал чувство тоски по родине, когда сидел в своей квартире в Москве и кругом себя не видел своей родины. Здесь же я тоски по родине не чувствую, ибо имею возможность свободно и по-человечески жить с русскими людьми. И, читая лекции, помогать русской молодежи хранить в себе русскую душу для лучших времен» (18 августа 1923 года).

Возможность профессионально реализоваться и «помогать русской молодежи» Кизеветтер получил в Праге, куда приехал 1 января 1923 года. Прага в 1920-е — первой половине 1930-х годов была признанным академическим центром русского зарубежья. В 1922 году президент Чехословакии Томаш Масарик и чешское правительство предприняли так называемую Русскую акцию. Суть ее заключалась, во-первых, в том, чтобы помочь ученым-беженцам, во-вторых, обеспечить подготовку специалистов для будущей, очищенной от большевизма, России. В рамках «Русской акции» был создан Русский университет с двумя факультетами — юридическим и гуманитарным; существовал также Народный университет для тех, кто не мог посещать лекции в дневное время; Русский научный институт в Праге фактически выполнял функции Академии наук русского зарубежья; действовал также ряд других научных учреждений — Экономический кабинет, Семинар византиста Н.П. Кондакова и др. При чехословацком Министерстве иностранных дел был создан Русский заграничный исторический архив.

А.А. Кизеветтер преподавал практически во всех русских учебных заведениях в Праге, читал также курс истории на философском факультете чешского Карлова университета; выезжал с лекционными турне в Берлин, Белград, в Прибалтику. Он стал одним из основателей в 1925 году Русского исторического общества в Праге; был товарищем (заместителем) его председателя, затем председателем. Кизеветтер возглавил Совет и учено-административную комиссию Русского заграничного исторического архива.

В этой своей многообразной деятельности Кизеветтер видел не только источник добывания средств к существованию (тяжело болели жена и падчерица, да и сам Кизеветтер страдал от диабета), но и некую миссию. Он не верил в скорый крах большевизма, так же как и в способность эмиграции реально повлиять на процессы, происходящие в СССР. Что же делать «русским зарубежникам»? На этот вопрос, едва ли не главный для эмигрантов, Кизеветтер попытался ответить в очередном письме к В.А. Маклакову: «Сейчас картина получается такая: в политическом отношении мы, русские, шлепнулись как нельзя хуже. А к русской культуре всюду в Европе обнаруживается большой интерес. Этой культурой заинтригованы, ее ценят, в ее будущности не сомневаются, никто не допускает мысли о том, что большевистское измывательство над этой культурой окончательно ее погубит... Вот мне и думается, что эмиграция со своей стороны должна была бы сделать все возможное, чтобы своею деятельностью закрепить в европейском обществе это признание силы и ценности

«Признать силу и ценность русского человека...»

русского человека как культурного деятеля. Согласитесь, что это было бы дело в высшей степени важное с точки зрения интересов именно грядущей России» (1 декабря 1923 года).

В эмиграции Кизеветтер опубликовал книгу, которой еще будут посвящены специальные исследования, — воспоминания «На рубеже двух столетий». Маклаков, заметно расходившийся с Кизеветтером в оценке недавнего прошлого, писал ему вскоре после выхода книги: «Не собираюсь Вам писать ни комплиментов, ни критики. Прочел ее с громадным интересом и думаю, что подобные книги самое полезное дело, которое мы можем пока делать... Люди, которые вспоминают прошлое, как Вы, без предвзятости, хотя бы им, как и всем нам, и было далеко до объективной правды, все-таки дают... материал, без которого этой правды узнать будет нельзя» (13 сентября 1929 года).

Кизеветтер был постоянным сотрудником лучшего журнала русского зарубежья — парижских «Современных записок», а также исторического журнала, издававшегося С.П. Мельгуновым сначала под названием «На чужой стороне», а затем «Голос минувшего на чужой стороне». Он печатался в других эмигрантских журналах, исторических сборниках, много публиковался в газетах — особенно часто в рижской «Сегодня» и берлинском «Руле». Среди его публикаций — статьи, рецензии, историографические обзоры. Как всегда, много «исторических портретов» (среди них — Екатерина II, граф Д.А. Толстой, И.Д. Делянов, А.С. Суворин, Г.А. Гапон, Франтишек Палацкий и др.). Значительная, пожалуй, большая часть публикаций была рассчитана на массового читателя и носила популярный характер.

Так называемый массовый читатель был надолго разлучен с творчеством Кизеветтера; а ведь большая часть созданных им текстов предназначалась именно для него. Лучшие статьи Кизеветтера писались зачастую не для профессионалов, а для обычных интеллигентных людей, для которых «толстый» журнал — традиционный предмет домашнего обихода. Почти все эти тексты были первоначально опубликованы в «Русской мысли», которая была для интеллигентов начала века приблизительно тем же, чем «Новый мир» для «шестидесятников».

Читая Кизеветтера, надо иметь в виду, что его схема русской истории и, соответственно, оценка ее деятелей — последовательно либеральная. Этот последовательный либерализм Кизеветтера нередко вызывал раздражение оппонентов. Так, бывший пражский студент Кизеветтера, известный медиевист Н.Е. Андреев, передает мнение другого «пражского» историка, эмигранта Н.П. Толля, что Кизеветтер «был, прежде всего, кадетским оратором, а уже потом историком». Самому Андрееву «всегда казалась несправедливой оценка им ряда явлений, в частности в московском периоде отечественной истории, и его чрезмерная суровость в оценке мероприятий правительства, которая иногда представлялась странной. Получалось так, словно бы правительство России вовсе не заботилось об интересах страны...»

Андреев, в частности, имел в виду резкую и, как ему представлялось, несправедливую рецензию Кизеветтера на книгу Р.Ю. Виппера «Иван Грозный», опубликованную в 1922 году. В данном случае лучше представить слово самому Кизеветтеру. В рецензии на книгу Виппера он писал: «Придавленные самодержавием идеализировали революцию. Обжегшись на революции, начинают идеализировать самодержавие. И, как всегда и во всем, тотчас же доходят до крайнего предела... Уж коли начал человек вздыхать по самодержавию, так подавай ему самодержавие по всей форме, не самодержавие Александра II, даже не Петра I, а, по крайней мере, самодержавие Ивана Грозного... Вот эту-то крайнюю форму самодержавия и начинают избирать предметом своих сердечных вздохов некоторые деятели, обжегшиеся на революционных мечтаниях».

Напомнив свидетельства современника о «людодерстве» Ивана Грозного, а также о других деяниях грозного царя, приведших Россию к Смуте начала XVII века, Кизеветтер с иронией заключал: «Виппер хочет отдохнуть от тяжелых переживаний текущей действительности на светлых картинах исторического прошлого. Мы эту потребность понимаем. Но удовлетворять эту потребность нужно с большой осмотрительностью. Иначе можно попасть в неожиданное положение. Виппер избрал эпоху Ивана IV за образец мощи и славы России в противоположность ее теперешнему развалу. А на поверку выходит, что режим Ивана IV многими чертами живо напоминает приемы управления в России наших дней».

Кизеветтер как в воду глядел. В 1942 и 1944 годах книга Виппера была переиздана в СССР с включением цитат из работы И.В. Сталина, видевшего в Иване Грозном не худший образец для подражания, а оказавшийся вместе с Латвией в составе Советского Союза Р.Ю. Виппер стал академиком Академии наук СССР.

Кизеветтер действительно не жаловал российскую «историческую власть». Революция 1917 года не заставила его, как многих других эмигрантов, изменить свою оценку самодержавия. Успех большевиков он объяснял прежде всего тем, что «односторонне направленная социальная политика старой власти во второй половине XIX столетия и первого десятилетия XX-го вызвала в... низах наклонность оказывать доверие тем, кто прикроет свои замыслы наиболее резким осуждением этой старой власти».

Кизеветтер точно подметил, что «большевики под другими терминами воскрешают многие приемы старого порядка». Однако существенная разница, по его мнению, состояла в том, что если «старый порядок вел Россию к бездне из-за политической слепоты», то «большевики сознательно и умышленно толкнули Россию в бездну, ибо в этом и состояла их задача». «Умерший на днях в Москве дурак, — писал Кизеветтер Маклакову вскоре после смерти В.И. Ленина, — с самого начала своего эксперимента так и заявлял в печатной брошюре, что коммунизм в России невозможен, но Россия есть та охапка сухого сена, которую всего легче подпалить для начатия мирового социального пожара. Россия при этом сгорит; ну и черт с ней, зато мир вступит в рай коммунизма. Не меня надо

«Признать силу и ценность русского человека...»

убеждать в том, что у нашего старого порядка была куча смертных грехов. Но все же в подобной постановке вопроса о бытии России он повинен не был. Это — привилегия большевиков» (6 февраля 1924 года).

В последние годы жизни судьба не жаловала Кизеветтера. Болезни свели в могилу его жену и падчерицу. Тяжелый диабет лишил его возможности дальних поездок. 9 января 1933 года Кизеветтер скоропостижно скончался в своей квартире в Праге.

Последний городской голова Москвы, видный кадет Н.И. Астров писал Маклакову вскоре после смерти Кизеветтера: «А.А. хворал давно. У него была сахарная болезнь. Но лечение инсулином, казалось, поддерживало его в равновесии. Я был у него утром. Мы вели разговоры о разных делах, вспоминали Москву, Университет Шанявского... Вечером у него сделался сердечный припадок. А к утру его не стало. Смерть была, по-видимому, тихая, без особенных страданий. Он говорил даже, что хорошо было бы так умереть... Его смерть — большое горе для нас всех. Уходит наше поколение. Уходит печально, пережив разрушение того, что строило... Помогите нам поставить памятник на его могиле. Ведь скоро от нашего поколения не останется и следа...»

Кизеветтера похоронили 11 января 1933 года на Ольшанском кладбище в Праге. На его могиле стоит памятник, воздвигнутый на средства русских эмигрантов.

ЛЕВ
ИОСИФОВИЧ
ПЕТРАЖИЦКИЙ

«Я юрист не только
по званию,
но и по убеждению...»

Лев Иосифович Петражицкий родился 13 апреля 1867 года в имении Коллонтаево Витебской губернии в семье польских шляхтичей. Он окончил Киевский университет, хотя с призванием определился не сразу: два года отучился на медицинском факультете и лишь потом перешел на юридический. Еще в студенческие годы Лев Петражицкий резко выделялся среди окружающих. По словам его однокурсника, впоследствии видного адвоката О.О. Грузенберга, маленький и вроде бы невзрачный студент неизменно оказывался в центре внимания аудитории, подавляя своей эрудицией и интеллектом даже профессоров. Осенью 1890 года, по окончании университета, он продолжил образование в Германии. Зимний семестр провел в Гейдельберге у профессора Беккера, а затем, согласно инструкции министра народного просвещения, переехал в Берлин в Русский институт римского права, где оставался следующие три года.

Будущий коллега Петражицкого по I Государственной думе князь В.А. Оболенский тоже тогда учился в Берлине. Он вспоминал, с каким презрением студенты из России относились к «казенному» Институту римского права. Однако это предубеждение моментально рассеивалось, стоило им познакомиться с Петражицким, поражавшим друзей глубиной и оригинальностью суждений. Результатом работы в Германии стала защищенная в 1896 году магистерская диссертация «О распределении доходов при переходе права пользования по римскому праву». В 1898-м в Петербурге Лев Иосифович блестяще защитил докторскую диссертацию «Права добросовестного владельца на доходы с точки зрения догмы и политики гражданского права». Студенчество встретило решение факультета о присуждении Петражицкому докторской степени бурными аплодисментами; его пронесли на руках по всему длинному университетскому коридору. В этом же году он возглавит в Санкт-Петербургском университете кафедру философии и энциклопедии права и еще двадцать лет, до 1917-го, будет читать лекции в переполненном актовом зале.

В 1903 году Лев Иосифович был награжден орденом Станислава 2-й степени, в 1905-м — Анны 2-й степени. 9 сентября 1905 года его избрали деканом юридического факультета (он занимал эту должность до 25 сентября 1906-го). «Божество», «кумир», «гений» — студенты не жалели эпи-

тетов по отношению к своему профессору. Среди них были П.А. Сорокин, Г.Д. Гурвич, А.Ф. Керенский, М.М. Бахтин... Наверное, ярче всех описал Петражицкого-лектора его друг и коллега И.В. Гессен: «Унаследовав кафедру весьма любимого студентами профессора Коркунова, Петражицкий с первых же шагов совершенно затмил популярность своего предшественника. Наплыв студентов на его лекции был так велик, что пришлось отвести для них большой актовый зал, в котором слушатели, затаив дыхание, восторженно внимали словам молодого учителя. Это было тем более внушительно, что Петражицкий лишен был всех внешних данных, способствующих успеху лектора. Невысокого роста блондин, с маленькой головкой и широким носом, оседланным непропорционально большим пенсне, в которое смотрели вялые бесцветные глаза, неприятный, чуть гнусавый, безнадежно монотонный голос, мучительно спотыкающаяся речь, состоящая из длиннейших, неправильно построенных периодов, не приспособленных к уровню понимания среднего слушателя, — все здесь как будто нарочито сочеталось, чтобы молодежь оттолкнуть. И если, вопреки всему, он пользовался таким исключительным успехом, это, как мне кажется, можно объяснить тем, что усилиями выдавливаемая речь воспринималась как импровизация, и у слушателя создавалось впечатление (чему способствовало бледное лицо, принимавшее болезненный оттенок), что он присутствует и сопереживает муки творчества, и — что всегда увлекает молодежь — творчества, разрушающего установившиеся теории и открывающего новые горизонты».

Юридическая наука в России пострадала после 1917 года едва ли не более остальных форм интеллектуальной деятельности. Имя петербургского профессора — как раз одно из напоминаний о том времени, когда обе столицы являлись центрами правовой мысли. Как написал известный русско-французский правовед и социолог Г.Д. Гурвич, «Л.И. Петражицкий принадлежит к числу первостепенных мыслителей, чьи новаторские идеи настолько опережали эпоху, что их истинное значение выявляется лишь спустя определенный промежуток времени. Поэтому философия права этого ушедшего от нас ученого может быть оценена во всем своем значении только в перспективе глубоких изменений, характерных для современной философской и юридической мысли». Вопреки устоявшимся стереотипам он рассматривал право как проявление психологии человека, вытекающее из своеобразия восприятия действительности. И, соответственно, сближал нравственность и право, по сути дела, ставил между ними знак равенства. Он предложил качественно иной интеллектуальный контекст юридической науки, выводя ее за рамки традиционного правового панлогизма и «вооружая» инструментами познания других социальных наук — психологии и социологии.

Можно сказать, что общественная деятельность правоведа началась с журнала-газеты «Право» в 1901 году. Как вспоминал И.В. Гессен, никто в редакции и не рассчитывал, что к ним может присоединиться столь авторитетный и популярный ученый. Понятно поэтому удивление сотруд-

ников, когда сам Петражицкий предложил свои услуги в качестве члена редколлегии. «Очень элегантно было бы, если бы „Право“ было в обложке», — говорил он при вступлении в новую должность. А потом с неподдельной детской радостью любовался желтыми книжками: «Да посмотрите же, как это элегантно выглядит, как приятно взять в руки!» Именно в первых номерах опубликованы его программные статьи об обычном праве, в значительной мере развенчивающие неонароднические построения и придавшие большой научный вес новому изданию.

В 1902 году Петражицкий был приглашен юридическим экспертом в Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности, председателем которого был С.Ю. Витте. В этом качестве, в подкомиссии А.Н. Куломзина, он разработал законопроект об аренде, предполагавший установление ограничений на вмешательство государства в поземельные отношения. Однако принципиальным противником этого проекта выступил сам Витте. Тем не менее именно он пригласил Петражицкого для юридических консультаций в связи с изданием Указа 12 декабря 1904 года, провозглашавшего скорое проведение целого ряда важных социальных преобразований. «Я познакомился с профессором Петражицким, — вспоминал Витте, — выдающимся ученым, замечательно талантливым и умным человеком».

В общении Лев Иосифович был веселым и добродушным, в чем-то наивным и всегда приветливым. Как много лет спустя писал В.Б. Ельяшевич, он всегда чрезвычайно внимательно относился к здоровью друзей и знакомых и, если узнавал об их недомогании, спешил помочь, предлагая собственное лечение: мед и орехи, в чью чудодейственную мощь неизменно верил. К больному Ельяшевичу Петражицкий ездил далеко за город, не жалея ни сил, ни времени. По воспоминаниям А.В. Тырковой, он, при всем его колоссальном научном авторитете, оставался удивительно скромным, всегда садился где-нибудь в углу и предпочитал не вступать в дискуссию. «Но каждое его замечание сразу освещало вопрос. Точно у него в кармане был фонарь, который он мог навести на любую область политического мышления». Это происходило уже на собраниях партии кадетов, в которую ученый вступил, когда та еще только зарождалась. Он был избран в Центральный комитет в самом начале 1906 года.

«Я юрист не только по званию, но и по убеждению...»

Л.И. Петражицкий никогда не боялся высказывать мнения, которые заведомо диссонировали с общим настроением аудитории. 6 января 1906 года на II съезде Конституционно-демократической партии, в атмосфере повышенной эмоциональности и высочайшего накала радикализма, он говорил о возможной тактике кадетов в ближайшем будущем. По его мнению, им ничего не оставалось, как пойти на выборы и активно участвовать в думской работе, так как любая другая тактика ничего не сулит: пойти на баррикады кадеты не могут, а сочинение политических резолюций абсолютно бесполезно. При этом есть хорошие шансы на победу на выборах: безудержный бюрократический произвол погонит граждан России к избирательным урнам голосовать за конституционную демократию.

На том же съезде, 10 января, он убедительно защищал избирательные права женщин — в противовес одному из лидеров партии, П.Н. Милюкову, который считал их несвоевременными.

На III съезде Петражицкий подробно высказался об аграрном проекте кадетов, согласно которому предполагалось отчуждение различных категорий земель (в том числе и частновладельческих) в пользу крестьянства. Во-первых, ему казалось неприемлемым наделение землей именно семьи крестьян, так как в результате большинство населения России окажется в абсолютной зависимости от старшего домовладельца. Во-вторых, он усомнился в рациональности потребительной нормы, согласно которой и должно было происходить перераспределение земельного фонда: потребности у всех разные, и этот простой факт, в случае реализации данного проекта, станет причиной множества юридических коллизий. В-третьих, он воспротивился идее отчуждения арендных земель в силу практической сложности ее реализации: подобная практика приведет к закреплению существующей чересполосицы. В-четвертых, он выражал сомнение относительно передачи отчуждаемых земель в аренду нуждающимся — такая постановка вопроса противоречила правосознанию крестьян западных губерний. И наконец, он считал, что частичное отчуждение частновладельческих земель есть лишь паллиатив: подобная раздача часто небольших участков не решит проблему; необходим серьезный подъем производительности труда в деревне. Фактически подвергнув уничтожающей критике проект своей партии, автор доклада согласился лишь с одним пунктом: нельзя в огромной стране решать аграрный вопрос по одному шаблону — власти для выработки искомой модели проведения реформы необходима определенная децентрализация. Но при этом реформа должна быть концептуально целостной: «Некоторые любят, когда теории прихрамывают налево, но мы должны избегать этого и думать только о существе дела, не прихрамывая ни на какую сторону; иначе мы стукнемся головами сначала влево, потом вправо и никуда не придем».

Пройдет несколько месяцев, и Лев Иосифович, уже как депутат Государственной думы, будет выступать по аграрному вопросу в Таврическом дворце. «Маленький, щупленький, похожий на комарика, с белобрысыми усиками, с незначительным личиком, Петражицкий проходил через думское торжище, как будто ни на что не обращая внимание, осторожно, незаметно, как птичка перебирается по камушкам через ручей», — описывала своего коллегу по партии А.В. Тыркова. Из стенографических отчетов думских заседаний вырисовывается совсем иной образ — мужественного оратора, бросающего вызов аудитории. Таким он предстал во время выступления 18 мая 1906 года, посвященного кадетскому проекту аграрной реформы. «Я юрист не только по званию, но и по убеждению, т.е. я считаю необходимым уважение прав и исключение произвольного с ними обращения. Тем не менее в данном случае я полагаю, что юридический вопрос о праве собственности не только не может иметь решающего значения в области аграрной реформы, но вообще не относится к делу. Во

всяком элементарном учебнике гражданского права можно найти разъяснение, что неприкосновенность собственности имеет вовсе не смысл какой-то абсолютной неотъемлемости, а иной смысл, такой, с которым вполне мирится начало принудительного отчуждения со справедливым вознаграждением, если того требуют общественные цели государственной пользы. Это принудительное отчуждение в государственной жизни весьма обыденное явление, замечающееся в разных областях экономической и иной жизни».

Другими словами, вначале Петражицкий высказался в защиту принципа принудительного отчуждения, оспорив тем самым догматическое понимание юридических норм правыми ораторами и правительственными чиновниками. Затем досталось и «трудовикам»: «Существо болезни состоит в том, что во многих областях Империи имеется налицо поразительное несоответствие числа сельскохозяйственного населения и размера той площади земли, на которой это население живет и работает. Нормативным соотношением этих двух факторов — числа народонаселения и площади — следует признать такое, при котором не только люди трудящиеся, как следует быть, обеспечены против голода, но также народные трудовые силы имеют достаточную область для своего продуктивного приложения, так что не растрачиваются народные трудовые силы и притом для дельных людей есть возможность и надежда добиться известного благосостояния, двигаться выше по социальной лестнице». В сущности, это жесткая критика продовольственной нормы (достаточной для того, чтобы прокормить крестьянина) и самой логики аграрных проектов «трудовой группы»: аграрный вопрос требует не паллиативов, а принципиального, концептуально разработанного решения. По мнению оратора, требуется ломка не только сложившейся структуры землевладения, но и социальных взаимосвязей в деревне. При этом он вовсе не отрицал необходимости принудительного отчуждения. Просто законодателю следует учитывать, что эта мера не имеет принципиального значения для решения вопроса: земли все равно окажется недостаточно, чтобы обеспечить бурно растущее крестьянское население.

Затем Петражицкий обрушился с критикой и на однопартийцев-кадетов, разработавших свой законопроект. Передача отчуждаемой земли в аренду, по его мнению, грозит крестьянину тяжелыми оковами: не имея возможности распорядиться своим клочком земли, он неизбежно останется в деревне, чем обрекает себя и своих потомков на голодное прозябание. Кроме того, реализация проекта «окрестьянит» деревню, что лишит ее многих культурных социальных слоев. «Вообще, первое и основное требование сознательной аграрной политики — не прикреплять (к земле. — КС.), а, наоборот, дать и поощрить свободный выход. Второй пункт — так проводить реформу, чтобы по возможности остались на земле и появлялись там вновь из крестьян люди со средним и высшим образованием, в том числе университетские, вообще просвещенные люди; от этого зависит судьба цивилизации», — резюмировал выступавший. А всем тем,

«Я юрист не только по званию, но и по убеждению...»

кто ссылался на социалистический идеал, он напомнил: «Тот фараон, который скупил все земли, пользуясь голодовкой, и всех людей превратил в единое хозяйство, — он по внешнему виду ввел социализм, но это не был социализм, это было рабство. Социализм обещает равенство и свободу. Нужно делать различия по существу, а не по внешнему виду».

Л.И. Петражицкий выступал в I Думе восемнадцать раз. 26 мая 1906 года он убеждал депутатов в исключительной перспективности парламентских методов борьбы: «Мы были правы, когда шли с верой в победу, ибо конституционные учреждения дают орудия для этого. Если не летом, то осенью, когда пойдет разговор о финансах, министерство уйдет, если палата захочет». 16 июня он защищал от нападков левых кадетский законопроект «О свободе собраний». Трудовиков и социал-демократов возмущало, что, согласно предложенному законопроекту, свобода проведения митингов не была безусловной. Так, митингующие не должны были мешать городскому движению, что представителям левых фракций казалось ущемлением политических прав граждан. На это Петражицкий ответил: «Для митингов всегда может найтись место в стороне, чтобы не препятствовать движению. Гораздо большим стеснением свободы стало бы запрещение движения и санкционирование „конституционной свободы“, не допускающей проходить публике». Буквально в двух предложениях высвечивается целая правовая философия. В ее центре — права человека; причем выстроена иерархия прав: на первом месте оказываются бытовые и элементарные (в данном случае свобода передвижения). Для их регуляции и существуют законы, которые не терпят пробелов, а требуют доскональной разработки для размежевания различных интересов.

Собственно говоря, исторический оптимизм Петражицкого и строился на рациональной вере в могущество правовых механизмов. Именно поэтому он чрезвычайно скептически относился к действиям, которые казались ему антиконституционными, противоречащими принципу права. За несколько дней до роспуска Думы, 4 июля, он выступил против обращения депутатов к народу России с изложением аграрных проектов народного представительства: по его мнению, законодательному учреждению не подобает совершать подобные акции.

Однако декларацию приняли, а Дума вскоре была распущена. Л.И. Петражицкий оказался одним из немногих членов фракции кадетов, которые резко выступили против принятия Выборгского воззвания. Этот скромный, мягкий человек, вопреки абсолютному большинству собравшихся в Выборге, жестко отстаивал мысль о неконституционности предлагаемых мер: «Мы как будто согласны, что рекомендуемая нами линия действия должна быть конституционной. Такой характер будто бы выдерживается во второй части обращения: отказ от платежа налогов и от поставки рекрутов — при известных условиях входят в число мер борьбы конституционной. Но в данном случае предлагаемые меры конституционные лишь по внешности. По существу же я вижу здесь явную ложь. На почве существующего закона бюджет нынешнего года должен считаться законно

действующим и в пределах указанных в нем налогов, уклоняться от платежа их нет конституционного основания. Точно так же и контингент рекрутов набора нынешнего года уже определен законом, потому и здесь нового вотума не требуется. Таким образом, если не сходить со строго конституционной почвы, то всю вторую часть воззвания надо отбросить и ограничиться первой частью». Иными словами, правовед предлагал отказаться от конкретных мер борьбы, указанных в Выборгском воззвании, и принять лишь декларацию. «Говорят, что первую часть воззвания оставить одну нельзя: ее характеризуют как простое констатирование фактов. На самом деле это не так. В этой части заключается решительный протест против совершившегося и указана ложь в правительственных действиях. Этот протест должен быть высказан, может быть, даже еще резче, чем это сделано, и он имеет самостоятельное значение. Что касается второй части, то более умеренным из указанных там средств борьбы я сочувствую. Высказываюсь же против других я потому, что здесь говорятся вещи несерьезные и в политическом, и в юридическом смысле. Аргументов, даже хотя бы сомнительных в юридическом отношении, выставить нельзя, а здесь приведены аргументы прямо неправильные. Практическое же ничтожество рекомендуемых средств уже достаточно выяснено другими».

Дискуссия, как известно, продолжалась два дня и, наверное, продолжалась бы и дальше, если бы не выборгский губернатор, который встретился с председательствовавшим С.А. Муромцевым и попросил его закрыть заседания ввиду возможных санкций правительства по отношению к губернии. Муромцев призвал депутатов выехать из Выборга и отказался от ведения собрания. Решение приходилось принимать в режиме жесткого цейтнота. Раздался возглас одного из лидеров конституционных демократов И.И. Петрункевича: «Господа, бросим обсуждать дальше. Вопрос ясен, и не в редакции дело. Не разойдемся же отсюда, не совершив этого акта. Подпишем воззвание, как оно есть». Гром рукоплесканий, всеобщее возбуждение. Первым на призыв Петрункевича откликнулся согласием принципиальный противник воззвания М.Я. Герценштейн. А затем на стол вскочил Петражицкий. Он еще раз подчеркнул, что с проектом воззвания не согласен, однако готов поставить под ним свою подпись: «Я знаю, что, подписывая это воззвание, я рискую самым для меня дорогим, чему я до сих пор отдавал свою жизнь, — своей научной работой, но бывают положения, когда честь требует и такой жертвы».

Вероятно, к этому решению он пришел чуть раньше, на фракционном совещании, предшествовавшем заседанию, хотя и продолжал настаивать на неправомерном характере принимаемого решения. Ему яростно и страстно оппонировала А.В. Тыркова. «С усмешкой глядя на меня, он сказал своим тонким голосом, который придавал его словам оттенок насмешки: „Ариадна Владимировна, вы форсируете меня впервые в жизни совершить поступок, находящийся в contradикции с моей юридической логикой. Надеюсь, что я никогда такую акцию не повторю. Апелляцию к народу я согласен подписать“». Раздались аплодисменты. «Возможно, что в моих

«Я юрист не только по званию, но и по убеждению...»

взволнованных речах его внимательная мысль услышала непосредственное выражение не только моих, но и коллективных чувств, — объясняла причину своей маленькой „победы“ Тыркова. — В минуту итогов, а может быть, и расплаты он не захотел отделяться от товарищей. А переубедить их был не в силах. Возможно, что, вопреки рассудку, ему послышалось что-то подлинное, более законное, чем все законы, в моем призыве ответить ударом на удар».

К счастью, Лев Иосифович, несмотря на трехмесячное заключение в связи с подписанием Выборгского воззвания, смог продолжить преподавание в Санкт-Петербургском университете. Он возглавлял кружок философии права; публиковал научные труды и публицистические работы, подробно разбирая вопросы философии и энциклопедии права, специфику функционирования акционерных обществ и биржевой игры, университетского образования и его соотношения с научной деятельностью; писал о «деле Бейлиса» и женском равноправии.

Политическая же деятельность так и осталась лишь эпизодом в жизни большого ученого. В какой-то мере забавно, что студенты со всех факультетов и посторонние лица, как впоследствии писал Г.Д. Гурвич, заполняли актовый зал Санкт-Петербургского университета, чтобы не только услышать известного правоведа, но и увидеть одного из «авторов» Выборгского воззвания. Правда, в его лекциях была скрыта еще одна интрига, занимавшая аудиторию, — подспудная дискуссия с И.П. Павловым. Для теоретика психологического обоснования права вера во всеобъясняющую физиологию казалась неприемлемой. Со своей стороны, и сам Павлов не слишком тепло отзывался о построениях Петражицкого. «Противники» внимательно следили друг за другом, посылая своих единомышленников стенографировать лекции оппонента.

В сентябре 1917 года, при активной помощи своего ученика П.А. Сорокина, Лев Иосифович эмигрировал в Польшу. Он не прожил ни одного дня в Советской России, но крайне болезненно реагировал на то, что там происходило. Юрист В.Б. Ельяшевич вспоминал, что мало знал людей, столь подавленных приходом большевиков. Возможно, отчасти это было связано с тем, что представители новой власти почему-то с большим удовольствием цитировали Петражицкого, подкрепляя его авторитетом свои доводы. Например, по словам наркома юстиции П.И. Стучки, термин «революционное правосознание» попал в декреты нового правительства именно из работ знаменитого правоведа.

В 1921 году Л.И. Петражицкий принял польское гражданство и возглавил кафедру социологии Варшавского университета. Однако почувствовать себя вполне «своим» не удавалось. Если в Петербурге Лев Иосифович подчеркивал свою «польскость» — в его доме читали польскую литературу, там часто звучала польская речь и польская музыка, в 1915 году он даже возглавил Общество польских экономистов и правоведов, — то в Варшаве все было наоборот: Петражицкий всячески демонстрировал свою принадлежность к русской культуре.

В то же время многие польские интеллектуалы относились к эмигранту с недоверием. Еще в 1906 году публицист В. Студницкий писал: «Профессор Петражицкий считает себя поляком, он уроженец окраин, воспитанник российских и немецких университетов, затем житель Петербурга, вовлеченный в научную, законодательную и политическую жизнь России; к Польше он невольно и неосознанно относится как доброжелательный иностранец. Он не знает Польши, ее ресурсов и сил, не сумел встать на позиции ее государственных интересов». С приходом к власти Ю. Пилсудского профессора отстранили от преподавания. Он тяжело болеет, страдая от сердечного недомогания. А помимо этого бедность, апатия... 15 мая 1931 года Лев Иосифович Петражицкий покончил жизнь самоубийством.

«Исполнительная власть
да покорится власти
законодательной!»

«Достаточно было взглянуть на этого стройного, красивого, всегда изящно одетого человека, с холодно-надменным лицом римского патриция и с характерным говором петербургских придворных, чтобы безошибочно определить среду, из которой он вышел... Все-таки он был, вероятно, холодным человеком не только внешне, но и внутренне, однако сильные эстетические эмоции заменяли ему теплоту и глубину чувств, и внутренне он был так же изящен, как и внешне» — так писал о В.Д. Набокове его коллега по партии кадетов и I Государственной думе князь В.А. Оболенский. Действительно, образ холодного и чуть надменного аристократа преследовал Набокова всю жизнь. Он и есть истинный петербургский аристократ: в его жилах текла кровь Назимовых, Корфов, Шишковых, а сам род, согласно семейному преданию, произошел от татарского князя Набока.

Владимир Дмитриевич Набоков родился 8 июля 1870 года в большой дворянской семье. У него было три брата и шесть сестер; Владимир родился седьмым. В 1878 году отца, Дмитрия Николаевича Набокова, назначили министром юстиции. Когда в 1885 году он вышел в отставку, журнал «Вестник Европы» — «флагман русского либерализма» — так охарактеризовал его деятельность: «Он действовал, как капитан корабля во время сильной бури: выбросил за борт часть груза, чтобы спасти остальное». Это знак благодарности: все же Набокову-министру удалось уберечь введенный при Царе-освободителе суд присяжных от происков ближайших сподвижников Александра III.

Детство В.Д. Набокова сложилось так, как и следовало детству сына министра: в окружении французских и английских гувернанток, немецких и русских учителей. В 1883 году Владимир поступил в столичную гимназию на Гагаринской улице. Уже в гимназические годы стремление первенствовать было в нем огромно. Его сын, В.В. Набоков, написал со слов отца: «Одной зимней ночью он, не справившись с заданной на дом задачей и предпочтя воспаление легких насмешкам у классной доски, выставил себя на полярный мороз в надежде, что его, сидящего в одной ночной рубашке у открытого окна (оно выходило на Дворцовую площадь с ее отглаженным луною столпом), свалит своевременная болезнь; наутро он был по-прежнему здоровехонек, зато незаслуженно слег учитель, которого он так боялся».

Окончив в 1887 году гимназию с золотой медалью, В.Д. Набоков поступил на юридический университет Санкт-Петербургского университета. 19 марта 1890 года сына бывшего министра юстиции задержали за участие в студенческих волнениях. Среди арестованных оказался также однокурсник Набокова, будущий публицист и член партии кадетов Н.М. Могилянский. Он вспоминал, как градоначальник П.А. Грессер разыскал Набокова-младшего, чтобы с радостью ему сообщить: «Ваш отец ждет вас к обеду». На это последовал вопрос: «А мои товарищи по аресту все будут отпущены домой?» Прозвучало смущенное «нет». «В таком случае я остаюсь обедать с моими товарищами». Через четыре дня всех освободили.

В 1891 году Владимир Дмитриевич окончил университет и продолжил образование в Германии, в Галле. Еще через год, по рекомендации профессора И.Я. Фойницкого, был оставлен на кафедре для подготовки к профессорскому званию. А в 1894 году он поступил на службу в Государственную канцелярию, где проработал до своей отставки в 1899-м. Вместе с тем уже в 1896 году, по инициативе видного на тот момент юриста, а впоследствии министра юстиции И.Г. Щегловитова, В.Д. Набоков получил профессорство в Училище правоведения. Молодой профессор уголовного права; камер-юнкер Высочайшего двора (с 1895 года); гласный Санкт-Петербургской городской думы; наконец, супруг представительницы богатого купеческого рода Рукавишниковых — казалось, судьба не уставала ему улыбаться. В.Д. Набоков обретал и научное имя: его избрали председателем русской секции Международного союза криминалистов и председателем уголовной секции Санкт-Петербургского юридического общества. И еще летний отдых в Италии или во Франции, традиционные поездки в Мюнхен на постановки опер Вагнера, шикарный петербургский особняк на Морской...

Морская, 47, — в самом центре столицы. Набоков с женой поселились здесь сразу после свадьбы, в ноябре 1897-го. Особняк купила еще невестой Елена Рукавишникова; через семь лет она подарила его мужу — очевидно, ради получения им ценза для участия в выборах. Здесь, в спальне на втором этаже, 10 апреля 1899 года у них появится сын Владимир (первый ребенок родился в 1898 году мертвым). Всего в семье Набоковых будет шестеро детей.

И в эту, в высшей степени благоустроенную, жизнь неожиданно врывается политика. Вероятно, для Набокова она началась в 1901 году, с работы над либеральным журналом-газетой «Право». И.В. Гессен позднее вспоминал, с каким предубеждением он и А.И. Каминка отреагировали на приглашение известного криминолога Набокова, «министерского сынка», в редакционный совет. Однако их ждал приятный сюрприз. «Продолжая цитату из гениального стихотворения великого поэта нашего, можно сказать, что как будто именно о Набокове написаны слова: „Фортуны блеск холодный не изменил души твоей свободной, все тот же ты для чести для друзей“, — констатировал И.В. Гессен. — Владимир Дмитриевич открылся

нам прекрасным товарищем, необычайно добросовестным работником, разносторонне образованным, с „элегантным“, по любимому выражению Петражицкого, публицистическим пером».

Впереди Союз освобождения, а затем и Конституционно-демократическая партия, одним из лидеров которой станет Набоков. П.Н. Милуков вспоминал, как странно выглядела фигура этого рафинированного аристократа с красавицей женой в скромной парижской квартире П.Б. Струве в период становления Союза освобождения. Однако в течение следующих почти двадцати лет В.Д. Набоков оставался неизменным участником подобных встреч и заседаний.

Именно в набоковском особняке 8 ноября 1904 года соберется земский съезд. В музыкальной гостиной подпишут резолюцию, где впервые открыто, на всю страну, будут заявлены конституционные требования. Неслучайно многие исследователи именно с этого события отсчитывают историю русской революции. На первом же съезде Конституционно-демократической партии Набокова избрали членом ее Центрального комитета. С 11 января по май 1906 года и с 11 марта 1907 года до лета 1914-го он — товарищ (заместитель) председателя ЦК; а с 8 октября 1906 года — глава Санкт-Петербургского отделения партии.

Заседания ЦК Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы) часто проходили в доме Набоковых. В.В. Набоков, обращаясь к своим детским воспоминаниям, описывал эти собрания так: «Около восьми вечера в распоряжение Устина (слуги Набоковых, как выяснилось, агента полиции. — К.С.) поступали многочисленные галоши и шубы. Похожий несколько на Теодора Рузвельта, но в более розовых тонах, появлялся Милуков в своем целлулоидном воротничке. И.В. Гессен, потирая руки и склонив набок умную лысую голову, вглядывался сквозь очки в присутствующих. А.И. Каминка, с иссиня-черными зачесанными волосами и выражением предупредительного испуга в подвижных, круглых карих глазах, уже что-то жарко доказывал однопартийцу. Постепенно переходили в „комитетскую“, рядом с библиотекой. Там, на темно-красном сукне длинного стола, были разложены стройные карандаши, блестели стаканы, толпились на полках переплетенные журналы и стучали маятником высокие часы с вестминстерскими курантами».

Общественная деятельность многое поменяла в жизни Набокова. После опубликования им в журнале «Право» статьи «Кишиневская кровавая баня» (о еврейском погроме в Бессарабии) он был лишен права преподавать в Училище правоведения. А в январе 1905 года — и звания камер-юнкера. На этот раз причиной стало «недостойное поведение» на обеде гласных городской думы 7 января. Это был сугубо товарищеский обед, не имевший официального статуса. Неожиданно пришла новость, что во время крещенских празднеств, в которых принимал участие Николай II, традиционный салют из Петропавловской крепости оказался с картечью. Император, к счастью, не пострадал. Как вспоминал Н.И. Кареев, «известие это пришло, когда выпито было довольно много вина, что придало

начавшейся в зале монархической демонстрации прямо неистовый характер. Сообщив о происшествии, хозяин (городской голова Делянов. — К.С.) предложил тост за царя в таких холопских выражениях, что без всякого уговора мы трое (Кедрин, Набоков и я) не сочли для себя возможным к нему присоединиться и не встали со своих мест. „Ну что же это вы, господа?“ — добродушно покачал головой гласный городской думы, генерал П.П. Дурново. На это последовал ответ Набокова: „Мы были приглашены на товарищескую трапезу, а не для политической демонстрации“.

До созыва I Думы, по решению ЦК партии кадетов, В.Д. Набоков, совместно с Ф.И. Родичевым и Ф.Ф. Кокошкиным, занимался разработкой законодательства в сфере национального вопроса, в марте — июне 1906 года принимал участие в переговорах с министром внутренних дел о легализации партии, был соредактором кадетских изданий — газеты «Речь» и журнала «Вестник партии Народной свободы». И «Речь», и «Вестник» регулярно публиковали Набокова: на их страницах он выступал по программным и тактическим установкам партии.

Показательна в этом отношении статья «К вопросу о бойкоте Думы», вышедшая 5 марта 1906 года в «Вестнике». Разумеется, Набоков, как и его коллеги по партии, доказывал бессмысленность тактики бойкота первого народного представительства. Завершением же служило весьма любопытное рассуждение: «Но главная задача партии, создаваемая ее решением идти в Думу, — еще впереди. Если бы наша деятельность исчерпывалась стремлением в Думу и работой там, мы бы заранее обрекли себя на малозначительную и несущественную роль. Главной нашей задачей остается все-таки организация общественных сил и общественного мнения на почве наших программных лозунгов и требований. Только при условии деятельной работы и успехов в этом направлении становится возможной и целесообразной та деятельность в Думе, которую мы ожидаем от членов нашей партии. И наоборот, эта деятельность должна быть наиболее ярким и наиболее действительным проявлением организованных общественных сил. Не узурпируя ничьих прав, не вступая ни в какие компромиссы и не ослабляя ничьих боевых рядов, наша партия идет в Думу для того, чтобы положить конец бюрократическому самовластию и добиться всеобщего избирательного права». В этих строках, в сущности, и заключается вся тактика кадетов в перводумский период. Дума, формирующаяся в самодержавной России, одним фактом своего существования и успешной работы должна разрушить сдавливающие рамки прежнего режима и создать новое право. Не будучи формально Учредительным собранием, Дума призвана сыграть его роль. Залог ее успеха — общественное мнение, которое формирует правосознание и, соответственно, само право. Иными словами, Дума должна сломать прежнюю систему изнутри, прорасти, как цветок, сквозь асфальт бюрократического самодержавия.

Естественно, выборы в I Думу находились в центре внимания кадетов. Кампания велась на высоком эмоциональном подъеме. «Выбрали!» — с этими словами В.Д. Набоков ворвался в гостиную С.М. Ростовцевой,

«Исполнительная власть да покорится власти законодательной!»

которая вела агитацию в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. По словам коллеги по партии А.В. Тырковой, «он был в таком восторге, что не только не дождался, чтобы горничная о нем доложила, но даже забыл снять грязные калоши и перепачкал дорогой, светлый ковер Ростовцевых».

В Думе Набоков — знаменитость, невольно фокусирующая на себе внимание. По прошествии десяти лет первоудмеец Н.А. Огородников, описывая открытие народного представительства, вспоминал: «Останавливает на себе внимание интересная, безукоризненно изящная фигура петербургского депутата В.Д. Набокова, европейца-парламентария до кончиков ногтей. Странное впечатление должен был бы производить этот талантливый молодой ученый и выдающийся общественный деятель в мундире камер-юнкера, который только в 1904 году за участие в освободительном движении был им утрачен».

В.Д. Набоков активно включился в думскую жизнь. Одним из первых подписал законопроекты «О замене ст. 55–57 Учреждения Государственной думы» (об изменении порядка внесения законопроектов депутатами), «О печати»; его подпись стояла первой под законопроектом «О неприкосновенности членов Государственной думы». И наконец, он был одним из штатных ораторов фракции: 2 июня 1906 года выступал о погроме в Белостоке, 8 июня — о погроме в Вологде, 19 июня — о необходимости отмены смертной казни. Если учесть, что именно Набоков выступил с ответным словом после речи министра юстиции И.Г. Щегловитова, то единогласную поддержку Думой законопроекта об отмене смертной казни можно считать его личным успехом. Год спустя в сборнике, посвященном кратковременному существованию первого народного представительства, Набоков опубликует статью об этой инициативе депутатов: «19 июня I Государственная дума единогласно вотировала отмену смертной казни. 9 июля она была распущена. 20 августа были учреждены военно-полевые суды. До середины декабря по их приговорам было казнено более пяти-сот пятидесяти лиц, в том числе и множество несовершеннолетних. Так ответило правительство первым народным представителям».

На счету В.Д. Набокова множество и менее значимых выступлений: реплик, дополнений, комментариев; всего двадцать восемь раз выходил он на трибуну I Государственной думы. Но самая известная его речь произнесена 13 мая 1906 года: сразу после зачитания декларации правительства, после того как председатель Совета министров И.Л. Горемыкин отверг мысль о компромиссе с депутатами по ключевым вопросам, которые были обозначены в думском адресе, направленном царю. «Мы усматриваем в этом вызов, и мы этот вызов принимаем, — заявил оратор. — Мы думаем, что вся страна с нами, когда мы говорим, что та политика половинчатых уступок и недоговоренных слов, которых мы были до сих пор свидетелями, что она составляет разложение начал государственности, и она подточила уже народные силы». Набоков усомнился в возможности совместной работы с правительством, если Совет министров просто не желает слышать «голос народа», заявленный депутатами. И произнес

под конец хрестоматийные слова: «Мы полагаем, что выход из этого положения может быть только один: раз нас призывают к борьбе, раз нам говорят, что правительство является не исполнителем требований народного представительства, а их критиком и отрицателем, то, с точки зрения принципа народного представительства, мы можем только сказать одно: исполнительная власть да покорится власти законодательной». И, как много лет спустя вспоминала А.В. Тыркова, «бросив этот вызов, Набоков под гром аплодисментов, несмотря на некоторую раннюю грузность, бежал по ступенькам думской трибуны, украдкой посылая очаровательные улыбки вверх, на галерею, где среди публики бывало немало хороших женщин».

В.Д. Набоков — один из популярнейших членов фракции кадетов. На заседании санкт-петербургской группы партии кадетов именно за него было подано больше всего голосов как за кандидата в депутаты Государственной думы. И не случайно 28 июня 1906 года, во время беседы депутата-октябриста П.А. Гейдена с П.Н. Милюковым относительно возможного формирования кадетского правительства, Милюков назвал лишь две кандидатуры на пост министра юстиции из членов Государственной думы: И.И. Петрункевича и В.Д. Набокова. Впоследствии П.Н. Милюков вспоминал: на переговорах, которые он вел в это время с представителями власти, выяснилось, что двор скорее согласится с аграрной программой Партии народной свободы, нежели пойдет на назначение В.Д. Набокова министром юстиции. Впрочем, один из «переговорщиков» со стороны властей, дворцовый комендант Д.Ф. Трепов, соглашался на эту кандидатуру.

Все эти переговоры шли, когда прежний оптимизм и воодушевление сменились уже усталостью и апатией. Два года спустя Владимир Дмитриевич писал: «Да, то было тяжелое, мучительное время. Припоминаю, как нередко в ранние утренние часы после продолжительного вечернего заседания фракции, дневного бурного и напряженного думского заседания и утренней кропотливой работы в комиссии я выходил из дворца (Таврического. — К.С.), чтобы через несколько часов в него возвратиться. Май и июнь в тот год были исключительно прекрасны, и в ранние утренние часы садик перед дворцом сладко и приятно благоухал. Проезжая по светлым, пустым и сонным улицам, по набережной царственной Невы, особенно грандиозной в это время, я, помню, постоянно терзался одной мыслью: все наши труды напрасны, вся эта уйма усилий и работы пропадет даром, враждебные силы только притаились, ждут благоприятного момента, и когда они его выберут, нам нечего будет противопоставить им, кроме сознания своей правоты и исполненного долга».

9 июля 1906 года... На дверях Таврического дворца — замок. Столь будничным роспуск Думы не предполагал трагических интонаций из времен Французской революции. «Думая предотвратить грозу, они разбили барометр» — так в письме к брату Константину В.Д. Набоков охарактеризовал действия правительства в связи с роспуском Думы. Следовало решить, куда направить стихию, грозившую стать неуправляемой. Депута-

«Исполнительная власть да покорится власти законодательной!»

ты кадетской фракции собрались на квартире И.И. Петрункевича. Среди участников совещания — Набоков. Именно на этом собрании и была разработана концепция будущего Выборгского воззвания. Примечательно, что бывший камер-юнкер после роспуска Думы выступал с крайне радикальных позиций. Так, на заседании ЦК 5 сентября 1906 года он настаивал на последовательном осуществлении мер, предложенных в Выборгском воззвании; призывал не бояться репрессий, так как ореол мученичества лишь придаст силу партии; отрицал возможность диалога с правительством. 7 сентября В.Д. Набоков поставил перед партией задачу: возглавить национальное движение и для этого энергично действовать, а не ограничиваться лозунгами.

За подписание Выборгского воззвания суд приговорил В.Д. Набокова к трехмесячному заключению. 14 мая 1908 года за ним захлопнулись ворота «Крестов». На противоположном берегу Невы остались семья, родной дом, Таврический дворец. Купол дворца можно было увидеть из камеры, если встать на табурет. «Теперь там „торжество победителей“, а здесь, на правом берегу Невы, уготовано место для побежденных, — рассуждал заключенный, — и все же я, по совести говоря, не поменялся бы с этими „победителями“ ролями». В.В. Набоков так описывал эти дни: «Спустя года полтора после Выборгского воззвания (1906) отец провел три месяца в Крестах, в удобной камере, со своими книгами, мюллеровской гимнастикой и складной резиновой ванной, изучая итальянский язык и поддерживая с моей матерью незаконную корреспонденцию (на узких свиточках туалетной бумаги), которую переносил преданный друг семьи А.И. Каминка».

За время заточения В.Д. Набоков разработал ряд рекомендаций для будущих сидельцев «одиночек». Во-первых, в отведенном пространстве следует «создать уют». Оказавшись в камере, он прежде всего аккуратно разложил вещи, расставил книги, письменные принадлежности, накрыл салфетками и полотенцами стол, табурет, отхожее место. Во-вторых, нельзя находиться в праздности. Поэтому он немедленно приступил к составлению расписания своих работ, которому жестко следовал: в 5 утра вставал, умывался, одевался, читал прежде мало знакомую ему Библию. В 6 часов в тюрьме раздавался звонок, и начиналась «процедура парашечников». Около 6:30 — разнос кипятка. С 7 до 9 часов Набоков занимался итальянской грамматикой. В 9:00 — завтрак (обычно молоко и хлеб). С 9 до 12 — чтение литературы по уголовному праву. При этом с 7 до 10 утра в разное время (в зависимости от смены) имела место непродолжительная прогулка. С 12:00 можно было уже ждать обеда. В 13:30 Набоков садился писать. А в 16:00 наступало время мюллеровской гимнастики, обливаний в резиновой ванне. После этого заключенный приступал к серьезному чтению по истории или философии. В 18:00 — ужин, а потом до 21:00 — опять чтение, но уже легкое, преимущественно по-итальянски. В 21:00 Владимир Дмитриевич прибирал постель, отмечал на стене прошедший день и в 21:30 шел спать. И так три месяца...

После освобождения плотность жизни В.Д. Набокова не снизилась: он продолжал редактировать «Речь» (по словам сына, в газете он проводил ежедневно по девять часов) и «Право», участвовал в заседаниях ЦК и санкт-петербургской группы партии кадетов. Продолжали выходить и его научные труды. Например, в 1910 году была опубликована работа «Дуэль и уголовный закон», в которой убедительно доказана анахроничность этого явления. По мнению автора, государство могло бы легко свести дуэли на нет, определив суровые наказания за личные оскорбления и учредив столь необходимые «суды чести». Книга заканчивается следующим пассажем: «Пусть с этого дикого и отвратительного обычая будет сорвана мантия красивых слов и снят ореол якобы возвышенных мотивов, его укореняющих. И когда оно предстанет перед нами в своем истинном виде, в своей безобразной наготе, от него отшатнется каждый, в ком живо этическое чувство и кто внемлет голосу разума».

Но буквально через год самому Набокову пришлось требовать сатисфакции. Газета «Речь» обвинила некоего Снесарева во взяточничестве. В ответ тот опубликовал в «Новом времени» статью, прозрачно намекнув, что редактор «Речи» сам не бескорыстно женился на Рукавишниковой. Не желая иметь дела со Снесаревым, В.Д. Набоков вызвал на дуэль редактора «Нового времени» М.А. Суворина. Однако последний предпочел извиниться и опубликовать опровержение в своей газете. (В 1913 году за журналистскую деятельность В.Д. Набоков был подвергнут судебному преследованию: на него наложили штраф в размере 100 рублей за «не подобающие» корреспонденции из Киева по «делу Бейлиса».)

Но как бы ни были насыщены будни Набокова, какую бы активную жизнь он ни вел, оптимизм времен I Думы остался далеко позади. «Все поблекло, прежде всего Государственная дума, которая вселяет глубокое разочарование даже у людей, симпатизировавших октябристам, — писал он И.И. Петрункевичу 26 октября 1908 года. — А между тем нет и тени надежды, чтобы этому бессилию пришел конец. Напротив. И так тянется по-будничному жизнь „граждан“, превращающихся постепенно в „обывателей“. Чувствуется, что только новый толчок может сдвинуть нас с места, но этот толчок нам обойдется слишком дорого, будет стоить бесчисленных жертв».

С июля 1914 года, в качестве офицера ополчения, В.Д. Набоков был мобилизован и вместе с Новгородской дружиной (а с 1915-го — Тихвинским полком) служил в Старой Руссе, затем в Выборге, а с мая 1915 года — в Гайнаше на Рижском заливе. В сентябре 1915-го его перевели в Петроград делопроизводителем в Азиатскую часть Главного штаба. В период войны Набоков вынужденно отошел от партийных дел: офицер не имел права на активную политическую деятельность. Оставались лишь воскресные собрания на квартире И.В. Гессена. Правда, в феврале — марте 1917 года, в составе делегации представителей русской периодической печати Набоков отправился в Англию, где представлял кадетский официоз «Речь». Помимо него, в делегацию входили: Е.А. Егоров («Новое время»), В.И. Не-

«Исполнительная власть да покорится власти законодательной!»

мирович-Данченко («Русское слово»), граф А.Н. Толстой («Русские ведомости»), К.И. Чуковский («Нива»), А.А. Башмаков («Правительственный вестник»). Редакторы и журналисты ведущих изданий встречались с королем, министрами, парламентариями, общественными деятелями. Владимир Дмитриевич не был бы собой, если бы этим и ограничился. В воюющих Лондоне и Париже он посещал театры и музеи, ходил на концерты и очень переживал из-за отсутствия оперных представлений. Очерки из жизни столиц союзных держав регулярно появлялись на страницах «Речи», а по возвращении домой Набоков издал целую книгу — «Из воюющей Англии».

Февральская революция 1917 года вознесла В.Д. Набокова вместе с его партией на новую высоту. Это оказалось для него тем более неожиданно, что за время службы делопроизводителем он, в сущности, отдалился от политики. Сами февральские события впоследствии вспоминались ему сумбурной сменой впечатлений: он тогда не знал в точности, что происходит и что из этого выйдет. 3 марта 1917 года, отказавшись от поста финляндского генерал-губернатора, Набоков принимает должность управляющего делами Временного правительства (и занимает ее до апрельского кризиса); в тот же день, совместно с Б.Э. Нольде и В.В. Шульгиным, составляет акт об отречении великого князя Михаила Александровича. Участвует также в работе Юридического совещания и Комиссии по пересмотру и введению в действие Уголовного уложения.

1917 год потребовал от многих переоценки прежних взглядов, порой объединяя по ключевым вопросам левых и правых и в целом обесмысливая подобное деление. Так, уже весной Набоков приходит к выводу о необходимости выхода России из войны, о чем открыто говорит П.Н. Милюкову. Если к этому присовокупить тот факт, что в ходе апрельского кризиса он высказывался в пользу коалиции кадетов с эсерами и меньшевиками, можно сделать вывод, что Набоков представлял левое крыло партии. В то же время 2 сентября на заседании городской думы он же, будучи принципиальным противником смертной казни, произнес целую речь в ее защиту в случае выявления антивоенной пропаганды. А на Государственном совещании в августе 1917 года поддержал основные требования главнокомандующего Л.Г. Корнилова. Это вполне согласовывалось с общим настроем В.Д. Набокова — принципиального сторонника либеральной демократии западноевропейского типа, выступавшего за военную диктатуру ради спасения государственности.

Корниловское выступление, как известно, закончилось неудачей. Набоков искал иные способы выхода из политического тупика. Он был одним из инициаторов образования нового совещательного учреждения — Предпарламента и в октябре 1917 года вошел в его состав от кадетской партии. А вскоре пополнил еще одно коллегиальное учреждение — Комитет спасения Родины и Революции при городской думе Петрограда. Это случилось уже после прихода большевиков к власти. Истинный петербуржец доживал последние дни в Северной столице. 23 ноября Набокова, как члена Комиссии по выборам в Учредительное собрание, арестовали

и препроводили в Смольный. Там его держали под арестом до 27 ноября. На следующий день, по настоянию знакомых, Набоков отправился на юг, к семье, не имея возможности воспользоваться последней своей победой на выборах — в Учредительное собрание по Петрограду. А 29 ноября был опубликован декрет Совета народных комиссаров, ставивший партию кадетов вне закона.

С ноября 1917 года Набоков практически целый год прожил вместе с семьей в Гаспре, в крымском имении графини С.В. Паниной, падчерицы одного из основателей Конституционно-демократической партии — И.И. Петрункевича. Периодически ему приходилось ездить в Симферополь, так как с 15 ноября он — министр юстиции Крымского краевого правительства (одним из его лидеров был другой кадет-перводумец М.М. Винавер). А 2 апреля 1919 года Набоков вместе с семьей эмигрировал в Лондон. По пути были Стамбул, Пирей, Марсель, Париж, Гавр... В Гавре Е.И. Набокова послала сына со своим кольцом к ювелиру. Ее драгоценности оставались последним семейным достоянием. Правда, ювелир с подозрением отнесся к отощавшему молодому человеку с дорогой вещью в кармане и вызвал полицию...

В Лондоне В.Д. Набоков совместно с П.Н. Милюковым издавал журнал «New Russia». В ноябре 1920 года переехал в Берлин, где вместе с И.В. Гессеном редактировал газету «Руль». Он очень остро отреагировал на попытку Милюкова коренным образом изменить тактику кадетов: идея альянса конституционных демократов с социалистами была ему глубоко чужда. На заседании Берлинской группы Партии народной свободы 23 августа 1921 года он говорил так: «По любому вопросу практической политики сторонники Милюкова и мы смотрим различно. Нам нельзя приветствовать революцию, так как революция разрушила Россию, растлила народную душу, сделала из нас изгнанников. Мы остаемся противниками самодержавия и той куцей конституции, которая была до 1917 года, но мы отрицаем и отрицаем революционные пути, и теперь мы ясно увидели, к чему они приводят. В этом основа нашего разногласия».

28 марта 1922 года в газете «Руль» появилась последняя статья В.Д. Набокова: «Сегодня в Берлин приезжает П.Н. Милюков, выступающий с лекцией на тему „Америка и восстановление России“. Те тактические разногласия, которые в свое время провели грань между нами и нашим старым товарищем и руководителем, и теперь еще не устранены. Он выступает в Берлине под флагом демократической группы партии народной свободы, напоминаям и о существовании этой грани, и о том, сколько в ней условного, временного, случайного, непринципиального». Набоков протянул руку Милюкову — они встретились как старые приятели. На лекции Милюкова Набоков сидел в первом ряду Берлинской филармонии. А Милюков, по его собственным словам, идя на трибуну, думал, как бы смягчить выражения, чтобы не обидеть товарищей по партии.

Выступление закончилось. Милюков уже собирался спуститься с трибуны, как из зала раздался выкрик: «Я мщу за царскую семью!» Последо-

«Исполнительная власть да покорится власти законодательной!»

вали три выстрела — Милюков остался невредим. Тогда началась беспорядочная стрельба: монархисты П. Шабельский-Борк и С. Таборицкий (а именно они и были террористами) испуганно стреляли во все стороны. Зал охватила паника. Набоков бросился на одного из стрелявших, схватил за руку, повалил. Раздался еще выстрел... Набоков погиб, прикрывая грудью старого товарища.

Владимира Дмитриевича Набокова похоронили через три дня под Берлином, на кладбище в Тегеле. Некрологами откликнулись на его смерть И.А. Бунин, А.И. Куприн, Д.С. Мережковский. А через две недели в газете «Руль» вышло стихотворение «Пасха»:

Я вижу облако сияющее, крышу
блестящую вдали, как зеркало... Я слышу,
как дышит тень и каплет свет...
Так как же нет тебя? Ты умер, а сегодня
сияет влажный мир, грядет весна Господня,
растет, зовет... Тебя же нет.

Но если все ручьи о чуде вновь запели,
но если перезвон и золото капли —
не ослепительная ложь,
а трепетный призыв, сладчайшее «воскресни»,
великое «цвети», — тогда ты в этой песне,
ты в этом блеске, ты живешь!..

Это стихотворение было посвящено смерти отца, и его автором был В.В. Набоков.

ВАСИЛИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
МАКЛАКОВ

«Счастье и благо
личности скажут нам,
куда направить развитие
общества...»

Еще в эмиграции о Василии Алексеевиче Маклакове было справедливо сказано, что само его имя покрывает своим блеском общественную и политическую культуру России. Непревзойденный адвокат, которого ходили слушать, как ходили на Собинова и Шаляпина, прославившийся на весь мир искусной защитой на процессе Бейлиса, лучший оратор II, III, IV Государственных дум, член ЦК кадетской партии, посол Временного правительства во Франции, замечательная и незаменимая фигура русской эмиграции, автор прекрасно написанных книг, мемуаров и множества статей. Даже в сравнении с П.Н. Милюковым, признанным лидером кадетской партии, он во многом выигрывал. «В Маклакове, — писала член кадетского ЦК Ариадна Тыркова, — было больше блеска, он был талантливее, обаятельнее. Его политический анализ был тоньше и своеобразнее».

Ораторский дар Маклакова производил одинаково сильное впечатление и на русских, и на иностранцев. Магию его дара увлекать своих слушателей испытали на себе Ллойд-Джордж, Клемансо, Вильсон, Орландо, Вивiani и многие другие выдающиеся политики своего времени. Маклакова не зря окрестили «златоустом» и «сиреной»: тайна его красноречия, по мнению некоторых современников, скрывалась в чеканной, изящной в своей простоте разумности, в убедительности рассуждения, в удачных сопоставлениях, в выводах, поражающих спокойствием своей логики. Эта логика была одной из форм проявления его необычайно сильного и гибкого ума.

Наверное, всю долгую, 88-летнюю жизнь Маклакова (1869–1957) можно считать одной большой удачей, а его самого — баловнем судьбы. Уже в юности его считали «идеально талантливым человеком». Он хорошо рисовал, писал стихи, увлекался театром и сам играл на сцене. Был обаятельным и неотразимым кавалером, «донжуанский» список которого мог бы поспорить с пушкинским не только своей обширностью, но и именами дам, известных всей России.

«Эстетик» до мозга костей, впечатлительный, тонко и глубоко чувствующий человек, Маклаков был в то же время и сильной, целеустремленной личностью. Благодаря своим талантам, профессиям историка, юриста, политика, он всю жизнь провел в среде известнейших людей России.

На формирование независимости и свободомыслия Маклакова оказал большое влияние его отец — Алексей Николаевич Маклаков, известный московский профессор-офтальмолог, приверженец Великих реформ, а также либерально настроенные друзья отца, активно работавшие в органах городского и земского самоуправления. Впрочем, в той же атмосфере вырос и брат Василия — Николай Алексеевич Маклаков, будущий министр внутренних дел, член Государственного совета, любимец Николая II. Василий Алексеевич невысоко ставил брата как министра, пустив гулять по России убийственное определение: «государственный младенец». К слову сказать, к другому брату, Алексею, и к четырем сестрам он относился всегда с трогательным вниманием и любовью.

Ранние дневники Маклакова свидетельствуют о том, что уже к двадцати годам он выработал основы своего либерального мировоззрения. Рассуждая о «самом важном», о цели, назначении, благе общества, он подчеркивал, что главное — это «независимость и свобода личности». «Общество и власть для личности, а не наоборот», «счастье и благо личности... скажут нам, где прогресс, то есть куда нужно направить развитие общества». Истина, по Маклакову, есть то, что дает «спокойствие и счастье людей»: «Идея государства, отождествленная с идеей о свободе... Идея экономическая — с идеей равенства. Решение этих двух вопросов и есть то, что составит счастье людей». Будущее России определяется законами истории, которые, будучи общими для всех государств, «приведут и нас к общему с ними состоянию».

Уже в юности он провел «четкий водораздел» между собой и революционерами: «Знамя, которое поднимал Герцен, еще не было запачкано грязными руками; он был свободен, и это было самое важное». Теперь это знамя «успели вывалить в грязи», а молодой Маклаков не хотел быть «сообщником радикалов». Но и примыкать к кому бы то ни было он явно не желал: «Начиная дорогу во имя свободы, я лишь меняю господина. Ужасно и обидно думать, что кто-нибудь, какая-нибудь партия будет считать меня своим, будет изъяслять претензию на мою волю, на мои действия».

Поездка во Францию в 1889 году очень укрепила его в этих мыслях. Вообще он был в восторге от Франции: «Счастливейшие до сих пор минуты — это месяц, который я провел в Париже». Этот город очаровал его, оставил глубокий след в его биографии: сюда он часто приезжал; здесь в 1905 году он вступил в масонскую ложу; здесь был послом Временного правительства, а потом прожил всю вторую — эмигрантскую — половину жизни.

Но главное, тогда, в 1889 году, Франция в один месяц сделала для него то, чего и в несколько лет не достиг бы он в России. В тот год французы широко отмечали 100-летие своей Великой революции. И Маклаков, по его словам, «наслушался первоклассных ораторов и начитался речей Мирабо». С того времени и возник у него культ Мирабо, которому он остался верен до старости. Он считал единственно правильной основную политическую линию Мирабо: «сговариваться с властью» и проводить законода-

тельным путем то исторически необходимое, что иначе, без этого, ломая законы и устои, все уничтожая на своем пути, будет пытаться сделать революция.

Уже со студенческих пор Маклаков начал общественную деятельность, вдохновляясь либеральными идеями. В 1891 году на грандиозном собрании университетской молодежи он выступил с первой в его жизни большой политической речью, в которой говорил о необходимости участия студентов в борьбе с голодом и о помощи бедным студентам. Речь встретили «такими аплодисментами и криками», писал позже Маклаков, что «на другой день я по всему университету был прославлен оратором». Но власть продолжала бороться с зародышами самоуправления в обществе, в том числе и в студенческой среде. Маклаков не раз отлучался властями от университета и даже отсидел несколько дней в Бутырской тюрьме.

Годы учения Маклакова в университете — это и поиски своего призвания, своего места в жизни. Сначала он поступил на естественный факультет, потом закончил историко-филологический, а затем экстерном — юридический. На историческом он с увлечением занимался под руководством знаменитого мэтра — профессора П.Г. Виноградова. И главным здесь для него было знать не только факты истории, но и их «внутренний смысл». Он особенно пытался понять начало XVII века, Смутное время — «время всеобщего расхищения Руси...».

Закончив исторический факультет, Маклаков, несмотря на уговоры Виноградова, других профессоров и своих друзей, делает решительный поворот в своей судьбе, экстерном «взяв» юридический факультет. На подготовку к экзаменам он потратил всего лишь несколько месяцев. Работал он одержимо. В комнате его на видном месте висел плакатик: «Гостей прошу более двух минут не сидеть». Благодаря своей феноменальной памяти, уму, знанию иностранных языков он глубоко и быстро разобрался в юридической литературе и, несмотря на первоначальный скепсис некоторых экзаменаторов, блестяще сдал экзамены.

Решение стать адвокатом было у Маклакова выношенным и серьезным. Главное зло русской жизни он видел в безнаказанном господстве в ней произвола, беззащитности человека против усмотрения власти, в отсутствии правовых оснований для самозащиты. Защита человека против беззакония, иначе, защита самого закона и была содержанием общественного служения адвокатуры. Маклаков допускал, что закон может быть несправедлив, но долг адвоката — обнажать это, хотя не в его власти закон изменить. Суд толкует законы, но он не может их толковать так, чтобы они противоречили праву. Право же есть норма, основанная на принципе одинакового порядка для всех. В торжестве «права» над «волей» — сущность прогресса. В служении этому — назначение адвокатуры.

В 1896 году он записался помощником присяжного поверенного А.Р. Ледницкого, но фактически сразу же стал работать вместе с всероссийской знаменитостью Ф.Н. Плевако. А.Ф. Кони в письме к патриарху российского либерализма Чичерину называл молодого Маклакова «ум-

«Счастье и благо личности скажут нам, куда направить развитие общества...»

ным защитником», «серьезным и сердечным», который в ряде случаев «уместнее Плевако». Даже близким Плевако он как адвокат «нравился больше». В 1901 году Маклаков стал присяжным поверенным. Они часто выступали на процессах вместе. Маклаков высоко ценил адвокатский дар Плевако и после его смерти написал о нем брошюру, в которой филигранно проанализировал его творчество. Многие в ней можно отнести и на счет самого Маклакова, хотя как адвокаты, ораторы они были очень своеобразны и неподражаемы.

Слава Маклакова между тем все росла. Он вел немало вероисповедных, «общественных» и политических дел, полагая, что защищать, оставаясь в рамках закона и приличия, было возможно. И это ему удавалось великолепно. Подзащитные Маклакова высоко ставили его профессионализм, всегда верили в его «благородное и доброе сердце». Его высочайшая профессиональная компетентность подтверждается частым появлением его статей в солидных юридических изданиях и его перепиской с выдающимися специалистами в сфере юридической науки и практики — С.А. Зарудным, В.Э. Вормсом и др.

Его адвокатское искусство особенно впечатляюще проявилось в самом громком процессе начала XX столетия — деле Бейлиса. Маклаков начал свою речь так: «Нам говорят, что на этот процесс глядит весь мир, а мне хотелось бы забыть про это и говорить только с Вами, господа присяжные заседатели». И он говорил так просто и убедительно, что присяжные, хорошо поняв провокационную подоплеку дела, оправдали Бейлиса.

В ходе процесса на Маклакова с разных сторон оказывалось давление. Черносотенцы угрожали: «Пока не поздно, бросьте это грязное дело». Но его и поддерживали. А сразу же после процесса посыпались поздравления. М.А. Стахович прислал телеграмму: «Обнимаю. Чудная, главное, умная речь, убийственная прокуратуре, срамникам, руководившим обвинением». Прислали депеши Д.Н. Шипов, И.И. Петрункевич, другие лидеры российского либерализма. Маклакову писали и простые люди, рабочие, крестьяне. А в послании духовного правления Главной хоральной синагоги в Ростове-на-Дону было подчеркнуто: «Дело Бейлиса, которое Вы так героически защищали, это дело всего мыслящего человечества. Вы были наиболее ярким, наиболее могучим выразителем лучшего и наиболее роднейшего, что есть в этом человечестве, что вылилось так сильно, так стихийно, так величественно-прекрасно в Вашей талантливой защите».

В качестве адвоката либерал Маклаков выручал из беды и революционеров, например видного большевика Л.Б. Красина. Но делал он это отнюдь не во имя успеха революции: «Мне приходилось в судах защищать революционеров-фанатиков, которые ставили ставку против власти на Ахеронт (хаос, силы тьмы, революцию. — В.Ш.), — признавал он. — Я уважал их героизм, бескорыстие, готовность жертвовать собой и для других, и для дела; я мог искренне отстаивать их против жестокости и беспощадности репрессий государственной власти, тем более что она часто на них вымещала свои же грехи и ошибки. Но я не мог желать победы для них, не

хотел видеть их в России... властью, вооруженной тем произволом, против которого они раньше боролись и который они немедленно восстановили бы под кличкой революционной законности, и даже революционной совести».

С 1907 и вплоть до 1917 года В.А. Маклаков был членом Государственной думы. Думская работа стала его второй и главной профессией, отодвинувшей на задний план адвокатуру. Москва трижды избирала его в Государственную думу. Его политическая деятельность широко освещалась в печати того времени. Нередко и он сам выступал со статьями на страницах газет и журналов. Некоторые его публикации имели огромный резонанс в стране. Принимал он участие и в закулисных, скрытых от взоров широкой публики политических комбинациях, порой стоял в самом их эпицентре, особенно уже на «излете» истории российской монархии. И в любом политическом действии он руководствовался «принципом Мирабо» — оставался до конца верным идее эволюционного прогресса, компромиссу с исторической властью. Поступал он так не только в силу своих общетеоретических и общечеловеческих представлений об эволюции как магистрали цивилизации, но и учитывая конкретную специфику России, политическую незрелость ее общества и нестабильность страны, чреватые революцией, которой Маклаков откровенно боялся из-за той громадной цены, которую пришлось бы платить за нее России, выбитой из колеи нормального развития.

После катастрофы 1917 года, несмотря на, казалось бы, полное поражение российского либерализма, Маклаков только укрепился в своей приверженности либеральным идеям. В послебольшевистском будущем России Маклаков самое видное место отводил либерализму. Он особо отмечал, что «роль либеральных идей в России еще не сыграна и что выйти из той пропасти, куда столкнули Россию, вернуть ее к прежнему уровню можно только через них».

Главный исторический грех самодержавия, роковая ошибка старого строя, по словам В.А. Маклакова, состояли в том, что этот режим не сумел оценить истину, блестяще высказанную Бисмарком: сила революционеров не в идеях их вожakov, а в небольшой дозе умеренных требований, своевременно неудовлетворенных. По Маклакову, не без греха было и российское общество, от предпринимателей до интеллигенции, не исключая и лидеров кадетской партии, которые зачастую, из тактических соображений, игнорировали то, что «русское общество и народ своей политической зрелости еще не доказали».

Маклаков иначе, чем руководство его партии, относился к выбору средств политической борьбы, «желательности и возможности у нас революции». Он считал революцию «не только несчастьем, но и очень реальной опасностью». По его мнению, если революционный хаос вырвется наружу, то остановить его будет нельзя: в стране, столь насыщенной застарелой враждой, незабытыми старыми счетами мужика и барина, в стране, политически и культурно отсталой, падение исторической вла-

«Счастье и благо личности скажут нам, куда направить развитие общества...»

сти, насильственное разрушение привычных государственных скреп не могли не перевернуть общества до оснований, не унести с собой всей старой России.

Считается, что и сам Маклаков в начале своей общественной деятельности увлекался радикализмом. В январе 1901 года в Московском художественном кружке он произнес фразу, облетевшую Первопрестольную: «Если власть не умеет быть мыслью, то мысль должна быть властью». От административного «внушения» российского Мирабо спасло только то, что его красноречие списали на Татьянин день. В 1902 году он выступил в Звенигороде с еще одной радикально-антиправительственной речью (в связи с работой виттевского Особого совещания о нуждах аграрной промышленности), прошумевшей на всю Россию. Был он причастен и к работе издававшегося за границей журнала «Освобождение», ратовавшего за немедленные реформы.

Но во всех случаях симпатии Маклакова явно были на стороне тех, кто выступал за прочную конституцию. Умеренно либеральный характер кружка «Беседа» — неформального центра земской деятельности в стране — более всего отвечал самому складу его личности и мировоззрения. «Собеседники» импонировали ему прежде всего тем, что «будущее России представляли только в развитии существовавшего строя, а не в переворотах». Он считал, что при всех своих несовершенствах местные учреждения были «зачатками народовластия», а потому — «шагом к будущему конституционному строю». Он очень сожалел, что земцы в 1905 году подчинились «свободолюбивым, бескорыстным, но неопытным интеллигентам-теоретикам», и называл это «исторической трагедией».

Манифест 17 октября он воспринял с удовлетворением и не желал дальнейшей эскалации событий. В этом он расходился с П.Н. Милюковым, который полагал, что с объявлением Манифеста, а потом и Основных законов в стране «ничего не изменилось» и потому «борьба продолжается». По Маклакову, это был явный «перебор», «оглядка налево», где считали, что Манифест — лишь «первая брешь в самодержавии». Сам он полагал, что Основные законы «были настоящею конституцией и делали впервые правовое государство возможным».

Маклаков никогда не разделял мнение кадетских радикалов о том, что успех партии — в ее левизне, что к ней привлекают ее громкие лозунги: народовластие, учредилка, парламентаризм... Он считал, что назначение кадетов — не заигрывать, а бороться с социалистами; так же как и октябристов — с охранителями, обеспечивая таким образом политическую самостоятельность либерального лагеря. Вместо этого две по сути либеральные силы часто схватывались в бесплодной междоусобной борьбе, обессиливая друг друга.

Не по душе была Маклакову и деятельность кадетов в I Государственной думе: она казалась ему «сплошным отрицанием конституции». Дума претендовала на то, чтобы ее воля считалась выше законов; по позднейшему определению Маклакова, деятельность I Думы была «вакханалией»,

хуже первых дней революции 1917 года». Главный грех I Думы он видел в том, что она подорвала «мистику конституции», владевшую страной в 1904–1905 годах. Думский же финал — антиправительственное Выборгское воззвание (или, как его иронически называли, «Выборгский крендель») — пришлось Маклакову совсем не по вкусу, хотя он и выступил на суде адвокатом его «подписантов».

С началом деятельности II Государственной думы возшла звезда Маклакова как парламентария от кадетской фракции. Чтобы сделать Думу более работоспособной и снизить накал прений, Маклаков взялся на составление «Наказа», потребовавшего многих месяцев кропотливой, трудоемкой работы. Этот труд и ныне вызывает изумление глубиной и четкостью прорисовки всех аспектов жизнедеятельности российского парламента.

В целом же работа во II Думе, как писал Маклаков, «напоминала работу на судне, которое плывет среди минного поля». Сохранять Думу при ее партийном составе, более левом, чем у ее предшественницы, было трудной задачей — недаром эта Дума считалась обреченной с момента ее избрания. Бывали даже случаи, когда именно Маклаков, по словам А.С. Суворина, «спасал Думу от самоубийства», от разгона, убеждая депутатов умерить антиправительственный радикализм. Да и накануне того дня, когда Дума была все-таки распущена, он ночью вместе с М.В. Челноковым, С.Н. Булгаковым и П.Б. Струве посетил П.А. Столыпина, чтобы попытаться предотвратить уже решенное и неизбежное.

И в следующих, III и IV Думах Маклаков неизменно выступал как «государственник» и постепеновец, сторонник компромисса и соглашения с «исторической властью». Но при этом он неизменно, с поразительным блеском и красноречием, обличал близорукие, по его убеждению, самоубийственные действия этой «исторической власти».

Многие исследователи полагают, что деятельность Маклакова накануне Февральской революции отмечена кричащей и неожиданной для рационалиста парадоксальностью. «Маклаков, — пишет, например, эмигрантский публицист М. Вишняк, — сыграл свою (и немалую) роль в предшествовавших Февральской революции событиях. Но как только революция произошла, он немедленно, буквально на следующий день, третьего марта, отвернулся от нее, стал к ней в оппозицию...»

Это действительно парадокс: играя важную роль в событиях накануне Февраля, Маклаков делал все от него зависящее, чтобы предотвратить, сдержать революцию. Он был уверен в том, что во время войны нельзя, опасно раскачивать государственный корабль. Революции «снизу» он предпочитал верхушечный переворот, который, несмотря на его острую форму и экстраординарность, вписывался в его представления об эволюционном развитии России. Маклаков считал, что только дворцовый переворот имел шансы «снять с повестки дня революцию». 3 ноября 1916 года он произнес речь, которую закончил такими словами о властях предрежащих: «Либо мы, либо они. Вместе наша жизнь невозможна». А потому

«Счастье и благо личности скажут нам, куда направить развитие общества...»

во многом прав в своих мемуарах А.Ф. Керенский: «Консервативный либерал и монархист В.А. Маклаков сказал, что предотвратить катастрофу и спасти Россию можно, лишь повторив события 11 марта 1801 года (свержение Павла I. — В.Ш.)».

Маклаков принял самое непосредственное участие и в обсуждении деталей устранения Распутина, давая советы будущим участникам убийства Юсупову и Пуришкевичу, впрочем, сразу же предупредив заговорщиков, что у него «не контора наемных убийц».

И в самом начале Февральской революции Маклаков, к которому за советом и помощью обращались министры Покровский и Риттих, рекомендовал самые жесткие и экстренные меры, чтобы остановить начавшуюся революцию: немедленную отставку правительства, назначение новым премьер-министром генерала Алексева, формирование кабинета из популярных министров при опоре на Думу и т.д. «Торопитесь, — предупреждал он, — это уже последняя ставка».

Не щадил он в те месяцы и «своих» — либералов. Московские присяжные поверенные 12 августа 1917 года, накануне Государственного совещания, направили ему приветственный адрес, в котором подчеркивали: только он один «из февральских деятелей» имел мужество сказать Комитету Государственной думы, что будут прокляты народом те, кто своим участием дал ход революции, привел государство и народ к анархии и поражению.

Приветствовал Маклаков и Корнилова, когда тот приехал в Москву для участия в Государственном совещании. И до отъезда в Париж в октябре 1917 года в качестве посла российского Временного правительства Маклаков был одной из самых заметных фигур в политической жизни России. А уже после отъезда Москва снова избрала его депутатом — на этот раз Учредительного собрания.

Особая страница в политической биографии Маклакова — его дипломатическая деятельность в годы Гражданской войны. По словам российского дипломата Г.Н. Михайловского (сына писателя Гарина-Михайловского), Маклаков, не дипломат по профессии, но человек выдающегося ума, «с гениальным чутьем предугадал ахиллесову пяту дипломатии как Деникина, так и Врангеля». Оставаясь русским послом в Париже до официального признания Францией Советской России и будучи в центре международной дипломатии Белого движения, Маклаков делал главную ставку в борьбе с большевизмом не столько на западные демократии, сколько на союз с буржуазной Польшей. «Поляки — единственные наши союзники против большевиков... — полагал он и говорил Михайловскому: — Представьте, никто не желает понять — ни Сазонов, ни Деникин, ни Колчак, ни Милоков. Я абсолютно один в этом вопросе. Все мои попытки убедить в этом власть безуспешны».

Именно в польских делах дипломатия Добровольческой армии, полагал Маклаков, потерпела катастрофу, и немедленным следствием этого краха была эвакуация Крыма, как в свое время отсутствие соглашения

с поляками позволило большевикам бросить все силы против Деникина и принудить его оставить Ростов и Новороссийск.

Большой ошибкой деникинского правительства Маклаков считал и его политику в аграрном вопросе. Он говорил, что до революции стоял за среднее и крупное землевладение с точки зрения агрономической, но «теперь, когда оно фактически рухнуло, восстанавливать его — безумие». «Аграрная реставрация — самая крупная, фатальная ошибка Деникина, и никакая стратегия не могла его спасти!»

Вместе с П.Б. Струве Маклаков сумел добиться официального признания Францией правительства Врангеля. Но и в те дни он был полон пессимизма в отношении перспектив Белого движения: «Я все сделал, что от меня зависело, чтобы в глазах французов превратить нашу Вандею в русскую контрреволюцию, которая вот-вот одолеет большевиков. Но я в это не верю...»

2 июня 1921 года на совещании членов ЦК кадетской партии Маклаков заявил, что для него исходный факт — «окончательная гибель белых фронтов». Но из поражения белых армий он призывал извлечь урок на будущее: «Надо сбрасывать большевиков изнутри... Спасения можно ждать только от будущих поколений». И только от эволюции самой России — без новой революции и иностранной интервенции.

В русской эмиграции В.А. Маклаков сыграл выдающуюся роль, оказавшись в самом центре «русского Парижа», став общепризнанным представителем интересов российского зарубежья, его защитником и ходатаем. Он стоял во главе «Центрального офиса по делам русских беженцев», «Русского комитета объединенных организаций», «Эмигрантского комитета» и других организаций. И самый масштаб его личности, ее неординарность были таковы, что, несмотря на природную скромность, он всегда привлекал к себе всеобщее внимание, играя первую скрипку во многих эмигрантских дискуссиях и торжествах.

Во время оккупации немцами Парижа В.А. Маклаков не скрывал своих симпатий и антипатий: он всей душой желал поражения Гитлеру и вел себя с полным достоинством и большим мужеством. В конце концов он был арестован и несколько месяцев просидел в тюрьме.

Либералом и эволюционистом он остался и тогда, когда на волне патриотизма и близкой уже победы над нацистской Германией посетил (не без раздумий и колебаний) в феврале 1945 года во главе группы эмигрантов советское посольство. В беседе с послом А.Б. Богомоловым он настойчиво проводил мысль, что новое прочно только тогда, когда приводит к синтезу со старым: «Мы знаем, чего стоит стране революция, и еще новой революции для России не пожелаем. Мы надеемся на ее дальнейшую эволюцию, на синтез ее с остальным миром». Но он высказал Богомолову и то, что тому едва ли было приятно слышать: «Дорожить не самой Россией, а ее временной, советской формой значило бы уподобиться Константину Леонтьеву, который писал: на что нам Россия, если она не самодержавная, не православная?»

«Счастье и благо личности скажут нам, куда направить развитие общества...»

«Советскую форму» Маклаков считал для России преходящей и временной. И позже, в начале 1950-х, он верил в возможность эволюции советского строя. При всем его демократизме и либерализме, его не вполне устраивали и западные демократии — они не могли предотвратить ни мировых войн, ни появления тоталитарных режимов. «Еретические мысли» в мемуарах Маклакова, написанных им в последние годы жизни, — словно бы его завещание человечеству: «Если наша планета не погибнет раньше от космических причин, то мирное общежитие людей на ней может быть построено только на началах равного для всех, то есть справедливого, права. Не на обманчивой победе сильнейшего, не на самоотречении или принесении себя в жертву другим, — а на справедливости... Отдельным людям остается руководиться правилом Льва Толстого: делай, что должен, а там будет, что будет».

Именно этим правилом руководствовался и сам Василий Алексеевич Маклаков, «старинный молодой человек», намного обогнавший свое время и не заслуживший ни чинов, ни ученых степеней, а «всего лишь» бывший, по определению его друга В.А. Ледницкого, «самым умным из всех русских людей, которых пришлось в жизни встретить...».

ФЕДОР
ФЕДОРОВИЧ
КОКОШКИН

«Праву должны быть
подчинены все —
от высшего представителя
власти до последнего
гражданина...»

Древний род Кокошкиных восходит к легендарному касожскому князю Редее. Его прямой потомок Василий Васильевич Кокошка и стал основателем рода, который внесен в VI часть родословной книги Московской, Нижегородской и Петербургской губерний.

Дед Ф.Ф. Кокошкина — действительный статский советник, московский прокурор, драматург, директор императорских театров в Москве, председатель Московского общества любителей российской словесности. Отец имел чин надворного советника, служил комиссаром по крестьянским делам в городе Холме Люблинской губернии. В этом небольшом польском городке в 1871 году и родился Федор Кокошкин — будущий известный ученый и политик, один из лидеров кадетской партии, министр Временного правительства.

Когда Федору было около двух лет, а его младшему брату Владимиру — лишь несколько месяцев, скоропостижно скончался отец. Оставшись с двумя малолетними детьми, мать больше замуж не выходила и посвятила свою жизнь воспитанию сыновей. Она переехала в город Владимир на Клязьме, где стала директором женской гимназии. Материальный достаток позволял снять большую квартиру с огромным фруктовым садом. По наследству от деда семье досталось большое родовое имение в Звенигородском уезде Московской губернии.

С 1880 по 1889 год Федор учился во Владимирской классической гимназии, которую окончил с золотой медалью. Затем поступил на юридический факультет Московского университета. За блестящее сочинение «„Политика“ Аристотеля» Федор был оставлен в 1893 году при университете на кафедре государственного права для подготовки к магистерскому экзамену. В 1896 году была издана его первая научная работа — «К вопросу о юридической природе государства и органов государственной власти». В 1897 году Ф.Ф. Кокошкина избрали гласным Звенигородского уездного земского собрания. В том же году он сдал магистерский экзамен и после прочтения пробных лекций был зачислен на должность приват-доцента, а затем откомандирован Московским университетом за границу для продолжения образования и подготовки диссертации.

В течение двух лет он слушал лекции и работал в библиотеках Гейдельберга, Страсбурга, Берлина и Парижа. В Гейдельберге он занимался под руководством ученого с мировым именем, профессора Георга Еллинека, с которым потом на протяжении долгих лет переписывался и поддерживал тесные дружеские отношения.

В конце 1899 года, по возвращении в Россию, Федор Кокошкин начал читать в Московском университете спецкурс о местном самоуправлении, руководил практическими занятиями студентов по государственному праву. Одновременно он преподавал в Лицее цесаревича Николая. В 1900 году молодого приват-доцента избрали гласным Московского губернского земского собрания от Звенигородского уезда, привлекли к работе в финансовой и по народному образованию комиссиях, а также во временных комиссиях о мелкой земской единице и пересмотре земского избирательного права. Через три года он был избран членом Московской губернской управы, руководил ее экономическим отделом, ведавшим вопросами сельскохозяйственной и кустарной промышленности. Он также исполнял обязанности помощника секретаря Московской городской думы и одновременно секретарские обязанности в двух комиссиях — организационной и по подготовке обязательных постановлений.

1903 год можно считать переломным в личной и общественной судьбе Ф.Ф. Кокошкина. В возрасте тридцати двух лет он женился. Вместе с тем с этого года он с головой уходит в политику, в которую был вовлечен близкими друзьями и коллегами по Московскому губернскому земству, — Д.Н. Шиповым, Ф.А. Головиным, Н.И. Астровым, С.А. Муромцевым, Н.Н. Щепкиным, Н.Н. Львовым. Кокошкин становится одним из самых активных участников ряда полулегальных и нелегальных либеральных организаций — кружка «Беседа», Союза земцев-конституционалистов, Союза освобождения.

Обладая обширной эрудицией, природной способностью к теоретическому мышлению, тонким пониманием общественных потребностей, Кокошкин внес заметный вклад в научную разработку проблем государства и права. Государство, всегда подчеркивал он, представляет собой не простую совокупность индивидов, а сложное соотношение между ними, которое может быть понято совокупными методами социологической, юридической и психологической науки. Считая государство результатом накопления в течение многих веков «запаса культуры», Кокошкин утверждал, что оно, по мере общественной эволюции, рационализируется и демократизируется, постепенно становясь правовым государством. Суть социального прогресса, по мнению Кокошкина, состоит в уменьшении принудительной роли государства по отношению к личности за счет усиления его воспитательной и образовательной функций. Параллельно с теоретической работой Кокошкин разрабатывал такие актуальные для России проблемы, как соотношение централизации и децентрализации, автономии и федерализма, местного самоуправления.

Свои энциклопедические знания в области теории и истории государства и права Ф.Ф. Кокошкин творчески использовал при разработке ли-

беральных проектов российской конституции. Он входил в состав «освобожденческой» группы юристов (Н.Ф. Анненский, И.В. Гессен, В.М. Гессен, П.И. Новгородцев, С.А. Котляревский, И.И. Петрункевич), разработавшей летом 1904 года проект «Основного государственного закона Российской империи». Этот проект был издан в марте 1905 года в Париже П.Б. Струве. В октябре 1904 года Кокошкин активно участвовал в подготовке знаменитых «11 пунктов» конституционной программы, принятой земским съездом в ноябре 1904-го. Эта программа, названная П.Н. Милюковым «петицией прав», сыграла важную роль в развитии либерально-оппозиционного движения накануне и в годы первой русской революции.

В либеральных кругах авторитет Кокошкина был настолько велик, что его единодушно избрали в состав Организационного бюро земских съездов, руководившего работой земско-городских съездов 1905 года. По поручению Оргбюро на апрельском земском съезде 1905 года Кокошкин выступил с программным докладом «Об основаниях желательной организации народного представительства в России», который летом был напечатан в газете «Русские ведомости», а в 1906 году издан отдельной брошюрой. Исходная мысль доклада — «нормальная политическая жизнь государства должна быть основана не на борьбе классов, а на борьбе политических партий». В нем доказывалась необходимость создания в России двухпалатного народного представительства с законодательными функциями, введения всеобщего избирательного права, отмены имущественного или податного ценза («нужно привлечь весь народ к государственной жизни, войти на общий суд, чтобы узнать, что будет осуждено и что оправдано»).

Одновременно Кокошкин предложил на рассмотрение делегатов съезда конкретную программу практических действий: 1) преобразование земских и городских учреждений на демократических началах; 2) установление взаимодействия между центральными и местными органами в виде особой Земской палаты, состоящей из выборных от губернских земских собраний и городских дум больших городов. Первоочередной задачей Кокошкин считал составление проекта русской конституции. Исходным материалом для него послужил «освобожденческий» вариант, а также либеральный проект избирательного закона. 30 июня 1905 года разработка проектов была завершена, и 6 июля, в день открытия очередного земско-городского съезда, они были опубликованы в газете «Русские ведомости», розданной делегатам.

На сентябрьском земско-городском съезде 1905 года Кокошкин по поручению Оргбюро выступил с основным докладом «О правах национальностей и децентрализации». Он был твердым сторонником того, что общественная демократизация должна предшествовать государственной децентрализации. Именно поэтому он до поры отстаивал принцип унитарного устройства Российского государства, решительно высказываясь против леворадикальных требований скорейшего политического самоопределения наций и федерализации, что, по его мнению, открывало пря-

«Праву
должны быть
подчинены
все — от выс-
шего предста-
вителя власти
до последнего
гражданина...»

мой путь к распаду государства и анархии. Вопросы о пределах и формах автономии и в особенности о границах автономных областей следовало разрешать лишь после «установления прав гражданской свободы и правильного народного представительства с конституционными правами для всей империи». Преждевременная постановка вопроса о предоставлении автономии отдельным областям грозила, как предостерегал Кокошкин, «серьезной опасностью самому делу политической и гражданской свободы в нашем обществе». Но и после политического освобождения страны автономия должна вводиться постепенно, по мере «выяснения потребностей в ней местного населения и естественных границ автономных областей», путем издания особых имперских указов. Общегосударственный закон должен был определить как пределы автономии, так и разграничительные функции между общеимперским и местным законодательным собраниями, причем принятые местными представительными органами законы получали юридическую силу только в случае утверждения их центральной властью. По существу, речь шла о распространении на автономную область прав местного самоуправления (автономия — «высшая ступень развития местного самоуправления»). Исключение из общего правила, с точки зрения Кокошкина, представляла только Польша; предполагалось, что она будет выделена «в особую автономную единицу с сеймом, избираемым на основании всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, при условии сохранения государственного единства империи». Основные положения доклада стали основой разрабатываемой в то время программы Конституционно-демократической партии. Кокошкина можно считать автором национального раздела программы.

Кокошкин являлся одним из основателей и лидеров партии кадетов, бессменным членом ее ЦК, а также членом Московского городского и губернского комитетов. На протяжении двенадцати лет существования партии он участвовал в разработке основополагающих партийных документов, законодательных проектов и предложений, избирательных платформ. ЦК поручал Кокошкину подготовку наиболее важных и ответственных докладов и выступлений на партийных форумах, особенно в тех случаях, когда предстояло корректировать ее программу и круто менять тактический курс.

В октябре 1905 года Кокошкин вместе с Ф.А. Головиным и князем Г.Е. Львовым был делегирован для участия в переговорах с премьер-министром С.Ю. Витте о формировании нового правительственного кабинета. В этих переговорах Кокошкину принадлежала ключевая роль. Условием поддержки правительства со стороны либеральной оппозиции он выставил следующие требования: 1) реализовать в полном объеме положения Манифеста 17 октября 1905 года; 2) созвать Учредительное собрание на основе всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права для выработки конституции; 3) дать политическую амнистию. Отказ Витте удовлетворить требования кадетской делегации привел к срыву переговоров.

Принципиально важное значение имело выступление Кокошкина на II съезде кадетской партии 6 января 1906 года, в котором он обосновал необходимость участия кадетов в выборах в Государственную думу по закону 11 декабря 1905 года и сформулировал основные задачи ее деятельности в Думе. 10 января он изложил свои доводы в пользу изменения тринадцатого параграфа программы партии о форме государственного устройства. Кокошкин предложил отказаться в данной политической ситуации от требования республики, ибо это потребует «потоков крови». Большинство делегатов поддержали предложенную им формулировку: «Россия должна быть конституционной и парламентской монархией».

После II съезда, взявшего курс на подготовку выборов в Думу, Кокошкин не только принял непосредственное участие в избирательной кампании, но и показал себя прекрасным пропагандистом, подлинным мастером полемики с политическими противниками, в том числе и с непосредственными конкурентами — «Союзом 17 октября». По поручению ЦК в феврале 1906 года он подготовил блестящую полемическую брошюру «Конституционная партия перед судом Союза 17 октября», материалы которой оперативно публиковались в «Русских ведомостях». 8–9 апреля 1906 года на заседании ЦК был заслушан и одобрен проект избирательного закона, подготовленный Кокошкиным совместно с С.А. Муромцевым и А.Н. Максимовым. На этом же заседании ЦК поручил Кокошкину совместно с Ф.И. Родичевым и В.Д. Набоковым подготовить проект закона о правах национальностей.

Выборы в I Думу стали триумфом кадетской партии: огромный вклад в эту победу внесла разносторонняя и неутомимая деятельность Кокошкина. В ходе избирательной кампании он многократно выступал на предвыборных собраниях в Москве, в уездных городах Московской губернии, в Калуге. 14 апреля 1906 года выборщики Московского городского избирательного собрания выбрали Ф.Ф. Кокошкина депутатом I Думы от Москвы.

В I Думе Ф.Ф. Кокошкин занял ответственный пост товарища (заместителя) секретаря, вошел во многие думские комиссии (для подготовки Наказа думским депутатам о неприкосновенности личности, о свободе собраний, о гражданском равенстве, бюджетную, редакционную). Вскоре он стал членом бюро думской кадетской фракции. Вместе с Петрункевичем, Набоковым, Родичевым, Мухановым, Винавером Федор Федорович входил в состав «распорядительной комиссии», задачей которой было оперативное принятие тактических решений и подготовка заявлений от имени кадетской партии по самым неотложным вопросам.

В течение 72 дней работы I Думы Кокошкин десять раз поднимался на думскую трибуну. Его блестящие выступления — образец подлинного ораторского искусства. По решению думской кадетской фракции речи Кокошкина в I Думе были изданы отдельной брошюрой. Являясь, по определению П.Н. Милокова, «главным экспертом по конституционным вопросам», Кокошкин, по сути, обосновал ответные меры партии в связи с роспуском Думы — он принимал активное участие в разработке текста

«Праву
должны быть
подчинены
все — от выс-
шего предста-
вителя власти
до последнего
гражданина...»

Выборгского воззвания, призвавшего к акциям гражданского неповиновения. Впрочем, убедившись вскоре, что этот призыв не встретил широкой поддержки у населения, Кокошкин одним из первых высказался за корректировку партийной тактики: «Тактика парламентского штурма не удалась — всеильная Дума снимается с очереди»...

На судебном процессе над инициаторами Выборгского воззвания, состоявшемся 12–18 декабря 1907 года в Петербурге, Кокошкин выступил с речью: «Мы хотели способствовать тому, чтобы Россия сделалась страной свободной, правовым государством, где право было бы поставлено выше всего, где праву подчинены были бы все — от высшего представителя власти до последнего гражданина... Мы хотели сделать Россию страной сильной и могущественной... не внешним насильственным единством, а единством внутренней организации, которое совместимо с разнообразием местных условий с разными особенностями всех народностей, ее населяющих». Выборгское воззвание он представлял как «крайнее средство защиты конституции», как действие, «укрепляющее основы государственности, пробуждающее сознательное отношение граждан к своим обязанностям».

Петербургская судебная палата приговорила подписавших Воззвание к трехмесячному одиночному тюремному заключению с последующим лишением права быть избранным не только в Думу, но и в органы местного самоуправления. Еще до суда, 29 января 1907 года, московское дворянство исключило Кокошкина и других московских депутатов-дворян из своего состава. С 13 мая по 11 августа 1908 года Кокошкин вместе с другими депутатами-москвичами отбывал наказание в одиночной камере Таганской губернской тюрьмы.

Лишившись права занимать выборные должности, Кокошкин решил вплотную заняться публицистикой, вернулся к преподавательской работе. С декабря 1906 по апрель 1907 года он был фактическим редактором московской кадетской газеты «Новь», но в связи с ухудшением здоровья был вынужден оставить этот пост и уехать на несколько месяцев на лечение за границу. С сентября 1907 года он приступил к чтению курса лекций по истории русского государственного права в ряде московских учебных заведений — университете, Коммерческом институте, Народном университете им. А.Л. Шанявского, на Высших женских юридических курсах. С конца 1907 года он становится постоянным сотрудником газеты «Русские ведомости», регулярно публикуя в ней статьи по самому широкому кругу проблем — о парламентаризме, национальном вопросе, о положении старообрядцев. Одновременно он печатал статьи, фельетоны, юмористические заметки в газетах «Дума», «Путь», «Право», «Речь», в журналах «Новый путь», «Русская мысль», «Финляндия», «Юридический вестник», «Юридическая библиография». Многие его статьи публиковались во французской газете «Le Radical» и в швейцарской «Le Genevois».

Еще в период Балканских войн Ф.Ф. Кокошкин выработал последовательную патриотическую позицию, сочетавшую либеральный подход с за-

щитой национальных интересов. В конце 1912 года на одном из кадетских совещаний он заявил: «Балканский вопрос жизненно важен... Пролиты — жизненный вопрос для России. Распределение сил на Балканском полуострове также далеко не безразлично. Наши симпатии должны быть, конечно, на стороне славян. Нельзя забывать об обязанности нашей культуры...»

В годы Первой мировой войны национальные проблемы в полиэтнической стране приобрели особую остроту. «Идущие в бой инородцы, — подчеркивал Кокошкин, — должны знать, что они идут на защиту общего отечества, которое для них не чужой, а свой дом, в котором есть место для свободной жизни и развития их народности».

13 сентября 1914 года на заседании ЦК Кокошкину было дано поручение подготовить доклад о будущем государственном устройстве Польши. В течение нескольких месяцев он напряженно работал над «Проектом закона об устройстве Царства Польского», который в ЦК по праву называли «Проектом Ф.Ф.К.». По мысли Кокошкина, Польша должна и впредь оставаться «нераздельной частью государства Российского» и подчиняться действию общегосударственных законов и установлений. В своих этнографических границах Польша выделялась в особую автономную единицу с законодательным однопалатным сеймом, избранным на основе всеобщего избирательного права. Во главе управления Польши предусматривался наместник, назначаемый и увольняемый царем. В компетенцию наместника включалось назначение и увольнение министров, а за монархом оставалось право роспуска сейма и утверждения всех принимаемых им законов. Проект предусматривал отмену вероисповедных ограничений, вводил употребление «местных языков» как в делопроизводстве, так и в преподавании. После обсуждения проекта на заседаниях ЦК (апрель — май 1915 года) его было решено передать в думскую кадетскую фракцию. Фактически «Проект Ф.Ф.К.» стал для кадетов своего рода моделью для разработки других национальных вопросов, в частности финляндского и литовского.

3 января 1916 года Кокошкин выступил с программным докладом «Об общем политическом положении» на съезде кадетских комитетов подмосковных губерний. Он остановился на анализе перспектив революции в России. Считая, что революция во время войны грозит России военным поражением, он признал, что «нельзя отрицать возможность революции после войны, хотя еще нельзя считать доказанной ее неизбежность». Кокошкин предрекал, что если все же произойдет революционное разрушение старого строя, то в стране неизбежно установится «военная диктатура или реакция», поскольку «общество еще не сговорилось и не готово к созданию нового строя». Кокошкин настаивал, что в создавшейся ситуации «самая важная и настоящая внутривнутриполитическая задача» состоит не в подготовке революции, а в «организации и объединении всех общественных сил страны». В ходе реализации этой стратегической задачи «мы одновременно и поможем обороне, и подготовим различное

«Праву должны быть подчинены все — от высшего представителя власти до последнего гражданина...»

участие общества во власти». В этих рассуждениях Кокошкина выражена квинтэссенция умеренно либеральной политики в условиях нарастания политического кризиса в России.

Февральскую революцию 1917 года Кокошкин принял как необходимую оборонительную меру в условиях нависшей над страной смертельной опасности военного поражения. Вместе с тем он неоднократно предостерегал, что «Временное правительство не устоит под напором все усиливающегося революционного урагана, и нам придется пройти через все стадии революционного процесса и испытать все ужасы его крайних выражений».

Сразу же после Февральского переворота Кокошкин по решению кадетского ЦК был включен в состав специальной комиссии, перед которой была поставлена задача разработать комплекс вопросов, связанных с предстоящим созывом Учредительного собрания. 20 марта 1917 года Кокошкин сменил В.А. Маклакова на посту председателя Юридического совещания при Временном правительстве, призванного разработать оптимальную модель государственного устройства будущей России.

25 марта 1917 года Кокошкин выступил с докладом на VII съезде кадетской партии, теоретически и политически обосновав необходимость изменения тринадцатого параграфа программы партии о форме государственного устройства и отказа от требования парламентско-монархического строя. В 1905 году, говорил он, конституционная монархия была прогрессивной переходной формой от абсолютизма к народоправству в условиях, когда большинство населения, особенно крестьяне, еще продолжали верить в «монархический символ». После февраля 1917 года ситуация коренным образом изменилась: демократическая республика стала реальным фактом, и партия должна убеждать народ принять республиканский образ правления, при котором «наш демократический принцип господства воли народа осуществляется в самом полном и чистом виде».

В своем знаменитом докладе Кокошкин особо остановился на механизме избрания президента республики и пределах его прав. В России, полагал Кокошкин, «всенародное избрание, ставящее так высоко Президента, наделяющее его огромными фактическими возможностями влияния, может быть опасно для свободы; оно может сделать должность Президента республики объектом стремлений для всевозможных честолюбцев, которые, выступая на этом поприще, могут приобрести широкую популярность в стране различными широкими обещаниями, которые они впоследствии нарушают и для которых подобное всенародное избрание служит мостом к государственному перевороту». В силу этого Кокошкин предлагал избирать президента республики народным представительством на точно фиксированный срок. При этом президент должен управлять страной через посредство ответственного перед народным представительством министерства.

На VIII съезде кадетской партии (май 1917 года) Кокошкин выступил с докладом «Об автономии и правах национальностей». Сохраняя вер-

ность лозунгу «единой и неделимой России», он снова доказывал, что в условиях политической нестабильности и усиления межнациональной конфронтации разделение страны по национально-территориальному принципу неприемлемо, а немедленный переход к федерации «осложнил бы до крайности введение самой республиканской конституции». Оптимальным способом решения национального вопроса он считал предоставление народностям не территориальной, а широкой культурно-национальной автономии с одновременным осуществлением децентрализации управления и законодательства.

Постановлением Временного правительства от 21 мая 1917 года Ф.Ф. Кокошкин был назначен председателем Особого совещания для подготовки проекта положения о выборах в Учредительное собрание с оставлением его сенатором 1-го департамента Правительствующего сената и председателем Юридического совещания. Под непосредственным руководством Кокошкина были разработаны основные принципы выборов в Учредительное собрание, определены сроки его созыва, оптимальное количество депутатов, структура и пределы его компетенции. Согласно проекту Кокошкина Учредительное собрание еще до принятия конституции должно было организовать на началах парламентаризма временную исполнительную власть: избрать временного президента, который через ответственное министерство будет осуществлять исполнительные властные функции.

Временный президент должен был избираться тайным голосованием на срок не более одного года. Он наделялся правом «почина по делам законодательства» и издания указов, контроля за исполнением законов; являлся проводником внешней политики, главнокомандующим вооруженными силами страны; назначал и увольнял министров. Однако его указы и распоряжения должны были скрепляться подписью председателя Совета министров или одного из полномочных министров. Временное правительство неоднократно предлагало Кокошкину занять посты министра народного просвещения, юстиции или же специально для него созданный пост министра Учредительного собрания. Однако он не соглашался («на все эти административные посты меня не тянет... не считаю себя годным для них...»). По единодушному признанию друзей, он не был тщеславен, не стремился к власти. Больших трудов стоило ЦК партии уговорить Кокошкина занять пост государственного контролера во втором составе коалиционного Временного правительства. Как вспоминал А.А. Кизеветтер, «именно ему партия хотела доверить руководство своей политикой в правительстве». Характерно, что, когда в то тревожное время среди членов партии возникали разговоры о том, кто мог бы стать лидером в случае болезни или смерти П.Н. Милюкова, все единодушно называли Ф.Ф. Кокошкина.

Кокошкин довольно быстро разочаровался в способности премьер-министра А.Ф. Керенского повлиять на развитие революционного процесса в стране. Какое-то время он возлагал надежды на установление военной

«Праву
должны быть
подчинены
все — от выс-
шего предста-
вителя власти
до последнего
гражданина...»

диктатуры генерала Л.Г. Корнилова. После поражения корниловского выступления Кокошкин покинул правительство, сосредоточившись на выработке избирательного закона по выборам в Учредительное собрание.

По списку кадетской партии Кокошкин был избран депутатом Учредительного собрания. Первоначально предполагалось открыть собрание в Петрограде 28 ноября 1917 года. Но обстановка была тревожной, и друзья уговаривали Кокошкина не ехать в столицу. Однако он отвечал: «Я не могу не явиться туда, куда меня послали мои избиратели. Это значило бы для меня изменить делу всей моей жизни...»

Утром 27 ноября Ф.Ф. Кокошкин вместе с женой прибыл из Москвы в Петроград. Вечером на квартире графини С.В. Паниной состоялось заседание ЦК кадетской партии, которое затянулось за полночь, и некоторые его участники, в том числе и Кокошкин, остались ночевать. На следующее утро, в 7:30, все они были арестованы и под охраной солдат латышского полка доставлены в Смольный. В комнате следственной комиссии их продержали до часу ночи, а затем отправили на автомобилях в Петропавловскую крепость. В третьем часу ночи арестованные были доставлены в Трубецкой бастион и размещены по одиночным камерам.

Через несколько недель заключения у Кокошкина и его друга, тоже бывшего министра-кадета, Андрея Ивановича Шингарева резко ухудшилось здоровье. 6 января 1918 года, около 7 часов вечера, Кокошкин и Шингарев под охраной красноармейцев были перевезены в Мариинскую больницу. Их разместили на третьем этаже: Кокошкина — в палате № 27, Шингарева — напротив, в палате № 24. Жена Кокошкина вспоминала, что в тот последний вечер она говорила с мужем о поэзии; Федор Федорович вспоминал стихи Ахматовой. Около 8 часов вечера жена ушла, а сестра Шингарева оставалась с братом до 8:30.

После смены караула (около 9:00) командир наряда Басов доложил своему командиру, начальнику отряда бомбометальщиков Куликову, что заключенные два часа назад доставлены в больницу. В ответ Куликов возмутился, что Басов «не смог расправиться с ними по дороге», и послал его в ближайший морской экипаж, чтобы взять там матросов и с их помощью устроить самосуд. Басов выполнил приказание. Около тридцати матросов кораблей «Ярославец» и «Чайка» охотно вызвались пойти с Басовым. С криками: «Вырезать!», «Лишние две карточки на хлеб останутся!» — они ринулись к больнице. Увидев толпу вооруженных матросов, перепуганный сторож отпер двери. Сначала матросы ворвались в палату Шингарева. Тот сидел на кровати, прислонившись к стене. Здоровенный матрос-эстонец Крейс схватил его за горло, повалил на кровать и стал душить. Застигнутый врасплох, Шингарев попытался спросить: «Что вы, братцы, делаете?» — однако матросы, крича, что они убивают министров в отместку за 1905 год, стали стрелять в него из револьверов и колоть штыками. Затем убийцы направились в палату к Кокошкину, который уже спал. Тот же Крейс схватил его за горло, а другой матрос — Матвеев — двумя выстрелами в упор убил его.

После ухода матросов и красноармейцев дежурный врач констатировал смерть Кокошкина, но Шингарева он застал еще живым. Будучи в сознании, истекающий кровью Андрей Иванович, сам опытный врач, отказался от перевязки и попросил морфия. Через полтора часа он умер. Вспоминая о зверском убийстве своих товарищей, П.Н. Милюков писал: «Одной солдатской пулей легко уничтожить хрупкую и тонкую организацию; но сколько поколений нужно, чтобы создать ее! Архимед и варвары — история повторяется».

...ЦК кадетской партии принял решение превратить похороны своих товарищей в политическую антибольшевистскую акцию. Ф.Ф. Кокошкин и А.И. Шингарев были похоронены на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. На панихиде в соборе присутствовали члены кадетского ЦК, бывшие депутаты I–IV Государственных дум, депутаты Учредительного собрания от оппозиционных партий, представители общественных и политических кругов.

Как писал о Кокошкине его коллега, видный кадет М.М. Винавер, «он был прирожденный борец, в тех высших культурных формах, до которых додумывалось человечество, где оружием является слово, ареной — внемяющее слову организованное человеческое общество, а целью — воплощение в форму права заветных идеалов общежития».

**«Всякий самовольный
захват является
незаконным расхищением
народного богатства...»**

Один из виднейших лидеров Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы) — Андрей Иванович Шингарев родился 19 августа 1869 года недалеко от Воронежа на хуторе около села Борового Воронежского уезда. Его отец, Иван Андреевич, был липецким мещанином, а затем воронежским торговцем. Мать, Зинаида Никаноровна, урожденная Веневитинова, происходила из обедневшего дворянского семейства, принадлежавшего к известному в дореволюционной России роду. В 1877 году семья Шингаревых переехала в Воронеж, где вскоре Андрей поступил в реальное училище.

Годы его учебы в Воронежском реальном училище совпали с бурным развитием революционно-народнического движения. Шингарев сближается с кружком воронежской интеллигенции, руководительницей которого была Е.В. Федяевская, жена известного в городе врача К.В. Федяевского.

После окончания училища в 1887 году Шингарев поступает в Московский университет на естественное отделение физико-математического факультета, где специализируется по ботанике. В студенческие годы он продолжает разделять народнические идеи, но в их мирно-реформаторском и более конструктивном виде. Тогда же он начинает внимательно изучать положение народа, в первую очередь крестьянства. Каникулы он обычно проводил на хуторе у отца в Усманском уезде Тамбовской губернии. Бедность крестьянства производила на него тяжелое впечатление. Постепенно у Шингарева сформировалось стремление заняться чем-то более полезным для народа, чем ученые занятия ботаникой. Вот почему в 1891 году он меняет специальность и во второй раз начинает университетский курс, на сей раз на медицинском факультете. Он решает стать сельским врачом — таким путем, полагает Шингарев, можно ближе сойтись с крестьянством и, по крайней мере лично для себя, разрушить стену отчуждения, все еще разделяющую народ и интеллигенцию. Годы учебы на медицинском факультете прошли под знаком подготовки к работе в деревне.

К 1890-м годам в среде русской интеллигенции довольно широко распространилось убеждение, что не революционные потрясения, а так на-

зываемые «малые дела» действительно нужны народу. Лечить социальные болезни, считал в ту пору Шингарев, можно лишь неустанной деятельностью на практическом поприще. В 1892 году он писал, что в основе народных тягот лежит плохое экономическое положение, которое, в свою очередь, определяется крайне низким уровнем крестьянской культуры: «Задача обязательной интеллигентной работы, по-моему, теперь состоит в том, чтобы все свои силы и душу положить в пробуждение самосознания народа». Иначе говоря, сначала надо поднять культурный уровень народа и только потом можно будет вести речь о целесообразности смены правящего режима. Впрочем, осторожная политическая позиция Шингарева не помешала полиции установить за ним негласное наблюдение. Слишком настойчиво он вел разговоры о «моральном долге интеллигенции перед народом», хотя и соблюдал, по выражению полицейских отчетов, «трезвый и спокойный» образ жизни.

В 1894 году Шингарев заканчивает медицинский факультет и немедленно приступает к практической деятельности. Его «тихое народничество» началось в качестве вольнопрактикующего врача в довольно глухом селе Землянского уезда Воронежской губернии. Там он женился на сельской учительнице Ефросинье Максимовне, урожденной Кулажко, купил избу и начал свой поистине подвижнический труд. Его популярность быстро росла, тем более что лечил он крестьян практически бесплатно. Вскоре начинается и общественная деятельность молодого врача. Благодаря цензу отца, он в 1895 году избирается гласным сначала Усманского уездного, а затем и Тамбовского губернского земских собраний. Воронежский врач стал, таким образом, одновременно земским деятелем соседней губернии, что существенно расширило масштабы его деятельности. Постоянное участие в сессиях земских собраний дало Шингареву первый опыт публичных выступлений по актуальным вопросам народной жизни, и, подобно многим либеральным земцам, он остро почувствовал несоответствие принципов всесословного земского самоуправления и самодержавного государственного устройства.

Спустя некоторое время Шингарев отказывается от положения вольнопрактикующего врача и занимает должность земского врача в Землянском уезде Воронежской губернии. При этом он сохраняет положение земского гласного в Тамбовской губернии. Его профессиональная деятельность все прочнее соединяется с общественной. С 1897 года Шингарев начинает выступать и как публицист: он активно сотрудничает в ежемесячном журнале «Врачебно-санитарная хроника Воронежской губернии», где помещает статьи о положении санитарного дела в крае. При его участии в Тамбовской и Воронежской губерниях создаются новые организации — уездные санитарные советы, главной задачей которых была борьба против часто возникавших эпидемий. Скоро Шингарев становится заведующим санитарным бюро Воронежского губернского земства и приступает к систематическому исследованию санитарного состояния беднейших селений.

В начале XX века имя Шингарева неожиданно приобрело всероссийскую известность. В 1901 году вышла его небольшая книга о санитарном положении села Новоживотинного и деревни Моховаки, двух пригородных селений Воронежской губернии. Это «санитарно-экономическое исследование» стало широко известно в кругах оппозиционной общественности как повествование о вымирающей русской деревне, беззастенчиво обделенной властью и обществом во имя однобокого городского прогресса. С этого времени «Вымирающая деревня» Шингарева войдет в идеологический арсенал демократической оппозиции и будет служить одним из самых ярких аргументов для обоснования необходимости устранения самодержавного режима.

Пользуясь методическими советами воронежского статистика и своего единомышленника Ф.А. Щербины, Шингарев провел массовое обследование крестьянских семей. В результате со страниц книги предстали тягостные картины жизни воронежского крестьянства. Жилища, одежда, бытовые условия не оставляли исследователю сомнений: русская деревня неуклонно деградирует. Хуже всех в России питался крестьянин. «Что мяса мало едят в деревне — для меня, родившегося и выросшего в деревне, это было давно известно; что есть семьи, лишенные молока, предполагалось уже *a priori*, но чтобы в крестьянской семье не было зимой кислой капусты, я уже никак не ожидал». «Это же, — восклицал Шингарев, — ужасающая постоянная нужда, питающаяся ржаным хлебом, изредка кашей, и опять-таки кашей и больше ничем!»

Хорошо представляя, что крестьянские бедствия таят в себе угрозу тяжелых социальных потрясений, Шингарев пытался искать выход из создавшейся ситуации. Ему было очевидно, что довели крестьян до крайности тяжелые налоги, высокие арендные цены, низкая доходность. И силовыми методами деревню не умиротворить, ибо голодные крестьяне неизбежно будут стремиться к грабежу помещичьей собственности и разгрому частных имений. Главную вину за создавшееся положение публицист возлагал на «всевластный бюрократизм». Выход в свет нашумевшей книги совпал с первым открытым оппозиционным выступлением группы воронежских либеральных деятелей. Это выступление произошло в 1902 году и было связано с работой уездного комитета, созданного в рамках общероссийского Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Руководимое влиятельным министром финансов С.Ю. Витте Особое совещание пыталось найти решение злободневной проблемы «оскудения» земледельческого центра России. Воронежские либералы, среди которых был и Шингарев, выступили с заявлениями о невозможности решить социальные вопросы при всевластии самодержавно-бюрократического режима и, по существу, потребовали изменения государственного строя в сторону представительных начал. Для уездного комитета Шингарев подготовил доклад «Финансовый баланс Воронежской губернии», в котором весьма убедительно показал, что экономическая политика правительства построена на эксплуатации провинции.

Приоритетное развитие отдельных центров идет в ущерб общему состоянию экономики, а это, в свою очередь, порождает тяжелые диспропорции, чреватые острыми политическими конфликтами. Это было неприкрытое обвинение в адрес высшей власти. Реакция правительства последовала очень быстро. Несколько активных участников «воронежской фронды» подверглись репрессиям (Ф.А. Щербина, С.В. Мартынов, Н.Ф. Бунаков). Лично Шингареву, правда, удалось избежать открытого преследования, но на подозрении у полиции он, разумеется, остался.

Следующие два года Шингарев провел за напряженной работой по устройству медико-санитарных и иных социальных учреждений. Он, в частности, настойчиво боролся за создание сети яслей и приютов для крестьянских детей, активно занимался культурно-просветительской деятельностью и все сильнее втягивался в политическую оппозицию режиму, стеснявшему, по его мнению, рост живых сил народа.

Революционные события 1905 года круто изменили жизненный путь А.И. Шингарева. Приобретая несомненный авторитет в кругах демократической интеллигенции, он довольно быстро и без видимых усилий выдвинулся на первые роли в разыгравшейся игре политических сил. Обстановка непрерывного подъема общественного движения захватывает его целиком: он часто выступает перед бастующими рабочими воронежских предприятий, участвует в работе собраний земских служащих, ездит в столицы на земские съезды и собрания общественных организаций. Его позиция определилась достаточно ясно: страну из кризиса может вывести только народное представительство. Он свято верит, что устранение самодержавия и установление власти, санкционированной народным доверием, быстро приведет к оздоровлению экономической, политической и социально-нравственной обстановки в стране.

В 1905 году Шингарев принимает деятельное участие в создании в Воронеже отделения Союза освобождения, крупнейшей в ту пору политической организации либералов. Естественно, он с воодушевлением встретил публикацию царского Манифеста 17 октября, вводившего в России начала народного представительства и объявившего о даровании населению демократических свобод. Именно в те горячие месяцы завершается переход Шингарева от земской работы к активной политической деятельности. В это время, вспоминал его друг и единомышленник А.Г. Хрушов, Андрей Иванович «проявлял поразительную работоспособность и со свойственным ему заразительным воодушевлением, удачно сочетаемым с трезвой деловитостью, выступает в публичных лекциях, собраниях, уличных митингах, на площадях, банкетах с популярным разъяснением населению происходивших событий... Судьба его, как будущего народного представителя, была предрешена...»

Шингарев с энтузиазмом принялся за создание местной организации Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы). Спустя несколько дней после партийного учредительного съезда (ноябрь 1905 года) было объявлено о создании ее Воронежской губернской ор-

«Всякий самовольный захват является незаконным расхищением народного богатства...»

ганизации. Центром притяжения активных сторонников либерального движения стала губернская земская управа, где сложилась сильная группа сторонников новой партии (Д.А. Перелешин, В.И. Колюбакин, П.Я. Ростовцев и др.). Руководителем воронежской организации местные кадеты единодушно избрали А.И. Шингарева.

Выдвижение Шингарева в лидеры воронежских кадетов было закономерным. К концу 1905 года автор «Вымирающей деревни» приобрел репутацию настойчивого, энергичного и принципиального защитника народных интересов. При этом соратники хорошо знали о его негативном отношении к насильственным методам общественно-политической деятельности. В сущности, Шингарев остался по убеждениям социал-либералом, видел смысл лишь в мирной тактике свободного просвещения народа и постепенного реформирования государственного и экономического строя.

Практически сразу после образования губернской организации кадетов Шингарев приступил к изданию вновь учрежденной газеты «Воронежское слово», ставшей на полтора года основным рупором местной интеллигенции. Подзаголовок издания был вполне откровенным и гласил: «Газета проводит взгляды партии кадетов (Народной свободы)». Энергично газета повела пропаганду либеральных идей в связи с развернувшейся весной 1906 года кампанией по выборам депутатов Государственной думы. Воронежские кадеты, настаивавшие на ускоренном развитии демократических свобод и на принятии мер по решению проблемы крестьянского малоземелья, сумели получить на выборах значительную поддержку избирателей. Из двенадцати предназначенных для Воронежской губернии депутатских мандатов они получили четыре — больше, чем любая другая партия. Это была и личная победа Шингарева, считавшего избирательную кампанию делом исключительной важности.

Но сам руководитель воронежских кадетов в депутаты не баллотировался. По решению своей партии он должен был сосредоточиться на политической деятельности местного комитета. Руководители кадетов не хотели оставлять Воронеж без энергичного организатора и рисковать судьбой одной из своих наиболее перспективных организаций. Однако быстрый роспуск Думы первого созыва внес серьезные изменения в положение кадетской партии. Организованное кадетами Выборгское воззвание с протестом против роспуска Думы и призывом к акциям гражданского неповиновения сделало партию революционной в глазах правительства. Принадлежность к Партии народной свободы была объявлена противозаконной. В январе 1907 года, по представлению губернатора, Шингарев был из земства уволен; готовилось даже судебное преследование лидера воронежских кадетов. Однако в условиях общественного подъема такие действия властей сыграли роль дополнительной рекламы: на выборах во II Думу Шингарев одержал уверенную победу. В феврале 1907 года он отправляется в Петербург. В его жизни совершается новый поворот. Начинается столичный период политической деятельности Шингарева, выдвинувший его в число общественных и государственных деятелей общероссийского масштаба.

Думская деятельность бывшего санитарного врача проходила на редкость активно. Правда, II Дума была тоже недолгой. Левая, даже более радикальная по составу, она еще менее первой была готова сотрудничать с правительством П.А. Столыпина и была распущена 3 июня 1907 года, спустя 102 дня после открытия. Однако новый роспуск существенного влияния на политическую судьбу Шингарева не оказал: он вновь баллотировался в своей родной губернии и был избран депутатом III Государственной думы, первой в истории России отработавшей установленный пятилетний срок. В 1908 году Шингарев становится членом ЦК Конституционно-демократической партии, а в 1912 году избирается депутатом IV Думы, на этот раз от Петербурга.

Вплоть до крушения монархии он был одним из самых влиятельных лидеров либеральной оппозиции режиму и играл ведущую роль в деятельности думской кадетской фракции. Член ЦК кадетской партии А.В. Тыркова вспоминала: «Благодаря редкой трудоспособности Шингарев скоро стал правой рукой Милюкова, но самостоятельность свою целиком сохранил. Еще вчера неизвестный провинциал, он быстро сделался любимцем Петербурга. Имя Андрея Ивановича стало повторяться едва ли не чаще, чем имя Павла Николаевича (Милюкова. — М.К.), и с более нежной улыбкой. В Государственной думе даже политические противники относились к Шингареву по-приятельски, сносились с ним куда охотнее, чем с Милюковым... Шингарев и на трибуну всходил, и в кулуарах появлялся с улыбкой, которая хорошо передавала его характер и очень шла к его пригожему, тонкому лицу, обрамленному прямой черной бородкой... В пестрой толпе членов Думы не было человека популярнее Андрея Ивановича. Конечно, сущность была не в его улыбочности, а в душевной силе, которая понемногу создала ему исключительный авторитет на всех скамьях, при этом в Думе, где большинство было кадетами, где междупартийные споры носили недобрый, личный характер...»

Шингарев напряженно трудился сразу в нескольких думских комиссиях: бюджетной, земельной, продовольственной, по местному самоуправлению, по вопросам законодательства и др. Но все же чаще всего Шингарев выступал в Думе как специалист по бюджетным отношениям и являлся почти бессменным оппонентом министра финансов В.Н. Кокорцова. По собственному признанию последнего, Шингарев часто отравлял его существование как министра пламенными речами «в пользу охранения народа от гнета и злоупотреблений власти». Представитель кадетов неизменно подчеркивал, что налоги в России были «несправедливыми, тяжелыми для малосостоятельных людей и очень льготными для богатых». Как авторитетный знаток земельного вопроса, он стал одним из авторов аграрной программы кадетов, которая предусматривала проведение ряда мер по разрешению проблемы крестьянского малоземелья.

В годы Первой мировой войны Шингарев занял патриотическую позицию и вошел в состав Главного комитета Союза городов, влиятельной общественной организации, стремившейся наряду с Союзом земств мобили-

«Всякий самовольный захват является незаконным расхищением народного богатства...»

зывать ресурсы страны для отражения внешней угрозы. В 1915 году он стал еще и председателем Военно-морской комиссии Государственной думы, в задачу которой входила среди прочего и забота о нуждах личного состава российского флота.

Тяжелый ход войны усилил оппозиционность Шингарева. Вину за поражения на фронтах и большие потери русских армий он возлагал на царское правительство, неспособное, по мнению кадетов и их союзников по Прогрессивному блоку в Думе, руководить страной в годы суровых испытаний. С думской трибуны открыто звучали голоса либералов, требовавших создать «правительство народного доверия» и предрекавших, что николаевские министры доведут страну до новой революции.

О перспективах революции Шингарев говорил с большой тревогой. Он искренне полагал, что неконтролируемый социальный взрыв обернется страшной для государства и русского народа катастрофой. В январе 1917 года, в преддверии надвигавшегося кризиса, он заявлял: «Положение ухудшается с каждым днем... мы идем к пропасти... Надо бы дотянуть до весны, но я боюсь, что не дотянем. Страна уже слушает тех, кто левей, а не нас. Поздно...»

С падением монархии политическая деятельность Шингарева достигла своего зенита. Наряду с другими лидерами кадетов он вошел в состав Временного правительства и занял сначала пост министра земледелия, а затем министра финансов. Социал-демократ Н.Н. Суханов в своих известных «Записках о революции» вспоминал о тех днях: «Шингарев был превосходным деловым министром — со знанием, с огромной энергией, с твердостью и авторитетом... Он был яростным врагом советской демократии...»

Однако в своем новом качестве министра Шингарев практически сразу же попал в капкан неразрешимых противоречий. Как народный доброхот, он считал, что значительная часть крестьянства действительно нуждается в прирезке земли, но, как один из руководителей государства, не мог поощрять начавшиеся, по призывам радикалов-социалистов, самовольные захваты дворянской собственности. В мае 1917 года он счел нужным обратиться к крестьянам с воззванием, в котором говорилось: «Имущество и земли помещиков, так же как и все иные владения, являются народным достоянием, которым имеет право распорядиться только всенародное Учредительное собрание. До тех же пор всякий самовольный захват земли, скота, инвентаря, рубка чужого леса и тому подобного являются незаконным и несправедливым расхищением народного богатства и могут обездолить впоследствии других, быть может, еще более нуждающихся граждан». Однако джин революционного своеволия был уже выпущен на свободу, причем не без помощи самих либералов. В начале июля 1917 года, когда стало ясно, что на настроения масс все сильнее влияют социалисты, кадеты (и в их числе Шингарев) покинули Временное правительство. Либералы не желали нести ответственность за углублявшийся распад государственных устоев и все свои надежды связали с выборами в Учредитель-

ное собрание. Справиться с лавинообразным нарастанием социального хаоса, начавшегося после крушения старого режима, либералы не смогли.

Захват большевиками власти руководители кадетов расценили как акт откровенного произвола и как прямую измену революции. Но они все же верили, что перед волей Учредительного собрания «узурпаторы» устоять не смогут. Поэтому в конце ноября, когда стали известны предварительные результаты выборов, Шингарев отправился в Петроград. Себя он считал депутатом и готовился к активным действиям на форуме всенародных представителей. Однако точных сведений о его избрании в распоряжении историков нет. Во всяком случае, избирательную кампанию в Воронежской губернии, где баллотировался Шингарев, кадеты проиграли. Вполне вероятно, впрочем, что депутатский мандат ему мог быть передан кем-то из друзей по партии, сумевших победить в двух или более округах, например П.Н. Милюковым. Так или иначе, но депутатом Учредительного собрания Шингарева считали и друзья, и враги. Это обстоятельство в конце концов сыграло роковую роль в судьбе виднейшего русского либерала.

В самом конце ноября советское правительство приняло решение об объявлении партии кадетов вне закона и об аресте ее виднейших деятелей. 28 ноября А.И. Шингарев и его соратник Ф.Ф. Кокошкин были арестованы и заключены в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. При аресте было объявлено, что кадетов лишают свободы за то, что они «не хотели признавать власть народных комиссаров». Условия пребывания в крепости были очень тяжелыми, и родственники стали хлопотать о переводе арестованных в больницу. Просьба была в итоге удовлетворена, но перевод в Мариинскую больницу был использован противниками кадетов для организации злодейского убийства Кокошкина и Шингарева. Уже при перемещении арестованных командиры Красной гвардии советовали начальнику караула «просто сбросить их в Неву». Жестокую расправу в ночь с 6 на 7 января учинила группа анархистствующих матросов, спровоцированная призывами к революционному самосуду над бывшими «министрами-капиталистами».

Гибель А.И. Шингарева, бывшего земского врача, автора «Вымирающей деревни», страстного защитника народных интересов и искреннего демократа, приобрела символическое значение. Понятие свободы у интеллигента-народолюбца и у народных низов в критический для страны момент оказалось наполнено разным содержанием. Идеалы демократии, во имя которых либералы неустанно боролись с самодержавным режимом, спровоцировали выплеск такой народной стихии, укротить которую могла только диктатура.

«Всякий самовольный захват является незаконным расхищением народного богатства...»

НИКОЛАЙ
ФЕДОРОВИЧ
ЕЗЕРСКИЙ

**«Носитель власти, даже
микроскопический, очень
склонен забывать, что он
член общества...»**

Российская политическая модернизация начала XX века не могла не повлиять на облик провинциального общества, стремительно политизировавшегося под воздействием общероссийских перемен, связанных с потрясениями революции, выборами в Государственную думу, ростом грамотности, распространением печати и приобщением различных слоев населения к политической жизни.

Начало жизни нашего героя, кажется, не предвещало участия в событиях, позднее всколыхнувших страну. Родившийся 12 декабря 1870 года в Дрездене, в семье коллежского асессора (впоследствии — основателя счетоводческих курсов в Москве) и урожденной княгини Гагариной, Николай Федорович Езерский в 1894 году окончил юридический факультет Московского университета, а год спустя перешел в ведомство Министерства народного просвещения. В 1898 году он был произведен в титулярные советники. Удивление может вызвать другое: решение занять в 1902 году должность инспектора дирекции народных училищ по Мокшанскому и Городищенскому уездам Пензенской губернии. Что же обусловило его желание оставить карьеру в Москве и уехать в черноземную глушь?

Обратимся к переписке тридцатилетнего москвича Николая Езерского со своим другом-однокурсником Петром Ивановичем Корженевским. Оказавшись в провинции, Езерский, казалось, пытается убедить себя в том, что «получил исполнение всех желаний» и «почти совершенно доволен своей судьбой». Правда, в этих заверениях проглядывает надежда на то, что именно здесь, в Пензе, он сможет «избавиться от чужой указки, при которой я буквально работать не могу, ибо указка... только портит дело». Вначале Езерский признается в том, что у него «планов бесконечное множество» и что, подобно чеховскому интеллигенту, он пытается отдать все свои силы и помыслы настоящему Делу. Однако вскоре при столкновении с действительностью пылкие мечтания сменяются разочарованием. Находясь под впечатлением от поездок по двум уездам Пензенской губернии, молодой Езерский приходит к пессимистичным мыслям. Его попытки рассмотреть на училищном совете предложение по совершенствованию преподавания наталкиваются на обескураживающий ответ

уездного предводителя дворянства: «Ох, батюшка, как мне некогда! А вы вот что: напишите протокол заседания, как, по вашему мнению, лучше, и принесите мне подписать...»

Инертность провинциальной бюрократии, отсутствие всякой инициативы явно раздражают Езерского. Размышляя о реальных возможностях изменений в рамках существующей системы, он делает небезынтересные наблюдения о самой природе власти в провинции: «Для того чтобы добиться какого-нибудь успеха, создать что-нибудь реальное, нужно хоть частично власти, будь то власть чиновника или же власть, какую дает обаяние крупного имени... Опасно только то, что носитель власти, даже микроскопический, очень склонен забывать, что он член общества...»

Столкнувшись с неприятием ряда предложений, призванных улучшить систему образования, Николай Федорович стал чаще размышлять о причинах неэффективности деятельности государственного аппарата. В одном из писем он советует своему другу: «Не будь доктринером, прямолинейным, отказывайся от всякого начинания, как только ты видишь, что не находишь вокруг той доли поддержки, которая необходима для него вне тебя; в этом умении прилаживаться к конкретным условиям жизни — вся суть политической деятельности, в отличие от научной, художественной, которая всегда остается в области чистых идеалов».

Н.Ф. Езерского раздражают противоречия, которые он мучительно пытается разрешить: «Если жизнь почему-нибудь отказывается принять то, что я хочу внести в нее, то кто прав? Я или жизнь? Думаю, что все-таки — последняя, по крайней мере, для данного момента». Невозможность быстрых перемен приводит его к мысли о том, что он, по-видимому, не прав, желая «получить результат, минуя переходные ступени, то есть нарушить законы природы»: «Общественный фон народной жизни так безотраден — бедность, невежество, пьянство. Глубоко учить крестьян географии или арифметике или карать их за буйство в пьяном виде и закрывать глаза на общественные причины — это все равно, что лечить прыщи во время кори».

Исторические материалы об особенностях экономического и социокультурного ландшафта Пензенской губернии начала XX века позволяют составить представление о роли русского либерала в тех изменениях, которые не обошли и провинциальную глубинку. Пензенская земля, находившаяся на стыке Черноземья, Центральной России и Поволжья, отражала общероссийские черты периода модернизации. Многонациональный состав населения, урбанизация, сопряженная с низким качеством жизни «пришлых» — крестьян, покидавших свои деревни и приезжавших в города, отнюдь не гостеприимные для сезонных рабочих, получавших скудное жалованье и проживавших в бараках или снимавших «углы».

Особо остро в этих местах стоял аграрный вопрос. Пензенская губерния являлась одной из житниц страны. Более 70% ее земельных площадей принадлежало дворянским фамилиям, широко известным в истории России, — князьям Волконским, Оболенским, графам Уваровым и Шере-

метевым. На Пензенской земле находились и владения известного реформатора П.А. Столыпина.

Необходимость перемен в аграрной политике осознавалась не только крестьянами. Затягивание реформ стимулировало оппозиционно настроенных лиц в городах, активно обсуждавших (как правило, в узком кругу) правительственные решения, действия местных администраторов, настроения населения. Однако возможности влиять на ситуацию в губернии у политизированной части провинциальной интеллигенции были, как правило, весьма ограниченные. Езерский был членом правления Пензенской общественной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова и секретарем правления общества имени А.С. Пушкина. Однако и его возможности реализации своих политических идей были явно недостаточными. В 1902 году, в очередном письме П.И. Корженевскому, он делает еще одно достаточно пессимистическое признание: «Вот тебе мой вывод: у нас общественная деятельность в настоящем смысле невозможна. Потому что людей, интересующихся и понимающих общественные дела, так мало, все мы так вялы, так неопытны, что разве только в самых крупных центрах можно подобрать целую группу людей, которые все были бы способны к деятельности... О равноправных товарищах, о совместной работе нечего и думать...»

Между тем патриархальная тишина Пензы все чаще нарушалась новыми веяниями: увеличивалось количество подписчиков на общероссийские периодические издания (в губернском центре издавались только официозные «Ведомости»), открывались новые учебные заведения. Да и молодежь стремилась выйти за границы запретов и частоколов Министерства народного просвещения, вникая в политическим ссыльным. Получивший впоследствии широкую известность писатель А.М. Ремизов, сосланный в Пензу за участие в антиправительственном движении, отмечал в своих воспоминаниях, что среди его новых знакомых преобладала оппозиционно настроенная молодежь: один из будущих лидеров партии социалистов-революционеров Н.Д. Авксентьев; юный В.А. Карпинский, ставший позднее видным большевиком, хорошо знавшим В.И. Ленина (пока же он «больше годился на применение своего марксизма среди гимназисток, что он добросовестно и исполнял»).

И все же политизация не стала определяющей чертой в настроениях подавляющей части населения провинции. Скорее, можно говорить о социальном протесте. Перемены вызывали реакцию, характерную для людей с низким уровнем политической и правовой культуры: озлобление, ненависть к государственному порядку и «эксплуататорам».

Опасность экстремизма осознавалась и Н.Ф. Езерским. В статье «Культура и революция», опубликованной «Московским еженедельником», он поделился своими размышлениями о влиянии политической культуры на характер противостояния в провинции: «На смену старого мировоззрения не выдвинулось ничего цельного, яркого, что могло бы захватить народную душу — да это же было причиной живучести старого. То но-

вое, что полагалось народу, было ему чуждо, излагалось непонятно и не отвечало многим запросам народной души... С анархией в области мысли последовала анархия поступков. Все смешалось: самые старые установленные воззрения на добро и зло, на дозволенное и недозволенное, а политическая борьба, обостряясь, вела к актам, которые, противореча унаследованным нравственным чувствам, оправдывались политической необходимостью». Подобная точка зрения отражала искания той части провинциального общества, которая осознала свое бессилие как перед крестьянским «миром» с его нормами и ценностями, весьма далекими от «прожектов» интеллектуалов, так и перед бюрократией, рассматривавшей их как досадную помеху к установлению столь желанного «спокойствия». Склонность к абстрактному теоретизированию, к мечтаниям о «земном рае» социальной справедливости — эти черты, свойственные российской интеллигенции, становились наиболее заметными именно в российской глубинке.

Революция 1905 года нарушила размеренный ритм провинциальной Пензы. Главными очагами напряженности явились средние учебные заведения — Училище садоводства (старейшее в России), Художественное и Землемерное училища, где студенты проводили на частных квартирах сходки и распространяли прокламации с призывами к забастовкам. Требования сводились к изменениям в системе преподавания и режиме работы. Характерно, что в Пензе именно учащаяся молодежь составляла наиболее активную часть политизированного населения, что не могло не вызывать тревогу у местных властей. «Мятежный дух... может достигнуть широкого распространения и интенсивности», — свидетельствовал губернатор.

Обнародование Манифеста 17 октября 1905 года оказало огромное влияние даже на отличавшуюся низким уровнем политизации Пензенскую губернию. Однако столь желанное для властей «успокоение» так и не воцарилось. Политические свободы, намерение созвать Государственную думу стали удобным предлогом для активизации действий лево- и праворадикальных партий (как эсеров и социал-демократов, так и Союза русского народа). Различные толкования Манифеста усугубляли противоречия в среде оппозиции, порождали растерянность и уныние у представителей властей в центре и на местах. Если сам Николай II мучился сомнениями, не нарушает ли он своей коронационной клятвы, подписав текст Манифеста, то понятны настроения проводников правительственной политики на местах — от офицеров полиции, которые говорили друг другу, «что им скоро нечего будет делать», до авторитетных представителей образованного общества, встревоженных разгулом анархии и нетерпимости.

Очевидно, создание Пензенского бюро Конституционно-демократической партии в ноябре 1905 года стало важной вехой в общественно-политическом процессе в губернии. Во главе бюро стал Н.Ф. Езерский. Среди пензенских либералов — адвокат Б.К. Гуль (отец впоследствии знаменитого писателя русской эмиграции Романа Гуля); купец 2-й гильдии,

«Носитель власти, даже микроскопический, очень склонен забывать, что он член общества...»

землевладелец, предприниматель-меценат В.Н. Умнов (еще в 1861 году исключенный из Казанского университета за участие в панихиде по убитым крестьянам); известный публицист, автор многочисленных статей в «Московском еженедельнике», купец из уездного города Мокшан В.П. Быстренин.

С декабря 1905 года в Пензе под редакцией Н.Ф. Езерского стала выходить газета «Перестрой», получившая известность далеко за пределами губернии, — на ее сообщения часто ссылались общероссийские газеты и журналы. Николай Федорович стал душой «Перестроя». В своих статьях он призывал к достижению гражданского мира, борьбе как против произвола администрации, так и против террора со стороны радикальных политических сил. Программное заявление газеты было опубликовано в сложных условиях — после московского восстания, взорвавшего жизнь Первопрестольной. «Мы находим в особенности необходимым проповедь единения всех классов населения, а не подчеркивание классовой вражды и антагонизма интересов, ибо теперь на очереди стоит реформа, в которой одинаково заинтересованы все классы, — писал Николай Федорович. — Теперь опасность от затягивания кризиса угрожает всему государству, и именно теперь государственные соображения и общенародные интересы должны выступить впереди классовых, которые столь часто совершенно заслоняют первые — как для радикальных, так и для реакционных деятелей». В отличие от многих провинциальных обывателей, клеймивших революционные партии как «устроителей революции», Езерский иначе объяснял причины ее начала: «Мы прекрасно знаем, что все нынешнее движение не результат интриги нескольких крамольников, а плод долгого застоя народной и государственной жизни, переустройства во всех областях ее, и уже официально признано, что только коренные реформы, обещанные с высоты престола, могут вывести страну из переживаемых бедствий...»

В этих условиях либералы предпочли уделить особое внимание не столько организационным мерам, призванным укрепить структуры кадетской партии в губернии, сколько участию в предвыборной кампании, связанной с созывом I Государственной думы. Новизна задачи порождала множество проблем. Во-первых, функции народного представительства совершенно иначе воспринимались различными слоями населения. «Все низы русской нации с упованием смотрели на Думу, с благоговением шли к урнам, часть с крестным знамением опускали записку... Верхи общества, все, что не было безнадежно идее обновления страны, с таким же упованием смотрели на Думу, надеясь в ней найти успокоение и оплот от опасностей революции», — писал Н.Ф. Езерский. Во-вторых, избирательная борьба происходила таким образом, что выборщики, не понимающие тонкостей различий программ политических партий, голосовали часто наугад или, как писал единомышленник Езерского, купец В.П. Быстренин, «руководствовались лишь личными симпатиями или антипатиями... при стеснении предвыборной агитации, при наличности запрещения

партийных собраний, при устрашающей обывателя усиленной охране». В-третьих, в предвыборной борьбе широко применялись необоснованные обвинения в «измене России», «служении чужим интересам», перераставшие нередко в скандалы. Наконец, участие в предвыборных кампаниях придавало соперничеству партий особый смысл, поскольку выявляло эффективность их влияния на потенциальных сторонников, определяло возможности складывания предвыборных коалиций.

Пензенские кадеты начинали свою деятельность в непростых условиях. Нажим местных властей во многом объяснялся тем, что здесь были весьма сильны консервативные настроения, а интеллигенция была достаточно хрупкой. Когда член бюро кадетской партии П.В. Голов обратился к губернатору с ходатайством о разрешении проведения собрания в целях обсуждения партийной программы, ответом стало согласие, но с условием представить список приглашенных лиц. Отменить же собрание власти не решились: ожидался приезд лидеров партии кадетов — П.Н. Милюкова, В.А. Маклакова и князя Пав.Д. Долгорукова.

Нечастые визиты в провинциальный город фигур общероссийского политического олимпа начала XX века стимулировали интерес к деятельности партий. В воспоминаниях видного российского историка А.А. Кизеветтера, изданных в Праге в 1929 году, приводятся свидетельства об участии в политических дискуссиях. 16 февраля 1906 года их автор вместе с другим известным деятелем кадетской партии, князем Пав.Д. Долгоруковым, выступал на собрании пензенской группы кадетской партии с докладом о программе партии кадетов и ее отличии от других политических партий России: «Теперь русскую провинцию нельзя было узнать. Исчезла эта вялая монотонность, на фоне которой популярная лекция приезжего лектора уже являлась важным событием. Теперь и здесь бурлила жизнь, хотя нажим администрации чувствовался гораздо сильнее, нежели в столицах».

Характерно, что Н.Ф. Езерский и его единомышленники предпочли сделать собрание открытым, чтобы провести открытую дискуссию с представителями других политических партий (октябристами, Партии правового порядка). А.А. Кизеветтер и Пав.Д. Долгоруков отвергли обвинения в адрес кадетов. Речь шла, в частности, о том, что их партию упорно называли «господской». «На всех наших съездах участвовали подлинные крестьяне и рабочие», — утверждал А.А. Кизеветтер. «Мы увидим мир богатства ума нашего крестьянина, — продолжал он. — Довольно того, что долго смотрели на крестьянство сверху вниз. Это — остатки крепостничества, с ними порвала жизнь». Подобные высказывания не могли не привлечь голоса избирателей из крестьянской среды, особенно в условиях предвыборной кампании, об особенностях которой писал Н.Ф. Езерский на страницах своей газеты. «Дело осложняется тем, что некоторые партии в борьбе с противниками прибегают к личным нападкам нравственного характера: бросаются обвинения в измене России, чуть ли не в подкупе. Все эти обвинения рассчитаны на невежество и предрассудки известной

«Носитель власти, даже микроскопический, очень склонен забывать, что он член общества...»

части избирателей и, как бы ни были нелепы, оказывают свое действие; в деле выбора представителя приходится иметь в виду не только убеждения кандидата, но и его личность. Надо знать, как он будет отстаивать принципы в Думе», — писал Николай Федорович.

Езерский принял деятельное участие в митингах, собраниях накануне выборов в I Думу. Его слова, обличавшие произвол на местах, импонировали публике как в Пензе, так и в уездах. Вместе с тем Езерский осторожно доказывал необходимость введения всеобщего избирательного права. Он признавал, что «свобода в известные моменты может лучше ограждаться политически зрелыми и юридически образованными людьми, чем массой, которую легко можно поддеть на громкие слова, ввести в заблуждение политикой „отвода глаз“ или подстрекнуть на необдуманные действия, пользуясь предрассудками толпы». «Только всеобщее голосование воспитывает народ, — писал он. — Пока дела вершатся чиновниками или зажиточными классами, народ остается исторически пассивен и никогда не приобретет политического опыта...»

Итоги голосования оказались весьма неожиданными для властей. От Пензенской губернии в состав Думы были избраны два кадет (помимо Н.Ф. Езерского — почтовый чиновник М.С. Киселев), три представителя крестьянства, вошедшие в состав Трудовой группы, а также один социал-демократ. В день открытия Думы, 27 апреля 1906 года, прекратили занятия учебные заведения и ряд предприятий. На центральных улицах толпились горожане, ожидавшие телеграмм у зданий редакций газет, в которых сообщалось о ходе работы народного представительства.

В свою очередь, депутаты, оказавшиеся в Таврическом дворце, полагали, что поддержка земляков позволяет им высказывать свои мысли, не смягчая выражений. Их выступления напоминали не столько конструктивные предложения, сколько экспрессивные митинговые заявления. Не удержался от эмоций и Н.Ф. Езерский, обрушившийся в выступлении в Думе 16 мая 1906 года на пензенского губернатора С.А. Хвостова. Тот приказал представителю общеземской организации по борьбе с голодом графу П.М. Толстому покинуть в трехдневный срок территорию губернии. Толстой не только занимался созданием общественных столовых, но публиковал нелицеприятные статьи в столичных газетах о ситуации в губернии, что не могло не вызвать негативного отношения начальника губернии. В выступлении на съезде кадетской партии Езерский призвал обратить внимание на то, что «половина депутатов Государственной думы состоит из крестьян. Они будут нас поддерживать, пока наша партия будет выдвигать вперед вопрос аграрный, в противном случае они отпадут».

Другой стороной деятельности депутата Езерского стало, по словам князя Пав.Д. Долгорукова, приобщение широких слоев населения к общественно-политической жизни страны. ЦК кадетской партии принял решение разделить территорию России на лекционные округа (Пензенская губерния вошла в Саратовский округ), в которые были направлены депутаты и известные ораторы-либералы.

Приезд Н.Ф. Езерского в губернию вызвал резонанс в среде крестьянства. На станции Воейково собрались сотни крестьян во главе с волостным старшиной и сельским старостой, пригласившие депутата приехать в село Каменку. 9 июня состоялось собрание, на котором был заслушан доклад Н.Ф. Езерского о деятельности Думы. Об обстановке, царившей в залах, собиравших сотни людей (что становилось событием для провинциальной Пензы), свидетельствует донесение чиновника, направленного губернатором для наблюдения за ходом собрания с участием Н. Езерского и другого депутата, В. Рогова. При входе в зал чиновник оказался перед организатором, собиравшим пригласительные билеты и проворчавшим: «Губернатор требует, чтобы не было лишних, а сам лишних присылает». После выступления Езерского, проинформировавшего о ходе работы I Думы, инициативу захватили эсеры и социал-демократы. «Крови бояться нечего», «добиваться всего надо вооруженной силой» — эти призывы вызвали неприятие пензенских либералов. Адвокат А.В. Генке, коллега Езерского по партии, откликнулся на подобные призывы репликой: «Нечестно призывать к вооруженной борьбе одну часть населения против другой».

Езерский использовал поездку для решения задачи социального расширения своей партии. В «Перестрое» было опубликовано его воззвание, в котором он призвал «заняться политическим воспитанием народа» и создавать местные организации партии. По данным историков, максимальная численность кадетской организации пензенских кадетов достигала 400 человек.

Последовавший 9 июля 1906 года роспуск I Думы стал ответом власти на радикализацию в стенах народного представительства. Более 180 депутатов, в том числе и Езерский, выехали в финский город Выборг, где было принято воззвание к избирателям, которое впоследствии по-разному оценивалось современниками. Езерский воспринял роспуск Думы как произвол власти и нарушение прав избирателей и депутатов. Помимо распространения текста Воззвания среди населения Пензенской губернии, он публикует страстные статьи в «Перестрое». 17 октября вышел последний номер газеты, запрещенной властями.

Знаменитый судебный процесс над депутатами, подписавшими Выборгское воззвание, вызвал широкий общественный резонанс. Н.Ф. Езерский был приговорен к трехмесячному заключению, которое он отбывал в столичной тюрьме. Сохранилась открытка с изображением тюремных стен и стрелкой, указывавшей окно каземата с надписью «А здесь я сижу».

Лишенный права быть избранным в следующие Думы и структуры местного самоуправления, Езерский не смог вернуться и к прежней профессии: должность инспектора народных училищ оказывается для него закрытой. Он пытается снова заняться общественной деятельностью: организует общеобразовательные курсы, читает публичные лекции. Еще до отбытия заключения в Пензе была опубликована книга Николая Федоровича «Государственная дума первого созыва».

«Носитель власти, даже микроскопический, очень склонен забывать, что он член общества...»

После того как властям удалось справиться с потрясениями 1905–1907 годов, структуры кадетской партии в провинции охватил глубокий кризис. Сенат отказал в легализации партии (февраль 1907 года); был подтвержден запрет принимать на государственную службу членов нелегализованных партий. Сыграло роль и отстранение кадетов от должностей в земских управах, их повсеместное увольнение из средних учебных заведений. «Отмирание целых партийных организаций — факт несомненный», — констатировалось на заседании Московского отдела ЦК партии кадетов.

Езерский был вынужден заниматься работой на поприще присяжного поверенного и, судя по косвенным данным, переехал к отцу в Москву.

В Пензе он вновь появился в 1917 году. Свержение самодержавия открыло новые возможности для общественно-политической деятельности. Николай Федорович становится редактором новой кадетской газеты «Пензенская речь» (известно, что основная партийная газета называлась «Речь»). В условиях разгула анархии, роста крестьянских выступлений со страниц нового издания доносятся призывы обуздать стихию, соблюдать законы и распоряжения власти.

Символично название одной из статей Езерского — «Кризис свободы» (13 мая 1917 года). В ней автор указывает на причины, осложняющие демократический путь развития России. Их, по его мнению, три. Во-первых, после победы революции по-прежнему проявлялось отсутствие единства политических сил, выступавших за демократический выбор страны («для огромной черновой повседневной работы не хватает людей», «нет желания идти на взаимные уступки, без которых невозможна никакая общественная работа»). Во-вторых, противоестественным являлось отсутствие функциональности в деятельности различных учреждений — как в центре, так и на местах. В-третьих, целесообразны изменения в социальной сфере («одна свобода слова на митингах, одна возможность читать бесцензурные газеты не удовлетворяют народ. Нужно улучшение жизни — улучшение условий труда, увеличение достатка и радостей жизни»).

Езерский был озабочен растущим классовым и групповым эгоизмом: «Вместо политической гражданской свободы каждый добивается для себя лично неограниченной свободы действий, вместо общей работы над созданием общенародных государственных учреждений отдельная кучка граждан старается оградить свои выгоды, добиться независимости или даже власти над другими, не думая о справедливых требованиях других граждан, ни об укреплении общей свободы». Конечно, в этих строках — критика советской системы, которая разобщает население по сословному признаку, что было неприемлемо для либерала Н.Ф. Езерского. Приход к власти большевиков был встречен им крайне негативно. «Большевизм нынешний — это распутинство революции с такой же ложью, подкупничеством и предательством», — писал он в ноябре 1917 года. Попытки победить на выборах в Учредительное собрание по спискам кадетов в том же году оказались безуспешны. Призывы к постепенности преобразований ока-

зывались непонятыми в губернии, население которой устало от военного лихолетья, полуголодного существования и ожидало быстрых решений проблем леворадикальными политиками, оперировавшими популистскими лозунгами.

В 1918–1920 годах Н.Ф. Езерского сражался в рядах белых армий. Эмигрировал в Сербию, затем перебрался во Францию, где вскоре принял сан священника. С 1932 года служил в Будапеште, где и скончался 14 января 1938 года.

Алексей
Лопатин,
Александр
Соколов

КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ НЕКРАСОВ

«Энергичней надо готовиться к грядущим светлым дням...»

Алексей Сергеевич Некрасов, отец великого русского поэта Н.А. Некрасова, был отцом пятерых детей, но никто из них, за исключением Федора, не оставил после себя потомства. Федор Алексеевич стал, в свою очередь, отцом двенадцати детей; именно они и их потомки и стали продолжателями рода Некрасовых. Старшим сыном от второго брака Ф.А. Некрасова был Константин Федорович, оставивший заметный след в истории не только Ярославского края, но и всей России.

Отец и мать будущего видного деятеля кадетской партии, депутата первого русского парламента и известного российского издателя, познакомились летом 1872 года в усадьбе Карабиха. Сорокапятилетний вдовец, обремененный пятью детьми, обратил внимание на бывшую здесь проездом сестру гувернантки своих сыновей, Наталью Павловну Александрову, и пригласил ее провести в Карабихе лето. В конце лета он сделал двадцатидвухлетней вологодской красавице предложение, и та согласилась стать его женой. 17 сентября 1872 года в Москве состоялась свадьба, а 13 сентября следующего года появился на свет Константин, первый из семерых детей Натальи Павловны. Его крестили в церкви Казанской Божьей Матери села Богородского; крестными новорожденного стали брат отца Константин Алексеевич и сестра матери Екатерина Павловна.

Отец Константина Федоровича был крупным помещиком и предпринимателем: только в Ярославле ему принадлежали восемнадцать каменных домов на общую сумму 64 000 рублей серебром. Окончив 2-й Московский кадетский корпус, Константин возвратился в Карабиху (военная карьера его не состоялась по причине болезни), некоторое время пожил там, а затем, поссорившись с отцом, начал искать службу. В возрасте двадцати одного года он вступил в должность земского начальника в селе Щетинское Пошехонского уезда, в 60 километрах от уездного центра, а затем перебрался в село Ермаково, поближе к городу. Три года, проведенные в уездной глуши, стали для юноши хорошей школой жизни — здесь начали формироваться его социально-политические взгляды. Вскоре он переехал в Ярославский уезд, а затем был переведен в Ярославль, где жил в Ильинском переулке, почти на берегу Волги.

В этот период он много читает, общается с местной интеллигенцией, крестьянами. В 1906 году потомственного дворянина Константина Некрасова избирают гласным уездного и губернского земства, а также Ярославской городской думы. Вскоре происходит первый серьезный конфликт Константина Федоровича с губернской властью. Получив по службе циркуляр губернатора, согласно которому крестьянам запрещалось обсуждение общих вопросов, он направил волостным старшинам «разъяснение», в котором, ссылаясь на Высочайший рескрипт, указал: если крестьянские сходы происходят легально, то они вполне законны. Такая трактовка фактически дезавуировала губернаторский циркуляр, и земскому начальнику 1-го участка Ярославского уезда Некрасову было предложено подать в отставку. В своей автобиографии он писал о дальнейших событиях так: «Отклонив предложение губернатора, а затем и уговоры предводителя дворянства уйти без шума, по решению министра внутренних дел Плеве я был устранен от должности, а затем уволен „по 3-му пункту“, то есть без права занятия государственных и общественных должностей». Любопытна точка зрения противной стороны: в одном из тогдашних донесений полицмейстера губернатору причиной увольнения Некрасова от должности названы «допущенные им фамильярности с крестьянами как прогрессиста».

В годы Русско-японской войны Константину Федоровичу, избранному представителем Красного Креста, предстояло отправиться на театр военных действий, но он от этой должности отказался. В это время окончательно определились его политические взгляды: все свои силы он отдает общественной работе, становится активным членом кадетской партии.

Учредительный съезд Конституционно-демократической партии прошел 12–18 октября 1905 года. Это первая легальная политическая партия России, в основе программы которой лежали либеральные принципы. Наиболее желательным вариантом общественного устройства теоретики кадетов считали рациональное капиталистическое хозяйство, последовательно выступали против любых насильственных переворотов, за эволюционное развитие общества и всех его институтов. Их политическим идеалом была парламентарная конституционная монархия английского типа, где господствует принцип «Король царствует, но не управляет». Кадеты требовали разделения законодательной, исполнительной и судебной власти, ответственного перед Думой правительства, введения всеобщего избирательного права и демократических свобод, настаивали на защите гражданских и политических прав личности. Россию они видели унитарным государством, но допускали культурно-национальное самоопределение народностей; выступали за серьезные реформы в аграрной и финансово-экономической сферах, в области взаимоотношений труда и капитала, вопросах обороны, просвещения и т.д. Эти требования, весьма оппозиционные для своего времени, привлекали в партию значительные группы думающего и политически активного населения страны.

В Ярославле региональное отделение кадетской партии оформилось быстро. Царь издал Манифест о гражданских свободах 17 октября 1905 го-

да, а 25 октября ярославская газета «Северный край», фактически ставшая печатным органом кадетов, уже опубликовала их политическую программу. 5 ноября в Ярославле состоялось собрание, на котором был избран губернский комитет партии, куда, кроме К.Ф. Некрасова, вошли Н.П. Дружинин, С.А. Мусин-Пушкин, В.Н. Ширяев и др.

Подобные собрания прошли по всей России: к декабрю 1905-го в стране насчитывалось свыше семидесяти легальных кадетских организаций, а к весне следующего года — более трехсот шестидесяти. В партию вошел, как принято говорить, «цвет русской интеллигенции» — либерально настроенные дворяне, университетская профессура, средняя городская буржуазия, служащие, учителя, врачи. В пору расцвета широких общественных ожиданий среди кадетов оказались также представители рабочих, ремесленников, крестьян. В дальнейшем, быстро радикализируясь, они в большинстве своем покинули партию, но в период выборов в I Думу многие представители социальных низов поддерживали кандидатуры, выдвигаемые кадетскими комитетами. На этой волне прошел в первый русский парламент и Константин Федорович Некрасов: как активный член кадетской партии он был избран депутатом от Ярославля.

Согласно избирательному закону от 11 декабря 1905 года город Ярославль мог выбрать одного депутата, а губерния — четырех. Примечательно, что в итоге все пять «ярославских» мест в I Думе заняли кадеты: коллегами Некрасова по парламентской работе стали тогда крестьянин А.М. Костров, судебный следователь Д.А. Скульский, врач В.Е. Строганов и активный землец князь Д.И. Шаховской.

Как известно, эта Дума просуществовала всего семьдесят два дня (с 27 апреля по 8 июля 1906) и была распущена царем. К.Ф. Некрасов, бывший в первом отечественном парламенте секретарем фракции кадетов, разделил вместе с наиболее радикально настроенными парламентариями судьбу этого представительного органа, приняв участие в составлении и подписании 10 июля 1906 года знаменитого Выборгского воззвания. Под этим документом, призывавшим граждан к пассивному сопротивлению политике правительства, отказу платить налоги, непризнанию займов и саботированию призыва в армию, стояли подписи трех ярославцев: Шаховского, Некрасова и Скульского. Правительство возбудило против подписантов уголовное преследование; почти все они были приговорены к тюремному заключению сроком на три месяца и лишены прав избираться на общественные должности. Впрочем, отбыть наказание они могли в удобный для себя срок и по месту жительства. Так и получилось, что дворянин Некрасов отбывал наказание в ярославской тюрьме в Коровниках с 19 мая по 19 августа 1908 года. Там же в это время находился Д.И. Шаховской — с ним заключенный — и поделился новыми планами на будущее.

Планы эти были связаны с издательской деятельностью. Путь на казенную службу Некрасову оказался закрыт, пристрастия к управлению отцовскими предприятиями и усадьбой он не испытывал, продолжать профессиональную политическую деятельность в силу судебного запре-

та — отныне не мог. Отцу Константин Федорович писал: «Есть одна область, в которой я могу устроиться: это редактирование газеты или журнала или что-нибудь в этом роде. Но занятия эти, требуя огромного труда (часто ночного), плохо оплачиваются, вдобавок нередко грозят судебным преследованием. Я решил взяться за эти дела только в том случае, если не найду ничего другого». В письмах из тюрьмы к своему другу, соратнику по партии Николаю Петровичу Дружинину, он более определенно: первым будущим изданием ему виделся краеведческий сборник. И все же по выходе из заключения Константин Федорович, совместно с Дружининым, взялся за издание не сборника, а ежедневной газеты.

Ярославская губернская газета «Голос», соиздателями которой до 1912 года являлись К.Ф. Некрасов и Н.П. Дружинин, начала выходить 19 февраля 1909-го; редакция располагалась на Духовской (ныне Республиканской) улице, в доме № 49. Направленность издания была, естественно, конституционно-демократической, а тематика — смесью политических, экономических, общенаучных, юридических и литературных вопросов. Под рубриками «Ярославская жизнь», «Областной отдел», «Внутренние известия» публиковались самые разные материалы; газета уделяла внимание положению крестьян, условиям труда рабочих и другим социальным проблемам общества, широко откликалась на общероссийские события. Так, в 1910 году несколько номеров было посвящено кончине Льва Толстого, в одном из них вышла статья Толстого «Два закона» — за эту публикацию редакцию оштрафовали на 300 рублей. Откликнулся ярославский «Голос» и на шумевшее «дело Бейлиса», что также не осталось незамеченным: С. Каныгина, редактора номера, в котором появилась статья «На средневековом процессе», оштрафовали на 500 рублей.

Немало места уделялось культуре, истории родного края, собственно литературному творчеству. В «Голосе» печатались стихи Сурикова, Дерунова, Дрожжина, Бальмонта. Одним из ее корреспондентов был Брюсов; в 1914 году он написал о своем желании посылать в газету заметки с театра военных действий — и Некрасов принял предложение. Заметки Брюсова о Варшаве в дни войны, краткие обзоры событий на Северном фронте нередко содержали данные, не появлявшиеся ни в одной из столичных газет. Однако это продолжалось недолго; в письме от 4 марта 1915 года автор написал Некрасову буквально следующее: «Из разговора с Вами я вынес впечатление, что для „Голоса“ мои корреспонденции — излишняя роскошь...» Что именно заставило Брюсова сделать такое признание, сейчас трудно установить, но сотрудничество прекратилось.

С 1910 года началось издание еженедельного иллюстрированного приложения к «Голосу» — «Ярославских зарниц». Его задачей издатель называл пробуждение «местного патриотизма, без которого невозможно возрождение нации», «интереса к своему родному, к своей губернии, к уезду, к селу; к своим героям, деятелям, тем, что живут и жили среди нас, часто незаметные, безвестные». Характерна оценка современности, данная редакцией во вступительной статье: «Глухое, поистине Смутное время наше

«Энергичней
надо готовиться
к грядущим
светлым
дням...»

не страшит нас. Мы верим, что оно не будет длительно, и бодро смотрим вперед. Но чем короче будет это переходное время, тем энергичней надо готовиться к грядущим светлым дням, когда все живые силы страны будут призваны к строительству».

Помимо издательских проектов, К.Ф. Некрасов занимался в этот период и другими общественными делами. В 1908–1912 годах он, к примеру, уделял много времени работе в ярославской общественной организации «Молодая жизнь»; ее цель, согласно Уставу, — организация досуга детей и школьников. Члены общества (а в их число входили все представители семьи Федора Алексеевича) устраивали спектакли, вечера, выставки, лекции, зимой — каток, летом — оздоровительные колонии-дачи. Сам Константин Федорович, в 1910–1911 годах — председатель этой организации, наиболее активно занимался как раз устройством подобных «дач» (на территории Ярославской губернии их было несколько, в том числе в Карабихе) и систематизацией опыта их деятельности.

Другим увлечением стало коллекционирование: Некрасов открыл в Москве антикварную лавку. Он собирал предметы старины (иконы, шитье, литье, мебель) по всей стране и за ее пределами. В 1913–1914 годах предпринял поездки в Вологду, Рязань, Нижний Новгород, Александров, Львов и другие города России, а также в Персию. В одном из писем жене, Софье Леонидовне Щерба, Константин Федорович писал: «„Лавка древностей“ страшно интересует меня... я все больше и больше о ней думаю и радуюсь, что начал это дело. Но, конечно, я не останавлиюсь на обычном антиквариате! Искусство, искусство старое и новое! Мы создали грандиозное дело. И прекрасное!»

И все же главной оставалась издательская деятельность. В 1911 году начали воплощаться давнишние планы: Константин Федорович основывает «Книгоиздательство К.Ф. Некрасова», просуществовавшее до 1917 года. Контора издательства находилась в Москве, а типография — в Ярославле (Духовская ул., 59), и, хотя практически во всех книгах местом издания значится Москва, реально они напечатаны в Ярославле. Пятилетняя деятельность издательства стала заметным явлением общероссийской культурной жизни. Основывая это предприятие, племянник великого поэта, судя по всему, не преследовал политических целей. Главным критерием в оценке любого конкретного проекта выступало для него эстетическое и просветительское значение книги, главная цель формулировалась прежде всего как культурная. Книги, выпускаемые Некрасовым, отличались особой тщательностью предпечатной подготовки, изяществом оформления; в подборе авторов и произведений проявлялись образованность издателя, его вкус к русскому слову.

В 1912 году в печати появились первые отзывы на вышедшие в издательстве книги, а в 1915-м вышел каталог, по которому мы можем судить об их разнообразии. Константин Федорович издавал бессмертные творения эпохи Возрождения и памятники древнерусского искусства, произведения отечественных и зарубежных авторов, популярных поэтов совре-

менности и незаслуженно забытых писателей прошлого. Уже в советское время писатель и библиофил В.Г. Лидин писал: «В хлебосольном доме поэта и драматурга Павла Сергеевича Сухотина можно было нередко встретить одного молчаливого и всегда вызывавшего к себе глубокое уважение человека — издателя Константина Федоровича Некрасова, племянника поэта; его книгоиздательство в Ярославле было одним из самых культурных в России и по подбору книг, и по тому, как они были изданы, и могло соперничать с любым столичным издательством».

Многие переводы из европейской классики осуществлены и опубликованы впервые в России именно этим издательством. А что касается отечественных авторов, то именно К.Ф. Некрасову по праву принадлежит честь подлинного открытия ряда знаменитых ныне имен. Так, в 1915-м вышло в свет собрание сочинений Каролины Павловой. Редактор этого издания, Валерий Брюсов, писал в декабре 1913 года: «Каролина Павлова принадлежит к числу наших замечательных поэтов... Между тем в наши дни лишь очень немногие знают поэзию Каролины Павловой, а для широких кругов читателей ее стихи как бы не существуют. Объясняется это главным образом отсутствием доступного издания ее сочинений... Издательство К.Ф. Некрасова решило пополнить этот пробел...» Редактором-составителем сборника другого замечательного поэта, Аполлона Григорьева, стал Александр Блок, проделавший большую подготовительную работу для выхода этой книги.

У Некрасова печатались книги Бориса Зайцева, Николая Клюева, Павла Сухотина, Сергея Ауслендера, Натальи Крандиевской, мемуары А. Чарторижского, Н. Тургенева. С ним сотрудничали, кроме уже упомянутых, такие известные авторы, как Константин Бальмонт, Николай Ашукин, Борис Грифцов, Павел Муратов, Андрей Белый, Алексей Толстой, Федор Сологуб, Владислав Ходасевич, Владимир Короленко, Иван Бунин. Со многими из них Константина Федоровича связывали дружеские отношения, с некоторыми — чисто формальные связи «издатель — автор»; с кем-то приходилось — жизнь есть жизнь — порой вступать и в конфликты.

До сих пор не устарели и пользуются заслуженным уважением среди исследователей книги из раздела «Памятники древнего искусства»: «Церковь Иоанна Предтечи в Ярославле», «Церковь Ильи Пророка в Ярославле», «Древнерусская иконопись в собрании И.С. Остроухова». Любопытен «некрасоведческий» аспект деятельности Константина Федоровича. В 1914 году вышел в свет сборник В. Евгеньева «Николай Алексеевич Некрасов» (впоследствии он лег в основу трехтомной монографии о поэте). В 1916-м появился первый том «Архива села Карабиха», составленный из неизвестной прежде переписки поэта (среди его корреспондентов М. Салтыков-Щедрин, А. Плещеев, А. Фет, Л. Толстой, Г. Успенский). К сожалению, второй том, куда должны были войти некоторые неизданные произведения Н.А. Некрасова в стихах и прозе, а также многочисленные варианты уже известных произведений, не вышел в связи с закрытием издательства в 1916 году.

«Энергичней
надо готовить-
ся к грядущим
светлым
дням...»

К.Ф. Некрасов пытался осуществлять и другие издательские проекты. С 1911 года с ним сотрудничал, сначала как автор, Павел Павлович Муратов — переводчик, писатель, эссеист. Зимой 1913 года они вдвоем приступили к изданию журнала «София». Цель его Муратов обозначил так: «Эстетическое воспитание на том, что ближе всего, конечно, — русская икона, повесть, но не только на этом, а и на том, что можно выбрать перевести с Запада». Редакционная коллегия поставила основные задачи: серьезное теоретическое осмысление событий литературы и художественной жизни; пробуждение нового интереса к древнерусскому наследию; знакомство читателей с современным отечественным и западным искусством, античными и византийскими традициями, лучшими творениями Востока. «София», с ее глубоким теоретическим материалом и прекрасными иллюстрациями, должна была составить конкуренцию петербургскому журналу Маковского. Редакционные статьи писал П. Муратов; в работе приняли участие Н. Бердяев, В. Ходасевич, Б. Зайцев, П. Сухотин, И. Грабарь, А. Бенуа, М. Гершензон, А. Щусев. В течение 1914 года свет увидели шесть номеров «Софии»; дальше помешала война — Муратов был призван в армию.

С началом войны К.Ф. Некрасов, чтобы хоть как-то поправить дела издательства, занимается дешевыми лубочными изданиями; среди них выделялись серии, посвященные русской классической литературе, военной тематике, детские. Но вскоре он принимает решение о закрытии предприятия. К этому привела целая совокупность различных обстоятельств — экономических, технических, организационных. Немалую роль, очевидно, сыграл и внутренний настрой издателя. Павел Муратов писал ему 12 февраля 1916 года: «Решение Ваше меня действительно не удивило. Я так хорошо представляю себе, как все это должно было накопиться: и „либеральные“ редакторы, и конфискация книг, и склады. И литераторы, и прочее и прочее... Нельзя издавать книги, которые Вы не читаете ни до, ни после издания... Вместе с тем, мое глубокое убеждение, что хорошее, небольшое отчетливое книгоиздательство вполне возможно и морально, и материально. И если бы можно было начать сначала...» Однако решение уже принято: в феврале 1916-го продана газета, а затем и типография. К осени издательское дело было прекращено, но оставалась надежда на его возрождение в Москве после окончания войны.

Здесь стоит отметить, что Константин Федорович, несмотря на свою известность в мире отечественной культуры, имел репутацию «неблагонадежного». С оживлением политической жизни в годы Первой мировой войны активизировалась и деятельность царской полиции; членов кадетской партии (особенно левого ее крыла) она по традиции продолжала считать «управляющими революции». Наблюдение за всеми оппозиционными элементами, в том числе за бывшими членами Государственной думы, в этот период заметно усилилось; в Ярославской губернии особо опасными считались князья Д. Урусов и Д. Шаховской. Перводумец Константин Некрасов также не был забыт жандармами, в своей служебной

переписке они отзывались о нем весьма определенно: «Лидер ярославской группы кадетской партии левого крыла и издатель органа этой партии в Ярославле, газеты „Голос“. Личность, безусловно, неблагонадежная в политическом отношении...»

После Октябрьского переворота К.Ф. Некрасов перебирается в Москву. Осенью 1918-го он поступает на службу в Отдел охраны памятников истории и старины, а в 1922-м переходит в Сельхозсоюз, где трудится четыре с половиной года: сначала управляющим Ленинградским отделением, затем — инспектором финансового отдела в Москве. В 1924 году скончалась супруга Константина Федоровича, оставив на его попечение девятилетнего сына Николая: впоследствии он стал известным литератором, внесшим значительный вклад в некрасоведение.

После ухода со службы по болезни Константин Федорович продолжал сотрудничать с журналами и газетами, занимался литературной работой, главным образом в области древнерусского искусства. Именно литературная деятельность была для него основным видом заработка в те тяжелые времена. Он поддерживает связи с В. Брюсовым, А. Толстым, совместно с известным реставратором П. Юкиным работает над книгой «Живописные приемы и техники старых фресковых мастеров (по памятникам, находящимся в СССР)», предпринимает усилия по передаче части архива Н.А. Некрасова из Карабиhi в фонды Государственного литературного музея в Москве, трудится над рукописью воспоминаний о жизни в Карабиhi.

В 1940 году К.Ф. Некрасов ездил поправлять здоровье на юг. На обратном пути, 22 октября, он скоропостижно скончался. Его тело сняли с поезда в Туапсе, там шестидесятисемилетнего К.Ф. Некрасова и похоронил срочно приехавший сын. Могила, к сожалению, не сохранилась.

АРИАДНА
ВЛАДИМИРОВНА
ТЫРКОВА

«Социалисты сделали
из моего отечества
огромное опытное поле
для своих догм и теорий...»

Ариадна Владимировна Тыркова, талантливая журналистка и писательница, бессменный член ЦК Конституционно-демократической партии и лидер феминистского движения, родилась 13 ноября 1869 года в Петербурге. Тырковы — древний новгородский род, упоминавшийся еще в летописях XIV века и внесенный в «Бархатную книгу» наиболее старинных фамилий российского дворянства. После смерти деда Ариадны, новгородского уездного предводителя дворянства, ее отец, Владимир Алексеевич Тырков, получил в наследство «родовое гнездо» Вергежи на левом берегу Волхова, а также 5 тыс. десятин земли и сотни душ крепостных крестьян. Девятнадцатилетним студентом аристократического закрытого Училища правоведения Владимир Тырков познакомился на офицерском балу с семнадцатилетней красавицей Софьей Гайли. С первого взгляда они полюбили друг друга и, несмотря на протесты родителей, обвенчались, прожив в любви и согласии пятьдесят семь лет.

После окончания училища В.А. Тырков служил мировым посредником и судьей, а затем перешел в Министерство финансов, где вскоре получил чин действительного статского советника. До 1880-х годов семья Тырковых жила на широкую ногу. Помимо родового имения, содержалась огромная квартира в Петербурге, большой штат прислуги, бонн, гувернанток, учителей для семерых детей. (Ариадна была в семье шестым ребенком.) Зимой, как правило, Тырковы жили в Петербурге, а с ранней весны и до поздней осени — в Вергежах. Воспитанием и обучением детей занималась мать, которую называли «солнцем семьи». Она была убежденной «шестидесятницей», разделяла либеральные идеи, любила русскую литературу, музыку, хорошо рисовала. С раннего возраста дети свободно говорили на немецком и французском языках, учились музыке и рисованию, разыгрывали популярные пьесы. В семь лет Ариадну отдали в петербургскую частную гимназию княгини Оболенской. Обладая прекрасной памятью и живым воображением, способностью аналитически мыслить, девочка училась легко; любимыми предметами ее были математика и естественные дисциплины; она мечтала стать врачом.

Гордая и независимая в своих суждениях, Ариадна верховодила среди гимназических подруг. Самыми близкими из них были: Надежда Крупская, Лидия Давыдова (дочь директора консерватории, вышла замуж за экономиста М.И. Туган-Барановского), Нина Герд (дочь директора гимназии, стала женой П.Б. Струве), Вера Черткова (дочь одного из приближенных Александра II, вышла замуж за гвардейского офицера Е.А. Гернгросса, ставшего впоследствии начальником Генерального штаба). Несмотря на разное общественное положение родителей, гимназистки были идейно близки, придерживались демократических и даже радикальных взглядов, верили в прогресс, совершенствование личности и общества. «Мы рано, — вспоминала Тыркова, — начали волноваться социальными несправедливостями и противоречиями, мечтали бороться с ними».

И тем не менее первые токи оппозиционных, демократических идей были получены еще в домашней обстановке. «В нашей семье, — вспоминала Тыркова, — оппозиционное электричество начало копиться, когда я еще была ребенком». Двоюродная сестра матери, Софья Лешерн фон Герцфельдт, в юности ушла из дома, была одной из участниц «хождения в народ» в середине 1870-х годов. После ареста ее держали в Петропавловской крепости, а затем отправили на пожизненную каторгу в Сибирь. Брат Ариадны, двадцатилетний студент Аркадий, участвовал в подготовке убийства Александра II, за что был приговорен к пожизненной ссылке; провел двадцать лет в Сибири и освобожден по амнистии лишь в 1905 году.

Со временем независимый и даже строптивый характер Ариадны стал вызывать раздражение, а затем и неприятие со стороны начальства гимназии. За год до ее окончания она была исключена «за худое влияние на учениц» (правда, через год ей разрешили сдать экстерном выпускные экзамены, и она получила диплом домашней учительницы при Петербургском учебном округе). Исключение из гимназии совпало с ухудшением материального положения семьи Тырковых. Вскоре после ареста сына Аркадия Владимир Алексеевич вынужден был уйти из министерства на скромную должность в петербургской таможне. Уже нельзя было содержать ни большую квартиру, ни прежнюю прислугу. Отец остался в Петербурге, поселившись в маленькой двухкомнатной квартирке, а мать с Ариадной обосновались в Вергее, где на протяжении нескольких лет семья жила в стесненных условиях: случалось, они с трудом собирали денег купить сахара в ближайшей лавке.

В 1889 году А. Тыркова поступила на математическое отделение Высших женских курсов, а через год вышла замуж за талантливого инженера-кораблестроителя А.Н. Бормана, происходившего из петербургской немецкой купеческой семьи. Брак, однако, оказался непрочным, и через семь лет Ариадна осталась одна с двумя малолетними детьми: дочерью Софьей, названной в честь любимой матери, и сыном Аркадием, которого она назвала в честь сосланного брата. Успев за время замужества привыкнуть к обеспеченной жизни, с частыми выездами за границу, постоян-

ной ложей в театре, она теперь оказалась перед необходимостью поиска заработка. Пришлось снимать дешевую квартиру на окраине Петербурга, перешивать старые платья, экономить каждую копейку. Но волевая и целеустремленная натура помогла не только выстоять перед материальными трудностями, но еще больше закалить характер, мобилизовать недюжинные природные способности.

Тыркова занялась журналистикой. Обладая природным чувством русского языка, широким кругозором, она писала репортажи, рецензии, заметки — легко, живо, увлекательно. С 1897 года ее статьи, подписанные псевдонимом «А. Вергежский», все чаще появлялись в провинциальных газетах — ярославском «Северном крае», екатеринославском «Приднепровском крае», а позднее и в столичной прессе. Редакторы газет стали дорожить сотрудничеством с ярким автором.

Увлечшись журналистикой, Тыркова охотно посещала публичные и частные собрания, где народники и марксисты вели между собой полемику о судьбах России, прогрессе, долге интеллигенции перед народом. Однако свободолюбивой натуре Ариадны претили догматизм и начетничество, столь характерные для революционных активистов, их призывы к разжиганию беспощадной борьбы. Ее духовные запросы не удовлетворяло и толстовство. Заложенные с детства свободомыслие, гуманизм, уважение к личности определили сближение с нарождавшимися либеральными политическими кружками. 4 марта 1901 года вместе с Туган-Барановским и Струве она была впервые арестована за участие в демонстрации, устроенной столичной молодежью в поддержку студентов Киевского университета, которых отдали в солдаты за «беспорядки». С этого первого десятидневного пребывания под арестом в Литовском замке и пошел отсчет активного участия Тырковой в освободительном движении.

Большое влияние на становление ее общественно-политических взглядов оказал известный земский деятель, соредатор газеты «Северный край», князь Д.И. Шаховской, один из основателей ведущего объединения либеральной интеллигенции в России — Союза освобождения. Они встретились весной 1902 года в Ялте, подолгу гуляли по набережной, беседовали. «Встреча с Шаховским, — вспоминала Ариадна, — была первой моей связью с общественностью, в которую я позже окунулась с головой». Шаховской уговорил Тыркову переехать с детьми в Ярославль, где ей могли предоставить постоянную и хорошо оплачиваемую работу.

Вскоре новые друзья попросили ее съездить в Финляндию и нелегально провезти оттуда экземпляры журнала «Освобождение», издававшегося Петром Струве в Германии. 17 ноября 1903 года на станции Белоостров Тыркову и ее спутника арестовали, обнаружив несколько сот экземпляров журнала и другие издания Союза. Жандармы доставили Ариадну в Петербург и поместили в Дом предварительного заключения. Но и в тюрьме она не потеряла присутствия духа: в течение трех месяцев, пока шло следствие, изучала английский язык, переводила книгу о героях английского историка и философа Т. Карлейля.

На суде, состоявшемся 28 апреля 1904 года в здании Петербургской судебной палаты, Тыркова произнесла первую в своей жизни публичную речь. Уязвленная попытками адвоката представить ее дело как обычную контрабанду, Тыркова эмоционально и резко заявила, что вполне сознательно участвовала в нелегальной перевозке журнала, поскольку солидарна с требованиями о введении в стране конституционного режима и демократических свобод. «Как писательница, — заявила она, — я остро чувствую, как нам нужна свобода, и прежде всего свобода слова. Мы стеснены в выражении наших мыслей, цензура зажимает нам рот. России нужна свобода, нужна конституция». Если учесть, что в те времена само слово «конституция» было под запретом, такую речь нельзя не признать смелым поступком. Суд приговорил Тыркову к двум с половиной годам тюрьмы с лишением всех прав состояния. Вскоре из-за болезни она была освобождена под залог, и петербургские друзья решили немедленно переправить Ариадну за границу.

Решение эмигрировать далось нелегко. Особенно тяжелым было расставание с детьми, которых бабушка увезла в Вергез. Перейдя нелегально финскую границу, Тыркова затем переправилась в Швецию, а оттуда в Германию, в Штутгарт, где находилась редакция «Освобождения». Там она познакомилась с корреспондентом влиятельной английской газеты «Times» Гарольдом Вильямсом — вскоре выяснилось, что между ними много общего. Гарольд Васильевич (так называли его русские эмигранты) еще в школьные годы зачитывался произведениями Толстого; под впечатлением, произведенным на него «Анной Карениной», решил прочитать роман непременно на языке оригинала и занялся русским языком. Стремясь участвовать в борьбе за свободу личности, за общечеловеческие идеалы, он воспринял русское освободительное движение как свое кровное дело.

Месяцы, проведенные рядом со Струве, одним из крупных теоретиков нового русского либерализма, Ариадна назвала своим «первым курсом политических наук». Журнал «Освобождение» притягивал к себе представителей российской интеллектуальной элиты, составивших «мозговой центр» либерального движения. Здесь она познакомилась с П.Н. Милюковым, В.А. Маклаковым, С.Л. Франком и др. Ариадна впитывала в себя новые, оригинальные идеи, участвовала в их обсуждении. Постепенно накапливался журналистский и политический опыт.

После издания указа о помиловании (21 октября 1905 года) Тыркова вернулась на родину. На вокзале ее встретил Гарольд Вильямс, годом раньше приехавший в Россию в качестве корреспондента либеральной газеты «Manchester Guardian». С этого момента они уже не расставались, оформив в 1906 году свой брак.

В ноябре 1905 года А.В. Тыркова вступила в только что образовавшуюся Конституционно-демократическую партию, а на ее III съезде, состоявшемся в апреле 1906 года, по предложению князя Шаховского была избрана в Центральный комитет и до марта 1917 года оставалась единствен-

«Социалисты сделали из моего отчества огромное опытное поле для своих догм и теорий...»

ной женщиной в составе ЦК. Талант публициста, темперамент оратора, безупречная логика, цельность характера создали Тырковой авторитет в партии. Острословы утверждали, что Тыркова — «единственный мужчина в кадетском ЦК».

В партии Тыркова принадлежала к либерально-консервативному крылу. Отвлеченные теоретические схемы, упрощенные способы достижения общественного благоденствия она оценивала с позиции здравого смысла, с точки зрения «доводов жизни». В борьбе за реформирование общественно-политического строя, социальных отношений и институтов она стремилась избежать их тотальной ломки, во что бы то ни стало сохранить лучшие, проверенные жизнью исторические и культурные традиции. Уравновешенность, разумная осторожность и одновременно твердость и непреклонность в отстаивании своей позиции — вот, пожалуй, наиболее характерное в политическом поведении Тырковой.

По натуре лидер, Тыркова без особых усилий выдвинулась в число руководителей либерального феминистского движения. Началось все с ее полемики с Милюковым и Струве на II съезде партии кадетов по вопросу о женском равноправии. «Если в конце XVIII века французская женщина имела право сказать, что раз ее ведут на эшафот, то должны ее пустить и на трибуну, то не имеет ли она право сказать теперь то же самое? Если вы их вели на баррикаду, то откройте им дорогу и в парламент». Аргументы Тырковой оказались неотразимыми, она добилась перелома в настроении делегатов съезда, проголосовавших в большинстве за предоставление женщинам избирательных прав. Позднее она стала специально заниматься женским вопросом, изучая русскую и иностранную литературу, выступала в печати за предоставление женщинам равных прав с мужчинами. Не раз ей приходилось председательствовать на феминистских собраниях.

Общественно-политическую и партийную деятельность, публицистику Тыркова сочетала с писательским трудом. После революции 1905 года из-под ее пера выходили один за другим рассказы, эссе, повести, романы, печатавшиеся в журналах «Вестник Европы», «Русская мысль», «Нива», а затем и отдельными изданиями. Вместе с Вильямсом они много путешествовали, посетили Италию, Англию, Швейцарию, а в 1911–1912 годах жили в Константинополе, где Гарольд работал корреспондентом газеты «Morning Post». Вернувшись в Россию, Тыркова получила предложение от группы правых кадетов и прогрессистов возглавить новую газету «Русская молва». Впервые в России женщина стала редактором ежедневной столичной газеты. В число сотрудников редакции вошли П.Б. Струве (экономический отдел) и А.А. Блок (литературный отдел).

До 1914 года Тыркова в качестве члена ЦК возглавляла бюро печати кадетской партии, которое занималось рассылкой в провинциальные газеты статей по различным политическим вопросам. Ее дом в Петербурге стал одним из самых популярных столичных салонов. Помимо кадетских и думских деятелей, здесь бывали многие петербургские писатели и поэты: Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус, Вячеслав Иванов и Вале-

рий Брюсов, Максимилиан Волошин и Александр Блок, Алексей Толстой и Василий Розанов, Федор Соллогуб и Андрей Белый.

В годы Первой мировой войны Тыркова последовательно отстаивала лозунг: война до победного конца. В этом вопросе ее убеждения были неизменны. Еще в годы Русско-японской войны она с болью в сердце воспринимала поражения русского оружия. На всю жизнь в ее памяти сохранилось тяжелое воспоминание о том дне, когда в Париже стало известно о падении Порт-Артура. Как личное оскорбление она восприняла ликование русских эмигрантов-радикалов, шумно веселившихся в кафе, поздравлявших друг друга с победой японцев. Теперь же на заседаниях ЦК кадетской партии она выступала за предоставление правительству военных кредитов, ставя интересы страны и ее армии выше любых политических амбиций.

Во время войны Тыркова организовывала санитарные отряды, выезжала в районы боевых действий на Западный и Юго-Западный фронты. Вместе с ней в санитарных отрядах работали дочь и сын. Вместе с Вильямсом, который во время войны фактически стал политическим советником английского посла в России Дж. Бьюкенена, она много сделала для англо-русского сближения.

После Февральской революции 1917 года Тыркова с присущей ей энергией и темпераментом активно включилась в попытки общественного переустройства: вошла в продовольственную комиссию, созданную Временным комитетом Государственной думы и Советом рабочих и солдатских депутатов. Летом ее избрали в Петроградскую городскую думу, где она возглавила кадетскую фракцию. Наряду с этим Тыркова участвовала в заседаниях кадетского ЦК и Петроградского городского комитета партии, являлась делегатом VII–X съездов кадетов.

Однако вскоре пришло осознание иллюзорности надежд на мирный выход из острейшего политического кризиса, невозможности сотрудничества с леворадикальными партиями и организациями. Постепенно Тыркова пришла к выводу, что только военная диктатура имеет шанс спасти Россию от национальной катастрофы. Она оказалась в рядах активных сторонников корниловского выступления, одновременно поддерживая любые попытки соглашения с «государственно мыслящими» элементами из демократического лагеря. В сентябре 1917 года она представляла партию кадетов во Временном совете Республики (Предпарламенте), дала согласие на выдвижение своей кандидатуры в члены Учредительного собрания, хотя и не верила в его успех. 28 ноября 1917 года, в день предполагавшегося открытия Учредительного собрания, она записала в дневнике: «Я не могу ни писать, ни говорить об Учредительном собрании. Я не верю в него. Никакие парламентские пути не выведут теперь Россию на дорогу. Слишком все спутано, слишком темно. И силы темные лезут, собрались, душат».

По отношению к установившемуся большевистскому режиму Тыркова сразу заняла непримиримую позицию. Вместе с известным кадетским

«Социалисты сделали из моего отчества огромное опытное поле для своих догм и теорий...»

публицистом А.С. Изгоевым она организовала в ноябре 1917 года выпуск нескольких номеров газеты «Борьба», призывавшей к активному сопротивлению советской власти. После декрета СНК от 28 ноября 1917 года, объявившего кадетов «партией врагов народа», а их лидеров вне закона, Тыркова, оказавшись под угрозой ареста, вынуждена была перейти на полуправильное положение. Тем не менее она в ноябре выезжала на несколько дней в Москву, участвовала вместе с П.И. Новгородцевым и С.А. Котляревским в конспиративных заседаниях Московского отдела ЦК кадетской партии. По возвращении в Петроград много сил отдавала формированию офицерских отрядов и отправке их на Дон, где создавалась Белая армия. В день открытия Учредительного собрания, 5 января 1918 года, она оставила в дневнике запись: «День Учредительного собрания, тягостный, душный день. Не хочется никуда идти, и не потому что стреляют, а потому что не понять, в кого, кто и почему стреляет... Я, презирая социалистов, вижу бессилие, ошибки, неподвижность своих друзей. Россия должна выдвинуть какие-то совсем новые силы или погибнуть».

После разгона Учредительного собрания Тыркова и Вильямс еще некоторое время жили в Москве, где безуспешно пытались вступить в контакт с какими-либо центрами сопротивления советской власти. В марте 1918 года они выехали через Мурманск в Англию. Вильямс, солидарный с Белым движением и располагавший связями в самых высоких сферах, помог Тырковой развернуть антибольшевистскую кампанию; они видели в большевизме «мировое зло», считали необходимым предостеречь мир об этой опасности, убедить союзников оказать действенную помощь борцам с советским режимом. Супруги Вильямс были приняты премьер-министром Ллойд-Джорджем, вели частные беседы с влиятельными политиками, использовали любые возможности для публичных выступлений. Тыркова выступила и как один из инициаторов обращения эмигрантских деятелей к президенту Америки Вудро Вильсону с призывом спасти Россию путем военной интервенции.

В начале 1919 года Тыркова вместе с профессором М.И. Ростовцевым, П.Б. Струве и П.Н. Милюковым сформировала в Англии Комитет освобождения России, ставивший своей главной задачей осведомление английского общественного мнения о событиях, происходивших в России. Комитет рассылал информационные бюллетени, издавал под редакцией Милюкова еженедельный журнал «New Russia», выпускал на английском языке пропагандистские брошюры, в числе которых была и брошюра Тырковой «Почему Россия голодает».

Весной 1919 года Тыркова выпустила свою первую книгу на английском языке «From Freedom to Brest-Litovsk» («От свободы к Брест-Литовску»). Готовя ее к печати, она считала, что исполняет свой гражданский долг по оповещению мира о трагических событиях, происшедших в России: «Социалисты, — писала она, — сделали из моего отечества огромное опытное поле для своих догм и теорий». События в России должны были стать предупреждением для других народов мира: «Если они поймут наши

ошибки, наши заблуждения и наши преступления и если, избегая их, они найдут другие пути, более верные и менее жестокие, тогда мы, русские, будем иметь хоть бы то утешение, что неимоверные страдания России оказались исторической жертвой, принесенной во имя лучшего будущего всего человечества».

В июле 1919 года Тыркова с Вильямсом, аккредитованным при штабе армии генерала А.И. Деникина в качестве корреспондента газет «Times» и «Daily Chronicle», возвратились в Россию. Она сразу же включилась в работу «Осведомительно-агитационного отделения» («Освага»), видя свою главную задачу в том, чтобы максимально поддержать Белую армию. А. Тыркова участвовала в заседаниях кадетского ЦК и Национального центра, общалась с членами Особого совещания при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России, занималась благотворительной деятельностью, проявляя заботу о военных и их семьях. На Харьковской конференции кадетов в ноябре 1919 года она выступила с резким заявлением, предложив на время Гражданской войны «выбросить за борт» демократическую программу мирного времени и прекратить тешить себя иллюзиями о якобы универсальности идей западной демократии. По ее мнению, насущной задачей дня являлось создание «господствующего класса, а не диктатуры большинства». У Тырковой еще оставалась слабая надежда на то, что с помощью военной диктатуры рано или поздно удастся добиться перелома ситуации. Когда же рухнула и эта последняя надежда, окончательно и бесповоротно оборвалась нить, связывавшая ее с Россией. За мытарствами эвакуации из Ростова последовал Новороссийск с его толпами беженцев, сыпным тифом, настроениями безнадежности и отчаяния, потом Константинополь, Париж и, наконец, Лондон. Начались долгие годы новой эмиграции.

Лондонский дом супругов Вильямс на Тайт-стрит в Челси вскоре стал местом притяжения русской эмиграции; сюда приходили письма со всех концов мира, как от организаций, так и от частных лиц, с просьбами о помощи, и здесь никому не отказывали ни в духовной, ни в посильной материальной поддержке. Здесь постоянно бывали послы и посланники великих и малых держав. Для обсуждения животрепещущих вопросов приходили бывшие царские министры С.Д. Сазонов, А.А. Риттих, А.В. Кривошеин; бывший глава Временного правительства А.Ф. Керенский и бывший военный и морской министр Временного правительства А.И. Гучков; крупные английские политические деятели и писатели — сэр С. Хор, Г. Уэллс, М. Бэринг, Дж. Джером, Б. Пэрс и многие другие. По инициативе Тырковой в Лондоне было создано Общество помощи русским беженцам, которым она руководила на протяжении двадцати лет. Одновременно она возглавила Русское колонизационное общество, занимавшееся сбором сведений о местах, пригодных для расселения русских беженцев, обеспечивавшее их правовой и материальной защитой. Ею были организованы платные лекции, с которыми выступали И.А. Бунин, С.Н. Булгаков, А.В. Карташев, Ф.И. Родичев, А.И. Деникин и др.

«Социалисты сделали из моего отечества огромное опытное поле для своих догм и теорий...»

В Лондоне не существовало самостоятельной кадетской группы. Однако Тыркова вела интенсивную переписку со своими единомышленниками, жившими в Париже, Берлине, Константинополе, Софии, Праге. Она стремилась быть в курсе проблем, обсуждавшихся в заграничных партийных кругах. В конце мая 1921 года она выезжала в Париж, где приняла участие в расширенном многодневном Совещании членов ЦК партии кадетов. Фактически это был последний представительный форум партии, пока еще единой, но уже раздираемой непримиримыми противоречиями. После раскола, вызванного неприятием частью партии милюковского «нового курса» с его пересмотром задач и методов борьбы с большевистской властью, началось медленное затухание деятельности отдельных заграничных кадетских групп.

На совещании членов ЦК Тыркова поддержала оппонентов Милюкова, подвергла нелюбимой критике идею создания единого «буржуазно-социалистического фронта» с участием эсеров. «Теперь, — заявила она, — надо выбирать: или буржуазия, или социалисты. Социалистическая революция, произведенная при помощи большевиков и при попустительстве эсеров и других социалистов, привела к ужасным последствиям и показала, что социализм есть культурная, экономическая и политическая реакция». В политическом плане Тыркова допускала теперь возможность реставрации старого порядка: «Пугаться реставрации в стране, превращенной в развалины, и материально и идеологически, странно. Ограниченная в правах Дума сумела в десять лет продвинуть жизнь страны вперед, а большевики в три года ее разрушили». Она не только отвергла возможность каких-либо форм новой коалиции с социалистами, но и настаивала на непримиримой борьбе с ними.

В эмиграции Тыркова продолжала заниматься литературным творчеством. Ее статьи регулярно публиковались в эмигрантских газетах и журналах («Руль», «Слово», «Новое русское слово», «Сегодня», «Возрождение», «Русская мысль»). С августа 1921 года она редактировала журнал «Russian Life», созданный на средства, которыми располагал Совет русских послов в Париже, сотрудничала с английскими и американскими газетами. В соавторстве с Вильямсом написала на английском языке роман «Hosts of Darkness» (London, 1921) — его русский вариант «Василиса Премудрая» частично был опубликован в 1921 году в журнале «Русская мысль». В ноябре 1928 года умер Гарольд Вильямс; Ариадна Владимировна написала в память о нем книгу «Cheeful Giver» («Щедрый собеседник»), изданную в Лондоне в 1935 году.

В течение многих лет, начиная с 1918 года, Тыркова работала над монументальной двухтомной биографией любимого ею с детских лет А.С. Пушкина (первый том был опубликован в Париже в 1929 году; второй — в 1948 году). Обращение Тырковой к Пушкину, как подметил Б. Филиппов, «объясняется органическим влечением к гению русской культурно-исторической гармонии, к чуть ли не единственному нашему „либеральному консерватору“ в русской литературе». Работая над книгой, Тыркова мыс-

ленно переносилась в далекую и бесконечно любимую Россию, забывая на время о своем изгнаничестве.

В годы Второй мировой войны Тыркова жила с семьей сына во Франции, сначала в По, небольшом городке на юге страны, затем в Гренобле, писала мемуары. С нападением Германии на СССР все ее внимание было приковано к событиям на востоке Европы. Вместе с Б.П. Вышеславцевым и пианистом П.И. Ковалевым Тыркова организовывала в детской колонии в По лекции и музыкальные вечера. В марте 1943 года она была интернирована немцами как британская подданная. После войны ее усилиями в Париже был создан Комитет помощи депортированным.

В 1951 году Тыркова с семьей сына переехала в США, сначала в Нью-Йорк, а потом в Вашингтон. Несмотря на преклонный возраст, она сохраняла бодрость духа, творческую энергию, была деятельна и общительна. С ее помощью в Нью-Йорке был создан Российский политический комитет. Она участвовала в церковно-общественной деятельности, продолжала работать над своими мемуарами, публикуя главы и фрагменты в журнале «Возрождение» (отдельными книгами они были изданы в 1952 году в Нью-Йорке и в 1954 году в Париже). Все части воспоминаний органически связаны между собой, представляя, по словам автора, «отрезки одного исторического сдвига». Это не летопись, а политическая повесть, где семейная жизнь отступает на второй план. Тыркова стремилась осмыслить «подпочву» происходивших в России процессов, их психологические истоки. Она обращает внимание на такие факторы, как глубинный культурный раскол между меньшинством и большинством российского общества, нарастание антирелигиозных настроений в демократической среде и особенно у социалистической молодежи, состояние постоянного конфликта между властью и обществом. Она далека от того, чтобы снимать историческую ответственность как с власти, которая своими безрассудными действиями постоянно провоцировала революционные настроения, так и с общества, которое даже в лице своих наиболее дальновидных представителей оказалось неспособным найти разумный выход из политического кризиса.

В согласии с традицией сборников «Вехи» и «Из глубины» Тыркова видела перспективу только в здоровом либерал-консерватизме, отказе от теоретических увлечений и возвращении к здравому смыслу. До конца своей долгой жизни она питала живой и непреходящий интерес ко всему, что происходило на родине, следила за достижениями в области науки, литературы, культуры. Одной из последних работ почти девяностолетней писательницы стала статья о «Докторе Живаго» Бориса Пастернака.

12 января 1962 года Ариадна Владимировна Тыркова скончалась на руках своего сына в Вашингтоне, где и была похоронена.

«Социалисты сделали из моего общества огромное опытное поле для своих догм и теорий...»

СОФЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА
ПАНИНА

«Только там, где
есть свобода, может
расти и развиваться
справедливый
и великодушный
человек...»

Графиня Софья Владимировна Панина (1871–1956), несомненно, одна из самых удивительных и замечательных женщин предреволюционной России. А.И. Шингарев, будущий деятель кадетской партии, познакомившись с Софьей Владимировной в 1903 году, когда она приехала в воронежскую глушь, намереваясь построить там больницу, пришел в восторг от ее скромности, простоты и деловитости. «Все, кто ее знал, не мог ее не любить и не уважать». Он и годы спустя «любовался ею» — и в собрании попечительств, и в заседаниях кадетского Центрального комитета, и в заседаниях Временного правительства.

Сердце Софьи Владимировны лежало к культурно-общественной работе. Главное дело ее жизни — создание Народного дома в Петербурге, построенного на ее средства и работавшего при ее непосредственном участии и руководстве. Панина писала, что Народный дом, возникший «в годы безвременья», «создался силой любви, во имя достоинства, знания, правды и свободы личности». До последних своих дней хранила она письма своих учеников — людей, прошедших через Народный дом. Среди них и такое: «Мой отец был крепостной. Я — конторщица. Примите низкий поклон от меня, как дочери того народа, раскрепощению которого Вы посвятили себя».

Софья Владимировна появилась на свет в богатой и родовитой семье. Ее отец — граф В.В. Панин, чей род уходит корнями в седую древность. Сведения о Паниных встречаются уже в источниках XVI века, и, как гласит семейное предание, предки Паниных обосновались на Руси еще в XV столетии, выехав из тосканского города Лукка, что недалеко от Флоренции. В XVII веке среди Паниных немало воевод, думных дьяков, а в XVIII — губернаторов, сенаторов, министров. Некоторые из них оставили заметный след в отечественной истории. Василий Никитич Панин подавлял (вместе с Ю. Барятинским) восстание Степана Разина, а его внук, генерал Петр Иванович Панин, — восстание Пугачева. Его брат, Никита Иванович Панин, — вице-канцлер и, по сути, руководитель внешней политики

России, а затем — воспитатель будущего императора Павла I. Сын Петра Ивановича Панина, Никита Петрович, стал одним из организаторов заговора против Павла, хотя и не принимал непосредственного участия в покушении. Этот Панин женился на дочери графа Орлова (одного из пяти знаменитых братьев, особо приближенных к трону), рыжеволосой красавице Софье Владимировне. Их сын, Виктор Никитич Панин (дед Софьи Владимировны), в течение двадцати лет был министром юстиции, председателем Редакционных комиссий. Отличаясь консервативными взглядами, он тормозил работы по отмене крепостного права. Его жена, Наталия Павловна, урожденная Тизенгаузен, приходилась внучкой графу Палену, главному заговорщику в царевубийстве 1 марта 1801 года.

Наталия Павловна, бабушка Софьи Владимировны, в юности дружила с А.С. Пушкиным. Сын Виктора Никитича и Наталии Павловны, Владимир Викторович Панин, стал отцом Софьи Владимировны. Его сестра вошла в семью князей Вяземских, и Софья впоследствии имела с ними тесные родственные связи. Мать С.В. Паниной, Анастасия Сергеевна, происходила из богатого рода Мальцевых. Ее отец, Сергей Иванович Мальцев, владел целой промышленной империей, раскинувшейся на десятках тысяч десятин, «Америкой в России», как ее иногда называли. Сергей Иванович весьма заботился о своих рабочих, участвовал в общественной жизни страны (подавал царю проект о борьбе с голодом в деревне, писал книги на экономические темы и т.д.).

Его красавица дочь выросла при дворе с детьми Александра II (ее мать — ближайшая подруга императрицы Марии Александровны). Женившись на Анастасии Мальцевой, Владимир Викторович, человек начитанный и либеральных взглядов, взялся, как пишет их сородич Г.И. Васильчиков, «расширять ее умственные горизонты» благодаря общению с той интеллигенцией, которая придерживалась «прогрессивных взглядов». И так в этом преуспел, что после его преждевременной кончины горячо любившая мужа Анастасия Сергеевна (она осталась вдовой в двадцать два года) целиком погрузилась в эту среду. Там она встретила земского деятеля И.И. Петрункевича, и спустя несколько лет они поженились.

Бабушка Софьи Владимировны никогда не любила невестку и боялась «тлетворного влияния на впечатлительную внучку Софью той среды, в которой вращалась ее мать». К тому же она опасалась, что деньги, выдаваемые на содержание девочки, пойдут, хоть частично, на революционную пропаганду, и подала прошение «об отобрании» ее у матери. В октябре 1882 года к Анастасии Сергеевне явился петербургский градоначальник и объявил, что по Высочайшему повелению он прибыл отобрать ее одиннадцатилетнего ребенка и доставить в Екатерининский институт. Это была неслыханная в то время мера. Дочь, по личному приказу Александра III, отняли у матери и отдали на попечение бабушки, которая записала ее в Екатерининский институт! Анастасия Сергеевна и Софья испытали настоящее потрясение.

Впоследствии Софья, как свидетельствуют ее родственники, «будучи любящей дочерью и оставаясь полностью лояльной к своей подчас шалой,

но обожающей ее матери... никогда не упрекала бабушку, понимая, что та желала лишь ее счастья». Старая графиня, всегда настолько холодная и строгая, что ее боялись собственные дети, «так внучку уважала и ценила, что она была, быть может, единственным ее любимым человеком». И Софья, став взрослой, вернулась к Наталии Павловне и провела с ней ее последние годы.

В апреле 1890-го, не без стараний бабушки, юная институтка вышла замуж за А.А. Половцева, блестящего офицера Конногвардейского полка, сына известного сановника, близкого друга императорской семьи. На свадьбе Александр III был посаженным отцом Софьи Владимировны. Этот великосветский брак оказался недолгим: последовала шумная и мало-симпатичная история развода, причиной которого «послужили гомосексуальные наклонности» Половцева.

Несомненно, что и потрясения в детстве, и роковое замужество глубоко отразились на тонкой, впечатлительной натуре Софьи Владимировны. Неудивительно, что в ней замечали «какое-то отрешение от личной жизни». И вполне понятно ее поступление на Высшие женские педагогические курсы. В 1890 году она встретила с Александрой Васильевной Пошехоновой, тридцатидевятилетней учительницей, которая жила высокими идеалами Великих реформ 1860-х. Эта районная учительница Петербурга оказала определяющее влияние на мировоззрение Софьи, о чем и сама поведала в своих воспоминаниях «На петербургской окраине».

А началось все с того, что Пошехонова задумала устроить бесплатную столовую для необеспеченных учеников начальных училищ Лиговки и попросила Панину принять в этом материальное участие. Та дала деньги, и в октябре 1891 года столовая открылась. Только на столовую за первые двенадцать лет ее существования Панина истратила почти 430 тысяч рублей. Софья Владимировна могла расходувать огромные средства на благотворительность: в 1892 году, став совершеннолетней, она начала самостоятельно распоряжаться процентами со своего капитала, а после смерти бабушки Наталии Павловны (1899) оказалась наследницей несметного состояния Паниных. Ей принадлежали имения в Гаспре (рядом с Ялтой), где отдыхали многие выдающиеся люди России (Лев Толстой, Чехов и др.), в Марфине (ее любимое имение) и в Воронежской губернии, а также дома в столице, фамильные художественные и ювелирные ценности и многое другое.

На ее средства в 1903 году в Петербурге, по проекту архитектора Л.Н. Бенуа, был построен Народный дом: и в его теперешнем состоянии им мог бы гордиться любой европейский город. Уже в эмиграции племянник Паниной несколько ехидно спросил ее: «А как смотрели родственники на то, что ты так щедро расстаешься с семейным наследством?» Она рассмеялась: «Знаешь, меня всегда считали немного эксцентричной, но открыто, конечно, никто не осуждал, тем более что и твой дед, и бабушка Вяземские всецело меня поддерживали. С дедом я только спорила — следует ли, как я считала, все давать даром, или, как твой дед считал, даже обездоленные

должны понять, что ничего в жизни „даром“ не дается, а не то развивается в людях паразитизм».

Когда началась работа с Пошехоновой на Лиговке, в Александро-Невской части Петербурга, Софью Панину поразила жизнь здешних обитателей. Вспоминая об этом, она восклицала: «До чего убога, сера и скучна была жизнь русского окраинного обывателя!» И тогда, в конце XIX века, задалась вопросом: «Как уберечь человека, постоянно погруженного в тоску такой беспросветно-нудной жизни, от раздражения и склоки, от отчаяния и злобы, ведущих к пьянству, преступлениям, к политическим эксцессам?» Она полагала, что одного «просвещения» мало, недостаточен также благоустроенный труд. Решающим в жизни человека, по ее мнению, является не труд, а досуг. Только в часы досуга есть место для любви и радости, «для всего того, что превращает робота в человека и человека в личность». Она поставила перед собой «задачу создания какого-то нового симбиоза просвещения, развлечения и воспитания населения. Этот симбиоз и есть то, что мы называем культурой».

Графиня Панина начала свою деятельность вдвоем с Пошехоновой. К ним присоединились сначала одиночки, за ними десятки, а потом и сотни добровольцев, мужчин и женщин, заразившихся их энтузиазмом. Дом на углу Тамбовской и Прилужской улиц, за Лиговским проспектом, стал известен на всю Россию и за ее пределами как «Лиговский Народный дом графини С.В. Паниной». Она по праву снискала славу женщины передовой, «бескорыстно любящей народ». Дом отвечал потребностям своего времени; подобные появились в России еще во второй половине 1880-х годов благодаря предпринимателям Морозовым, Бахрушиным, Корзинкиным. Имелись такие учреждения и в Европе. Панина ездила в Германию, Бельгию, Францию, Англию — знакомилась с тамошним опытом. Современные исследователи Народного дома Паниной как уникальную черту отмечают «благотворительно-нравственный характер его деятельности»: Софья Владимировна отдала Дому «часть своей души». В большом зале (на тысячу человек) устраивались выставки, проводились культурно-просветительные программы, научно-популярные лекции, давались концерты (с участием известных артистов), народные балы, театральные представления. В Народном доме открылись первый в России Подвижной музей учебных пособий и первая общественная обсерватория с высококлассными специалистами. В нем работал детский сад, ремесленные классы, столовая, чайная, библиотека, устраивались воскресные праздники для детей и взрослых и многое другое.

Все это сказывалось на поведении местных жителей, оздоравливало нравственную атмосферу «окраины» Петербурга. Симптоматична, например, аргументация одного рабочего, который урезонивал своего сквернословящего товарища: «Это тебе не Невский проспект, чтобы тут ругаться, а Лиговка, и Народный дом тут, и мы с тобой туда ходим, и ты себя соблюдай!» Это говорилось там, куда обитатели Невского проспекта старались не заглядывать, опасаясь пьяных и грабителей!

«Только там, где есть свобода, может расти и развиваться справедливый и великодушный человек...»

Г.И. Васильчиков, вспоминая свои беседы с Софьей Владимировной, отмечал, что в предреволюционные годы она не только настаивала на необходимости нести просвещение в народ и утолять его жажду радости. Она, кроме того, страстно восставала против попыток многих общественных деятелей использовать лишения еще неискушенного в политическом отношении народа для внедрения политических идеологий и для прямой вербовки в ряды партий. Васильчиков пишет: «„На этом, — сказала она мне, — я и порвала с Керенским. Ведь я его взяла на работу в Народный дом. Его рекомендовали мне как многообещающего начинающего адвоката. Зная, что он активный член партии социалистов-революционеров, я взяла с него слово, что он политикой у нас заниматься не будет и вербовать среди наших посетителей не станет... Слово он, к сожалению, не сдержал, и мне пришлось с ним расстаться“. Сказано это было, — подчеркивает Васильчиков, — сухо, но с явным негодованием». Панина писала, что политика, какая бы то ни была политическая пропаганда, явная или тайная, полностью исключались из просветительской деятельности в Народном доме. Ей казалось абсолютно бесчестным навязывать любое политическое учение тем, кто не располагает в этих вопросах ни знаниями, ни пониманием и не имеет, следовательно, возможности выбора. У таких людей отсутствует критическое отношение, способность внимать разумным доводам, поэтому обычно на них воздействуют с помощью демагогии, вызывая к элементарным, а часто низменным инстинктам. Эти приемы политической пропаганды, откуда бы она ни исходила, от крайне правых или крайне левых, — в корне расходились с ее взглядами и взглядами ее сотрудников на обязательную честность просвещения. Злоупотреблять невежеством и умственной беспомощностью слабейшего, «когда ты становишься его „учителем“, считалось нами так же непозволительно, как злоупотреблять силой по отношению к ребенку».

Однако благородная просветительская деятельность вызывала явное неудовольствие властей. В 1902 году на Панину даже было заведено дело в Департаменте полиции: она оказалась в квартире Е.Д. Стасовой на лекции М.И. Туган-Барановского. А 9 мая 1906 года в Народном доме графини на трехтысячном митинге под псевдонимом Карпов выступил В.И. Ульянов-Ленин. Такого разговора, как с Керенским, у Паниной с Лениным не произошло, но больше в Народном доме он не появлялся.

Собственные воззрения С.В. Паниной были либеральными; этому способствовало также ускорившееся после смерти бабушки Наталии Павловны сближение с матерью и отчимом И.И. Петрункевичем, патриархом либерализма в России, одним из создателей и руководителей кадетской партии. На их квартире в Басковом переулке в Петербурге проходили многие заседания Центрального комитета этой партии, и члены ЦК во время заседания лакомились вареньем, которое присылала из своего имения в Гаспре Софья Владимировна. Но в партию она не вступала до 1917 года и вообще до тех пор, как отмечено в ее воспоминаниях, «никогда ни к какой политической партии не принадлежала». Обоснование этому дано ха-

ракторное: «Интересы мои были сосредоточены на вопросах просвещения и общей культуры, которые, по моему глубокому убеждению, одни могут дать прочную основу свободному политическому строю».

Слава Народного дома графини Паниной, а с ней и идея устройства новых народных домов распространились повсюду. В 1913 году в стране насчитывалось двести двадцать два народных дома. Жизнь, как отмечала Панина, превращала Лиговский Народный дом и в справочно-методический центр: «Со всех концов России потянулись к нам просьбы дать указания, прислать планы и уставы, каталоги для библиотек, списки чтения и театральные пьес». По ее инициативе и на ее средства была проведена первая Всероссийская анкета о народных домах, состоящая из 32 пунктов.

В начале Первой мировой войны в Большом зале и прилегающих помещениях петроградского Народного дома разместился лазарет Всероссийского союза городов. Подвальный и первый этажи остались в распоряжении мастерских, детского отдела, библиотеки, вечерних классов для взрослых. Сотрудники Дома обслуживали не только раненых, но и местное население (раздача денежных пайков семьям призванных запасных, обследование семейного положения жителей района и т.д.). Шире стал и диапазон пожертвований. Так, Софья Владимировна передала в кассу Всероссийского земского союза 25 000 рублей. По ее почину был создан Совет попечительских учреждений «для координации их работы и руководства ими»; Панину избрали председателем Совета. Работая среди жителей района, вспоминала Панина, «мы дошли действительно „до дна“ той толщи населения, которая впервые всколыхнулась и затопила все собой в годы революции». Удивительно, но весной 1917-го около Народного дома уже собирались группы женщин (жены призванных на войну), которые обвиняли сотрудников, будто те крали их пайки и будто сам Народный дом выстроен на «краденые народные деньги». Но, как философски замечала Панина, «такие минуты и много худших неизбежны во время великих народных потрясений. Невежество всегда подозрительно и хочет знать, „где та правда, которую скрывают от народа“. В основе же своей наши взаимоотношения оставались добрыми».

Когда в 1917 году явным стал недостаток продуктов, Народный дом взял на себя организацию порядка в этом деле. Приходилось устраивать собрание пекарей, трактирщиков, ломовых извозчиков, заботиться о хлынувших в Петроград беженцах. Городские попечительства, все сотрудники которых несли свой труд безвозмездно, как некую добровольную воинскую повинность, стали ячейкой городского самоуправления, принявшей на себя первые удары народных нужд и бедствий. «И не даром, думается, — размышляла впоследствии Панина, — мы считали себя тоже сидящими в окопах, бессменно, в течение всех трех лет войны». В это время Софья Владимировна, по воспоминаниям современника, — «высокая, статная женщина, отлично сохранившаяся, довольно массивная, с открытым благообразным лицом, с ясными живыми глазами, с сильными, часто порывистыми движениями. Она безупречно проста в манерах и обращении

«Только там, где есть свобода, может расти и развиваться справедливый и великодушный человек...»

с людьми, подчас детски непосредственна, экспансивна. Внезапно она вспылит, нетерпеливо отмахиваясь рукой от чего-то, что ей не нравится, в голосе слышатся капризные нотки. Председательствуя в собраниях, она иногда срывается, проявляет нетерпение и настойчивость. Когда ей смешно, откидывает голову назад и хохочет громко, с увлечением. Но, невзирая на всю эту экспансивность, высокая личная и общественная культура сквозит через все ее проявления. Теплота сердца, внимание к окружающим, широта порыва навстречу ко всему истинно прекрасному — придают исключительную ценность ее высокогуманной личности».

Даже в лихорадочной, всепоглощающей работе конца 1916 года Панина успевала следить за тем, что происходит в российском обществе, в том числе и в великосветских кругах. Она была «вхожа в мир великих князей и просто князей». Через нее и мужа ее матери И.И. Петрункевича до кадетского руководства доходили, как писал П.Н. Милюков, их настроения. Это было «сплошное торжество по поводу героического поступка „Феликса“ (Юсупова-Сумарокова-Эльстона), рискнувшего собой, чтобы освободить Россию и династию от злокачественной заразы (Распутина. — В.Ш.)».

Подытоживая деятельность Народного дома до Февральской революции, С.В. Панина отмечала: до 1913 года — рост Народного дома в замкнутых и тесных границах своего района; в 1913-м — расширение его просветительской деятельности и распространение ее на земство губернии; с 1914-го — его тесное сотрудничество с Петроградским городским самоуправлением и вхождение в среду интересов государственного масштаба.

Дальше — Февраль. И в это время графиня оставалась столь же деятельной и энергичной и даже пыталась, явившись в Таврический дворец, влить свою энергию в растерявшееся руководство Государственной думы. 28 февраля 1917 года А.В. Тыркова записала в своем неопубликованном дневнике: «Вот совет старейшин решил, кто-то соберется. Сейчас Родзянко толкует с Гучковым, пишет телеграмму царю. Ведь они там что-то сделают. Было тяжело смотреть. „Ведь вы все-таки, господа, народные представители, у вас положение, авторитет“. Жмутся. Пришла Панина. Она все время стояла на углу Сергиевской и Литейного, наблюдала солдат. „Они ждут приказа. Ждут членов Думы. Идите к ним. Возьмите их в свои руки. Ведь это растерянное стадо“. Ее слушали молча или говорили: „Пусть они сначала арестуют министров“. Но эти разговоры по телефонам дошли до Милюкова. Он пошел на улицу и привел солдат к Думе. Это было около 2-х часов. Сразу картина стала меняться. Явился центр, к которому потекли и люди, и сведения».

В те месяцы Панина, по ее собственным словам, — «в самой гуще событий». Как отмечает ее племянник, «впервые тетя Софья погрузилась в дотоле ей ненавистную политику». Ее избрали в городскую думу, она вступила в кадетскую партию. В ее мемуарах содержится объяснение, почему она отдала предпочтение именно этой партии: «Так как многие из окружавших считали меня социалисткой по роду моей деятельности и в силу того, что последняя протекала в среде рабочих и самых обез-

доленных слоев городского населения, я сочла необходимым, в момент обострения политической борьбы, с полной точностью установить свою позицию и отмежеваться от того социалистического безумия, которое охватило страну. Я записалась в члены Партии народной свободы (к.-д.), которая одна тогда, из всех несоциалистических партий, открыто боролась с наступавшим большевизмом. Вся моя дальнейшая судьба определилась этим моментом». Так же она объяснила это решение и своему родственнику: «Понимаешь, старые партии все разбежались. Одни кадеты боролись с наступавшим большевизмом». Центральный комитет партии 10 апреля 1917 года кооптировал ее в свой состав, а в мае, на VIII съезде, она была избрана в ЦК.

В мае 1917-го графиня С.В. Панина — товарищ министра государственного призрения, первая в истории России женщина — член правительства. Здесь она стала правой рукой министра Д.И. Шаховского. Стремительно развивавшийся революционный процесс быстро «тасовал» людей. В июле 1917 года С.В. Панина вошла в новое коалиционное правительство товарищем министра народного просвещения С.Ф. Ольденбурга, тоже члена ЦК кадетской партии. Соглашаясь на новый пост, Панина сказала тогда Ольденбургу: «Очень буду рада поработать с Вами... хотя боюсь, что все это на месяц сроку». В министерстве она руководила отделом школьного образования.

В течение восьми месяцев правления Временного правительства Панина неуклонно отстаивала линию своего ЦК: усиленно пропагандировала лозунг Учредительного собрания, противопоставляя его лозунгу «Вся власть Советам», выступала за войну до победного конца. Не случайно Ленин в сентябре 1917 года усмотрел в ней одного из «самых влиятельных членов партии капиталистов и помещиков, партии „кадетов“, или партии „народной свободы“». Она стремилась предотвратить приход Ленина и большевиков к власти. А в октябре, в момент вооруженного восстания, в составе делегации Петроградской думы пыталась попасть на крейсер «Аврора», чтобы убедить команду не участвовать в большевистском перевороте. Делегацию на судно не пустили.

Как известно, после Октябрьских событий министры Временного правительства были арестованы и посажены в Петропавловскую крепость. Но по всей России шли выборы в Учредительное собрание, которое должно было быть создано в конце ноября. Поскольку «законной власти» в России, по мнению Паниной, «не существовало», она «в первое же утро после переворота, с полного согласия всех старших служащих министерства, подписала распоряжение об изъятии из министерства тех сумм, которые хранились в его кассе в наличности, и о внесении их в банк на имя Учредительного собрания, которое одно могло явиться правомочным распорядителем правительственных средств». Представитель новой власти И.В. Рогальский, принимая дела, обнаружил, что касса этого ведомства пуста. Против Паниной возбудили уголовное дело о сокрытии государственных средств как акте саботажа.

«Только там, где есть свобода, может расти и развиваться справедливый и великодушный человек...»

В ночь накануне предполагавшегося открытия Учредительного собрания, 28 ноября 1917 года, графиню арестовали и увезли в Смольный. Там у нее потребовали возвратить изъятые суммы большевистскому правительству. На допросе в Следственной комиссии по борьбе с контрреволюцией Панина заявила, что «не признает власти народных комиссаров, отчет о своей деятельности и о своих распоряжениях, касающихся хранящихся доверенных ей сумм министерства народного просвещения, она отдаст единственно признаваемой власти — Учредительному собранию». Ей несколько раз предлагали вернуть министерские деньги, но графиня неизменно отвечала категорическим отказом. Дело передали в революционный трибунал. Когда Софью Владимировну привезли в тюрьму, надзирательница воскликнула: «Боже мой, Боже мой, и что же это еще будет!» «Что же вас удивляет?» — спросила Панина. «Да разве же мы не слышали про Народный дом!» Обитатели тюрьмы, сохранившие добрую память о Народном доме, всячески старались скрасить Паниной жизнь: мыли камеру, чистили вещи и т.д. Сама же она, даже в заключении, не могла оторваться от дел и писала предисловие к книге «Народный дом. Социальная роль, организация, деятельность и образование Народного дома. С приложением библиографии, типовых планов, примерного устава и первой анкеты о Народных домах» (Издание сотрудников Лиговского Народного дома гр. Паниной». Петроград, 1918).

Судьба будущей книги кажется Софье Владимировне тесно связанной с «судьбой всей политической и общественной жизни»: «Начатая при самодержавии как результат напряженного искания необходимых форм народной культурной жизни, чуть не погибшая во время сосредоточения всех сил страны на борьбе с внешним врагом, она воскресла и стала превращаться в реальную плоть печатного слова при широко распахнувшейся перед Россией возможностью свободного творчества». Но «наша мечта», что вся Россия станет большим и светлым Народным домом, в котором каждому будет место и всем будет одинаково свободно, тепло и радостно, «осталась только мечтой».

В тюрьме Панина составила и свое пророческое письмо-завещание, которое огласили, когда Народный дом вновь открылся (теперь уже «имени поэта Некрасова») и когда ее уже не было в пределах Советской республики. Софья Владимировна обращалась к сотрудникам и питомцам Дома: «Как давно ждала я этого счастливого радостного дня!.. И как я верила, что этот день нашей радости будет одним из дней великой радости и великого счастья и нашей родины — мирной, деятельной и свободной. Главное — свободной! Ибо только там, где есть свобода, может расти и развиваться справедливый и великодушный человек и воспитываться сознательный и мужественный гражданин... Ожидания и надежды мои не оправдались; война и ненависть с фронта перенесены в глубь страны, а свобода, озявшая на одно краткое мгновение, вновь покидает Россию, оставляя ее под властью новых деспотов и нового самовластья. Я же не с вами, не среди вас, а в тюрьме». Послание закончено словами Петра Великого пе-

ред Полтавским сражением: «А о Петре ведайте, что жизнь ему не дорога, жила бы только Россия во славе и благоденствии». «Так, — подчеркивала Панина, — должен думать и чувствовать каждый из нас. И так думаю и я. Не то важно, что именно меня лишили свободы, а важно, что сама свобода гибнет на Руси! Пускай этого не будет».

Между тем рабочая окраина, где находился Народный дом, вступилась за арестованную графиню: жители Александро-Невской части собрали несколько сот подписей и представили заявление в Совет народных комиссаров. В нем говорилось: «Мы, жители Александро-Невской части, в рядах которых насчитывается немало большевиков, испытали на себе и детях своих пользу тех или иных учреждений, основанных гр. Паниной, а потому взываем к тем, от которых зависит ее свобода, и восклицаем: „Отдайте нам нашего друга, возвратите нам творца нашего благополучия... откройте двери темницы для гр. Паниной“». Эта удивительная история заставила Софью Владимировну и в эмиграции вспоминать о времени ее тюремного заключения как «о самом значительном и счастливом» в жизни. Она писала: «В те дни великих потрясений мне дано было счастье убедиться в том, что в сердцах людей мы за истекшие годы действительно пробудили те „чувства добрые“, во имя которых шли к ним. Это было редким и мало заслуженным счастьем». Письмо петроградцев, по-видимому, произвело некоторое впечатление на Смольный. По крайней мере графиню туда привозили и обещали выпустить на свободу, если она уплатит хоть часть министерских денег. Она снова отказалась, и ее снова отправили в тюрьму.

Новая власть готовилась к первому в истории России суду революционного трибунала. Петроградский ревтрибунал был создан 3 декабря 1917 года. Его председателем стал старый большевик, столяр завода «Эриксон» И.П. Жуков. Следственную комиссию Петроградского Совета, занимавшуюся «делом Паниной», возглавляли М.Ю. Козловский и П.А. Красиков. Ни «присяжных поверенных», ни прокуроров не предполагалось, и Паниной разрешили взять себе в качестве адвоката того, кого она пожелает. Софья Владимировна остановилась на Я.Я. Гуревиче. Он был директором частной гимназии и сотрудником театрального отдела Народного дома, редактором журнала «Русская школа» и председателем комиссии по народному образованию городской думы; после Октября продолжал трудиться на ниве народного образования, являлся активным функционером кадетской партии. Гуревич полагал, что страна находится в состоянии «современного всенародного распада, национального банкротства, гибели огромных культурных ценностей». И о суде над Паниной имел четкое представление. С одной стороны, «яркая личность, выдающаяся русская женщина, носительница прочно сложившихся культурных традиций, испытанная общественная работница русского просвещения»; с другой стороны — «группа авантюристов, захватившая насильственно власть, провозгласившая себя народным правительством, правительством рабочих, солдат и крестьян, накануне всенародного Учредительного Собрания... А между ними, между испытанной культурой и безудержной стихией революции —

«Только там, где есть свобода, может расти и развиваться справедливый и великодушный человек...»

народный суд, именуемый народным трибуналом. Он, только что народившийся, открывает свою ответственную деятельность с рассмотрения дела, в котором столкнулись с такой исключительной контрастностью лучшие заветы прошлого с бешеным и сумбурным призывом к новому, такому, какого еще не видел свет».

Гуревич по доверенности Паниной ознакомился с ее делом в Следственной комиссии. Им также была разрешена встреча накануне суда. Во время продолжительной беседы, без свидетелей и не через решетку, а в дежурной комнате, Панина сообщила, что «со стороны тюремной администрации и низших служащих отношение к ней безупречное, даже внимательное». Настал день суда — 10 декабря 1917 года. Революционный трибунал заседал в бывшем доме вел. кн. Николая Николаевича на Петроградской стороне. Все подступы к дому заполнила толпа: зал не вмещал всех желающих присутствовать на процессе. Были приняты меры, чтобы «впустить побольше большевистских сторонников из простого народа». Но в зале оказалось также много интеллигенции.

Когда Панина вошла в судебный зал, вся публика встала и устроила ей шумную овацию. За судейским столом, который стоял на эстраде, разместились председательствующий рабочий И.П. Жуков (в свое время ученик вечерних классов организации, родственной Народному дому) и шестеро заседателей — от петроградских предприятий. Суд задумывался новой властью как показательный. На процессе присутствовал нарком юстиции Стучка. Гуревич был прав, характеризуя процесс уже постфактум: «Дело гр. С.В. Паниной в революционном трибунале заслуживает общественного внимания в настоящем и должно сделаться достоянием истории в будущем, так как оно характерно не только для действующих лиц, но и для эпохи, которая его породила». В современной литературе отмечается, что Панину судили «главным образом за то, что она являлась активным членом ЦК партии кадетов, объявленной советским правительством партией врагов народа, и это уже была расправа за убеждения, за принадлежность к определенной политической группировке». Закономерно, что «Вестник партии „народной свободы“» поместил на своих страницах подробный отчет о заседании ревтрибунала по этому делу (№ 31, 28 декабря 1917).

Судебное заседание открыл председатель И.П. Жуков, сказав, что революционный трибунал будет самым ярым защитником прав и обычаев русской революции, будет строго судить тех, кто пойдет против воли народа, а невиновные найдут в нем надежного защитника. Жуков обратился к Паниной с вопросом, признает ли она себя виновной. Софья Владимировна отрицала свою вину. Далее был зачитан доклад Следственной комиссии. Ритуал суда требовал, чтобы председатель суда предложил желающим из публики выступить с обвинительной речью. На это предложение никто не откликнулся. Тогда предложили желающим выступить с защитительной речью. Гуревич, как пишет Панина, сказал спокойные, добрые слова. Судья по «Известиям» ВЦИК, он оправдывал действия Паниной, ставил ей в заслугу ее благотворительную деятельность и упирал на то, что «теперь

нет закона, который признавался бы всеми, а ваши декреты признают далеко не все». Он подчеркнул, что судить Панину по совести невозможно, «значит, остается судить ее партийно. Тогда незачем обставлять это всеми атрибутами судебных процессов. Тогда это — гражданская война». Атмосфера в зале, хотя и была напряженная, но в целом, как ее запомнила Софья Владимировна, оставалась в пределах «умеренности и аккуратности». Дальше, однако, «случилось непредвиденное»: слова попросил человек из публики. «Ваша фамилия?» — «Иванов». — «Профессия?» — «Рабочий». Паниной он был совершенно неизвестен. «Его выступление произвело, — вспоминала она многие годы спустя, — эффект разорвавшейся бомбы». «Не чуждаясь народного пота и дыма, — сказал о подсудимой рабочий, — она учила отцов, воспитывала их ребят. Они видели от нее не только помощь, но и ласку. Она зажигала в рабочих массах святой огонь знания, который усердно гасило самодержавие. Несла в народ сознательность, грамотность и трезвость. Несла культуру в самые низы... Я сам был неграмотным, темным человеком. У нее в Народном доме, у нее в школе я обучился грамоте. На ее лекциях я увидел свет... Не позорьте себя. Такая женщина не может быть врагом народа. Смотрите, чтобы не сказали про вас, что революционный трибунал оказался собранием разнузданной черни, в котором расправились с человеком, оказавшимся лучшим другом народа...» И, подойдя к скамье подсудимых, он поклонился и сказал громко: «Благодарю Вас!»

Речь рабочего Иванова, по свидетельству Паниной, вызвала необыкновенное волнение среди судей: «Засуетился Стучка, народный комиссар юстиции, который тут же присутствовал и руководил всей постановкой. Тотчас же был выпущен с обвинительной речью один из большевистских ораторов». Это был молодой рабочий с завода «Новый Парвиаинен» Наумов, «Известия ВЦИК» потом с удовлетворением цитировали его речь. Наумов одобрил суд над Паниной как над саботажницей: «Класс угнетенных кровью добыл власть и не может, не должен претерпевать оскорблений этой власти». Он подчеркнул, что дело носит принципиальный характер: «Сейчас перед нами не отдельное лицо, а деятельница партийная, классовая, она вместе со всеми представителями своего класса участвовала в организованном противодействии народной власти, в этом ее преступление, за это она подлежит суду». Отвечая на то место в речи Гуревича, где он говорил о благотворительности Паниной, как ее заслуге, Наумов сказал: «Я готов согласиться, что в прошлом гражданка Панина приносила пользу народу... Но тем-то и отличается их благородство, чтобы давать или бросать народу куски, когда он поработен, и мешать ему в его борьбе, когда он хочет быть свободным. Пускай народолюбивая графиня Панина действительно добра и благородна. Но вот народ пришел к власти... Тут и благородство не помогло, и чем только можно была оказана помеха... Пускай трибунал помнит, что мы имеем право быть свободными, а кто этого не хочет понять — подлежит обезвреживанию. Гражданка Панина мешала народу в его работе. Действуйте, граждане судьи, не для одного благородства, а на пользу миллионов — и жизнь оправдает вас!»

«Только там, где есть свобода, может расти и развиваться справедливый и великодушный человек...»

По мнению Паниной, Наумов «нес невероятную околесицу». Когда он говорил, из публики раздавались крики: «Врете!», «Неправда!». Джон Рид, присутствовавший на процессе, описал реакцию публики как неистовство: зал освистывал суд и громкими возгласами приветствовал Панину. И хотя в помещении находились вооруженные патрули Красной гвардии и была сделана попытка очистить зал заседаний, никаких актов насилия не наблюдалось. Лишь «одного мужчину, который оскорблял суд и Советы и вопил не своим голосом, в конце концов выставили».

Защитник Гуревич, отвечая обвинителю, говорил: Наумов всецело захвачен и опьянен успехами пролетарского восстания; его устами говорит больная узость доведенного до крайности классового самосознания, которое с гневом отвергает и хочет подавить все, что не идет за народными комиссарами, в которых Наумов «слепо верит как в истинных вождей народа». Затем заключительное слово предоставили Паниной. Она заявила, что исполняла лишь то, что считала своим долгом перед страной, и постаралась выразить всем присутствующим ту благодарность, которая переполняла ее сердце после речи Иванова. Председательствующий объявил перерыв, и суд удалился на совещание. Софья Владимировна заметила, как Стучка немедленно этим воспользовался и юркнул за кулисы в совещательную комнату судей — «факт, по судебным традициям прежнего времени, совершенно недопустимый».

Вынесенный приговор показался Софье Владимировне «неожиданно мягким». Было вынесено постановление оставить С.В. Панину в заключении до момента возвращения взятых ею народных денег в кассу Комиссариата народного просвещения. Революционный трибунал счел ее виновной в противодействии народной власти, но, принимая во внимание прошлое обвиняемой, ограничился вынесением общественного порицания. В конце суда ее спросили: «Вы согласны внести эти деньги, гражданка Панина?» Она ответила: «На основании всего мной уже сказанного — нет». — «Тогда вы будете возвращены в тюрьму». — «За вами сила».

Когда стража повела Панину тесным проходом между столпившихся зрителей, ей устроили бурную овацию. Софья Владимировна потом с удовольствием вспоминала: «Люди аплодировали, что-то кричали, руки тянулись ко мне — суд надо мной превратился в мой триумф». Многие годы спустя, оценивая судебный процесс в целом, она отмечала, что интересен в этих событиях не личный аспект, а то столкновение, которое случайно разыгралось вокруг ее личности, столкновение между «элементом насильственно-революционным» и тем, «что человеку по-настоящему полезно и нужно». В ее индивидуальном случае, утверждала она, «обыватель городской окраины победил насилие революционного трибунала, открыл передо мной двери темницы и вернул мне свободу».

По иронии истории, ровно через двадцать лет, в декабре 1937 года, бывший председатель революционного трибунала Жуков, к тому времени послуживший и в органах ВЧК, и в заместителях наркома у Орджоникидзе, и в Президиуме ВСНХ, и на посту наркома, пал жертвой репрессий.

В 1956 году этот представитель панинской «окраины» реабилитирован посмертно. Панина еще и потому несла свет просвещения, что хотела иной судьбы Ивановым, Наумовым и Жуковым.

Ее собственная тюремная эпопея 1917 года продолжалась еще десять дней: власть требовала вернуть «министерские деньги». Союз учителей открыл подписку: первый рубль был пожертвован рабочим. Выручили Высшие женские курсы, предоставившие часть суммы. Забирал Панину из тюрьмы профессор И.М. Гревс. При этом разыгралась сценка, в которой проявился весь характер этой женщины. Не рассчитывая на столь скорое освобождение, она, еще сидя в тюрьме, получила разрешение устроить для заключенных и персонала рождественские чтения с волшебным фонарем. Все очень расстроились: чтений не будет, раз Панина выходит на свободу. Заметив это, она обратилась к администрации: «Если разрешите, я с удовольствием приду в день Рождества и устрою обещанные чтения». Комиссар тюрьмы поцеловал ей руку. Панина приходила два раза и с успехом провела чтения. Более того, 19 декабря, выйдя на свободу, она уже через день явилась в Петропавловскую крепость навестить «врага народа» А.И. Шингарева, единомышленника по Партии народной свободы.

Но вновь обретенная свобода была формальной: вернуться в Народный дом оказалось уже невозможно. «Я бы дорого дала за то, — писала Панина в 1948-м, — чтобы никогда с этой окраиной не расставаться, но, освободив меня из тюрьмы в 1917 году, мой город смог мне предложить только трудную и долгую жизнь без него, вдали от него... очевидно, навсегда».

Кончился 1917 год, начался 1918-й. По всей стране полыхнула Гражданская война. Панина перебралась в Финляндию. Говорили, что до границы ее сопровождала «почетная охрана» из рабочих, бывших воспитанников Народного дома. А из Финляндии, через Англию, она устремилась на юг, где сражались белые армии. Ехала в крестьянской одежде, с маленьким, потрепанным, грошовым чемоданчиком, в котором лежали бриллианты и другие драгоценности ее предков. Панина рассчитывала часть своих ценностей передать А.И. Деникину на нужды белой армии. В пути, на какой-то станции, среди тифозных больных, уложенных рядами в зале ожидания, она увидела одного из своих знакомых и политических друзей, И. Иваницкого, и попыталась устроить его в один из вагонов. В суете и спешке забыла на минутку о поставленном куда-то чемоданчике. Искать его было бессмысленно: только бы унести ноги подальше и от станции, и от чемоданчика. Так, «с пустыми руками, явилась на Юг».

В годы Гражданской войны вместе с Н.И. Астровым они были, пожалуй, наиболее близкими для Деникина людьми. Панина представляла «Национальный центр», всемерно поддерживала Белую армию. Но как общественная деятельница, для которой важнее всего духовные и культурные ценности, она чувствовала себя в годы Мировой и Гражданской войн совершенно выбитой из колеи. В письме Астрову от 21 февраля 1919 года это вылилось в настоящую отповедь войне, следствием которой, считала Панина, явились и большевизм, и одичание масс. По

«Только там, где есть свобода, может расти и развиваться справедливый и великодушный человек...»

ее мнению, если бы война закончилась в течение полугода, то она действительно могла бы привести к торжеству гуманных и справедливых начал, а за четыре года бойни люди озверели, общий культурный уровень народов понизился. Совсем неважны частные и личные трудности и неудачи — они не могут подорвать силы духа. Но когда не видно нигде кругом той почвы, тех высоких качеств духа, которыми должна светиться жизнь (а под «нигде» она подразумевала и Европу, и Америку), становится трудно, ибо длительность работы, безмерная длительность так ясна, что «в душу закрадывается безнадежность сизифовой задачи». «Да, — признавала Панина, — я, несомненно, в „обличительном“ настроении и ничего лестного о человечестве не склонна думать и говорить в настоящее время. Не знаю, что хуже: безнадежная ли ограниченность умственных горизонтов или черствая сухость сердца... Скучность в умах и сердцах — вот удел людей, которые могли бы быть... „подобны богам“». Но и в эти годы случались маленькие, но жизнеутверждающие радости. Еще в Финляндии Софью Владимировну чудом нашла крестьянка из Марфина. В узелке она принесла несколько художественных вещей, спасенных из уже разоряемой усадьбы, в том числе несколько портретных миниатюр предков графини.

В первые годы эмиграции она жила в Швейцарии, потом в Чехословакии. Вместе с Н.И. Астровым, В.А. Оболенским, П.П. Юреневым и другими входила в группу кадетского Центра, была членом Земско-городского комитета помощи российским гражданам за границей. И, как солнечный луч, озарило ее в 1923 году известие о праздновании двадцатилетней годовщины ее Народного дома в России. В далекий Петроград было отправлено необыкновенно теплое приветствие, которое начиналось так: «Дорогие, бесконечно дорогие друзья мои!» В своем послании Софья Владимировна писала друзьям, что никогда не переставала быть с ними всем сердцем своим в течение тех бесконечных пяти лет, пока они не виделись. Что у идей и чувств своя логика и своя история, своя непреклонная закономерность, которая сильнее невежества, и лжи, и заблуждений, и насилия и которая не может допустить, чтобы смерть стала сильнее жизни там, где эта жизнь зародилась. «Не бойтесь убивающих тело, душу же не могущих убить». Она говорила, что эта живая душа жила, живет и будет жить в Народном доме. Она верила: будущее «за нами... именно наша любовь и правда и вера в человека победят все временные лишения и бедствия и построят когда-нибудь... царство радости и справедливости». Приветствие зачитали в Народном доме в день юбилея. Правда, начальство не допустило сделать это в Большом зале, где происходило главное торжество, так как дух этого письма «не соответствует времени и требуемой идеологии». Но старые ученики Народного дома собрались для прочтения в другом зале, поменьше. Более того, они организовали «панинский кружок», главной задачей которого стало поддержание в Доме тех принципов, которыми он руководствовался с самого начала своей деятельности.

В следующем, 1924, году, Софья Владимировна практически переселилась в Чехословакию. В Праге жили тогда и близкий ей Н.И. Астров, и отчим И.И. Петрунkevич. В этом городе у Паниной всегда было много дел. Д. Мейснер вспоминал, какой внимательной и отзывчивой умела она быть. Когда он болел туберкулезом в поселке близ Праги, эта уже немолодая грузная женщина в любую погоду, ежедневно приносила ему обед, проделывая путь по размокшей глинистой дороге. Чехословацкий президент Масарик как-то лично навестил Панину и старого Петрунkevича и сделал так, что она получила средства на создание библиотеки и клуба-читальни для русских эмигрантов под названием «Русский очаг». Она сотрудничала и с Русским зарубежным архивом, работала в других учреждениях. Перед оккупацией Чехословакии гитлеровцами Панина уехала в Америку, куда ее звала старая подруга, основательница Толстовского фонда графиня А.Л. Толстая и где проживал ее сводный брат, профессор Йельского университета Александр Петрунkevич.

Во время войны русская эмиграция при содействии Софьи Владимировны, как сообщает ее родственник, организовала крупномасштабную помощь советским военным в немецких лагерях. Правда, помощь эта «не была допущена — по личному приказу Гитлера». Зато по распоряжению маршала Маннергейма, хорошо знавшего Панину в предреволюционные времена, суда, везшие эту помощь из Южной Америки, «были направлены в Швецию, откуда она была переброшена в финский лагерь для советских военнопленных».

После войны С.В. Панина жила на ферме Толстовского фонда в штате Нью-Джерси, помогая А.Л. Толстой готовить к печати ее мемуары. Изредка приезжала в Нью-Йорк поработать в Публичной библиотеке. Тогда ей было уже почти восемьдесят, и она «как-то физически съезжилась, но духом была еще удивительно молодой и бодрой». К своему племяннику Г.И. Васильчикову, тогда работавшему в ООН, Панина приходила порой пообедать. И неизменно — с маленьким чемоданчиком, которым, говорила она, «ограничивалось все ее земное имущество». Не имея собственной квартиры, она переезжала то к одним знакомым или родственникам, то к другим. И никогда от нее не слышали ни слова сожаления об утраченных богатствах или жалобы на трудности судьбы. В 1948 году Софья Владимировна написала воспоминания «На Петербургской окраине» и направила их в нью-йоркский «Новый журнал», с тем чтобы они были опубликованы там после ее смерти.

Последний штрих в биографию графини Паниной вносит Г.И. Васильчиков: «Весной 1956 года с тетей Софьей Паниной приключился удар, она долго и мучительно болела, меня к ней уже не подпустили, и она скончалась 13 июня того же года». Графиня Софья Владимировна Панина похоронена на кладбище православного Ново-Дивеевского женского монастыря близ городка Спринг-Вэлли (штат Нью-Йорк, США).

«Только там, где есть свобода, может расти и развиваться справедливый и великодушный человек...»

«Свободная личность
в правовом
государстве...»

В 1934 году на Ольшанском кладбище в Праге, на чужбине нашел свое последнее пристанище Николай Иванович Астров — человек, которого в начале XX столетия знала вся Россия. Но с тех пор много воды утекло, и теперь имя Астрова, к сожалению, мало что говорит нашему современнику.

Н.И. Астров родился в 1868 году в семье врача. Друзья, те, кто знал его семью, всегда вспоминали «Детство и отрочество» Толстого — в таком доме он вырос, от него взял все доброе. Мягкость Астрова и, одновременно, резкость в защите принципов воспитания его семьей, «мягкой и светлой, но и лишенной всякого оппортунизма. Эта семья дала ему основы изумительного бескорыстия, великодушия, безусловной нравственной чистоты и безукоризненного джентльменства». В 1890 году он окончил гимназию, а спустя четыре года — юридический факультет Московского университета. Тогда же стал кандидатом на судебные должности при Московском окружном суде. В сентябре 1894 года был избран мировым судьей, а в мае 1897-го — городским секретарем. Им он пробыл до 1907 года и в качестве такового имел сильное влияние на городского голову князя В.М. Голицына. Свое влияние и авторитет Астров распространил и на городскую думу. Особенно это чувствуется начиная с 1905 года, когда он стал гласным Думы, а вслед затем — гласным Губернского земского собрания и одним из лидеров «прогрессивной группы».

Во многом благодаря Астрову Московская городская дума приняла 30 ноября 1904 года свое знаменитое заявление, ставшее своеобразным политическим рубликом: дума встала в оппозицию правительству. Известный московский предприниматель и гласный думы Н.П. Вишняков, который придерживался весьма консервативных политических взглядов, признавал этот факт. Он находил, что Астров — «человек очень неглупый, себе на уме, хитрый, с отличной выдержкой», «все время командовал князьенькой» — городским головой кн. В.М. Голицыным. По воспоминаниям самого Астрова, влиятельный московский либерал Л.В. Любенков предвидел эту ситуацию, когда еще только уговаривал Николая Ивановича занять место секретаря: «Хорошо, что ты станешь секретарем Московской думы, да еще при мягком Голицыне. Все ты заберешь в свои руки. Ты с характером и с волей. Влияние твое будет большое».

Характер деятельности Николая Ивановича и личный его характер складывались под влиянием городского самоуправления: «Москва открыла ему любовь к самодеятельности как основе общежития». Близкий друг и соратник Астрова П.П. Юренев отмечал, что Москва дала ему ценное качество, редкое для русского политического деятеля: привычку к практической деятельности и умение наладить и вести деловую работу. Самостоятельность Московской городской думы, по убеждению самого Астрова, обязана выражаться не только в громких постановлениях, но и в повседневной будничной работе, а лучшей рекомендацией ей должны служить школы, больницы, трамвай, канализация, водопровод, бойни. Умение соединить мировоззрение с живой, реальной работой, на деле показать, как идеи общественной свободы облекаются в практические формы, создают удачные типы городского хозяйства и улучшают их в интересах широких масс, — «это умение было особо свойственно характеру Николая Ивановича и составляет его огромную заслугу не только перед Москвой. Он прекрасно понимал, что в сочетании отвлеченных идей с вопросами будничного дня кроется главная трудность разрешения современных политических задач». Особенность своего подхода к этим задачам Николай Иванович широко применил в деятельности Всероссийского союза городов (ВСГ), органа первостепенного политического значения, выполнявшего вместе с тем и колоссальную практическую работу. Уверенность в том, что общественная самодеятельность, и только она, служит залогом возрождения России, Н.И. Астров вынес из муниципальной работы. Это была его основная идея, которую он положил в основу всего своего политического мировоззрения и которой он жил до последних минут. Как образно сказал Юренев, из маленького уютного дома в московском переулке он видел не только Москву, но и Россию; не только Россию, но и широкий мир с его вечными задачами, со страстным желанием служить правде и праву.

Все это во многом объясняет и чрезвычайную активность Астрова на общероссийском уровне: он состоял секретарем Земско-городского съезда (ЗГС) в 1905 году; по приглашению С.А. Муромцева и князя Д.И. Шаховского заведовал канцелярией I Государственной думы. Уже тогда ему стало ясно, что тактика правительства направлена на то, чтобы сорвать работу этой Думы. «И ее сорвали, одержав пиррову победу и погубив Россию».

Во II Государственной думе он вместе с секретарем (будущим городским головой Москвы) М.В. Челноковым занимался дальнейшей организацией и развитием думской канцелярии. После роспуска Думы при участии Астрова был издан сборник законодательных проектов и предложений Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы). Вообще, Н.И. Астров играл видную роль в кадетской партии, о чем свидетельствуют протоколы заседаний ее ЦК. Несомненно, он мог бы стать выдающимся парламентарием, если бы попал в Государственную думу в качестве депутата. После думских перипетий, с 1907 по декабрь 1910 года, он был мировым судьей в Москве, а затем его избрали на должность

директора Московского кредитного общества. В 1912 году Николай Иванович вступил в товарищество по изданию газеты «Русские ведомости», куда и сам написал немало статей.

В предвоенные годы Н.И. Астров был столь популярен в широких общественных кругах, что в январе 1913 года князь Г.Е. Львов (избранный московским городским головой, но не утвержденный министром внутренних дел Н.А. Маклаковым, который тогда прямо-таки «джигитовал» своей реакционностью) назвал его будущим руководителем московского городского самоуправления. Николай Иванович стал московским головой 28 марта 1917 года. Однако еще задолго до этого С.В. Бахрушин считал, что «политическую физиономию Московской городской думы делал Н.И. Астров... Москва вела за собой всю Россию, Н.И. Астров вел за собой Москву».

Вел он ее за собой и в деле создания Всероссийского городского союза. Именно он предложил создать этот союз, а затем вошел практически во все его руководящие органы, он устанавливал связи с другими общественными организациями, он представлял союз в объединенном Земско-городском союзе, при контактах с государственными ведомствами. Это время неистовой, лихорадочной работы — звездный час в жизни Астрова. И в эмиграции он гордился, что был избран московским городским головой. Заняв в марте 1917 года этот высокий пост, он видел всю трудность положения и сознавал всю тяжесть ответственности: «Если сумею помочь разрешиться протекающему процессу, буду считать исполненной поставленную мне судьбой задачу».

В те штормовые дни задача оказалась неразрешимой. И у самого Астрова происходящие события уже в июне 1917 года вызывали порой «смущение и страх за добытую свободу». Н.И. Астров стал «калифом на час», пробыв в новой должности чуть более трех месяцев (с 28 марта по 7 июля). Однако, будучи последним городским головой Москвы, избранным по Городовому положению 1892 года, он внес немалую лепту в разработку нового, демократического Городового положения, которое Временное правительство утвердило 9 июня 1917 года. На последнем заседании Московской «цензовой» думы он высказал пожелание в отношении тех, кто придет в нее завтра: «Пускай классовый интерес будет руководить их действиями не в большей мере, чем этот интерес руководил в общем и целом действиями Московской городской думы». Он верил в лучшую жизнь и в будущее России.

«Большевистский переворот» Астров не просто не принял. Он повел активную борьбу с новой властью, считая большевиков «шайкой бандитов, захвативших власть и разложивших армию». Избранный в числе семнадцати кадетов в Учредительное собрание, Николай Иванович приехал в Петроград и участвовал в заседании ЦК в доме графини С.В. Паниной. Ему повезло: ночевать он не остался — в отличие от Ф.Ф. Кокошкина и А.И. Шингарева, которые были арестованы как «враги народа» и убиты в тюрьме.

В 1918 году на Юге России Астров представляет у А.И. Деникина «Национальный центр», становится близким Деникину человеком, участвует в Особом совещании, где законодательная работа легла в основном на его плечи. Немало он сделал и для восстановления Земского и Городского союзов, направляя их врачебно-санитарную деятельность на помощь Добровольческой армии.

После поражения белых армий в 1920 году Н.И. Астров эмигрирует. Живет в Женеве, выезжая иногда в другие города, например в Лондон; в двадцати километрах от британской столицы он лечился в санатории, куда его устроила А.В. Тыркова-Вильямс. С июля 1924 года и до своей смерти Николай Иванович оставался в Праге. Там он по-прежнему деятелен, весь — в общественной жизни, как и его жена С.В. Панина, всемерно помогавшая соотечественникам, создавшая, благодаря президенту Масарику, который хорошо знал эту супружескую пару, «Русский очаг». Астров много занимался партийной работой: возглавил группу кадетов, не принявших политику «нового курса» Милюкова; немало времени уделял земско-городскому делу; стал организатором и руководителем Русского заграничного исторического архива в Праге, того самого, который после Второй мировой войны вошел составной частью в ЦГАОР (ГА РФ) как «Пражский архив». Обращение к архивной деятельности и к истории было отнюдь не случайным. Астров умел слушать биение пульса своего времени и хорошо понимал громадное значение эпохи, в которую жил. Он видел, что на всей планете происходят небывалые потрясения и сдвиги. «Нашему поколению приходится быть свидетелями и участниками великих превращений... Среди этих потрясений изменились и основы человеческого духа... Человечество вступает в новую эру».

Н.И. Астров находился в постоянной переписке с людьми, которых знала вся дореволюционная Россия: с Милюковым, Павлом Долгоруковым, Ф.И. Родичевым, А.И. Деникиным и др. Бывало, в письмах делались экскурсы в прошлое, в ту, исчезнувшую уже навсегда Россию. И при этом нередко всплывал сакраментальный вопрос: «Почему все произошло так, как произошло?» А за ним следовали другие, сверхболезненные: «Кто виноват и можно ли было избежать катастрофы?» Особенно часто об этом размышляли бывшие государственные и общественные деятели России — в беседах друг с другом, в мемуарах, публицистике. Одни стремились искренне понять причины гибели государства, другие оправдывались в происшедшей катастрофе. Так «на чужих берегах» историками поневоле становились многие россияне.

Естественно, период войны и революции особенно привлекал их внимание. Поэтому вышел в свет «Архив русской революции», поэтому организовал Астров Русский заграничный исторический архив. В эмиграции у него проявились склонности и способности к историческим занятиям. Он написал немало работ по истории Москвы и городского самоуправления; тщательно отбирал документы для архива; послал множество писем Деникину с замечаниями и размышлениями об «Очерках русской смуты».

«Свободная
личность
в правовом
государстве...»

Все это требовало и больших знаний, и известной «кабинетности»: любви к книжному делу, кропотливому труду с источниками, а кроме того, умения хорошо писать и объективно оценивать как книги, так и людей. Николай Иванович был вдумчив, тонок, глубок, невероятно организован и работоспособен. Он настойчиво побуждал и своих знакомых взяться за перо, чтобы записать свои воспоминания об отшумевшей эпохе.

Но никто из главных действующих лиц Городского и Земского союзов не оставил опубликованных воспоминаний об их работе. Положение спасает не кто иной, как Н.И. Астров. Весьма полные свидетельства о «страшном периоде», о ВСГ содержатся в его личном архиве, где есть также рукописи по истории Союза, замечания на вышедшие в свет книги и статьи современников, переписка с друзьями, размышления о былом. Освещающая деятельность ВСГ, он выступает скорее как историк, время от времени обращаясь к воспоминаниям. Свойственные Астрову качества историка ранее были использованы им в иной, общественной сфере. И в немалой степени благодаря им Астров добился впечатляющих результатов. В.А. Оболенский, близкий друг Астрова (столь же близок ему, пожалуй, лишь П.П. Юренев), вспоминал, что «отличительной особенностью Николая Ивановича была глубокая внутренняя правдивость и добросовестность. Всякое дело, за которое он брался, он изучал во всех деталях и, только изучив его, приступал к работе, упорно и упрямо проводя в ней свои мысли и взгляды». Так, «основательно изучив городское дело, он был блестящим гласным Московской думы и незаменимым ее секретарем».

То же самое можно сказать о деятельности Н.И. Астрова в Союзе городов. Диапазон приложения его силы и ума, его энергии и знаний и здесь оказался необычайно широк. Уже в июле — сентябре 1914 года он выступает перед представителями городских самоуправлений с множеством предложений и докладов, в том числе на учредительном (8–9 августа 1914) и I съездах (13–15 сентября 1914) ВСГ. По постановлению Московской городской думы 18 июля 1914 года избирается так называемая Военная комиссия. В ней восемнадцать человек, и среди них — Астров. Он вспоминал: уже на следующий день, 19 июля, на заседании комиссии «мною, гласным Московской городской думы, высказано было пожелание о привлечении городских управлений к участию в общей работе в связи с войной». Это предложение городские деятели встретили с энтузиазмом. Московская городская управа 26 июля возбудила ходатайство перед министром внутренних дел о разрешении созвать в Москве Всероссийский съезд городских голов. Разрешение было получено. Управа разослала приглашения на съезд городам Европейской России, и 8–9 августа съезд состоялся. Ранее, на заседании комитета по организации съезда, куда вошел и Н.И. Астров, были выработаны его программа и схема предлагаемой организации. А еще до съезда ВСГ, 31 июля 1914 года, на съезде представителей городов и земств, принадлежащих Московскому эвакуационному округу, Астров подчеркивал: «Нам необходимо согласовать нашу деятельность. Если мы сегодня, поговорив, разойдемся, то цель не будет достигнута». По его

предложению было поручено составить статут Московской городской областной организации. И на Учредительном съезде 8–9 августа 1914 года в докладе об организации будущего союза он «нарисовал широкую картину возможной плодотворной деятельности союза». Съезд, обсудив доклад, постановил, по сути, признать, что предполагаемая организация должна соответствовать схеме, предложенной Астровым.

Из журнала заседаний Временного комитета ВСГ от 10 августа 1914 года явствует, что Н.И. Астрова избрали товарищем председателя комитета В.Д. Брянского. Тогда он убедил руководство Союза в том, что «города могут широко развить свою деятельность по оказанию помощи больным и раненым воинам только при условии получения пособия от правительства». С этой целью он предложил послать в Петербург особую делегацию, которая «указала бы правительству на недостаток средств у городов и выяснила бы размер того пособия, которое города могут получить от правительства». В результате пособие правительством было обещано. В тот же день, по предложению Астрова, принято решение «поручить избранной на настоящем заседании делегации немедленно возбудить перед правительством ходатайство о том, чтобы семьи евреев, призванных в ряды армии и флота и высланных из мест, в которых происходят военные действия, получили право повсеместного жительства в империи».

Уже в августе 1914 года Н.И. Астров вошел практически во все руководящие органы ВСГ: в бюро, в комиссию по выработке норм пособий городам, в согласительную комиссию и пр. О влиянии Астрова и его авторитете говорит и тот факт, что в Главный комитет ВСГ на первом, сентябрьском, съезде 1914 года он был избран почти всем составом присутствующих делегатов. И в продолжение всех последующих лет работы в ВСГ (1915–1917) оставался одной из центральных фигур в его руководстве. Естественно, что та роль, которую играл Астров в ВСГ и в общественной жизни страны, делает его свидетельства весьма ценными. Историю Союза он увидел во всем сложном политическом контексте, отчего и история страны, и история российского либерализма получают более полное освещение, а сам автор, благодаря такому освещению, лучше виден и как политик.

К истории Союза городов Астров обратился уже в 1922 году. И в качестве автора «попал» в престижное издание. Фонд Карнеги начал грандиозную по тем временам книжную серию о влиянии войны на социальное и экономическое развитие разных стран, едва смолкли орудийные раскаты Первой мировой. Главным редактором всего издания был американский профессор Дж. Шотвель, редактором русского отдела — выдающийся историк П.Г. Виноградов. Этот маститый профессор и его ближайший помощник М.Т. Флоринский подбирали кандидатуры, вели с ними переговоры, уточняли планы работы. Затем Виноградов, как представитель фонда и как редактор русского отдела, подписывал контракт с автором. Истории земств и городов России отводился самый большой раздел; в него входили четыре работы о земстве и только одна — о городах. Их-то и должен был написать Астров. Виноградов обсудил с ним план будущей

«Свободная
личность
в правовом
государстве...»

книги. У него не закралось и тени сомнения, что эта работа «будет одним из наиболее ценных вкладов в нашу историю войны». План сохранился в фонде Астрова; состоящий из четырнадцати глав, он поражает своей обстоятельностью и всеохватностью.

Н.И. Астров предполагал начать с краткого очерка развития органов городского управления в России; подчеркнуть неизбежное сосредоточение оппозиционных настроений в крупных городских управлениях, повсеместное стремление к расширению их функций; охарактеризовать их хозяйство и финансы. Суть почти каждой главы выражена одним-двумя предложениями. «Права и средства» — общий лозунг городских управлений в годы, предшествовавшие мировой войне. «Организация русских городов для помощи государству во время войны». Московская городская управа «как собиратель русских городов». Идея объединения русских городов. Возникновение ВСГ. Далее Астров намеревался дать характеристику правовой конструкции Союза, расширению его функций и отношению к нему правительства. Взаимоотношения ВСГ с ВЗС. Автор останавливался на краснокрестной деятельности двух Союзов, помощи беженцам, образовании Земгора. В последних трех главах должна была быть представлена многоаспектная деятельность городских управлений во время войны и революции.

Астров в своей работе весьма критически отзываясь о большевиках, которые, по его словам, уничтожили городское самоуправление. Не удержался он от критики большевиков и после завершения книги. Отослав ее 26 сентября 1924 года Виноградову, 6 ноября Астров вновь пишет профессору. Послание интересно тем, что в нем дана оценка собственного труда и значения городского общественного самоуправления. Поскольку письмо Виноградову можно назвать программным, я позволю себе привести его целиком. «Дорогой Павел Гаврилович, я представил свою работу в установленный срок при официальном письме на Ваше имя, зная, что Вы отсутствовали в то время из Англии. Мне хотелось бы, однако, искренне поблагодарить Вас за то, что Вы вспомнили обо мне и дали возможность на некоторое время сосредоточиться на тех вопросах, которые занимали меня в течение многих лет моей жизни. К сожалению, мне не удалось осуществить во всей полноте тот план, который задуман был первоначально. Достать нужный материал нельзя было бы даже в России. Громадное количество архивов местных самоуправлений погибло. Архивами и делопроизводством хорошо нам известной Московской городской управы и других учреждений города Москвы в течение нескольких месяцев топили московский водопровод. Представленная работа поневоле носит характер очерка, представлены не отчетные цифровые итоги, а цифровые примеры и показатели произведенной работы. Недостаток отведенных страниц в то же время заставил пожертвовать некоторыми довольно интересными материалами, которые остались на руках. То ли вышло, что Вы хотели и предполагали, — не знаю. С живым интересом буду поджидать Вашего заключения. Хочу надеяться, что не уклонился от

поставленного задания. Еще раз искренне благодарю Вас за то, что дали возможность вспомнить о русских городах и поведать о том, что представляли собой русские городские самоуправления и что сделали они во время войны. О русском земстве в свое время написано довольно много. О городах почти ничего, если не считать нескольких книжек, принадлежащих по преимуществу социалистическим перьям. А эти последние относились к нашим городским управлениям с полным пренебрежением и высокомерием. Составленный очерк дает картину действительно произведенной работы русскими городами, лишь только они получили хотя бы некоторую самостоятельность».

Характерна фраза, которой Н.И. Астров заканчивает свое исследование: «Старые русские городские общественные самоуправления и их союз — умерли. Завершилась целая историческая эпоха. Однако большая культурная работа, совершенная русскими городскими самоуправлениями, оставит после себя глубокий и неизгладимый след. В новой исторической эпохе, в которую вступила Россия, культурные традиции, накопленные старыми городскими общественными управлениями, выйдут наружу и будут использованы новыми поколениями как драгоценное достояние, как только новые исторические события откроют тому возможность».

Николай Иванович с большим нетерпением ждал вестей от Виноградова. И вот перед самым новым, 1925, годом пришел ответ: «Дорогой Николай Иванович, я наконец получил возможность подробно ознакомиться с Вашей работой о городах и Союзе городов и рад сообщить Вам, что Ваша монография, по моему мнению, написана превосходно и явится ценным вкладом в нашу историю войны. Возможно, конечно, что потребуются небольшие сокращения и изменения в тех частях Вашей работы, которые тесно соприкасаются с областями, отведенными другим авторам, например в области снабжения или санитарного благоустройства, но Вы можете быть уверены, что я сделаю все от меня зависящее, чтобы сохранить единство и общий характер Вашего труда».

Астров сразу же отвечает Виноградову: «Дорогой Павел Гаврилович, искренне благодарю Вас за Ваше письмо от 22 декабря. Оно доставило мне большое удовольствие и удовлетворение. Это был хороший и дорогой подарок к Новому году. Я думаю продолжать работу в области городского самоуправления Чехословацкой республики. Предполагаю расширить работу общества и включить в нее как прошлое русских городов, так и современное их состояние».

Однако книгу опубликовали лишь через пять лет. Смерть Виноградова в 1925 году негативно сказалась на деятельности русской секции фонда. Астров продолжал работать, не дожидаясь выхода в свет своего исследования. В 1927 году он напечатал статью «Всероссийский союз городов». В ней приведены обобщенные данные о деятельности ВСГ: громадность проведенной Союзом работы производит сильное впечатление. Но в статье появились и новации, если сравнивать ее с монографией. Прежде всего, они стали результатом «раскрепощения» темы: появилась возможность

«Свободная
личность
в правовом
государстве...»

писать о зарубежной муниципальной истории, совершить более глубокий экскурс в довоенную историю российских городов. Новое — и в оценке социального состава ВСГ, и в данных о количестве служащих, в том числе и военнообязанных; приведены цифры по работавшим в ВСГ женщинам. В статье вполне откровенно, но отнюдь не в публицистическом тоне рассказывается о революции, о гибели городских управлений и о том, какую роль сыграл в этом новый режим.

Работы Астрова об истории ВСГ по ряду приводимых в них конкретных данных не устарели дондес. Можно только удивляться, что, находясь в эмиграции, автор смог мобилизовать и систематизировать столь обширный материал. Он показал огромный вклад ВСГ в военные усилия страны. Вот некоторые цифры. К сентябрю 1917 года в состав Союза входили 630 городов, что составляет около 75% всех городов того времени. Смета Союза на лечение больных и раненых, на транспорт и общесанитарные мероприятия во втором полугодии 1916 года составила 41,5 млн рублей. Смета по трем фронтам на тот же период исчислена в 31 млн рублей. Кассовый расход Союза за 1917 год (по 1 сентября) составил 232 млн рублей при кассовом обороте в 464 млн рублей. На питательных пунктах Союза по путям следования войск, раненых и беженцев накормлены 4 370 076 рабочих и 8 642 676 беженцев. В тринадцати санитарных поездах Союза городов перевезено 340 000 раненых. К осени 1916 года число коек на учете Союза составляло 200 000. Через его госпитали с начала войны до января 1916 года прошли 1 260 000 раненых. Были вылечены 18 548 заразных больных. Под флагом Союза городов на фронтах работали 68 врачебно-питательных и санитарно-технических отрядов. ВСГ содержал 247 лечебных заведений, 270 амбулаторий, зубо врачебных и рентгеновских кабинетов. На фронтах ВСГ имел 388 питательных пунктов, столовых и чайных, где было выдано 50,5 млн обедов и 80 млн порций чая. В еще более впечатляющих цифрах выражалась санитарная помощь на фронтах. Например, белья выдано 35 638 614 штук, выстирано — 45 144 349; перемылось в банях Союза 35 900 715 человек и т.д.

Собирая фактический материал, Астров проделал, можно сказать, титаническую работу. Но ему этого было мало. Он жаждал исследовать все источники. Лишь за неделю до отсылки своего труда в Фонд он с печалью констатировал: «В Праге среди разных случайных материалов кое-что нашел, кое-чем воспользовался. Но главного все же нет. Теперь по крайней мере я убедился в том, что поиски желанной полноты материалов тщетны. Приходится ограничиваться очерком».

Очерк — так скромно определил он жанр серьезной исследовательской работы о Союзе городов. В его личном фонде есть список источников, включающий огромное число книг, журналов и т.д., в том числе такие трудоемкие для исследования источники, как газеты («Русские ведомости», «Речь», «Русское слово», «Известия ВСГ») и многое другое.

«Но главного все же нет». Что он искал? Никто лучше его не знал и не представлял, насколько огромным было делопроизводство ВСГ: его Глав-

ного комитета, отделов, комиссий, областных и городских комитетов — монблан архивных дел. Потому Астров и написал в одной из своих статей: «История Союза городов может быть написана только в России, если, впрочем, там сохранились в целостности архивные материалы...»

Объективным историком проявил себя Н.И. Астров и в такой области истории ВСГ, как «политическая» работа городских деятелей в условиях войны и революции. Д.И. Мейснер, живший в Праге и хорошо знавший Астрова, писал в своих мемуарах: «Если бы меня спросили, каково было отношение бывшего московского головы Н.И. Астрова к русской революции, то я сказал бы, что он, прежде всего, был на нее лично крепко сердит. Правда, его семья тяжело и сильно пострадала. Но с годами, а Астров умер в первой половине 30-х годов, уже пришло время, когда можно было смотреть на события и шире, и объективнее, чем в дыму сражений гражданской войны».

Семья Астрова действительно сильно пострадала: в 1919 году были расстреляны два его брата и племянник. Что же касается «сердитости», то, наверное, мало нашлось бы в эмиграции тех, кто не сердился на революцию. Сердился же он скорее не на революцию, а на тех, кто действовал от ее имени. В памфлете о Ф. Дзержинском эта сердитость проявилась вполне. Как, впрочем, и в сборнике «Памяти погибших», редактором которого выступил Астров. Он считал, что «большевизм никогда не был и не может быть социализмом, что большевизм никогда не станет национальным явлением». И верил, что «болезнь русского народа, его большевизм» пройдет, что уставшим от революции людям нужно время, чтобы собрать свои силы и сложить разрушенный ими самими дом.

Однако прошлое Н.И. Астров оценивал объективно (по крайней мере, старался). И прежде всего те события, в которых сам принимал участие. В предвоенные годы страна, по его мнению, выходила из застоя. Жизнь в центрах становилась кипучей, искрящейся, творческой и плодотворной. Еще несколько лет такого роста — и Россия стала бы действительно сильной и могучей. Россия выпрямлялась во весь свой гигантский рост. Но роковую роль сыграла война — «испытание и правительству, и народу», которого они не выдержали.

При всем том «корни русской революции лежали глубоко». Веками культивируемое бесправие создало реакцию на него в форме революционного погрома. Результат — торжество нового бесправия и насилия. Но либералы понимали, что «грозные недоразумения» между властью и народом, между правящим классом и Россией слагались задолго до революции, предвидели роковые последствия этих роковых недоразумений. «И вся наша политическая деятельность имела целью предупредить и предотвратить катастрофу. Мы были между властью и группами, готовившими революцию, и мы участвовали в создании противоборствующих революции сил». Политическая роль Союза городов сводилась к тому, чтобы предупредить власть о грозящей катастрофе, констатировать растущий протест и недовольство в стране. Он предугадывал катастрофу,

«Свободная
личность
в правовом
государстве...»

и катастрофа пришла — предощущенная, но все же неожиданная и неотвратимая.

И Астрова «прорвало». Он выплеснул свои размышления в неопубликованной и сохранившейся в его архиве статье «Всероссийский союз городов и русская революция». События, предшествовавшие Февральской революции и связанные с деятельностью лидеров ВСГ, «почти нигде не получили сколько-нибудь полного и правдивого отображения» — так он писал бывшему главноуполномоченному ВСГ М.В. Челнокову. Прежде чем браться за статью, он проштудировал работы своих оппонентов — тех, кому собирался возражать: Б.Б. Граве, А.Г. Шляпникова, В.И. Ленина и др., включая некоторых авторов журнала «The Slavonic and East European Review». Статью одного из них, д-ра Славика, «Участие Союза городов в падении царизма», напечатанную в мартовской книжке «Славянского обзора», он подробно конспектирует, делая на полях свои заметки. Они весьма важны для понимания позиции Астрова как историка и как политика, фактически стоявшего у руля ВСГ.

Против слов «защитники умирающего режима не отклонялись от правды, когда утверждали, что оппозиционная общественность использовала затруднения правительства, чтобы свалить самодержавие» он пишет: «Да, это точка зрения правых! Оно само валилось!» А тираду о том, что «оппозиция все свои действия в армии прикрывала исключительно стремлением дать возможность армии победить внешнего врага», Астров комментирует: «Непростительное упрощение. Какой большевизм». Сентенцию: «На новой конференции представитель городов 18 июня 1915 года главный докладчик Н.И. Астров говорил уже о сближении армии с общественностью» — сам Астров квалифицирует так: «Извращение перспективы».

Интересны комментарии, уточняющие его собственную позицию более чем десятилетней давности. В том месте, где автор рассказывает о том, что на съезде в сентябре 1915 года прозвучало предложение послать депутацию к царю и что съезд принял это предложение, несмотря на протесты меньшинства, Астров делает пометку на полях в отношении меньшинства: «Радикального и Я». Это при том, что он сам в числе шести делегатов от Земского и Городского съездов был избран членом депутации к царю. Астров совершенно не согласен с тем, что речь кн. Г.Е. Львова и меморандум, который должен был быть передан царю, стали «возбуждающими» из-за отказа в аудиенции. И разъясняет: «Напротив. Слабо. Мало. Выжидательно». Он не соглашается и с тем, что эти документы были размножены и разосланы во все города: «Положены на полку». А на авторский пассаж, будто жалобы и желания, не дошедшие до царского уха, разлетелись в копиях по всей империи, раскачивали оппозиционный и революционный дух во всех провинциальных уголках, отвечает: «Преувеличено. Не это создавало оппозицию».

Астров так резюмирует свои возражения и несогласие с основным содержанием статьи: «Не борьба со старым режимом, а спасение страны от падения, от анархии... Мне довелось быть одним из основателей ВСГ,

бессменным участником в его большой работе до самого конца. От имени Главного комитета союза, по его поручению, мною делались ответственные выступления на съездах союза по общим и политическим вопросам. И я утверждаю, что ни у руководителей работы Союза городов, ни у его создателей не было намерения использовать затруднения царского правительства для того, чтобы свалить самодержавие. Более того, мы никогда не проводили в союзе какие-либо политические программы той или иной политической партии. Мы были свободны от директив партии. Таково было молчаливое соглашение между нами, участниками в работах союза и партиями, к которым мы принадлежали. В наших ответственных „политических выступлениях“ мы выражали настроение тех общественных кругов, которые объединял Союз городов, и формулировали эти настроения. Оглядываясь назад, многое хотелось бы сделать иначе, много ошибок своих и чужих, вне сомнения. Но совершенно неверно утверждение, что русские прогрессивные круги хотели свести свои счета с царской властью именно тогда, когда вся страна и правительство испытывали величайшие затруднения. Совершенно неверно, что в этом стремлении мы только „прикрывали свои действия желанием дать возможность армии победить внешнего врага“. Такое утверждение извращает смысл всего происшедшего в России. Не использовать затруднения, а помочь выйти из затруднений, ставило себе задачей все прогрессивное общество России и в том числе, конечно, Союз городов».

Здесь Астров как бы отвечает на многие обвинения в радикализме в пору его деятельности в России и в оппозиционности Союза городов. Работая над статьей, он сделал выписку из письма В.Н. Челищева от 9 сентября 1929 года, в котором тот передавал рассказы М.В. Челнокова о былом. Там содержался, в частности, следующий фрагмент: «По части революционной деятельности союзов Михаил Васильевич того мнения, что руководители союзов ее не вносили, но она врывалась в работу союзов извне, и многие из деятелей союзов ее поощряли или, во всяком случае, с нею не боролись. Михаил Васильевич вспоминает учреждение так называемого „бюро труда“, допущение рабочих на съезд (1915 года. — В.Ш.) и т.д. Он считает это большой ошибкой и в числе поощрителей указывает на Н.М. Кишкина и на тебя, между прочим».

«Свободная
личность
в правовом
государстве...»

Действительно, нет дыма без огня. По случаю избрания Н.И. Астрова московским головой председатель Верховной следственной комиссии Н.К. Муравьев определил его не только как «блестящего знатока городского хозяйства», но и как «верного друга московского пролетариата». И некоторые основания для такой характеристики имелись. В июле 1915 года на совещании по борьбе с дороговизной Астров настаивал «на необходимости немедленного привлечения в состав городских и общественных управлений представителей от кооперативов и рабочих союзов». Да он и сам до октября 1917 года не отказывался от своего радикализма. Еще в середине октября, на VII съезде ВСГ он признавал: «Союзы сыграли видную роль в деле освобождения от самодержавия».

В этом отношении большой интерес представляет астровская интерпретация вопроса о характере оппозиции русского либерализма — вопрос, до сих пор остающийся одним из самых дискуссионных в историографии. Астров признает: хотя роль Союза городов и не была всеопределяющей, она «очень значительна и внимание к его выступлениям было большое». А условия, в которых протекала работа Союза, были «и сложны, и поистине трагичны». Николай Иванович полагал, что анархия начиналась сверху, что мероприятия правительства вели к острой классовой борьбе, и в этих обстоятельствах ВСГ пытался найти свою линию в политической жизни страны. В июле 1915 года, на экономическом совещании, созванном Союзом городов, «впервые было высказано в принятой резолюции, что страна может победить только при условии, если власть будет в руках „правительства, пользующегося доверием страны“. Что это было? Агитация? Бунт? Или созревшее убеждение, которое вскоре стало убеждением всей России. Убеждение, выраженное в совершенно лояльной форме». Астров полагал, что Союз городов верно определил тогда «настроения и требования страны».

Оба союза на своих съездах в сентябре 1915 года приняли решение просить царя выслушать их представителей — Астров считает это знаменательным и последовательным решением. Отказ царя, возможно, «и был поворотным пунктом в настроениях широких общественных кругов». Наступила полоса мнимого затишья. Но общее расстройство в делах усиливалось. Этот развал и образ действия власти, упорно не считавшей нужным считаться с мнением Государственной думы и общественных организаций, поощрял развитие в стране революционного процесса. Около власти создавалась угрожающая пустота. По мнению Астрова, с этого времени начинается заметное раздвоение, как в настроениях общественных и политических организаций, так и в выборе тактики.

Если Прогрессивный блок представлял собой союз прогрессивных элементов с правыми, то одновременно с этим намечались попытки сближения с левыми кругами, которые до того времени в деятельности союзов не обнаруживали себя сколько-нибудь активно. Астров выступал сторонником «согласованных действий с левыми организациями». Течение, ориентировавшееся на Прогрессивный блок, намечало дворцовый переворот, «астровское» же течение стремилось «получить влияние на ход событий и удержать от революционной катастрофы, если бы события вызвали ее». Но те и другие стремились противоборствовать надвигающейся революции. События, однако, обгоняли их, и Астров это признает. Мартовский (1916) съезд Союза городов, по его словам, «оказался левее своего Главного комитета, им наша формула „министерства доверия“ была отвергнута и принято требование „ответственного министерства“». Сторонники той и другой формулы оказывали нажим на власть в пределах лояльности парламентаризма. Общество побуждало власть отречься от ее порочных свойств — самовластия и пренебрежения к требованиям народа. Организация страны в целях победы и ответственное министерство — вот лозунги 1916 года.

В этой двучленной формуле одно острое, «ответственное правительство», направлено против «безответственной власти», а другое, «организация страны», — против анархии и революции. Гонения на союзы и общественные организации стали последними судорожными движениями агонизировавшей власти. Предполагавшийся в декабре 1916 года V съезд Союза городов не допустила администрация. Астров подчеркивает: «Совершенно неверно указание большевистских источников, что резолюция, текст которой приведен на стр. 159 книги „Буржуазия накануне Февральской революции“, была принята съездом 9 декабря 1916 года. Этот съезд не состоялся, а потому ничего принять не мог. В названной книге приведен лишь проект резолюции, которую предполагалось предложить съезду. Резолюция 11 декабря представляет собой резолюцию не Союза городов, а совещания, в котором были представители самых разнообразных организаций». Эти резолюции в острой и резкой форме повторяли, в сущности, ранее провозглашенные положения. Говорилось о необходимости реорганизации власти, о создании ответственного министерства; Государственная дума призывалась довести до конца свою борьбу с постыдным режимом и не расходиться, пока не будет создано ответственное министерство. Проект заканчивался призывом к армии продолжать свое дело до победного конца и обещанием сделать все для упорядочения тыла и обеспечения армии. Резолюция Продовольственного совещания (11 декабря) по форме еще более резка. Смысл ее, однако, все тот же: объединение всех сил и классов в твердую организацию, способную «вывести народ из разложения». Все это свидетельствовало «о глубоком сознании безнадежности положения. Это уже были возгласы, близкие к отчаянию. Старый корабль шел ко дну. Нужно было спастись».

В письме М.В. Челнокову, написанном в 1929 году, как раз в пору работы над статьей «Всероссийский союз городов и русская революция», Николай Иванович еще более откровенен. Он вспоминает, что ход событий вызывал расстройство, «предошущение грозящей катастрофы, заставляя мучительно отыскивать выходы из все усиливавшегося хаоса. И в чем были эти выходы, откровенно скажу, никто не знал и не видел». В этом же письме декабрьский проект резолюции он характеризует как «декларативную сторону деятельности Союза городов». События увлекали ВСГ на путь политики: «Подчеркиваю и утверждаю, что в Союзе городов мы не осуществляли никакой политической программы, были свободны от партийных директив. Наши выступления на съездах политического характера выражали мнения Главного комитета Союза городов, а не личные или партийные взгляды. Не мы руководили, что самое главное и, может быть, печальное, событиями, а только отражали их, делая соответствующие выводы, которые, к сожалению, выражались лишь в словесных формулах без всяких санкций. В результате санкции были даны другими, а не нами. В борьбе с царским правительством русская общественность оказалась в том же безнадежном состоянии, как несколько месяцев спустя в борьбе с Советами рабочих депутатов».

«Свободная
личность
в правовом
государстве...»

В завершение статьи Астров внес мемуарный дух. «Оглядываясь назад, припоминая настроения и психологию того времени, я утверждаю, что трагедия Союза городов и близких к нему по общественному составу организаций была в том, что они оказались вынужденными одновременно и помогать власти, и бороться с нею, и то и другое — ради достижения главной и покрывающей все цели, ради доведения войны до благополучного конца.

В условиях того времени можно ли было безоговорочно и молчаливо идти за властью, изживавшей и изжившей себя? Можно ли было тогда перейти на путь прямого действия и совершить „перепряжку во время переправы“, „сменить шофера“... на крутом спуске? В тех условиях, которые мы переживали тогда, ни того, ни другого осуществить было нельзя. В этом и была трагедия русской общественности и, среди нее, трагедия Российского союза городов».

Но до самого смертного часа Астров не отказывался от своих идеалов. Незадолго до кончины, в последнем письме к князю В.А. Оболенскому, он подтвердил свое жизненное кредо: «Продолжаю быть глубоко убежденным, что свободная личность в правовом государстве — лучше „органического насилия над личностью“, что классовое сотрудничество — лучше классовой борьбы, что разум, знание, здравый смысл, совесть, сознательная ответственность, моральные основы и воля к защите этих ценностей — лучше утопического сумасбродства без чести и совести и дряблого, безвольного непротивления злу. Но признаем и то, что одних провозглашений мало, что всякое учение должно проводиться в практическом приложении к жизни, а в этом приложении наши идеалы должны претерпеть весьма значительные ограничения».

В этом письме Астрова ярко запечатлелась его душа, не терпящая зла, жаждущая правды и справедливости. Он, как пишет В.А. Оболенский, ни за что не хотел примириться с крушением своих общественных идеалов, мучился чувством ответственности за то, что не сумел провести их в жизнь, и напряженно искал новые пути. В этих поисках и закончилась его жизнь. Жизнь, по словам графини С.В. Паниной, «целиком отданная Родине».

**«Превратить
конституционную партию
в самую разветвленную
организацию...»**

Деятельность любой политической партии — сложный механизм взаимосвязанных и взаимодополняющих ролевых функций, каждая из которых имеет особое значение для достижения стоящих перед партией задач. Александр Михайлович Колюбакин (1868–1915) не входил в число теоретиков Конституционно-демократической партии; не влекла его и разработка вопросов ее стратегического и тактического курса. Однако партия вряд ли смогла бы добиться лидирующих позиций в либеральном лагере, если бы не опиралась на таких самоотверженных работников-практиков, как А.М. Колюбакин.

Александр Михайлович родился в семье генерала и получил военное воспитание и образование. Он окончил 2-й Кадетский корпус (в 1886 году), учился в Николаевском инженерном, затем в Константиновском военном училищах в Петербурге. Служил подпоручиком в пехоте, затем в лейб-гвардии Измайловском полку; в 1893-м был произведен в поручики. Весной 1894 года поступал в Военно-юридическую академию в Петербурге, но написанное им сочинение было признано излишне либеральным, и Колюбакин не набрал проходного балла. Он уволился в запас (в августе 1894 года) и вернулся в родовое имение в Весьегонском уезде Тверской губернии.

Эти места имели репутацию своего рода «питомника» по выращиванию земских кадров; имена многих из них (Ф.И. Родичев, братья Бакунины) стали широко известны в либеральной России. Александр Михайлович также занялся земской работой и быстро выдвинулся. Начав с должности земского начальника 2-го участка Весьегонского уезда, он вскоре стал членом новгородской губернской земской управы (февраль 1897-го). Через 9 месяцев (в ноябре 1897-го) возглавил устюженскую уездную земскую управу, а в 1903 году был выбран председателем новгородской губернской земской управы. Правда, тогда он не был утвержден министром внутренних дел В.К. Плеве; повторное избрание состоялось в январе 1905 года.

Столь успешная земская «карьера» говорила об одном: Колюбакин оказался на своем месте. Свойственные ему организаторский талант, активность, преданность делу, способность увлекать людей живым словом, неумемной энергией нашли достойное применение.

В те годы он уделял особое внимание школьному делу, считая, что «народное образование единственно даст возможность создать правильный государственный строй». Колюбакин участвовал в подготовке «Записки» о необходимости открытия сети школ в уезде для достижения всеобщего обучения (1895); благодаря его усилиям в уезде работали летние курсы для учителей (1899). Его также занимали вопросы местного самоуправления: в 1902 году он подготовил специальный доклад по реформе земского представительства, в котором предлагал проводить земские выборы не по имущественному, а по территориальному принципу. Будучи противником излишней централизации власти, Колюбакин настаивал на предоставлении уезду широкой автономии.

Политические взгляды Александра Михайловича, в сочетании с его инициативностью, вызывали раздражение властей. В феврале 1906 года постановлением Совета при министре внутренних дел он был уволен с должности председателя новгородской губернской земской управы по обвинению в продаже революционной литературы с земского склада. Хотя окружной суд, разбиравший дело Колюбакина, вынес 28 марта 1907 года оправдательный вердикт, его земской деятельности был положен конец.

Десятилетняя работа в провинции дала Колюбакину неоценимый практический опыт, знание жизни, привычку к упорной повседневной борьбе даже при самых неблагоприятных условиях. Эти качества представляли особую ценность, поскольку в среде русской интеллигенции (среде в основном книжной) человек широко образованный и при этом обладающий знанием практической работы представлял скорее исключение. К этому надо прибавить изначально свойственные Колюбакину демократизм, широкое понимание земского дела, умение видеть в повседневных задачах земской жизни ту основу, которая связывает их с задачами общественного освобождения. Как замечал впоследствии П.Н. Милюков, партия кадетов должна была объединить «порывы русской интеллигенции с приемами русского земства».

Колюбакин соединял в себе и то и другое: он вошел в предпартийные структуры — Союз освобождения и Союз земцев-конституционалистов, — участвовал в земских съездах. Он всегда тяготел к левому крылу либералов, хотя, по мнению М.М. Винавера, эта «левизна» была, скорее, следствием не взвешенных размышлений, а неподдельной, юношески пылкой горячности (его так и называли: «восторженный кадет»). Сам Колюбакин говорил о своей позиции так: «Я не могу поручиться за себя и за будущее, все зависит от обстоятельств и условий. Может быть, я окончу свое существование на баррикадах». Он выступал за бойкот «Булыгинской думы», отстаивал всеобщее, прямое избирательное право, требовал постановки этого острого для России вопроса в Государственной думе. На ноябрьском (1905) Общероссийском съезде земских и городских деятелей предлагал принять «прямые и решительные меры», прежде всего — выдвинуть лозунг Учредительного собрания, что, по его мнению, помогло бы «вырвать оружие» из рук крайне левых партий и обеспечить «мирное течение

событий». Вместе с тем он не верил в возможность установления в России республики.

Александр Михайлович был среди основателей Конституционно-демократической партии: входил в состав организационного бюро по ее созданию, а на Учредительном съезде партии (12–18 октября 1905 года) избран в ЦК и вплоть до своей гибели неизменно оставался в его составе. Ему принадлежит авторство двух первых статей устава партии. В 1906 году он вошел в Петербургский городской комитет партии, а в 1910-м возглавил его.

С первых же месяцев существования кадетской партии определилась сфера деятельности Колюбакина: установление возможно широких и тесных связей с единомышленниками и сочувствующими идеям кадетизма в провинции, формирование той социальной базы, без которой любой самый блестящий командный состав партии остается просто кружком интеллектуалов, генералами без армии. Его привлекала роль трибуна, увлекающего толпу своей верой и «огненным словом». Коллеги Колюбакина замечали, что атмосфера серьезных «кабинетных бесед» подавляла, «обесцвечивала» его. И наоборот, движение и рокот толпы возбуждали, вдохновляли. Его ораторскому искусству отдавали должное даже политические противники. Ясность речи, искренность в исповедовании своей веры, умение выделить существо вопроса привлекали к нему души слушателей. Колюбакин стремился к тому, чтобы стать живой связью между центральными учреждениями партии и ее сторонниками в провинции, в самых отдаленных губерниях и уездах.

Главной целью Колюбакин считал «превратить партию в самую разветвленную организацию», а для этого — создавать «мелкие партийные ячейки», ввести волостные и сельские комитеты. Он участвовал в разработке циркуляра о необходимости развития партийных организаций. Колюбакин оставался «типичным земцем», деятельным и работоспособным, готовым с терпением заниматься прозаичными, порой скучными и утомительными организационными делами. Пожалуй, никто в ЦК кадетской партии не совершал столь многочисленных и длительных командировок по России, знакомясь с ситуацией на местах, с настроениями населения и одновременно содействуя формированию местных партийных структур. Колюбакин полагал, что более эффективная помощь в создании местных комитетов может быть оказана не посредством переписки, а непременно путем разъездов. Одетый в скромный костюм (чтобы удобнее было беседовать с пассажирами 3-го класса), игнорируя неудобства бесконечных переездов, неизменно бодрый, инициативный, излучающий, по словам Ф.Ф. Кокошкина, «юношескую веру в идеал и юношескую пылкость в борьбе за него», Колюбакин только за лето 1906 года объездил Архангельскую, Вологодскую, Новгородскую, Смоленскую, Пермскую, Нижегородскую, Казанскую, Саратовскую, Астраханскую, Пензенскую и Тамбовскую губернии, а на следующий год — Сибирь, северные и восточные губернии: Вологодскую, Вятскую, Пермскую, Уфимскую, Казанскую, Симбирскую, Самарскую. Поездки эти были крайне полезны: при участии Колюбакина

«Превратить конституционную партию в самую разветвленную организацию...»

был открыт целый ряд уездных комитетов, укрепились связи ЦК с местными партийными организациями.

Колюбакин разъяснял и отстаивал в ходе командировок программу и тактику кадетов, считал необходимым оказывать содействие профессиональным союзам, опираясь на них в деле агитации, создавать агитаторские курсы в губерниях, формировать клубы (партийные и беспартийные), а также другие общества (например, мелкого кредита), расширяя таким образом ареал партийного влияния в массах. По решению IV съезда партии (24–28 сентября 1906 года) Колюбакин был назначен ответственным за пропаганду в Северо-Восточном округе, включавшем все северные губернии, Уральский край, Среднее и Нижнее Поволжье. Он сумел наладить действенную организационную и агитационную работу, постоянно объезжая свой округ. В марте 1907 года он вошел в исполнительную комиссию ЦК по руководству внепарламентской деятельностью.

Между тем политическая ситуация в стране менялась, сокращалось поле возможностей для партийной деятельности кадетов в стране. Колюбакину пришлось сосредоточиться на работе в партийных центрах. По своему характеру он принадлежал к типу людей «решительного действия»; цельный, увлеченный идеей, он отдавался борьбе без остатка. Главным в парламентской деятельности партии он считал твердое и неуклонное представительство народных интересов. Партия, называющая себя демократической, должна, считал он, подчиниться воле народа. Еще на III съезде кадетов (21–25 апреля 1906 года), состоявшемся накануне открытия I Государственной думы, он ставил перед депутатами-партийцами задачу: «Никаких компромиссов, никакой уступчивости в предъявлении народных требований»; «ни перед чем не отступая, не колеблясь перед конфликтами, которые обдумывает теперь правительство».

В весьма сложных условиях третьей июньской политической системы, когда интерес к партийной работе зримо угасал, когда наметился явный перекося в сторону парламентских форм деятельности, А.М. Колюбакин упрямо продолжал кропотливую работу по организационному строительству партии. Он был противником сосредоточения кадетов на работе в Думе, заявлял, что партия не должна находиться в подчиненном положении перед парламентской фракцией. Поэтому право участия в общепартийных съездах может принадлежать только делегатам из местных групп, или по крайней мере их число должно превышать число членов Думы — делегатов съезда.

А.М. Колюбакин пытался реализовать идею проведения областных съездов в связи с трудностями созыва V съезда партии. Он присутствовал на съезде представителей комитетов 13 губерний Московского региона (весна 1907 года), подготовил съезд восьми северных и северо-восточных губерний, который, однако, пришлось отложить из-за роспуска II Думы. Колюбакин составил программу областных съездов, утвержденную ЦК в июле 1907 года. По этой программе летом 1907 года состоялись два областных съезда, в том числе один — в Казани (при участии Колюбакина),

на который съехались представители казанской, нижегородской, уфимской, пермской и вятской партийных групп. Он использовал свои поездки по уездам и для ознакомления с настроениями в стране в целях выработки тактического курса партии, поскольку считал метод «письменных сношений» неэффективным.

Александр Михайлович постоянно призывал членов ЦК к упрочению и расширению связей с местными партийными организациями. Он полагал, что в период «затяжной реакции» подспудно идет медленный, но неуклонный процесс формирования общественных организаций, и партия должна обратить преимущественное внимание на оказание содействия их развитию. В частности, его тревожила слабость позиций кадетов в крестьянской среде. Причину этого он видел в недостаточном культурном уровне крестьян и поэтому указывал на необходимость всемерного развития народного образования — через Государственную думу, земства, а также различные общества. Политическое воспитание масс «путем законодательной работы» должно было, по его мысли, создать армию приверженцев, готовую и способную к действию. Поскольку, по его наблюдениям, интерес к политической жизни, к деятельности Думы и кадетской фракции неуклонно снижался как в партийных кругах, так и по всей стране, он настаивал на поиске новых путей и способов воздействия на массы, которые помогли бы им быстрее преодолеть «период усталости».

После роспуска II Думы Колюбакин со всем свойственным ему энтузиазмом включился в избирательную кампанию по выборам в III Думу, с большим успехом выступал на собраниях избирателей. В конце лета 1907 года он ездил в Нижний Новгород, контролируя ход подготовки к выборам. В состав III Думы он вошел как депутат от Санкт-Петербурга. Так начался новый этап его деятельности — парламентский. Хотя он не возлагал особых надежд на возможность изменить положение в стране при помощи законодательной думской деятельности, однако рассчитывал служить в Думе выразителем народных чаяний.

А.М. Колюбакин стал автором устава кадетской фракции, вошел в ряд комиссий: продовольственной, по исполнению государственной росписи доходов и расходов, по выработке всеподданнейшего адреса. Возглавлял временную комиссию при фракции для предварительной разработки законоположений, вносимых кадетами. Выступал по вопросам снабжения населения неурожайных местностей, народного образования, по сметам Военного и Морского министерств.

По боевому темпераменту, способности отстаивать свою позицию ярко, смело и убежденно Колюбакин как нельзя лучше подходил для роли депутата. Однако его парламентская деятельность, как в недавнем прошлом и земская, вскоре насильственно оборвалась. В 1908 году Колюбакин вновь был привлечен к следствию, на этот раз по обвинению в пропаганде лозунгов Выборгского воззвания на Саратовском губернском кадетском съезде, состоявшемся в августе 1906 года. По приговору Саратовской судебной палаты 1 февраля 1908 года он был осужден на шесть месяцев

«Превратить конституционную партию в самую разветвленную организацию...»

тюрем, которые провел в петербургских «Крестах» после окончания первой сессии III Думы. Следствием этого стало исключение Колюбакина из состава Думы и лишение его избирательных прав. Такое постановление, по требованию министра юстиции И.Г. Щегловитова, было принято закрытым голосованием большинством голосов (192 против 143) на думском заседании 27 апреля 1909 года.

Это был, несомненно, тяжелый удар для Колюбакина — оказаться выключенным из общественной жизни, — однако товарищи по партии пришли на помощь. Кадетская фракция III Думы избрала его секретарем своего комитета (май 1909 года); эта должность сохранялась за ним и в период работы IV Думы. Колюбакин взвалил на себя большую организационную работу по сбору материалов и подготовке законопроектов, вносимых кадетской фракцией в Думу, участвовал в работе фракционных комиссий. По поручению фракции и ЦК партии он собрал и обработал материалы по важнейшим выступлениям и законопроектам «враждебных партий» — октябристов, националистов и правых — в целях издания справочного пособия для избирательной агитации. В 1910 году Колюбакин возглавил Петербургский городской комитет кадетской партии, став неким соединительным звеном фракции с одним из главных партийных центров.

Основной задачей своей общественной деятельности А.М. Колюбакин считал объединение демократических сил. На заседании ЦК в ноябре 1909 года он настаивал на создании в Думе умеренной оппозиции. Среди «сплывающих» вопросов выдвигал следующие: о неприкосновенности личности, о земском самоуправлении и всеобщем обучении. Он полагал, что только путем формирования «умеренно-прогрессивного большинства» партия может добиться реальных результатов в своей парламентской деятельности и выйти за рамки простой критики курса правительства. Выступая против блока с «Союзом 17 октября» на выборах в IV Думу, он предлагал одновременно не стеснять местные партийные группы в отношении временных соглашений с октябристами, считая, что перед лицом главной опасности — «черной сотни» — не следует бояться бросить «тень на партию» вступлением в блок с умеренными элементами. Многие полагали, что личные качества Колюбакина, его искренность и доброжелательность помогали ему становиться «соединительным мостом» между кадетами и широкими кругами демократии.

Одной из возможных площадок объединения прогрессивных общественных сил Колюбакин считал Вольное экономическое общество. Поэтому он посвятил немало сил и времени работе в ВЭО. При его активном участии был организован Совет ВЭО, представлявший все работающие в рамках общества течения. Колюбакин возглавил продовольственную комиссию и в ходе организации помощи нуждающимся неустанно налаживал связи с органами местного самоуправления, стараясь привлекать к работе общественные силы.

В преддверии выборов в IV Думу партия снова активно задействовала организаторский талант Колюбакина: он был введен в рабочую комиссию,

созданную для решения текущих вопросов и руководства деятельностью партийного Справочного бюро, а затем — и в само Справочное бюро. Вновь он колесил по стране (летом 1912 года объехал Нижний Новгород, Пермь, Казань) для мобилизации сил местных партийных групп на активное участие в думских выборах.

Учитывая партийный состав IV Думы, А.М. Колюбакин не видел необходимости в ее «бережении» и убеждал однопартийцев, что кадеты не должны идти «ни на какие комбинации, рассчитанные на длительную работу в Думе». Он возглавил временную комиссию для предварительной разработки законоположений в начале работы IV Думы. Доказывал, что кадетской фракции следует вносить в Думу только «демонстративные и принципиальные» законопроекты, т.е. использовать думскую трибуну прежде всего в пропагандистских целях. В частности, он был сторонником внесения в Думу законопроекта о всеобщем избирательном праве как имеющего большое общественно-воспитательное значение. Колюбакин предлагал развернуть борьбу с Государственным советом, блокирующим все попытки нижней палаты принять прогрессивные законопроекты, и объединить на решении этой задачи значительную часть Думы. Главное — показать стране, что Госсовет — одно из ключевых препятствий на пути обновления России. В качестве первого шага он видел повторное внесение на рассмотрение Думы всех законопроектов, которые были отвергнуты Государственным советом, а также отклонение поправок, вносимых им в думские законопроекты.

Разочарование партии в результатах парламентской деятельности нарастало, и Колюбакин все чаще говорил о «безнадежности положения в Думе». Не видя поля для реальных действий, он выступил против положения ЦК о полезности законодательной работы в имеющемся составе Думы. Колюбакин заявил, что единственная задача оппозиции в Думе — продемонстрировать стране полное отсутствие возможностей для проведения реформ посредством парламента. Он призывал бороться с «вредными иллюзиями» местных партийных групп, которые, возлагая на Думу несбыточные надежды, уклоняются от активной деятельности. В связи с этим Колюбакин считал первостепенной задачей партии не выработку думской тактики, а «возрождение партийных организаций на местах». С горечью он отмечал: «Что же это за партия, следы существования которой видны только на дне баллотировочных ящиков!..» При этом он твердо стоял на позициях конституционного пути развития страны, подчеркивая: «Радикальные вывески нам не нужны». Кадетов он расценивал как «единственную ответственную конституционную партию», которая составляет главный оплот эволюционного пути развития страны.

А.М. Колюбакин не склонен был предаваться пессимизму, отрицал расхождения о партии как о «рассыпавшейся хранилище». Его натура жаждала действий, борьбы. Он был готов впрягаться в повседневную, тяжелую организационную работу, чтобы снова вытягивать из застойного болота застрявший там воз партийного строительства. По поручению ноябрь-

«Превратить конституционную партию в самую разветвленную организацию...»

ского пленума ЦК (1912) он подготовил доклад для весенней партийной конференции 1913 года. Главными задачами момента он ставил восстановление и укрепление партийных организаций в губернских центрах, которые, в свою очередь, должны заняться организацией партийных групп в уездах; установление более тесных связей с широкими трудовыми слоями населения. Кроме того, он рекомендовал местным кадетам активнее входить в земские и городские органы самоуправления, участвовать в работе общественных структур (например, кооперативов), организовывать сельскую интеллигенцию, издавать печатные органы для приказчиков и других трудовых групп населения. Тезисы доклада были разосланы для предварительного обсуждения в местные партийные группы. В дальнейшем Колюбакин конкретизировал эти положения, предложив план организационного возрождения партии: местные комитеты воссоздаются не в первоначальном многочисленном составе, когда регистрировалось внушительное число членов, а в форме структуры из пяти-семи человек, отличающихся работоспособностью и «приспособленностью к нуждам момента». Колюбакин был избран в комиссию для руководства работой Бюро провинциальной печати (февраль 1913 года).

Большое значение Колюбакин придавал скорейшему созыву партийного съезда, который откладывался из года в год, и обновлению состава ЦК. Основные тезисы доклада, составленного им по этому вопросу, были заслушаны на заседании ЦК 24 мая 1913 года. Он доказывал необходимость расширения представительства на съезде местных партийных организаций (число их уполномоченных должно, по его мнению, превышать число членов думской фракции не менее чем в 1,5 раза). Эта мера предлагалась им, дабы не создавалось впечатление, будто фракция руководит работой партии.

Еще из своей земской деятельности Колюбакин вынес убеждение в необходимости децентрализации управленческой сферы, самого широкого развития местного самоуправления. Он ратовал за участие женщин в земском самоуправлении наравне с мужчинами. Сторонник единства и неделимости России («против отделения хотя бы единой пяди русской земли»), он тем не менее признавал, что единство не может удерживаться насильем. Колюбакин поддерживал право каждого народа на национальное самоопределение, видя в этом необходимое выражение свободы личности. С 1906 года он входил в Союз автономистов и в феврале 1907-го был выбран товарищем его председателя.

Накануне Первой мировой войны его прогнозы развития событий в России становились все более тревожными: по его оценке, «поддерживать иллюзию, веру в возможность мирной эволюции значило бы просто надувать страну». Колюбакин предлагал готовиться к возможным внутренним потрясениям. В феврале 1914 года он заявил, что Дума перестает быть «орудием борьбы» и ЦК должен открыто констатировать «безнадежность» парламентской работы. Сам Колюбакин выражал готовность поддержать требование роспуска Думы в случае, если бы была гаранти-

рована широкая общественная поддержка этому демаршу. Вместо этого он звал партию идти «в гущу жизни», искать пути соглашения, сговора как с левыми (поскольку между умеренными и левыми элементами, как он отмечал, уже нет прежней розни и вражды), так и с прогрессистами («не смешиваясь с ними»), строил планы привлечения к Партии народной свободы сил «с обоих флангов».

Выступая с критикой внешней политики России, Колюбакин считал, что Россия «слишком слаба, чтобы впутываться в войну». В ходе обсуждения на заседании ЦК (март 1909 года) обострившейся ситуации на Балканах он заявлял: «Как бы мы ни симпатизировали Сербии, мы должны опасаться ставить на политике правительства моральный штемпель». Вместе с тем, когда катастрофа разворачивания мировой войны стала неотвратимой, он высоко оценил подъем патриотизма и общественное единение, продемонстрированные Думой на заседании 26 июля 1914 года. Сам он принял деятельное участие в образовании Особой комиссии Вольного экономического общества для помощи жертвам войны, возглавил 2-й отдел этой Комиссии («экономических мероприятий»), призывал к организации помощи пострадавшему от войны населению Царства Польского и смежных с ним районов.

Вскоре, однако, Колюбакин перешел на позиции критики правительства, указывал на совершенные им просчеты, ударявшие по единству и внутренней мощи страны, на серьезные изменения в политических настроениях общества. Поэтому он не соглашался на то, чтобы партия занимала позицию молчаливой поддержки режима: по его мнению, это грозило «утратой доверия страны», питало слухи о будто бы состоявшемся «примирении и соглашении» умеренной оппозиции и правительства. Поэтому Колюбакин не считал возможным «закрывать глаза на всевозможные непорядки и злоупотребления власти». Вместе с тем он предостерегал и от другой крайности — внутреннего взрыва, — считая, что на «разумных общественных слоях» лежит обязанность предотвратить революцию, которая является нежелательным вариантом развития событий.

Критику правительства в условиях войны Колюбакин не считал изменой патриотизму. Истинный патриотизм он продемонстрировал, когда обратился с просьбой об отправке его на фронт. Несмотря на воинское звание, он не подлежал мобилизации как политически неблагонадежный. Получив отказ, он продолжал настаивать, подал прошение на имя Верховного главнокомандующего. Понадобилась поддержка председателя Государственной думы, чтобы, как говорил В.А. Маклаков, «получить разрешение умереть за Отечество». Несмотря на дурные предчувствия, Колюбакин был твердо настроен исполнить то, что считал своим долгом перед Родиной.

15 ноября 1914 года в чине штабс-капитана А.М. Колюбакин был направлен на фронт. В ночь на 21 января 1915 года он был убит во время ночного боя вблизи местечка Воля Шидловская, ведя роту в атаку. Прах Колюбакина его товарищи по партии с почестями перевезли в Петроград, а оттуда — в родовое имение, где он был захоронен на сельском кладбище.

«Превратить конституционную партию в самую разветвленную организацию...»

ВЛАДИМИР
АНДРЕЕВИЧ
ОБОЛЕНСКИЙ

«Если бы революция
опоздала на несколько
лет, она приняла бы
совсем иные
формы...»

Мемуары, воспоминания — ценнейший исторический источник, особенно если их автор — наблюдательный человек. Однако значимость мемуаров не ограничивается тем, что часто только благодаря этим текстам до нас доходит неповторимый голос прошлого. Иногда случается и так, что этот голос — не просто один из многих, а красивый и сильный. Основываясь лишь на тексте воспоминаний, можно с уверенностью говорить, что их автор — одаренный литератор и самобытный мыслитель. Это вполне относится и к В.А. Оболенскому, чье имя могло бы затеряться в ряду прочих замечательных общественных и политических деятелей начала XX века, если бы не его удивительные мемуары.

Владимир Андреевич Оболенский принадлежал к дому Рюриковичей. Его предки были черниговскими князьями. Один из них, Константин Юрьевич, в XIV веке получил в удел земли по реке Протве, где позже возник город Оболенск. Тогда и было положено начало известному разветвленному роду, многие представители которого сыграли заметную роль в истории России. Однако об этом В.А. Оболенский не писал в своих воспоминаниях: высокий княжеский титул едва ли когда-либо помог этому скромному человеку — чаще мешал.

Как начинается свои воспоминания В.А. Оболенский, родился он в Петербурге, в четырехэтажном особняке на Малой Итальянской улице 19 ноября 1869 года. Вокруг были деревянные и каменные домики с мезонинами. Утром по улице шел пастух с саженой трубой, а за ним следовали коровы — пастись на луг. Сейчас это улица Жуковского, которая уже к началу XX века стала центром города. За сравнительно короткое время все изменилось: «Гладкий асфальт заменил булыжную, полную колдобин мостовую, редкие и тусклые фонари с керосиновыми лампами уступили место великолепно сияющим электрическим фонарям, а дом, в котором я родился, не только не возвышался уже над другими, а казался совсем маленьким среди своих многоэтажных соседей».

Отца, Андрея Васильевича, В.А. Оболенский практически не знал. Он умер в 52 года, когда сыну было лишь шесть лет. В детских воспоминаниях

остался чрезвычайно близорукий, а под конец жизни — совсем слепой человек, которого ребенок, держа за палец, водил по комнатам дома.

Оболенский-старший окончил Училище правоведения; его одноклассником и приятелем был будущий обер-прокурор К.П. Победоносцев. По окончании этого знаменитого учебного заведения Андрей Оболенский поступил на службу. Он сблизился с кружком славянофилов, а именно с Аксаковыми, Киреевскими, Кошелевым. Оболенский принимал деятельное участие в подготовке крестьянской реформы 1861 года. Будучи членом Калужского губернского комитета, вместе с губернатором В.А. Арцимовичем он подготовил записку об учреждении всесословной волости. Этот проект не нашел поддержки в правительстве, и Оболенский был отстранен от должности. Впоследствии он служил по Министерству финансов, занимая должность председателя Казенной палаты в Ковне и Ярославле. При всех своих многочисленных достоинствах Андрей Оболенский страдал одним пороком, сказавшимся на судьбе семьи, — страстью к азартным играм. Он проиграл большую часть своего значительного состояния. Так что родителей Владимира Андреевича Оболенского в аристократических кругах полагали скорее бедняками.

Мать В.А. Оболенского, Александра Алексеевна, была урожденной Дьяковой, дочерью баронессы Дальгейм де Лимузен, чьи родители бежали от Французской революции. В возрасте 12 лет она вместе с мачехой путешествовала по Европе, жила в Риме, который произвел на нее сильное впечатление. Часто посещала салон Зинаиды Волконской и под ее влиянием решила принять католичество. Для ее мачехи это был верный сигнал, что надо поскорее возвращаться на родину.

Дядя В.А. Оболенского, Василий Алексеевич Дьяков, был близким другом Л.Н. Толстого.

Родители В.А. Оболенского были людьми деятельными, не скрывали своих либеральных взглядов и невольно вызывали раздражение у ближайшего окружения, даже в семье. Отец активно содействовал проведению крестьянской реформы в Калужской губернии, не встречая симпатий со стороны родственников — в значительной своей части убежденных крепостников. Мать решила открыть женскую гимназию, что вызвало настоящий шок в семье Оболенских, полагавших это позором. Их родственник, генерал А.Л. Потапов, впоследствии занимавший должность шефа жандармов, специально приезжал к Оболенской отговаривать ее от этого весьма странного замысла. Миссия была безуспешной. Ему оставалось язвить: «Почему бы вам, Alexandrine, не открыть прачечного заведения?»

В детские годы Оболенский не был близок с матерью — слишком много времени она посвящала гимназии. Правда, это имело и свою положительную сторону: «Воспитывался я свободно. Мать не требовала от меня внешних знаков почтения к себе. Я не был выдрессирован на целование дамских ручек и на шарканье ногами, мне не запрещалось разговаривать за столом со взрослыми, и я не злоупотреблял этим правом лишь по своей скромности и молчаливости. Если бонны и гувернантки меня обучали

хорошим манерам, то есть умению прямо сидеть за столом, не чавкать, пережевывая пищу, не резать рыбу ножом и т.п., то наказаний я не знал никаких: меня не только не секли, но даже не ставили в угол и не лишали вкусных кушаний за обедом».

Володя хорошо знал гимназию матери, знал всех ее учениц. Среди них были дочь директора Н.А. Герд (в будущем — жена П.Б. Струве), А.В. Тыркова, Н.К. Крупская. Наслушавшись рассказов матери, Оболенский считал своим личным врагом министра народного просвещения Д.А. Толстого, а также всех министерских ревизоров.

Мать Оболенского страдала от астмы и была вынуждена периодически выезжать с семьей на юг Франции или в Италию на лечение. Летом же семья Оболенского отдыхала в Смоленской губернии. Володя очень любил деревню. Там он играл в индейцев, наблюдал за лошадьми, собирал в оранжерее абрикосы, а в лесу — грибы.

Запомнились маленькому Володе и люди из ближнего круга его матери. Среди них были известные писатели и общественные деятели: В.М. Гаршин, К.Д. Кавелин, М.М. Стасюлевич, братья Жемчужниковы. Вспоминались Оболенскому и первые политические впечатления: сведения о боях на Балканах в период Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, радость в связи с оправданием в суде В.И. Засулич, бегством П.А. Кропоткина, исчезновением С.М. Степняка-Кравчинского после убийства шефа жандармов Н.В. Мезенцева. Вспоминался и тот ужас, который его охватил, когда он узнал о гибели Александра II: «Однако когда был вынесен смертный приговор участникам убийства 1 марта и когда я услышал стук колес „позорной колесницы“, на которой везли мимо нашего дома на казнь пятерых осужденных, мои симпатии вновь перешли на их сторону. „Я с удовольствием сам бы их повесил“, — злобно сказал мне при этом мой двоюродный брат Гриша, раннее свое детство проводивший в Москве и почерпнувший свои политические эмоции от консервативной родни. „А я бы повесил тех, кто их вешает“, — ответил я ему, побледнев от охватившего меня негодования...»

В 1881 году В.А. Оболенский поступил в частную гимназию Ф.Ф. Быкова. Среди преподавателей были весьма талантливые, а впоследствии — очень известные люди: например, историю преподавал Е.Ф. Шмурло, а греческий язык — поэт И.Ф. Анненский. В классе было около 15 человек, в то время как в казенной гимназии — 40 учеников. Учащихся связывали тесные, дружеские отношения. Да и гимназисты были неординарные: так, в гимназии Оболенский познакомился с А.Н. Потресовым, который был самым начитанным среди товарищей.

Как было заведено тогда в российских классических гимназиях, важнейшим предметом была латынь, которой уделялось максимальное внимание. Конечно же, гимназисты хорошо знали и русскую литературу. К 12 годам Оболенский прочитал Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, в 13–14 лет увлекался Толстым, а в 15–16 — Достоевским. Конечно, гимназические годы проходили не только за партой — были еще и встречи школьных друзей по субботам, танцевальные вечера, драки.

В 1887 году Оболенский окончил гимназию и, в отличие от большинства одноклассников, поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. Это был своего рода протест против гимназического курса, в котором естественным наукам уделялось весьма скромное место. Вместе с тем это была известная дань моде: все-таки это было время господства позитивизма с его культом подлинно научного знания. Впрочем, и университетские преподаватели были незаурядными: Д.И. Менделеев и П.Ф. Лесгафт, И.П. Бородин и В.В. Докучаев. Оболенский впоследствии писал: «Менделеев, крупнейший ученый с мировым именем, был вместе с тем изумительным лектором. По установившейся традиции он ежегодно посвящал первую свою лекцию общим вопросам просвещения и науки, и слушать эту двухчасовую лекцию собирались студенты всех курсов и всех факультетов. В год моего поступления он избрал темой критику классического образования. Можно себе представить, какое огромное впечатление произвела эта лекция на нас, только что окончивших классические гимназии и еще носивших в себе обиды от двоек и единиц за ненавистные „экстемпорале“ (письменные переводы с русского на древние языки)».

В начале 1880-х годов скрытое недовольство едва чувствовалось в университете. Однако студенты ненавидели ректора и инспекторов, ненавидели карцер, куда безжалостно сажали нарушителей дисциплины. В итоге все это вылилось в студенческие беспорядки 1887 года в Москве и Петербурге. Оболенский с товарищами в первый год своего обучения в университете решился на участие в студенческой сходке, зная, что это могло грозить самыми серьезными последствиями. На сходку в коридоре университета пришло до двухсот человек, и эта толпа заволновалась, когда увидела приближавшуюся полицию. Положение спас Д.И. Менделеев. Он вышел из кабинета и пригласил студентов на опыты. «Малодушные революционеры» поспешили воспользоваться этим якорем спасения. Среди них были и будущий лидер российской социал-демократии Потресов, и Оболенский. Правда, там, в кабинете, их мучили угрызения совести: ведь наиболее стойких товарищей арестовали. Суровая расправа вызвала возмущение студентов, и новая сходка оказалась гораздо многочисленнее. Она собрала уже 1500 человек (притом что всего в университете училось около 2000 студентов). После двух бурных дней университет был на некоторое время закрыт.

Обстоятельства выталкивали в политику даже самых аполитичных студентов. Запрещая любые формы самоорганизации, правительство вынуждало учащихся прибегать к конспирации. Именно тогда в Петербургском университете эту школу прошел Ю.О. Мартов, а в Политехническом институте — Л.Б. Красин. На семинарах, посвященных социологии и политической экономии, проявлялись студенческие лидеры. Левое студенчество признавало в качестве такового П.Б. Струве, правое — Б.В. Никольского.

Оболенский был активно вовлечен в общественную жизнь, но это не мешало учебе. Он отлично сдавал экзамены, запоминая огромный объем

«Если бы революция опоздала на несколько лет, она приняла бы совсем иные формы...»

требуемой информации. В 1891 году он окончил университет; оставалось решить непростой вопрос: что делать дальше?

За время учебы В.А. Оболенский остался без семьи: умерли мать, тетка, старшая сестра. Оболенский был предоставлен сам себе и все более тяготел к леворадикальным кругам. Круг общения, чтения, вкусы вели юного князя в стан социалистов. Подобно многим другим молодым людям, Оболенский увлекался живописью передвижников, восхищался работами Н.Н. Ге и Н.А. Ярошенко. При этом он был совершенно равнодушен к коллекции Эрмитажа, а работы М.А. Врубеля или М.В. Нестерова и вовсе его раздражали. Оболенский посещал вечера общественного деятеля В.К. Винберга, куда приходили земцы и журналисты. Там бывали Струве, М.И. Туган-Барановский, братья Ольденбурги, И.М. Гревс. Бывал там и В.И. Ульянов, и его сестры.

В те годы Оболенский так определил свою будущую жизненную траекторию: «Работа во благо народа». Правда, при этом оставалось неясным, какая конкретная работа в данном случае могла иметься в виду. В итоге решение было отложено, а Оболенский (как и его товарищ Потресов) продолжил обучение на юридическом факультете университета.

Впрочем, жизнь подсказывала иное решение. В 1891 году Поволжье охватил голод. Правительство не справлялось со столь масштабным несчастьем, и на помощь пришла общественность: собирали средства в пользу голодающих, пытались организовывать столовые и пекарни. Власти были вынуждены смотреть сквозь пальцы на то, как российское общество делало огромные шаги по пути самоорганизации. К этой работе подключился и Оболенский, почувствовав, что на этом поприще мог бы принести реальное «благо народу». Он отправился в богородицкое земство Тульской губернии. За ним последовали и многие другие студенты.

Оболенский устроился работать при земской управе. Он объезжал голодающие деревни, составлял списки нуждавшихся, определял размер ссуды для них. Там, в Богородицке, он познакомился с видным земским служащим Н.В. Чеховым и местным предводителем дворянства, будущим лидером националистов в Государственной думе В.А. Бобринским. Познакомился он и с крестьянством черноземной полосы: «Впечатление было потрясающее: нищета, вонь, грязь и бесконечные униженные жалобы на тесноту и малоземелье. Значительная часть изб была с полураскрытыми, скормленными скоту соломенными крышами, а внутри был страшно спертый воздух от смеси запаха жженой соломы, которой топились печи, и скотского навоза, ибо зимой крестьяне держали в своих жилых помещениях овец, телят, а иногда даже коров. Полы были земляные и влажные от наносимого на валенках снега. А в этой грязи копошились дети, большей частью босые и в одних рубашках. Ежедневно я возвращался домой с головной болью ото дня, проведенного в вонючих избах, в которых крестьянам приходилось жить с осени до весны».

Вместе с тем Оболенскому стало ясно, что в голодный год жизнь местных крестьян не слишком изменилась по сравнению с предыдущими,

«благополучными». Он предпочел переехать в Самарскую губернию, где положение было гораздо сложнее. Но это была совсем другая Россия: «После убогих тульских деревушек с покосившимися грязными избушками самарские деревни меня поразили видом зажиточности и благосостояния. Самарские села и деревни по своей населенности не уступали уездным городам. Иногда с версту и более тянутся широкие деревенские улицы между двух рядов опрятных изб, крытых тесом, с украшенными резьбой большими светлыми окнами. Чисто и опрятно одетые крестьяне выгодно отличались от своих лохматых и грязных тульских земляков, да и держали себя независимее. Видно было, что еще недавно население жило здесь сравнительно хорошо. Но теперь в этих больших опрятных избах люди страдали от недоедания и его последствий — цинги и куриной слепоты».

В Самарской губернии Оболенский занялся организацией пекарен, но местное население ожидало от него большего. Почему-то крестьяне уверовали в то, что он наследник престола, инкогнито разъезжавший по России и всячески помогавший крестьянству. При его появлении снимали шапки, становились на колени и именовали Оболенского «царским высочеством». Впрочем, была и другая версия: что Оболенский и его товарищи — не царского происхождения, а настоящие слуги Антихриста.

Позже, оказавшись в Петербурге, он присутствовал на собрании молодых людей, которые только что вернулись из деревни. Они дружно говорили, что крестьяне настроены революционно и уже усвоили преимущества конституционной формы правления. Оболенский хорошо знал, что это совершенно не соответствовало истине. Крестьяне мыслили архаичными формулами и продолжали жить в глухом средневековье. «Мое выступление было встречено слушателями недружелюбно, а одна юная курсистка с милым личиком и горящими глазками заявила: „Совершенно очевидно, что вы держали себя барином и не сумели подойти к народу“».

В 1892 году Оболенский решил продолжить обучение за границей и поступил в Берлинский университет. Там он слушал лекции известных профессоров политической экономии А. Вагнера и Г. Шмоллера. Вечерами ходил на избирательные собрания, где выступали К. Либкнехт, А. Бебель и др. В Берлине Оболенский познакомился и с русскими учеными — например, с выдающимся юристом Л.И. Петражицким. Спустя многие годы судьба свела их в I Государственной думе.

«Если бы революция опоздала на несколько лет, она приняла бы совсем иные формы...»

Пробывание за рубежом оказалось сравнительно недолгим. В 1893 году Оболенский вернулся в Петербург и поступил на службу в Министерство земледелия, в отдел сельской экономики и сельскохозяйственной статистики. Все складывалось благополучно. Карьера, казалось бы, пошла в гору. Вскоре после зачисления он получил в министерстве штатную должность младшего редактора, что соответствовало должности столоначальника в других департаментах. Работы было мало. Приходил на службу к часу дня, уходил около пяти. Большую часть времени проводил в буфете за чаепитием.

У молодого чиновника было много свободного времени, и он с удовольствием посещал публичные споры между марксистами, которых обычно представляли Струве, Потресов и Туган-Барановский, и народниками, от имени которых говорил В. Воронцов. В силу близкого знакомства со Струве и Потресовым Оболенский скорее сочувствовал марксистам, которые приступили к подготовке издания собственного легального журнала. Его главным редактором должен был стать Струве, а Оболенский мог быть его сотрудником. Однако план сорвался: Главное управление по делам печати не дало разрешения издавать журнал.

В то время своего рода политическими центрами становились самые неожиданные организации — например, Комитет грамотности при Вольном экономическом обществе. Одним из его деятельных сотрудников стал как раз В.А. Оболенский. Он участвовал в заседаниях Комитета, на которых беспощадно критиковалась организация народного образования в России. В итоге Комитет был закрыт правительственным решением. Вскоре же само Вольное экономическое общество стало важнейшей ареной борьбы между народниками и социалистами.

В 1896 году Оболенский женился на О.В. Винберг, дочери В.К. Винберга, чей дом он регулярно посещал. Это подтолкнуло молодого супруга к радикальной перемене в жизни. Оболенский прекрасно понимал, что, если бы, женившись, он все же остался на государственной службе, вернуться впоследствии к столь привлекательной общественной деятельности было бы весьма затруднительно. В итоге он решил бросить министерство и занять пост заведующего земской статистикой в смоленском земстве. Летом 1896 года Оболенский учился организации статистического дела в ходе исследования Опочецкого уезда Псковской губернии: «Кочевал из деревни в деревню, от помещика к помещику, познакомился с приемами исследования и как „выжимать“ правдивые цифры из лживых показаний. А лгали все — крестьяне и большая часть помещиков».

Осенью Оболенский с женой уехали в Смоленск. Правда, там он поработал недолго — его проект организации статистического дела был провален на заседании местного земского собрания. Следующие три года, в 1896–1899-м, Оболенский служил в псковской земской статистике. Чем больше он сталкивался с крестьянской жизнью, тем более осознавал всю наивность народнических построений. Мужик желал не торжества общинного уклада, а собственности — помещичьей...

В Пскове Оболенский поддерживал тесные контакты с поселившимся здесь Потресовым. Там же он близко познакомился и с В.И. Ульяновым, который уже тогда пользовался некоторой известностью в марксистских кругах. Общаться с ним было непросто. Нередко он был высокомерен, язвителен и груб. Кроме того, в Псков приезжали Струве и Мартов. Этот провинциальный город стал своего рода центром российской социал-демократии. Именно здесь обсуждалась программа газеты «Искра». В 1924 году уже советские власти разыскали в Москве дочь В.А. Оболенского Ирину и просили ее указать адрес псковского дома, где жила их семья. На здании

планировали установить мемориальную доску. Однако дочь Оболенского не могла им помочь — она была практически ровесницей «Искры».

В мае 1900 года Оболенский переехал в Орел, где возглавил статистическое бюро. Там он близко сошелся с семьей Ф.В. Татаринова. В земстве Оболенский не без оснований заслужил репутацию «красного», социалиста. В 1902 году он был секретарем Орловского уездного комитета о нуждах сельскохозяйственной промышленности, который в ряду прочих местных комитетов был образован по инициативе С.Ю. Витте. Тогда жизнь свела Оболенского с яркими представителями русского либерализма — семейством Стаховичей. Оболенский чувствовал симпатию к ним и к их политическим убеждениям. Это было естественным и неизбежным. При этом Оболенский был критически настроен к эсерам. Ему были чужды их взгляды и тем более приемы тактической борьбы — террористические акты. Он был далек и от классового подхода социал-демократов. Но все же Оболенский пока состоял членом орловского комитета РСДРП и даже по мере возможности пытался организовывать пропаганду социал-демократических идей.

Летом 1902 года он участвовал в Съезде земских статистиков в Санкт-Петербурге. Здесь он впервые услышал П.Н. Милюкова, призывавшего к консолидации сил российской интеллигенции. Речь была весьма туманная. Однако социал-демократы сразу почувствовали угрозу со стороны нарождавшейся политической силы. За дискуссией следили члены Союза освобождения. Они наметили лиц, которых следовало пригласить на совещание на квартире Н.Ф. Анненского; среди них оказался и Оболенский.

Оболенский решил вступить в Союз освобождения. Тогда ему казалось, что это никак не противоречит его членству в РСДРП. Он был уверен в неосуществимости социализма в ближайшем будущем и считал, что в настоящий момент речь могла идти только о борьбе за политическую реформу. В нее он с энтузиазмом и включился в 1903 году, участвуя в собраниях «освобожденцев».

Тогда же Оболенский переселился на южный берег Крыма, где у В.К. Винберга было имение. Там уже несколько лет подряд летом жила его семья. Теперь же он, будучи крымским обывателем, был избран членом таврической губернской земской управы. В этом качестве в 1903 году Оболенский принял участие в работе съезда земцев-конституционалистов. На такое совещание он приехал и в октябре 1904 года, когда узнал о готовившемся земском съезде.

«Правительственная весна» осени 1904 года, провозглашенная министром внутренних дел П.Д. Святополк-Мирским, привела всю Россию в состояние возбуждения. Крым же оставался тихим и спокойным. Оболенский был одним из тех немногих, кто попытался привнести политическую нотку в жизнь полуострова. Он организовал политический банкет в Симферополе, подготовил соответствующий адрес императору. Когда в 1905 году пошла череда массовых собраний агрономов, ветеринаров, педагогов и др., Оболенский пытался создать и крестьянский союз в Тав-

«Если бы революция опоздала на несколько лет, она приняла бы совсем иные формы...»

рической губернии. Это объединение действительно возникло, но роль «освобожденцев» в нем оказалась незначительной. Там безраздельно доминировали эсеры, чей план социализации земли вполне соответствовал умунастроениям крестьянства.

На свои съезды собирались и земцы-конституционалисты. Соглашения между ними не было. Спорили об избирательной системе на выборах в будущее представительное учреждение, об аграрном вопросе. Иными словами, в преддверии неизбежной политической реформы общество постепенно дифференцировалось. Выяснялось, кто союзник, а кто оппонент. Это было важной предпосылкой для создания партий.

Однако при всех разногласиях это была одна среда земских деятелей. После шумных съездов они дружной толпой шли в ресторан «Прага», где подводили итог внутренним спорам. Но вскоре они все же разошлись по разным партиям. Оболенский оказался среди кадетов: его выбор был предопределен многолетними связями и кругом общения. С прежними друзьями, социал-демократами, он уже давно разошелся, и между ними был серьезный психологический барьер. Более того, к 1905 году Оболенский разочаровался в социалистическом учении как таковом. Социализм, по его мнению, игнорировал сложную, но важнейшую задачу общества и власти — найти необходимый баланс между коллективным и индивидуальным. И то и другое необходимо, перевес одного над другим губителен. По мнению Оболенского, эту трудную задачу и пыталась по-своему решить партия кадетов.

На учредительном съезде партии Оболенский не был. В те дни Россию охватила всеобщая забастовка. Страна замерла в тревожном напряжении. Какова же была радость многих, когда стало известно о Манифесте 17 октября! Оболенский выбежал на улицу, чтобы поделиться с прохожими расприравшими его чувствами. Он был не одинок в этом порыве: незнакомые люди обнимались и целовались на улицах Симферополя. Однако затем начались беспорядки. Толпа побежала к тюрьме освобождать заключенных. Там вспыхнул бунт. Властям пришлось стягивать воинские части, чтобы подавить возмущение. Радость обернулась кровопролитием. А затем по улицам побежала другая толпа с целью грабить и убивать. Так в Симферополе состоялся и свой погром. На следующий день погромщики были рассеяны полицией.

В скором времени предстояли выборы в Государственную думу, и к ним надо было специально готовиться, в том числе и в Крыму. Как раз для этого В.А. Оболенский организовал газету «Жизнь Крыма», которая стала весьма популярной среди местного населения. В марте 1906 года он был избран в Государственную думу от Таврической губернии, причем всего лишь одним голосом — правые вели против него настоящую войну.

Много лет спустя Оболенский вспоминал первые дни работы Думы: торжественное открытие, встречу в Зимнем дворце, речь И.И. Петрункевича, избрание С.А. Муромцева, а потом уже — безуспешную борьбу с правительством и попытки законотворческой работы, которые требовали

много сил. «Если мне, рядовому члену Думы, приходилось не только заседать в Думе, в ее комиссиях и во фракции, но и работать, то наши лидеры и специалисты: Петрункевич, Винавер, Набоков, Кокошкин, Герценштейн и другие, которые руководили законодательной работой и думской политикой, положительно не имели отдыха. Заседали во время трапез, работали ночью и систематически недосыпали».

Это свидетельствовало об отсутствии опыта, что сказывалось и в неготовности депутатов к компромиссу с высшей бюрократией. Народные избранники, в сущности, подталкивали власти к собственному роспуску. Но все же некоторые депутаты, участвовавшие в переговорах с правительством, были настроены оптимистично. Князь Г.Е. Львов, например, говорил: «Не верьте слухам о роспуске. Это простая шумиха. Вот увидите, что все образуется. Я из самых достоверных источников знаю, что правительство готово пойти на уступки».

Многим тогда действительно казалось, что наступил поворотный момент российской истории и I Думе предстоит сыграть судьбоносную роль. Представлялось, что она станет российскими Генеральными штатами и возьмет власть в стране. Однако этим надеждам не пришлось сбыться. Думу распустили в воскресный день, буднично, не дав депутатам проявить самоотверженности. Народные избранники ответили Выборгским воззванием. Среди подписавших его был и В.А. Оболенский. Кому-то виделось, что с этим актом революция в России «вновь начинается». В действительности тогда она и закончилась.

Подписание Выборгского воззвания сказалось на политической судьбе Оболенского. В ноябре 1907 года он был приговорен к трехмесячному заключению, что лишало его возможности в дальнейшем баллотироваться в депутаты. Впрочем, он к этому и не стремился.

В 1908 году Оболенскому пришлось покинуть Крым. Его сослали в Финляндию: «Ссылку тяжело переносить в одиночестве, вдали от близких, а я жил с женой и детьми (во время ссылки у меня родилась младшая дочь, восьмой номер по порядку), дышал чудесным финским воздухом и пользовался всеми удобствами и удовольствиями помещичьей жизни. Мы много гуляли, катались на лыжах, учили с женой старших детей, подготовлявшихся к гимназиям, по вечерам читали вслух. Нас часто навещали петербургские друзья, а летом было даже слишкомлюдно в этой дачной местности».

В 1910 году Финляндию пришлось покинуть, чтобы отсидеть положенные три месяца в «Крестах». Ради этой возможности пришлось прибегнуть к протекции сестры — иначе пришлось бы дожидаться своего «права» отбыть тюремное заключение (ведь тюрьмы были переполнены, а Оболенский не считался опасным преступником). «Усевшись с чемоданом на извозчика, я отправился, как в гостиницу, в петербургскую тюрьму „Кресты“, предварительно справившись по телефону о том, отведена ли мне камера согласно распоряжению министра юстиции. Позвонил у канцелярского подъезда. Тюремный сторож впустил меня. И вот на три месяца я стал арестантом».

«Если бы революция опоздала на несколько лет, она приняла бы совсем иные формы...»

По окончании тюремного заключения и ссылки Оболенский вернулся в Петербург, где устроился работать в Русско-Азиатском банке. Труд финансиста оказался ему не по душе. Его поражал господствовавший формализм в отношениях начальства и подчиненных, которого он не встречал даже в правительственных учреждениях. Бросив банк, Оболенский занялся журналистикой. По предложению П.Б. Струве он должен был в качестве корреспондента объехать губернии европейской России и выяснить, как реализовывалась столыпинская аграрная реформа. С этой целью летом 1911 года Оболенский поехал в Псковскую и Самарскую губернии. Согласно его воспоминаниям, псковский опыт проведения преобразований был положительным. Реформа способствовала росту сельскохозяйственной культуры. В Самарской губернии ситуация была иной, там преобразования обусловили рост земельной спекуляции.

Занятия журналистикой были интересны и «по душе» Оболенскому, но не могли в полной мере удовлетворить отца большого семейства. Вернувшись из Самары, он нашел себе приличный и стабильный заработок. Получая заказы от Министерства путей сообщения, Оболенский давал свои экспертные заключения по строительству той или иной железной дороги. Летом он колесил по России, обследуя местность, а зимой работал за письменным столом, составляя необходимые отчеты. За время службы Оболенский посетил Уфимскую, Самарскую, Казанскую, Вятскую, Черниговскую, Витебскую, Могилевскую, Минскую, Ковенскую и Курляндскую губернии. Он не порывал связей и с партией кадетов и в 1910 году был избран членом ее ЦК. Кроме того, Оболенский стал товарищем председателя петербургского отделения партии. Себя он причислял к ее левому крылу.

С началом Первой мировой войны Оболенский не мог оставаться без общественного дела. Он возглавил петроградский санитарный отряд и вместе с ним оказался на Западном фронте. Правда, в отряде царила скука, половине персонала делать было абсолютно нечего. Служившие студенты мечтали о «летучках», когда их отправляли на передовую. «Особенно стремился в летучку самый младший из наших студентов, 18-летний Петя Капица. А его-то как раз я не хотел туда пускать, опасаясь, что он из-за молодого фанфаронства будет там бессмысленно рисковать своей жизнью. Кроме того, он как хороший механик был нужен в тылу для починки автомобилей. Петя Капица при каждой встрече со мной совсем по-детски ныл: „Владимир Андреевич, пустите меня в летучку...“ А когда однажды, раздраженный этим вечным нытьем, я его резко оборвал, категорически объявив, что летучки он не увидит, то он расплакался как маленький мальчик». Спустя многие годы, в 1930 году, Оболенский встретил П.Л. Капицу в Париже, когда тот был уже известным ученым.

В 1915 году Оболенский вернулся в Петроград. Настроение в столице было нервное. Одни мечтали о революции. Другие говорили о скором дворцовом перевороте. Оболенский же был в стороне от этих бесед, предпочитая им конкретное дело. Он был избран уполномоченным по помощи беженцам в Петрограде: «Последние полгода перед революцией я прихо-

дил домой только обедать. Вставал в семь с половиной часов утра, с девяти до двенадцати проводил в беженском бюро, потом до пяти часов на службе, а по вечерам — либо заседания, либо работа в попечительстве».

А на Россию тем временем надвигалась революция, которую Оболенский пока не замечал. Он еще 25 февраля 1917 года был в Таврическом дворце, присутствовал на заседании Думы, депутаты которой вроде бы и не ждали потрясений. Да и 26 февраля события не казались угрожающими: «Дойдя до Михайловской площади, я увидел скопление народа на Невском и пошел посмотреть на то, что там происходило. На Невском я оказался в густой толпе, запрудившей тротуары. Это были зрители, смотревшие на шедшую посреди улицы манифестацию. Манифестация была довольно жидкая. Преобладали в ней женщины из продовольственных хвостов и подростки. Но над ней развевалось несколько красных флагов». Оболенский зашел к знакомому А.А. Демьянову, где застал А.Ф. Керенского. Он рассказал об увиденном, но это не произвело на Керенского ни малейшего впечатления. Все были уверены, что подобные проявления недовольства будут жестоко и очень скоро подавлены. А сам Керенский подозревал, что его могут в ближайшем будущем арестовать. Это было 26 февраля, а 27 февраля Керенский сам принимал арестованных министров. События в Петрограде происходили с поражающей скоростью.

27 февраля Оболенский провел в Таврическом дворце, наблюдая, как стремительно складывалась новая власть. Через два дня «Таврический дворец имел плачевный вид: паркетные полы, скользкие от нанесенных на сапогах снега и грязи, в одной из зал для чего-то сложены мешки не то с мукой, не то с чем-то другим. По залам и коридорам ходят всевозможные люди: солдаты, рабочие, интеллигенты, одни возбужденно разговаривают и спорят, другие куда-то спешат с важным деловым видом. Среди этого разнообразного люда печально выглядят фигуры недавних хозяев Таврического дворца — депутатов, без всякой цели слоняющихся взад и вперед, робко прислушиваясь к разговорам толпы. Изредка пробежит мимо бледный от бессонных ночей член Комитета Государственной думы, мелькнет монументальная фигура Родзянко или Керенский с землисто-бескровным лицом промчится властным шагом, отдавая резким голосом какие-то распоряжения. А в бывшем кабинете председателя Думы — арестный дом. Там под охраной вооруженных солдат сидят арестованные сановники старого режима. Солдаты довольно свободно пропускают туда публику, которая с любопытством рассматривает этих несчастных, недавно еще всесильных людей».

На глазах Оболенского на митингах и собраниях звучали все более и более радикальные лозунги, которые быстро завоевывали симпатии масс. Через несколько дней после революции в квартире Оболенского раздался телефонный звонок. Это был Демьянов, который звонил от Керенского, предлагавшего Оболенскому стать сенатором. Однако тот отказался. «А кого вы бы могли рекомендовать?» — настаивал Демьянов.

«Если бы революция опоздала на несколько лет, она приняла бы совсем иные формы...»

Оболенский никогда об этом не задумывался и наобум назвал имя старого приятеля Ф.В. Татаринова. Вскоре он прочел в газетах сообщение, что Татаринов действительно был назначен сенатором. Так непредсказуемо шло течение политической и государственной жизни.

Оболенский ее сторонился, но убежать от нее не мог. Весной 1917 года тяжело заболел А.А. Корнилов, секретарь ЦК партии кадетов. Заменял его Оболенский. Помощником его стал Г.В. Вернадский, сын В.И. Вернадского и сам в будущем известный историк. Именно он составлял протоколы и заведовал канцелярией. Тем не менее и у Оболенского работы было достаточно. Партия быстро росла, менялась. В нее входили люди, прежде весьма далекие от кадетских взглядов. В партии их называли «мартовские кадеты». Они были существенно более правыми по своим убеждениям.

В городе же были все признаки распада власти. «Достаточно было взглянуть на улицы Петербурга, чтобы в этом убедиться: дворники перестали очищать их от снега. По тротуарам, в особенности во время гололедицы, было трудно ходить, посредине даже центральных улиц образовались снежные сугробы, а во время оттепелей этот грязный, смешанный с навозом снег превращался в зловонную кашу шоколадного цвета. Всюду валялись бумажки, папиросные коробки и шелуха от подсолнечных семечек, в массе потреблявшихся праздными солдатами, которые целыми днями шатались по улицам. Они толкались на тротуарах и заполняли трамваи, путешествуя в них бесплатно».

Плохо было и с поставками хлеба. А.И. Шингарев, бывший на тот момент министром земледелия, попросил Оболенского и его старого приятеля С.С. Крыма съездить в Таврическую губернию и узнать, почему этот хлебобродный район не поставлял в столицу зерно в должном количестве. Оболенский и Крым, конечно же, согласились. Поездка оставила приятное впечатление. Для крымчан революция была подарком судьбы, которым следовало благоразумно распорядиться. Там пока еще не было беспорядка и разнузданности, царивших в столице.

Оболенский, как и много лет назад, продолжил работу в Министерстве земледелия, занявшись хорошо знакомой ему статистикой. Фактически он вернулся на прежнее место работы. Правда, бывшие начальники стали его подчиненными.

В это время в России росло аграрное движение. Оболенскому пришлось в нем разбираться. На основе статистического материала он пришел к следующему интересному выводу: «Занявшись этим делом, я обратил внимание на обратную зависимость, существовавшую между крестьянскими волнениями и распространением хуторских и отрубных крестьянских хозяйств. Другими словами, в местностях, где столыпинская реформа до революции шла успешно, крестьяне меньше всего проявляли склонности к захвату и дележу помещичьих земель, и обратно. Я заинтересовался замеченной мною зависимостью, свидетельствовавшей о том, что, если бы революция опоздала на несколько лет, она приняла бы совсем иные формы».

Кризисные явления нарастали, и в партии все чаще ставился вопрос о необходимости восстановить управляемость социальными и экономическими процессами в стране. В связи с этим вспоминали о возможном диктаторе. Конечно, единодушия на этот счет не было. В частности, против установления военной диктатуры возражал и Оболенский. Он полагал, что Временное правительство постепенно укрепляло позиции и имело шанс взять бразды правления в свои руки.

Но события ускоряли свой ход, и становилось все очевиднее, что «революция сошла со своих рельс». Уже не было надежды на предотвращение катастрофы. Тем не менее общественная и политическая деятельность Оболенского не сбавляла обороты. Он участвовал в работе Государственного и Демократического совещаний, баллотировался в члены Учредительного собрания. Ради этого Оболенский совершил поездку в хорошо знакомый ему Псков. Перед отъездом он обратил внимание на труп лошади, валявшейся рядом с его домом. Это было обычное зрелище для тогдашнего Петрограда. Вернувшись из Пскова, Оболенский обнаружил, что этот труп не убрали. Он разлагался, и его раздирали на части собаки. Даже для революционного Петрограда это было необычным. Оболенский позвонил в столичную городскую думу, где состоял гласным. Говоривший с ним санитарный врач с раздражением заметил: «Нам не до дохлых лошадей. Сегодня увидим на улицах трупы людей...» Это было 25 октября 1917 года.

Утром следующего дня стало ясно, что власть переменилась. Предпарламент должен был распуститься за отпущенные ему полчаса. В противном случае матросы обещали его распустить сами. При этих обстоятельствах заседавшие представители партий оказались весьма сговорчивыми. При выходе из Мариинского дворца Оболенского пытались арестовать. Виной тому было его княжеское происхождение. Эсер Н.Д. Авксентьев, стараясь спасти коллегу, спросил у арестовывавшего матроса: «А разве он похож на князя?» Матрос смутился, осмотрел старую шляпу и потертое пальто Оболенского и отпустил его с Богом.

В тот же день был создан Комитет спасения Родины и революции. Примечательно, что слово «Родина» было вставлено по инициативе В.А. Оболенского и вопреки противодействию меньшевиков и некоторых эсеров. Заседания Комитета проходили в здании Училища правоведения. В этом объединении принимали участие лишь три члена партии кадетов — С.В. Панина, В.Д. Набоков и В.А. Оболенский. Большинство же составляли социалисты. Они были изысканно вежливы с конституционными демократами и вместе с тем практически игнорировали их присутствие, отклоняя все кадетские предложения и поправки.

Члены ЦК партии кадетов были объявлены вне закона. Однако они продолжали вести себя так, будто бы подобного акта вовсе не было. Регулярно собирались, проводили совещания — конечно, не в прежнем партийном помещении, а на частных квартирах. Однако оставаться в Петрограде было небезопасно, и Оболенский решил поехать в Крым. Там

«Если бы революция опоздала на несколько лет, она приняла бы совсем иные формы...»

он застал революционный беспорядок и скорый приход к власти большевиков. Вокруг шли аресты и расстрелы. Тюрьмы были переполнены. Оболенским повезло, что до их усадьбы нельзя было добраться на машине — а иначе матросы по полуострову не передвигались.

Ситуация в Крыму менялась с калейдоскопической скоростью. Татарское восстание и прежде всего приход немецких войск формировали принципиально новую ситуацию на полуострове. Татарские лидеры предложили кадетам войти в состав создававшегося правительства, ответственного перед местным курултаем. Кадеты не могли уйти от ответственности, но при этом не желали войти в состав правительства национального меньшинства. В итоге был найден выход из этого сложного положения. Свое участие в кабинете они обусловили санкцией Совещания губернских гласных крымских уездов. Чуть позже на даче М.М. Винавера они выставили еще ряд дополнительных условий уже немецким властям. Главное из них — Крым не становится самостоятельным государством. Это лишь временно отторгнутая от России территория, которая вернется в состав единого государства с падением большевистской власти. Действительно, в скором времени состоялось Совещание земских гласных, на котором председателем земской управы был избран В.А. Оболенский.

Требовательность кадетов была неприемлема для немцев и татар, и в итоге переговоры были прерваны. Новообразованное правительство не могло быть устойчивым. Воспользовавшись противоречиями между министрами, Совещание губернских гласных выдвинуло своего кандидата на пост премьер-министра — С.С. Крыма, близкого знакомого Оболенского. Крым занял должность после поражения немцев на западном фронте и ослабления их позиций на полуострове. Именно ему пришлось выстраивать сложные отношения с Добровольческой армией и лично с А.И. Деникиным. При фактическом отсутствии вооруженных сил местные власти не могли долго удерживать бразды правления, и в марте 1919 года полуостров вновь стал большевистским. Оболенского на этот раз никто не искал. Большевики были уверены, что бывший председатель земской управы бежал одним из первых. Как раз тогда в Добровольческую армию ушли сыновья Оболенского. Одному из них было 19, а другому — 17 лет.

Летом 1919 года в Крыму начался новый этап анархии. По мнению Оболенского, это стало в том числе результатом ставки Деникина на чрезмерную централизацию. Отчасти это обусловило исход Гражданской войны. В марте 1920 года деникинские войска эвакуировались в Крым, который стал последним пристанищем Добровольческой армии. Оболенскому было сделано предложение занять должность таврического губернатора, от которого он категорически отказался. В условиях анархии власть губернатора была призрачной. Заинтересовала фигура Оболенского и нового главнокомандующего П.Н. Врангеля. Он внимательно слушал объяснения Оболенского относительно его проекта Южнорусской федерации. Она, по словам князя, стала бы «катушкой», на которую можно было бы «намотать» всю Россию.

Поначалу Врангель понравился Оболенскому. Однако на практике мало что изменилось за кратковременное врангелевское правление. В Крыму по-прежнему царили анархия и произвол, которые не способствовали популярности власти и подтачивали ее. Оболенский был настроен весьма пессимистично. Он видел неурядицы в хозяйственной жизни, коррупцию местных управленцев, которых становилось все больше и больше, и отсутствие всякого авторитета местных властей. Население доверяло Врангелю, но не А.В. Кривошеину или его окружению. Наконец, в Крыму процветали крайне правые, которые не скрывали своих антисемитских взглядов и подталкивали население к еврейским погромам. Не могла не волновать Оболенского и бытовая сторона: он получал жалованье 120 тыс. рублей в месяц, а при этом обувь для сына стоила 200 тыс. рублей.

Неожиданно быстрое падение врангелевского Крыма стало последней катастрофой Оболенского в России. Эмигрировать он не собирался, готовился к жизни в советской России, а для этого в ожидании большевиков уничтожал документы таврического земства. Но все-таки его план оказался нереализованным. Семья и друзья настояли на эмиграции; без протекции самого Оболенского эвакуироваться они не могли. В особенности это касалось двух его сыновей, которые незадолго до этого бежали из плена в Красной армии. «Эти несколько минут, в течение которых я решил покинуть Россию, вспоминаются мне как самый трагический момент моей жизни. Я не принадлежу к числу людей, у которых „глаза на мокром месте“, но тут я не выдержал и разрыдался...»

Оболенский уезжал с двумя сыновьями и старшей дочерью. Остальная семья оставалась в России — перевозить всех из Симферополя в Севастополь было опасно. По дороге их могли настичь красноармейцы. Добиться же необходимых документов было чрезвычайно трудно. Помощь пришла от случайно встретившегося французского офицера, которым оказался капитан З.А. Пешков, брат большевика Я.М. Свердлова и приемный сын М. Горького. Он помог Оболенскому, его родным и знакомым сесте на французский броненосец.

«Кончилась моя жизнь в России, и начались долгие годы изгнания. Эти годы я не могу назвать жизнью. Семнадцать лет, проведенных мною в эмиграции, я ощущаю не как жизнь, а как „дожитие“. Правда, в течение этого времени я принимал участие в разных общественных организациях, но как-то скорее по привычке, без прежней веры и энергии...»

Три месяца Оболенский прожил в Стамбуле. Это было очень тяжелое время. Он испытывал нищету и унижения, чувствовал себя практически арестантом. Впрочем, и там, в Константинополе, собирался ЦК кадетской партии, проводились совещания — общественная жизнь русской диаспоры не замирала. В январе 1921 года, получив французскую визу, Оболенский в вагоне четвертого класса отправился в Марсель и в феврале был уже в Париже. Он тут же включился в общественную жизнь, а значит, и в бесконечные партийные споры. В самом начале своей эмигрантской

«Если бы революция опоздала на несколько лет, она приняла бы совсем иные формы...»

жизни Оболенский весьма скромно оценивал значение любой общественной деятельности: «Несчастные эмигранты! Все еще как-то пытаются и не могут понять, что, переступив за порог Родины, они лишились даже той ничтожной силы и влияния, какое могли бы противопоставить большевикам в Совдепии, и что наша задача теперь — ждать событий внутри России, понять их и осмыслить...»

Однако Оболенский не сидел без дела. В феврале 1921 года он был избран членом Земско-городского комитета помощи беженцам. В 1924-м вошел в Российский общественный комитет помощи голодающим, а в 1926-м стал председателем Очага русской культуры. С 1927 года Оболенский — председатель Общества по изучению местного самоуправления и хозяйства в России и на Западе. Кроме того, он был представителем во Франции Русского заграничного исторического архива.

Вместе с тем нужно было искать средства к существованию, которые могла дать журналистика. В эти годы Оболенский много писал, сотрудничал с «Русской мыслью», «Последними новостями»... Все это делалось для большой семьи: четырех сыновей и четырех дочерей. Далеко не сразу она собралась вместе. Так, жена присоединилась к В.А. Оболенскому несколько лет спустя, в 1925 году. А до этого момента ей и дочери Ирине пришлось претерпеть немало мытарств. В сентябре 1921-го они были арестованы за попытку выехать из России и заключены в Лефортовскую тюрьму. Освободили их лишь в мае 1922 года, вынудив дать подписку о невыезде.

Оболенский не боялся мыслить оригинально, по-своему. Например, события начала Великой Отечественной войны заставили его на многое взглянуть по-новому. 22 октября 1941 года он писал А.В. Тырковой: «Почему, в самом деле, массы русских солдат отказывались воевать в 1917 г. и братались с немцами, а теперь, несмотря на вивисекцию, произведенную над Россией большевиками, эти же солдаты упорно защищают каждую пядь земли... Думаю, что в этом большую роль играют основные эмоции русского народа, довольно равнодушного к свободе, но горячо привязанного к идее справедливости и равноправия. Это ощущение равенства, хотя бы перед деспотическим строем, как мне кажется, и явилось ферментом развития патриотических настроений. Сталинское рабство, как оно ни тяжело, он легче переносит, чем относительную свободу царского сословного режима».

Дети В.А. Оболенского получили русское образование в Чехословакии. Отец полагал, что им суждено вернуться в Россию. Однако жизнь распорядилась иначе. Так, Лев Оболенский, сын Владимира Андреевича, искал работу на юге Франции. Жил у моря, в Фавьере. Работал на уборке винограда и коры пробкового дуба, содержал бакалейную лавочку и кафе. В итоге накопил деньги и построил дом в Фавьере, где сдавал квартиры. Старшая же дочь Александра основала Покровский женский монастырь в Бургундии. Именно в этом монастыре последние годы жил В.А. Оболенский. Там он и умер 11 апреля 1950 года.

АЛЕКСАНДР
СОЛОМОНОВИЧ
ИЗГОВЕВ

«Самодержавие
совершенно извратило
нашу общественно-
идейную жизнь...»

Жесткий, беспощадный полемист, Александр Соломонович Изгоев был очень скромным и мягким человеком. Непримируемый к оппонентам, он боялся обидеть окружающих нетактичным высказыванием. Стеснялся говорить о самом себе и в своих воспоминаниях предпочитал писать только об эпохе. Изгоев оставил множество текстов, ярких и смелых, но в них найдутся лишь крупинки сведений о его биографии. Даже его фотографий почти не осталось, за исключением двух, опубликованных в некрологе в газете «Сегодня». Скорее всего, бумаги Изгоева безвозвратно утрачены для исследователя. Его архив погибал несколько раз. Сначала — в Петрограде, откуда Изгоева выслали за границу в 1922 году, и он был вынужден оставить архив дома, не рассчитывая вывезти его за рубеж. Потом — в Эстонии, оказавшейся в водовороте международной политики 1930–1940-х годов.

После похорон А.С. Изгоева видный публицист, общественный деятель и друг покойного Б.О. Харитон бегло осмотрел его бумаги. В этом огромном собрании документов нашлось несколько больших рукописей, законченных и незаконченных работ историко-политического характера, первая часть мемуаров (они охватывали детские и студенческие годы) под названием «Проданная душа», повседневные записи, которые Изгоев делал одно время. «Видел я среди множества пакетов наследия огромное количество писем известнейших русских людей — несомненный клад для тех, кто будет изучать последние три десятилетия русской политической и общественной мысли», — писал Б.О. Харитон. Может быть, когда-нибудь этот архив найдется, отыщутся и воспоминания Изгоева — на это остается только надеяться. В противном случае многое в его биографии так и останется неизвестным: например, сведения о его семье, о детских и юношеских годах.

Исследователю приходится лишь догадываться, как Аарон Ланде стал Александром Изгоевым. Видимо, это случилось в Одессе, где студент Новороссийского университета начал активно публиковаться в газетах и журналах. Тогда же он принял православие: судя по всему, к этому поступку его побудила женитьба. В итоге он оказался «чужим среди своих», гоем для бывших единомышленников.

Аарон Соломонович Ланде родился в городе Ирбит Пермской губернии 11 апреля 1872 года. О месте рождения Изгоева до сих пор спорят исследователи: некоторые называют Вильно, другие — Одессу. Но все же сам Изгоев писал в этой связи об уездном городе Пермской губернии. Он происходил из еврейской семьи. Его отец был нотариусом. Сын же, закончив Ирбитскую гимназию, предпочел медицинскую стезю. В 1889–1894 годах он учился на медицинском факультете Томского университета. Каждый год в каникулы Изгоев возвращался в родную Пермскую губернию. Сначала на пароходе доплывал до Тюмени, а затем пересеживался на поезд. В 1892 году он добрался до Тюмени на барже, которая перевозила бывших арестантов из Сибири в европейскую часть России. Там они встретились с И.В. Шкловским, в прошлом — ссыльнопоселенцем, в будущем — публицистом «Дионео». Они долго говорили о России, русском обществе, о Якутии, где Шкловский познакомился со многими замечательными людьми и стал, по его собственным словам, настоящим человеком. Об этом путешествии Изгоев вспоминал сорок лет спустя, отмечая мельчайшие детали. Возможно, эта случайная встреча сыграла свою роль в его жизни. Так или иначе, в 1893 году он сблизился с марксистскими кругами и как раз по этой причине был исключен из университета за «политическую неблагонадежность».

Однако Изгоев не стал сидеть сложа руки. В 1894–1896 годах он продолжил образование во Франции, слушал лекции в *École de droit Collège de France*. В 1896 году вернулся в Россию, где поступил на юридический факультет Новороссийского университета в Одессе. Тогда и началась его журналистская деятельность: с конца 1890-х он сотрудничал в газете «Южное обозрение», в журналах «Южные записки», «Жизнь», «Начало», «Образование». В Одессе же Изгоев женился, у него родились дочери.

До поры до времени он не порывал связей с марксизмом. По его собственным словам, до 1904 года он поддерживал тесные отношения с местными социал-демократическими организациями. 1904 год стал поворотным в его политической жизни. Он вступил в Союз освобождения, что в 1905 году привело его в Конституционно-демократическую партию. Наконец, в 1906-м Изгоев сменил Одессу на Петербург, где его бойкое перо было востребовано. Он сотрудничал в журналах «Без заглавия», «Полярная звезда», «Свобода и культура». Отметим его и в партии. С 1906 года Изгоев — член ЦК партии кадетов, на заседаниях всегда занимавший принципиальную позицию. А.В. Тыркова вспоминала, что он «был очень твердых правил, безукоризненно честный». Речь шла о честности мысли, которую Изгоев всегда излагал ясно и определенно.

Кроме того, он заведовал отделом «Русская жизнь» в газете «Речь». Там Изгоев был воплощенной добросовестностью, самым надежным и верным сотрудником издания. По воспоминаниям И.В. Гессена, он никогда не болел и не опаздывал, очень дорожил своим и чужим временем. Писал же легко и быстро. По воспоминаниям Тырковой, «мог среди разговоров сесть у края стола и сразу начинал покрывать длинные полосы бумаги

своим ровным бисерным почерком. В его рукописях почти не было поправок».

Без всякого преувеличения можно сказать, что политическая журналистика начала XX века подарила России многих выдающихся мыслителей. Среди них был и А.С. Изгоев, о котором редко вспоминают историки философии. Однако из его статей, как будто лишь откликнувшихся на злобу дня, складывается цельная модель исторического развития России, многое объясняющая в прошлом и будущем страны. В центре внимания Изгоева — проблема взаимодействия общества и власти, которые он, в отличие от многих представителей либеральной мысли, оценивал как явления взаимосвязанные и взаимообусловленные. Находясь в состоянии конфронтации, они в значительной мере определяли развитие друг друга. С одной стороны, общество формировалось в условиях постоянного противостояния государству и под его жесточайшим давлением, с другой — власть черпала и кадры, и идеи как раз в оппозиционном обществе. Эта неразрывная связь не сглаживала противоречий, а, скорее, деформировала развитие и того и другого. Обе стороны не были способны к компромиссу: они видели свою победу в окончательном ниспровержении противника, что и определяло вектор их развития. Изгоев писал: «Если, с одной стороны, правительство заимствовало у Западной Европы только то, что непосредственно усиливало его материальную мощь, не обращая никакого внимания на развитие народа, то интеллигенция, с другой стороны, брала у Европы только то, что прямо или косвенно могло служить боевым оружием против самодержавия. Наша интеллигенция пользовалась только теми плодами европейской мысли, которые за границей предназначались для взрыва „буржуазного“ общества и его учреждений».

Государство, нацеленное исключительно на укрепление собственной внешней и внутренней мощи, неизбежно теряло связь со своими подданными. Оно ощущало себя во враждебном окружении, что лишало его способности к органичному развитию, которое предполагало качественно новое состояние народного образования, медицины, местного самоуправления и т.д. Иными словами, упрочение позиций государства обозначало и рост общественных сил, что казалось недопустимым правящему режиму. «К творческой деятельности, к государственным реформам он [режим] не способен. Всякая реформа ведет к образованию и усилению „действительных“ общественных сил, а организм держится только потому, что эти силы — „мнимые величины“. Поэтому всякой реформе на бумаге соответствует чрезвычайная охрана в жизни».

По оценке Изгоева, такая государственная политика исключала возможность гармоничного формирования общественного движения, для которого более актуальными становились не насущные проблемы народной жизни, а пути противодействия существующей власти. Такое общество не было способно к созиданию, более того, его мало интересовала конструктивная работа. Фактическое отсутствие позитивных ценностей у русской интеллигенции лишало ее способности к воспроизводству

«Самодержавие совершенно извратило нашу общественно-идейную жизнь...»

традиций в семье и затрудняло накопление знаний в учебных заведениях. «Самодержавие совершенно извратило нашу общественно-идейную жизнь. Оно в такой мере оторвало от реальной жизни и существующих в стране общественных сил идейные стремления и идейные построения нашей интеллигенции, что пропасть между теми и другими, несмотря на героические усилия нашей революции, до сих пор остается незаполненной», — говорил Изгоев.

Противоборствовавшие государство и радикально настроенное общество, в сущности, пользовались одним понятийным рядом и мыслили сходными категориями: и власть, и интеллигенция полагались на физическую силу как средство решения всевозможных конфликтов. В одном случае речь шла о полицейском контроле и бюрократическом попечении, в другом — о революции. Причем революция понималась как способ насильственного ниспровержения режима: «Революционизм основан на идее, что в политике решающим фактором является состязание физических сил... Таким образом, я бы сказал, что „революционизм“ как таковой есть, по существу своему, полицейская идея с противоположным знаком».

Борьба революционизма с бюрократией могла закончиться лишь общегосударственной катастрофой, так как в столкновении насилия с насилием не рождались новые смыслы, столь необходимые для коренного обновления России. По мнению Изгоева, стране было необходимо выйти на качественно иной этап развития. В противном случае она была обречена на непропорциональный рост, когда количественные изменения не приводили к качественным сдвигам. Изгоев приводил пример демографического роста начала XX века, который не сопровождался ни урбанизацией, ни увеличением посевных площадей, не был обеспечен соответствующим промышленным развитием. Подобная ситуация становилась источником социальной нестабильности в России и подрывала национальную безопасность: «Если России в сравнительно короткий срок не удастся превратиться в независимое, сильное аграрно-индустриальное государство, она может сделаться объектом иностранного культуртрегерства».

В условиях России подобные изменения предполагали революцию, но революцию иного рода, нежели ее представляла радикальная интеллигенция. «Все действительно серьезные и трагические события нашей революции шли стихийно, совершенно не считаясь с партийными директивами, которые в лучшем случае являлись только бродилом. Но как только бродило вызывало брожение, дальнейшие события шли своим особым ходом, которого революционеры не только не предвидели, но который их самих приводил в ужас». Такая революция — изменение прежде всего в сознании народных масс, которые перестают доверять старой власти. Последняя теряет всякую поддержку в обществе, теряет веру в саму себя, и неизбежно происходит ее дезорганизация. История «показывает, что победа революции всегда обуславливалась слабостью защиты, а не силой нападения. Старый порядок, чувствующий, как отворачиваются все живые силы страны, как негодование против него делается всеобщим,

национальным, погружается в какой-то маразм, поражается параличом воли и сдается задолго до того, как истощает все силы для своей защиты». Для того чтобы дезорганизация не стала всеобщей и не прекратил функционировать сам государственный механизм, в народном сознании должен присутствовать общественный идеал, который бы воспринимался в качестве альтернативы старому порядку. В противном случае стихия разрушения становится неуправляемой и угрожает не только политическому режиму, но и всей культуре, социальной организации.

Это накладывало особое обязательство на русскую интеллигенцию. Но она могла предложить взбунтовавшейся толпе лишь те же принципы, которые были отвергнуты в ходе революции. В итоге на развалинах прошлого возникал новый режим, типологически близкий к прежнему: он так же основывал свое господство на насилии и полагался в первую очередь на физическую силу. При этом новая власть была заметно хуже предыдущей, так как в основе ее идеологических построений лежала мысль о необходимости тотального разрушения. Она отрицала все достижения культуры: искусство, науку, религию, — тем самым возвращая человека к первозданному животному состоянию. «И когда теперь большевики сделали свой опыт и показали нам человека без Бога, без религии, без православия, показали его в том состоянии, о котором Достоевский говорил: „...если нет Бога, то все позволено“, то весь мир ужаснулся этой кровожадной, садически-злой обезьяны». Пришедшие к власти социалисты отрицали и «буржуазное» право, по их мнению, подавляющее свободу человеческой личности. Но его место заняли жесточайший произвол, грубая сила, которые должны были подчинить себе стихию народного бунта. «Социализм в области права оказался возвращением к бесправию. Социализм в области политической жизни дал картину самого отвратительного деспотизма с исключительными законами, неравенством граждан, повседневными насилиями, отсутствием каких бы то ни было свобод, с истязаниями в тюрьмах и участках, с массовыми и единичными расстрелами безоружных. Единственное различие между самой черной реакцией и красным социализмом сводится к тому, что у первой дела согласуются со словами, с реакционными учениями, тогда как у социализма зверская жестокость и несправедливость сопровождаются сентиментальными излияниями во славу свободы, равенства и братства».

Это был заколдованный круг, который, казалось, не давал шанса на спасение. По мнению Изгоева, выйти из него можно было, лишь отказавшись от представления о механически организованном мире, где повсеместно господствует закон физической силы. Единственный путь к преодолению противостояния полицейского режима и радикальной интеллигенции — формирование нового общественного сознания, основанного на правовых ценностях. Подобный подход предполагает долговременный процесс эволюции русского общества, в ходе которого различные слои населения приобщались бы к политической культуре, построенной на диалоге, поиске консенсуса, взаимном уважении: «Я бы определил ос-

«Самодержавие совершенно извратило нашу общественно-идейную жизнь...»

новное разногласие между эволюционизмом и революционизмом под политическим углом зрения так: эволюционизм понимает политику как воспитание, революционизм понимает политику как принуждение».

Процесс «воспитания» не мог быть форсирован. Взявшиеся за него общественные силы должны были учитывать сложившуюся конъюнктуру: и настроение в массах, и позицию власти. Их усилия следовало соразмерять с возможностями. Так, после роспуска I Думы Изгоев писал: «Организация общественного мнения происходила уже вокруг Думы и тем самым получила регулярные законные формы, превращаясь в организацию народной воли. Оптимисты думали, что уже возможно в Думе и вокруг нее приступить к организации общественного действия. Но эти мечтания были ошибочными, и в этом необходимо сознаться с полной откровенностью. Народная масса не созрела еще для отправления власти... Партия, „не верящая“ в политические чудеса, не признающая возможности молниеносных переворотов, мгновенно изменяющих соотношение сил, не может, конечно, отправиться в поиски за... „философским камнем“. Это сбивалось бы на авантюру».

Иными словами, созидательная сила «общественного действия» только тогда станет реальностью, когда будет естественным воплощением сформировавшейся «народной воли». Последняя же образуется под воздействием общественного мнения, т.е. того, что пишет и говорит интеллигенция. Именно ее усилия определяют способность страны к эволюции, к поступательному развитию без срывов и потрясений: «Интеллигенция призвана выявлять общественное мнение страны, создавать условия для мирного сожительства под одной крышей групп часто с противоречивыми и враждебными интересами».

Изгоев не был «правоверным» кадетом. Он резко критиковал аграрную программу партии за излишний радикализм, признавал определенные успехи столыпинских преобразований, призывал партию опереться на недавно появившихся хуторян. Среди кадетов это вызывало недоумение. Кроме того, он был противником любых договоренностей с социалистическими партиями. Изгоев оказался на правом фланге ЦК партии кадетов. Многие его сближало с П.Б. Струве, с которым он тесно сотрудничал, а по словам И.В. Гессена, просто его «обожал».

В 1907–1918 годах Изгоев — член редакции журнала «Русская мысль», автор постоянной рубрики «На перевале». Он участвовал в подготовке сборника «Вехи» (1909), в котором выступил автором скандальной статьи «Об интеллигентной молодежи». Изгоев дал чрезвычайно жесткую оценку российского студенчества, нравственно падшего и интеллектуально беспомощного. Статьи «веховцев», в том числе и Изгоева, были расценены как своего рода пасквиль на интеллигенцию. Стали появляться «антивехи». Напротив, авторов «Вех» с воодушевлением поддерживали правонархисты. В действительности ни те, ни другие не вполне поняли, о чем шла речь. Конечно, у каждого автора сборника были свой взгляд и свой подход. Но существовало нечто, их объединявшее. Для них интеллиген-

ция — не социальная группа и даже не культурная общность. Это прежде всего диктатура общественного мнения, которое вынуждает человека подчиняться нравам, настроениям, вкусам своего ближнего окружения. Интеллигенция, согласно авторам «Вех», — это отсутствие в полном смысле слова свободной мысли, тотальное господство социалистического канона. Тогда, в 1909 году, Изгоев и его соавторы предсказывали возможные драматические последствия подобного доминирования.

После Февральской революции Изгоев оставался самым собой. Он категорически выступал против создания правительственной коалиции кадетов с социалистами. В апреле 1917 года, в тот вечер, когда на Финляндском вокзале в Петрограде встречали В.И. Ленина, шло заседание ЦК партии кадетов. Пришли и министры Временного правительства. Их спросили, почему же не арестовывают лидера большевиков. Милюков отвечал: «Мы не можем действовать против наших противников методами царского правительства». Раздался сардонический голос Изгоева: «А если не можете, тогда будет кровь, кровь и кровь...» Эти слова звучали устрашающе. Они поразили всех вокруг. Стали убеждать Изгоева, что он не прав. Но он продолжал твердить о неминувости «большой крови». В 1917 году Изгоев не скрывал своего пессимизма. Он не верил в революционное творчество масс и раньше оценил большевиков, чем они сами себя. В мае 1917 года он сделал весьма точный прогноз на долгие годы вперед: к власти придут большевики, перевешают тысячи, и в итоге установится диктатура.

Мрачно глядя в будущее, Изгоев не переставал трудиться в настоящем. В мае — июне 1917 года вместе с П.Б. Струве он участвовал в создании Лиги русской культуры. А в ноябре того же года, уже после прихода большевиков к власти, сотрудничал в газете «Наш век», журнале «Вестник литературы», вместе с А.В. Тырковой издавал газету «Борьба» (это название придумал сам Изгоев). Газета пользовалась большой популярностью среди студентов и гимназистов — в том числе благодаря хлестким и кратким заметкам Изгоева. Правда, в весьма неблагоприятных условиях она существовала недолго: вышло лишь три номера.

В большевистском Петрограде ситуация становилась все хуже. Изгоев как «буржуй» подлежал поборам и унижениям. Наступал голод. В конце концов находиться в бывшей столице стало просто небезопасно. Изгоев подумывал о переезде на Украину: его жена была украинка, дети родились в Одессе. Подобным образом размышлял не только он. Каждый день к украинскому консульству в Петрограде выстраивались огромные очереди. Изгоев выстаивал их многократно: представители украинских властей находили те или иные документы неудовлетворительными, требовали новых справок. В итоге он бросил эту затею. Но, конечно, Изгоев не бросал своих занятий журналистикой. В 1918 году в сборнике «Из глубины» была опубликована его статья «Социализм, культура и большевизм». Кроме того, в том же году он выполнял обязанности секретаря ревизионной комиссии Общества взаимопомощи литераторов и ученых.

«Самодержавие совершено извратило нашу общественно-идейную жизнь...»

Знакомые удивлялись, что он все еще оставался в Петрограде. Тучи над ним сгущались, и в итоге ночью 5 ноября 1918 года Изгоев был арестован в числе проходящих по спискам партии кадетов кандидатов в гласные петроградских районных дум. Всего задержанных было 212 человек. Некоторых быстро отпустили; в скором времени в тюрьме остался 31 арестант, в том числе Изгоев. Постепенно менялись нравы в тюрьме. Строгости усиливались, с заключенными обращались намного резче. В декабре, неожиданно для себя, Изгоев был отправлен на окопные работы под Вологду. Лишь по милости надзирателя ему разрешили позвонить жене. Заключенных гнали по морозу через весь город. Супруга же бежала на вокзал с дочерью. Они метались по всему вокзалу с хлебом и валенками, перелезали через заборы, спотыкались и падали. Они встретились с Изгоевым непосредственно у поезда, когда того уже заталкивали в теплушку. Там он и получил свой скромный паек.

Их отвезли на станцию Плесецкая, а потом — дальше на север по Архангельской дороге, на 426-ю версту, где «буржуям» предстояли окопные работы. Работа была ежедневной, без праздников и выходных, начиналась в 7 часов утра и продолжалась до 8 вечера. Изгоев должен был забивать колья в землю и обматывать их проволокой. Заключенные в большинстве своем с симпатией относились к немолодому, очень близорукому, почти слепому человеку и не хотели отягощать его непосильным трудом: «Ну какой ты, отец, нам работник, — говорили они, — пойдешь лучше в лес, посиди». Изгоев шел в лес. «Оглянувшись, и душа моя радостно застыла от этой торжественной красоты и спокойствия вековых архангельских лесов».

Помогал ему и местный фельдшер, подселивший его к себе. Таким образом, Изгоев был избавлен от жизни в бараке. Правда, в квартире по ночам приходилось сражаться с полчищами клопов. В скором времени нашлась и более приемлемая работа — смотрителя приемного покоя амбулатории. У Изгоева появилось даже небольшое хозяйство, и вдруг — неожиданный вызов на станцию Плесецкая.

О судьбе Изгоева волновались в Петрограде. Делегация литераторов отправилась к председателю ЧК Варваре Яковлевой. Она наводила ужас на бывшую столицу. Ежедневно Яковлева подписывала множество смертных приговоров. Журналист Н.М. Волковыкий вспоминал: «Нас приняла дама с тонким интеллигентным матовым лицом, с красивыми черными глазами, черными, гладко причесанными волосами и изумительной красоты руками. В течение всего продолжительного разговора я не мог оторваться от этих длинных тонких белых пальцев, придерживавших края мягкого оренбургского платка, в который нервно куталась председательница Чека». Яковлева категорически отвергла тот факт, что Изгоев был выслан в Вологодскую губернию. По ее сведениям, он оставался в Петрограде и впоследствии должен быть отправлен в Москву. В ответ литераторы показали письмо Изгоева из архангельских лесов. Яковлева из матовой стала мертвенно бледной. Вызвали секретаря, который в итоге был вынужден

сознаться, что Ланде-Изгоев действительно оставался в списке заключенных и был отправлен под Вологду: «Яковлева сделала знак рукой, и судьба Изгоева переменилась...»

В январе 1919 года Изгоев вернулся в Петроград. Он полагал, что должен благодарить М. Горького за свое освобождение, и пришел к нему на прием. Между прочим он спросил у писателя, стоит ли ему являться в ЧК, что ему вменяли в обязанность при освобождении. Горький был против, и Изгоев последовал этому мудрому совету.

1 февраля 1919 года он был принят на работу в Публичную библиотеку для подготовки к печати каталога русских запрещенных изданий, участвовал в сборе материалов для издания сочинений В.И. Ленина. С июля 1919 года стал научным сотрудником Рукописного отделения Публичной библиотеки. А в сентябре 1919-го был вновь арестован и направлен в Ивановский концлагерь в Москве на принудительные работы.

В столицу отправилась делегация петроградских литераторов ходатайствовать об освобождении Изгоева и бывшего лидера партии народных социалистов В.А. Мякотина. Их принял секретарь председателя ВЦИК А.С. Енукидзе. При всей внешней деликатности и даже мягкости он занял жесткую позицию. Об освобождении Изгоева, бывшего марксиста, «переметнувшегося к буржуазии», не могло быть и речи. Н.М. Волковский все же выпросил у Енукидзе право встретиться с Изгоевым — и не в концлагере, где тот содержался. «Изгоев пришел ко мне под вечер. Я никогда не забуду этой встречи. С седой бородой, покрывавшей его всегда гладко выбритые щеки, жутко одетый, в каких-то чудовищных, разорванных ботинках, он произвел впечатление глубоко подавленного человека... Помню только, как жадно расспрашивал Александр Соломонович о своей жене, о дочери».

За время заключения у Изгоева умерла дочь. Ей было всего 18 лет. У нее не было нормальной обуви и теплой одежды, в квартире же было 4 градуса мороза. Помогая матери, она таскала домой тяжелые бревна. В конце января 1921 года девушка простудилась, и хрупкий организм уже не мог сопротивляться. В письме жена сообщила Изгоеву о болезни дочери, его на месяц отпустили из тюрьмы. Он спешил домой, где его поджидала страшная новость. К тому же тифом болела и старшая дочь, нездоровилось и жене. Ошеломленный Изгоев на пороге дома упал без сознания.

Приходилось приноравливаться к новым условиям. Воды в квартире не было. Краны полопались, уборная не работала, не хватало еды, было холодно. Кроме того, вскоре надо было возвращаться в Москву. Правда, уже 18 марта 1921 года Изгоев был освобожден по амнистии. После возвращения в Петроград в марте 1921-го он возобновил работу в Публичной библиотеке, занимался составлением каталога революционных листовок. Помимо этого, сотрудничал в альманахах «Парфенон», «Утренники», в журналах «Экономист», «Литературные записки». Он по-прежнему не скрывал своих взглядов и никого не боялся. Писал статьи против «сменовеховства», критиковал Г.Е. Зиновьева.

«Самодержавие совершенно извратило нашу общественно-идейную жизнь...»

В августе 1922 года он был вновь арестован. Изгоева (а вместе с ним Л.П. Карсавина и А.Б. Петрищева) гнали в Дом предварительного заключения на Шпалерной улице. Оказавшись у Александрова столпа, он не смог не «обнажить на Дворцовой площади под жаркими еще лучами стареющего к осени солнца голову — не от жары, а от чувства умиления перед раскрывшейся гордой красотой святого Петрограда». Как вспоминали его коллеги, «Изгоев был петербуржцем... до мозга и костей. Он любил „Северную Пальмиру“, как может ее любить человек, действительно вкусивший недоступное непосвященному очарование Петербурга».

Изгоев был освобожден в октябре. В числе прочих ярких представителей русской интеллигенции его выслали из России. Это произошло 16 ноября 1922 года. Он нанял тачечника, которому пришлось заплатить... 16 млн рублей — столько зарабатывал сотрудник Публичной библиотеки за десять дней. Тачечник, прежде служивший сторожем при гимназии, заметил: «Всех умных людей, кого в тюрьму, кого в Сибирь, кого за границу. А в России кто же останется? Одно, значит, неученое мужичье, чтобы легче командовать...» Изгоев попросил тогда сделать небольшой крюк по Петрограду и проехать мимо столь восхищавшего его памятника Петру Великому.

Изгоева ждал путь в Германию. Вскоре он с женой переехал в Чехословакию, где вернулся к привычной журналистской работе. Он сотрудничал с журналом «Русская мысль», газетой «Возрождение», а с 1926 года стал корреспондентом газет «Руль» и «Сегодня». В центре его внимания, как и прежде, — будущее России. 20 декабря 1927 года он писал К. Массарику: «Без внешней войны — прогнозы надо строить на годы. „Оппозиция“, конечно, сильно расшатала коммунистическую диктатуру Сталина, но сами по себе Троцкий и Зиновьев бессильны. Сталинская диктатура получит в микрокосме всё, что пережила в десятилетиях Романовская монархия: революционное подполье в интеллигенции (только не социалистическое, а национальное), протест молодежи, классовое движение рабочих, анархическую ненависть крестьянства — и всё это в удобный момент завершится военным бунтом и переворотом». Он ожидал в России «своего Бонапарта», который в скором времени должен был, по его мнению, свернуть коммунистический эксперимент.

С 1927 года Изгоев сотрудничал в таллинской «Нашей газете». В том же году он вышел из редакции «Возрождения» в знак протеста против «поправления» взглядов П.Б. Струве. С конца 1920-х годов семья Изгоева проживала в Эстонии, в Хаапсалу. Еще с 1910 года он регулярно посещал это место, а теперь окончательно там поселился. Правда, условия жизни были не самые благоприятные: «Я сижу буквально в медвежьем углу, правда, в обстановке настоящей нашей зимы, которую я так люблю. Но сказываются годы, да и избалованный за четыре года относительной ласковостью чешского климата, я уже не так доволен, когда мороз щиплет нос и уши или — что хуже — когда коченеют руки. Жизнь веду суровую, деревенскую: колю дрова, ношу из колодца воду, расчищаю во дворе дорож-

ки и проч. А остальное время читаю или пишу. Людей здесь нет. Вследствие болезненного состояния жены мы нигде не бываем и никого не видим...»

С 1932 года Изгоев редактировал газету «Таллинский русский голос». Периодически посещая Германию, он видел фундаментальные изменения, коснувшиеся этой страны: как нацистская «революция» меняла отношение людей к слову, государству, друг к другу. Эти метаморфозы происходили незаметно, «вкрадываясь в жизнь», но ломая ее основательно. Друг и биограф Изгоева И.В. Гессен вспоминал о тех месяцах: «Отдыхая душой, он шел в берлинский зоопарк. Отказывая себе в самом необходимом, задумываясь над тратой буквально каждой копейки, он, проезжая через Берлин, — как бы коротко ни было здесь его пребывание, — ни разу не упустил случая побывать в зоологическом саду и потом с застенчивым восторгом рассказывал о замеченных проявлениях ума, а главное, любви у разных зверей. Однажды я отправился вместе с ним, больше для того, чтобы посмотреть на него в обстановке, производившей на него своеобразное впечатление: и я любовался озарявшей его сумрачное сосредоточенное лицо светлой радостной улыбкой при виде проявлений добрых инстинктов и в этом мире, не знающем цепей долга и значения отречения. Тут я остро почувствовал, какое горячее любящее сердце, какая радость любви бьется рядом со мною, и эта смешная слабость дала понять, каким ярким представителем гвардии XIX века, умирающей, но не сдавшейся, был мой незабвенный суровый друг...»

Александр Соломонович Изгоев умер в Хаапсалу 11 июля 1935 года.

«Большевицкая теория
может привести только
к вырождению культуры...»

Политика для профессионального историка Михаила Ивановича Ростовцева никогда не была главным делом, но не занимала в его жизни и последнее место. В особенности в революционные годы — в разгар событий 1917-го и в первые несколько лет после вынужденной эмиграции из советской России, последовавшей в июне 1918 года. Конечно, политические симпатии Ростовцева были прямым следствием его представлений о власти, государстве, роли различных классов в экономических и культурных процессах прошлого. Впрочем, некоторые видят и обратную связь, критикуя его за столь «неравнодушное» отношение к своим сюжетам, упрекая в политической предвзятости, в прямом перенесении собственного жизненного опыта на предлагаемые им трактовки ключевых проблем древней истории.

Первые пятьдесят лет жизни М.И. Ростовцева были вполне типичны для профессора столичного университета. Сын филолога-классика, он родился 28 октября 1870 года в Житомире и был шестым ребенком в семье (всего у него было семь братьев и сестер). Однако он единственный пошел по стопам своего отца. В 1888 году будущий историк окончил киевскую Первую гимназию (которую в разное время возглавляли его дед и отец) с серебряной медалью и премией имени Н.И. Пирогова за выпускное сочинение, посвященное управлению римскими провинциями в последний век Республики. Ростовцев сразу же поступил в Киевский университет Святого Владимира на историко-филологический факультет, а через два года перевелся на третий курс в университет столичный, Санкт-Петербургский.

Именно здесь до сих пор колебавшийся в выборе своего научного пути М.И. Ростовцев окончательно утвердился в намерении посвятить себя изучению античного мира. На последних курсах университета он особенно активно занимался вопросами истории античного искусства, что во многом предопределило тему его выпускного сочинения, написанного под руководством Н.П. Кондакова и Ф.Ф. Зелинского. В 1892 году по предложенной историко-филологическим факультетом теме (сочинение по римской истории о Помпеях) он представил работу «Исправить и дополнить городскую помпеянскую хронику Ниссена по новейшим исследованиям

и раскопкам», которая решением совета профессоров была отмечена золотой медалью. За этим последовала успешная сдача государственных экзаменов, что давало молодому ученому право на получение диплома первой степени, а значит, чин 10-го класса при поступлении на службу.

15 августа 1892 года М.И. Ростовцев подал прошение о зачислении его преподавателем древних языков в царскосельскую Николаевскую гимназию, а в декабре того же года было принято официальное решение оставить его при университете для приготовления к профессорскому званию. Однако в государственной стипендии ему было отказано. Таким образом, единственным источником существования для подававшего надежды ученого стали уроки латыни и древнегреческого языка в гимназии. По окончании этого трудного во всех отношениях учебного года состоялась первая заграничная командировка Ростовцева, которая должна была занять лишь каникулярный период, но превысила этот срок на два месяца. На небольшие средства родителей, присовокупив к ним свои личные сбережения, он отправился в Италию — в Рим и Помпеи. Благодаря рекомендациям университетских профессоров, Ф.Ф. Зелинского и своего молодого друга А.Н. Шукарева, уже успевшего поработать в Риме, Ростовцев познакомился с сотрудниками римского отделения Германского археологического института. Время, проведенное в Вечном городе, не было потрачено впустую. Сохранились записи Ростовцева, данные обмеров, зарисовки, которые он сделал во время той поездки. Но главной его целью все-таки был город его кандидатского сочинения — Помпеи. Именно здесь он близко сошелся с Августом Мау, главным знатоком помпеянской живописи и архитектуры, прослушав курс его лекций и приняв непосредственное участие в раскопках.

В итоге Ростовцев опоздал к началу учебного года в гимназии. Ее директор, И.Ф. Анненский, проявив понимание к горячности молодого ученого, не стал применять в отношении него каких-либо санкций.

В 1894 году Ростовцев успешно сдал магистерские экзамены, что переводило его в разряд магистрантов и позволяло приступить непосредственно к работе над диссертацией. Тогда же появилась в печати его первая научная статья, ставшая зримым результатом трудов ученого в Помпеях летом и осенью 1893 года. В конце года Ростовцев подал на имя руководства факультета прошение о предоставлении ему годичной зарубежной стажировки для завершения работы над магистерским сочинением. Официальным куратором стажировки стал Ф.Ф. Зелинский, который принял самое деятельное участие в составлении программы путешествия по странам Средиземноморья.

15 марта 1895 года Ростовцев выехал во второе в своей жизни научное турне по странам Европы. Теперь ему надлежало посетить Турцию, Грецию и Италию. Поездка, планировавшаяся как годичная, благодаря материальной поддержке родителей и декана И.В. Помяловского растянулась на целых три года. Помимо перечисленных стран, ему удалось посетить Австро-Венгрию, где он в течение семестра участвовал в эпиграфическом

семинаре Е. Бормана, ученика Т. Моммзена; проехать через всю Испанию, ознакомившись там с археологическими раскопками; съездить в Лондон. Чрезвычайно насыщенным оказалось и его пребывание в Париже, где он смог в течение нескольких месяцев поработать в Национальной библиотеке и Кабинете медалей, изучая римские свинцовые пломбы (так называемые тессеры). Последнее, в свою очередь, послужило поводом для знакомства с крупными специалистами-нумизматами М. Пру и Э. Бабеллоном. Как и в первый раз, главной целью поездки оставалась все же Италия: Помпеи, где он снова встречался с А. Мау, и Рим. Именно здесь он проводит последние месяцы своей стажировки (вторую половину 1897-го и начало 1898 года), работая над окончательным текстом магистерской диссертации. В середине марта заканчивается зарубежная командировка, и уже в апреле Ростовцев направляет текст диссертации для публикации в «Записках историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета», без которой в то время нельзя было выходить на защиту.

Однако к лету 1898 года, когда М.И. Ростовцев вернулся на родину, еще ничего не было готово: текст диссертации находился в типографии; сам ученый не был штатным сотрудником университета, так как до сих пор не выступил с пробными лекциями (хотя готовил их еще в Риме); его материальные средства были сильно подточены трехгодичным путешествием. Перспективы на будущий учебный год оказывались не самыми радужными. В сложившихся условиях отец молодого историка И.Я. Ростовцев, будучи попечителем Оренбургского учебного округа, поспешил исхлопотать сыну место преподавателя древних языков в местной гимназии. Однако помощь вновь оказал Ф.Ф. Зелинский. Он не мог отпустить любимого ученика из столицы и добился предоставления ему должности преподавателя на кафедре римской истории Высших женских курсов.

Таким образом, 1898/99 учебный год Ростовцев начал все же в Петербурге. Тем временем университетская типография приступила к печати его магистерского сочинения, а 20 января 1899 года историк выступил с пробными лекциями перед профессорами и приват-доцентами своей alma mater. Успешно пройдя это испытание, М.И. Ростовцев был утвержден в должности приват-доцента университета, не прекращая параллельно преподавать на Высших женских курсах. Еще несколько месяцев спустя, по итогам предварительного обсуждения, историко-филологический факультет рекомендовал его диссертацию к защите. Она состоялась 21 апреля 1899 года. Магистерское сочинение М.И. Ростовцева «История государственного откупа в Римской империи (от Августа до Диоклетиана)» было удостоено высших похвал. Официальными оппонентами выступили Ф.Ф. Зелинский и Ф.Ф. Соколов, корифеи антиковедческой науки. Этот успех принес Ростовцеву столь долгожданную степень магистра римской словесности, а также зачисление в штат Петербургского университета, что знаменовало собой начало нового этапа в его насыщенной событиями научной карьере.

Отныне значительная часть жизни ученого вплоть до самой эмиграции будет посвящена преподавательской деятельности в этих двух высших учебных заведениях: в Петербургском университете и на Высших женских курсах. Благодаря тому что М.И. Ростовцев никогда не воспринимал педагогическую работу как нечто второстепенное, ему удалось воспитать несколько поколений студентов, многие из которых впоследствии с благодарностью будут вспоминать часы, проведенные некогда на лекциях и семинариях у своего учителя. Среди них можно упомянуть А.Ф. Керенского и Л.Д. Менделееву (Блок), не говоря уже о целой плеяде ученых-антиковедов, подготовленных им за эти годы.

Пройдет всего лишь четыре года после защиты магистерской диссертации, и он вынесет на суд коллег-историков результаты нового исследования, принесшего ему в итоге ученую степень доктора наук, — «Римские свинцовые тессеры». Скорость, с которой им было подготовлено докторское сочинение, во многом объясняется тем, что источниковая база этой работы была собрана Ростовцевым еще в ходе многолетней заграничной командировки. В 1900 году часть материалов по римским свинцовым тессерам была издана им совместно с М. Пру в виде отдельной книги. За этот труд авторы удостоились золотых медалей Парижской академии надписей и изящной словесности. А уже в 1903 году в Петербурге был опубликован текст докторской диссертации Ростовцева с приложением двух атласов римских свинцовых тессер.

Все каникулярное время М.И. Ростовцев использовал с максимальной пользой для своей научной деятельности. В ходе своих поездок он неоднократно посетил Италию, Францию, Англию, Турцию, Грецию, Египет, Болгарию, Румынию, Сербию, Палестину. Большое внимание уделял он и археологическим раскопкам, которые активно велись на юге России, прежде всего в Крыму (Керчь, Ольвия, Ай-Тодор). Естественно, такие гранд-туры способствовали складыванию новых научных связей и укреплению уже имевшихся контактов. Большая занятость в преподавании не мешала Ростовцеву принимать активное участие в крупнейших международных исторических форумах: Первом международном археологическом конгрессе в Афинах (1905), Конгрессе ориенталистов (там же, 1912), Международных съездах историков в Берлине (1908), Риме (1912), Лондоне (1913) и др.

«Большевистская теория может привести только к вырождению культуры...»

К 1908 году относится избрание М.И. Ростовцева членом-корреспондентом Императорской академии наук. Решение по данному вопросу было принято единогласно. В отзыве о научных заслугах М.И. Ростовцева, подписанном П.В. Никитиным и В.В. Латышевым, в частности говорилось: «...Он [М.И. Ростовцев] с особенной любовью и выдающимся успехом исследовал одну из наименее разработанных частей науки о классической древности, именно — историю экономического строя Римской империи. Как при исполнении этой задачи, так и по другим поводам он внимательно и часто весьма удачно выяснял связь явлений римской жизни с соответствующими явлениями эллинистического периода истории греческой».

В этих словах официального документа весьма точно сформулирован круг основных научных интересов, которые обусловили содержание работ ученого в доэмигрантский период его жизни. Однако творчество историка было настолько многогранным, что трудно даже перечислить те аспекты древней истории, которых он так или иначе касался в своих исследованиях. Библиографический перечень трудов М.И. Ростовцева только лишь за двадцать лет его непрерывной научной карьеры в России занимает около десятка крупноформатных страниц.

Однако значение личности М.И. Ростовцева далеко выходит за рамки академической науки. Шестикомнатная квартира русского ученого в доме на Большой Морской улице в Петербурге стала одним из средоточий культурной жизни столицы. Каждую неделю с вечера вторника и до раннего утра среды супруги Ростовцевы (в 1901 году Михаил Иванович женился на Софье Михайловне Кульчицкой) принимали друзей. Знаменитые журфиксы в доме петербургского профессора пользовались большой популярностью и могли конкурировать с «башенными средами» Вяч.И. Иванова (сами организаторы обоих салонов были большими друзьями, а потому обмен взаимными визитами в течение одной недели не был редкостью). В.Ю. Зуев приводит впечатляющий список людей, регулярно посещавших ростовцевские журфиксы: это И.А. Бунин, А.И. Куприн, Л.Н. Андреев, Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, Ф.К. Сологуб, А.А. Блок, А. Белый, О.Э. Мандельштам, К.Д. Бальмонт, Л.С. Бакст, К.А. Сомов (кисти которого принадлежит замечательный портрет Ростовцева), М.В. Добужинский, М.В. Нестеров, С.В. Рахманинов, А.К. Глазунов, С.А. Кусевский, Ф.И. Шаляпин, С.К. Маковский, А.Н. Бенуа, И.Э. Грабарь, Н.А. Бердяев, П.Б. Струве, С.Н. Булгаков, Л.П. Карсавин, Н.О. Лосский, Н.П. Кондаков, Н.И. Кареев, А.С. Лаппо-Данилевский, А.А. Шахматов, П.Н. Милуков, В.Д. Набоков, А.И. Гучков, многие коллеги-антиковеды. Есть все основания утверждать, что замысел одного из самых известных стихотворений А. Блока «Скифы» был навеян именно его беседами с Ростовцевым.

Отдельной главой в биографии ученого можно считать и консультативную помощь, оказанную им великому князю Константину Константиновичу (широко известному под псевдонимом «К.Р.») в период создания тем монументального драматического произведения «Царь Иудейский». На протяжении трех лет (с ноября 1911-го по январь 1914-го) Ростовцев принимал самое непосредственное участие в процессе создания автором текста драмы, выверяя исторические и филологические неточности. По просьбе великого князя он давал и развернутые комментарии по тем или иным вопросам античной истории, которые должны были быть отражены в пьесе, а также высказал ряд своих замечаний по оформлению декораций. 27 декабря 1913 года М.И. Ростовцев присутствовал на генеральной репетиции «Царя Иудейского» и остался вполне доволен, о чем и сообщил в своем письме автору произведения.

Широкий кругозор ученого, желание не замыкаться в рамках своей узкой специализации стали причиной и его политической активности.

Проблемы, стоявшие перед Россией в то время, активно обсуждавшиеся и на вторичных журфиксах, волновали Ростовцева столь глубоко, что рано или поздно он должен был высказать свою позицию публично. Событием, побудившим его открыто выразить свои симпатии к «освободительному движению», стали «банкетные» кампании, волной прокатившиеся по России в 1904–1905 годах. А уже в 1905 году историк официально вступил в ряды Конституционно-демократической партии.

Это решение Ростовцева было не случайным — оно вполне вписывалось в его общие историософские схемы. Сравнивая ситуацию III века и начала XX столетия, Ростовцев приходил к выводу, что Россия переживает процессы, сходные с теми, что происходили в Римской империи эпохи упадка. Архаичная модель императорской России оказалась неспособной адекватно отвечать на вызовы времени. В стране сохранялось сословное и национальное неравенство. Сложившаяся социальная структура препятствовала формированию гражданского общества и рыночной экономики. «Политика искусственной поддержки отмирающего класса землевладельцев безрассудна, — констатировал Ростовцев. — Вся жизнь России должна быть основана на крестьянстве, чье правовое и экономическое положение должно стать основным вопросом экономической политики».

В 1910 году Ростовцев стал действительным членом Императорской археологической комиссии, а с 1911-го начал координировать археологические исследования в Херсонесе и Керчи. Летом 1913 года раскопки в Херсонесе посетил император Николай II. Ростовцев при этом исполнил роль гида Высочайшей делегации. Царская семья не осталась в долгу перед ученым: в скором времени ему были выделены специальные средства для публикации дорогостоящего, богато иллюстрированного труда «Античная декоративная живопись на юге России».

Именно выход в свет этого капитального исследования и прилагавшегося к нему атласа стал официальным поводом для избрания Ростовцева членом-корреспондентом Берлинской академии наук — летом 1914 года ему был торжественно вручен соответствующий диплом. Русский ученый получил приглашение от Эд. Мейера и У. Виламовица принять участие в грандиозном коллективном проекте — «Всеобщей истории экономики», где ему отводили раздел по социально-экономической истории эллинистического мира и Римской империи. Но 1 августа 1914 года началась Первая мировая война, заставшая М.И. Ростовцева с супругой в Германии. С большим трудом им удалось выбраться из теперь уже вражеской страны и благополучно прибыть в Петербург. Однако о столь многообещающем международном проекте, как «Всеобщая история экономики», теперь можно было забыть.

В этот период русский историк тратил много времени не только на науку, но и на общественную деятельность. Он не остался безучастным к судьбе раненых солдат. Этой работе М.И. Ростовцев отдался с таким увлечением, что в 1916 году правительство союзной Франции удостоило его высшей награды страны — ордена Почетного легиона.

«Большевистская теория может привести только к вырождению культуры...»

В феврале — марте 1917 года в России произошла революция, а в апреле Ростовцев был избран академиком. Голландский исследователь М.А. Вес полагает, что это стало возможным лишь благодаря протекции П.Н. Милюкова, одного из министров Временного правительства. Едва ли эта точка зрения вполне обоснована — вакантное место освободилось еще в 1916 году. 25 января 1917 года состоялось заседание Отделения исторических наук и филологии, где и было решено вынести кандидатуру М.И. Ростовцева на голосование. 8 февраля оно состоялось. Отделение единогласно поддержало ученого, а 15 апреля прошла уже баллотировка на общем собрании, по результатам которой (21 за и 5 против) он стал действительным членом Академии наук.

М.А. Вес прав в другом: фигура М.И. Ростовцева действительно казалась Временному правительству очень привлекательной (видный ученый, член кадетской партии) для того, чтобы задействовать его в высшем управлении страной. Милюков видел его министром народного просвещения, однако тот предпочел не брать на себя столь высокой ответственности в этот беспокойный для страны период. Но все же дистанцироваться от большой политики он не мог. В частности, как представитель Российской Академии наук, Ростовцев принял участие в Государственном совещании, проходившем в августе 1917 года в Москве в здании Большого театра. Его симпатии в тот момент всецело были на стороне Л.Г. Корнилова. Однако открытое выражение Ростовцевым своей гражданской позиции вызвало неприязнь к нему со стороны отдельных общественных сил: «За свой скромный вклад в пропаганду свободы, спокойствия и конституции я удостоился множества писем, в которых солдаты угрожали продержать меня полчаса на остриях своих штыков».

С приходом к власти большевиков положение М.И. Ростовцева еще более ухудшилось: он открыто отверг предложение А.В. Луначарского о сотрудничестве с новой властью, хотя остался членом Высшего совета по делам искусств, организованного еще Временным правительством. У него постепенно складывалось ясное осознание того, что никаких радужных перспектив в советской России ему ждать не приходится. Позже, уже находясь в Америке, он вспоминал о последних месяцах, проведенных на Родине: «Мое решение созрело. Я не хотел видеть, как разрушается труд всей моей жизни, и, более того, оказаться вынужденным участвовать в этом разрушении. Я отчаянно старался выбраться из страны. Между тем голод, который начался давно, еще с первых подвигов большевиков, усиливался и усиливался. Я проводил дни в поисках пропитания, а по ночам писал книги и сторожил с револьвером в кармане наш дом от грабителей и воров. Ждал, что большевики придут и арестуют меня. После того как я отклонил предложение сотрудничать с ними, мой арест был лишь делом времени. И последнее видение. Яркий июньский день 1918 года. Я сажусь на пароход, уходящий в Швецию. Последние испытания — досмотр багажа и личный обыск. На пристани несколько друзей, пришедших проводить меня. Последний гудок. Я покинул свою страну, чтобы больше никогда ее не увидеть».

Позже, уже в эмиграции, Ростовцев беспощадно критиковал новую власть. По его оценке, политический режим Российской империи оказался не в состоянии подавить «восстания рабов» современного мира. Драматизм ситуации усугублялся активной позицией «новых варваров» — большевиков, намеренно искоренявших сложившуюся культурную традицию, в которой они видели угрозу собственной власти. Однако, устанавливая диктат в области художественного творчества и интеллектуальной деятельности, они тем самым способствовали деградации всех сфер жизни человека. «Большевистская теория может привести только к одному результату — к упадку творческих сил и вырождению культуры, возврату к варварству. Пролетариев, которые рассматривают себя в отрыве от остального человечества, это может привести к животному состоянию. Россия сейчас идет как раз по этому пути, и результаты будут видны уже очень скоро. Они насильно хотят повести нас путем, который привел к ослаблению Римской империи. Взамен Платона, Аристотеля, Эратосфена, Аристарха Самосского мы будем иметь в будущем Гелия и Афиня, а после этого уснем сном раннего средневековья».

С точки зрения Ростовцева, было вполне показательным, что большевики стремились к распространению грамотности и вместе с тем фактически искореняли научное знание. Они делали ставку не на более компетентных и образованных людей, а на среднестатистического представителя толпы. «Слышится повсюду мысль о том, что сначала нужно сделать Россию грамотной, разрешить социальные и экономические вопросы, сделать Россию свободной и богатой, а затем можно подумать и о такой „роскоши“, как развитие научной жизни. Это глубокое и коренное заблуждение. Нам нужна не грамотная Россия, а Россия культурная».

При этом Ростовцев полагал, что становление культурной России при большевиках как раз невозможно, так как в ее основании должно было лежать личностное начало, а личность не может получить развития без свободы и собственности, отрицавшихся большевиками. По этой причине новые власти стремились подавить индивидуальность в человеке: «Коллектив всегда мыслит правильно, индивид — никогда. Приняв это положение за аксиому, большевики все время боролись и борются с проявлением всякой индивидуальности и направляют свои усилия на подавление личности».

«Большевистская теория может привести только к вырождению культуры...»

По мнению Ростовцева, большевизм — отнюдь не только российское явление. Демократизация культуры в странах Западной Европы и Северной Америки способствовала формированию новой генерации людей, рассчитывающих на социальные катаклизмы в скором будущем. Их господство может обернуться крахом европейской цивилизации. Кроме того, и большевики в России всячески способствовали началу мировой революции, провоцировали ее. Поэтому Ростовцев был сторонником силовой борьбы с ними, доказывая необходимость интервенции европейских держав: «Как многие болезни могут быть излечены только решительной хирургической операцией, так и русский большевизм. Если не будет уда-

лен этот гнойник, он или разложит Россию, или настолько ее расслабит, что ей долго придется восстанавливать свои подорванные силы. Борются против производства этой решительной операции на базе высоких принципов очень легко, но не надо забывать, что это единственное средство оздоровить организм не только России, но и всей Европе».

Бегство ученого из России было официально оформлено как научная командировка в Швецию, Норвегию, Данию и Англию для работы в библиотеках этих стран, поскольку отечественные библиотеки в условиях военного времени и революции испытывали серьезные перебои в комплектации. В начале сентября 1918 года Ростовцев прибыл в Великобританию и благодаря действенной помощи выдающегося историка П.Г. Виноградова, уже давно обосновавшегося здесь, поселился в Оксфорде. Здесь он активно включился в политическую борьбу с советским режимом, крушения которого так страстно желал. В конце года на средства русского финансиста и мецената Н.Х. Денисова в Лондоне был создан Комитет освобождения России, который возглавил М.И. Ростовцев. Именно в этот период со всей остротой проявился его дар публициста. Однако его главный талант — историка-антиковеда — оказался здесь востребован далеко не в той степени, как на то мог рассчитывать русский ученый. С одной стороны, он был сразу же принят в число членов оксфордского *Corpus Christi College*, а 18 февраля 1919 года состоялось торжественное собрание университета, на котором ему была присуждена степень доктора наук *honoris causa*. Ростовцеву предоставили возможность прочесть несколько курсов лекций по проблемам социально-экономической истории Древнего мира — и только. В штат этого старейшего учебного заведения Англии русского эмигранта никто зачислять не собирался. Он постоянно находился в поисках заработка, так как вынужден был содержать не только себя и свою супругу, но и многочисленных родственников, оставшихся на родине и находившихся в крайне стесненном материальном положении. Поэтому приглашение прочесть в феврале — марте 1920 года курс лекций о юге России в древности в *Collège de France* было воспринято им с огромным энтузиазмом. Лекции прошли весьма успешно и при большой аудитории. Вскоре, в декабре того же года, он был избран членом-корреспондентом Французской академии надписей и изящной словесности.

Несмотря на сложную финансовую ситуацию, Ростовцев все же находил силы активно работать. Его авторитет в научном мире оставался непрекращающимся, исторические журналы с удовольствием публиковали его статьи. В эти годы он плодотворно трудился над монографией о Южной России, которая выйдет в свет в Лондоне уже после отъезда ученого в США, а также приступил к осуществлению своего грандиозного замысла по созданию исследования на тему социально-экономической истории Рима и эллинизма, первоначально задуманного как расширенный вариант лекций, прочитанных им в Оксфорде. Материал по эллинистическому Египту он свел воедино довольно быстро; над римской же проблематикой ему предстояло работать уже в Америке. Особо стоит отметить и усилия

М.И. Ростовцева по налаживанию русско-английского и русско-французского научного сотрудничества: он пытался организовать Русский институт в Лондоне и Русский институт в Париже, которые могли бы координировать совместные научные проекты стран-союзников, обеспечивать обмен научной литературой.

Однако постепенно Ростовцев начал понимать, что ни о какой стабильной работе в Европе в его ситуации речь идти не может. Любая деятельность здесь могла быть только эпизодической и без гарантии на успешное завершение. Впоследствии Ростовцев будет вспоминать о годах в Англии как о «самом темном часе в своей жизни». Он должен был задуматься о своих перспективах на будущее. Помощь пришла с неожиданной стороны. Участвуя летом 1919 года в качестве эксперта в работе Парижской мирной конференции, которая призвана была закрепить итоги Первой мировой войны, Ростовцев познакомился с известным папиროлогом У. Вестерманном, входившим в американскую делегацию. Торжественный обед в отеле «Крийон», где и происходила их беседа, стал судьбоносным для русского ученого. У. Вестерманн тогда был профессором Висконсинского университета, однако получил приглашение прочесть в 1920/21 учебном году лекции в Корнеллском университете. Приняв это приглашение, он подыскивал себе замену в Висконсине. Разговор с Ростовцевым помог ему решить эту проблему. Вернувшись на родину, Вестерманн предложил его кандидатуру своему руководству, и уже в декабре 1919 года русскому антиковеду было отправлено официальное приглашение провести 1920/21 академический год в Висконсине (за ним закрепляли курсы по древней и русской истории). 18 августа 1920 года на борту парохода «Олимпик» Ростовцев вместе с супругой отправился в США.

Он покидал Европу с тяжелым сердцем: «Уезжаю с голоду в Америку... Тяжко человеку моих лет и моего положения ехать в Америку искать куска хлеба, бросая свою научную работу и начиная снова „делать карьеру“. Хоть бы прибрал Бог поскорее. Устал очень». Однако М.И. Ростовцев был не тем человеком, который быстро опускает руки. Вскоре, в январе 1921 года, он напишет своему другу, английскому историку и археологу Э.Х. Миннзу: «Я очень благодарен американцам, которые приютили меня, несмотря на мой плохой английский язык, т.е. сделали то, чего не захотели сделать для меня в Оксфорде. Могли, но не захотели». Для М.И. Ростовцева теперь начиналась новая жизнь.

24 августа 1920 года пароход «Олимпик» причалил в порту Нью-Йорка. Примечательно, что, прибыв на Американский континент, Ростовцев, у которого оставалось еще несколько недель до начала занятий в Висконсинском университете, первым делом выяснил обстановку в стане своих соратников по политической борьбе. Состоялись его встречи с Б.А. Бахметевым (послом Временного правительства России в США) и с государственным секретарем США Б. Колби. Ученый связался и с Русским информационным бюро, поддерживавшим тесные контакты с лондонским Комитетом освобождения России. Однако по мере погружения в препо-

«Большевистская теория может привести только к вырождению культуры...»

давательский процесс политические вопросы постепенно стали отходить для него на второй план. К тому же Мэдисон был типичным провинциальным американским городом, удаленным от центров общественной жизни США. С каждым днем таяли и его надежды вернуться когда-либо в Россию. В письме к своему близкому другу А.В. Тырковой-Вильямс 5 сентября 1920 года Ростовцев писал: «Что до моего настроения, то оно все то же. Ложусь спать с надеждой не встать и встаю с отвращением... Как раз тогда, когда открывались перспективы широкой научной деятельности, возвращаться на положение учителя гимназии нелегко. И не знаю, стоит ли такая жизнь того, чтобы сохранять ее... Последнее слово скажу, когда проживу несколько месяцев в Madison'e».

Тем не менее Ростовцев быстро завоевал авторитет и уважение среди своих новых коллег, для которых несовершенство владения им английским языком не смогло затмить его профессиональных знаний, высочайшей научной квалификации и педагогических талантов. Через год руководство университета само предложило Ростовцеву продлить контракт еще на один академический сезон, теперь уже в статусе полноправного профессора истории.

Правда, бытовая сторона американской действительности не удовлетворяла семью Ростовцевых. «Жизнь для нас, привыкших к искусству, литературе, музыке, кажется необычайно тусклой и скупой, ибо их интересы нам чужды совершенно», — сокрушалась Софья Михайловна в письме к Н.П. Кондакову. Ей, помимо всего прочего, пришлось научиться здесь самостоятельно вести домашнее хозяйство, в то время как до эмиграции жена петербургского профессора могла спокойно доверить этот круг обязанностей прислуге. Сам же Михаил Иванович продолжал упорно следовать укоренившимся привычкам: когда писал по-русски, принципиально придерживался дореволюционной орфографии, день рождения отмечал по юлианскому календарю (а когда супруга однажды устроила ему «сюрприз» и пригласила гостей «по новому стилю», он с возмущением отказался что-либо праздновать).

Была и другая проблема. Накопленного до эмиграции материала не хватало, нужно было срочно обновлять источниковую базу, чтобы иметь возможность и далее заниматься исследовательской работой. Тему истории юга России пришлось оставить. В конце 1922 года М.И. Ростовцев напишет: «К сожалению, мои занятия югом России пришлось ликвидировать. Нет книг здесь. Перешел всецело на экономическую историю». Это признание имеет огромное значение, так как именно книги по социально-экономической проблематике, написанные в США на английском языке, станут в будущем «визитной карточкой» ученого.

Между тем с ростом известности русского антиковеда в Соединенных Штатах его фигура стала привлекать внимание и других университетов. Предложения следовали одно за другим. И если в Корнелл Ростовцев переходить отказался, то предложения, последовавшего из Йеля, он отклонить не смог. С сентября 1925 года и до конца своих дней Ростовцев

оставался профессором Йельского университета. На освободившееся же место по его рекомендации был приглашен известный русский византист А.А. Васильев. И это был далеко не единичный случай помощи, оказанной Ростовцевым своим соотечественникам.

На протяжении всех лет, проведенных ученым в США, он не переставал интересоваться судьбой друзей, как оставшихся на родине, так и оказавшихся в эмиграции. Ростовцев старался быть полезным всем, кому мог помочь. Он посылал бандероли с продовольственной помощью коллегам в Петроград (Ленинград): С.А. Жебелеву, Б.В. Фармаковскому, А.А. Васильеву (еще до его эмиграции), Е.М. Придику, Д.В. Айналову, Ф.И. Успенскому. Тем же, кто оказался вдали от родины, он пытался содействовать в трудоустройстве в американских вузах. Так профессорские кафедры здесь, благодаря ходатайству Ростовцева, заняли Г.В. Вернадский и И.И. Бикерман. Кстати, подобную услугу он оказал и итальянскому историку еврейского происхождения А. Момильяно, который в годы правления Муссолини лишился всех своих должностей в Италии. В 1922 году М.И. Ростовцев принял активное участие в открытии в США Центрального комитета по обеспечению высшего образования русскому юношеству за границей и Американского комитета для образования русской молодежи в изгнании. Он был одним из создателей Толстовского фонда, а также почетным председателем Общества друзей Богословского института в Париже и членом Консультативного совета Фонда помощи русским писателям и ученым в США. Таким образом, за годы своей работы в этой стране он превратился в одну из ключевых фигур российской эмиграции. За содействием к нему обращались П.Б. Струве, М.В. Добужинский, В.В. Набоков, М.А. Алданов. Неоценимую помощь ученый оказал И.А. Бунину в получении им Нобелевской премии по литературе в 1933 году: как член Королевской Шведской академии наук, М.И. Ростовцев имел право выдвигать свои кандидатуры на премию и неоднократно им пользовался, отстаивая перед Нобелевским комитетом русского писателя.

В годы работы в Йельском университете Ростовцевым был закончен труд, начатый еще в Оксфорде, — «Социально-экономическая история Римской империи», — написана трехтомная «Социально-экономическая история эллинистического мира», нашедшая теплый прием со стороны научного сообщества, даже в лице тех историков, которые предельно скептически относились к теоретическим построениям русского антиковеда. Среди прочих трудов этого периода можно особо выделить двухтомную монографию популярного характера по истории Древнего мира и книгу о «караванных городах». Последняя выросла из серии путевых заметок, которые публиковались Ростовцевым в ведущих периодических изданиях русской эмиграции по итогам его продолжительного путешествия в Сирию, Аравию и Палестину в 1928 году.

В 1929 году президент Йельского университета Дж.Р. Энджелл признал: «Профессор Ростовцев — один из трех ведущих ныне здравствующих специалистов в его области исследований, и я бы сказал, что он, без

«Большевистская теория может привести только к вырождению культуры...»

сомнения, является наиболее выдающимся ученым в Йельском университете». С именем Ростовцева было связано осуществление такого масштабного проекта Йельского университета, как раскопки сирийской крепости Дура-Европос. В течение многих лет он участвовал, а затем и возглавлял археологические исследования этого памятника (1928–1937), начатые бельгийским ученым Францем Кюмоном и благодаря усилиям М.И. Ростовцева продолженные Йельским университетом. Городище Дура-Европос на Евфрате впоследствии будут называть «сирийскими Помпеями», а обнаружение здесь в ходе четвертого и пятого сезонов раскопок *domus ecclesiae*, места собраний христианской общины города, до сих пор считается самым важным открытием в истории раннего христианства за весь XX век. Дело в том, что этот храм является на сегодняшний день наиболее древним из полностью сохранившихся памятников христианской архитектуры, а его фрески оказались древнее росписей римских катакомб и к тому же отличными от них по стилю. Таким образом, было опровергнуто мнение о зарождении христианского искусства в одном центре — Риме — и восторжествовала концепция Ростовцева о его возникновении параллельно на Западе и Востоке. Доклад об этом открытии, сделанный ученым в 1932 году в Папском институте христианской археологии, вызвал фурор: его посетил лично кардинал Эудженио Пачелли, государственный секретарь Ватикана и будущий папа римский Пий XII. И хотя, по словам Ростовцева, кардинал напоминал невозмутимую «бронзовую статую», было ясно, что это удар по римоцентричной до того момента христианской археологии.

Грандиозный проект Йельского университета по раскопкам Дура-Европос стал последним большим делом в жизни русского ученого. Чтобы его достойно завершить, историк отказался даже перейти в Гарвард, куда его настойчиво приглашали в 1938 году. «Проект в Дуре — один из самых дорогих для меня. Я бы хотел увидеть его завершенным», — писал он президенту Йельского университета Ч. Сеймуру. Чтобы удержать у себя Ростовцева, Йель пошел на беспрецедентные шаги. По уставу университета в июне 1939 года по достижении соответствующего возраста Ростовцев должен был уйти на пенсию с должности заведующего кафедрой. Однако руководство приняло специальное решение о создании поста директора археологических исследований, который ему и было предложено занять на бессрочной основе, пока тот не посчитает нужным оставить его по состоянию здоровья. Гарантировалась ему и пожизненная пенсия. Благодаря такому соглашению историк смог благополучно завершить свою книгу о древнем городе. При этом до конца своих дней он не переставал оставаться бессменным редактором издававшихся ежегодно материалов раскопок в Дура-Европос.

Последнее десятилетие жизни М.И. Ростовцева оказалось омрачено тяжелым недугом. К обычным для пожилых людей проблемам с физическим здоровьем добавилось серьезное психическое расстройство — непреодолимая хроническая депрессия, заставившая его в глубоко нега-

тивном ключе пересмотреть свое научное творчество. Первые признаки болезни обнаружилились еще в начале 1940-х годов. В письме к А.В. Тырковой-Вильямс, датированном 9 мая 1942 года, М.И. Ростовцев жаловался: «Глохну, глаза сдают и не слушают как прежде, нелады с пищеварением, словом, разложение тела, пока сравнительно медленное. Главное же, что дух ослаб. Мало интереса к жизни, энергия, которой у меня было много, иссякает». Уже через два года своему любимому ученику Ч.Б. Уэллсу он напишет (хотя и не решится отправить письмо именно в таком, первоначальном виде) горькие слова: «Всю жизнь я собирал и накапливал знания в своей области, пытаюсь сопоставить и объяснить факты. Эти усилия выливались в книги, которые я теперь считаю абсолютно неудачными, надуманными, слишком общими, написанными на основе плохо усвоенного и недостаточно хорошо изученного материала. Таков итог моей научной деятельности. Десятилетиями меня считали выдающимся ученым, тогда как я был всего лишь шарлатаном». И далее в том же письме об учениках: «Я вводил их в заблуждение, будучи не в состоянии исправить их многочисленные ошибки и указать им правильный путь».

Подобные мысли и настроения превратились со временем у Ростовцева в навязчивую манию. Сопровождаемые периодическими провалами в памяти, эти приступы депрессии надолго выводили его из рабочего состояния. Оставшиеся годы прошли в скитаниях по различным американским клиникам, попытках излечить болезнь новейшими средствами медицины, включая электрошок и трепанацию черепа. Поистине подвижнически проявила себя при этом его жена С.М. Ростовцева, ни на минуту не покидавшая супруга в период страшных мытарств. Умер М.И. Ростовцев в Нью-Хейвене 20 октября 1952 года.

Но его не забыли. Михаил Иванович Ростовцев, безусловно, ошибался в своих поздних оценках того вклада, который внес в мировую науку. Вне всякого сомнения, он и сегодня остается наиболее известным за пределами России отечественным антиковедом. Так, в Йельском и Нью-Йоркском университетах в последние годы установилась традиция регулярного проведения открытых лекций по актуальным проблемам древней истории, посвященных его памяти. Вполне обоснованным кажется мнение современного историографа Х. Уайта, который считал М.И. Ростовцева «одним из наиболее влиятельных историков античности двадцатого столетия». А близкий друг Ростовцева А.В. Тыркова-Вильямс полагала его «одним из выразителей и создателей русской культуры», чьи идеи, имевшие глубокие национальные корни, получили всеобщее признание.

«Большевистская теория может привести только к вырождению культуры...»

ИВАН
ПАВЛОВИЧ
АЛЕКСИНСКИЙ

«Безумный опыт
насильственного
переворота довел
до агонии государственный
организм России...»

Иван Павлович Алексинский родился 3 мая 1871 года во Владимире в семье надворного советника Павла Ивановича Алексинского и его жены Софьи Николаевны (урожденной Соковниной). Мальчика крестили 17 мая в Николо-Златовратской церкви, стоявшей до 1930-х годов рядом с Золотыми воротами Владимира.

Детство Ивана Алексинского прошло в родовом имении Опарино Александровского уезда Владимирской губернии (сейчас это Сергиево-Посадский район Московской области). Опарино, стоящее на высоком берегу речки Вели (притока Дубны), — место, богатое историей. В начале XVII века село входило в вотчинный надел князя Юрия Яншеевича Сулешова (сына перешедшего на русскую службу Янши-мурзы, брата крымского хана), впоследствии — ближайшего соратника царя Михаила Федоровича, руководителя Сыскного и Разбойного приказов. Следующими хозяевами Опарина были близкие к трону в XVIII веке князья Черкасские, а потом — породнившиеся с ними Рюриковичи, князья Долгоруковы.

При князе Сергее Никитиче Долгорукове в Опарине была построена величественная каменная церковь Богоявления, чья пятиярусная колокольня была одной из самых высоких в России — по преданию, при ее освящении присутствовала сама императрица Екатерина II. (В 1962 году церковь была варварски разрушена, сейчас восстанавливается.) После угасания этой ветви князей Долгоруковых владельцами Опарина становятся сначала их родственники Соковнины, а затем — породнившиеся с ними дворяне Алексинские. Последним в их ряду и стал Иван Павлович Алексинский.

В 1889 году, после окончания гимназии в Москве, Алексинский поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. Однако через год, увлеченный недавно вышедшими «Дневниками» врача-гуманиста Н.И. Пирогова, перевелся на медицинский факультет. Жизнь и идеи Пирогова, основателя военно-полевой хирургии, участника обороны Севастополя, Франко-прусской и Русско-турецкой войн, выдающегося исследователя в области анатомии,

прогрессивного общественного деятеля эпохи Великих реформ и оригинального мыслителя, стали для юного студента-медика образцом для подражания. Среди любимых университетских профессоров Ивана Алексинского — другие крупнейшие ученые: анатом Д.Н. Зернов, физиолог Л.З. Молоховец, гистолог А.И. Бабухин, физик А.Г. Столетов.

В 1894 году Алексинский с блеском завершил университетский курс и был оставлен при факультете для подготовки диссертации; одновременно он работал ординатором университетской хирургической клиники под руководством профессора А.А. Боброва. В 1895 году произошло важное для молодого ученого и врача событие: он стал врачом-консультантом Иверской общины сестер милосердия Красного Креста, с которой будет тесно связана его дальнейшая жизнь. В этом поступке также, несомненно, сказался пример Пирогова: ведь когда-то именно Н.И. Пирогов при содействии великой княгини Елены Павловны стал инициатором отправки в осажденный Севастополь первых отрядов сестер милосердия из петербургской Крестовоздвиженской и московской Никольской общин.

К 1897 году относится первая организованная Иверской общиной крупная международная акция, в которой самое активное участие принял молодой врач Иван Алексинский. В тот год началась Греко-турецкая война из-за острова Крит, и Россия, вопреки ожиданиям, не поддержала на этот раз территориальные претензии Греции к Османской Порте, выступив в качестве посредника между воюющими сторонами. Нейтральный статус России был подчеркнут серией действий, инициированных из самого близкого окружения императора. В середине апреля 1897 года великий князь Сергей Александрович поручил своему адъютанту, штабс-капитану В.Ф. Джунковскому возглавить санитарный отряд Иверской общины, направленный на турецкую сторону военных действий (такой же отряд был организован в Санкт-Петербурге для работы на греческой стороне). Старшим врачом московского отряда стал приват-доцент Императорского университета, доктор медицины И.П. Ланг; в списке врачей значился и «лекарь-доброволец» И.П. Алексинский.

В Москву отряд вернулся в середине июля 1897 года, Алексинский был награжден орденом Св. Анны 3-й степени. В числе его наград были также греческие Золотая и Серебряная медали Илитаза и почетная турецкая Серебряная медаль. Через двадцать лет, после эвакуации белой армии барона П.Н. Врангеля в Константинополь, наличие этих наград будет открывать ближайшему соратнику Врангеля, «старшему товарищу» (первому заместителю) председателя Русского совета Ивану Алексинскому двери самых влиятельных домов и канцелярий.

В 1900 году состоялась новая командировка врача Алексинского на театр военных действий. Русские войска, выполняя межгосударственное соглашение, участвовали тогда в подавлении Ихэтуаньского («Боксерского») восстания в Китае. Летом санитарный отряд под руководством Алексинского, теперь уже доктора медицины и приват-доцента, был отправлен в Забайкалье и развернул лазарет в Благовещенске; в сентябре отряд был

переправлен в Хабаровск. Вернувшийся в начале 1901 года в Москву Алексинский был награжден орденом Св. Анны 2-й степени.

Приехавший в родное Опарино молодой герой-фронтовик Алексинский избирается в александровское уездное земство, работает земским гласным два срока, до 1906 года, когда произойдет взлет его политической биографии. Пока же он вкладывает много сил в дело местного народного образования: на его средства в Опарине построена земская школа (на фасаде здания сегодня висит мемориальная доска от имени фонда «Русское либеральное наследие») и продолжает врачебную карьеру в Москве — в качестве приват-доцента медицинского факультета Московского университета, заведующего отделением факультетской хирургической клиники, редактора журнала «Русское хирургическое обозрение».

После объявления императорского Манифеста 17 октября 1905 года и начала формирования в России политических партий Алексинский примыкает к конституционным демократам (Партии народной свободы). Весной 1906 года он избирается депутатом I Государственной думы от Владимирской губернии (вместе с ним от владимирских кадетов в Думу проходят известные общественные деятели М.Г. Комиссаров и К.К. Черносвитов). 35-летний депутат от Александровского уезда не затерялся среди корифеев Думы: трижды Алексинский поднимался на думскую трибуну, и все три раза это были серьезные принципиальные выступления, имевшие большой резонанс.

В первый раз И.П. Алексинский включился в дискуссию, связанную с подготовкой «ответного адреса» Думы на тронную речь императора. В своем выступлении 3 мая 1906 года Алексинский отметил, что ему непонятны «умолчание в ответном адресе по одному из важнейших вопросов государственной жизни» и «забвение о целом классе русского народа, живущем в особенных условиях, настоящее положение которого никоим образом не может быть признано нормальным». По мнению Алексинского, вопрос об армии и флоте — принципиальный для текущего момента. Он напомнил, что политический кризис и революция, давшие России Конституцию и Думу, стали прямым следствием краха военно-бюрократического режима, позорно проигравшего Русско-японскую войну. «Порт-Артур, Ляоян, Мукден, Цусима — все это преступления военной бюрократии», — заявил с думской трибуны Алексинский. А потому, отметил он, «мы не можем оставить без особого внимания то ведомство, в котором как раньше, так и в настоящее время царит в полной силе ненавистный бюрократический режим, то ведомство, где под покровом этого режима и военной дисциплины произвол и насилие узаконены, где содеяно много преступлений против народа».

«В чем же гарантия того, что в будущем в военном и военно-морском ведомстве будут изменения к лучшему, что народные деньги будут расходоваться действительно на то, на что они ассигнованы?» — поставил вопрос Алексинский. По мнению оратора, единственная гарантия реформирования армии и флота — их перевод под контроль народного пред-

ставительства. «Народ, дающий трудовые деньги на содержание армии, должен знать, на что и как расходуются эти деньги; народ, посылающий в ряды армии своих сыновей, имеет право заботиться об их дальнейшей судьбе... Опыт последней войны показал с очевидностью, как мало ценила военная бюрократия жизнь офицеров и солдат, как на суше, так и на море; в жертву преступной неподготовленности к войне было принесено множество молодых жизней».

Позорный проигрыш войны — прямое следствие преступного отношения к армии, ее использования во внутривойсковых целях: «Мы видели разгром русской армии на Дальнем Востоке, и в то же время мы видели здесь, как военная бюрократия посылала солдат — сынов народа — расстреливать народ, шедший к своему Царю; такие расстрелы шли во многих городах, во многих концах России. Господа депутаты, для возрождения нашей армии, для восстановления ее связи с народом она должна находиться в ведении народа».

Депутат-фронтовик Иван Алексинский предложил существенно дополнить «ответный адрес» монарху указанием на необходимость немедленной реорганизации военно-морских ведомств и их подконтрольности Государственной думе: «Для поселения в армии истинных представлений о правах народа, о долге солдата-гражданина перед отечеством, для внесения в армию общего и специального образования необходимо военное и морское министерства подчинить народному контролю».

По мнению депутата, волнения в войсках в Кронштадте, Москве, Киеве, Севастополе, Владивостоке, Красноярске, Харбине и других городах свидетельствуют не только о необходимости «укрепления дисциплины» (о чем не уставало твердить высшее военное руководство), но прежде всего — о необходимости «упорядочения правовых отношений»: «Дисциплина необходима, но она должна зиждиться на сознании долга перед народом, а не только на одном страхе. Если дисциплина поддерживается только страхом, если солдатам приказывают расстреливать родной народ, заставляют быть палачами его под угрозой быть расстрелянными самим, тогда дисциплина становится невыносимой. Я думаю, что этим обуславливается так называемая деморализация армии. Я думаю, что это не деморализация, а пробуждение сознания того, что солдаты — дети своей родины, что интересы народа дороги солдату, что права народа дороги солдату».

Следующее выступление Алексинского в I Думе связано с разгоревшейся полемикой вокруг депутатских запросов членам правительства. 8 июня 1906 года перед депутатами выступили главы министерств юстиции и внутренних дел И.Г. Щегловитов и П.А. Столыпин. Столыпин, в частности, заявил, что существующие законы надо, наверное, совершенствовать, но пока следует четко их применять. Он даже привел такую метафору: «Нельзя сказать часовому: у тебя старое кремневое ружье; употребляя его, ты можешь ранить себя и посторонних; брось ружье. На это честный часовой ответит: покуда я на посту, покуда мне не дали нового ружья, я буду стараться умело действовать старым».

«Безумный опыт насильственного переворота довел до агонии государственный организм России...»

Многие члены Думы восприняли объяснения Столыпина как попытку уйти от содержательного ответа на депутатские запросы. Взявший 9 июня слово Иван Алексинский вступил в прямую полемику с министром, по-своему интерпретировав столыпинскую метафору о «часовом и старом ружье»: «Господа министры вчера подтвердили, что, хотя у них и негодные ружья, но они будут стоять на своем посту, потому что поставлены здесь». Алексинский объявил «бессмысленной» дальнейшую переписку с министерствами, которые фактически проигнорировали уже более ста запросов депутатов. «Мы сюда пришли не для словесного турнира с господами министрами и не для поучения их, — заявил Алексинский. — Мы пришли сюда заявить волю народа, до сих пор еще не исполненную, мы пришли сюда для того, чтобы завоевать ту свободу, которой еще нет, и завоевать те права народа, которых еще нет». Депутат сообщил, что ему идут и идут письма («приговоры») из родного Александровского уезда, в которых крестьяне «клянутся поддерживать Думу, поддерживать представителей своих требований, каких бы жертв это ни стоило». Вся вина за гражданскую конфронтацию в России лежит на исполнительной власти, которая сама провоцирует массовые волнения. Единственный способ избежать новых опасностей — радикально обновить состав правительства, поставив его под контроль парламента: «Господа, в своем стремлении к мирному осуществлению реформ в России мы должны употребить все усилия на то, чтобы устранить с мирного пути реформ те препятствия, которые стоят на нем; и главное препятствие я вижу в том, что исполнительная власть, не пользующаяся доверием народа, остается у власти... Государственная дума должна воспользоваться своим правом, она должна обратиться к Монарху, которому, вероятно, неизвестно истинное положение страны... Я предлагаю объявить Верховной власти об истинном положении вещей, заявить от имени Государственной думы о необходимости для сохранения спокойствия России и предотвращения грядущих бедствий устранить теперешнее министерство, повторить, что только министерство, которое пользуется доверием Государственной думы, способно вселить народу уважение к правительству».

ИВАН
ПАВЛОВИЧ
АЛЕКСИНСКИЙ

В полемическом ключе выдержано и третье и, как оказалось, последнее выступление Алексинского в I Думе 19 июня 1906 года. Поводом к этому выступлению явилась речь главного военного прокурора, генерал-лейтенанта В.П. Павлова, которого Дума считала одним из основных виновников незаконных репрессий и которого парламентарии (точнее, их кадетско-трудовическое большинство) фактически согнали с трибуны, устроив ему обструкцию. Некоторые влиятельные депутаты, представлявшие умеренно-либеральную партию «Союз 17 октября» (граф П.А. Гейден, князь Н.С. Волконский), попытались погасить пыл своих более молодых и радикальных коллег-депутатов, призвать думцев к корректности в отношении представителей императора, мотивируя это опасностью нового обострения напряженности в стране. Алексинский резко возразил «октябристам», заявив, что конфронтацию провоцируют как раз утратившие

остатки общественного доверия министры: «Мы слышали сейчас замечания, что тем, что мы не даем говорить Павлову и подобным, что тем, что мы их „топим“, мы этим угрожаем призраками кровопролития в стране. Эти слова несправедливы; напротив, все наши усилия направлены для проведения реформ мирным путем; мы должны приложить все усилия к тому, чтобы устранить эти препятствия, устранить этих безумных, слепых людей, которые цепляются за власть и которые не могут привести в исполнение то, что требует воля народа. Нет, господа, я говорю, наш долг, главный наш долг — не удерживать их и именно настоять на том, чтобы они ушли с тех мест, которые занимают не по праву и против воли народа».

После роспуска I Думы и принятия в Выборге антиправительственно-го воззвания Алексинский был привлечен к дознанию в качестве обвиняемого по ст. 129 Уголовного уложения и был отдан под особый надзор полиции. Со своей стороны, не удовлетворенный политикой конституционных демократов, Алексинский отказался сотрудничать с кадетами на выборах во II Думу и в конце 1906 года вступил в либерально-народническую Народно-социалистическую партию (после объединения «энесов» с «трудовиками» он был избран членом ЦК объединенной Трудовой народно-социалистической партии).

После недолгого парламентского опыта Алексинского более привлекает научно-педагогическая карьера. В июле 1907 года он был назначен экстраординарным профессором по кафедре хирургической патологии Московского университета, а в декабре того же года занял должность главного врача Иверской общины Красного Креста. Его авторитет в российской медицинской среде неуклонно растет: Алексинский был избран членом правления Общества российских хирургов.

В начале 1911 года по инициативе премьер-министра П.А. Столыпина и министра образования Л.А. Кассо начинается правительственный поход против «университетской вольницы»: правительство посчитало именно студенческую среду главным источником сохраняющейся крамолы. Во все университеты был разослан циркуляр, предписывающий «принять меры для установления действительного надзора за учащимися». Далее следовало предупреждение, что неисполнение этих требований «приведет общегосударственную власть к необходимости принятия особых мер к упорядочению внутренней жизни высших учебных заведений». Временно запрещались все собрания на территории университетов, что не только наносило удар по принципам их автономии, но и было равнозначно запрещению всех, даже легальных студенческих организаций. Волнения молодежи усилились, и на территорию некоторых университетов была введена полиция.

28 января ректор Московского университета А.А. Мануйлов и его заместители П.А. Минаков и М.А. Мензбир подали в отставку. В ответ Высочайшим указом все трое были не только уволены с постов, но и отрешены от профессорских должностей. В знак солидарности 3 февраля подали

«Безумный опыт насильственного переворота довел до агонии государственный организм России...»

в отставку несколько выдающихся профессоров Московского университета (В.И. Вернадский, Н.А. Умов, В.А. Хвостов, С.А. Чаплыгин, Г.Ф. Шершеневич, Д.М. Петрушевский, А.А. Эйхенвальд) и большая группа приват-доцентов. Подал в отставку и профессор медицинского факультета Иван Алексинский.

Несмотря на все зигзаги судьбы, Алексинский через всю жизнь пронес горячую любовь к Московскому университету: в январе 1930 года, уже в эмиграции в Париже, он станет членом президиума Юбилейного комитета по празднованию 175-летней годовщины со дня его основания. А пока, в 1911 году, отлученный от университета, он продолжил свою преподавательскую работу на медицинском отделении Высших женских курсов (здесь училась пошедшая по стопам отца дочь Алексинского Надежда), сочетая профессорскую деятельность с активной практикой в больнице Иверской общины. Большую известность в Москве получила и частная хирургическая клиника Алексинского. В 1913 году он председательствовал на VIII съезде российских хирургов.

В начале Первой мировой войны И.П. Алексинского призвали на военную службу: он заведовал медицинской частью Красного Креста сначала на Юго-Западном фронте, а затем в тыловых частях, активно работал в качестве главврача клиники Иверской общины, превратившейся, по сути дела, в военный госпиталь.

После Февральской революции Алексинский вернулся в Московский университет и был зачислен на должность профессора по кафедре хирургической патологии. Вскоре на него были возложены еще и обязанности директора университетской андрологической клиники. Когда в начале октября 1917 года низший медицинский персонал московских больниц и клиник, подпавший под влияние большевистских агитаторов, объявил забастовку, Алексинский решительно выступил против, считая бесчеловечным отказ санитаров оказывать помощь больным и раненым.

Ивану Алексинскому довелось сыграть активную роль в деле сопротивления большевистскому перевороту в Москве в октябре — ноябре 1917 года. Как известно, главную силу этого сопротивления составила московская молодежь: юнкера Александровского и Алексеевского училищ, учащиеся школ прапорщиков и кадетских корпусов, гимназисты старших классов, студенты, курсистки. Руководил антибольшевистской борьбой Комитет общественной безопасности во главе с председателем Московской городской думы, городским головой доктором В.В. Рудневым. (В 1900–1902 годах Руднев учился в Москве на медицинском факультете и посещал лекции и семинары тогда еще приват-доцента Алексинского; доучиваться Рудневу — после ареста и ссылки — пришлось уже в швейцарском Базеле.) В эти драматические дни врач Алексинский снова оказался «на передовой», прошедшей на этот раз через самый центр Москвы. Его частная клиника, равно как и больница Иверской общины, были превращены в госпитали, и Алексинский ежедневно лично делал сложные операции...

2 ноября 1917 года, после кровопролитных боев, Комитет общественной безопасности капитулировал, на следующий день отряды большевистского Военно-революционного комитета вступили в Кремль. Начались репрессии; приостановить их на некоторое время смог проходивший тогда в Москве Поместный собор Русской православной церкви, избравший своего патриарха. На заседании Собора 11 ноября было оглашено следующее обращение: «Священный Собор во всеуслышание заявляет: довольно братской крови, довольно злобы и ненависти... Победители, кто бы вы ни были, и во имя чего бы вы ни боролись, не оскверняйте Россию пролитием братской крови, умерщвлением беззащитных, мучительством страждущих».

Благодаря посредничеству Церкви 13 ноября удалось провести похороны жертв большевистского переворота. В девять часов утра в церкви Большого Вознесения у Никитских ворот началось отпевание. Надгробную речь произнес митрополит Евлогий (Георгиевский). В своих мемуарах он потом напишет: «Помню тяжелую картину этого отпевания. Рядами стоят открытые гробы... Весь храм заставлен ими, только в середине — проход. В гробах покоятся, словно срезанные цветы, молодые, красивые, только что расцветшие жизни: юнкера, студенты. У дорогих останков толпятся матери, сестры, невесты... Я был потрясен. В надгробном слове я указал на злую иронию судьбы: молодежь, которая домогалась политической свободы, так горячо и жертвенно за нее боролась, готова была даже на акты террора, пала первая жертвой осуществившейся мечты».

Около полудня все улицы, прилегающие к Никитским воротам, были запружены народом. Трамвайное движение было перекрыто. Траурную процессию возглавили архиереи и хор певчих; за ними на руках несли некрашенные гробы, накрытые только еловыми ветками и скромными букетами белых хризантем. Венков не было. Погода в тот день, по рассказам участников, была ужасной: пронизывающий ветер, мокрый снег, слякоть... Вдоль Тверского бульвара, через Страстную площадь и далее по Тверской улице и Петроградскому шоссе огромная процессия направилась на кладбище села Всехсвятского (в районе нынешних Песчаных улиц). Это было известное в Москве братское кладбище для павших в войне воинов и сестер милосердия, созданное в начале Мировой войны по инициативе великой княгини Елизаветы Федоровны. Иван Алексинский произнес первую речь на траурном митинге; вслед за ним выступил низложенный большевиками городской голова Руднев. (Сегодня на сохранившемся участке кладбища у храма Всех Святых рядом со станцией метро «Сокол» можно увидеть мемориальный крест с надписью: «Юнкера. Мы погибли за нашу и вашу свободу».)

Спустя несколько месяцев после большевистского переворота до Москвы начали доходить подробности мученической гибели членов императорской фамилии. Особую боль у Алексинского вызвало известие о зверском убийстве великой княгини Елизаветы Федоровны (она была живой сброшена большевиками в старую шахту под Алапаевском) — покрови-

«Безумный опыт насильственного переворота довел до агонии государственный организм России...»

тельницы Иверской общины и личного друга Алексинского, которая неоднократно ассистировала ему простой медсестрой при хирургических операциях.

В начале 1919 года Алексинский выехал из Москвы на юг, в расположение Добровольческой армии А.И. Деникина, работал хирургом в военных госпиталях. В конце 1920 года вместе с отступающими войсками П.Н. Врангеля эвакуировался из Крыма в Константинополь. В первые годы эмиграции он снова активно занялся политикой. Алексинский стал одним из ближайших политических соратников и личных друзей генерал-лейтенанта барона Врангеля, был членом Политического объединенного комитета, затем вошел в состав Русского совета — российского правительства в изгнании.

Русский совет, по замыслу Врангеля, был призван осуществить «преemptивность русской власти в единении главнокомандующего с общественными силами, представляющими русскую национальную мысль». При этом в соответствии с воззванием, выпущенным в штаб-квартире Врангеля на стоящей в константинопольской бухте яхте «Лукулл», создание Русского совета должно было «исключить возможность навязать будущей России всякое единоличное решение, решение, не поддержанное русской национальной мыслью».

Русский совет открылся 5 апреля 1921 года в зале русского посольства в Константинополе. Один из участников заседания, В.В. Шульгин, позднее вспоминал: «Русское посольство. Там есть шикарный вестибюль с белыми колоннами. Так вот там это было... Торжественный молебен. Архиерейское служение. Народом (и каким — elite!) залито всё между колоннами, и даже величественная лестница в цветах... Голос диакона, журчащего священные слова, словно из глубины Китеж-Града; золототканая парча, говорящая о сказке, Боге и Родине; кадильный дым — как струящаяся молитва, и звуки молитвы, как кадильный фимиам... Стройные ряды молодых лиц, и высоко над ними и над всеми изящный профиль Главкома... И кругом все... все, кто верует в Бога и Россию... и даже некоторые неверующие... Потом началось заседание. Торжественное заседание. За столом, крытым сукном, — только что родившийся Русский Совет; кругом — приглашенные... Речи... Главком говорит смесью светского человека и фронтовика. Выговор салонный, а фразы скандируются в короткие и протяжно заканчивающиеся возгласы — чтобы далеко было слышно и рядом... Пока идет спокойное изложение, доминирует „светскость“... Затем, когда начинаются призывы к сопротивлению... к мужеству... к борьбе... фронтовые нотки явственно врываются в „салонность“... Пахнет штыками, длинными рядами замерших войск, шелестящими знаменами, нависшими, как приближающийся прилив, „ура“... — Здорово, орлы! Да поможет Бог всем нам и России!»

В Русский совет вошли избранные представители от бывших членов обеих палат парламента (И.П. Алексинский, граф А.А. Мусин-Пушкин), от земских деятелей (М.Ф. Малинин, В.М. Знаменский), от союзов торговли и промышленности (Н.А. Ростовцев, Т.А. Шамшин). Состав избранных

был дополнен «членами по назначению», которые были делегированы в Совет лично бароном Врангелем: В.В. Шульгин (монархист, условно от «правых»), князь П.Д. Долгоруков (кадет, от «центра»), Г.А. Алексинский (бывший социал-демократ, однофамилец И.П. Алексинского, от «левых»). С совещательным голосом в Совет вошли генералы врангелевской армии А.П. Кутепов, М.А. Фостиков, П.А. Кусонский и др. Позднее Совет был дополнен такими видными общественными деятелями, как Н.Н. Львов и А.И. Гучков.

Иван Павлович Алексинский был избран «старшим товарищем» (первым заместителем) председателя Совета П.Н. Врангеля. В своей большой речи Алексинский отметил, что создание Русского совета совпало с четырехлетней годовщиной начала русской революции, «ставившей Россию, как хотелось верить тогда, на путь свободного развития ее творческих сил и приведшей ее к распаду и разрушению и к позорному порабощению русского народа интернациональной шайкой безумцев и преступников». Итоги революции, по мнению Алексинского, стали катастрофическими для России: «Вместо мощного роста производительных сил страны — обнищание, вместо дружного объединения сил народа на творческой общественной и государственной работе — небывалая по жестокости гражданская война, вместо свободного народовластия — гнусная тирания... На плодородной почве бывшего политического бесправия, административного гнета, поражающего экономического неравенства и утомления войной щедро посеянные семена классовой вражды дали пышные всходы личных, групповых и классовых требований, заслонившие интересы общенародные и общегосударственные».

В речи на открытии Русского совета ярко проявился специфический ораторский стиль Ивана Алексинского — врача и политика одновременно. Его «фирменный знак» — метафоричность в описании задач антибольшевистской борьбы как сложной, почти хирургической операции, призванной спасти находящуюся на краю гибели Россию. Эгоизму и некомпетентности лидеров враждебных политических партий он противопоставляет необходимость объединения под единым руководством антибольшевистских сил и сохранения армии как главных инструментов борьбы за возрождение России: «Бессмысленные старания навязать великому народу свою партийную программу, безумный и преступный опыт насильственного социального переворота довели почти до предсмертной агонии государственный организм России. Ее могучий организм долго и напряженно боролся со злой заразой разрушения, и мы были свидетелями упорной борьбы во имя спасения от гибели русского государства... Но и с отходом последней русской армии с родной земли не окончилась борьба за жизнь России, и даже в том состоянии агонии, в котором пребывает она в настоящее время, недопустима для русского сознания утрата надежды на победу жизни над смертью... Однако и до настоящего времени среди русских граждан, потерявших русскую землю, продолжают партийные трения. И до сих пор не замолкли голоса тех, кто партийные интересы ста-

«Безумный опыт насильственного переворота довел до агонии государственный организм России...»

вит выше русского дела, и на почве партийных дрязг и трений вырастают такие уродливые явления, как исходящие от русских людей требования распылить армию». Свою речь Алексинский закончил еще одним образным сравнением, вызвавшим овации участников: «Много веков назад, в первые дни русской истории, когда русский народ находился во мраке невежества и идолопоклонства, он приносил своим свирепым богам человеческие жертвы. С берегов Босфора проник в Россию свет христианства. Теперь, когда русское государство разрушено и русский народ вымирает от голода, холода и истребления, приносится в жертву идолу Интернационала, — в это время на берегах Босфора возникает Русский совет».

Важным элементом деятельности Алексинского в качестве лидера Русского совета стало его большое турне по русским эмигрантским колониям летом — осенью 1923 года в целях сплочения эмиграции вокруг генерала Врангеля и создания под его руководством «национальной автономии зарубежной России». Алексинский посетил тогда Сербию, Болгарию, Чехию, Францию, Германию. Он, безусловно, обладал ораторским даром, а главное — тем, что сейчас принято называть харизмой. Причем харизмой в изначальном, древнем значении этого слова — «чудесным, спасительным даром». Выдающийся хирург, сделавший, по его собственным приблизительным подсчетам, не менее тридцати тысяч операций, он умел магнетически воздействовать на людей.

Судя по всему, с середины 1920-х годов политическое влияние Алексинского в эмиграции пошло на убыль. Он и сам понимал это и все больше отходил от политики в сторону профессиональной медицинской деятельности. В Париже хирург Алексинский имел большую практику, но никогда не отказывал в безвозмездной помощи неимущим эмигрантам. Долгое время он возглавлял парижское Общество русских врачей им. Мечникова, был вице-председателем совета Русско-французского госпиталя в парижском пригороде Вильжюиф. Впоследствии сотрудники Алексинского по Русско-французскому госпиталю, где он регулярно оперировал, написали такие строки: «Ежедневно сталкиваясь в продолжение многих лет с Иваном Павловичем в госпитале, мы знали, сколько тепла, сколько сердца давал этот внешне строгий человек каждому больному. Бывали случаи, казавшиеся нам безнадежными, но стоило появиться Ивану Павловичу и уверенной рукой приступить к операции, как мы становились спокойными за судьбу больного. Мы не боялись вызывать Ивана Павловича, так как знали, что где бы он ни был, в какой час дня и ночи, он спешил на наш вызов и не уходил от больного, пока не устранял причины, угрожавшие его состоянию».

Иван Павлович Алексинский и в России, а затем и в Европе имел заслуженную славу «хирурга от Бога»: слова благодарности ему можно прочесть в мемуарах представителей таких известных русских семей, как Бунины, Цветаевы, Деникины и др. Однако наиболее известными его пациентами стали два выдающихся белых генерала, личные друзья Алексинского — барон Петр Николаевич Врангель и Александр Павлович Кутепов.

24 марта 1928 года 49-летний генерал-лейтенант П.Н. Врангель неожиданно тяжело заболел в своем доме в Брюсселе. Близкие считали, что высокая температура и признаки нервного расстройства — последствия недавно перенесенного гриппа. Больного консультировали сразу несколько русских и бельгийских врачей. 30 марта из Парижа был вызван его близкий друг и соратник по Белому движению Иван Алексинский, который в тот раз не посчитал положение опасным. Однако 11 апреля, приехав во второй раз, Алексинский зафиксировал туберкулезное поражение легких: «Была какая-то скрытая инфекция (грипп?), пробудившая скрытый туберкулез в верхушке левого легкого». 15 апреля, в первый день Святой Пасхи, в состоянии барона произошло резкое ухудшение. 19 апреля Алексинский приехал в третий раз и узнал от близких Врангеля, что с ним произошел сильнейший нервный припадок: «От какого-то страшного внутреннего возбуждения он минут сорок кричал, никакие усилия окружающих не могли его успокоить».

В своих мемуарах, опубликованных позже в эмигрантском журнале «Иллюстрированная Россия», Алексинский вспоминал, что в те дни Врангель жаловался на сильное нервное возбуждение, которое его страшно мучило: «Меня пугает мой мозг... Я не могу отдохнуть от навязчивых ярких мыслей... Мозг против желания моего лихорадочно работает, голова все время занята расчетами, вычислениями, составлением диспозиций... Картины войны все время передо мною, и я пишу все время приказы, приказы, приказы...»

25 апреля 1928 года генерал-лейтенант барон Врангель скончался. 28 апреля состоялись грандиозные похороны на брюссельском кладбище Иксель. В отпевании и похоронах участвовали многие выдающиеся дореволюционные парламентарии России. Среди сотен венков был и такой: «Вождю и другу П.Н. Врангелю. И. Алексинский» с лентой цветов русского национального флага... Через три месяца прах барона перенесли в постоянный склеп на кладбище Сен-Жиль, а еще через год переправили в Белград, где он был захоронен в православном храме Св. Троицы.

В 1930 году Алексинскому пришлось стать невольным участником еще одной драмы, связанной с русской белой эмиграцией. 26 января 1930 года лидер Русского общевоинского союза (РОВС) генерал А.П. Кутепов вышел из своей квартиры на улице Руссе в Париже и направился пешком в воинскую церковь русского Союза галлиполийцев, где он, однако, так и не появился.

Тщательное расследование показало: примерно на полдороге к генералу подъехали два автомобиля и какие-то люди затолкали его в машину.

Через несколько часов похожие автомобили видели на одном из пляжей между Кобургом и Тревиллем на берегу Ла-Манша. По свидетельству очевидцев, некий продолговатый предмет был погружен на моторную лодку и отправлен на стоявший неподалеку советский пароход «Спартак», неожиданно ушедший из порта Гавра днем раньше...

Версия о похищении лидера РОВСа агентами советских спецслужб стала тогда преобладающей. В комментариях не было недостатка; в числе

«Безумный опыт насильственного переворота довел до агонии государственный организм России...»

прочих обратились и к Алексинскому, хорошо знавшему и неоднократно лечившему генерала. Оценка выдающегося врача была более чем пессимистична: по его мнению, Кутепова, скорее всего, уже нет в живых, так как из-за тяжелого фронтового ранения в грудь организм генерала не мог вынести анестезии, а потому применение похитителями эфира или хлороформа могло оказаться для него смертельным...

Драматическое похищение генерала Кутепова (в 1937 году большевистскими агентами будет похищен новый руководитель РОВС генерал Е.К. Миллер) заставило многих снова вспомнить необычные обстоятельства смерти барона Врангеля. Вспомнили, что незадолго до странной болезни в доме Врангеля появился якобы брат вестового барона, Я. Юдихина, о котором тот ранее никогда не вспоминал. «Брат» служил фельдшером на советском судне, стоявшем в порту Антверпена, и прожил в доме Врангеля всего одни сутки, после чего исчез. На следующий день барон заболел...

В своих мемуарах, надиктованных уже после Второй мировой войны, В.В. Шульгин добавил важную информацию о подлинной позиции И.П. Алексинского по поводу «странной болезни» Врангеля. Шульгин вспомнил: «Алексинский допускал, что Врангелю дали отравленный черный кофе. Отравленный особым ядом: теми же бациллами, которыми он болел». Если это так, то позиция Алексинского в период болезни Врангеля и сразу после его смерти становится более понятной: опытейший врач прекрасно понимал «ненормальность» болезни, но не считал возможным говорить об этом ни умирающему другу, ни его близким, ни — тем более — поддерживать в средствах информации деморализующую эмиграцию версию о «происках вездесущих большевиков».

Можно только догадываться, что испытывал И.П. Алексинский, видя, как один за другим уходят в могилу или бесследно исчезают близкие люди, с которыми он связывал перспективы борьбы за возрождение России. Вслед за Врангелем в 1929 году на своей вилле под Ниццей скончался великий князь Николай Николаевич; в 1930 году — князь Григорий Николаевич Трубецкой, мыслитель и дипломат, человек, очень близкий к Алексинскому...

Однако самая большая трагедия произошла в конце 1929 года. 27 ноября скончалась от быстротечной чахотки любимая дочь и ближайшая соратница Ивана Павловича Надежда Ивановна Алексинская. Во время Мировой войны она, еще студентка, работала сестрой милосердия рядом с отцом; диплом врача получила в 1917 году, снова работала во фронтовых госпиталях по распределению. Зимой 1920 года перешла границу, стремясь на Балканы, поближе к отцу, четыре года проработала врачом в русском госпитале в Панчеве (Сербия). Потом перебралась в Париж, где работала вместе с отцом в Русско-французском госпитале в Вильжюиф и в их семейной клинике в Нейи. Профессор клиники С.С. Абрамов уже после ее кончины вспоминал, как однажды Надежда Алексинская принесла ему для консультации образцы мокроты якобы одного из пациентов

(а на самом деле свои собственные), спокойно выслушала приговор. Через четыре месяца ее не стало...

Отпевание прошло в парижском православном соборе св. Александра Невского на улице Дарю; похоронили Надежду Алексинскую на кладбище в Нейи. Видный деятель эмиграции, бывший депутат трех дореволюционных дум Н.Н. Львов был поражен тем, сколько разных людей, ранее никогда в жизни не общавшихся, пришло на похороны: «Храм на рю Дарю был переполнен молящимися. И старые, и молодые, и жены, и дети — все растроганные, все в слезах. Хоронили не крупного общественного деятеля, не заслуженного государственного человека, не знаменитого писателя и художника. Хоронили молодую русскую женщину».

В 1930-е годы Иван Павлович Алексинский постепенно сворачивает медицинскую практику во Франции, перестает участвовать в светской и политической жизни эмиграции. Последний раз его видели на публике 16 августа 1936 года — в тот день в Париже проходила панихида по скончавшемуся в Сербии митрополиту Антонию (Храповицкому). В конце 1936 года Алексинский неожиданно для всех переезжает в Касабланку (Марокко), где становится председателем церковной общины при церкви Успения Божьей Матери.

Первые группы русских приехали на территорию Марокканского султаната, находившегося под протекторатом Франции, в 1922–1923 годах из тунисского порта Бизерта, где нашли пристанище моряки эвакуированного из Крыма врангелевского флота. К началу 1930-х годов в Касабланку приехали еще несколько сот русских, которые, не найдя хорошей работы во Франции, поддались рекламе об «обетованной земле» в Северной Африке. На деле жизнь большинства русских в Марокко была не из легких. Митрополит Евлогий (Георгиевский), бывший там проездом, написал об этом в своих мемуарах: «Русские здесь служат преимущественно землемерами на отвоеванных у арабов участках. Условия работы трудные. Живут в палатках под угрозой налетов арабских племен, под страхом быть растерзанными шакалами или погибнуть от укуса змей, скорпионов...»

В 1927 году Русской православной церковью в Марокко был прислан священник Варсонофий (Толстухин), который обосновался в Рабате. К 1935 году и в Касабланке, среди членов русской общины, возникла идея создания своей церкви. Первоначально оборудовали часовню в обычном барачном помещении, а после приобретения участка земли началось строительство храма в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Именно в это время и появился в Касабланке Иван Павлович Алексинский, который откликнулся на призыв проживавшей в Марокко хорошо ему известной княгини В.В. Урусовой (так же как и он, работавшей в Первую мировую войну начальницей санитарного отряда Красного Креста). Чуть позже в Марокко перебрались родственники Алексинского — сестра Софья и ее муж, адмирал русского флота А.И. Русин, кавалер французского ордена Почетного легиона. В самом начале Второй мировой войны в Касабланке появились и другие близкие знакомые Алексинского — дочь

«Безумный опыт насильственного переворота довел до агонии государственный организм России...»

княгини В.В. Урусовой Варвара вместе с мужем, бывшим полковником Генштаба, соратником барона Врангеля по Белому движению А.А. Подчертковым, который стал руководителем русской марокканской колонии.

В Касабланке Алексинский жил скромно, занимался в основном делами церковной общины, оказывал медицинскую помощь, часто безвозмездную, русским эмигрантам, иногда оперировал... Он умер в Касабланке 26 августа 1945 года от брюшного тифа (болезни, от которой он за свою жизнь спас сотни людей) и был похоронен на местном христианском кладбище Бен М'сик. В 2007 году останки нескольких десятков русских эмигрантов, в том числе Алексинского, Русина и Подчерктова, были перезахоронены на этом же кладбище на специальном участке, получившем название «Русский некрополь».

СЕРГЕЙ
ИВАНОВИЧ
ЧЕТВЕРИКОВ

«Самодержавие
на Руси не должно
отождествляться с правом
царевых слуг не считаться
с мнением народа...»

16 декабря 1929 года в парижской эмигрантской газете «Последние новости» появилось сообщение о кончине в Швейцарии известного московского фабриканта и политического деятеля Сергея Ивановича Четверикова. «Это был новый тип русского промышленника, — писал в некрологе его давний знакомый, бывший московский городской голова Н.И. Астров. — Высокоодаренный, хотя официально имел только диплом реальной гимназии, европейски просвещенный, сам блестящий музыкант и тонкий ценитель искусства... Культурный предприниматель, он знал и утверждал, что промышленная деятельность — общегосударственное дело».

Сергей Иванович Четвериков (1850–1929) — представитель третьего поколения московской купеческой династии. Его отец, Иван Иванович (1817–1871), руководил суконной фабрикой, основанной дедом, Иваном Васильевичем «Большим». Мать, Анна Дмитриевна, урожденная Самгина (1832–1880), принадлежала к известной фамилии колокольных дел мастеров. Иван Иванович был пожалован званием потомственного дворянина, которое перешло к его детям. Принадлежность к дворянскому сословию, впрочем, никак не повлияла на карьеру Сергея Ивановича, который на протяжении всей жизни оставался верен предпринимательскому поприщу.

С юности он проявил себя человеком разносторонне одаренным, особенно отличался способностями к музыке. Музыка осталась любимым увлечением коммерсанта, в течение сорока лет состоявшего членом Русского музыкального общества. В 1867 году он окончил Московскую 3-ю реальную гимназию, выпускники которой, в отличие от гимназии классической, не имели права поступления в университет. На этом формальное образование пришлось завершить, однако привычка к самообразованию и вдумчивому чтению сделала Сергея Ивановича одним из самых образованных представителей московского делового мира.

В Первопрестольной он пользовался заслуженной репутацией человека безукоризненной честности. После трагического самоубийства отца, запутавшегося в долгах, двадцатилетний юноша возглавил семейное предприятие и оставался его бессменным руководителем на протяжении

почти полувека, вплоть до 1918 года. Суконная фабрика в селе Городищи Богородского уезда Московской губернии стала делом всей его жизни. Эта мануфактура, одна из ведущих в стране, возникла в 1831 году; на ней было занято около 1 тыс. рабочих; основной капитал к 1914 году составлял 1 млн рублей. После кончины отца кредиторы не стали предъявлять претензий к наследнику, однако со временем он сам разыскал заимодавцев или их потомков и вернул отцовские долги. Процедура затянулась на долгие тридцать шесть лет, но хозяин Городищенской фабрики не успокоился, пока не рассчитался со всеми до копейки. Хотя честность в расчетах считалась делом обычным в среде московского купечества, «четвериковская» щепетильность по отношению к родительским долгам вошла в Москве в поговорку и высоко подняла реноме фабриканта среди коллег по бизнесу.

Не менее прославили его имя и реформы, осуществленные на собственной фабрике. Глава семейного дела не только технически переоборудовал ее по западноевропейским стандартам (еще до кончины отца он успел побывать на лучших европейских фабриках), но и, что было тогда в новинку, полностью пересмотрел систему отношений хозяина с рабочими. Четвериков искренне желал создать им нормальные условия существования и даже сделать их не просто наемниками, но — компаньонами. Первым в России он сократил рабочий день с 12 до 9 часов без сокращения заработной платы, отменил ночные смены для женщин и подростков, ввел сдельную оплату. Преобразования привели не к падению производства, как пугали консерваторы, а, напротив, к значительному его подъему за счет роста производительности и рациональной организации труда. Молодого человека стали вызывать в Петербург в качестве эксперта правительственных комиссий по «рабочему вопросу», его инициативы сыграли свою роль в реформировании фабрично-заводского законодательства империи.

Четвериков выступил также пионером в деле внедрения американской системы «копартнершипа» (буквально — «партнерства»), т.е. участия рабочих в прибылях фирмы. В начале XX века эта новаторская и перспективная для России система была успешно применена на Городищенской фабрике (причем совладельцы предприятия приняли решение отчислять в пользу рабочих до 30% чистой прибыли, ограничив собственный дивиденд 10%). Уже в эмиграции Сергей Иванович с удовлетворением отмечал, что благодаря новшеству экономических стачек на его фабрике практически не было.

Почти четверть века отдал С.И. Четвериков руководству предприятия-ми и своих родственников Алексеевых. Женившись в 1875 году на Марии Александровне Алексеевой (1856–1935), он породнился с влиятельной московской семьей, которая немало помогла ему в преодолении кризиса на Городищенской фабрике. Спустя годы Четвериков с лихвой отплатил добром за добро. В 1893 году от руки душевнобольного погиб глава этой фирмы, знаменитый московский городской голова Николай Александрович Алексеев, родной брат жены Сергея Ивановича. Четверикова пригла-

сили тогда спасти дело, и он блестяще справился с заданием, заняв место директора правления Товарищества «Владимир Алексеев» и Даниловской камвольной прядильни. Фирма «Владимир Алексеев» являлась крупнейшим поставщиком сырья для суконного производства, владела стадом мериносовых овец на Кавказе численностью 65–70 тыс. голов и контролировала половину сбыта тонкорунной шерсти на российском рынке. Усилиями Четверикова, избранного директором-распорядителем, Даниловская прядильня стала общероссийским лидером в области производства тонких высококачественных сукон. По инициативе нового главы фирмы в районе Азова была устроена шерстомойня, куда доставлялась шерсть кавказских мериносов, а также импортное сырье, поступавшее морским путем.

Однако главной своей заслугой Сергей Иванович считал перенос мериносового овцеводства с Северного Кавказа в приенисейские степи. В организованном в 1908 году по его инициативе сибирском хозяйстве к 1917-му содержалось стадо в 50 тыс. голов; московские фабрики получали оттуда шерсть, превосходившую по качеству австралийскую (Австралия была признанным мировым лидером мериносового овцеводства). Это начинание Четверикова погибло в годы Гражданской войны: хозяйство заняли красные отряды, уничтожившие элитное стадо. «С потерей своего состояния, результата пятидесятилетней деятельности, — писал он в опубликованных в эмиграции мемуарах „Безвозвратно ушедшая Россия“, — я примирился. Но уничтожение сибирского овцеводства — это рана, которую донесу до своей могилы».

Подобно многим своим собратьям из среды первостатейного московского купечества, Четвериков не ограничивался занятиями бизнесом, но активно участвовал в общественной жизни, примыкая к либерально-оппозиционному крылу. С 1880-х годов он работал в Богородском уездном земстве, затем и в Московском губернском, сблизившись с лидером земского движения Д.Н. Шиповым. Немало времени уделял он общественному служению и в самой Москве, о чем красноречиво свидетельствует перечень его официальных должностей: член Московского биржевого комитета и гласный Московской городской думы, член Совета торговли и мануфактур, Московского столичного присутствия по фабрично-заводским делам, товарищ председателя попечительного совета Московского коммерческого института и пр.

Впрочем, хотя Сергей Иванович и был активным земским деятелем, идеи земско-либеральной оппозиции об «увенчании здания», т.е. об установлении конституционализма на основе земского движения, он не разделял. По его искреннему убеждению, миссия, выполняемая земством, важна и насущна, но служить органом народного представительства оно не может, так как не выражает интересы всех слоев общества, в частности торгово-промышленных кругов.

Пик общественно-политической активности Четверикова пришелся на период революции 1905–1907 годов, когда новая генерация москов-

«Самодержавие на Руси не должно отождествляться с правом царевых слуг не считаться с мнением народа...»

ских предпринимателей открыто высказалась за политические реформы в стране на основе европейской парламентской системы. Неограниченное самодержавие, были убеждены Четвериков и его более молодые соратники (П.П. Рябушинский, А.И. Коновалов, П.А. Бурыйкин, С.Н. Третьяков и др.), должно смениться конституционно-монархическим режимом с законодательным парламентом и ответственным перед ним правительством.

На общероссийской политической сцене имя С.И. Четверикова впервые прозвучало после Кровавого воскресенья 9 января 1905 года: по его почину от имени московских торгово-промышленных кругов Николаю II была послана телеграмма с протестом против расстрела рабочих в Петербурге. А 27 января, совместно с С.Т. Морозовым и П.П. Рябушинским, он подготовил записку правительству. Умиротворить рабочих, говорилось в записке, могут только коренные политические реформы, обеспечивающие свободу слова, печати, союзов, совести. В знак признания заслуг Сергея Ивановича в деле улучшения жизни рабочих он был избран председателем комиссии по рабочему вопросу, образованной в феврале 1905 года при Московском биржевом комитете. Комиссия разработала проект о согласованных действиях фабрикантов по сдерживанию стачечного рабочего движения.

В статье «Народные избранники» («Русские ведомости», 9 марта 1905), написанной по поводу царского рескрипта 18 февраля, либеральный предприниматель выражал беспокойство по поводу возможности превращения Государственной думы в придаточный к бюрократическому строю консультативный орган. Летом 1905 года он решительно выступил против проекта законосовещательной «булыгинской» Думы, призывая требовать созыва Думы законодательной. И это требование, прозвучавшее из уст либеральной московской группы, стало одним из первых открытых политических выступлений предпринимателей. «Как и большинство русских людей, — говорилось в письме, — мы ныне полагаем, что самодержавие на Руси не должно отождествляться с правом царевых слуг в своих действиях не считаться с мнением и желанием народа».

В июле 1905 года, на одном из частных совещаний промышленников, для противодействия организации совещательной Думы Четвериков предложил неординарные меры: 1) представителям промышленности и торговли отказаться от участия в Государственной думе; 2) мешать правительству в реализации новых внутренних займов; 3) отказаться платить промысловый налог; 4) закрыть все фабрики и заводы для того, чтобы создать массовое рабочее движение. Правда, его радикальный призыв коллеги по бизнесу тогда не поддержали. В начале октября 1905 года Сергей Иванович горячо протестовал против планов правительства и части предпринимательских кругов ввести в Москве военное положение. Он был уверен, что для успокоения рабочей массы достаточно политических преобразований. «Военное же положение, — говорилось в подписанном Четвериковым обращении к московскому генерал-губернатору П.П. Дур-

ново, — в настоящее время было бы трудно поправимым бедствием. Его несомненным последствием стало бы еще большее озлобление населения». От правительства он ожидал иного — «устроения нашей жизни на началах, вполне ограждающих нас от возможности возврата к старым формам, приведшим Россию ныне на край гибели».

Либеральные чаяния Сергея Ивановича воплотились в Манифесте 17 октября 1905 года «Об усовершенствовании государственного строя», даровавшем населению империи политические свободы (слова, совести, собраний и др.). На торжественном молебне в здании Московской биржи он провозгласил славу царю, который «благо народа поставил выше сохранения прерогатив власти». В ответ раздались крики «ура!», Четвериковы стали качать. Эйфорическое настроение тех дней передает фраза из его письма брату Дмитрию от 18 октября: «Отныне мы не рабы!»

Однако последующие события показали, что до европейского конституционно-парламентского строя России еще далеко. Характерный в этом смысле эпизод привел сам Четвериков в своих воспоминаниях: когда в начале 1906 года на его фабрику был прислан отряд казаков для успокоения рабочих, хозяину «по недоразумению» достался удар нагайкой по лицу. Случай получил огласку, официальное сочувствие пострадавшему выразила Московская городская дума. Генерал-губернатор В.Ф. Джунковский посетил Четверикова с извинениями, на что тот ответил: «Всего меньше имею претензий к казаку, меня ударившему. Смотрю на него как на слепое орудие произвола, который царит на Руси, произвола, немислимого ни в какой культурной стране». А через несколько месяцев фабрикант едва не стал жертвой революционного террора: на него напала шайка «экспроприаторов», рассчитывая захватить зарплату, которую Четвериков всегда лично возил на Городищенскую фабрику. Спасли лишь расторопность кучера да счастливая случайность: нападавшие, видимо начинающие боевики, стреляли в упор, но промахнулись.

Вся дальнейшая политическая деятельность предпринимателя связана с борьбой как против произвола власти, все более забывавшей свои конституционные обещания, так и с революционной стихией. Осенью 1905 года они вместе с Павлом Рябушинским инициировали создание «умеренно прогрессивной партии», близкой по своим программным положениям к кадетам. Однако в противовес последним «умеренные прогрессисты» выступали против автономии и федерации, за «единство, цельность и нераздельность Русского государства», а также против лозунга восьмичасового рабочего дня: из-за обилия церковных праздников реализация его в России нанесла бы серьезный ущерб конкурентоспособности отечественной промышленности.

Четвериков сблизился также с лидерами «Союза 17 октября», созданного осенью 1905 года под главенством выходца из московского купечества А.И. Гучкова. Сергей Иванович был приглашен в состав Московского центрального комитета партии октябристов и возглавил в ней левое крыло. Однако осенью 1906 года, после того как Гучков одобрил введение

«Самодержавие на Руси не должно отождествляться с правом царевых слуг не считаться с мнением народа...»

военно-полевых судов (после августовского покушения эсеров-максималистов на Столыпина), Четвериков покинул «Союз» — в знак протеста. И вошел в Партию мирного обновления во главе с графом П.А. Гейденем: она была только что образована и выступала против любого террора — как революционного, так и правительственного. Фабрикант стал членом ЦК партии, отделение которой в Москве возглавлял его старый соратник по земству Д.Н. Шипов. Сергей Иванович в дальнейшем активно сотрудничал в органе мирнообновленцев — издававшемся Е.Н. Трубецким «Московском еженедельнике», регулярно публикуя статьи по текущим вопросам жизни страны. В своей публицистике он требовал от государства «доверия к обществу», выступал против интеллигентской велеречивости и призывал: «Больше дела, меньше слов».

В 1906–1907 годах С.И. Четвериков возглавлял комиссию по организации Союза фабрикантов и заводчиков; в его уставе предусматривалось, с одной стороны, образование кассы взаимной поддержки предпринимателей в случае необоснованных забастовок, а с другой — создание подобной же кассы для рабочих, уволенных со своих предприятий. В итоге власти Устав не утвердили, а его автор за излишние симпатии к рабочим оказался под негласным надзором полиции...

В 1908 году С.И. Четвериков опубликовал брошюру «Община и собственность», в целом поддержав аграрную реформу П.А. Столыпина. Однако премьер-министр был подвергнут суровой критике за склонность к административным, насильственным методам преобразований. Московский фабрикант, выходец из посадских мужиков, протестовал против бездумного разрушения крестьянской общины — этого «духовного достижения народа». Он одобрял меры по ликвидации чересполосицы, но просил оставить мужику право выбора в организации своего хозяйства: не выгонять его насильно на хутор, не лишать возможности остаться «в миру», среди односельчан. Таким образом, по его мнению, можно было создать в деревне «собственность», не разрушая «общину».

Неприятие административного произвола руководило Четвериковым и в деле с «письмом 66-ти». В начале 1911 года он собственноручно составил текст и вместе с А.И. Коноваловым стал инициатором публикации открытого письма против репрессивной политики правительства по отношению к студентам и преподавателям Московского университета. Деловые круги демонстративно отказали правительству в поддержке, и эта акция вызвала в русском обществе значительный резонанс.

В письме к Н.И. Астрову, написанном уже в эмиграции в 1926 году, Сергей Иванович подытожил свою политическую деятельность предреволюционного периода: «Я никогда не чуждался общественных невзгод и, если Вы помните, в период 1905 года стоял в первых рядах активно-прогрессивных промышленников. Телеграмма царю после расстрела 9 января была послана по моей инициативе и в моей редакции, равно протест против гонения на прогрессивную профессию, под которым стараниями А.И. Коновалова и моими было собрано 66 подписей видных лиц Москов-

ского купеческого общества, был обнародован в моей редакции. Я был председателем и той многочисленной (52 члена) комиссии, которая была учреждена для создания союза фабрикантов в борьбе с той волной забастовок, которая охватила русскую промышленность после 1905 года».

Закономерная фаза политической эволюции Четверикова — переход в созданную в 1912 году партию прогрессистов во главе с П.П. Рябушинским. Девизом нового политического объединения стал призыв к «упрочению в России конституционного строя». Сергей Иванович был избран членом Центрального комитета партии, в рамках которой консолидировались либерально-оппозиционные предпринимательские элементы, стоявшие на позициях между кадетами и октябристами. Хотя возраст и занятость ограничивали политическую активность фабриканта, он продолжал оставаться одной из «знаковых», как бы мы сейчас сказали, фигур отечественного делового мира.

Недаром летом 1915 года его персону всерьез обсуждалась в качестве кандидатуры на замещение вакантного поста министра торговли и промышленности. Стать министром ему было не суждено (сказалась, видимо, репутация либерального деятеля). Но в годы Первой мировой войны он много сделал на столь же ответственном, хотя и неофициальном посту главы Комитета помощи раненым воинам, потерявшим трудоспособность. Благодаря энергии и настойчивости своего председателя Комитет собрал и передал увечным воинам около 1,3 млн рублей. При этом Четвериковым двигало отнюдь не желание получить награду на ниве благотворительности, чем грешили некоторые «филантропы». В своих мемуарах он подчеркивал, что принципиально «отклонял всякие отличия и награды», которые ему предлагала власть.

Февральскую революцию либеральный промышленник искренне приветствовал (известно, что в марте 1917-го он пожертвовал 50 тыс. рублей «в пользу борцов за свободу»), но очень быстро ощутил, что страна погружается в пучину анархии и экономической разрухи. В газете П.П. Рябушинского «Утро России» он снова решительно критиковал популярный среди левых партий лозунг сокращения рабочего дня до восьми часов, доказывая, что «это прежде всего сокращение в среднем на 20% промышленного производства страны», т.е. мера недопустимая в военное время.

Примечательно, что, призывая рабочих нести жертвы во имя победы над врагом, Четвериков был готов поступиться и собственными интересами. По его инициативе создали комиссию по ограничению предпринимательской прибыли. «Производительные силы, — писал он по этому поводу в „Утре России“, — одинаково, как капитал, так и промышленный труд, в эту переходную экономическую эпоху должны быть в услужении страны». Суть его предложений сводилась к тому, чтобы рассчитывать прибыль не на капитал предприятия, а на его оборот (для регулирования спроса и предложения гарантировать, чтобы доведенные до минимума фабричные цены не разрослись в розничной перепродаже; излишек от чистой прибыли возвращать стране в особый фонд, финансирующий

«Самодержавие на Руси не должно отождествляться с правом царевых слуг не считаться с мнением народа...»

строительство дорог, каналов и пр.). Рекомендовалось также применять репрессивные меры в отношении фирм, не выполнивших постановления Московского биржевого общества о подписке в размере 25% от основного капитала на «Заем Свободы», который был выпущен Временным правительством для стабилизации финансового положения в стране.

В марте 1917 года Сергея Ивановича избрали членом Совета Всероссийского торгово-промышленного союза — политической организации предпринимателей, созданной по инициативе Павла Рябушинского. В апреле он занялся созданием Московской просветительной комиссии при Временном комитете Государственной думы, в задачу которой входили публикация и распространение политической литературы для противодействия агитации левых партий.

В период политического кризиса летом 1917-го в очередной раз рассматривалась кандидатура Четверикова на замещение поста министра торговли и промышленности. Он разделял идею о жестком подавлении большевистского июльского путча, а также выступал за вхождение представителей деловых кругов в состав правительства. 18 июля 1917 года состоялось соединенное заседание выборных Московского биржевого и купеческого обществ; речь шла о переговорах Временного правительства с представителями торгово-промышленного класса и партии кадетов о формировании нового кабинета. Четвериков отметил, что в условиях военного и экономического кризиса участие в работе кабинета министров — «не путь к власти и почестям, а путь великой национальной жертвы. ...Довольно этих высокопарных слов о благе трудящегося народа: грязными руками не берутся за такое чистое дело... Если правительство, правильно угадав настроение страны, объявило, что всякие попытки возврата к царизму оно будет рассматривать как преступление, то оно обязано на эту точку зрения стать и по отношению большевизма».

Летом 1917 года С.И. Четвериков возглавил «рабочую» комиссию при Московском биржевом комитете. Была подготовлена записка для Временного правительства о необходимости покончить с самоуправством фабрично-заводских комитетов, которые вмешивались в вопросы найма и увольнения, изгоняли неугодных рабочим представителей администрации и т.п., и наладить взаимодействие хозяев и рабочих на законной основе. В связи с этим предлагалось создать особый арбитражный орган — Областной фабричный комитет. В записке утверждалось, что главные причины разрухи фабричной жизни кроются не столько в расстройстве транспорта и недостатке сырья, сколько в полном падении трудовой дисциплины.

Оценивая призыв Временного правительства к борьбе с контрреволюцией, Четвериков писал в прессе: если под контрреволюцией «понимать несомненное нарастание общественного протеста против условий современной жизни, то признание ее возможности есть вместе с тем признание ложности того пути, по которому доныне вело правительство страны, и нужно иметь мужество в этом откровенно сознаться». Он афористиче-

ски обозначил сложившуюся в постфевральской России ситуацию: «Если выразить настроение страны в одной сжатой формуле, то нужно выразить его словами — так дальше жить нельзя». В пример приводились налоговые постановления кабинета Керенского, которые явились «сигналом неукротимого бегства капиталов из промышленности». Однако правительство к тому времени само находилось в параличе, и здравые идеи патриарха делового мира не были восприняты.

Сергей Иванович возлагал надежды на генерала Л.Г. Корнилова, способного, на его взгляд, восстановить порядок в стране, но после поражения корниловского выступления отошел от политики. Уже после победы большевиков, в конце 1917 года он не побоялся возглавить депутацию, ходатайствовавшую в Смольном об освобождении А.И. Коновалова и С.Н. Третьякова, которые были заключены в Петропавловскую крепость вместе с другими министрами последнего состава Временного правительства. Обращаясь к большевистским вождям, Четвериков прямо заявлял: «Ныне, когда власть Советов упрочилась, едва ли у населения получится впечатление этой силы, ограждающей себя заключением в тюрьму безвинных людей». Просьба возымела действие, и в начале 1918 года Коновалов и Третьяков были освобождены и эмигрировали из России.

Сам же ходатай оставался в Москве, примкнув к подпольной организации «Национальный центр». В письме генералу М.В. Алексею, подписанном членами «Центра», в том числе и Четвериковым, победа над большевизмом представлялась возможной в форме военной диктатуры: «Мы полагаем, что для переходного времени нужна сильная власть диктатора, но чтобы эта диктатура была приемлема для беспокойно-подозрительно настроенных масс, мы готовы... принять форму директории с военным авторитетным лицом во главе... Эта директория должна очистить территорию, установить порядок, подготовить население и дать ему новое основание для выборов в народное собрание, которое и должно установить окончательно форму правления».

Весной 1918 года руководство «Центра» переехало из Москвы в Киев, и С.И. Четвериков окончательно отошел от политической деятельности. Он откровенно бедствовал, так как потерял все свое состояние в результате национализации банков и промышленности. Волна революционного террора не миновала и его: зимой 1918-го бывший фабрикант был арестован и препровожден из своего имения в Богородскую тюрьму (почти семидесятилетнего старика заставляли там счищать снег с железнодорожных путей). После освобождения стал попадать под периодические «проверки» ВЧК, а в начале 1919 года даже провел несколько дней в камере смертников на Лубянке — в ожидании расстрела. После очередной «отсидки» Сергей Иванович потерял слух, лишившись главной радости жизни — музыки. Его дочери Марии Сергеевне в 1922 году удалось добиться разрешения забрать отца в свою семью, которая жила в Швейцарии...

В последний период своей биографии С.И. Четвериков вел уединенный, частный образ жизни. В Швейцарии он закончил работу над вос-

«Самодержавие на Руси не должно отождествляться с правом царевых слуг не считаться с мнением народа...»

поминаниями «Безвозвратно ушедшая Россия» (они вышли из печати в Берлине). Открытых дебатов о катастрофе 1917 года и перспективах большевизма, как правило, избегал. На то были свои причины: в Советской России остались сыновья — Сергей, ставший выдающимся ученым-биологом (он перебросил мост между учением Дарвина и генетикой и заложил основы эволюционной генетики), и Николай, также избравший ученую стезю (математик, специалист по статистике). Оба они отказались эмигрировать, и отец боялся причинить им вред своими публичными выступлениями в зарубежной печати.

И тем не менее Сергей Иванович не переставал размышлять о будущем родины. Объясняя причины своей «пассивности» в письме Н.И. Астрову в Прагу от 2 августа 1926 года, он подчеркивал, что «о каком-либо насильственном свержении советской власти не может быть и речи (она народу нравится)»; против большевизма нужно создать «единый мировой финансовый и экономический блок». Этим поистине пострадавшим убеждением он все же решил поделиться с общественностью и в марте 1928 года опубликовал в берлинской газете «Дни» статью «Мысли о России», подписанную инициалами «С.Ч.». Автор призывал русскую эмиграцию отказаться от идеи нового «крестового похода» против Советской России, который обернется лишь новыми потоками крови. (А в письме Н.И. Астрову от 23 марта 1928 года он добавлял: «Если я не дал в газете выражения моей неизменной ненависти к большевикам, то это оттого, что я не мог не считаться с положением моих сыновей в Совдепии».) В деле «восстановления правопорядка» в России Четвериков рассчитывал на мировое сообщество и призывал «обезвредить большевизм» с помощью экономических санкций, не нанося вместе с тем вреда простым людям. Газетная публикация, в которой не ставился знак равенства между режимом и народом («нужно переживать за русский народ, а не радоваться неудачам советской власти, которые бьют по народу, а не по большевикам»), получила сильный резонанс в эмигрантских кругах.

Незадолго до смерти С.И. Четвериков написал и переправил (неизвестно, какими путями) из Швейцарии в Москву записку на имя председателя ВСНХ В. Куйбышева с предложениями по восстановлению отечественного мериносового овцеводства. Конечно, никакого результата это обращение не дало, но сам факт говорит о глубокой любви к родине человека, который желал ей блага, несмотря на непримиримые политические расхождения с большевистским режимом.

Умер Сергей Иванович в декабре 1929 года близ города Веве, немного не дожив до восьмидесятилетия. Могила выдающегося русского промышленника находится на берегу Женевского озера, а фабрики, основанные и руководимые им, продолжают работать в современной России.

«Буржуазно мыслить
и буржуазно действовать...»

Осенью 1920 года, в канун крымской катастрофы армии Врангеля, в Париже состоялось совещание бывших российских предпринимателей, вынужденных покинуть свою родину. На повестке дня стоял вопрос о создании в эмиграции торгово-промышленного объединения, способного возродить Россию экономически после неминуемого, как тогда казалось, краха коммунистической диктатуры. Открывая совещание, его инициатор, московский финансист, промышленник и видный либеральный политик Павел Павлович Рябушинский (1871–1924) подвел итог мучительному периоду «русской смуты»: «Многие из нас давно предчувствовали катастрофу, которая теперь потрясает всю Европу, мы понимали роковую неизбежность внутреннего потрясения в России, но мы ошиблись в оценке размаха событий и их глубины, и вместе с нами ошибся весь мир. Русская буржуазия, численно слабая, не в состоянии была выступить той регулирующей силой, которая помешала бы событиям идти по неверному пути... Вся обстановка прошлого не способствовала нашему объединению, и в наступивший роковой момент стихийная волна жизни перекатилась через всех нас, смяла, размела и разбила».

Не одно поколение историков, отечественных и зарубежных, вслед за Рябушинским задается тем же вопросом: почему элите российского общества в лице, прежде всего, предпринимательских кругов не удалось предотвратить той анархически-бунтарской волны, которая обрушилась на страну в 1917 году? Слаба ли, политически и культурно неразвита была сама буржуазия, как долгое время убеждали нас советские учебники истории, или дело в объективных цивилизационных условиях развития, которые она не силах оказалась изменить?

Осенью 1917 года арестованный по обвинению в соучастии в корниловском мятеже Павел Рябушинский в газетном интервью точно подметил то двойственное (между неспособной к обновлению властью и «антибуржуйски» в массе своей настроенным народом) положение, в котором пребывал его класс и он сам на протяжении своей политической карьеры: «При старом режиме я всегда был объектом преследования со стороны администрации и теперь не сумел угодить новому правительству, как не был угоден старому». Неприятие полицейского произвола, равно как и революционного экстремизма, действительно было одним из главных

свойств натуры оппозиционного политика, представителя именитого московского купечества.

Старший сын московского хлопчатобумажного фабриканта и банкира П.М. Рябушинского (1820–1899), Павел еще при жизни отца взял в свои руки семейное дело. Формально не высшее, но вполне достойное образование (курс Московской практической академии коммерческих наук, профессиональная стажировка в Англии) обеспечило для этого необходимую подготовку. А после смерти родителя ему пришлось возглавить многочисленное семейство, в котором кроме него было еще семь братьев и пять сестер. Младшие беспрекословно подчинялись старшему в роду, так как по вероисповеданию Рябушинские были старообрядцами (принадлежали церкви на Рогожском кладбище).

В короткий срок молодой коммерсант стал заметной фигурой в деловом мире России. Он расширил фамильное предприятие — хлопчатобумажную фабрику в Вышнем Волочке Тверской губернии, на которой трудились тысячи окрестных крестьян. В 1901 году вместе с братьями приобрел у обанкротившихся хозяев Харьковский земельный банк — третий по величине акционерный ипотечный банк в стране, в 1902-м организовал Банкирский дом братьев Рябушинских, в 1912 году преобразованный в акционерный коммерческий Московский банк с основным капиталом 25 млн рублей. К 1917 году Московский банк, который владельцы рассматривали как центр притяжения российского национального капитала (в противовес космополитичному Петербургу), занял тринадцатое место в списке крупнейших банков империи. Символом мощи клана старообрядцев-финансистов стало здание банкирского дома на Биржевой площади Москвы, возведенное в 1902–1904 годах по проекту Ф.О. Шехтеля.

При помощи своего банка братья расширили сферу влияния в промышленном секторе, учредив в 1912 году Русское акционерное льнопромышленное общество. В годы мировой войны, предвидя потребность в строительных материалах, они купили несколько лесопильных заводов на Севере России, начали разведки нефтяных месторождений в районе Ухты. Всероссийскую известность принесло Рябушинским строительство в 1916–1917 годах одного из первых автомобильных заводов в Москве — АМО, из которого вырос нынешний столичный автогигант.

«Неистовую жажду дела» современники считали одной из отличительных черт представителей этого московского семейства. Они стремились вывести крестьянскую страну на путь индустриализации, они начали осваивать природные богатства России. Ими двигали широко понятые интересы народа, тождественные с потребностями «дела», вести которое можно только чистыми руками. «При всех наших делах и начинаниях, — писал один из братьев, — мы никогда не рассчитывали на ближайшие результаты нашей работы. Нашей главной целью была не нажива, а само дело, его развитие и результат, и мы никогда не поступились ни нашей честью, ни нашими принципами и на компромисс с нашей совестью не шли».

В жизни старшего Рябушинского первое место заняла политика. Его брат Владимир вспоминал в эмиграции, что переживаемый русским обществом в начале века духовный кризис сказался и на деловом мире. Возник феномен «кающегося купца» с раздвоенной душой: «Старый идеал „благочестивого богача“ кажется ему наивным; быть богачом неблагочестивым, сухим, жестким, как учит Запад, — душа не принимает». С другой стороны, в России вполне оформился тип чисто «западного» капиталиста, чуждого внутренней рефлексии: «Его не мучает вопрос: почему я богат, для чего я богат? Богат — и дело с концом, мое счастье (а для защиты от недовольных есть полиция и войска)».

В идейном отношении московские предприниматели пореформенного периода находились под влиянием славянофильства; в 1880–1890-х годах начался рост консервативно-охранительных тенденций. Однако на рубеже XIX–XX веков в деловой среде сложилась и иная идеология, выразителем которой стали Павел Рябушинский и группа его единомышленников, известных как «молодые» московские капиталисты. В противовес аполитичному в массе своей старшему поколению, они настаивали на прямом участии предпринимателей в общественной жизни страны. Такие деятели, как С.Т. Морозов, А.И. Гучков, А.И. Коновалов и др., все яснее понимали: обладающая огромным экономическим потенциалом российская буржуазия практически отстранена от выработки политического курса.

В глазах «молодых» наступивший век должен был стать в истории России веком «третьего сословия», которому предстоит завоевать подобающее место в общественно-политической жизни. «Буржуазисты», как именовали этих адептов частного предпринимательства, составляли либеральную оппозицию самодержавию: по их убеждению, государству надлежало перейти к европейским конституционно-монархическим формам правления. С другой стороны, увлеченным социалистической пропагандой рабочим разъяснялось, что лишь недавно вступившая на путь индустриального развития страна не готова к радикальным преобразованиям, что ей, говоря словами Павла Рябушинского, предстоит еще пройти «через путь развития частной инициативы».

«Как раз в последние годы (перед революцией. — Ю.П.), — писал Владимир Рябушинский, — стали выступать и заставили себя выслушивать люди, почерпнувшие в идеалах дедов веру в идею „хозяина“; но удержать лавину они, конечно, не смогли, и старый русский купец хозяйственно погиб в революции так же, как погиб в ней старый русский барин». Биография лидера московской династии дает немало пищи для размышлений о роли «хозяйственных мужиков», как любили называть себя Рябушинские, на политической арене начала XX века.

Особо отметим, что оппозиционность нового поколения подогревалась принадлежностью многих его представителей к старообрядчеству. Едва ли не самая дискриминированная конфессиональная группа в Российской империи, старообрядцы сумели сохранить религиозную самобытность, прежде всего благодаря активной предпринимательской деятельности.

«Буржуазно мыслить и буржуазно действовать...»

История накопления капитала у предпринимателей-старообрядцев, как правило, не была связана с правительственными заказами, государственным железнодорожным строительством и винными откупами. Чаще всего они занимались торгово-промышленными операциями. Тем не менее их деятельность отнюдь не носила оттенка «патриархальности», старомодности, как утверждала советская историография. Напротив, представителей деловых кругов старообрядчества отличала склонность к инновациям, умение ставить масштабные экономические задачи, использовать новейшие технологии и финансовые инструменты. Появление в начале XX века таких мощных финансово-промышленных групп, как фирма Рябушинских, свидетельствовало о том, что московский «старообрядческий» капитал, сохраняя свою специфику, вышел на современный уровень предпринимательства. Одновременно он начал формировать собственную идеологию, сочетавшую западный либерализм и традиционные ценности.

К реализации своей программы Павел Рябушинский и его кружок «молодых» либеральных бизнесменов приступили в 1905 году, когда страна переживала острый политический кризис. «Русские торговцы и промышленники, — говорилось в одном из их воззваний, — не видя в существующем государственном порядке должной гарантии для своего имущества, для своей нормальной деятельности и даже для своей жизни, не могут не объединиться на политической программе с целью содействовать установлению в России прочного правопорядка и спокойного течения гражданской и экономической жизни». Предприниматели призывали верховную власть начать необходимые реформы, даровав стране законодательную Думу — аналог европейских парламентов. И вместе с тем прямо высказались против революционных методов давления на правительство, против «революционно-насильственного осуществления участия народа в государственном управлении».

Манифест 17 октября 1905 года Павел Павлович встретил восторженно. Он становится инициатором создания «умеренно прогрессивной» партии, стоящей на проправительственной платформе. Но едва смолкли отзвуки декабрьских боев в Москве и правительство овладело ситуацией, как стало очевидно, сколь мало конституционных норм внесено в русскую повседневность. «После 17 октября, — писал позднее Рябушинский, — считая, что цель достигнута, буржуазия перешла на сторону правительства. В результате одолело правительство, и началась реакция, сначала стыдливая, а потом откровенная». С этого момента оппозиция правительственной реакции составляет стержень всей его политической деятельности.

В 1906 году Рябушинский стал членом Партии мирного обновления, основанной графом П.А. Гейденом. Либеральные представители московской буржуазии не принимали революционных методов, но и с открытой реакцией кабинета П.А. Столыпина в виде разгона I Думы и введения военно-полевых судов они также не желали мириться. «Партия, — про-

возглашал кредо мирнообновленцев один из ее вождей князь Е.Н. Трубецкой, — исходит из признания безусловной ценности человеческой личности... С этой точки зрения она безусловно осуждает всякий кровавый террор, как правительственный, так и революционный... В отличие от „Союза 17 октября“, она представляет собой партию непримиримо-опозиционную по отношению ко всякому антиконституционному правительству и с этой точки зрения решительно отказывается поддерживать нынешнее министерство».

Павлу Рябушинскому пришлось испытать «прелести» столыпинской реакции и на себе. В октябре 1906 года, ввиду «вредного направления», была закрыта основанная им «Народная газета», позволившая себе критически отозваться о некоторых царских сановниках. (Вероятнее всего, прекращение старообрядческого издания, у истоков которого стоял либеральный миллионер, стало решающим толчком для его перехода на позиции мирнообновленчества.) Столь же печально закончился опыт с изданием газеты «Утро», закрытой властями весной 1907 года. В апреле Павел Павлович в административном порядке, по распоряжению генерал-губернатора, был выслан из Москвы на том основании, что «издававшаяся на средства Рябушинского газета „Утро“, несмотря на сделанные ему неоднократные предостережения, продолжала держаться противоправительственного направления».

Но и это не остановило оппозиционера. С конца 1907 года Рябушинский издает газету «Утро России» — орган либерально-оппозиционных предпринимателей. Этот печатный орган власть закрыть уже не посмела. На его страницах под лозунгом «Купец идет!» была развернута настоящая кампания против полицейского произвола и засилья скудеющего дворянства во властных структурах. «Русское купечество, — писал Рябушинский, — представляет собой в такой мере развитую экономическую силу, что не только может, но и должно обладать соответствующим политическим влиянием». Предприниматель вступил в политическую сферу общественной жизни, куда его раньше не допускали: «Купец встал из-за прилавка и идет на государственную службу вместе с другими сословиями. Дайте ему место и сумейте отнестись с уважением к новому сочлену на государственной работе».

«Буржуазно мыслить и буржуазно действовать...»

А.И. Гучков делал ставку на блокирование аграриев и промышленников в рамках октябристской партии. Рябушинскому и деятелям его круга такой альянс представлялся исторически обреченным. «В настоящее время положение таково, — подчеркивалось в „Утре России“, — что на политику будет оказывать влияние или аграрный, или торгово-промышленный класс... Союз аграриев с торгово-промышленным классом был бы противоестественным». Подчеркивая генетическую связь русских «хозяев» с народом, газета доказывала, что буржуазия как новая общественная сила «не мирится с всепроникающей полицейской опекой и стремится к эмансипации народа»; что «народ-земледелец никогда не является врагом купечества, но помещик землевладелец и чиновник — да»; что,

наконец, «жизнь перешагнет труп тормозившего ее сословия с тем же равнодушием, с каким внешняя вода переливает через плотину». Противопоставление буржуазии и правящей дворянско-чиновничьей бюрократии стало излюбленной темой и публичных речей Рябушинского.

Немало шума в общественных кругах наделал его тост на приеме, устроенном в 1912 году московским купечеством в честь премьер-министра и министра финансов В.Н. Коковцова. Предложив петербургскому сановнику, который специально посетил Первопрестольную для встречи с деловой элитой, «убрать рогадки с путей жизни», Павел Павлович провозгласил тост «не за правительство, а за русский народ, многострадальный и ожидающий своего истинного освобождения».

Вышедшие из народной массы «хозяйственные мужики» призывали освободить частную инициативу от чиновничьей опеки. «Дело не в одних капиталах, — говорил Рябушинский на одном из собраний своего кружка, — капиталы найдутся, дело в условиях, которые настолько тормозят дело, общественную и частную инициативу, что теряется всякое желание и аппетит к делу. Всюду полицейская опека и попечительство, всюду грани и вмешательство».

Имя Павла Рябушинского получило известность в обществе в связи с так называемыми экономическими беседами, которые с ноября 1908 года проходили в его собственном особняке на Пречистенском бульваре (ныне здание занимает Российский фонд культуры), а также в доме его политического союзника А.И. Коновалова на Большой Никитской. Организованные Коноваловым и Рябушинским при близком участии П.Б. Струве встречи имели цель сблизить деловых людей с ведущими интеллектуальными силами для выработки программы экономического развития страны.

Открыл заседания П.Б. Струве, выступивший с докладом «Национальная экономика и интеллигенция». Автор, страстный апологет частнопредпринимательской инициативы, выбрал русскую интеллигенцию за ее недоброжелательное и предвзятое отношение к капитализму и капиталистам, за преобладание в ее мировосприятии «распределительного» начала перед «производительным». И призвал интеллектуалов учиться ценить высокую производительность и экономическую культуру.

Выдвинутый Струве лозунг «обуржуазивания интеллигенции» поддержали Н.А. Бердяев, А.С. Изгоев, С.А. Котляревский и другие публицисты различных партийных направлений. «Экономические собеседования» стали примечательным знаком изживания интеллигенцией традиционного предубеждения по отношению к «аршинникам». Московское начинание приветствовали и петербургские лидеры Совета съездов представителей промышленности и торговли. В докладе на IV Всероссийском съезде промышленности и торговли в ноябре 1909 года А.А. Вольский отозвался о нем как об «одном из поворотных пунктов русской экономической мысли от бесплодных скитаний в области социальных мечтаний к тем вопросам, которые непосредственно и жизненно связаны с хлебом насущным».

По ходу обсуждения П.Б. Струве убеждал также торговцев и промышленников в необходимости преодолеть узкие рамки классовых интересов и мыслить в национальном масштабе. Его воззрения как нельзя лучше отвечали устремлениям организаторов «бесед». Отечественным индустриалам, выходявшим на дорогу общественной деятельности, необходима была поддержка со стороны интеллигенции. «Правительство будет прислушиваться к голосу промышленности в широких вопросах политики, — подчеркивал один из участников заседаний, — когда оно почувствует в представителях промышленности силу, и для этого они должны сойтись с общественными элементами и определенным образом, с определенной программой войти в политическую жизнь страны. Общественные и промышленные элементы одинаково заинтересованы в вопросе поднятия экономических сил страны, внутреннего рынка и потребительских масс. Это создаст почву для сближения и контакта между ними».

В то же время контакты с либеральной общественностью призваны были политически воспитывать и консолидировать торгово-промышленные круги на платформе западного либерализма. «Нам, очевидно, — писал П.П. Рябушинский одному из участников «бесед», — не миновать того пути, каким шел Запад, может быть, с небольшими отклонениями. Несомненно одно, что в недалеком будущем выступит и возьмет в руки руководство государственной жизнью состоятельно-деятельный класс населения. С этой точки зрения мне и представилось экономическое собеседование как первый зарождающийся политический клуб, и, как за таковыми, за собраниями можно признать пользу общесловную».

Предприниматель все громче заявлял о себе на общественном поприще. «Экономические беседы» способствовали расширению кругозора деловых людей, укрепляли в убеждении, что именно им, а не отживающему дворянству предстоит сыграть роль авангарда российской истории. Были полезны они и для интеллектуального мира, который убеждался в творческой созидательности предпринимательской инициативы. Широко освещаемые в прессе экономические собеседования получили большой резонанс. Недаром к ним враждебно отнеслись как в правительственных сферах, недовольных претензиями московских толстосумов на участие в выработке государственной экономической политики, так и в социалистической леворадикальной среде, опасавшейся роста популярности буржуазии в обществе под влиянием «братания науки и миллионов», как называл «беседы» В.И. Ленин.

В 1912 году, во время избирательной кампании в IV Государственную думу, возникло новое политическое течение, к которому примкнул и Павел Рябушинский. «Внепартийной группой прогрессистов» именовали себя участники коалиции, объединившей деловые круги; она занимала положение между слишком левыми кадетами и чересчур проправительственными октябристами. Модель общественного развития прогрессистов предполагала: создание сильного правового государства и оптимально функционирующей рыночной экономической системы; проведение ком-

«Буржуазно мыслить и буржуазно действовать...»

плекса политических и социальных реформ; осуществление активной внешней политики, основным вектором которой должна стать последовательная защита национальных интересов страны. Их политический идеал сводился к конституционно-парламентскому монархическому режиму, основанному на четком разделении трех ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной, — независимых друг от друга, но вместе составляющих единый организм правового государства. От кадетской программу прогрессистов отличали: принципиальный отказ от лозунга всеобщего избирательного права, уклончивость в вопросе о равноправии национальностей и повышенное внимание к «защите народно-хозяйственных интересов».

Учитывая исторический опыт западноевропейских стран, прогрессисты предлагали собственный вариант экономического развития страны, изложенный на страницах «Утра России». В условиях капиталистической модернизации, по мысли Рябушинского и его единомышленников, должно быть коренным образом изменено соотношение между аграрным и промышленным секторами. «Вся история доказывает одно: как только наметилась противоположность интересов между классами землевладельцев и классом торгово-промышленным, знамя прогресса никогда не переходило в лагерь землевладельцев». Поэтому главная задача всех прогрессивных групп российского общества — «борьба с аграриями и аграрной идеологией». Приоритетами новой системы ценностей становились создание индустриальной частнопредпринимательской экономики и выделение центральной фигуры общественного прогресса в лице либерально мыслящих представителей предпринимательского класса.

Возникает естественный вопрос: в какой мере предложенный путь развития, повторяя фазы, пройденные другими народами, сохранил бы при этом национальную специфику? Ответом является выраженный старообрядческий дискурс, который присутствовал в идеологии и практической деятельности лидеров российской буржуазии начала XX века. Решение назревших проблем виделось П.П. Рябушинскому в синтезе староверческих традиций национальной культуры с институтами современного капитализма и гражданского общества. Этот тезис не был утопичен, так как подразумевал реальные цели — освобождение народа из-под гнета бюрократии и успешную интеграцию в современную рыночную экономику. Прогрессисты пошли дальше других либералов в попытках вывести страну на путь буржуазных реформ — единственный вариант развития, который в тех условиях мог предотвратить революцию. Их альтернативная модель национального развития отвергала имперскую традицию централизованной модернизации и апеллировала к национальным духовным традициям.

Подчеркнем, что прогрессисты оставались в целом правее кадетов, которые в их глазах были партией, чуждой интересам деловых кругов, с выраженными антибуржуазными, земско-помещичьими и интеллигентскими традициями. Если «Утро России» воспевало купца и его истори-

ческую миссию, то кадетская «Речь» писала о «политическом индифферентизме» буржуазии, обличая московский капитал как «самую косную, самую инертную разновидность русского капитала». В ответ газета Рябушинского подчеркивала, что идущий на «государственную службу» купец изверился не только в правительстве, но и в «представителях буржуазного социализма», т.е. в кадетях, неспособных защитить его интересы, которые «московская группа» отождествляла с общенациональными.

Излюбленная мысль Павла Рябушинского (ей он оставался верен до конца жизни) — мысль об исторической вине дворянства перед русским народом: «дворянский класс, давший России писателей и поэтов, наслаждался жизнью, но совершил великий и тяжкий грех тем, что не приблизил к культуре толщи русского народа». Антидворянский пафос московского миллионера и его веру в созидательные способности своего класса разделяли и другие предприниматели. «Ни одно другое сословие, — писал С.И. Четвериков, — не выдвинуло столько творческих сил, как сословие купеческое. Особенно бросается это в глаза, если сопоставить сословие дворянское, которое, за небольшим исключением, только поставляло офицеров в гвардию и через лицей и школу правоведения „помпадуров“, из бесчисленного множества которых ни один не оставил имя, запавшее в благодарную память народную».

«Звездным часом» прогрессизма и лично Павла Рябушинского как одного из его идейных вдохновителей стала Первая мировая война. Поражения русской армии весной 1915 года побудили бизнесмена активизироваться. В мае на очередном торгово-промышленном съезде в Петрограде он произнес страстную речь, послужившую толчком к военной мобилизации промышленности. «Мы уже не можем заниматься своим повседневным делом. Каждая фабрика, каждый завод — все мы должны только о том думать, чтобы сломить эту вражескую силу». Под влиянием этой речи съезд принял постановление о создании сети военно-промышленных комитетов для мобилизации частной индустрии на нужды войны. Сам Рябушинский был избран председателем Московского военно-промышленного комитета, объединившего предприятия двенадцати центральных губерний России. Авторитет финансиста в деловых кругах был настолько высок, что одновременно его избрали председателем Московского биржевого комитета — главной представительной организации столичных предпринимателей.

«Буржуазно мыслить и буржуазно действовать...»

После майской речи Рябушинского, как писали в прессе, стало ясно, что «Московскому Биржевому комитету предстоит стать организационным центром в развертывающейся все шире и шире работе по мобилизации тыла». В газетах появилось немало комментариев по поводу избрания миллионера-политика «первым гражданином Ильинки» (главная улица московского Китай-города, средоточие торгово-промышленной и финансовой жизни, где находилась и Биржа. — Ю.П.). В самой респектабельной и информированной деловой газете страны — петроградских «Биржевых ведомостях» — появилось письмо из Москвы с характерным заголовком

«Купец идет!». Его автор С. Султанов припомнил предвоенный лозунг Рябушинского, подчеркнув, что «никогда до этого так резко и смело не формулировался вызов „третьего сословия“ всем отживающим силам русской государственности». Корреспондент приходил к заключению о нерасторжимой связи между такими предпринимателями, как новый глава Биржевого комитета, и народной толщей: «П.П. Рябушинский вскормлен оппозиционной волей гонимого староверия, его упорным трудолюбием, настойчивым и напряженным стремлением к закреплению материальной власти, которая одна только и оставалась людям старой веры, покупавшим право тайно молиться старым иконам и осенять себя двуперстием. Связь через деда с землей создала цельность не только характера, но и взглядов, чистоту национального закала и дерзание дать купечеству власть в слиянии с интересами народа».

В «Биржевых ведомостях» подчеркивалось, что с избранием Рябушинского председателем Биржевого и Военно-промышленного комитетов наступает новая эпоха в истории русской буржуазии. Купец, можно сказать, «пришел», и фигура московского миллионера-старообрядца вполне под стать провозглашаемым им лозунгам об особой роли буржуазии в жизни страны. «Рябушинский — чистый государственный, и осью этой государственности он считает торгово-промышленный класс. Он купец без раздвоения и рефлексии, цельный в своей купеческой классовой психологии... Рябушинский, с его блестящими организаторскими способностями, с его деловым захватом, с его колоссальной трудоспособностью, более всех на месте. Он сможет органически сочетать интересы дела с требованиями политики».

Реализуя эти прогнозы, Павел Рябушинский действует в тесном контакте с либеральной общественностью, объединенной в рамках созданного летом 1915 года Прогрессивного блока Государственной думы, который требовал смены кабинета и назначения ответственного перед Думой правительства. В августе в «Утре России» был опубликован персональный список будущего «правительства доверия». Однако петиционная атака либералов не удалась: правительство осталось прежним, а Дума распущена без назначения срока новой сессии.

В 1916 году Павел Павлович тяжело заболел (открытая форма туберкулеза), однако не оставил попыток объединить предпринимателей для воздействия на политику правительства. Он был убежден, что обостряющийся внутривластный кризис заставит призвать «вышедшую из ученических годов буржуазию на царский высший совет». В конце года на созванном по его инициативе совещании представителей местных биржевых комитетов Рябушинский констатировал, что «власть ведет страну к гибели», и предупреждал об угрозе «безудержного прорыва народного гнева». Пророчество сбылось через два месяца, когда самодержавный режим, главным пороком которого московский банкир считал «подавление частной инициативы, подавление свободной личности», пал, не найдя поддержки в измученном войной российском обществе.

Февральскую революцию лидер деловой Москвы приветствовал как избавление страны от тягостного «старого режима». Исполнилась его давняя мечта: в марте 1917 года был образован Всероссийский торгово-промышленный союз, первая политическая организация предпринимателей всероссийского масштаба, председателем которой избрали Павла Рябушинского.

Но в послереволюционной России сразу же проявился сильный «антибуржуйский» запал, раздуваемый представителями леворадикальных партий. В те роковые для судеб страны дни лидер прогрессизма горячо отстаивал идею долгого пути развития частной инициативы как единственного выхода из общенационального кризиса. Неоднократно выступал он с публичными речами, лейтмотивом которых был тезис о преждевременности социализма в России: «Признаем, что ныне существующий капиталистический строй неизбежен, а раз так, то отсюда логически следует, что нынешнему правительству надлежит буржуазно мыслить и буржуазно действовать».

Рассчитывая быть услышанным не только собратьями по большому бизнесу, но и широкими демократическими слоями, Рябушинский так обосновал свою позицию: «Еще не настал момент думать о том, что нашу экономическую жизнь нужно совершенно переиначить. Широкие массы должны понять, что все мы должны жить по-людски, так, как живут другие государства и как мы до сих пор еще не жили... Думать же, что мы можем все изменить, отняв все у одних и передав другим, это является мечтою, которая лишь многое разрушит и приведет к серьезным затруднениям. Россия в этом смысле еще не подготовлена, поэтому мы должны еще пройти через путь развития частной инициативы».

С июня 1917 года Рябушинский начал издавать журнал «Народоправство», к участию в котором были привлечены крупные интеллектуальные силы, в том числе выдающийся русский философ Н.А. Бердяев. Журнал придерживался той же, что и его издатель, позиции: «каждый день стихийного разрастания анархии влечет Россию в бездну», в стране нет реальных условий для «социалистической организации» и т.д. Однако эти рассуждения не пользовались успехом у низов, все более симпатизировавших социалистическим лозунгам. Предупреждения Павла Рябушинского воспринимались как попытка буржуазии отвлечь народ от обещанного социалистами «царства свободы».

Временное правительство теряло власть над страной, которая погружалась в пучину экономического и политического хаоса. Безудержная денежная эмиссия привела к жестокой инфляции и обесценению и без того слабого рубля. «Хлебная монополия», установившая твердые государственные цены на зерно, обернулась исчезновением с рынка продовольствия и угрозой голода. В августе 1917 года Рябушинский, критикуя экономическую политику правительства и Советов, забиравших в свои руки реальные рычаги управления, подчеркивал, что без участия в экономической и политической жизни предпринимателей, «людей житейского

«Буржуазно мыслить и буржуазно действовать...»

опыта», страну ждет хозяйственная катастрофа и голод. «Эта катастрофа, этот финансово-экономический провал будет для России неизбежен, если мы уже не находимся перед катастрофой, и тогда уже, когда она для всех станет очевидной, тогда только почувствуют, что шли по неверному пути... Но, к сожалению, нужна костлявая рука голода и народной нищеты, чтобы она схватила за горло лжедрузей народа, членов разных комитетов и советов, чтобы они опомнились».

Большевистские публицисты, в том числе Зиновьев и Сталин, использовали фразу о «костлявой руке», обвиняя буржуазию в организации голода с целью задушить революцию. На самом же деле геноцид готовили вовсе не либеральные политики из деловых кругов, а сами социалистические вожди, попиравшие естественные экономические законы. «В настоящее время, — говорил по этому поводу Рябушинский, — Россией управляет какая-то несбыточная мечта, невежество и демагогия». Бескомпромиссную и жесткую оценку давал он и всему революционно-социалистическому лагерю: «Источник зла не только в большевиках, но и в тех социалистических партиях, которые не могли и не хотели порвать с большевиками, исповедуя с ними одну веру, враждебную всякому патриотизму, всякому национальному чувству и государственному сознанию... Безумно и преступно над телом и душой России делать эксперименты и применять отвлеченные утопии, рожденные в воображении людей, живших в подполье». Лидеру российского торгово-промышленного класса политическое урегулирование виделось теперь в установлении «твердой, железной власти правительства национального спасения, которому будет предоставлена свобода и независимость действий».

Кризис власти побуждал российских либералов искать новые политические комбинации для восстановления порядка в стране. Подходящей фигурой на роль диктатора казался им генерал Л.Г. Корнилов. Летом 1917 года Рябушинский финансирует Союз офицеров и участвует в торжественной встрече генерала, прибывшего в Москву на устроенное А.Ф. Керенским Государственное совещание. Однако в момент выступления он не оказал поддержки корниловцам, и, хотя был арестован как соучастник заговора, вскоре по личному распоряжению Керенского его освободили. В опубликованной в «Утре России» телеграмме по случаю освобождения издатель газеты пессимистически констатировал: «Можно лишь скорбеть, что у нас вместо желанной действительной свободы восстановили произвол и насилие».

После октября 1917 года Павел Рябушинский был вынужден эмигрировать во Францию, где и скончался в один год со своим политическим антиподом Лениным. В 1921 году по его инициативе были созданы новые ассоциации русских предпринимателей — Российский торгово-промышленный и финансовый союзы. До конца жизни он сохранил веру в творческий потенциал буржуазии. После близкого, как ему казалось, краха коммунистической диктатуры перед предпринимателями (как прежними, дореволюционными, так и новыми, нэповскими) встанет гигантская

задача — возродить Россию. «И, не в пример прошлому, — говорил Павел Рябушинский, — к нам придут и другие. В прошлом мы были одиноки. Русская интеллигенция не шла к нам, чуждалась нас; она жила в мечтах, относилась к нам — людям практики — отрицательно... Но я уверен, что русская интеллигенция поймет уроки настоящего и изменит свое отношение. Нам надо научить народ уважать собственность, как частную, так и государственную, и тогда он будет бережно охранять каждый клочок достояния страны».

Через десять лет после кончины «незабвенного Паши», как называли его родные, младший брат Дмитрий (ставший во Франции крупным ученым-физиком, членом-корреспондентом Французской академии наук) сравнивал Рябушинского со Столыпиным. Оба они «ясно сознавали, что энергия крепких хозяйственных людей является тем главным запасом энергии, наличием которой необходима, чтобы государство могло правильно функционировать и развиваться». Аналогия хотя и не бесспорна, но по сути верна, поскольку отражает глубинное совпадение идеалов двух выдающихся деятелей России, сторонников частной инициативы в экономике. Еще летом 1905 года, до начала столыпинских преобразований в деревне, московский промышленник пришел к тому же выводу, ставшему основой мировоззрения и будущего премьер-министра. «На свободе занимаюсь литературой аграрного вопроса, — писал Павел Рябушинский коллегам по умеренно-прогрессивной партии. — Лишь индивидуализм может в кратчайший срок дать внушительные результаты. Община с этой точки зрения вредна».

Желанным идеалом московского миллионера и либерального политика была та же, что и у Столыпина, «Великая Россия» — скроенная по западным экономическим и государственным меркам, но сохраняющая свою самобытность. Подчеркнем, что программа Рябушинского представляла собой вполне реалистичную модель национального развития «догоняющего типа» и была способна ввести страну в ряд индустриально развитых демократических государств Европы. По существу, то была эффективная «национальная программа», не реализованная лишь в силу экстремального поворота истории. Драма российских дореволюционных предпринимателей в целом и личная трагедия одного из их духовных вождей заключалась в том, что частнособственническая идеология еще не проникла глубоко в народную толщу, пронизанную идеями общинного жизнеустройства. Павлу Рябушинскому и его единомышленникам, несмотря на все усилия, не хватило исторических ресурсов, чтобы консолидировать российское общество на платформе развития частной инициативы.

«Буржуазно мыслить и буржуазно действовать...»

АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ
КОНОВАЛОВ

«Промышленники
должны объединиться
в борьбе за права
русского гражданина...»

Осенью 1912 года праздновался 100-летний юбилей Товарищества мануфактур «Иван Коновалов с сыном» — одного из крупнейших хлопчатобумажных предприятий России с капиталом 7 млн рублей. На фабриках Товарищества в Кинешемском уезде Костромской губернии трудилось около 6 тыс. рабочих. В центре внимания находилась фигура хозяина дела — тридцатисемилетнего Александра Ивановича Коновалова (1875–1948), промышленника и банкира, мануфактур-советника, товарища председателя Московского биржевого комитета и депутата Государственной думы. Политическая биография этого предпринимателя является уникальным свидетельством поисков буржуазией мирного выхода из общенационального кризиса начала XX века и позволяет понять, почему эти попытки не удались.

На юбилейном вечере А.И. Коновалов выступил с программным заявлением: «Промышленники должны объединиться не только для отстаивания своих интересов, но и в борьбе за права русского гражданина. Купеческий класс должен помнить об обязанностях, налагаемых на него историей, так как в них лежит залог будущей могучей, свободной и богатой России».

История собственного рода давала Коновалову основания считать предпринимательский класс основным носителем общественного прогресса в пореформенной России. На торжествах рефреном звучала фраза: «Побольше бы России Коноваловых!» Ораторы вспоминали фрагмент из романа П.И. Мельникова-Печерского «В лесах», один из героев которого так описывал историю кинешемских фабрикантов: «Да вот, к примеру, Вичугу взять. До французского года ни одного ткача в той стороне не бывало, а теперь по трем уездам только и дела, что скатерти и салфетки ткать. А как дело зачалось? Выискался смышленный человек с хорошим достатком, нашего согласия был, по древнему благочестию, Коноваловым прозывался, завел небольшое ткацкое заведение, с легкой его руки дело и пошло, да и пошло. И разбогател народ, и живет теперь лучше здешнего... Побольше бы Коноваловых у нас было — хорошо народу бы жилось».

«Смышленный человек», основавший коноваловское дело, — это прадед Александра Ивановича, Петр Кузьмич (1781–1846), крестьянин-старообрядец, выбившийся в число виднейших фабрикантов. Возвышению его способствовал «французский» 1812 год, когда в огне московского пожара погибли заведения и склады товара конкурентов. До сорока пяти лет прадед Коновалова числился крепостным крестьянином и лишь в 1827 году за 2400 рублей выкупился на волю. При сыне его Александре Петровиче (1812–1889) заведение превращается в крупнейшую механическую фабрику в крае. Получила фирма и всероссийское признание: в 1882-м ей было дано право маркировать изделия изображением государственного герба в награду «за весьма хорошие ткани, за обширность и давность производства и за постоянное стремление улучшать дело». Отличительная черта Коноваловых — непоказная забота о своих рабочих, для которых хозяева строили казармы, больницу, церковь, школу, баню и пр.

Правда, при третьем поколении семейное дело пережило кризис: Иван Александрович, отец А.И. Коновалова, забросил фабричное производство, увлекшись шумными пиршествами. В 1897 году фирму преобразовали в акционерное Товарищество, а его главой на семейном совете был назначен двадцатидвухлетний Александр Коновалов, представитель четвертого поколения, уже не старообрядец, а православный (в середине XIX века семья перешла из раскола в единоверие).

Это был блестящий типаж российского предпринимателя новой формации. После окончания Костромской гимназии Александр поступил на физико-математический факультет Московского университета, но учебу пришлось прервать из-за кризиса семейного дела. Профессиональное образование он получил в школе прядения и ткачества в Мюльгаузене (Эльзас-Лотарингия). Рациональный, европеизированный склад мышления сочетался в нем с недюжинным творческим дарованием. По отзыву близко его знавшего П.Н. Милюкова, костромской фабрикант был незаурядным пианистом, они не раз музицировали вместе. Юношей Коновалов брал уроки у С.В. Рахманинова, учился затем у профессора Московской консерватории А.И. Зилоти. Слух и музыкальная техника позволяли отпрыску купеческого рода даже выступать с сольными концертами, однако играл он нечасто, поскольку музыка чересчур сильно действовала на его впечатлительную натуру, и доктора запретили ему подолгу предаваться любимому занятию.

В предпринимательских кругах имя Коновалова стало известно благодаря беспрецедентно широким мерам по улучшению условий жизни рабочих. Социальные программы осуществлялись при этом отнюдь не в ущерб делу: внимательно следивший за техническими новинками молодой фабрикант оснастил свой комбинат в Бонячках и прядильно-ткацкую фабрику в соседнем селе Каменка наисовременнейшими английскими прядильными станками и немецкими электрическими машинами. В короткий срок семейное дело удалось вывести из кризисной полосы и вновь обеспечить ему первое место в списке хлопчатобумажных предприятий

Костромского края. «Приняв предприятие в состоянии некоторого упадка, — отмечалось его коллегами по Московскому биржевому комитету, — Александр Иванович в течение небольшого времени довел его до блестящего состояния, введя все новейшие усовершенствования».

Успехи в немалой степени связаны были с реформами в организации труда. В январе 1898 года забастовали ткачи, потребовав от администрации 18-часового рабочего дня для двух смен вместо существовавшего 21,5 часа. Хозяин, только что вступивший в должность директора-распорядителя, признал обоснованность их притязаний, одним из первых в России установив 9-часовой рабочий день на фабриках Товарищества (12 часов надо было трудиться в одну смену и еще 6 часов — на следующий день).

Но он мог проявить и твердость, если находил требования необоснованными. Так, в 1903 году забастовала часть прядильщиков, заявивших о необходимости повысить расценки в связи с недоброкачественностью выдаваемого конторой сырья. Однако председатель правления фирмы дал ответ, что никаких изменений в договоре не допустит, а за качеством выдаваемой пряжи проследит лично. Хозяин не преследовал рабочих за участие в забастовках, считая их естественной формой взаимоотношений труда и капитала, и старался при этом, чтобы почвы для недовольства не возникало.

Коновалов высказывал новаторские для отечественной буржуазии идеи «социального мира» в промышленности, залог которого — патерналистская политика предпринимателей по отношению к наемным труженикам. «Рабочий класс должен быть опорой, хребтом государства, а не враждебной ему силой» — этим девизом Коновалов руководствовался с первых шагов самостоятельной деятельности. Собственное предприятие стало своеобразным испытательным полигоном, где либеральная линия проходила проверку. За счет прибылей фирмы были проведены меры по обеспечению рабочих «здоровым, удобным жилищем»: построены бесплатные казармы для одиноких и семейных, возведены два поселка из отдельных домов, названные в честь хозяина и его сына «Сашино» и «Сережино». Рабочий в течение двенадцати лет выплачивал фирме стоимость дома и становился затем его собственником. Для желающих строиться самостоятельно отводилась земля из фонда Товарищества по низкой арендной цене.

Финансировалось строительство и содержание двухклассной школы для детей фабричных (по распоряжению Александра Ивановича на его предприятиях труд малолетних не использовался). За счет «Ивана Коновалова с сыном» были оборудованы бесплатные ясли на 160 детей и бесплатная баня, богадельня для престарелых, библиотека-читальня; были устроены сберегательная касса и потребительское общество, снабжавшее рабочих продуктами по ценам низшим по сравнению с местными лавочниками. На фабриках издавна действовали больница и амбулатория с бесплатным лечением, а в 1912 году к 100-летию фирмы отстроили

новое здание со стационарным отделением на сто кроватей и родильным приютом на двадцать пять мест; на их содержание ежегодно отчислялось до 75 тыс. рублей.

Рабочие ценили эту заботу, и не случайно волны забастовок 1900-х годов, как правило, обходили стороной коноваловскую фирму. Незадолго до начала Мировой войны Александр Иванович, постоянно занятый в то время в Государственной думе, посетил родные Бонячки и узнал, что фабрики его продолжали работать, тогда как окрестные предприятия остановились из-за политической стачки. Признательный хозяин распорядился поощрить своих рабочих, повысив на 10–30% расценки и объявив о строительстве Народного дома, на нужды которого выделил 200 тыс. рублей. В ответ на изъявления благодарности со стороны фабричных Коновалов заявил, что очень доволен их спокойным поведением, и пообещал, «как и всегда», идти навстречу их нуждам и интересам. Костромские фабриканты возмутились односторонним повышением расценок, полагая, что это затянет забастовку на их предприятиях, но Коновалов прямо заявил, что «мнение рабочих для него гораздо дороже, чем мнение какого-нибудь Кокорева или Разоренова» (местные фабриканты. — Ю.П.).

Рамки семейного дела становятся тесны для энергичной натуры предпринимателя, стремившегося воплотить в жизнь свои идеалы на общегосударственном уровне. С начала 1900-х он постоянно проживал в Москве, а техническое управление фабриками передал директорам-менеджерам. В 1905 году костромской купец избирается старшиной Московского биржевого комитета, становится одним из создателей Торгово-промышленной партии. С 1906-го он представляет Москву в созданном по почину петербургских кругов Совете съездов представителей промышленности и торговли. Кроме того, входит в редакционный комитет издаваемой П.П. Рябушинским газеты «Утро России», а также в состав наблюдательного совета Московского банка Рябушинских, созданного в 1912 году.

Коновалова сближала с Рябушинским общая система ценностей, в основе которой лежали либеральные идеи об утверждении правового конституционного строя, способного смягчить накал социальной напряженности и обеспечить развитие страны по пути рыночной экономики и демократии. В Московском биржевом комитете он активно занимался подготовкой законопроекта о введении торгово-промышленных палат — порайонных предпринимательских организаций, призванных объединить представительство интересов буржуазии во всероссийском масштабе. Хотя из-за бюрократических проволочек и столкновения интересов различных региональных групп проект не был реализован, имя его фактического автора в деловых кругах приобрело известность. В 1908 году Коновалов избирается заместителем (товарищем) председателя Московского биржевого комитета Г.А. Крестовникова, входит и в число гласных Московской городской думы.

Вместе с П.П. Рябушинским он участвует в организации и проведении «экономических бесед», на которых в 1908–1912 годах представители

«Промышленники должны объединиться в борьбе за права русского гражданина...»

промышленности и науки обсуждали насущные вопросы экономического развития страны. Некоторые «беседы» проходили в его московском особняке на Большой Никитской. «Александра Ивановича в Москве любили, — вспоминал П.А. Бурыйшкін, — на приглашение его откликнулись, и тогда и начались „беседы“». В правительственных кругах предприниматель и общественный деятель имел высокую репутацию, о чем свидетельствует присуждение ему в 1910 году почетного звания мануфактур-советника.

Всероссийскую известность имя Коновалова приобрело в 1911-м, когда он вместе с С.И. Четвериковым выступил инициатором так называемого Письма 66-ти, подписанного выдающимися представителями делового мира и опубликованного либеральной прессой (газетами «Русские ведомости», «Утро России»). В нем был заявлен решительный протест против репрессивной политики царского правительства в отношении высшей школы. В связи с реакционными мерами министра народного просвещения Л.А. Кассо Московский университет покинула группа профессоров во главе с самим ректором А.А. Мануйловым. Либеральная профессура не могла смириться с правительственным распоряжением, согласно которому запрещались всякие собрания в университетских зданиях, а на администрацию возлагалась обязанность немедленно сообщать полиции о сходках студентов. В ответ студенты начали всероссийскую забастовку.

«В общественных кругах Москвы, — вспоминал П.А. Бурыйшкін, — это вызвало сильное волнение, и отдельные группы стали резко и определенно реагировать против действий правительства по отношению к университету. Московские промышленники не остались безучастными к разгрому старейшего русского университета». Непосредственным инициатором протеста стал А.И. Коновалов, на одной из «экономических бесед» предложивший выступить с публичным заявлением. Подготовленный им текст подписали ведущие деятели торгово-промышленного и финансового мира Москвы. Авторы послания подчеркивали, что не сочувствуют студенческим забастовкам, но из-за них нельзя «рушить все существование нашей высшей школы», превращать университет «в объект возмездия». Либеральные деловые круги недвусмысленно осудили систему полицейского произвола и дали понять, что правительство не может в этом случае рассчитывать на поддержку со стороны предпринимателей. Письмо заканчивалось многозначительно: «Плохую услугу оказывает общество правительству и стране, когда в моменты их духовного разлада оно своим молчанием дает правительству повод думать, что за ним моральная поддержка страны».

В 1912 году Коновалова избирают депутатом IV Государственной думы от Костромской губернии; «думский» этап оказался важнейшим в его политической карьере. Во время выборной кампании он входит в состав Московского комитета беспартийных прогрессистов во главе с депутатом III Думы Н.Н. Львовым. Комитет был создан «с целью способствовать сплочению прогрессистов для общей борьбы с реакцией на выборах в IV Думу». Хотя прогрессисты в этот период избегали называть свою

организацию партий, предпочитая форму «беспартийных комитетов», по существу то была политическая партия с программой, центральными органами и т.д. Одним из ее лидеров с самого начала и стал либеральный московский предприниматель. В конце 1912 года Коновалов избирается в состав ЦК конституировавшейся партии прогрессистов, ее лозунг — «утверждение конституционно-монархического строя с политической ответственностью министров перед народным представительством».

Войдя в состав думской фракции прогрессистов, требования которых совпадали с программой московских деловых кругов, Александр Иванович становится членом нескольких комиссий (финансовой, по торговле и промышленности, по рабочему вопросу), где раскрылся как компетентный и независимый эксперт. С трибуны Коновалов демонстрировал растущую оппозиционность деловых кругов, открыто заявляя, что «в рамках полицейского строя экономический расцвет недостижим». Зависимые от бюрократического «усмотрения», «ни личная инициатива, ни энергия, ни капиталы не обеспечены в своем развитии, а потому инициатива вянет в зародыше, капиталы не притекают к делам, и богатства страны остаются мертвыми». Депутат пытался добиться улучшения жизни российских рабочих, выступил с проектом по охране труда женщин и малолетних, строительству жилищ для фабричных, страхованию их по старости и инвалидности; некоторые из его предложений были реализованы.

Коновалов отстаивал также тезис о тождественности потребностей экономического роста с общенациональными интересами. «Для промышленности, — говорил он, — как воздух необходимы плавный, спокойный ход политической жизни, обеспечение имущественных и личных интересов от произвольного их нарушения, нужны твердое право, законность, широкое просвещение в стране. Таким образом, господа, непосредственные интересы русской промышленности совпадают с заветными стремлениями всего русского общества...»

Главная цель либерального политика — мирное реформирование государственного строя на конституционно-монархических основаниях с переходом реальной политической власти к либеральной оппозиции. Средством мог стать блок всех оппозиционных фракций в Думе, призванный предотвратить социальную революцию, приближение которой отчетливо чувствовалось в канун Мировой войны. Вскоре после избрания депутатом Думы Коновалов в газетном интервью говорил о необходимости образования «большой либеральной внеклассовой партии». Отражая позицию прогрессистов, он, по сути, предлагал создание не просто левоцентристского большинства с кадетами и октябристами, а прочного либерального блока, который «начал бы осуществлять прогрессивные реформы и повел бы Россию по эволюционному пути». Как фактический руководитель фракции прогрессистов в ноябре 1913 года Коновалов был избран заместителем (товарищем) председателя Думы М.В. Родзянко.

Однако, испытав разочарование в думских методах давления на правительство, весной 1914 года, незадолго до войны, он пошел на союз с лево-

«Промышленники должны объединиться в борьбе за права русского гражданина...»

радикальными партиями, в том числе и с большевиками, которых пытался использовать для координированного воздействия на правящий режим. У прогрессистов практически не было организации вне Думы, и либеральный политик стремился заключить союз с партиями, имевшими влияние в широких массах. «Правительство, — призывал он представителей революционных партий, — обнаглело до последней степени потому, что не видит отпора, уверено, что страна заснула мертвым сном. Но стоит только проявиться двум-трем эксцессам революционного характера, и правительство немедленно проявит свою безумную трусость и крайнюю растерянность... Объединенная оппозиция должна стараться вызвать такие выступления, которые запугали бы правительство и заставили его пойти на уступки».

Социал-демократов Коновалов призывал устроить политические забастовки рабочих, от эсеров ждал революционных «эксцессов» в деревне и т.п. Либеральный политик обещал в ответ финансовую помощь; например, большевики рассчитывали получить от него деньги для проведения очередного съезда своей партии. «Нельзя ли от экземпляра (Коновалова. — Ю.П.) достать денег? — писал В.И. Ленин из эмиграции в Москву И.И. Скворцову-Степанову. — Очень нужны. Меньше 10 тыс. брать не стоит». Думский депутат и ранее оказывал им некоторое содействие, передав 2 тыс. рублей на легальную рабочую печать через Романа Малиновского, лидера думской фракции большевиков (позднее он был разоблачен как провокатор), и 3 тыс. рублей в распоряжение самого Ленина через Елену Розмирович. Большевики видели в Коновалове «нового Савву Морозова», но альянс оказался непрочным — поддерживать думских либералов социал-демократы не захотели и денег, на которые рассчитывали, так и не получили. Сам думский депутат, заметим, из-за своих контактов попал под негласное наблюдение полиции; у московских филеров, следивших за домом по Большой Никитской улице, 57, он проходил под кличкой Краб.

С некоторыми из большевиков у Коновалова сложились доверительные отношения. В сентябре 1914 года, уже после начала войны с Германией, Департаменту полиции стало известно о высказываниях думского депутата-большевика Н.Р. Шагова — уроженца Костромской губернии, ткача, работавшего ранее на текстильной фабрике Красильщиковой. Избранный в IV Думу от рабочей курии Костромской губернии, он поддерживал постоянный контакт со своим земляком-прогрессистом. Департамент полиции располагал сведениями о том, что Коновалов регулярно виделся с Шаговым во время посещений фабрики в Бонячках, принимал его у себя и вел разговоры с глазу на глаз. Осенью 1914 года, приехав на побывку домой, в среде местных социал-демократов (один из которых оказался полицейским осведомителем) Шагов рассказывал, что Александр Иванович находится в самых близких отношениях с представителями РСДРП. По словам рабочего депутата, те уже давно предлагали ему пожертвовать, как Морозов в 1905 году, часть своего капитала на дела партии. Шагов утверждал, что Коновалов принципиально не возражал,

но просил подождать, так как свободного капитала у него в тот момент не было — все ресурсы он вложил в предприятие и постройки, которые возводились фирмой для рабочих.

Если большевистский депутат, той же осенью арестованный и сосланный полицией, и преувеличил влияние своей партии на промышленника, то его свидетельство все равно проливает дополнительный свет на взаимоотношения фабриканта-политика с рабочей массой, которой он действительно желал блага, и ее вожаками. Примечательный штрих: Коновалов с готовностью принимал рабочих, уволенных с других предприятий из-за участия в стачках и социал-демократических организациях.

Имя думского лидера в этот период упоминается и среди членов созданной в 1912 году масонской организации «Великий восток народов России», куда входили представители широкого политического спектра — от кадетов (Н.В. Некрасов) до трудовиков (А.Ф. Керенский) и социал-демократов (Н.С. Чхеидзе, Н.Д. Соколов). Свидетельство о некой сплоченной группе во Временном правительстве (Керенский, Некрасов, Коновалов, Терещенко, связанные личной близостью и обязательствами политико-морального характера) оставил в своих мемуарах П.Н. Милюков, намекая, что объединяла эту группу принадлежность к масонству. Коновалов упомянут и в известном «масонском словаре» Н. Берберовой, которая, впрочем, признала, что, несмотря на близкое знакомство в эмиграции и попытки разговорить Александра Ивановича на эту тему, ничего конкретного ей установить не удалось.

Информация о причастности Коновалова к масонским организациям восходит к показаниям бывшего кадета Н.В. Некрасова, полученным на следствии в ОГПУ в 1939 году и послужившим основой для построений о «масонском заговоре» в советской литературе. Отметим: хотя под давлением следователей Некрасов и заявил, что в подготовке Февраля масонство выступало в качестве «конспиративного центра», он при этом подчеркнул, что после революции «кучка интеллигентов не могла играть большой роли и рассыпалась под влиянием столкновения интересов».

Масонские ложи в России действительно существовали, но какой характер носила деятельность этих мистико-религиозных по форме объединений, были ли они «инкубатором» политических вождей Февраля и Временного правительства — достаточно убедительных ответов на эти вопросы пока нет. В серьезной исследовательской литературе принадлежность политического «квазимасонства» к всемирному ордену вольных каменщиков обоснованно подвергается сомнению. Возможно, «думская псевдолож», к которой примыкал Коновалов, имела целью политически координировать группировки левее октябристов. После революции член этой ложи, социал-демократ А.Я. Гальперн в интервью Б.И. Николаевскому сказал: «Стремясь к объединению левой оппозиции, думская группа заботилась о согласовании всякого рода конфликтов и трений между различными левыми фракциями и к облегчению их совместных выступлений». Вероятно, цель эта осталась благим пожеланием, и роль модных

«Промышленники должны объединиться в борьбе за права русского гражданина...»

в начале века мистических организаций в политической жизни страны не следует преувеличивать. Н.С. Чхеидзе, еще один меньшевик-масон, вполне откровенно описывал, к чему сводились в реальности заседания «думской ложи»: «Информация, обмен мнениями с затушевыванием острых углов, без каких-либо резолюций... Как только мы переходили к вопросу о практических шагах, тотчас же вставали вопросы, которые нас разъединяли и вовне лож... В этих условиях общая деятельность, конечно, не была возможна...»

В годы мировой войны костромской фабрикант становится одним из лидеров думского Прогрессивного блока. Считая милюковский лозунг «министерства общественного доверия» недостаточным, он настаивал на выдвижении от имени Прогрессивного блока требования «ответственного (перед Думой) министерства», способного организовать оборону страны и оперативно провести мобилизацию промышленности. Он предвидел ответный ход режима — роспуск Думы (ставший реальностью в первых числах сентября 1915-го) — и призывал «не поддаваться разгону, объявить Государственную Думу продолжающей свои заседания и обратиться с воззванием к народу». Однако коллеги его призыв не поддерживали, опасаясь спровоцировать народные волнения.

Коновалов вместе с А.И. Гучковым возглавил Центральный военно-промышленный комитет, созданный предпринимателями для мобилизации частной промышленности на нужды войны. При комитете им была создана «рабочая группа» во главе с К.А. Гвоздевым — неполитическая легальная организация, призванная ввести рабочее движение в легитимные рамки, не дать ему приобрести антигосударственный анархический характер. «На другой день после мира, — пророчески заявлял Александр Иванович на одном из совещаний либеральной интеллигенции, — у нас начнется кровопролитная внутренняя война. Это будет анархия, бунт, страшный взрыв пострадавших масс... Спасение в одном — в организации себя, с одной стороны, в организации рабочих — с другой. На правительство надеяться нечего, мы окажемся лицом к лицу с рабочими — и тут совершенно бесспорна их сила и наше бессилие. Не лучше ли в таком случае путь соглашений, путь трезвых уступок как с той, так и с другой стороны».

Коновалов рассчитывал с помощью «армии пролетариата», действующей в союзе с либеральными предпринимателями, заставить правительство пойти на уступки. В подготовленной осенью 1916 года записке под названием «Некоторые соображения о современном рабочем движении и необходимых мерах к его урегулированию» он писал: «Власть должна идти навстречу удовлетворению основных нужд рабочих масс, осуществляя важнейшие требования социального законодательства и в корне изменяя отношение к рабочему классу, отрешаясь от политики недоверия и приемов административного усмотрения, ведущих к всевозможным стеснениям и произволу».

Тогда же фракция прогрессистов по инициативе Коновалова вышла из Прогрессивного блока, который так и не воспринял лозунг ответственно-

го министерства. С думской трибуны и со страниц прессы члены группы настаивали на том, чтобы правительство немедленно ушло в отставку, ибо его пребывание у власти есть «преступное забвение долга перед родиной, граничащее с преступлением». Ответственное же перед Думой министерство «может снять путы с русского народа, привлечь все действительные силы страны и, благодаря созданному этими мерами подъему народного духа, справиться со всеми гнетущими нашу родину невзгодами».

Февральская революция застала Коновалова за подготовкой Всероссийского рабочего съезда, на котором должна была конституироваться организация «во главе с высшим органом, как бы советом рабочих депутатов», базирующаяся на действующих при Военно-промышленных комитетах «рабочих группах». «Армия пролетариата», как выражался претендент на роль ее полководца, могла бы предотвратить революционный взрыв и стать тем мощным рычагом давления на самодержавную власть, которого так не хватало либералам.

Однако власть нанесла упреждающий удар, в канун Февральской революции арестовав членов «рабочей группы» Военно-промышленного комитета по обвинению в подготовке государственного переворота. «Как раз в тот момент, — обращался Коновалов к коллегам по Думе, — когда группа готовилась стать оплотом против опасных течений в рабочей массе, правительство разрушает эту ячейку... Удар по рабочей группе — это есть, в сущности, удар по всей русской общественности».

Разразившиеся через несколько дней февральские события в Петрограде Александр Иванович встретил с чувством тревоги за судьбу страны, но испытал в то же время громадный душевный подъем от наступивших «дней свободы». Признанный думский лидер, 27 февраля он был избран в состав Временного комитета Государственной думы и принял затем участие в историческом совещании 3 марта 1917 года, на котором великий князь Михаил Александрович отказался от переданной ему старшим братом императорской короны.

Никого не удивило поэтому включение предпринимателя и политика в состав первого Временного правительства с портфелем министра торговли и промышленности. С 1915 года его кандидатура в среде либеральной общественности рассматривалась как единственно возможная для замещения этой должности. Важнейшей своей задачей новый министр считал поддержание социальной стабильности во взбаламученной революцией стране. Коновалов заверил рабочих, что «приложит все усилия для правильной постановки и надлежащего разрешения рабочего вопроса», но предупредил, что отвергает социал-демократический лозунг немедленного введения восьмичасового рабочего дня, так как эта мера «убьет оборону». Он предлагал взяться за разработку законопроекта по ограничению рабочего времени, но осуществить его считал возможным только после окончания войны. Для смягчения социальных конфликтов Александр Иванович предлагал развитие профессиональных союзов и примирительных учреждений, отмену уголовного преследования за

«Промышленники должны объединиться в борьбе за права русского гражданина...»

стачки, организацию для рабочих бирж труда и развитие страхования, ограничение («лимитацию») прибылей предпринимателей и др.

«Поддержание социального мира внутри страны в целях победы над врагом» — таково было кредо либерального министра, находившего все меньше понимания у социалистических партий. Коновалов, понимавший, что «если хозяева не будут полноправными владельцами своих предприятий, то предприятия не смогут нормально работать и тогда неизбежен экономический тупик», резко протестовал против ширившегося движения «рабочего контроля», призывал «руководящие элементы Совета рабочих и солдатских депутатов овладеть движением и направить его в русло закономерной классовой борьбы». Но в то же время он был убежден, что социальное противостояние «труда и капитала» не должно выливаться в насильственные формы, выступал против любых репрессивных форм воздействия на рабочих. На одном из заседаний Временного правительства он во всеуслышание заявил, обращаясь к военному министру А.И. Гучкову: «Я предупреждаю Вас, Александр Иванович, — первая пролитая кровь, и я уйду в отставку».

Свой пост министр покинул в мае 1917 года, когда все явственнее вырисовывалось полное бессилие правительства перед анархической стихией. Причиной отставки стало «отсутствие уверенности, — по его собственному признанию, — что Временное правительство может при данных условиях проявить полноту власти». Сложившееся после Февраля двоевластие постепенно приобретало черты диктатуры Советов, которые, как писал Александр Иванович Г.Е. Львову в частном письме от 8 мая, «устраняют местные органы самоуправления и представителей центральной власти и самовольничают».

В те переломные для России дни Коновалов размышлял: «Антигосударственные тенденции, маскируя свою истинную сущность под лозунгом, гипнотизирующим народные массы, ведут страну гигантскими шагами к катастрофе... Бросаемые в рабочую среду лозунги, возбуждающие темные инстинкты толпы, несут за собой разрушение, анархию и разгром общественной и государственной жизни... Свергая старый режим, мы твердо верили, что в условиях свободы страну ожидает мощное развитие производительных сил, но в настоящий момент не столько приходится думать о развитии производительных сил, сколько напрягать все усилия, чтобы спасти от полного разгрома те зачатки промышленной жизни, которые были выращены в темной обстановке старого режима».

От политической деятельности он не отошел, в июле 1917 года вступив в кадетскую партию, с лидерами которой, и П.Н. Милоковым прежде всего, давно был связан по думской деятельности. Его избрали в Центральный комитет Партии народной свободы, а в начале октября даже выставили кандидатом кадетской партии в Учредительное собрание. Внутри партии Коновалов поддерживал немедленный сепаратный мир с Германией, сформулировав пророческую дилемму: «разумный мир или неминуемое торжество Ленина».

В конце сентября 1917 года Александр Иванович вновь входит в состав Временного правительства, приняв предложение А.Ф. Керенского занять пост министра торговли и промышленности. В.Д. Набоков вспоминал, что Коновалов яснее других видел экономическую разруху и не надеялся на благоприятный исход событий, но тем не менее согласился — из «патриотических соображений». Накануне Октябрьского переворота в Петрограде он фактически возглавил организацию сопротивления большевикам после отъезда Керенского в Гатчину. А.И. Коновалов вел последнее заседание Временного правительства в Зимнем дворце, откуда вечером 25 октября отправил телеграмму в Ставку: «Петроградский совет объявил правительство низложенным, потребовал передачи власти угрозой бомбардировки Зимнего дворца пушками Петропавловской крепости и крейсера „Аврора“. Правительство может передать власть лишь Учредительному собранию, решило не сдаваться и передать себя защите армии и народа. Ускорьте посылку войск».

Из Петропавловской крепости, куда Коновалова препроводили вместе с другими министрами Временного правительства, арестованными в ночь на 26 октября, ему удалось передать так называемый государственный акт — подписанное всеми членами кабинета послание, которым вся власть от имени Временного правительства передавалась Учредительному собранию. Александр Иванович намеревался участвовать в сессии Учредительного собрания, чтобы дать публичный отчет о своих действиях на посту министра, но из тюрьмы был выпущен по состоянию здоровья уже после разгона большевиками последнего российского парламента.

Из-за угрозы террора (в начале января 1918 года матросами были убиты два бывших министра Временного правительства А.И. Шингарев и Ф.Ф. Кокошкин) Коновалову пришлось немедленно покинуть Россию, и в его жизни наступил последний период — эмигрантский. Обосновавшись во Франции, он отвергал попытки вооруженной силой покончить с правлением большевиков, рассчитывая на мирное перерождение режима под влиянием «новой экономической политики» и с помощью «объединенной русской демократии, вышедшей из мартовской революции». В апреле 1920 года он участвовал в совещании кадетов по вопросу об отношении к П.Н. Врангелю и в связи с предложенным П.Н. Милюковым «новым курсом», рассчитанным на внутреннее перерождение режима в Советской России. В 1921-м вступил в Республиканско-демократическую группу, в которой впервые объединились правые эсеры и кадеты, поддерживавшие «новую тактику» Милюкова. Бывший предприниматель стал также одним из организаторов созданного в 1921 году в Париже Российского торгово-промышленного и финансового союза и возглавил его текстильную секцию. С 1924 года А.И. Коновалов являлся председателем Совета общественных организаций, объединившего тридцать три левые эмигрантские организации (кадетов, правых эсеров и др.).

С 1924 года и до вступления гитлеровской армии в Париж в июне 1940-го Коновалов возглавлял редакцию издававшейся П.Н. Милюковым газеты

«Промышленники должны объединиться в борьбе за права русского гражданина...»

«Последние новости», самого популярного периодического органа русской эмиграции. Нина Берберова вспоминала, что в 1920–1930-х годах часто встречалась в редакции с этим человеком — внешне малоподвижным, с как бы окаменевшим лицом, почти никогда не озаряемым улыбкой. Однако флегматичный, выглядевший всегда старше своих лет Александр Иванович немало сделал для русской эмиграции, проявив недюжинную энергию в деле обустройства беженцев на чужбине.

Вместе с бывшим премьером Временного правительства князем Г.Е. Львовым и эсером Н.Д. Авксентьевым он руководил Российским земско-городским союзом (Земгором), который оказал помощь тысячам эмигрантов, устраивая их на работу в новой стране, обучая детей на родном языке и т.д. Музыка, давнее увлечение Александра Ивановича, побудила его к участию в создании Русского музыкального общества в Париже и Русской консерватории при этом обществе.

После гитлеровской оккупации Коновалов уехал из Франции в США, откуда вернулся в 1947 году, незадолго до смерти, и скончался в Париже в 1948-м. Его сын, Сергей Александрович (1899–1978), эмигрировавший с отцом, стал крупным ученым, историком-славистом, профессором Кембриджского университета, автором трудов по истории России и русско-английских отношений XVII–XVIII веков. Незадолго до кончины он побывал в родных местах, посетил Кинешму, Вичугу, где до сих пор стоят фабричные корпуса, больницы и школы, построенные его отцом: добрая память об Александре Ивановиче сохранилась в поколениях костромских ткачей.

Политическая биография А.И. Коновалова опровергает тезис, ставший общим местом советской историографии, — тезис о недалёковидности и отсталости отечественной буржуазии, о ее неспособности поступиться узкокорыстными интересами ради более широко понятых общеклассовых интересов. В действительности усилия, направленные на сохранение внутреннего мира, свидетельствуют о наличии у российских предпринимателей реальной программы эволюционного выхода из общенационального кризиса.

НИКОЛАЙ
ВИССАРИОНОВИЧ
НЕКРАСОВ

«Найти равнодействующую
народного мнения...»

Николай Виссарионович Некрасов родился 20 октября 1879 года в Петербурге в семье священника. Его отец был протоиреем, законоучителем в петербургской 10-й гимназии, где учился и Николай; он умер в Петербурге в 1916 году. Мать — А.Ф. Некрасова — воспитывала пятерых детей; после революции она жила первоначально в Харбине, но умерла в Ленинграде в 1935 или 1936 году.

В мае 1897 года Николай Некрасов окончил гимназию с золотой медалью и поступил в Институт инженеров путей сообщения. В июне 1902 года он получил диплом инженера и был приглашен в Томский технологический институт имени Николая II преподавателем по инженерно-строительному отделению. В 1903 году институт командировал Некрасова на два года за границу, в Германию и Швейцарию, для подготовки к профессорскому званию. Возвратившись в Томск, он представил диссертацию по теории мостостроения и был в августе 1906 года избран профессором инженерно-строительного отделения.

По данным полиции, еще во время стажировки в Швейцарии в 1904 году Некрасов сблизился с эсерами, поддерживая одновременно связи с либералами. Циркуляром Департамента полиции от 18 декабря 1904 года за ним было установлено негласное наблюдение. Вскоре Некрасов стал участником либерального Союза освобождения, примкнув к его левому крылу. По возвращении в Томск он вошел в число организаторов либеральной группы «Академический союз»; в конце 1905 года принимал активное участие в митингах и забастовках преподавателей и студентов. После прекращения занятий в институте Некрасов в связи с болезнью жены временно уехал в Ялту и задержался там из-за революционных событий.

В Ялте Некрасов вступил в местную кадетскую организацию, быстро выдвинулся на первые роли и был делегирован на Таврический губернский съезд кадетов, где его избрали делегатом на III съезд партии. На съезде, проходившем 21–25 апреля 1906 года в Петербурге, Некрасов выступил с яркой речью по аграрному вопросу. Считая неприемлемым социалистический лозунг национализации земли, он заявил себя сторонником постепенного упразднения частной собственности на землю, считая ее препятствием на пути к установлению народной свободы. Это первое серьезное выступление на кадетском общепартийном форуме вы-

двинуло Некрасова в число потенциальных лидеров левого крыла партии. И хотя при голосовании списка членов ЦК ему не хватило голосов, тем не менее с этого момента Некрасов оказался в поле внимания партийного руководства. Осенью 1906 года, возвратившись в Томск после возобновления занятий в институте, Некрасов стал одним из организаторов и идейных лидеров местного кадетского комитета, который рекомендовал его кандидатуру в депутаты III Государственной думы, куда он и был вскоре избран от Томской губернии.

Популярность Некрасова в студенческой и преподавательской среде, его частые поездки по городам Сибири, установление регулярных связей с кадетскими комитетами других сибирских городов, статьи на актуальные темы в газете «Сибирская жизнь» выдвинули Некрасова в число лидеров сибирских кадетов. Избранный депутатом III Государственной думы по кадетскому списку, Некрасов вошел в руководящее ядро думской кадетской фракции, работал в бюджетной и финансовой комиссиях Думы. Начиная с марта 1908 года Некрасова, как члена комитета думской фракции, все чаще приглашали на заседания ЦК, где он выступал с обоснованием тактики фракции по ряду сложных и дискуссионных законодательных проектов и предложений. Его продуманная позиция по таким вопросам, как строительство Амурской железной дороги и открытие «порто-франко» во Владивостоке, помогла ЦК и фракции выработать обоснованную линию поведения в ходе думских дебатов. 21 октября 1909 года в ЦК был поставлен вопрос о кооптации Некрасова в его состав, что и произошло 15 ноября на пленарном заседании ЦК.

По некоторым данным, в 1908–1909 годах Некрасов приобщился к масонству. Участие в масонских ложах способствовало его осведомленности о деятельности как либеральных, так и революционных организаций, что, в свою очередь, оказывало влияние на радикализацию его собственной позиции. В 1910–1912 годах Некрасов все чаще выступал за созыв партийного съезда и перевыборы ЦК, за налаживание сотрудничества с левыми думскими фракциями, в частности с трудовиками; он настаивал на усилении оппозиционной критики правительства как с думской трибуны, так и в печати, нападал на Милюкова за его «умеренность». Однако на заседаниях Думы его выступления носили менее радикальный характер; он предпочитал выступать по специальным вопросам, в частности по конкретным вопросам строительства и транспорта.

Как депутат от Сибири, Некрасов много занимался проблемами своего края. Выступая за политическое равноправие Сибири и Европейской России, он считал, что это требование логически вытекает из «здоровой идеи государственности», ибо «нет более разлагающей государство политики, как политика предпочтения одной части государства перед другой», и высказывался за сочетание национального и административно-территориального принципов государственного устройства, не отказываясь при этом от поддержки идеи областной автономии Сибири. По его мнению, областная дума, наделенная широкими правами и действующая в рамках

общегосударственного законодательства, лучше учитывала бы реальные потребности населения Сибири. И с думской трибуны, и в печати Некрасов выступал за введение земства в Сибири, защищал интересы ее коренных народов, настаивал на выделении дополнительных денежных средств, дешевого кредита, организации медицинской помощи, распространении образования. Он считал необходимым принятие законодательных мер по охране коренных жителей от «хищнической эксплуатации», требовал «спасти от полной гибели инородческие племена с их своеобразными приемами хозяйства». Посещая Сибирь в период думских каникул и в ходе депутатских поездок, Некрасов выступал с лекциями и докладами перед своими избирателями. Во время одной из них, 22 сентября 1912 года, он высказался за областную автономию Сибири и обеспечение коренным народам права на самостоятельное устройство своей жизни. Являясь постоянным корреспондентом газеты «Сибирская жизнь», Некрасов в своих статьях высказывался за развитие сибирской промышленности и транспорта, обеспечение сибирскому сырью доступа на внешние рынки, за укрепление безопасности и обороноспособности региона. В IV Государственную думу Некрасов был избран от Томска.

В IV Думе Некрасов стал товарищем председателя кадетской фракции, активно посещал заседания ЦК партии, участвовал во всех партийных конференциях. Начиная с 1912 года Некрасов не только усилил нападки на Милюкова и его линию, но и выдвинул взамен собственную альтернативу, требующую пересмотра партийной программы и тактики. Выступая 24 мая 1913 года на заседании ЦК, Некрасов заявил: «Беречь остатки прошлого, разные религии — не задача для партии к.-д. в настоящее время. Все знают, что и партийная программа в известной части пережила себя; да и организация не может остаться такой, какой она была при открытом существовании партии в стране». Отвечая на упреки Милюкова, что Некрасов якобы хочет создать «новую партию», он заявил: «Никакой новой партии Некрасов не желает и не собирается создавать. Надо лишь сплотить тех, кто имеет право называться кадетами, и предоставить им участие во всех делах партии».

В феврале — марте 1914 года расхождения между Милюковым и Некрасовым усилились. В противовес милюковской тактике «изоляции правительства» Некрасов настаивал на необходимости более решительных действий, ибо, по его мнению, политика правительства, выражающая интересы «своекорыстной олигархии», не только резко противоречит «нуждам населения и Манифесту 17 октября», но и начинает угрожать внешнему могуществу и безопасности государства. Поскольку легальные возможности борьбы с таким направлением правительственной политики были уже исчерпаны, мирный выход из создавшегося тупика представлялся Некрасову маловероятным. Он считал необходимым перейти от «пассивной обороны» к активному наступлению против сил реакции. В этой связи он предлагал: усилить борьбу с антисемитизмом и клерикализмом; перестать игнорировать пролетарское движение и, признав,

«Найти равнодействующую народного мнения...»

что рабочие — «в высшей степени активная сила», начать оказывать им моральную и материальную поддержку; уделять больше внимание национальному вопросу и пересмотреть аграрную программу. Он рекомендовал также создать в IV Думе вместе с левыми депутатами общее «информационное бюро», пересмотреть отношение партии к возможности отклонения бюджета, выхода из думских комиссий и использования обструкции в качестве крайнего средства борьбы против правительства.

После начала Первой мировой войны Некрасов был назначен уполномоченным передового отряда Всероссийского союза городов, активно работал в Сибирском обществе помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны, а также участвовал в заседаниях Особого совещания по обороне государства.

Разногласия Некрасова с кадетским руководством тем временем продолжали углубляться. Среди причин этого Некрасов в интервью сотруднику газеты «Биржевые ведомости» назвал организационные вопросы: о созыве партийного съезда, о полномочиях и составе ЦК, а также об отношениях между ЦК и фракцией. Наконец, он заявил о выходе из президиума фракции и полностью сосредоточился на общественной работе. 11 июня 1915 года он заявил Милюкову о своем выходе из состава ЦК, а 12 июня направил в ЦК письмо, где мотивировал свой уход. Были названы две причины: «пассивное отношение ЦК к событиям, возведение в культ нейтралитета в отношении правительственной политики и полное игнорирование жизни под влиянием преклонения пред западными образцами без учета степени их соответствия нашим условиям»; и нежелание большинства ЦК считаться с господствующими настроениями «всех сколько-нибудь активных общественных элементов». В заключение Некрасов написал: «Я не хочу больше нести ответственность за деятельность учреждения, пережившего само себя, и ухожу из его состава, чтобы свободно от упреков о выдаче тайн ЦК продолжать в качестве рядового члена партии вести борьбу с вредной политикой ее руководящего органа».

Однако Некрасов принял участие в ряде заседаний ЦК накануне VI съезда партии (февраль 1916 года). Там Некрасов довольно резко выступал против милюковской тактики «внутреннего мира», которая, по его словам, была доведена до абсурда. На ответственности ЦК, подчеркивал Некрасов, лежит «бездеятельность партии». На VI съезде, где Некрасов последовательно отстаивал интересы меньшинства, еще более усилив критику партийного руководства, он вновь был избран в состав ЦК.

Некрасов явился одним из активных участников думского Прогрессивного блока. В проекте будущего правительства, выработанном блоком и опубликованном в печати в августе 1915 года, фамилия Некрасова фигурировала в качестве кандидатуры на пост министра путей сообщения. Рост его влияния среди членов Прогрессивного блока привел к тому, что 6 ноября 1916 года он был избран товарищем председателя IV Государственной думы.

27 февраля 1917 года Некрасов стал членом Временного комитета Государственной думы. Судя по воспоминаниям В.Д. Набокова и П.Н. Милюкова, именно Некрасов подготовил черновой вариант акта отречения Михаила Александровича Романова от престола, а также проект о введении в России республики.

В сформированном 2 марта 1917 года первом составе Временного правительства Некрасов занял пост министра путей сообщения и сразу же вслед за этим предпринял попытку опереться на профсоюзы железнодорожников. Выступая на VII съезде кадетской партии уже в качестве министра, он сделал подробный доклад о положении на железнодорожном транспорте, провозгласив необходимость единства действий с профсоюзами как в управлении транспортом, так и в процессе демократизации страны в целом. «Основной вопрос, — сказал Некрасов, — заключается сейчас в том, чтобы идею революции, торжества демократии, идею народовластия провести скорее во всех возможных ее формах». По мнению Некрасова, центральная задача власти состояла в организации демократии, в разумном сочетании социального момента с моментом политическим, что позволило бы избежать вполне реального хаоса и анархии в стране. Как указывал Некрасов, надлежало добиваться того, чтобы «прийти не к социальной революции, а путем социальных реформ обойтись без социальной революции». Он самым решительным образом высказывался за превращение правительства в активную силу, готовую к разрешению «грозных конфликтов». «Полнота власти, — говорил он, — обязывает нас к мудрому самоограничению власти, а мудрое самоограничение Временного правительства прежде всего заключается в том, чтобы творить волю всей страны, а не свою собственную». Поэтому Некрасов предлагал «найти равнодействующую народного мнения», заявив: «В тех случаях, когда я убежден, что мое решение правильно отражает волю народную, я пойду по этому пути, если бы не только один Совет рабочих депутатов, но и все революционные организации вместе взятые были бы против меня. В этом случае я пойду напролом». В заключение Некрасов призвал все демократические элементы, которые стремятся избежать социальной революции, к сотрудничеству.

Сам Некрасов прилагал максимум усилий на своем министерском посту, чтобы стабилизировать политическую обстановку, установить и расширить контакты с представителями демократических организаций. Во время апрельского правительственного кризиса он заявил о себе как о стороннике межпартийной правительственной коалиции, против чего выступал Милюков. На VIII съезде кадетской партии (май 1917 года), выступая с резкой критикой Милюкова и Гучкова, покинувших министерские посты, он назвал это «ударом в спину Временного правительства». Некрасов отстаивал необходимость формирования коалиционного правительства вместе с умеренными социалистами и оказания ему полной и безоговорочной поддержки. Он выступил против утверждения Милюкова, будто разрушительные силы из числа радикальных социалистов ведут к эскалации революции. По мнению же Некрасова, грань

«Найти равнодействующую народного мнения...»

между разрушительными и созидательными силами проходит там, «где кончается чувство государственной ответственности, где... на место государственного порядка ставят принцип анархии и безвластия, где на место государственной справедливости устанавливается идея классовых демагогических интересов». С его точки зрения, только Учредительное собрание, созыв которого следовало всячески ускорить, представляло собой «единственный орган, который может предотвратить всякие узурпаторские попытки присвоить себе законодательную власть со стороны отдельных элементов и организаций».

Следуя своему пониманию хода событий, 27 мая Некрасов подписал правительственный циркуляр о совместной деятельности железнодорожной администрации с профсоюзом железнодорожников. При этом последнему предоставлялось право общественного контроля за работой железнодорожного транспорта и даже право давать указания ответственным административным лицам. В июне 1917 года Некрасов принял также участие в работе I Всероссийского съезда рабочих и солдатских депутатов и II Общеказацкого съезда. В конце июня в составе правительственной делегации (вместе с А.Ф. Керенским, М.И. Терещенко и И.Г. Церетели) Некрасов участвовал в переговорах с украинской Центральной радой и подготовил проект декларации о предоставлении Украине независимости, что послужило одной из причин очередного правительственного кризиса. В разгар кризиса, 3 июля, он демонстративно вышел из кадетской партии и вступил в Российскую радикально-демократическую партию. 8 июля в новом коалиционном кабинете Некрасов занял пост товарища министра-председателя. 21 июля он вслед за Керенским подал в отставку. Но в следующем, третьем коалиционном правительстве, уже представляя радикально-демократическую партию, он снова занял пост вице-премьера, а также министра финансов.

Выход Некрасова из кадетской партии и его переориентация на тесный союз с Керенским усилили неприязнь к нему со стороны лидеров кадетов. В своих воспоминаниях бывшие партийные товарищи Некрасова уличали его в лицемерии, вероломстве и даже предательстве. Недаром к нему еще в 1917 году приклеился ярлык — «злой гений революции». В.Д. Набоков, П.Н. Милюков, В.А. Оболенский отмечали, что обладавший умом, способностями, однако лишенный четких принципов Некрасов из личных расчетов «сделал ставку на фаворита» (в данном случае Керенского), повел рискованную игру и в итоге погубил свою политическую карьеру.

В действительности поведение Некрасова в бурные месяцы 1917 года трудно оценить однозначно. С одной стороны, нельзя не признать его высоких деловых качеств, а также, по-видимому, искреннего стремления к демократизации политического строя и социальных отношений, желания избежать революционных катаклизмов, подобных 1905 году. С другой стороны, сложно понять те политические зигзаги, которые проделал он с февраля по октябрь 1917 года. В любом случае выход Некрасова из кадетской партии и союз с Керенским не могут быть объяснены без учета его жизненных ориентиров и особенностей характера и психологии.

...Его отъезд после окончания института из родного Петербурга в далекий Томск, где недавно был открыт новый институт и предоставлялась реальная возможность для быстрого научного и карьерного роста; его отход от эсеров в 1904 году и вступление в элитный Союз освобождения; его стремление быть постоянным оппонентом Милюкову в партии; его нескрываемое желание играть первые роли в думской кадетской фракции, а затем и в первом составе Временного правительства — все это звенья одной цепи. В июльские дни 1917 года Некрасов понял, что кадетская партия утрачивает политическое влияние и все шансы на победу. «Переметнувшись» к Керенскому, Некрасов достиг в новом кабинете ключевых постов. Не исключено, что его политические амбиции простирались и дальше...

В августе 1917 года Некрасов, очевидно, попытался сыграть ва-банк. В своем выступлении на Государственном совещании, равно как и в первые часы мятежа Л.Г. Корнилова, он самым решительным образом поддержал Керенского. С участием Некрасова была составлена и направлена телеграмма железнодорожникам, призывавшая не исполнять распоряжения генерала. Эта телеграмма сыграла свою роль в мобилизации сил для отпора мятежникам, парализовав их возможности оперативной переброски войск к Петрограду. Вместе с тем Некрасов согласился с мнением министров А.С. Зарудного и М.И. Терещенко о том, что для предотвращения вооруженного конфликта между правительственными войсками и корниловцами Керенский должен уйти в отставку. Именно в эти дни Некрасов как никогда приблизился к самой вершине власти. Однако он просчитался. Узнав о позиции Некрасова, Керенский немедленно отправил его в отставку.

В первых числах сентября Некрасова командировали в «почетную ссылку» в Финляндию — генерал-губернатором. В своей деятельности он намеревался руководствоваться следующими принципами: соблюдение финляндской конституции и установление законного порядка. 17 октября ему довелось выступить на заседании Временного правительства с докладом о положении в Финляндии. Второй доклад был намечен на 25 октября. Прибыв в этот день в Петроград, Некрасов уже больше в Финляндию не возвратился.

После Октябрьского переворота Некрасов принял участие в заседаниях подпольного Временного правительства. Он оставался в Петрограде до 10 февраля, скрываясь на квартире тестя — профессора Петербургского технологического института Д.С. Зернова. В начале марта 1918 года Некрасов перебрался в Москву, где начал работать управляющим московской конторой Союза сибирских кредитных союзов (Сибкредсоюза). Вплоть до мая он активно участвовал в заседаниях Московского отдела кадетского ЦК. Правление Сибкредсоюза, однако, находилось в Новониколаевске, который вскоре оказался в центре восстания Чехословацкого корпуса. Сношения московской конторы с правлением привлекли внимание ВЧК, но обыск на квартире Некрасова не дал результатов. Тем не менее он ре-

«Найти равнодействующую народного мнения...»

шил не рисковать и уехать в Сибирь. Брат жены, Б.Д. Зернов, который в то время работал в Московском областном продовольственном комитете, достал Некрасову подложный мандат на имя В.А. Голгофского, согласно которому он командировался в Тобольский район и Приуралье для обследования состояния рыбных промыслов.

17 июня 1918 года Некрасов-Голгофский выехал из Москвы в Нижний Новгород, а оттуда на пароходе по Волге и Каме добрался до Перми; затем через Екатеринбург — до станции Шумиха, где обратился за помощью к чехам, которые и отправили его беспрепятственно в Омск. Эсеры, возглавлявшие тогда Сибирское правительство, предложили было Некрасову войти в его состав. Однако он от этого предложения отказался. После краткосрочной поездки в Новониколаевск Некрасов по предложению правления Сибкредсоюза занял должность управляющего омской конторой. В начале сентября он оставил службу и отправился в Москву, а по дороге, в Уфе, с помощью Б.Д. Зернова ему удалось выправить в милиции паспортную книжку, и в конце сентября «Голгофский» возвратился в Москву. В октябре он вместе с женой и ребенком выехал в Симбирск, но перебраться через линию фронта они не смогли, и пришлось возвратиться обратно. Повторив попытку еще раз, уже в одиночку, Некрасов едва не погиб. С большим трудом 20 декабря добрался он до Москвы.

Около двух месяцев, до середины февраля 1919 года, Некрасов-Голгофский работал секретарем коллегии Института школьных инструкторов физического труда при отделе единой школы Наркомпроса, а затем перешел на службу в статистико-экономический отдел Наркомпрода. Постоянная угроза разоблачения заставляла его задуматься о переезде в другой город. В середине апреля 1919 года ему удается вместе с женой перебраться в Казань, где он начал работать в должности заведующего учетно-статистическим отделом в Центральном рабочем кооперативе, а через несколько месяцев стал заведующим организаторско-инструкторским отделом Казанского потребительского общества. В мае 1920 года он перешел на службу в Казанский губернский союз, вскоре был избран членом правления. В декабре 1920 года он был назначен уполномоченным по Казанской конторе Центросоюза, а в марте стал членом правления Союза потребительских обществ Татарской республики. Опыт статистической работы, большие организаторские способности позволяли ему везде быстро продвигаться по служебной лестнице. И если бы не стечение ряда обстоятельств, «Голгофский» вполне мог бы сделать успешную карьеру.

Политически активный человек, Некрасов принимал участие в дискуссиях местных коммунистов и кооператоров по текущим политическим вопросам, чем привлек внимание органов ЧК. Наконец, во время одного из застолий он опрометчиво проговорился о своей настоящей фамилии, после чего незамедлительно последовали донос, обыск, арест. Местная ЧК доложила Дзержинскому, что ею «расшифрован и арестован бывший генерал-губернатор Гельсингфорса и министр путей сообщения Временного правительства Некрасов, проживающий под фамилией Голгофский».

Около месяца ЧК допрашивала Некрасова, но 21 апреля 1921 года Дзержинский вытребовал его в Москву, распорядившись «принять и держать в хороших условиях». В Бутырской тюрьме Некрасов просидел 54 дня. 11 мая 1921 года начались новые допросы, которые сначала вела заместитель уполномоченного II секретного отдела ВЧК Брауде, а затем уполномоченный следственной части Розенфельд. По делу Некрасова допросили лишь одного свидетеля и запросили характеристику на него от казанских коммунистов и кооператоров. Ряд ответственных партийных работников Москвы и Казани дали весьма положительные отзывы о его политической позиции и производственной работе.

В итоговой справке Розенфельда и уполномоченного президиума ВЧК Кизельштейна подчеркивалось, что Некрасов порвал с прошлым, убедившись в том, что «нет ничего среднего между реакцией и советской властью». Следствие предложило дело прекратить, «легализовать бывшего министра путей сообщения, освободить и направить на хозяйственную работу». 25 мая постановлением Дзержинского Некрасов был освобожден и затем с согласия большевистского ЦК привлечен на работу в Центросоюз. Сохранилось свидетельство о его встрече с В.И. Лениным. «Когда доставили меня в Кремль, — вспоминал Некрасов, — я, несмотря на опыт, струхнул. Владимир Ильич встал со стула, пожал руку и пригласил сесть... Спросил: „Где бы желали вы работать?“ — Не задумываясь, я ответил, что хотел бы работать в кооперации. — „Вот-вот, и мы предварительно с товарищами обсуждали и решили рекомендовать вас в Центросоюз“».

В течение последующих девяти лет Некрасов работал на разных должностях в Центральном союзе потребительских обществ: сначала уполномоченным, затем был избран членом правления. Одновременно он в должности сверхштатного преподавателя вел семинары по кооперативной работе в Московском университете, читал курсы в Институте народного хозяйства и Институте потребкооперации. В 1920-е годы с его участием издавалась многотомная «Торговая энциклопедия», где он напечатал серию статей по вопросам экономической статистики и кооперации; третий том этого издания вышел под его редакцией. В 1924–1925 годах Центросоюз издал первую часть его монографии «Кооперативная торговля. Организация и техника»; подготовил к печати вторую часть — «Кооперативная торговля. Промышленные товары».

2 ноября 1930 года Некрасов был арестован по делу так называемого Союзного бюро ЦК РСДРП (меньшевиков). В течение 54 дней следствия его допрашивали 18 раз, обвиняя во вредительстве в целях устранения диктатуры пролетариата и восстановления в СССР капиталистического строя. В итоговом обвинительном заключении, составленном уполномоченным 4-го отделения Экономического управления ОГПУ Соколовым, говорилось, что «гр-н Некрасов Николай Виссарионович в достаточной степени изобличается в том, что, находясь на службе в Центросоюзе, входил в состав к-р вредительской организации и проводил вредительскую деятельность, направленную к срыву снабжения промтоварами СССР».

«Найти равнодействующую народного мнения...»

6 апреля 1931 года Коллегия ОГПУ осудила Некрасова на десять лет лагерей с конфискацией имущества. Некрасов был отправлен на Соловки, однако пробыл там недолго. С июня по сентябрь 1931 года он работал в особом конструкторском бюро Беломорстроя в Москве, затем был переведен непосредственно на строительство канала. 20 апреля 1932 года срок заключения ему был сокращен на пять лет, а в октябре он был переведен в Дмитровлаг на строительство канала Москва — Волга, где работал до октября 1937 года. Коллегия ОГПУ 28 марта 1933 года досрочно освободила Некрасова со снятием с него судимости, но он решил остаться вольнослушающим на строительстве канала и в 1933–1934 годах работал начальником производственного отдела управления, а затем начальником карьерного хозяйства на строительстве канала Москва — Волга. «Ударник канала Москва — Волга», Некрасов в 1934 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В октябре 1937 года Некрасова перевели на Волгострой на должность начальника работ Калязинского района строительства. Во время его отпуска, 13 июня 1939 года, у него на квартире был произведен обыск, а хозяина доставили в Лефортовскую тюрьму. Там ему предъявили обвинения по статьям 58-8, 58-7 и 58-11: организация покушения на Ленина в январе 1918 года, участие в антисоветской организации на строительстве канала Москва — Волга и вредительство на Волгострое. В результате изнурительных, многочасовых и, как правило, ночных допросов у него надломилось здоровье. Имея уже серьезный опыт следственного и находясь в течение многих лет среди заключенных, Некрасов, видимо, отдавал себе отчет, что на сей раз ему из тюрьмы живым не выйти. К тому же на свободе оставались близкие люди, судьба которых полностью зависела от воли НКВД. Возможно, они были спасены тем, что поведение обвиняемого устраивало следователей.

После полугодового «марафона» допросов 4 декабря 1939 года был составлен протокол об окончании следствия. Некрасов признал себя виновным в том, что являлся идейным вдохновителем и организатором боевой группы, пытавшейся в 1918 году убить Ленина, а также участником антисоветской организации Ягоды на строительстве канала Москва — Волга, по заданию которой проводил вредительскую деятельность. 7 декабря 1939 года обвинительное заключение по делу Некрасова было утверждено заместителем наркома внутренних дел Чернышевым. Закрытое судебное заседание Военной коллегии Верховного суда СССР состоялось 14 апреля 1940 года и продолжалось в течение двух часов. Некрасов был приговорен к высшей мере наказания. Попытка исходатайствовать смягчение участи осужденного успеха не имела. 5 мая Президиум Верховного Совета СССР, заслушав дело Некрасова, оставил приговор в силе. В тот же день Некрасов был расстрелян.

...Через 50 лет, 13 августа 1990 года, Н.В. Некрасов был реабилитирован по делу «Союзного бюро меньшевиков», а 12 марта 1991 года последовала реабилитация и по делу 1939 года.

СЕРГЕЙ
АНДРЕЕВИЧ
КОТЛЯРЕВСКИЙ

«Даруемая свобода
представляет нежное
растение, которое
может скоро загдохнуть
на нашей холодной
почве...»

Сергей Андреевич Котляревский родился 23 июля 1873 года в Москве. В 1896-м он окончил историко-филологический факультет Московского университета; в 1901-м защитил магистерскую диссертацию «Францисканский орден и Римская курия в XIII-XIV веках». В 1904 году стал приват-доцентом кафедры всеобщей истории и вскоре защитил докторскую диссертацию «Ламеннэ и современный католицизм». Обращение к французскому религиозному мыслителю XIX столетия определялось, возможно, содержанием его учения, которое выступало как попытка соединить науку и веру, подготовить «религию французской демократии». Ламеннэ думал, что он борется за католическую церковь против софистики рационализма XVIII века и Французской революции. Однако на деле, считал Котляревский, он выступил основоположником новой доктрины, отрицавшей ортодоксальный религиозный взгляд на общество. «Напрасно Ламеннэ будет отождествлять демократию с анархией и диктатурой, интерес католицизма — с интересом монархии и существующего порядка». Признание за народом духовного суверенитета, которое выразил этот мыслитель, было не менее значимым вкладом, чем признание суверенитета политического, а следовательно, вело к отрицанию «дела, защитником которого считал себя Ламеннэ». Он, как показано в диссертации, сражался за демократические права против философов и софистов эпохи Реставрации.

Начав как историк западной религиозной мысли, Котляревский, под влиянием общественно-политической ситуации революционной эпохи, переменял темы своих занятий, стремясь расширить поле общественной деятельности. Он начал заниматься проблематикой либеральных реформ и установления гражданского общества и правового государства. По окончании юридического факультета им были написаны две новые диссертации: «Конституционное государство: опыт политико-морфологического обзора» (1907) и «Правовое государство и внешняя политика» (1909). Сергей Андреевич руководил кафедрой государственного права Московского университета до революции 1917 года, да и после нее также

занимался преподаванием. Он печатался в таких изданиях, как «Право», «Юридический вестник», «Вестник Европы» и др.

С.А. Котляревский стал одним из основателей Конституционно-демократической партии и членом ее ЦК (до 1912 года), избранным на I учредительном съезде. Когда на съезд пришло известие о подписании царем Манифеста 17 октября 1905 года, Котляревский обратился к депутатам с речью, отметив, что «даруемая свобода представляет нежное растение, которое может скоро заглухнуть на нашей холодной почве, а потому демократической партии следует дать клятву, что этой свободы мы не отдадим назад». Выступление, согласно стенограмме съезда, сопровождалось возгласами: «Клянемся, клянемся».

Особенности взглядов и политической позиции Котляревского связаны с его активной вовлеченностью в земское движение на всех этапах его развития. Он являлся гласным Балашовского уездного и Саратовского губернского земских собраний, участником ряда земско-городских съездов, много выступал по вопросам земского движения в «Русской мысли», специализированных юридических журналах и других периодических изданиях. Став членом известного либерального кружка «Беседа», Сергей Андреевич выступил затем одним из активных деятелей двух ведущих либеральных организаций — Союза освобождения и Союза земцев-конституционалистов. На съезде Союза, проходившем 9–10 июля 1905 года в Москве, он принял участие в дискуссии об организации Конституционно-демократической партии. Выступавший исходил из того, что «будущей партии следует сформироваться около земского ядра». «Наша обязанность, — подчеркивал он, — не утратить традиции и навыки, выработавшиеся в земской среде. В земской деятельности руководящим принципом всегда служила не классовая точка зрения, а правовая. Земские деятели отстаивали всегда права личности и проводили начала терпимости, а именно в этом отношении часто погрешают другие партии, впадающие в известного рода якобинизм».

Вопреки позиции ряда известных либеральных деятелей (как П.А. Гейден и Е.Н. Трубецкой), Котляревский подчеркивал важность перехода от широкого, но политически разнородного общественного движения (каким признавался Союз освобождения) к более определенным организационным формам — политической партии с региональной инфраструктурой (в виде областных партийных съездов). По его убеждению, отдельные разногласия внутри инициативной группы не носят принципиального характера и легкопреодолимы. Он являлся участником съездов земских и городских деятелей 1904–1905 годов, на которых разрабатывался проект конституции — Основного закона Российской империи. Котляревский участвовал в этой работе в качестве председателя земской комиссии о введении всеобщего избирательного права (1905).

О направлениях политической работы правоведа в Конституционно-демократической партии свидетельствуют его выступления на съездах. Выступление на I съезде (12–18 октября 1905 года) было посвящено

программе об основных правах граждан: Сергей Андреевич отстаивал ту редакцию, которая определяла четкие границы вмешательства государства в права индивида (что актуально и сегодня): «вход в частное жилище, обыск, выемка и личное задержание допускаются только в случаях, установленных законом, а вскрытие частной переписки допускается не иначе, как по постановлению судебной власти». На II съезде (5–11 января 1906 года) Котляревский систематизировал основные вопросы предстоящей законодательной работы, подчеркнув их трудности: аграрный и рабочий вопросы нельзя разрешить без крупных иностранных инвестиций, равно как и без обращения к реформам местного и губернского самоуправления. Вопрос о культурном самоопределении национальностей и польский вопрос также были выделены им в качестве приоритетных. Но главное, что объединяет все направления реформационной деятельности, — разработка конституции. Котляревский предостерегал от популизма в решении этих трудных задач.

Считаясь одним из экспертов партии по вопросам национально-территориального устройства, он отмечал на II съезде: «Наиболее характерной главой нашей программы является вопрос об автономии областей. Конституционно-демократическая партия стоит не на точке зрения мертвящего, давящего правительственного единства, а живого, идейного создания *modus vivendi* всех национальностей». Однако вопрос этот, по его мнению, должен рассматриваться не Думой, которая «не является истинным представительством» и «волей народа», а Учредительным собранием.

При обсуждении аграрного проекта на III съезде (21–25 апреля 1906 года) Котляревский призывал к прагматизму, разведению принципов и их реализации. Сторонникам национализации земли предлагалось взвесить издержки и практические последствия этой акции. Реформа, для осуществления которой нужны годы, не может быть проведена немедленно. Он полагал (как и основной идеолог реформы М.Я. Герценштейн), что начинать решение аграрного вопроса следует с принятия закона, регулирующего арендные цены.

В 1906 году в ЦК кадетской партии создали московскую комиссию о местном самоуправлении, куда, помимо С.А. Котляревского, вошли кн. Д.И. Шаховской, Ф.Ф. Кокошкин, Н.Н. Щепкин и другие видные деятели партии. Комиссия настолько широко поняла свою задачу, что, отложив анализ предшествующих законопроектов, разработала общий план преобразования местного управления. В ходе разработки были поставлены вопросы о пересмотре положения о земских учреждениях; о городском положении; о мелкой земской единице; о введении земства в неземских губерниях; о реформе местного управления.

Будучи избран депутатом от Саратовской губернии в I Государственную думу, Котляревский (от кадетской фракции) стал членом комиссий: по проверке прав членов Думы и составлению Наказа (секретарь); о неприкосновенности личности; аграрной; о гражданском равенстве. Он выступал активным участником дебатов по законопроектам о гражданском

«Даруемая свобода представляет нежное растение, которое может скоро заглухнуть на нашей холодной почве...»

равенстве; земельных отношениях; неприкосновенности личности; образовании местных аграрных комитетов; о Наказе. Как и другие лидеры Партии народной свободы, Сергей Андреевич подписал Выборгское воззвание, в связи с чем был приговорен к трем месяцам тюрьмы и лишен избирательных прав.

Теоретические взгляды этого политического деятеля определяются борьбой за правовое государство в России, которое он мыслил как синтез западных политических идей, которые постепенно будут осваиваться в России через земское движение и создание представительных учреждений. Разделяя в принципе общие позиции русского либерализма, в основе которых лежала концепция государственной школы, Котляревский понимал государство как главный двигатель общественного прогресса. Для него характерно пристальное внимание к опыту построения конституционного государства на Западе, типологии форм правления, особенностям различных типов монархии.

Общие взгляды ученого последовательно отражены в его основных трудах, сохраняющих значение до настоящего времени: «Конституционное государство. Опыт политико-морфологического обзора» (СПб., 1907), «Юридические предпосылки русских Основных законов» (М., 1912), «Государственное право иностранных государств» (М., 1910), «Сущность парламентаризма» (М., 1913).

Наиболее важный труд — «Власть и право. Проблема правового государства» (М., 1915) — посвящен технологиям реализации классических форм конституционализма в российских условиях. Прежде всего автор разводит два близких, но различных по содержанию понятия — «правовое государство» и «конституционное государство». Первое выступает скорее как абстрактная философская формула, способная наполняться различным историческим содержанием. Значение данного понятия определяется универсальностью правовых принципов в жизни общества, которое ни в прошлом, ни в будущем не сможет существовать без этого инструмента. «Очень вероятно, — говорится в книге, — что наши потомки безо всякого особого пиетета отнесутся к идеалам современной конституционной политики, усмотрят в них лишь исторический интерес; но совершенно невероятно — противоречит всем нашим представлениям о развитии общества, — чтобы они менее напряженно, чем их предки, искали в своем государстве, какую бы форму оно ни приняло, воплотить правовые начала». Правовое государство — это «понятие по существу метаюридическое», которое охватывает элементы постоянные и изменчивые, а также представления о целях и средствах их достижения.

Второе понятие — «конституционное государство» — означает реализацию идеала правового государства в исторически и юридически обусловленных рамках конкретного общества. Иначе говоря, соотношение между двумя этими понятиями напоминает соотношение между идеалом (недостижимым именно в силу своего абсолютного совершенства) и реальностью позитивного права (которая представлена конкретными юри-

дическими нормами, устанавливающими четкую грань между абсолютистским и конституционным типами государства). Если подойти к этим понятиям не с юридической, а с политической точки зрения, между ними выстраивается широкий спектр различных форм. Некоторые из них (как классические демократии стран Западной Европы) очень близки к идеальному типу правового государства, в то время как другие (в основном переходные) формы — напротив, недалеко ушли от абсолютизма. К числу последних Котляревский относит специфический тип политических режимов стран Восточной Европы и Азии, где принятие конституционных форм еще не означает реальной демократической трансформации режима. Он определяет их понятиями «мнимого конституционализма» и «мнимого парламентаризма», взятыми из немецкой правовой литературы (Scheinkonstitutionalismus, Scheinparlamentarismus), но вполне адекватными ситуации тех стран, где солидарность власти с народным мнением подменяется солидарностью власти с отдельными слоями общества (как в Испании или на Балканах), а открытая политическая борьба уступает место борьбе личностей за власть. Эта модель, считал Котляревский, адекватна ситуации, сложившейся в России в результате принятия конституционных актов 1905–1906 годов.

В ряде других своих работ автор предпринимает попытку классификации конституционно-монархических государств его времени по двум взаимосвязанным критериям: по «пределам, которые поставлены в них политическому самоопределению нации» и по «степени ограничений, налагаемых на власть, прежде бывшей юридически неограниченной». Наиболее высокий уровень политического самоопределения представлен в Бельгии, Англии и Норвегии — это первая группа стран, где, несмотря на монархическую форму правления, уровень политического самоопределения практически столь же высок, как и в республиканской Франции. Вторая группа стран (Швеция, Дания и Италия) представляет собой компромиссное решение: здесь присутствует достаточно развитое народное представительство, с одной стороны, и сильная монархическая власть, которая постепенно сдает позиции, — с другой. Третья группа характеризуется выраженным перевесом монархического компонента политической системы. К числу стран, где «монархическая власть остается наиболее активной и жизненной», относятся германские государства, Россия и Япония.

Общий вектор мирового политического и правового развития Котляревский усматривает в переходе от менее совершенных к более совершенным формам государственного устройства, связанным с последовательной реализацией парламентаризма: «Доктринерская вера во всемогущую и всепасающую силу парламентаризма, вера в его осуществимость на всех стадиях политического развития страны, конечно, обречена на серьезное разочарование. Но это не затрагивает самого принципа парламентарного строя в широком смысле слова, не изменяет и того несомненного факта, что в его сторону развиваются конституционные государства

«Даруемая свобода представляет нежное растение, которое может скоро загдохнуть на нашей холодной почве...»

очень различного типа и с очень различной обстановкой, не устраняет и несомненного сходства между этим развитием и стремлением полнее воплотить начало правового государства».

В книге по теории конституционного государства установлены следующие направления его анализа: государство и народный суверенитет; представительное и непосредственное правление; конституции «гибкие и неподвижные»; децентрализация и федерализм; государство и права граждан; законодательная, исполнительная и судебная власть.

В основе концепции конституционного государства лежит такой признак, как способность всякого полноправного гражданина (прямо или через своих представителей) быть участником создания законов. В этом состоит главное отличие конституционного государства от абсолютно-го, где индивид является лишь объектом мероприятий правительства, но не субъектом правовых и политических отношений. В конституционном государстве отношения власти и общества регулируются не приказом, но договором: «Лишь в конституционном государстве обязанность власти относительно сограждан облекается в строгую юридическую форму, а не остается одним проявлением господствующего в данной исторической среде морального уровня. Выражаясь короче, лишь в конституционном государстве и властвующие, и повинующиеся правовым образом сливаются в единое политическое целое». Конституционное государство «уничтожает или по крайней мере смягчает двойственность правящих и управляемых и стремится создать из тех и других единое организованное политическое целое».

В качестве ближайшей программы для российских условий Котляревский развивал идею октроированной монархической конституции и ограничения самодержавного строя фундаментальными конституционными гарантиями. От прежних занятий историей религиозной составляющей общественной мысли у него сохранился устойчивый интерес к философской проблематике общественных движений. Современники отмечали родство его идей со взглядами авторов сборника «Вехи». В то же время Сергей Андреевич был далек от неославянофильской позиции своего времени, отрицавшей возможность либеральных конституционных реформ на основании того, что они не соответствуют российской исторической традиции. Эта позиция особенно четко выражена в полемике с умеренными представителями земского движения, выступавшими за введение совещательного и сословного представительства (по образцу Земских соборов) как альтернативы общенародному представительству — парламентаризму. «Говорить, что известному национальному облику более приличествует совещательное представительство, — это все равно, что приписывать известной народности органическое тяготение к проселочным дорогам и органическое отвращение к железным».

Совещательное представительство, считал Котляревский, — это не особенность русской истории (как думали славянофилы), а известная историческая стадия в развитии всех народов. Специфика России в этом

отношении состоит только в том, что она позднее других стран вступила на путь парламентаризма и вынуждена поэтому быстрее и решительнее преодолевать свое отставание от Западной Европы. Совещательное представительство — это некая «общественная экспертиза» законов по значимым вопросам, род политического амортизатора, который, однако, не меняет характера принятия решений в абсолютистском государстве. Подобная экспертиза «отнюдь не замещает правильного участия в законодательной работе, не является даже ее суррогатом», поскольку не ограничивает возможности бюрократии действовать вопреки выраженному общественному мнению. Создание институтов совещательного представительства при отсутствии эффективного общественного контроля над принятием решений может стать чрезвычайно деструктивным фактором: это позволяет более четко выразить общественные ожидания (через мнения представителей общества — экспертов), но не удовлетворить их (поскольку бюрократия не уступит советам общества, которое остается для нее объектом манипулирования). Следствием может стать рост недоверия общества к власти и деструктивных тенденций в общественном развитии.

Кризис доверия между властью и обществом, полагал Котляревский, можно разрешить путем договора, когда «за каждой стороной будут ясно определены права и обязанности»: «Необходимо избежать всего неопределенного, могущего быть истолкованным в противоположные стороны. Подменить юридическое отношение нравственным в этом случае значит предоставить решение фактической силе. Это одинаково не в интересах общества и не в интересах правительства».

В своих трудах Котляревский показал, с одной стороны, особенности русского общественного строя, в частности крестьянской общины, и, с другой, возможность типологического сопоставления монархической государственности России и других стран. Главной проблемой для него, как показывает труд «Власть и право. Проблема правового государства», оставалось движение к правовому государству в России, где предпосылки для этого еще не сформировались и потому главным условием достижения консенсуса является движение властных структур к модернизации. В книге подчеркивалась необходимость движения к правовому государству снизу, через земские учреждения. Следует добавить, что Котляревский являлся видным теоретиком Партии народной свободы и принимал участие в разработке ее идеологических документов, в частности партийной программы.

С.А. Котляревский, наряду с Ф.Ф. Кокошкиным, стал одним из авторов либерального проекта конституции, подготовленного Союзом освобождения и изданного в 1905 году в Париже. Этот проект выражал политические устремления той части русского конституционного либерализма, которая уже в 1904 году выступила с лозунгом созыва Учредительного собрания.

Придерживаясь принципа единства и неделимости России, Сергей Андреевич считал, что оно должно обеспечиваться не внешним принуждением, но социальным и национальным консенсусом. По его мнению, «сильная центральная власть совместна с весьма широкой децентрали-

«Даруемая свобода представляет нежное растение, которое может скоро заглухнуть на нашей холодной почве...»

зацией, с существованием местных законов, вообще с признанием широкого простора для областных и национальных своеобразий». Выход усматривался поэтому не в радикальном выборе в пользу одной из крайностей — федерализма или централизма, но в постепенном и растянутом во времени процессе предоставления статуса автономий территориям, которые достигли соответствующей культурной и правовой зрелости. Рассматривая национальный вопрос, Котляревский выступал за учет этого фактора при организации будущей политической системы — организации народного представительства не по губерниям, а скорее в виде областного представительства. Он, как и Ф.Ф. Кокошкин, последовательно ратовал за предоставление автономии Польше. При этом во внешней политике периода Первой мировой войны и позднее Котляревский, как и большинство либеральных деятелей, придерживался государственных взглядов, близких общим установкам Конституционно-демократической партии, и выступал за доведение войны до победного конца.

Важнейшим условием построения гражданского общества в России Сергей Андреевич считал реализацию принципов земского движения: преодоление правового дуализма, реализацию правового равенства, создание для этого земских институтов управления и реформирование суда. Крестьянская реформа 1861 года, полагал он, не смогла реализовать принцип равенства всех перед законом, сохранив крестьянское обычное право. Она не преодолела правового дуализма писаных законов и крестьянских обычаев, сохранив для крестьян особую систему волостных судов, где суд осуществлялся не по закону, но по обычаям, которые, по мнению юристов, часто граничили с произволом. Реформа 1889 года значительно расширила компетенцию волостных судов. Крестьяне, как отмечал С.А. Котляревский в 1905-м, продолжают «оставаться вне закона и не имеют кодекса, хотя бы такого, какие появляются у каждого народа при самом зарождении государственной жизни». Он отмечал хаос в волостных судах, их зависимость не от законов, а от писарей, знающих дела.

В работе «О суде и опеке у крестьян» (1905) очень точно сформулирована конфликтность двух типов права — норм писаного закона и обычаев, показана их взаимная несовместимость. Суть дилеммы: «Должен ли этот суд при решении крестьянских тяжб и споров руководствоваться лишь местными юридическими обычаями и непосредственным чувством справедливости или же может — и в каких случаях, — применять общие постановления X тома, каково должно быть взаимное отношение между писаным гражданским законом и обычаями, где и как узнавать эти обычаи, существуют ли, например, какие-либо определенные правила наследования крестьян в их имуществе, — этого ни тяжущиеся, ни волостные судьи, ни даже те патентованные юристы и высшие чины губернской администрации, которые составляют апелляционную и кассационную инстанции крестьянских судов, — не знают».

В результате решения волостных судов противоречивы: «путаность и неустройство в волостной юстиции» усугубляются отсутствием при-

нятых высшими инстанциями критериев легальности и единообразия судебной практики, а также волокитой, «которая в Херсонской губернии достигает по гражданским делам пятилетнего срока». Критике подвергался весь механизм соотношения судов разной инстанции: от первой (на уровне общины) — к волостному суду (который опирается на примитивные протоколы низшей инстанции), и от него — к уездным съездам (которые, вместо разбора дел по существу, утверждают решения волостных судов как стоящих ближе к жизни и исходят из того, что дело прошло уже две инстанции). Таким образом, источник дисфункции — неправильных судебных решений — коренится в самом низу и лишь получает дополнительную санкцию на вышестоящем уровне волостных судов.

Поэтому Котляревский критиковал планы Редакционной комиссии по пересмотру законоположений о крестьянах (1904), исходившей из необходимости не ограничения, но расширения компетенции волостных судов, распространения ее на все судебные дела непривилегированного населения деревни. Решение комиссии было основано на результатах сенатских обследований (в частности, на выводах комиссии сенатора Любошинского и Коханова, пришедших к выводу о невозможности распространить общее законодательство на сельское население и о необходимости сохранения волостных судов). Реально это вело к большему изолированию волостных судов от общей юстиции, замене подлинной апелляционной инстанции волостными съездами, где ни уездные члены суда, ни городские судьи не будут принимать участия, к ограничению независимости судей от земских начальников и уездных съездов.

В канун Первой мировой войны и новой русской революции Котляревский выступал за консолидацию центристских сил, стремясь объединить умеренные правые и левые партии. Он участвовал в обсуждении вопроса о союзе с прогрессистами, выдвигал практические инструменты влияния: воздействие на прессу, соглашение на выборах, учреждение юрисконсультства по вопросам о выборах. Сергей Андреевич, в отличие от других кадетских лидеров, высказывал мнение, что прогрессивная группа создаст русло, в которое вольются все те либеральные элементы, которые не перейдут к кадетам. Поэтому он стоял на позициях более уверенного сближения с прогрессистами, нежели руководство кадетской партии. Возможно, причина его ухода из ЦК (в 1912 году) связана с неприятием этой позиции руководством партии, хотя П.Н. Милюков официально давал иное объяснение: «Уход свой из ЦК он мотивировал неудобствами своего служебного положения».

Одним из направлений деятельности Котляревского того периода являлось международное право и исследование системы международных отношений с юридической и политической точек зрения. Теория вопроса содержится в фундаментальном исследовании «Правовое государство и внешняя политика» (М., 1909). В нем представлены основные этапы развития теории правового государства в связи с вопросами международного права, систематизирован опыт международных договоров, а также

«Даруемая свобода представляет нежное растение, которое может скоро заглохнуть на нашей холодной почве...»

рассмотрено их соотношение с конституционными нормами и судебной практикой ведущих государств.

Отметим лекционные курсы и исследования Котляревского в этой области: «Государственное право иностранных держав» и «История международных отношений в новое время. Очерк из истории дипломатических сношений» (запись лекций на Высших женских курсах 1916 года). Ученый считал вступление России в войну необходимым и справедливым шагом, рассматривая его как отстаивание ценностей европейской культуры против германского империализма и милитаризма. Победа в войне, писал он вскоре после Февральской революции, имеет целью не достижение аннексий и контрибуций, но защиту культуры и демократии. «Рядом с великими демократиями Запада, — сказано в работе «Война и демократия» (1917), — образовалась великая демократия Востока — Россия. Она получит государственное устройство, которое будет установлено всероссийским Учредительным собранием. Перед нашей родиной открывается путь государственного и общественного строительства на самых широких демократических началах».

Международно-правовые и дипломатические итоги войны стали предметом осмысления Котляревского и в постреволюционный период. В частности, он прозорливо выявил недостатки Версальской системы — того устройства международных отношений, которое возникло в Европе в результате Парижской конференции, Версальского мира и других международных договоров (Сен-Жерменского, Трианонского). Сопоставляя эту систему с той, которая была создана Венским конгрессом по итогам Наполеоновских войн, Сергей Андреевич усматривал между ними сходство: великие державы стремились достичь тактических преимуществ в ущерб общей стратегии европейской стабильности. «И здесь и там сказывалась эгоистическая близорукость людей, мыслящих, что они воздвигают необыкновенно прочное здание нового международного порядка, удовлетворяющего полностью их вождениям». Анализируя карту послевоенной Европы, ученый очень точно указал на возможные точки напряженности, способные вызвать новую мировую войну.

В период Февральской революции Котляревский являлся деятелем Временного правительства — комиссаром по иностранным и иноверным исповеданиям, а позднее — товарищем обер-прокурора Святейшего синода и товарищем министра вероисповеданий Временного правительства. Его воззрения на отношения государства и церкви соответствовали установкам, выработанным на IX съезде Конституционно-демократической партии (23–28 июля 1917 года), когда по докладу П.И. Новгородцева был принят соответствующий (церковный) раздел программы партии. Отношения государства к Православной церкви и другим вероисповеданиям строились на компромиссных началах. С одной стороны, провозглашались принципы свободы вероисповеданий и культа, с другой — православие, как религия значительного большинства населения, наделялось «первенством почета во всех актах государственной жизни». Православная

церковь определялась как институт публично-правового характера, которому государство «оказывает покровительство в законе и материальную поддержку». В то же время это покровительство не должно повторять ошибки прежнего бюрократического контроля: церкви предоставляется право «свободного самоусмотрения, согласно учению самой церкви и постановлению Всероссийского Поместного Собора», а все контрольно-административные ограничения предшествующего времени — отменяются. Таким образом, либеральный принцип свободы веры интерпретировался в рамках концепции партнерства государства с православным духовенством. Котляревский выражал уверенность, что эти принципы соответствуют постановлениям Предсоборного совета и московского съезда мирян и духовенства, а потому будут приняты на грядущем Соборе.

Котляревский входил в Особое совещание для подготовки проекта Положения о выборах в Учредительное собрание. Он активно участвовал в подготовке важнейших правовых актов Временного правительства, в частности по вопросам международных договоров и местного самоуправления. Его имя часто встречается в стенограммах заседаний Юридического совещания при Временном правительстве.

После Октябрьского переворота Сергей Андреевич вошел в оппозиционное движение, став членом таких организаций, как Правый центр и Всероссийский национальный центр (ВНЦ), действовавший в Москве и на Юге России под руководством М.М. Федорова, Д.Н. Шипова, Н.Н. Щепкина и других видных либеральных деятелей. Представляя его Московское отделение, Котляревский участвовал в конспиративных совещаниях, на которых в 1918–1919 годах (вплоть до ареста и казни активных участников антибольшевистского подполья) вырабатывалась программа борьбы с большевизмом. Заседания ВНЦ проходили в Институте экспериментальной биологии на Сивцевом Вражке, директором которого был профессор Н.К. Кольцов. Подпольщики обсуждали также проблемы организации жизни России после свержения большевиков: гражданское право, управление и самоуправление, национальное и религиозное устройство, международное положение, финансы, промышленность и транспорт, земельный и рабочий вопросы, образование.

Котляревский, руководивший разработкой законопроектов, пригласил к обсуждению земельного вопроса, состояния финансов и налогов известных экономистов, в частности Л.Б. Кафенгауза. На заседании ЦК Конституционно-демократической партии 3 мая 1918 года он сказал, что им необходимо «иметь наготове проект о возможном устройстве окраин России», причем важно «приступить к обсуждению вопроса немедленно», учитывая его сложность. «Вся работа, — не без иронии отмечал профессор Н.К. Кольцов на следствии в ВЧК, — шла на тот случай, если Советская власть сложит свои полномочия и кому-то другому придется организовывать русскую жизнь».

По этим направлениям подготовили ряд законопроектов, обсуждение которых являлось, по свидетельству Котляревского, «главным предме-

«Даруемая свобода представляет нежное растение, которое может скоро заглохнуть на нашей холодной почве...»

том совещаний Национального центра в последние месяцы 1918 и начале 1919 года». Разработанная программа включала задачи восстановления государственного единства; созыв национального собрания для решения вопроса о форме правления; введение военной диктатуры как переходной формы власти для установления порядка, личной собственности и решения социально-экономических проблем. Эти положения вынужденно носили общий и компромиссный характер, объединяя позиции более и менее радикальных политических групп, оппозиционных большевизму, и могли по-разному интерпретироваться в зависимости от итогов Гражданской войны в России. Основные принципы, на которых могла консолидироваться оппозиция, говорил Котляревский на допросе в ВЧК 2 марта 1920 года, были таковы: «единство России, национальный характер власти: диктаториальный в переходный период с последующим созывом Национального собрания». Сергей Андреевич, разделявший и активно формулировавший эти идеи, привлекался к суду по делу «Тактического центра» (небольшой координационной группы, названной так чекистами) и получил в то время условный срок.

Позднее Котляревский оставил политическую деятельность, как и ряд других либералов, которые не смогли или не захотели бежать за границу, и сделал попытку продолжать научные исследования в условиях советского режима. Он работал в Институте советского права и Московском университете, короткое время был консультантом советских учреждений, стал автором нескольких публикаций. Н. Устрялов, вернувшись в Россию в период нэпа, даже считал, что Сергей Андреевич как ученый пользуется известным авторитетом. Другой наблюдатель, бежавший из России, рассказывал о нем в Париже (1922) не столь оптимистично: «С.Ан. Котляревский у большевиков в почете, но живет он плохо, душевное настроение его тяжелое. В России кадетской партийной жизни нет никакой».

Потеряв возможность заниматься теоретическими проблемами конституционного права, Котляревский вынужденно сосредоточился на проблемах хозяйственного права — бюджетного права и местного хозяйства (работа «Как волость собирает средства и как их расходует. Изложение законов о волостном бюджете» вышла в 1925 году). Преподавая правовые дисциплины в учреждениях послеоктябрьского периода, он стал даже автором учебника для вузов («Бюджетное право СССР», 1925).

17 апреля 1938 года С.А. Котляревского арестовали по обвинению в контрреволюционной деятельности. Недавно открытые документы свидетельствуют, что он оказался в списке «активных участников контрреволюционных, правотроцкистских, заговорщических и шпионских организаций» (931 человек), представленном Л. Берией и А. Вышинским 8 апреля 1939 года для санкции на расстрел (198 человек) и осуждение на длительные сроки (733 человека). В тот же день санкцию оформили как решение Политбюро № Пп/217 за подписью Сталина. С.А. Котляревский был расстрелян и похоронен на печально знаменитом полигоне «Коммунарка» (Московская область) 15 апреля 1939 года.

СТЕПАН
ВАСИЛЬЕВИЧ
ВОСТРОТИН

«Сибирь — продукт
вольного народного
завоевания...»

Степан Васильевич Востротин родился 10 декабря 1864 года в Енисейске, в богатой купеческой семье. Ее родоначальником считается Тимофей Востротин — бывший приписной крестьянин знаменитого Каслинского завода (Екатеринбургского уезда Пермской губернии). Этот завод еще в 1747 году основал тульский купец Яков Коробков, а в 1751-м его приобрел Никита Никитич Демидов.

Братья Тимофей и Василий Востротины приехали в Енисейск в 1861 году и занялись разведкой и разработкой золотых приисков. Записались сначала во 2-ю, а потом и в 1-ю купеческую гильдию. Брели крупные подряды на поставки товаров, вина и спирта на прииски, давали деньги в рост. Сын Василия, Степан Востротин, в 1887 году окончил Казанский ветеринарный институт, затем учился в Парижской медицинской школе, но смерть отца заставила его вернуться в Россию, чтобы возглавить семейное золотопромышленное дело.

Енисейск, бывшая столица Сибири, после постройки тракта Томск — Красноярск — Иркутск потерял прежнее значение. В начале XIX века, благодаря открытию месторождений золота, наметился новый подъем. Но к 1880-м годам месторождения начали истощаться, прииски — редеть. К тому же одно за другим следовали несчастья. Летом 1869-го загорелись окрестные торфяники, огонь перекинулся на город, и тот выгорел практически полностью. На следующий год произошел небывалый разлив Енисея и остатки некогда знаменитого торгового центра затопило. Опустошение довершили эпидемии, прежде всего оспы.

В этих условиях группа подвижников из числа наиболее знатных семей (Кытмановых, Востротиных, Фунтосовых, Баландиных) поставила своей задачей возрождение родного города. Собственно, стратегия была понятна: поиск возможностей для активизации северной торговли, через Енисей и Карское море, — с Европой. Большую роль в этой работе сыграл Степан Васильевич Востротин, занимавший в 1885–1899 годах выборный пост городского головы.

Еще в 1884 году С.В. Востротин вместе с английским капитаном Виггинсом совершил плавание из Лондона в Енисейск через Карское море. Уже став городским головой, он, вместе с другими сибирскими промыш-

ленниками и общественными деятелями, активно поддержал развитие военно-морских баз на севере России — в первую очередь в Екатерининской гавани на Кольском полуострове. Александр III в свое время уже собирался строить русскую военно-морскую базу именно здесь, на Мурмане, а не в Либаве (Лиенае), как предлагали многие высшие военные. Он понимал, что в случае войны порт на Балтике может быть быстро отрезан от России. Его любовь к Северу поддерживал также бывший начальник личного конвоя генерал-адъютант Шереметев, который с 1883 года возглавлял Арскую китобойную кампанию. Кроме того, в возрасте двадцати двух лет Александр III был председателем Комиссии по борьбе с голодом в Вологодской и Архангельской губерниях. После смерти императора его наследник, Николай II, подпал было под влияние сторонников базы на Балтике, однако, памятуя заветы отца, он поддержал также план С.Ю. Витте о строительстве «коммерческого порта» в Екатерининской гавани. Вот в эти-то планы и включились предприниматели-сибиряки, и в первую очередь С.В. Востротин, увидевший здесь новый шанс для развития Енисейского края. 24 июня 1899 года город Порт-Александровск был торжественно заложен в присутствии дяди нового царя — великого князя Владимира Александровича.

В 1902 году Степан Васильевич издал получившую широкую известность книгу «Северный морской путь и Челябинский тарифный перелом в связи с колонизацией Сибири». В ней на большом фактическом материале показано, что завышенные тарифные пошлины, прикрываемые тезисом о «защите от иностранного влияния», мешают развитию российского Востока и России в целом.

Весной 1906 года Востротин сделал попытку избраться в I Государственную думу. 30 апреля в помещении Городского театра состоялись выборы енисейского выборщика по съезду городских избирателей. Голосовать явилась примерно треть всех зарегистрированных (401 из 1286). С большим преимуществом прошел врач А.А. Станкеев, представитель кадетской партии, набравший 304 голоса. Востротин набрал тогда 66 голосов, что стало для него важным политическим уроком: одного только личного авторитета недостаточно для победы; нужна налаженная «партийная машина» и серьезно поставленная избирательная кампания.

На довыборах в III Государственную думу (на место скончавшегося В.А. Караулова) Степан Востротин, уже как лидер местного отделения Конституционно-демократической партии, уверенно победил. Был он в то время гласным городской думы Енисейска, личным почетным гражданином и обладал недвижимостью на 15 000 рублей. Все личные деньги Востротин вложил тогда в развитие Енисейского пароходства. Занимало его также устройство первых русских радиостанций на Югорском Шаре и Маточкином Шаре (Новая Земля), а также на полуострове Ямал, в чем он встретил поддержку министра путей сообщения С.В. Рухлова.

25 октября 1912 года в Красноярске состоялось губернское избирательное собрание по выборам члена IV Государственной думы от Енисейской

губернии. Баллотировались семь человек, но в первом туре ни один не набрал большинства. На следующий день баллотировались два кандидата: С.В. Востротин и К.М. Сухарев — доверенный торгового дома купцов Мокроусовых из Ачинска. Победил енисеец с перевесом в три голоса.

Первую большую речь в IV Думе С.В. Востротин произнес 15 марта 1913 года. Обсуждался запрос правительству о необходимости скорейшего введения земства в Сибири. Оратор напомнил, что еще в 1905 году, в царском рескрипте на имя иркутского генерал-губернатора «твердо и повелительно указывалось приступить к разработке вопроса о введении земских учреждений в Иркутском генерал-губернаторстве» (т.е. в Енисейской и Иркутской губерниях, в Забайкальской области, а также в Западной Сибири — губерниях Томской и Тобольской). Однако правительство, по существу, бойкотировало этот вопрос в III Думе, а теперь согласно ограничиться лишь Западной Сибирью (Томской и Тобольской губерниями). Причину этой медлительности и неуступчивости Востротин усматривал в том, что, по мнению высших властей Империи, «земское самоуправление в Сибири будет исключительно состоять из крестьян, мелких торговцев и мещан, а этому крестьянскому мужицкому земству правительство не доверяет».

Выступление привлекло большое внимание депутатов, а потом и общественности, ибо его содержание далеко выходило за пределы формально обсуждаемого вопроса. По сути дела, речь шла о стратегии развития в целом, об альтернативе: либо бюрократический путь при опоре на деградирующее дворянство — либо интенсификация частнопредпринимательской инициативы, в том числе и для развития дальних пределов страны. «Гг. члены Государственной Думы, — обращался к депутатам Востротин, — если в Европейской России могут еще представители дворянского элемента доказывать, что они будто бы потомки строителей русского государства, то в отношении Сибири у них нет совершенно никаких корней — у них нет там даже и земского земельного ценса. В Сибири имеются заслуги только одного крестьянства, вольного казачества и торговых и промышленных людей. Сибирь... есть продукт вольного народного завоевания, это подарок, который крестьянская масса и вольное казачество преподнесли Европейской России. И вот, казалось бы, что давно наступил момент, когда прямой долг, простая обязанность заплатить по счетам этому народу».

«Сибирь —
продукт
вольного
народного
завоевания...»

Далее оратор привел слова Александра III, который, в ответ на телеграмму иркутского генерал-губернатора по случаю празднования 300-летия Сибири, сказал: «Надеюсь, что с Божьей помощью, обширный и богатый Сибирский край, составляющий уже три столетия нераздельную часть России, будет в состоянии пользоваться нераздельно с нею одинаковыми общественными и правительственными учреждениями». И добавил: «Прошло после того тридцать лет, а этих одинаковых общественных учреждений в Сибири и до сих пор нет. Правительство совершенно игнорировало обширную Сибирь, оно игнорировало даже Высочайший рескрипт.

С проведением Сибирской железной дороги, с организацией усиленного переселенческого движения само правительство вывело Сибирь из его сонного, спокойного, незаметного существования, само содействовало крушению тех бытовых условий, которые гарантировали местному населению экономически обеспеченную жизнь; там совершается теперь огромная экономическая ломка, и в этот период, казалось бы, как можно скорее нужно прийти на помощь этой стране организацией общественных учреждений. Сибирь вступает в мировой рынок и начинает играть все более и более заметную роль в политической жизни страны и приобретать международное значение, а между тем ее земское хозяйство находится в печальном состоянии, вследствие чего положение местного населения нисколько не улучшается; оно остается, можно сказать, почти без школ, без медицинской помощи, без путей сообщения, населению грозит одичание и вырождение. Между тем не существует решительно никаких оснований, никаких препятствий для введения земских учреждений в Сибири, они придумываются, создаются искусственно, с целью только затормозить реформу».

Востротин напомнил, что «исторические современницы Сибири» — Северная Америка, Австралия, даже Южная Африка — «пошли совершенно другим путем, они не испугались ни больших расстояний, ни редкости населения, они с давних времен призвали к участию в работе над местными нуждами местных деятелей, местные силы, и это дало великий результат: и экономический расцвет, и культура этих стран вызывают зависть других народов. У нас наоборот, у нас гибнут бесцельно силы, готовые работать на благо своей родины, и Сибирь утрачивает веру в слова, веру в обещания правительства, утрачивает веру в Высочайший рескрипт, когда поколение за поколением сходит без пользы для культуры своей страны, в ожидании реформы (шум), в силу невозможности работать для блага своей родины... Выборные земские учреждения — это есть общее право всей России, и распространение этого общего права на все окраины безотлагательно необходимо. Пора же, наконец, иметь доверие, гг., к народу, который плотью и кровью завоевал колоссальные пространства, от Урала до Тихого океана, и создал, можно сказать, величайший резерв для русского народного хозяйства. (Рукоплескания слева.)»

Общероссийскую известность Степану Васильевичу Востротину принесли не только думские выступления, но и его новое полярное путешествие по маршруту Тромсё (Норвегия) — Енисейск (1913). В то время «Сибирское Акционерное общество пароходства, промышленности и торговли» планировало наладить регулярные торговые рейсы между Северной Европой и Центральной Сибирью через Карское море, ибо переправка грузов по железной дороге была очень дорога. В 1912 году общество зафрахтовало норвежский пароход «Тулла», специально для плавания во льдах, но тот не сумел пробиться через массы льда в Карском море. Летом следующего года предприняли еще одно путешествие, возглавить которое руководитель Акционерного общества Иона Иванович Лид пригла-

сил знаменитого ученого и полярного исследователя Фритьофа Нансена. У паровой фирмы «Христенсен» был зафрахтован пароход «Коррект», на который погрузили 1000 тонн цемента в бочках для нужд Сибирской железной дороги.

Другими членами экспедиции стали: молодой, но уже опытный капитан Иоганн Самуэльсон; лоцман Ганс Христиан Иогансен (во время экспедиции Норденшельда на «Веге» в 1878 году он командовал пароходом «Лена», который прошел из Норвегии к устью Лены, а затем поднялся до Якутска); ученый-этнограф Иосиф Григорьевич Лорис-Меликов, знаток малых народов Сибири.

Руководство российской части экспедиции взял на себя С.В. Востротин. Нансен так писал о нем в своей книге «В страну будущего» (изданной в Петрограде в 1915 году): «Степан Васильевич Востротин — золотопромышленник из Енисейска, бывший городской голова этого города, а в настоящее время член Государственной думы, представитель края с почти миллионным населением. Вот страна, достойная зависти! Если бы наш стортинг созывался на таких условиях, в нем было бы два с половиной человека, и с ним было бы полегче сладить, чем с нынешними 123 депутатами. Лучшего спутника по Сибири у нас и быть не могло. Карское море Востротин проехал во время своего свадебного путешествия в 1894 году, а вниз и вверх по Енисею плавал много раз. Свою родину и свое миллионное население он знал вдоль и поперек и являлся настоящим живым справочником по всем интересовавшим нас вопросам относительно условий местной жизни и труда. Кроме того, он сам в девятых годах долгое время состоял совладельцем пароходства по Карскому морю и Енисею и даже приобрел для этого предприятия на собственные деньги несколько пароходов. В результате потерял немало денег, но обогатился большим личным опытом в этой области».

Из норвежской столицы Христиании путешественники по железной дороге доехали до Тронхёма, затем на пароходе — до Тромсё, откуда «Коррект» вышел в море во вторник, 5 августа 1913 года. 3 сентября, в устье Енисея, участники экспедиции перегрузились на яхту «Омуль», продолжив плавание до Енисейска. Любопытны полуироничные воспоминания Нансена о первой высадке исследователей на землю и посещении стойбища самоедов: «Первым ступил на берег Востротин, как и полагалось народному представителю этой области. Ведь нас ожидали на берегу граждане, избравшие его в Государственную думу. Мы так и прозвали его „владыкой самоедов“».

Укреплению дружбы Нансена и Востротина способствовали не только совместная работа и обоюдное увлечение фотографией (в архивах остались сотни сделанных ими снимков), но и жаркие политические дискуссии, в том числе о различиях в политическом строе и политической культуре Норвегии и России. Востротин, например, рассказал Нансену такую историю. Лет тринадцать назад он на корабле шел вверх от устья Енисея и повстречал в низовьях реки «стражника», который ехал опове-

«Сибирь —
продукт
вольного
народного
завоевания...»

стить рыбаков, подлежащих военному призыву, чтобы они немедленно ехали в Енисейск, а оттуда — в Красноярск, т.к. объявлена мобилизация. «Стражник» не мог толком ответить, с кем Россия воюет. Когда Востротин добрался до Курейки, то узнал, что «царь воюет с семью другими царями» и что война идет успешно для «нашего царя» (кто были те «семь царей», никто не знал, говорили, что там и «англичанка», и «француженка», и еще кто-то). Только в Енисейске ему объяснили: в Китае вспыхнуло восстание (так называемое ихэтуаньское) и союзные войска, включая русские, участвовали в его подавлении. Запомнился Нансену и другой описанный Востротинным эпизод. Во время пребывания в Норвегии, в 1899 году, зашел он как-то попросить воды в дом к одному местному жителю: «Хозяин, крестьянин или рыбак, угостил его чудесным молоком и, разговорившись с гостем насчет того, что делается на белом свете, рассказал о пересмотре дела Дрейфуса со всеми подробностями. Востротина не могла не поразить разница между этим рыбаком на окраине Норвегии, постоянно читавшим газеты, знавшим подробности процесса Дрейфуса, и зажиточным торговым людом в Сибири».

В Енисейске участников экспедиции встретили с большим почетом. Нансен вспоминал: «В числе встретивших нас на пристани находился сам городской голова с цепью на шее, исправник в полной форме, директор гимназии, также в форме, и другие почтенные обитатели города. Были произнесены речи по-русски и по-немецки, потом начались взаимные представления... Потом нас посадили в экипаж и повезли в великолепный большой каменный дом, настоящий дворец, принадлежащий невестке Востротина, Анастасии Алексеевне Китмановой (попечительнице женской гимназии), которая приняла нас с чисто сибирским радушием. Какой контраст представляли эти огромные залы с нашей маленькой каютой на „Омуре“».

А 22 сентября 1913 года Фритьоф Нансен прочел свою знаменитую трехчасовую лекцию в актовом зале енисейской мужской гимназии (туда же привели и девочек-гимназисток) о своем путешествии к Северному полюсу на ледоколе «Фрам» (1895–1896). Востротин переводил с английского на русский. Затем состоялся торжественный завтрак в честь Нансена; позже он вспоминал: «Директор гимназии произнес речь на эсперанто, которого я, впрочем, не понимал и с которого не нашлось даже переводчика. Таким образом, никто ничего не понял. Я, в свою очередь, отвечал на все речи на английском языке, которого не понимал никто из наших хозяев. Но Востротин переводил им мои слова по-русски, и, судя по тому приему, которого они удостоились, я заподозрил, что перевод был много лучше оригинала».

С началом Первой мировой войны депутат Государственной думы С.В. Востротин неоднократно посещал действующую армию. В те месяцы он был избран членом Центрального военно-промышленного комитета (во главе с А.И. Гучковым) и членом Главного комитета Всероссийского союза городов (во главе с М.В. Челноковым). А осенью 1914-го вошел также в руководящий Комитет Сибирского общества помощи больным

и раненым воинам и пострадавшим от войны (Сибиртет), объездив тогда многие города Сибири.

Думская и общественная активность Востротина выдвинула его в число высших руководителей Конституционно-демократической партии. На VI партийном съезде в феврале 1916 года он был избран в состав кадетского Центрального комитета.

После Февральской революции С.В. Востротина назначили комиссаром по продовольственным вопросам. Во Временном правительстве он занял пост товарища (заместителя) министра земледелия (соратника по кадетской партии А.И. Шингарева). Летом 1917-го был делегирован во Временный совет Российской республики (Предпарламент).

Большевистского переворота Степан Васильевич не принял и вошел в состав подпольного «Национального центра». В начале 1918 года он приехал на Дальний Восток, где попал в ближайшее окружение управляющего КВЖД генерал-лейтенанта Дмитрия Леонидовича Хорвата, объявившего себя «временным верховным российским правителем». В «Деловом кабинете» генерала Хорвата Востротин сначала был министром торговли и промышленности, потом фактически возглавлял правительство.

В конце октября 1918 года в Омске представители «белых правительств» Сибири обсуждали вопрос о формировании единого руководящего центра. В частности, думали пригласить адмирала А.В. Колчака на должность военно-морского министра объединенного правительства. Как свидетельствует участник совещания Л.А. Кроль, Востротин выступил против этой идеи: «По словам Востротина, адмирал Колчак был далеко не тот, что раньше. Он стал человеком, слишком часто меняющим решения, колеблющимся. Очень нервным. Вчера я виделся с адмиралом и нашел, что было бы не вредно дать ему еще трехмесячный отпуск... Определенно указывал на то, что в данный момент эта кандидатура мало подходяща...» Возможно, однако, что именно в силу изложенного кандидатура Колчака удовлетворила все противоборствующие стороны: вероятно, со временем каждая надеялась перетянуть адмирала к себе. При «Верховном правителе» адмирале Колчаке С.В. Востротин снова занял ряд руководящих должностей: председателя Комитета Северо-Морского пути, уполномоченного Российского правительства на Дальнем Востоке, председателя делового комитета Государственной думы города Владивостока, члена Государственного экономического совещания.

После поражения колчаковских войск Востротин эмигрировал в Маньчжурию. Здесь, в Харбине, оказалось тогда до 200 тысяч русских эмигрантов. С июля 1920-го по февраль 1926 года издавал в этой «китайской Женеве» наиболее популярную эмигрантскую газету «Русский голос». А в начале 1930-х переехал во Францию. Скончался Степан Васильевич 1 мая 1943 года в Ницце и был похоронен на местном русском кладбище Кокад.

В апреле 2006 года на фасаде дома в Енисейске, где когда-то жила семья С.В. Востротина, была установлена мемориальная доска.

«Сибирь —
продукт
вольного
народного
завоевания...»

МИХАИЛ
ГЕРАСИМОВИЧ
КОМИССАРОВ

«Наши издания расходятся
по России в десятках тысяч
экземпляров...»

Михаил Герасимович Комиссаров родился в 1867 году в селе Дубасово Судогодского уезда Владимирской губернии (ныне Гусь-Хрустального района Владимирской области) в семье крупного купца и промышленника. Семейное дело в уезде завел дед Михаила, купец 2-й гильдии, бывший крестьянин Филипп Комиссаров, построивший в округе несколько стеклянных («хрустальных») заводов. Начав с выпуска зеленых бутылок, штофов и полуштофов, он разбогател после войны с Наполеоном, когда в результате разорения Москвы и окрестностей резко вырос спрос на оконное стекло. Дело продолжил его сын, Герасим Филиппович Комиссаров, оставивший по себе добрую память щедрой благотворительностью: построил в Дубасове красивую церковь во имя Св. Николая Чудотворца, в склепе которой позднее и был похоронен, добротные дома-коттеджи для рабочих, открыл двухклассное училище и аптечный пункт. В конце XIX века железнодорожная станция Ивановка в 15 км от Дубасова была переименована в Комиссаровку.

Будущий политик и депутат Михаил Комиссаров после окончания гимназии в Москве поступил на юридический факультет Московского университета. Затем служил почетным мировым судьей в родном Судогодском уезде, избирался уездным и владимирским губернским гласным, продолжил семейную традицию благотворительности, открыв в Дубасове первоклассную больницу-клинику. Молодой общественный деятель, получивший личное дворянство, чин надворного советника и унаследовавший более полутора тысяч десятин земли, постепенно стал известен и в Москве, где семья также имела большую недвижимость: он был бессменным председателем Общества для пособия нуждающимся студентам Московского университета, гласным Московской городской думы. Был одним из учредителей и спонсоров Московского художественного театра: известно, что в первые два десятилетия своего существования МХТ («Дом Чехова») был значимым элементом московской либеральной субкультуры.

М.Г. Комиссаров стал одним из основателей Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы). Некоторые заседания так называемой 40-членной комиссии, готовившей объединение двух главных организаций, создавших кадетскую партию, Союза освобождения и Союза

земцев-конституционалистов, проходили в московском особняке Комиссарова на углу Сивцева Вражка и Калошина переулка.

У этого сохранившегося по сей день дома по адресу Сивцев Вражек, 24/2, своя история. В начале XIX века дом принадлежал генералу Илье Ивановичу Алексееву — участнику войн с Турцией, Швецией, Пруссией, потом с Наполеоном. В конце жизни генерал-лейтенант Алексеев занимал должность московского полицмейстера. Его жена, Наталья Филипповна, урожденная Вигель, приходилась родной сестрой Ф.Ф. Вигелю, известному мемуаристу пушкинской эпохи. Их сын Александр Ильич, штабс-капитан лейб-гвардии Конного полка, был арестован в сентябре 1826 года за причастность к распространению «крамольного» отрывка из поэмы А.С. Пушкина «Андрей Шенье», озаглавленного «На 14 декабря». По просьбе престарелого генерала его сына, Александра Алексеева, возили для допросов в родительский дом на Сивцевом Вражке, где отец-полицмейстер лично склонял сына к признанию и покаянию. А.И. Алексеев был приговорен к смертной казни, замененной годом крепости, потом отправлен служить на Кавказ, где вскоре и погиб.

В 1831–1832 годах дом на углу Сивцева Вражка и Калошина переулка снимали родители юного Ивана Сергеевича Тургенева. Сам он учился тогда в расположенном в двух кварталах пансионе Вейденгаммера (на углу Гагаринского и Староконюшенного переулков) и готовился к поступлению в Московский университет.

В конце 1830-х — начале 1840-х годов дом снимал выпущенный на свободу бывший декабрист Александр Федорович Вадковский, причастный к «тайным обществам» и восстанию Черниговского полка.

А в начале XX века, уже при Михаиле Герасимовиче Комиссарове, в его хлебосольном доме на Сивцевом Вражке регулярно собирались выдающиеся деятели как русской либеральной политики (братья князя Петр и Павел Долгоруковы, П.Н. Милюков, Ф.Ф. Кокошкин, князь Д.И. Шаховской, А.А. Корнилов, М.В. Челноков, Н.М. Кишкин), так и культуры: основатели и ведущие актеры МХАТ К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, В.И. Качалов, И.М. Москвин и др. Многие годы дружил Комиссаров и с Антоном Павловичем Чеховым, чей младший брат Иван Павлович некоторое время работал учителем в имении Комиссарова в Дубасове.

В руководстве кадетской партии М.Г. Комиссаров взял на себя одно из наиболее важных направлений — культурно-просветительскую и издательскую работу. Именно он основал и финансировал в Москве основную кадетскую книгоиздательскую фирму «Народное право», издававшую большими тиражами партийные брошюры, а также газеты «Народное дело» и «Народный путь». Был Комиссаров и постоянным председателем Общества попечения о неимущих студентах Московского университета (в частности, оно выкупало для студентов солидную квоту театральных билетов). Просветительский энтузиазм и последовательность Комиссарова во многом обеспечили неуклонный рост популярности в России конституционно-демократических идей.

Весной 1906 года Комиссаров, лидер владимирского губернского комитета партии, был избран по кадетскому списку депутатом I Государственной думы (вместе с ним от владимирских кадетов в Думу прошли К.К. Черносивитов и И.П. Алексинский). После досрочного роспуска Думы за подписание оппозиционного Выборгского воззвания Комиссаров был лишен избирательных прав и осужден к трехмесячному тюремному заключению.

13 мая 1908 года Комиссаров лично отправился во 2-й участок Пречистенской части, был препровожден в московскую тюрьму в Каменщиках («Таганку») и помещен в одноместную камеру № 82. Его соседями оказались близкие товарищи по либеральному движению: Ф.Ф. Кокошкин (камера № 81) и бывший председатель I Думы С.А. Муромцев (№ 83). Очевидцы вспоминали, что во время прогулок на тюремном дворе Комиссаров всегда старался держаться ближе к Муромцеву, который читал друзьям импровизированный курс по социологии, положив в его основу Библию.

Еще в июне 1906 года М.Г. Комиссаров был кооптирован в ЦК Кадетской партии, позднее избран председателем Московского губернского комитета партии, а в 1910-м стал казначеем ЦК. Именно ему, человеку с деловой хваткой и в то же время кристально честному, партия поручила возглавить Фонд по увековечению памяти скончавшегося осенью 1910 года С.А. Муромцева. Фонд издал несколько сборников в честь первого председателя русского парламента, финансировал установление на его могиле на Донском кладбище Москвы памятника работы известного скульптора Паоло Трубецкого.

Судя по всему, М.Г. Комиссаров был дальновидным человеком и предчувствовал ожидающие Россию катаклизмы: с началом Мировой войны он продал свои заводы в Судогодском уезде, окончательно переехал в Москву и более не возвращался в родные места. Комиссаров продолжил активную работу в ЦК кадетской партии, участвовал в разработке проекта ее новой программы по аграрному и национальному вопросам. Осенью 1917 года был избран депутатом Учредительного собрания, но, как и большинство других кадетских депутатов, 28 ноября 1917 года был арестован и в его работе не участвовал. После разгона Собрания 6 января 1918 года он продолжил работу в фактически подпольном ЦК партии. Весной 1918 года был подвергнут аресту по делу кадетской партии, но через несколько дней освобожден без предъявления обвинения. В отличие от многих своих товарищей по партии, уехавших на юг для участия в Белом движении, Комиссаров Москвы не покинул и в Гражданской войне активного участия не принимал.

М.Г. Комиссаров, которому в год большевистского переворота уже перевалило за пятьдесят, остался в Москве, при Московском художественном театре, который не без оснований считал своим детищем. В свою очередь, благодарный коллектив театра не отвернулся от одного из своих основателей и членов правления, несмотря на его стопроцентно «буржуазную» биографию: российская либеральная субкультура была в те годы

уже полностью выдавлена из политики, но еще могла на низовом уровне защитить «своих».

18 мая 1920 года представители МХАТ не побоялись отправить письмо в президиум Московского ЧК с просьбой освободить М.Г. Комиссарова, вновь арестованного по делу антибольшевистского «Тактического центра». В письме за подписью В.И. Немировича-Данченко, К.С. Станиславского и И.М. Москвина говорилось: «Московский Художественный Академический Театр настоящим просит о выдаче на поруки арестованного помощника бухгалтера театра Михаила Герасимовича Комиссарова, ввиду того, что в данное время, при окончании сезона, необходимо заключить отчетность за истекший сезон и немедленно приступить к составлению сметы на предстоящий сезон 1920–1921 г. для своевременного утверждения Центротеатром. М.Г. Комиссаров является единственным помощником бухгалтера — крайне необходимым работником. Возбуждая настоящее ходатайство, Московский Художественный Академический Театр просит найти возможным ускорить производство следствия по делу Комиссарова и, если позволят обстоятельства, освободить его до окончания его дела — хотя бы на поруки».

Не получив ответа, те же «представители МХАТ» написали 17 июня 1920 года еще более решительное письмо-заявление — на этот раз в Особый отдел ВЧК: «Художественный Театр уже просил ускорить рассмотрение дела Михаила Герасимовича Комиссарова, в работе которого (по бухгалтерии) сейчас Театр очень нуждается. При этом заявляем, что Театр может взять на себя поручительство и за то, 1) что М.Г. Комиссаров будет находиться в Москве безвыездно и, во всяком случае, адрес его местожительства во всякое время будет определенно известен, и за то 2) что он не будет заниматься политической деятельностью, враждебной Советской власти». Дело Комиссарова было вскоре прекращено, и он был выпущен на свободу.

Дети М.Г. Комиссарова (его женой была Мария Петровна Смирнова, дочь известного водочного фабриканта) унаследовали любовь отца к культуре и искусству: Герасим стал музыкантом, а Сергей и Александр — известными театральными актерами, народными артистами РСФСР.

Михаил Герасимович Комиссаров умер в 1929 году и был похоронен на Дорогомиловском кладбище Москвы. После закрытия этого кладбища родные перезахоронили его прах на Новодевичьем кладбище.

«Наши издания расходятся по России в десятках тысяч экземпляров...»

АНДРЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ
РЫКАЧЕВ

«Слишком мал запас
академических
традиций...»

В августе 1914 года Андрей Михайлович Рыкачев (1876–1914) ушел добровольцем на фронт, где вскоре погиб в возрасте 38 лет в звании рядового. Он ощущал себя всего лишь «одним из многих», несмотря на то что уже к началу войны был известным журналистом, публикации которого на темы экономики и политики не раз вызывали заметный общественный резонанс. Заветной мечтой этого человека, всегда весьма скромно оценивавшего свои способности, было служение науке.

Однако само по себе это желание неизбежно вовлекало Андрея Рыкачева в центр событий «русской смуты» начала XX века. Дело в том, что исследовательские интересы молодого ученого оказались неотделимы от насущных проблем, волновавших в ту пору передовые российские умы. Переживание этих проблем как глубоко личных определило его активную гражданскую позицию. В годы военных бедствий общественный темперамент Рыкачева не позволял ему отсиживаться в безопасности — как он говорил, «за тридевять земель» от русских боевых позиций. Он так и не успел защитить даже магистерскую диссертацию. Вместе с тем современники (среди которых П.Б. Струве, С.Л. Франк, М.И. Туган-Барановский, П.А. Сорокин, Е.Д. Кускова, А.В. Тыркова, В.Д. Кузьмин-Караваев) признавали А.М. Рыкачева «крупной литературной и научной силой», отводили ему особое место в российском общественном движении.

А.М. Рыкачев происходил из древнего дворянского рода. Его отец — Михаил Александрович Рыкачев (1840–1919), генерал-лейтенант (1904), член Петербургской (1896) и Российской (1917) академий наук — упоминается в энциклопедиях как ученый с мировым именем, автор многочисленных трудов по физической географии. Основатель метеослужбы в России, Михаил Рыкачев известен также как «отец русской аэрологии», один из основоположников гидрологических прогнозов, инициатор и руководитель магнитной съемки на территории России. С 1868-го он возглавлял Главную физическую лабораторию страны (сначала в качестве помощника директора, а в 1896–1913 годах — как директор). Особое значение имела его неутомимая и плодотворная деятельность в качестве члена всевозможных научных обществ и комиссий. В разное время многие отечественные ученые и изобретатели обращались к нему за помощью и поддержкой

и всегда их получали. В частности, М.А. Рыкачев оказал большое содействие К.Э. Циолковскому в проведении опытов по сопротивлению воздуха, Н.Е. Жуковскому (в период его участия в создании первого в Европе Аэродинамического института в подмосковном имении Кучино).

Михаил Александрович Рыкачев был женат на Евгении Андреевне Достоевской (1853–1919), дочери ярославского губернского инженера А.М. Достоевского, родного брата знаменитого писателя, которому А.М. Рыкачев доводился внучатым племянником. В семье Рыкачевых было пятеро детей: две дочери и три сына, Андрей был старшим.

В 1894 году Андрей Рыкачев окончил с золотой медалью классическую гимназию и поступил в Санкт-Петербургский университет на историко-филологический факультет, но уже через год перевелся на юридический, который и окончил в 1899-м. Государственные экзамены Рыкачев сдал позже, весной 1900 года, в связи с отсрочкой из-за административного наказания, вынесенного ему как участнику студенческих волнений. Среди университетских товарищей Рыкачева немало тех, кто впоследствии приобрел широкую известность в науке и политике (З.Д. Авалов, И.М. Кулишер, Б.Э. Нольде и др.). Именно в студенческие годы, в атмосфере нарастания общественного движения, у А.М. Рыкачева не только формировался устойчивый интерес к научной теории (в основном к проблемам политической экономии), но и происходил стремительный процесс становления мировоззрения, подвергались первым испытаниям на прочность его политические убеждения. Полезным «университетом» для Рыкачева стала поездка весной 1898 года в Тульскую губернию для организации помощи голодающим крестьянам.

Важным этапом в становлении его убеждений явилось увлечение марксизмом: именно с марксистских позиций написано университетское сочинение Рыкачева в защиту теории стоимости — «Доход на капитал» (1898), отмеченное серебряной медалью. Впоследствии эта работа послужила основой для первой научной публикации Рыкачева в журнале «Научное обозрение» — статьи «Учение Бём-Баверка о доходе на капитал» (1900).

Однако остаться при университете для подготовки к профессорскому званию ему не удалось. Причиной стало нежелание руководителя кафедры профессора П.И. Георгиевского взять под свое крыло выпускника-марксиста. И хотя, по словам Рыкачева, у него в это время уже началось «охлаждение к марксизму», «торговать убеждениями» и строить на этом свою карьеру он считал для себя неприемлемым.

В 1899 году А.М. Рыкачев благодаря содействию своего зятя С.Н. Ленина был принят на должность счетчика в Отдел сельской экономики и сельскохозяйственной статистики Министерства земледелия и государственных имуществ. Однако, несмотря на перемену социального статуса и новые обязанности, в главном Рыкачев оставался верен себе: работа в министерстве не только не отдала его от науки, но, напротив, способствовала расширению исследовательского кругозора, предоставила доступ к новейшим

данным о состоянии народного хозяйства России. Ценным опытом стало для него участие в переписи населения Петербурга в 1900 году, а также написание главы «Пути сообщения» для многотомного издания «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества» (Т. 3. СПб., 1900).

Мундир правительственного чиновника не умерил политической оппозиционности Рыкачева — по словам П.Б. Струве, «он был слишком независим и своеобразен». В марте 1901 года Рыкачев принял участие в политической демонстрации, после которой его отправили в административную ссылку в Саратов. Там Рыкачеву было суждено провести около двух лет, успешно освоив ремесло литератора-публициста: он печатался в газете «Саратовский дневник», издававшейся председателем губернской земской управы Н.Н. Львовым. По воспоминаниям редактора газеты А.А. Корнилова, Рыкачев — знаток экономики, «очень начитанный и сведущий в области истории» и к тому же владеющий иностранными языками, — блестяще справлялся с обязанностями ведущего иностранного отдела, нередко выступая с оригинальными статьями по различным вопросам общественной жизни в России.

В Саратове судьба свела Рыкачева с людьми различных взглядов: народниками, марксистами, а также теми, кто сочувствовал направлению зарождавшегося тогда либерального Союза освобождения. Однако уже в то время обозначилась характерная для Рыкачева совершенно особая позиция — «вне политических группировок», признание им «безусловного верховенства этического начала над политическим» (А.А. Корнилов), обоснование первостепенности в общественном развитии «духовных факторов жизни» по сравнению с «примитивными потребностями и склонностями людей, их эгоистическими мотивами в социальной деятельности».

По мнению современников, именно «благородная, чистая, глубокая душа и цельная нравственная воля» Рыкачева обусловили тот факт, что «вся его писательская работа», «вся его умственная жизнь» протекали «на передовых позициях»: «Скромной, но твердой поступью, не озираясь по сторонам, оставляя позади себя модные и популярные теории, равнодушный к улюлюканиям... он шел вперед, повинаясь только голосу своей природы. А природа вылила его из одного куска. Борец в благороднейшем смысле слова, идеально бескорыстный, строгий к себе и снисходительный к окружающим, всегда ищущий и далекий от всякого искательства, он был свободным человеком, как никто другой» (Г. Штильман).

«Особость» Рыкачева объяснялась еще и тем, что по своему складу он был «не только и не столько журналистом, сколько ученым» (П.Б. Струве). Отсюда — склонность «к настоящему глубокому созерцанию», стремление по возможности дистанцироваться от политической деятельности, к которой Рыкачев, по его признанию, был неспособен в силу своей «мягкой, неустойчивой натуры», «совершенной неспособности сердиться, негодовать, ненавидеть врага». Именно в науке он нашел себя, оказавшись на переднем крае теоретических разработок в области экономики, социологии, политологии.

Накануне Первой мировой войны А.М. Рыкачев отметил тревожную тенденцию — отставание российской науки от потребностей жизни. Одну из причин этого он видел в гораздо большем, чем на Западе, влиянии на академическую среду марксизма, который сохранял «едва ли не самые сильные позиции в идейно-реформистской литературе» вплоть до начала 1910-х годов. А в результате «...жизнь вопиет о руководящих общих точках зрения, о теоретическом синтезе, о научных обобщениях, которые могли бы бросить свет на усложняющийся переплет экономических интересов, на быстро поднимающиеся волны экономических процессов». «Всюду растет потребность в усовершенствованной экономической организации, — писал Рыкачев, — в улучшенных методах экономического наблюдения, в умении приспособляться к рынку, подчиняться рынку и, подчиняясь, управлять им. Разрастается экономическая деятельность государства, земств, городов. Углубляются и расширяются экономические сношения с границей, более нас опытной и лучше вооруженной знаниями. Но наука не в силах дать всего, чего от нее требуют».

«Малую продуктивность науки» Рыкачев объяснял не только общим ее неудовлетворительным состоянием, но и особыми условиями ее развития в России. «Наша экономическая наука всегда была отзывчива на запросы жизни. Но... слишком слабы были ее силы. Слишком мал запас академических традиций... Требовательная жизнь с ее кричащими нуждами, а иногда и грубое внешнее вмешательство не давали нашей науке сосредоточиться, накопить силы, пережить спокойно стадию ученичества и самоопределения. Внутренняя трагедия русской экономической науки в том и заключалась, что две основные ее задачи до известной степени мешали одна другой: одна задача заключалась в том, чтобы поднять академическую культуру до уровня западноевропейской науки, другая — в том, чтобы творить самостоятельно на почве своеобразной родной действительности и в связи с идейными исканиями русского общества». Отсюда, по мнению Рыкачева, отсутствие в России «самобытной научной жизни и настоящей научной традиции».

Занимаясь популяризацией в России новейших достижений западной экономической мысли, Рыкачев критически осмысливал взгляды своих зарубежных коллег, демонстрировал возможности применения их теорий к анализу российской экономики и прогнозированию ее развития. Уже в самом начале XX века он весьма скептически оценивал перспективы так называемой австрийской научной школы (К. Менгер, Э. фон Бём-Баверк, Ф. фон Визер и др.). «Нам кажется, что учиться новым теориям лучше у англичан», — замечал он, обращая внимание, в частности, на труды одного из лидеров английских «неоклассиков» А. Маршалла (по определению Рыкачева, «современного Милля в английской политической экономии»).

Много ценных идей он находил в трудах немецких теоретиков предпринимательства Макса Вебера и Вернера Зомбарта, австрийского экономиста и социолога Йозефа Шумпетера, что, впрочем, не исключало дискуссий Рыкачева и с ними. Русский ученый, в частности, обращал

«Слишком мал запас академических традиций...»

внимание на произвольность некоторых культурно-психологических построений своих зарубежных коллег. Он критиковал Вебера и Зомбарта за склонность к «фаталистическому и суеверному взгляду на особые психические свойства, необходимые предпринимателю», «стремление уловить и объяснить „дух капитализма“, построить и истолковать „идеальный тип“ капиталистического предпринимателя».

В попытках немецких авторитетов «объяснить смысл капиталистической культуры», погрузившись «в глубины человеческого духа, в область религии, морали, эстетики», Рыкачев видел «много таланта и глубины». «Но это не экономика, — таков был вердикт русского ученого. — К экономическим категориям эти авторы приложили приемы, которые к ним не могут быть приложены... Изучение капитализма должно быть изучением капиталистических форм, а не „духа“. Изучение предпринимательства должно быть изучением предпринимательских функций, а не предпринимательского миропонимания». «Мир внутренней культуры бесконечно разнообразнее и богаче, чем мир социальных форм, — развивал свою мысль Рыкачев. — Дух свободно овладевает теми или другими формами. Поэтому есть всегда что-то искусственное и произвольное в желании прикрепить какое-нибудь проявление религиозного сознания или морали к капитализму или ремеслу, к буржуазии и пролетариату... Корни тенденции к рационализации всех жизненных отношений, будто бы характерной для капитализма, отыскивают в методике аскетического самообуздания. Почему не в дисциплинирующей силе великих армий и великих бюрократий? Не в психологическом влиянии новых научных и технических знаний? Все неустойчиво в этих интуитивных исканиях „идеальных типов“. Неудивительно, что одна гипотеза сменяет другую, оставляя чувство разочарования. Вчера источником капиталистического духа называли пуританизм (М. Вебер), сегодня уже — юдаизм (В. Зомбарт)».

То же «стремление одушевить неодушевленное», «смешение методов», «перенесение интереса от социальных форм к личному фактору» отмечал Рыкачев и у Й. Шумпетера. Опасность данного направления зарубежной научной мысли, уже довольно популярного в ту пору в России, Рыкачев видел в том, что идеи немецких авторов падали на благоприятную почву стародавних отечественных предрассудков против предпринимательской деятельности: мол, «русским не дано быть настоящими предпринимателями в европейском смысле, для этого нужна совсем другая, особая закваска и т.д.».

Точность угла зрения, непредвзятость оценок, ответственное отношение к печатному слову — эти характерные черты Рыкачева, ученого и публициста, вытекали из базовых принципов его работы. Через все его труды проходит идея о том, что «близость к жизни есть один из важнейших критериев плодотворного научного развития». «Обязанность экономиста занять определенное положение в борьбе классовых интересов и в разработке социальных реформ столь же несомненна, как и обязанность каждого ученого служить объективной истине», — эти слова Рыкачева вполне

можно считать его профессиональным кредо. Но как достичь желаемого и, оценивая, например, социальное законодательство, пройти между сциллой «чрезмерного субъективизма» («когда исследователь руководится только желанием осудить или оправдать») и харибдой «бесплодного объективизма» (стремлением «ограничиться формально-юридической критикой или историческим и статистическим описанием фактов»)? Призывая коллег основывать «свой объективизм на субъективных оценках заинтересованных сторон», Рыкачев разъяснял: «Не отвлеченные принципы объективного теоретика, а заведомо односторонние мнения неученых людей должны быть положены в основу критики современных законов. Ибо односторонние мнения заинтересованных лиц, партий и классов населения обнаруживают места наименьшего и наибольшего сопротивления, встречаемого законом, а следовательно, выясняют объективное значение закона в жизни всего народа... Защитники той или иной реформы, изучая ее недостатки по субъективным оценкам своих противников, лучше всего ознакомятся с объективными препятствиями, стоящими на пути их идеалов. Только в тумане мечтательного идеализма можно воображать, что сколько-нибудь значительная реформа может быть проведена в жизнь совершенно без препятствий».

Главная задача ученого-обществоведа, развивал Рыкачев представление о методологических основах научного познания, сохраняющее актуальность и в наши дни, состоит в том, чтобы не «выматывать все определения и подразделения из собственной головы, заботясь больше всего о стройности, последовательности, систематичности», а стремиться придавать теоретическим построениям конкретно-исторический характер, «исходить из критики существующих (или существовавших) взглядов, а не из отвлеченных понятий государства вообще, общества вообще, религии вообще».

«Новые горизонты» в развитии обществознания Рыкачев видел на путях междисциплинарного подхода — сближения и «взаимопроникновения» наук о человеке. Как «первопроходцев» на этом пути он приветствовал зарубежных социологов — Ж.-Г. Тарда и А. Шеффле. «Подтвердить единство разнородных частей общества, выяснить существование определенного порядка в социальной жизни» и, таким образом, перебросив «мост» к практическим вопросам современности, способствовать их решению с наименьшими издержками для общества, путем примирения его враждующих элементов — в этом Рыкачев видел главный смысл научной теории Шеффле. Можно сказать, что Рыкачев, пойдя «по стопам» Шеффле в трактовке общественных вопросов, возложил на себя ту же «тяжелую роль посредника и примирителя». А постоянное, на протяжении всей жизни стремление Рыкачева «преодолеть односторонние, партийные и классовые точки зрения», способствовать «достижению наибольшей степени терпимости, искренности и альтруизма» обеспечило и ему амплуа «дикого» в общественно-политической жизни России начала XX столетия. Так же как и Шеффле, неизменно сочувствуя социалистическому учению

«Слишком мал запас академических традиций...»

с его идеей о «новой, возможной в будущем организации общества» на основе свободы и социальной справедливости, Рыкачев вместе с тем не раз выступал с решительной резкой критикой и программных установок, и тактики социалистических партий.

Не удовлетворенный «общепринятыми устарелыми понятиями», Рыкачев неоднократно опровергал «шаблонные представления о полной противоположности между разноименными школами и о полной однородности внутри каждой отдельной школы». «В действительности, — разъяснял он, — в одной и той же школе и даже у одних и тех же писателей можно найти соединение теорий, которые потом, приняв другие формы, столкнутся как непримиримые враги». Рыкачев был убежден в том, что «одни и те же слова, даже одни и те же теории, имеют весьма различное значение в устах у разных людей»: «При желании, путем отдельных цитат можно и Ад. Смита представить социалистом...»

В самом начале первого десятилетия XX века А.М. Рыкачев представил на суд читающей публике многоаспектную концепцию тенденций мирового развития, а также собственное видение путей решения российских проблем. В основу его представлений легли впечатления от научных и общественных дискуссий как в России, так и за рубежом, а также личные наблюдения и исследования.

Главная тема, неизменно волновавшая Рыкачева и «пронизывающая» практически все его публикации, — это сущность и перспективы развития капитализма. Убежденный в закономерности и неизбежности капитализма, он полагал, что дальнейшее преобразование общества должно совершаться постепенно, органически, при содействии науки. Собственным вкладом Рыкачева в этот процесс стало фундаментальное исследование «Деньги и денежная власть. Опыт теоретического истолкования и оправдания капитализма. Часть первая. Деньги» (СПб., 1910), по сути, главное дело его жизни.

В центре внимания ученого находятся две проблемы: 1) «Деньги сами по себе как общая форма экономической зависимости личности от целого в капитализме»; 2) «Денежная власть как новая форма организации власти, сложившаяся в денежном хозяйстве» (вторая часть научного проекта Рыкачева не была реализована). Несмотря на противоречивые отзывы, монография получила одобрение ряда авторитетных представителей научного мира и общественного движения (Г.В. Плеханова, Я.М. Магазинера и др.). Но, пожалуй, самой высокой оценки удостоил труд Рыкачева П.Б. Струве, охарактеризовавший книгу как «произведение зрелой и самобытной мысли, интересное не только для экономиста-теоретика, но и для социолога и философа». По мнению Струве, вклад Рыкачева в развитие мировой экономической мысли был вполне сопоставим с достижениями Г. Зиммеля, автора «Философии денег».

В своих теоретических рассуждениях о капитализме Рыкачев исходил из «неоспоримого факта» — «прочно укоренившегося в народных массах чувства вражды к существующим хозяйственным условиям». Отдавая

должное «народному недовольству» как «великой исторической силе», под охраной которой «всюду были заложены первые зачатки демократии и демократической культуры», Рыкачев утверждал, что «только под защитой неустанно kloпочущего народного недовольства, вызываемого экономическими причинами, возможно в России в ближайшее время развитие свободы и культуры». Однако, по словам ученого, «эта великая сила, как бы она ни казалась священной, требует к себе критического отношения», поскольку «недовольные капитализмом народные массы стоят далеко от капитализма и плохо знают его... Они способны глухо реагировать, протестовать, сознавать себя жертвой, но не успевают за развитием знаний, техники, новых форм жизни и мысли».

Рыкачев отмечал позитивную тенденцию — постепенную замену в народном сознании «старых формул» новыми. Он считал, что «этот болезненный процесс требует помощи научной мысли, научной критики», которая объективно «получает характер некоторой апологии капитализма». При этом ученый подчеркивал, что его «оправдание капитализма» не является «оправданием эксплуатации и эксплуататоров... нищеты и современного экономического рабства», а свидетельствует лишь о превосходстве «живой действительности» над «омертвевшими и мертвящими формулами»: «Новая теория должна дать оправдание в смысле объяснения, — она должна вскрыть внутреннюю связь между положительными и отрицательными сторонами господствующей экономической системы, вскрыть животворящие силы, заключающиеся в самой сущности капитализма и обещающие человечеству освобождение от современных противоречий...»

Рыкачев был убежден в том, что «вскрытие творческих сил современного культурного капитализма» приобретало на рубеже XIX–XX веков особую актуальность именно для России: «К этой теме толкает все — и интересы науки, и потребности публицистики, и голос народной нужды». Разъясняя сущность предстоящего «великого дела», Рыкачев указывал на то, что «для России оправдание капитализма почти совпадает с оправданием западной культуры»: «Россия полна предрассудков по отношению к западным формам богатства... Романтические утопии народников и социалистов всех типов и толков, снисходительное презрение среднего обывателя к меркантильности англичан и американцев, изуверство черносотенных антисемитов — все это таинственно гармонирует с общим фоном невежества и нищеты и дает картину не только печальную, но и зловещую».

По Рыкачеву, деньги — это не только «душа» и источник могущества капитализма, но и его «оправдание», поскольку они выполняют важнейшую функцию, обеспечивая экономическую свободу как личности, так и общества. В современной хозяйственной системе Рыкачев видел, с одной стороны, «новую форму гарантии свободы личности в организованном целом», а с другой — средство, позволяющее «благодаря зависимости личности от общества при системе всеобщего систематического сотруд-

«Слишком мал запас академических традиций...»

ничества и разделения труда» обеспечить «блестящее развитие производительных сил и рост национального богатства».

Стремясь привлечь внимание к глубинной сути событий, происходивших в мире на рубеже XIX–XX веков, Рыкачев еще задолго до выхода в свет своей книги обращал внимание на то, что «под видом борьбы материальных интересов происходит темная, глухая, не освещенная сознанием и критикой борьба идеальных целей и выработка социальных идеалов». В этих словах Рыкачева, по сути, содержался ответ на коренной вопрос дискуссий того времени об источнике «противоречий современного экономического строя и современной экономической науки», а также обоснование необходимости постановки во главу угла проблемы духовных оснований капитализма. Рыкачев разделял тревогу, в частности, высоко ценимого им Л.Н. Толстого, а также английского писателя и историка Дж. Рёскина по поводу того, что устройство хозяйственной жизни на капиталистических принципах несет угрозу таким «духовным, нематериальным благам», как «власть, вера, творчество».

Выступив в защиту подобного рода «идеалистов», Рыкачев утверждал, что «действительность — не то, за что она нам себя выдает»: «Эмпирику кажется, что идеализм только отрицает действительность. Но идеализм, отрицая кажущуюся действительность, открывает под ее покровом иную, более сильную действительность». Разъясняя смысл этой «глубинной реальности», Рыкачев обращал внимание на то, что на самом деле «капитализм не может уничтожить ни власти, ни веры, ни творчества»: «Он искажает действие этих сил, но не освобождается от них. В царстве капитализма силы эти только принимают обманчивую и противоречивую оболочку: вместо ответственной власти сильных над слабыми является безответственная власть богатых над бедными; вместо добровольного подчинения тайне жизни является суеверное поклонение таинственной силе числа и меры, слепая вера в „точное“ знание; вместо творческого труда является мнимо чудодейственная производительность машин».

В отличие от многочисленных критиков Рёскина, убежденного в том, что «власть должна быть самоотверженной, а неравенство — справедливым», Рыкачев не считал донкихотством и не видел «признаков галлюцинации или утопии» в призывах английского ученого к тому, «чтобы собственник нес ответственность перед обществом за свое распоряжение собственностью, чтобы промышленники и купцы считали свое дело общественным служением, и чтобы доход собственников имел характер определенного постоянного вознаграждения, соразмерного с потребностями собственников, а не с величиной капитала». Осознавая неготовность массового сознания к восприятию подобных идей, противоречивших «привычкам окружающего мира», Рыкачев (как и Рёскин) был исполнен исторического оптимизма. «Воинственным рыцарям XVI века показался бы непонятным совет заниматься земледелием вместо войны, — замечал Рыкачев. — И все-таки теперь плуг работает там, где раньше работали лишь меч и копьё. И так же как в эпоху рыцарства были люди, соблюдав-

шие заповедь „не убий“ в прямом и точном значении слова, так и теперь никакие банки и финансовые системы не могут никому помешать отказаться от взимания процента, тоже осужденного в Евангелии. Для этого не нужно никакого предварительного переворота в духовной природе человека. Множество людей и теперь, без всяких усилий, исполняют то, чего Рёскин требует от купцов и промышленников, довольствуются за свой труд определенным жалованьем и исполняют свой труд, как обязанность перед другими и перед собой. Нужно только, чтобы в деле, в котором работают теперь купцы и промышленники ради барыша, начали работать такие же люди и на таких же основаниях, как в деле учебном, или военном, или благотворительном».

Настаивая на приоритете нравственных ценностей в деле общественного переустройства, Рыкачев подчеркивал, что «идеализм Рёскина — порождение того же духа, который сделал Англию образцом капиталистической страны. Из того, что современные англичане верят в капитализм и смеются над идеями Рёскина, вовсе не следует, что завтра они не поверят в идеи Рёскина и не проклянут капитализм, — предсказывал русский ученый. — Придет время, и то, что кажется теперь силой, покажется малодушием. Роль капитализма кончится, как кончилась когда-то роль рыцарства... Купеческая мораль, воплотившаяся в политической экономии XIX века, должна будет уступить место более благородному, более смелому и более художественному пониманию жизни». Очевидно, что данный вывод Рыкачев считал актуальным и для России: «Чтобы учиться у Рёскина, русский читатель должен обнаружить терпимость и умение открывать родное и близкое в чуждом и далеком». «Кроме обстоятельств места существуют и обстоятельства времени: что кажется смешным сегодня, завтра станет серьезной потребностью и важным делом», — эту мысль публицист нередко проводил в своих размышлениях по поводу того или иного зарубежного опыта, представлявшегося ему перспективным.

Рыкачев был убежден в том, что общественный прогресс немислим также без восстановления истинной идеи веры, деформированной под влиянием капитализма. Возрождение доверия между людьми, ниспровержение веры в деньги, которая «для современного человека служит заменой добра и зла», — Рыкачев с оптимизмом смотрел на возможность решения в будущем и этих проблем, поскольку рыночная, денежная оценка хозяйственных благ в принципе не может отменить действия «законов добра и зла», так как «законы эти имеют характер безусловный». «Мы не можем их отменить, так же как не можем изменить своей природы, — утверждал Рыкачев. — Мы можем только восставать против своей природы. И мы восстаем против нее, когда принимаем денежную оценку всех вещей. Стремясь к материальному богатству, мы хотим его достичь без веры, путем точного арифметического расчета. И эта приверженность к цифре и деньгам сокращает наше материальное богатство. Ибо наибольшее материальное богатство всегда будет у тех, у кого наибольшая духовная сила, в ком наибольшая вера». Разъясняя эту, на первый взгляд,

«Слишком мал запас академических традиций...»

парадоксальную мысль, Рыкачев обращал внимание на вывод Рёскина о том, что «истинное богатство заключается в том же, в чем заключается истинная жизнь», т.е. в самоотречении и борьбе. Однако «чтоб не бороться, люди заменили веру — расчетом, жизнь — рыночным торгом, счастье — деньгами... Но жизнь мстит за себя... Месть жизни заключается в том, что денежные расчеты, которыми люди надеются облегчить жизнь, в действительности не облегчают, а затрудняют людей... Мы знаем хорошо, в чем добро и зло, что дурно и что хорошо, но мы не знаем и не можем знать, что выгодно и что невыгодно, где ожидает нас наибольший материальный эгоистический выигрыш». Обращая внимание на то, что «гораздо труднее в торговле и промышленности сделать расчет выгодный, чем справедливый», Рёскин подводил к выводу, неизменно подтверждаемому практикой: «...справедливость в конце концов приведет к наилучшим результатам...»

«Простой и всем известный факт, что бескорыстие бывает выгодно („Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет, тот обретет ее“), одним своим существованием уже уничтожает возможность точного счисления выгод, возможность особой науки о выгодах и невыгодах», — этот вывод Рыкачев актуализировал применительно к российским реалиям начала XX столетия, когда расхожим было представление о том, что «можно и должно радеть о народном здравии и образовании в видах материальной выгоды», в том числе «в целях более успешной промышленной конкуренции с передовыми странами Запада». Рыкачев считал неприемлемой подобную постановку вопроса. Он выступал, в частности, против «меркантильной окраски» народного образования, считая единственной достойной целью «просвещение только ради просвещения», воспитание в подрастающем поколении прежде всего «честной преданности делу ради самого дела».

С позиций нравственного («качественного») подхода, а не количественных показателей («слепая вера в число и меру») Рыкачев определял не только сущность и роль власти и веры в современном обществе, но и главный критерий прогресса. «Движение вперед как самоцель — перемена ради перемены — есть отрицание жизни, потому что жить можно только в настоящем», — подчеркивал Рыкачев. Он приходил к выводу о существовании закона, «позволяющего человеку обновляться и в то же время вечно оставаться самим собой» и названного им «законом творчества». «Человек должен быть творцом — в этом закон его навеки... Все, что мы имеем, создано человеческим творчеством и может сохраняться и возобновляться только человеческим творчеством... Только то обновление, только то движение вперед хорошо, которое означает творческую, созидательную работу», — заключал Рыкачев и вынужден был констатировать, что «современный прогресс есть отрицание творчества», поскольку во главу угла поставлена «вера в машины и в механический труд». Отсюда, разъяснял он, происходит и «легкое отношение к труду», нашедшее выражение в общепринятом методе оценки производительности труда

исключительно по денежной доходности, в результате чего приоритетом государственной политики провозглашалось развитие промышленности в ущерб земледелию.

Рыкачев признавал настоятельную потребность изменения подходов и к оценке «истинного благосостояния народов», предлагая не руководствоваться определенным набором количественных показателей, фиксирующих «мертвый уровень материального комфорта», а рассматривать этот вопрос с позиций осуществления в обществе «закона творчества». Приметами этого должны служить постоянно действующие факторы, побуждающие к индивидуальной предприимчивости, а также зримые проявления «достойного честолубия, сознания со стороны каждого члена общества своего призвания к труду».

Размышляя над духовными основами капитализма, Рыкачев приходил к выводу, что «значительная часть общественных бедствий должна быть поставлена на счет не эгоизму и жестокости капиталистов, не абсолютному недостатку в нас духовных сил, а безумному нашему пренебрежению к собственным силам, слепоте и бессознательности». «Мы сами не знаем, чего хотим, мы сами губим то, что уважаем, и сами молимся тому, что отрицаем, мы не имеем ясного сознания о собственных стремлениях, — вот в чем причина жестокой борьбы между богатыми и бедными, борьбы, которую все признают одним из главных зол современной жизни, — предлагал Рыкачев «нестандартный» взгляд на истоки «порочности» капиталистической системы. — Нужно раз навсегда запомнить, что заблуждение способно управлять исторической жизнью, и социальные миражи способны направлять в ту или другую сторону общественные силы. И, запомнив про эту силу заблуждения, мы больше будем верить и в силу истины, ибо заблуждение бессильно пред истиной, и лучше оценим значение таких идеалистов, как Рёскин, которые кажутся утопистами, а на самом деле суть разрушители утопий и вредных миражей». Таков был вердикт, вынесенный Рыкачевым обществу рубежа XIX–XX веков и звучащий вполне актуально спустя столетие...

Осмысление Рыкачевым узловых проблем капиталистической цивилизации неизбежно ставило перед ним вопрос о соотношении экономической свободы и государственного регулирования. «Если раньше было удобно ограничиваться простым правилом о наибольшем количественном сокращении правительственного вмешательства, то теперь главная забота должна быть о качественном улучшении правительственной деятельности, — заявлял ученый. — По мере усложнения и укрепления экономических связей между каждым и всеми, и всеми и каждым, перед правительствами всех стран встанут все более тонкие и ответственные задачи, которые неизбежно усиливают влияние правительственной власти и в то же время требуют от нее все большей подвижности, энергии и талантливости».

Исследование эволюции капитализма было также связано с выяснением роли государства, предпринимателей и рабочих организаций в урегулировании отношений между трудом и капиталом. Устранение

«Слишком мал запас академических традиций...»

конфликтов и замена их мирным и деловым сотрудничеством рабочих и работодателей — в этом, как считал Рыкачев, заключалась «разумная политика» по рабочему вопросу. Участвуя в дискуссии о мерах по предотвращению стачек, «образцом для разумных подражаний в других странах» Рыкачев считал успешный социальный эксперимент, впервые проведенный в Новой Зеландии, где 10 февраля 1900 года законом было установлено обязательное применение третейского суда для разрешения споров между рабочими и предпринимателями. Вместе с тем главную роль в деле защиты интересов рабочих Рыкачев отводил профсоюзам, при помощи которых пролетариат ставит «предел жестокому могуществу капиталистов и понемногу изменяет сам капитализм». Ученый признавал «полезным и необходимым» государственное вмешательство в решения третейского суда, однако подчеркивал разные цели профсоюзов и государства: «...какие бы законы ни вводились в пользу рабочих, профессиональные союзы всегда останутся необходимыми. Цель профессиональных союзов — добиваться для рабочих все большего, все лучшего. Государственное же вмешательство имеет целью установить только минимум или низший предел, ниже которого не должны опускаться даже самые слабые, или самые отсталые из рабочего класса».

Обосновывая необходимость «нейтральности профессиональных союзов» по отношению к политическим партиям, Рыкачев предостерегал рабочих от увлечения социалистическими идеями, «упований» на скорую гибель капитализма: «Нельзя еще сказать, что социалистическое учение доказано и принято наукой. Может случиться, что предсказание о социализме окажется ошибочным... Поэтому и профессиональные союзы не должны принуждать своих членов быть социалистами... Если человечеству суждено будет перейти от капитализма к социализму, то произойдет это не в виде огромного разрушения или катастрофы (как думали некоторые социалисты в прежнее время), а путем осторожной передачи всех накопленных, огромных и драгоценных сил из рук капиталистов в руки рабочих. А пока мы видим, что где силен капитализм, там сильны и профессиональные союзы, и наоборот...»

«У нас в России и капитализм гнилой, и профессиональных союзов почти совсем нет, — констатировал Рыкачев. — Но у нас есть большое преимущество. Мы можем учиться у других народов по их прошлой истории, чтобы не повторять старых ошибок... При свете широкого опыта нам будет легче понять особые условия русской жизни и ответить на запросы жестокого времени, нами переживаемого».

Всесторонне освещая в своих публикациях зарубежный опыт рабочего движения, Рыкачев анализировал также и развитие рабочей кооперации. Отмечая ее прогрессивную роль в деле «усвоения трудящимися массаами практики и психологии капиталистического рынка», Рыкачев и здесь подчеркивал негативное влияние социалистов, стремившихся возглавить это движение: «Вместо того чтобы оздоравливать и укреплять принципы честного торгового соперничества, принципы, которым дело кооперации

обязано своими лучшими победами... они мечтают о том, как бы ослабить элемент соперничества и в конце концов совершенно убить свободный рынок... Мысль социал-демократа, откуда бы она ни исходила, приходит к одному и тому же тупику — к идее общества-Левиафана, все в себя поглотившего, все себе подчинившего, все устрояющего и направляющего из единого центра. Но не в этом направлении идет экономическое и социальное развитие», — убежденно заявлял Рыкачев.

Наряду с анализом развития капитализма и его последствий в промышленности серьезное внимание Рыкачев уделял актуальному для России зарубежному опыту развития сельского хозяйства и самоорганизации крестьянства: «Усиленный интерес к деревне, вызванный у нас в последнее время всеобщим сознанием нашей бедности, нашего невежества и некультурности, совпадает, к счастью, с возрастающим интересом к деревне и земледелию во всех культурных странах». Одним из проявлений последней тенденции, по словам Рыкачева, стала «идейная переориентация города и деревни», обозначившая «новый светлый путь» европейской культуры под лозунгом «Назад из города в деревню!», предсказанный еще социалистами-утопистами. «Возвращение в деревню не будет возвращением к старине, — высказывал Рыкачев собственное мнение по данному вопросу. — Деревни станут похожи на города, а города станут похожи на деревни».

Похоже, вовсе не исключая в будущем такой же перспективы для русской деревни, Рыкачев все же обращал внимание соотечественников на более актуальные для наших крестьян проблемы — в частности на задачу их политической самоорганизации для борьбы за свои интересы. Весьма поучительным в этой связи Рыкачев считал новое явление в жизни Западной Европы — стремительное развитие самостоятельного крестьянского движения, например в Швейцарии, где уже к началу XX века представительские организации всех слоев населения имели реальную возможность влиять на политику правительства. Отмечая безусловную полезность крестьянских объединений, Рыкачев в 1904 году предвидел в недалеком будущем и образование «самостоятельной крестьянской партии» как «противовеса искусственному упрощению задач, общепринятому в социалистических программах». Как сторонник общественной солидарности, Рыкачев с удовлетворением отмечал наметившиеся на Западе признаки сближения крестьянства и пролетариата: «Когда-нибудь крестьяне и рабочие должны будут осознать, что кроме общих врагов их соединяет также и общность внутренних задач».

«Слишком мал запас академических традиций...»

Погружение Рыкачева в исследование экономических проблем современности подводило его к мысли о «несомненном параллелизме между новыми формами денежного хозяйства, с господствующей в нем стихийной силой рынка, с автоматическим приспособлением массового спроса к массовому предложению и предложения к спросу, и новыми политическими формами, держащимися на стихийной силе массовых голосований, на приспособлении политических лозунгов к психологии большинства и обратном приспособлении психологии большинства к лозунгам

политических вождей». «Там и здесь европейская культура создала нечто новое, вызвала новые силы почти волшебного могущества, которые, однако, способны выйти из повиновения своих создателей, если для нового волшебства не будут найдены новые слова заклинания», — подчеркивал Рыкачев актуальность разработки не только проблем политэкономии, но и политологической теории. По его мнению, настоятельная потребность в осмыслении новой политической реальности была продиктована «внутренним кризисом либерализма и демократических идей» в мире на рубеже XIX–XX веков. Причинами этого кризиса стали, «во-первых, крушение старой теории народоправства, и прежде всего идей Руссо, и, во-вторых, фактическое подавление свободной воли избирателя деспотизмом воинствующих партий». Социально-политические взгляды Рыкачева нашли наиболее полное отражение в его рецензии на книгу Р. Михельса «Социология политических партий в условиях демократии» и статье «Реальный базис и идеальные задачи политических партий (о партийной борьбе и партийном разоружении)», опубликованных в 1911 году в журнале «Русская мысль» (соответственно в № 4 и 12).

Одним из первых Рыкачев поставил вопрос об отличиях западной и русской политических культур, которые необходимо учитывать при заимствовании тех или иных политических институтов. К тому же Рыкачев не склонен был идеализировать зарубежный опыт, указывая, в частности, на то, что «теории и верования», определившие сущность «конституционного строя в государствах, которые служат для нас образцом», в начале XX столетия находились «в состоянии шатания и внутреннего кризиса». «Если, с одной стороны, Россия не вполне готова для восприятия западно-европейской (европо-американской) политической культуры, то, с другой стороны, и западноевропейская политическая культура еще не совсем созрела для роли политического воспитания отсталых народов», — к такому выводу приходил русский ученый.

Признавая особую заслугу М.Я. Острогорского в разработке теории политических партий, Рыкачев, полемизируя с маститым автором, внес существенный вклад в научное осмысление проблем развития демократии и многопартийности. С одной стороны, Рыкачев соглашался с мнением своего оппонента о несовершенстве современных партий, проникнутых «внутренней фальшью». Рыкачев был солидарен с Острогорским и в определении их «идеальной цели»: «Партии должны признать относительный, частичный, временный характер своих требований. Они должны отказаться от традиционного презрения к противнику и от претензий безраздельно владеть мыслями и чувствами своих членов. Они должны честно признать, что между сторонниками двух борющихся политических программ все-таки гораздо больше сходств, чем различий. Если эта работа внутреннего самоограничения не будет произведена, элемент лицемерия в партийной жизни будет получать все больше силы...»

Вместе с тем Рыкачев не разделял категорического требования Острогорского о замене постоянных партийных организаций временными лигами.

Кроме того, Рыкачев отмечал в рассуждениях Острогорского «некоторую неполноту», не соответствующую, по его мнению, «широте и глубине затронутых проблем». В частности, Рыкачев считал, что автор книги «Демократия и политические партии» «пренебрег некоторыми важными сторонами современной общественной культуры». В этой связи Рыкачев настаивал на необходимости учета в деятельности партий «состязательного начала» (когда «заинтересованность спорящих сторон признается полезным условием для выяснения объективной истины»), подчеркивая при этом, что «вся сила современной культуры» заключается именно «в стремлении ее сочетать начала сотрудничества и соперничества, свободы и солидарности».

Кроме того, важным условием сплоченности партии Рыкачев признавал не только общность идей, но и доверие к партийным руководителям. Разъясняя значимость «элемента власти и подчинения» в деятельности партии, Рыкачев утверждал, что «власть не есть зло»: «Подчинение масс достойным вождям не есть несчастье, — разъяснял Рыкачев. — Стремление к власти, поскольку оно опирается на личные дарования и заслуги, должно быть поощряемо, а не подавляемо. И идеальная цель метода народных голосований заключается не только в отборе идей, но и в отборе сильных и талантливых личностей. А потому и партии в число своих идеальных задач должны включить также организацию отношений власти и подчинения. Партии должны быть школой власти, основанной на добровольном подчинении. Они должны открывать широкие возможности талантам и доставлять надежных вождей народным массам». «Путь, с двух сторон обставленный соблазнами демагогии и деспотизма, — трудный и опасный путь. Но этот путь должен быть пройден», — призывал Рыкачев к продолжению поиска оптимальных форм взаимодействия между партийными «верхами» и «низами».

По мнению Рыкачева, главная ошибка Острогорского заключалась все же не в «неполноте» представлений об идеальных задачах политических партий, а в утверждении об абсолютной противоположности старого и нового в политических методах и формах социальной борьбы. Проследившая и в этой сфере историческую преемственность в развитии явлений, Рыкачев обращал внимание на то, что «новые политические методы вводились не только вследствие убеждения в объективном их превосходстве над старыми методами, не только во имя идеальных, общечеловеческих целей»: «Введение представительного строя и расширение избирательного права осуществлялось усилиями общественных слоев, для которых то и другое было полезно с точки зрения их партикулярных, классовых, национальных или других интересов. Старая борьба мирозерцаний, старые конфликты непримиримых интересов, веками накопленная ненависть — классовая, религиозная, национальная — сознательно или бессознательно творили новые формы, предназначенные быть проводниками терпимости, человечности и социального мира». Полемизируя с Р. Михельсом, Рыкачев по тому же поводу утверждал: «Современным

«Слишком мал запас академических традиций...»

людям нужна обновленная вера в учреждения, — не в фантастические учреждения „будущего“ социалистического строя, а в улучшенные и просветленные новым сознанием либеральные учреждения, исторически выработанные в борьбе за свободу и равенство».

Освещая «самый важный пункт в теории партий», Рыкачев выделял в природе «современных политических партий» два элемента: «1) конкретные исторические интересы — элемент непримиримости и партикуляризма, и 2) признание, открытое или подразумеваемое, превосходства метода свободного убеждения — элемент гуманизма и миролюбия». Вывод Рыкачева был однозначен: «Оба эти элемента одинаково необходимы, и развитие второго может идти только в гармоническом сочетании, а не в антагонизме с первым элементом». Смысл и задачи партийной системы Рыкачев видел в «постепенном и взаимном приспособлении реальных исторических интересов к методу народных голосований (или, выражаясь более обычными, хотя и менее точными терминами, — к парламентарному и демократическому политическому строю) и метода народных голосований — к реальным историческим интересам». «Все партии, как бы они ни были далеки друг от друга, связываются известной общностью интересов. Все партии заинтересованы (хотя и не в одинаковой степени для каждого данного момента) в том, чтобы политические голосования были действительно свободным волеизъявлением, чтобы межпартийная борьба была открытой борьбой убеждений, борьбой лояльной и честной и чтобы вожди партий были истинными представителями и выразителями воли стоящих за ними масс. Ясное сознание этой общности межпартийного интереса есть первое условие очищения нравственной атмосферы в современной борьбе партий». «Ошибка социал-демократических партий заключается не в том, что они служат классовым интересам рабочих, — замечал ученый, — а в том, что они не считаются с силой других исторических интересов, кроме классовых, и вместе с тем недостаточно ясно проводят границу между методами политической и методами экономической борьбы».

Разделяя мнение известного немецкого юриста Г. Еллинека о важности государственного интереса в политической жизни, Рыкачев, отрицал абсолютное «верховенство» этого интереса, отводя ему лишь роль «первого между равными» — в числе «интересов партикулярных, наряду с классовыми, национальными, конфессиональными и другими историческими интересами». В условиях политической свободы то «частичное „разоружение“, которое обязательно для всех исторических сил, участвующих в партийной борьбе, обязательно и для исторической государственной власти», — подчеркивал Рыкачев. Вместе с тем, имея в виду и Россию, он указывал на серьезную опасность, подстерегающую страны, «только что вступающие на путь конституционного развития, берущие первые уроки партийной политики». Это — «отсутствие органической связи между интересами исторической государственной власти и новыми политическими методами», вследствие чего «наиболее горячие защитники

конституционных начал... слишком низко оценивают силу исторической государственности и третируют ее с высоты своих принципов, как силу грубую и злую: либеральные партии противопоставляют себя государству, государство противопоставляет себя либерализму». «России нужны партии или, по крайней мере, партия, которая, служа серьезно и искренно делу политической свободы, вместе с тем была бы глубоко проникнута духом государственности», — писал Рыкачев в 1911 году.

В трудах Рыкачева прослеживается эволюция его взглядов от марксизма к либерализму с ярким «социалистическим» акцентом, а в конце жизни — к национал-либерализму (с центральными идеями государства и нации, признанием обязательности обеспечения исторической преемственности в процессе «мирного обновления» общества), принципиальная «внепартийность», основанная на неизменной приверженности идеалам свободы и культуры. Все эти особенности политической индивидуальности Рыкачева закономерно сближали его на протяжении 1900-х годов с теми общественными деятелями, которые, подобно ему самому, не вписывались в «прокрустово ложе» того или иного «направления», искали свой путь в освободительном движении начала XX века.

С одной стороны, изменчивость («неопределенность») позиции Рыкачева и многих близких ему по взглядам и темпераменту сограждан объективно отражала неустойчивость общественно-политической ситуации в стране, характерную для переходного периода — от самодержавия к конституционной монархии. С другой стороны, эта особенность, отличавшая широкие слои политически активного населения России в начале XX века, говорит еще и о том, что поиск оптимальной модели переустройства общества на очередном этапе его модернизации происходил не только в рамках наиболее крупных общероссийских партий и других строго структурированных групп и организаций. Очевидно, что самостоятельный интерес для историка представляет и «творческая лаборатория» этого процесса, представленная на страницах органов «беспартийной прогрессивной» прессы и в деятельности множества политических партий, союзов, клубов, межпартийных объединений. Они не отличались «долгожительством», подробной детализацией программ и суровостью требований к своим членам, однако, по свидетельству современников, стали заметным явлением в общественно-политической жизни не только отдельных регионов, но и страны в целом. Эта была та самая «коллективная стихия национальной жизни», которая, по словам С.Л. Франка, «есть именно живой организм», а потому «она не может быть неподвижной, а неизбежно перерастает все застывшие формы». В свою очередь, «перед личностью стоит всегда задача сознательно участвовать в национальном творчестве и самосозидании, вложить свою долю разумной энергии в творческое осуществление национального бытия». Именно в этом Рыкачев и подобные ему деятели видели свою «сверхзадачу».

«Слишком мал запас академических традиций...»

По возвращении из саратовской ссылки в Петербург летом 1902 года Рыкачев работал в журналах «Мир Божий», «Научное обозрение» (редак-

тор М.М. Филиппов), «Народное хозяйство» (редактор — проф. Л.В. Ходский). В последнем издании в 1903–1904 годах он вел рубрику «Из иностранных экономических журналов», помещая обзоры публикаций по вопросам истории экономической науки, образования, финансов, сельского хозяйства, промышленности, торговли, развития кооперации и рабочего движения в Западной Европе, США и других странах. Постепенно круг его делового и дружеского общения расширился. Статьи Рыкачева печатали в «Современном мире», «Речи», «Земском деле», «Городском деле», «Вестнике Европы». Однако с конца 1904 года основным его «прибежищем» стало новое издание Ходского — газета «Наша жизнь» (впоследствии — «Товарищ», «Столичная почта»). Рыкачев стал одним из ее ведущих сотрудников и «пропустил через себя» практически все основные события кануна и непосредственно революции 1905–1907 годов. Так, в 1905 году, по его собственной просьбе, он был направлен в качестве военного корреспондента на театр боевых действий в Манчжурию.

«Его телеграммы и письма читались с живым интересом и имели огромный успех: из них было ясно видно, что автор делает наблюдения и получает впечатления не в штабах, а непосредственно на биваках и позициях», — вспоминал В.Д. Кузьмин-Караваев. «О поведении г. Рыкачева во время войны сохранились печатные сведения английских корреспондентов, удивлявшихся в своих журналах тому несравненному хладнокровию и скромной смелости, которую проявлял на передовых линиях этот невысокий, худощавый штатский человек. То же свидетельствуют о нем в один голос и русские корреспонденты... Сам же он, из обычной скромности, никому никогда об этом не говорил», — писал А.И. Куприн.

Выдержки и бесстрашия потребовал от Рыкачева и инцидент, произошедший с ним в декабре 1905 года в Москве, в разгар вооруженного восстания. Тогда один из офицеров Семеновского полка приказал солдатам выпороть не понравившегося ему журналиста. Пережив глубокое потрясение и не добившись привлечения к ответственности своего обидчика, Рыкачев вызвал на дуэль всех офицеров-семеновцев, предложив драться с каждым поочередно. Этот случай получил широкий отклик. В поддержку Рыкачева выступила передовая общественность, так что «он мог считать, что моральная победа осталась за ним...».

Период особой активности Рыкачева-публициста совпал с началом многопартийности и первым опытом парламентской деятельности в России. Являясь непосредственным участником событий и обращаясь к русской читающей публике с «заветными» мыслями напрямую, с газетных страниц, Рыкачев-ученый получил не только обширный материал для своих научных обобщений, но и уникальную возможность апробации и корректировки своих взглядов.

Действительность во многом опровергла ожидания Рыкачева, связанные с «зарей свободы», которая лишь яркой вспышкой осветила российский политический небосклон. Не раз он доверял своему дневнику тягостные впечатления от типичных явлений общественной жизни:

его печалила склонность соотечественников к митинговым настроениям и речам («Сколько пустозвонного политиканства!»), «неумение слова сказать против крайних руководителей движения», распространенность среди представителей прессы «настоящей торговли убеждениями, проституции». Серьезным препятствием на пути «мирного обновления» стали и «хорошо знакомые нам всем черты нашей безалаберной общечеловечности» — «неумение сговориться, склонность к внутренним раздорам и ссорам во всех общественных начинаниях, грубость в обращении с противниками и иначе мыслящими, неустойчивость настроений». На примере редакции «Нашей жизни» Рыкачев отмечал большие сложности в выработке общей программы даже в среде людей с одинаковыми взглядами. Запомнилось ему скептическое высказывание Ходского на этот счет: «Тут не столько различие в программах, сколько во всем складе, в житейских привычках, в товарищеской близости — вплоть до единения на ниве закусок, обедов, выпивки». Что касается позиции самого Рыкачева, то на редакционном совещании 3 ноября 1905 года он предложил, чтобы «Наша жизнь» заняла «определенное место между конституционно-демократической партией и социал-демократической», поскольку «от конституционных демократов нас отличает близость к социализму». Вместе с тем Рыкачев подчеркивал и важнейший пункт идеологических расхождений редакции «Нашей жизни» с революционными партиями — признание сподвижниками Рыкачева «огромной роли интеллигенции и культуры». «Умеренных — большинство», — так определил он преобладавшее среди коллег политическое настроение. Рыкачев занес в дневник и пожелание одного из членов редакции (очевидно, близкое и ему самому), чтобы их издание сохраняло по возможности внепартийный характер: «...газеты могли бы быть и вне определенных партий, выставив общий идеал, например — справедливость, свободу».

Широкий разброс мнений (даже в одном политическом лагере) практически по всем насущным вопросам русской жизни, преувеличенные амбиции и самонадеянность политических лидеров, своеобразие крестьянской психологии и в целом низкий уровень культуры и образования в стране — эти явления, по мнению Рыкачева, ставили под вопрос решение труднейшей задачи: организации масс в целях созидательной работы над «обустройством России». Сомнительной показалась эта идея, поставленная во главу угла кадетской партией, и члену редакции «Нашей жизни» Г.А. Ландау, который полагал, что «все оперируют с фикциями. Все программы — фикции. И эта организация масс — тоже иллюзия. В действительности весь процесс совершается стихийно, и так же стихийно будет продолжаться дальше...»

Основания для подобного пессимизма Рыкачев находил в поведении самого крестьянства. С одной стороны, I Дума, где «настоящих крестьян было немного», все же внушала смутную надежду на их участие в демократических преобразованиях: «большинство крестьян остались беспартийными, но к правым не примыкали». Вместе с тем Рыкачеву не раз

«Слишком мал запас академических традиций...»

приходилось испытывать тягостное, противоречивое чувство, слыша от своих коллег и близких «презрительные отзывы о мужиках». «Прокопович рассказывал, что мужики говорили ему: еще барину мы в крайнем случае поверим — может быть, среди них и найдется честный, а своему брату-мужику — никогда не поверим (это по поводу организации будущих землеустроительных органов при проведении аграрной реформы), — среди нас одного не найдется, который бы не продал нас за 10 рублей», — записал Рыкачев в дневнике 12 марта 1907 года. «Крестьяне гораздо выше прошлогоднего, но все же ужасны, — делился один из знакомых Рыкачева своим впечатлением о посланцах русской деревни во II Думе. — Опять каждый старался провести самого себя. Главный мотив — 10 р. суточных... Бежали от социал-революционеров к Союзу русского народа — и тех, и других просили о поддержке. Член Думы Половинкин был в Союзе русского народа, а теперь — социалист-революционер. По-прежнему гипнотизированье мыслью о земле. И неустойчивы ужасно — когда собрание послало срочную телеграмму Столыпину с протестом и решило не расходиться до получения ответа, огромное большинство крестьян из робости ушло». «В частном разговоре поразила меня легкость, с которой и Пешехонов, и Прокопович говорили, что крестьяне-депутаты дорожат своим депутатством больше всего из-за 10 р. суточных, что ради этой десятирублевки они на выборах все забаллотировали друг друга, и все хотели быть выбранными, и теперь будут послушны и умеренны, только бы сохранить свои 10 р. в день!» — записал Рыкачев в дневнике 24 апреля 1907 года. Однако и сам он после поездки в Ярославскую губернию летом того же года замечал: «Вся эта мужицкая атмосфера — грустного характера. Праздник приходский произвел тяжелое впечатление: народ, который не умеет веселиться, не умеет пить — плох. Не умеет ничего придумать, кроме безобразного взаимного угощения дикарским спиртным пойлом!»

Впрочем, в своем стремлении уяснить истинное положение дел в русской деревне исследователь не склонен был ограничиваться личными бытовыми впечатлениями. В 1906–1910 годах Рыкачев как сотрудник Вольного экономического общества (секретарь III Отделения сельскохозяйственной статистики и политической экономии) участвовал в обработке данных специальной анкеты об аграрном движении в России в 1905–1906 годах и составил сводку «Приозерные губернии (Псковская, Новгородская, Олонецкая, С.-Петербургская)», опубликованную в книге «Аграрное движение в России в 1905–1906 годах» (СПб., 1908. Ч. 1). Наблюдая за противоречиями общественного и хозяйственного развития России в период столыпинских преобразований, Рыкачев замечал и постепенные перемены к лучшему в крестьянской жизни. «Мне хочется работать на пользу деревенской России, хочется участвовать в намечающемся возрождении деревни и земледелия», — записал он в дневнике 10 июля 1914 года, незадолго до своей трагической гибели.

Рыкачев ясно отдавал себе отчет в том, что на данном историческом этапе оппозиция, стремясь оказывать влияние на политику правитель-

ства, не может рассчитывать на поддержку «снизу», а значит, должна опираться прежде всего на собственные силы. В то же время, осознавая ограниченность этих сил, он призывал сторонников прогресса к объединению. «Сила оппозиции — в единстве», — именно в этом он видел «мораль» событий Кровавого воскресенья 9 января 1905 года: «Россия земская, интеллигентская, рабочая добилась народного представительства, и вся оппозиционная Россия победила потому, что говорила и действовала заодно...»

Тему для своей брошюры «Вопрос об отмене смертной казни в Государственной думе» (М., 1906) Рыкачев выбрал именно потому, что, по его мнению, решение данного вопроса, поставленного одним из первых в повестку дня думских заседаний, вполне могло послужить делу объединения оппозиции. Он был убежден в том, что «смертная казнь возмущает совесть больше, чем простое убийство»; «народ хочет отмены смертной казни... потому что в нем меньше злобы и низких чувств, чем думали и думают про него бывшие хозяева русской земли. Смертная казнь умрет, когда уйдут с дороги русского народа его бывшие владыки и поработители».

Мысль о «возможности концентрации всех интеллигентных и культурных сил на почве борьбы с отмирающей кружковщиной и некультурностью» не покидала Рыкачева и в период выборов во II Думу. Тогда он поддержал идею образования «левого блока», представлявшуюся ему «знамением времени» еще накануне созыва первого русского парламента. С тех же пор среди его единомышленников в этом вопросе были и Е.Д. Кускова с С.Н. Прокоповичем. «Нужно организовать левую оппозицию кадетам, как среди левых элементов Государственной думы, так и в общественном мнении, поскольку «это необходимо, чтобы тянуть кадетов налево», — приводил Рыкачев в своем дневнике слова Прокоповича. «Очевидно, есть какая-то роковая необходимость для русского интеллигента — быть левее кадетов, хотя еще не найдены для этой инстинктивной потребности подходящая программа и логическое оправдание», — делился он размышлениями по этому поводу со своим близким другом Д.В. Философовым.

Вместе с тем с самого начала работы II Думы Рыкачеву стало ясно, что ставка на левых не оправдала себя. Его интерес к парламентским дебатам неуклонно ослабевал. Главную проблему он видел в том, что «у левых в Думе совсем нет людей — ни руководителей, ни знатоков в тех или других вопросах законодательства». Все больше досадовал он и на то, что само «поведение социал-демократов очень дискредитирует их». «Поток речей в последних заседаниях (Государственной думы. — Н.Х.) кажется мне невыносимым», — записал Рыкачев в своем дневнике 14 марта 1907 года. Время от времени размышляя над особенностями «русского социализма» и его ролью в продвижении страны на путях к свободе, он приходил к противоречивым выводам. Отдавая должное жертвенному служению народу многих сторонников радикальных убеждений, Рыкачев при этом разделял мнение о «сентиментализме и наивности наших революционе-

«Слишком мал запас академических традиций...»

ров» 1880-х годов. Он полагал, что «их народничество помешало им верить в конституцию и, может быть, именно народничество виновато в том, что мы так поздно сделали конституционной страной». Что касается социалистов «новой» формации, то, по мнению Рыкачева, тактика их крайних партий внесла свою ощутимую лепту в драматический финал как I, так и II Думы.

Уже в апреле 1907 года Рыкачев, поставив под вопрос оптимистичный прогноз одного из лидеров Трудовой народно-социалистической партии В.Г. Богораз-Тана («Дума, наконец, заговорила!»), считал более реалистичным мнение своего давнего товарища и единомышленника, члена ЦК Трудовой группы, депутата И.В. Жилкина: «Революция кончилась». Определяя таким образом перемену в общественно-политической ситуации в стране еще до роспуска II Думы, Жилкин убеждал, что «и большинство левых думают так же». Не верила больше в силу революции, по словам Рыкачева, и Кускова, видевшая «единственный выход из тупика» в союзе кадетов с правительством. Но пойдет ли правительство на такое сближение с оппозицией? Приведенные в дневнике публициста мнения некоторых людей из его окружения, похоже, не оставляли надежд на такой поворот событий. Скорее, они даже рисовали обратную «перспективу»: поворот правительства «направо» при поддержке «средних буржуазно-либеральных кругов». По словам члена редакции «Товарища» Г.И. Штильмана, в этих кругах замечалось «какое-то странное возрождение веры в правительство: с радостью говорят про Столыпина — сила». Да и сам Рыкачев в марте 1907 года пришел к выводу о начале «очень важного переворота в русской политической истории: идет организация общественного мнения консервативных партий».

Вероятно, роспуск II Думы не стал для него неожиданностью (об этом событии в дневнике — ни слова). Наблюдая за развитием ситуации в стране после 3 июня 1907 года, Рыкачев, судя по всему, весьма пессимистично оценивал ближайшие перспективы демократии и свободы слова в стране. Не верил он и в успех единения оппозиции на базе масонства, о существовании которого в России впервые узнал от В.И. Немировича-Данченко в конце декабря 1906 года. «Самым интересным впечатлением последнего времени» назвал он тогда в своем дневнике информацию о членстве в этой тайной организации и самого Немировича-Данченко, а также Амфитеатрова, Котляревского, Маклакова. «Немирович-Данченко с обычным своим увлечением начал убеждать меня, что нам нужно опереться на Запад и лучше всего это возможно при помощи масонства». «Аничков, с некоторыми предосторожностями, склонял меня присоединиться к франкмасонству, — записал Рыкачев в дневнике 27 марта 1907 года. — По-видимому, М. Ковалевский уже причислился. Аничков говорит, что нам необходимо иметь опору в Западной Европе, и ради этой чисто практической цели стоит похлопотать о расширении числа адептов в России. Все освободительное движение он приписывает масонам. Я отвечал довольно решительным отказом».

Не видя для себя возможности «живого дела», т.е. непосредственного участия в общественной деятельности, Рыкачев наконец-то (нет худа без добра!) смог погрузиться в работу над своей книгой, завершив ее новую редакцию в декабре 1909 года. Кроме того, в том же году началась педагогическая деятельность Рыкачева (продолжавшаяся до мая 1914-го). Он читал лекции по политической экономии на Стебуровских высших женских курсах, в просветительском обществе «Маяк». А летом 1910 года произошло счастливое событие в его жизни: Рыкачев женился на Варваре Васильевне Хижняковой, дочери известного земского деятеля В.М. Хижнякова и сестре публициста В.В. Хижнякова, с которым Андрей Михайлович был близко знаком по работе в «Нашей жизни».

1910 год в судьбе Рыкачева был отмечен тем, что именно тогда началось его тесное сотрудничество с П.Б. Струве, которому он отводил особую роль в своей жизни. В 1899 году, еще студентом, Рыкачеву довелось на одной из марксистских вечеринок «внимать Струве как одному из мэтров легального марксизма». И впоследствии Рыкачев, претерпевший сходную со Струве эволюцию взглядов, внимательно следил за общественной деятельностью своего знаменитого современника. В годы первой русской революции их пути неоднократно пересекались. К тому времени Струве уже обратил внимание на выступления Рыкачева в прессе, отметив их «созвучие» собственным мыслям и настроениям. Не случайно в самом начале января 1907 года Рыкачев, по его словам, «был польщен» поступившим ему от Струве, соредактора «Русской мысли», приглашением к сотрудничеству в этом солидном журнале. Кстати, отмечая огромную разницу между Струве-публицистом и Струве-оратором, Рыкачев вскоре оставил в своем дневнике запись о посещении одного из предвыборных собраний в Петербурге, проникнутую искренним сочувствием к своему старшему соратнику: «Скандально говорил Струве — такого растерянного оратора еще, кажется, я ни разу не слышал на политическом собрании — какой-то лепет гимназиста, провалившегося на экзамене. Мне так было его жалко».

Несмотря на очередное сближение творческих траекторий двух единомышленников, обстоятельства сложились так, что только спустя несколько лет, начиная с 1910 года, Рыкачев стал одним из постоянных авторов, а потом и членом редакции «Русской мысли». С явным удовлетворением Рыкачев отмечал сходство своих взглядов с позицией Струве по вопросам и «чистой теории», и «социально-политических общих тенденций». Интересно, что и сам Струве, вспоминая уже после ухода из жизни Рыкачева о своем сотрудничестве с ним, замечал: «Каждый из нас шел своим путем, и на этих путях мы нашли друг друга. Это было для меня великой радостью... Сближение и общение с ним оказалось для меня в моей научной и литературной деятельности душевной поддержкой».

Заметим, что Рыкачев интересовал Струве не только как один из талантливых авторов, но и как единомышленник и соратник. Перешедший после революции 1905–1907 годов на позиции либерал-консерватизма (национал-либерализма), Струве ставил в центр политической программы

«Слишком мал запас академических традиций...»

задачу национального сплочения («соборного напряжения всех сил») — отказа от преувеличенного значения классовых и партийных противоречий в общественной жизни России, сближения правительства с народным представительством с «целью действительного осуществления конституционного и демократического строя». Фактически эти идеи с самого начала оформления российской многопартийности определяли кристаллизацию «центристского» течения в русском либерализме, правда, без акцента на необходимости «национализации либерализма».

В III и IV Государственной думе национал-либералы были представлены, в частности, фракцией прогрессистов. Одной из «площадок», на которых происходило развитие этого течения общественной мысли, стала «прогрессивная беспартийная» газета «Русская молва», финансируемая крупными московскими промышленниками. «Костяк» ее редакции составили, наряду с правыми кадетами и лидерами Партии прогрессистов (А.В. Тыркова, А.И. Коновалов, И.Н. Ефремов, П.Б. Струве, М.М. Ковалевский, Н.Н. Львов, А.С. Посников, Е.Н. Трубецкой, В.А. Маклаков, М.В. Челноков и др.), беспартийные, разделявшие направление газеты. Видное место среди последних занял Рыкачев, приглашенный Струве в «Русскую молву» явно в целях укрепления идеологических позиций издания.

В 1911 году Рыкачев пережил глубокую личную драму: умерла родная жена, ребенок также не выжил. В связи с крушением надежд на счастливую семейную жизнь единственным якорем спасения для себя Рыкачев, похоже, считал сосредоточенность на занятии наукой. Ради этого он уволился со службы в городской управе. Что же касается сотрудничества с «Русской молвой», то программа газеты настолько увлекла его, что именно с этим изданием Рыкачев связывал свою мечту — еще раз «высказать и бросить в обращение свои любимые идеи». Уже в первом номере «Русской молвы» (9 декабря 1912 года), в программном заявлении редакции, прозвучал его голос: «Все, что есть в России хорошего и дурного, все это наше, за все это мы несем ответственность... Все, что казалось недавно, а порой еще кажется и теперь далеким от нас, соединено с нами внутренней связью органического родства. Русская армия — это не чуждая нам, обособленная каста, а наша армия. Русский суд — это не „шемякин суд“, а наш суд, одно из проявлений нашего родного духа, искаженное извне, но здоровое внутри. Русское внешнее могущество — это не тщеславная прихоть бюрократии, это наша сила и наша радость». Такие мысли были смелым новаторством в либеральной среде.

В серии полемических статей, опубликованных в «Русской молве» и «Русской мысли» в 1912–1913 годах и вызвавших заметный общественный резонанс, Рыкачев выдвинул и обосновал еще одну новаторскую идею — идею «индустриализации русского общества», — вскоре подхваченную и другими изданиями. «Независимость промышленная является фундаментом независимости политической, — развивала главный тезис Рыкачева редакция газеты «Утро России» в январе 1915 года. — Этой мыслью должно проникнуться все общество, и в особенности наша интеллигенция, ко-

торая чурается коммерческой деятельности... Русское общество должно индустриализоваться, т.е. пропитаться коммерчески-промышленным духом — вот лозунг ближайших дней».

Разделяя убежденность С.Л. Франка в том, что «мыслящие русские люди должны сознательно, ради интересов нации, отдаваться экономической деятельности», Рыкачев считал, что необходимое «примирение демократии и капитализма» должно произойти по мере привлечения «к капиталистическому строительству» «в большом количестве новых сил из народа и интеллигенции». В связи с этим он подчеркивал особую важность для России не столько «количественных успехов» в хозяйственной жизни, сколько «качественной трансформации капитализма». По его убеждению, данный процесс также был призван придать «живую осязательность» идее единства русской национальной культуры, по мере того как «ряды хозяев социальной жизни будут заполняться удачливыми выходцами из народа», а функции фабриканта, купца, чиновника получают в русском общественном сознании «такое же признание, как деятельность писателя, ученого, врача, учителя».

Рыкачев считал, что задача русской интеллигенции — «преодолеть отшельническое отрицание действительного мира, понять органическую связанность свою со всеми элементами русского народа»: «Вместо того чтобы менять иконы на иконы, настало время усомниться в самом смысле старых молитв. Вместо воплощения в новой форме старой идеи „хождения в народ“ нужно признать народ как органическую совокупность множества состояний и профессий, куда входят не одни только рядовые крестьяне и рабочие, но и богатеющий хуторянин, и удачливый подрядчик, и мастер с хорошим заработком, и купец, и учитель, и чиновник, и фабрикант». «Наша надежда — на тысячи и тысячи людей, выходящих с низов, оттуда, где царят невежество и бедность, и по праву труда и таланта получающих доступ к благам культуры и широкому творчеству».

«Русский культурный капитализм» должен обрести «национальное лицо», — решению этой задачи совместными усилиями государства и общества Рыкачев отводил первостепенное значение. По его убеждению, государство «как носитель высшей власти» призвано быть и «верховным устройте-лем власти капитала», обязано «стихийно и неотвратимо, из чувства самосохранения» «найти пути компромисса и примирения с предпринимателями», «создать синтез государственного единства и экономической свободы», но «не путем насильственного подавления своеобразной автономии частного предпринимательства и свободных рынков, а путем взаимного приспособления государственного строя, национального сознания и экономической системы».

Указывая на заведомую ошибочность представления об эгоизме как основном двигателе хозяйственной жизни, Рыкачев прежде всего обращал внимание на то, что это мнение уже опровергнуто наукой, а «экономический интерес» следует рассматривать наряду с другими факторами, влияющими на поведение людей. «Как это ни странно на первый взгляд, — пи-

«Слишком мал запас академических традиций...»

сал Рыкачев, — именно предприниматель принципиально не может быть мыслим как индивидуалист, как чистый homo economicus», поскольку он «по существу своей функции, не может быть равнодушен к психологии своих покупателей и своих рабочих. В отличие от других, пассивных участников рынка, предприниматель представляет на рынке активное начало (организатор рынка). Его мышление и деятельность по необходимости имеют социальную окраску». «Отвлеченный интерес денежного барыша не может быть единственным руководящим мотивом предпринимательской деятельности в силу самой отвлеченности своей. Живой, а не абстрактный предприниматель думает не только о норме прибыли, но и о приумножении капитала, — разъяснял Рыкачев, показывая «власть земли» и «силу общественности» в определении судеб бизнеса. — Как владельцы денежных капиталов, нобели и ротшильды неуязвимы для правительств, для общества, для рабочих: теснимые налогами или стачками, капиталы с невозмутимостью стихии отливают из неблагополучных мест в безбрежный океан мирового оборота. Но как владельцы нефтяных промыслов или руководители банковских учреждений, те же капиталисты прикованы к конкретным местам, к правительствам, к общественным влияниям, к своим доверенным, к своим рабочим, ко всем своеобразиям и причудам местных климатов и местного быта. Куда уйдет Нобель-нефтепромышленник от бакинской забастовки, от уничтожения русской ввозной пошлины на нефть, от враждебного отношения Государственной думы к промышленным синдикатам?»

Разъясняя свое понимание сущности национально (и социально) ответственного капитала, Рыкачев особо подчеркивал, что «идейные и, в частности, национальные задачи предпринимательской деятельности не следует понимать в смысле принесения жертвы и урезывания хозяйственной сферы в пользу иных интересов»: «Не тот осуществляет высшую культурную миссию предпринимательства, кто, разбогатев на удачных операциях, тратит потом свое богатство на благотворительность или на школы, на музеи или на броненосцы. Не в том истинное общественное служение промышленников и купцов, чтобы субсидировать печать, питать партийные кассы или создавать синекуры для политических деятелей и дельцов. Не в филантропии и не в политических демонстрациях настоящее оправдание капитала... Связь торгово-промышленного класса с политическими интересами страны может сделаться прочной, искренней и живой только через углубленное понимание этим классом своих собственных профессиональных задач и профессиональных обязанностей. То служение родине, которое вытекает из самой сущности предпринимательской деятельности и в которой торгово-промышленный класс может принести наивысшую пользу, заключается в привлечении национальных сил к новому творчеству в области промышленности и торговли, в открытии перед нацией новых возможностей. Давать работу своему народу — не только в тесном и прямом смысле предоставления заработков, но и в ином, более глубоком смысле, в смысле предоставления национальной

культуре новых путей и новых средств проявить себя — вот национальное призвание предпринимательского класса».

Указывая на важность национальной сплоченности предпринимателей, первоочередного обеспечения в их деятельности национального интереса, Рыкачев замечал: «Вы не заставите английского капиталиста, помещающего свой капитал в России, забыть про свои английские деловые связи. Вы не заставите руководителей немецкой электрической промышленности, открывающих отделения своих предприятий в России, или представителей немецких банковских сфер, участвующих в русских банках, забыть об интересах Германии. Немец имеет право быть немцем, и еврей имеет право отдавать предпочтение еврею перед русским при выборе сотрудников и подчиненных. Таможенной оградой нельзя разорвать этих замкнутых кругов, создаваемых силами национального сцепления, и одними только внешними поощрениями нельзя воспитать живой дух предприимчивости и доверия к собственным национальным силам. Высоким таможенным ограждением, с громадными жертвами, создается в России территориальное единство рынка. Но необходимо и другое единство — единство понимания национально-экономических задач».

Обосновывая необходимость сознательного «национального культивирования» капитализма в России, «приспособления национальной психики к новым хозяйственным формам», Рыкачев указывал на тесную взаимосвязь национальных задач предпринимательства с его «общечеловеческими целями»: «Сила денег призвана служить оплодотворению сил природы и воспитанию сил и способностей человека... воспитанию здорового индивидуализма. Она должна заменить мораль безрадостного самоотречения облагоустроенной религией успеха».

Рыкачев называл праздным «вопрос о том, в какой мере, например, мы, русские, пригодны для самостоятельной организации народнохозяйственных сил в формах капиталистического строя»: «Это — задача, которая стоит перед каждым народом, задача, которая должна быть выполнена. Россия должна иметь достойную ее мирового значения национальную армию предпринимателей, органически связанную с русскими народными массами... Нужно учиться искусству экономической организации, как учатся всякому мастерству, нужно брать уроки у лучших знатоков дела, — у англичан, американцев, немцев, у евреев. Нужно перенимать то, что можно перенять, не отступая перед долгим искусом ученического подражания, но и не забывая про необходимость самостоятельного творчества в приспособлении... То, что сначала кажется национальной слабостью, часто превращается, путем смелого приспособления, в источник национальной силы...»

Успехи русского капитализма, а также рост национального сознания (как единственное средство против «болезни» «внутреннего разложения старого строя жизни») Рыкачев во многом связывал с интенсивным освоением Россией окраин и новых территорий. «Относительно Сибири нельзя спрашивать: зачем Сибирь нужна России? Во всяком случае, такой

«Слишком мал запас академических традиций...»

вопрос имел бы не больше смысла, чем, например, вопрос: зачем России нужен Крым или Урал? Крым, Урал, Сибирь суть части России, и спрашивать оправдания их принадлежности русскому государству — все равно, что спрашивать: нужна ли вообще Россия?» Причем, подчеркивал он, критерием колониальной политики государства может быть «лишь вся национальная культура в совокупности», а не «простая денежная выгода».

Предвидя критику своих взглядов на «обустройство России» как «беспочвенной мечты утописта» («В России ли, отсталой, бедной, инертной, мечтать о воспитании нового, лучшего типа предпринимателя, о создании облагоустроенных методов экономической конкуренции?»), Рыкачев тем не менее стремился внушить соотечественникам исторический оптимизм и веру в свои силы: «Путь к новым, более справедливым и просветленным формам капитализма есть путь долгий, тяжелый и медленный. Но важно, чтобы была впереди идеальная цель, чтобы был просвет и было движение вперед, а не унижительная перспектива грядущего царства мамоны... Пусть инертный обыватель, не видящий дальше сегодняшнего дня, лениво зубоскалит над мыслями о лучшем будущем торгово-промышленной деятельности в России! В борьбе с предубеждениями только ярче обозначается сила новых, выдвигаемых жизнью задач».

Следует признать, что идеи модернизации России, вдохновлявшие Рыкачева и его единомышленников, не находили тогда широкого отклика в стране. Сбылись пессимистические прогнозы ученого по поводу будущего «Русской молвы», высказанные им еще до начала ее издания, в ноябре 1912 года: «Шансы газеты не так уж блестящи — нет людей, нет сил». Популярность «Русской молвы» была крайне ограниченной (не более 400 подписчиков), что и стало главной причиной ее закрытия менее чем через год после начала выхода в свет.

В октябре 1913 года Рыкачев сдал магистерский экзамен. Однако свою мечту о «настоящей научной деятельности» ему так и не удалось полностью реализовать из-за начавшейся вскоре Первой мировой войны. Он принял на себя обязанности секретаря Особой комиссии, созданной при Вольном экономическом обществе «для обследования нужд, вызванных потребностями военного времени». Имея освобождение от воинской повинности, Рыкачев все-таки ушел добровольцем на фронт, где вскоре погиб на передовых позициях под Краковом. Раненый, он пролежал несколько дней в оставленном окопе, прежде чем его нашли, сильно истощенного, и умер уже в полевом госпитале.

Смерть Рыкачева вызвала многочисленные отклики. Во многих из них утверждалось, что он представлял собой «новый тип личности, редкий и драгоценный в русской жизни». «В его лице в жизнь русской „интеллигенции“ явственно входила какая-то новая стихия», — свидетельствовал П.Б. Струве. Раскрывая эту характеристику, Струве особо отмечал соединение в Рыкачеве «умственного бесстрашия, духовной свободы» с «величайшей мерой моральной деликатности и совестливости»; при этом «„умеренные“ взгляды, еретические с точки зрения интеллигентской

традиции, были в Рыкачеве не результатом утомления и уступок „реакции“, а, наоборот, плодом активной борьбы, завоеваниями его духа, выражением умственного и морального творчества, до последней степени напряженного и совестливого».

Признание «живой нравственной веры», «глубоких религиозных мотивов», лежавших в основе мировоззрения Рыкачева и воплощенных им в жизни, было свойственно также С.Л. Франку в его размышлениях о месте и роли этого «прекрасного идеала борца, чуждого ненависти и презрения» в истории русской общественной мысли и освободительного движения. «А.М. Рыкачев пал героем новой, нарождающейся в русском обществе веры, — писал Франк. — Он был, быть может, первым в наши дни русским интеллигентом, сознательно принесшим себя в жертву нового общественного мирозерцания, в центре которого стоит идея родины как живого государственно-национального организма, за судьбу которого лично ответственен каждый мыслящий его член». Эта же мысль звучала и в других откликах на смерть Рыкачева: «Своим порывом и гибелью он больше, чем кто-либо, связал судьбы „интеллигенции“, „народа“ и страны».

Спустя год после гибели Рыкачева П.Б. Струве предложил «увековечить память покойного изданием возможно более полного сборника его разрозненных статей и биографических материалов о нем», чтобы «сохранить, как неугасимое живительное пламя, свет редкостного человеческого духа, который должен укреплять и утешать многих и многих в трудной борьбе за Россию и ее достоинство». Замысел этот остается нереализованным до сих пор.

НИКОЛАЙ
ЕЛПИДИФОРОВИЧ
ПАРАМОНОВ

«Рано или поздно
правда и добро
восторжествуют...»

«В пору детства моего поколения, — вспоминал в 1976 году известный писатель и библиофил В.Г. Лидин, — одним из тех пахарей, которые широко раскидывали семена просвещения, был издатель Н.Е. Парамонов. Книжечка за книжечкой его дешевой библиотечки широко шли из Ростова-на-Дону, где находилось его издательство. Парамонов, как и И.Д. Сытин, понимал, что лишь доступная, поистине народная книга проникнет в самые глухие углы и найдет нового читателя. Дешевая библиотечка Парамонова с обозначением на обложках книжечек: «Издание Т-ва „Донская речь“ в Ростове-на-Дону» сослужила немалую службу... Имя Парамонова не значится в наших энциклопедических словарях, — добавлял с некоторым недоумением Лидин, — хотя по праву может стоять с именем, например, Ф.Ф. Павленкова». Лидин включал Парамонова в ряд таких издателей, как Смирдин, Глазунов, Макушин, Сойкин, Сабашников...

Нам неизвестно, лукавил ли Лидин, недоумевая, почему имя Парамонова не значится в энциклопедических словарях. Возможно, он действительно не знал, что знаменитый издатель был членом партии кадетов, в 1919 году возглавлял Отдел пропаганды у А.И. Деникина, затем стал «белоэмигрантом», а в 1928 году был даже объявлен советской юстицией вдохновителем «инженеров-вредителей», осужденных по «Шахтинскому делу». Имя Парамонова являлось длительное время табу для историков. Между тем Парамонов — это и есть «Донская речь».

Что побудило Николая Елпидифоровича Парамонова (1876–1951), сына казака Нижне-Чирской станицы, хлеботорговца, владельца мельниц и пароходов, председателя Ростовского биржевого комитета Елпидифора Трофимовича Парамонова, пуститься на это явно не самое прибыльное предприятие? Николай Парамонов принадлежал к новому поколению российских предпринимателей, которым было тесно в рамках существующего режима; они тяготились докучливой опекой власти и сами стремились определять свою судьбу — да и судьбу страны. Рябушинские, С.Т. Морозов или А.И. Коновалов отнюдь не были исключениями; Н.Е. Парамонов на Дону или Н.В. Мешков на Урале относились к этому новому на Руси типу,

Отсюда их столкновения с властями и поддержка тех сил, которые раскачивали самодержавие. Николай Парамонов получил юридическое образование в Киевском университете; уже в студенческие годы он имел неприятности на политической почве. Вернувшись после получения образования в Ростов-на-Дону, Парамонов, по словам его бывшего товарища по университету социал-демократа И.Н. Мошинского, возглавил местную культурническую интеллигенцию. Хотя Парамоновы давно перебрались в Ростов, по инициативе Николая на средства парамоновской фирмы в 1899 году в Нижне-Чирской станице был построен Народный дом. В одном из рабочих районов Ростова им была устроена воскресная школа для взрослых. Заметим, что в начале века Ростов-на-Дону называли «русским Чикаго»: из-за бурного экономического роста, сочетавшегося с высоким уровнем преступности.

В местном Охранном отделении Николая Парамонова довольно наивно считали главой всех (!) революционных партий, действовавших в Ростове. Это, конечно, было не так. По своим взглядам он был либералом и позднее стал одним из лидеров донских кадетов. 4 декабря 1904 года он выступил с речью на собрании в Коммерческом клубе по случаю сорокалетия Судебных уставов. Требования, сформулированные Парамоновым, соответствовали программе российских либералов: свобода слова, печати, демократизация образования. Однако содействие революционерам Парамонов, несомненно, оказывал. «Н.Е. Парамонов — прелюбопытная фигура в русской революции, — писал о нем уже упоминавшийся выше Мошинский. — Крупный капиталист, человек американской складки, механизировавший свои рудники в Грушевском антрацитном районе по последнему слову техники, — имел пристрастие ко всем крупным затеям, даже в революционном подполье... помогал и социал-демократам, поскольку это было полезно для разрушения самодержавного режима...»

Издательство, основанное в 1903 году, было поставлено с самого начала с парамоновским размахом и не имело ни малейшего налета «провинциализма». Книжки «Донской речи» были, как правило, тонкими, в 20–30 страниц, в обложках из цветной бумаги. На обложках — набранные крупным шрифтом фамилии авторов и названия произведений. Чем был обеспечен успех изданий «Донской речи», в общем, понятно: хороший подбор авторов и крайняя дешевизна изданий. В издательстве выходили произведения Л. Андреева, И. Бунина, В. Вересаева, В. Короленко, А. Куприна и других популярнейших писателей того времени.

Во вступительной статье к литературному сборнику «Зарницы», изданному «Донской речью», делалась попытка охарактеризовать состояние современной литературы. Завершалась она словами: «Время создало новое поколение людей, которые, не желая ждать, сами намерены взять то, чего не дает судьба. Они не страшатся борьбы, они любят бурю... В этом стремлении ломать жизнь по-своему и в надежде, что рано или поздно правда и добро восторжествуют, — вся сила нарождающейся литературы, того света, зарницами которого являются творения новых писателей».

Стремление «ломать жизнь по-своему» было, несомненно, свойственно не только «новым писателям», но и их издателю Н.Е. Парамонову. Знал бы он, чем это в конце концов для него обернется!

Издания «Донской речи» удостоились множества восторженных рецензий. Настоящего панегирика издательство удостоилось на страницах «профессорских» «Русских ведомостей»: «Выбор книг, рассчитанный на самые широкие читательские круги, сделан по определенному плану, с определенным назначением... Чтение большинства из них доставит читателям не только эстетическое удовольствие, но вместе с тем осветит некоторые из важных сторон общественного и народного быта, возбудит ряд существенных вопросов, создаст определенное настроение».

Эвфемизм «определенное» заменял, разумеется, «антиправительственное». Особо подчеркивалась на страницах «Русских ведомостей» «народность», сочетавшаяся с вполне приличным полиграфическим уровнем парамоновского издательства: «Внешняя сторона рассматриваемых изданий не оставляет желать лучшего. Что же касается цены книжек, то с этой стороны издательская деятельность „Донской речи“ представляет на нашем книжном рынке исключительное явление. Так дешево у нас еще не издавались книги. Цена книжек беллетристического содержания — одна, полторы, две, три, четыре и пять копеек, и только в редких случаях она поднимается до десяти копеек за экземпляр. Научные книги сравнительно дороже: от восьми до тридцати пяти коп. Нельзя не пожелать дальнейших успехов этому полезному предприятию в области народного книгоиздательства».

Пик издательской активности «Донской речи» приходится на годы революции 1905–1907 годов. Издательство сочетало в своей деятельности просветительские и пропагандистские задачи. В период становления российского парламентаризма (а как бы ни расценивать степень влияния Государственной думы и уровень гражданских свобод в России, провозглашенных царским Манифестом 17 октября 1905 года, это, несомненно, были шаги в сторону конституционного строя и правового порядка) очень важно было разъяснить людям, внезапно оказавшимся субъектами российского политического процесса, суть происходящих изменений, научить их грамотно пользоваться своими новыми правами.

Такая возможность издателям представилась, собственно, еще до Манифеста 17 октября; ведь «курс» на формирование выборного представительства в России был провозглашен Николаем II уже в рескрипте на имя министра внутренних дел А.Г. Булыгина, в котором заявлялось о созыве законосовещательной («булыгинской») Думы.

«Донская речь» выпустила книжки В. Голубева «Крестьяне в Государственной Думе» (1905) и «Первые шаги Государственной Думы» (1906), Е. Якушкина «Государственная Дума» (1905), А.К. Дживелегова «Ответственность министров в конституционных государствах» (1905) и др.; книжки зарубежных авторов — «Бюджетное право» Г. Еллинека (1906), «О сущности конституции» Ф. Лассаля (1905) и т.д.

В 1905 году «Донская речь» начала массовый выпуск листов, в которых разъяснялись «горячие» вопросы дня для не очень подготовленного читателя. Названия этих четырехстраничных, написанных популярным языком листов говорят сами за себя: «Что такое народное представительство», «Что такое всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право», «Что такое свобода слова и печати», «Как надо расходовать народные деньги», «Права человека и гражданина», «Что такое палата представителей», «Что дают рабочим профессиональные союзы», «Равноправие национальностей», «Что такое тайная подача голосов», «Какие народные представители не нужны народу» и даже «Избирательное право женщин»... Листки отпускались книжным магазинам и складам по сорок копеек за сотню, а в розницу продавались за полторы–одну копейку за экземпляр.

В качестве «примера для подражания» и своеобразных «учебных пособий по демократии» «Донская речь» издала серию книжек, посвященных политическому и экономическому устройству зарубежных конституционных государств, а также опыту борьбы народов этих стран за свои права. Среди них брошюры Н.А. Кабанова «Права и обязанности английских граждан», А. Горбунова «Гарантии личной свободы в Англии», В.В. Водозова «Всеобщее избирательное право на Западе», А. Быковой «Государственное устройство Северо-Американских Штатов» и т.п.

В книжках, издаваемых «Донской речью», демонстрировалось, что в истории России можно найти зачатки самоуправления и оно не является чужеродным продуктом, занесенным из-за рубежа. Этой проблематике были посвящены брошюры В. Алексеева «Народовластие в Древней Руси», «Самодержавие и общественное мнение», «Земские соборы Древней Руси»; «Роль челобитий и земских соборов в управлении Московским государством» и «Когда и почему возникла рознь в России между „командующими классами“ и „народом“» И.И. Дитятин и др.

Современную политическую направленность имели тексты, посвященные довольно отдаленным временам — даже английскому Средневековью. Это отлично понимали читатели. В небольшой рецензии, опубликованной в «Русских ведомостях» на издание отдельной брошюрой статьи известного медиевиста Д.М. Петрушевского

«Великая хартия вольностей» (1904), ее появление было названо как нельзя более своевременным. «Великая хартия вольностей, — писал анонимный рецензент, — первая решительная победа английского общества над королевской властью. В этом замечательном документе впервые сгруппированы вместе главнейшие гарантии политической свободы. Англия завоевала их в 1215 году, но еще до сих пор, то есть спустя семь столетий, эти гарантии остаются тщетными дезидератами во многих странах, в том числе и в некоторых европейских. Знаменитая 39-я статья Великой Хартии, которая говорит о том, что ни один свободный человек не может быть арестован или заключен в тюрьму без суда, — эта основа гражданской свободы, — некоторыми считается чересчур большою роскошью

«Рано или поздно правда и добро восторжествуют...»

даже для культурной страны, и приходится доказывать, что административный произвол, разрушаемый принципами Великой Хартии, не есть что-либо такое, без чего не может жить организованное общество».

Несмотря на дешевизну изданий, издательство, по-видимому, приносило определенную прибыль или, по крайней мере, не было убыточным. То, что терялось на цене, компенсировалось за счет тиражей и скорости оборота. Для оптовых покупателей была предусмотрена гибкая система скидок; так, книжные склады и магазины пользовались скидкой в 30%; в том случае, если они заказывали продукции на сумму свыше 75 рублей, пересылка осуществлялась за счет издательства. Предусмотрены были скидки и для частных лиц; если покупатель выписывал литературу на 2–3 рубля, то за пересылку в пределах Европейской России он не платил.

У издательства была собственная типография в Ростове-на-Дону, однако она, разумеется, не могла справиться со всевозрастающим потоком печатной продукции; в конечном счете заказы «Донской речи» размещались в одиннадцати ростовских типографиях. После 1905 года издательство перенесло значительную часть своей деятельности в Петербург: там были легче цензурные условия, удобнее было распространение книг. В Петербурге издания «Донской речи» печатались по меньшей мере в шестнадцати типографиях.

Всего в 1903–1907 годах издательство «Донская речь» выпустило свыше 500 названий книг и брошюр. В середине 1907 года издательство было закрыто властями, а против его владельцев, подлинного — Парамонова и фиктивного — А.Н. Сурата, было возбуждено уголовное дело. Формально дело «о казаке Николае Елпидифорове Парамонове и мещанине Александре Николаеве Сурате» возникло в связи с тем, что городской заметил непорядок: окно в подвале дома на Екатерининской улице, принадлежавшего купцу Парамонову, было взломано. Явившийся по вызову стражника пристав обнаружил в доме Парамонова книжный склад — три квартиры, состоявшие из девяти комнат, были битком набиты книгами. Полиция насчитала несколько сот тысяч экземпляров. Криминал заключался, разумеется, не в самом наличии книг в доме, а в их крамольном содержании. Трудно сомневаться, что случай со взломом (если это был случай) дал властям повод наконец «разобраться» со строптивым предпринимателем.

Среди книг, издание которых вменялось в вину привлеченным к дознанию, 63 были выделены следователем как «особо возмутительные». В парамоновских изданиях цензура усмотрела и подрыв монархического принципа, и дерзостное неуважение к Верховной власти, и оскорбление памяти «в Бозе почивших императоров Александра II и Александра III».

Поначалу Парамонов был взят под стражу, но затем освобожден под залог в 40 тыс. рублей. Следствие тянулось три с половиной года; в итоге следственное дело составило 68 томов. Вероятно, немалую роль в многочисленных проволочках играли парамоновские деньги и влияние парамоновского клана.

В 1909 году умер Елпидифор Парамонов. Он завещал 60% своего капитала старшему сыну Петру, а 40% — Николаю. Цена завещанного имущества составляла 4,5 млн рублей. Однако братья не стали делиться, а образовали Товарищество «Е.Т. Парамонова Сыновья в Ростове-на-Дону». Интересно, что Е. Т. Парамонов завещал раздать своим служащим 20 тыс. рублей; выдать обществу Нижне-Чирской станицы 5 тыс. рублей на устройство приюта или больницы; 50 тыс. рублей — городу Ростову-на-Дону на училища и больницы, а также установить стипендию своего имени в Ростовском коммерческом училище и имени своей жены — в Ростовской женской гимназии. Большую часть семейного бизнеса вел старший брат, Петр. Николаю после ликвидации издательства, чтобы чем-то занять неутомленного просветителя, купили шахту в Александровске-Грушевском. Здесь-то младший Парамонов и развернулся, поставив угледобычу на мировом техническом уровне.

Это был один из парадоксов российской жизни. Крупнейший донской предприниматель находился под судом, параллельно «отвлекаясь» на такие «мелочи», как строительство шахт (ныне бывший Александровск-Грушевский так и называется — Шахты; не пора ли вернуть городу историческое и гораздо более благозвучное название?) и создание, говоря современным языком, городской инфраструктуры. Для иногородних рабочих Парамоновым были построены общежития, дешевые столовые, школы с вечерними курсами для взрослых, больница, детский сад и даже кинематограф! Одновременно подследственный строил семейное гнездышко — дворец на одной из красивейших улиц Ростова, Пушкинской.

В конце концов 12–13 мая 1911 года Новочеркасская судебная палата рассмотрела дело Парамонова и Сурата. Палата признала подсудимых виновными по четырем статьям Уголовного уложения и приговорила Парамонова к трем, а Сурата к двум годам заключения в крепости. Однако отбывать наказание осужденным все-таки не пришлось. Парамоновские издания арестовывались время от времени по всей России, и прокуратура возбудила против него дело за распространение литературы подобного рода на основании материалов, поступивших из других городов — от Петербурга до Тифлиса. К счастью для Парамонова, он должен был быть привлечен к суду по месту нахождения центрального склада издательства, т.е. в Ростове.

«Рано или поздно правда и добро восторжествуют...»

Началось новое следствие, новые проволочки и чиновничья переписка. Новое дело составило 95 томов. Подследственным грозило более суровое наказание; однако адвокатам удалось дотянуть дело до 300-летия воцарения Романовых. Юбилей ознаменовался амнистией, и по царскому указу лица, совершившие преступления до 21 февраля 1913 года, были освобождены от наказания. Тем не менее Николай Парамонов был лишен избирательных прав.

Во время Первой мировой войны Парамоновы пожертвовали на дело обороны в общей сложности около 1 млн рублей. Тогда же Николай был полностью «реабилитирован». Произошло это при следующих забавных обстоятельствах. Во время посещения Николаем II Ростова Петр Пара-

монов был среди встречавшихся с императором. Государь, пожимая всем руки, протянул и ему. Растерявшийся купец сунул руку в боковой карман, достал оттуда заранее приготовленный банковский билет в 100 тыс. рублей и положил в руку царю. Николай посмотрел на деньги, передал их адъютанту и затем вторично протянул руку, на этот раз для рукопожатия. На следующий день в местных «Ведомостях» было опубликовано всемирно-известнейшее восстановление Николая Парамонова во всех избирательных правах. Вскоре Николай Парамонов возглавил Донской областной военно-промышленный комитет.

После Февральской революции Николай Парамонов недолгое время возглавлял городскую власть; однако теперь он казался чересчур «правым». После Октябрьского переворота, как известно, именно на Дону образовался очаг сопротивления большевикам. В Ростове и Новочеркасске формировалась генералами М.В. Алексеевым, Л.Г. Корниловым и А.И. Деникиным Добровольческая армия. Штаб ее расположился в парамоновском особняке на Пушкинской. Характерно, что Декларация Добровольческой армии была написана прибывшим на Дон лидером российских либералов П.Н. Милюковым и опубликована впервые в ростовской газете «Донская речь».

Армия остро нуждалась в деньгах; наступил момент, когда Алексеев заявил, что если к определенному сроку добровольцы не получат финансовой поддержки, то он будет вынужден их распустить. Минут за сорок до истечения срока ультиматума к зданию штаба подкатила пролетка. Из нее не спеша вышел Николай Парамонов, тащивший за собой мешок с деньгами, собранными среди ростовских предпринимателей. Любопытно, что если от московских бизнесменов Добровольческая армия получила 800 тыс. рублей, то от ростовских — 6,5 млн; да еще 2 млн — от новочеркасских.

Со ступенек парамоновского дворца начался 9 февраля 1918 года легендарный Ледяной поход Добровольческой армии. Вынужденные под натиском превосходящих сил красных оставить Ростов, добровольцы совершили с непрерывными боями переход с Дона на Кубань.

Парамонов же ушел в подполье; в то время как большевики искали его в Ростове, он, отрастив бороду и «распределив» детей среди родственников, уехал на время в Москву. Вернулся он в родные места после изгнания большевиков и прихода к власти атамана П.Н. Краснова. Однако с атаманом Парамонов не поладил. Сепаратистская риторика Краснова и его прогерманская ориентация вызывали противодействие Парамонова, избранного товарищем (заместителем) председателя Донского Войскового Круга. Председателем Круга в августе 1918 года был избран кадет В.А. Харламов, депутат всех четырех Государственных дум. Парамонов придерживался союзнической ориентации, чего не скрывал, и был даже арестован на некоторое время немецкими оккупационными властями.

Когда власть на Дону перешла в руки Добровольческой армии, Парамонов был приглашен генералом А.И. Деникиным в январе 1919 года воз-

главить Отдел пропаганды Особого совещания (фактически деникинское правительство). Дело Парамонов собирався поставить на широкую ногу: в Отделе (по сути, министерстве) пропаганды были образованы подотделы — издательский, художественный, кинематографический, агитационный, лекторский и т.д. Управляющий кинематографическим отделом В.А. Амфитеатров-Кадашев записал в дневнике впечатления о первой встрече с шефом: «энергичен, деловит, не любит даром тратить слов». Парамонов планировал строить отдел как коммерческое предприятие, а не бюрократическое учреждение.

Однако программа кадета Парамонова — привлечь к работе в Отделе демократические элементы, создать широкий антибольшевистский фронт — не встретила поддержки командования; к тому же генералы вмешивались в кадровые вопросы. Парамонова, привыкшего вести дело самостоятельно и с размахом, не устроило ни вмешательство в его компетенцию, ни скудное финансирование его ведомства. Уже в марте 1919 года он подал в отставку. Пропагандистскую войну белые, как известно, проиграли. Не было ли это их самым важным поражением?

А теперь — позволю себе немного личных воспоминаний. В 1994 году я впервые приехал в США заниматься исследованиями в Стэнфордском университете; заведующая отделом редких книг библиотеки Ростовского университета, энтузиаст-библиограф Светлана Владимировна Кошверова снабдила меня почтовым адресом Елпидифора Николаевича Парамонова, сына Н.Е. Было известно, что он живет в Лос-Анджелесе. Я отправил ему письмо; через день зазвонил телефон — Е.Н. набрал номер, даже не дочитав моего послания, и сразу же пригласил приехать. Договорились, что в Бербанке (один из аэропортов Лос-Анджелеса) он меня встретит с табличкой «Парамонов». Честно говоря, я не думал, что он будет встречать меня сам: все-таки тогда ему шел 86-й год. Увидев в аэропорту единственного по-европейски одетого человека — в брюках и рубашке, но в галстук, высокого и подтянутого, я подумал, что табличка совершенно излишня. Не желая ждать лифта, Е.Н. легко поднялся на четвертый этаж гаража, где оставил машину. Дома стол был уже накрыт: несмотря на то что 75 лет Е.Н. прожил за границей, закуски и напитки не оставляли сомнений в происхождении хозяина и его жены Людмилы Ивановны. В тот приезд Лос-Анджелеса я так и не увидел. Два дня мы провели дома — или во дворе у бассейна — за разговорами. Е.Н. расспрашивал, осталась ли арка у входа в городской сад, что теперь находится в его детской в Парамоновском дворце... Родной город он покинул 19 декабря 1919 года. Число он запомнил хорошо. Ведь в этот день ему исполнилось 10 лет.

О дальнейшей судьбе Николая Парамонова и его семьи рассказываю по материалам парамоновского семейного архива и воспоминаниям Елпидифора Николаевича (в семье его для краткости называли Фор; да и трудно предположить, что иностранцы, среди которых Е.Н. провел почти всю жизнь, были бы способны выговорить столь экзотическое имя).

«Рано или поздно правда и добро восторжествуют...»

Итак, в декабре 1919 года Парамоновы перебрались в Новороссийск; в феврале 1920 года, накануне катастрофы денikinской армии, семья Парамоновых ушла в Константинополь на собственном пароходе «Принцип». Начались эмигрантские скитания. Пароход оказался единственным, что осталось от некогда многочисленного имущества. Но ведь не увезешь с собой рудники и мельницы.

Около года Парамоновы провели в Константинополе, живя на доходы от парохода, курсировавшего по маршруту Поти — Батуми. В начале следующего, 1921 года, когда стало ясным, что надежды на скорое возвращение в Россию беспочвенны, Парамоновы перебрались в Германию. Дело в том, что еще до начала Первой мировой войны Н.Е. Парамонов перевел в Германию задатки за шахтное оборудование. В связи с начавшейся войной поставки так и не начались; теперь он рассчитывал вернуть вложенные средства. Однако и эти надежды не оправдались: то ли мнение о деловой порядчности и обязательности немцев оказалось преувеличенным, то ли война и последовавшая за ней гиперинфляция разорила германских партнеров Парамонова.

Так или иначе, надо было как-то налаживать жизнь; жизнью для Николая Парамонова было дело, предпринимательство. Сметливый казак вложил большую часть имевшихся у него средств в... пустыри, купив незастроенные участки земли в Берлине, благо что в условиях «сверхинфляции» 1920-х годов земля стоила не очень дорого. Он правильно оценил, что бурное развитие автомобильного транспорта приведет к росту потребности в гаражах, заправках и т.д., в том, что сейчас называют автосервисом. Берлин был в этом отношении почти девственным. В 1926 году завершилась постройка первого парамоновского гаража, в 1929-м — второго. При гаражах были авторемонтные мастерские и заправочные станции. Кроме того, Парамонов построил несколько многоквартирных доходных домов. Все это давало весьма неплохой и стабильный доход и обеспечивало безбедное существование всего многочисленного семейства, включая семью брата Петра (умер в 1940 году). В эмиграции их роли переменялись; если ранее большая часть парамоновского хозяйства была на Петре, то после того, как он осознал, что в Россию никогда не вернется, интерес к делам у него пропал и занимался он лишь стареньким пароходом, приписанным к одному из румынских портов.

В политической деятельности Н.Е. почти не участвовал, хотя иногда бывал на эмигрантских «мероприятиях»; так, он присутствовал на печально известной лекции в Берлине П.Н. Милюкова, во время которой двое черносотенцев пытались застрелить бывшего кадетского лидера и в результате убили В.Д. Набокова, отца знаменитого впоследствии писателя. Парамонов был среди тех, кто задержал террористов. Кстати, Парамонов был совершенно напрасно объявлен советской юстицией вдохновителем «инженеров-вредителей», осужденных в 1928 году по «Шахтинскому делу». Никаких связей с Россией у него не было.

Приход к власти нацистов в 1933 году поначалу никак не сказался на жизни Парамоновых. Н.Е. вызвали в гестапо на «беседу», интересовались

настроениями, отношением к большевизму и почему-то к украинскому вопросу. Претензий не оказалось. Сложнее было со старшим сыном, Елпидифором. Он заканчивал университет и обнаружил недюжинные способности в инженерном деле. Ему предложили остаться при кафедре для написания диссертации и последующей профессуры. Проблема заключалась в том, что в этом случае надо было принимать германское гражданство, что соответственно могло привести к службе в вермахте. Пришлось отказаться от перспективной карьеры; Елпидифор стал инженером-механиком, занялся практической инженерией. Впрочем, научный склад ума, тяга к исследовательской работе, изобретательству осталась «при нем». Впоследствии, уже в США, им были запатентованы десятки изобретений.

22 июня 1941 года раскололо эмиграцию надвое — на тех, кто связывал надежды на «освобождение» России от большевизма с Гитлером, и на тех, для кого подобный путь был неприемлем. Парамоновы, по-видимому, относились ко второй группе; во всяком случае, в отличие от своего друга Краснова (в эмиграции былая вражда забылась, Парамоновы и Красновы часто гостили друг у друга, свидетельством чему остались десятки совместных фотографий), возглавившего по предложению германского командования управление казачьих войск, Н.Е. отклонил предложение нацистов вернуться на родину и заняться «восстановлением экономики». Разумеется, с возвращением принадлежавшего ему имущества. После 1941 года «белые» эмигранты, даже отказавшиеся от сотрудничества с нацистами, преследованиям не подвергались — были лишь введены ограничения на поездки в прифронтовую зону. Елпидифор работал на одном из промышленных предприятий и, как все, считался мобилизованным — самовольный уход с предприятия карался смертной казнью.

В 1944 году Н.Е. вместе с женой, Анной Игнатьевной, перебрался в Чехословакию, в Карлсбад. В конце февраля — начале марта 1945 года, выправив себе фальшивые документы, туда же, сбежав со своего предприятия, отправился Елпидифор. В мае 1945 года Парамоновы оказались в советской зоне оккупации. Ничего хорошего им ждать не приходилось. Советская власть не собиралась прощать своих бывших противников. Начались аресты эмигрантов. Не дожидаясь своей очереди, Парамоновы (а именно жена Елпидифора Людмила Ивановна, привлекавшаяся комендантом в качестве переводчицы) получили разрешение на поездку в американскую зону (решающую роль сыграло обещание привезти несколько пар наручных часов) и, разумеется, не вернулись... И вновь семья оказалась у разбитого корыта. Парамоновские дома и гаражи были по большей части или разрушены, или остались в советской оккупационной зоне.

На этом рассказ о предпринимательской деятельности Н.Е. можно было бы закончить, если бы у издательского дела Парамонова не было неожиданного и символического эпилога. В 1946 году Николай Парамонов стал вновь издавать «книжки для народа»! Это были издания, предназначенные для десятков тысяч соотечественников, оказавшихся в лагерях для перемещенных лиц; на этих брошюрах, конечно, не было марки «Донской

«Рано или поздно правда и добро восторжествуют...»

речи»; однако внешне они удивительно напоминают своих старших «собратьев». Парамонов издавал в основном русских классиков — Лермонтова, Пушкина, Крылова, Гоголя и др. Русский шрифт был приобретен Елпидифором Николаевичем Парамоновым за банку тушенки у немецких наборщиков. Корректуру держал сам Н.Е.

Парамоновы наладили кустарное издательство, приносившее, однако, несмотря на дешевизну книжек (за которые «ди-пи» — перемещенные лица — не могли, конечно, дорого платить), небольшую прибыль. Это позволяло семье, чье имущество сгорело или осталось в восточной части Германии, сводить концы с концами. Лишь болезнь сердца вынудила 74-летнего Николая Парамонова в 1950 году отказаться от издательства. Умер он 21 июня 1951 года и похоронен на городском кладбище баварского города Байройта.

После смерти отца Елпидифор, работавший в американской администрации в Германии, уехал с семьей в США. Главной причиной скорого отъезда был страх перед советским вторжением; служащие находились в состоянии 24-часовой эвакуационной готовности; если американцы, попав в руки большевиков, по разумению Е.Н., могли рассчитывать на снисхождение, то сыну белоэмигранта, тем более Парамонова, пришлось бы туго. Надо сказать, что Парамоновы явно преувеличивали интерес советских спецслужб к их семье. Однако рассчитывать «в случае чего» на теплое отношение не приходилось.

После недолгого пребывания в Нью-Йорке Е.Н. с женой и двумя дочерьми перебрался в Калифорнию, в Лос-Анджелес. Практически с первых дней пребывания в новой стране он работал по специальности, инженером-механиком. С языком (точнее, языками — он в совершенстве владел английским и немецким) проблем не было. Как уже упоминалось, на счету Е.Н. десятки изобретений; в основном они касались усовершенствования машин, использовавшихся для производства товаров легкой и пищевой промышленности. До конца 1990-х годов Е.Н. жил с женой в собственном двухэтажном доме в Лос-Анджелесе. Одна из комнат была оборудована под рабочий кабинет. Несмотря на то что он давно вышел на пенсию и ему перевалило далеко за восемьдесят, Е.Н. регулярно получал заказы на сложную проектную работу, а также на переводы технической документации с немецкого на английский. Затем Е.Н. перебрался поближе к дочери, недалеко от Сан-Диего в той же Калифорнии.

Предпринимательский дух, присущий семье Парамоновых, так и не проснулся в Елпидифоре Николаевиче. Однако гены взяли реванш в его дочери Марине. Окончив без блеска американскую школу (сказалась, по-видимому, культурно-языковая ситуация — девочка росла в семье с русским укладом, где языком общения был русский, училась сначала в немецкой школе и, соответственно, вращалась в немецкоязычной среде, а затем оказалась в США, где не смогла сразу адаптироваться), она, начав с нуля, завела свое дело. Ей принадлежит небольшой заводик (точнее, мастерская), где производятся небольшие партии сложных деталей для

крупных предприятий. Гигантам индустрии невыгодно осваивать технологию производства этих мелкосерийных компонентов, и они предпочитают заказывать их на стороне. Для экономии Марина сама ведет бухгалтерию и делопроизводство; освоив тонкости американского налогового законодательства, энергичная бизнес-вумен открыла параллельно консалтинговую фирму, которая помогает бизнесменам и частным лицам справляться с заполнением десятков страниц налоговых деклараций и изыскивать вполне законные способы минимизировать налоги.

Стало уже банальностью завершать работы о судьбах русских эмигрантов выражением сожаления об утратах, которые понесла Россия, потерявшая целый «культурный слой». Обычно говорится о потерях в области литературы, искусства и т.д. На наш взгляд, как это ни кощунственно звучит, эти потери в известном смысле восполнимы. Хоть и поздно, но произведения Бунина или Набокова, Рахманинова или Цветаевой вернулись на родину. Возможно, что наиболее тяжелой и невосполнимой потерей было искоренение весьма тонкого слоя предпринимателей, а вместе с ними и предпринимательского духа, этики предпринимательства...

Несколько книжек, выпущенных последним парамоновским издательством, Е.Н. Парамонов передал в дар библиотеке Ростовского государственного университета, которая находится... в здании парамоновского особняка на Пушкинской. В городе остался и еще один парамоновский дом — на Малой Садовой (ныне Суворова) улице. Это старое парамоновское гнездо многие годы использовалось различными государственными учреждениями. И ни одной мемориальной доски...

АНТОН
ВЛАДИМИРОВИЧ
КАРТАШЕВ

«Мы... были
слишком Гамлетами
и не могли угнаться
за катастрофическим
ходом событий...»

Историкам русской культуры хорошо известно имя Антона Владимировича Карташева, автора непревзойденных по сей день «Очерков по истории русской церкви». Между тем Антон Владимирович был не только выдающимся ученым и религиозным мыслителем, но и известным политиком, членом Центрального комитета кадетской партии, последним обер-прокурором Святейшего синода, министром Временного правительства. Он активно участвовал в политической жизни России в переломные для страны годы революции и Гражданской войны.

Антон Владимирович Карташев родился 11 июля 1875 года в старинном горнозаводском местечке Киштьма на Урале, в семье рудокопа, бывшего крепостного крестьянина. С юных лет Карташев приобщился к религии — уже в восемь с половиной лет он был посвящен в стихарь екатеринбургским епископом Нафанаилом. В 1894 году А.В. Карташев окончил Пермскую духовную семинарию и был направлен за казенный счет в Петербургскую духовную академию. После ее окончания в 1899 году он остался в академии на кафедре истории Русской церкви. В 1905 году под влиянием революционных событий молодой доцент оставил работу в Духовной академии и перешел на светскую работу в Императорскую публичную библиотеку. С 1906 года Карташев стал преподавателем петербургских Высших женских (Бестужевских) курсов на кафедре истории религии и церкви. В то время его статьи по религиозным и церковным вопросам широко публиковались в столичных газетах и журналах.

А.В. Карташев являлся активным сторонником обновления церковной жизни, реформирования отношений между церковью и государством, сторонником свободы церкви в ее внутренних делах. Подлинную популярность Антон Владимирович снискал в качестве председателя петербургского Религиозно-философского общества, которое он возглавил в 1909 году. Его многочисленные доклады, выступления на диспутах имели большой резонанс в Петербурге. Один из основателей кадетской партии — И.В. Гессен в своих мемуарах описывает его как «блестящего оратора с симпатичным лицом и вдохновенными глазами».

А.В. Карташев горячо приветствовал Февральскую революцию и в первые же дни после падения самодержавия вступил в кадетскую партию, стал членом ее ЦК и одним из лидеров. Он входил в группу В.А. Маклакова, А.С. Изгоева, П.И. Новгородцева, которые возглавляли правое крыло партии. Лидер кадетской партии П.Н. Милюков высоко отзывался об участии Карташева в партийной деятельности: «А.В. Карташев, религиозный мыслитель, необыкновенно быстро освоившийся с чуждой ему областью политики, перенес в нее серьезность и честность стремлений, соединенную с большой наблюдательностью и правильностью понимания людей и положений».

Важнейшее направление партийной деятельности А.В. Карташева — культурно-просветительское. В 1917 году кадеты выступили инициаторами создания различных организаций интеллигенции — профессиональных, женских и прочих, стремясь через них укрепить свое влияние. Антон Владимирович играл заметную роль в литературно-общественном кружке имени Герцена, очень популярном среди петроградской интеллигенции. Весной 1917 года началось сближение А.В. Карташева с известным правым либералом П.Б. Струве. В мае 1917 года Струве создал ассоциацию, предназначенную для пропаганды русских национальных ценностей и названную Лигой русской культуры. «Впервые в русской истории, — писал Струве в манифесте Лиги, — чисто культурная проблема национальности отчетливо отделяется от политических требований и программ». Непосредственная цель Лиги заключалась в том, чтобы внедрять в сознание русской интеллигенции чувство общей национальной судьбы. Формальное учреждение Лиги состоялось 7 июня 1917 года. А.В. Карташев вошел в руководящий орган Лиги — Временный комитет (вместе с председателем IV Государственной думы М.В. Родзянко и депутатами Думы В.В. Шульгиным и Н.В. Савичем).

Кадетская партия стремилась расширить и свое влияние в провинции. Многие члены ЦК отвечали за тот или другой регион. А.В. Карташеву досталась Вологодская губерния. Он установил связи с вологодскими кадетами, неоднократно приезжал в Вологду с лекциями по религиозным и национальным вопросам. Постановлением IX съезда Конституционно-демократической партии Карташев был включен в список головных кандидатов партии на выборах в Учредительное собрание. В конце сентября 1917 года в Вологде состоялся общегубернский съезд кадетской партии с целью определить список кандидатов от партии в Учредительное собрание. «На почве взаимного доверия, — писала местная кадетская пресса, — был составлен и утвержден список кандидатов из десяти человек». Первым в списке стоял Карташев. Остальные — вологодские кадеты из различных городов губернии. Во время выборов в Учредительное собрание в ноябре 1917 года в Вологде за кадетский список проголосовало 5973 человека, что составило 37,9% от всех принявших участие в голосовании (больше, чем за любую другую политическую партию). Кадеты одержали победу и в других городах губернии, однако большинство кре-

стьянского населения проголосовало за эсеров, и ни один кадет в Учредительное собрание от Вологодской губернии не прошел.

К 1917 году Антон Владимирович уже являлся признанным религиозным мыслителем. Поэтому неудивительно, что его политическая деятельность была тесно связана прежде всего с церковными проблемами. До революции многие священники были недовольны существующим состоянием дел, считая, что абсолютная власть Святейшего синода не соответствует церковному канону, так как нарушает принцип соборности и подчиняет духовное светской власти. По мнению большинства иерархов, Церковью должен управлять не Синод, а выборный Поместный собор. Епископы также рекомендовали отменить должность обер-прокурора Святейшего синода как носителя светского господства. В целом церковные иерархи тяготели к переходу от самодержавия к соборности как основному структурному принципу православного общества.

В дни Февральской революции Святейший синод, как и все общество, охватили антимонархические настроения, что выразилось в отказе поддерживать рухнувшую монархию и в одобрении передачи вопроса о власти на усмотрение Учредительного собрания. Октябрист Владимир Николаевич Львов был назначен Временным правительством новым обер-прокурором, распустил старый Синод и сформировал новый. Львов стремился привлечь в Синод новых авторитетных деятелей, и, по настоятельному совету многих депутатов IV Государственной думы, 25 марта 1917 года А.В. Карташев был назначен товарищем обер-прокурора Святейшего синода.

Антон Владимирович развил в Синоде бурную деятельность. Он осознал необходимость церковных преобразований и изменения отношений между Церковью и государством. Он явился одним из инициаторов восстановления патриаршества в России и созыва в Москве Всероссийского поместного собора Русской православной церкви. Временное правительство с этими предложениями согласилось. 29 апреля Синод выпускает обращение к Церкви восстановить древний православный принцип выборности епископата и учреждает Предсоборный совет для подготовки Поместного собора.

Предсоборный совет духовенства и мирян приступил к делу 12 июня 1917 года. На нем выявились две противостоящие друг другу точки зрения на будущую форму церковного управления. Первая исходила из идеи полного отделения Церкви от государства и принятия синодально-соборной структуры церковного управления. Представители другой точки зрения (которую разделял и Карташев) не подвергали сомнению самый принцип отделения Церкви от государства, но одновременно стояли за то, чтобы за православием, как за церковью национальной, оставался особый статус «первой среди равных». Церковь, по их мнению, столь органически срослась с народом, его культурой и государственностью, что ее уже и невозможно оторвать от общественного организма — национального государства. Немаловажным был и вопрос о патриаршестве. Многие члены Совета считали, что патриаршество противоречит соборности, а значит, его не

следует восстанавливать. Эту идею поддерживал и В.Н. Львов. Карташев выступал за восстановление патриаршества и упразднение должности обер-прокурора. Основной принцип Карташева состоял в том, чтобы «под эгидой Временного правительства и с его помощью Русская православная церковь вернула себе присущее ей по природе право самоуправления по каноническим нормам».

25 июля 1917 года под давлением Церкви вместо Львова обер-прокурором Святейшего синода назначается Карташев. В этом качестве, а также как представитель кадетской партии он вошел в состав третьего состава Временного правительства. Новый премьер правительства А.Ф. Керенский так описывал в своих мемуарах причины назначения Карташева: «Когда я стал премьер-министром, я не просил Владимира Львова остаться в составе кабинета. В августе должен был состояться Вселенский церковный собор, которому надлежало рассмотреть новый статус самостоятельности Русской православной церкви. Это требовало от прокурора особого такта и деликатности, а также глубокого знания истории Церкви. Нам казалось, что на такой пост более подходит видный член Петербургской академии А.В. Карташев, который и получил это назначение. А Владимир Львов долгое время держал на меня зуб за, как он выразился, „отстранение“ его от деятельности по лечению Русской православной церкви от паралича, который поразил ее еще в те времена, когда Петр Великий упразднил патриаршество и провозгласил себя главой церкви».

Представляется, что реальные причины смены обер-прокурора были несколько иными. Одна из них состояла в том, что Карташев стоял за патриаршество, а Львов — против. Среди аргументов в пользу патриаршества было широко распространенное мнение, что Церкви, особенно в те Смутные времена, требуется сильное личностное начало — патриаршая власть в сочетании с соборными институтами, которые имели бы достаточно широкие prerogatives и проводили волю Церкви как единого целого.

Другая немаловажная причина заключалась в том, что Карташев был масоном, причем весьма влиятельным. Время его вступления в организацию вольных каменщиков точно не установлено, но известно, что к 1916 году он уже был одним из руководителей столичных масонов. К примеру, когда летом 1916 года состоялся последний масонский конвент в России, Антон Владимирович был одним из одиннадцати делегатов от столицы.

Как известно, масоны для реализации своих решений создавали различные ложи, число которых в период расцвета дореволюционного масонства достигало сорока двух. Только в Петербурге действовало не менее десятка лож. Карташев входил в три столичные ложи — Литературную, ложу Мережковского и ложу Верховного Совета Великого Востока народов России. Руководящим органом русского масонства являлся выборный Верховный Совет (он также работал как ложа). Накануне Февральской революции в число руководящих деятелей Верховного Совета входили А.И. Коновалов, А.Ф. Керенский, Н.В. Некрасов, А.В. Карташев, Н.Д. Соколов и А.Я. Гальперн. По словам Александра Яковлевича Гальперна, в дни

«Мы... были слишком Гамлетами и не могли угнаться за катастрофическим ходом событий...»

Февральской революции «мы все время были вместе, по каждому вопросу обменивались мнениями и сговаривались о поведении». В этом заключается одна из причин, почему А.В. Карташев, едва вступив в кадетскую партию, сразу стал членом ее ЦК. Сразу после формирования Временного правительства масоны еще не могли поставить Карташева обер-прокурором, так как кандидатура Львова была согласована думской оппозицией еще в 1915 году. Но в июле 1917 года, когда влияние Керенского усилилось, он смог без особого труда заменить Львова на Карташева.

В связи с тем что после открытия Поместного собора Церковь должна была выйти из подчинения правительству, 5 августа пост обер-прокурора был отменен, а Карташев назначен первым министром вероисповеданий в новообразованном министерстве. Временное правительство фактически признало положение Православной церкви в стране как «первой среди равных». Это было отражено в определении обязательной принадлежности министра к Православной церкви, как самого министра, так и двух его первых заместителей — по Православной церкви и по всем другим исповеданиям, имеющимся в стране. Права и функции нового министерства предстояло уточнить на основании решений Поместного собора.

15 августа 1917 года, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, в Москве открылся первый полноправный Поместный собор за 217 лет. От Временного правительства на открытии присутствовали Керенский и Карташев. 16 августа 1917 года Антон Владимирович от имени правительства приветствовал открывшийся Собор. Он зачитал написанное им обращение к Собору, которое открывалось такими словами: «Временное правительство поручило мне заявить Освященному собору, что оно гордо сознанием видеть открытие сего церковного торжества под его сенью и защитой. То, чего не могла дать Русской национальной Церкви власть старого порядка, с легкостью и радостью представляет новое правительство, обязанное насадить и укрепить в России истинную свободу». Как министр по делам вероисповеданий, Карташев заявил, что контроль министерства над Церковью будет минимальным, а также сообщил, что Временное правительство ассигновало миллион рублей на расходы по проведению Собора.

В глазах общественного мнения Карташев стал как бы одним из символов Поместного собора. О. Мандельштам посвятил ему одно из своих стихотворений той поры («Среди священников левитом молодым...»). Впечатления же самого А.В. Карташева о Соборе были далеко не лучшие. Так, в августе 1917 года на заседании ЦК кадетской партии он говорил: «Проявления Собора бледны и вялы, отдают большим провинциализмом. Мирян две трети, что вызывает общий ропот. Епископы молчат. Главным вопросом пока был: как реагировать на разруху в армии? Руководимый учеными-богословами, Собор, по-видимому, не примет резких решений и ложных шагов... Но всероссийского сознания даже в это исключительное время в Соборе не чувствуется, и кажется, что если бы его выступления были правее и ошибочнее, но искреннее, все же было бы лучше». Поли-

АНТОН
ВЛАДИМИРОВИЧ
КАРТАШЕВ

тическая борьба в Петрограде, участие в деятельности Временного правительства не дали возможности Карташеву принять активное участие в работе Собора — все основные решения принимались без него.

В конце июля 1917 года А.В. Карташев становится членом Временного правительства и по мере сил старается влиять на его политику. 12–15 августа в Москве состоялось Государственное совещание, созванное Временным правительством «ввиду исключительных переживаемых событий и в целях единения государственной власти со всеми организованными силами страны». Временное правительство надеялось с помощью совещания укрепить свое положение. А.В. Карташев участвовал в совещании в качестве члена правительства. Он внимательно наблюдал за происходящим и на заседании ЦК кадетской партии 20 августа 1917 года высказал свое мнение: «На этом совещании вся нация в лице ее политических и общественных групп совершенно обнажилась и получилась какая-то государственная достоещина. Каждая группа, пытаясь себя оправдать и выяснить свое поведение, старалась показать все заключавшиеся в ней возможности, и все увидели впервые наглядно весь предел этих возможностей... Правительство проявило государственную гамлетовщину, абсолютную неспособность к действиям, вытекающую из какой-то анархической теории власти... Государственная власть добросовестно реагирует на все совершающееся, но сама в собрание ничего не вкладывает и держит все в оцепенении. Все партии в совещании проявили также добродетели, но ждали, что кто-то придет и спаяет всех в общем движении. Сделать это должна была власть, но власть была только регистратором... До сих пор в лечении всех государственных болезней власть применяла только методы терапии, а когда их оказалось недостаточно, она новых путей не искала... в результате в стране начинается распад, так как страна не получила от власти ответа на свои вопросы и требования. В войске идет распад, проявляются рабские и бунтовские инстинкты. То же и везде, и мы загниваем на корню».

А.В. Карташев, как и другие кадеты, с тревогой наблюдал за ростом большевистских настроений в стране, за нарастанием политического хаоса и анархии. Неудивительно, что на том же заседании ЦК кадеты обсуждали вопрос о возможном установлении временной военной диктатуры. Карташев говорил: «Скоро власть возьмет тот, кто не побоится стать жестоким и грубым. И Партия Народной Свободы скоро будет не в состоянии делать то, что надо для спасения страны. Грустный вывод таков: мы переидеальничали, были слишком Гамлетами и не могли угнаться за катастрофическим ходом событий. Получается рабское тяготение страны к будущей диктаторской власти... Только старые боевые генералы сейчас и могут еще справиться с развалом».

В отечественной литературе получила распространение точка зрения, согласно которой руководство кадетской партии самым прямым и непосредственным образом принимало участие в организации корниловского выступления. Утверждается, в частности, что именно через Карташева осуществлялась связь генерала Л.Г. Корнилова с духовенством, а самому

«Мы... были слишком Гамлетами и не могли угнаться за катастрофическим ходом событий...»

Карташеву предназначался портфель министра исповеданий в корниловском правительстве. Однако, на наш взгляд, версия об активном участии кадетов в заговоре Корнилова не находит серьезных подтверждений.

Наиболее серьезное обвинение в адрес кадетов — это их выход из состава Временного правительства в дни мятежа. Еще 22 августа 1917 года приехавший из ставки В.Н. Львов от имени Корнилова передал министрам-кадетам записку с просьбой к 27 августа выйти из состава кабинета, «чтобы поставить этим Временное правительство в затруднительное положение и самим избежать неприятностей». Корнилов, как известно, не рассчитывал на противодействие Керенского. Вот как известный историк Н.Г. Думова трактует роль кадетов в этой ситуации: «В самый день корниловского выступления организовать министерский кризис, чтобы дать Корнилову возможность, не свергая правительство, сформировать его состав по собственному усмотрению заговорщиков и тем самым поставить страну перед фактом наличия новой законной власти, преемственность которой воплотится в лице Керенского, — вот тот реальный, осязаемый вклад, какой обязывались внести кадеты в общее контрреволюционное дело».

Однако в реальной жизни получилось совсем по-другому. 26 августа 1917 года В.Н. Львов передал А.Ф. Керенскому требования Л.Г. Корнилова: вручить ему всю полноту военной и гражданской власти, уволить в отставку всех министров и в ночь на 27 августа выехать в Ставку. В ответ Керенский на закрытом заседании правительства вечером 26 августа объявил об «измене Корнилова» и потребовал предоставления ему ввиду чрезвычайной обстановки всей полноты власти. С этой целью он предложил «преобразование правительства», суть которого состояла в требовании Керенского всем уйти в отставку. Конечно, большинство министров не могла не смутить похожесть требований генерала Корнилова и требований самого Керенского об отставке министров. С категорическими возражениями против подобного требования выступил государственный контролер кадет Ф.Ф. Кокошкин. «Я первым взял слово, — рассказывал Кокошкин, — и заявил, что для меня не представляется возможным оставаться в составе Временного правительства при диктаторском характере власти его председателя. Если такой характер этой власти будет признан в данный момент необходимым, дальнейшее пребывание в составе правительства окажется, безусловно, для меня невозможным». После этого заявили об отставке и все другие члены правительства, включая Карташева. Разница лишь в том, что министры-кадеты заявили, что они уходят в отставку, не предпреляя вопроса о своем будущем участии во Временном правительстве. А министры-социалисты, заявляя о своей отставке, сказали, что предоставляют себя в полное распоряжение Керенского.

Очевидно, что кадеты придали своей отставке характер политической демонстрации, но вряд ли это можно рассматривать как результат некоего сговора с Корниловым. На наш взгляд, все было гораздо проще. Кадеты были бессильны что-либо сделать в данном случае. Выступить против Корнилова они не могли, поскольку во многом сочувствовали его идеям.

Но и активно поддержать Корнилова они тоже не могли: это противоречило демократическим установкам партийной программы и, кроме того, шло вразрез с настроениями многих партийных комитетов.

Было очевидно, что за Корниловым стояли политические силы гораздо правее кадетов, и либералы, включая Милюкова, об этом знали. Например, в первом списке членов корниловского правительства кадетов не было вообще, а во втором они хотя и были представлены, но очень скромно и на очень скромных постах. Кадеты не могли поддержать Корнилова и ввиду непопулярности его политики в широких массах. Материалы заседания кадетского ЦК от 20 августа 1917 года абсолютно точно свидетельствуют об этом: о том, что «идет к расстрелу», что «слова бессильны», что «в перспективе уже показывается диктатор», что «партия остается не у дел». Во многом общую позицию сформулировал тогда А.И. Шингарев: «Если бы даже диктатура после кровавых расстрелов захотела опереться на умеренные слои и обратилась к кадетам с предложением спасти отечество, в каком положении очутилась бы партия, принявши эту историческую миссию? Если бы ей и удалось спасти отечество, происхождение ее власти надолго было бы для нее политическим самоубийством...» Что оставалось делать кадетам в такой ситуации? Только одно — уйти в отставку из правительства и во имя собственных интересов попытаться уговорить Корнилова пойти на компромисс с Керенским. Это они и пытались сделать в последние дни августа 1917 года...

Провал корниловского выступления нанес сильный удар кадетской партии — ее руководство в глазах общественного мнения все-таки оказалось скомпрометировано участием в заговоре. Однако кадеты не оставляли надежды на восстановление порядка в стране путем укрепления существующего строя. А.В. Карташев принял активное участие в состоявшемся 22 сентября в Зимнем дворце под председательством Керенского совещании Временного правительства, представителей Демократического совещания, московских общественных деятелей и некоторых членов ЦК кадетской партии, на котором обсуждался вопрос об организации власти. В результате интенсивных политических переговоров было сформировано третье коалиционное Временное правительство, в которое в числе пяти представителей кадетской партии вошел и Карташев, сохранив за собой пост министра исповеданий. Видимо, немаловажную роль в факте вхождения Карташева в новый кабинет опять сыграло его масонство, и это ставит под еще большее сомнение версию об участии Карташева в заговоре Корнилова. Представляется крайне маловероятным, чтобы Керенский согласился на участие Карташева в правительстве, если бы тот действительно был связан с Корниловым. Стоит добавить, что в эмиграции А.Ф. Керенский потратил немало сил и времени, чтобы выяснить всю подноготную корниловского выступления. При этом он не нашел ни одного факта, который указывал бы на участие Карташева в заговоре.

В правительстве А.В. Карташев занимался в основном идеологическими и церковными вопросами. Он пытался внести в идеологию правитель-

«Мы... были слишком Гамлетами и не могли угнаться за катастрофическим ходом событий...»

ства патриотические нотки. В те тревожные дни для поддержки падающей власти и противодействия зреющему большевистскому перевороту кадетское руководство организовало ежедневные совещания членов ЦК с министрами-кадетами А.В. Карташевым, А.И. Коноваловым, Н.М. Кишкиным, С.Н. Третьяковым. Совещания проходили в шестом часу дня в квартире А.Г. Хрущева на Адмиралтейской набережной. По воспоминаниям В.Д. Набокова, «цель этих совещаний заключалась в том, чтобы, во-первых, держать министров в постоянном контакте с Центральным Комитетом и, с другой стороны, иметь постоянное и правильное осведомление обо всем, происходящем в правительстве». Однако остановить надвигающийся большевистский переворот кадеты были не в силах.

Когда осенью 1917 года министра Карташева спрашивали, что он будет делать по окончании срока своих полномочий, Антон Владимирович отвечал: «Меня ждет келья в монастыре». Однако революционная обстановка не располагала к уединению в монашеской обители. Угроза взятия власти большевиками становилась все реальнее, и Карташев, как мог, пытался этому противодействовать. На заседаниях правительства он говорил о необходимости решительных мер против большевиков, но реальных сил у Временного правительства не было. 25 октября 1917 года, когда судьба правительства уже была решена, А.В. Карташев, П.Н. Малянтович, С.Л. Маслов и К.А. Гвоздев составили последнее воззвание правительства к населению. «Оно разъясняло, — писал в своих воспоминаниях Малянтович, — положение вещей и призывало население к защите государственного порядка и законного всенародного правительства, которое может сдать свои полномочия только Учредительному собранию, против выступления большевиков, имеющего очевидной целью насильственно захватить верховную власть вопреки воле народа и в нарушение суверенных прав Учредительного собрания». А.В. Карташева арестовали вместе с другими членами Временного правительства в ночь с 25 на 26 октября 1917 года в Зимнем дворце и отправили в Петропавловскую крепость.

А.В. Карташев пробыл в заключении три месяца, а после освобождения в конце января 1918 года включился в активную борьбу с большевиками. Он перебрался в Москву, перешел на нелегальное положение, став одним из организаторов антисоветского подполья. Весной 1918 года по инициативе группы кадетов возник «Правый центр», объединивший все правые антисоветские группировки. Карташев стал одним из лидеров «Правого центра». В июне часть кадетов вышла из «Правого центра» из-за его пронемецкой ориентации и организовала другую подпольную организацию — «Национальный центр». «Национальный центр», призванный объединить всю антибольшевистскую общественность, стал боевым штабом кадетской партии в годы Гражданской войны — через него осуществлялась связь партии с Белым движением и представителями Антанты. «Была полная конспирация, — вспоминал впоследствии Н. Астров. — Собирались тайно, в маленьких квартирах, максимально человек десять-двадцать». Постепенно организация росла, пополнялась новыми членами, станови-

АНТОН
ВЛАДИМИРОВИЧ
КАРТАШЕВ

лась более широкой и разветвленной. В Сибирь «Национальный центр» командировал члена кадетского ЦК В.Н. Пепеляева, которому предстояло сыграть одну из главных ролей в колчаковской эпопее. Туда же предполагалось послать и Карташева, но «не хватило техники», чтобы организовать эту поездку. Зная дальнейшую судьбу В.Н. Пепеляева, расстрелянного вместе с А.В. Колчаком, стоит признать, что «технические неполадки» спасли жизнь будущему историку русской Церкви.

В ночь на новый, 1919, год Карташев переправился в Финляндию, чтобы оттуда через Прибалтику перебраться на Юг, к А.И. Деникину. Однако после встреч и бесед с П.Б. Струве Антон Владимирович изменил свое решение и включился в активную работу по объединению русских антибольшевистских сил в Финляндии для организации похода на Петроград. 14 января 1919 года Струве вместе с Карташевым провели в Выборге съезд русских торгово-промышленных деятелей, на котором присутствовало 200 человек. На съезде был создан Русский политический комитет (известен также как Национальный русский комитет) во главе с Карташевым, получившим официальный пост «главноуполномоченного северо-западной границы России». Особо важными делами комитета ведал генерал Н.Н. Юденич, в его руках было и военное управление.

С помощью своих единомышленников в Париже и Сибири Карташев активно поддерживал кандидатуру Юденича на пост главнокомандующего Северо-Западной армией. В письмах Колчаку и Пепеляеву он подчеркивал, что «по совести и убеждению, всеми средствами содействовал созданию авторитета генерала Юденича». Карташев призывал оказать Юденичу материальную поддержку и признать его юридически. Наша политическая линия, писал Антон Владимирович, сводится, «в общем, к самоутверждению здешней внешней организации, возглавляемой Юденичем, и к созданию обстановки, логическим выводом из которой будет быстрое освобождение Петрограда и всей Северной области».

При генерале Юдениче был организован Политический центр во главе с Карташевым. В него входил также известный член ЦК кадетской партии И.В. Гессен. В мае 1919 года Политический центр был преобразован в Политическое совещание. В компетенцию Совещания входили вопросы, связанные с изысканием денежных средств и их распределением, снабжением и снаряжением войск, заготовкой продовольствия и предметов первой необходимости. Кроме чисто хозяйственных вопросов, Совещание претендовало на решение политических проблем. Объясняя необходимость создания нового органа власти, А.В. Карташев в письме В.Н. Пепеляеву писал: «Первейшая задача Политического совещания — это быть представительным органом, берущим на себя государственную ответственность в необходимых переговорах с Финляндией, Эстонией и прочими малыми державами. Без таких ответственных переговоров и договоров невозможна никакая кооперация наша с ними против большевиков. Второй задачей совещания является роль зачаточного и временного правительства для Северо-Западной области».

«Мы... были слишком Гамлетами и не могли угадать за катастрофическим ходом событий...»

В состав Совещания Н.Н. Юденич назначил пять человек. Карташев возглавил сношения с иностранными и антибольшевистскими правительствами. Он занимался также вопросами религии и благотворительности. Впоследствии его избрали заместителем председателя Совещания, а еще позже в его ведение перешли печать, информация и агитация. Деятельность Карташева на этом посту современники оценивали довольно критически. Известный участник Белого движения на Северо-Западе России В.Л. Горн так характеризовал Карташева: «Хитрый, неискренний, он старался каждого покорить своей почти неземной кротостью и елейностью. На вид святоша, он великолепно умел ковать козни за спиной ближайших своих политических противников, но вовсе оказывался никуда не годным, когда приходилось делать практическую политическую работу, разбираться в запросах дня или хотя бы удовлетворительно организовать порученную ему функцию — агитации и пропаганды. По общеполитическим вопросам Карташев вел какую-то двойную линию, и часто чрезвычайно было трудно разглядеть его подлинное политическое лицо».

Историк А.В. Смолин, подробно исследовавший Белое движение на Северо-Западе России, отмечал, что лицемерие Карташева ярко просматривалось в его отношениях с Юденичем. Крайне обходительный при личных контактах, он за глаза дал ему кличку «кирпич». В одном из писем к Колчаку Карташев писал о генерале как о человеке слабом, нерешительном, безвольном, неосведомленном, чуждом интересам армии. Но в письмах к самому Юденичу нет даже намека на критику его действий. В годы Гражданской войны кадетская партия эволюционировала резко вправо. Не был исключением и Карташев. В своих взглядах он проделал путь от христиански окрашенного либерализма к православно-монархическим убеждениям. На встрече в Ревеле 6 июня 1919 года с представителями русской общественности Антон Владимирович заявил: «Мы уже не те кадеты, которые раз выпустили власть; мы теперь сумеем быть жестокими».

В августе 1919 года наступление Юденича на Петроград было остановлено. Тогда англичане потребовали замены слишком откровенной диктатуры Юденича новым демократическим правительством. 10 августа 1919 года большинство членов Политического совещания были вызваны в Ревель в английскую военную миссию, где их ждали представители Антанты. Английский бригадный генерал Марш сказал короткую речь. Русские, сказал он, любят много говорить и ссориться; наступило время кончать разговоры и действовать. Марш вручил приглашенным составленный заранее список будущего кабинета и дал им срок — сорок минут — на то, чтобы, не выходя из комнаты, сформировать правительство. В противном случае, заявил он, «мы вас будем бросать». Правительство должно было быть коалиционным — с участием эсеров и меньшевиков. А.В. Карташев, который своими руками создавал диктатуру Юденича, считал, что «устраивать власть на основах партийной коалиции в период анархии и революции — это государственное преступление». Поэтому он отказался войти в состав созданного англичанами кабинета.

В Финляндии Карташев организовал «Отделение русского национально-государственного объединения (блока) для Северо-Западного фронта». Программа блока сводилась к непримиримой борьбе с большевизмом, признанию военной диктатуры как единственного пути восстановления порядка до Учредительного собрания. Финляндия готова была помогать белой армии Юденича, но лишь при условии, что она получит полную гарантию политической и экономической независимости в будущем. Кадеты из окружения Юденича считали, что такую гарантию дать необходимо, но шли на это как на большую и несправедливую жертву. Карташев писал Пепеляеву, что купить помощь Финляндии «можно будет лишь ценой невероятно тяжелых уступок, мучительных для национального сознания и нашей совести. И в этом для нас заключается необычайный драматизм нашего положения. С одной стороны, избавление Петрограда и Севера, с другой — ужас согласия на дневной грабеж самых коренных прав России». Но выхода не было, и осенью 1919 года А.В. Карташев и его коллега по антибольшевистской борьбе В.Д. Кузьмин-Караваев опубликовали в Гельсингфорсе заявление, что не сомневаются в благоприятном решении финского вопроса Учредительным собранием.

После провала Белого движения на Северо-Западе России Карташев перебрался в Крым к генералу П.Н. Врангелю. Соратник Карташева, П.Б. Струве, был начальником управления иностранных дел при Врангеле. Однако Врангель не хотел официально опираться на кадетов, и большинство из них оставались в Крыму как частные лица, не занимая официальных постов. Сам Карташев заведовал отделом просвещения и исповеданий в Южно-Русском правительстве Врангеля.

В ноябре 1920 года после крымской катастрофы армии Врангеля А.В. Карташев уехал в Париж. Он принял активное участие в работе кадетской партии в эмиграции, участвовал в различных совещаниях, проводимых вождями антибольшевизма в Париже и Белграде, восстановил прежние масонские связи. В январе 1921 года в Париже русские масоны создали благотворительный комитет «Добрый Самаритянин». Деятельность комитета не ограничивалась исключительно масонством, но одновременно являлась «прикрытием» для Предварительного комитета по разработке плана учреждения русских лож в Париже. Одним из вице-президентов комитета был соратник Карташева по Политическому центру Е.И. Кедрин. Неудивительно, что Карташев стал и одним из вдохновителей и руководителей Комитета помощи русским писателям и ученым во Франции. Созданный по инициативе масонов комитет уже в середине 1920-х годов превратился во влиятельную общественную организацию, деятельность которой выходила далеко за рамки братства вольных каменщиков.

После поражения армии Врангеля за рубежом стали предприниматься попытки организовать русскую эмиграцию. Активную деятельность в этом направлении развернул известный общественный деятель В.Л. Бурцев. Под эгидой газеты «Общее дело» он учредил организационный комитет по подготовке представительного национального съезда русской

«Мы... были слишком Гамлетами и не могли угнаться за катастрофическим ходом событий...»

диаспоры. А.В. Карташев активно помогал Бурцеву в подготовке съезда. Существенную роль сыграли и масонские круги. Так, членами организационного комитета были видные масонские идеологи В.Д. Кузьмин-Караваев (соратник Карташева по Политическому совещанию при Юдениче), Ю.Ф. Семенов, Д.С. Пасманик и др. По словам Карташева, организаторы съезда сторонились как левых течений в эмиграции (поскольку не ждали от советского режима никакой спонтанной эволюции), так и правых, ибо не желали предвосхищать форму правления, которая должна будет утвердиться после краха большевизма. Их взгляды представляли собой сочетание «непримиренчества» и «непредрешенства».

Национальный съезд русской эмиграции открылся 5 июня 1921 года в Париже. А.В. Карташев являлся председателем президиума съезда. Из различных политических течений наиболее широко была представлена кадетская партия под политическим руководством правого кадета В.Д. Набокова. Идейным лидером съезда был П.Б. Струве. Открывая съезд, А.В. Карташев заявил, что его целью является сплочение всех антибольшевистских организаций и партий и создание органа, который сможет выступать от имени подлинной России, отстаивать ее интересы и честь, а также координировать борьбу с коммунистическим режимом. Антон Владимирович говорил, что воля русского народа во время революции была «больная воля», воля нездорового народа. Поэтому необходимо перевести эту волю из патологического в культурное состояние, и это благая цель для эмиграции. Участники съезда обсуждали различные аспекты жизни в Советской России и проблемы, с которыми страна может столкнуться в будущем. Большинство выступавших высказывали конституционные и демократические идеи, но было и немало ораторов консервативно-монархического толка. В принятых резолюциях съезд высказался в пользу конституционной монархии, гарантирующей равные права всем гражданам.

Важнейшим практическим достижением съезда стало образование Национального комитета, который позже выполнял функции главного исполнительного органа несоциалистической и немонархической части эмиграции. А.В. Карташев стал председателем Национального комитета из семидесяти четырех человек, в котором объединились правые кадеты во главе с В.Д. Набоковым, некоторые социалисты, беспартийные центристы и представители консервативно-монархической эмиграции. Среди членов комитета были такие известные деятели культуры, как Бунин и Куприн. Главной целью комитет ставил продолжение борьбы против Советской республики всеми способами, и прежде всего вооруженным путем. Платформа Национального комитета подверглась критике за расплывчатость как слева, так и справа. Так, П.Н. Милоков говорил, что если бы деятелям из Национального комитета удалось захватить власть, то у народа было бы еще меньше свободы, чем при Николае II. Несмотря на большую известность, существенной роли в политике Национальный комитет не сыграл.

В те годы А.В. Карташев не раз высказывался о задачах кадетской партии. Так, на заседании Белградской группы Партии народной свободы 5 сентября 1921 года он говорил: «Крестьянская масса находится в догосударственном состоянии; это обросшая травой болотная кочка, которая во всякий момент может предать. Маятник еще не остановился на левой точке. Маятник еще долго будет качаться. Как справиться с этой стихией? Нужно усвоить органические импульсы стихии. Затем появятся другие волны, националистические, и явятся другие демагоги, не нашего типа. Нам придется бороться и с этой стихией. Те, кто разбивал святыни, будут заставлять им кланяться. Мы стоим на границе необходимости выработать то, что соответствует народным требованиям. Мы должны идти не враждебно, с органическим мировоззрением, мы должны создавать национальное государство на принципах: национальность и собственность».

В эмиграции А.В. Карташев принимал активное участие в полемической борьбе и различного рода дискуссиях. Некоторые эмигрантские круги стали обвинять Русскую православную церковь и ее видных представителей в антисемитизме. А.В. Карташев на страницах «Еврейской трибуны» выступил в защиту русской Церкви. Он писал: «Церкви всегда были глубоким культурообразующим фактором в чеканке национальных типов и государственных организмов... Русская церковь никогда не была антисемитской».

После поражения Белого движения в кадетской партии выявились различные точки зрения на тактическую линию партии. П.Н. Милюков предложил «новую тактику», суть которой заключалась в отказе от вооруженной борьбы с советской властью в надежде на разложение большевизма изнутри. Милюков предлагал строить единый антибольшевистский фронт на основе соглашения с эсерами. А.В. Карташев «новую тактику» не принял. Например, на заседании парижской группы кадетской партии 3 ноября 1921 года он говорил: «Надо признать, что без вооруженной борьбы большевиков не выгнать. Надо вернуться к этой идеологии. Что касается эмиграции, то это все же единственная свободная сила. Ее ждут в России. Россия только и бредит об интервенции, там только на нее вся надежда».

Подобные идеи в начале 1920-х годов уже не соответствовали изменившейся обстановке и взглядам многих эмигрантов. Так, в воспоминаниях Д. Мейснера говорится о том, как воспринимались идеи продолжения вооруженной борьбы: «До сих пор помню, как я был ошарашен, когда, приехав в Софию, на большом политическом собрании услышал доклад одного из руководителей правого крыла кадетов А.В. Карташева, говорившего сказки и небылицы о Белом движении. У Карташева была все та же линия — продолжающегося „кубанского похода“. Этот ученый человек говорил перед тысячной аудиторией внимательно слушавших русских беженцев, растерянных, дезориентированных, несчастных, ищущих объяснения случившейся катастрофе. Карташев ораторствовал, закрыв глаза, в данном случае в прямом смысле этого слова — такова была его манера публично выступать. Но глаза его были крепко сомкнуты и в переносном

«Мы... были слишком Гамлетами и не могли угадать за катастрофическим ходом событий...»

смысле, иначе он не мог бы так беззастенчиво искажать истину. Карташев говорил о долге политических руководителей эмиграции поддержать своим авторитетом белую армию, потерявшую после своего поражения всякое значение. Он хотел быть одним из ее идеологов. Таким было содержание этого выступления, поразившего меня тогда полной оторванностью от действительности и элементарной правды...»

К середине 1920-х годов А.В. Карташев понял, что продолжать вооруженную борьбу с большевиками бесперспективно. Он объяснял это тем, что «психика масс выше механической силы оружия», что хотя воля народа «преступная, грешная», но это «реальная и решающая политическая сила». Карташев считал, что «народ бы проделал большевистскую революцию даже без Ленина и большевиков — был бы тогда только на месте их Махно или еще кто-нибудь». Именно поэтому Белое движение не смогло победить, и до тех пор, пока не изменится эта воля народа, демократия не сможет победить. Поэтому он призывал отбросить идеи «реставраторства силой». «Просто кулак — это ничто, — говорил он. — Без творческой силы нечего братья за борьбу с большевизмом. Славный ход Белого движения бесславно замрет в песках эмиграции; бесплодно погибнут доблести генерала Кутепова, таланты генерала Врангеля, бескорыстные благородство и мудрость великого князя Николая Николаевича, если короста реставраторства не будет отброшена ими... Россия может быть только демократией по существу». А.В. Карташев неоднократно подчеркивал: «Мы за освобождение воли народа и за свободное устройство России по воле народной».

В то же время даже через много лет после окончания Гражданской войны А.В. Карташев призывал к непримиримой борьбе с большевизмом. В 1949 году, когда советский строй уже существенно изменился и многие русские эмигранты стали относиться к СССР совсем по-другому, он писал, что «большевизм не просто политическая партия, течение, — это тонкое духовное явление. Это „растление совести“, и рано или поздно выздоравливающий народ следует всячески лечить демократией от этого растления духа». Большое значение в процессе выздоровления народа Карташев отводил Русской православной церкви, имея в виду ее традиционное стремление (в лучших проявлениях) к исполнению евангельских идеалов, к принципам справедливости, добра, соборности.

В середине 1920-х годов Антон Владимирович постепенно отходит от политики и все больше занимается научной и церковной деятельностью. Он становится членом епархиального совета Русского экзархата Вселенского престола, участвует в съездах Русского студенческого христианского движения (РСХД), является одним из основателей Свято-Сергиевского богословского института в Париже. Но подлинную известность ему принесли блестящие работы по истории Церкви. Многогранная научная деятельность А.В. Карташева со временем полностью заслонила его политическую роль, и он стал совершенно справедливо восприниматься прежде всего как выдающийся ученый. Скончался А.В. Карташев в Париже 10 сентября 1960 года.

СЕМЕН
ОСИПОВИЧ
ПОРТУГЕЙС

«Русская история
изгрызет до дыр свое
временное большевистское
вместилище...»

Семен Осипович Португейс (наиболее известные литературно-политические псевдонимы — Ст. Иванович и В.И. Талин) родился в 1880 году в бедной многодетной семье ремесленника-еврея в Кишиневе — городе, который был традиционным местом ссылки подозрительных и неблагонадежных. «Снизу вверх, — писал один из биографов Португейса Б. Николаевский, — он выбился тем путем, который едва ли не один оставался открытым для талантливой молодежи этого слоя: через участие в революционном движении...»

Уже в юные годы Семен Португейс попадает в политический кружок одного из наиболее образованных марксистов Д.Б. Гольдендаха, ставшего впоследствии известным под именем Рязанов. С того времени и сам Португейс сменил немало имен и псевдонимов (Соломонов, Мартын Малый, Ст. Иванович, В.И. Талин), в круговороте которых запутались не только тогдашние чины сыска и надзора, но и менее искушенные позднейшие историки и библиографы, так и не сумевшие в полной мере соединить все эти многочисленные «лики» в лице одного человека.

Между тем Николаевский был не вполне прав, абсолютизируя фатальность ухода юного Португейса в революцию. У способной молодежи того слоя, из которого он происходил, все-таки оставалась еще одна возможность закрепиться в жизни — путь медленного и кропотливого профессионального роста в своей ближайшей бытовой и этнокультурной среде, менее зависимой от ограничений «черты оседлости». К слову сказать, сама эта тема — соотношение медленной культурной работы, «эволюции быта» и насильственной «ломки истории» — станет впоследствии одной из главных в политологических сочинениях Португейса-Талина-Ивановича.

В 1901 году 20-летним юношей он первый раз едет в Германию и поступает в техникум в Мангейме; в 1902-м переезжает в Мюнхен, где оканчивает еще и школу пивоваров. Казалось, выбор однозначно сделан в пользу «быта». Однако Европа не только давала прочную специальность, но и невероятно расширяла кругозор, а значит, и круг запросов. Известный меньшевик Г. Аронсон на собственном опыте знал, о чем писал, когда в некрологе на смерть С. Португейса в 1944 году заметил: «Заграница тог-

да на свой лад перекраивала планы и судьбу рвущейся к лучшей жизни русской молодежи. То, что было заложено в кружке Рязанова, возшло в Мюнхене». Парадоксальным образом выбор в пользу Европы, культуры и просвещения все-таки оказывается выбором в пользу революции. Спровоцированные властями кишиневские еврейские погромы закрепляют эту ориентацию — Семен Португейс с головой уходит в социал-демократическую работу.

Его первые литературные опыты состоялись в «Южном обозрении», которое редактировал А.С. Изгоев (Ланде), будущий член кадетского ЦК, один из авторов знаменитых сборников «Вехи» и «Из глубины», а в те годы — еще марксист и умеренный социал-демократ. В 1904 году после очередного обыска Португейс бежит в Женеву, где под псевдонимом Соломонов публикует в «Искре» ряд статей-корреспонденций из Одессы. Он — активный участник всех швейцарских эмигрантских дискуссий, где обращает на себя внимание социал-демократических вождей, каждый из которых пытается перетянуть талантливого оратора и публициста в свой лагерь — не только фракционный, но, как принято в этой среде, и клановый. Ю. Мартов предлагает писать популярную брошюру для «Искры»; Л. Троцкий уговаривает ехать в Мюнхен. Однако предчувствия скорых событий на родине тянут Португейса назад, в российские революционные центры.

В бурном 1905 году его арестовали и выслали в родной Кишинев, откуда он переехал в Одессу. Здесь он — популярный оратор в студенческих аудиториях и на площадях. Имя Мартына Малого приобретает известность в кругах политизированной молодежи. Тогда же с группой друзей (среди них — будущий известный большевик С.И. Гусев) Португейс захватывает контроль над маленькой одесской газетой и делает ее «рабочей». Название остается прежним — «Коммерческая Россия»; девиз меняется: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Бывшая заштатная газетка становится первой легальной рабочей газетой в России; тогда же у редактора появляется псевдоним Степан Иванович — в память безвременно ушедшего Степана Ивановича Радченко, одного из основателей РСДРП.

Б. Николаевский верно замечает: «Семен Осипович, несомненно, был прирожденным писателем, принадлежал к числу тех людей, которые, говоря словами Михайловского, лучше всего думают, если в руках имеется перо для занесения этих дум на бумагу». Поверив в свое литературное призвание, Португейс-Иванович переезжает в Петербург, где активно сотрудничает в меньшевистских и непартийных газетах, толстых журналах и сборниках: «День», «Современный Мир», «Образование», «Литературный распад», «Вершины». В 1906 году начинает печататься в газете «Современное слово» (согласно сложной типологии Г. Аронсона, «непартийно-левокадетской с заметным социалистическим уклоном»), где за ним закрепляется слава одного из лучших русских политических фельетонистов. Главная тема статей Португейса в 1907–1914 годах — судьба демократической интеллигенции в эпоху побеждающего бюрократического капитализма. Революционный спад, по его мнению, требует отказа от ста-

рых, сектантско-заговорщических привычек и иллюзий интеллигентского разночинства и начала кропотливой культурно-просветительской работы «новых интеллектуалов».

С началом Мировой войны С. Португейс занимает позицию революционного оборончества, редактирует газету «День», где продолжает работать и после октябрьского переворота. Однако после ужесточения большевистских репрессий он покидает Петроград и пробирается в Киев, затем в Одессу, где находится во время Гражданской войны, не выходя из меньшевистской партии, но и не участвуя активно в политике. Перед ним возникает новая дилемма: оставить Россию или «перетерпеть» новую власть, которая, как тогда казалось, не могла продержаться долго.

Некоторое время Португейс, не приемлющий большевизм скорее эстетически (страдающий, как он сам признавался, более всего от «пошлости большевистского иллюзиона»), пытается найти компромисс с режимом, работая в области статистики — излюбленной большевиками сфере «учета и контроля». Он служит начальником учетно-статистического отдела губернского продовольственного комитета, где составлялись и постоянно переделялись списки лиц, получающих продовольственные пайки («пай-граждан», по определению самого Португейса). Позднее он опишет эту претендующую на строгость и рациональность распределительную систему как «тотальный хаос», кое-как регулируемый лишь столь же «тотальным враньем», — причем как со стороны блага раздающих, так и их получающих: «Все это „регулирование“ — одна сплошная чепуха; никто ничего не знает и ни о чем представления не имеет, и если все это не взрывается и не взлетает на воздух, то только потому, что установилось какое-то равновесие всестороннего обмана, когда уже никто сам не знает, когда он врет, когда правду говорит и чем собственно правда отличается от самого гнусного вранья и очковитательства».

Португейс, по существу, первым из исследователей нарождающегося «советского порядка» склоняется к оценке большевизма не как реализации утопии тотальной социальной регламентации (большинство наблюдателей пошли именно по этому банальному пути), но как внутренне противоречивого общества, чья относительная стабильность основана не только на репрессиях, но и на «равновесии всестороннего обмана». Личный опыт переживания и осмысления большевизма «изнутри системы» стал впоследствии прочной основой и своеобразным камертоном многочисленных научно-публицистических работ Португейса, свидетельствующих о поступательной эволюции его воззрений от социализма к либерализму, что впоследствии сделало его любимым автором эмигрантской леволиберальной печати.

В 1921 году С. Португейс решается-таки бежать из большевистской России. С помощью контрабандистов он нелегально перебирается в Бессарабию, приезжает в Берлин, а затем в Париж, где печатает памфлет «Сумерки русской социал-демократии». Здесь, в противовес консервативно-монархической версии о «вине социализма перед Россией», но и вопреки официально-меньшевистской позиции о якобы «непричастности социа-

«Русская история изгрызет до дыр свое временное большевистское вмешательство...»

лизма к большевизму», он пишет о большевизме как об «острой болезни социализма», явившейся закономерным результатом его постепенного теоретического и политического «помрачения». Эта позиция делает Португейса изгоем в лагере официального меньшевизма, но, с другой стороны, приемлемым, а подчас и желанным автором в умеренно центристских изданиях русской эмиграции. Начинается его плодотворная работа одновременно и как партийно-диссидентского публициста, и как независимого и оригинального социального теоретика. Очень немногим в эмиграции удалось успешно соединить в себе две эти ипостаси: одних «съела» избыточная лояльность узкопартийному направлению; другие, все более оторванные от знания и понимания того, что реально происходит в России, со временем вынуждены были покинуть сферу политической теории.

С 1921 года Португейс активно сотрудничает в самом престижном журнале русской эмиграции — парижских «Современных записках» (под редакцией М. Вишняка, В. Руднева, А. Гуковского, И. Фондаминского-Бунакова и Н. Авксентьева). Весной 1922 года он организует собственный ежемесячник «Заря», где окончательно размежевывается с официальным меньшевизмом — Заграничной делегацией РСДРП и ее печатным органом — «Социалистическим вестником». Параллельно Португейс работает еще и политическим обозревателем в либеральных «Последних новостях» П.Н. Милюкова.

Но главное, что в парижской эмиграции С.О. Португейс пишет и издает монографии: «Пять лет большевизма (Начала и концы)» (1922), «Российская коммунистическая партия» (1924), «РКП. Десять лет коммунистической монополии» (1928), «Красная Армия» (1931). Каждая из этих книг готовилась долго и тщательно, с использованием большого документального и статистического материала, разными путями получаемого из России Тургеневской библиотекой в Париже, а также библиотекой Международного бюро труда в Женеве, где заведующим «русским отделом» был ближайший друг и единомышленник Португейса С.О. Загорский.

Резонанс, вызванный в эмиграции работами Португейса, иллюстрируют, например, авторитетные отзывы на книгу «РКП. Десять лет коммунистической монополии». П. Милюков: «...капитальный труд... для всех, интересующихся положением в России, эта книга должна сделаться незаменимым настольным пособием»; И. Абугов: «...счастливое сочетание таланта публициста с глубокой эрудицией автора»; К. Зайцев: «...автор сумел дать картину, не только умно и увлекательно написанную, но и убедительно раскрывающую сущность тех процессов, в силу которых происходит внутреннее перерождение живой органической партийной ткани» и т.д. Налицо дружное признание очевидного факта, что в лице С. Португейса русская эмиграция обрела профессионального исследователя-советолога.

Катастрофа новой мировой войны привела Португейса, как и многих других русских изгнанников, из оккупированного немцами Парижа в Нью-Йорк. Туда он приехал уже очень больным и большую часть време-

ни проводил в больницах и санаториях. Незадолго до смерти сблизился с «Новым журналом»; наметилось примирение и с «Социалистическим вестником». В ночь на 27 февраля 1944 года С.О. Португейс скончался в Нью-Йорке и был похоронен на кладбище Нью-Маунт Кармел рабочего объединения «Арбетер-Ринг».

Основа социально-политического мировоззрения С.О. Португейса — идея демократизации истории. История стабильна и поступательна только тогда, когда опирается на неуклонный прогресс «среднего человека», формирующегося в «гражданина». Эта демократическая презумпция, кристаллизовавшаяся еще в юные годы под влиянием Гольдендаха-Рязанова, а потом и Плеханова, не могла не отмежевать Португейса, с одной стороны, от всякого рода политического сектантства и заговорщичества, а с другой — от народнического комплекса преклонения перед народом. Португейс — демократ-эволюционист, рассуждающий не о «народе», но о «гражданах», способных сформироваться только в правовой культуре современного города и развитого производства.

Португейса можно отнести к редкой породе адептов «либерально-демократического социализма». Современный ему «классический либерализм» он не жаловал за высокомерную элитарность, нечувствительность к проблемам большинства, а также за «буржуазность», примат экономической расчетливости над культурным творчеством. Однако редко можно встретить другого автора, который, причисляя себя к «социалистам», столь активно критиковал бы пороки социалистической доктрины с позиций защиты гражданских прав личности. Многое сближало Португейса с либералами кадетского толка: немалую роль здесь сыграли прочные рабочие контакты с А. Изгоевым, а затем — П. Милоковым.

Главную беду современного ему социализма Португейс видел в «диктатуре экономики», в том, что в постановке и решении общественных проблем тот ушел в сторону абсолютизации материальных факторов в ущерб культурным. По мнению Португейса, несмотря на то что экономические формы человеческой жизнедеятельности — «базис» социального развития, прогресс человечества происходит главным образом «в вершинах надстроек» и в немалой степени состоит в постепенном высвобождении личности из пут экономической зависимости. Катастрофические спазмы мировой войны повлекли за собой обрушение культуры вниз, «к базису элементарной борьбы за элементарные потребности экономического характера». И здесь внизу, «у базиса», общественная мысль (социалистическая в первую очередь) оказалась полностью во власти тех сторон бытия, где в человеке прежде всего выступает его экономическая функция: «Диктатура экономики явилась только как результат неслыханного обнищания человечества. Замещение гражданина работником явилось только идеологическим выражением этого обнищания». «Диктатура экономики» для Португейса — результат крушения культуры, отбросившего Россию далеко назад и надолго отодвинувшего осуществление искомой общественной гармонии.

«Русская история изгрызет до дыр свое временное большевистское вместилище...»

Деградация социалистического сознания, отмечает Португейс, заключается в том, что «гражданина вышибает с его места, завоеванного в крови великих революций, рабочий». Вместо того чтобы противостоять культурной деградации, русские социалисты, напротив, попытались обратить этот процесс себе на пользу и возглавили его. Большевики довели до логического конца эту «сумеречную тенденцию» социализма на умаление «принципа гражданина» и возвеличение «принципа рабочего». Но ведь «как только исчезает критерий гражданина, исчезает и критерий свободы» — отсюда трагическая победа в русской революции «права функции» над «правом личности».

Важной причиной большевистской катастрофы Португейс считал давно обозначившийся разрыв между уровнем культуры дореволюционной русской элиты, достигшей безусловных высот в искусстве, литературе, социальной теории, и человеческой массы, явно не способной «подпереть эти культурные максимумы»: «На высоченных, но редких скалах водились немногие орлы, а на необозримо громадных болотах водились во множестве лягушки». Однако если в области искусства или литературы такую асимметрию вершин и общего ландшафта можно считать естественной и закономерной, то узкоэлитарный максимализм в социально-политической области был опасно оторван от общего уровня гражданской зрелости народа. В этом, по мнению Португейса, и состояла главная беда русского исторического развития: «У нас были громадной силы и громадной высоты прыжки ввысь, а когда в великой войне и затем в великой революции понадобился народ, понадобились массы, национальная воля и государственный разум, то вместо всего этого оказалось пустое место, превратившееся в могилу всех наших максимумов».

Ссылаясь на известную формулу Жореса «Революция есть варварская форма прогресса», Португейс полагал, что большевистский переворот — это «варварская форма регресса» и в этом смысле революцией, строго говоря, назван быть не может. Ибо только прогресс (прежде всего расширение возможностей культурного творчества) может оправдать радикализм революционного метода. Большевизм же, нанеся главный удар по культуре, обозначил «торжество начал регресса в цикле событий, начавшихся весной 1917 года».

Другой критерий подлинной революции — ее национально-патриотический характер. В этом смысле «настоящей», по мнению Португейса, можно опять-таки назвать Французскую революцию: даже «варварское неистовство Конвента» было порождено естественной национальной самозащитой против внешнего врага. Варварство же большевиков родилось не из движения самозащиты нации, а напротив, из движения национального предательства: «Те дзержинские состояли при дантонах, призывавших к оружию против внешнего врага; наши же дзержинские состояли при крыленках, призывавших к похабному миру поротно и повзводно».

На таком низком уровне культуры и национального самосознания революция могла оказаться лишь в буквальном смысле переворотом, в пер-

вую очередь механическим переворотом социальных ролей. Вместо «свободы, равенства, братства» большевистский переворот привел к новому угнетению и диктату: «Могучее инстинктивное тяготение истомленных в рабстве душ к социальной справедливости и социальному равенству не находит иного выражения, кроме антитетической перестановки членов в формуле неравенства... Ибо в равенстве нет необходимого искупления прежних мук и прежнего рабства». Вот эту-то психологию русских низов не столько, может быть, поняли, сколько инстинктивно, в стремлении схватить и удержать власть почувствовали и использовали большевики.

Без всякого историософского надрыва, столь характерного для антибольшевизма эмиграции, Португейс тщательно анализирует факторы, при которых большевизм оказался способным победить и победил. Большевизм у него — срыв восходящей революции в хаос из-за прежде всего поражения культуры и слоев — ее носителей. Велика здесь была роль мировой войны — апофеоза контркультурных тенденций. Ибо при всей поверхностности и непрочности европеизации России (она была, по словам Португейса, лишь «хрупкой глазурью на нашем варварстве») только война сумела пробить оболочку культуры и обнажить отечественный хаос.

К несчастью России, здесь нашлась политическая сила, которая сделала сознательную ставку на разнуздание русского варварства. По мнению Португейса, лидеры большевиков угадали то, что их оппоненты не видели или не хотели видеть. Именно большевики, и в первую очередь Ленин, уловили, что ближайшие годы пройдут в России под знаком хаоса, крушения самых элементарных основ общественной жизни: «Ленин предвидел, что война, другие народы разорившая, русский народ искалечит, физически и душевно искалечит, сломает спинной хребет народа... Только большевики решились дух войны, ее яд, ее аморальную, зверскую, хаотическую стихию сделать духом своей партии... Тот, кому приходилось с ними спорить на митингах, кто их видел в работе до их победы, не мог не унести с собою незабываемого впечатления ставки, бесстыдно-откровенной, до конца доведенной ставки на хаос».

Непосредственной движущей силой переворота стали группы, деклассированные в ходе Мировой войны и распада культуры повседневности: «Мир распался, и на оголенном мировом пожарище месте стал голый, искалеченный человек, которому все нипочем. Этого человека большевики искали на фронте, среди дезертиров, среди деклассированных масс деревни и города, среди разношерстных толп, втянутых военно-промышленной вакханалией в горячее пекло индустрии. И этого человека они нашли в количествах, достаточных для того, чтобы стихийной лавиной затопить разрозненные экземпляры человека-гражданина».

Иезуитская гениальность Ленина, по мнению Португейса, состояла в том, что он без боязни отдался этой стихии бунта, интуитивно чувствуя, что «бунт — не антагонист власти, а судорожный порыв от власти, переставшей пугать, к власти, которая внушит дрожь страха заново». Ленин оказался единственным, кто проницательно понял, что «власть абсолют-

«Русская история изгрызет до дыр свое временное большевистское вмес- тилище...»

ную, типа божественной, он получит, разнуздав стихию бунта». Ленин чувствовал, что «только массу, пришедшую в ярость, потерявшую всякие следы общественного сознания, можно превратить в послушное стадо диктатора. Он знал, что через бунт она придет в изнеможенное и опустошенное состояние, на котором легче всего можно будет построить свое царство».

Драма же демократических оппонентов большевизма состояла в том, что они опасно недооценили силы разложения и анархии, накопившиеся к тому моменту в России. Впрочем, подлинная демократия все равно в то время не нашла бы в стране элементов, способных в жестокой (а иной она быть не могла) схватке победить силы хаоса: «Демократия, которая не была в состоянии идти по линии хаоса, вынуждена была искать равнодействующую линию между силами хаоса и идеалами демократии. Но она не была в состоянии найти достаточно мощную силу, противодействующую хаосу».

Российская демократия оказалась стреноженной перед лицом большевизма еще и потому, что тот впервые в истории явил собой (следующим в этом ряду будет германский фашизм) абсолютно новый феномен — демократизацию реакции. «Случилось то, к чему демократическое сознание XIX и XX вв. было менее всего подготовлено, — отмечает С. Португейс. — Политическая реакция из господской, из барской, превратилась в реакцию народную, плебейскую. Социальная демократизация реакции — вот что сообщило ей грандиозный размах и дало необычайную силу. В качестве народной эта реакция легко стала впитывать в себя некоторые идеи социализма-антикапитализма, и тут-то явственно обнаружилось, какой варварской, губительной для человеческой индивидуальности силой может стать социализм, из которого выпотрошены идеи и идеалы политической демократии».

Оригинальность исторической концепции Португейса состоит в рассмотрении цепи исторических событий с двух противоположных ракурсов, точнее, на скрещении двух разнонаправленных аналитических стратегий. С одной стороны, каждое событие так или иначе «входит в историю» — в этом смысле вся причудливая цепь российских революций начала XX века уже заняла в истории свое место. Существует, однако, и другой принцип исторического понимания, но его, отмечает Португейс, применяют куда меньше: «Не только события входят в историю, но и история входит в события»: «Иными словами, в данное событие врываются силы „диалектики“, силы социологического развития, превращающие первоначальную значимость этого события из одной в другую, нередко прямо противоположную».

По мнению Португейса, не только большевизм вошел в историю, но и в него самого вошла история, вошли исторические силы, давшие ему жизнь, но жизнь эту направившие по путям, над которыми замыслы самих большевиков были уже не властны: «В большевизм вошла русская история, история русского народа и история русской страны, хотя большевизм тем и отличался, потому что прибегал и прибегает к террористическим

средствам, что возымел безумное намерение запретить Россию и запретить себя таким образом, чтобы русская история никоим образом сюда не вошла. Русский большевизм захотел быть антиисторичным, внеисторичным и надисторичным, в этом и заключалась его крайняя „революционность“, чтобы в историю войти, а ее к себе не впустить». Отсюда — «террористическая истеричность» большевиков, которая постоянно подпитывалась намерением «оградить себя от проникновения истории в собственный организм». В этой связи, комментируя широко бытовавшие параллели исторической роли большевиков с деятельностью Петра Великого, Португейс всегда настаивал на их принципиальном отличии. Петр, по его мнению, прорубив «окно в Европу», впустил историю в Россию; Ленин и Сталин попытались запретить Россию от истории.

Принципиальная идея С. Португейса состоит в том, что повседневная жизнь, развиваясь вопреки большевизму, постепенно регенерирует объективную логику развития человеческих отношений, логику развития культуры и истории. При этом сами ключевые институты большевистского режима — партия, профсоюзы, комсомол, армия, — задуманные авторами как надежные инструменты своего господства, объективно становятся ареной острейшей внутренней борьбы. В них (а если учитывать их значение, прежде всего в них) и проявляется главное противоречие большевистской системы — неизбежное столкновение регенерирующей культуры повседневности с доктринально узкими коммунистическими рамками.

При самом зарождении режима, в годы революции и Гражданской войны (когда, как отмечает Португейс, «страна горела в пламени Гражданской войны и элементарный страх смерти от голода, от пули, от паразита подавлял в человеке все человеческое») этот «большевистский колпак» был не столь чувствителен и не так раздражал. Но те времена миновали, и запросы личности бесконечно, в самых разнообразных направлениях выросли, и теперь «партийно-советский колпак стал невыносим, и на этой почве растет глубокий разрыв между населением и властью».

Со своей стороны, большевистский режим, интуитивно чувствуя, где сокрыта его «кощеева игла», всеми силами противодействует регенерации человеческой «органики»: «Надо во что бы то ни стало длить революцию. Иначе — смерть». Один из наиболее эффективных способов искусственного продления «революционной молодости» большевистской власти — это постоянное поддержание в массовом сознании «образа врага». «Для того чтобы интенсивно ощущать такую власть, должен быть объект насилия, — пишет Португейс. — Должен быть тот „турка“, на голове которого на народных гуляньях можно за пять копеек выявить свою „силу“. Такой „турка“ был. Это буржуазия, белогвардейцы, вообще враги пролетариата. На коммунистическом гулянье за пробу силы над этим „туркой“ ничего не вжимали и даже кое-что приплачивали... Самодержавие Романовых себя спасало, отдавши толпе как бы в аренду насилие над евреями. Самодержавие коммунистов себя спасало, отдавши почти в полное распоряжение

«Русская история изгрызет до дыр свое временное большевистское вместилище...»

трудящихся насилие над другим „турком“ — буржуазией... Для большевистской демагогии нужен был, до зарезу нужен был буржуй, и притом недодушенный, энергично душимый, но недодушенный».

Отсюда — перманентные кампании по выявлению и публичному осуждению подлинных и мнимых «врагов народа». Анализируя, например, многообразные причины затеянного большевиками «процесса меньшевиков» (автор отлично понимает, что «вокруг этого процесса происходит хороводное кружение самых разнообразных интересов»), Португейс четко называет, на его взгляд, главную причину: «Вот это именно „оживление на всех фронтах“... Всегда и непрерывно надо, чтобы что-то где-то происходило, чтобы было страшно, чтобы были коварные враги, чтобы их ловили, судили, изобличали... Чтобы каждый день чуть-чуть не падала советская власть, но чтобы каждый день она чудесным образом спасалась, по какому случаю раздавались бы пальба и крики, а там, в стороне, подбирались бы новый враг, фабрикуемый шпионами и провокаторами, специально на то и приставленный, чтобы было оживление, чтобы похоже было все на „революцию“, которая все еще продолжается, продолжается, продолжается... И кажется, что для того и затеяли весь этот процесс, чтоб было на что в ответ морочить голову всей стране и дальше ее закабалить во славу диктатуры».

Другое радикальное средство «самоомоложения режима» — политические чистки. Их образное описание также принадлежит к числу нередких публицистических шедевров Португейса, соединяющих в себе фельетонную изысканность с глубиной политического анализа: «Партия чистится — это означает, что сотни тысяч людей будут в покаянном трансе сами на себя клепать и возводить небылицы, чтобы лошадиными дозами искренности и искусственно растравленными гнойными язвами своими симулировать подкупающие строгих судей бездны раскаяния своего. Партия чистится — это значит, что армии коммунистических подхалимов, шкурников, проплеванных душ и восторженно-искренних мерзавцев явят собою образ наиболее ревнивых охранителей партийной чистоты и радетелей партийного благочестия».

Между тем по мере неуклонного «старения» режима активные формы его «самоомоложения» (террор, чистки, процессы над врагами народа) сменяются формами все более «вегетарианскими», характерными, по ироничному выражению Португейса, скорее для суетливой «кутерьмы», нежели для возвышенной «революции». На излете режима «деланье революции» на самом деле означает, что власть «бесконечно длит и длит кутерьму, выдумывает для нее все новые и новые формы и с насупленным лбом, со страшно серьезным „революционным“ выражением в лице титанически и планетарно переливает из пустого в порожнее». Режим уже не в силах «запретить историю», но он еще способен «по мелочам» ставить палки в колеса процессу регенерации повседневности. «Советская власть и компартия, — пишет Португейс, — органически не способны спокойно видеть человека, занимающегося своим делом, потому что всякое

погружение человека в свое дело неизбежно включает его в органическую систему возрождающейся жизни, в корне враждебной искусственной системе дурацкого партийно-советского колпака, по уши натянутого на рвущуюся к хозяйственной и духовной свободе страну...»

Совокупность мер противодействия дряхлеющего режима процессам возрождающейся исторической органики С. Португейс характеризует обобщенным и очень точным понятием «дёрганье»: «„Дёрганье“ — это универсальная форма отношения власти и партии ко всем по их соизволению держащимся на поверхности людям. „Дёрганье“ на фабрике, „дёрганье“ на службе, „дёрганье“ в школе — это есть преимущественная форма отношения покровителей к покровительствуемым. „Общественность“, „политическая активность“, „классовая сознательность“, „политграмотность“ — всем этим до тошноты донимают людей, хоть раз клюнувших малое зернышко из советско-партийного лукошка». Однако даже процесс примитивного «дёрганья» по отношению к обществу тоже требует от деятелей режима некоторой доли заинтересованности, планомерности и энтузиазма.

Между тем необратимые процессы «старческого перерождения» захватывают уже саму коммунистическую верхушку. Энтузиастов революции постепенно замещают чиновники, и эти «новые люди» все чаще приходят не из низов, все еще заинтересованных в социальном восхождении, а представляют собой лишь новое поколение «совслужащих», цинично стремящихся к консервации своего статуса: «К власти пришло множество новых людей. Но это не столько иконописные рабочие и крестьяне, сколько эта средне-мещанская и средне-буржуазная масса „прочих“, „служащих“ и т.п. третий сорт коммунистического преискуранта. Эти элементы действительно находятся во владении „завоеваниями революции“. И для того чтобы их застраховать, они хотят, чтобы эта революция не продолжалась, а вот именно — кончилась. Но для диктатуры это — смерть».

«Окончание революции» станет делом рук самой коммунистической элиты, и коллапс советской системы начнется изнутри ее главного института — монопольной партии: это Семен Португейс аналитически точно предсказал еще на рубеже 1920–1930-х годов.

В отличие от большинства эмигрантов первой послереволюционной волны, С. Португейс был убежден, что «большевизм могут преодолеть не те, которые с ним и к нему не пошли, а только те, которые из него или от него ушли». Этот тезис, разумеется, очень резко противопоставил Португейса большинству влиятельных эмигрантских сил, сообща мечтающих о «реставрации», хотя и вкладывающих в это понятие очень разный смысл.

С нескрываемой жалостью и иронией относился Португейс к тем эмигрантским деятелям, которые, ностальгируя по собственной былой значимости, все еще лелеяли мысль о своей «особой роли» в неких грядущих событиях. Эти люди напоминали ему отдельных персонажей русской классики, прежде всего незабвенных «господ ташкентцев» из

«Русская история изгрызет до дыр свое временное большевистское вмешательство...»

одноименного произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина: «В чем, видимо, они совершенно не сомневаются — это реставрация самих себя, как господствующей на Руси силы... И скачет реакционный всадник верхом на палочке в твердом убеждении, что он самонужнейший для России человек, — он на палочке в Россию въедет, и Россия скажет ему: „Добро пожаловать!“»

Собственную задачу Португейс видел в работе на длительную перспективу, в трезвом анализе процессов, изнутри подтачивающих большевистскую диктатуру. Особую роль в постепенном «выветривании большевистского иллюзиона» он отводил, как уже отмечалось, возрождению простой человеческой повседневности, которую многие эмигрантские авторы по привычке брезгливо называли «мещанским бытом». В одной из своих принципиальных статей «Пути русской свободы» (1936) Португейс припомнил лекцию эмигранта-евразийца, который горько жаловался на то, что русский народ постепенно «впадает в мещанство» и все более начинает тешиться «бирюльками пошлой цивилизации» (вроде метро, патефона и маникюра) и «вместо того, чтобы переворачивать мир, переворачивает всего-навсего пластинки на патефоне». В этой связи Португейс приводит меткое сравнение: как в добрых старых русских семьях рачительные хозяйки следили за тем, чтобы огонь в самоваре никогда не угасал, так и эмигрантские ниспровергатели советской власти тоже чрезвычайно встревожены возможностью того, что «самовар русской революции угаснет». Их логика понятна: «Пойди потом, ставь самовар заново! Покуда еще тлеют кое-какие угольки революции („нашей революции“), есть надежда, что удастся их раздуть и вновь со свистом начнут вырываться пары». По мнению Португейса, для рассуждающих подобным образом особенно невыносима мысль, что «„нашу“ революцию мы проиграли, и революция против большевистской диктатуры будет совсем уже не „нашей“, а „ихней“, т.е. другого поколения с непонятной и чуждой нам психикой, с повадками и манерами, резко диссонирующими с музыкой нашей гуманистической души».

В чем причины удивительной исследовательской и политической убежденности Португейса (этой, по выражению одного биографа, «строптивой натуры, не способной на идейные компромиссы») в конечности большевистской диктатуры? Эту убежденность, мне кажется, можно лучше понять, припомнив, что Португейс, судя по многим свидетельствам, был редким знатоком европейской политической истории, и прежде всего истории Французской революции. Во всяком случае, в его рассуждениях о перспективах развития большевистского режима можно уловить явные отголоски блестящего (и, судя по всему, имеющего универсальное значение) анализа соотношения «старого порядка» и «революции», сделанного А. де Токвилем на примере Франции. Именно опираясь на эту авторитетную позицию (нигде, впрочем, открыто не декларируемую), Португейс выстраивает цепь рассуждений, направленных против «революционного нетерпения» коллег по русской эмиграции.

Согласно Португейсу, «никогда не свергается сложившийся „новый режим“»: «Если он успел благополучно миновать „детские болезни“ своего роста, если он устоял против первых конвульсивных контрастов того общества и государства, которые он обезвластил и обесправил, тогда ему уже более или менее гарантирован относительно длинный период жизни». Следует признать, утверждает Португейс, что большевистский режим устоял против «первых контрастов» и «детских болезней», и теперь все расчеты на его преодоление можно, увы, связывать исключительно с его «постарением»: «Он обязательно должен постареть, чтобы сконцентрировать на себе ненависть народного большинства, чтобы разрушить все иллюзии, связанные с его рождением и молодыми годами... Режим должен остыть, сложиться, стать „пожилым“, потерять блеск великих событий... чтобы в отношениях к нему страдающих масс могла проявиться свобода оценки, и в психике народа могли бы накопиться элементы объективной ориентации в своем собственном положении».

С. Португейс призывает понять, что в основе пресловутого «обмещания» советского общества лежит определенный подъем материального уровня населения, и это не просто прозаическое благо («достойное, конечно, презрения превыспренных умов»), но и одна из необходимейших предпосылок для «пробуждения в замордованном советском человеке духа свободы». Поэтому, если анализировать массовые настроения «в их живой социально-психологической реальности», а не глядеть на них «сквозь задымленные нашей изощренной духовностью теоретические очки», не подлежит никакому сомнению, что этот процесс «обмещания» — знаменательный показатель «перехода России в органическую эпоху». Эта историческая органика способна в гораздо большей степени развязать массовое движение против диктатуры, чем «лихорадка революции», которую «все еще пытаются длить многие актеры революционного действия». Португейс уверен: «Аппетит не только к материальным, но и духовным и моральным благам будет у русского народа быстро возрастать в прогрессии, за которой реформаторской колеснице диктатуры все труднее и труднее угнаться... Перед нами не первый и не последний в истории народов случай, когда власть, в интересах самосохранения, вынуждена разжигать материальные, духовные и моральные аппетиты населения без возможности действительно их удовлетворить». И, как итог — любимый еще со времен внимательных штудий работ Г. Плеханова (а теперь усиленный и аргументацией Токвиля) тезис: «Россия доэволюционирует до революции».

О том, какова могла бы быть эта «революция», С. Португейс пишет достаточно осторожно. Из некоторых его работ можно сделать вывод, что он предпочел бы максимально бескровный вариант: история, действующая в оболочке большевистского режима, постепенно «изгрызет до дыр свое временное политическое вместилище» и затем «сбросит остаток небольшим рывком, далеким от стиля „великой революции“ и близким по стилю какому-нибудь перевороту или даже просто... замешательству».

«Русская история изгрызет до дыр свое временное большевистское вместилище...»

Что же касается предположений о возможном характере будущей «разбольшевиченной» России, то здесь Португейс никогда не был особым оптимистом. Он нисколько не сомневался, что и после падения большевиков путь России не будет усеян розами: ей, судя по всему, предстоит выбор «не между добром и злом, а между злом бóльшим и меньшим». В самом деле, каким образом из диктатуры, «разводящей вокруг себя мерзость и нечисть шпионства, доносительства, пролазничества и подхалимства, убивающей всякую свободную и независимую мысль, всякую твердость характера и человеческое достоинство», каким образом из этого режима лжи и террора можно разом перепрыгнуть в обетованное царство подлинной демократии? Думать, что под завалами диктатуры сокрыто благодетное общество, требующее только высвобождения «из-под глыб», значило бы, по мнению С.О. Португейса, еще раз повторить трагическую ошибку, уже сделанную однажды русскими предреволюционными «мечтателями».

БОРИС
АЛЕКСАНДРОВИЧ
БАХМЕТЕВ

**«Составлять как
можно меньше законов
и возможно меньше
регулировать жизнь...»**

Собственность, народоправство, демократизм, децентрализация и патриотизм — вот идеи, «около которых уже выкристаллизовывается мировоззрение будущей России», — писал в начале 1920-х годов посол демократической России в Вашингтоне Борис Александрович Бахметев (1880–1951). Основой экономической жизни, считал он, должны быть «частная инициатива, энергия и капитал»: «К покровительству им, к охране их приспособится весь правовой и государственный аппарат; в помощи частной инициативе будет заключаться главная функция правительства».

Б.А. Бахметев был сторонником «самосовершенствования» государства. Он делал ставку на личную инициативу и предприимчивость людей: «Следует прежде всего поставить себе за правило составлять как можно меньше законов и возможно меньше регулировать жизнь». Поразительно, что эти идеи, которые активно обсуждаются современными российскими политиками, были сформулированы Бахметевым восемьдесят лет тому назад.

Б.А. Бахметев родился в Тифлисе, в семье инженера и крупного предпринимателя. Его отец был из категории тех людей, которых американцы называют «self made man» — «сделавший себя сам». В 1898 году Бахметев закончил с золотой медалью 1-ю Тифлисскую гимназию (кроме гимназического курса он занимался дома языками — французским, английским и немецким, а также музыкой) и в том же году поступил в Институт путей сообщения в Петербурге. Специальность инженера была одной из наиболее престижных в России того времени, экзамены были очень трудными, а конкурсы — высокими.

Очень быстро Бахметев вошел в политику. «Мы покидали наши родные города политически наивными, — вспоминал он более полувека спустя. — Однако в атмосфере университета, проникнутой политическими ожиданиями и размышлениями, вскоре становились революционерами по духу, а иногда — и по делам». Юный провинциал, каким был Бахметев в то время, быстро прошел путь от политической невинности до участия в студенческом комитете в качестве представителя своего учебного заведения. Вспоминая настроения студенческой среды, ставший со временем убежденным либералом Бахметев говорил о том, что все хотели свобо-

ды, конституции, освобождения от власти самодержавия, ответственного правительства. «На самом деле, в то время люди, даже называвшие себя социалистами, — некоторые из них марксистами („Я принадлежал к марксистскому направлению. Не знаю почему“, — добавлял Бахметев. — 0.5.) были далеки от сегодняшних социалистических программ... Они говорили о социализме совершенно абстрактно. Любой социалист тех дней сказал бы, что для начала надо завоевать политическую свободу и затем предоставить людям возможность решать самим».

Вспоминая о своих студенческих днях, бывший социал-демократ говорил, что марксистские взгляды, которых он тогда придерживался, очень отличались от позднейшей коммунистической интерпретации Маркса. «Мои идеи более или менее совпадали со взглядами умеренной европейской социал-демократии. Прежде всего, они были абсолютно демократическими. Я считал, что любые социальные реформы и изменения должны быть проведены в жизнь демократическим путем. Важнейшей вещью была политическая свобода, и это было убеждение социал-демократии по всему миру... Я не верю в социал-демократические идеи теперь, но в те дни, когда я был юным, верил. Но это то же самое... Я верю сейчас, что гуманитарные цели и либеральные цели могут быть достигнуты лучше другими средствами, но в те дни важнейшей вещью была политическая свобода, конституционное правительство, всеобщее избирательное право, которое должно было дать право голоса всем, и затем люди могли бы выразить свою волю для таких социальных изменений, которые были необходимы».

После окончания института Бахметев был направлен на два года за границу для подготовки к преподавательской деятельности в основном С.Ю. Витте Политехническом институте. По поручению Витте были отобраны способные молодые выпускники различных университетов, которые должны были, по его замыслу, изучить постановку дела за рубежом и привнести в новый институт современный дух. Бахметев готовился к преподаванию по кафедре гидравлики; он провел год в Швейцарии, где в цюрихском Политехникуме изучал гидравлику, затем год в Америке изучал методы инженерной работы в США и работал на постройке канала Эри.

Параллельно развивалась и его политическая карьера. Ее вершиной на том этапе стало избрание в члены ЦК РСДРП на IV съезде партии, от меньшевиков. Он даже участвовал в партийном суде над Лениным по поводу написанной тем оскорбительной для своих товарищей по партии брошюры. Однако Бахметев постепенно начинает отходить от политики такого рода. Он увлекся профессиональной деятельностью.

С 1 сентября 1905 года Бахметев приступил к работе на кафедре гидравлики Политехнического института. Со временем он начал преподавать курсы гидравлики, гидроэнергетики, теоретической и прикладной механики, а также иностранные языки на электромеханическом и кораблестроительном отделениях. В 1911 году Бахметев защитил докторскую диссертацию; в мае 1912 года ему было присвоено звание адъюнкта по

кафедре прикладной механики Политехнического института, а 28 января 1913 года высочайшим приказом он был назначен профессором той же кафедры.

Однако Бахметев не был только теоретиком и преподавателем; он организовал частную контору, которая занималась разработкой технических проектов по заказам как правительства, так и частных компаний. Бахметев привлек к работе не только русских, но также французских и швейцарских инженеров. Проекты, над которыми работала бахметевская контора, были достаточно масштабными. Он был увлечен практической деятельностью, которая должна была преобразовать Россию. По мнению Бахметева, эпоха III Думы (1907–1912) была временем бурного развития страны — это касалось народного образования, экономического и технического прогресса. В интервью американскому историку в 1950 году он говорил с явно чувствующейся досадой, что большинство технических достижений коммунистов — гидроэлектростанции, железные дороги и т.д. — уходят своими корнями в эпоху III Думы.

Досада Бахметева объяснялась тем, что он стоял у истоков многих проектов, завершенных уже при советской власти и объявленных ею целиком своим достижением. Причем завершенных во многом не так, как мыслилось Бахметеву. В свое время он был, например, главным инженером большой компании, планировавшей построить гидроэлектростанцию на Днестре. Этот первый большой проект Бахметева был претворен в жизнь коммунистами; название этой гидроэлектростанции известно всем — Днепрогэс. Однако при проектировании Днепростроя Бахметев не шел так далеко, как большевики: он считал невозможным переселять деревни, затоплять кладбища и т.п. Сравнивая свой и большевистский проекты с экономической точки зрения, Бахметев говорил, что его проект стоил около 17 млн рублей, а большевистский в сопоставимых ценах — 150 млн. Это результат неэффективного планирования и работы, считал он. Другая сторона проблемы — использование электроэнергии. Если Бахметев и его «команда» были озабочены продажей электроэнергии и их сдерживало отсутствие достаточной емкости рынка, то большевиков не очень волновали эти проблемы. В результате, по мнению Бахметева, энергия обходилась чересчур дорого для электрохимической и электрометаллургической промышленности.

«Составлять как можно меньше законов и возможно меньше регулировать жизнь...»

Кроме Днепростроя, он был главным инженером при проектировании Волховстроя и еще одной гидроэлектростанции в Финляндии, которые должны были наряду с Днепростроем снабжать электроэнергией Петроградскую губернию. Проектирование и постройку всех этих гидроэлектростанций осуществили впоследствии в значительной степени ученики и помощники Бахметева. Принимал он также участие в разработке проекта по ирригации и орошению Средней Азии, в частности Голодной степи.

Эту бурную созидательную деятельность прервала Первая мировая война. По закону Бахметев, как профессор, призыву в армию не подлежал; он мог принести гораздо большую пользу стране на других поприщах.

С начала войны он стал работать в Красном Кресте заместителем директора, а затем директором хирургического госпиталя, в который были преобразованы общежития Политехнического института. В сентябре 1915 года по предложению председателя Центрального военно-промышленного комитета А.И. Гучкова и председателя Государственной думы М.В. Родзянко Бахметев, как человек в совершенстве владеющий английским языком и бывавший в Америке раньше, был командирован в США — разобраться, почему происходят задержки с американскими поставками, и выправить ситуацию. В октябре 1915 года Бахметев уехал за океан. Вернулся он в Россию через год в связи со смертью отца.

Вскоре после Февральской революции, 9 марта 1917 года, Бахметев получил назначение на должность товарища министра промышленности и торговли Временного правительства при министре А.И. Коновалове (с оставлением в должности профессора Политехнического института). Ему непосредственно были поручены два департамента: один был связан с коммерческим и техническим образованием, другой — с портами и торговым флотом. К тому же Бахметев, как статс-секретарь министерства, замещал в случае необходимости министра на заседаниях правительства. Бахметев был увлечен своей работой. Занимался он ею, правда, недолго, лишь два месяца до своего нового назначения в Америку, но, как он говорил впоследствии, «я никогда не был так занят, я никогда не был так счастлив, я никогда не был так удовлетворен...».

Назначению Б.А. Бахметева послом Временного правительства в США предшествовала любопытная история. Работая заместителем министра, Бахметев столкнулся с проблемой режима рыболовства в восточных морях — по этому вопросу были большие разногласия с Японией. Бахметева заинтересовала общая политика Министерства иностранных дел по этой проблеме, однако никто из служащих министерства не мог ему дать вразумительного ответа на интересующий его вопрос. В конце концов пришлось идти на прием к самому министру — П.Н. Милюкову. Милюков сказал Бахметеву, что весьма удивлен: это был первый случай, когда кто-то пришел к нему с конструктивным вопросом. Министр тоже не знал ответа на вопрос о режиме рыболовства, но посоветовал Бахметеву все же разыскать ответственного в министерстве и принять решение по собственному разумению. Милюков также сказал, что рад знакомству, в особенности потому, что слышал, что его собеседник был в Америке и хорошо там поработал. Тут же Бахметев получил неожиданное предложение вновь отправиться в Америку, теперь уже в качестве российского посла. Прежний посол, однофамилец Бахметева, Георгий Петрович, подал в отставку. Русское посольство в США, по выражению Милюкова, «развалилось на куски». Между тем США только что вступили в войну, что переводило отношения с ними союзников по антигерманской коалиции на новый уровень.

Бахметев поначалу отнекивался, ссылаясь на свою молодость (ему было в тот момент 36 лет, что считалось довольно юным возрастом для посла) и неопытность. Милюков настаивал, подчеркивая, что в данном случае это

не только дипломатическая, а правительственная миссия по организации военного сотрудничества и урегулированию экономических проблем. Россия остро нуждалась в получении новых займов. «У нас нет никого, кто знает Америку так хорошо», — убеждал министр. В июне 1917 года Бахметев прибыл в США. Как оказалось впоследствии — навсегда.

Бахметев действительно был тогда совершенно неопытным дипломатом, однако в той конкретной ситуации, в которой он оказался, дипломатический опыт старой школы мог скорее помешать, нежели помочь. Его бесспорным преимуществом было неплохое знание Америки, американских политических нравов и обычаев. Бахметев представлял разительный контраст со своим предшественником и однофамильцем. Первое, что бросается в глаза в его дипломатической деятельности, — публичность, стремление воздействовать на американское общественное мнение, поразительная активность.

С огромным успехом прошли его выступления в конгрессе и сенате США. «Надо понять, что прошло время, когда судьбы народов могли решаться безответственным правительством или немногими личностями, и что люди должны проливать свою кровь за неизвестные им цели, — говорил Бахметев в сенате. — Мы живем в демократическую эпоху, когда люди, жертвующие своими жизнями, должны полностью осознавать причины и принципы, во имя которых они сражаются». «Миролюбивый по натуре, стремящийся к прочному миру, основанному на демократических принципах и установленному волей демократии, — завершил свою речь Бахметев, — русский народ и его армия объединяют свои силы вокруг знамен свободы, крепят свои ряды в бодром сознании: умереть, но не быть рабами. Россия хочет, чтобы мир был безопасен для демократии. Сделать его безопасным означает предоставить демократии управлять миром».

Бахметев был действительно дипломатом нового типа, хорошо понимавшим менталитет и особенности политической культуры Америки. Он предпринял беспрецедентное в истории русской дипломатии пропагандистское турне по стране; с июня по ноябрь 1917 года Бахметев выступал не менее 26 раз на различных митингах, собраниях, банкетах. Помимо Вашингтона и Нью-Йорка, где были сосредоточены его основные политические и экономические интересы, Бахметев выступал в Чикаго, Бостоне, Саратоге, Атлантик-Сити, Олбани, Филадельфии, Балтиморе, Мемфисе.

Ему удалось также установить доверительные личные отношения с высшими чиновниками Госдепартамента, которые отвечали за российское направление, а также с ближайшим сотрудником президента Вильсона и его советником по внешнеполитическим вопросам полковником Эдвардом Хаузом. Бахметев ездил к полковнику в его имение «Магнолия» в штате Массачусетс и произвел на него весьма благоприятное впечатление. Хаузу особенно понравилось, что Бахметев с сочувствием отнесся к его планам будущего мирного договора, заверив полковника, что «новая Россия будет бок о бок с Соединенными Штатами отстаивать подобную программу». Другой раз Хауз отметил в дневнике, что он и русский посол

«Составлять как можно меньше законов и возможно меньше регулировать жизнь...»

«говорят на одном языке». Имелись в виду, разумеется, твердые либеральные убеждения Бахметева.

Получив известие о большевистском перевороте, Бахметев направил американскому госсекретарю ноту, в которой «резко и бесповоротно» отделил посольство от большевистской власти и заявил, что большевики не отражают истинных интересов русского народа. Он писал, что «считает долгом, поскольку обстоятельства позволяют, оставаться на посту, чтобы защищать интересы национальной России». Американское правительство по существу заняло такую же позицию и на протяжении последующих пяти лет признавало дипломатический статус Бахметева.

Б.А. Бахметев стал одной из наиболее влиятельных фигур среди русских дипломатических представителей за рубежом. Несомненно, советы и мнения Бахметева учитывались администрацией Соединенных Штатов при формировании своей российской политики. Это становится совершенно очевидным, если сравнить «служебные записки» и личную переписку российского посла с текстами некоторых нот американского Госдепартамента.

Еще в годы Гражданской войны завязалась переписка Бахметева с российским послом в Париже, одним из лидеров правого крыла партии кадетов, депутатом трех Государственных дум Василием Алексеевичем Маклаковым (1869–1957). Послы в Париже и Вашингтоне играли ключевую роль в деле дипломатического и финансового обеспечения антибольшевистского движения. Их переписка, начавшись на деловой почве, быстро переросла в дружескую и весьма откровенную. Она продолжалась почти тридцать три года, до смерти младшего из корреспондентов. В центре напряженного диалога послов — поиск пути, который может вывести Россию из тупика, в котором она оказалась. Это настоящий «интеллектуальный роман», к счастью практически полностью сохранившийся в личном фонде Маклакова, находящемся в архиве Гуверовского института войны, революции и мира в Стэнфордском университете (Калифорния). В этом году автором этих строк завершена полная публикация этой уникальной переписки. Она составила три увесистых тома общим объемом более 1800 страниц («„Совершенно лично и доверительно!“ Б.А. Бахметев и В.А. Маклаков. Переписка 1919–1951»).

Уже в январе 1920 года Бахметев пришел к выводу, что главная причина неудачи антибольшевистского движения — отсутствие идеологии, которую можно было бы противопоставить большевистской пропаганде. Он считал необходимым выработать программу, которая наметила бы разрешение аграрного вопроса, вопроса о национальностях и децентрализации, и эту программу «сделать платформой национально-демократического возрождения России».

Бахметев подчеркивал, что в этой программе «абсолютно никаких уступок большевизму быть не должно». Она должна быть построена целиком на идее народоправства, на принципе собственности и включать чисто практические, а не отвлеченные положения. Самым больным во-

просом в России Бахметев считал проблему сохранения единства страны при учете в то же время интересов национальностей и местных образований, входящих в ее состав. Он советовал не поднимать вопроса «о хвосте и собаке», не заниматься разбирательством, «кто кого создает и кто кого признает»: «Признайте как факт, из которого все исходит, что существуют местные права и существует единая Россия; единая Россия, которая признает местные образования и местные права, которые признают единую Россию. То же самое и по отношению к национальностям — национальные образования считают себя частью единой России, а единая Россия признает за ними известную совокупность автономных прав». В будущем строительстве России, считал Бахметев, «принцип децентрализации должен быть применен на самых широких основаниях с самого начала».

Проведение в жизнь принципа децентрализации и местного самоуправления особенно волновало Бахметева. Он считал, что процесс восстановления России пойдет снизу — «на местах утрясются скорее». Центральная власть должна свести свое вмешательство в жизнь к минимуму: «Нужно предоставить как можно больше местным управлениям. Пусть они будут временно негодны; пусть будет воровство и взяточничество; пусть они будут безграмотны, но пусть они управляются сами собой и на практике искусятся в искусстве управления. Хорошо управлять в России все равно нельзя — по крайней мере, долгое время, и незачем центральной власти брать на себя ответственность...»

Переходя к социально-экономическим вопросам, Бахметев указывал, что Россия «должна быть крестьянско-купеческой». Развитие страны будет связано, с одной стороны, с укреплением и развитием крестьянского землевладения, с другой — промышленности и торговли «на самых ярких капиталистических началах». Для развития второго «нужно только не мешать», подчеркивал Бахметев, и отказаться от какого бы то ни было вмешательства государства в чисто экономические отношения: «Предоставьте всем и каждому обогащаться и наживаться». Государство должно гарантировать невмешательство в дела предпринимателей, если они соблюдают установленные законы, и «заставить поверить банкира, промышленника и торговца, что его инициатива и его риск не пропадут даром и не будут в свое время эскамотированы завистливым чиновником». Остается признать, что опасения Бахметева, высказанные в начале 1920 года, полностью оправдались в России 1990-х годов.

«Составлять как можно меньше законов и возможно меньше регулировать жизнь...»

Бахметев точно определил и другие опасности, с которыми столкнется новая Россия после краха большевизма. Это в числе прочего разочарование в демократических ценностях: «Учредительное Собрание, которое соберется на пустом месте, дискредитирует себя и потонет в бездне болтовни... Нельзя же в самом деле думать, что можно собрать 500 или 600 людей и заставить их с какой-либо долей плодотворности выдумывать из головы или даже обсуждать составленные какими-то умниками программы и положения», — предсказывал Бахметев в январе 1920 года будущую печальную участь российского Верховного Совета. Он как буд-

то предвидел «перестройку» за 65 лет до ее начала и еще тогда указал на причину ее неудачи: «Кризис заключается в бесплодности использовать обрывки капиталистической экономики для укрепления социалистического здания».

С точки зрения Бахметева, главную опасность для постбольшевистской России будет представлять великодержавная психология: «Несомненно, что признаки российского великодержавия, осуществляемого даже большевиками, будут лстыть известного рода национальным самолюбием. Само собой разумеется, вместе с падением большевизма рассыплется в прах мираж великодержавия, а между тем и для России самой, и для мировой цивилизации затяжка кризиса может иметь огромные последствия. Вот почему я считаю необходимым объявить самую беспощадную борьбу тому шовинизму, который мог бы увлечься призраком великодержавия. Это все то же, что в просторечии русской военщины называется „кому-то что-то показать“ и „кому-то набить морду“» (2 декабря 1920 года).

Опасения Маклакова, высказанные им по отношению к нэповской России, также кажутся сошедшими со страниц свежей газеты: «Там началось не серьезное производство работы, при которой и рабочий, и собственник, и тот, кто у них покупает, почувствовали связь их интересов, а исключительно спекуляция и нелепое и неприличное проживание даром заработанных денег. Когда смотришь на то, что там делается в области работы и торговли, то невольно боишься, что через скорый промежуток времени собственность и капитал, на которые пока возлагаются такие надежды, покажут себя в таком отвратительном виде, что это вызовет новый и на этот раз гораздо более обдуманый и серьезный прилив ненависти к капиталу и буржуазии» (4 марта 1922 года).

Бахметев более спокойно относился к периоду «хищнического капитализма», считая его неизбежным: «Впереди — огромные возможности. Но если мы не дерзнем и снова окажемся позади, то поле останется безраздельно за большевиками. Что же дальше? Троглодитный период? Я думаю, что при всяких обстоятельствах в результате придут Колупаевы и Разуваевы и что их-то правительство и будет началом прочного благосостояния и процветания» (23 марта 1922 года).

Несомненно, что на Бахметева заметное влияние оказала американская система ценностей и американский образ жизни; точнее, несколько идеализированные представления о нем. Обозначив в одном из писем искомую Новую Россию как Россию буржуазную, а ее новую идеологию как буржуазное самосознание, Бахметев подчеркнул, что имеет в виду американский вариант капитализма. Бахметев ссылаясь на разговоры с Гербертом Гувером, будущим президентом США, который как-то раз сказал ему, что капитализм европейский и американский — две совершенно различные вещи, что в Америке нет того капитализма, который описан Марксом, и что если в основе капитализма европейского лежит идея эксплуатации, то в основе американского — идея «equal opportunities», равных возможностей.

Отсутствие жестких социальных перегородок внутри общества, возможность перемещения «по вертикали» придают обществу стабильность. На человека, достигшего успеха, смотрят не с завистью, а с одобрением. Отсюда отсутствие классовой ненависти, породившей социализм. По наблюдениям Бахметева, в американском обществе «господствующим стимулом является соревнование. Основной тон жизни — стремление „to climb“ — восходить. Побуждение к подобному восхождению называется „ambition“; люди ценятся по тому, имеют ли они ambition или нет. Государство как таковое есть собственность народа, есть коллективный организм, охраняющий его свободу и „равенство возможностей“. В своей государственности американцы видят установление, охраняющее эту свободу, и потому господствующей психологией является не нигилизм, а лояльность государственному строю, преданность и готовность защищать установления, представляющие каждому стремиться и получать плоды своих стремлений».

Наблюдения над американской жизнью привели Бахметева к выводу, что возможен «прочный политический и социальный строй, основанный на действительном народовластии, и что власть народа не противоречит прочному консервативному социальному укладу» (23 марта 1922 года).

Записка, в которой были изложены основные положения новой идеологии, была составлена Бахметевым в сентябре 1922 года. Там он писал, что Россия уже «изжила остатки социалистической идеологии» и идея частной собственности будет лежать в основе будущего экономического строя. «Рыночные» идеи будут «не только отрицать коммунизм; они вызовут реакцию вообще против претензии государства руководить экономической жизнью». Народоправство придет не в результате победы одной власти над другой, а как результат «народного упорства в самостоятельном отстаивании своими силами своих непосредственных интересов и нужд»: «Народоправство поэтому будет впредь не привлекательной формулой политического идеала, а реальным фактором жизни, вне которого не будут мыслиться нормальные отношения населения ни к власти, ни к политическим партиям и вождям». Идея народоправства будет сочетаться с глубокой демократизацией страны, и принцип демократического равенства станет одновременно «фактом жизни и постулатом народного сознания».

«Составлять как можно меньше законов и возможно меньше регулировать жизнь...»

«Децентрализация, — считал Бахметев, — всегда сопутствует самоуправлению». В самоуправлении же — ключ к возрождению России: «Нормальная жизнь будет строиться снизу силами самого населения». Однако децентрализация может создать угрозу единству России и привести к ее расчленению. Противоядием этому должно стать чувство патриотизма, которое «будет слагаться из многих и эмоциональных и материальных факторов». К «эмоциональным факторам» Бахметев относил реакцию на интернационалистские увлечения, гордость за страну, которая оказалась в тяжелейшем положении, но все-таки из него выкарабкалась, и даже «раздражение против иностранцев, которые не поддержали Рос-

сию, забыли про жертвы, которые она принесла на общее дело». Хотя последнее, предостерегал он, может принять форму «нежелательной ксенофобии».

Что же касается «материальных факторов» нового патриотического сознания, то они очевидны: «Когда за падением большевистской олигархии управление России станет делом ее населения, когда начнется ее выздоровление и оживление, экономическая зависимость частей России друг от друга, очевидная польза для каждой от тесного общения между собой, сознание выгоды, которая достанется на долю каждой от воссоединения их в великую державу, при полной безопасности от взаимного притеснения, воскресит и осмыслит патриотизм единой великой России».

К сожалению, эта «Записка», составляющая целый этап в развитии российского либерализма и демократизма, так и осталась в бумагах Б.А. Бахметева.

Бахметев и Маклаков пристально следили за происходящим в России; они сразу же и совершенно точно определили значение тех процессов, которые начались в стране в конце 1927 — начале 1928 года, т.е. кризиса нэпа и наступления советской власти на крестьянство. Бахметев, отмечая, что нэп себя изжил, сделал вывод, что суть происходящего коренится в политике, а не в экономике: установив господство «в главнейших областях народного хозяйства», «диктаторская власть не может чувствовать себя прочно и спокойно, поскольку главная отрасль хозяйственной жизни страны — земледелие — зависит в конечном счете от доброй воли многих миллионов индивидуальных крестьянских хозяев». Бахметев справедливо указал на «кризис хлебозаготовок» 1927 года как на исходный толчок к началу наступления на крестьянство.

У Сталина, заключил он, «хватило марксистской логики сделать выводы и признать, что советская власть должна иметь источник земледельческого производства в своих руках, источник, которым она могла бы распоряжаться и маневрируя которым власть будет таким же господином в области земледельческого производства и обмена, каким она является в области промышленной... Сталин ведет в течение нескольких месяцев практическую политику истребления кулака, применяя к нему все чрезвычайные меры военного коммунизма, а теоретически провозглашает совершенно... логическую с коммунистической точки зрения доктрину о необходимости, вместо кулака, иметь фабрики хлеба, то есть колхозы и совхозы, где в сфере правительственных распоряжений будет фабриковаться достаточное количество зерна, чтобы сделать власть независимой от капризов и настроений крестьянских масс» (16 августа 1928 года).

Бахметев считал, что 1930–1931 годы будут решающими для следующих десятилетий жизни России. Ему все более представлялось, что Россия идет к сельскохозяйственной катастрофе. Из чтения советской прессы и других источников он сделал вывод, что «в процессе уничтожения кулачества не только уничтожается наиболее ценный человеческий элемент, то есть наиболее индивидуальные и хозяйственные крестьяне, но

равно разбазариваются материальные основы сельскохозяйственного производства, а именно мужицкий сельскохозяйственный инвентарь». «В результате, — предрекал Бахметев, — будет ли это в тридцатом или тридцать первом году... надо ожидать, что производственная анархия и голод проявятся в масштабе, перед которым двадцатый — двадцать первый годы будут игрушкой» (4 марта 1930 года). Это предсказание, увы, оказалось точным, за исключением разве того, что пик голода пришелся на 1933 год...

Бахметев надеялся на крушение коммунистической власти в схватке с крестьянством, однако допускал и другой вариант развития событий — победу, несмотря ни на что, большевизма. «К сожалению, — констатировал он, — я отдаю себе полный отчет в пассивности и способности русского народа переносить все и вся. Эти ужасные свойства усугублены бедностью и одичанием, которые произошли в результате революционных событий. Россия, и без того пассивная, ослабела до последней меры, и возможно, что даже на фоне голода и земледельческой катастрофы она не сбросит стихийным порывом крепко организованную и решившуюся на все власть». Поэтому, полагал Бахметев, Сталин имеет шансы реализовать свой план государственной организации земледельческого производства: «Крестьянская нужда и страдания ему нипочем, лишь бы достаточно было хлеба, чтобы поддержать города, железные дороги и армию... И за счет резкого сокращения крестьянского потребления подобный эксперимент, при известных условиях, осуществить возможно. Конечно, это значит гибель скота, снова резкое увеличение детской смертности и все другие вещи, но, повторяю, с точки зрения политических задач коммунистической власти эти обстоятельства второстепенные... В этом случае последний самостоятельный, единственный фактор, который во всей большевистской эпопее был непобедим, — крестьянство — окажется уничтоженным. Другими словами, господство большевиков над русской землей станет полным и не ограниченным ничем. Сколько лет тогда продолжится диктатура большевиков, никто сказать не может» (4 марта 1930 года).

Худшее сбылось. Рассчитывать на возвращение в Россию больше не приходилось. После признания в 1933 году Соединенными Штатами СССР Бахметев принял американское гражданство. Он довольно активно участвовал в американской политической жизни, вступил в Республиканскую партию и был даже делегатом съезда республиканцев штата Коннектикут, где у него было что-то вроде имения.

К тому времени он сделал блестящую карьеру для эмигранта. После отставки с должности посла в 1922 году Бахметев поселился в Нью-Йорке, где открыл консультационное агентство по вопросам инженерного дела и международных экономических отношений, преимущественно торговли. Однако дело не пошло. Тогда Бахметев переключился на предпринимательство в промышленной области. Вместе с группой компаньонов он приобрел по случаю оборудование небольшой спичечной фабрики. Бах-

«Составлять как можно меньше законов и возможно меньше регулировать жизнь...»

метев и его партнеры основали спичечную компанию (Lion Match Factory) и развернули производство. Небольшое поначалу предприятие довольно быстро вошло в число четырех крупнейших спичечных фабрик США. Бахметеву его успех на предпринимательском поприще принес достаточные средства для того, чтобы вернуться к своей прежней профессии ученого-инженера. В 1931 году он стал профессором Колумбийского университета, где читал лекции по гидравлике, причем был согласен не получать жалованья в обмен на предоставление ему лаборатории для научных экспериментов. Стараниями Бахметева в Колумбийском университете был основан инженерный факультет.

Вообще, надо сказать, что инженерное дело традиционно понималось в Америке как сумма практических навыков; инженерная теория недооценивалась, что ставило США в зависимость от иностранных талантов. В качестве примера сочетания науки и технологии Бахметев указывал на Германию, которой такой подход обеспечил превосходство (по крайней мере, на начальных этапах) в двух мировых войнах. В конце концов Бахметеву удалось доказать необходимость сочетания науки и технологии, выделения инженерной теории в специальную отрасль. Он стал одним из учредителей Инженерного фонда, оказывающего поддержку исследованиям в области инженерного дела; коллеги избрали Бахметева председателем фонда (начал свою работу в 1945 году, был официально признан в 1950-м). Вернулся Бахметев и к исследовательской работе: его книги по гидравлике и механике стали в Америке классическими. К 70-летию Бахметева вышел большой сборник в его честь, написанный четырнадцатью выдающимися американскими учеными-гидравликами.

Однако все это вовсе не означало ухода Бахметева от русских дел и интересов. Он стал основателем и директором Фонда помощи русским студентам, а также Гуманитарного фонда, направляя на их нужды средства, заработанные в «спичечном бизнесе». «Бахметевский фонд» (фактически его делами по большей части занимался М.М. Карпович, бывший секретарь Российского посольства в Вашингтоне, а затем профессор русской истории Гарвардского университета и редактор «Нового журнала») оказал поддержку для подготовки различных работ Г.В. Вернадскому, Н.В. Валентинову-Вольскому, графу П.Н. Игнатьеву, А.Ф. Керенскому, Н.О. Лосскому, С.П. Мельгунову, С.Н. Прокоповичу, Г.П. Федотову. Оказывал помощь в связи с болезнью И.А. Бунину, А.Л. Толстой, финансировал издание нью-йоркского «Нового журнала», заменившего в известном смысле парижские «Современные записки», выделял средства русскому детскому дому и русской гимназии в Париже и т.п. Наконец, средства Бахметева пошли на поддержку ныне знаменитого Архива русской и восточноевропейской истории и культуры в Батлеровской библиотеке Колумбийского университета, более известного среди исследователей как «Бахметевский архив».

Б.А. Бахметев скоропостижно скончался от сердечного приступа 21 июля 1951 года, на 72-м году жизни, близ Нью-Йорка...

...Власть «большевистской олигархии» рухнула лишь через семьдесят лет после составления Бахметевым программы национально-демократического возрождения России и сорок лет спустя после смерти ее автора. Пришло ли время для ее реализации? Будет ли Россия демократической и процветающей, как мечтал об этом российский посол в Вашингтоне много лет назад? Ответ на эти вопросы не так однозначен, как казалось еще недавно. Возможно, послание Бориса Бахметева, дошедшее до нас только сейчас, окажется ко времени и поможет разобраться в том, «кто такие мы», как однажды написал первый посол демократической России, и чего же мы на самом деле хотим.

БОРИС
КОНСТАНТИНОВИЧ
ЗАЙЦЕВ

«Да не потонет личность
человеческая в движениях
народных!»

В середине 1920-х годов, уже в парижской эмиграции, русский литератор Борис Константинович Зайцев (1881–1972) однажды вдруг ясно припомнил тот день и час, когда его впервые в жизни пронзило чувство несовершенства этого мира. Ему, учащемуся калужской гимназии, было тогда 11 лет: «Я носил ранец и длинное гимназическое пальто с серебряными пуговицами. Однажды в сентябре, нагруженный латинскими глаголами, я сумрачно брел под ослепительным солнцем домой, по Никольской. На углу Спасо-Жировки мне встретился городской. На веревке он тащил собачку. Петля давила ей шею. Она билась, и упиралась, и жалобно волочилась по канаве рядом с тротуаром. В те годы я был очень робок. Все-таки побежал за городovým, пробормотал что-то вроде: „Куда вы ее тащите?“ Городовой посмотрел равнодушно и скорей недружелюбно: „Известно куда. Топить“. „Послушайте... — залепетал я. — Отпустите ее, за что же так мучить?“ На этот раз городской сплюнул и мрачно сказал: „Пошел-ка ты, барин, в...“»

Немолодой уже Зайцев записал в дневнике (эти фрагменты вошли потом в автобиографическое повествование «Дни»): «Я хорошо помню тот осенний день, пену на мордочке собаки, пыль, спину городского и ту клумбу цветов у нас в саду на Спасо-Жировке, вокруг которой я всё бегал, задыхаясь от рыданий. Так встретил я впервые казнь. Так в первый раз возненавидел власть и государство. С тех пор мои любви и нелюбви менялись и слагались, но через все прошла и укрепилась безграничная ненависть к казни (выделено мной. — А.К.)».

Борис Константинович Зайцев родился в Орле 10 февраля 1881 года в семье дворянина — директора металлических заводов Гужона. Отец стремился дать ему высшее техническое образование, но юный Борис Зайцев так и не окончил ни Московское техническое училище, ни Санкт-Петербургский горный институт. Быстро освободившись от искушения победить очевидные несправедливости жизни революционным заговорщичеством (Зайцев-студент одно время был близок к эсерам), Борис Константинович рано решил посвятить себя литературе, пестуя свое «пространство культуры» — полнокровное, самодостаточное и, как ему казалось, неуязвимое для поползновений политики в любой ее форме.

В первые годы XX века недоучившийся студент и начинающий литератор Зайцев с головой окунулся в мир литературной богемы. Позднее, в эмиграции, он признаётся, что окружавшие его тогда писатели, художники и, конечно, он сам мало что понимали об истинном состоянии России. Увлечённые интенсивностью жизни («Сколько бурь, споров, ссор, примирений!»), люди его поколения и круга не смогли, например, распознать великий, но и трагический феномен так называемого русского Ренессанса, частью которого явились они сами: «Россия, несмотря на явно неудачное правительство, росла бурно и пышно, таёя все же в себе отраву... Некоторые называли даже начало века „русским Ренессансом“. Преувеличенно, и не нес ренессанс этот в корнях своих здоровья — напротив, зерно болезни... Материально Россия неслась все вперед, но моральной устойчивости никакой, дух сомнения и уныния овладевал».

Большое значение в становлении литературного таланта Бориса Зайцева имело его приобщение к европейской культуре, и в первую очередь — к культуре Италии. В 1904 году вместе с женой Верой Алексеевной (дочерью А.В. Орешникова, хранителя Исторического музея) он впервые побывал во Флоренции — городе, ставшем, по собственному признанию, его «второй родиной». Тогда же, во Флоренции, он выбрал себе на всю жизнь духовного водителя — им стал гениальный поэт и несчастный скиталец Данте Алигьери. Зайцев позднее вспоминал: «Началось с Флоренции 1904 года, первой встречи с Италией. Собственно, я тогда почти ничего не знал о ней. Но как город этот сразу ударил и овладел, так и семисотлетний его гражданин Данте Алигьери Флорентинец. Не могу точно вспомнить, но наверное знаю, что он поразил сразу — профилем ли, своей легендой, неким веянием над городом. Началась болезнь, называемая любовью к Италии, несколько позже — и к самому Данте».

В годы литературной молодости, отвечая на вопросник для известного биографического словаря С.А. Венгерова, Зайцев счел важным отдельно отметить: «Не могу не прибавить, что одним из крупнейших фактов духовного развития были путешествия в Италию и страстная любовь к итальянскому искусству, природе и городу Флоренции. Не боясь преувеличить, автор этих строк мог бы сказать, что имеет две родины, и какая ему дороже, определить трудно». Это ощущение Борис Зайцев пронес через всю свою долгую жизнь. Через полвека, незадолго до смерти он напишет: «Если бы я верил в перевоплощение, то утверждал бы, что во Флоренции когда-то жил, и Данте был чуть ли не моим соседом...»

В первые полтора десятилетия XX века именно Флоренция стала главным объектом массового «культурного паломничества» в среде русской интеллигенции. В Петербурге зачинателем этой традиции принято считать блестящего историка и педагога Ивана Михайловича Гревса; его преклонение перед Флоренцией разделили затем его ученики, такие корифеи русской мысли, как Л.П. Карсавин, Г.П. Федотов, В.В. Вейдле.

А в Москве «первым флорентийцем» стал Борис Зайцев, быстро втянувшийся в эту орбиту такую новую «звезду», как искусствовед Павел Павло-

вич Муратов — автор ставшей потом культовой для интеллигенции книги «Образы Италии», которую он посвятил Зайцеву. В числе «новообращенных» оказались в 1910-х годах и мои родные дед и бабушка — присяжный поверенный и историк театра Сергей Георгиевич Кара-Мурза и его жена Мария Алексеевна, урожденная Головкина. Путевой дневник деда за 1913 год свидетельствует: настольными книжками в их итальянском турне по стандартному для «русских пилигримов» маршруту Венеция — Падуя — Флоренция — Рим — Неаполь были сочинения Зайцева и Муратова — близких знакомцев по московским литературно-художественным салонам...

Сам Борис Зайцев неоднократно писал о той «почти религиозной роли», которую Италия сыграла в жизни его, Муратова и других людей их круга: «Мы любили свет, красоту, поэзию и простоту этой страны, детскость ее народа, ее великую и благодатную роль в культуре. То, что давала она в искусстве и в поэзии, означало, что есть высший мир. Через Италию шло откровение творчества». Можно сказать, что Борис Зайцев стал одним из интеллектуальных лидеров процесса, важного для русского Серебряного века, — во многом спонтанного, но со временем все более акцентированного. Это характерный процесс размежевания двух пространств — «пространства культуры» и «пространства власти», размежевания, создававшегося в значительной степени переживаниями «памятничества» в Европу. То было движение, однозначно плодотворное для самоопределения русской культуры, но весьма неоднозначное для российской политики. Ведь значительная часть творческих сил периодически (а иногда и надолго) как бы самоустранялась с арены политики, оставляя «один на один» официальное охранительство и нарастающий русский радикализм, другими словами, Реакцию и Революцию.

В своем личном поиске предреволюционных лет, в своем разграничении пространств «власти» и «культуры» Борис Зайцев был предельно логичен и последователен: он предпочитает официальному Петербургу провинциальную Москву, а петербургской сановой политике — культуру «прекрасной Италии». Характерно, что в самой Италии он явно отдает предпочтение «родине творчества» Флоренции — перед Римом с его застывшим духом имперского величия. Но и в самом Риме для него не все однозначно: он явно предпочитает демократический Форум («светлый и дневной») имперскому Палатину («темному и ночному»). Двигала Зайцевым, судя по всему, не просто нелюбовь к политике — когда надо было отстоять свою общественную позицию, он делал это с редкой для интеллигента твердостью. Для Зайцева «политика» и «культура» — метафизически разнородные субстанции. Первая, как правило, — нивелировка, усреднение, забалтывание и омертвление смыслов. Вторая, напротив, — созидание, творчество, жизнь.

При этом Борис Зайцев вовсе не интеллектуальный сноб и не воинствующий эстет. Его не интересуют искусственные сгущения «дистиллированной культуры», он ищет реальных полнокровных проявлений

культуры победившей и побеждающей. В России он видит обратное: победу «идеи власти» (в разных ее ипостасях) над творчеством и культурой. В Италии, и в первую очередь во Флоренции, его особенно увлекает то обстоятельство, что здесь «идея культуры» оказалась настолько сильна, горда и независима, что великодушно приняла и вместила и саму политику — когда-то, между прочим, предельно темную, кровавую и тираническую.

Поразительно глубоки и интересны рассуждения Бориса Зайцева о культовом для флорентийцев месте сожжения диктатора Джироламо Савонаролы на площади Синьории. «Не раз бывало во Флоренции: был властелин, завтра растерзан. Но ныне огромная медаль выбита там (на месте казни Савонаролы. — А.К.), и в день годовщины, в середине мая, груды венков и цветов утишают боль этого сердца; дивные розы Флоренции и Фьезоле окаймляют его носатый профиль; профиль того, кто при жизни топтал их, но велико погиб и вызвал удивление и восторг веков».

Да, Савонарола был жестоким тираном, но так велика культурная сила Флоренции, что она и его (человека все-таки искреннего и верного гражданина города) готова взять под свое покровительство. Вот это особо поражает Зайцева: величие и великодушие культуры, способной принять политику как свою законную часть, пусть и не самую рафинированную. Во Флоренции политический изгнанник Данте стал со временем символом культурного величия города. Парадоксальным образом он принял казненного Савонаролу под свою опеку — и тем самым победил его. «Казнь», которую еще в юности так возненавидел Зайцев, оказалось возможным победить — победить культурой.

В разгар Первой мировой войны Зайцев по совету Павла Муратова начал работу над ритмическим переводом «Ада» из «Божественной комедии» Данте. К этому переводу он будет возвращаться в самые тяжелые годы своей жизни и окончательно завершит работу только в глубокой старости: «Дважды приходилось бросать все, скрываться на время, но на столе все стоял белый гипсовый Данте, все смотрел безучастно-сурово, с профилем своим знаменитым, во флорентийском колпаке, на возню дальнего потомка русского вокруг его текста».

Летом 1916 года 35-летний Борис Зайцев («ратник ополчения второго разряда») был призван в армию, а в декабре стал юнкером ускоренного выпуска Александровского военного училища. В июле 1917 года артиллерийский прапорщик Зайцев, тяжело заболевший пневмонией, получил отпуск и приехал для лечения в имение отца Притыкино (Каширского уезда Тульской губернии). Именно там он с опозданием узнал о большевистском перевороте: «Мне не дано было ни видеть его, ни драться за свою Москву на стороне белых».

Понятно и отношение Бориса Зайцева к большевистскому перевороту: он воспринял его как тотальную победу в России «идеи власти» над «идеей культуры». Но то, как остающийся пока в России Зайцев защищал этот сильно сократившийся плацдарм культуры в окружении наступающего пространства новой власти, заслуживает уважения и восхищения.

«Да не потонет личность человеческая в движениях народных!»

Уже в ноябре 1917 года Борис Зайцев, один из самых авторитетных русских писателей, активно включился в общественную и литературную жизнь Москвы. Ему особенно претили покушения отечественных савонаролов на свободу мысли и слова. В те дни он писал в газете Клуба московских писателей: «Гнет душит свободное слово. Старая, старая история... Жить же, мыслить, писать будем по-прежнему. Некого нам бояться, служителям слова. Нас же поклонники тюрем всегда боялись. Ибо от них и их жалких дел останется пепел. Но бессмертно слово. И осуждает. Ни сломить, ни запугать его нельзя». А 16 ноября 1917 года Зайцев публикует получившее широчайшую известность «Открытое письмо» наркому Луначарскому, с которым некогда приятельствовал во время итальянских путешествий (в 1907 году они даже жили во Флоренции в одном отеле — «Итальянской короне», неподалеку от церкви Сан-Лоренцо и капеллы Медичи).

Письмо литератора-либерала Зайцева стало своего рода манифестом о необходимости решительного размежевания русской культуры и большевистской диктатуры: «Милостивый государь Анатолий Васильевич! В мае 1907 года во Флоренции нам приходилось встречаться довольно часто, вместе бродить по городу, который вы любили, беседовать об итальянских художниках... Прошло десять лет. Ныне, игрой фатальных общественных обстоятельств, вы сделали „министром“... Вы не протестовали против цензуры социалистических газет, против принятого центральным комитетом вашей партии решения о закрытии всех „буржуазных“ газет — вы, русский писатель!.. Остается предположить, что в вас есть черты, которых я не замечал, прискорбные черты нравственной одичалости. Всякой снисходительности пределы есть. Нельзя быть писателем и дружить с полицейскими. Сколь ни печально и ни тяжело это, все же должен признать, что с такими „литераторами“, как вы, мы, настоящие русские писатели, годами работающие под стягом искусства, просвещения, поэзии, общего ничего иметь не можем».

Революционные и первые послереволюционные годы были драматическими для Зайцева. В Февральскую революцию был растерзан бесчинствующей толпой его племянник Юрий Буйневич, офицер Измайловского гвардейского полка. Через два года умер отец. Чекистами был арестован и расстрелян его пасынок Алексей Буйнов. В первые послереволюционные годы ушли из жизни друзья Зайцева — Л. Андреев, С. Глаголь, Ю. Бунин, В. Розанов, А. Блок. Зайцев вспоминал о том времени: «Убогий быт Москвы, разобранные заборы, тропинки через целые кварталы, люди с салазками, очереди к пайкам, примус, пшенка без масла и сахара, на которую и взглянуть мерзко. Именно вот тогда я довольно много читал Петрарку, том „Canzonieri“ в белом пергаментном корешке, который купил некогда во Флоренции, на площади Сан-Лоренцо... Думал ли я, что эта книга будет меня согревать в дни господства того Луначарского, с которым во Флоренции мы по-богемски жили, пили кьянти и рассуждали о Боттичелли? Да, но тогда времена были в некотором смысле младенческие». Именно в те годы «русский флорентиец» Борис Зайцев во всей полноте проявил

во многом потаенные до времени свойства своей натуры, которые позволили ему стать безоговорочным лидером свободной русской литературы — сначала в большевистской Москве, а потом и в эмиграции.

Постепенно открытая политическая борьба в Советской России становилась все менее возможной, но какое-то время можно было еще находить и удерживать отдельные анклавы культуры. Борис Зайцев написал в те первые послереволюционные годы свои знаменитые очерки о городах Италии. В предисловии к этой книге есть характерные слова: «В самый разгар террора, крови автор уходит, отходит от окружающего — сознательно это не делалось, это просто некоторая „evasion“ (бегство), вызванная таким „реализмом“ вокруг, от которого надо было куда-то спастись».

В своих итальянских очерках, написанных вдали от Италии, Зайцев противопоставляет темноте и тлену окружающей его советской повседневности светлую гармонию бессмертной Флоренции: «Есть в ней нечто от древней, бессмертной гармонии, где все на месте, все нужно и в мудром сочетании принимает побудительный, неуязвимый оттенок. Таково впечатление: тлен не может коснуться этого города, ибо какая-то нетленная, объединяющая идея воплотилась в нем и несет жизнь. Называли Флоренцию Афинами; это понятно и верно, это сродно самим богам ионическим, эллинской кругообразности, светлости мрамора; только плюс христианство, которым многое еще осветлено, еще оласковано».

Очерки, написанные в Притыкине зимой 1918/19 года, имели не много шансов быть опубликованными в России. Но для Зайцева не это было главным. «Я кончаю свою итальянскую книжку, — писал он весной 1919 года И.А. Новикову. — Она поддерживала меня этой ужасною зимой; в ее мире светлом я сколько-нибудь мог дышать... Но когда все это выйдет? Через 3-5 лет? „Посмертными произведениями“? Все равно. Это сейчас жизнь моя. Еще привожу в культурный вид малинник. Этим делом занимался и Ариосто, которого читаю и нахожу, что он на меня похож. Хороший был писатель, дай Бог ему Царства Небесного».

Позднее, уже в эмиграции, Зайцев вспоминал об одном случае, как он в мае 1919 года читал в саду интеллигентского особняка в центре Москвы главы из своей работы о Рафаэле: «Я читал за столом, вынесенным из дома под зеленую сень, в оазисе среди полуразоренной и полуголодной Москвы, в остатке еще человеческой жизни, среди десятка людей элиты — слушателями были, кроме хозяйки, Вячеслав Иванов, Бердяев, Георгий Чулков. Помню, когда я закончил, солнце садилось за Смоленским бульваром... Помню удивительное ощущение разницы двух миров — нашего, с этим золотящимся солнцем, и другого».

В апреле 1918 года в Москве был создан Институт итальянской культуры «Studio Italiano», основателями которого были работавший в библиотеке Румянцевского музея итальянец Одоардо Кампо и Павел Муратов. Кружок стал бесценным пристанищем высокой культуры в большевистской Москве. Зайцев с первых же дней был активным участником институтских сессий и неоднократно выступал там с докладами на итальянские

«Да не потонет личность человеческая в движениях народных!»

темы. О подготовке к одной из таких лекций (посвященной все тому же Данте Алигьери) Зайцев вспоминал: «Итак, иду читать. Для этого надо бы купить манжеты, неудобно иначе. Захожу в магазин. В кармане четыре миллиона. Манжеты стоят четыре с половиною. Ну, почитаем и без манжет...»

А вот еще одна грань жизни Бориса Зайцева того времени: вместе с М. Осоргиным, М. Линдом, Н. Бердяевым, Б. Грифцовым, М. Дживелеговым он приобщается к работе «Книжной лавки писателей» — букинистического магазина, еще одного островка культуры посреди тусклой и холодной Москвы. Зайцев вспоминал: «Огромная наша витрина на Большой Никитской имела приятный вид: мы постоянно наблюдали, чтобы книжки были хорошо разложены. Их набралось порядочно. Блоковско-меланхолические девицы, спецы или просто ушастые шапки останавливались перед выставкой, разглядывали наши сокровища, а то и самих нас... Летом над зеркальным окном спускали маркизу, и легонькие барышни смотрели подолгу, задумчиво, на нашу витрину. С улицы иногда влетала пыль». Бывало, что литераторы-компаньоны переписывали собственные сочинения от руки, переплетали и даже сами иллюстрировали обложки. Уже в эмиграции Зайцев как-то припомнил, что за изготовленный им таким образом сборничек итальянских эссе он получил «аж 15 тысяч рублей (фунт масла)».

Наблюдения над большевистской повседневностью, размышления о драматической судьбе России снова и снова выводили мысли Зайцева к теме любимого им Данте. Он всерьез задавался вопросом: как бы отнесся флорентийский поэт-изгнанник к новейшим катаклизмам, переживаемым человечеством? Что бы его поразило, а к чему бы он отнесся печально-равнодушно? «Борьба классов, диктатура, казни, насилия вряд ли бы остановили внимание (Данте. — А.К.), — рассуждал Зайцев. — Флоренция его века знала *popolo grasso* (буржуазию) и *popolo minuto* (пролетариат) и их вражду. Борьба тоже бывала не из легких. Тоже жгли, грабили и резали. Тоже друг друга усмиряли...» (Зайцев с усмешкой вспоминал, как во Флоренции ему показали старинный дом, где в XIV веке располагался штаб плебейского восстания «чомпи» — «первый Совет рабочих депутатов».) Другое дело, что «Данте не знал техники нашего века, его изумили бы автомобили, авиация...». Но, главное, «удивила бы открытость и развязность богохульства»: «Некрасота, грубость, убожество Москвы революционной изумили бы флорентийца. Вши, мешочники, мерзлый картофель, слякоть... И люди! Самый наш облик, полумонгольские лица». «Данте был флорентийский дворянин, — подытоживает Зайцев. — Он ненавидел „подлое“, плебейское, в каком бы виде ни являлось оно. Много натерпелся от хамства разжиревших маленьких „царьков“ Италии. Не меньше презирав и демагогов. Что стало бы с ним, если бы пришлось ему увидеть нового „царя“ скифской земли — с калмыцкими глазами, взглядом зверя, упряма и сумасшедшего? Дантовский профиль на бесчисленных медалях, памятниках, барельефах треснул бы от возмущения...»

Поразительно, но время показало, что до поры предельно аполитичный литератор Зайцев, обожатель Италии и апологет высокой культуры, на всех жизненных развилках занимал принципиальную политическую позицию. В 1921 году, вопреки интригам некоторого количества большевистствующих литераторов, он был подавляющим большинством голосов избран председателем московского Союза писателей. Летом того же года Зайцев вошел во Всероссийский комитет помощи голодающим (Помгол). Через несколько недель был арестован ВЧК по обвинению в «антисоветской деятельности» (вместе с Осоргиным, Муратовым и др.), но вскоре выпущен. Для развлечения себя и других Зайцев и другие заключенные читали в лубянской камере друг другу лекции по литературе и искусству. В мемуарной новелле с ироническим названием «Сидим» Зайцев вспоминал: «Было утро, солнечный день. Я говорил о русской литературе, как вдруг в камеру довольно бурно и начальственно вошло двое чекистов. В руке одного была бумажка. По ней он так же громко и бесцеремонно, прерывая меня, прочел, что я и Муратов свободны, можем уходить... Но, вероятно, подсознанию не понравилось вторжение „постороннего тела“, да еще грубоватого, прерывающего меня, я ответил почти недовольно: „Ну да, вот кончу сперва лекцию...“»

А потом пришло «знамение свыше», подтвердившее, что в момент жизненного выбора он, русский литератор Борис Зайцев, нашел единственно верный путь культурного самостояния. Весной 1922 года писатель тяжело заболел в Москве сыпным тифом и двенадцать суток находился без сознания — врачи считали положение безнадежным. Дочь Зайцевых, Наталья Зайцева-Соллогуб, вспоминала: «Мама беспрестанно молилась. В страшную тринадцатую ночь она положила папе на грудь иконку св. Николая Чудотворца, которого особенно чтит, и просила Господа о спасении папы. Произошло невероятное: утром к нему вернулось сознание...»

Выживать людям с такой репутацией и такого масштаба, как Борис Зайцев, в Совдепии становилось все менее возможным. «Пространство власти» исторгало из себя неугодных. Оставалось по сути два выхода: добровольный или принудительный отъезд из страны. Летом 1922 года Зайцев с женой и десятилетней дочерью Натальей выехал за границу. Официально — «для лечения», но, как оказалось, навсегда. В мемуарном очерке «Москва сегодняшняя» Зайцев вспоминал: «Март двадцать второго года — тяжелая болезнь, едва не уложившая. Бритая голова, аппетит, выздоровление — апрель. Май — пыль на московских улицах, бесконечные обивания порогов в комиссариатах... Стараемся держаться крепко, бодро: уезжаем на год, самое большее на полтора. Дела в России идут лучше, нэп приведет все к „естественному состоянию“; одолеют свобода и здравый смысл. Мы и вернемся: подлечимся, побываем в Италии, да и домой... Разгромленная комната, где я умирал, чемоданы, извозчики, медленная езда через всю Москву, на Виндавский вокзал... В этот день судят эсеров. Толпа перед бывшим Дворянским собранием. Манифестации ходят по улицам, требуют кровушки. Печально покидаем мы Москву...»

«Да не потонет личность человеческая в движениях народных!»

После лечения в Германии Зайцев осенью 1923 года провел три месяца в Италии: группа русских лекторов-эмигрантов (в нее кроме Зайцева входили также Бердяев, Муратов, Осоргин, Франк, Вышеславцев и др.) была приглашена в Рим славистом Этторе Ло Гатто. Встретились русские изгнанники, люди «одной крови». Зайцев до конца жизни вспоминал это «эмигрантское братство»: «Мы были пришельцами из загадочной страны. Наша жизнь в революцию для них (слушателей) фантастична. Голод и холод, чтения в шубах об Италии (Studio Italiano Муратова), торговля наша в лавках писателей, книжки, от руки писанные за отсутствием (для нас) книгопечатания, наши пайки, салазки, на которых мы возили муку, сахар, баранину академического пайка, — все это воспринималось здесь как быт осады Рима при Веллизарии...»

Ситуация в России не позволила Зайцевым вернуться в Россию. Не реализовались и их планы обосноваться в любимой Италии — помешала муссолиниевская диктатура. Неожиданно для многих Италию, казалось бы, уже победившего Данте сменил режим «нового Савонаролы». Вспоминая Италию 1923 года, Зайцев в очерке «Латинское небо» написал об итальянских фашистах: «На родине мы навидались товарищей. Эти — тоже товарищи, только наыворот». И перед новым 1924 годом Зайцев покинул Италию и уехал во Францию.

В 1926 году разошелся Борис Зайцев и с Максимом Горьким, которому когда-то симпатизировал: они, как ранее в случае с Луначарским, оказались все-таки принадлежащими к разным «пространствам». Поводом к интеллектуальному разрыву стал некролог Горького на смерть Феликса Дзержинского, в котором «совершенно ошеломленный» Горький вспоминал о «душевной чуткости и справедливости» умершего. «Ошеломленный», в свою очередь, Зайцев не поспешил на оценки коллеги-литератора, теперь уже бывшего: «Двусмысленный, мутный и грубый человек, очень хитрый и лживый», «при случае он отречется от своих слов, если это выгодно». И вывод: «Грустно одно: что друг палачей, восхвалитель лениных и дзержинских, разбогатевший пролетарий и человек весьма темной репутации грязнит собою русскую — русскую! — литературу. Грустно, что этот недостойный литератор в глазах Европы и прочих стран является каким-то претендентом на литературный русский трон. А между тем надо сказать прямо — письмо о Дзержинском есть основание, чтобы поднять вопрос: да можно ли вообще считать такого человека „в ограде литературы“? Ведь и Менжинский — литератор, если не ошибаюсь, даже беллетрист! А может быть, и сам покойник (Дзержинский) писал сентиментальные стишки? Нельзя никому запретить быть мерзавцем. Но в целях ясности следовало бы точнее разграничиться: писатели, скажем, составляют свой союз, спекулянты — свой, чекисты — тоже свой».

Эмиграция оказалась для Б.К. Зайцева плодотворной в творческом отношении. Он написал несколько романов, беллетризованные биографии Жуковского, Ивана Тургенева, Чехова, большое количество рассказов и мемуарных очерков. В годы Второй мировой войны в оккупированном

немцами Париже он снова возвращается к переводу «Ада» Данте. Во время англо-американских бомбежек летом 1943 года Зайцев всякий раз брал драгоценные рукописи в бомбоубежище: «Когда сирены начинают вить, рукопись забирается, сходит вниз, в подвалы... Ну что же, „Ад“ в ад и опускается, это естественно. Минотавров, харонов здесь нет, но подземелье, глухие взрывы, сотрясение дома и ряды грешников, ожидающих участи своей, — все как полагается. С правой руки — жена, в левой — „Божественная комедия“, и опять тот, невидимый, многовековой и гигантский, спускается с нами в бездны, ему знакомые. Но он держит... Все это видел, прошел и вышел...»

В годы эмиграции Борис Зайцев, никогда не нарушая бесконечно ценимой им «мистической связи» с Данте, неоднократно пытался ответить на вопрос, который он считал едва ли не решающим. Кто в русской культуре мог бы стать аналогом флорентийца Данте, быть символом борьбы русского национального жизнотворчества против косности и гниения? Всякий раз мысль закономерно приводила литератора-эмигранта к Александру Сергеевичу Пушкину, которому Зайцев посвятил ряд глубоких текстов. В статье «Пушкин в нашей душе» (написана в 1924-м, издана в 1925 году) Зайцев обращает внимание на знаменательный факт: в «канунной России», на пороге испытаний войнами и революциями, в русской литературе обострилась борьба за интерпретацию пушкинского наследия. Одним из главных защитников Пушкина выступил русский символизм, в котором «жила традиция большой духовной культуры, и была она во многом пушкинскому времени созвучна». Напротив, «восставший на Пушкина» футуризм был, согласно Зайцеву, «ранним сигналом того мрачно-грубого и механически спортивного, что дало „великую“ войну и „великую“ революцию». Эта «схватка за Пушкина», первоначально пребывавшая в «пространстве культуры», но выплеснувшаяся затем в политику, была естественна и характерна: «Как станут дружить духи тления с духами жизни? Пушкин — поэзия, и облегченность, и улыбка, космос; футуризм — развал и гибель... Кто за Пушкина, нельзя быть с мертвецами и слепыми».

«Погрубение» (выражение Зайцева) сначала литературы, а потом и «всей жизни» обозначило сначала литературную, а потом и политическую победу «футуризма». «Мы в нем и посейчас, — констатирует Зайцев. — Если под современностью разуместь аэропланы, бокс, кинематограф, спортивные романы, комсомольство и тому подобное, то ясно, что такая современность должна Пушкина отбросить. Поэзии с наглежащей материей не по дороге... Натурам более глубоким снова придется спускаться в катакомбы».

Характерно, что Зайцев все время поверяет значение Пушкина своим итальянским опытом. Пушкин, как ранее Данте и Флоренция, становится для Зайцева камертоном культуры и залогом ее будущей победы: «Кто с Пушкиным дружит, тому стыдно писать плохо — вот так возбуждающе-оздоровляюще он действует на артиста. Противоядие всякой растрепанности и неряшливости, преувеличенню, болтовне нервической. Смерть

«Да не потонет личность человеческая в движениях народных!»

провинциализму, доморощенности. Пушкин обязывает, и в его присутствии, как во Флоренции перед Palazzo Vecchio... неловко писать под Демьяна Бедного». Пушкин, по мысли Зайцева, становится для России тем, кем был Данте для объединяющейся Италии: «Пушкин, думаю, для всех сейчас — лучшее откровение России. Не России старой или новой: истинной. Когда Италия объединялась, Данте был знаменем национальным. Теперь, когда России предстоит трудная и долгая борьба за человека, его воля и достоинство, имя Пушкина приобретает силу знамени».

Бориса Зайцева принято считать крупнейшим русским христианским писателем. Это, безусловно, верно. Будучи искренне верующим христианином, Зайцев был и до конца жизни оставался христианским либералом. Взыскуемая им «христианская общность» не была безличностной корпорацией, нивелирующей и растворяющей в себе человеческие индивидуальности. Подобно позднему Герцену, Зайцев, судя по всему, мечтал о такой христианской общности, в которой, напротив, Личность способна была найти наивысшее выражение. Девизом Зайцева был сформулированный им самим тезис: «Да не потонет личность человеческая в движениях народных!»

Вера Алексеевна Зайцева умерла в Париже в 1965 году. В течение восьми последних лет она была разбита параличом; духовной опорой Зайцевым в те годы служили воспоминания о совместных поездках в Италию...

Борис Константинович прожил еще семь лет. За несколько месяцев до его смерти произошла трагикомическая история с визитом в Париж Леонида Брежнева. Советское посольство настояло тогда перед французскими властями на необходимости максимально оградить высокого гостя от возможных провокаций со стороны русских эмигрантов. Десятки русских были временно выселены из Парижа, а 90-летнего Зайцева было решено интернировать в его собственной квартире под присмотром полиции. Сам Борис Константинович потом много потешался над этим случаем, подтверждающим, что большевистские власти далекой России не только помнят о нем, но и побаиваются его авторитета и влияния.

В конце жизни Борис Зайцев, бывший в течение последних 25 лет бессменным председателем Союза русских писателей за рубежом, поместил текст-напутствие русской молодежи в эмигрантском сборнике «Старые — молодым»: «Юноши, девушки России, несите в себе Человека, не угашайте его! Ах, как важно, чтобы Человек, живой, свободный, — то, что называется Личностью, — не умирал... Пусть будущее все более зависит от действий массовых... но да не потонет личность человеческая в движениях народных. Вы, молодые, берегите личность, берегите себя, боритесь за это, уважайте образ Божий в себе и других».

Оставаясь лидером русской культуры в эмиграции, Борис Зайцев внимательно следил за тем, что происходит в России. В свое время он дал путевку в литературную жизнь юному Борису Пастернаку, вел переписку с ним, с А.А. Ахматовой, с К.Г. Паустовским. Он не отлучал культуру, оставшуюся под большевиками, от большой русской культуры.

Борис Константинович Зайцев умер в Париже 28 января 1972 года. Близкие говорили, что он до последних часов сохранял ясность мысли и только перед самым концом впал в полузабытие и ушел, что-то себе напевая... «Я надеюсь. Я в Россию верю. Выберется на вольный путь», — написал он незадолго перед смертью.

«Существо человека лежит
в его свободе...»

Среди крупнейших русских мыслителей либерального направления первое место по праву занимает Семен Людвигович Франк (1877–1950), которого о. В.В. Зеньковский назвал самым оригинальным и значительным русским философом XX века. Американский ученый Ф. Буббайер пишет о Франке как об одном из величайших умов России, подчеркивая при этом, что «как философ он представлял собой русского европейца», а в области общественно-политического движения — выразил основные идеи «русской либеральной интеллигенции». Отечественные исследователи указывают на разработанную Франком «социальную концепцию демократического либерализма», «соборного либерализма» (И.Д. Осипов), «либерального консерватизма» (А. Казаков) и т.д. Либеральные идеи Франка стали складываться еще до первой русской революции, далее первая и вторая революции укрепили его в отрицании радикального пути и утверждении пути эволюционного.

Трудно вообразить себе жизнь, более насыщенную трагическими событиями — бедностью, смертельными угрозами, житейскими неудачами, долгим непечтанием главных трудов, замалчиванием и долгим непризнанием на Западе и в России, — чем жизнь Семена Франка.

Семен Людвигович Франк родился в Москве 16 января 1877 года на Пятницкой улице; вскоре его родители переехали на северный берег Москвы-реки, в Мясницкий околоток. Его отец, Людвиг Семенович Франк, во время Русско-турецкой войны 1877 года служил военным врачом, за что получил личное дворянство и орден Св. Станислава 3-й степени: в числе его заслуг называлось «оказание первой помощи раненым под огнем неприятеля». Людвиг Франк был единственным евреем, удостоенным такой награды за военную службу, не говоря уж о дворянском звании — почти невероятном для русского еврея. Семену дворянское звание отца давало известные преимущества при поступлении в университет, что было важно для человека, ограниченного «пятипроцентной квотой».

Когда мальчику было пять лет, его отец умер от лейкемии. Теперь главным авторитетом для него стал дед по матери, знаток Библии и Талмуда. Он познакомил внука с древнееврейским языком, приучив читать на нем Библию. Разумеется, как и положено молодым людям, к шестнадцати годам Семен утратил веру, но возврат к Богу (причем к православию, а не

к иудаизму) прошел тем легче, что с детства он почти наизусть знал тексты Священного Писания. Вообще Франку легко давались языки, особенно хорошо знал он немецкий, с детства свободно говоря как на нем, так и на русском. В 1886 году мальчик, которому еще не исполнилось десяти лет, поступил в Лазаревский институт восточных языков; он проучился там около шести лет. А в 1891 году его мать вышла замуж за Василия Ивановича Зака — бывшего ссыльного народника, идеалиста и революционера. В 1892-м семья переехала в Нижний Новгород, где началось общественное воспитание подростка, оказавшегося свидетелем споров народников и первых марксистов. Вообще, Волга, как известно, дала чрезвычайно много радикальных мыслителей и деятелей. Под влиянием отчима Семен читал Михайловского, Писарева, Добролюбова, Лаврова и др. Он поступает в гимназию, но интерес к общественной борьбе не пропадает, и Франк оказывается в марксистских кружках, напряженно ища истину общественного бытия. Закончив гимназию, он возвращается в Москву и поступает на юридический факультет Московского университета. При этом активизируется пропагандистско-конспиративная деятельность юного марксиста среди рабочих (место его пропаганды — Сокольники, северный район Москвы).

Однако в 1896 году Франк порывает с этой деятельностью; после мучительных терзаний и объяснений с товарищами он уходит в науку и общественно-философскую публицистику. А в 1898 году знакомится с П.Б. Струве, который с начала 1900-х становится его ближайшим другом на всю жизнь. На два года Семен Людвигович уезжает в Берлин, где слушает неокантианца Георга Зиммеля, изучает труды Виндельбанда и Риккерта. Вернувшись в Москву, он в 1900 году публикует первую критическую в русской марксистской литературе книгу «Теория ценности Маркса и ее значение. Критический этюд». Марксистские ортодоксы уже тогда почувствовали во Франке реального противника. В своем «Дневнике» конца 1901 года он записывал: «Я имел честь быть обруганным и оплеванным самым великим инквизитором российского (да и европейского) ортодоксального марксизма Жоржем Плехановым. Он с пеной у рта, с наглыми инсинуациями и передержками обругал мою книгу. Итак, отлучение от православной церкви марксизма торжественно подтверждено: я уже давно мечтал об этом». Самый главный великий инквизитор (т.е. Ленин, по определению Ильи Эренбурга, одобренному и самим вождем) был еще не очень заметен. Их столкновение состоится позже. Пока же, отойдя от ортодоксального марксизма, Франк пытается противопоставить русскому радикализму либеральные ценности.

В журнале «Новый путь» за 1904 год (№ 11) Франк опубликовал статью «Государство и личность (По поводу 40-летия судебных уставов Александра II)». В ней написано: «Никакое счастье, никакое прочное устройство жизни невозможно при порабощении личности, этого творца всякого общественного прогресса, и, с другой стороны, никакое развитие личной духовной жизни невозможно на почве неустройства внешней, матери-

альной жизни, на почве обездоленности народа. Несмотря на это, как в нравственной жизни отдельной личности, так и в политике общества, оба указанных начала нередко вступают в коллизию между собой, и одно из них приносится в жертву другому». Основные отстаиваемые Франком ценности — это классические либеральные ценности: свобода личности, общества и чувство человеческого достоинства, которое нельзя подчинять никакой внешней доктрине. Тем не менее он вполне отдает себе отчет в необходимости социальных преобразований, призванных преодолеть «обездоленность народа». Но решает ли этот вопрос радикальный нигилизм? Здесь у Франка возникают большие сомнения, ибо обездоленность преодолевается через полноту жизни, а не через запреты духовных интересов. Свою общественно-нравственную позицию, направленную против утилитарной этики русских народников и марксистов, он в 1903 году определил в письме к П. Струве: «Русская национально-историческая задача теперь — это осуществление европейских идеалов. Гегель бы сказал, что европейский „дух“ переселился в Россию и должен в ней себя проявить. Практически это сводится к тому, чтобы указать на неуместность того отрицательного отношения к истинным основам политического либерализма, которое у нас так в ходу». А после мартовских выборов в I Думу он писал о единстве народа и интеллигенции.

Революция 1905 года оказалась весьма серьезной корректировкой и уточнением его взглядов: она открыла путь к стоическому «христианскому реализму» как основе подлинного либерализма в европейской, прежде всего русской, культуре. Быть может, устойчивости его философской позиции послужил на редкость счастливый брак с Татьяной Барцевой, дочерью директора крупного пароходства в Саратове (они обвенчались в 1908 году). Влюбившись, Татьяна Сергеевна из православной стала лютеранкой, поскольку лютеране могли заключать браки с евреями, чего не разрешалось православным. Невеста была младше своего профессора на десять лет, но они прожили в любви и согласии сорок два года, до смерти Франка, пройдя вместе сквозь все исторические и социальные катастрофы. После его смерти вдова написала два удивительно трогательных мемуара «Наша любовь» и «Память сердца». В них она выговорила свое жизненное кредо: «Жестокая жизнь вне родины, всегда везде чужие, борьба за детей, вырастить нужно, научить чему-то, выпустить в жизнь не с пустыми руками. Нужно жить так, чтобы не отвлечь отца их от самого важного в жизни его дела — дела мысли и творчества». Но это позже, пока же Франк — сравнительно молодой мыслитель, который обращает на себя все более заинтересованное внимание публики. Как попытка осмысления первой русской революции в 1909 году выходит сверхзнаменитый сборник «Вехи», вызвавший поток откликов. Статья Франка «Этика нигилизма» завершала сборник, как бы подводя итоги высказанного другими соумышленниками. (Вообще, давно замечено, что в сборниках или публикациях конференций читаются главным образом первые две статьи и последняя.)

Что же в ней сказано?

Революция 1905 года побудила Франка к анализу метафизики ценностей русского радикализма. Самое интересное, что едва ли не единственный из авторов «Вех», он сумел понять моральный смысл русского нигилизма, который, казалось бы, даже по названию не должен иметь никакого представления о ценностях. При этом Франк, указав на этический пафос русской нигилистической интеллигенции, пытался предложить ей другие ценности, уводящие с гибельного пути, способного привести к катастрофе, самоотрицанию да и к физическому уничтожению. В своей веховской статье он писал: «Символ веры русского интеллигента есть благо народа, удовлетворение нужд „большинства“. Служение этой цели есть для него высшая и вообще единственная обязанность человека, а что сверх того — то от лукавого. Именно потому он не только просто отрицает или не приемлет иных ценностей — он даже прямо боится и ненавидит их... Деятельность, руководимая любовью к науке или искусству, жизнь, озаряемая религиозным светом в собственном смысле, т.е. общением с Богом, — все это отвлекает от служения народу, ослабляет или уничтожает моралистический энтузиазм и означает, с точки зрения интеллигентской веры, опасную погоню за призраками». Но именно эта установка и воспитала дьяволов, которые под предлогом принятия интеллигентской веры уничтожали все остальные ценности, а потом и саму интеллигенцию, ибо пришел нигилизм без этики, которому и интеллигентская вера была совсем не нужна.

Русский интеллигент, писал Франк, «хочет сделать народ богатым, но боится самого богатства как бремени и соблазна и верит, что все богатые — злы, а все бедные — хороши и добры; он стремится к „диктатуре пролетариата“, мечтает доставить власть народу и боится прикоснуться к власти, считает власть — злом и всех властвующих — насильниками». Поэтому Ленин и называл интеллигенцию «говном», что она боялась взять власть, а всех властителей считала злодеями, обрекая себя тем самым — парадоксальным образом — как бывших печальников за народ на уничтожение во имя народа под кличкой «враги народа».

Статью «Этика нигилизма» можно прочесть как предостережение русской интеллигенции. Чтобы уцелеть, полагал автор, она должна встать «перед величайшей и важнейшей задачей пересмотра старых ценностей и творческого овладения новыми. ...На смену старой интеллигенции, быть может, грядет „интеллигенция“ новая, которая очистит это имя от накопившихся на нем исторических грехов, сохранив неприкосновенный благородный оттенок его значения». Но надо было пережить адский промежуток времени, чтобы чудом сохранившиеся остатки русской интеллигенции сумели оценить важность советов, содержащихся в «Вехах». Книги не учат.

В 1910 году Франку довелось откликнуться на теоретическую основу большевизма, книгу Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Он написал, что «более отвратительного сочетания отвлеченных понятий с бранными эпитетами трудно себе представить» и что любой разумный человек понимает: «эта манера отношения к философским проблемам свидетель-

«Существо
человека
лежит в его
свободе...»

ствует о внутренней несостоятельности автора». Кто бы знал, что этот человек будет вскоре определять судьбу России, ее населения, в том числе и самого Франка! А еще из судьбоносных событий его жизни надо назвать обращение в православие в 1912 году. Речь, конечно же, не о карьерном принятии господствующей религии. Семен Людвигович христианином себя чувствовал давно. Очевидно, живя в России, он принял ту форму христианского вероисповедания, которая не являлась каким-либо общественным или политическим демаршем, чтобы сохранить внутреннюю сосредоточенность на религиозных проблемах. Уже в эмиграции из его текстов станет понятно, что, по сути, он исповедует своего рода философское, надконфессиональное христианство, хотя в форме одной из конфессий.

В 1915 году на средства историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета Франк издает написанный им в первый год войны трактат «Предмет знания». По мнению исследователей его творчества, эта книга наряду с «Непостижимым» и «Светом во тьме» входит в великую триаду основных религиозно-философских сочинений мыслителя, сделавших его одной из центральных фигур европейской мысли XX столетия.

Но шла война; помимо обычных бед, связанных с любой войной, она привела к колоссальной геополитической катастрофе. Если говорить о России, то великая империя не просто рухнула — на ее развалинах установился невиданный в истории человечества тоталитарный строй. И дело не только в его чудовищной жестокости и полном презрении к человеческой жизни — такое бывало и во времена нашествий Атилы или Тамерлана. Дело в полной смене ценностных ориентиров. Как писал Мераб Мамардашвили, при тоталитаризме у всех людей «образовался новый язык видения, действия стихии». «Слушайте музыку революции», — говорил Блок. После февраля 1917 года вслушивались в эту музыку с надеждой. Но Февральская революция оказалась лишь прелюдией к мощному звуковому удару, потрясшему мир. И не только в те десять дней Октября, о которых писал американец Джон Рид. Потрясение всего состава человеческой жизни длилось несколько десятилетий. Особенно тяжело этот удар перенесли те люди, которые понимали, что произошло.

Бытовая канва жизни Франка такова: после Февральской революции В.И. Вернадский, И.М. Гревс и министр просвещения С.Ф. Ольденбург пригласили его в Саратовский университет ординарным профессором возглавить историко-филологический факультет. В это время там работали известный германист В.М. Жирмунский, славист М.Р. Фасмер и молодой профессор истории Г.П. Федотов; почти все профессора этого университета впоследствии оказались в эмиграции. Франк прожил в Саратове с сентября 1917 года до осени 1921-го. Это были годы Гражданской войны, голода, тифа, продовольственных реквизиций. За Франком чекисты приходили несколько раз, но не заставляли дома. Приходили с вполне ясными намерениями, ибо в эти же дни они расстреляли и повесили несколько десятков интеллигентов.

В 1918 году Семен Людвигович получил от Струве письмо, в котором тот предлагал авторам «Вех» создать новый сборник, который осмыслил бы судьбу России в контексте революции. Сборник «Из глубины» (кстати, это заглавие является, по сути, переводом заглавия статьи Франка «De profundis», тоже заключавшей собой этот том) написали и собрали в том же году. Однако публикация его в силу развернувшегося большевистского террора задержалась, и он был выпущен в свет только в 1921 году силами московских наборщиков типографии, самовольно распространивших его по городу. Далее Москвы он тогда не пошел, хотя впоследствии стал одним из наиболее цитируемых сборников русских мыслителей. Именно здесь Франк задал вопрос, мучивший многих русских либеральных мыслителей, и не только задал, но попытался найти на него ответ.

Вопрос этот напрашивался сам собой, однако требовалось интеллектуальное мужество, чтобы сформулировать его с такой прямоотой: «Бессилие либеральной партии, — писал Франк, — объединяющей, бесспорно, большинство наиболее культурных, просвещенных и талантливых русских людей, объясняют теперь часто ее государственной неопытностью». Но и Кромвель, и Робеспьер, и Ленин тоже не имели политического опыта. Это Франк видел ясно. И все же радикалы победили, а либералы проиграли. Почему? Ответ был очень резким: «Основная и конечная причина слабости нашей либеральной партии заключается в чисто духовном моменте: в отсутствии у нее самостоятельного и положительного общественного мирозерцания и в ее неспособности, в силу этого, возжечь тот политический пафос, который образует притягательную силу каждой крупной политической партии». Надо сказать, что именно Франк сумел в результате сформулировать религиозно-метафизическую основу либеральной позиции, но произошло это уже после Второй мировой войны. Он увидел эту необходимость и осознал ее как проблему русской мысли: «Организирующую силу имеют лишь великие положительные идеи — идеи, содержащие самостоятельное прозрение и зажигающие веру в свою самодовлеющую и первичную ценность. В русском же либерализме вера в ценность духовных начал нации, государства, права и свободы остается философски не уясненной и религиозно не вдохновленной». Задача, как понятно, не простая.

«Существо
человека
лежит в его
свободе...»

А пока он вернулся из Саратова в Москву, стал профессором в организованной Бердяевым Вольной академии духовной культуры, совместно с Бердяевым, Степуну и Букшпаном принял участие в знаменитом сборнике «Освальд Шпенглер и закат Европы» (1922). Именно этот сборник вызвал невероятное раздражение Ленина, назвавшего сугубо культурфилософское издание «прикрытием белогвардейской организации». Чтение именно этого сборника навело вождя пролетарской революции на мысль изгнать своих интеллектуальных оппонентов из Советской России. Что и было сделано с дьявольским издевательством над лучшими умами России: их арестовали, посадили в камеры, откуда других людей уводили на казнь, а потом предложили выбор между изгнанием и расстрелом. Вот

дело Франка, заключение ГПУ от 22 августа 1922 года: «С момента октябрьского переворота и до настоящего времени он не только не примирился с существующей в России в течение 5 лет Рабоче-Крестьянской властью, но ни на один момент не прекращал своей антисоветской деятельности, причем в момент внешних затруднений для РСФСР гражданин Франк свою контрреволюционную деятельность усиливал».

В тот же день у него была взята подписка следующего содержания: «Дана сия мною, гражданином Семеном Людвиговичем Франком, ГПУ в том, что обязуюсь не возвращаться на территорию РСФСР без разрешения Советской власти. Ст. 71 Уголовного кодекса РСФСР, карающая за самовольное возвращение в пределы РСФСР высшей мерой наказания, мне объявлена, в чем и подписуюсь. Москва, 22 августа 1922 года».

Татьяна Сергеевна Франк очень просто повествует о тех временах: «Были много раз на краю гибели и от тифа, и от безумия толпы — от зеленых, от красных. Могли быть повешены и тут, и там, могли быть брошены в тюрьму, но рука Провидения выводила нас из всех испытаний и вела нас все дальше и дальше. Арест, освобождение — наконец, свобода, мы за гранью бессовестной сатанинской власти». Но надо сказать, что Франк боялся эмиграции. В декабре 1917-го, словно предчувствуя высылку, он писал Гершензону: «Наши слабые интеллигентские души просто не приспособлены к восприятию мерзостей и ужасов в таком библейском масштабе и могут только впасть в обморочное оцепенение. И исхода нет, п.ч. нет больше родины. Западу мы не нужны, России тоже, п.ч. она сама не существует, оказалась ненужной выдумкой. Остается замкнуться в одиночестве стоического космополитизма, т.е. начать жить и дышать в безвоздушном пространстве». А в протоколе допроса содержится его ответ следователю о перспективах русской эмиграции за границей: «Эмиграция еще сохраняет свои умственные и духовные силы в условиях вынужденного бездействия и оторванности от родины, должна сосредоточиться на культурной подготовке себя к моменту, когда условия позволят ей снова работать на родине».

Но никакого примирения (даже ради России) он не искал, это была абсолютная бескомпромиссная позиция. Впрочем, судя по подписанному им протоколу, возврат в Россию означал путь на тот свет, означал смерть. Возникла экзистенциальная ситуация, из которой, как понятно, нет выхода. Точнее, выход один — пытаться ее преодолеть, причем не только бытовым образом, т.е. выживанием, но и сохранением своей сущности, несмотря на удары судьбы.

В Германии у Франка вышло в 1922 году «Введение в философию в сжатом изложении», в 1923-м — сборник статей «Живое знание». Затем немецкие издательства стали печатать его все менее охотно. В 1924 году его знаменитая книга «Крушение кумиров» появилась уже в американском издательстве «YMCA PRESS»; продолжение этой книги («Смысл жизни»), написанное в 1925 году, издано в 1926-м в Париже.

В 1930 году, тоже в Париже, вышла книга С.Л. Франка «Духовные основы общества» — ставшая своего рода «учебником обществоведения» для

эмигрантской молодежи. Говоря о необходимости солидарности и соборности общественной жизни, автор вместе с тем отстаивает основную парадигму либерального мирозерцания — парадигму личности и свободы: «Существо человека лежит в его свободе, и вне свободы немислимо вообще человеческое общество. Какую бы роль в общественной жизни ни играл момент принуждения, внешнего давления на волю, в последнем итоге участником общества является все же личность. ...Самая суровая военная и государственная дисциплина может только регулировать и направлять общественное единство, а не творить его: его творит свободная воля». Франк очень много преподавал и писал для русской молодежи. Как вспоминал его сын, «с 1931 по 1933 год С.Л. читал лекции по-немецки в берлинском университете при кафедре славянской филологии по истории русской мысли и литературы. За 15 лет жизни в Германии С.Л. много разъезжал для чтения публичных лекций и по-русски, и по-немецки (немецким он владел в совершенстве). Бывал в Чехословакии, в Голландии, ездил в Италию, в Швейцарию, во Францию, на Балканы, в Прибалтику».

Жизнь была нелегкой; особенно страшно стало в Европе после прихода к власти Гитлера. Но и в этой ситуации Франк и его жена сохраняли абсолютную верность самим себе, не склоняясь перед обстоятельствами. Франка поразило то, какую поддержку немецкий народ оказал нацистам. Он видел в этом вульгаризацию культуры, «новое варварство», хотя и думал, что покидающие Германию евреи преувеличивают опасность. Однако почти сразу после установления нацистского режима Франка, как еврея, лишили права преподавать. Начался почти настоящий голод. В последней квартире в Берлине, которую семья снимала с 1933 по 1937 год, не имелось ни холодильника, ни горячей воды. В 1937-м Франка дважды вызывали в гестапо. Стоит подчеркнуть, что Татьяна Сергеевна была стойчески тверда — стойчески, но очень по-русски, в духе типичной преданной жены. Сама она пишет так: «В мире появился новый, небывалый, страшный по сравнению с властью на нашей родине, изувер-безумец Гитлер. ...И вот опять неравная страшная борьба, в которую я должна вступить, страх за самое дорогое в жизни давал нечеловеческие силы и изощренность в способах спасения. Угроза гибели только за то, что родился в народе Его и стал Его учеником, — этого не могло вместить ни мое сердце, ни мой разум... Все отдать, но только не потерять его, спасти, и спасла». Самая серьезная проблема военных лет, когда жизнь стоила ровным счетом нуль, — не впасть в отчаяние. Франк рассматривал эти годы как очередное посланное ему интеллектуальное искушение.

В конце 1937-го они спешно уехали, скорее, бежали из Германии. Сам философ шуточно сказал дочери Наталье: «Главное в жизни — помнить, что жизнь — это путешествие». В 1938 году с помощью Бердяева Семен Людвигович получил вид на жительство во Франции и маленькую стипендию на два года от Национальной кассы научных исследований. Здесь он дорабатывал свой труд «Непостижимое», самим Франком написанный по-немецки — автору казалось, что немецкий язык даст ему как мысли-

«Существо
человека
лежит в его
свободе...»

телю более широкую аудиторию. Но на этом языке книга тогда так и не вышла. Семен Людвигович очень переживал эту издательскую неудачу, но тем не менее взялся сам переводить текст на русский язык. «Непостижимое» было опубликовано издательством «Дом книги и Современные записки» в авторском переводе на русском языке в Париже в 1939 году.

После падения Чехословакии все евреи по рекомендации французского правительства выехали из Парижа в провинцию. Франки сначала уехали в Нормандию, потом в Гренобль. Шла страшная жизнь; они переживали бесконечные облавы на евреев, жена прятала Франка на лесной горе,нося туда пищу и питье. Семен Людвигович говорил жене, что если она умрет раньше, то он умрет на ее могиле, как верная собака. Начиная с 1942 года Франки пытались выбраться в Англию. Однажды чудо едва не случилось: они купили билет в Лондон через Лиссабон, но португальская транзитная виза опоздала. И снова начались бедствия беженцев. По воспоминаниям Л. Бинсвангера, Франк «неоднократно повторял, что двух революций слишком много для одной жизни». Но именно в этих условиях он и создал свои основные труды, отвечая на вопрос, поставленный им еще в России. Более того, быть может, постоянное размышление над причинами, породившими апокалиптический взрыв в октябре 1917 года в России, позволило Франку в эпоху интеллектуальной растерянности западноевропейских философов сформулировать и развернуть принцип бытия человека на Земле, чтобы он мог осознанно и достойно быть хранителем света во тьме.

Летом 1945 года с помощью детей, уже перебравшихся в Лондон, Семен и Татьяна Франк переезжают на постоянное жительство в Великобританию, где последние пять лет мыслитель мог провести сравнительно уединенно, в непрестанном научном труде. Не без горькой иронии он заметил в одном из писем: «Хватит уже всемирной истории в моей жизни». Но его работы этих лет ставили именно такую задачу: найти основу достойного существования человека, заброшенного в эту самую всемирную историю.

Быть может, центральная его книга, написанная в этих страшнейших условиях, книга, в которой есть ответы на вопросы, заданные им когда-то самому себе и русской (да и европейской) культуре, — трактат «Свет во тьме» (1949). Это — книга итогов; внимательный читатель ясно разглядит в ней темы и сюжеты предыдущих работ мыслителя, иногда — почти цитаты (из «Крушения кумиров», «Смысла жизни», «Онтологического доказательства бытия Божьего», «Непостижимого» и др.). Знаменитая «Ересь утопизма» (1946) является, по сути, парафразой одной из частей этой книги. В предисловии автор замечает: «Предлагаемое сочинение было задумано еще до начала войны и первоначально написано в первый год войны, когда еще нельзя было предвидеть весь размер и все значение разнузданных ею демонических сил. Позднейшие события ни в чем не изменили моих мыслей, а скорее только укрепили и углубили их». Как почти всегда бывало с ним начиная с 1930-х годов, книга вышла спустя несколько лет после ее написания.

Бердяев как-то обронил фразу, что нынешнее время страшно своей возможностью исполнить любую утопию. Франк занимает позицию, близкую Достоевскому. Исполнение утопии, на его взгляд, невозможно в принципе, ибо реализация человеческого своеволия перестроить весь мир до основания ведет только к крови и страданиям, а светлая мечта о спасении и осчастливливании всех людей в этом случае превращается в мрачное прославление ненависти, жестокости, бесчеловечности как нормальных двигателей жизни. Дело в том, что попытка построить новый, идеальный мир натывается на реальное препятствие — существующий, нынешний, по мнению утопистов — несовершенный, мир. Утопия, переведенная из мечты в практику, наталкивается на необходимость «расчистить место», чтобы построить «новый мир», а для этого необходимо полностью уничтожить мир прежний, который вроде бы несовершенен в своей бытийственной основе. Значит, необходимо нечто, напоминающее Всемирный потоп, когда-то сотворенный Богом. Характерна строчка великого поэта русской революции Маяковского: «Мы разливом второго потопа // перемоем миров города!» («Наш марш»). В результате потоп приходит, но нет ковчега спасения. Как не раз подчеркивал Франк, трагизм, крушение упований, власть зла на земле, бессмысленность жизни не есть «своеобразие данной исторической эпохи», а «есть имманентное, вечное свойство всякой вообще человеческой жизни в ее эмпирическом течении и облике». Зло настолько органически пронизывает состав этого мира, его бытие, что попытка уничтожить зло может привести лишь к уничтожению мира. Более того, желание разрушить основу этого несовершенного мира означает, в свою очередь, «разнуздание в нем сил зла». Франк полагает поэтому, что любое усилие «осуществить „царство Божие“ или „рай“ на земле, в составе этого неизбежно несовершенного мира, с роковой неизбежностью вырождается в фактическое господство в мире адских сил».

Он разводит два принципа мирочувствия: признание «власти тьмы» в мире и пытающийся ее преодолеть насилем «демонический утопизм»: «В самом деле, убеждение во „власти тьмы“ имеет своим определяющим моментом отрицание утопизма, отрицание веры в осуществимость идеального состояния человеческой и мировой жизни. Напротив, воззрение, в основе которого лежит культ „тьмы“ и которое мы назвали демоническим утопизмом... противоестественно, противоречиво сочетает отрицание силы добра, веру в силу темных начал именно со своеобразным утопизмом, т.е. с верой, что тьма есть творческая сила, которой дано осуществить идеальное состояние мирового и человеческого бытия».

«Существо человека лежит в его свободе...»

Но поскольку утопическое своеволие так или иначе опирается на идею тьмы, то, на первый взгляд, существование человека в историческом потоке абсолютно безнадежно и бесперспективно. Не случайно в мире воцаряется, по Франку, «скорбное неверие», которое он считает «одним из самых характерных и трогательных явлений духовной жизни» своей эпохи. Глубоко и искренно чувствующий и думающий человек «разочаровался не только в суетной вере утопизма, но и вообще в осуществлении в мире

высших ценностей; он пришел к убеждению, что добру и разуму не только не гарантирована победа в мире, а скорее даже предопределено поражение, ибо по общему правилу в мире торжествуют силы зла и безумия». Но Франк — и в этом задача его книги — выстраивает своего рода религиозное оправдание истории, предпринимает попытку найти основу и, стало быть, возможность достойного существования человека в мире тьмы.

По существу, книга русского мыслителя явилась попыткой философского истолкования евангельской фразы: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:5). Как он сам утверждал, обращение к этой фразе было глубоко осознанным, ибо к восприятию и утверждению содержащейся в ней истины человеческое сердце приводила духовная проблематика эпохи. «Свет», пришедший в земную «тьму» и не загашенный земным мраком, — это Иисус Христос. Конечно, многие считают, замечал Франк, что дело Христа постигла неудача, но «дело Христово абсолютно удалось, ибо его удача совсем не измеряется „удачей в мире“ — Христос внес в мир вечный свет любви, который светит во тьме, и тьма не объяла его, — Христос с самого начала знал, что этот свет не будет „иметь удачи“ в мире, будет гоним, и хотел, чтобы он был гоним, потому что этот свет и светит только через страдание. ...И мы должны быть с Ним именно как с вечно гонимым и в гонении торжествовать величайшую и абсолютную победу над всем миром». В этой идее и состоит пафос грандиозного трактата. Эпоха торжества идеократических режимов говорила о, казалось бы, безусловном поражении даже слабых вариаций либеральных умонастроений. Но надо было быть достаточно чутким к движению времени и вместе с тем — истинным стойком, чтобы увидеть в густой тьме возможность света, который строит духовную свободу человека. Именно в христианстве Франк увидел духовный аналог устремлений современного либерализма, отстаивавшего человеческие честь и достоинство.

Когда-то невероятно глубоко увлекавшийся ницшеанскими идеями, переводивший его тексты на русский язык, Франк, пережив катастрофы XX века, попытался преодолеть антихристианство и мизантропию Ницше, который видел в человеке лишь мост к сверхчеловеку. И это не случайно. Преодолеть Ницше в известном смысле означало найти основу для противостояния большевизму и нацизму. Восприятие Ницше как тайного советника большевистского переворота, высказанное Степуном, по сути дела, являлось общим для русской эмиграции. Когда-то Соловьев в споре с автором «Заратустры» писал, что самое великое деяние для живого существа — преодоление смерти; такой человек был один, это — Христос, поэтому только его мы можем назвать сверхчеловеком; но и это название неточно, ибо он Богочеловек. Франк к этому добавляет, что христианство говорит о богосыновстве каждого человека.

Именно на этом соображении строит Франк свое кредо о достоинстве человека, столь униженного и забитого в страшные десятилетия XX века. В полемике с антихристианской установкой сильных личностей, выдвигая идею о Богосыновстве каждого человека, Франк утверждает не приниже-

ние людей, а их высшее, аристократическое достоинство. В книге «Свет во тьме» он писал: «Вопреки всем распространенным и в христианских, и в антихристианских кругах представлениям, благая весть возвещала не ничтожество и слабость человека, а его вечное аристократическое достоинство. Это достоинство человека — и при том всякого человека в первооснове его существа (вследствие чего этот аристократизм и становится основанием — и при том единственным правомерным основанием — „демократии“, т.е. всеобщности высшего достоинства человека, прирожденных прав всех людей) — определено его родством с Богом. ...Вся мораль христианства вытекает из этого нового аристократического самосознания человека; она несть, как думал Ницше (введенный в заблуждение историческим искажением христианской веры), „мораль рабов“, „восстание рабов в морали“; она вся целиком опирается, напротив, с одной стороны, на аристократический принцип *noblesse oblige* и, с другой стороны, на напряженное чувство святости человека, как существа, имеющего богочеловеческую основу».

Почему Франку это важно? Потому что дает основу для либерализма и демократии, для тех завоеваний человеческой цивилизации, которые он считал результатом христианизации мира. Здесь мы подходим к его пониманию «христианского реализма». Для Маркса христианство — «опиум народа»; Ницше называет христианство самой острой формой вражды к реальности, какая только до сих пор существовала. Напротив, Франк говорит о христианском реализме, который — в отличие от чисто земного, равнодушного к царящему в мире злу, — сознавая опасность утопизма, стремится к свободному совершенствованию жизни и отношений между людьми. Он полагает, что гуманистическая вера в человека, приведшая через «профаный гуманизм» к отмене рабства, политической свободе и гарантии неприкосновенности личности, социальным и гуманитарным реформам, — «христианского происхождения».

А к концу книги эта мысль сформулирована совершенно отчетливо: «Именно теперь, в тяжкую эпоху сгущения тьмы над миром, когда основным нравственным достижениям европейской культуры грозит гибель, следует отчетливо осознать, что такие достижения, как, например, отмена рабства, отмена пытки, свобода мысли и веры, утверждение моногамной семьи и равноправия между полами, политическая неприкосновенность личности, судебные гарантии против произвола власти, равноправие всех людей вне различия классов и рас, признание принципа ответственности общества за судьбу его членов, — что все это суть достижения на пути христианизации жизни, приближения ее порядков к идеалу Христовой правды. То, что имеет вечную ценность в идеалах демократии и социализма — не как специфических социально-политических систем, а как начал свободы и равенства всех людей, святости личности в качестве „образа“ и „чада“ Божьего, и братской солидарной ответственности всех за судьбу всех, — есть именно осуществление неких порядков и признание неких обязанностей, косвенно и приближенно выражающих — сквозь зло и несовершенство мирового бытия, и в производном плане закона и по-

«Существо человека лежит в его свободе...»

рядка — новое, просветленное светом Христовой правды, нравственное сознание человечества».

Надо сказать, что Франк прекрасно понимал неосуществимость своих идей при нынешнем конфессиональном разделении христианской церкви. В 1940-х годах он писал о своем религиозном опыте сыну Виктору, перешедшему в католичество: «После бурного увлечения церковной верой я теперь... нахожу... духовную почву только в сознании, что я „христианин“, член вселенской христовой церкви, а... никакого отдельного исповедания; кое-что очень ценное в православии, непонятное европейцам, мне очень близко и дорого, но в принципе я могу только сказать, что я и православный, и католик, и протестант, и никто из всего этого в отдельности и замкнутости». Франка нельзя приписать, разумеется, ни к какому институализованному течению вроде экуменизма — слишком он сам по себе. Себя он называл «христианским универсалистом» или, пользуясь характерным для русской религиозно-философской эмиграции выражением, — «надконфессиональным христианином». Эта позиция исключала и национальную самовлюбленность, воспевающую особность русской культуры. В своем знаменитом письме 1949 года Г.П. Федотову, которого русская эмиграция обвинила в антипатриотизме, он писал: «Ваша способность и готовность видеть и бесстрашно высказывать горькую правду в интересах духовного отрезвления и нравственного самоисправления есть редчайшая и драгоценнейшая черта Вашей мысли. Вы обрели этим право быть причисленным к очень небольшой группе подлинно честных, нравственно трезвых, независимо мыслящих русских умов, как Чаадаев, Герцен, Вл. Соловьев (я лично сюда присоединяю и Струве), знающих, что единственный путь спасения лежит через любовь к истине, как бы горька она ни была. Роковая судьба таких умов — вызывать против себя „возмущение“. ...Русские меньше, чем кто-либо, склонны уважать независимую мысль и склоняться перед правдой. Замечательно у русских, как склонность к порицанию порядков на родине всегда сочеталась и доселе сочетается с какой-то мистической национальной самовлюбленностью. Русский национализм отличается от естественных национализмов европейских народов именно тем, что проникнут фальшивой религиозной восторженностью и именно этим особенно губителен. „Славянофильство“ есть в этом смысле органическое и, по-видимому, неизменное нравственное заболевание русского духа (особенно усилившееся в эмиграции)... Характерно, что Вл. Соловьев в своей борьбе с этой национальной самовлюбленностью не имел ни одного последователя».

Именно в религиозном осмыслении прав отдельной личности мыслитель видит возможность укоренения в русской культуре ценностей правосознания, противостояния разрушительным началам смуты, ибо для него любая революция — вариация смуты, уничтожающей всяческое представление о чести, достоинстве и свободе человека. А те две смуты-революции, которые он пережил сам (большевизм и нацизм), совершались под прикрытием лозунгов добра. Но добра, как доказывал Франк, не может

быть, если уничтожается жизнь и достоинство человека. Поняв религиозную санкцию человеческих прав, европейское общество сможет противостоять разрушительным инстинктам «восстания масс». Но в отличие, скажем, от Федора Степуна, видевшего в XX веке борьбу «интересократии» и «идеократии», где «идеократия» всегда побеждает, Франк увидел в истории борьбу христианского принципа личности и света и антихристианского начала тьмы, массы. В этой ситуации идея «христианского реализма», им выдвинутая, учила и в поражении видеть победу, помня о крестном пути Христа, который в конечном счете победил смерть и сумел дать нравственный ориентир человечеству.

В августе 1950 года Франк заболел раком легких. До самой своей смерти в декабре Семен Людвигович уже не покидал своей комнаты. Но, как вспоминают родственники и близкие, он умирал окруженный заботой жены, переживая совершенно невероятные озарения духовного плана — о них он только говорил, но запечатлеть на бумаге уже был не в состоянии. В какой-то момент от бесконечных мучений ему вполне мистически привиделось, что он, по его словам, «приобщился не только к страданиям Христа, а, как ни дерзновенно это сказать, к самой сущности Христа». Впрочем, он всегда говорил, что страдание — это путь к Христу. В жизни ему пришлось много страдать. Но сама кончина его была очень спокойной, во сне. Похоронен С.Л. Франк на окраине Лондона.

«Духовное спасение
России заключается
в возрождении
потребности в свободе...»

Георгий Петрович Федотов родился в Саратове на праздник Покрова 1 октября 1886 года в семье «правителя дел» губернаторской канцелярии. Саратов и волжские берега навсегда останутся любимой малой родиной Федотова, куда он будет возвращаться в трудные моменты жизни и о которой будет мечтать в годы вынужденной эмиграции.

Окончив первым учеником Николаевскую гимназию в Воронеже, он вскоре поступил в Санкт-Петербургский технологический институт. Однако революционные события 1905 года захватывают Федотова, примкнувшего поначалу к радикальным социалистам. Арест и высылка за границу способствуют продолжению образования — Федотов изучает историю в Берлинском и Йенском университетах. Тогда же в Германии он оказывается под влиянием христианской гуманистической философии и постепенно отходит от марксистского материализма.

Осенью 1908 года Федотов возвращается в Россию и поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета, где попадает в кружок выдающегося педагога-просветителя, убежденного европейца Ивана Михайловича Гревса, вырастившего целую плеяду крупных историков и культурологов, среди которых Лев Карсавин и Владимир Вейдле. Увлечшись благодаря Гревсу проблемами европейского Средневековья, Федотов окончательно отходит от политики. Тем не менее он продолжает оставаться под надзором полиции и, подвергшись несколько раз обыскам и опасаясь ареста, уезжает по подложному паспорту в Италию, где работает в библиотеках Рима и Флоренции, зарабатывая на жизнь частными уроками в семьях богатых русских. Впоследствии в работе «Лицо России» (1918) Федотов писал о той огромной роли, которую сыграла Италия в его становлении как историка русской культуры: «Именно более глубокое погружение в источники западной культуры открыло великолепную красоту русской культуры. Возвращаясь из Рима, мы впервые с дрожью восторга всматривались в колонны Казанского собора; средневековая Италия делала понятной Москву».

Вернувшись в Россию, Федотов был приговорен к годичной ссылке и выбрал Ригу, где занялся подготовкой диссертации. После возвращения

в Петербург он успешно сдал магистерские экзамены и был оставлен при университете, где вскоре получил приват-доцентуру по кафедре Средних веков, работая одновременно хранителем отдела искусств Публичной библиотеки.

Первую мировую войну Федотов воспринял как совместную борьбу россиян за свободу в союзе с западными демократиями. Февральская революция 1917 года была встречена им без восторга: он понимал, что русская демократия слишком хрупка и бессильна перед натиском разрушительных бескультурных сил. После Октября он остается на службе в Публичной библиотеке, продолжает заниматься наукой, посещает религиозно-философские кружки, участники которых надеялись на мирную эволюцию большевизма.

Тяжело переболев сыпным тифом, Федотов берет отпуск и уезжает в родной Саратов, где становится профессором кафедры средневековой истории. Вскоре, однако, он вынужден был покинуть университет из-за своего демонстративного отказа соблюдать советскую обрядность — посещение собраний, хождение на демонстрации и т.п. Убежденный христианин, Федотов решает вскоре вообще уволиться с госслужбы и зарабатывать переводами в частных издательствах, расплодившихся в годы нэпа: это обеспечивало приличный заработок, хотя и лишало госпайка, а также существенно повышало плату за квартиру и обучение дочери.

В 1925 году Федотов получает французскую визу и выезжает сначала в Берлин, а затем в Париж; через некоторое время к нему переезжает из России и семья. Работать и публиковаться во Франции по узкой специальности — медиевистике — оказалось невозможным (хороших специалистов было в избытке), и Федотов в поисках заработка начинает писать историко-публицистические статьи для эмигрантских журналов. Конкуренция и здесь была велика, но уже первые статьи-эссе Федотова («Три столицы» и «Трагедия интеллигенции»), опубликованные в 1926 году в парижском журнале «Версты», получили широкую известность в литературно-политических кругах русской эмиграции. На молодого автора обратила внимание редакция крупнейшего эмигрантского журнала «Современные записки», в котором Федотов затем многократно печатался, снискав себе славу «первого публициста эмиграции», «Герцена нового времени».

В Париже произошло знакомство Федотова с другим русским эмигрантом — крупнейшим философом Федором Степуном, дружба и сотрудничество с которым продлились долгие годы. Степун позднее вспоминал о первой встрече с Федотовым: «Впечатление было несколько неожиданное... Очень сдержанная речь с паузами и умолчаниями, тихий, но богатый интонациями голос; во внешнем облике, несмотря на заношенный пиджачок, нечто очень изящное, хрупкое и даже декадентское, что не встречалось у писателей-бытовиков и партийцев-общественников. Во всем образе нечто аристократически-отъединенное...»

В 1920–1930-х годах Федотов издал во Франции серию монографий по истории Русской православной церкви, принесших ему европейскую из-

вестность. Одновременно он был активным участником экуменического движения, ратуя, в частности, за сближение православной и англиканской епископальной церкви. С 1926 по 1940 год Федотов преподавал историю Западной церкви и латинский язык в Парижском богословском институте. После оккупации Парижа немцами он уезжает на юг Франции, где арестовывается за нелегальный переход демаркационной линии. При содействии друзей-американцев он получает визу в США, но путь туда оказался долгим и трудным. Сначала французский пароход, следующий в Штаты через Бразилию, был блокирован англичанами в порту Дакара (Сенегал), где простоял четыре месяца — все это время Федотов работал в Дакарском музее, а также учил португальский и древнееврейский языки. Затем корабль был отправлен в Касабланку (Марокко), где пассажиры некоторое время жили в палаточном лагере в пустыне, за колючей проволокой. Добыв билеты на испанский пароход, Федотов через Алжир, Испанию, Кубу и Бермуды прибыл, наконец, в сентябре 1941 года в Нью-Йорк.

Некоторое время он работал как *visiting fellow* в колледже при Йельском университете в Нью-Хэйвене, пользуясь стипендией Бахметьевского фонда; затем стал профессором Православной богословской академии Св. Владимира в Нью-Йорке. В конце 1940-х годов он издал в США на английском языке два своих последних крупных труда — «The Russian Religious Mind» и «The Treasury of Russian Spirituality».

Между тем болезнь сердца, преследовавшая Федотова на протяжении всей жизни, усиливалась. Крупный поэт и публицист русской эмиграции Юрий Иваск вспоминал о последних месяцах жизни Федотова: «Он становился все хрупче, легче. Как-то необыкновенно бережно, прощаясь, касался вещей. Все меньше говорил. Все больше молчал. Был тихий, светлый и вместе с тем до самого конца — такой живой». 1 сентября 1951 года Георгий Петрович Федотов скончался в госпитале города Бэкон, штат Нью-Джерси.

Несмотря на то что политико-культурологические взгляды и оценки Г.П. Федотова рассредоточены по многочисленным публикациям (в России сейчас, хотя и медленно, продвигается издание собрания его сочинений, предположительно в двенадцати томах), политическое наследие Федотова достаточно цельно. Хорошо знавший его Иваск писал, что делом всей жизни Федотова было утверждение мысли о том, что человеческая свобода может стать результатом не политического переворота, а культурного творчества. «Его дело, — писал Иваск о Федотове, — оправдание культуры, которая так страстно и на все лады отрицалась у нас — со времени Белинского и до «Русской идеи» Бердяева. И он боролся с этим отрицанием, которое довело Россию до нового советского варварства и облегчило торжество зла большевизма, способного погубить все человечество».

Согласно общей философско-исторической концепции Федотова, развитие России происходило в условиях острого соперничества по меньшей мере трех тенденций: самодержавно-деспотической, антигосударственно-нигилистической и творческо-европеистской. Только победа этой тре-

тей, европейской тенденции открывала перед Россией перспективу свободного и полного развития. «Судьба, увы, сулила иное», — констатировал Федотов. Изучению причин крушения российского европеизма, анализу истоков большевистского варварства и поиску путей освобождения России и посвящена политическая публицистика Г.П. Федотова.

Профессионально изучая историю России, Федотов считал, что уже в допетровской Руси был заложен немалый потенциал европеизма. Его особенно увлекала самобытно русская и в то же время безусловно европейская культура Русского Севера, более, чем Московия, свободного от деспотическо-азиатских элементов. Федотову были близки многообразие, сложность и межкультурный синтез Псковско-Новгородской земли, которая чудесным образом совмещала «с буйным вечем молитвенный подвиг, с русской иконой ганзейский торг». Уже в своей ранней работе «Трагедия интеллигенции» (1926) Федотов писал, что в самобытно-европейской истории России «главное творческое дело было совершено Новгородом»: «Здесь, на севере, Русь перестает быть робкой ученицей Византии и, не прерывая религиозно-культурной связи с ней, творит свое — уже не греческое, а славянское или, вернее, именно русское — дело. Только здесь Русь откликнулась христианству своим особым голосом». И поэтому прав был Ф. Степун, когда писал о том, что в конкуренции моделей российского развития «живая любовь великоросса Федотова» принадлежит не Москве и не Петербургу, а именно Новгороду.

Петровские реформы, по мысли Федотова, дали новый импульс российскому европеизму. Творческий потенциал этого реформаторства мог двинуть Россию не по пути банального подражательства Европе, а в направлении творческого развития самой «культурной идеи Европы». «Петровская реформа, — писал Федотов в «Письмах о русской культуре» (1938), — действительно вывела Россию на мировые просторы, поставив ее на перекрестке всех великих культур Запада, и создала породу русских европейцев». Федотов считал, что эта новая порода русских людей могла не только сродниться с Европой, но и стать воплощением «высшей Европы», до чего редко дорастает даже большинство самих западных европейцев: «Их (русских европейцев. — А.К.) отличает прежде всего свобода и широта духа — отличает не только от москвичей, но и от настоящих западных европейцев. В течение долгого времени Европа как целое жила более реальной жизнью на берегах Невы или Москвы-реки, чем на берегах Сены, Темзы или Шпрее».

Тип русского европейца, по мысли Федотова, вовсе не отрицание «старой русскости», а творческое ее преодоление и развитие. В противоположность вульгарным «западникам» (это понятие, в отличие от «европеистов», носит у Федотова негативный оттенок) русские европейцы, напротив, не утратили ни связи с отечеством, ни силы национального характера. «В каждом городе, в каждом уезде остались следы этих культурных подвижников. Где школа или научное общество, где культурное хозяйство или просто память о бескорыстном враче, о гуманном судье,

«Духовное спасение России заключается в возрождении потребности в свободе...»

о благородном человеке. Это они не давали России застыть и замерзнуть, когда сверху старались превратить ее в холодильник, а снизу в костер. Если москвич держал на своем хребте Россию, то русский европеец ее строил». И пусть в жизни и политике русским европейцам часто приходилось бороться с «косностью и ленью москвичей», и у тех и у других был общий нравственный идеал, общая любовь к родной стране. Именно эта плодотворная связка «старых» и «новых» русских, патриотов-москвичей и патриотов-европеистов могла сформировать тип творческой русской элиты, способной, по мысли Федотова, обеспечить для России рывок в экономике, политике, культуре.

К несчастью для страны, человеческий тип русского европейца не успел достаточно развиваться и не получил надежного политического представительства, а потому проиграл двум другим национальным типам, принципиально антикультурным и в сущности антинациональным — реакционеру-охранителю и разрушителю-нигилисту.

Общей причиной победы большевизма в России Г.П. Федотов считал потерю страной культурного иммунитета перед варварством, что, в свою очередь, явилось следствием отхода России от высокой гуманистической традиции Европы: «Не хотели читать по-гречески — выучились по-немецки, вместо Платона и Эсхила набросились на Каутских и Леппертов. Лишив себя плодов гуманизма, питаемся теперь его „вершками“, засыхающей ботвой» («Трагедия интеллигенции», 1926). Этой «ботвой», «сухими вершками европейской культуры» считал Федотов и вульгаризированный марксизм, под обаянием простоты которого он сам находился в юности.

Основная вина за большевистскую революцию, согласно Г.П. Федотову, лежит на парализовавшем творческий потенциал общества российском самодержавии. «Разве наше поколение не расплачивается сейчас за грехи древней Москвы? — спрашивал он в статье «Правда побежденных» (1933). — Разве деспотизм преемников Калиты, уничтоживший и самоуправление уделов, и вольных городов, подавивший независимость боярства и Церкви, — не привел к склерозу социального тела Империи, к бессилию средних классов и к черносотенному стилю народной большевистской революции?»

Но, тяготеющий в зрелые годы к христианскому либерализму, Г.П. Федотов возлагал вину за русский большевизм не только на косную деградировавшую власть, на каждом шагу подменявшую культурный консерватизм откровенной реакционностью, но и на российских либералов, не сумевших воспрепятствовать (а иногда и прямо потакавших) варваризации общества. В работе «Революция идет» (1929) он написал беспощадные слова о недугах отечественного либерализма, увлекшегося безоглядной критикой старых порядков, но оказавшегося неспособными к позитивному строительству. Эту «немошь либерализма» Федотов объяснял тем, что тот был склонен развиваться по пути наименьшего сопротивления — не в направлении творческого европеизма (т.е. развития европейского потенциала, заложенного в русской традиции), а по пути поверхностного

западнического подражательства: «Русский либерализм долго питался не столько силами русской жизни, сколько впечатлениями заграничных поездов, поверхностным восторгом перед чудесами европейской цивилизации, при полном неумении связать свой просветительский идеал с движущими силами русской жизни...»

Нежелание и неспособность развивать русскую европейскую традицию не позволило отечественным западникам укорениться в собственной истории. «Своим» для них становился далекий и по существу так и непонятый Запад, в то время как собственно русская история, тоже непознанная и непонятая, отрицалась и отбрасывалась: «Западническое содержание идеалов, при хронической борьбе с государственной властью, приводило к болезни антинационализма. Все, что было связано с государственной мощью России, с ее героическим преданием, с ее мировыми или имперскими задачами, было взято под подозрение, разлагалось ядом скептицизма. За правительством и монархией объектом ненависти становилась уже сама Россия: русское государство, русская нация».

Этот порок русского диссидентства — слабость национального чувства, вытекавшая, с одной стороны, из западнического презрения к собственной стране и, с другой — из непонимания смысла государственности как таковой, — привел к тому, что, по выражению Федотова, «за английским фасадом русского либерализма скрывалось подчас чисто русское толстовство, то есть дворянское неприятие государственного дела».

В периоды стабильного развития глубинные пороки русской элиты — как консервативной (явно вырождающейся в тупую реакцию), так и либеральной (тяготеющей к антигосударственному нигилизму) — еще не были фатально губительны для страны. Но в начале XX века, в период обострения внешних и внутренних вызовов и угроз, общая порочность национальной элиты оказалась роковой. И отечественные либералы оказались здесь не на высоте положения. Они поддались общему гипнозу кажущейся мощи русской державности и, будучи непримиримы к «старому режиму», оказались беспощадны и к России: «Такую махину — можно ли сдвинуть? Легкая встряска, удар по шее только на пользу сонному великану. За Севастополь — освобождение крестьян, за Порт-Артур — конституция. Баланс казался недурен. Мы не хотели видеть, что сонный великан дряхл и что огромная лавина, подточенная подземными водами, готова рухнуть, похоронив под обломками не только самодержавие, но и Россию» («Защита России», 1936).

Исследование причин трагедии России, где борьба за человеческую свободу породила в конечном итоге многократное умножение рабства, привело либерала-христианина Федотова к необходимости глубинного анализа самого понятия «свобода». Вопреки известному изречению Ж.-Ж. Руссо о том, что «человек рождается свободным, а умирает в оковах», Федотов, напротив, полагал, что «свобода есть поздний и тонкий цветок человеческой культуры». В примитивных сообществах, как и в биологическом мире, свободе еще нет места: «Там, где все до конца обусловлено

«Духовное спасение России заключается в возрождении потребности в свободе...»

необходимостью, нельзя найти ни бреши, ни щели, в которую могла бы прорваться свобода. Где органическая жизнь приобретает социальный характер, она насквозь тоталитарна. У пчел есть коммунизм, у муравьев есть рабство, в звериной стае — абсолютная власть вожака».

Согласно Федотову, не стоит идеализировать (как это делают некоторые не очень глубокие историки) и формы античной полисной демократии. «Нас обманывает часто вольность и легкость жизни в классическую пору афинской демократии, — писал Федотов в статье „Рождение свободы“ (1944). — Но эта вольность — результат разложения, скорее распушенность, чем закон жизни... За полтора века оказались подорваны все нравственные устои демократии, и Афины, как и вся Греция, сделались легкой добычей Филиппа (Македонского. — А.К.)».

Подлинная свобода, согласно Федотову, наступает не тогда, когда государственность подтачивается и разрушается, а тогда, когда происходит «утверждение границ для власти государства, которые определяются неотъемлемыми правами личности». При своем зарождении правовая свобода всегда оказывается свободой для немногих — иной она и не может быть. Человеческая свобода рождается как привилегия, подобно всем другим плодам высокой культуры.

Драма России заключалась в том, что она во многом была воспитана в восточной деспотической традиции. Когда все равны и беззащитны перед лицом деспота (включая и формально элитарные слои), подданные ни за что не соглашаются со «свободой для немногих, хотя бы на время»: «Они желают ее для всех или ни для кого. И потому получают „ни для кого“... И в результате на месте дворянской России — Империя Сталина». Федотов приходит к парадоксальному выводу: призыв к всеобщему уравниванию, прикрывающийся лозунгами предельного демократизма, губителен для либеральных свобод и не только не обеспечивает демократии, но и ведет к новому, еще более тяжкому деспотизму.

Большой заслугой Федотова-интеллектуала является разграничение в русском культурно-политическом контексте понятий «свобода» и «воля». В знаменитой статье «Россия и свобода» (1945) он дал определение, ставшее в русском либерализме классическим: «Личная свобода немыслима без уважения к чужой свободе; воля — всегда для себя... Воля есть прежде всего возможность пожить по своей воле, не стесняясь никакими социальными узами... Воля торжествует или у выхода из общества, на степном просторе, или во власти над обществом, в насилии над людьми».

Поэтому русская «воля» (часто обманчиво принимаемая за подлинную свободу) не страшна для тирании, ибо является лишь ее оборотной стороной. «Она (воля. — А.К.) не противоположна тирании, ибо тиран есть тоже вольное существо... Так как воля, подобно анархии, невозможна в культурном общежитии, то русский идеал воли находит себе выражение в культуре пустыни, дикой природы, кочевого быта, цыганщины, вина, разгула, самозабвенной страсти, разбойничества, бунта и тирании».

Искушение западными свободами и правами, которыми постоянно облучаются не вполне культурные русские слои, включая высокомерных, но, в сущности, тоже полубразованных «западников», оборачивается «русской волей» и порождает не правовой порядок, а анархию и хаос. «Прикосновение московской души к западной культуре, — писал Федотов, — почти всегда скидывается нигилизмом; разрушение старых устоев опережает положительные плоды воспитания. Человек, потерявший веру в Бога и царя, утрачивает и все основы личной и социальной этики».

Духовное спасение России виделось Федотову в «зарождении чувства, потребности, любви к свободе». Но это могло свершиться только как результат осознания очевидной вещи, в которой боялись признаться искатели национальной идеи: «Свобода в своих истоках всегда аристократична». А потому русский культурный класс, считал Федотов, должен как минимум перестать инфантильно восторгаться в отечественной истории победами самодержавного деспотизма над боярской и дворянской фрондой. Федотов был уверен: без укрепления либеральных свобод (пусть сначала элитарных) невозможна в перспективе и широкая демократизация. «Боярская свобода в средневековье, — писал он, — обеспечила бы нам дворянскую конституцию в XIX веке и всенародную — в XX-м».

Пересматривая национальное прошлое, Федотов призывал внимательнее присмотреться к судьбе соседней, столь близкой и столь далекой Польши. В известной работе «Польша и мы» (1939) он писал о том, что трудность взаимного понимания двух культур нельзя объяснить только памятью прошлых и ощущением настоящих обид — за этим непониманием стоит противоположность духовных типов и социального строя. В общем виде это глубинное противоречие Федотов формулировал так: аристократическая свобода шляхетской Польши против уравнительного деспотизма самодержавной России.

В своей истории Польша шла путем обеспечения либеральных свобод меньшинства, хотя и ценой полного безучастия к закрепощенным массам. Русское самодержавие, напротив, имело в своей основе уравнилельные тенденции, нивелирующие всех подданных без исключения перед лицом высшей власти. Победивший в России большевизм лишь продолжил и развил эту традицию, которую Федотов называл «всеобщим равенством нищеты и рабства».

Опыт Польши, хотя и драматический, мог бы стать полезным уроком для России: «Не с высоты мужицко-пролетарской гордости надо смотреть на ее шляхетское безумие. Если бы нам хоть в малой доле той любви к свободе, которая в чистом виде, в национально-аристократической исключительности, губит Польшу! Ее отравы была бы нашим спасением».

Вслед за Александром Герценом христианский либерал Федотов был лишен малейшего великодержавия по отношению к эмансипации Польши. Как известно, на «польском вопросе» спотыкались многие отечественные диссиденты: стоило полякам в очередной раз заявить о претензиях на независимость, как это немедленно возвращало многих наших интел-

«Духовное спасение России заключается в зарождении потребности в свободе...»

лектуалов под сень великодержавного официоза. Иначе рассуждал Федотов: он считал, что, борясь за свою независимость, поляки борются и за свободную Россию. (Следуя той же логике, Федотов поддержал и независимую Финляндию в войне против сталинского СССР: «финны борются за русскую свободу».)

Верный своей культурно-исторической концепции, Федотов и в эмиграции продолжал делать ставку на постепенное накопление в России творческо-европейского потенциала. Разумеется, восстановление его в России, подвергшейся небывалой деевропеизации и массовому геноциду культурных слоев, представлялось ему делом долгим и трудным. По его мнению, при большевиках Россия вернулась в допетровскую эпоху, когда не существовало различия между служилым классом и остальным обществом: «„Свободная профессия“ стало каторжным клеймом в России... Россия кишит полуинтеллигенцией, полужнаками... Старые человеческие запасы иссякают...» («Новая Россия», 1930); «Религия, искусство, научная работа, семья и воспитание — все становится функцией государства... Для государства-зверя политика становится человеческой отраслью животноводства» («Социальный вопрос и свобода», 1931). Сознательное понижение русской культуры стало при большевиках государственной политикой, способом выживания режима: «Большевики, ревнивые к военным и финансовым основам своей власти, совершенно не заинтересованы в защите русской культуры. Они предают ее на каждом шагу, вознаграждая приманкой русофобства ограбленные и терроризированные окраины» («Проблемы будущей России», 1931).

Но проблема была еще и в том, что среди радикальных противников сталинизма Федотов очень часто встречал тот же самый антикультурный человеческий тип, который ранее, обрядившись в марксистские одежды, и привел Россию к катастрофе: «Дух ленинского имморализма оживает в стане реакции... В стане контрреволюции происходит настоящий процесс обольшевичения... Люди убеждены, что низость или жестокость средств является прямой гарантией успеха... Так растут у пня поваленного Белого движения ядовитые грибы новой всероссийской Чеки» («Февраль и Октябрь», 1937).

Федотов был одним из первых русских политических мыслителей, кто обратил самое серьезное внимание на то, что и в большевистской России, и в антибольшевистской эмиграции «развелось немало людей, соблазненных легким успехом большевизма, которые не прочь сменить в седле Сталина и хлестать измученную лошадь по глазам и шпорить до кишок окровавленные бока, пока она не издохнет». «Эти люди преступники или сумасшедшие, — заявляет Федотов. — Мы объявляем беспощадную борьбу доктринерам и максималистам, чьим бы именем они ни прикрывались... Пора перестать сумасшедшим управлять Россией».

Время показало, что Федотов не был политически наивен, когда утверждал, что освобождение России, ее возвращение в Европу возможны не путем верхушечных политических переворотов, а лишь как ре-

зультат поступательного наращивания европейской культуры. «Среди тьмы русской жизни, среди казней, предательства, лжи, окутывающей все густой, непроницаемой пеленой, одна мысль сейчас утешает, дает надежду: в России читают Пушкина, — писал Федотов в работе «Пушкин и освобождение России» (1937). — Совершается преодоление классового сознания; в рабочем, в крестьянине родился человек, и Пушкин стоит у купели крестным отцом».

Чем объяснить эту «политическую дерзость» режима, этот непонятный «пушкинский либерализм»? Наивностью или политическим расчетом? Скорее всего, рассуждал Федотов, это лишь очередное проявление традиционного на Руси презрения власти к народу: «Пусть читают! Быдло никогда не поймет!»

«А что, если поймет? — вопрошает себя и соотечественников Г.П. Федотов. — И Пушкин станет сеятелем свободы в родной стране?»

ФЕДОР
АВГУСТОВИЧ
СТЕПУН

«Божье утверждение
свободного человека
как религиозной основы
истории...»

В русской эмигрантской мысли Федор Августович Степун (1884–1965) был «последним из могикан». Он успел увидеть закат сталинизма, эпоху хрущевской оттепели и ее крах. Долгие годы прожив в эмиграции, вдали от родины, он всю свою жизнь сохранял надежду на демократические изменения в России.

Биография Ф.А. Степуна и удивительна, и поучительна. Немец по крови, родившийся в России, он учился в Гейдельбергском университете, где готовил диссертацию по историософии Владимира Соловьева. Именно там, в Гейдельберге, работая в семинаре знаменитого Виндельбанда, он в первый раз ощутил важность разграничения душевных «воспарений-излияний» (так привычных для россиянина) и строгого интеллектуального творчества. Именно тогда Степун понял, что подлинное философствование не есть исповедь, тем более не есть исповедание веры; она — наука, строгая наука, ставящая разум преградой бурям бессознательного, таящимся в человеке.

Вернувшись из Германии, он становится издателем российско-европейского журнала по философии культуры «Логос», проповедует неокантианство, слывет в России неозападником. Но с началом Первой мировой войны он — русский артиллерийский прапорщик, сражавшийся на германском фронте и написавший об этом блестящую книгу очерков («Из записок прапорщика-артиллериста»); начальник политуправления армии при Временном правительстве, уцелевший после революции; публицист и театральный режиссер; с 1922 года — изгнанник из большевистской России. С этого момента и до самой смерти — немецкий профессор, житель Германии, равно не принимавший коммунизм и нацизм (нацисты запретили ему преподавать за проповедь «жидо-русофильских взглядов») и страстный, как говорили в старину, пропагатор на Западе русской культуры и философии. Не забудем и того, что в 1920–1930-х годах он активный участник двух самых знаменитых журналов русского зарубежья — «Современные записки» и «Новый град»; автор замечательного, отчасти автобиографического, романа «Николай Переслегин», а также многочисленных статей для русских эмигрантских журналов, среди которых выделяется знаменитый цикл «Мыслей о России».

До последнего десятилетия Ф.А. Степун был больше известен в Германии, нежели в России. Философ и писатель, он одинаково блистательно писал на обоих языках. Немцы ставили его в один ряд со столь значительными западными мыслителями, как П. Тиллих, М. Бубер, Р. Гвардини. Но основная его тема — Россия, ее духовные достижения и трагическая судьба. Европа признавала его за своего, но одновременно он был для нее символом свободной русской мысли.

Кредо философско-исторической мысли Степуна, как он сам определял, — «Божье утверждение свободного человека как религиозной основы истории». И, расшифровывая эту мысль, добавлял: «Демократия — не что иное, как политическая проекция этой верховной гуманистической веры четырех последних веков. Вместе со всей культурой гуманизма она утверждает лицо человека как верховную ценность жизни и форму автономии, как форму богопоплушного делания».

История вынужденной эмиграции Степуна почти фантазмагорическая, ибо так получилось, что с собой он вывез целый «философский пароход». Ведь именно деятельность Степуна побудила Ленина задуматься о высылке на Запад российской интеллектуальной элиты. Поводом для иррациональной ярости большевистского вождя послужил сборник, посвященный анализу книги Шпенглера «Закат Европы», написанный Степуном в соавторстве с еще тремя русскими интеллектуалами.

Сам Степун вспоминал об этой истории так: «Дошли до нас слухи, что в Германии появилась замечательная книга никому раньше не известного философа Освальда Шпенглера, предсказывающая близкую гибель европейской культуры... Через некоторое время я неожиданно получил из Германии первый том «Заката Европы». Бердяев предложил мне прочесть о нем доклад на публичном заседании Религиозно-философской академии... Прочитанный мной доклад собрал много публики и имел очень большой успех... Книга Шпенглера с такою силою завладела умами образованного московского общества, что было решено выпустить специальный сборник посвященных ей статей».

Сборник, просветительно-европеистский по своему пафосу, вызвал неожиданную для их авторов реакцию вождя большевиков. В разговоре с заместителем председателя ВЧК И. Уншлихтом Ленин назвал сборник, редактором которого был Степун, «литературным прикрытием белогвардейской организации». Спустя некоторое время в Уголовный кодекс по предложению Ленина было внесено положение о «высылке за границу». Уже будучи за границей, Степун писал, что именно «шпенглеровский сборник» стал поводом для выработки плана массовой высылки российских интеллектуалов на Запад.

По своему психологическому складу Степун был внимательный наблюдатель и аналитик. Он прошел войну, еще до войны объездил почти всю Россию, читая лекции. А в качестве начальника Политуправления при военном министерстве во Временном правительстве, вспоминал Степун, он на фронте неустанно носился по передовым позициям, «защищая

в армейских комитетах свои резолюции, произнося речи в окопах и тылу, призывая к защите родины и революции и разоблачая большевиков».

Русская катастрофа XX века, явившаяся частью общеевропейской катастрофы, была, по мнению Степуна, во многом предрешена нерешительностью Временного правительства или, выражаясь современным языком, неумением демократии защищаться, противостоять массовым, стихийным движениям. Личность должна уметь отстаивать свои идеалы, но обороняться она должна не только грубо материальной силой — войском и пр. Идеологи либерально-демократического образа жизни, полагал Степун, обязаны были найти некую высшую идейно-духовную санкцию для своих ценностей, ибо в конечном счете побеждает идея, а не материальный интерес. «Я утверждаю, — писал Степун, — что революционная демократия только потому не спасла своей политической святыни — Учредительного собрания, — что для нее ничего не было святее политики; что она самого Бога была склонна мыслить бессмертным председателем транспланетарного парламента и революционные громы семнадцатого года восторженно, но наивно приняла за Его звонок, открывающий исторические прения по вопросу республиканского устройства России...» Степун увидел причину поражения Февраля в «интеллигентском панполитизме». Нельзя было отдавать на откуп реакции и радикализму «национально-религиозные энергии русской жизни», как он называл свое понимание высших духовных ценностей. (Замечу в скобках, что эта проблема — найти высшую, религиозную санкцию своих действий — стоит и перед нынешней либеральной мыслью, желающей утвердить права личности в народном сознании.)

Именно поэтому для Степуна был так важен вопрос об оживлении христианской основы демократии. Либерализм и демократия начала XX века забыли о возможной апелляции к высшим христианским ценностям, которые несколько не противоречили идеалу свободной личности, более того, давали этому идеалу авторитетнейшую поддержку, укорененную в двухтысячелетней традиции европейской культуры. Диктатура, тоталитаризм иррациональны, ибо живут вне закона и в своей борьбе с либерализмом и демократией поневоле отрицают христианство, как несущее в себе элемент закона, договора (как Ветхий, так и Новый Завет есть по существу договор с Богом). Но произошло так, что тоталитарные режимы перехватили у демократии контакт с высшими ценностями; большевики и национал-социалисты прикоснулись к вечным истинам, о которых забыла демократия. «Большевики победили демократию, — писал Степун, — потому, что в распоряжении демократии была всего только революционная программа, а у большевиков — миф о революции; потому что забота демократии была вся о предпоследнем, а тревога большевиков — о последнем, о самом главном, о самом большом. Пусть они всего только наплевали в лицо вечности, они все-таки с нею встретились, не прошли мимо со скептической миной высокообразованных людей. Эта, самими большевиками естественно отрицаемая, связь большевизма с верой и вечностью чувствуется во многих большевицких кощунствах и поношениях».

И в 1920–1930-х годах, перед лицом нашествия на Европу новых форм тоталитаризма, Степун активно защищал ценности демократии: «Я определенно и до конца отклоняю всякую идеократию коммунистического, фашистского, расистского или евразийского толка; то есть всякое насиливание народной жизни... Пусть современный западноевропейский парламентаризм представляет собою вырождение свободы, пусть современный буржуазный демократизм все больше и больше скатывается к мещанству. Идущий ему на смену идеократизм много хуже, ибо представляет собою зарождение насилия и явно тяготеет к большевицкому сатанизму».

Заявлениям о закате либерально-демократической эпохи Степун противопоставлял веру в возможность демократии на основе христианства. Его призыв к религиозной свободе не означал отказа от политической борьбы. Бердяеву, который в эмиграции предлагал вообще отказаться от политики как чуждой подлинной духовности, Степун возражал: «Христианская республика, конечно, еще меньше возможна, чем православная монархия, но выбор между республикой и монархией, между демократией и автократией, между федерализмом и централизмом сейчас обязателен не только для политика, но и для религиозного мыслителя, ибо на политической территории решаются сейчас религиозные судьбы народов».

Заметим, что 1920-е годы, когда писались эти строки, были периодом крушения демократических структур по всей Европе. Задолго до гитлеровского переворота Степун понимал, что Германия обречена; скоро рухнет Франция, и тогда только английская демократия в одиночку будет пытаться противостоять диктаторским и идеократическим режимам. А США слишком далеко...

У испуганных европейских интеллектуалов возникло ощущение, что, наверное, уже никуда не деться, что новая эпоха неизбежно наступает. И быть может, она рано или поздно приведет к добру. К месту и не к месту поминали Гёте и фразу Мефистофеля о том, что он часть той силы, что вечно хочет зла, но творит лишь благо. Значит ли это, иронизировал Степун, что «фактически творящий добро черт становится добром? Очевидно, что нет, что он остается злом». И уже в 1928 году твердо и убежденно писал: «Против становящегося ныне модным убеждения, будто всякий полосатый черт лучше облезлого, затхлого парламентаризма и всякая яркая идеократическая выдумка лучше и выше демократической идеи, необходима недвусмысленно откровенная защита буржуазных ценностей и добродетелей: самозаконной нравственности правового государства, демократического парламентаризма, социальной справедливости...»

Если большевистская революция, полагал Степун, в какой-то мере была результатом западных влияний (марксизма, правда, понятого по-ленински, т.е. антилично), то последствием Октября была страшная европейская революция справа — национал-социализм. «Достаточно указать на то, — писал он в статье «Чаемая Россия», — что все социальные революции на Западе и все национальные на Востоке так или иначе связаны с большевизмом и что большевизм, очевидно, является создателем

«Божье утверждение свободного человека как религиозной основы истории...»

некоего прообраза всех новейших идеократических диктатур». Против всяческих идеократий, против большевизма и фашизма в совершенно безнадежной, казалось бы, ситуации отстаивали русские европейцы-эмигранты позицию правды личности и ее свободы.

Проблемы Германии не могли не волновать изгнанную из своей страны русскую интеллигенцию. Слишком много общего с большевизмом находили эмигранты в поднимавшемся национал-социализме. Русские и немцы слишком тесно сплелись в этих двух революциях — от поддержки Германией большевиков до поддержки нацистов Сталиным. Степун заметил, что и сами нацисты видят эту близость. Он фиксирует слова Геббельса о том, что «Советская Россия самую судьбою намечена в союзницы Германии в ее страстной борьбе с дьявольским смрадом разлагающегося Запада. Кратчайший путь национал-социализма в царство свободы ведет через Советскую Россию, в которой еврейское учение Карла Маркса уже давно принесено в жертву красному империализму, новой форме исконного русского панславизма...»

Содержание немецких статей Степуна — сравнение двух стран с такой похожей судьбой: слабость демократии, вождизм, умелая спекуляция тоталитарных партий на трудностях военной и послевоенной разрухи. Степун отмечал, что, несмотря на самообольщение молодых национал-социалистов о возврате страны в Средневековье (христианское по своей сути), на самом деле Германия прыгнула в новое варварство. Степун писал, что идеократический монтаж Гитлера с утверждением свастики вместо креста, германской крови вместо крови крестной, с ненавистью к немецкой классической философии, к «лучшим немцам типа Лессинга и Гёте» родился «не в немецкой голове, а в некрещеном германском кулаке».

И в этих условиях изгнанный в Германию русский мыслитель, в годы, когда на России и русской культуре многие ставили крест, начинает проповедь русской культуры, ее высших достижений, объясняя Западу специфику и особенности России. Он понимал, что как России нельзя без Запада, так и Западу нельзя без России, что только вместе они составляют то сложное и противоречивое целое, которое называется Европой. Степун и его друзья по эмиграции все свои силы направляли на то, чтобы фашизирующаяся Европа вернулась к своим базовым христианским ценностям. Только так, считал Степун, можно спасти Европу. Не случайно одна из эмигрантских писательниц (Е. Жиглевич), знавшая Степуна, именно в этом регистре его и воспринимала: «Что заставляло меня верить, что Европа, вопреки всему, что случилось, зиждется на камне?.. Там был Ф.А. Степун. Монолит, магнит, маяк. Атлас, державший на своих плечах две культуры — русскую и западноевропейскую, посредником между которыми он всю свою жизнь и был. Пока есть такой Атлас, Европа не сгинет, устоит».

Особенно сложно стало положение Степуна, когда зеркальные двойники большевиков — нацисты во главе с антиевропеистом Гитлером — пришли в Германии к власти. Степун был по крови немец, а потому под нюрнбергские расовые законы не подпадал. Более того, он был профес-

сором (в Дрездене), а к профессорам немцы — в отличие от российского рабоче-крестьянского люда — традиционно относились с пиететом.

И все же надолго терпения нацистов не хватило. В «Современных записках», в «Новом граде» Степун продолжал писать свои русские, злые аналитические статьи о гитлеровской Германии, но ведь нечто подобное он говорил и в своих лекциях немецким студентам. Конечно же он дождался доноса. Как и большевики, нацисты терпели его ровно четыре года своего режима, пока не увидели, что перековки в сознании профессора Степуна не происходит. В доносе 1937 года говорилось, что он так и не переменил свои взгляды в соответствии с параграфами Закона 1933 года о «переориентации профессионального чиновничества». «Эта переориентация, — говорилось в доносе, адресованном рейхсфюреру Гиммлеру, — не была им исполнена, хотя прежде всего должно было ожидать, что, как профессор, Степун определится по отношению к национал-социалистическому государству и построит правильно свою деятельность. Но Степун с тех пор не предпринял никакого серьезного усилия по позитивному отношению к национал-социализму. Степун многократно в своих лекциях отрицал взгляды национал-социализма прежде всего по отношению к целостности национал-социалистической идеи, как и к значению расового вопроса, точно так же и по отношению к еврейскому вопросу в частности важного для критики большевизма».

Более того, именно «русскость» Степуна ставилась ему отныне в вину: «Степун, несмотря на свое немецкое происхождение, не может рассматриваться как „зарубежный немец“ (Auslandsdeutscher). Его близость с русскостью (Russentum) много теснее, нежели с немецкостью (Deutschentum). Он сам определяет себя как немецкого русского, но нигде не исповедует своей немецкости. Его близость к русскости выясняется и из того, что он русифицировал свое исходно немецкое имя Фридрих Степпун (Steppuhn), получил русское гражданство и, в исполнение соответствующих гражданских обязанностей, сражался в русском войске против Германии, а также женился на русской. Также будучи немецким чиновником, чувствовал он и далее свою связь с русскостью и в дрезденской русской эмигрантской колонии играл выдающуюся роль прежде всего как председатель Общества Владимира Соловьева».

Степун был уволен с мизерным выходным пособием и крошечным пенсией (профессоров нацисты старались по возможности не трогать), но продолжал вести себя вызывающе: печатался в русской эмигрантской прессе, читал доклады о русской философии и культуре, печатал по-немецки статьи о России в журнале «Hochland» и дружил с его издателем Карлом Муттом, одним из создателей знаменитой немецкой антифашистской организации «Белая роза». Но Степун уцелел — современники не случайно называли его любимцем Фортуны...

После разгрома гитлеризма, с конца 1940-х годов и до самой своей смерти, Ф.А. Степун работал в Мюнхенском университете на кафедре русской духовности и культуры, специально для него созданной. Любой

«Божье
утверждение
свободного
человека
как религиоз-
ной основы
истории...»

профессор мог рассчитывать, как вспоминают его коллеги, не более чем на тридцать слушателей; Степун неизменно собирал аудиторию в триста человек. Если для своих российских соплеменников он был представителем германской культуры, то перед немцами он выступил проповедником и толкователем культуры русской. Его историософская книга «Большевизм и христианская экзистенция» (1959–1962) вызвала буквально шквал рецензий в немецкоязычной печати. Главный смысл книги был усвоен правильно: Россия не азиатский аванпост в Европе, а европейский в Азии. Душой и памятью Степун снова жил в России, писал свои блистательные воспоминания, давшие ему многократно повторенное всеми журналами и газетами имя «философа-художника». Писал в основном по-немецки, но после публикации на немецком языке трехтомных мемуаров сам сделал русский двухтомник («Бывшее и несбывшееся») и сумел его опубликовать.

После смерти Степуна в 1965 году в немецких некрологах писали: «Волевым актом он из своей собственной ситуации, как из некоей модели, сделал историософские выводы и отправился на поиски Европы, в которой Россия и Запад находятся в одном ранге и в сущности должны быть представлены как однородные части Европы».

Понимая Россию как часть христианской Европы, Степун был при этом достаточно трезв, размышляя о возможном постсоветском будущем. Он считал наивным и бесчеловечным ждать от российских людей, уставших от многолетних большевистских требований жить «во имя идеала», что они сразу же после краха большевизма начнут жить во имя «православно-евразийских высших идей». Напротив, он был убежден, что «оспаривать интуитивную уверенность каждого замученного, замызганного советского человека, что царствие небесное — это прежде всего тихая чистая квартира, долгий, спокойный сон, хорошо оплачиваемый труд, законом обеспеченный отдых, отсутствие административного произвола и, главное, — глубокий идеологический штиль, — сейчас не только бессмысленно, не только преступно, но просто безбожно».

Не верил Степун и в мгновенную посткоммунистическую демократизацию России. «С трудом представляется, — писал он в своей последней статье, — превращение России, жившей пятьдесят лет под большевистским гнетом, в западноевропейскую парламентарную демократию». Однако для того, чтобы это все-таки произошло, он в который раз призывал соотечественников опираться не только на «интерес», а прежде всего на «истину», истину свободного человека, истину, которая одна лишь и обладает невероятной творческой силой в построении свободного открытого общества.

ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВИЧ
ВЕЙДЛЕ

«Чем дальше отходила
Россия от Европы,
тем меньше становилась
похожей на себя...»

Владимир Васильевич Вейдле (1895–1979) — крупнейший историк, культуролог, эссеист и поэт, одна из последних фундаментальных фигур русской эмиграции XX века. Известный православный богослов протоиерей Александр Шмеман, близко общавшийся с Вейдле в Париже, говорил, что Владимира Васильевича даже как-то «неуклюже и смешно» определять банальным словосочетанием «культурный человек». «Был он не „культурным человеком“, а неким поистине чудесным воплощением культуры: он жил в ней, и она жила в нем с той царственной свободой и самоочевидностью, которых так мало осталось в наш век», — написал он в некрологе на смерть Вейдле. Поразительно также то, что Владимир Васильевич, лично знакомый с Блоком, Андреем Белым, Николаем Гумилевым, Ходасевичем, Маковским, — человек, по сути, современной эпохи. Он прожил длинную жизнь и скончался летом 1979 года в Париже в возрасте 84 лет.

Владимир Вейдле принадлежит к плеяде выдающихся деятелей русской эмиграции (в этом ряду можно назвать Ф.А. Степуна, Г.П. Федотова, Б.К. Зайцева, М.А. Осоргина), к тем, кто в своем неприятии советского большевизма выбрал не прямолинейно-партийную линию политического противостояния, а долговременную стратегию борьбы за русскую культуру, которая — верили они — если возродится и разовьется, непременно рано или поздно сбросит «большевизм», паразитирующий на русском варварстве.

Сам Вейдле говорил о себе так: «Я гожусь в хранители, а не в разрушители. Да и „культурник“ я, а не „общественник“; ничего с этим поделать не могу. Лувр больше люблю, чем Палату депутатов; если пришлось бы выбирать, выбрал бы Лувр. Социальная (как и всякая другая) несправедливость вовсе не мила моей душе, но я выберу ее — для себя выберу лохмотья и черствый хлеб, — если справедливости будут достигать ценой снижения и распыления культуры».

Поразительно, но именно «культурная стратегия», неброская, несуетная, но глубокая и принципиальная, сделала из Владимира Вейдле одну из наиболее действенных фигур антитоталитарной борьбы и культурно-нравственного преодоления большевизма.

Владимир Васильевич Вейдле родился 1 марта 1895 года в Петербурге, в обрусевшей немецкой семье. После окончания Реформатского училища поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, который окончил в 1916-м. Учился он у таких выдающихся историков, как Дмитрий Власьевич Айналов и Иван Михайлович Гревс. Молодой историк оказался тогда и в центре петербургской литературно-художественной жизни: писал стихи в духе акмеизма, близко знал молодых А. Ахматову и О. Мандельштама.

Большевистского Октябрьского переворота и разгона Учредительного собрания В.В. Вейдле в Петрограде не застал. В поисках свободы мысли и преподавания приват-доцент отправился, как он писал, «в достославный город Пермь»: сначала на поезде в Рыбинск, оттуда на пароходе вниз по Волге, потом — вверх по Каме. Здесь, в Пермском университете, созданном сначала как филиал Петроградского университета, кафедру истории возглавил друг Вейдле Николай Петрович Оттокар — историк-медиевист, тоже ученик И.М. Гревса. (Вскоре Оттокар стал деканом Пермского истфака, был некоторое время ректором университета. Законченное им уже в Италии исследование о борьбе семейных кланов в средневековой Флоренции, изданное на итальянском языке, принесло автору профессиру во Флорентийском университете и звание почетного гражданина города Флоренция. Там он и похоронен.)

С 1918 по 1921 год В.В. Вейдле — профессор Пермского университета. Позднее он вспоминал об этом периоде: «А студенты и студентки ведь пермяками и пермячками были в большинстве. Столичные, однако, наставники их (и я в том числе, когда стал заниматься ими) вполне были ими довольны. И все мы, со своей стороны, не испорченной пищей их питали, не примешивали никакой заранее припасенной и не нами состряпанной идеологии к тем наукам, в которые мы их вводили... Все наши профессора... придерживались умеренно либеральных взглядов и от политики держались вдалеке. Октябрю, когда о нем узнали, не порадовался среди них никто... Но какой-нибудь контрреволюционной активности не проявляли. Считали, что университет при любом режиме — ах, какими оптимистами были! — останется университетом. Физики, мол, никакой большевик не переделает; а римское право тоже ведь исправлению задним числом не подлежит. Насчет фальсификации истории не только никто себе не представлял... но и понятия такого в мыслях ни у кого не было. И насчет марксистского ее истолкования никто у нас, кажется, не беспокоился по той простой причине, что и понятия о нем не имел. ...Одним словом, находились мы в состоянии райской невинности. Не вкусили еще от плодов древа познания добра и зла».

25 декабря 1918 года армия Колчака заняла Пермь, однако вскоре перешла к обороне. Вейдле был призван на военную службу в Белую армию, но служил недолго. После захвата красными летом 1919 года университет эвакуировался в Томск; в марте 1920-го большевистская власть перевела

его опять в Пермь. Но работа уже потеряла для Вейдле смысл: идеология и здесь победила науку, — и он возвращается в Петроград.

10 августа 1921 года состоялось важное для В. Вейдле и всей русской культуры событие: хоронили Александра Блока. Вейдле, на плечах несший гроб на Смоленское кладбище, сказал: «Прощание с Блоком — это и прощание с Россией». Именно тогда, в кладбищенской церкви, стоя рядом с Ахматовой и Андреем Белым, почти за три года до отъезда своего из России, Владимир Васильевич ощутил, что Россия распалась надвое и той ее части, к которой он себя относил, по-видимому, уже нет места на родине: «Никогда охоты у меня не было ни к каким группировкам, объединениям, движениям, союзам, партиям принадлежать. Но молчаливое это сомнение мое меня ведь-таки зачисляло в какое-то большое целое, в пишущую, мыслящую Россию. Плохо ей теперь приходилось. Горжусь, что включил я себя в нее, пусть сознанием одним, не подвигом, ни даже малым каким-нибудь делом, тогда, в то тяжкое для нее время, в тот особо трагический и решающий для нее год».

Молодой историк, литератор, поэт пережил в России поражение культуры и ее распад. Участвовать в этом распаде служитель культуры В.В. Вейдле не мог и не хотел. По словам А. Шмемана, «опытом этого распада — любованье оказалось претворенным в служение, любовь к культуре — в борьбу за подлинную ее сущность».

Вейдле никогда (ни в России, ни потом во Франции) не был политическим противником левой доктрины как таковой. Он как-то написал: «Я — не фанатический приверженец какого-либо одного, противопоставляемого всем другим государственного строя. К социальным утопиям не склонен, идеалы социализма считаю убогими, унижающими человека, но из капитализма отнюдь кумира себе не творю... Дело было в идеологии — не вообще идеологии, хотя бы и коммунистической, — а в тоталитарности ее. Сама она, этой тоталитарностью своей, этим захватом всех областей жизни и духовной жизни вышла за пределы политики (или политическим сделала все на свете), а потому и чуждых политике людей, вроде меня, сделала врагами своей политики». И далее: «Вопрос о присвоении прибавочной стоимости или о том, кому принадлежат орудия производства, мало меня интересовал. Но тирания захватившей власть тоталитарной идеологии страшнее всех тираний, когда-либо существовавших на земле».

«Чем дальше отходила Россия от Европы, тем меньше становилась похожей на себя...»

В июле 1924 года Владимир Васильевич эмигрировал из большевистской России под предлогом научной командировки; в октябре приехал в Париж, где и прожил до конца жизни. Многие годы он работал профессором христианского искусства в парижском Богословском институте; его фигура, его личность и труды стали одним из важнейших центров русской культурной эмиграции. Это о таких, как Вейдле, сказал писатель Роман Гуль: «Они унесли с собой Россию»...

Протоиерей А. Шмеман вспоминал: «В темные годы немецкой оккупации, читал он на частной квартире, почти „конспиративно“, цикл лекций о русской поэзии. Я убежден, что никто из слушавших его не забудет

вдохновенного чтения им Пушкина, Баратынского, Тютчева, Блока, Ахматовой. Этим чтением совершал он некое светлое торжество России и нас, молодых, навсегда посвящал в него».

После Второй мировой войны Владимир Васильевич преподавал в Европейском колледже в Брюгге, университетах Мюнхена, Принстона, Нью-Йорка. Близко знал европейских знаменитостей — Клоделя, Валери, Элиота, Беренсона. Свободно владел пятью европейскими языками. Сам он предпочитал писать по-русски, но и французы считали его блестящим стилистом. Вейдле был удостоен престижной литературной Риварольевской премии, а министр культуры Франции Андре Мальро наградил его званием «Кавалера ордена литературных заслуг».

По формальной классификации исследователей творчества Вейдле его общественные идеи принадлежат к «христианскому либерализму» или, как выразился литератор Юрий Иваск, «новому западничеству»: «Это западничество — не белинско-герценовское, а христианское, но включающее и античное наследие — общее для всей Европы».

Истинная творческая свобода Личности, лишенная всех партийно-идеологических ограничителей, — вот идеал Вейдле. Философской основой этой позиции является противопоставление им «мировоззрения», которое вырабатывается творческим личностным усилием, — «идеологии», всегда тяготеющей к утопичности и партийному упрощению. Вот замечательный философский фрагмент о фундаментальном различии «мировоззрения» и «идеологии»: «Мировоззрение — нестрогое единство, мыслительная протоплазма личности... Идеология — система идей, более или менее умело, но всегда нарочито и для известной цели спаянных друг с другом; система мыслей, которых никто более не мыслит. Их принимают к сведению и тем самым к руководству; мыслить их — это значило бы их подвергнуть опасности изменения. К личности идеология никакого внутреннего отношения не имеет, она даже и навязывается ей не как личности, а как составной части коллектива или массы, как одной из песчинок, образующих кучу песка».

Наиболее органичной основой для творческих мировоззренческих поисков личности, по мысли Вейдле, является христианство — важнейший духовный субстрат европейской культуры. Но там, где выветривается эта первохристианская основа, где понижается тонус культурного творчества, там зарождаются монстры тоталитарных идеологий. Эти идеологии тоже порождены Европой, но Европой дехристианизированной и опошленной.

А что же Россия? Культурная Россия — это неотъемлемая часть христианской Европы; эта христианская Европа была в свое время разделена, и ее православная часть насильно отброшена к Востоку. Но проблема России не столько политико-географическая; она еще и в том, что Россия — самая уязвимая и хрупкая часть европейской культуры: здесь культурный слой как нигде узок. Вейдле часто метафорически уподоблял Россию «огромной ватрушке», которую «скаредная хозяйка едва прикрывала тонким слоем творага».

Вот почему за культуру (и в этом смысле — за Европу) в России приходится постоянно и особенно настойчиво бороться. Огромную роль в выявлении и закреплении европейского призвания России сыграл Петр Великий. Конечно, Петр проделал лишь начатки культурной работы. «Ограниченность его была велика, но все же не превышала его гения... Он воспитывал мастеровых, а воспитал Державина и Пушкина; он думал о верфях и арсеналах, но вернул Европе Россию, а за ней весь православный мир, поворотом с востока на запад восстановил единство христианского мира, нарушенное разделением Римской Империи... Он многое в России покалечил и многое окостенил, но в самом главном он успел — как не слишком заботливый хирург, ничего не спасший больному, кроме жизни...»

Действия Петра — во многом импровизация, порожденная огромной личной волей, но общий вектор развития угадан им правильно. Да и сам Петр воспитывался в европейской христианской традиции. «Когда ему не было еще и двенадцати лет, — писал Вейдле, — в октябре 1683 года, во всех московских церквях служили благодарственные молебны по случаю освобождения Вены от турецкой осады: басурманской столицей та раскольников, стрелецкая, избяная Белокаменная все же не была. Когда Петр, подросток, растолкал, взбудоражил ее, оскрамил и развенчал, когда он всю страну „вздернул на дыбы“ и выстегал заморской плетью, многое так и осталось поруганным и оскверненным, но переворот был все-таки направлен верно, окно прорублено на Запад, а не на Восток. Доказательством этому служат все дальнейшие двести лет, и, прежде всего, тот необыкновенно бодрый и быстрый рост государственной, хозяйственной и созидательно-духовной жизни, которым было отмечено время от Ломоносова до Пушкина».

Владимир Вейдле всю жизнь иронизировал над популярной и до сих пор периодически реанимируемой версией о том, что Россия цивилизационно — не Европа, а некая «Евразия»: «Если называть Евразией Россию, — язвительно замечал он, — то уж, конечно, с неменьшим правом можно называть Испанию Еврафрикой... Остается поэтому объявить Сиды, а заодно и Дон-Кихота национальными героями ливийских кочевых племен, а создавшую их страну — начисто исключить из европейского культурного круга».

Европеизация России как «возврат в Европу» после долгого отлучения, по мысли Вейдле, принципиально отличается от модернизации стран Востока. Не стоит путать европеизацию России и модернизацию, например, Индии или Японии. «Эти страны (Индия, Япония) сохраняют своеобразие вопреки европеизации и ровно в той мере, в какой она не завершена; Россия заложенное в ней своеобразие только вернувшись в Европу и смогла полностью осуществить. Она стала, конечно, более похожей на западные страны, чем была до того, но это сходство не уничтожило несходства, а сочеталось с ним и привело к цветению, которое вне такого сочетания было бы немыслимо...» «Если бы Петр был японским микадо или императором ацтеков, — написал как-то Вейдле, — на его земле завелись бы со временем авиационные парки и сталелитейные заводы, но Пушкина она бы не родила».

«Чем дальше отходила Россия от Европы, тем меньше становилась похожей на себя...»

Итак, воссоединение с Западом означало возвращение Россией своего законного места в Европе, т.е. обретение самой себя: «Русской культуре предстояло не потерять свою индивидуальность, а впервые ее целостно приобрести, — как часть другой индивидуальности. Европа — многонациональное единство, неполное без России; Россия — европейская нация, неспособная вне Европы достигнуть полноты национального бытия».

Этот вывод — один из фундаментальных для русского культурного европеизма: свою подлинную самобытность Россия может обрести только в Европе. Наивны или лукавы те, кто думают, что чем дальше от Европы, тем якобы больше самобытности, — дело обстоит как раз противоположным образом: «Утверждаясь в Европе, Россия утверждалась и в себе. Современникам Екатерины это было так ясно, что споры, связанные с этим, касались лишь частных дел, а не существа дела; и почти столь же ясно это было современникам Александра I-го».

Ключевой вывод: в Европе Россия не теряет, а, напротив, обретает свою самобытность. «Золотой век» русской самобытной культуры наступал именно тогда, когда Россия была частью культуры общеевропейской. И наоборот: вне Европы Россия теряет свою самобытность. Поэтому европеизм и самобытность не только не противоречат друг другу, а, напротив, плодотворно подпитывают друг друга. Пример тому — великий Пушкин, в котором подлинный европеизм и глубочайшая русскость слились воедино.

Но что же приключилось с великой петербургской Россией, казалось бы, вернувшейся в Европу? Последующая историческая драма, по мысли Вейдле, заключалась в утрате правящим слоем России «петровского», культурно-просветительского импульса. Более того: сам «культурный класс», сама русская интеллигенция, будучи продуктом и двигателем европеизации, со временем породила в своей среде настроения и тенденции, ставшие орудием отчуждения России от Европы.

Классический русский спор «западников» и «самобытников» был поначалу вполне внутриевропейским явлением высокой культуры. Речь шла о том, на какую Европу ориентироваться: на христианскую и допросвещенческую, еще не затронутую прогрессистскими искушениями, — или уже на секулярную, познавшую вкус гражданственности и правового строя? Но родившийся на вполне европейской почве и ставивший, по сути, общеевропейские проблемы спор отечественных западников и самобытников постепенно внутренне деградировал, что привело к обоюдному партийному самоупрощению обоих лагерей. Личностные культурные усилия заменила «партийность», а мировоззренческий поиск и творчество были подменены все более затвердевающими и не терпящими диссидентства идеологиями. Поэтому как «самобытническая», так и «западническая» партии, равно деградировавшие, внесли общий вклад в понижение русской культуры, а следовательно, и в отчуждение России от Европы. Их общими жертвами часто становились подлинные европеисты, не укладывавшиеся в прокрустово ложе партийных идеологий.

Так, будучи сам убежденным «западником», Вейдле многократно защищал в своих текстах великого поэта, мыслителя и дипломата Федора Тютчева от нападок полуинтеллигентов из формально своего же западнического лагеря, которые записывали европеиста Тютчева в «антизападники» только на том основании, что Тютчев вполне справедливо критиковал «рабское подражание Западу», сравнивая иных русских прогрессистов с «дикарями», «кои бросаются на вещи, выброшенные им кораблекрушением». «Он (Тютчев. — А.К.) не только усвоил европейскую культуру, но и европейскую землю чувствовал своей землей. Мыслил он европейски, т.е. исходя из целого Европы, просто потому, что иначе мыслить не умел, и Россия была для него хоть и Восточной Европой, а Европой. Настоящий Восток был ему чужд, и ничего азиатского он в русском не искал... Тютчев не одобряет русского нарочитого европеизма, т.е. рабского подражания Западу, но это значит также, что двух цивилизаций, двух культур, русской и западной, для него нет, а есть лишь одна европейская, одинаково принадлежащая Западу и России».

По мысли Вейдле, такие фигуры, как Тютчев (сегодня мы и самого Вейдле можем с полным правом поставить рядом), абсолютно правы, считая русский европеизм проблемой культурного творчества, а не подражательства. Потому что в истории русского «западничества» действительно существовали периоды «преувеличений и односторонностей» вроде «галломании» или «пенкоснимательства и западнического чванства, никогда не исчезавших из русской действительности». Псевдоевропеизм русских подражателей, пренебрегавших национальной спецификой и стиравших ее, где только возможно, как это ни парадоксально, мог поставить под угрозу подлинное возвращение России в Европу: «Опасность денационализации России была реальна, и те, кто с ней боролся, были тем более правы, что лишенная национальной своеобразия страна тем самым лишилась бы и своего места в европейской культуре». Подлинный русский европеизм обязан быть творческим и синтетичным: он «уже не согласится ни с славянофилом, готовым в некотором роде довольствоваться народным тоническим стихом, ни с западником, уху которого стих Кантемира должен казаться более радикально-„европейским“ и, значит, передовым, нежели стих Пушкина».

Но еще более губительными для русской культуры стали новые «заигрывания» как русского официоза, так и русского нигилистического диссидентства с идеями «самобытности» (равно высокомерные по отношению к культурной Европе). Новое отчуждение (пусть лишь частичное) России от Европы в последней трети XIX века имело для России фатальные последствия: «Как только затуманилось для нас лицо Европы, тотчас постигла нас странная сонливость и повсюду стали замечаться уныние, застой, убыль духовных сил. Наши шестидесятники заклеили окно на Запад прокламациями и подметными листками, отказались от всего его богатства ради горсти лозунгов, ничего не дававших мысли, но пригодных для борьбы. Как бы ни расценивать эту борьбу и всю их деятельность с других

«Чем дальше отходила Россия от Европы, тем меньше становилась похожей на себя...»

точек зрения, с точки зрения культуры она была в высшей степени вредоносна. Недаром проявляли они столь крайнюю нетерпимость ко всем инакомыслящим и столь резкую вражду ко всему, что нельзя было поставить на службу политике (разумеется, их политике): к религии, философии, поэзии, искусству и даже к научному знанию, непригодному для пропаганды и не направленному на непосредственное удовлетворение практических нужд». Все это, по мысли Вейдле, привело к «провинциализации» России, очень верно отраженной великим Чеховым, и в конечном счете послужило к образованию того умственного склада, который вскоре стал характерен уже не только для верхних и даже не для средних, но и для низших слоев интеллигенции. Именно этот слой «полуинтеллигентов», использовавший отчуждение от европейской высокой культуры в качестве своего жизненного субстрата, и восторжествовал в России после Октября: «Полуинтеллигенты пришли к власти, а интеллигенция более высокого культурного уровня оказалась выгнанной или уничтоженной. В России началось снижение культуры, а потом и сдача ее на слом при Сталине, вместе с отчуждением от остальной Европы, достигшим размеров невиданных в послепетровские времена. Россия отходила от Запада... Самобытность она этим не приобретала. Наоборот, чем дальше отходила, тем становилась меньше похожей на себя...»

Каков же конкретный механизм этого понижения и опошления русской культуры в среде русской «псевдоинтеллигенции»? Здесь Вейдле формулирует еще одну историософскую мысль, которая в таком целостном и одновременно четко афористическом виде более ни у кого не встречается. Речь идет о проблеме «своего» и «чужого» в культуре и истории. По мнению Вейдле, партийные идеологи-полуинтеллигенты, рядящиеся в тогу либо «западников», либо «самобытников» (по сути, неважно) и в основном имитирующие непримиримые расхождения, на самом деле в главном едины. И те и другие равным образом неправомерно противопоставляют Россию и Европу и, таким образом, играют в общую контркультурную и в этом смысле антирусскую игру. «Безоговорочное и непримиримое противопоставление России Западу, Запада России есть ядро идейного комплекса, любопытного прежде всего тем, что его создали и дружно развивали ни в чем другом не согласные между собой умы: исключительные приверженцы всего русского в России и фанатические поклонники Запада на Западе». И далее: «И те, и другие стремятся возвеличить „свое“ путем умаления „чужого“, не понимая относительности различия между своим и чужим, и само стремление это приносит им заслуженную кару, неизбежно приводя к сужению своего, которому начинает отовсюду угрожать их же собственными усилиями раздутое, разросшееся чужое. Ревнивые европейцы окапываются за Рейном и Дунаем, а наши собственные самобытники отступают от Невы к Москве-реке, покуда и Москва не показалась им еще недостаточно восточной». Отсюда общий драматический результат: «Вместо осознания России, как органической составной части Европы, от нее временно отделенной и имеющей вернуться в ее лоно, сохраняя при

этом свою особенность, свое неповторимое лицо, у нас стремились либо закрепить навсегда ее отдельность, либо совершить непоправимый отказ от ее особой судьбы, от исторической ее личности». В этом смысле «грех» русских радикальных западников Вейдле видел в том, что «им очень хотелось сделать Россию Европой, но они упорно забывали, что Россия уже Европа» и в своем прогрессистском усердии часто безжалостно вытапывали то, что по сути было европейским.

Итак, самобытники отрицали Европу, а западники отрицали Россию. Но и те и другие противопоставляли Россию Европе, и большевикам оставалось проделать лишь нехитрую идеологическую компиляцию — совместить пороки обеих концепций: «Революция в советской ее форме роковым образом унаследовала оба отрицания... Отрицание Европы, от которой она Россию отторгла, и отрицание России, которой она навязала глубоко ей чужой... бездушный техницизм». Иначе говоря, большевики, убив Европу в России, радикально отторгли Россию от Европы, но тем самым они уничтожили и саму Россию, нивелировав ее с другими коммунизирующимися сообществами.

Для Вейдле СССР принципиально не был и не мог быть наследником российской государственности: «Ведь эти четыре буквы или четыре слова всего лишь ко всем услугам готовая и ради них придуманная кличка, которая при случае подошла бы к Патагонии или Австралии не хуже, чем к Москве... И обозначает она, конечно, не душу России и даже не ее тело, а лишь универсального покроя мундир, напаянный на нее совершенно так же, как он напаян на многие другие страны и который закройщики его готовят напаять на весь мир». Равным образом, и РСФСР («Российская советская...» и пр.) ничего общего не имеет с Россией: «Россия тут хоть и упомянута, но в виде прилагательного, как если бы человека назвали не Иваном, а ивановской разновидностью блондинов среднего роста».

В России произошла трагедия, но эта трагедия, по мысли Вейдле, — общая для всей культурной Европы. Ведь уничтожение России как части Европы не может быть безразлично самой Европе. Важно всем признать, что Россия в данной ситуации расплачивается не только за свои, но и за общие, в том числе общеевропейские, грехи. При этом формой расплаты является не только русский коммунизм, но и итало-немецкий фашизм, и «нет в мире ни одной страны, вполне неповинной во взрождении этой двойной отравы». Не любил Вейдле и американского дегуманизированного техницизма, часто самодовольно противопоставляющего себя «старой Европе». Он полагал, что антикультурный американизм — это такой же «вывих» и «болезнь» Европы, как и советский большевизм: «Россия и Америка... Обе страны поражены наиболее крайней формой утилитарно-технического идолопоклонства, так как все отличия рядом с этим отступают на второй план. В России идола принуждают поклоняться, в Америке поклоняются ему свободно; первое — страшней, но второе, пожалуй, еще безвыходней».

«Чем дальше отходила Россия от Европы, тем меньше становилась похожей на себя...»

В конце жизни Вейдле надеялся, что, переболев большевизмом, получив этот исторический урок и преподав его другим нациям, Россия сможет вернуться в Европу и там, своим примером, послужит предупреждением для самой Европы от новых возможных всплесков антикультурной, тоталитарной варваризации: «Разучилась Россия — под кнутом разучилась — мыслить себя Европой, а все-таки, если спасется она из-под кнута, если вернет себе свою историю, она воссоединится с Западом и будет снова не только христианской, но и европейско-христианской страной».

Итак: Россия — часть Европы, но она так же самобытна и единственна, как и любая другая страна Европы. Это парадоксальное умозаключение и сегодня может резать слух не только правоверных «самобытников», но и иных западнических «идеологов-партийцев», на животном уровне отторгающих сами слова «самобытность», «особое призвание» и др. И европеист Вейдле хорошо понимал это. «Как это я, прославивший западником, — вопрошал он, — могу говорить о единственности России... о ее миссии в отношении остальной Европы? Но отчего же нет? Быть Мессией — одно; обладать особым призванием — совсем другое. Давно пора понять, что Россия так же единственна в европейском целом, как Англия или Италия. Причем значение части для целого как раз и определяется ее несходством с другими ее частями». Европа здесь уподобляется оркестровой гармонии инструментов, где каждый имеет свой смысл, свой стиль и свою задачу, но звук которого может раскрыться только в общем симфоническом звучании.

Какой же вывод следует из этих историософских размышлений? Он ясен: «Пора вернуться в Россию. Не нам, а России, детям и внукам всех тех, с кем мы расстались, когда мы расстались с ней. Пора им зажечь в обновленной, но все же в той самой стране, где мы некогда жили, в России-Европе, в России, чья родина — Европа. Из нерусского, мирового по замыслу, но Европе враждебного СССР пора им вернуться в Россию и тем самым в Европу; пора им вернуться на родину».

Возвращение России в Европу — это возвращение в свою, европейскую культуру. Скончавшийся в 1979 году Вейдле верил в новую постбольшевистскую Россию, которая просто обязана будет «заново прорубить окно — не в Европу даже, на первых порах, а в свое близкое и родное, но наполовину неведомое ей, украденное у нее прошлое». «Чтобы это случилось, — писал он в конце жизни, — нужно вымести сор из избы, убрать гнездящуюся по углам путаницу и мертвечину; нужно совесть раскрепостить, нужно выбросить за окно отрепья давно исчерпавшей себя, давно беспредметной идеологии. Срок для этого настал. Люди для этого есть. Пора нашей стране очнуться, прозреть, пора зажечь на ветру, а не заперти, новой, зрячей, полноценной жизнью».

...В молодости Владимир Вейдле считался неплохим поэтом, был заведующим знаменитого поэтического кабаре «Бродячая собака». Но потом резко бросил стихосложение. И вот, спустя почти полвека, в семидесятилетнем возрасте он вдруг снова ощутил в себе поэтический дар.

Вдохновила его Италия — Венеция, Рим, Неаполитанский залив, те самые места, которые он впервые посетил в шестнадцатилетнем возрасте и которыми пропитался на всю жизнь (в Венеции, например, он в конце жизни бывал ежегодно — иногда по несколько раз). Но что характерно? Начав в юные годы писать вирши в нарочито усложненном акмеистском стиле, в конце жизни Владимир Васильевич «впал» (как сказал бы другой великий поэт) «в невысказанную простоту», кристальную и строгую, очень далекую от старческого сентиментальничанья. Но и здесь, в поздней философской лирике, Вейдле мучается темой возвращения (трактуемого также и как христианское «воскресение») и невозвращения, безвозвратного ускользания, исчезновения и утраты. Именно об этом одно из любимых им самим стихотворений — «Берег Иския». Это вблизи Неаполя, 1965 год, всего двенадцать строк:

Ни о ком, ни о чем. Синева, синева, синева,
Ветерок умиленный и синее, синее море.
Выплывают слова, в синеву уплывают слова,
Ускользают слова, исчезая в лазурном узоре.

В эту синюю мглу уплывать, улетать, улететь,
В этом синем сиянье серебряной струйкой растаять,
Бормотать, умолкать, улетать, улететь, умереть,
В те слова, в те крыла всей душой бескрылой встая...

Возвращается ветер на круги свои, и она
В синеокую даль неподвижной стрелою несется,
В глубину, в вышину, до бездонного синего дна...
Ни к кому, никуда, ни к тебе, ни в себя не вернется...

...Здесь невольно приходят на память мемуары Владимира Вейдле о его последнем дне на родине, в июле 1924 года, в любимом им Петербурге (иных названий города не признавал), накануне окончательного отъезда в эмиграцию. Он вспоминал, как пошел в тот день в Эрмитаж и в пустом зале опустился на колени перед картиной Рембрандта «Возвращение блудного сына»...

АНДРЕЙ
ДМИТРИЕВИЧ
САХАРОВ

«Свобода нуждается
в защите всех мыслящих
людей...»

«Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой» — этими словами Гёте Андрей Дмитриевич Сахаров (1921–1989) преварил свой первый, написанный в Москве и опубликованный на Западе в 1968 году политический манифест. Написание «Размышлений о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» обозначило новый период в его жизни: создатель советской водородной бомбы, трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской и Ленинской премий стал борцом с тоталитарным режимом, принципиальным оппонентом советского строя, диссидентом и правозащитником. Как и для тысяч других людей, 1968 год стал для Сахарова переломным — позже он сам напишет, как под «грохот танков на улицах непокорившейся Праги» таяли его последние иллюзии относительно советского режима.

А.Д. Сахарова могли обвинять в наивности, идеализме, незнании житейских реалий, чрезмерной доверчивости, но никто и никогда не смел ставить под сомнение его честность, благородство, принципиальность и мужество. На собственном опыте осознав преступность коммунизма, добровольно обменяв комфортабельное существование академика на гонения, репрессии и ссылку, так подорвавшие его и без того слабое здоровье, Андрей Дмитриевич целиком отдался делу борьбы за демократию и свободу. Взгляды Сахарова оставались неизменными, как и его требования к власти: общая амнистия всех политических заключенных, отмена монополии КПСС и введение многопартийной системы, денационализация и деколлективизация экономики, свобода слова, печати, совести, убеждений, собраний и передвижения, реабилитация репрессированных, подлинное осуждение преступлений сталинизма, демилитаризация и разоружение, охрана окружающей среды, отмена смертной казни.

Андрей Дмитриевич Сахаров рос в многолюдной московской квартире, окруженный любовью родителей и близких, в большой интеллигентной семье. Отец Дмитрий Иванович, профессор физики, привил сыну любовь и интерес к этому предмету; от матери Екатерины Алексеевны ему достались необщительность и упорство — черты, которые останутся с Андреем Сахаровым до конца его жизни. Первые школьные годы Андрей учился дома («для меня влияние семьи было особенно большим», напишет он

впоследствии), а в 1938-м, окончив школу, легко поступил на физический факультет Московского университета, где вскоре стал считаться лучшим студентом, когда-либо учившимся в его стенах. Окончил МГУ с отличием Сахаров в ашхабадской эвакуации и в столицу вернулся после окончания войны, будучи уже женатым (со своей первой женой Клавдией Алексеевной Вихиревой он проживет до ее смерти в 1969 году). В Москве Андрей Дмитриевич поступил на работу в Физический институт Академии наук СССР, где его научным руководителем стал лауреат Нобелевской премии по физике академик Игорь Тамм. Работа Сахарова в области исследования атома, предложенный им расчет мю-мезонного катализа ядерной реакции в дейтерии были замечены: уже в 1947 году, в возрасте двадцати шести лет, он становится кандидатом физико-математических наук, а годом позже его включают в состав специальной секретной группы академика Тамма по проверке проекта водородной бомбы, над которым работала группа академика Я.Б. Зельдовича. Но молодой ученый предлагает собственный проект водородной бомбы и в 1950 году в составе группы Тамма направляется в сверхсекретный атомный центр в город Саров (знаменитый «Арзамас-16»). «Все мы тогда были убеждены в жизненной важности этой работы для равновесия сил во всем мире и увлечены ее грандиозностью», — позже напишет академик Сахаров об этом времени.

12 августа 1953 года Советский Союз провел успешное испытание своей первой водородной бомбы. В том же году Сахаров защищает докторскую диссертацию, становится самым молодым в истории Академии наук СССР действительным членом и награждается звездой Героя Социалистического Труда и Сталинской премией. «Этот человек сделал для обороны нашей родины больше, чем мы все, присутствующие здесь» — так отозвался об Андрее Сахарове представлявший его на собрании физико-математического отделения АН СССР академик И.В. Курчатов. В 1955 году успешное испытание новой, более мощной водородной бомбы принесло Сахарову вторую медаль Героя Соцтруда и Ленинскую премию. Его последней наградой от советского правительства стала третья медаль Героя, полученная за самый мощный термоядерный взрыв в истории планеты — испытание 50-мегатонной водородной бомбы на Новой Земле 30 октября 1961 года.

Будучи непосредственным участником советской ядерной программы, академик Сахаров не понаслышке знал, какими последствиями чревата любая ошибка, любой сбой в этой сфере. Да и не в ошибках было дело: понемногу он начинал понимать, какому режиму собственными руками создавал смертоносное оружие. Беспокойство появилось уже в 1953 году, когда Андрей Сахаров стал свидетелем массового выселения тысяч людей из окрестностей испытательного полигона, и усилилось после первого испытания бомбы. На праздничном банкете Андрей Дмитриевич поднял бокал за то, «чтобы бомбы взрывались лишь над полигонами, и никогда над городами», после чего прервавший его на полуслове маршал Неделин резко заметил, что, мол, не дело ученых вступать в дела политического руководства.

Первые страницы общественной деятельности академика Сахарова относятся именно к 1950-м годам, когда он еще работал в режиме сверхсекретности над усовершенствованием водородной бомбы. Уже в это время возникает его первый конфликт с высшим руководством СССР — председателем Совета министров Никитой Хрущевым и министром среднего машиностроения Ефимом Славским. Хрущеву Андрей Дмитриевич писал о недопустимости планируемого урезания средств на образование, а главное — о необходимости отказаться от ядерных испытаний, которые лишь подгоняют гонку вооружений и интенсифицируют холодную войну. Тогда же, в 1958 году, Андрей Дмитриевич публикует две статьи, в которых подробно рассказывает об опасности ядерных испытаний для здоровья людей, об их негативном влиянии на наследственность и среднюю продолжительность жизни. На первый план для Сахарова выходят проблемы экологии и защиты окружающей среды, которые будут оставаться для него важнейшими до конца жизни. Андрей Сахаров известил советское руководство о том, что каждый мегатонный ядерный взрыв приводит к десяти тысячам случаев онкологических заболеваний. Ответом советской власти на озабоченность действительного члена АН СССР стал, как уже говорилось, взрыв 50-мегатонной водородной бомбы. Гигантский клубящийся гриб, выросший на 67 км, был виден, несмотря на сильную облачность, на тысячекилометровом расстоянии. В поселке, находившемся в 400 км от эпицентра взрыва, были разрушены все дома. «Я не мог ничего поделать с тем, что считал неправильным и ненужным. У меня было ужасное чувство бессилия. После этого я стал другим человеком» — так скажет Сахаров о том моменте своей жизни. После проведения третьего испытания конфликт между ним и властью достиг особой остроты, и все же во многом именно авторитет Сахарова и его давление на власть заставили советское руководство подписать Московский договор 1963 года, запретивший ядерные испытания в трех сферах (атмосфере, воде и космосе).

Важным моментом перехода Андрея Сахарова к активной общественной деятельности стало его выступление на заседании Академии наук 26 июня 1964 года. В тот день Сахарову и его коллегам, академикам Энгельгардту и Тамму, удалось не допустить реванша псевдонаучных идей Трофима Лысенко, получивших столь широкое распространение при Сталине. А первым открытым выступлением академика Сахарова против советского режима стало подписанное им самим, Игорем Таммом, Петром Капицей и еще двадцатью двумя представителями творческой и научной интеллигенции письмо Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. Это письмо стало реакцией на процесс над писателями Андреем Синявским и Юрием Даниэлем, осужденными в 1966 году за «антисоветскую пропаганду». Андрей Дмитриевич назвал «величайшим бедствием» возрождение правящим режимом сталинской политики нетерпимости и преследования свободной мысли. Следующий год ознаменовался очередными громкими политическими процессами над Гинзбургом, Галансковым, Буковским, Хаустовым, а 1968-й, вошедший в историю Западной

Европы массовыми выступлениями молодых радикалов, в странах восточного блока запомнился «пражской весной». Как уже говорилось, именно появление советских танков на улицах чешской столицы подвигло Андрея Дмитриевича бороться против диктатуры КПСС. Летом 1968 года на Западе выходит первое серьезное политическое эссе Сахарова, названное им «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Как позже признавал сам Сахаров, некоторые изложенные в этом труде положения были чересчур наивными, другие — далекими от реалий жизни в Советском Союзе. Многие его тогдашние предположения и прогнозы не подтвердились на практике. Друг и соратник Андрея Сахарова по правозащитному движению Владимир Буковский вспоминает, насколько он был поражен практической неосведомленностью Сахарова, его незнанием каждодневной жизни миллионов советских граждан. Так, в «Размышлениях» можно встретить пассаж о том, что советские люди должны всегда благодарить коммунистическую партию за то, что она освободила женщину и освободила труд. Выйдя из тюрьмы в 1970 году, Буковский на первой же своей встрече с Андреем Дмитриевичем спросил его, видел ли он когда-нибудь, как бабы в грязных спецовках кладут на московских дорогах раскаленный асфальт? На что Сахаров с совершенно искренним изумлением переспросил: «Какие бабы? Какой асфальт?..»

Очевидно, что человеку, который всю свою жизнь провел в закрытых и элитарных академических сферах, было трудно понять советскую жизнь со всеми ее нюансами и «прелестями». Он постигал ее медленно, но основательно и безошибочно. Уже в своих статьях середины 1970-х Сахаров пришел к неизбежному выводу о том, что «капиталистические демократические государства ближе к истинно человеческому обществу, чем любые тоталитарные режимы», в то время как «социализм всюду неизбежно означал однопартийную систему, власть алчной и неспособной бюрократии, экспроприацию всей частной собственности, террор ЧК, насилие над свободой совести и убеждений».

То, что многие считали наивностью Андрея Дмитриевича, на самом деле было беспокойством за судьбу каждого отдельного человека, желанием всегда и везде ставить во главу угла не абстрактные идеологические химеры, а главные и непреложные ценности — человеческую жизнь, честность, нравственность. Демократизацию и демилитаризацию он считал «единственной альтернативой гибели человечества», а «любые действия, увеличивающие разобщенность человечества, любую проповедь несовместимости мировых идеологий и наций» — «безумием, преступлением».

И конечно же, главной темой «Размышлений» стала свобода. «Человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода получения и распространения информации, информационная свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения... Свобода мысли — единственная гарантия от заражения народа массовыми мифами, которые в руках коварных лицемеров-демагогов легко превращаются в кровавую диктатуру», — писал он в своей первой политической работе, предупреждая, что над свободой

«Свобода
нуждается
в защите всех
мыслящих
людей...»

нависла угроза неосталинизма. Как бы заранее отвечая тем, кто постоянно пытался столкнуть «кучку антисоветских интеллигентов» и «народные массы», Андрей Дмитриевич подчеркивал, что «свобода мысли нуждается в защите всех мыслящих людей. Это задача не только интеллигенции, но и всех слоев общества». Противопоставив официальным данным КГБ о том, что за годы сталинского террора было убито «всего» 700 тысяч человек, свою цифру — 10–15 миллионов (позже исследования Александра Солженицына, Владимира Буковского и западных историков и демографов придут к числу 40–60 миллионов), академик Сахаров потребовал всенародного расследования преступлений сталинизма, которое, разумеется, отнюдь не входило в планы партийной верхушки. Назвав «позором» страны осуждение Буковского, Гинзбурга и десятков других оппонентов советского режима, Андрей Дмитриевич предупредил об опасности надвигающейся волны государственного антисемитизма.

Сам Сахаров охарактеризовал свои «Размышления» как «компиляцию либеральных, гуманистических и наукократических идей». Известный американский журналист Харрисон Солсбери назвал этот текст «высшей отметкой движения за либерализацию в коммунистическом мире». После опубликования сахаровских «Размышлений» на Западе в июле 1968 года Андрей Дмитриевич был отстранен от всех секретных работ и переведен в Физический институт имени Лебедева в качестве старшего научного сотрудника. Это была низшая должность, которую мог занимать советский академик.

Андрей Сахаров прекрасно понимал, что, идя на полный разрыв с советской властью, оставляет в прошлом спокойную и безбедную жизнь физика-ядерщика и вступает на тернистый путь борца с тоталитарным режимом. Последующие годы жизни Андрея Дмитриевича вплоть до ее конца ознаменовались преследованием, репрессиями, гонениями и травлей со стороны коммунистического руководства. В 1970 году вместе с известными диссидентами Чалидзе, Твердохлебовым, Шафаревичем и Подъяпольским Сахаров создает Комитет прав человека. «С 1970 года защита прав человека, защита людей, ставших жертвой политической расправы, выходит для меня на первый план» — так объяснил Андрей Дмитриевич свою инициативу. Наука действительно отошла для него на второй план — все свое существование академик Сахаров посвятил защите тысяч живущих и памяти миллионов погибших, репрессированных советским режимом людей. Уже весной 1971 года Сахаров пишет новое письмо Брежневу, в котором требует у генсека объявить общую амнистию политическим заключенным, прекратить использование психиатрии в целях борьбы с диссидентами (как раз в 1971 году об этом приеме советского режима миру рассказал Владимир Буковский), ввести свободу печати и свободу выезда из СССР, реабилитировать репрессированные народы, начать ядерное разоружение и провести альтернативные, а не бутафорские выборы в Верховный Совет. Одновременно с этим сам Сахаров не пропускал ни одного политического процесса, ездил в места ссылок,

бесконечно писал письма в советские и международные организации, проводил голодовки, устраивал, несмотря на запреты КГБ и Генеральной прокуратуры, пресс-конференции, активно общался с западными журналистами. Помогал всем, чем мог, в том числе и деньгами: в 1969 году все свои сбережения он отдал на строительство Онкологического центра и на помощь Красному Кресту, а на полученную им в 1974 году Международную премию «Чино дель Дука» (25 тыс. долларов) вместе со своей новой супругой, правозащитницей Еленой Боннэр, создал Фонд помощи детям политзаключенных. Судебные процессы над диссидентами подразумевались как закрытые, но Сахарову удавалось их посещать. «Он являлся на наши суды при всех своих орденах и медалях и говорил милиционерам, что он — академик Сахаров, всемирно известный ученый, — вспоминает с улыбкой Владимир Буковский. — И они робели, не осмеливались его не пропускать. Да у него наград было больше, чем у Брежнева!» Правда, потом компартия и КГБ все же распространили специальное распоряжение: Сахарова А.Д. на судебные процессы не пропускать. На процесс самого Буковского в 1972 году Андрея Дмитриевича не пустили — так и простоял все два часа под дверью.

В 1975 году в Западной Германии вышла в свет книга Андрея Дмитриевича «О стране и о мире». В ней Сахаров привлек внимание западной общественности к опасности получающей широкое распространение среди европейской молодежи «левой моды», «леволиберальных» настроений, сочувствия СССР. По его мнению, это грозило потерей единства Запада перед лицом тоталитаризма и сползанием его самого к «госкапиталистическому тоталитарному социализму», что не менее опасно. Напомнил академик Сахаров и слова Белинкова, сказавшего как-то, что «социализм — это такая штука, которую легко попробовать, да трудно выплюнуть». От советского же руководства Андрей Дмитриевич в очередной раз потребовал предоставления гражданских свобод, полной амнистии политзаключенных, перехода к многопартийной системе, предоставления республикам права на добровольный выход из СССР. Впервые прозвучали и экономические требования: «денационализация всех видов экономической и социальной деятельности», «деколлективизация в сельском хозяйстве» и свободный обмен рублей на иностранную валюту.

В том же, 1975 году Андрей Дмитриевич Сахаров стал первым советским гражданином, получившим Нобелевскую премию мира (по иронии судьбы, вторым спустя пятнадцать лет станет генсек ЦК КПСС). Нобелевский комитет пояснил, что премия присуждается академику Сахарову за его «бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми» и «мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства». Советские власти не выпустили Андрея Дмитриевича из страны: вместо него получать премию в Осло полетела Елена Боннэр, зачитавшая написанную Сахаровым Нобелевскую лекцию «Мир, прогресс и права человека». Главное место в лекции занимало поименное перечисление 126 узников совести в СССР

«Свобода
нуждается
в защите всех
мыслящих
людей...»

(в их числе Буковского, Марченко, Плюща, Мороза, Глузмана, Хаустова, Ковалева, Твердохлебова, Любарского) — и это, как подчеркнул Сахаров, была лишь крохотная часть тех, кто страдал за свои убеждения в Советском Союзе. «Я прошу вас считать, что все узники совести, все политзаключенные моей страны разделяют со мной честь Нобелевской премии мира», — подчеркнул Андрей Дмитриевич в своей лекции.

В последующие пять лет Сахаров продолжил свою правозащитную деятельность: ездил в Омск, Ташкент, Якутию и Мордовию для поддержки местных диссидентов, писал все новые письма советскому руководству, сам получал сотни писем со словами поддержки и просьбами о помощи со всех концов огромной страны. С новыми силами академик Сахаров вступил в борьбу за отмену смертной казни в СССР и во всем мире, считая ее «варварским институтом», неэффективным способом борьбы с преступностью и терроризмом, «катализатором более массового исхода безумия, мести и жестокости». «Смертная казнь не имеет моральных и практических оправданий и представляет собой пережиток варварских обычаев мести, — писал Андрей Дмитриевич. — Мести, осуществленной хладнокровно и обдуманно... и поэтому особенно позорной и отвратительной».

Именно в эти годы, последние годы перед ссылкой, Андрей Дмитриевич Сахаров четко сформулировал свой политический идеал, который, как и многое написанное Сахаровым, звучит просто и бесспорно — «плюралистическое общество с безусловным соблюдением основных гражданских и политических прав человека; общество со смешанной экономикой, осуществляющее научно регулируемый всесторонний прогресс».

И снова Сахаров требовал открытого осуждения преступлений советского режима, политических действий КПСС и кровавых актов карательной системы ВЧК — ГПУ — НКВД — МГБ — КГБ. «Народ без исторической памяти обречен на деградацию», — повторял Андрей Дмитриевич, говоря, что Советскому государству необходимо вскрыть язвы прошлого, предать гласности и всенародному обсуждению все то, чем вошел в историю Союз Советских Социалистических Республик: массовым кровавым террором, насильственной коллективизацией, ГУЛАГом, геноцидом целых народностей, сотрудничеством и подписанием договора с Гитлером, репрессиями тех, кто в ходе войны оказался в плену, государственным антисемитизмом. Но власть Сахарову не отвечала, по крайней мере открыто. Ответила она ему лишь в 1980 году, после того как академик Сахаров резко и публично (в том числе в интервью ведущим западным средствам массовой информации) осудил советскую агрессию в Афганистане, потребовал от Брежнева немедленного вывода войск и в который раз всеобщей политической амнистии в СССР. Ответ советского правительства был жестким и незамедлительным.

Однако впечатление, что советская власть Сахарова попросту игнорировала, далеко от действительности — она его смертельно боялась и не останавливалась ни перед какими мерами для «пресечения его деятельности» на самом высоком уровне. В 1973 году в «Правде» появляется письмо

сорока академиков, «возмущенных» и «осуждающих» «антиобщественную деятельность Сахарова А.Д.». Разумеется, текст писался в ЦК КПСС, и сразу же после публикации письма на Андрея Дмитриевича начались открытые гонения. В феврале того же 1973 года совместный циркуляр ЦК КПСС и КГБ СССР объявляет «нецелесообразным» упоминание Сахарова А.Д. в советской печати — мол, огласка, хотя бы и негативная, только «способствует антиобщественной деятельности» академика. Власти взяли курс на замалчивание деятельности Сахарова — вроде как и нет вообще такого человека. Соответствующая поправка была внесена даже в Советский энциклопедический словарь. «Сахаров А.Д. (р. 1921), сов. физик, акад. АН СССР (1953). Осн. тр. по теоретич. физике. В последние годы отошел от научной деятельности» — вот и все, что следовало знать советским гражданам о Сахарове.

Но, как известно, официальные издания были не единственным источником информации для жителей СССР, а западные «голоса» освещали деятельность Андрея Дмитриевича регулярно и подробно. Уже в январе 1974 года сам председатель КГБ Юрий Андропов пишет в ЦК почти паническое письмо (№ 266-А от 29.01.1974 года) о выявлении случаев распространения на станциях ленинградского метро «политически вредных» листовок в поддержку Сахарова и Солженицына, изъятых сотрудниками госбезопасности в количестве 235 штук. После присуждения академику Сахарову Нобелевской премии мира делать вид, что его не существует, было, разумеется, бесполезно, и 15 октября 1975 года Андропов снова пишет в ЦК записку «О принятии конкретных мер по компрометации присуждения Сахарову А.Д. Нобелевской премии». В этом документе все было изложено действительно очень детально, вплоть до указаний конкретным газетам напечатать конкретные статьи. Любопытен избранный КГБ метод дискредитации Андрея Дмитриевича на Западе: тамошним союзникам СССР предписывалось особо акцентировать внимание на роли Сахарова в создании советской водородной бомбы и говорить об «абсурдности» присуждения Нобелевской премии мира создателю оружия массового поражения. В самом СССР результат андроповской записки проявился немедленно публикацией в «Известиях» письма семидесяти двух советских академиков, «единодушно осудивших» решение Нобелевского комитета. Нашли в себе мужество отказаться от подписания этого пасквиля лишь пять академиков — Зельдович, Гинзбург, Капица, Канторович и Харитон. В беседе с президентом Нью-Йоркской академии наук доктором Лейбовицем президент АН СССР Анатолий Александров, следуя в фарватере партийно-государственной линии, старательно воспроизводил одобренную «наверху» клевету на Сахарова. Поток антисахаровских документов, исходивших с самого верха, не прекращался: известно в числе десятков других бумаг постановление ЦК КПСС «О мерах по пресечению деятельности Сахарова А.Д., наносящей ущерб государственной безопасности» от 4 ноября 1978 года. Хорошо известно и высказывание самого Андропова, назвавшего А.Д. Сахарова «врагом народа номер один».

«Свобода
нуждается
в защите всех
мыслящих
людей...»

Арестовали А.Д. Сахарова 22 января 1980 года, после его требования остановить афганскую войну. Решением ЦК КПСС академик Сахаров был лишен всех званий и наград и без суда и следствия сослан в закрытый город Горький, где ему предстояло провести под домашним арестом и неустанным надзором КГБ почти семь лет. В качестве места жительства для Андрея Сахарова и Елены Боннэр была избрана бывшая явочная квартира КГБ. Перед их дверью день и ночь дежурил милиционер, никого к Андрею Дмитриевичу не пропускавший и ни разу за все годы не обмолвившийся с Сахаровым или Боннэр хотя бы одним словом. Кстати, точно так же никого не пускали и в московскую квартиру Сахарова на Земляном Валу, и когда там зимой открылось окно и лопнули батареи, то квартира в таком виде, отсыревшая и засыпанная штукатуркой, и простояла до самого возвращения Андрея Дмитриевича домой в конце 1986-го. Телефона у Сахарова в Горьком, естественно, тоже не было, а написанные им рукописи и дневники, которые он пытался вести в ссылке, периодически выкрадывались КГБ. Именно к годам ссылки относится один из главных общественных трудов Андрея Сахарова «Опасность термоядерной войны», в которой он призывает ко всеобщему разоружению. Трижды (в 1981, 1984 и 1985 годах) Андрей Дмитриевич объявлял голодовку, и каждый раз его насильственно госпитализировали с принудительным кормлением. В октябре 1986 года академик Сахаров пишет письмо новому Генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву с просьбой выпустить Елену Боннэр на лечение за рубеж, обещая при этом отойти от общественной деятельности. 16 декабря 1986 года неожиданно пришедшие в горьковскую квартиру Андрея Дмитриевича сотрудники КГБ установили у него телефон, по которому раздался первый и последний звонок — от Генерального секретаря ЦК КПСС. Горбачев разрешил академику Андрею Сахарову вернуться в Москву после семилетней незаконной ссылки.

Сразу же по приезде домой в конце декабря 1986 года Андрей Сахаров возвращается к активной общественной деятельности: продолжает добиваться освобождения политзаключенных, требует начала ядерного разоружения, демилитаризации и принятия мер по охране экологии, а в 1988 году становится почетным председателем общества «Мемориал», созданного жертвами сталинских репрессий. Андрей Дмитриевич дожил до первых с 1917 года свободных выборов в России, выборов народных депутатов СССР в марте 1989 года. Уступив московский территориальный избирательный округ Борису Ельцину, академик Сахаров баллотировался и был избран в первый и последний советский парламент по списку Академии наук СССР. Опубликованная им предвыборная платформа включала в себя, как и все его мировоззрение, элементы либерализма, экологизма, да и просто общечеловеческих и нравственных ценностей. Кандидат в депутаты Андрей Сахаров выступал за свободную рыночную экономику, свободу слова, печати, убеждений, совести и передвижений, открытие архивов НКВД — КГБ и создание специальной парламентской комиссии по контролю за деятельностью КГБ, запрет на строительство атомных элек-

тروстанций, отмену паспортной системы, сокращение срока воинской службы, преобразование СССР в подлинно федеративное образование с правом республик на самоопределение, отмену смертной казни, проведение прямых выборов депутатов Верховного Совета и главы государства.

Последние месяцы своей жизни Андрей Дмитриевич отдал работе в Межрегиональной депутатской группе съезда — первой легальной оппозиционной группе в СССР, созданной демократически ориентированными депутатами, в которую, кроме самого Сахарова, вошли Борис Ельцин, Анатолий Собчак, Юрий Афанасьев, Гавриил Попов, Галина Старовойтова и многие другие. В работе съезда академик Сахаров принимал самое активное участие: выступал, полемизировал, предлагал проект демократической федеративной Конституции «Евро-Азиатского Союза», в который предполагал преобразовать СССР. Но ничего сделать так и не смог, как никто из демократов не мог ничего сделать на съезде с легко управляемым коммунистической верхушкой «агрессивно-послушным большинством». Но ценность съезда не была в его политических действиях; она заключалась прежде всего в самом факте его существования, его открытости, а главное — в прямых трансляциях его заседаний на всю страну. Вся страна видела, как сгоняет Сахарова с трибуны Горбачев, как затыкает ему рот Лукьянов, как засвистывают его злобные ничтожества, как «прокатывают» его кандидатуру на выборах членов Верховного Совета...

Он ушел от нас 14 декабря 1989 года, успев в последний раз выступить на собрании Межрегиональной депутатской группы в Кремле. Его последнее выступление было таким же честным и принципиальным, как и все предыдущие. Андрей Дмитриевич говорил о том, что разочаровался в Горбачеве и убедился в половинчатости и поверхностности «перестройки», заявлял о необходимости проведения всеобщей политической забастовки и создания мощной оппозиционной партии. «Мы не можем принимать на себя всю ответственность за то, что делает сейчас руководство. Оно ведет страну к катастрофе... Мы... объявляем себя оппозицией, принимая на себя ответственность за предлагаемые нами решения», — сказал тогда Андрей Сахаров, сопредседатель Межрегиональной группы, призвав соратников к активизации борьбы за подлинную демократию и свободу. «Единственным подарком (власти. — В.К.) будет наша критическая пассивность. Ничего другое им не нужно, как это» — так завершил Андрей Дмитриевич Сахаров свое самое последнее выступление.

«Свобода
нуждается
в защите всех
мыслящих
людей...»

...В тот же день его не стало. Он не дожил всего две недели до десятилетия, которое ознаменовалось крушением коммунистической диктатуры и всей советской системы, снятием кровавого полотна с главного кремлевского флагштока, открытием архивов, введением многого из того, что требовал Андрей Сахаров, — свободы слова, совести, убеждений, многопартийности, свободных выборов, рыночной экономики, свободного передвижения. Но многое из того, за что боролся Андрей Дмитриевич, так и не пришло — не было ни суда над коммунистической системой, ни настоящего покаяния... Кстати, КГБ продолжал пристальное наблюдение

за академиком Сахаровым до самого конца: последнее письмо председателя КГБ СССР Владимира Крючкова Генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву, озаглавленное «О политической деятельности Сахарова А.Д.», датировано 8 декабря 1989 года...

Андрей Сахаров не был лидером правозащитного движения: у диссидентов по определению не бывает лидеров и подчиненных, там каждый делает, что может, и Андрей Дмитриевич сам неоднократно об этом говорил. Он не был даже политиком, о чем и написал в годы горьковской ссылки. «Я не профессиональный политик, и, может быть, поэтому меня всегда мучают вопросы целесообразности и конечного результата моих действий. Я склонен думать, что лишь моральные критерии в сочетании с непредвзятостью мысли могут явиться каким-то компасом в этих сложных и противоречивых проблемах. Я воздерживаюсь от конкретных прогнозов, но сегодня, как и всегда, я верю в силу человеческого духа», — писал Сахаров в самые трудные, самые черные годы своей жизни. Но он был человеком, объединившим в себе требования свободного рынка и демократии с нравственными ценностями в политике и государстве. Сам он руководствовался этими ценностями во всем, что делал. Как вспоминает Владимир Буковский, Андрей Сахаров был человеком безупречной честности и какого-то «старомодного благородства» — благородства XIX века, какое сегодня уже почти не встречается. И нельзя не согласиться со сказанным на похоронах Сахарова академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачевым: «Он был настоящий пророк. Пророк в древнем, исконном смысле этого слова, то есть человек, призывавший своих современников к нравственному обновлению ради будущего».

Первая книга Андрея Дмитриевича Сахарова на его родине вышла в свет уже после его смерти, в 1990 году. Ее название — «Тревога и надежда» — как нельзя лучше отражало настроение самого Сахарова, смотревшего в наступавшее десятилетие со смешанными чувствами. «Его работы подсказывают, как следует поступать, чтобы выжить и жить и чтобы жизнь была достойной, свободной, справедливой... Сахаров еще предстоит — и своей собственной стране, и миру. Надо только его услышать и понять». Эти слова Елены Боннэр, написанные в предисловии к книге Андрея Сахарова, крайне значимы и уместны сегодня, в начале третьего тысячелетия.

ЮРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЛЕВАДА

«Надежда на спасительную
руку государства
не покидает людей,
не умеющих найти силы
в самих себе...»

Юрий Александрович Левада родился 24 апреля 1930 года в Виннице, в интеллигентной семье. Отец рано оставил семью, и мать, журналистка местной газеты, вышла замуж за Александра Леваду, позднее ставшего известным украинским поэтом, писателем и драматургом, лауреатом государственных премий, занимавшим в послесталинское время посты замминистра по кинематографии и по культуре. В 1937 году отчим был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности, но вскоре отпущен; в годы войны он — военный корреспондент. Дед Левады был уважаемым в округе человеком — врачом, обладателем большой библиотеки, определившей в детстве круг чтения Юрия Левады.

Разнородная в языковом и культурном плане среда (переплетение русской, украинской, еврейской, польской истории), периферия советской империи со всеми ее катаклизмами, расхождения идеологических и социальных планов действительности определили рамки будущих размышлений социолога. С началом войны вместе с матерью он оказался в эвакуации в Западной Сибири; они голодали и бедствовали. Рано, с медалью, окончил школу и в 17 лет поступил в Московский университет на философский факультет, где надеялся найти «настоящую правду» обо всем, что его окружало. Но реальность довольно быстро заставила разочароваться и разувериться в марксистско-ленинской философии как системе универсального объяснения мира, начисто отбив всякий интерес к философии. Годы учебы (он окончил университет в 1952 году) пришлось на период «борьбы с космополитизмом», с «буржуазным влиянием», с «идолопоклонством перед Западом», на время тяжелых в моральном и человеческом плане потерь в ходе факультетских кампаний разоблачений и самокритики.

Но, видимо, было что-то необычное в студенческой атмосфере тех лет, если судить по тому, что именно тогда складывался неформальный круг философов, будущих «шестидесятников». В 1950 году факультет оканчивает Э.В. Ильенков, в 1951-м — А.А. Зиновьев и А.М. Пятигорский, в 1952-м вместе с Левадой — Б.А. Грушин, К.М. Кантор, в 1953-м — Г.П. Щедровицкий,

в 1954-м — М.К. Мамардашвили и другие, ставшие в 1970-х авторитетными фигурами.

Сразу после университета Левада поступает в аспирантуру философского факультета МГУ, во время учебы в которой несколько месяцев проводит в Китае (только что образованной КНР), учит китайский язык. В 1955 году защищает диссертацию о народной демократии в Китае, работает в обществе «Знание», заведомом журнала «Наука и жизнь», но вскоре переходит в Институт китаеведения АН СССР. С 1960 года — старший научный сотрудник Института философии АН СССР, с 1966-го — заведующий сектором Отдела конкретных социальных исследований.

В 1964 году Левада защищает докторскую диссертацию «Социологические проблемы критики религии» и становится самым молодым в стране доктором философских наук. В 1967 году на факультете журналистики начинает читать первый в советское время курс лекций по социологии (в конце 1968-го выходит их ротапринтное издание), который обрывается в ноябре 1969-го. После резкой критики партийных органов и обсуждения книги в Академии общественных наук при ЦК КПСС, в котором участвовали практически все партийно-философские начальники и будущие «отцы-основатели» отечественной социологии (единственным, кто выступил в защиту Левады, был Б.А. Грушин), Ю.А. Леваду лишают только что присвоенного звания профессора (ему вернут его только в 1991 году) и права преподавания, выносят строгий выговор «по партийной линии», но оставляют на работе.

Внутренний круг проблем, которые вставали перед Ю.А. Левадой, был связан с поиском, во-первых, средств анализа природы и специфики советского тоталитаризма, а во-вторых, альтернативных по отношению к советской идеологии и репрессивной практике коммунистического господства ценностей и представлений, могущих быть основанием для иной социокультурной организации общества и человека. Без альтернативной ценностной позиции невозможно дистанцироваться от повседневной реальности с ее стереотипами, иллюзиями, предубеждениями и мифами, а без проработанной теоретической рамки нельзя «взять их в скобки» и вести анализ не только институциональных структур тоталитарного господства, но и их признания людьми, принятия как основы социального порядка в подобном «обществе-государстве». Поэтому разработка такой концептуальной системы категорий стала для Левады важнейшей задачей, условием внутренней свободы, которая открывалась в познавательной деятельности.

Общее движение в среде думающих людей начала — середины 1950-х, переживших первые годы после смерти Сталина и хрущевской «оттепели», было ограничено рамками действительности — «несколько очеловечить нашу жизнь, несколько ее гуманизировать, рационализировать, придать ей похожий на нормальный вид» (Ю.А. Левада). Круг идей очерчен ранним Марксом с его просвещенческим и эмансипационным потенциалом, новомирской литературой, появлением «либералов» в партийном

руководстве, допускавших использование некоторых инструментов и методов западных социальных наук для оптимизации задач управления. Но Левада, в отличие от своих коллег, участников Московского логического кружка (М. Мамардашвили, А. Зиновьева, Б. Грушина, Э. Ильенкова, Г. Щедровицкого), довольно рано отошел от марксизма как парадигмы объяснения, хотя не отказывался от того, чтобы отслеживать то влияние, которое эта идеология (и заданная ею антропологическая модель) оказывала на социальную жизнь.

В то время (первая половина 1960-х) его интересовали истоки гуманистической этики и культуры: он искал ответы на вопрос, как возможно само появление идей, ценностей и представлений, ставших основой формирования современного общества — антипода советского тоталитаризма. Именно в это время молодой Левада пишет статьи о П. Тейяре де Шардене, А. Швейцере, рецензирует книгу Чарльза Сноу о «двух культурах». Но в отличие от обычного для «школьных» философов подхода («истории идей», влияния их на культуру и образование), Левада рассматривает подобные ценности, идеи, моральные представления не только как результат секуляризации трансцендентных оснований человеческого существования, но и как специфический элемент социальной системы, включая и институты социализации, идеологизации, легитимации социального порядка, т.е. в контексте механизмов воспроизводства и поддержания интеграции общества. Занятия этими материями шли одновременно с освоением имеющихся социологических теорий социальных процессов и социальных форм, в которых «живут» эти экзистенциальные и религиозные проблемы, т.е. исследование социальной структуры, институтов, коммуникаций, массовой культуры. Отсюда — особый интерес к «социальной природе религии» (как называлась одна из его книг), к мифологическому сознанию, ритуалу, традиции — с одной стороны; к массовому усредненному человеку, идеологии, фашизму, типам социальной личности — с другой. В отличие от структуралистов и последователей культур-антропологов (и тех, кто ими занимался в СССР, — Е.М. Мелетинского и др.), левадовский разбор принципиальной структуры и функций мифа (истории, традиции) всегда был соотнесен с системой власти. А это значит, что миф, история, традиции рассматривались им как важнейшие компоненты конструкции «вертикальных» институтов, т.е. таких, которые легитимированы сакральными представлениями, а значит, включены в социальную организацию религиозного и идеологического воздействия на массы.

Особенно примечательным оказывается анализ Ю.А. Левадой социальной основы мышления и политических мифов (в том числе таких, как «величие нации», «всеведение фюрера» и иерархическая структура нацистского режима), тоталитарной пропаганды и культа в фашизме и нацизме. В эти же годы он неоднократно обращался к кибернетике, к системным моделям общества, процессам модернизации, массовой и элитарной культуры, откуда логично следует переход к проблематике, с одной стороны,

«Надежда на спасительную руку государства не покидает людей, не умеющих найти силы в самих себе...»

массового общества, с другой — тоталитаризма, имеющего уже прямое отношение к исследованиям советского «общества-государства».

Это время — около 15 лет (1963–1978) — уникальный период в интеллектуальной истории нашей страны. Оно никогда не повторится, поскольку в будущем уже не будет подобной констелляции обстоятельств, порождающей такую интенсивность и силу желания свободной мысли у людей. Уходящий сталинизм, недавняя война, свежая память об исторических катаклизмах, восстания в Венгрии, ГДР, волнения в Польше, Тбилиси, Новочеркасске, скудная и мрачная повседневность закрытого и статичного общества создали такой контрастный фон, на котором открывшиеся возможности заниматься социальными науками, включения в идеальный мир знания о мышлении, обществе, истории стали эквивалентами свободы и человеческого достоинства. Никогда больше мотивация стремительного освоения этого мира знаний не была столь сильной, как тогда.

В концептуальном плане эта ситуация внезапного и стремительного расширения интеллектуальных горизонтов в пределах одного поколения напоминает или воспроизводит условия западного модерна, но только в более конденсированном и ускоренном виде. Для таких мыслителей, как Левада, это означало, что они оказываются в ситуации кристаллизации самой исходной проблематики социологии, т.е. ровно в том же положении, в котором на рубеже XIX–XX столетий осознали себя будущие «классики» социологической науки. Как и его предшественники, он вынужден был обдумывать и решать одновременно предметные, теоретические, эпистемологические и методологические задачи, поскольку без удовлетворительных ответов на эти вопросы, по внутренней логике мышления, последующая работа была невозможной. Конечно, позже все эти темы стали частью предметов узкоспециализированных областей социологии. Но в тот момент это означало, что ответы на подобные вопросы можно искать, только обращаясь к самым различным сферам гуманитарного знания, что предполагало потребность в освоении материалов западных мыслителей самого широкого круга. Поэтому это было время (недолгое) диалога и взаимодействия социологов и философов, историков и экономистов, исследователей религии и культуры, литературоведов и специалистов по системному анализу. Никогда больше высота, универсализм и серьезность этой общей работы больше не повторялись; А. Пятигорский называл эту ситуацию «метафизической». Нет сомнения, что это был прежде всего «эффект приоткрывшейся двери» в закрытом обществе, начавшейся «перекачки» идей, теоретически проработанного и интерпретированного материала из другого мира, что никоим образом не снижает оценки интеллектуальных усилий тех, кто инициировал этот процесс. Крайне важно подчеркнуть этическую и эмансипационную сторону этой интеллектуальной деятельности, сегодня забытой и вытесненной последующей волной постмодернизма — эпигонского и крайне поверхностного релятивизма, проложившего дорогу цинизму путинской эпохи.

В 1968 году был создан Институт конкретных социальных исследований (ИКСИ) АН СССР, в котором Ю.А. Левада возглавил сектор методологии исследования социальных процессов. Под его руководством шла очень интенсивная общая коллективная работа по освоению круга идей и методологии западной социологии. В рамках сектора действовали три параллельных методологических семинара: общий, культур-антропологический и логико-социологический. Главное внимание уделялось изучению доминирующих на тот момент социологических школ: структурно-функциональной парадигмы Т. Парсонса, символического интеракционизма, социальной и культурной антропологии, в меньшей мере — понимающей социологии М. Вебера. Сектор просуществовал с ноября 1966-го по май 1972 года. После начавшихся чисток в ИКСИ (за краткий срок оттуда ушло более ста сотрудников) Левада, не дожидаясь окончания погрома социологии, учиненного М.Н. Руткевичем, перешел в Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ). Именно в ЦЭМИ он оказался в кругу дискуссий экономистов, позднее ставших идеологами реформ.

Занятия теоретическими проблемами социологии у Ю.А. Левады не имели эскапистского характера, как это было у многих в советское время (системы знания западной науки — социологии, истории, антропологии, философии, культурологии — для искренне увлеченных людей того времени выступали как бы вневременным и прекрасным, платоновским миром свободы, истины, идеальных сущностей, «третьим миром» в смысле К. Поппера или кастальской игры Г. Гессе). Напротив, они были мотивированы внутренним, личностным, в этом смысле — ценностным, высоко значимым интересом к настоящему, а также поиском надежных и адекватных средств, позволяющих понять особенности тоталитарных режимов (в первую очередь советского) и их последствий в самых разных отношениях: человеческом, институциональном и т.п. Помимо освоения соответствующих предметных социологических конструкций, велась критическая работа по переоценке концепций и понятий с точки зрения их необходимости и эффективности для анализа и объяснения социальной реальности этих обществ.

Именно теоретические работы 1970–1984 годов сделали возможной последующую эмпирическую исследовательскую работу Ю.А. Левады во ВЦИОМе (хотя вплоть до перестройки он был почти полностью лишен возможности публиковать свои теоретические труды по урбанизации как модели модернизационных процессов, по структуре социального действия и механизмам репродукции социокультурных систем).

Левада очень рано оценил открывающиеся возможности новой, практически ориентированной интеллектуальной деятельности. Еще в сентябре 1987 года, ломая скептицизм, недоверие и даже эмоциональное сопротивление своих сотрудников, он убеждал их, что горбачевская перестройка — это не номенклатурная рокировка, а начало нового исторического периода, требующего принципиально иных форм работы, других точек зрения и практического участия. Нарастающий кризис 1988–1991 го-

«Надежда на спасительную руку государства не покидает людей, не умеющих найти силы в самих себе...»

дов, а затем крах советской системы он рассматривал как ситуацию социальной и исторической «горной лавины», требующей от исследователя уже не кабинетной, а «горячей» эмпирической работы. В таких условиях поза «теоретика чистой науки» была для него не просто неприемлемой, но и отталкивающей.

Исходным моментом для социологической работы Левады стала ситуация крупномасштабного общественного кризиса тоталитарного режима. В этот момент, с одной стороны, «обнажаются» скрытые ранее институциональные механизмы и структуры групповых отношений, а с другой — вместе с открытыми конфликтами различных группировок во власти, относительным идеологическим плюрализмом и временной автономностью СМИ начинает формироваться и проявляться совершенно новый институт — «общественное мнение». «„Общественное мнение“, — писал Ю.А. Левада, — не может служить или казаться средством конкретного социального действия. Чтобы стать общественной силой, общественное мнение должно быть организовано, причем не только „извне“ (гражданские свободы, СМИ, политический плюрализм, лидеры-идолы и т.д.), но и „изнутри“, в смысле самого „языка“ общественного мнения (символы, стереотипы, комплексы значений и средств выражения)».

Соответственно, рассматривать вопросы изучения трансформации общества (или воспроизводства прежних социальных структур) можно только с учетом структуры и специфики функционирования самого общественного мнения. А это значит, что одновременно должны решаться несколько однопорядковых задач: анализ динамики массовых реакций, выявление их структуры и функций, устойчивых и переменных компонентов. Преимущества «ВЦИОМовской» работы были очевидны: открывалась возможность постоянного и систематического отслеживания массовых реакций, анализа их состава, интенсивности и т.п. Ни у кого из тех, кто был озабочен большими социологическими проблемами, таких средств научной работы не было (особенно учитывая перспективы и масштабы предполагаемой работы во времени). Обычно крупные социологи в лучшем случае участвовали в отдельных монографических исследовательских проектах. «Общественным мнением» и его динамикой занимались полстеры, «демоскописты», маркетологи, но не социологи.

Методологическая проблема состояла прежде всего в том, чтобы обеспечить единство социологической интерпретации различных в содержательном плане феноменов, соединить их общими теоретическими и концептуальными «стыками» и «переходами», удержав тем самым социологическое видение проблематики. Ключом, объединяющим разные плоскости исследовательских задач и содержательных интерпретаций, могла в этих обстоятельствах быть только концепция социального типа «человека», связывающая разные теоретические ресурсы описания и объяснения (стереотипы и комплексы общественного мнения, идентификация с институтами, группами, соответственно, определение общих рамок действия, представления о времени и пространстве, включая буду-

щее и прошлое, набор ценностей, механизмы адаптации или изменений в ходе смены поколений или «героических» усилий «элиты», фобии, страхи, коллективные ритуалы и пр.). Такой моделью стал «советский человек», а позднее — следующий за ним и генетически непосредственно связанный с ним «постсоветский, российский» («обыкновенный, средний») человек. По мысли Левады, этот тип человека должен находиться в ряду таких моделей, как «человек играющий», «человек экономический», «авторитарная личность» и т.п., а не этнических образов или характеров, поскольку этот тип имеет парадигмальное значение для целых эпох незападных вариантов модернизации и разложения тоталитарных режимов.

Ю.А. Левада следующим образом определяет основные черты «советского человека»: принудительная самоизоляция, государственный патернализм, эгалитаристская иерархия, имперский синдром. Такой набор характеристик свидетельствует «скорее об определенной принадлежности человека системе ограничений, чем о его действиях»: «Отличительные черты „советского человека“ — его принадлежность социальной системе, режиму, его способность принять систему, но не его активность». «Советский человек — это „массовидный человек“ („как все“), деиндивидуализированный, противопоставленный всему элитарному и своеобразному, „прозрачный“ (т.е. доступный для контроля сверху), примитивный по запросам (уровень выживания), созданный раз и навсегда и далее неизменяемый, легко управляемый (на деле — подчиняющийся примитивному механизму управления). Все эти характеристики относятся к лозунгу, проекту, социальной норме, и в то же время это реальные характеристики поведенческих структур общества».

«Советский человек» целиком принадлежит государству, это государственно-зависимый человек, привычно ориентированный на те формы вознаграждения и социального контроля, которые исходят только от государства, причем государства не в европейском смысле (как отдельного от общества института), а пытающегося быть «тотальным», т.е. стремящегося охватывать все стороны существования человека, играть в отношении него патерналистскую, попечительскую и воспитательную роль. Этот человек знает, что реальное государство его обязательно обманет, не даст даже из того, что ему «положено по закону», будет всячески стараться выжать из него все что можно, оставив ему минимальный объем средств для выживания. Поэтому он считает себя в полном праве уклоняться от того, чего от него требует власть (халтурит, подворовывает, отлынивает от разного рода повинностей), и озабочен лишь благополучием собственным или своей семьи.

Более глубокое понимание этого человека заключается в том, что как власть пытается манипулировать населением, так и население, в свою очередь, управляет государством, пользуясь его ресурсами, покупая его чиновников для своих нужд. Это симбиоз принуждения и адаптации к нему. Генетически — это человек мобилизационного, милитаризованного и закрытого репрессивного общества, интеграция которого обеспечива-

«Надежда на спасительную руку государства не покидает людей, не умеющих найти силы в самих себе...»

ется такими факторами, как внешние и внутренние враги, а значит, признание (хотя бы отчасти) оправданности требований лояльности власти, «защищающей» население от них, привычки государственного контроля (отсутствие возмущения или недовольства) над поведением обывателей во всех сферах жизни, привычка последних к самоограничению (принудительный «аскетизм» потребительских запросов и жизненных планов).

В отличие от европейского массового человека, этот тип разделяет эгалитаристские нормы, но понимает их как нормы антиэлитарные, снижающе-уравнилельные установки (ориентация не на возвышение и приближение к образцу, пусть даже в качестве подражания высшим слоям, «сливкам общества», культивирующим особый тип достоинства, присвоения образов «аристократии» или «меритократии», а на понижение запросов, санкционирование «общепринятого» в качестве вульгарного или примитивного: «Будь проще, и люди к тебе потянутся»). Доминирующие латентные мотивы этого эгалитаризма — зависть, resentment, в свое время идеологически оправдываемый и раздуваемый большевиками, но сегодня все чаще принимающий формы цинизма, диффузной агрессии, вызванной последствиями вынужденной или принудительной коллективности. Результат — массовость без присущей западной культуре сложности и дифференциации, примитивность социального устройства, отсутствие посредников между государством и человеком. «Человек советский» вынужден и приучен следовать и принимать в расчет только очень упрощенные, даже примитивные образцы и стратегии существования, но принимать их в качестве безальтернативных («Немного, но для всех»).

Ориентация на «простоту» — результат культурно признанной и социально (нормативно) одобряемой стратегии выживания, минимизации запросов, сочетаемой с завистью, resentment — с одной стороны, и пассивной мечтательностью и верой, что в будущем жизнь каким-то образом улучшится, — с другой. Так как основой ориентации в мире и понимания происходящего являются наиболее примитивные (самые общие и стертые, доступные всем) символические модели поведения, то схемами интерпретации и оценки социальной, политической, экономической или исторической реальности для обычного человека («большинства», «такого как все») могут выступать только не дифференцированные в ролевом плане, а значит, персонифицируемые отношения. Персонификация в социологическом смысле выступает симптомом блокировки универсализма, а значит, признаком традиционализма или его современных аналогов. Неизбежные социальные различия закрепляются в виде статусных, общественная жизнь приобретает характер множества закрытых для непосвященных пространств действия, изолированных друг от друга, внутри которых удерживается относительная гомогенность льгот и привилегий. Поэтому эгалитаризм советского или российского человека имеет очень специфический характер — это «иерархический эгалитаризм».

Модель советского человека, описанная по результатам первого исследования 1989 года, в ситуации краха советского режима, нуждалась

не просто в дальнейшей проверке (насколько устойчивы ее элементы в отдельности и в целом сама система), но и в выяснении того, как ведет себя этот человек в ситуации рутинизации исторического перелома, разложения закрытого общества, усталого от постоянного режима мобилизации, с негативной идентичностью, не имеющего позитивных ориентиров и целей. Поэтому усилия самого Ю.А. Левады были сосредоточены на изучении разных институциональных условий сохранения «человека советского» и разных состояний, в которых он проявлялся («человек энтузиастический», «обыкновенный», «ностальгический», «недовольный», коррумпированный, протестный и др.). К этому примыкает разбор отдельных механизмов, которые обеспечивают целостность его идентичности: комплекс жертвы, структура исторической памяти, символы прошлого и исторические рамки самоопределения, феномены негативной мобилизации, астенический синдром, функции разнообразных «врагов» и динамика фобий, значение имитации большого стиля для поддержания основных ценностных образцов, роль институтов насилия и их трансформации, специфика существующей системы образования и др.

Важнейший вывод Ю.А. Левады из целого ряда эмпирических исследований заключался в том, что крах советской системы, вызванный невозможностью воспроизводства высшего уровня управления, не затронул кардинальных оснований этого общества-государства. Распад системы выражался прежде всего в верхушечной борьбе различных фракций, второго и третьего эшелонов номенклатуры. Предопределенность кризисов в тоталитарных режимах вызвана отсутствием институционально упорядоченных и урегулированных правил передачи власти, точнее, их принципиальной недопустимостью, невозможностью для власти, которая сама по себе конституирует социальный порядок, контролирует население, не будучи, в свою очередь, ничем ограниченной. Поэтому каждый цикл тоталитарных режимов определяется сроком жизни очередного диктатора (или, как пишет Левада, «короткими рядами традиции»). Попытки ограничения террора в условиях тоталитарного режима оборачиваются замедлением вертикальной мобильности и скрытыми процессами децентрализации, латентной апроприации властных позиций, что создает сильнейшие напряжения на нижележащих уровнях управления. В этом плане дефекты в репродуктивных структурах власти неизбежно вызывают периодические общественные кризисы, поколенческие смены кадрового состава управляющего верха. Раскол в верхнем эшелоне управления ведет к разрушению партийно-государственной монополии, появлению, условно говоря, «дефектных» или «маргинальных» лидеров (вроде Горбачева или Ельцина) и к общему параличу и разложению номенклатуры.

Однако кризис верхов или даже распад системы институтов не должен отождествляться с крахом самих институтов: значительная часть базовых институтов сохранилась или подверглась минимальным, почти косметическим изменениям, переименованиям и т.п. А это значит, что воспро-

«Надежда на спасительную руку государства не покидает людей, не умеющих найти силы в самих себе...»

изводятся основные условия существования человека, постепенно привыкающего к переменам, «обживающего» их на свой лад. Особенности массовой адаптации в постсоветский период (протекающей без изменения ценностей, символов участия, структур мотивации) указывают на подавление процессов структурно-функциональной дифференциации, а значит, стерилизацию возможностей для автономизации ведущих групп общества и их ценностей, т.е. появления элиты в подлинном смысле. До определенного момента растущее напряжение в узловых точках системы компенсируется привычным двоемыслием «советского человека», но лишь до известного предела, пока серьезно не затронуты надежды на «добротного царя» или попечительскую роль государства. Государственно-патерналистские установки оказываются значимыми для большей части населения страны, поскольку в условиях падения экономики и жизненного уровня у основной массы нет достаточных ресурсов для независимого от государства существования. Неудовлетворенность фактическими результатами этой деятельности государства становится почвой для социального протеста и дискредитации властей. Однако среда, где сохраняется потенциал социального протеста, отличается консерватизмом и неспособностью к самоорганизации: это недовольство социально слабых, государственно зависимых групп (бюджетников — работников госпредприятий и учреждений и пенсионеров). Иначе говоря, институциональные рамки «советского человека» сохраняют по инерции свою значимость, хотя уже далеко не в той мере, как это было в советское время.

Отдельной темой, все больше и больше занимавшей Леваду в последние годы, стали «источники изменений». Есть ли они и откуда можно ждать импульсов дифференциации и усложнения социальной и культурной системы? В первое время после краха советской системы среди более образованной части российского общества были широко распространены представления о том, что новое поколение, социализированное уже в других условиях, окажется носителем совершенно иных ценностей, будет характеризоваться другой этикой, мотивироваться иначе, чем их родители и деды. Однако эти предположения оказались набором иллюзий, а не прогнозами, основанными на теоретическом знании и фактическом материале. Разрушение прежних образцов не сопровождалось какой-либо позитивной работой по пониманию природы советского общества и человека, выработкой других ориентиров и общественных идеалов. Возобладали эклектические тенденции имитации прежних символических структур: ностальгия по былому величию империи, идеализация прошлого, обрядово-магическая сторона религиозного «возрождения» и пр. Но замена одних символов другими не меняет самой структуры общества и, стало быть, характера идентификации людей, их ценностных ориентаций. Главный итог этих постсоветских лет заключается в том, что общество, массовый человек приспособился, адаптировался, притерпелся к вынужденным изменениям и при этом оказался не в состоянии понять их или изменить условия своего существования.

Если суммировать все наблюдения и выводы из анализа разнообразного эмпирического материала социологических исследований, проведенного Ю.А. Левадой, то получается, что российская модель или версия «человеческих» последствий догоняющей модернизации может получить гораздо большее теоретическое значение, чем один из многих примеров социетальной неудачи. По сути, Левада показал, что крах тоталитарной системы советского типа (как и многих других) не является основанием для суждений о предопределенности перехода к современному обществу и завершения процессов модернизации, начатой несколькими столетиями ранее. Напротив, сам тоталитарный режим был лишь одной из версий модификации «вертикально» организованного общества («власть» как «осевой», конституирующий общество институт) и блокировкой модернизационного развития, или контрмодернизацией.

«Надежда на спасительную руку государства не покидает людей, не умеющих найти силы в самих себе», — писал Ю.А. Левада. Поэтому «перед нами — не просто ряд исторических примеров, но парадигма, своего рода стандарт преобразующих процедур»: «Этот стандарт сохраняется не только массовой инерцией, но и действием вполне определенных рудиментарных социально-политических структур — военных и карательных, которые выступают хранителями и инкубаторами традиционно советских поведенческих типов. Шансов на преодоление этой парадигмы в обозримом будущем — скажем, на два ближайших поколения или дольше, — не видно». Согласно Ю.А. Леваде, «протяженность российской социальной реальности „вглубь“ принципиально отличает ее от „одновременной“ реальности американской, немецкой, польской, эстонской и т.д.».

РОССИЙСКИЙ
ЛИБЕРАЛИЗМ:
ИДЕИ
И
ЛЮДИ

Выпускающий редактор
Татьяна Григорьева

Редакторы
Елена Мохова, Марина Драпкина

Дизайн
Дарья Яржамбек, Юрий Остроменцкий

Корректоры
Надежда Власенко, Светлана Крючкова

Верстка
Тамара Донскова

Производство
Сергей Николаев

Новое издательство
125009, Москва
Тверская улица, дом 27
строение 2, подъезд 9, этаж 2
телефон/факс (495) 699 9124
e-mail: info@novizdat.ru, sales@novizdat.ru
www.novizdat.ru

Подписано в печать 2017 года. Формат 70×100 1/16. Гарнитуры Parmigiano Piccolo, Giorgio Sans. Объем ??? условного печатного листа. Бумага офсетная. Печать офсетная. Заказ №

Отпечатано